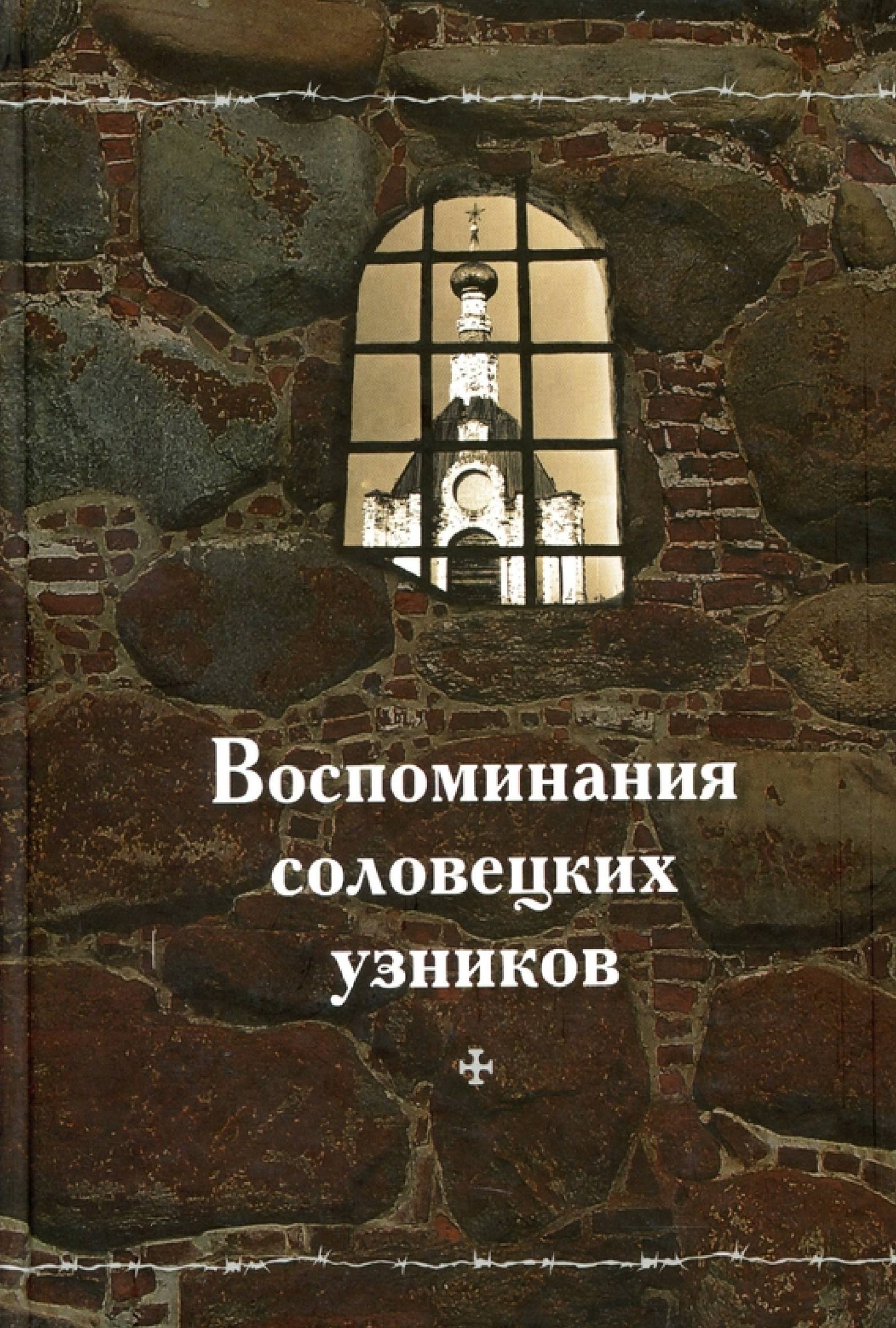


Воспоминания соловецких узников

✠

Посвящается памяти заключенных
Соловецкого лагеря особого назначения

Состав редакционной коллегии
книжной серии
«Воспоминания соловецких узников 1923–1939 гг.»

Вячеслав Умнягин, иерей (ответственный редактор)

Майя Евгеньевна Бабичева, кандидат филологических наук

Ольга Владимировна Бочкарева

Олег Геннадьевич Волков

Сергей Владимирович Волков, доктор исторических наук

Лидия Алексеевна Головкова

Андреа Гуллотта, кандидат филологических наук

Алексей Владимирович Лаушкин, кандидат исторических наук

монах Онуфрий (Поречный)

Михаил Сергеевич Скрипкин

Вениамин Алексеевич Слепков

Елена Григорьевна Сойни, доктор филологических наук

Антонина Алексеевна Сошина (научный консультант)

Михаил Николаевич Супрун, доктор исторических наук

Михаил Григорьевич Талалай, кандидат исторических наук

Ирина Анатольевна Флиге

Елена Николаевна Чавчавадзе

Мария Владимировна Шульгина

Анна Петровна Яковлева

Марьям Джемалдиновна Яндиева, кандидат филологических наук

Воспоминания соловецких узников

1923–1939

Том I

Издание второе

Издание Соловецкого монастыря
2014

УДК 94(470.11)(082)+271.2-9(470.11)
ББК 63.3(2)61-361ю14+63.3(2Рос-4Арх,99Соловки)61-361ю14+
86.372.24-3ю14

Комментарии:
А. А. Сошина

Статьи:

Соловецкий лагерь особого назначения, Топографический указатель:
О. Г. Волков

Соловецкий монастырь в XV – начале XX века:
А. В. Лаушкин, В. В. Аксючиц-Лаушкина.

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) благодарит за помощь в выпуске первого тома серии «Воспоминания соловецких узников» Губернатора Архангельской области **Игоря Анатольевича Орлова**, заместителя Губернатора Архангельской области **Романа Викторовича Балашова**,

а также
Фонд развития Соловецкого архипелага

Воспоминания соловецких узников

В 77 [Т. 1 : / отв. ред.: иерей В. Умнягин ; худож.: С. Губин ; дизайн: М. Скрипкин]. – Соловки : Спасо-Преображ. Соловец. ставропиг. муж. монастырь, 2013. – 774 с.: илл. – 2000 экз. – ISBN 978-5-91942-022-4.
Агентство CIP Архангельской ОНБ

УДК 94(470.11)(082)+271.2-9(470.11)
ББК 63.3(2)61-361ю14+
63.3(2Рос-4Арх,99Соловки)61-361ю14+
86.372.24-3ю14

Первый том фундаментального проекта Издательского отдела Соловецкого монастыря. Издание посвящено памяти заключенных Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). В том вошли мемуары узников, находившихся в заключении в период с 1923 по 1927 гг., а также справочные материалы по истории лагеря, его материковых и островных отделений. Издание ориентировано на самый широкий круг читателей и специалистов, интересующихся отечественной историей.

Над этой книгой до последних дней жизни работала
Антонина Алексеевна Сошина († 04.08.2013),
знаток и хранитель истории Соловков.

ISBN 978-5-91942-022-4

© Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, 2013



Соловецкие острова. Величественная красота и глубокое духовное наследие Соловецкого архипелага сегодня привлекают многочисленных туристов из разных уголков Земли.

Соловки. Трагическая история жизни и смерти целого поколения наших соотечественников.

Одна земля, а вобрала в себя столь разную силу.

О силе духа, силе жизни, силе памяти человеческой — книга «Воспоминания соловецких узников 1923–1939 гг.». В те годы Соловки были местом ужаса, трагедии, боли. Местом абсолютного бессилия заключенных и полного духовного разложения палачей.

Духовное возрождение Соловецкого монастыря невозможно без увековечения его истории, в том числе и страниц, полных скорби. Это издание является воплощением нашей памяти, отданием чести мученикам соловецких лагерей.

Губернатор Архангельской области
И. А. Орлов



Соловецкие лагеря особого назначения, Соловецкая тюрьма — самая печальная страница истории Соловецких островов XX века.

Соловки были самыми известными и страшными лагерями страны Советов, где отрабатывались технологии будущего ГУЛАГА.

Соловки являлись своеобразным «государством в государстве». Встреча новоприбывших заключенных всегда начиналась с речи: «Имейте в виду, здесь нет Советской власти. Здесь власть — соловецкая».

Книга «Воспоминания соловецких узников 1923–1939 гг.» пронизана болью, ужасом и абсолютно полным бесправием заключенных. Трагические события прошлого века навсегда останутся в памяти современников.

Возрождение православной святыни России – Соловецкого архипелага, является долгом чести нашего многонационального народа.

Заместитель Губернатора
Архангельской области
по развитию Соловецкого архипелага
Р. В. Балашов

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

История Соловков в минувшем веке с предельной ясностью свидетельствует о том, каких страшных масштабов может достигать зло, прорывающееся в мир через людей, сердца которых отпали от Бога. И та же история доносит до нас неопровержимый факт: зло бессильно перед твердым стоянием в правде. Мужество тех, кто перед лицом мучителей и самой смерти сумел сохранить внутреннюю свободу и человеческое достоинство, выводит исторический опыт Соловков далеко за рамки национальной истории России, вписывает драгоценную страницу в летопись человеческого духа.

Наряду с добропобедными мучениками первохристианской эпохи мы почитаем новомучеников и исповедников Российских — по историческим меркам наших современников и родственников. Их подвиг дает нам силы. Он освещает евангельским светом нашу жизнь, ясно раскрывая ее подлинный смысл.

Зло нередко прячется в красивые одежды, тем самым стремясь быть неузнанным. Чтобы понять его гибельную суть, его надо увидеть обнаженным и безобразным. Именно таким оно предстает в воспоминаниях людей, прошедших «красные Соловки» и другие большевистские лагеря и тюрьмы. Авторы этих воспоминаний — люди разные по возрасту, жизненному опыту, образованию, национальности, религиозности. И пишут они о своем времени по-разному. Но в их воспоминаниях открывается целостная картина добра и зла, подвига и предательства, жизни и смерти.

Книга, которую читатель держит в руках, — непростое чтение. Оно требует от ума, сердца и души большого напряжения и отклика в личном покаянии, изменения убеждений, чувств, поступков. Надеемся, что погружение в историю поможет современнику лучше понять свое время и обрести в нем спасительные евангельские пути.

Архимандрит Порфирий,
наместник Спасо-Преображенского
Соловецкого ставропигиального
мужского монастыря

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 8
Соловецкий монастырь в XV – начале XX в. 13
Соловецкий лагерь особого назначения 24
М. Е. Бабичева. Один из самых «загадочных» мемуаристов СЛОНа 44
А. Клингер. Соловецкая каторга. Записки бежавшего 48
О. В. Бочкарева. Воспоминания И. А. Ермолаева 122
И. А. Ермолаев. «Власть Советам!..»:
о событиях в Кронштадте 1–18 марта 1921 г. 125
М. В. Шульгина. Воспоминания Б. М. Сапира 132
Б. М. Сапир. Путешествие в Северные лагеря 134
И. А. Флиге. Судьба меньшевика 150
Б. М. Сапир. Наш соловецкий староста 159
А. А. Головкова. Воспоминания «эсера» 164
Эсер. Соловецкая трагедия 166
А. Гуллотта. Воспоминания В. О. Рубинштейна 180
В. О. Рубинштейн. Из воспоминаний 184
М. Г. Талалай. Русская судьба XX века: каторга, ссылка, изгнание 194
Б. Н. Ширяев. Неугасимая лампада 200
М. Д. Яндиева. Воспоминания Мальсагова – первое полное и вполне
достоверное описание жизни в большевистских лагерях 364
С. А. Мальсагов. Адский остров: советская тюрьма на далеком севере 370
Е. Г. Сойни. Побег в Финляндию Юрия Бессонова 446
Ю. Д. Бессонов. Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков 451
А. Ю. Даниэль. «Я прожил счастливую жизнь...» 516
Д. М. Бацер. Соловецкий исход 528
А. А. Сошина. Воспоминания Е. Л. Олицкой 540

Е. Л. Олицкая. Мои воспоминания 543
М. Н. Супрун. Воспоминания М. Леонардовича 594
М. Леонардович. На островах пыток и смерти.
Воспоминания с Соловков 596
Вячеслав Умнягин, иерей. Арнольд Шауфельбергер и его рукопись 634
А. С. Л. Шауфельбергер. Соловки 639
С. В. Волков. Воспоминания Б. Л. Седерхольма 662
Б. Л. Седерхольм. В разбойном стане:
Три года в стране концессий и «Чеки» (1923–1926) 665
В. П. Чехранов. Воспоминания о. Павла Чехранова 710
Павел Чехранов, священник. Две тюремные Пасхи. Из воспоминаний 711
Топографический указатель 716
Именной указатель 727
Список сокращений и терминов 768

ОТ РЕДАКЦИИ

Соловецкая история насыщена событиями, она накладывает отпечаток на судьбы отдельных людей и прослеживается в глобальных общественных процессах. Известны целые эпохи, когда история страны не просто находила свое отражение на островах этого северного архипелага, но буквально зарождалась здесь, о чем свидетельствует один из лозунгов лагерной поры: «Сначала на Соловках — потом в России».

Будучи не только политическим, но и духовным средоточием Отечества, Соловки испокон веков отражали и явления Горнего мира, были прообразом Царствия Небесного на земле святых, идущих по пути добровольного уподобления Христу.

Достойно внимания то, что сонм преподобных угодников завершает имя Феодора Санаксарского. Жертва оговора, он почти 10 лет провел в монастырской тюрьме, став примером для тысяч заключенных XX в., которые, следуя по его стопам, прославляли Бога в подвиге мученичества и исповедничества.

Рай в глазах многих современников превратился в ад: «на месте, где пятьсот лет чувствовалось дыхание Всевышнего, теперь лилась кровь невинных, и дьявол, ликуя, плясал свою пляску смерти... Слово "Соловки" из символа светильника веры и подвижничества стало "Самым Страшным Словом России" — С.С.С.Р.»[1], — писал об этой, сравнительно недавней, эпохе заключенный СЛОНа Борис Солоневич.

До сих пор остается загадкой: сколько человек прошло через соловецкое заключение, сколько людей осталось лежать в этой каменистой и болотистой земле?[2] Но не менее важным представляется вопрос и о том, что происходило в умах и душах заключенных, что они теряли, а что приобретали, следуя своим скорбным путем? Ведь не «только страшной, зияющей ямой, полной крови и растерзанных тел...», по словам Бориса Ширяева, были Соловки в один из наиболее

[1] Солоневич Б. Л. Тайна Соловков: Роман из жизни русской молодежи в СССР. 2-е изд., дополненное. Брюссель, 1942. С. 15.

[2] «Самая темная и скользкая глава из истории Соловков — это численность и социальный состав заключенных по годам, еще живых и вымерших. Пролить достаточный свет на нее едва ли кто сейчас сумеет. Очевидцы — в могилах, документация — за семью замками или уничтожена. В летописях об этом — пустые листы или общие фразы; заполняйте их какими угодно цифрами и начинайте спор о них». Розанов М. М. Соловецкий концлагерь в монастыре, 1922–1939: Факты — Домыслы — «Параши»: Обзор воспоминаний соловчан соловчанами: В 2-х кн. и 8-ми ч. США, 1979. Кн. 1. С. 112.

трагических периодов русской истории, но и местом, где «стоны родили звоны, страдание — подвиг, а временное сменилось Вечным...»

***

Изданием настоящей книги Соловецкий монастырь открывает серию «Воспоминания соловецких узников 1923—1939 гг.». В рамках этого долгосрочного проекта, нацеленного на поиск новых и углубленное изучение уже известных источников, планируется опубликовать все доступные мемуары, посвященные описанию соловецкой каторги XX в.

Актуальность подобного издания очевидна. Сам по себе опыт лишения свободы — одна из вечных тем, раскрытию которой посвящено немало произведений мировой культуры. И это вполне закономерно, учитывая то, что во все времена в местах лишения свободы общественные отношения не просто отражались, но, обостряясь, просматривались как бы через увеличительное стекло[3], давая возможность по-новому взглянуть на проявления человеческой природы в условиях, где люди в борьбе за выживание показывают свое истинное лицо[4].

Не нуждается в особом обосновании и изучение советской тюремно-лагерной системы, где, вероятно, «в наибольшей степени выявляются механизмы тоталитарного режима, модельные для нашей истории последних десятилетий»[5]. Сказанное о ГУЛАГе в целом относится и к Соловкам, которые были прообразом «всего последующего террора и произвола»[6] и представляют безусловный интерес при изучении новейшей истории России.

Другим важным аспектом издания соловецких воспоминаний является обращение к нашей памяти. Воспоминания не дают «забывать о тех чудовищных преступлениях, которые совершались по отношению к русскому народу и к людям других национальностей»[7]. Публикация этих свидетельств внушает надежду на то, что «описание фактов из социалистического опыта будет назидательно для потомства»[8].

---

[3] «...В условиях заключения так выделяются, так бросаются в глаза те стороны жизни, которые обычно даже не замечаются» Иоанн (Стеблин-Каменский), свмч. «Не сходите с креста»: Письма с Соловков близким и пастве. М.: 2009. С. 63.

[4] «В так называемых экстремальных ситуациях время течет быстрее ... репрессивная машина заставляла человека изменяться с гораздо большей скоростью как в худшую, так и в лучшую стороны, чем это происходило бы в человеке, находящемся в хотя бы относительно нормальных условиях». Полак Л. С. Было так: Очерки. М., 1996. С. 106.

[5] Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923—1960: Справочник // Общество «Мемориал», ГАРФ / Сост. М. Б. Смирнов. М., 1998. С. 5.

[6] Богданова Н. Б. Мой отец — меньшевик. СПб., 1994. С. 105.

[7] Бергер И. Крушение поколения: Воспоминания / Пер. с англ. Я. Бергера. Firenze, 1973. С. 260.

[8] Зайцев И. М. Соловки (коммунистическая каторга, или место пыток и смерти). Из личных страданий, переживаний, наблюдений и впечатлений: В 2-х ч. (с приложением четырех планов). Шанхай, 1931. С. 4.

Можно возразить, что мемуары каторжан полны фактологических неточностей, и тем самым оспорить историческую ценность их свидетельств. Ниже, в тематических статьях и комментариях к тексту, еще будет сказано об ошибках, встречающихся на страницах воспоминаний. Однако уже сейчас необходимо указать, что, расходясь в деталях, бывшие узники поразительно точны в общих оценках, касающихся положения дел в Советской России, в ее тюрьмах и в лагерях. И эти, возникающие на фоне частных противоречий выводы, принадлежащие очень разным и в большинстве случаев незнакомым между собой людям, приобретают исключительную достоверность.

***

Книга представляет собой антологию отдельных произведений, а также фрагментов рукописей и публикаций, среди которых наряду с хорошо известными воспоминаниями о Соловках 1920—1930-х гг. встречаются и ранее не издававшиеся в России мемуары.

При их отборе и подготовке к печати учитывалось соотношение общего объема и той части, которая непосредственно посвящена описанию Соловецкого лагеря. В этой связи некоторые мемуары публикуются полностью, другие — частично. Случаи, когда содержание фрагментов выходит за рамки «соловецкого периода» жизни того или иного автора, объясняются желанием придать тексту некоторую литературную законченность, необходимостью сделать более понятными описанные в нем факты либо стремлением максимально полно раскрыть личность того или иного писателя.

Последнее вообще является одной из важнейших задач издания. Не случайно все произведения предваряют вступительные статьи, повествующие об авторах и особенностях их литературного наследия.

Стремясь к тому, чтобы перед читателем не только прошли судьбы отдельных людей, но и предстала общая картина генезиса Соловецкой каторги, составители сборника учитывали момент прибытия и продолжительность пребывания узников в лагере.

В результате в первый том вошли мемуары заключенных, чье пребывание на Соловках не выходит за пределы 1927 г.

В этих источниках описывается быт политических заключенных, покинувших острова архипелага летом 1925 г., рассказывается о возникновении и расцвете театра, общества краеведения и лагерной периодики, повествуется о переходе к использованию труда осужденных в экономических целях, что впоследствии стало краеугольным камнем всей системы ГУЛАГа.

Стоит отметить, что часть мемуаров принадлежит людям, которые никогда не были на Большом Соловецком острове (например, узники Кемперпункта) или в стенах монастыря. Это, например, политические заключенные, один из которых —

социал-демократ Борис Сапир — пишет о том, что «на Соловках мы находились в изоляции и не видели, что происходило за пределами нашего скита». Этим, т. е. изначальным отсутствием полноценной информации о некоторых аспектах лагерной жизни или порядках, царящих в других отделениях, а также отсутствием справочных материалов в момент работы над воспоминаниями, объясняются встречающиеся в них ошибки и противоречия.

В публикуемых текстах зачастую можно найти явные опечатки (это «епитрахиль митрополита Филарета (Колычева)» у Б. Ширяева вместо «Филиппа (Колычева)»), фактические ошибки, связанные с событиями общероссийской истории (у того же Б. Ширяева уже низложенный патриарх Никон посылает стрелецкое войско на осаду Соловков) или с историей Соловецкого монастыря (у А. Шауфельбергера и Б. Седерхольма насельники дореволюционной обители представлены большим числом, чем это было на самом деле).

Особенно часто на страницах мемуаров встречаются неточности в написании личных имен и географических названий. Наряду со случаями неправильного написания одной или нескольких букв (Курчинский вместо Курчевский), можно наблюдать и полное, до неузнаваемости искажение той или иной фамилии. Например, у Б. Ширяева уже упомянутый конструктор Л. В. Курчевский значится как Стрижевский. Немало аналогичных примеров можно привести и в случае с топонимами: Муксалма — Муксульма, Кондостров — Конт, Рымбак — Рембот.

Путаница встречается и при изложении статистических данных. Выше уже приводился пример с неправильным числом насельников дореволюционной обители, то же относится и к количеству заключенных в лагере или погибших на Соловках людей. Наиболее примечательным здесь является случай с описанием числа политических заключенных, которые стали жертвами расстрела 19 декабря 1923 г. в Савватьевском скиту. Так, у Мечислава Леонардовича, вместо шести погибших упоминается: «10 убитых и 16 раненых».

Страдают погрешностями и данные о структуре и организации лагеря. Типичная ошибка, встречающаяся практически во всех воспоминаниях данного периода, — размещение заключенных в Спасо-Преображенском соборе Соловецкого монастыря, тогда как они располагались в находящемся по соседству Свято-Троицком соборе обители.

Отдельно можно упомянуть об ошибках, проистекающих от незнания особенностей русской жизни, в частности жизни Русской Церкви, что особенно характерно для иностранцев («Московская епископия» вместо «епархии» у А. Клингера, или «Епископ Серафим Колпинский» вместо «Епископ Колпинский Серафим» у Б. Седерхольма и пр.)

Как уже было сказано, настоящее издание ориентировано и на популяризацию, и на дальнейшее изучение соловецкой истории. Отсюда содержание книги рассчитано как на самый широкий круг читателей, интересующихся скорее общей фабулой произведений, так и на самых взыскательных специалистов, для которых даже явные ошибки могут стать бесценным источником информации.

С учетом возможных запросов потенциальной аудитории было принято решение, во-первых, насколько возможно, стремиться к сохранению аутентичности текстов; во-вторых, не перегружать сборник тяжеловесными подстраничными комментариями и давать их лишь в случаях крайней необходимости; в-третьих, снабдить издание справочным аппаратом, который поможет заинтересованному читателю разобраться в нюансах жизни и быта заключенных, в упомянутых выше ошибках и неточностях повествования.

К справочным материалам относятся: статьи, повествующие о разных периодах в истории Соловецкого монастыря и лагеря, справочники и указатели, где даются правильные написания топонимов и личных имен, а также приводятся соответствующие справки.

***

В завершение вступительной статьи члены редакционной коллегии хотят выразить благодарность всем участникам проекта и упомянуть еще одну стоящую перед ним задачу по объединению специалистов и всех неравнодушных людей, которым дорога история России и ее величайшей святыни — Соловецкого монастыря.

СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ В XV – НАЧАЛЕ XX В.

История Соловецкого монастыря берет свое начало в то время, которое принято называть золотым веком русской святости. Эпоха, когда Русь стала подниматься на борьбу с ордынским игом, явилась отправной точкой объединения раздробленной страны вокруг Москвы; тысячи и тысячи мудрых искателей Царствия Божия потянулись в дикие леса, призываемые монашеским подвигом. Вокруг лесных отшельников постепенно собирались ученики, пустынные места осенялись небольшими храмами, а уклад жизни в новых обителях чаще всего строился на основе строгого общежитийного устава, к тому времени уже почти забытого на Руси. В монастырях-общежитиях устанавливалось полное равенство между насельниками, они вместе молились в храме, имели общий стол, разумно делили между собой хозяйственные заботы. Главное же заключалось в том, что в таких монастырях, если духовно они были выстроены без изъяна, царствовал дух братской любви — начаток настоящей любви к Богу.

Ни раньше, ни потом ничего подобного в истории Русской Церкви не было. У основ этого монашеского движения, знаменующего собой пробуждение доселе скрытых духовных сил народа, стояла величественная фигура преподобного Сергия Радонежского. Новые монастыри становились центрами духовной, а затем культурной и хозяйственной жизни целых регионов, играя важную роль в освоении обширных и прежде почти безлюдных окраин страны.

Первым монахом на Соловках стал сподвижник ученика преподобного Сергия — преподобный Савватий. Желая увенчать свою долгую монашескую жизнь суровой аскезой и решающей битвой с духами зла (которые, согласно древнему монашескому преданию, обитают в пустынных и безлюдных местах), Савватий решил поселиться отшельником на необитаемом Большом Соловецком острове, затерянном в ледяных водах Белого моря. Собирался сделать он это в столь преклонном возрасте, что опытные люди отговаривали его от подобного шага, боясь, что в первую же сумрачную зиму на Соловках старик погибнет. В 1429 г., преодолев на небольшой лодке морское пространство, Савватий и его молодой ученик Герман добрались до острова, отыскали в северной его части удобное место, поставили там крест и крохотные келейки. Соловецкий лес стал для них тем, чем для египетских первоначальников монашества III—IV вв. была

пустыня. И если там отшельники принуждены были выносить зной и песчаные бури, то здесь — злые вьюги и морозы, не прекращавшиеся порой по полгода, а то и дольше. В эти зимние месяцы Соловки бывали совершенно отрезаны от материка полосой подвижных льдов.

В 1435 г., во время вынужденной отлучки своего товарища на материк, преподобный Савватий почувствовал приближение кончины. Он сумел добраться на карбасе до Большой земли и там почил, успев принять причастие из рук некоего игумена, пришедшего на берег Белого моря «посещения ради православных християн».

Вскоре преподобный Герман вернулся на Соловки с новым сопостником — монахом Зосимой, знатным уроженцем Новгородской земли, раздавшим все свое имущество нищим и возжелавшим пустыннической жизни. Именно вокруг этого человека, проведшего на Соловках более сорока лет, и сложилась монашеская община. Преподобный Зосима выбрал для монастыря то место, на котором он стоит и ныне, в средней части острова, на узком перешейке между удобной морской гаванью и полноводным озером. Со временем гавань станет называться бухтой Благополучия, а озеро — Святым. При игумене Зосиме в обители был принят общежитийный устав. Первый соловецкий храм — его появление на далеком и диком острове немало удивило тогдашнего новгородского архиепископа Иону (1458—1470) — преподобный и его ученики посвятили Преображению Господню.

Чтобы выжить на диком острове, братии приходилось много трудиться «ручным делом»: копать землю, валить лес, «сечь» дрова, выварить из морской воды соль, ловить рыбу, ходить на небольших судах по бурному и опасному морю, молоть привезенное с материка зерно (на Соловках оно не росло), печь просфоры и хлеб. Продиктованный суровой необходимостью, этот постоянный и напряженный телесный труд со временем наряду с молитвой и постом стал восприниматься иноками как один из спасительных подвигов. Однако заботы о создании монастыря и поддержании в нем жизни не заслоняли у его насельников главной цели удаления от мира — спасения через аскезу. Они подолгу молились в своих кельях и пахнущем сосновой смолой храме. Преподобный Зосима, а вслед за ним и многие из его учеников время от времени покидали монастырь, чтобы жить в одиночестве, и сооружали для себя келии.

Удивительно, но череда соловецких лесных отшельников, начавшаяся с преподобных Савватия и Германа, не прерывалась потом на протяжении всех пяти столетий дореволюционной истории обители. Некоторые из аскетов проводили в лесу безвыходно десятки лет, другие удалялись туда на какой-то срок, чтобы

потом вернуться к братии. Самые последние пустынники, скрывавшиеся в глухих местах архипелага, доживали свой век уже в то время, когда монастырь был закрыт и на островах утвердился Соловецкий лагерь особого назначения...

В 1468 г., через четыре десятилетия после появления на архипелаге первых монахов, власти Великого Новгорода передали начавшему строиться монастырю все Соловецкие острова с прилегающими промысловыми угодьями в море. Еще через десятилетие, когда произошло присоединение Новгорода к Московскому государству, эти права подтвердил великий князь Иван III. У обители стали появляться и первые материковые владения, пожалованные монастырскими доброхотами.

После кончины в 1478 г. преподобного Зосимы слава о соловецких первоначальниках как усердных небесных молитвенниках о нуждах людей стала быстро распространяться среди мирян, живших по берегам Белого моря. В монастырь потянулись паломники и трудники. Время от времени соловецкие книжники записывали с их слов удивительные рассказы о чудесной помощи преподобных Зосимы и Савватия погибающим в море или неизлечимо больным. В 1547 г. преподобные были причислены Русской Церковью к лику святых.

Растущий и набирающий силу Соловецкий монастырь постепенно становится своеобразной столицей Западного Беломорья — религиозным, административным и хозяйственным центром края. Подобное превращение небольшой общины аскетов в самую влиятельную после государства силу в огромном регионе было обусловлено самим ходом истории. Расположенный на дикой окраине страны, на малоосвоенной территории и потому вызывающий алчный интерес у соседей, монастырь вынужден взять на себя много немонастырских функций. Сильнее всего его влияние на Поморский Север ощущалось с середины XVI по середину XVII столетия. Этому способствовал высокий духовный авторитет соловецкой братии среди местного населения и неуклонный рост монастырской вотчины, постепенно включившей в себя значительную часть побережья Белого моря.

Воздействие монастыря на окружающие земли было многогранным и созидательным. Благодаря ему произошла окончательная христианизация края. Заслугой соловецких монахов была не только проповедь Христовой веры среди окрестных язычников, но и создание на берегах моря многочисленных храмов, вокруг которых налаживалась нормальная приходская жизнь православных христиан. Это имело для населения не только религиозное, но и важное психологическое значение. Теперь люди могли в своем собственном сельце крестить детей, исповедовать грехи, венчаться, отпевать усопших и хоронить их в освященной земле, люди приучались смотреть на здешние места не как на «чужеверную»

и дикую окраину Руси, а как на часть своего, освоенного мира. А это, в свою очередь, способствовало росту населения за счет притока переселенцев из более южных уездов страны.

В такой же степени быстрому заселению берегов Белого моря служила и хозяйственная политика Соловецкого монастыря. Надо отметить, что колонизация беломорского региона русскими и карелами началась еще в XI—XII вв., однако шла она медленно и трудно. Сельское хозяйство в этих холодных краях обильных плодов не приносило, а хозяйство промысловое (рыболовство, охота на морского и лесного зверя, солеварение) нуждалось для своего успешного развития в немалых вложениях и оживленных торговых путях. Продать рыбу, мех, кожу, ворвань, соль можно было только в более населенные южные регионы страны, а оттуда приходилось везти зерно и другие товары, необходимые для выживания на Севере.

Соловецкий монастырь, развивая свое вотчинное хозяйство, как раз и поспособствовал возникновению устойчивых торговых путей, что сделало занятие промыслами выгодным делом для крестьян, тем более что монастырские власти разными способами поощряли такую инициативу, а собственное хозяйство обители — самое передовое в крае — было отличным образцом для подражания. О масштабе монастырской экономики в пору его наивысшего расцвета могут свидетельствовать хотя бы такие цифры. Ежегодно монастырь продавал более двух тысяч тонн соли (в то время очень дорогой), а его морской флот включал 23 лодьи и 13 сойм (не считая менее крупных судов). О таком мощном торгово-промысловом флоте никто в России тогда не мог и мечтать.

Экономические возможности обители и умножившееся население Беломорья очень пригодились, когда в последние десятилетия XVI в. на Беломорье позарилась Швеция. Особенно напряженной обстановка в регионе была во время русско-шведских войн 1570—1583, 1590—1595 и 1610—1617 гг. Вражеские корабли не раз появлялись в акватории Белого моря, отряды противника поднимались по рекам и нападали на русские поселения от Колы до Сумы, жгли храмы и другие строения, уничтожали промысловые суда, убивали мирных жителей.

Значительную часть забот по обороне края государство переложило на монастырь, и соловецкой братии пришлось взять на себя еще одно несвойственное монахам занятие. Обитель создала в юго-западном Беломорье целую оборонительную систему. В нее вошла Соловецкая крепость, возведенная в 1578 г. в дереве, а в 1582—1596 гг. перестроенная в камне, и два береговых острога — Сумской (1582—1583) и Кемский (1590-е гг.). Работы по их строительству велись на средства монастыря, он же содержал и вооружал стрельцов, набираемых в своем

большинстве из монастырских крестьян. Численность объединенного гарнизона в самом начале XVII в. составляла всего около ста человек, к концу же Смутного времени (1605–1618) она выросла более чем в десять раз. Иногда на помощь соловецкому войску присылалась правительственная подмога. Стрельцам приходилось часто вступать в бой с противником, защищать береговые остроги и отгонять незваных гостей от поморских деревень. Напасть на неприступную Соловецкую крепость шведы так и не решились.

Разросшееся хозяйство, а потом и водворение на острове военных людей нарушало дух молитвенного уединения, которым так дорожили настоящие монахи. Среди монашеской братии даже стали появляться случайные люди, неготовые к многотрудной иноческой жизни. Тем не менее Соловецкий монастырь и в новых исторических условиях оставался твердыней веры. Паломники, во множестве добиравшиеся до Соловков, видели уставную строгость монастырской жизни. Соловецкие храмы поражали их своими размерами и красотой, а библиотека — обширностью имеющихся в ней книг и рукописей (соловецкие монахи не только хранили и переписывали книги, но и сами нередко брались за перо). Но главное было в том, что соловчане вновь и вновь представляли миру настоящих подвижников. Именно таких молитвенников, отмеченных «добрым житием», братия часто избирали себе в игумены, обнаруживая тем самым и свой собственный духовный настрой. Некоторые из этих игуменов со временем прославились как святые: Филипп, Иаков, Антоний, Иринарх, Маркелл. Умножалось и число отшельников. Соловецкие монахи основывали новые обители: преподобный Иов Ущельский — на Мезени, преподобный Дамиан Юрьегорский — на Илексе, преподобный Елеазар Анзерский — на соседнем с Большим Соловецким о-ве Анзер.

Среди подвижников той эпохи наиболее примечательна фигура святого Филиппа, возглавлявшего обитель с 1543 по 1566 г. Будущий игумен был выходцем из знатнейшей боярской семьи Колычевых (другая ветвь этого рода со временем даст начало царской династии Романовых). В возрасте тридцати лет он неожиданно для окружающих оставил столичную карьеру и тайно ушел на Соловки. Хотя молодой человек никому не рассказывал о своем происхождении, островные братия понимали, что новоначальный инок воспитывался не в крестьянской семье, и удивлялись, с какой готовностью он брался за самые тяжелые, явно непривычные для него работы. Успехи Филиппа в монашеском деле были столь очевидны, что он получил благословение на уход в лесную келью, где провел в одиночестве несколько лет в строгом посте и непрестанной молитве. Уединяться в своей пустыни он не прекратил и после того, как братия избрали его

настоятелем и он развил энергичную деятельность, преобразившую монастырь. В его игуменство остров впервые украсился каменными храмами, его далекие концы были соединены с монастырем дорогами, а десятки соловецких озер — каналами, обеспечивавшими братию почти неиссякаемым запасом гидроэнергии. Вырос монастырский флот, были созданы портовые сооружения, появились скотные дворы и собственное производство одежды и обуви, заработали скрипторий и иконописная мастерская и пр. При этом хозяйственные хлопоты отнюдь не были для игумена приоритетными перед собственно монашеской жизнью. Убежденный сторонник общежитийного устава, он требовал от братии строгого исполнения обетов и сам показывал ей пример, бывая, по словам автора жития, «на всяк день собеседник Богу».

В 1566 г. соловецкий игумен был вызван в Москву на церковный Собор и избран главой Русской Церкви — Митрополитом Московским и всея России. Не желая покидать Соловки и понимая, сколь тяжелый крест он возлагает на свои плечи, Филипп несколько раз отказывался от избрания. Страна переживала тогда не лучший период своей истории. За полтора года до избрания Филиппа царь Иван IV Грозный начал проводить кровавую политику «опричнины». Ни одобрить ее, чего государь втайне ждал от нового владыки, ни остаться к ней равнодушным Филипп не смог. Он стал заступаться за невинных, пытался вразумлять царя с глазу на глаз, убеждая его отказаться от беззакония, но тот упорствовал, и колесо казней раскручивалось все быстрее. И тогда митрополит решился на публичное выступление, решился один. Ни у кого не хватило смелости поддержать его. Прилюдно, при большом стечении народа святой дважды обличил злодеяния царя и напомнил ему о каре Господней, которая не минует его, если он не прекратит совершать преступления и не раскается в них. Бывший соловецкий игумен, закаливший свою душу в северной пустыни, осознавал, что смертельно рискует. Но понимал он и другое: промолчав, безучастно оставив свою паству погибать, он рискнет бо**л**ьшим — своей бессмертной душой, ради спасения которой он однажды ушел из мира...

После суда, учиненного Иваном Грозным, Филипп был сведен с кафедры и отправлен под надзор в тверской Отроч монастырь. В 1569 г. по приказу царя его убил там Малюта Скуратов. Очень скоро на Соловках, а затем и по всей стране началось почитание святителя как мученика. В XVII в. святитель Филипп был официально канонизирован.

С середины XVII в. Соловецкий монастырь вступил в полосу серьезных потрясений. Первым из них стала церковная реформа 1650-х гг., вошедшая в историю с именем патриарха Никона, но совершенная по воле царя Алексея

Михайловича. Реформой оказались затронуты лишь отдельные аспекты богослужебного обычая Русской Церкви, однако ее противники увидели в ней отход от истинного благочестия и даже заподозрили авторов нововведений в сознательном стремлении «испортить веру». На дворе был «бунташный» XVII в. — век перемен, порождавший немало страхов, беспокойств и искушений. Многие думали, что на земле вот-вот явится антихрист и следом за тем начнется конец света. Через призму этой страшной перспективы они и предлагали взглянуть на патриаршьи нововведения.

В числе противников реформы оказалась и большая часть соловецкой братии, поддержанная крестьянами из поморских деревень. Непокорность соловецких старцев, на которую сначала в Москве почти не обратили внимания, постепенно начала вызывать у царя все больший гнев. В 1667—1668 гг. он повелел отобрать у монастыря все его вотчины и послал против него войско. Началась осада — знаменитое Соловецкое сидение. В первые годы царские стрельцы действовали не очень активно. Все изменилось, когда в 1674 г. командиром стрельцов был поставлен стольник И. А. Мещеринов, получивший более жесткие инструкции. Он начал осаду обители по всем правилам войны — с артиллерийскими обстрелами, штурмами, подкопами. Защитники монастыря стали активно обороняться. Кровь, и немалая, пролилась с обеих сторон и в первый раз обагрила соловецкую землю. Взять монастырь стрельцам удалось только с помощью перебежчика, указавшего тайный ход в стене. Случилось это в 1676 г.

Трагические события 1668—1676 гг. нанесли островному монастырю страшный урон. После «сидения» почти полностью обновились братия, а значит, и ослабло живое духовное преемство, связывавшее соловчан со святыми основателями обители. Хотя обители было возвращено конфискованное во время восстания имущество, монастырское хозяйство пришло в сильное расстройство. Изменилось и отношение к монастырю жителей некоторых северных деревень — тех, где нашли приют старообрядцы. Конечно, они не перестали почитать соловецких преподобных и даже верили, что сонм соловецких угодников Божиих пополнился страдальцами, умученными лютейшим Мещериновым. Однако монастырь стал теперь для них чужим — никонианским.

Вторую волну испытаний обители принес XVIII век, когда русские монархи начиная с Петра I стали проводить по отношению к монастырям жесткий ограничительный курс. Монастырские доходы были поставлены под контроль государства, которое значительную их часть забирало себе. Центральные власти постоянно вмешивались во внутреннюю монастырскую жизнь, подвергая чиновничьей регламентации даже всегда находившиеся в ведении монастырского

священноначалия стороны, управлявшиеся «с духовным рассуждением». Отшельничество и «скитки пустынные» были запрещены. По новым правилам настоятели монастырей не могли даже сами решать, достоин ли человек принять монашеский постриг, и были обязаны вести по этому поводу длительную переписку с начальством. Своими установлениями Петр резко ограничил круг возможных претендентов на монашескую мантию и в какой-то момент попытался оставить это право только за военными, отправленными в отставку по старости или из-за увечья. По указу императрицы Анны нарушителей подобных указов расстригали и подвергали телесному наказанию, а настоятель, совершивший незаконный постриг, осуждался на пожизненную ссылку. Если бы преподобный Зосима или святитель Филипп жили в ту эпоху, путь в монашество им был бы закрыт. Лишь через полтора десятилетия после смерти Петра такого рода ограничения были частично сняты, что, впрочем, не означало принципиального изменения государственного курса, ведущего к людскому, материальному, а нередко и духовному оскудению многих православных обителей. Реформы неблагоприятно сказались и на Соловецком монастыре.

Венцом данной политики явилась секуляризация церковных владений в начале царствования Екатерины II. В 1764 г. государство присвоило себе (конфисковало) все земли и хозяйственные заведения Церкви, собиравшиеся и создававшиеся ею на протяжении столетий. Взамен обители получали от государства скромное содержание. Но не все. Большинство русских монастырей, особенно некрупных, Екатерина распорядилась попросту закрыть. В черный список попали сотни иноческих общин. Число монашествующих в стране сократилось в результате реформы более чем вдвое. В одночасье лишился своих материковых вотчин и Соловецкий монастырь (за которым, правда, все же оставили одноименные острова). Интересно, что это привело к новому кризису не только в хозяйстве самой обители, но и в хозяйственной жизни теперь уже бывших соловецких крестьян, лишившихся монастырского покровительства. Обеим сторонам предстояло научиться жить по-новому.

Лишь в последние десятилетия XVIII в. в некоторых русских монастырях началось постепенное возрождение древних аскетических традиций. Большую роль в возникновении этого процесса сыграл преподобный Паисий Величковский, живший долгое время на Афоне и затем возглавивший две большие монашеские общины в Молдавии. Ученики и собеседники великого подвижника разошлись по многим русским обителям, неся с собой полузабытый идеал «высокого жития» и способствуя восстановлению строгих общежительных уставов. Появились они и на Соловках. С 1793 по 1796 г. соловецкую братию возглавлял архимандрит

Герасим (Ионин), постриженник преподобного Паисия, приложивший немало усилий для возобновления в монастыре киновии (общежития). Тем инокам, которые не желали подражать святым основателям монастыря и подчиняться заведенному ими уставу, он даже предлагал поискать для себя новую обитель.

Еще раньше на острове появился другой ученик Паисия, монах Феофан, прославившийся своим долгим отшельничеством в окрестностях г. Кеми и сподобившийся на склоне лет дара прозорливости. Последние годы Феофан доживал на о-ве Анзер, куда к нему за духовной беседой и мудрыми наставлениями приходили соловецкие монахи и миряне. И, надо сказать, старец Феофан был не единственным соловецким иноком в XIX в., прославившимся своей святой жизнью.

Паломники, побывавшие на островах в предреволюционные десятилетия, в своих записках хвалят крепость веры соловецких монахов, их «серьезный вид», преданность преподобным, «строгую простоту и благолепие ни для кого не сокращаемой службы». Один из богомольцев, посетивший острова в самом конце XIX в., настолько проникся монастырским духом Соловков, что назвал их «самым целомудренным местом на святой Руси». В XIX — начале XX в. на Соловки приезжали тысячи паломников, причем поток их постоянно возрастал. Особенно увеличился он после того, как в 1854 г. английские военные корабли во время Крымской войны попытались силой захватить Соловецкую крепость (тогда уже давно разоруженную), но вынуждены были бесславно уйти прочь. Многие увидели в этом явный знак Божия благоволения к святому месту, свидетельство неиссякающей молитвенной силы преподобных основателей монастыря. В век распространившегося нигилизма подобные свидетельства воспринимались верующими очень горячо.

Посещение островов паломниками было возможно только в теплое время года, но и за эти месяцы они успевали ощутимо поддержать монастырь своими пожертвованиями. При этом, как и в старину, богомолье на Соловки мог совершить практически каждый: в течение трех дней заботу о ночлеге и трапезе гостей монастырь полностью брал на себя. Бедному паломнику билет на монастырское судно давали за полцены или вообще бесплатно, а самых немощных при отъезде из обители снабжали еще и одеждой из монастырских запасов.

Привычка и любовь к телесному труду, неизменно сохранявшиеся среди соловецкой братии с незапамятных времен, помогли ей после секуляризации 1764 г. сравнительно быстро перестроить монастырскую экономику. За несколько десятилетий на островах архипелага было создано множество новых производств и служб, обеспечивавших монастырь почти всем необходимым и достигших своего наибольшего развития к началу XX в. В это время монастырь обладал налаженным

аграрным хозяйством с фермой, конюшнями, пастбищами, сенокосами, огородами, теплицами и даже ботаническим садом. В соловецких тонях (прибрежных становищах) ловили рыбу и охотились на морского зверя, а монастырские суда отправлялись на промысел в другие районы моря, достигая далекого Мурмана.

Обитель занималась судостроением, братия сами ремонтировали и обслуживали свой флот, используя для этого прославившийся на все Белое море уникальный водоналивной док, заложенный в конце XVIII в. В 60-е гг. XIX в. на Соловках появились собственные пароходы для перевозки паломников. Действовали при монастыре и разнообразные производства — свечное, гончарное, кирпичное, лесопильное, кузнечное, каменотесное, кожевенное, смолокуренное, салотопенное, а также имелись мастерские — иконописная, кресторезная, переплетная, серебряных дел, литейная, слесарная, малярная, столярная, корзинная, бондарная, санная, колесная, сетная, сапожная, портняжная и др. Кроме того, между озерами Большого Соловецкого острова были проложены судоходные каналы, а незадолго до революции у самых стен обители появилась гидроэлектростанция. В 1897 г. монастырю был передан необитаемый Кондостров в Онежской губе Белого моря, где в течение нескольких лет тоже образовалось цветущее и посоловецки рациональное скитское хозяйство. В 1908 г. на Кондострове освящен большой деревянный храм во имя святителя Николая Мирликийского.

В монастырской экономике были заняты как сами монашествующие (включая старшую братию), так и приезжавшие на Соловки миряне. Причем наемные работники, которым монастырь выплачивал жалованье, составляли среди них меньшинство. Как и в прежние времена, преобладали трудники, захотевшие поработать «на преподобных» безденежно. Обычно трудник жил на Соловках год, но мог оставаться и дольше. Монастырь давал ему кров, одевал, кормил, разрешал пользоваться библиотекой. Специально для трудников в монастыре было создано несколько ремесленных школ (включая живописную), а для мальчиков-трудников — их число обычно не превышало сто-двести человек в год — еще и особое детское училище, открытое в 1859 г. По свидетельству современников, отношение к трудникам со стороны братии было очень дружелюбным, даже братским. Эти братские чувства подпитывались и тем, что и среди монашествующих, и среди трудников большинство составляли крестьяне северных губерний России. Перед революцией Соловецкий монастырь был «мужицкой обителью», или, как говорили сами монахи, «крестьянским царством».

Вряд ли кто из трудников или паломников, побывавших на Соловках в самом начале XX в., мог предположить, что дни прославленной обители уже сочтены. Между тем и монастырь, и страну, для которой он сделал так много хо-

рошего, уже ожидали страшные испытания. Первые раскаты грома прогремели на Соловках еще за несколько лет до революции 1917 г., когда гибельный дух разделения и вражды, все более подчинявший себе Россию, проник за крепкие стены монастырской ограды и породил волну нестроений в среде монашеской братии, волну взаимных обид, подозрений и даже жалоб столичному начальству.

Соловецкое «царство» пережило царство Российское всего на три года. В 1920 г. в Архангельске установилась советская власть, которая к этому времени уже показала свое истинное лицо: в стране шли гонения на верующих и инакомыслящих. Одним из первых деяний новой власти на Севере стало закрытие Соловецкого монастыря. На острова прибыла комиссия Губревкома, приступившая к «изъятию» монастырских ценностей, запасов продовольствия и прочего имущества. Настоятель монастыря архимандрит Вениамин (Кононов), пытавшийся сдерживать грабителей, и иеромонах Никифор (Кучин) были арестованы. На свободу они вышли только в 1922 г., потом несколько лет прожили в Архангельске, а летом 1926 г. решили искать полного уединения вдали от людей. По примеру соловецких пустынников они поселились в лесу, на берегу глухого Волкозера в шестидесяти километрах от города. Однако их отшельничество оказалось недолгим. Двое местных парней отыскали лесную келью. Надеясь присвоить будто бы укрытое настоятелем «монастырское золото», они напали на отшельников и заживо сожгли их. Случилось это в 1928 г.

После официального закрытия монастыря в 1920 г. часть братии ушли на материк, но несколько десятков монахов и послушников, приблизительно двести человек, не захотели бросить святое место. Устроившись вольнонаемными работниками в различные организации, созданные новой властью на Соловках, они продолжали вести монашескую жизнь, собирались для общей молитвы и даже принимали в свою среду новых братьев, совершая над ними постриг. Этот тайный монастырь существовал еще около десяти лет, не исчезнув до конца и тогда, когда архипелаг был окончательно передан в ведение специальных органов, создавших на нем концлагерь. И лишь в начале 1930-х гг. последних монахов выдворили с Соловков.

История Соловецкого монастыря — одного из главных духовных центров России — остановилась ровно через пять столетий после того, как первые монахи ступили на эту святую землю.

СОЛОВЕЦКИЙ ЛАГЕРЬ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Соловецкий лагерь, действовавший на территории бывшего монастыря с начала 1920-х до конца 1930-х гг., занимает особое место в истории XX века. Соловки — не только символ, известный далеко за пределами России, но и место, где сформировалась система принудительного труда, впоследствии распространившаяся на всю страну.

Уже на следующий день после прихода к власти партии большевиков для управления судебной системой нового государства декретом «Об учреждении Совета Народных Комиссаров» (СНК) был создан Народный комиссариат юстиции (НКЮ). Спустя полтора месяца, 20 декабря 1917 г. для защиты Советской власти СНК образовал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Вместе с революционными трибуналами и военно-революционными комитетами комиссия стала основным органом внесудебных расправ. Помимо прочего, в 1918 г. ВЧК было предоставлено право организовывать концентрационные лагеря для изоляции в них классовых врагов, которые отправлялись в места заключения без суда и следствия.

Таким образом в России возникли две параллельные системы формирования мест лишения свободы и контроля над ними: общая, находившаяся в ведении НКЮ, и чрезвычайная, подведомственная ВЧК. К этому можно добавить, что в годы Гражданской войны карательную политику Советского государства, помимо упомянутых структур, осуществляло еще и Главное управление принудительных работ (ГУПР) при Народном комиссариате внутренних дел (НКВД) РСФСР.

В 1922 г. тюремные учреждения НКЮ были переданы Главному управлению мест заключения (ГУМЗ) при НКВД РСФСР. В том же году в связи с упразднением ВЧК было создано Государственное политическое управление (ГПУ) при СНК РСФСР, реорганизованное 15 ноября 1923 г. в Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР, в недрах которого со временем было сформировано известное на весь мир Государственное управление исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ).

Само это название появилось осенью 1930 г., когда созданное весной того же года Управление исправительно-трудовых лагерей (УЛАГ) при ОГПУ СССР получило статус Главного управления. Его появлению, равно как и появ-

лению самой централизованной системы управления лагерями, предшествовало Постановление СНК СССР от 11 июля 1929 г. об использовании труда заключенных. Согласно документу в стране появились два вида исправительно-трудовых учреждений: исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ) при ОГПУ СССР, предназначенные для осужденных на срок лишения свободы, превышающий три года, и исправительно-трудовые колонии (ИТК) при республиканских НКВД, для осужденных на срок до трех лет.

***

Переходя непосредственно к истории Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН)[1], необходимо вспомнить о событиях первых послереволюционных лет, когда на севере России существовало демократическое правительство Северной области, которому оказывали помощь правительства стран Антанты. В рамках этой поддержки на архипелаге до 1920 г. дислоцировались английские военные моряки, солдаты сербского отдельного корпуса и финские белогвардейцы. Монастырь при этом продолжал действовать, его посещали паломники.

В феврале 1920 г. войска Рабоче-Крестьянской красной армии (РККА) заняли Архангельск, а 29 апреля на Соловки, где на тот момент проживал 571 насельник[2], прибыла Особая комиссия в составе М.С. Кедрова, С.К. Попова и М. Морозова. Представители Советской власти объявили братии о национализации земель и зданий обители. Желающих покинуть монастырь с началом навигации вывезли на материк.

В мае 1920 г. монастырь закрыли[3], посещение островов архипелага было запрещено. 20 мая того же года в целях изоляции белогвардейцев и лиц, осужденных на принудительные работы, был организован Соловецкий лагерь, возглавлять который назначили сотрудника Архангельской губернской ЧК С. А. Абакумова[4]. Охрана лагеря состояла из 20–40 красноармейцев; узники, которых было немногим более 300 человек, занимались строительством и ремонтом дорог, осушали болота. В пользование лагеря были переданы также кожевенный и лесопильный заводы, но начальство не смогло эффективно

[1] В 1923–1929 гг. встречаются разные названия лагеря: 1. Лагерь принудительных работ ГПУ на Соловецких островах. 2. Соловецкие лагеря Особого назначения ГПУ. 3. Соловецкий лагерь принудительных работ особого назначения ГПУ. 4. Соловецкий лагерь особого назначения ГПУ. 5. Соловецкие концентрационные лагеря ОГПУ (См.: Сошина А.А. Материалы к истории лагеря и тюрьмы на Соловках (1923–1939 гг.) // Соловецкое море. 2010. № 9. С. 122).

[2] В это число входили: 2 архимандрита, 2 игумена, 3 иеросхимонаха, 51 иеромонах, 1 иерей, 1 архидиакон, 26 иеродиаконов, 154 монаха, 6 схимонахов, 154 послушника и 171 трудник (Национальный архив Республики Карелия (НА РК), ф. 205, оп.1, д. 7/143. л. 8–11).

[3] Шубин А. Закрытие, изъятие, сокрытие: Ликвидация Соловецкого монастыря и национализация его имущества) // Соловецкий вестник. Архангельск, Соловки, 2006. Вып. 3. С. 188.

[4] Там же.

организовать труд заключенных. Зимой 1920 г. ежедневно оставались без работы до 80 человек.

14 июля 1920 г. Архангельский губисполком принял решение о введении на Соловках режима особого управления и в связи с этим об организации Управления Соловецкими островами — коллегиального органа под председательством Уполномоченного Архангельского губисполкома А. В. Варганова. Богослужения в храмах и часовнях монастыря были запрещены. Братии оставили для служб кладбищенскую Онуфриевскую церковь.

Одновременно с созданием лагеря, в мае 1920 г., на островах архипелага был организован совхоз «Соловки»[5], которому передали все хозяйство монастыря. Изначально предполагалось, что работники будут вербоваться из членов коммун и артелей, созданных на территории Архангельской губернии, а также из граждан, изъявивших желание трудиться на Соловках. Допускалось принимать на работу в совхоз и насельников Соловецкой обители при условии их добросовестной работы. На деле именно из них комплектовался основной штат хозяйства, при этом среди работников числились и другие сотрудники (даже женщины с детьми), а также заключенные.

В связи с постепенным развалом советскими органами управления монастырского хозяйства, а также с сокращением численности братии уменьшалась и продукция совхоза, в результате чего периодически вставал вопрос о ликвидации хозяйства[6].

Согласно Постановлению СНК СССР от 13 октября 1923 г., по другим данным от 2[7] или 23 октября[8] 1923 г., был организован СЛОН[9], куда в начале лета перевели заключенных из Северных лагерей принудительных работ — Архангельского, Холмогорского и Пертоминского[10].

Ярким событием этого периода стал пожар 1923 г., который начался в ночь с 25 на 26 мая, продолжался трое суток и повредил практически все постройки, расположенные на территории центрального монастырского дворика. Официально причины и виновников возгорания установить не удалось[11]. Однако предположение некоторых мемуаристов о причастности к этому событию пред-

---

[5] ГААО, ф. 105, оп. 3, д. 81, л. 44 об.

[6] Окончательно расформировали совхоз 16 июня 1923 г. // Новые Соловки. 1925. 7 июня. С. 3.

[7] Сошина А.А. Указ. соч. С. 123.

[8] Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960: Справочник / Сост. М.Б. Смирнов; под ред. Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. М., 1998. С. 394.

[9] См.: Постановление СНК СССР [Об организации Соловецкого лагеря принудительных работ особого назначения ОГПУ] // ГУЛАГ – Главное управление лагерей, 1918–1960 / Под ред. акад. А.Н. Яковлева; Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М., 2000. С. 29–30.

[10] См.: Доклад заместителя начальника Спецотдела при ГПУ А. Гусева и зам. начальника Управления Северными лагерями Балышева заместителю Председателя ГПУ Г. Г. Ягоде о состоянии Северного концлагеря на Соловецких островах на 1 сентября 1923 г. // http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1000698.

[11] См.: Зорин Соловецкий пожар 1923 года // Соловецкие острова. 1926. № 7. С. 39–51.

ставителей советской власти, возможно, стремящихся к сокрытию следов хищений, не лишены оснований.

В первые годы администрацию Соловецкого лагеря возглавляли штатные сотрудники ОГПУ. Самыми известными из них были А. П. Ногтев и Ф. И. Эйхманс.

Охрана Соловецкого архипелага, доставка заключенных и их конвоирование на работу, а также поиск бежавших из лагеря были возложены на 95-й особый дивизион. Военное подразделение было сформировано в Петрограде в июле 1923 г. и спустя месяц в составе 679 бойцов прибыло на Соловки[12]. В 1926–1928 гг., уже как Соловецкий особый полк (СОП) ОГПУ Ленинградского округа, а затем как 4-й особый полк, эта военная часть входила в состав Отдельной дивизии особого назначения им. Ф. Э. Дзержинского при Коллегии ОГПУ.

Внутренняя охрана (надзиратели, старосты, дежурные по отделениям, ротам и командировкам) осуществлялась командой «Надзора», формировавшейся из осужденных членов партии, чекистов, красноармейцев и уголовников. Эти люди получали спецпаек и небольшую зарплату, а при положительной характеристике могли рассчитывать на досрочное освобождение. Многие из них отличались особой жестокостью по отношению к заключенным. В 1928 г., после вывода СОПа за пределы архипелага, охрана лагеря была возложена на военизированную охрану (ВОХР), которая в основном набиралась из числа осужденных.

До 1929 г. главные административные подразделения СЛОНа находились непосредственно на островах архипелага, где базировалось пять отделений лагеря: I – Кремлевское, II – Савватьевское, III – Муксалмское (с 1927 г. командировка кремлевского отделения), IV – Секирное (штрафное), VI – Анзерское.

Кроме того, до 1929 г. существовало V отделение на Кондострове, а также Кемский пересыльно-распределительный пункт (Кемперпункт), откуда в период навигации заключенных пароходами отправляли на Соловки, и аналогичный пункт в Архангельске, который был закрыт в середине 1920-х гг.[13]

В 1920-х гг. в состав I отделения входила территория Соловецкого монастыря, который в лагерное время называли Кремль, и окружающего его поселка. Здесь содержалось до половины всех заключенных[14], а также находились управление

[12] Новые Соловки. 1925. 22 июня. С. 1.

[13] Начиная со второй половины 1920-х гг. Соловецкие острова как особое отделение входили в более крупные лагерные объединения. При этом структура Соловецкого отделения складывалась из лагерных пунктов, командировок (временных поселений, организованных для выполнения определенных видов работ), колоний и т. д. С образованием в 1937 г. Соловецкой тюрьмы ГУГБ и переводом ее в непосредственное подчинение наркому НКВД на Соловках вновь возникли отделения: I – Кремлевское, II – Савватьевское (включившее Секирную гору), III – Муксалмское, IV – Анзерское, V – Морсплав, которое располагалось вблизи Кеми.

[14] Материалы к историко-географическому атласу Соловков: Две карты Соловецких островов лагерного периода / А. Мельник, А. Сошина, И. Резникова, А. Резников // Исторический альманах «Звенья». М., 1991. Вып. 3. С. 310.

лагеря и его административные подразделения, военный городок с казармами для солдат, домами для командиров и подсобными службами.

В I отделении было 15 рот, отличавшихся по составу заключенных и видам выполняемых ими работ. Самые ценные специалисты и сотрудники администрации из числа заключенных проживали в трех первых ротах, находившихся в Южном дворике монастыря, в Новобратском и Прачечном корпусах. 4, 5 и 7-я роты базировались в Благовещенском корпусе. В них жили музыканты, артисты и подсобный персонал театра, пожарники, сотрудники лазарета, банщики, парикмахеры, дезинфекторы, т. е. заключенные, которые занимались внутренними работами — обслуживали других арестантов и администрацию лагеря. 6-я рота называлась «сторожевой» и размещалась в Святительском корпусе. В основном в ней проживало духовенство. В Казначейском корпусе находились 8-я и 9-я роты. 8-я рота (общих хозяйственных работ) состояла из уголовников, осужденных за бытовые преступления. В 9-й роте содержались заключенные, занимавшие посты в тех подразделениях лагерного управления, в которые контрреволюционеры не допускались. Здесь преобладали хозяйственные и партийные работники, осужденные за служебные преступления.

В Наместническом корпусе располагалась 10-я (счетно-канцелярская) рота. В ней содержались в основном представители интеллигенции и дворяне, из которых набирались канцелярские работники, специалисты и медицинский персонал. В Успенской церкви, Трапезной и Келарской палатах размещались 11-я и 12-я роты, состоявшие преимущественно из «шпаны» и рецидивистов. 12-я рота была ротой заключенных, которые выполняли общие работы, а 11-я называлась «ротой отрицательного элемента» (РОЭ): из нее заключенных обычно отправляли в штрафной изолятор на Секирной горе.

13-я, «карантинная» рота до 1930 г. находилась в Троицком соборе, 14-я — («рота запретников») в Южном дворике монастыря, где содержались узники, которым по разным причинам запрещалось общаться с другими заключенными. Самой многочисленной была 15-я (сводная) рота. Половина ее состава проживала в разных ротах внутри Кремля, а другая половина в 1927 г. была размещена в стандартных рубленых бараках, построенных к югу от монастырских стен. В этой роте содержались рабочие заводов и мастерских, действовавших в I отделении.

В Савватьеве до лета 1925 г. существовал политизолятор для членов социалистических партий; здесь находились правые и левые социалисты-революционеры, меньшевики и анархисты. Впоследствии Савватьевский скит стал центром лесозаготовок, а в 1930-х гг. там действовал один из сельхозов, который наряду с другими подобными хозяйствами специализировался на осуществлении живот-

новодческой и сельскохозяйственной деятельности. С 1937 г. Савватьево стало подразделением Соловецкой тюрьмы.

На Секирной горе, в здании Вознесенской церкви, был устроен мужской штрафной изолятор. Там же расстреливали заключенных.

В состав II отделения входило Исаково. Бывший скит являлся также центром лесозаготовок, позднее там находился сельхоз. В Филипповой пустыни действовал биосад, а позднее в 1934—1936 гг. лаборатория Йодпрома.

В Макарьевской пустыни также находилось отделение биосада, в котором, как и в монастырское время, выращивались овощи и цветы, а силами сельхоза производились опыты по выращиванию различных сельскохозяйственных культур[15]. Здесь же располагалась резиденция начальника лагеря.

На территории Большого Соловецкого острова существовало до 30 командировок, где осуществлялись: лесозаготовки, торфоразработки, производство кирпича, рыбная ловля, сельхозработы, заготовка водорослей, производство йода, разведение пушного зверя. Самые значительные из командировок: Кирпичный завод, Филимоново, Старая и Новая Сосновая, Реболда, Пушхоз, Торфогородок.

На Муксалме находился основной лагерный сельхоз со скотными дворами, обширными огородами и парниками, на море велась добыча морских зверей и рыбы. С 1937 г. на Муксалме организовали отделение Соловецкой тюрьмы.

На Кондостров отправляли больных заразными (прежде всего венерическими) болезнями и так называемых «отказников» (заключенных, отказывавшихся от общих физических работ), а в 1924 г. — студентов, не желавших примкнуть к той или иной политической партии. На Анзере были собраны пожилые заключенные и доходяги. В 1928—1930 гг. на территории расположенного на Анзере Голгофо-Распятского скита находился тифозный госпиталь. На Большом Заяцком острове действовал женский штрафной изолятор.

Количество узников в лагере до 1931 г. постоянно росло. Так, на 20 сентября 1923 г. число заключенных, прибывших на Соловки из Северных лагерей, составляло 3049 человек[16]. Из них женщин было 335 человек, членов антисоветских партий — 331, в том числе анархистов — 36 человек, меньшевиков — 75, правых эсеров — 141, левых эсеров — 34, монархистов и кадетов — 4, духовенства — 40, интеллигенции — 1 человек[17].

В последующие годы численность заключенных по кварталам распределялась следующим образом: 1924 г.: I кв. — 3531 человек, II кв. — 3741, III кв. —

---

[15] Материалы к Историко-географическому атласу Соловков. С. 314.

[16] Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. С. 395.

[17] Там же.

4145, IV кв. — 5044 человека; 1925 г.: I кв. — 5872 человека, II кв. — 6369, III кв. — 7093, IV кв. — 7727 человек; 1926 г.: I кв. — 8289 человек, II кв. — 8741, III кв. — 9578, IV кв. — 10682 человека; 1927 г.: I кв. — 10943 человека, II кв. — 11 831, III кв. — 13326, IV кв. — 14810 человек; 1928 г.: I кв. — 12909, на 1 апреля — 13366 человек[18].

По другим сведениям, на 1 октября 1926 г. в лагере находилось 9830 человек, из них на Соловецких островах — 6753 человека, на материке — 3077 человек; на 1 октября 1927 г. — 12 896 человек, из них на островах архипелага — 7445, на материке — 5451 человек. С 1 октября 1926 г. по 1 октября 1927 г. в лагере умерло 728 заключенных[19].

Согласно имеющимся данным, среднегодовая численность заключенных в 1928—1929 гг. составляла 21 900 человек, в 1929—1930 гг. — 65000 человек (вместе с материковыми командировками)[20].

На 1 января 1930 г. эта цифра достигала 53123 человека (вместе с материковыми командировками)[21], на 1 марта того же года — 57325 человек (вместе с материковыми командировками), из них непосредственно на Соловках находилось 15 834 человека[22], всего же на начало лета 1930 г. в лагере числилось 63000 осужденных (вместе с материковыми командировками)[23], из них непосредственно на Соловках — около 10000 человек[24].

Самое большое число заключенных приходилось на 1 января 1931 г. и составляло 71800 человек (вместе с материковыми командировками), из них — 3240 женщин[25]. Но уже к 1 декабря 1931 г. число оставшихся на островах узников после переброски основной рабочей силы на строительство Беломорско-Балтийского канала (ББК) снизилось до 5156 человек[26].

В 1932 г. среднегодовая численность заключенных составляла 15130 человек[27], по другим данным — 15800[28], а в 1933 г. — 19287 (вместе с материковыми командировками)[29].

Согласно другому источнику, 1 марта 1932 г. на островах архипелага содержалось 4032 человека. Из них рабочих — 956 человек, крестьян — 2470 человек,

---

[18] Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. С. 395.
[19] Сошина А. А. Указ. соч. С. 130—131.
[20] Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. С. 395.
[21] Там же.
[22] Поморский мемориал. Архангельск, 1999. Т. 1. С. 12.
[23] Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. С. 395.
[24] Там же.
[25] Там же.
[26] Сошина А. А. Указ. соч. С. 130—131.
[27] Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. С. 395.
[28] Там же.
[29] Там же.

в том числе батраков — 431 человек, бедняков — 883, середняков — 819, кулаков — 331, советских служащих — 187, кустарей — 41, членов ВКП(б) и бывших сотрудников ОГПУ — 342, нэпманов — 61, духовенства — 144, прочих — 53 человека, а также еще около 200 не вошедших в статистику заключенных[30].

Исходя из имеющихся на сегодняшний день статистических данных, не представляется возможным назвать точное число соловецких узников. По приблизительным подсчетам речь может идти о 80000 заключенных[31].

Не менее сложно определить и процент смертности заключенных. Официальные документы из государственных архивов РФ определяют число умерших на Соловках в 1923–1933 гг. в 7500 человек[32]. Иные цифры приводятся в воспоминаниях соловчан. Так, М. М. Розанов писал о том, что на Соловках погибло не менее 43000 человек[33].

Большинство людей умирали от болезней. Особенно много жизней унесли цинга и тиф[34]. Остальные заключенные ушли в общие могилы от последствий непосильной работы и всей лагерной обстановки: обморожений, самоувечий, побоев, отсутствия нормального питания и отопления. Тысячи были расстреляны или просто пристрелены конвоирами.

Подневольное население Соловков состояло из разных социальных, национальных и возрастных групп. Сохранившиеся документы не дают возможности проследить изменение сословного, партийного и этноконфессионального состава заключенных за все время существования Соловецкого лагеря.

Известно, что на 1 октября 1927 г. среди 12896 осужденных (7445 человек находились на островах, 5451 — на материке) было 11700 мужчин и 1196 женщин, в первую очередь крестьян — 8711 человек, затем мещан — 2504, рабочих — 629, дворян — 372, казаков — 344, почетных граждан — 213, лиц духовного звания — 119 человек и др. Абсолютное большинство заключенных составляли русские — 9364, затем шли евреи — 739, далее белорусы — 502, поляки 353 (самая представительная группа иностранцев) и украинцы — 229 человек. Всего в лагере находились лица 48 национальностей. Основную массу соловчан составляли молодые люди от 20 до 30 лет, их насчитывалось 5692 человека, причем значительное число узников (2040 человек) не достигли 20-летнего возраста.

---

[30] ГУЛАГ в Карелии: Сб. док. и материалов, 1930–1941 / Сост. А. Ю. Жуков, В. Г. Макуров, И. Г. Петухова; науч. ред. В. Г. Макуров. Петрозаводск, 1992. С. 28.

[31] Розанов М. М. Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939: Факты – Домыслы – «Параши»: Обзор воспоминаний соловчан соловчанами: В 2-х кн., 8-ми ч. США, 1979. Кн. 1. С. 119.

[32] Статистика ГУЛАГа – мифы и реальность // Исторические чтения на Лубянке. Новгород, 2001.

[33] Розанов М. М. Указ. соч. С. 119.

[34] Случаи заболевания тифом встречались с самого начала существования лагеря, но эпидемия началась в 1927 г. и закончилась в 1930 г. // ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2918; ОДСПИ ГААО, ф. 5715, оп.1, д. 15, л. 85.

Более 90% заключенных являлись беспартийными — 11906 человек, к бывшим членам ВКП(б) относился 591 человек, ВЛКСМ — 319. Среди осужденных находилось и 485 бывших сотрудников органов ВЧК и ОГПУ.

По сроку наказания заключенные распределялись следующим образом: до 3 лет — 10 183 человек, 3—5 лет — 1101, 5—7 лет — 88, 7—10 лет — 1292 человека. Больше всего осужденных попало на Соловки за принадлежность к социально вредным и опасным элементам — 5805 человек, контрреволюционную деятельность — 1586, бандитизм — 1441, шпионаж — 1015, фальшивомонетничество — 840, преступления против порядка управления — 754[35].

Осужденные делились на несколько больших групп: «политики» (члены социалистических партий и анархисты); контрреволюционеры, или каэры, в том числе представители духовенства, аристократии, казаки, осужденные внесудебным порядком по целому ряду контрреволюционных статей (58—73) УК РСФ 1922 г. и ст. 58 УК РСФ редакции 1926 г.; уголовники.

Представители политических партий были первыми заключенными, прибывшими на Соловки в июне 1923 г. Всего на острова привезли до 400 «политиков», половина которых была доставлена из Пертоминского лагеря. Они содержались в «политскитах» на островах Большая Муксалма и Анзер, но больше половины (около 250 человек) находились в Савватьеве. «Политики» имели особые привилегии: не работали, свободно общались друг с другом, имели свой орган управления (старостат), получали помощь от международных организаций. В конце 1923 г. ОГПУ попыталось ужесточить режим их содержания. 19 декабря 1923 г. на прогулке в Савватьеве были убиты шестеро и ранены трое эсеров и анархистов. Этот расстрел, описанный зачастую со значительными искажениями во многих мемуарах, получил широкую огласку в мировой печати.

В конце сентября — начале октября 1924 г. на Соловки приехала комиссия в составе прокурора Верховного суда СССР П. А. Красикова, его помощника Р. А. Катаняна и члена коллегии ОГПУ Г. И. Бокия. Комиссия посетила Савватьевский скит, где вела длительные переговоры со старостатом, который представлял меньшевик Б. О. Богданов.

Одной из реакций на эти события стала также отмечающаяся во многих воспоминаниях голодовка политзаключенных. Акция протеста началась в ночь со 2 на 3 октября и закончилась в ночь на 18 октября 1924 г. В голодовке принимали участие эсеры и анархисты, содержавшиеся в Савватьеве, на островах Анзер и Большая Муксалма — всего 165 человек[36].

---

[35] Сошина А.А. Указ. соч. С. 130—131.

[36] Вайнштейн (Ланде) В. М. Голодовка политзаключенных на Соловках 1924 г. / В. М. Вайнштейн (Ланде), Ц. М. Мельникова (Бабина) // Вестник «Мемориала». СПб, 2001. №. 6. С. 219—243.

17 июня 1925 г. все «политики» были вывезены в Верхнеуральский, Челябинский и Тобольский политизоляторы или распределены по материковым ссылкам. Этому событию предшествовало Постановление СНК СССР «О прекращении содержания в Соловецком концлагере особого назначения осужденных за политические преступления членов антисоветских партий и о переводе их не позднее 1 августа в места лишения свободы на материке», которое по разным сведениям датируется либо 10[37], либо 25 июня[38] 1925 г.

Остается невыясненной и численность православного духовенства на Соловках. Цифры из разных источников отличаются друг от друга[39]. Известны имена более 80 православных архиереев, около 400 православных священников, а также большого числа мирян, пострадавших за веру на Соловках и прославленных Русской Православной Церковью (РПЦ) в лике святых[40].

В Онуфриевском храме ежедневно совершались богослужения. Доступ в него до 1925 г. был разрешен только соловецким монахам, но затем служить в кладбищенской церкви разрешили всему православному духовенству. Храм посещали и миряне, сосланные на Соловки по церковным делам, а также другие заключенные по разовым пропускам, подписанным начальником лагеря. Особенно торжественными были пасхальные богослужения 1926 и 1927 гг., участвовать в которых позволили всем желающим.

В 1929 г. духовенство лишилось многих привилегий: под предлогом борьбы с тифом всех священников остригли и переодели в казенное обмундирование, многих отправили на о-в Анзер. В 1930 г. доступ в церковь всем заключенным был запрещен.

Выше уже говорилось о том, что оставшиеся на островах монахи были вынуждены наниматься работниками в совхоз, а впоследствии и в лагерь. При этом точная численность оставшихся на Соловках иноков неизвестна. По разным данным, в 1926–1927 гг. продовольственные пайки выписывались на 116 монахов. Список братии на 1929 г., составленный иеромонахом Мартианом, включает 58 имен[41].

Соловецкие иноки работали своими артелями (рыболовная, зверобойная) или трудились на лагерных предприятиях (гончарный, механический, кирпичный

---

[37] Моруков Ю. Соловецкий лагерь особого назначения (1923–1933 гг.) // Соловецкое море. 2004. № 3. С. 126.

[38] «Известия ЦИК Союза ССР». 1925. № 135. 17 июля.

[39] Согласно статистическим данным на 1 октября 1927 г., на Соловках находилось 119 лиц духовного звания (в том числе три женщины) (Доклад о деятельности УСЛОН ОГПУ... (Цит. по: Сошина А. А. Указ. соч. С. 130). Однако Б. Н. Ширяев, описывая в своих воспоминаниях Пасху того же года, сообщает о том, что в праздничном богослужении принимали участие «17 епископов в облачениях, окруженных светильниками и факелами, более 200 иереев и столько же монахов».

[40] Собор новомучеников и исповедников Соловецких включает в себя имена более 50 святых и празднуется 23 августа. 27 декабря 2011 г. Определением Священного Синода РПЦ МП была утверждена служба Собору новомучеников и исповедников Соловецких.

[41] Балан С. Б. Список монашествующей братии Соловецкого монастыря на юбилейный 500 г. (1429–1929) // Соловецкий сборник. Архангельск, Соловки, 2005. Вып. 2. С. 182.

заводы) вместе с заключенными, но жили по монастырскому уставу с правом совершать богослужения в кладбищенской церкви. Видимо, последние монахи были вывезены на материк в 1931 г., так как после этого года сведений о них не встречается ни в официальных документах, ни в воспоминаниях бывших узников.

В заключении на Соловках находились представители Русской католической церкви восточного обряда во главе с экзархом Леонидом Федоровым, большая группа католических священников из немецких колоний Поволжья. Они служили в двух километрах от Кремля в Германовской часовне, но в 1929 г. их службы были запрещены, многих католических священников отправили на о-в Анзер. Помимо них в лагере «содержались и магометанские муллы, и бурятские ламы, и польские ксендзы, и еврейские раввины, не говоря уже об украинском автокефальном духовенстве, но, — продолжает М.М. Розанов, — сколько было таких, летописцы не сообщают»[42].

Как сказано выше, среди заключенных всегда были женщины. Их число обычно не превышало 10% от общего количества осужденных. Большую часть среди женщин-заключенных составляли уголовницы и проститутки, около 30% приходилось на каэрок. Сначала почти все женщины жили в женском бараке (кроме осужденных за членство в политических партиях) — двухэтажной деревянной монастырской Архангельской гостинице. Лишь часть оштрафованных женщин находилась на островах Анзер и Большой Заяцкий. Летом 1925 г., после вывоза «политиков», часть женщин перевели в Савватьево, на о-ва Муксалму и Анзер, где их труд использовали на сельхозработах.

Еще одной многочисленной группой заключенных на Соловках являлись подростки. В 1929 г. была организована Центральная трудовая колония для молодежи численностью до 160 человек. Молодых людей возрастом до 22 лет, которые раньше содержались в лагере на общих условиях, поселили в бараках, построенных за южной стеной монастыря, и перевели на четырехчасовой рабочий день. Каждому выделили топчан с постельным бельем, выдали бушлат, обувь, для них были придуманы шапки особого фасона. Подростки получали усиленное питание, положенное им по закону (стакан молока и кусок мяса в дополнение к обычной пайке), они должны были посещать школу. Кроме Центральной трудовой колонии, подобные ей колонии для молодежи были организованы на островах Муксалма и Анзер, но все они просуществовали недолго: в 1930 г. подростков перевели на материк, в лагерное отделение Надвоицы, где они вновь стали содержаться вместе со взрослыми.

В первое время существования Соловецкого лагеря (1923—1925 гг.) воплощалась в жизнь идея изоляции заключенных на пустынных островах на основе прину-

[42] Розанов М.М. Указ. соч. Кн. 1. С. 257.

дительного труда и самообслуживания. К концу 1920-х гг. на первый план выдвинулось «перевоспитание заключенных трудом и культурным отдыхом». Решение этой задачи было возложено на Культурно-воспитательную часть (КВЧ).

По инициативе заключенных была создана комиссия по изучению природы Соловков. На ее базе в 1925 г. было организовано Соловецкое отделение Архангельского общества краеведения (СОАОК), позднее преобразованное в Соловецкое общество краеведения (СОК). Оно состояло из нескольких секций — историко-археологической, естественно-исторической и криминологической, которые в свою очередь делились на отделы. При СОКе также действовали вспомогательные учреждения: химическая лаборатория, биосад, агрономический и криминологический кабинеты, дендрологический питомник.

Общество выполняло важную работу по спасению историко-культурных и природных ценностей Соловков. Было издано 23 научных сборника и 3 отдельных монографии его сотрудников. Из наиболее заметных ученых этого периода можно отметить: заведующего лагерного музея — Н. Н. Виноградова, реставратора и искусствоведа А.И. Анисимова, зоолога М. И. Некрасова, орнитолога Г. И. Полякова, гидробиолога А. А. Захваткина. В начале 1930-х гг., когда краеведение в СССР было разгромлено, СОК закрыли.

В июле 1925 г. состоялось торжественное открытие музея, для которого выделили Благовещенскую церковь. Заповедниками были объявлены Спасо-Преображенский собор и Андреевская церковь на Большом Заяцком острове, которые также находились в ведении музея. Основой фондов стали коллекции, собранные заключенными во время научных экспедиций по островам архипелага. Вплоть до закрытия лагеря в 1939 г. в алтаре Благовещенской церкви хранились мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа, другие святыни монастыря. Для заключенных, солдат местного гарнизона, команд судов, заходивших на Соловки, сотрудники музея проводили экскурсии. Как и другие подразделения КВЧ, музей закрыли в 1937 г., когда лагерь был реорганизован в тюрьму.

В СЛОНе действовала общедоступная библиотека, фонды которой насчитывали 30 000 книг и несколько тысяч журналов по всем отраслям знаний. При библиотеке работал читальный зал, где организовывались доклады на литературные и научные темы. На Соловках существовали школы по ликвидации неграмотности (в 1927 г. безграмотные и малограмотные составляли 83% от общего числа заключенных), до 1930 г. действовал профтехникум, готовивший рабочих высокой квалификации. При техникуме были профессионально-технические курсы.

23 сентября 1923 г. был создан Центральный театр СЛОНа. В первые годы существования его возглавляли профессиональные актеры И. А. Арманов

и М.С. Борин. В 1923–1925 гг. театр устраивал представления в монастырской ризнице. Затем на втором этаже Поваренного корпуса, в помещении общей трапезной, был устроен театральный зал на 800 мест. Со временем некоторые актеры освобождались от общих работ; к театру прикрепили портного, парикмахера, плотников. В других отделениях лагеря (в Савватьеве, на о-вах Анзер и Муксалма) существовало несколько театральных сцен, и Центральный театр давал там свои представления, а иногда организовывал выезды и на дальние командировки.

Авангардистски настроенные литераторы и музыканты организовали свою театральную труппу, которая называлась Художники, литераторы, актеры, музыканты (ХЛАМ). С 1935 г. Центральным театром руководил украинский режиссер Лесь Курбас. Сохранились афиши 1936 г., анонсирующие его постановки непосредственно на Соловках. К концу 30-х гг. театр перевели в Кемь, а затем в Медвежьегорск, где он превратился в Центральный театр ББК. На Соловках до 1937 г. оставались драмкружок и агитбригада.

В 1920-х гг. в лагере издавались литературно-краеведческий журнал, газета с несколькими приложениями, отдельные выпуски специальных изданий. Первый номер журнала «СЛОН» вышел в марте 1924 г. тиражом 15 экземпляров, напечатанных на «Ундервуде». Номера 9–10 были напечатаны уже на «Американке» тиражом 200 экземпляров. С 1925 г. журнал стал называться «Соловецкие острова» и с 1926 г. по подписке распространялся по всей стране. В 1927 г. он слился с журналом «Карело-Мурманский край», но с августа 1929 по 1932 г. стал выходить снова[43]. Кроме литературного отдела, в нем были экономический и краеведческий, где публиковались статьи сотрудников СОКа.

С января 1925 г. издавалась газета «Новые Соловки», которая «обросла» непериодическими приложениями. Когда прекращалась навигация на Белом море, для публикации новостей с материка издавалась небольшая газета «Радио-Соловки». В целях антирелигиозной пропаганды печатался листок под названием «Соловецкий безбожник». Третье приложение — сатирическая газета «Соловецкий крокодил» увидела свет лишь однажды — в сентябре 1925 г., но «в силу нездорового уклона, который имеет тюремный юмор» выпуск был прекращен. Последний номер «Новых Соловков» вышел летом 1930 г.

На Соловках существовало объединенное спортивное общество «Динамо», членами которого были чекисты и красноармейцы из числа охраны. Общество организовывало спортивные соревнования. Для сотрудников администрации на берегу Святого озера действовала спортивная станция, зимой здесь устраивали

[43] Дряхлицын Д. Периодическая печать архипелага // Север. 1990. № 9. С. 128–137.

каток и лыжную базу, а летом выдавали напрокат лодки. Силами заключенных был также построен тир с двигающимися мишенями. Б. Л. Солоневич, прибывший на Соловки в 1926 г., написал в лагере книгу «Физическая культура как метод пенитенциарии».

В 1923–1925 гг. большинство заключенных были заняты в традиционных монастырских производствах: в сельском хозяйстве, на монастырских заводах и в мастерских.

В Савватьеве и Исаково, а также на о-ве Большая Муксалма действовали четыре сельхоза и опытная сортоиспытательная станция, на которой велись работы по акклиматизации огородных и цветочных культур, ставились опыты по выращиванию зерновых в северных условиях. Полученная в результате сельскохозяйственной и животноводческой деятельности продукция частично вывозилась на материк, но в основном использовалась для нужд вольнонаемных сотрудников и лагерного начальства. Сельхозы просуществовали до закрытия Соловецкого лагеря.

Работавшие в Рыбзверпроме занимались зверобойным и рыболовным промыслами; гончарный завод выпускал розетки и ролики для электропроводки, посуду, грузила для неводов и сетей, аптечные банки; на механическом заводе ремонтировали транспорт и оборудование для лагерных предприятий. Заключенные также трудились на кожевенном, известково-алебастровом, лесопильном, салотопенном, дрожжевом заводах и в мастерских.

Осенью 1925 г., после первых удачных опытов по разведению пушных зверей на Соловках, на островах Долгой губы был организован Пушхоз. Его заведующим стал заключенный К. Г. Туомайнен, оставшийся работать на Соловках и после освобождения. В Пушхозе разводили серебристо-черных лис, песцов, соболей. К 1931 г. основным направлением зверохозяйства стало кролиководство, в озера на Большом Соловецком острове была выпущена ондатра. Небольшое зверохозяйство оставалось на Соловках вплоть до закрытия лагеря.

Решающие изменения в жизни каторги произошли в 1925–1926 гг., когда заключенный Н. А. Френкель, возглавивший к тому времени Экономическую часть, предложил использовать труд заключенных на таких работах, доходы от которых превышали бы расходы на их содержание.

Самыми важными в этом отношении работами стала заготовка леса на экспорт. Усиленная вырубка леса на Соловках началась с зимы 1926 г. Центрами лесозаготовок стали командировки Исаково, Савватьево, Новая Сосновка, Амбарчик. Численность осужденных, занятых в лесу, доходила до 38% от их общего числа. Заключенные называли лесоповал «сухим расстрелом». За зиму

погибала четверть работавших там людей, столько же покидали лесные командировки инвалидами. Зимой 1926 г. был издан приказ, дающий право начальникам лесозаготовок расстреливать отказников на месте без суда. В 1929–1930 гг. масштабные лесозаготовки на Соловках прекратились как из-за тифозной эпидемии, так и в связи с истреблением лесного массива.

Еще в середине 1920-х гг. в целях экономии запасов древесины было решено перейти к использованию торфа в качестве основного вида топлива для местных предприятий, но торфоразработки оказались неэффективными. По сравнению с дровами цена добытого торфа оказалась слишком высокой, а качество — сомнительным. К 1932 г. объем добычи торфа значительно уменьшился и его продолжали добывать лишь на отдельных командировках (Филимоново, Куликово болото).

Зимой 1924–1925 гг. было восстановлено кирпичное производство, на котором были заняты женщины и заключенные карантинной роты. Если старый кирпич отличался очень высокой прочностью, то теперь его качество значительно снизилось, что, видимо, объяснялось нарушениями технологического процесса, в частности плохим обжигом[44]. После 1932 г. кирпичный завод прекратил свое существование.

Масштабные работы, осуществлявшиеся на Большом Соловецком острове, требовали создания надежных путей сообщения, по которым можно было транспортировать большие объемы грузов. В 1923 г. для этого построили рельсовую колею протяженностью 4,5 версты, по которой вагонетки перемещались руками или с помощью автомобиля. В 1924 г. на узкоколейке начали использовать паровозы. В последующие годы были построены железнодорожные ветки до Перт-озера и на кирпичный завод. В 1929 г. пустили последнюю ветку Кремль–Филимоново, которая вела на торфоразработки. Железная дорога обслуживала предприятия лагеря, по ней перевозились грузы и заключенные на работы. Последний раз она упоминается в официальных документах в конце 1931 г. По-видимому, ее тогда же разобрали и с началом навигации 1932 г. вывезли с Соловков на строительство ББК.

Категории трудоспособности заключенным назначала медицинская комиссия, когда они находились в карантине. Существовало три категории трудоспособности.

Заключенные 1-й категории («лошадиной», как ее называли осужденные) использовались на общих физических работах; осужденные 2-й категории, имевшие ограниченную трудоспособность, привлекались к внутренним работам

[44] Новые Соловки. 1925. № 17; Соловецкие острова. 1925. № 6.

по обслуживанию лагерных подразделений; 3-ю категорию ввели для больных и пожилых, которые считались «ненаряженными» и к работам не привлекались. Условия жизни и питание заключенных разных категорий значительно различались между собой.

Нечеловеческие условия, в которых содержалось большинство осужденных, приводили к мысли о бегстве. Побеги из лагеря, особенно из его материковых командировок, не были редкостью. В основном бежали уголовники, каэрам неудача обходилась слишком дорого, тем не менее бежали и они. Только в 1926–1927 гг. 188 человек бежали (в том числе благополучно) из Кеми. 12 человек бежали непосредственно с островов, но остается неизвестным, был ли хоть один побег удачным. Заключенные отправлялись в море на утлых лодчонках или самодельных плотах, тогда как у администрации были быстроходные катера, гидросамолеты, постоянная радиосвязь с материком.

Участившиеся побеги, а также реакция мировой общественности на опубликованные за границей воспоминания соловецких узников спровоцировали международный скандал, визит М. Горького, написавшего несколько статей, посвященных оправданию лагерного режима, а также ряд ответных действий со стороны лагерной администрации. В 1929 г. на Соловках было сфабриковано «дело о кремлевском заговоре». В обвинительном заключении говорилось, что Информационно-следственная часть (ИСЧ) лагеря получила сведения о готовящемся побеге. Считалось, что большая группа заключенных собиралась разоружить охрану и, захватив лагерные корабли, бежать в Финляндию. Коллегия ОГПУ приговорила 36 заключенных к расстрелу. 29 октября 1929 г. приговор был приведен в исполнение в полукилометре к югу от монастыря.

Весной 1930 г. на Соловках работала Особая комиссия ОГПУ под руководством А. М. Шанина, которая, практически во всем подтверждая факты, приведенные в воспоминаниях соловецких узников, выявила многочисленные случаи убийств, издевательств над заключенными, пьянства, взяточничества, вымогательства со стороны администрации и охраны[45]. В результате несколько десятков человек были расстреляны, рабочий день заключенных сокращен, появились выходные. Больше всего от этой лагерной «оттепели» выиграли уголовники, увеличилось число отказов от работы, краж и побегов. Осенью 1930 г. наступила реакция с последующим ужесточением режима. Кроме расстрелов, важную роль в системе устрашения и наказания заключенных играли карцеры и штрафные изоляторы, главным из которых был мужской штрафизолятор на Секирной горе.

[45] Документы из доклада комиссии А. М. Шанина // Исторический архив. 2005. № 5. С. 70–81.

С 1925 г. Соловецкий лагерь начал постепенно расширяться за счет территорий Карелии и Кольского полуострова. Там организовывались лагерные отделения и возникали новые производства. К концу 1920-х гг. лагерь буквально «оккупировал» весь север России, вплоть до акватории Карского моря. Заключенные прокладывали дороги, валили продаваемый за границу лес, искали и разрабатывали месторождения полезных ископаемых. Наиболее значительным проектом того времени, в конце концов поглотившим и сам Соловецкий лагерь, стало строительство ББК[46]. Руководителем всех работ на нем был назначен Н. А. Френкель, а начальником северного участка строительства — начальник УСЛОНа Д. В. Успенский, отбывшие на «стройку века» в 1931 г. вместе с большинством соловецких заключенных.

К 1933 г. продукция соловецких производств перестала вывозиться на материк и использовалась в лагере для собственного потребления. Монастырское хозяйство, значительно расширенное в 1920-х гг., прекратило свое существование из-за истощения природных ресурсов, дороговизны морской доставки сырья и вывоза готовой продукции, а также топливного кризиса и разворачивания масштабных лагерных производств на материке.

Весной 1937 г. Соловецкое отделение ББК было передано 10-му отделу ГУГБ НКВД и реорганизовано в Соловецкую тюрьму. В ней содержались «социально опасные» преступники и заключенные материковых лагерных пунктов из числа беглецов и нарушителей трудовой дисциплины. Для заключенных тюрьмы были установлены особо строгие условия содержания.

В 1937 г. вышел секретный приказ наркома внутренних дел Н. И. Ежова об уничтожении находившихся в лагерях и тюрьмах активных контрреволюционных элементов и членов антисоветских партий (троцкистов, эсеров и др.). Осенью 1937 г. особая тройка Управления НКВД по Ленинградской области постановила расстрелять 1818 заключенных Соловецкой тюрьмы, что было осуществлено в три этапа: 1111 человек расстреляли 30 октября — 4 ноября 1937 г. под Медвежьегорском, в песчаном урочище Сандармох; 507 заключенных уничтожили под Ленинградом в декабре 1937 г.; последнюю группу из 200 человек расстреляли на Соловках в феврале 1938 г.

На 1 марта 1939 г. в заключении на Соловках находился 3321 человек (из них 1678 человек на тюремном режиме и 1643 — на лагерном). К осени 1939 г. на территории Кирпичного завода был построен трехэтажный тюремный корпус, который так и не принял ни одного заключенного. Приказом НКВД СССР от

[46] В 1930-х гг. Соловецкий лагерь начал постепенно превращаться в рядовую ячейку исправительно-трудовой системы СССР. На первых порах он стал 4-м отделением Управления Соловецкими лагерями особого назначения (УСЛОН), в 1933 г. был преобразован в 8-е специальное отделение ББК ОГПУ.

2 ноября 1939 г. и Постановлением СНК СССР от 1 декабря 1939 г. тюрьма была закрыта, а Соловецкие острова со всеми постройками и имеющимся подсобным хозяйством были переданы Северному флоту. Узников тюрьмы перевели во Владимирский и Орловский централы, а тех, кто отбывал срок заключения на лагерном режиме, по Северному морскому пути отправили в Норильск.

Главной причиной упразднения Соловецкой тюрьмы стало выгодное стратегическое положение архипелага, возросшее с началом Второй мировой войны. Острова были удобны для размещения опорного пункта военно-морского флота, так как здесь были бухты, рейды, гавань, водоналивной док, множество жилых и складских помещений. В 1940 г. на Соловках начал действовать учебный отряд Северного флота.

А. КЛИНГЕР



М. Е. Бабичева

ОДИН ИЗ САМЫХ «ЗАГАДОЧНЫХ» МЕМУАРИСТОВ СЛОНА (А. Клингер)

Биографические сведения об этом авторе до настоящего времени крайне скудны и сводятся главным образом к информации, в самом очерке содержащейся. Неизвестно даже его имя. Преступление Клингера против Советской власти сводилось, опять-таки по его словам, к «сокрытию офицерского звания». М. М. Розанов в книге о Соловецком лагере добавляет, что Клингер был белым офицером и финном по национальности[1]. «Соловецкий старожил», как он сам себя называет, Клингер попал в СЛОН в первые же дни существования лагеря. За три года «прошел всю лестницу принудительных работ, от канцелярских до торфа и лесорубок». Все это время тщательно готовился к побегу, который успешно совершил в декабре 1925 г. Тогда же покинул Советский Союз, незаконно перейдя границу с Финляндией.

В 1928 г. в Берлине были опубликованы воспоминания Клингера о пребывании в СЛОНе. Они вошли в состав очередного, 19-го тома «Архива русской революции»[2], который в начале 1990-х гг. был переиздан в России[3].

Эти «Записки бежавшего» (авторское определение жанра) входят в первую, предвоенную часть мемуарной литературы о Соловецком лагере. Составившие ее произведения написаны теми немногими бывшими заключенными, которым, так же как и Клингеру, удалось не только бежать из лагеря, но и благополучно выбраться из Советской России. Первые мемуаристы воспринимали себя — каждый — единственным обладателем эксклюзивной информации и стремились донести ее до мирового сообщества. Книги писались непосредственно «по горячим следам» произошедших событий, некоторые авторы не могли, а порой и не хотели сдерживать переполнявшие их эмоции. Много позже М. М. Розанов, в конце 1920-х гг. сам находившийся на Соловках, следующим образом охарактеризовал особенности литературы о СЛОНе соответствующего периода:

---

[1] См.: Розанов М. М. Соловецкий концлагерь в монастыре, 1922–1939: Факты – Домыслы – «Параши»: Обзор воспоминаний соловчан соловчанами. В 2-х кн. и 8-ми ч. США, 1979. Кн. 1. С. 13. – Здесь и далее примеч. автора.

[2] См.: Архив русской революции: В 22-х т. / Сост. Г. В. Гессен. Берлин, 1928. Вып. 19. 1928.

[3] См.: Там же. М., 1993. 288, 320 с. Русский архив. Репринт.

«Международная обстановка тех лет и личная судьба отдельных летописцев в лагере безусловно отразилась на их воспоминаниях, и было бы жестоко требовать от них полной исторической правды. Они дали только канву для нее»[4].

«Записки...» Клингера по форме резко отличаются от большинства довоенных мемуаров о СЛОНе: они написаны сухо, лаконично, от третьего лица. Автор скупо, несколько отстраненно повествует о личном пребывании в лагере, в том числе о своих переживаниях, намерениях, внутренней работе.

Эффект авторского присутствия в тексте достигается в основном подробным описанием отдельных характерных деталей лагерного быта и рассказом о некоторых очень частных, специфичных именно для этого лагеря происшествиях. Очерк разбит на четыре части, не имеющие собственных заглавий и обозначенные только римскими цифрами. В первой сжато, но емко излагаются исторические и географические сведения о Соловецком монастыре и четко прорисовывается, как отчасти по политическим соображениям, но больше в целях грабежа было разорено очень крепкое монастырское хозяйство. Автор особо подчеркивает полную несостоятельность экономики вновь образованного «хозяйственного субъекта», что, на его взгляд, в значительной степени обусловлено некомпетентностью руководства, а также его моральным разложением. Во второй части дана четкая схема административно-экономического устройства лагеря с описанием всех его подразделений. В рассказе о каждом из них акцент делается на невыносимых условиях жизни заключенных, с одной стороны, и на глубоко безнравственном поведении тюремщиков, к такому положению приведшему, — с другой. Повествователь при этом избегает субъективной эмоциональной оценки изображаемого, он лишь констатирует факты, показывая хорошо известное ему положение вещей.

В третьей части автором создана «галерея советских палачей в Соловках», возглавляемая руководителем специального отдела ГПУ, «верховным правителем Соловков и всех иных северных концентрационных лагерей и ссылок». Это — Глеб Бокий (в очерке ошибочно названный Петром). Он постоянно проживал в Москве и посещал подведомственную ему территорию на пароходе, носящем его имя; далее следует его «наместник» Ногтев, в течение почти восьми лет являвшийся начальником лагеря; затем — помощник и будущий преемник Ногтева Эйхманс. И так до охранников. Всего персонифицировано более 10 человек. Крупные начальники названы исключительно по фамилиям, более мелкие вообще обозначены только занимаемой должностью. Отмечен и факт постоянного пребывания в лагере довольно большого числа заключенных из бывших че-

[4] Розанов М. М. Указ. соч. С. 7.

кистов. Как правило, они занимали основные административные места, образуя своего рода «Роту чекистов». Рассказывается также о целом подразделении, выполняющем «специфическую чекистскую работу», — «Команде надзора» — и об охранном воинском пехотном подразделении, называвшемся «Соловецкий полк особого назначения». Клингер фиксирует рабочее-крестьянское происхождение большинства этих людей, низкий образовательный уровень и широко распространенные в их среде жестокость, склонность к насилию, пьянство, моральную нечистоплотность, самодурство, стяжательство и т. д.

И, наконец, в четвертой, заключительной части, по объему текста значительно превышающей предыдущие, рассказывается о самих заключенных. Здесь также отчетливо видно стремление Клингера к систематизации и обобщению. Он пишет не столько об отдельных конкретных судьбах, сколько о типах соловчан и о различных вариантах лагерного существования. Очень специфичен взгляд автора на культурно-массовую работу за колючей проволокой. Если большинство бывших узников СЛОНа вспоминают разного рода мероприятия, а в особенности театр, как лучшее в своей лагерной жизни, то Клингер, наоборот, видит в этом дополнительное средство эксплуатации и унижения заключенных. По его мнению, вся лагерная самодеятельность была организована для того, чтобы заключенные еще и развлекали начальство, что представляется ему изощренным цинизмом. Но и этот возмутительный, с его точки зрения, факт автор преподносит бесстрастно, как объективную данность.

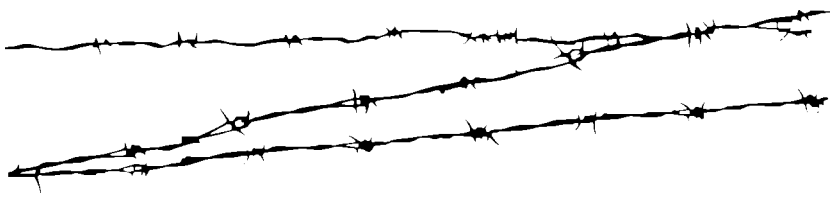
Большое внимание уделяет Клингер тяжелому положению женщин в Соловецком лагере. Эту тему он тоже освещает главным образом подбором фактов. Неоднократное обращение к ней в разных разделах очерка, пожалуй, основной показатель того, насколько серьезно волнует автора вопрос. В одном случае приводится даже непосредственная эмоциональная характеристика ситуации как «кошмарной». Вообще вербальное выражение эмоционального восприятия изображаемого встречается редко. Используются даже примитивные штампы: «Над седыми стенами древней обители взвился кровавый советский флаг».

Основным способом выразить личное неприятие отдельных элементов лагерной действительности служит заключение в кавычки слов и выражений, с точки зрения автора, совершенно неправомерно употреблявшихся в повседневной жизни СЛОНа. Имеется в виду несоответствие общепринятого в русском языке термина либо сути явления, к которому оно применяется, либо конкретному реальному проявлению этой сути («лазарет», «преступление», «свидетели», «контрреволюционеры» и т. д.).

Религиозное чувство автора в тексте никак не проявляется. В отличие от большинства мемуаристов, даже рассказывая о прошлом Соловецкой обители и о произведенных революцией разрушениях, основной акцент он делает на ее хозяйственно-экономической успешности и культурной значимости. Почти не затрагиваются довольно распространенные в мемуарах темы пребывания в заключении духовенства и богоискательства светских заключенных. Констатируется лишь факт исключительной честности духовенства, сохраняющейся в самых тяжелых условиях, и признание этого факта и руководством лагеря, и администрацией всех уровней и статусов, а также увеличение администрацией лагеря объемов и сроков работ в Рождество и на Пасху.

Таким образом, автор текста представляется человеком образованным, наблюдательным, нерелигиозным, но разделяющим систему нравственных ценностей христианства. Кроме того, можно предположить у него научный склад ума, склонность к анализу и систематизации, сдержанность в выражении эмоций. Оставленные им мемуары — значимый вклад в общую картину воспоминаний о Соловецком лагере особого назначения.

Соловецкая каторга. Записки бежавшего[1]



Предисловие автора

Целью предания гласности своих записок о соловецкой каторге автор считает ознакомление общественного мнения всех стран с действительной картиной быта и режима в так называемых «местах заключения особого назначения».

Советской властью слишком явно замалчивается самый факт существования советских тюрем этой категории, даже формально изъятых из ведения общего тюремного управления.

Это обстоятельство настойчиво требует исчерпывающего описания настоящего положения заключенных, русских и иностранцев, в Соловецких лагерях особого назначения.

В течение своего трехлетнего пребывания на Соловках автор имел широкую возможность сделать всесторонние наблюдения в этой области.

Соловецкие лагеря, прежде всего, возбуждают интерес в качестве учреждения, характеризующего советский режим в наиболее его неприкрытом виде — в тюрьме. Однако одним этим интерес к лагерям не исчерпывается. Общие условия существования Соловецких лагерей, самое их местоположение на абсолютно изолированных островах Белого моря придают им некоторый специфический, по сравнению с обычными тюрьмами, характер. Полнейшая оторванность заключенных от внешнего мира, ничем не ограничиваемый произвол ГПУ, попытки тюремной администрации эксплуатацией труда заключенных достичь чуть ли не самоокупаемости лагерей — все это ставит Соловки в совершенно особое положение.

[1] Публикуется без сокращений по: Архив русской революции, издаваемый Г. В. Гессеном. Вып. 19. Берлин, 1928.

Наконец, применительно к Соловецким лагерям невольно возникает вопрос об основной задаче, преследуемой вообще советскими местами заключений. Так как, по коммунистической программе, «преступление есть социальная болезнь, требующая лечения», большевиками в области тюремного дела провозглашен принцип «замены тюрем воспитательными учреждениями».

Сам автор считает соловецкую в частности и всесоветскую в целом действительность слишком циничным издевательством над коммунистической идеологией, чтобы останавливаться на кричащем противоречии между словами советских программ и делами советских рук. Автор рассчитывает, что все окончательные выводы будут сделаны читателями на основании приведенных им в этих записках голых фактов.

А. Клингер

Гельсингфорс, 1926 г.

I

Оставлением севера России русской антибольшевицкой армией генерала Миллера и помогавшими ей английскими отрядами была сыграна в истории Православной Церкви и культуры роль знаменитого Соловецкого монастыря, расположенного на крайнем севере некогда могучей империи. Весь Соловецкий архипелаг (в составе островов: Большого Соловецкого, Анзерского, Большой и Малой Муксульмы[2], Большого и Малого Заячьего и ряда более мелких) вошел в состав Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

Соловецкий монастырь, основанный в 1436 году русскими святыми Савватием, Германом и Зосимой, издавна славился не только аскетической строгостью своей внутренней жизни (так, например, ни одной женщине не разрешалось приезжать в обитель)[3], но и огромным, широко поставленным и опытными руками руководимым хозяйством: заводами, мастерскими, лесопилками, рыбными ловлями, даже собственным торговым и военным флотом[4], причем все это обслуживалось исключительно монахами.

Естественно, монастырские богатства сразу же привлекли в себе внимание советских властей.

Первоначально Соловки, вместе с монастырем, перешли в ведение Архангельского губземотдела (губернского земельного отдела).

В ту пору коммунисты увлекались беспорядочным насаждением по всей России так называемых сельхозов (сельских хозяйств). Национализированные

[2] Здесь и далее правильные названия топонимов и их описание приводятся в Топографическом указателе.

[3] Женщины приезжали в монастырь в качестве паломниц на три дня. Оставаться в монастыре трудницами на длительный срок, как мужчины, они не могли. — Отв. ред. (Далее все комментарии без пометы «Авт.» сделаны ответственным редактором).

[4] В распоряжении монастыря находились пассажирские, каботажные и рыболовецкие суда, военных кораблей не было.

имения, частновладельческие и государственные, монастырские и удельные земли, леса и заводы — все это было переименовано в сельхозы, эксплуатировалось самим государством при помощи особых крестьянских или рабочих артелей. Эта аграрная реформа, как и все другие реформы советской власти, оказалась грандиозным блефом и очень скоро привела к тому, что прикрываемые государством сельхозы превратились в очаги бесконтрольного расходования, а зачастую и откровенного грабежа брошенного на произвол судьбы народного достояния.

«Образцовое» ведение хозяйства заключалось в следующем: назначенный Комиссариатом земледелия заведующим Соловками коммунист Александровский (из рабочих), имевший тесные связи с небезызвестным Шлихтером и большую протекцию во ВЦИКе (Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете), совершенно разрушил монастырское хозяйство. Администрация крала, что хотела и сколько хотела. Отчитываясь только перед Шлихтером, которого заинтересовал денежно, Александровский вывозил из монастыря лес, рыбу, старые запасы монастырских продуктов, машины, церковную утварь, предметы старины, руководствуясь очень удобным принципом коммунистической власти — «грабь награбленное». В довершение всего в конце 1922 — начале 1923 года монастырь стал жертвой огня.

Когда по совершенно неизвестной причине вспыхнул пожар, Александровский с ближайшими помощниками стал, прежде всего, спасать никому не нужную рухлядь: мешки, старые сани, дрова. Канцелярия с книгами и документами «образцового хозяйства» была брошена на произвол судьбы, вся отчетность сгорела. Нет никаких сомнений в том, что монастырь был подожжен самим же Александровским, дабы скрыть свои должностные преступления, подлоги в книгах и бесконтрольный грабеж. В то время еще не изгнанные монахи умоляли разрешить им принять участие в тушении пожара — Александровский силой разогнал монахов, заявив, что они «вносят лишнюю панику». Сгорела значительно разворованная уже библиотека монастыря неоценимого исторического значения, сгорели все деревянные постройки, выгорели внутренние помещения церквей и монашеских келий.

Столь «образцовое» ведение хозяйства показалось подозрительным даже ГПУ. Была образована следственная комиссия по расследованию причин пожара, который почему-то прежде всего уничтожил канцелярию Александровского. Следственная комиссия (в составе начальника Архангельского губернского ГПУ Стулитова и помощника прокурора того же ГПУ Абрамовского) не нашла состава преступления в том, что насквозь было пропитано преступностью.

Вероятно, хозяйственные эксперименты товарища Александровского и протежировавшего ему Шлихтера продолжались бы и по сию пору, если бы

Дзержинскому не пришла в голову мысль устроить в Соловках тюрьму для политических «преступников» — врагов советской власти. Отдаленность от материка, крайняя скудость природы и убийственный климат — вот те условия, которые и показались главчекисту как нельзя более подходящими для заключения «контрреволюционеров», и Московское ГПУ вошло во ВЦИК с ходатайством о «безвозмездном отчуждении в ведение ГПУ всего Соловецкого архипелага, с монастырем, со всем находящимся на островах имуществом и постройками, для организации дома заключения».

К ходатайству был приложен совершенно фантастический план «поднятия и использования монастырского хозяйства силами заключенных». Раздутая до пределов перспектива не только изолировать всех «контрреволюционеров» от прочих граждан, но и извлечь выгоду из их подневольного труда ослепила всю Коммунистическую партию. Соловки были переданы в полное владение Дзержинскому. Многострадальный монастырь вступил в последнюю стадию своего советского развития, превратился в главную тюрьму «самого свободного в мире государства» — Советской Социалистической Республики.

Так называемое ГПУ (Госполитуправление — Государственное политическое управление) в общей структуре советской власти стоит совершенно особняком. В свою очередь, так называемый Специальный отдел ГПУ, ведающий специально Соловками, концентрационными лагерями и изоляторами на Урале, в Сибири, Архангельске, ссылкой в Нарымский, Печорский край и проч., представляет собой некое царство в царстве. Специальный отдел совершенно изъят из ведения Наркомюста (Народного комиссариата юстиции). Так называемый Исправительный трудовой кодекс, регламентирующий правила использования труда советских заключенных и хотя бы в некоторой степени защищающий их от произвола тюремной администрации, на арестантов Специального отдела ГПУ не распространяется. Наконец, никакая амнистия советской власти по декрету не может быть применена к осужденным Специальным отделом ГПУ. Все это, понятно, отдает всех соловецких и иных заключенных в полную и совершенно бесконтрольную власть Специального отдела, использующего во всей широте свои чекистские права.

Во главе Специального отдела и всех подчиненных ему мест заключения, изоляторов и ссылок стоит известный коммунист, член ВЦИКа и президиума ГПУ Петр Бокий[5]. Он — бывший студент петроградского Горного института. Во время революции 1905—1906 годов Бокий занимал видное место среди петроградских бунтовщиков, вел революционно настроенное меньшинство студен-

[5] Здесь и далее правильные фамилии, имена и отчества упоминающихся в книге людей, а также краткие биографические справки о них приводятся в Именном указателе.

тов на баррикады и проч. Вступив сразу же после октябрьского переворота в Коммунистическую партию, был несколько лет председателем Петроградской губернской чрезвычайной комиссии (ЧК), а потом ГПУ, известен своей неумолимой жестокостью. Живет председатель Специального отдела в Москве, периодически наезжая в руководимые им тюрьмы и места ссылки.

Как только комиссия от ГПУ явилась в Соловецкий монастырь для организации в нем «дома заключения», она потребовала списки всех монахов: последние всеми правдами и неправдами до последнего дня из родного им монастыря не уходили, перенося все ужасы и издевательства беспрерывно сменяющихся «аграрных» властей. ГПУ сразу же уничтожило этот «рассадник опиума для народа», как называют коммунисты религию. Настоятель обители и наиболее видные лица из соловецкого духовенства были расстреляны в монастырском кремле, остальных монахов чекисты послали на принудительные работы в тюрьмы Центральной России, Донецкого бассейна и Сибири, и лишь небольшой процент братии (около 30 человек) с разрешения ГПУ остался на Соловках. Разумеется, это нельзя рассматривать как акт гуманности ГПУ — последнее просто нуждалось в «спецах» (рыбаках, плотниках, сапожниках и проч.). Эти 30 монахов на жизнь свою в превращенном в тюрьму монастыре смотрели и смотрят как на продолжение своего подвига служения Богу. Считаются они вольнонаемными, работают с утра до ночи, получая за свой каторжный труд жалованье в размере не выше 10 рублей (около 5 долларов) в месяц, то есть медленно умирая с голоду.

ГПУ лишило Соловецкий монастырь последних признаков того, чем он был когда-то. Ценнейшая историческая библиотека, как я уже упоминал выше, сгорела вследствие поджога монастыря Александровским. Были сорваны со стен и уничтожены последние иконы, сброшены с колоколен колокола, разгромлены ризницы, перебита церковная утварь. Даже многие могильные кресты (Соловки богаты старинными крестами и памятниками) были вырваны из земли и употреблены на дрова, хотя лесу на островах сколько угодно. Разрушение этого некогда высококультурного уголка было произведено столь основательно, что, когда в монастырь прибыла из Москвы особая «археологическая комиссия», она смогла вывезти в музеи лишь жалкие остатки соловецких древностей. Характерная особенность: перед прибытием комиссии чекистские культуртрегеры спешно реставрировали ими же разрушенные кресты, вкапывали в землю, взамен старых, новые могильные памятники, выкрасив их в красную краску. Довольно яркий штрих «культурной» работы советской власти!

Одновременно с превращением монастыря в так называемый СЛОН — лагерь особого назначения — туда были перевезены жалкие остатки почему-либо не рас-

стрелянных или не умерших от голода заключенных из лагерей в Архангельске, Холмогорах и Пертоминске. Над седыми стенами древней обители взвился кровавый советский флаг. В разграбленном, полусожженном кремле поселился нач. УСЛОНа (начальник управления Северными лагерями особого назначения) — непререкаемый властитель Соловков и их филиалов: концентрационного лагеря на Поповом острове (близ города Кемь), лагеря на Конд-острове (верстах в 15 от Попова острова) и всех мест заключения на Соловецком архипелаге.

Посвящая следующую главу описанию природных и бытовых условий жизни на Соловках, я считаю необходимым теперь же остановиться на характернейшей черте бытия соловецких «домов заключения»: являясь по существу обычной тюрьмой для политических и частично уголовных преступников, выполняя чисто карательные функции, будучи завершительным звеном борьбы «рабоче-крестьянской» власти с врагами советов, борьбы, руководимой и официально вдохновляемой Народным комиссариатом юстиции, СЛОН не только не подчинен руководящей юридической инстанции — Наркомюсту, но и резко враждебен ему. В Соловках царь и бог — только ГПУ. Ревниво охраняя свое захватное право, ГПУ оберегает лагеря от какого бы то ни было, даже законного, вмешательства Народного комиссариата юстиции.

Не только местная — Архангельская и Кемская — прокуратура, но и прокуратура центральная, Московская, Дзержинским и Бокием в Соловки не допускается. Специальный отдел и Соловки имеют собственных прокуроров, абсолютно независимых от Наркомюста и ему не подчиняющихся.

Пример: советское правительство прислало в город Кемь особого прокурора для наблюдения за Кемским лагерем (на Поповом острове); по требованию нач. УСЛОНа он был отозван обратно в Москву. Назначенного на ту же должность кемского прокурора, числящегося по службе в Комиссариате юстиции, по распоряжению Бокия просто не пустили на Попов остров.

В прошлом году в Архангельск прибыла из Москвы особая комиссия по «амнистии» (в ознаменование переименования РСФСР в СССР); ее наместник Бокия на островах, Ногтев, не пустил в лагеря.

Полная диктатура ГПУ достигла таких высот, что не только Наркомюст, но и Наркомвоен (Народный комиссариат военных дел) вынужден был покорно склонить голову перед всесильным Дзержинским. В Соловках охрану несет так называемый Соловецкий полк особого назначения, разбросанный по всему монастырю и по скитам (всего 600 винтовок). В военном отношении полк, вполне понятно, был подчинен ближайшей высшей военной власти — Петроградскому военному округу (известному Гитису, недавно смещенному за «контрреволюцию» и противодействие

ГПУ). Однако уже с 1923 года Бокий и Ногтев требовали подчинения Соловецкого полка особого назначения и в военном отношении только ГПУ. Петроградский округ не соглашался с этой явной несообразностью, чекисты настаивали. Дело разрешилось чуть ли не бунтом: в 1924 году ГПУ приказало командиру полка Лыкову и комиссару Кукину немедленно сдать командование частью, те отказались, ссылаясь на распоряжение своего начальства. Ногтев протелеграфировал в Москву, Бокий ответил кратко: «Арестовать, предать суду». И невозможное в других странах стало возможным в СССР: гражданское ведомство арестовало и предало суду военных, «провинившихся» в том, что они выполнили категорический приказ своего начальства. Сместив Лыкова (впоследствии переведенного — в качестве заключенного — в Кемь) и Кукина, комендант Соловков Ауке заявил: «Мы в порядке следственном от ГПУ имеем право смещать командный состав!»

Петроградский военный округ пытался было защитить свои права и прислал в Соловки своих представителей для разбора дела. Однако, встретив недвусмысленные угрозы агентов ГПУ, комиссия военного округа признала действия Бокия, Ногтева и Ауке правильными!

Если слово любого чекиста — закон даже для высокопоставленных коммунистов, то какую силу, какое право, какой закон могут противопоставить заключенные неописуемому произволу ГПУ? Сила на стороне чекистов, право давно уже уничтожено в СССР, а законы для ГПУ не писаны.

Обычно в Соловки посылаются выселяемые из той или иной местности в административном порядке (при НКВД — Народном комиссариате внутренних дел — существует особая комиссия по административным высылкам), без какого бы то ни было суда. Но стоит самому маленькому чекисту усмотреть «контрреволюцию» в деле, подведомственном органам Наркомюста — народному суду или ревтрибуналу, подозреваемый в этой «контрреволюции», даже уже оправданный соответствующими судебными учреждениями, также попадает в Соловки с санкции ГПУ.

Первое время в лагерях было некоторое число заключенных, осужденных судами Наркомюста; ныне же они механически попали под власть ГПУ со всеми вытекающими отсюда последствиями. Заключенные этой категории вот уже сколько лет напрасно добиваются перевода их во внутренние тюрьмы России, где режим несравненно легче и откуда можно, хотя и не без труда, освободиться.

Абсолютно неправильно толкование Северных лагерей особого назначения как вольного поселения. Я свыше трех лет пробыл в Соловках и категорически утверждаю, что с ссылкой на поселение они не имеют ничего общего. В Соловках — заключенные, а не ссыльные. Разве ссыльные несут принудительные работы, живут в тюрьме, при каторжном режиме?

В тюрьмах внутренней России лица, отсидевшие половину срока своего наказания, имеют право хлопотать о досрочном своем освобождении. В Соловках и отсидевших свой срок полностью редко освобождают.

С уменьшением срока наказания положение соловецкого заключенного осложняется, режим отягчается, администрация делает все, чтобы на более продолжительное время — если не навсегда — оставить каждого заключенного в своих не знающих пощады руках.

II

Соловецкий архипелаг расположен на крайнем севере России, со всех сторон окружен морем (Белым). Десятки верст отделяют его от берегов (Карельского, Летнего берега с городом Архангельском и Онежской губы с городом Онегой). Зимой острова совершенно отрезаны от внешнего мира: море замерзает. Связь поддерживается лишь радиостанцией (на соловецком маяке, у знаменитого места пыток — Секировой горы).

Климатические условия Соловков крайне тяжелы, в зимнее время морозы доходят зачастую до 40—45°С. Достаточно указать, что средняя температура на Соловках никогда не поднимается выше — 2°С. Зимой то и дело снежные заносы, бураны; весной, летом и осенью — сильные северо-восточные ветры и дожди. Периодические дожди и очень короткое лето способствуют почти непереносимой сырости, а последняя вызывает малярию, цингу и туберкулез. Почти ежедневно острова заволакиваются туманом.

По внешнему своему виду Соловецкий архипелаг очень напоминает Финляндию: такие же шхеры, скаты ледникового образования, масса озер (из них главные: Святое озеро, Пертозеро, Херозеро и др.). Особенностью Соловков является обилие болот и топей; в болотах гнездятся тучи ядовитых мух и комаров, приносящих заключенным страшные мучения.

Некогда весь Соловецкий остров был сплошь покрыт лесами. Монахи всемерно сохраняли лес, что видно хотя бы из того, что печи в монастырях и в скитах топились исключительно бревнами, прибиваемыми к берегу морем. С водворением в кремле управления Северными лагерями особого назначения началась хищническая вырубка леса, бессистемное использование его для местных нужд и для вывоза. Соловецкие берега теперь совершенно оголены; ветры разрушают остальное. Были попытки спасти соловецкие леса; так, в прошлом году Архангельский губземотдел (губернский земельный отдел) указал Ногтеву на преступное ведение им лесного хозяйства, пытался послать на остров особую комиссию из опытных лесничих. ГПУ ответило (буквально): «Просим не в свое дело не вмешиваться».

Раньше монахи энергично осушали болота, проводили каналы между озерами, проламывали в горах дороги, сооружали мосты и насыпи. Теперь все это давно уже приостановлено. Мосты и дороги приходят в негодность, болота совершенно не дают сена, хотя в прошлом этим сеном питались огромные монастырские стада.

Несмотря на неблагоприятные климатические условия, раньше все удобные соловецкие земли засевались овсом, рожью. Славившиеся своим трудолюбием монахи, побеждая природу, выращивали в скудной соловецкой земле разнообразные овощи. Теперь в Соловках огородничество ограничивается лишь 10—20 пудами картофеля, да и это поручено тем 30 монахам, о которых я упоминал в первой главе. Земледелие же совсем заглохло.

Входящий в состав Соловецкого архипелага Анзерский остров находится приблизительно в 5 верстах от Большого Соловецкого с находящимся на нем монастырем; остров Большая Муксульма — в 2 верстах от Соловецкого. Оба эти острова соединены с монастырем широкой каменной дамбой, проложенной по дну моря (над сооружением дамб монахи трудились около 20 лет). Остров Малая Муксульма расположен в полуверсте от Соловецкого, Большой и Малый Заячий — в 2 верстах, Конд-остров — верстах в 60, на таком же расстоянии от монастыря находится и Попов остров с Кемским концентрационным лагерем (близ города Кемь), также подчиненным нач. УСЛОНа. Между Соловками и Поповым островом находится остров Рымбаки, на нем — маяк и склады.

Большой Соловецкий остров имеет в окружности приблизительно 70—80 верст. На южном его берегу находится главная гавань — почти четырехугольной формы, с большими трудностями и затратами устроенная несколько десятков лет тому назад. Слева высится трехэтажное каменное здание управления Северными лагерями особого назначения (бывшая лучшая гостиница для посещавших монастырь богомольцев). Этот поместительный дом имеет свыше 50 комнат. Второй этаж дома отведен под канцелярию, в первом и третьем живут чекисты, представители соловецкой администрации, с семьями и прислугой (последняя из числа заключенных).

За управлением расположена бывшая Петроградская гостиница, имеющая два этажа: наверху живет так называемая команда надзора (чекисты-надзиратели), внизу — 30 монахов-«специалистов» (рыбаки, плотники, огородники и проч.), которые считаются вольнонаемными, но несут такую же подневольно-каторжную работу, как и все заключенные. Справа от гавани, в бывшей Архангельской гостинице, помещается так называемый женбарак (женский барак), или женские корпусы, куда поселяют всех прибывающих на Соловки женщин-заключенных. Здание бывшей Александровской гостиницы — двухэтаж-

ное, деревянное, очень старое, со щелями в крыше и полах, с разваливающимися печами. Ремонтировать бывшую гостиницу администрация не хочет.

Гавань соединена воротами с сухим доком для ремонта судов. Здесь же расположена электрическая станция — одноэтажный каменный дом. Кроме турбины, станция имеет паровые машины. Энергию для станции дает находящееся неподалеку Святое озеро, искусственно поднятое и соединенное особым каналом, проведенным в док и дальше в море — под электрической станцией. Вся эта остроумная система каналов, бассейнов и озер проведена еще монахами и в настоящее время засорена и наполовину испорчена.

Между электрической станцией и Святым озером имеется лесопильный завод, также приводимый в действие силой воды. В левую сторону от канала и прорезающей весь остров в различных направлениях железной дороги расположен соловецкий кремль, окруженный высокой каменной стеной с четырьмя старинными башнями по углам, придающими кремлю вид средневековой крепости, каковой он собственно и был в былое время. Детальному описанию кремля я посвящаю особое место ниже.

На север от кремля, по обеим сторонам железнодорожного полотна, пролегает улица с рядом зданий. Когда-то в них частично жили в особых кельях не помещавшиеся в кремле монахи, частично эти здания были отведены под разные хозяйственные нужды. Теперь три дома заняты охраняющим Соловки Соловецким полком особого назначения, в других помещается кузница, сельхоз и живут служащие сельхоза. Так называемый комсостав (командный состав), как военный, так и административный, имеет в своем распоряжении особое здание (один из домов, отведенных для полка). Сельхоз объединяет соловецких пастухов, огородников, возчиков, конюхов и проч. Здесь же тянутся огороды, скотный двор, а также расположена скотобойня и ряд сараев.

На восток от гавани расположено одно из многочисленных соловецких кладбищ. Советская власть основательно разрушила этот последний приют мертвых. Хулиганствующие чекисты осквернили могилы, вырывали кресты, ломали решетки, уснащали могилы циничными надписями. Из гробниц наиболее чтимых соловецких угодников выворочены камни. В неприкосновенности сохранилось очень немного надгробных плит, влекущих к себе каждого любителя старины седой древностью надписей. Здесь же, на кладбище, единственная уцелевшая на Соловках церковь (Кладбищенская). Только Богу известно, ценой каких унижений и подкупов вольнонаемные монахи сохранили этот маленький храм от всеобщего разрушения и осквернения. В Кладбищенской церкви изредка происходят службы — для монахов. Заключенным, несмотря на многократные просьбы, бывать на богослу-

жениях запрещено. В присутствии религиозных заключенных чекисты с особым удовольствием и непередаваемым, мерзким кощунством говорят о религии и Боге.

За зданием команды надзора и западной ветвью железной дороги расположены продовольственные склады, бани и кирпичный завод. На Соловецком острове имеется еще одна баня — для администрации. В общую же баню интеллигентные заключенные избегают ходить, ибо она является рассадником вшей и заразных болезней. Я вывел заключение, что чекисты намеренно поддерживают и развивают ужасающую грязь и вонь в этой бане, не брезгуя ничем для достижения заветной цели ГПУ — возможно скорее свести в могилу всех соловецких узников.

Соловецкий концентрационный лагерь разбит на шесть отделений: 1-е отделение помещается в самом кремле, 2-е — верстах в 12 от него, на юго-западном берегу острова, в Савватиевском скиту. (В былые времена выделявшиеся своей набожностью и строгостью жизни монахи, желая всецело посвятить себя Богу и уединенной молитве, удалялись из кремля вглубь острова, сооружали в лесу небольшую часовню и келью, где и проводили остаток своей жизни в посте и неустанном труде. В первое время такие потаенные жилища соловецких старцев назывались пустынями, потом близ них селились другие монахи, и пустыни стали называться скитами. Этих скитов очень много как на самом Соловецком острове, так и на окружающем его архипелаге). 2-е отделение Соловецкого лагеря — Савватиевский скит — отведен для особой группы заключенных, так называемых политических и партийных. К этой категории в Соловках, а также во всех других тюрьмах и ссылках СССР, причисляются активные члены дореволюционных социалистических партий (социал-демократы, социал-революционеры и проч.). Значительное количество деятелей былых социалистических партий после октябрьского переворота помогают коммунистам угнетать русский народ; меньшинство же, отказавшись от активной борьбы с советской властью, продолжало критиковать ее мероприятия, за что и ссылается Госполитуправлением в Соловки, Сибирь и на Урал.

По дороге в Савватиевский скит, верстах в 8 от кремля, расположена пользующаяся кровавой славой Секирова гора, на ней — маяк и радиостанция. Гора эта очень высока и в ясную погоду видна даже в Кеми. На Секировой горе размещено 4-е отделение лагеря — штрафное. Сюда попадают для пыток, а часто и смерти все «провинившиеся» перед ГПУ заключенные. Ниже я дам подробную картину хорошо мне известного и испытанного лично штрафного отделения.

На острове Большая Муксульма, в Муксульмском скиту, помещается 3-е отделение Соловецкого лагеря. На Конд-острове расположено 5-е отделение, на Анзерском островке — 6-е. На Большом Заяцком острове помещается так называемый женский штрафной изолятор, играющий роль Секирки для заключенных женщин.

Верстах в 2 к северу от кремля протекает Живоносный источник. Это место всегда считалось святым. Близ Живоносного источника один из настоятелей Соловецкого монастыря, святой Филипп, выстроил небольшую церковь и избушку-келью. Здесь святой многие годы провел в молитве. Филипповский скит некогда привлекал тысячи богомольцев; вода Живоносного источника исцелила многих больных. Особой святостью и почитанием был окружен образ в Филипповской церкви — «Иисус Сидящий». Теперь скит давно уже разграблен и заброшен. Для характеристики «творческой» работы соловецких администраторов необходимо привести такой, связанный с филипповским скитом, факт: чекисты решили устроить у Живоносного источника завод для гонки смолы. ГПУ ассигновало крупные деньги, в скит согнали сотни рабочих-заключенных, на постройку выписали из России инженеров и мастеров. А когда через полтора года дорогостоящий завод был готов, выяснилось, что, во-первых, гнать смолу не из чего — нет в достаточном количестве сырья, а во-вторых, провоз на материк одного пуда смолы обходится вчетверо больше цены того же пуда на месте! Завод бросили, теперь он зарастает бурьяном.

Между кремлем и Савватиевским скитом, в 4 верстах от монастыря, находится Макариевская пустынь. В ней живет Эйхманс, коммунист-чекист, родом из Эстонии, являющийся зам. нач. управления (заместителем начальника управления), ближайший помощник нач. УСЛОНа Ногтева. В Макариевской пустыне Эйхманс окружен свитой из сотрудников-чекистов. По всему Соловецкому острову разбросана масса других скитов, пустынь, часовен и отдельных зданий. Часть из них безвозвратно погибла, разрушена или разрушается, часть отведена для жилья рыбакам. Многочисленные соловецкие тони (например Филипповская и др.), также в самой незначительной степени используются нач. УСЛОНа. Рыбный промысел на Соловках, как и другие остатки когда-то богатейшего монастырского хозяйства, окончательно подорван воровством и неопытностью чекистской администрации.

Соловецкий кремль со всех сторон окружен массивной каменной стеной. В каждой из этих стен имеются ворота. В настоящее время открыты только северные ворота, остальные наглухо заколочены. Закрыт и главный вход в монастырь (с юга) — Иорданские ворота. Справа от северных ворот тянется высокое каменное здание — некогда монастырские мастерские; мастерские эти (портняжная, сапожная, столярная и проч.) существуют и теперь. Во что их превратило ГПУ, читатель узнает дальше. Дальше идет «лазарет». Почему я беру это слово в кавычки, также будет явствовать из дальнейшего.

Параллельно мастерским и «лазарету», ближе к центру кремля, расположено высокое (в три этажа) каменное, старинной постройки, здание, имеющее вид че-

тырехугольника с возвышающимися соборами посредине. Это так называемый Казначейский корпус (название сохранилось старое). Занят он 10-й ротой (канцеляристы). В прошлом здесь были кельи монахов; комнаты в Казначейском корпусе, как и в других корпусах, очень маленькие, очень много одиночных келий, что не мешает нач. УСЛОНа помещать в них от шести до десяти человек заключенных. Люди задыхаются ночью от недостатка воздуха; то и дело приходится наступать соседу на голову, спину, руки, ибо кельи набиты заключенными.

К Казначейскому корпусу прилегает Настоятельский корпус или, вернее, его остатки: это здание было сильно повреждено пожаром. В уцелевшей его части теперь помещается канцелярия коменданта 1-го отделения.

Здесь же, среди мусора и обгоревшего камня, помещается так называемая «центро-кухня», в которой варят для заключенных «обеды». (Пища для администрации, к слову сказать, весьма изысканная, готовится, конечно, в другом месте). Подходя к «центро-кухне», необходимо зажимать пальцами нос, такой смрад и вонь идет постоянно из этой клоаки. Достоин увековечения тот факт, что рядом с «центро-кухней», в тех же руинах сгоревшего Настоятельского корпуса, уголовный элемент заключенных устроил уборную, которая — вполне официально — называется «центро-сортиром». Заключенных, теряющих в Соловках человеческий вид, такое соседство не тревожит. Администрация и подавно не обращает на это безобразие никакого внимания.

Дальше, рядом с «центро-сортиром», помещается так называемая каптерка — склад пищевых продуктов. Выдачей продуктов долгое время заведовали чекисты из числа заключенных; следуя своим традициям, чекисты обкрадывали все и всех, умудряясь полуголодный паек арестантов уменьшать вдвое в свою пользу, продавали на сторону муку, мясо, крупу и проч., заменяя доброкачественные продукты гнилыми и т.д. Заключенные вынуждены были питаться тухлой треской и мясом с червями. Постепенно каптерские чекисты заняли другие выгодные должности в лагере, и выдача продуктов была поручена уголовному элементу из числа заключенных. Грабеж продолжался в том же размере, хотя и более секретно. Лишь в последнее время, по единодушному настоянию всего лагеря, каптерка была передана в ведение заключенному на Соловках духовенству (епископам, священникам и монахам), которых сами же чекисты называют «единственно честными в лагере людьми».

Затем следует так называемый корпус рабочих рот (два здания) — бывшие монашеские кельи. Последних очень много, но все они малы (большей частью одиночки), рабочих же рот — всего 14, и в каждой по 200 человек. Теснота и грязь ужасная. Весьма страдают рабочие роты от холода. Дело в том, что кельи

отапливаются печами особого образца (топка в коридорах). Раньше монахи заготавливали на зиму огромное количество дров, топили, не жалея, высокая температура в коридорах и кельях держалась дня два-три. Теперь не то. Печи давно не ремонтированы и дымят. В комнатах по утрам замерзает вода.

Все заключенные в корпусах рабочих рот распределены по специальностям (лесорубы, каменщики, рыбаки, огородники, железнодорожники, мастеровые и проч.). Большевики всемерно стремятся придать Соловкам вид военно-каторжного поселения. Во главе каждой рабочей роты стоит особый ротный командир (из чекистов), облеченный властью кого угодно без суда и следствия расстрелять, лишить пайка, послать на Секирку. Помогают ему в этом взводные командиры (тоже исключительно агенты ГПУ), главная обязанность которых — доносить на заключенных.

В восточной части кремля помещаются сушилка, прачечная, баня и мельница. Все эти учреждения главным образом обслуживают нужды администрации. Вообще читатель должен понять раз навсегда, что в Соловках все заключенные поставлены в такие условия, чтобы весь их труд шел на выполнение потребностей, прихотей и самодурства администрации. В Соловках каждый заключенный — бессловесный раб.

Мельница приводится в движение силой воды посредством канала из Святого озера, прорытого много лет тому назад монахами. Кремлевская баня — исключительно для администрации, вольнонаемных и чекистских любовниц из числа заключенных женщин. Эти же любовницы (в Соловках очень распространен особый уголовный жаргон; на этом языке любовница называется «шмара») моют чекистам белье. Рядовым заключенным и мыть нечего, так как у 90 процентов соловецких арестантов вместо белья — истлевшие от времени и засыпанные вшами лохмотья. Вновь прибывающие заключенные, имея еще кое-какой запас белья, по неопытности и незнанию соловецких порядков отдают свое белье в прачечную, где оно и пропадает, немедленно попадая в руки к чекистам.

Ближе к северной стене кремля помещается «вещевой склад» (в бывшей Троицкой церкви). Это громкое название не должно никого обманывать. Ногтев долго носился с планом одеть заключенных в костюмы тюремного образца; ГПУ даже ассигновало на это деньги, но в какой чекистский карман они попали — неизвестно. Весь лагерь донашивает то, что удалось взять из дому перед отправкой в Соловки; многие и в Соловки прибыли в одном тряпье; в лагере не редкость увидеть почти голых людей. Заключенным, лестью и доносительством снискавшим расположение к себе администрации, иногда выдается из «особых запасов» куртки арестантского покроя; остальная же масса заключенных считает счастьем, если ей выдадут обувь и шинели — на работу (после работы вещи

сдаются обратно в «вещевой склад», то есть, люди в нерабочее время должны ходить голыми). Немного щедрее выдаются вещи, платье и белье, снятое с... расстрелянных. Такое обмундирование в довольно большом количестве привозилось в Соловки раньше из Архангельска, а теперь из Москвы; обычно оно сильно ношено и залито кровью, так как все лучшее чекисты снимают с тела своей жертвы сейчас же после расстрела, а худшее и запачканное кровью ГПУ посылает в концентрационные лагеря. Но даже обмундирование со следами крови получить очень трудно, ибо спрос на него постепенно растет: с увеличением числа заключенных (их теперь в Соловках свыше 7000) и с изнашиванием их одежды и обуви в лагере все больше и больше раздетых и босых людей.

Дальше снова идет корпус рабочих рот, затем — рота чекистов. В ней свыше 100 человек. Это — опора и гордость Коммунистической партии на Соловках, штаб так называемых стукачей («стукач» на уголовном языке — «доносчик, шпион, провокатор»). Рота чекистов, конечно, совершенно не работает. Часть из них пристроилась в лагерь на службу по своей «специальности» (в команде надзора, в цензуре, в управлении и проч.), остальные ожидают освобождения соответствующих вакансий. С утра до вечера рота чекистов пьянствует, играет в карты, поет богохульные песни и развратничает.

За ротой чекистов помещаются овощные и рыбные склады, также переданные в заведование духовенству.

Центр кремля несколько возвышается над окружающими его зданиями. От него вокруг всего кремля, вдоль стен, идет крытая галерея. Отделенные друг от друга бывшей ризницей два главных соловецких собора (Троицкий и Преображенский) теперь заняты рабочими ротами: 11, 12, 13 и 14-й (всего человек 900). Иконы из соборов давно унесены, священные изображения закрашены, сорваны и сломаны кресты. Всюду следы пуль и кощунственные надписи и рисунки — произведения чекистов, надсмотрщиков или заключенных из числа уголовного сброда, так называемой шпаны.

Огромные помещения соборов требуют, для поддержания в них более или менее сносной температуры, массы дров, в которых всегда чувствуется острый недостаток. Как и в рабочих корпусах, в соборах зимой невыносимо холодно, печи дымят, дует с полу и окон, часто разбитых, летом — постоянная сырость. Заключенные, прежде чем уснуть после тяжкого трудового дня, много часов дрожат, как в лихорадке, на своих топчанах (род самодельной деревянной койки). За отсутствием места и дерева для топчанов или нар многие спят на ледяном полу. Можно ли удивляться после этого колоссальному росту на Соловках малярии, острых легочных заболеваний, цинги?

Освещаются соборы маленькой электрической лампочкой. Тусклый свет достаточен лишь для того, чтобы не наступить соседу на голову. Все погружено в полумрак. Это мучительно действует на заключенных, в особенности зимой, когда на этом крайнем севере день продолжается каких-нибудь четыре-пять часов, когда работы заканчиваются в ночной тьме. Нельзя ни написать письма своим родным, ни прочесть что-нибудь, ни починить истрепавшуюся одежду. Зимними вечерами под лампочками всегда толпа заключенных; ротные и взводные командиры пользуются этим, отдавая столь необходимый свет, так сказать, в наем — беря за него взятки последними деньгами или куском хлеба заключенного.

Под соборами, в полуподвальном помещении, находится хлебопекарня. Заведует ею чекист Локис, латыш. Здесь также всемерно проводится соловецкий принцип: для администрации выделывается отборный хлеб, заключенные получают хлеб из горькой, испорченной муки, да и эти мизерные порции обкрадываются со всех сторон. Быть пекарем в Соловках — это значит не только быть всегда сытым, что является недосягаемой мечтой для всего лагеря, но и припасти хлеб на черный день, почему Локис извлекает из своей должности крупные выгоды, принимая в хлебопекарню заключенных только за большую взятку или особые услуги. Между прочим, тот же Локис организовал в хлебопекарне, с молчаливого согласия высшей администрации, так называемый «самогонный трест»: часть муки употребляется на изготовление водки для чекистов и ротных командиров. Это, в свою очередь, приводит к сокращению хлебного пайка заключенных до минимума.

В бывшей ризнице теперь устроен «культпросвет»: устроена сцена, развешаны, вместо изображений Христа и святых, Ленин, Маркс, Роза Люксембург и прочие персонажи коммунистического бедлама. Ниже я буду говорить подробнее об этом «культпросвете».

III

Верховным правителем Соловков и всех иных Северных концентрационных лагерей и ссылок является бывший председатель Петроградской ЧК, а теперь руководитель Специального отдела ГПУ Бокий, член Центрального Исполнительного Комитета Коммунистической партии. Бокий редко бывает в Соловках, живя постоянно в Москве, куда ему специальными курьерами, а также по почте, телеграфу и радио сообщается все могущее заинтересовать его лично или ГПУ в целом. Наместником Бокия на Соловках и исполнителем его мероприятий является Ногтев.

Ногтев — видный чекист, тоже член Центрального Исполнительного Комитета. Он принимал активное участие в октябрьском перевороте как матрос известного

крейсера «Аврора», обстреливавшего в октябре 1917 года петроградский Зимний дворец с укрывшимся в нем Временным правительством. Помимо своей неумолимой жестокости, Ногтев славится в Соловках своей непроходимой глупостью и пьяными дебошами. В самой его физиономии есть что-то безусловно зверское. В лагере его называют Палачом. Живет Ногтев со своей семьей в монастырском кремле, в первом этаже управления Северными лагерями особого назначения.

Помощник Ногтева — Эйхманс. Он тоже коммунист и тоже видный чекист, из эстонцев. Отличительной чертой Эйхманса, кроме свойственных всем агентам ГПУ садизма, разврата и страсти к вину, является увлечение военной муштрой. Эйхманс, безусловно, помешался на парадомании. Не считаясь совершенно ни с возрастом, ни с полом заключенных, он требует от всех солдатской выправки, отдания чести ему и всей администрации, выстраивания при встрече с ним во фронт, участия голодных и босых рабочих рот в дурацких смотрах и парадах. Эта столь же жестокая, как и глупая игра в солдатики приносит немало мучений заключенным. Достаточно не так повернуться на «параде», неправильно построить ряды, не стройно ответить: «Здра-сте, това-рищ на-чаль-ник!» — и, как взбешенный, Эйхманс обрушивается на виновного рядом репрессий, вплоть до Секирки.

Управление Северными лагерями особого назначения имеет пять отделов: административный, военный, эксплуатационно-коммерческий, хозяйственный, финансово-счетный.

Канцелярия административного отдела сосредоточена в управлении. Здесь ведется переписка общего характера, делаются различные доклады Ногтеву, отчеты и проч. Нижние служащие в канцелярии — из заключенных (рота канцеляристов). В канцелярии резко бросается в глаза главнейшая особенность и, пожалуй, единственный смысл и оправдание всего управления в целом — полная неразбериха в делах, втирание очков младшими старшим, жажда ослепить Центральное ГПУ фейерверком сказочных проектов и планов, необычайное разбухание всех отделов, подотделов и частей управления. То, что в нормальных условиях легко может выполнить один человек, в Соловках делают — и плохо — не менее десяти писцов, делопроизводителей и секретарей. В соловецких канцеляриях все основано на неприкрытом обмане. Заключенные-канцеляристы обманывают начальство видимостью работы; Ногтев и вся свора чекистов-администраторов прикрывает бесконечным потоком бумаг, смет, отчетов, секретных и несекретных записок в ГПУ поразительную даже для советской России нелепость и абсолютную ненужность своей деятельности, планомерный грабеж всего, что можно еще ограбить, колоссальные подлоги и хищения.

Даже при наличии опытных канцеляристов из среды «контрреволюционеров» ввести советскую канцелярщину в Соловках в законное русло немыслимо, ибо во

главе каждого отдела, каждой канцелярии стоит начальник-чекист, который, по малограмотности или преступности (последнее чаще), губит все дело.

Дорожа своим местом в канцелярии, которое удается занять только путем взятки или угодничества, заключенные выполняют безоговорочно всякое распоряжение администрации, как бы абсурдно оно ни было. Можно себе представить после этого, какой хаос творится в управлении, если в нем нередко ответственные посты поручены чекистам из бывших матросов, полуграмотных рабочих или плохо понимающих по-русски латышей!

Например, начальником следственной части является некто Васьков, бывший сапожник, чекист-малоросс. Этому в прямом и переносном смысле сапожнику поручено сложнейшее дело, требующее высшего юридического образования. Но в Соловках это вполне нормально. Сапожник в роли прокурора из ГПУ — в этом олицетворение соловецкого «судопроизводства». Все заключенные считаются формально уже осужденными и получившими определенный срок (конечно, без какого бы то ни было суда, заочно). Но это обстоятельство не смущает Васькова и его помощников. Главари следственной части производят «следственные дознания» и по прибытии того или иного «контрреволюционера» в лагерь, и, если усмотрят в его деле новую «контрреволюцию», несчастного постигает новое наказание.

Таким вылавливанием «контрреволюции» в особенности отличается соловецкий следователь Калугин, чекист, бывший рабочий, долгое время уже в лагере подписывавший свои приговоры крестом. Калугин совершает заведомые подлоги в делах, приплетает к ним мифических «свидетелей», инсценирует новые «процессы», то и дело прибегая к провокации и угрожая пыткой и расстрелом.

Впрочем, энергия Калугина вполне понятна и простительна, принимая во внимание те «преступления», за которые Центральное ГПУ посылает людей в соловецкую каторгу. Разбирая дальше «дела» заключенных, я подробнее остановлюсь на юридических перлах чекистов. Сейчас упомяну, между прочим, что в бумагах того или иного заключенного далеко не редкость встретить такое обвинение: «женат на княгине», «дед был епископом», «при обыске найдены погоны капитана» (хотя сам «обвиняемый» никогда офицером не был!).

А однажды мне пришлось видеть в деле одного заключенного такую резолюцию Харьковского ГПУ: «Содержать под арестом до выяснения причин ареста». И человека, о котором никто не знал, за что он собственно арестован, все же сослали в Соловки на три года! Кто же может сомневаться в законности и справедливости «рабоче-крестьянского» суда?!

Канцеляристы-заключенные постоянно отрываются от своего прямого дела. Периодически устраиваются — в тех же целях пускания пыли в глаза Дзержинскому

и Бокию: вот, мол, как мы работаем! — разные «ударники» и «субботники». Весь лагерь, в том числе и писцы, сгоняются на рубку и сплав леса, уборку сена, разработку торфа, постройку очередного никому не нужного завода, который неделю спустя бросается на произвол судьбы. Кроме того, заставляя опытных людей из числа заключенных работать в канцеляриях, чекисты все время срывают свою злобу на них же:

— Эта буржуйская сволочь, интеллигенция, везде устраивается!..

Канцеляристы снова попадают в рабочие роты; набирают новых писцов, снова выгоняют. И пока длится этот бедлам, делопроизводство лагеря превращается окончательно в произведения обитателей сумасшедшего дома.

Кроме отдела общей переписки, в административной части управления имеется так называемое шифровальное бюро. Оно ведает перепиской секретного характера (все служащие исключительно чекисты). Частично переговоры с Москвой ведутся по радио. В шифровальное бюро поступают тайные директивы ГПУ, шифрованная переписка, распоряжения о расстрелах. (По закону, приговаривать к смерти может только Центральное ГПУ, местная администрация лишь приводит приговор в исполнение. Однако правом расстреливать в широкой степени пользуется и Ногтев, и его помощники, причем в Москву доносится, что такой-то «пытался бежать и был убит конвоем» или — просто умер.)

Особое раздражение заключенных вызывает цензурная часть, просматривающая все письма, как поступающие в Соловки, так и отправляемые заключенными своим родным. Право переписки с родными дано «контрреволюционерам» лишь недавно (социалисты, или политические и партийные, пользовались этим правом с основания лагерей). Разрешается посылать не более восьми писем в месяц и столько же получать (социалистов это ограничение не касается); все сверх нормы без всяких разговоров уничтожается цензурной частью.

Во главе цензурной части стоит чекист Кромуль, специально присланный центром, у него три помощника из заключенных чекистов. Писать разрешается только о лично себя касающемся. Какое бы то ни было упоминание об условиях своей жизни, соловецком быте строжайше запрещено; критика администрации карается Секиркой. Незадолго до моего бегства, в октябре 1925 года, один из заключенных спросил, разрешается ли хвалить соловецкие порядки, на что Кромуль ответил:

— Не только разрешается, но и рекомендуется.

Нет никакой гарантии, что то или иное письмо будет пропущено цензурой, хотя бы удовлетворяло всем требованиям Кромуля. Письма свои заключенные должны оплачивать марками за свой счет. А так как в Соловках почти ни у кого нет даже 7 копеек на письмо, то значительный процент заключенных лишен и этой последней радости — написать несколько строк родным.

В Соловецком лагере довольно много иностранцев различных национальностей и подданств. Их письма обычно посылаются для просмотра в иностранный отдел ГПУ. Может быть, поэтому письма иностранцев особенно часто «пропадают в пути». Бывают и такие случаи, когда Кромуль требует от людей, совершенно не знающих русского языка, писать только по-русски и письма на другом языке разрывает на их же глазах.

Каждое из шести отделений Соловецкого лагеря, а также Секирка и женский штрафной изолятор, имеют своего особого начальника и начальника канцелярии. Эти ближайшие помощники Ногтева и Эйхманса сплошь состоят из чекистов, в большинстве случаев ссыльных. Губернские и уездные ГПУ Центральной России всемерно скрывают вопиющие преступления своих сотрудников и агентов; кладутся под сукно громкие дела об истязании арестованных, безрассудных расстрелах, грабеже, виртуозном пьянстве, насилиях над женщинами. Но иногда какое-нибудь из ряда вон выходящее преступление случайно всплывает наружу, доходит до сведения Москвы, и Катаньян — главный прокурор по делам ГПУ — посылает виновного на несколько лет в Соловки. Таких заключенных-чекистов в лагере свыше 100 человек. Из них-то и набирается, главным образом, средняя и низшая администрация.

Само собой разумеется, никем не обуздываемые ссыльные чекисты продолжают и на Соловках свою преступную деятельность. Это относится поголовно ко всем начальникам отделений. Так, начальник 1-го отделения Соловецкого лагеря чекист Баринов, бывший железнодорожный весовщик из Москвы, совершенно открыто берет взятки за освобождение от работ, чего и сам не отрицает.

Типичным соловецким «администратором» является начальник канцелярии того же 1-го отделения Анфилов, называющий себя офицером. По-видимому, службу в ГПУ он выгодно соединял со службой в какой-либо иностранной разведке, ибо попал в Соловки (на пять лет) за шпионаж (66-я статья Уголовного кодекса СССР). Анфилов совершенно безнаказанно насилует в своей канцелярии женщин из числа заключенных «контрреволюционерок». Зачастую это делается днем, во время занятий. Жалобы на Анфилова Ногтев оставляет без последствий. Одна из изнасилованных Анфиловым женщин, выйдя из заключения, прибыла в Москву и возбудила дело против начальника канцелярии. Был создан процесс, Анфилова вызывали в ГПУ и там... оправдали!

Тот же Анфилов канцелярские свои обязанности совмещает с деятельным участием в расстрелах. Я не знаю случая, чтобы в советской расправе над заключенными прямого или косвенного участия не принимал Анфилов.

Специфически чекистскую работу выполняет так называемая команда надзора. В ней только около 10 человек — вольнонаемные (назначенные из ГПУ чекисты),

остальные — из числа присланных в Соловки за должностные преступления. Раньше поле деятельности вольнонаемных чекистов и чекистов-заключенных было различным, теперь обе эти категории слились и несут одинаковые обязанности надзора, сыска и расправы. Необходимо отметить, что вольнонаемные все же человечнее других. Это не относится, впрочем, к особо приближенным к Ногтеву вольнонаемным.

Команда надзора принимает вновь прибывающих заключенных, производит обыски, широко применяет провокации и доносы в «следственных» целях, исполняет обязанности палачей при разного рода наказаниях, дежурит у ворота кремля и в комендатуре, выдает пропуска. До последнего времени команда надзора приводила в исполнение и все смертные приговоры, теперь же расстреливают солдаты Соловецкого полка особого назначения.

Из чинов команды надзора чисто животным бессердечием выделяется Новиков, бывший солдат. Зверским отношением к заключенным Новиков славился еще в Холмогорах, где практиковались массовые расстрелы заточенных в Холмогорском лагере, в том числе женщин и глубоких стариков. Тот же Новиков в Соловках, с одобрения высшей администрации, совместно с начальником канцелярии 1-го отделения Анфиловым, насилует всех попадающих к нему женщин. Вообще положение женщин в лагере кошмарно.

Из других надзирателей необходимо назвать некоего Зубкова, полуграмотного рабочего, выделяющегося своими доносами не только на заключенных, но и на ссыльную часть команды надзора (сам Зубков вольнонаемный).

Обыкновенно каждая тюрьма в советской России избирает из своей среды особого старосту (из заключенных), в обязанности которого входят всякого рода переговоры с администрацией и вообще защита товарищей по заключению. Соловки также имеют своего старосту, однако последний выполняет чисто чекистские функции, назначается управлением и является, в сущности, не защитником арестантов, а их прокурором. Теперь соловецким старостой состоит Яковлев, бывший начальник Московской милиции. В лагере он известен под именем «генерала», так как, подобно Эйхмансу и прочим, страдает парадоманией. Яковлев неимоверно толст, глуп и груб. За разные поблажки и льготы заключенным (например, освобождение от работ и проч.) «генерал» установил особую таксу — от 50 копеек и выше. Это прекрасно известно всей администрации, которая также сплошь укомплектована взяточниками.

До Яковлева старостами были чекисты Савич и Михельсон. У последнего одна нога короче другой, лицо искажено явно ненормальной гримасой. После эвакуации из Крыма Южнорусской армии генерала Врангеля (в ноябре 1920 года) Михельсон был прикомандирован к знаменитому Беле Куну, бывшему пред-

седателю Венгерской Советской Республики, которого Совнарком и ГПУ назначили диктатором побежденного Крыма. Прибыв в Симферополь, Бела Кун заявил, что «из крымской бутылки ни один контрреволюционер не выскочит», а, так как в советской России не контрреволюционерами считаются только коммунисты (полпроцента русского народа), то Крымский полуостров был буквально залит кровью. Бела Кун, его секретарь Землячка — любовница диктатора — и Михельсон (в должности председателя особой тройки по проведению красного террора в Крыму) расстреляли, утопили и зарыли в землю живьем за ноябрь и декабрь 1920 года, по советским данным, свыше 40000 человек!

Как известно, венгерский зверь в конце концов заболел нервным расстройством и долгое время пробыл в московском сумасшедшем доме. Михельсон после крымской человеческой бойни некоторое время продолжал свою кровавую деятельность на Соловках, а затем был назначен председателем ГПУ Киргизской Советской Республики, где, вероятно, находится и поныне.

Галерея советских палачей в Соловках была бы неполной без фигуры Квицинского, чекиста и коммуниста из поляков. До 1922 года Квицинский был помощником коменданта Холмогорского концентрационного лагеря, о котором не могут без ужаса вспоминать те немногие уцелевшие, что были перевезены из Холмогор, Архангельска и Пертоминска в Соловки. Неподалеку от Холмогорского лагеря находился одинокий, стоявший в стороне дом, давно уже брошенный его владельцами. В этом доме несколько лет подряд происходили систематические избиения десятков тысяч заключенных, попадавших в Холмогоры из всех губерний России, Кавказа, Крыма, Украины и Сибири (в то время этот лагерь был главной тюрьмой для «контрреволюционеров»). Одинокая усадьба, в которой нашли себе смерть бесчисленные «белогвардейцы», называлась Белым домом. Комендантом этого Белого дома и руководителем расстрелов был Квицинский. Разлагающиеся трупы казненных не убирались, новые жертвы падали на трупы убитых раньше. Зловонная гора тел был видна издали. По признанию самого Квицинского, только в январе-феврале 1921 года в Белом доме было убито 11000 человек, в том числе много женщин (сестер милосердия) и священников. (В конце 1920 года в Холмогоры стали прибывать тысячи заключенных из числа захваченных на Кавказе и в Крыму офицеров армий генералов Деникина и Врангеля, их родных и близких).

Перед переводом лагеря в Соловки Квицинский, заметая следы своих зверских преступлений, взорвал Белый дом.

Особые крючковатые палки, которыми соловецкие чекисты наносят удары «провинившимся» заключенным, называются «смоленскими». Получили они это наименование оттого, что впервые их ввел в употребление знаменитый архангельский, а по-

том и соловецкий палач Смоленский, польский коммунист. Квицинский, Михельсон и Смоленский могут считаться основоположниками и, так сказать, проводниками того потрясающего по своей жестокости и обилию крови красного террора, что такой широкой волной разливался и разливается по северу несчастной России.

До последнего времени в Соловках, при управлении лагерями особого назначения, существовало так называемое техническое бюро. Последнее проявляло себя, главным образом, представлением в ГПУ таких фантастических проектов использования и эксплуатации богатств Соловков, что нельзя было понять, где сумасшедшие люди — в техническом ли бюро, фантазирующем столь нелепо, или в Московском ГПУ, дающем деньги и материалы на это «техническое» безумие. Техническим бюро заведовал инженер Роганов, из заключенных. Это ярко выраженный тип соглашателя, лижущего пятки своим новым хозяевам — коммунистам. Весьма возможно, что Роганов уже на Соловках вступил и в Коммунистическую партию, и в ГПУ.

Весной 1925 года появился на свет Божий новый административный недоносок — эксплуатационно-коммерческая часть при том же управлении. В нее было включено и прежнее техническое бюро с тем же Рогановым. Во главе новой части был поставлен заключенный Френкель. Любопытна его судьба. Крупный австрийский фабрикант и подрядчик, Френкель приехал по торговым делам в Россию, заручившись всеми необходимыми документами и даже приглашением двух советских министерств: финансов и внешней торговли. В момент заключения Френкелем концессионного договора с высшими советскими органами его арестовало ГПУ, заявив, что Френкель, во-первых, не выполнил взятых на себя обязательств, а во-вторых, прибыл в Россию в целях военного шпионажа! Фабрикант был послан на пять лет в Соловки.

Френкель как-то снискал доверие к себе со стороны Ногтева и Бокия, был сначала в канцелярии управления, а с весны 1925 года стал начальником эксплуатационно-коммерческой части.

Кустарная работа инженера Роганова по колоссальному надувательству центра была введена Френкелем в правильное русло. Постоянно надуваемый изнутри бывшим фабрикантом и поддерживаемый снаружи Ногтевым, этот грандиозный мыльный пузырь достоин был бы увековечения в качестве памятника не только «хозяйственной работы» на Соловках, но и вообще всей советской «промышленности» в целом; последняя также есть не что иное, как сплошное надувательство и своего народа, и иностранцев, и очень часто самих себя.

Деятельность эксплуатационно-коммерческой части могла бы послужить достаточным материалом для увесистого юмористического сборника или для книги

уголовных деяний и подозрительных афер. Ограничусь приведением лишь нескольких примеров.

Выплыв на соловецкую поверхность, Френкель тотчас же начал строить железную дорогу на остров, стоившую крупных денег и большого труда. Дорога эта совершенно бесполезна, ибо заключенные крепко припаяны к своей тюрьме, свободного населения на острове нет, и, следовательно, ездить по железной дороге некому абсолютно. Френкель выдумал гениальный план: вывозить на материк дрова. Но неумелое ведение лесного хозяйства давно уже уничтожило леса. Кроме того, расходы по перевозке дров на материк совершенно не оправдываются, такая перевозка дает одни убытки, что было ясно и до постройки железной дороги. Однако полотно было проложено, миллионы были истрачены, а в результате — в настоящее время железная дорога, никому не нужная, уже заброшена. Зато Ногтев и компания лишний раз напомнили о своем существовании Московскому ГПУ:

— Мы построили на Соловках железную дорогу!

И, конечно, положили в свой карман не одну сотню тысяч!

Год тому назад соловецкие «хозяйственники» начали строить верстах в трех от кремля кирпичный завод. Глина в Соловках очень плохая, да и выделывался кирпич ручным способом. Когда повезли пробу в Кемь, там поднялся хохот: кирпич, уже при кладке, разламывался на части.

Это не смутило Френкеля и Роганова. Были вытребованы новые кредиты на дурацкую затею, выписаны из России специальные машины. Однако в лагере не нашлось специалистов по этому делу, кирпич по-прежнему выходил бракованный. Тогда было решено, что необходимо производить «зимнюю формовку кирпича». В лютые морозы заключенные много недель лепили глину; выросли у кремля целые горы кирпича. Но в одну особенно морозную ночь весь кирпич неожиданно треснул!

Раз в Москву был послан ослепительный рапорт о том, что «Соловецкий лагерь в ближайшем будущем сможет поставлять кирпич для всего севера СССР», надо было продолжать столь успешное дело, несмотря на неудачи. К кирпичному заводу была проложена новая ветка железной дороги; испорченный кирпич целыми эшелонами доставлялся к пристани, им были нагружены все имевшиеся в распоряжении Френкеля пароходы. Кирпич торжественно повезли продавать в Кемь и в Архангельск.

Уже на материке выяснилось, что для оплаты стоимости провоза, загрузки и выгрузки соловецкого кирпича необходимо не только отдать весь кирпич совершенно бесплатно, но и еще доплатить тому, кто бы взял эту гниль. Покупателей на кирпич не нашлось. Пароходы простояли некоторое время в

Кеми и Александровске[6] и, не дождавшись покупателей, вывалили кирпич на пристани и ушли обратно в Соловки!

И все же Ногтев и эксплуатационно-коммерческая часть по-прежнему продолжали радовать сердце Дзержинского фантастическим снабжением всего севера СССР соловецким кирпичом, хотя сам кирпичный завод уже заброшен.

То же вышло, как я уже упоминал, и со смехотворной затеей устроить на Соловках завод для гонки смолы. Для этого не оказалось сырья; стоивший больших денег завод забросили.

Характерной чертой Соловков является выполнение сложных технических заданий в порядке административного приказа, не имеющего ничего общего со здравым смыслом. Мнение заключенных инженеров совершенно не принимается во внимание.

Так, пришел в совершенно негодное состояние пароход «Глеб Бокий» (раньше «Жижгин»)[7]. Его начали ремонтировать домашними средствами. Когда ремонт коснулся винта, Попову вдруг понадобилось срочно спустить пароход на воду. Предупреждение, что без винта пароход не может двигаться, было признано «злостной контрреволюцией», и Ногтев приказал:

— Немедленно спустить пароход!

«Глеб Бокий» чуть не затонул. С трудом спасенный, он всю навигацию неподвижно простоял в соловецкой гавани, не имея возможности — без винта — двинуться с места! И таких примеров — сколько угодно.

Управление Северными лагерями особого назначения сказочное богатство давно уже нищего Соловецкого монастыря хотело обосновать на слишком зыбкой почве — бесплатном труде заключенных. Понятно, эти чекистские мечты с грохотом рухнули сразу же. Никакого стимула в работе на Соловках нет. Не только не получая за свою работу ни копейки, но и более-менее человеческого отношения, каждый заключенный стремится работать возможно меньше и хуже. Все скрывают свою специальность, поэтому даже плотников, пекарей, печников, которых немало среди заключенных уголовных, управлению приходится привлекать со стороны, нанимая их на материке. Что, кроме неминуемого краха, может выйти из такого «хозяйства»?

Все заключенные по инерции, а часть из них и с сознательной задней мыслью, беспрекословно выполняют явно ненормальные распоряжения администрации и ее «хозяйственных, технических, коммерческих» и иных органов. И вместе с тем вина за всякого рода неудачи всегда падает на головы именно заключенных, хотя

---

[6] Город Александровск (ныне Полярный) находится на берегу незамерзающего Кольского залива. Возможно, что это не опечатка и кирпич возили туда.

[7] Бывший монастырский пароход «Соловецкий» в 1920 г. переименован в «Жижгин» — по названию острова в Онежском заливе. В 1923 г. судно стало называться «Глеб Бокий», а в 1930 г. — «СЛОН». При этом новый пароход «Сардаров» был переименован в «Глеб Бокий».

их всегда и всюду заставляют делать то, что противоречит элементарным законам хозяйственного расчета и здравого смысла.

В последнее время Френкель увлекается новым «делом»: в самом кремле и в некоторых скитах открываются небольшие казенные магазины. В них имеются любые товары: обувь, одежда, продукты питания, даже вино. Так как все получаемые заключенными от родных деньги отбираются администрацией и вносятся на особый счет, откуда и выдаются по особому каждый раз требованию и разрешению, то в соловецких лавочках можно покупать и в кредит, раз вы имеете деньги на своем счету. Все это не могло бы вызвать возражений, если бы деньги лавочек были нормальны. Но этого-то и нет. Все в Соловках дороже общесоветских цен минимум на 50 процентов (очень часто и на 100 процентов). Таким образом происходит планомерный грабеж заключенных в пользу администрации, чекистов и красноармейцев, имеющих право покупать все им необходимое ниже их рыночной ценности (тоже на 50—100 процентов).

Само собой разумеется, лишь малая часть заключенных получает из дому помощь деньгами. Большинство из них перед отправлением на Соловки бывает свидетелями того, как ГПУ конфискует у их родных все имущество за «укрывательство контрреволюционеров». Но даже получающие деньги не всегда могут употребить их на свои нужды: часто чекисты лишают того или иного заключенного права получения денежных посылок за какой-нибудь «проступок», присваивая деньги себе. Надо ли говорить, как злоупотребляет администрация этим захватным правом, как часто чекисты промышляют этим грабежом, обрекая заключенных на голод.

Посылки с вещами и продуктами в лагере получаются чаще, чем денежные, но и здесь мы сталкиваемся с той же спекуляцией на голоде. Администрация всячески задерживает получение заключенными их посылок, вынуждая их покупать все необходимое в лавочках Френкеля по страшно вздутым ценам.

Помимо самого факта явно спекулятивного характера соловецких лавочек и ларьков, последние есть не что иное, как насмешка над Северными лагерями особого назначения, новое яркое доказательство поразительного неравенства в правах не только советских «свободных» граждан, но и советских арестантов. По закону, СЛОН — лагерь принудительных работ, с крайне тяжелым режимом, скудной пищей, моральным и физическим гнетом. Соловецкие же ларьки и поголовная продажность администрации привели к тому, что попадающие в Соловки спекулянты, аферисты, фальшивомонетчики, крупные представители уголовного мира и вообще лица, имеющие и в тюрьме большие деньги, живут в СЛОНе не хуже, чем в своей квартире, при помощи взяток освобождаются от работ, покупают в ларьках щегольское платье, одежду, белье, вино, устраивают-

ся — тоже за взятку — в отдельных комнатах, даже нанимают прислугу из числа безденежных заключенных!

Таким образом, ни характер вашего «преступления», ни тяжесть вынесенного вам ГПУ приговора не имеют на Соловках абсолютно никакого значения. Есть у вас деньги — к вашему голосу прислушивается сам Ногтев (берущий обычно не менее 100 рублей), к вашим услугам все чекисты и все ларьки. Денег нет — вы буквально умираете с голоду. А так как подавляющее большинство заключенных — нищие «контрреволюционеры», то колоссальная разница в положении между ними и барствующими спекулянтами просто режет глаза.

Хозяйственная часть находится в подчинении эксплуатационно-коммерческой. Функции ее: выдача пайков, вещевого довольствия и проч. Какую одежду выдают на Соловках и как трудно получить даже залитые кровью штаны с расстрелянного, я уже говорил. В следующей главе я подробнее остановлюсь на другой области деятельности хозяйственной части — выдаче пайков.

Финансово-счетная часть...

Даже на фоне общесоловецкого административного произвола, преступности и исключительного канцелярского хаоса финансово-счетная часть выделяется своим ярко уголовным характером. Целый букет подлогов, растрат, фальшивых отчетов поражают с первого же знакомства всякого, кто имеет случай познакомиться с «делопроизводством» этого учреждения. По-видимому, дела финансово-счетной части ведутся намеренно в грандиозном хаосе, дабы никакая ревизия из центра не смогла в них ничего понять.

Некоторое время тому назад в финансово-счетную часть был привлечен опытный счетовод из заключенных (бывший чиновник таможенного ведомства); проработав несколько месяцев, он направил было по правильному руслу этот поток бумаг, отношений, сношений, счетов и ведомостей, почти всегда вымышленных. Но это не понравилось тем, кому выгоден был хаос финансово-счетной части; таможенного чиновника изгнали из канцелярии.

Начальником финансово-счетной части является Соколов Константин Николаевич. Он — бывший счетовод в одном из губернских отделений государственного банка.

У меня не хватает слов в достаточной мере обрисовать всю мерзость и подлость этого человека. Соколов — вольнонаемный (то есть, не из числа заключенных), по собственному желанию прибыл на службу в Соловки, чего одного уже достаточно: для этого надо было заранее заглушить в себе и совесть, и сострадание к соловецким мученикам. Не только не чекист, но даже и не коммунист, Соколов в действительности ни в чем не уступает старым чекистам. На каждом

шагу он дает понять, что он не просто лоялен к ГПУ, но и всемерно поддерживает его в деле наибольшего глумления над заключенными.

Соколов для всего лагеря ненавистнее любого коммуниста, ибо последний в Соловках творит гадости, промышляет шпионажем и доносами открыто, начальник же финансово-счетной части ведет скрытную игру на крови и страданиях «контрреволюционеров». Спросите любого «каэра» о Соколове, вам ответят:

— Этот — враг для всех. Это отъявленный негодяй.

Соколов силой принуждает всех прибывающих в Соловки молодых женщин служить у него в канцелярии и на глазах у всех насилует их, зная, что это сойдет ему с рук, ибо вся без исключения администрация безнаказанно вот уже сколько лет глумится над заключенными женщинами. Страшно сказать, но даже в среде самих заключенных бесчисленные случая насилий над женщинами уже не производят впечатления, до того это гнусное преступление стало обычным в лагере.

Военная часть ведает управлением, снабжением и питанием расположенных на Соловецких островах красноармейцев. Охраняются Соловки так называемым Соловецким полком особого назначения войск ГПУ в составе 600 штыков (полк пехотный). Кроме того, при надобности обязанности караульных и конвойных несет вооруженная револьверами команда надзора и рота чекистов.

Соловецкий полк особого назначения сносно одет и достаточно хорошо вооружен (кроме винтовок, имеется много пулеметов). Был даже проект ввести артиллерию. Солдаты полка в большинстве не коммунисты, но ГПУ заставило их служить себе не за страх, а за совесть, отчасти разного рода поблажками, выдачей усиленного, или «северного», пайка, разрешением пьянствовать и насиловать женщин, отчасти суровой расправой с непокорными. Почти все красноармейцы из рабочих.

Ногтеву все время мерещится нападение «иностранной буржуазии» на Соловки с целью освободить заключенных. Поэтому весьма часто производятся разного рода ложные тревоги, построения, учения, пулеметная и ружейная стрельба, защита острова от воображаемой «буржуазной эскадры». Конечно, серьезной реальной силы Соловецкий полк не представляет. Достаточный для охраны (и расстрела) безоружных заключенных, он, безусловно, не выдержал бы натиска отряда и втрое меньше его по численности. Соловецкие красноармейцы крайне распущенны, трусливы, как и вся Красная армия.

Я уже упоминал, что комендант Соловков латыш Ауке арестовал прежнего командира Соловецкого полка особого назначения Лыкова и комиссара того же полка Кукина за их противодействие в вопросе о передаче полка из состава Петербургского военного округа в исключительное ведение ГПУ.

Теперь командиром полка является чекист Петров, всецело подчиняющийся и в чисто военном отношении только ГПУ.

IV

С открытием навигации и освобождением Белого моря от ледяных заторов в Соловки начинают прибывать новые партии «врагов советской власти». Изо всех углов необъятной России столичные, губернские и уездные ГПУ посылают в СЛОН своих «государственных преступников».

Наибольший приток заключенных в Соловки наблюдается весной и в конце осени. В первом случае привозят тех, кто в период замерзания Белого моря ожидал своей отправки в концентрационный лагерь в тюрьмах внутренней России (главным образом, в московской Бутырской тюрьме и на Шпалерной в Петербурге). Во втором случае — поздней осенью — в Соловецкий лагерь вливается широкая волна «амнистированных контрреволюционеров».

Дело в том, что, обманывая Европу своей «гуманностью», советское правительство обычно ежегодно объявляет амнистию «всем врагам рабоче-крестьянской власти», приурочивая эту амнистию ко дню советского переворота 25 октября (7 ноября по новому стилю). Но то же «гуманное» правительство через органы ГПУ одновременно отдает местным властям тайный приказ применять амнистию лишь к уголовному элементу. Поэтому провинциальные органы ГПУ «амнистируют» своих заключенных следующим способом (регулярно повторяющимся каждый год): за несколько недель, а иногда и за день до 25 октября часть «контрреволюционеров» расстреливается «в ударном порядке», остальные спешно отправляются в Соловки. Последние, по изданному еще в 1923 году декрету Дзержинского, никакой амнистии не подлежат.

В день октябрьского переворота на свободу из тюрем выпускаются амнистированные воры-профессионалы, убийцы, фальшивомонетчики, спекулянты, которых советская пресса на весь мир аттестует как «освобожденных и прощенных гуманной коммунистической властью политических преступников»!

Этот наглый обман иностранного общественного мнения повторяется каждую осень. К сожалению, есть люди, попадающиеся на эту провокаторскую удочку.

Прибытие каждой новой партии заключенных совершается всегда в одном в том же порядке.

Из Кеми заключенных привозят на барже «Клара Цеткин». Эта баржа была оставлена помогавшими генералу Миллеру англичанами.

Везут заключенных в трюме баржи. Трюм этот довольно велик, но «контрреволюционеров» всегда так много, что люди задыхаются в нем. Часто люди

вынуждены всю дорогу стоять в полной темноте, ибо даже сесть нельзя из-за отсутствия места, свет же в трюм не проникает. Следует упомянуть, что в пути никакой пищи не выдается.

Соловецкая гавань расположена в 300, приблизительно, саженях от кремля. Как только к пристани подходит «Клара Цеткин» с новой партией заключенных, вся гавань оцепляется красноармейцами. Никого к пристани не пропускают, кроме дежурных из чекистской роты надзора.

Вы сразу же чувствуете, куда попали. Вы сразу же понимаете, что это не ссылка, не вольное поселение, а тюрьма с самым жестоким режимом.

Заключенных выстраивают в колонну по четыре человека в ряд. Производится перекличка вновь прибывших по сопроводительному списку. Беспрерывно слышится самая мерзкая брань и издевательства со стороны чекистов. После переклички партию в воинском порядке ведут в кремль, в один из ограбленных дочиста соборов (Преображенский) для обыска. Цепь конвоиров окружает партию со всех сторон.

Я сам подвергался этому вступительному обыску, видел, как обыскивали других. Это — замаскированный грабеж. Какое оружие, какая антисоветская литература может быть у людей, обысканных до Соловков по крайней мере раз 20 и в Центральной России, и в Петроградском ГПУ, и в Кеми, и на Поповом острове?! Или чекисты думают, что это оружие или литература сваливаются на «Клару Цеткин» с неба по пути из Кеми в Соловки?

Обыск производится по особой инструкции, которая предусматривает отобрание у заключенных всех ценных вещей, денег, часов и кожаных изделий. Женщин обыскивают здесь же, совершенно не щадя их стыдливости, раздевая их при всех, глумясь над ними. Если кто пытается скрыть что-либо, скрытое немедленно конфискуется, а виновный попадает в карцер.

Прикрываясь видимостью законности, соловецкие чекисты выдают особые расписки с перечислением отобранных вещей. Многие заключенные тут же рвут эти записки на мелкие части, ибо, конечно, нет никакой надежды получить свое имущество обратно. Вещи выдаются лишь чекистам и тем из заключенных, которые сумели втереться в их доверие.

После обыска партия разбивается на части: «контрреволюционеры», уголовные (так называемая шпана) и заключенные-чекисты. Пользующиеся значительными привилегиями политические и партийные (бывшие социалисты) и доставляются в Соловки, и обыскиваются совершенно отдельно от «контрреволюционеров» и шпаны.

После разбивки на группы прибывшие чекисты получают назначения по своей специальности, а к «контрреволюционерам» вызываются ротные командиры.

Составленные из агентов ГПУ и наиболее опустившегося уголовного сброда ротные командиры беспрерывно стараются угодить высшему соловецкому начальству безжалостным притеснением заключенных. Это — лагерный комсостав (командный состав), играющий роль самодержавных царьков, во власти которых казнить и миловать. Ротные командиры с недавних пор имеют особую форму: темно-синий костюм, околыш фуражки и петлицы — серые.

Вновь прибывшие разбиваются на роты, после чего каждый ротный командир обычно обращается к своим новым рабам с длинной речью. Она сплошь заполнена нецензурной бранью, грубыми наставлениями, как себя вести в лагере, угрозами за малейшее отступление от соловецких правил поплатиться жизнью.

Затем сразу же начинается «военное обучение». Каждый ротный командир заставляет уставших в бесконечном пути, голодных, полураздетых людей производить сложные построения, повороты. Отовсюду слышатся возгласы начальства:

— Отвечать как командиру роты!

— Отвечать как командиру полка!

— Как начальнику лагеря!

В ответ слышатся нестройные крики заключенных:

— Здрась... — с прибавлением соответствующего чина начальства.

Ротные командиры требуют большей согласованности в ответах. Раздаются, пересыпанные базарной бранью, новые приказания:

— Еще раз! Еще раз!..

Новое «Здрась...», новая брань. И так порой продолжается до ночи. Дурацкая игра в солдатики совершенно сбивает с ног каждую новую партию «контрреволюционеров» и шпаны. (Политические и партийные муштре не подвергаются, их сразу же отвозят на скиты.)

После муштры заключенные размещаются в рабочих корпусах и соборах. Последние первое время были закреплены за музейным отделом Комиссариата народного просвещения. Но скоро ГПУ потребовало передачи их в свое ведение. Да и делегаты Наркомпроса убедились на месте, что никакого материала для музеев в соборах давно уже нет, все разграблено, разбито и сожжено.

Сплошь заставленные топчанами (деревянными койками), соборы для жилья в них абсолютно непригодны. Все крыши дырявые, всегда сырость, чад и холод. Для отопления нет дров, да и печи испорчены. Ремонтировать соборы управление не хочет, полагая — не без основания, — что именно такие невыносимые условия жизни скорее сведут в могилу беззащитных обитателей соборов.

Вечный гнет, полное бесправие, скотская жизнь скоро приводят к тому, что вновь прибывшая партия быстро теряет человеческий вид. Люди в Соловках, не-

заметно, может быть, для самих себя, звереют. Появляется полнейшая апатия ко всему, что не имеет отношения к куску хлеба. Многие интеллигентные заключенные неделями не моются, свыкаются с миллионами вшей, покрывающих их тела, топчаны, пол и стены их жилищ. Отсутствие умственных интересов, книг и газет превращает их мозги в разжиженную, покорную всем посторонним влияниям слизь. Очень и очень многие в конце концов кончают безумием.

Все новички, попав в лагерь, теряются. Соборы и рабочие корпуса всегда напоминают больницу для буйно помешанных. Начальство всех рангов и положения беспрерывно отдает порой просто невыполнимые приказания, бьет непослушных, кричит, ругается. Все время команды, учения, репрессии за «недостаточную дисциплину». Никто ни на одну минуту не предоставлен самому себе.

Опасаясь побегов заключенных, начальство кстати и некстати производит проверку. Первая, утренняя, проверка производится зимой в 7 часов утра, летом в 6 (вставать заключенные обязаны в 5 часов утра). Все проверки изнурительно долги. Здесь тоже слышится бесконечная брань, и командиры рот снова учат, как отвечать начальству, как исполнять те или иные команды в строю.

Последняя энергия в Соловках уходит на непосильный труд.

Незначительную часть заключенных (человек около 300), по прямой инструкции центра или распоряжению местных властей, вовсе не выпускают из лагеря на внешние работы из опасений побега. Эта часть заключенных работает внутри лагеря и кремля по уборке помещений, рубке дров, чистке снега, выполняет подсобные работы в роте специалистов, служит поварами, лакеями и конюхами у чекистов.

Не разрешая некоторым заключенным выходить за пределы лагеря, чем предполагалось наказать «подозрительных по побегу» людей, чекисты в действительности оказали им услугу, ибо внешние работы по своей тяжести оставляют далеко позади работы внутренние.

Работают в Соловках всегда. Никаких воскресений и праздников нет. Не делается исключений и для особо священных для христиан дней: Рождества Христова и Пасхи. Наоборот, многие надсмотрщики-чекисты на Рождество и на Пасху заставляют заключенных работать вдвое. В отделе «Труд заключенных» особого «Секретного положения о Северных лагерях особого назначения» (разработанного еще в 1923 году ГПУ и утвержденного комиссией ВЦИКа) сказано: «В лагерях устанавливается восьмичасовый рабочий день». Фраза эта — горькое издевательство над людьми, которым и десятичасовый день кажется мечтой. В Соловках заключенные работают 12 часов. Рабочие часы иногда еще удлиняются по простому распоряжению десятника (десятники — выделенные из среды заключенных же помощники командиров рабочих рот, на каторжном труде заключенных делающие

себе карьеру). В особенности это относится к дням, когда управлению бывает угодно устраивать «ударники», «субботники» и проч. В таких случаях никаких сроков нет. Работают буквально до потери сознания.

Существуют особые привилегированные работы: на пароходах, командировки в различные части Соловецкого и других островов на заводы, рыбную ловлю, сбор сена и проч. Артели таких рабочих живут при своих заводах, тонях и т.д., ввиду чего и чувствуют они себя свободнее, и чекистов вокруг них меньше. Попасть на такую работу очень нелегко. В командировки посылаются обычно совершенно надежные и преданные администрации заключенные из числа шпаны.

Остальная же масса заключенных ежедневно выводится из лагеря в военном порядке, поротно, окруженная караулом и чекистами, на рубку леса, разработку торфа, сплав баланов (леса). Кроме того, заключенные грузят и выгружают пароходы и баржи, осушают болота, проводят новые дороги (грунтовые и железнодорожные) и ремонтируют старые.

Самый тяжелый труд — разработка торфа. Минимум задания очень высок, еле успеваешь к наступлению мрака выполнить свою долю. Приходится все время стоять по колено в воде. Не только высоких сапог, но зачастую и плохих ботинок у заключенных нет; люди ранней весной и поздней осенью леденеют от холода. К этому надо прибавить необычайное обилие комаров и особых ядовитых мух, превращающих работу на торфе и по осушке болот в сплошную пытку.

Очень тяжело достается заключенным и рубка леса, в особенности в зимнее время. Необходимо срубить, очистить от веток, распилить и сложить кубическую сажень в день. Все заключенные разбиваются на партии по три человека: два человека пилят, третий рубит. Мерзнут руки, ноги, тело, еле покрытое тряпьем. Работать приходится в глубоком снегу и значительную часть дня во мраке (на Соловках дни очень кратки, светло бывает часа четыре-пять).

По изнурительности и условиям работы сплав баланов не уступает лесорубке. Приходится по глубокому снегу тащить тяжелые, сучковатые бревна к берегу. Каждый заключенный обязан притащить к берегу не менее полукуба. Летом эти бревна сплавляются к материку по морю.

Рабочие-«контрреволюционеры» буквально падают с ног, выполняя свой минимум, в то время как шпана, пользуясь своим привилегированным, сравнительно с «каэрами», положением, всячески уклоняется от работы или выполняет ее крайне недобросовестно. Шпана изобрела целый ряд порой остроумных штук для обмана надсмотрщиков.

Так, при сплаве баланов уголовные очень часто «хоронят покойников»: особо тяжелые и сучковатые бревна незаметно для администрации прячутся под близ

расположенным кустом и засыпаются снегом. Это гораздо легче, чем тащить такой балан до самого берега. Обычно в таких случаях один из рабочих-уголовных, за которыми меньше присматривают на работах, стоит на страже, а другой «хоронит». Каждую весну после таянья снега неожиданно всплывают тысячи «покойников».

Проводя надсмотрщиков, шпана долгое время умудрялась при рубке леса бревна с сучьями или один и тот же куб дров сдавать два или даже три раза, что позволяло и раньше кончить свою трудовую повинность, и прослыть «хорошими рабочими». Это было в конце концов замечено, и администрация стала отмечать каждый уже принятый куб особым клеймом: «Принято». Однако и это не помогло: шпана спиливала клеймо и снова сдавала все тот же куб. То же наблюдается и теперь.

Само собой разумеется, весь тот труд, от которого так или иначе уклоняется шпана, ложится всецело на «каэров». Последние постоянно бывают вынуждены выполнить и свой, и чужой минимум.

Работать приходится при тех же условиях гнета и постоянных угроз. За своей спиной вы все время слышите щелканье курков и разговоры о том, что каждый плохо работающий будет тут же убит. Усталость или болезнь, понятно, считаются «буржуазными предрассудками».

В конце зимы 1925 года я был свидетелем такого случая: один из заключенных, больной старик из «каэров», незадолго до окончания работ совершенно выбился из сил, упал в снег и со слезами на глазах заявил, что он не в состоянии больше работать. Один из конвоиров тут же взвел курок и выстрелил в него. Труп старика долго не убирался «для устрашения других лентяев».

Хаотическая бессистемность, беспорядочное бросание из стороны в сторону от одного «гениального» плана к другому, столь характерное для соловецкой жизни, полностью наблюдается и на работах. Последние не приносят почти никакой пользы управлению, ибо распоряжения одних начальников, одних надсмотрщиков сводят на нет или вносят колоссальную путаницу в распоряжения других. Каждый заключенный стремится вести себя на работах так, будто он действительно делает что-то очень важное, в действительности занимаясь хотя бы никому не нужным перетаскиванием одного бревна на место другого или наоборот. Тягостный, утомляющий труд пропадает совершенно даром.

Хотя управление не устает «натаскивать» красноармейцев-конвоиров против заключенных, но в смысле взяток конвоиры ничем не отличаются от самого Ногтева. Угощая красноармейцев папиросами, подкармливая их и прочее, можно и облегчить свою работу, и даже вовсе освободиться от нее. Таким образом, и в области соловецкого принудительного труда деньги имеют первенствующее значение.

Мне уже приходилось выше говорить, что на Соловках очень распространены особые словечки и целые фразы на своеобразном уголовно-чекистском жаргоне. То и дело слышишь отовсюду такие слова, как «стучать» (доносить, провоцировать), «стукач» (шпик), «идти налево» (быть расстрелянным), «сексот и сексотка» (секретный сотрудник или сотрудница ГПУ), «шпана» или «шпанка» (уголовные, мужчина и женщина), «шмара» (чекистская любовница) и многое другое. Но чаще и упорнее всего вы слышите на Соловках все то же ставшее таким обычным и понятным в бесконечных вариантах и переделках слово «блат».

Трудно совершенно точно определить значение этого уголовного выражения. «Блат» — это смесь и собственной ловкости, умения лавировать между подводными камнями соловецкого режима, и протекции начальства, и та система общей подкупности и продажности, при которой за деньги, за подачку или лесть чекистам вы значительно облегчаете свое положение.

В Соловках все делается «по блату». Если заключенному как-нибудь удается пройти в «господскую баню» (то есть не-общую, только для администрации), другие заключенные говорят:

— Это он по блату.

Бывают «блатные работы» (сравнительно легкие). Бывает и полное освобождение от работ — по тому же «блату». Если заключенный встречает некоторое послабление в смысле облегчения режима, улучшения питания, чаще пишет домой письма, даже просто здоровее и веселее других заключенных, весь лагерь знает, что этот человек, путем ли взятки, путем ли особых услуг чекистам, но на некоторое время отвел от себя тяжелую руку Ногтева, командира роты или надзирателя. О таком человеке неизменно говорят:

— У него там блат... — причем под «там» разумеются соловецкие «высшие сферы».

«Всемогущий блат» — сила в лагере слишком значительная и ярко бросающаяся в глаза, чтобы можно было преувеличить ее значение. Недаром в Соловках слагаются и особые песенки, своего рода молитвы, посвященные тому же «всемогущему блату».

Надо ли говорить, какой любовью пользуется все тот же «блат», когда дело касается получения продуктов.

Как это ни странно, но в первые годы существования Северных лагерей особого назначения, в годы усиленного красного террора питание заключенных было поставлено лучше, чем теперь, — относительно, конечно. Эвакуируя Архангельский и Мурманский фронты, Белая русская армия генерала Миллера и английские отряды оставили в районе своих действий довольно значительное

количество различных продуктов и припасов: муку, сахар в особых кубиках, американское сало, консервы, мыло; было оставлено и некоторое количество английского обмундирования. За невозможностью из-за расстройства железнодорожных путей вывезти все это в центр, продукты выдавались заключенным Соловецкого лагеря. Правда, почти всегда были чрезвычайно малы, всегда выдавались с таким расчетом, чтобы люди не умерли лишь с голоду, но запасы продуктов были, и выдавались они регулярно и, главное, на руки — в сухом виде.

Английские продукты были скоро исчерпаны, и управлению пришлось самому кормить заключенных.

В настоящее время все «контрреволюционеры» и шпана получают приблизительно ¾ фунта черного хлеба в день; на выдачу полагается 1 фунт, но при выпечке хлеба, при раздаче его ротам и дележке каждый «администратор» крадет понемногу, и в конечном счете фунт теряет по крайней мере четверть. На хлеб заключенным идет худшая, часто испорченная мука. Выдается он сразу на неделю, а потому быстро черствеет.

Тяжесть вашей работы не имеет значения, порция одна и та же для всех категорий рабочих. Порция эта, конечно, совершенно недостаточна даже для заключенных-канцеляристов, не говоря уж о занятых тяжелым физическим трудом на торфе или лесных разработках.

Сахар выдается в микроскопических дозах — ровно половина того, что полагается и проводится по книгам хозяйственной части; украденный у заключенных сахар администрация продает в свою пользу. В целях того же обкрадывания постоянно слышишь, что сахар «рассыпался в пути, а потому хозяйственная часть вынуждена уменьшить выдачу»; раздатчики наливают в мешки с сахаром (песочным) воду, дабы увеличить его вес.

До последнего времени заключенные совершенно не получали табаку, хотя табак из центра получался и по книгам лагеря значился выданным. Один из чекистов-заключенных, отсидев свой срок и явившись в Москву, сообщил об этом в хозяйственный отдел ГПУ, после чего в Соловках стали выдавать табак (махорку) по четверть фунта в неделю. В книгах же, как это я сам видел неоднократно, значится, что табак выдается по полфунта в неделю.

Чай, масло (постное), мыло и прочее совсем не выдаются заключенным, хотя они и присылаются из центра. Все это еще на материке Ногтев и компания продают спекулянтам, присваивая деньги себе.

Горячая пища выдается два раза в день: обед и ужин. Обед состоит из отвратительного супа на треске без каких бы то ни было приправ и двух ложек каши, обычно пшенной; на ужин — снова каша, тоже обычно пшенная (редко гречневая), в том же скудном количестве и без масла. Крупа для каш отпускается затхлая.

Хозяйственная часть доносит в Москву о том, что «имеющийся в лагере скот идет в пищу заключенным». Это в лучшем случае фантазия. Заключенные питаются исключительно треской, не всегда свежей. В очень редких случаях — по коммунистическим праздникам, например (7 ноября или 1 мая) — в общую кухню с бойни привозятся головы, ноги и хвосты зарезанного скота. В такие дни несчастным заключенным нищенский соловецкий обед кажется пиршеством Лукулла. Отдаются в общую кухню и туши заболевшего скота, в результате чего я был свидетелем ряда отравлений.

Мечта всего лагеря — получать продукты для обеда и ужина на руки и самим готовить себе пищу — для подавляющего большинства неосуществима. Такой порядок сузил бы рамки административного грабежа, а потому выдача продуктов на руки производится только «по блату». Политические и партийные получают все продукты только на руки; об их пайке я буду говорить в следующей главе подробнее.

Читатель уже знает, что по милости администрации соловецкая «центро-кухня» находится рядом с «центро-сортиром». Это обстоятельство, а также крайняя нечистоплотность поваров «центро-кухни» (исключительно из числа шпаны), превратили кухню в мерзостную клоаку. Только систематически голодающие соловецкие узники могут есть эти вонючие «обеды» и «ужины» без отвращения. Вновь прибывающие заключенные продолжительное время не могут без отвращения и позывов к рвоте подносить ложки ко рту.

Повара «центро-кухни» не только обкрадывают заключенных при варке и раздаче обедов и ужинов, но и отдают всегда явное предпочтение своему «классу» — таким же уголовным, в ущерб «каэрам», никогда не получающим полностью даже свои скудные порции.

В «центро-кухне» почему-то никогда нет кипятку. Заключенным сплошь да рядом приходится самим кипятить воду в консервных жестянках.

Ни тарелок, ни ложек, ни ножей заключенным в Соловках не выдается. Все это «каэры» должны привозить с собой или покупать в соловецких ларьках. Кто с собой ложки не привез, а денег купить ее нет, ест руками.

Опровергая «наглую клевету кровавой буржуазии», правдивое Московское ГПУ всем прибывающим в Москву иностранным рабочим делегациям заявляет, что заключенные в Соловках не только «получают вполне достаточный паек», но при особо тяжелых работах, когда необходимо усиленное питание, им выдаются особые суммы на руки, помимо «вполне достаточного» пайка.

Конечно, это чекистская басня. Весьма возможно, что «премиальные» (в размере от 20 до 60 копеек в день) и полагаются; вне всякого сомнения, эти «премиальные» проводятся в отчетностях лагеря, но никто из заключенных никогда

ни копейки не получал, не получает и получать не будет. В некотором смысле я могу считать себя «соловецким старожилом»: привезенный из Архангельского лагеря, я прибыл на Соловки в первый же день их превращения в СЛОН и пробыл в них около трех лет. За этот период я прошел всю лестницу принудительных работ — от канцелярских до торфа и лесорубок. Но ни разу за свой труд, в чем бы он ни заключался, я не получил ни одной копейки.

Выдача заключенным «премиальных» совершенно не соответствовала бы основному смыслу Северных лагерей особого назначения — всяческими мерами, непосильным трудом, голодом, моральным и физическим гнетом обречь на смерть всех соловецких узников.

Строго следуя своей цели, для чего, спрашивается, Дзержинский, Бокий, Ногтев и прочие стали бы отдалять выдачей «премиальных» столь желанную гибель «врагов советской власти»?

«Контрреволюционеры» не только отдают все свои силы, весь свой труд в жертву ненасытному ГПУ и его соловецким агентам. Соловецкие узники обязаны и развлекать лагерную администрацию.

Для этого и устроен (в бывшей ризнице) «культпросвет» — «культурно-просветительный» блеф, яркими большевицкими плакатами, портретами богов коммунистического олимпа, громкими словами прикрывающий свое убожество.

Столп и утверждение вообще всего советского строя — реклама, бешеное раздувание «великих завоеваний октябрьской революции», хотя бы эти завоевания и ограничивались бы развитием людоедства, поголовной неграмотности и венерических заболеваний. Тем же целям саморекламы служит и соловецкий «культпросвет»: «Европейская кровавая буржуазия разносит небылицы о Соловках, а в лагере даже культурная работа ведется»!

Ведется же она так.

К принудительному труду в «культпросвете» насильно привлекаются художественные силы из числа заключенных (в лагере довольно много писателей, артистов, художников, музыкантов, певцов; обычно вся вина этих «контрреволюционеров от искусства» заключается в том, что они бесстрашно защищали старые традиции литературы, живописи, музыки и театра от бездарно-футуристических наскоков советских «гениев» типа Мейерхольда). Эти подневольные культурные работники в правах и обязанностях ничем не отличаются от помещичьих трупп эпохи крепостного права.

Их заставляют выступать в пошлых агитационных спектаклях и концертах, лубках и пьесках, идеализирующих советскую власть и лагерную жизнь. Нашлись среди заключенных актеров и подхалимы, «зарабатывающие» распо-

ложение к себе администрации эксплуатацией труда и таланта других артистов, вынужденных под угрозой репрессий развлекать чекистов подлинной игрой и смехом сквозь слезы. Таковы, например, артист драмы Борин, человек не без театральных способностей, но нравственно павший, пьяница и плут, и некий Арманов, шарлатан и полнейшая бездарность, что, однако, не мешает ему выдавать себя за артиста известного московского театра Корша.

«Культработники» сведены в особый коллектив. Эта трагикомическая организация носит название, как нельзя более ярко иллюстрирующее ее удельный художественный вес: ХЛАМ.

Это вполне официальное наименование получилось в результате пресловутого советского сокращения слов: Х(удожники), Л(итераторы), А(ртисты), М(узыканты). Весь трагизм, вся бездна издевательства над настоящим искусством станут читателю понятными, если сказать, что довольно продолжительное время в пошлых балаганах ХЛАМа вынужден был участвовать даже известный Карпов, бывший режиссер петроградского Александринского театра!

В противовес ХЛАМу чекисты создали при том же «культпросвете» и коллектив уголовных «артистов», присвоив ему название «Свои». Театральная и просветительная деятельность шпаны направлена, главным образом, к осмеянию и поруганию «антилигентов». Администрация деятельно поддерживает этих «Своих» и травлю ими «каэров».

Кривляние, клоунские выходки на сцене «культпросвета» ненормально бодрящихся, загнанных и голодных «каэров» производит жалкое впечатление. Громадное большинство заключенных-интеллигентов не посещает «культпросветских» спектаклей и концертов. Никогда не забуду, с какой душевной горечью сказал мне както один из моих товарищей по рабочей роте, видный русский профессор:

— Бывать в «культпросвете»? Но зачем? Чтобы еще глубже понять весь безысходный ужас своего положения? Чтобы это издевательство над театром, над искусством лишний раз напомнило, что ты — бессловесный скот? Будь все они прокляты!

Спектакли, концерты и лекции, рассчитанные на пускание пыли в глаза ГПУ и развлечение соловецких помпадуров, бывают бесплатные и платные. В первом случае чекисты набивают бывшую ризницу заключенными, заставляя их выслушивать многочасовую чушь коммунистических кликуш. Во втором, когда ставятся глупые, часто непристойные фарсы, зал переполнен администрацией и заключенными-спекулянтами, устраивающимися и на Соловках с возможным комфортом.

Эти платные спектакли снова убийственно для самих же большевиков подчеркивают основной мотив соловецкого быта: имеющий деньги нэпман даже в концентрационном лагере живет «как дома».

Демагоги, «равенство» своей программы превратившие в небывалый гнет меньшинства над большинством, то же неоспоримое «завоевание октября» ввели и в тюрьму!

«Культпросвет» получает из центра несколько журналов и газет: «Безбожник», «Известия ВЦИКа», московскую и петроградскую «Правду» и др.

Благодаря нерегулярному сообщению летом и полному прекращению всякой связи с материком зимой газеты эти приходят часто несколько месяцев спустя по их выходе в Москве или Петрограде, а потому их никто не читает. Зато большим успехом пользуется литература религиозная. Кому-то из заключенных удалось с большим трудом и риском провезти в лагерь отдельные главы из Евангелия; главы эти очень быстро в сотнях рукописных копий разошлись по рабочим ротам.

Абсолютная невозможность хотя бы в скудной степени удовлетворить умственные запросы тягостно отзывается на заключенных. Я знал людей, некогда бывших гордостью столичных интеллигентных кругов, которые после двух-трех лет пребывания на Соловках разучивались писать!

Я до сих пор не могу понять, для чего в соловецком лагере существует «лазарет». Приходится и его отнести всецело в общую, не лишенную известной стройности систему потрясающего надувательства и своего, и чужих народов соловецкой «гуманностью».

«Лазарет» находится в ведении так называемой санитарной части ГПУ. Последняя, однако, ничем не помогает своему детищу. Соловецкий «лазарет» не имеет денег, не имеет нужного персонала.

По причинам, о коих мне уже приходилось говорить выше, прибывающие в лагерь в числе заключенных настоящие врачи всячески скрывают свою профессию. «Лечение» больных поручается управлением так называемым «липовым докторам» — самозванцам из санитаров и ротных фельдшеров в лучшем случае или просто уголовного сброда — в худшем. Такие самозванцы предъявляют в лагере фальшивые или украденные документы и назначаются на ответственные должности в «лазарете».

Редко, правда, но бывают такие случаи, когда лечением заключенных занимается настоящий врач или более или менее толковый самозванец, кое-что в медицине понимающий. Но могут ли приносить должные плоды усилия таких врачей, если в «лазарете» даже йода, ваты, бинтов почти никогда нет, если спирт для нужд «лазарета» регулярно выпивается чекистами, если палаты засыпаны пылью, грязью, вшами, если «лазарет» отапливается в той же мере, как и рабочие роты, если, наконец, при любой болезни выдается все тот же неудобоваримый паек: черствый черный хлеб, вонючий суп, гнилая треска? По соловецким

законам, рассчитанным на демонстрирование их заграничным рабочим делегациям, лагерный врач должен освобождать больных или нетрудоспособных заключенных от работ, выдавая им соответствующее удостоверение.

Но понятия «болезнь» и «нетрудоспособность» нигде так не растяжимы, как на Соловках. Если у вас туберкулез в последней стадии, это далеко не значит, что вас оставят в покое умирать. Ежедневно чины команды надзора выгоняют на работы явно больных людей.

Освобождение от работ чрезвычайно редко практикуется в лагере: «липовые врачи», действующие в тесном контакте с чекистами, считают даже смертельную болезнь заключенного «злостной контрреволюцией», которую следует карать двойной порцией работы; настоящие врачи остерегаются выдавать удостоверения об освобождении от работ по болезни, опасаясь навлечь на себя модное в лагере обвинение в «пособничестве злостному отказу от работ».

Кроме того, да не подумает читатель, что медицинские свидетельства действительно облегчают положение больного на Соловках. Скорее наоборот, что видно хотя бы из такого примера (примеров таких — тысячи; вообще, иллюстрируя свой рассказ тем или иным фактом, я останавливаюсь на нем отнюдь не по причине его исключительности, а лишь потому, что я был участником или очевидцем его). Сидел в лагере некий Грюнвальд, немец-агроном, германский подданный. Грюнвальд очень плохо понимал по-русски, почти не говорил на этом языке, что, однако, не помешало ГПУ назвать его «организатором контрреволюционно-шпионского заговора» и прислать в Соловки. Летом 1925 года Грюнвальд, человек вообще нездоровый да еще просидевший долгое время в десятках советских тюрем, заболел и заявил командиру своей роты, что не может работать.

Это показалось чекистам «злостной контрреволюцией». Чины команды надзора, угрожая револьверами, приказали «немецкому буржую» выйти на работу; тот имел мужество отказаться, ссылаясь на свою болезнь, очевидную и для чекистов. Тогда один из надзирателей, латыш Сукис, жестоко избил больного Грюнвальда. Несчастный агроном долгое время пролежал в своей роте в бессознательном состоянии, облитый кровью.

Придя в себя, Грюнвальд кое-как дотащился до «лазарета» и как-то упросил доктора осмотреть его и выдать ему медицинское свидетельство об искалечивших его побоях. Получив нужную ему бумагу, Грюнвальд заявил, что, Бог даст, ему удастся вырваться с Соловков, приехать на родину и предать гласности имеющийся у него документ о зверских насилиях чекистов над больными заключенными.

Этого было достаточно, чтобы Грюнвальда посадили в устроенный в самом кремле изолятор (карцер). А вскоре агронома обвинили в желании бежать из

лагеря и приговорили к месяцу в знаменитом строгом изоляторе не менее знаменитой Секирки.

Везти на место пыток Грюнвальда (он, еще не оправившись от болезни и побоев, не мог идти) было поручено тогдашнему заведующему рабсилой (учетом и распределением рабочей силы) Иванову, бывшему прапорщику и офицеру Белой армии, донскому казаку. Не доверяя Иванову, администрация посадила рядом с агрономом конвоира, того же латыша Сукиса.

Лошадью правил Иванов. Приблизительно на полпути до Секирки (12 верст от кремля) бывший прапорщик услышал приказание Сукиса:

— Остановись!

Не успел Иванов натянуть вожжи и спросить о причине внезапной остановки, как сзади него раздался выстрел. Оглянувшись назад, он увидел револьвер в руках латыша и падающее на землю тело убитого Грюнвальда. По положению трупа и току крови можно было заключить, что выстрел был произведен в затылок лежавшего лицом к телеге ничком агронома.

Вернувшись в кремль, Сукис доложил, что «Грюнвальд пытался бежать, был мной настигнут и убит после предупреждения и приказания остановиться».

Вот к каким результатам приводят соловецкие медицинские свидетельства.

Понятно, что подавляющее большинство больных избегают «лазарета», преодолевая болезнь или умирая в рабочих ротах, режим и обстановка которых ничем не отличаются от лазаретных. Понятно также, почему смертность на Соловках непрерывно прогрессирует. Заключенные умирают совершенно беспомощными, главным образом от цинги, туберкулеза, систематического недоедания, малярии, разрыва сердца. Очень много случаев психических заболеваний. Шпана и значительная часть чекистов служат рассадником венерических болезней, весьма распространенных в лагере.

Ниже я буду говорить, какое наказание постигает каждую забеременевшую на Соловках женщину из числа заключенных. Пока упомяну только, что в лагере имеется акушерка, «каэрка», но ей запрещено оказывать помощь роженицам.

Есть среди заключенных и зубные врачи (между прочим, некий Маливанов из Москвы), но ввиду полного отсутствия инструментов и лекарств они ничем не могут помочь своим товарищам по заключению. Кстати, довольно интересно и характерно дело вышеназванного Маливанова.

Когда Россию постиг необычайный голод и американские благотворительные организации покрыли всю страну густой сетью питательных пунктов (так называемых «Ара»), доктор Маливанов был переводчиком в московском складе «Ара», совершенно безвозмездно помогая американцам в их святом деле. Когда

же, выражаясь советским языком, голод был ликвидирован и весь иностранный штат «Ара» отбыл в Америку, доктора Маливанова и целый ряд других русских сотрудников «Ара» ГПУ обвинило в «экономической контрреволюции» (?!) и послало на три года в Сибирь и Соловки.

За незначительные «преступления» заключенные попадают в карцер, устроенный в одном из корпусов кремля. Сидящих в карцере на прогулки не выпускают, выдают им уменьшенный паек, держат в абсолютной темноте днем и ночью.

«Преступления» более значительные: отказ от работ, попытка к побегу, невыполнение распоряжений администрации, пререкания с надзирателями и т.д. — влекут за собой Секирку.

Некогда на Секировой горе существовал скит. Монахи выстроили на горе церковь, два дома и хозяйственные службы. Теперь здесь штрафной изолятор.

Церковь на Секирке — двухъярусная. В верхнем ее этаже помещается так называемый строгий изолятор, нижний отведен под изолятор № 2. Церковь соединена крытой галереей с домом (бывшие кельи), в которых теперь живут дежурные надзиратели (пять человек), комендант изолятора и помещается канцелярия. К северу от церкви и квартир начальства Секирки расположен еще один дом, занятый ротой Соловецкого полка особого назначения, охраняющей Секирку.

Все постройки — дело рук монахов. Советское «строительство» ограничено лишь тремя сторожевыми будками вокруг церкви, как будто из наглухо закрытой церкви можно бежать.

Каждый ярус разбит на три отделения: общая камера, ряд камер для одиночных заключенных и особые камеры для привилегированных секирчан. Дело в том, что даже в штрафном изоляторе можно за взятку облегчить свое положение; были даже случаи, когда отправленные из кремля в штрафной изолятор спекулянты устраивались за деньги в комнатах надзирателей.

Оба яруса совершенно не отапливаются. Все окна забиты специальными щитами. В камерах полная темень и ледяной холод. По прибытии заключенного на Секирку у него немедленно отбираются все вещи, табак, хлеб. Осужденных в строгий изолятор раздевают и вталкивают в камеру в одном белье.

В камерах обоих ярусов нет ни коек, ни каких бы то ни было постельных принадлежностей (если кто и привез с собой подушку или одеяло, это сейчас же отбирается). Люди спят в одном белье на покрытом инеем каменном полу церкви.

В нижнем ярусе выдается штрафной паек: полфунта хлеба в день и раз в день пшенный навар (пшено из этого «супа» тщательно вылавливается надзирателями). Заключенные в строгом изоляторе (наверху) обречены на медленную пытку голодом: они получают около полуфунта хлеба в сутки и кружку горячей воды

через день. Это и весь паек. Необходимо подчеркнуть, что такой паек проводится по кровавым книгам Секирки; принимая во внимание поголовное воровство соловецкой администрации, на самом деле он еще меньше. Кроме того, во власти каждого надзирателя штрафного изолятора и вовсе не выдавать ничего какому-нибудь «злостному контрреволюционеру».

Какие результаты дает «питание», видно хотя бы из того, что никто из администрации Секирки не рискует показаться в камерах строгого изолятора: умирающие с голоду заключенные уже через неделю превращаются в зверей, набрасываются на стражу, душат вновь прибывающих. Камеры верхнего яруса закрыты висячим замком снаружи. Часты случаи умопомешательства. На дикие вопли, безумный стук в двери никто, конечно, не обращает внимания.

Главный процент заключенных на Секирке — отказавшиеся от работ. А так как таковой отказ всегда вызывается болезненным состоянием, то и верхний, и нижний ярусы церкви наполнены явно больными людьми.

Результаты не заставляют себя ждать. Ежедневно на Секирке кто-нибудь из заключенных умирает от голода или просто замерзает в камере. Недаром каждой осенью близ Секирки роется бесчисленное количество могил, заготовленных на зиму, когда смертность в штрафном изоляторе особенно велика (могилы роют заключенные).

Назначенный в нижний ярус за «непослушание законному начальству», я по ошибке попал в строгий изолятор, в котором, до выяснения дела, пробыл только два дня и то за это время успел заболеть острым воспалением легких. Что же может ожидать человек, посланный в строгий изолятор на месяц?

Заведует Секиркой комендант Антипов, чекист, бывший чернорабочий. Не побывавшему в штрафном изоляторе трудно понять и представить себе всю кровожадность этого палача.

Заведует канцелярией Секирки некий Лебедев. Во время гражданской войны на юге России Лебедев был казачьим офицером и одновременно тайным агентом большевиков. В 1920 году он занимал должность следователя Новороссийской ЧК и за поразительное даже для чекиста взяточничество попал на Соловки. В лагере Лебедев был некоторое время заведующим рабсилой (рабочей силой), затем помощником заведующего кожевенным заводом. В одно прекрасное утро сам Ногтев поймал Лебедева на краже в свою пользу кож, за что талантливый чекист был отправлен на Секирку. Здесь он просидел несколько дней в камере для привилегированных заключенных, обратил на себя внимание Антипова доносами на товарищей по заключению и попал в канцелярию.

За что людей посылают на смерть, читатель может заключить из такого случая.

Один из соловецких «контрреволюционеров», глубокий старик (не расстрелянный именно из-за своей старости), бывший прокурор одного из кавказских окружных судов, долго просил выдать ему хотя немного сахару из монастырского ларька в счет отобранных у него денег. После долгих препирательств бывшему прокурору выдали полфунта... конфект, очень дорогих, заявив ему, что теперь его счет исчерпан.

Вынужденный соловецкими условиями дрожать буквально над каждой копейкой, несчастный старик стал добиваться обмена конфект на сахар. Вместо последнего он получил конвоира с сопроводительной на Секирку бумагой такого содержания: «Посадить в строгий изолятор на один месяц за возбужденное отстаивание своих прав».

Устраивая скиты, монахи обычно выбивали в скалах и стенах особые ямы для хранения в них продуктов. Ямы эти — или, как их называют в Соловках, «каменные мешки» — использованы администрацией скитов для жестокого наказания «контрреволюционеров». В узкие сырые ямы заставляют лезть «провинившихся», загоняя в «каменные мешки» ударами прикладов или «смоленских палок». В такой средневековой клетке заключенный проводит от одного дня до недели, не имея возможности ни сесть, ни лечь, ни вытянуться во весь рост.

Очевидно, смертность от Секирки и «каменных мешков» не удовлетворяет Ногтева и его помощников. Смерть медленная — от голода, холода и побоев — дополняется смертью быстрой — расстрелом.

Число расстрелянных обычно доходит до 10—15 человек в неделю. «Высшая мера наказания» — расстрел — применяется значительно чаще в том случае, если советскую власть постигают внутренние или внешние неудачи, когда ГПУ удваивает свою месть «контрреволюционерам». Грузинское восстание, ультиматум лорда Керзона, провал коммунистической «работы» в Германии, Турции, колониях, голодные бунты, подавление эстонского и болгарского восстаний, неудачи советской дипломатии на различного рода конференциях — все это сразу же отзывается на Соловках, сразу же увеличивает число чекистских жертв.

Если расстрел того или иного заключенного почему-либо нежелателен, администрация устраивает «естественную смерть». Так, в конце осени 1925 года в строгом изоляторе был буквально заморен голодом епископ Тамбовский Петр[8].

Широко пользуясь доносами, провокацией, привлечением в ряды своих агентов неустойчивых людей из заключенных, чекисты, использовав до конца этих купленных лишним куском хлеба сексотов (секретных сотрудников ГПУ), отправляют их на Конд-остров. В некоторой степени эта мера вызывается и вполне

[8] На сегодняшний день не установлено, о каком из заключенных на Соловках архиереев идет речь.

понятным враждебным отношением всего лагеря к таким предателям. Вообще на Конд-остров попадает тот, кого, по мнению администрации, следует изолировать.

Комендантом Конд-острова теперь является некий Сажин, бывший начальник управления местами заключений в одной из губерний России. Сажин сам прошел карьеру сексота, сам занимался «стуком». На Конд-острове с небольшим в общем количеством заключенных (человек 150) Сажин — царь и бог.

На Большом Заяцком острове некогда существовал благоустроенный скит с церковью и монашескими кельями. Теперь на нем — женский штрафной изолятор. Заведует им некий Гусин, видный деятель Крымской ЧК в период расправы Белы Куна над беззащитными «белыми» пленными.

В этот изолятор посылаются «провинившиеся» заключенные-женщины. Главной виной считаются... роды. Таким образом, безнаказанно насилуя «каэрок» и уголовных женщин, заражая их венерическими болезнями и делая их матерями, чекисты свою вину, свое преступление возлагают на подневольных жен и «шмар» (любовниц). Сейчас же после родов ребенка отнимают у матери, отправляя ее в женский штрафной изолятор, режим в котором почти ничем не отличается от Секирки.

V

Пристально вглядываясь в пеструю массу соловецких заключенных, внимательный наблюдатель сразу же заметит три основных подразделения обитателей Соловецкого лагеря особого назначения: бывшие социалисты, уголовный элемент, «контрреволюционеры».

Уже из одного того факта, что только бывшие социалисты во всех советских тюрьмах и ссылках считаются политическими преступниками (называясь официально «политическими и партийными»), видно, что только эта категория заключенных поставлена в такие бытовые рамки, когда она имеет право требовать и требует к себе иного отношения, чем к остальной массе советских арестантов, официально именуемой «бандитами».

Соловецкие «контрреволюционеры» — категория также, конечно, чисто политическая; в эту группу входят исключительно лица, заподозренные или уличенные в идеологическом или активном противодействии советской власти. Но, не имея за своей спиной тех влиятельных защитников, которых мы видим у бывших социалистов, «контрреволюционеры» во всем приравнены к преступникам чисто уголовным со всеми вытекающими отсюда трагическими последствиями.

До революции 1917 года деятельность всех антимонархических партий в России тесно переплеталась между собой. Вся радуга революционных русских

течений: анархисты, левое крыло социал-демократии (большевики), правое ее крыло (меньшевики), социалисты-революционеры, левые и правые, — была едина в своей разрушительной работе. Естественно, это привело к тесному знакомству и связям между лидерами и отдельными рядовыми членами различных социалистических групп.

Вот почему теперь, когда одна из этих групп — большевики — захватила в России власть, а остальные превратились в ее оппозицию, среди видных деятелей советского правительства можно найти немало лиц, которые — в силу былых отношений, а зачастую чувства дружбы — всячески стремятся облегчать положение своих заключенных в тюрьмы сотоварищей — политических и партийных, несмотря на резкое иногда противодействие ГПУ.

Второй причиной постепенного улучшения режима для политических и партийных является то, что после октябрьского переворота огромное количество бывших анархистов, меньшевиков, эсеров и прочих решительно примкнуло к большевикам и, вступив в Коммунистическую партию, всемерно, конечно, влияет на правительство в смысле благоприятном для политических и партийных.

Так, например, под давлением слившихся с большевиками социалистов советское правительство заставило ГПУ поручить ведение всех дел политических и партийных следователю Андреевой, бывшему видному члену партии социалистов-революционеров, теперь коммунистке.

Третья причина разного рода привилегий, которыми пользуются в тюрьмах и ссылках политические и партийные, — давление социалистических кругов Европы. Хотя лидеры Коммунистической партии и отрицают этот очевидный факт, хотя западноевропейских социалистов большевицкая пресса и называет «социал-предателями», требования и ходатайства последних заметно улучшают судьбу политических и партийных.

Понятно поэтому, почему советская власть видит в политических и партийных скорее не врагов, каковыми в действительности являются, например, «контрреволюционеры», а «блудных сынов» от социализма, которых, до полного прощения и принятия в Коммунистическую партию, следует наказать тюрьмой и ссылками.

Как живут политические и партийные на Соловках?

От расположенной на южном берегу Соловецкого острова монастырской гавани и массивного кремля ведет ряд дорог, железных и грунтовых. Одна из них, грунтовая, проведена левее путей на остров Большая Муксульма, Пертозеро и на Анзерский остров и тянется, мимо Секирки с ее штрафным изолятором, к

Савватиевскому скиту. Последний находится в юго-западном углу Соловецкого острова, верстах в 12 от кремля.

Савватиевский, а также, частично, Муксульмский скиты и были с самого начала приспособлены для политических и партийных.

Савватиевский скит, некогда богатый филиал монастыря, состоит из ряда каменных зданий, небольшой церкви и часовен. Здесь же расположены деревянные службы: сараи, конюшни и проч.

Церковь и часовни давно уже заколочены; содержимое их расхищено или сожжено. Скит окружен высоким забором. Еще одно, проволочное, заграждение окружает двухэтажный каменный дом с большим числом комнат — бывших монашеских келий.

В этом бывшем монашеском общежитии и проживало до последнего времени большинство политических и партийных — человек около 200. Остальные (человек 150) были разбросаны по Муксульмским скитам и пустынькам.

Режим, установленный на Соловках для бывших социалистов, и сравнивать нельзя с режимом для других категорий заключенных.

Прежде всего, надо отметить, что политические и партийные никогда не работали. Лесорубки, торф, сплав бревен со всеми их ужасами никогда не были знакомы этой привилегированной группе заключенных. Еще в 1922 году ГПУ отдало распоряжение по всем тюрьмам, лагерям и ссылкам о том, что политические и партийные должны освобождаться от всех принудительных работ.

До 1924 года продукты, выдаваемые на Соловках бывшим социалистам, были такого же качества, как и выдаваемые остальным заключенным, лишь в большем количестве. В 1924 году политические и партийные объявили забастовку, требуя выдачи им улучшенного питания. Отличаясь своей сплоченностью, вся их группа не остановилась и перед голодовкой в знак протеста.

Устрой «контрреволюционеры» голодовку, соловецкая администрация назвала бы это бунтом и не один десяток «каэров» пал бы под чекистскими пулями. Но недаром политических и партийных считают соловецкой аристократией, недаром их интересы энергично защищают и правые коммунисты, и социалисты Запада. Требование было удовлетворено. С той поры этой категории заключенных стали выдавать в обильном количестве белый хлеб, мясо, яйца, сахар, табак, жиры, фрукты.

Несколько лет тому назад в Москве образовался так называемый Политический Красный Крест под руководством госпожи Пешковой (жены известного писателя Максима Горького). Эта организация, имея филиалы во всем мире, собирает для политических заключенных в советских тюрьмах одежду, продукты и деньги. А так как «контрреволюционеры» коммунистами не считаются

политическими арестантами и приравнены к уголовным бандитам, вся помощь Политического Красного Креста шла только бывшим социалистам[9].

Эта вопиющая несправедливость все остальные категории заключенных на Соловках доводит до слез. Попытки исправить это жестокое игнорирование нужды и голода «каэров», сравняв их с политическими и партийными, увы! ни к чему не привели. Мольбы о помощи со стороны «каэров» Политический Красный Крест оставляет без последствий.

Приведу вопиющий случай: в прошлом году очередная партия платья и продуктов от Красного Креста была по ошибке — в первый раз за все существование лагеря! — распределена между всеми заключенными. Об этом стало известно Москве, и Политический Красный Крест распорядился отнять у «каэров» полученную ими одежду и съестные припасы! Все вырванное из голодных ртов и снятое с голых людей было отправлено в Савватиевский скит — политическим и партийным.

В некоторых странах Европы и Америки в свою очередь образованы особые общества помощи политическим заключенным в советской России. Частью этих обществ руководят иностранные социалисты, частью — левые круги русской эмиграции (в Париже, Берлине, Праге и т.д.). И снова та же картина: вся помощь идет исключительно только так называемым политическим и партийным, то есть, той категории советских арестантов, которая и так уже находится в несравненно лучших условиях, чем остальные заключенные.

Вечно голодные, избиваемые и убиваемые, раздетые, босые, вгоняемые в могилу непосильным трудом, болезнями и голодом «контрреволюционеры» — 90 процентов заключенных на Соловках и в других тюрьмах — всем миром брошены на произвол судьбы.

Да будет услышан мой слабый голос людьми, не потерявшими совести и чувства жалости к страдающим братьям, да сплотятся они для помощи гибнущим на Соловках представителям многострадальной русской интеллигенции, среди которой есть немало стариков, инвалидов, женщин и детей!

Соловецкие чекисты никогда не вмешивались во внутреннюю жизнь политических и партийных. В их среду никогда не вселялись шпионы ГПУ — так называемые стукачи и сексоты. Охрана Савватиевского скита всегда ограничивалась внешними патрулями.

Сам нач. УСЛОНа Ногтев в последнее время не рисковал навещать Савватиевский скит. Сознавая свое привилегированное положение, бывшие социалисты каждый раз встречали его громкими криками: «Вон, пошел вон! Зверь, палач!..»

---

[9] Организация «Е. П. Пешкова. Помощь политзаключенным», помогала не только членам социалистических партий (хотя им — в первую очередь), но, по мере возможности, всем осужденным по политическим статьям (см.: «Изгнанники в своей стране: Письма из советской ссылки 1920–1930-х годов» / Сост. С. В. Чешко, О. Л. Милова. М., 2008).

Все сношения с внешним миром политические и партийные вели обычно через Эйхманса, всегда внимательно выслушивавшего их просьбы и требования.

В Савватиевском скиту с самого начала была устроена довольно большая библиотека, которая — с разрешения соловецкой администрации — получала русские и иностранные журналы, газеты и книги. В скиту существовал даже своего рода университет с регулярными занятиями и штатом преподавателей из среды его обитателей. Пользовавшиеся большой популярностью среди политических и партийных старосты скита Богданов (видный социал-демократ, весной 1925 года уехавший с Соловков), Самохвалов (член Центрального комитета партии социалистов-революционеров), эсер Крюков, меньшевик Мимулов, анархисты Школьников и Чарин часто читали лекции по общественным, научным и политическим вопросам.

Читателю предоставляется судить, что сделал бы Ногтев с «каэрами», если бы последним вздумалось проповедовать в лагере свои идеи!

К услугам политических и партийных всегда были свои доктора; им разрешалось выписывать из центра лекарства и инструменты.

В Савватиевском скиту довольно часто заключались между его обитателями браки, строго запрещенные в остальном лагере. Бывшие социалисты имели право жить на Соловках с женами и детьми.

Им разрешалось писать и получать неограниченное число писем, посылки на их имя никогда не задерживались. У политических и партийных никогда не отбирали денег и вещей, в том числе и кожаных, на которые в лагере почему-то устраиваются целые облавы. Скиты, ими занятые, снабжаются в достаточном количестве дровами и керосином для освещения.

Справедливость требует сказать, что, добиваясь своего исключительного положения на Соловках, политические и партийные отстаивали свои требования с решительностью, доходившей до самопожертвования.

Так, когда зимой 1923 года группа бывших социалистов каталась на лыжах и коньках близ Савватиевского скита и пела антисоветские песни, которые не умолкли, несмотря на категорический приказ стражи, взвод чекистов открыл по группе стрельбу. Было убито восемь человек, в том числе три женщины.

Некоторое время спустя за упорное отстаивание своих прав снова было расстреляно несколько человек политических и партийных, и в том числе опять женщины (кажется, члены социал-революционной партии Котовская и Бауэр, как мне рассказывали в лагере).

Преклоняясь перед этими невинными жертвами чекистского произвола, я все же не могу не сказать, что они — капля в море по сравнению с тысячами расстрелянных, задушенных и уморенных голодом «контрреволюционеров». О случаях

единичных расстрелов политических и партийных все же доходят слухи за границу через тот же Красный Крест. Тысячи же могил других соловецких мучеников остаются никому не известными.

Привилегированное положение политических и партийных послужило поводом к тому, что многие вновь прибывающие на Соловки партии заключенных добиваются признания за ними принадлежности к политическим и партийным, хотя бы они к социализму не имели никакого отношения.

С начала 1924 года ГПУ принялось энергично «разгружать вузы» (высшие учебные заведения) от «некоммунистического элемента». Вычищенные студенты, попадая на Соловки, стали требовать расселения по скитам, освобождения от работ и улучшенного питания, назвав себя политическими и партийными.

В результате долгих споров, голодовок и двух случаев самоубийств студентов часть из них послали в Савватиевский скит, часть отправили обратно в Центральную Россию для размещения по тюрьмам. Между прочим, одна из таких категорий студентов — из Московского университета — по дороге в Соловки неоднократно вступала в бой с железнодорожными отрядами ГПУ (так называемой ОТЧК), громила вокзалы, разбивала свои арестантские вагоны, требуя своего освобождения.

Постепенное улучшение положения политических и партийных должно было завершиться увозом этой группы заключенных с Соловецких островов, о чем продолжительное время, как мне хорошо известно, хлопотал и Политический Красный Крест, и заграничные социалистические организации.

Хлопоты эти, поддержанные некоторыми видными коммунистами (называли, между прочим, Троцкого и Красина), в конце концов увенчались успехом.

В конце июля 1925 года по лагерю разнеслась весть о том, что политических и партийных куда-то увозят. Никто не знал куда. Помню, многие были убеждены, что часть из них на материке расстреляют.

Накануне в Соловки прибыла из Москвы особая комиссия в составе коменданта Центрального ГПУ Дукиса, следователя того же ГПУ Андреевой, представителя прокурора Верховного суда Смирнова, помощника прокурора по делам ГПУ небезызвестного Катаньяна и ряда чинов из числа высшего военного начальства. Комиссию сопровождал специальный отряд войск ЧОНа (частей особого назначения).

Как потом оказалось, комиссия эта явилась в лагерь для наблюдения за перевозкой политических и партийных с Соловецких островов. Комендант ГПУ привез специальное распоряжение по сему поводу, подписанное председателем особого совещания при ГПУ Уншлихтом.

Хотя увоз политических и партийных ГПУ хотело, по-видимому, обставить тайной, лагерь скоро узнал, что соловецкую аристократию везут на вольное по-

селение и в тюрьмы Усть-Сысольска, Нарыма, Перми и Иркутска, откуда легче выйти на свободу и где политические и партийные будут пользоваться рядом новых привилегий: свидания с родными, выхода в город на прогулку и т.п.

С раннего утра потянулись к пристани, мимо здания управления Северными лагерями особого назначения, длинные вереницы людей с вещами в руках. Конные отряды Соловецкого полка, во главе с самим Петровым, отгоняли в сторону всех попадавшихся по дороге «каэров» и уголовных. Политические и партийные шли к пристани попарно, их окружали патрули команды надзора и роты чекистов, с комендантом Соловков Ауке впереди.

До вечера пристань была усыпана людьми, ожидавшими из Кеми парохода («Глеб Бокий»). Сперва была отправлена Савватиевская группа (2-е отделение концлагеря), затем и Муксульмская (3-е отделение). В Кеми политических и партийных ожидал специальный состав арестантских вагонов, который и увез их в ссылку и в тюрьмы.

Все соловецкие чекисты скрывают свое достаточно темное прошлое. Но по примеру тех, прошлая жизнь коих стала известной заключенным, можно безошибочно утверждать, что почти вся соловецкая администрация укомплектована бывшими уголовными преступниками, по легкомыслию выпущенными из тюрем, наряду с политическими, весной 1917 года.

Установив этот факт, не трудно понять, почему положение заключенной на Соловках шпаны несравненно легче положения «контрреволюционеров». Общность происхождения, воспитания, многолетнее пребывание в тюрьмах и на каторге постепенно сближают две группы соловецких уголовных: стоящую у власти и прибывающую в Соловки в качестве заключенных.

Не трудно понять и то, что шпана не только ничего не имеет против насилий над «контрреволюционерами» со стороны администрации, но и поддерживает мероприятия этой последней в данном направлении. В особенности бросается это обстоятельство в глаза в крупнейшем отделении Соловков — концентрационном лагере на Поповом острове (близ города Кемь). Описанию Кемского лагеря посвящена следующая глава.

Я уже говорил о тех условиях быта, режима, работ, питания и прочего, в которых вынуждены жить «контрреволюционеры». За что же попала в соловецкую каторгу эта многотысячная толпа, воистину не знающая деления на национальности, религию, пол и возраст?

Мне приходилось одно время близко знакомиться с делами соловецких «контрреволюционеров» — в перерывах между лесорубками и штрафными изоляторами. Первое, на что обращает внимание всякий соприкасающийся с соловецкой канцелярией, это резкое несоответствие между «преступлением» того или иного заключенного и карой за него.

«Главный руководитель контрреволюционного заговора». Или: «Уличен в многолетнем шпионаже в пользу иностранной буржуазии».

По Кодексу наказаний ГПУ, за такие преступления полагается: в первом случае — расстрел, во втором — расстрел или 10 лет концлагеря. Между тем «преступники» приговариваются к двум-трем годам Соловков.

Чем же вызывается такая «гуманность»? Ответ на этот вопрос может быть только один: не хватает материала для полного обвинения и наказания в полной мере.

Лица, которым предъявлены такие громкие обвинения, никогда и близко не стояли к «организации контрреволюционного заговора» или к «шпионажу в пользу иностранной буржуазии». Но их по каким-либо причинам надо бросить в тюрьму, и ГПУ предъявляет им соответствующие статьи Уголовного кодекса (в данном примере 64-ю и 66-ю), не имея на то никаких оснований.

Применение такого «упрощенного судопроизводства» не отрицает и само ГПУ. Когда в 1924 году в Соловки прибыл начальник юридического отдела ГПУ Фельдман и один из заключенных заявил ему жалобу по поводу того, что он попал в Соловки по 64-й статье (шпионаж), не будучи никогда шпионом, Фельдман ответил в присутствии всего лагеря:

— Вы недовольны своей статьей? Мы можем применить к вам другую статью. Понятно, у вас шпионажа не было. Но не все ли вам равно? Вас надо было изолировать. А по какой статье — это безразлично.

Фактическое наличие преступления и юридическая обоснованность приговора считаются на Соловках просто буржуазными предрассудками. Это хорошо известно всем и в самом лагере, и во всей России. Недаром так распространена поговорка: «Был бы контрреволюционер, а статья найдется».

Навстречу произвольному толкованию любой статьи Уголовного кодекса, вынесению любого приговора идет и сам «устав» о Соловках. Первый параграф этого выработанного ГПУ и утвержденного ВЦИКом «Секретного положения о Соловецких лагерях особого назначения» гласит буквально следующее: «Соловецкие лагеря организованы для особо вредных государственных преступников, а также лиц, когда-либо могущих быть государственными преступниками».

Таким образом, каждому чекисту предоставляется право в душе любого советского гражданина прочесть тайное желание быть в будущем государственным преступником и на основании этого «неопровержимого доказательства» послать его в Соловки. Дальше идти некуда.

Присылкой на Соловки «контрреволюционеров» раньше заведовал особый отдел высылок при Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем, спекуляцией и преступлением по должности (ЧК). Когда последняя была переимено-

вана в ГПУ, отдел высылок заменила комиссия по административным высылкам при ГПУ (существовали, кроме того, такие же комиссии при ВЦИКе и Комиссариате внутренних дел). Недавно произошло новое переименование: комиссия по административным высылкам стала называться особым совещанием при ГПУ.

Характер деятельности этих учреждений, конечно, все время оставался одним и тем же: изолирование так называемого «опасного элемента» без каких бы то ни было намеков на суд и законность. Даже приговоры и постановления о высылке на Соловки и теперь подписываются все теми же старыми знакомцами, гордостью ГПУ: обычно Езерской, реже Ягодой, Уншлихтом, Менжинским.

Дабы читатель мог судить, за какие преступления «контрреволюционеры» гибнут на Соловках, привожу ряд лично мне хорошо известных фактических примеров.

К одной жившей в Петербурге даме явился неизвестный ей человек от ее родных, живших за границей, с предложением перейти нелегально границу. Дама ответила, что она, во избежание могущих быть неприятностей, не хочет без законного разрешения советских властей уезжать из России. Получив от своей семьи письмо с той же просьбой прибыть за границу, дама снова ответила отказом по той же причине. Когда же она была арестована ГПУ (в своей петербургской квартире), ей было предъявлено обвинение в «желании перейти нелегально границу», за что она и попала в Соловки на пять лет.

В Москве пользовался заслуженной известностью инженер Курчинский, очень талантливый человек, автор многих изобретений. В последние годы он усиленно работал над новой конструкцией аэросаней. Когда первая модель аэросаней была готова, Курчинский в присутствии высших представителей советской власти и приглашенного последними дипломатического корпуса демонстрировал свои сани. Опыт дал блистательные результаты.

Через некоторое время он снова демонстрировал перед советским правительством и иностранцами свои аэросани нового типа. На этот раз опыт не удался, аэросани измененной конструкции не оправдали надежд, возложенных на них инженером. Результатом этого было то, что может случиться только в советском бедламе: за конфуз перед иностранцами ГПУ обвинило Курчинского в «злостном срыве творческой работы СССР» и прислало его на Соловки на 10 лет. Несчастный изобретатель до сих пор сидит в лагере.

Если в приговорах, вынесенных соловецким заключенным, встречаются «политические мотивы», как, например, «женат на княгине» «во время империалистической войны агитировал за покупку билетов военного займа», «собирал подписи для адреса Николаю Кровавому», то попадаются в них и указания на

«преступления» торгово-промышленные. Так, в ряде дел я видел такое «мотивированное обвинение»: «торговец, фабрикант».

Таким образом, советское правительство, изыскивая новые доходы для коммунистической пропаганды, с одной стороны, якобы приветствует развитие частной торговли и промышленности, а с другой стороны, считает советских купцов и фабрикантов классом, как нельзя больше подходящим для заселения Соловков.

Весной 1925 года в Петербурге возникло громкое дело бывших воспитанников Александровского лицея, некогда привилегированного учебного заведения, давшего стране ряд блестящих представителей науки, искусства и литературы. Незадолго до того ГПУ было осведомлено о существовании в Красной армии обширного антисоветского заговора. Несмотря на тщательные поиски, раскрыть заговор не удалось (пострадал лишь командующий Петербургским военным округом Гитис, смещенный со своего поста).

Предупреждая возможное со стороны Центрального ГПУ неудовольствие, Петербургское Госполитуправление создало «дело лицеистов» в доказательство того, что петербургские чекисты недаром получают деньги. Лицеистам было предъявлено явно дутое обвинение в «сношениях с белогвардейской эмиграцией» и служении панихид по императору Николаю II. Необходимо подчеркнуть, что Общество бывших лицеистов существовало в Петербурге вполне легально — как преследующее исключительно цели материальной поддержки своих членов; устав общества был утвержден советской властью.

По делу лицеистов 64 человека было расстреляно, около 50 отправлено на Соловки, сроком от двух до десяти лет, в их числе: братья Шильдер (сыновья директора лицея, известного историка Шильдера), Голицын, Михневич, Остен-Сакен, Арнольди и др. Всех их я видел в лагере.

Что из себя представляло дело лицеистов, видно из следующего. В числе других на Соловки прибыл бывший лицеист Дегтирев, сын небезызвестного музыканта, осужденный на 10 лет. По специальности он агроном. До революции Дегтирев долго жил в Америке, затем прибыл в советскую Россию и, сняв под Петербургом участок земли, пытался развести огороды в большом масштабе.

Дело не клеилось — из-за того же самодурства советских властей, которое глушит всякое живое дело. Дегтирев решил уехать обратно в Америку и запросил своего друга, сколько стоит билет на пароход до города Вера-Крус, в котором жил его друг, причем город для краткости был обозначен лишь двумя буквами — «ВК».

Это было в момент возникновения «процесса лицеистов». Письмо Дегтирева как-то попало вместо Америки в ГПУ. И вот на допросе арестованного Дегтирева

следователь заявил ему, что Дегтирев «несомненно хотел бежать за границу к белогвардейцам, а буквы «ВК» означают — «великий князь»».

Этот трагический фарс закончился ссылкой Дегтирева в Соловки только на 10 лет. Говорю «только», ибо сам агроном ожидал, судя по царившему на процессе лицеистов настроению, что его расстреляют за Вера-Крус, показавшийся чекистам «великим князем».

Во всем мире ответственность за те или иные поступки несет тот, кто эти поступки совершал. Для Соловков это тоже «буржуазный предрассудок». В лагере общее внимание обращает на себя графиня Фредерикс, глубокая уже старуха. За что же она попала в соловецкую каторгу? Единственно справедливым и отвечающим действительности «обвинением» является следующее место в ее «деле»: «Родная сестра кровожадного бюрократа графа Фредерикса, бывшего министра двора Николая II».

Но помимо самого факта преследования сестры за прошлое брата, характерно и знаменательно то, что самого «кровожадного бюрократа» (кстати, мягкого человека, никогда не имевшего какого бы то ни было отношения к царской политике) ГПУ оставило спокойно умирать в его квартире.

В Соловках можно встретить целый ряд отцов, матерей, жен, дочерей и сестер, попавших в концлагерь за деяния своих сыновей, мужей и братьев. В среде этих совершенно невинных людей большая часть — так называемые заложники, жизнь которых ГПУ берет в обеспечение лояльного отношения к советской власти их родственников.

Особенно часты случаи ссылки на Соловки по 66-й статье (шпионаж). Сюда часто относятся лица, верой и правдой служившие делу укрепления советской армии и флота и брошенные в тюрьму только потому, что их подчиненным, коммунистам, хотелось выслужиться перед ГПУ или самим занять их посты. По такой причине попал в лагерь, например, бывший командир советского дредноута «Марат» Вонлярлярский (на три года), советский военный специалист, бывший генерал Генерального штаба Якимович и др.

Все когда-либо служившие в белых армиях или имевшие к ним какое-либо отношение немедленно посылаются на Соловки. Подлая ложь об «амнистии» имеет силу лишь до того момента, когда тот или иной «амнистированный» переступит порог ГПУ.

На основании многочисленных примеров я утверждаю, что каждый возвращающийся в Россию эмигрант, каждый обнаруженный в самой России «белогвардеец», хотя бы они вполне подходили под «амнистию», непременно получит такую статью: «Бандитизм, массовый расстрел коммунистов и растрата народного достояния».

Это стереотипное обвинение предъявляется иногда даже к лицам, которые только жили в той местности, которая была когда-либо занята белыми армиями. Оно предъявляется всем «возвращенцам», всем русским, бегущим на родину из иностранных легионов (в сентябре 1925 года таких «амнистированных» на Соловки прибыло сразу около 100 человек), всем бывшим военным, почему-либо кажущимся подозрительными для ГПУ — от рядового солдата до генерала (например, в Соловках много лет сидел бывший начальник канцелярии при походном донском атамане Смагин; в 1925 году его увезли в ссылку в Усть-Сысольск).

В «бандитизме, массовом расстреле коммунистов и растрате народного достояния» обвинили, между прочим, и меня. Опровергать это вздорное обвинение — значит, придавать вес чекистской выдумке. Скажу только, что единственное мое «контрреволюционное деяние», считающееся в советской России большим преступлением, — сокрытие своего офицерского звания — мне даже не было поставлено в вину. Лишнее доказательство того, что действительная вина советского подсудимого (если она вообще имеется) в красных «судах» совершенно не принимается в расчет, раз есть статья, по которой тому или иному прокурору или следователю из ГПУ угодно вас послать на смерть или на каторгу.

Являясь по существу всегда высосанным из чекистского пальца, обвинение в «бандитизме, массовом расстреле коммунистов и растрате народного достояния» применяется так часто по той простой причине, что осужденные за это «преступление», по особому декрету, немедленно передаются из ведения Наркомюста (Народного комиссариата юстиции) в ведение ГПУ и никаким амнистиям не подлежат.

В Соловецком лагере вы можете найти представителей любой национальности, любой религии, любой профессии. Русские и граждане всех государств мира, православные, протестанты, лютеране, католики и евреи, офицеры, чиновники, рабочие, студенты, крестьяне, учителя, доктора, писатели, артисты, художники, адвокаты, торговцы, портные — все это опытной рукой смешано в пеструю массу так называемых «контрреволюционеров».

В этом мире «каэров» особенным трагизмом своего положения выделяется очень многочисленное на Соловках заключенное православное духовенство.

Преследованием религии и русского духовенства руководил особый церковный отдел ГПУ и его председатель Тучков. Пользуясь методами, общими для всего ГПУ, Тучков кстати и некстати применяет ко всем арестованным епископам, священникам и верующим общую для всех 72-ю статью Уголовного кодекса: «Несоблюдение декретов об отделении Церкви от государства».

Казалось бы, статья эта имеет определенный узкий смысл, точно характеризующий преступление — несоблюдение декретов. Однако предъявляется она

лицам, совершенно не противодействовавшим декретам об отделении Церкви от советского государства. Под 72-ю статью ГПУ подводит что ему угодно.

В делах находящихся на Соловках духовных лиц, присланных в лагерь по 72-й статье, я видел такие обвинения: «противодействие изъятию церковных ценностей», «монархическая пропаганда», «церковная контрреволюция», «воспитание детей в религиозном духе», «натравливание одной части верующих на другую» и многое другое.

Что понимается под вышеуказанными «преступлениями», видно из таких фактов.

Когда был издан декрет о реквизиции церковных ценностей «на нужды голодающих Поволжья» (в действительности церковное золото и драгоценные камни в огромном количестве оказались в карманах коммунистов), последовало разъяснение, что церковные предметы, необходимые для совершения богослужений — святая чаша, Евангелие и т.д., не могут быть реквизированы. Епископ одной из южных епархий, основываясь на точном смысле этого разъяснения, отказался выдать нужные для богослужений вещи. Он попал в Соловки на пять лет.

Священник К., на основании декрета Совнаркома о том, что обучение детей закону Божиему разрешается лишь в частном доме и группе детей не больше трех человек, преподавал закон Божий в своей квартире собственным детям. Его послали в Соловки на три года.

Целый ряд епископов, священников, монахов и прихожан попали в Соловки за защиту чистого Православия от погрома его так называемыми «живой», «обновленческой» и прочими «церквами» (их обвинили в «натравливании одной части верующих на другую»). Как известно, вся «живая церковь» — произведение церковного отдела ГПУ и субсидируется председателем его Тучковым во имя разложения Православия.

Непередаваемый гнет, насилия и издевательства соловецкой администрации с особенной яркостью обрушиваются именно на головы заключенного духовенства. Все наиболее трудные работы приходится выполнять священникам и епископам. С поразительным смирением, покорностью и выносливостью духовенство рубит лес, прокладывает дороги, чистит уборные, высушивает болота, разрабатывает торф.

Каждым словом, каждым жестом любой соловецкий чекист старается задеть, оскорбить заключенных священников. В их присутствии администрация бранится с особым кощунством. Их пайки обкрадываются со всех сторон. В их среду администрация стремится втесать побольше стукачей.

Чинятся всевозможные препятствия к получению духовенством из дому посылок и денег. Какие бы то ни было богослужения, конечно, совершенно исключаются. За желание перекреститься на работе чины команды надзора бьют по рукам плетью.

В Соловках в настоящее время свыше 400 представителей православного духовенства. С каждой новой партией прибывают новые священники, епископы и миряне, осужденные по той же 72-й статье, толкуемой столь произвольно.

Из среды заключенного на Соловках духовенства выделяется управляющий Московской епископией Иларион (Троицкий), близкий друг и сподвижник покойного Патриарха Московского и всея Руси Тихона, сведенного в преждевременную могилу большевицкими преследователями. Архиепископ Иларион особенно прославился своей бесстрашной борьбой с «живой церковью».

Около пяти лет тому назад этот стойкий ревнитель Православия был послан Московским ГПУ в Холмогорский концентрационный лагерь, в котором пробыл два с половиной года в кошмарных условиях. Больной старик, он вынужден был половину своего пути пройти пешком по этапу, в глубоком снегу, в легкой одежде и рваных сапогах.

Отсидев свой срок в Холмогорах, архиепископ Иларион вернулся в Москву и с новым рвением поднял стяг борьбы за гонимое властью Православие. Против него начались новые интриги со стороны «живоцерковников» и купившего их ГПУ. Архиепископ, талантливый оратор, присутствовал на всех религиозных диспутах, защищая Церковь.

После одного из таких диспутов, на котором Иларион выступил против Луначарского и до такой степени разбил все его доводы, что аудитория освистала наркомпроса, архиепископа снова арестовали и послали в Соловки на пять лет за «церковную контрреволюцию».

Некоторое время он пробыл в концлагере на Поповом острове, а летом 1925 года его перевезли в кремль. В монастыре Иларион попал в руки к начальнику 1-го отделения концлагеря чекисту Баринову, который в сентябре 1925 года отправил архиепископа в штрафной изолятор. В нем Иларион находится и поныне, ежедневно ожидая смерти.

Осенью 1924 года в Соловки ГПУ прислало епископа Петербургского Масуила (Лемешевского). В должности управляющего Петроградской епископией он заменил известного митрополита Вениамина, зверски расстрелянного большевиками в августе 1922 года. Епископ Мануил протестовал против открытой продажи чекистами на петербургских рынках ценностей, изъятых из храмов якобы для помощи голодающим Поволжья, за что и был арестован «голодающим» ГПУ.

Трагическая участь постигла епископа Тамбовского Петра. В конце прошлого года (в ноябре) епископ скончался в штрафном изоляторе на Секирке. Есть очень много данных считать правдой слухи о том, что его задушили чекисты.

По той же 72-й статье присланы и преданы тем же соловецким пыткам викарий Саратовский Петр (Соколов), епископ Колпинский Серафим, настоятель

Казанского монастыря Питирим (Крылов) со всей братией и другое черное и белое духовенство, монахи и миряне.

В момент наиболее напряженной борьбы ГПУ с покойным патриархом Тихоном мы были готовы увидеть в лагере и этого святителя земли Русской. Только загадочная смерть его (в России многие уверены, что патриарх был отравлен) избавила его от соловецкой каторги. Теперь со дня на день можно ожидать высылки на Соловки заместителя почившего патриарха — митрополита Петра Крутицкого.

Среди заключенного на Соловках православного духовенства попадаются и священнослужители иных христианских Церквей — ксендзы, пасторы. Общее внимание на себя обращает очень редкая в советских тюрьмах фигура — живоцерковный епископ. Бывший столичный священник, он продал советской власти свою Церковь и своего Бога и был негласным агентом Московского ГПУ. Однако очень скоро грязь и продажность так называемой «живой церкви» возмутили и этого ренегата. Он отрекся от советской церкви, покаялся в своем отступничестве перед верующими, чистосердечно вскрыв тесную связь между «живой церковью» и ГПУ. За «разглашение тайн Госполитуправления» он и попал на Соловки.

В лагере этот «епископ» бойкотируется всеми без исключения заключенными. Его в лицо называют Иудой. Чекисты же то и дело с бранью и издевательствами просят у него «благословения».

Один из главных столпов красного террора, знаменитый палач Лацис, председатель сперва Киевской, потом Московской ЧК, еще в 1918 году писал в специальном чекистском журнале «Красный террор»: «Не ищите в деле обвиняемого улик о том, восстал ли он против Советов оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, каково его образование и какова его профессия. Эти вопросы должны решить судьбу обвиняемого».

Принимая во внимание столь неожиданные принципы советского «суда», надо ли удивляться тому, что гибнущие на Соловках профессора (например, чех Неманиц) присланы на каторгу за... шпионаж; купцы (семья Левит, Николаев, Геннисон и многие другие) — за... «вооруженный бандитизм»; крестьяне (Булгаков, Геништа, Шигаев и т.д.) — за... «связь с иностранной буржуазией»; бывшие гвардейские офицеры (братья Жерве, Чайковский и другие) — за... «экономический шпионаж» и так далее в том же духе.

Раз «первым долгом вы должны его спросить, к какому классу принадлежит обвиняемый и каково его образование», то не все ли равно, по какой статье, по какому обвинению человек должен быть убит или брошен в вечную каторгу?

Ближайший помощник того же Лациса чекист Угаров, теперь видный деятель Центрального ГПУ, заявил как-то в публичной речи: «У нас, больше-

виков, такой принцип: если человек не годен к работе — расстрелять. Это не богадельня».

И этот людоедский принцип широко применяется в СССР. Я знал в Соловках одного дряхлого старика, некогда служившего на Царскосельской железной дороге. Рассматривая его дело, прокурор Петербургского ГПУ требовал его расстрела на том основании, что «эта старая развалина только даром ест советский хлеб».

Исключительным шедевром можно считать и то «преступление», за которое в лагерь попал некий Витте. Он дальний родственник давно уже мертвого С. Ю. Витте, бывшего премьер-министра и министра финансов довоенной России, творца Портсмутского мира с Японией и русских займов за границей. Находящийся в Соловках Витте никакого преступления не совершал, даже в советском толковании. Его прислали в лагерь (на три года) только за «белогвардейскую фамилию».

С другой стороны, я знал человека, которого арестовали в поезде между Петербургом и Москвой за... «подозрительную физиономию» и на основании этого «преступления» продержали несколько месяцев в Петроградской ЧК (Гороховая, 2).

Я уже говорил раньше об исключительно тяжелом положении женщин на Соловках. Чекисты то и дело врываются ночью в женский корпус и творят там неслыханные насилия. Заведующий женским штрафным изолятором Гусин, чекист из Крыма, глумлениями над женщинами, женами, матерями, невестами и сестрами заключенных доводит их до сумасшествия и самоубийства.

Подавляющее число заключенных на Соловках женщин — заложницы за своих родственников мужчин. Бросается в глаза обилие сельских учительниц. Дело в том, что каждая учительница считается в советской деревне, с одной стороны, любовницей любого приезжающего коммунистического чиновника, а с другой стороны, пешкой в руках комсомолов — Союзов коммунистической молодежи. Коммунисты насилуют учительниц, комсомолы заставляют их участвовать в антирелигиозных спектаклях и диких оргиях. Противодействие такому преступлению и наглому использованию единственной культурной силы в деревне и влечет за собой тюрьму и ссылку.

Щадя настрадавшуюся душу соловецкой женщины-заключенной, я не хочу называть имен. Но в памяти у меня сотни фактических случаев беспримерного попрания женской чести и стыдливости.

Значительную часть лагерных «контрреволюционеров» составляют иностранцы. В отношении условий жизни, питания, работ и прочего их положение ничем не отличается от положения русских «каэров». Те же рабочие роты, та же гнилая треска, тот же торф и лесорубки, та же Секирка.

«Иностранная колония» на Соловках весьма значительна. Я затрудняюсь назвать хотя бы приблизительную цифру. Да это и не так важно. Гораздо важнее вопрос о том, за что попадают иностранцы на Соловки.

Ниже я даю ряд ответов на этот вопрос, ограничиваясь сухим изложением фактов. Выводы из них пусть сделает сам читатель.

В Соловецком лагере, наряду с другими иностранцами, в настоящее время находятся следующие лица.

Немец Гнерих, германский подданный. Он капитан коммерческого флота. Прибыл несколько лет тому назад в советскую Россию как представитель крупной торговой фирмы. Через короткое время был арестован по обвинению в «контрреволюции» и без суда, несмотря на его протест, отправлен на Соловки.

Латыш генерал фон дер Лауниц. Попал в лагерь за «баронскую идеологию и военный шпионаж» (статья 66-я).

Австриец Бенедикт, из Вены, чехословацкий подданный. Бенедикт — известная личность в промышленных кругах Европы, имел мировое дело по выработке колбас. В начале 1925 года Бенедикт, получив советскую визу и имея рекомендацию венского советского представителя, прибыл в Россию, где на собственные средства, тоже с разрешения советских властей, купил пароход и погрузил на него товар большой стоимости. В Новороссийске местное ГПУ наложило на пароход арест, а самого Бенедикта посадило в тюрьму. Центральная власть распорядилась немедленно освободить купца и снять арест с его товаров, однако местные власти отказались исполнить это приказание. После продолжительной переписки между различными инстанциями ГПУ Бенедикта отправили в Москву, затем в Сибирь (в Ново-Николаевскую тюрьму), затем в Соловки (на три года). Бенедикт — старик (свыше 60 лет), глухой. У него сразу же реквизировали все вещи и деньги. Новороссийское ГПУ выдало ему клочок бумаги, на котором значится, что «у гражданина Бенедикта отобраны такие-то №№ иностранных кредитных билетов». Какая валюта реквизирована, ГПУ предусмотрительно не указало, дабы и в будущем не возвращать ее владельцу.

Эстонцы Мотисен и Андерсон. Приехали из Ревеля на Всероссийскую выставку (1923 года), вместо чего очутились на Соловках за «экономический шпионаж».

Швед Штренберг, финляндский подданный. Приехал из Гельсингфорса, получив представительство заграничной торговой фирмы. Был любезно встречен петербургским и московским отделами Наркомвнешторга (Народного комиссариата внешней торговли), получил лестную рекомендацию к народному комиссару иностранных дел. В Москве, благодаря жилищному кризису, долго не мог найти себе квартиры и решил в конце концов обратиться за содействием в Наркоминдел. В дело вмешалось ГПУ, заявившее («остроумный» ответ ГПУ

приводится в точности): «Комнату мы вам дадим. Только в ГПУ». Я видел этого несчастного торговца в одной из московских тюрем (в Бутырке). Он периодически объявлял голодовку, но без всякого успеха.

Индусы Курез-Шах и Кабир-Шах. Оба — за тот же «военный шпионаж». Первый из них ни слова не говорит по-русски. Как он мог быть в России шпионом — секрет ГПУ. Характерно, что Курез-Шах, желая хоть немного облегчить свое положение, записался в существующий на Соловках «марксистский кружок» (при «культпросвете») и слушает коммунистические лекции, ничего в них не понимая. Второй — Кабир-Шах — очень хороший чертежник и тоже, конечно, никогда шпионом не был.

Эстонец Веригор. Одно время он был областным агрономом советской Киргизской Республики. Устроив в этой местности ряд культурных хозяйств, Веригор задумал открыть кооператив по продаже в Киргизии сельскохозяйственных орудий. Собрав для этой цели деньги, агроном поехал в Москву закупать машины. Насколько центральное правительство одобрительно относилось к его задаче, видно из того, что на время пребывания Веригора в Москве ему была предоставлена комната в самом Наркомземе (Народном комиссариате земледелия) на Пречистенском бульваре. Увы, и он не избег общей участи. Агронома неожиданно арестовали, отобрали у него все деньги и выслали на Соловки за «шпионаж» (на три года).

Немец Кох, германский подданный, коммерсант из Гамбурга. Почему он приехал в Россию, как попал на Соловки — я не знаю. Знаю лишь то, что и ему была предъявлена все та же 66-я статья (шпионаж).

Мексиканский консул в Египте граф Виоляр с женой. Граф совершенно не знает русского языка, в Россию попал совершенно случайно. Это, однако, не помешало обвинить его в «организации контрреволюционного заговора и военном шпионаже» и прислать в лагерь на пять лет.

Граф — фигура достаточно на Соловках колоритная, на нем стоит остановиться подробнее.

Генеральный консул Мексики в Египте женат на русской — грузинской — княжне Караловой. Родственники госпожи Виоляр все время оставались на Кавказе. Года два тому назад консул с женой, с особого разрешения непосредственно из Москвы, приехал из Каира в Тифлис, к родителям графини. Результатом этой поездки было то, что консул с супругой, несмотря на дипломатические паспорта, несмотря на горячие протесты и жалобы мексиканскому правительству (как потом выяснилось, все телеграммы Виоляра в Америку уничтожались), был арестован Тифлисским ГПУ и препровожден по этапу в Соловки.

В лагере граф занимает несколько привилегированное положение. Он не принимает участия в общих принудительных работах, хотя живет тоже в рабочей

роте. Графиня от работ, однако, не освобождена: она работает в прачечной, моет белье администрации и Соловецкого полка.

Льготы, которыми пользуется мексиканский консул, объясняются двумя причинами: во-первых, ему из Америки присылают деньги, а за них можно в лагере купить все и всех, а во-вторых, его судьбой как будто интересуются в Комиссариате иностранных дел. Так, сравнительно часто граф получает письма от Чичерина и Литвинова в ответ на свои жалобы и требования дать ему возможность уехать в Египет или в Мексику.

Графу разрешается видеть свою жену раз в неделю — полчаса. Любопытно наблюдать, какие уловки применяет мексиканский дипломат для того, чтобы лишний раз увидеть свою ставшую прачкой жену. Каждое утро, когда заключенные идут на работу, и каждый вечер, когда лагерь возвращается с работ, граф прячется близ женского корпуса, издали приветствуя графиню.

Как я уже говорил, в «культпросвете» устраиваются иногда платные спектакли. И вот консул каждый раз покупает два очень дорогих билета во втором ряду, посылая один билет жене, дабы несколько часов просидеть с ней рядом. Из того, что говорится на сцене, граф абсолютно не понимает ни слова, да это для него и не важно. Иногда один и тот же спектакль повторяется несколько раз, и каждый раз Виоляр покупает свои два билета!

Немец Вейнгарт, германский подданный, из Берлина. Вейнгарт, по профессии фельдшер, был арестован на Кавказе, куда ездил по делам, и привезен в Москву. Человек очень настойчивый, он добился того, что предъявленное ему кавказскими чекистами обвинение в «шпионаже» было снято, и центр его оправдал. Выяснилось, что арест был произведен по недоразумению. Однако пребывание столь «подозрительного лица» в СССР было признано нежелательным. ГПУ положило в деле фельдшера резолюцию: «Выслать на родину через Польшу». Принимая во внимание обостренные отношения между Германией и Польшей, опасаясь нового, теперь уже польского, ареста, Вейнгарт просил отправить его другим путем. В этом ему отказали.

Чекистский патруль привез фельдшера к самой русско-польской границе. Здесь произошел такой диалог между начальником патруля и немцем:

— Вот граница. Идите.

— Куда же я пойду без документов? — взмолился фельдшер.

— А зачем вам документы?

— Как же, у меня в ГПУ отобрали все бумаги. Даже удостоверения личности нет. Меня сейчас же арестуют в Польше.

— Это не наше дело. Идите, пока не пристрелили.

Вейнгарт перешел границу. В Польше его задержал польский патруль и посадил в тюрьму. Через некоторое время фельдшера, по подозрению в советском шпионаже, выслали в... Россию.

Попав снова в ГПУ, Вейнгарт был обвинен в «шпионаже в пользу Польши» и отправлен на Соловки (три года).

Такими трагическими анекдотами я мог бы заполнить не одну страницу своих записок. Думаю, что и вышеприведенных фактов достаточно для представления себе общей картины советского «суда» и «справедливости».

Обобщая приговоры, вынесенные находящимся в Соловках иностранцам, можно сказать, что приговоры эти вызываются соображениями трех родов:

1) когда необходимо получить так называемый «обменный товар», то есть иностранных подданных для обмена их на задержанных в других государствах коммунистов,

2) в порядке красного террора по отношению к гражданам тех стран, в которых в данный момент преследуются коммунисты и

3) для откровенного грабежа денег или имущества того или иного иностранца.

«Живой товар» для обмена набирается в Соловках преимущественно из граждан окружающих Россию стран. В особенности много поляков, эстонцев, финнов и проч. Представители этих национальностей поставлены, может быть, в наихудшие условия. Они нетерпеливо ожидают своей «обменной» очереди.

Стоило только правительствам Болгарии, Эстонии, Польши, Финляндии, Венгрии, Турции и т.д. принять строгие меры против разрушительной работы коммунизма в своих странах, ГПУ сейчас же начало высылать на Соловки болгар, эстонцев, венгров, турок и т.д.

Отправка по грабительским мотивам практикуется также очень часто. Желая завладеть чужим имуществом или деньгами, ГПУ (в особенности этим отличается советская провинция) без лишних разговоров обвиняет того или иного богатого иностранца в «шпионаже» и бросает его в тюрьму, спрятав предварительно в свой карман его деньги.

Бывает и так, что тому или иному советскому учреждению не хочется платить по счетам, и оно обращается за соответствующим содействием к ГПУ.

Так, я знаю одного эстонца, имевшего в Москве водопроводную мастерскую. Ему московский откомхоз (отдел коммунального хозяйства) поручил ремонтировать водопроводы и канализацию в Доме советов (бывшая гостиница «Астория»). Когда ремонт был произведен и надо было платить за него, откомхоз нашел блестящий способ расплаты: он обвинил эстонца в «представлении преувеличенных счетов, подрывающих благосостояние СССР», а ГПУ посадило его в тюрьму!

Есть в Москве учреждение, специально занимающееся поставкой на Соловки «нежелательных иностранцев». Это — Коминтерн, его иностранные отделения.

Все иностранцы, заподозренные в «белогвардействе», трудами Коминтерна попадают под наблюдение, а потом и в ведение ГПУ. В особенности энергично действуют в этом направлении коммунистический представитель Японии Катаяма и Венгрии Бела Кун. В России до сих пор очень много венгерцев, бывших военнопленных. И вот каждый венгерец, желающий возвратиться на родину, то есть в «черносотенную Венгрию», считается «сторонником Хорти» и попадает в тюрьму. Почти ежемесячно в Москве инсценируются «покушения» на Белу Куна, после чего целые партии венгров едут на Соловки.

Иногда в лагерь попадают такие иностранцы, обвинение которых кажется полным абсурдом даже с советской точки зрения. Например, вряд ли сам Дзержинский может объяснить, за что в Соловках сидит Сейд Али Надири, хан Афганский.

Хан — весьма популярная личность в духовном и светском мире Афганистана; он, кажется, единственный в своей стране окончил университет (Оксфордский). Не поладив с афганистанским правительством, Сейд Али решил искать приюта в России, вполне легально перейдя границу между Афганистаном и русскими азиатскими владениями. И советская власть, вместо того чтобы, по своему обыкновению, использовать хана для борьбы с соседями, отправила его в Соловки без какого бы то ни было обвинения (три года).

Расстрелы по отношению к иностранцам практикуются в той же степени, как и по отношению к заключенным русским, и тем же явочным порядком.

Переведенный из Архангельского лагеря в Соловецкий Али-Шах, английский подданный, в 1923 году вместе с немцем Альпом и русским Бутурлиным был обвинен в попытке бежать с Соловков. Альпа убили, Бутурлина расстреляли через год. Али-Шах не выходит из штрафного изолятора.

Али-Шах этот известен в лагере еще тем, что он отказался добровольно ехать на Соловки. Тогда чекисты его раздели донага (дело было зимой) и голым бросили в пароходный трюм.

Летом 1925 года был расстрелян за «вызывающее отношение к администрации» польский гражданин Напольский, студент-медик. Тогда же расстреляли немца Грюнвальда, агронома.

Вне всякого сомнения, были и другие расстрелы. Но если о том или ином иностранце становится известно в лагере, что он «освобожден», или «обменен», или «переведен в другой лагерь», кто может утверждать, что это лицо не расстреляно тайно?

VI

Близ Кемского побережья, изрытого холодными водами Белого моря, расположена группа островов, заселенных частично рыболовами — русскими и различными мелки-

ми подразделениями северных племен. Наиболее крупным в этом архипелаге является Попов остров; к югу и юго-востоку от него идет целый ряд мелких островов, в большинстве даже безымянных. На Поповом острове и расположен Кемский концентрационный лагерь, входящий в состав Соловков и подчиненный управлению Северными лагерями особого назначения, то есть тому же Ногтеву. Официально лагерь на Поповом острове называется Кемским пересылочно-распределительным пунктом.

Уже одно название дает понять, какие функции возложены на Кемское отделение Соловков. Оно распределяет присылаемых из тюрем России в Кемь заключенных по различным островам и скитам на работы. На Поповом острове, имеющем характер пересыльной тюрьмы, скопляются этапы заключенных, которые с открытием навигации следуют дальше на Соловки. Наконец, постоянно между Соловками и Кемью происходит обмен «контрреволюционеров», в зависимости от тех или иных работ крупного масштаба.

В 1922 году, направляясь в Соловки, я пробыл в Кемском лагере всего четыре дня. Присланный на работы из кремля на Попов остров (в ноябре 1925 года), я провел на нем три недели, вплоть до моего бегства.

Попов остров имеет форму буквы «с», с утолщением посередине и извилистыми углами, направленными на восток. Поверхность его равняется приблизительно 15 квадратным верстам. Весь остров покрыт никогда не высыхающими болотами; берега его, как и на Соловках, также весьма изрыты и извилисты и напоминают финские или шведские шхеры.

Благодаря близости к материку, климат здесь немного мягче, чем на Соловках, морозы не так суровы. Зато продолжительнее и гуще туманы, сильнее дает себя чувствовать сырость, периоды дождей продолжительнее. Общесоловецкий бич — комары здесь доставляют столько мучений, что нередки случаи умопомешательства от не дающих покоя ни днем ни ночью насекомых.

Лагерь устроен близ южного берега. Составляющие его здания — деревянные бараки — выстроены частично старой русской властью, частично англичанами. Барак — тип сарая для продовольственных складов, скудно освещаемый днем небольшими оконцами, ночью — тусклой лампой; печи — так называемые буржуйки — устроены уже в последнее время. Все бараки сооружены на болоте, а потому характерны своей затхлой, сырой атмосферой, на стенах и потолках — пятна сырости и плесени.

С южной стороны лагеря, в нескольких десятках шагов от берега, расположен большой, с многочисленными окнами и дверями, барак. Это — караульное помещение, где живут красноармейцы, охраняющие лагерь. Из их числа ежедневно назначаются наряды часовых для постов вокруг лагеря (в особых будках вдоль проволочного заграждения) и внутри лагеря — у ворот, в комендатуре и проч.

За караульным помещением — входные ворота, вырубленные в высоком деревянном заборе, увенчанном несколькими рядами колючей проволоки. Пройдя мимо караульного поста в ворота, вы видите пред собой длинный помост бревен, образующий собой нечто вроде торцовой мостовой. Такие бревенчатые дороги густой сетью покрывают весь остров с его бесконечными болотами и оврагами.

Дорога от входных ворот называется... Невским проспектом; она прорезывает концентрационный лагерь с юга на север. По обе стороны импровизированного Невского проспекта тянутся бараки, в большей части одинаковой величины. По правую сторону вы видите женский барак, барак с канцеляристами и чекистами, затем бараки с уголовными, по левую сторону — комендатуру, бараки с «каэрами» и шпаной, помещение лагерного старосты и т.д.

Направо от Невского проспекта тянется ряд других, более узких деревянных помостов, ведущих к другим баракам с заключенными, к мастерским, складам, кухне, уборной и проч.

Конечно, наскоро сколоченные, расположенные не на достаточной высоте бревенчатые помосты отнюдь не защищают идущих по ним от болот. В дождливое время, осенью и весной, болота Попова острова выступают из своих берегов и заливают как Невский проспект, так и лагерные бараки. Неоднократно все заключенные выгонялись чекистами на осушку болот. Но за отсутствием опытных руководителей дело оканчивалось тем, что деньги, отпущенные центром на осушку Попова острова, мирно успокаивались в карманах администрации.

За северной стеной проволоки расположено несколько тоже деревянных, но значительно лучше построенных и оборудованных домов. В одном из них живет начальство охраняющего Попов остров 95-го дивизиона ЧОН (частей особого назначения), входящего в состав Соловецкого полка особого назначения, в других — красноармейцы дивизиона. Последних осенью 1925 года было около 200 человек; как и на Соловках, солдаты хорошо вооружены, но одеты очень бедно и неряшливо.

От расположенной на восточном берегу Попова острова пристани идет к станции Кемь железнодорожная ветка. Звеном, связующим материк с островом, является переброшенная через пролив дамба с мостом, по которому проведены рельсы. С левой стороны железнодорожной ветки (если взять направление на Кемь) расположен лесопильный завод, с правой, ближе к морю, — лесные склады, затем станция Попов остров. На севере имеется поповская радиостанция.

Город Кемь, раскинувшийся по обоим берегам реки с тем же названием, был некогда значительным портом по отправке в Центральную Россию рыбы и пушного зверья. Огромный поток богомольцев, направлявшийся в Соловецкий монастырь также через Кемь, со своей стороны вносил в город большое оживление. Теперь

Кемь — полуразрушенное село. Импорт в Центральную Россию рыбы и мехов давно уже заглох: реквизиции у местных рыбаков и охотников сетей, огнестрельного оружия, всяких иных рыболовных и охотничьих снастей разрушили окончательно эти полезные промыслы. Богомольцев нет, ибо самого монастыря давно уже нет. Медленное умирание Кеми, могильная тишина разрушенного города нарушаются лишь пьяными безобразиями чекистов концентрационного лагеря.

Высшая администрация Кемперраспредпункта (Кемского пересылочно-распределительного пункта) пугает уцелевших жителей города беспорядочной стрельбой по ночам, бьет стекла в единственной в городе гостинице, открыто швыряет казенные деньги на вино и «шмар» (любовниц), которых многие чекисты выписывают непосредственно из Петербурга или Москвы. Все это остается совершенно безнаказанным. На жалобы граждан Кеми, на просьбы их усмирить высокопоставленных хулиганов Московское ГПУ отвечает: «По наведенным справкам, указанные вами сведения не отвечают действительности...»

За трехлетнее существование свое Кемский концентрационный лагерь пережил многочисленные «смены поповских министров», как называют в лагере представителей администрации.

Довольно продолжительное время комендантом Кемперраспредпункта был некий Гладков, родом из города Калуги, совершенно безграмотный рабочий. Гладков уже в лагере еле научился подписывать свои «приговоры» и «приказы» неразборчивыми начальными буквами своей фамилии. И, несмотря на такую «образованность», этот палач около двух лет имел право казнить и миловать заключенных.

До революции Гладков сидел в калужской тюрьме за кражу. Там же отбывала наказание и его жена, бывшая проститутка. После революции, вместе с политическими заключенными, были освобождены из калужской тюрьмы и «политические» Гладковы. Вступив, как и приличествует всем бандитам, в Коммунистическую партию, супруги быстро сделали карьеру, а с превращением Соловков в концентрационный лагерь попали на Попов остров в роли коммунистических губернаторов.

В особенности заметную память о себе оставила мадам Гладкова. Ненавидя «буржуев» всей своей каторжной душой, она сразу же взяла под свое покровительство находившихся в Кемском лагере уголовных, то есть таких же, как она, воров, убийц, сутенеров и проституток. Командуя своим мужем, она командовала и всем лагерем. Одного слова Гладковой было достаточно, чтобы освободить ту или иную партию шпаны от работ и взвалить последние на «контрреволюционеров». Гладкова неизменно улучшала питание уголовных, доставала для них спирт и проч.

В благодарность за такое воистину материнское попечение уголовные в глаза и за глаза называли ее «родной матерью». Да представит себе читатель, какой

гнет испытывали несчастные кемские «каэры» в эпоху «губернаторства» этой малопочтенной четы!

Партийный билет дал Гладкову возможность и право открыто грабить казенные суммы. Вероятно, он и до сих пор успешно развивал бы свою деятельность в данном направлении, не освободись из лагеря один из заключенных и не донеси он в центр о гладковских преступлениях.

Но здесь снова повторилась история, чрезвычайно характерная для советской власти. В Кемь прибыла «ревизионная комиссия» (Сольц и др.). Комиссия эта, уличив Гладкова и его жену в ряде подлогов, мошенничеств и растрат, все же нашла возможным их амнистировать, освободить от наказания и перевести в родной город, Калугу, для службы по тому же грабительскому ведомству — ГПУ.

В начале 1924 года из Москвы в Кемь приехал новый комендант Кемского лагеря — некий Кирилловский, бывший унтер-офицер одного из петербургских гвардейских полков. Отличался он поразительным даже для чекиста пьянством. Через год Кирилловского перевели на Соловки на должность начальника 4-го отделения лагеря.

Летом 1925 года Центральное ГПУ прислало на Попов остров нового коменданта — некоего Федякова. Он уроженец Сибири, по происхождению крестьянин, был долгое время сотрудником Иркутского ГПУ. Малограмотный парень (Федяков еще молод), этот комендант является непременным действующим лицом всех кемских анекдотов, характеризующих исключительную тупость этого чекиста. По единодушному мнению, такого дурака на Поповом острове еще не было.

Большое значение в каждой советской тюрьме и в каждом концентрационном лагере имеет староста. Вначале старостой был Чистяков, чекист из заключенных. По его словам, он попал в ссылку за участие в Кронштадтском восстании, но, насколько известно, ни один чекист на стороне восставших в Кронштадте (в 1921 году) против советской власти матросов не был. Большой негодяй и кокаинист, Чистяков жил в лагере как король. Мне рассказывали в Кеми, что Чистяков заставлял заключенных умывать себя!

В последнее время старостой Кемского лагеря был некто Тельнов. На нем стоит остановиться подробнее.

Иван Гаврилович Тельнов, бывший офицер, был прислан на Соловки как активный участник антибольшевицкого движения (он служил в армии генерала Деникина). Перипетии гражданской войны создали из него, так сказать, любителя сильных ощущений не без налета авантюризма. Очень интересный как мужчина, он завоевал сердце госпожи Александровской, жены чекиста Александровского, в то время еще имевшего влияние на соловецкие дела.

Благодаря протекции высокопоставленной дамы и собственной ловкости, Тельнов скоро стал старостой Соловецкого лагеря.

В этой должности Тельнов специализировался главным образом на преследовании так называемых политических и партийных, которых он ненавидел больше, чем самих коммунистов, и шпаны, всемерно защищая в то же время интересы «контрреволюционеров». Снискав полное к себе доверие местных властей, Тельнов устраивал так, что ни одна жалоба на него со стороны заключенных социалистов не доходила в Москву.

Одновременно Тельнов подготовлял побег. О последнем узнали, Тельнову грозил расстрел. Опять-таки благодаря защите Александровской и собственному умению лавировать, Тельнов не только остался жив, но и не понес никакого наказания. Желая «замазать» дело, соловецкая администрация послала его на Попов остров на должность лагерного старосты.

На Поповом острове Иван Гаврилович — «каэры» называли его в своем кругу «наш Ванька» — снова повел ту же тонкую и опасную игру. С одной стороны, он вовлекал в кутежи, взяточничество и разврат верхушку кемской администрации, с другой — посильно помогал «каэрам» и гнул, что называется, в бараний рог низшую администрацию лагеря. Идя ва-банк, Тельнов, на стесняясь, бил уголовных за малейший проступок или ропот и сажал в карцер рядовых чекистов.

Однажды Тельнов узнал, что на него пишется чекистами жалоба в Москву. Об этом было сообщено тогдашнему коменданту Кемского лагеря Кирилловскому, всецело подпавшему под влияние энергичного и бесстрашного офицера. Кирилловский, по совету и настоянию Тельнова, вызвал к себе доносчиков, жестоко избил их и посадил на месяц в строгий изолятор. Когда чекистов вели в карцер, Тельнов крикнул им:

— Еще одна жалоба — и я вас, сволочи, всех расстреляю!

Незаметно для самих себя все главные чекисты на Поповом острове оказались в руках у Тельнова, сделались его сообщниками. Постепенно привлекая их к ближайшему участию в дебошах, вымогательствах, подлогах и взятках, ловкий староста не только заинтересовал их денежно, но и купил их молчание и покровительство тем соображением, что, если бы и нашелся среди них человек, захотевший погубить Тельнова, этим самым он погубил бы и самого себя, так как в распоряжении Тельнова было достаточно веских улик против всей кемской администрации.

Идя к намеченной цели с такой настойчивостью, подготовив нужную ему почву, Тельнов принялся за осуществление главной своей задачи — побега.

Ему не улыбался одиночный побег его самого; ему, имевшему возможность достать любые настоящие и фальшивые документы и часто по делам лагеря приезжавшему в Кемь, было нетрудно бежать чуть ли не совершенно легально. Тельнов хотел вывести в ближайшую к Соловкам страну — Финляндию — весь Кемский лагерь.

«Пусть потом весь север России заговорит о Ваньке Тельнове...» — говорил он не раз посвященным в его тайны «каэрам».

Тельнов предполагал, совершив все нужные подготовительные шаги, в один прекрасный день разоружить весь 95-й дивизион. Сделать это было бы не так трудно, принимая во внимание численное соотношение охраны и заключенных, безусловно в полном своем составе связавших бы свою судьбу с судьбой Тельнова. Намечалась организация особых ударных групп, которые должны были в намеченный момент захватить склады с оружием, убить всех красноармейцев и чекистов и походным порядком двинуться к границе Финляндии. Внушительный отряд бежавших «контрреволюционеров» (в то время численность лагеря доходила до 2 000 человек) имел бы все шансы пробиться сквозь незначительные советские патрули.

Ночь накануне восстания Тельнов хотел провести на квартире у Кирилловского, собрать туда высшую администрацию лагеря и напоить ее.

К сожалению, этот смелый, хотя и выполнимый план рухнул с трагической смертью Тельнова.

Третируемые старостой мелкие чекисты, уголовные и заключенные социалисты соединили свои усилия для «ликвидации» захватившего лагерь опасного контрреволюционера. Одна из жалоб на Тельнова дошла до Москвы. ГПУ прислало в Кемь следственную комиссию.

Тельнова увезли на суд в Соловки и там расстреляли в сентябре 1925 года.

Все это рассказывало мне в Кеми лицо, посвященное в планы Тельнова. По словам соловецких красноармейцев, расстрелявших кемского старосту, Тельнов спокойно выслушал приговор и умер, как герой.

Опуская целый ряд «работающих» в настоящее время на Поповом острове чекистов, столь же жестоких, тупых и вороватых алкоголиков, как и их соловецкие собратья, укажу, в качестве примера, на помощника коменданта Топорова. Он считается специалистом по доставке на Соловки «шмар» из числа заключенных на Поповом острове женщин. У него целый гарем. Вопиющие издевательства над женщинами не в состоянии описать никакое перо.

Уже в день моего прибытия из кремля на Попов остров я услыхал такое приказание начальника караульного помещения:

— Петька, притащи мне рублевую...

Я не понял этого приказа. И мне объяснили, что заключенных женщин на Поповом острове обычно называют не по фамилии, а сообразно их пригодности для удовлетворения похоти администрации: «рублевыми», «полтиннишными» или «пятиалтынными», — приравнивая их даже по внешним признакам к проституткам.

Работы на Поповом острове такие же, как и на Соловках. То же относится и к условиям жизни, питанию и репрессиям.

Если на Соловках промежуточной инстанцией между изолятором и расстрелом являются «каменные мешки», то на Поповом острове за соответствующие «преступления» — «ставят на комар».

Мне пришлось быть свидетелем применения этого наказания. Один из весьма многочисленных в Кемском лагере заключенных казаков стал требовать выдачи ему полученной из дому посылки с продуктами, реквизированной чекистом Новиковым в свою пользу. Пресекая «злостную контрреволюцию», Новиков распорядился:

— На комар его!

С казака сняли всю одежду до белья включительно и, совершенно голого, привели к комендатуре. Напротив нее устроен особый помост со столбом и отверстиями для ног. Казаку вывернули руки назад, и привязали его к столбу. Через полчаса все тело несчастного покрылось волдырями от укусов. Чувствуя мучительный зуд, казак кричал на весь лагерь.

Через час он чуть слышно стонал, а когда его снимали с этого чекистского креста, он был в бессознательном состоянии.

***

Соловецкие ужасы большей частью заглушают в заключенных всякую сопротивляемость, всякую энергию, а отсюда — всякое желание попытаться вырваться из моря крови и человеческого горя. Только единицы выпавшими на их долю испытаниями закаляют свой дух, свою волю.

Провидению угодно было причислить меня к таким единицам. Я все годы своего плена у чекистов боролся сам с собой, подавлял свою усталость, заострял свою волю. Я хотел бежать, и я бежал.

По причинам, о которых, вероятно, догадается читатель, я лишен возможности рассказать, как мне удалось подготовить свое бегство и как я совершил его. Излишние подробности могли бы повредить многим там, в закабаленной моей России.

Скажу только, что, сбрив бороду, которую я намеренно носил в лагере, я по фальшивым документам уехал из Кеми по железной дороге в Мурманск, пробыл там некоторое время, оделся и добыл немного денег. Из Мурманска я в форменной фуражке инженера путей сообщения проехал, тоже в поезде, через Кемь далеко на юг, затем двинулся, уже пешком, снова на север, к границам Финляндии.

Границу между советской Россией и Финляндией я перешел 16 декабря 1925 года.

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

ЕРМОЛАЕВ



О. В. Бочкарева

ВОСПОМИНАНИЯ И. А. ЕРМОЛАЕВА

Иван Алексеевич Ермолаев прожил долгую, интересную и насыщенную событиями жизнь. Вместе со всей страной еще в молодости он был втянут в военно-политические события Гражданской войны, а кронштадтские события 1921 г. и их последствия оставили неизгладимый след в судьбе и жизни тогда еще молодого студента Нижегородского университета.

Судьба по-своему распорядилась с Иваном Алексеевичем, выстроив его жизненный путь по кольцу испытаний: Нижний Новгород — Кронштадт — Финляндия — Соловки — Нижний Новгород. Проведя его через сложные и опасные события в Кронштадте весной 1921 г., уведя по льду Финского залива на чужбину, вернув в Россию, чтобы он оказался обманутым и арестованным, как сотни российских матросов, солдат, офицеров, она ненадолго забросила его на Соловецкие острова, но была благосклонна к нему, уберегая от лишений чекистского концлагеря, от репрессий Большого террора в 1937 г., дав силы и возможности реализовываться всю оставшуюся жизнь в мирной профессии инженера-строителя.

Почти год Иван Алексеевич был в заключении в Соловецких лагерях ОГПУ: с октября 1923 до середины мая 1924 г. Воспоминания, впервые опубликованные в 1990 г., — это удивительный короткий рассказ о его пребывании с другими кронштадтцами на Соловках[1]. Воспоминания выстроены по-военному скупо и сжато, но при этом лаконичны и точны в описании событий и фактов. В них нет размышлений, описаний природы или условий быта, автор не отвлекается на психологические поиски понимания происходящего. Он описывает ключевые события веско, точно и кратко, создавая объективное изложение происходившего, без привнесения личностной оценки, без лишних эмоций и впечатлений. Именно этим воспоминания Ивана Алексеевича Ермолаева и ценны.

Прерванное обучение в университете дало свои плоды еще до ареста, когда И.А. Ермолаев входил в Кронштадте в революционные тройки кораблей гарнизона. Уже тогда проявились его организаторские способности. Поэтому на этапе,

[1] См.: Ермолаев И. А. Вся власть Советам: О событиях в Кронштадте 1–18 марта 1921 г. // Дружба народов. 1990. № 3. С. 182–189. — Здесь и далее примеч. автора.

на Кемской пересылке и в Муксалминском политскиту группа матросов избирает его старостой, беспрекословно подчиняясь его решениям, во всем доверяя его мнению. Образование дает возможность ему не только правильно излагать порядок вещей своим однодельцам, но и сформулировать и изложить письменно декларацию в ЦК партии, в которой четко определяется политическая позиция всей группы как сторонников Советской власти. Иван Алексеевич смог грамотно и уверенно через начальника Соловецкого лагеря добиться перевода всей группы кронштадтцев на политрежим и размещение в одном из политскитов. Умело составленное обращение в ЦК партии сыграло решающую роль в судьбе всей группы кронштадтских моряков: уже в мае 1924 г. на Соловки прибыла комиссия ВЦИК и официально освободила всех участников кронштадтских событий.

Воспоминания И. А. Ермолаева ценны еще тем, что в них содержится информация исторического значения в исследовании Соловецких лагерей. Эти события малоизвестные, но имевшие место в 1923—1924 гг. в Муксалминском политскиту. В первую очередь это касается реакции заключенных там людей на события в декабре 1923 г., когда «политики» в Савватьеве отказались подчиниться нововведениям начальства лагеря по ужесточению режима содержания. Гибель группы осужденных в Савватьеве вызвала волну протеста среди «политиков» обеих скитов, вылившуюся не в семидневную, как это ошибочно указывает Ермолаев, а двухнедельную голодовку-протест.

Всего несколько фраз открывают для нас по-новому историю Муксалминского политизолятора и его сидельцев. Приведу три важных и значимых в историческом аспекте момента воспоминаний:

1. *После голодовки новый распорядок был отменен.* Как «крайняя мера» в достижении результатов на выдвинутые требования для представителей политических партий голодовка известна еще с царских времен, и здесь она также приносит свои плоды.

2. *В нашем лагере, увы, тоже появилась могила под глыбой: Юзик Сандомир, член союза социалистической молодежи, вскрыл себе вены в знак протеста против расстрела в Саватееве.* Захоронение «политического» Юзика Сандомира «под глыбой» в окрестностях Муксалминского политскита — это исторический факт, имеющий достаточно важное значение в историко-исследовательском плане.

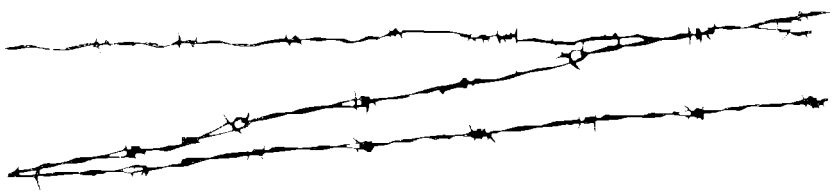
3. *Это вызвало взрыв негодования всех фракций, особенно правых эсеров, которые устами своего лидера Дмитрия Мерхелева... заявили администрации лагеря, что мы не являемся политзаключенными, что мы случайно сгруппировавшийся конгломерат непризнанных мнений и поэтому они тре-*

буют, чтобы нас убрали из «их» лагеря политзаключенных... Ревностное отношение к заключенным других политических партий, непримиримость в действиях и во взглядах — характерные мотивы поведения представителей различных партий в политскитах на Соловках. Это прослеживается и в других воспоминаниях, но такая откровенная форма негодования и протеста со стороны правых эсеров — яркий показатель взаимоотношений представителей политических партий России даже в местах изоляции.

Воспоминания Ивана Алексеевича Ермолаева заслуживают особого внимания исследователей тоталитарного режима, но будут интересны и читателю, которому не безразлично прошлое нашего государства.

✠

«Власть Советам!..»: о событиях в Кронштадте 1–18 марта 1921 г.[1]



<...> В числе 19 арестованных моряков был и я.

Вот имена товарищей, арестованных вместе со мной: Андрейченко Павел, Богданов Андрей, Брусникин, Гурьев Михаил, Ершов, Куркин, Кулышев Степан, Мартынов Владимир, Рассказов Матвей, Тюкин Степан, Терентьев Степан, Лобанов, Белов Леонид, Захаров Александр, Федоров Яков, Федотов Василий, Юдин Владимир, Эвелькис Иван.

Больше года сидели мы в тюрьме на Шпалерной в Петрограде, ожидая решения нашей участи. За все это время нам не предъявили никакого обвинения, не вызывали на допросы. В конце концов мы объявили голодовку. Нас разместили в подвале тюрьмы по одиночным камерам. Осматривая свое новое «жилье», я обнаружил на стенке камеры нацарапанную чем-то твердым надпись: «Здесь сидел в ожидании расстрела член ревкома мятежного Кронштадта матрос с «Севастополя» Перепелкин. 27/III–21».

Нас выводили на пятнадцатиминутные прогулки, и во время одной из них я встретился с Васей Яковенко — так звала его на корабле братва. В знак солидарности с нами он тоже объявил голодовку. Яковенко рассказал, что вернулся в Россию осенью 1922 года и ему предъявлено обвинение по 58 статье, как государственному преступнику.

Через пять дней мы прекратили голодовку — нам, всем девятнадцати, был объявлен приговор: три года ссылки в Соловецкий концлагерь. Яковенко в этой группе не было, и дальнейшая его судьба мне неизвестна. Позже, уже на Соловках, нам

[1] Публикуется с сокращениями по: Ермолаев И.А. Вся власть Советам: О событиях в Кронштадте 1–18 марта 1921 г. // Дружба народов. 1990. № 3. С. 182–189.

рассказали прибывшие в ссылку, что, будучи в Бутырской тюрьме, они слышали, что из Петрограда туда был доставлен под усиленным конвоем матрос, участник кронштадтского мятежа Яковенко. Скорее всего, его расстреляли.

В октябре 1923 года нашу группу привезли в концлагерь Кемь, который служил как бы перевалочной базой по пути в Соловки, и разместили в дощатом бараке. Как-то на прогулке возле барака мы познакомились с двумя анархистами, как мне помнится, по фамилии Мамай и Минский. Они прибыли из Соловков и направлялись по вызову в Москву. От них мы узнали о порядках, царивших в Соловках, причем они предупредили нас о главном: в Соловках существует два режима содержания заключенных, уголовные и политические содержатся отдельно. Политические — в скитах Муксольма и Савватеевский, уголовники — в Кремле. Политические к принудительным работам не привлекаются, а уголовники строят узкоколейку, ведут лесозаготовки и все хозяйственные работы, связанные с обслуживанием лагеря. Как правило, все прибывающие в Соловки независимо от того, кто они, сразу направляются в лагерь уголовных преступников, а уж потом, после настойчивых требований политических направляют в «свой» лагерь. И, поскольку мы не уголовники, нам следовало требовать, чтобы нас сразу направили в лагерь политзаключенных с соответствующим режимом.

Учитывая полученную информацию, мы решили предпринять две акции. Во-первых, направили декларацию на имя ЦК партии, где четко определили свою политическую позицию сторонников Советской власти. Во-вторых, написали заявление на имя начальника Соловецкого лагеря Эйхманса с требованием гарантировать нам режим политзаключенных, причем до получения положительного ответа мы категорически отказались выехать на Соловки. Три дня нас оставляли в покое, на четвертый пришел комендант лагеря и велел подготовиться к восьми вечера для отправки на Соловки. Мы ответили, что, поскольку нет ответа на наше заявление Эйхманса, мы отказываемся ехать. Комендант предупредил нас, что в случае отказа к нам будут приняты принудительные меры. Но мы снова категорически заявили, что, пока не будут удовлетворены наши требования, мы не подчинимся. В два часа дня к нам снова пришел комендант и заявил, что ответа от начальника Соловецкого лагеря не получено, но есть предписание доставить нас к месту назначения, и он еще раз предлагает приготовиться к отправке. Обсудив создавшееся положение, мы решили не сдаваться и оказать пассивное сопротивление — к семи вечера забаррикадировали входную дверь скамейками и заперли на засов, а сами, скинув бушлаты, в одних тельняшках образовали на нарах замкнутую живую цепь, погасили свет и стали ждать прихода конвоя. Около восьми вечера мы услыхали, что наш барак окружают, раздался стук в дверь и приказ: «Откройте!» Молчание. Снова: «Откройте!» И снова молчание. С третьим возгласом дверь была выбита прикладом, и в барак с

бранью ворвалась ватага охранников. С большими усилиями им удалось оторвать нас друг от друга и перенести в кузов грузовика. У причала повторилась та же процедура — раздетых, нас перенесли в трюм парохода и туда же кинули наши бушлаты. На другой день утром пароход пришвартовался к Соловецкому причалу. Мы решили продолжить сопротивление, и я не могу не отметить единодушной стойкости всех товарищей. Вскоре к нам в трюм спустился человек в командирской форме в сопровождении двух охранников. С трудом выговаривая русские слова, он представился комендантом лагеря Ауге (немец) и сказал, что желал бы знать, выйдем ли мы сами или нас нужно выносить. Как староста группы девятнадцати, я заявил, что если наше требование признать нас политзаключенными удовлетворено, то я дам команду надеть бушлаты и мы выйдем сами. Он твердо сказал: «Ваши требования удовлетворены и дано распоряжение направить вас в лагерь Муксольма». Я дал команду, и мы вышли на берег, откуда на нескольких подводах под усиленным конвоем направились в лагерь политзаключенных.

В лагере пребывало около трехсот человек: эсеры, меньшевики и довольно большая группа членов союза социалистической молодежи — оказывается, в то время существовал и такой союз. Лагерь был обычный: вокруг колючая проволока, по углам на вышках часовые с собаками, но вместо дощатых бараков здесь стояли одно- и двухэтажные дома. В одном из них разместились и мы в двух довольно просторных комнатах. Выходить за пределы лагеря строго запрещалось, но на территории лагеря гулять можно было круглые сутки. Когда мы прибыли в лагерь, там сохранялись еще «досталинские» порядки: на поверку заключенные не выстраивались, лишь ежедневно утром и вечером староста докладывал о количестве заключенных. Одновременно сообщалось о больных, которым требовалась медицинская помощь. Больных на подводе отправляли в Кремль, где находилось нечто вроде приемного покоя, при котором имелось несколько коек для стационарного лечения. Этот пункт обслуживал только политзаключенных!

Но с ноября 1923 года стал вводиться новый, «сталинский» режим. Нам было объявлено распоряжение по всем лагерям, что с 10 ноября все политзаключенные должны выходить на утреннюю и вечернюю поверки, причем после вечерней поверки прогулки запрещались и до утренней поверки необходимо было оставаться в помещении. Наш лагерь с помощью «оказии» связался с Савватеевским, чтобы узнать, как отнеслись к этому распоряжению там. Мы узнали, что они решили не подчиняться новому распорядку, и последовали их примеру. Вечером 10 ноября мы на вечернюю поверку не выстроились и, как обычно, вышли на прогулку. Со стороны нашего лагерного начальства никаких насильственных мер принято не было, и ночь прошла спокойно. Иное положение создалось в Савватеевском лагере. Как рассказывали

нам очевидцы из политзаключенных, после выхода их на прогулку со стороны конвойного помещений раздался строгий окрик: «Политзаключенные! Предлагаю немедленно прекратить прогулку и вернуться в помещение!» Политзаключенные не отреагировали. После трехкратного предупреждения был открыт перекрестный огонь. Все бросились бежать. В результате этой бесчеловечной акции семь человек были убиты, многие получили ранения. Как потом выяснилось, эта расправа была заранее подготовлена комендантом лагеря Розенталем, который не понес за это никакого наказания. Только после голодовки-протеста политзаключенных обоих лагерей его убрали с должности коменданта лагеря. Об этой голодовке-протесте и кровавой расправе в ските-лагере Савватеево подробно рассказала вскоре газета финских социал-демократов, нелегально полученная в лагере.

После семидневной голодовки новый распорядок был отменен, а в Савватеевском лагере появилась братская могила с большим гранитным памятником-валуном, на котором были высечены фамилии погибших. Четыре из них я хорошо запомнил: доктор Попов, врач Котова, инженер Кочаровский, Горелик. В нашем лагере, увы, тоже появилась могила под глыбой: Юзик Сандомир, член союза социалистической молодежи, вскрыл себе вены в знак протеста против расстрела в Савватееве.

Жизнь наша шла обычным лагерным порядком: с утра завтрак, который готовили по очереди «повара» от каждой группы, потом учеба во фракционных кружках. Мы же занимались в общеобразовательном кружке — изучали литературу, математику, историю, политэкономию. В конце января 1924 года каким-то путем в лагере стало известно содержание нашей декларации, посланной в ЦК партии с изложением наших политических взглядов. Это вызвало взрыв негодования всех фракций, особенно правых эсеров, которые устами своего лидера Дмитрия Мерхелева... заявили администрации лагеря, что мы не являемся политзаключенными, что мы случайно сгруппировавшийся конгломерат непризнанных мнений и поэтому они требуют, чтобы нас убрали из «их» лагеря политзаключенных.

Лагерное начальство сразу ухватилось за это требование, и нам было предложено перебраться в Кремль с сохранением режима политзаключенных. Мы возражать не стали и, таким образом, оказались в основном лагере Кремлевский в отведенных нам двух комнатах, отдельно от уголовников и без угловых вышек и часовых с собаками. Нам разрешили двухчасовую прогулку под конвоем за пределами Кремля, остальное время мы были предоставлены сами себе. И вдруг в середине марта нам объявили, что с 20 марта нас снимают с режима политзаключенных и переводят на общеуголовный с обязанностью выходить на работу вместе с уголовниками. Мы не согласились и объявили голодовку протеста, которая продолжалась семь дней. Администрация отказалась от своего требования, режим политзаключенных был для нас восста-

новлен, но ненадолго. 10 апреля нам вновь объявили, что мы обязаны выходить на работу с уголовниками и как уголовники. Мы поняли, что администрация решила сломить нас. Решив бороться до конца за права политзаключенных, мы написали энергичный протест против произвола администрации, копию направили в прокуратуру Республики и предупредили о возобновлении голодовки. Администрация отказала нам в праве считаться политзаключенными, и с 14 апреля мы объявили снова голодовку. Но проходила она уже в других условиях. Если раньше мы находились в своем помещении, то теперь нас поместили по одному в келье под особой охраной. Голодовка продолжалась до 27 апреля. В этот день утром ко мне в келью явился уже знакомый комендант Ауге и сказал, что наше требование о восстановлении режима политзаключенных удовлетворено, но что остальные голодающие без разрешения старосты голодовку прекратить отказываются. Такова была матросская дисциплина и солидарность! Я был очень слаб и так же, как и все остальные, ходить не мог. Меня в сопровождении коменданта и конвоиров понесли на носилках по всем кельям, где лежали еле живые неподвижные ребята, и я отдавал команду прекратить голодовку. Потом нас перевезли в приемный покой, где около недели держали на специальной диете. Спустя несколько дней после прекращения голодовки нас посетил начальник всего Соловецкого лагеря Эйхманс. У него был вид весьма интеллигентного человека, говорил он по-русски без всякого акцента. Поинтересовавшись, как мы себя чувствуем, он спросил, кого мы можем уполномочить вести переговоры. Братва указала на меня и на старого боцмана Захарова. Нам помогли добраться до кабинета главврача. Главврачом была очень добрая молодая женщина по фамилии Фельдман. Эйхманс, как ни странно, выразил восхищение нашей стойкостью, подчеркнул, что в этом сказалась железная морская закалка, и добавил, что у него брат тоже моряк. Потом он пристально посмотрел на нас и довольным голосом сказал: «Могу поздравить вас, ваше дело рассмотрено спецкомиссией ВЦИКа, с открытием навигации она прибудет сюда, а с 1 мая вы будете считаться свободными гражданами с правом свободно передвигаться и работать по желанию, но обязательно работать. Как правило, для всех освобожденных назначается соответствующий испытательный срок. На материк вас отправят осенью, в сентябре-октябре, а сейчас вас подлечат».

На этом кончилась наша кронштадтская эпопея.

15 мая на Соловки прибыла комиссия ВЦИКа, в которую входили: член ВЦИКа Смирнов, от прокуратуры Катаньян, член коллегии ГПУ Глеб Бокий. Мы были официально освобождены. Я все лето заведовал лагерной библиотекой, Захаров — прачечной, большинство братвы уехали на рыболовецкие тони.

19 октября нам вручили документы об освобождении без права проживания в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Одессе и Свердловске. Я сразу по-

ехал к себе на родину, на Рязанщину. Прибыл в деревню в ноябре 1924 года и не узнал родной деревни. Я помнил ее захудалой, заброшенной, с ветхими избушками, а предо мною предстали новые добротные дома, я с радостью смотрел на большое стадо: сотни коров и телят... А ведь со дня отмены продразверстки прошло всего два с половиной года. Значит, не зря мы в марте двадцать первого выступали с лозунгами «Долой продразверстку! Даешь свободную торговлю!», и Ленин понял, что не случайно о тяжелом положении крестьянства заговорил передовой отряд революции — моряки.

В конце декабря я приехал в Нижний Новгород, а 25 января 1925 года в нижегородском ГПУ уполномоченный товарищ Третьяков сообщил мне, что я восстановлен во всех правах и могу жить где угодно, но я остался в Нижнем, который позднее стал Горьким, получил профессию инженера-строителя и сорок с лишним лет отдал этому делу.

Еще с дореволюционных лет и до сих пор я пишу стихи и стихами, написанными совсем недавно, хочу закончить эти воспоминания:

Нет, мы еще не позабыли
Насилья гнет кошмарных лет.
Поземок шквальный снежной пыли
Оставил в нас глубокий след.

В глуши, под пристальной опекой,
Тяжелый труд был наш удел,
И кое-кто в бесплодной склоке
В своем седле не усидел.

Их рано цепкими руками
Настигла снежная пурга,
Хранит покой могильный камень,
Молчит суровая тайга.

Осталось нас совсем немного,
Чья юность, вольностью горя,
Пошла нехоженой дорогой.
Внимая зову Октября.

Нас время мало изменило,
И жаль, что пагубная хмурь
Так неожиданно затмила
Пред нами ясную лазурь.

Горький, 20 марта 1989 года

БОРИС МОИСЕЕВИЧ

САПИР



М. В. Шульгина

ВОСПОМИНАНИЯ Б. М. САПИРА

Борис Моисеевич Сапир, человек непростой судьбы, жизнь которого охватила практически все XX столетие. В 1919 г. (тогда ему было 17 лет) Сапир вступил во фракцию меньшевиков РСДРП. Во время советско-польской войны 1920 г. он по партийной мобилизации пошел в РККА. После Гражданской войны юного Бориса Сапира постигла участь многих меньшевиков: он был арестован органами ВЧК и весной 1923 г. направлен в Пертоминский лагерь принудительных работ, затем в июле 1923 г. переведен в Соловецкий лагерь принудительных работ особого назначения. По окончании срока заключения осенью 1924 г. его переместили в Кемский пересыльный пункт, а в июне 1925 г. — на поселение в Курган.

Осенью 1925 г. Б. М. Сапиру удалось совершить побег. Он нелегально эмигрировал из СССР и поселился в Германии, там он вошел в состав Заграничной делегации РСДРП. До середины 1960-х гг. он сотрудничал с журналом «Социалистический вестник». В этом издании Сапир опубликовал свою статью «Годовщина соловецкой трагедии», посвященную расстрелу политических заключенных в Савватиевском скиту[1].

В 1933 г., когда нацисты пришли к власти, он покинул Германию и поселился в Амстердаме. Там Б. М. Сапир возглавил русскую секцию в Международном институте социальной истории. В это время началась его совместная работа с Б. И. Николаевским, директором филиала института в Париже.

С началом Второй мировой войны связан новый этап в профессиональной жизни Сапира, когда он приступил к историческим исследованиям на Кубе. В 1944 г. Борис Моисеевич поселился в Нью-Йорке, где продолжал вести активную исследовательскую деятельность, преподавать, издавать сборники документов и монографии по истории революционного движения и меньшевизма.

Более подробное повествование об опыте своего пребывания в советских лагерях Б. М. Сапир написал, будучи в Соединенных Штатах. Этот очерк включен в качестве отдельной главы в книгу Давида Даллина и Бориса Николаевского

[1] См.: Сапир Б.М. Годовщина Соловецкой трагедии // Социалистический вестник. 1926. № 23 (141). С. 12–13. – Здесь и далее примеч. автора.

«Принудительный труд в Советской России», изданную впервые на английском языке в 1947 г.[2]

В 1967 г. историк возвратился в Амстердам, где продолжал работать с архивными материалами. Результатом семи десятилетий его творческой деятельности стала обширная коллекция сборников документов, монографий, статей, рецензий[3].

Борис Моисеевич ушел из жизни в 1989 г., накануне распада СССР. В 1991 г. он был реабилитирован, аресты по политическим убеждениям признаны незаконными.

Автор опубликованного ниже очерка пробыл в заключении на Севере два года — с 1923-го по 1925-й. В эти годы в Соловецких лагерях особого назначения система использования принудительного труда еще проходила период становления.

Следует отметить, что данная работа не лишена некоторых неточностей. В повествовании доминирует описание положения только одной из категорий заключенных — политических, к коей принадлежал сам автор. Вместе с тем Сапир стал свидетелем важных событий в истории лагерей, которые он постарался подробно отразить в своих воспоминаниях. Это делает его труд бесценным историческим источником, добавляющим новые оттенки восприятия к известным сведениям о Соловецких лагерях.

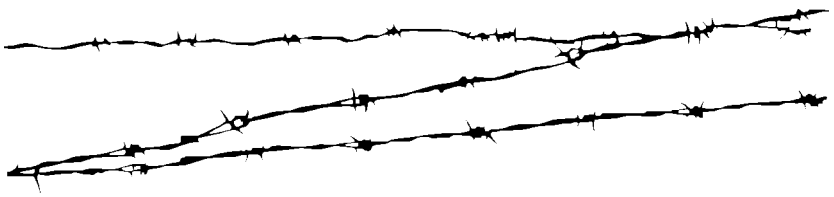
Перевод воспоминаний Б. М. Сапира выполнен с первого английского издания книги Д. Даллина и Б. Николаевского 1947 г. Впоследствии эта монография неоднократно переиздавалась на многих языках. Этот важный для специалистов по истории советской пенитенциарной системы труд, безусловно, заслуживает полного издания в России. На русском языке очерк публикуется впервые.

Выражаю глубокую признательность Константину Сергеевичу Зайкову за оказанное содействие в поиске издания и Антонине Алексеевне Сошиной за ценные консультации в ходе работы над сопроводительными комментариями.

[2] См.: Dallin D. J., Nicolaevsky B. I. Forced Labor in Soviet Russia. New Haven, 1947. P. 170–188.

[3] См.: Boris Moiseevich Sapir: Menshevik and Social Historian: An Introduction to His Life / Stephen Corrsin, Marc Jansen, Ellen Scarulfi. Amsterdam, 1997. 57 p.

Путешествие в Северные лагеря[1]



Весной 1923 года меня приговорили к двум годам заключения в лагере за социал-демократическую деятельность. Это был один из тех характерных «приговоров», которые выносились не судом, а политической полицией, в отсутствии ответчика. Среди десятков тысяч заключенных, отправленных на Соловки, было немного тех, кому приговор вынес суд.

В апреле меня поместили в Таганскую тюрьму в Москве, откуда этапы отправлялись в Архангельск. Самому старшему в нашей группе социалистов и анархистов было 26 лет, самой молодой — девушке анархистке — исполнилось 17. В составе нашей группы была крестьянка из Тамбовской губернии с двухмесячным ребенком, рожденным уже в тюрьме. Ее арестовали и осудили на три года заключения в Северных лагерях за родство с участником крестьянского восстания в Тамбовской губернии. Наряду с политическими заключенными этап включал около сотни «контрреволюционеров» и уголовных. Ссыльные помещались в «столыпинские» вагоны — специальный вид транспорта для заключенных. В них одна стена была сплошной, а другая имела зарешеченные окна. Через весь вагон шла перегородка из металлических прутьев. Она образовывала своего рода коридор вдоль стены с окнами. В нем располагалась охрана, наблюдавшая через перегородку за арестантами, находившимися по другую ее сторону.

Дорога из Москвы заняла у нас три дня и три ночи, и в течение этого времени заключенные не получали ничего, кроме кипятка и хлеба. Из Москвы поезд следовал в Ленинград, затем — по Мурманской железной дороге к пересыльному пункту в Кеми, откуда этапы переправлялись на корабле к лагерю.

[1] Публикуется по: Dallin D.J., Nicolaevsky B.I. Forced Labor in Soviet Russia. New Haven, 1947. P. 170–188 / Пер. с англ. М. В. Шульгина.



Вид на монастырь со стороны моря. *Фото С. Прокудина-Горского, 1915 г.*



Пароход с богомольцами в бухте Благополучия.
Фото Я. Лейцингера, конец XIX в.

РАССЕКРЕЧЕНО

Опубликованию не подлежит.-

Пр.№ 4 п.6.-
15 III 23.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

Совет Народных Комиссаров СССР постановляет:

1.- Организовать Соловецкий Лагерь Принудительных работ особого назначения и двух пересыльно-распределительных пунктов в Архангельск и Кеми.

2.- Организацию и управление указанным в ст.1 Лагерем и пересыльно-распределительными пунктами возложить на ОГПУ.-

3.- Все угодья, здания, живой инвентарь и мертвый инвентарь, ранее принадлежавшие бывшему Соловецкому монастырю, а равно Пертоминскому лагерю и Архангельскому пересыльно-распределительному пункту передать безвозмездно ОГПУ.-

4.- Одновременно- передать в пользование ОГПУ находящуюся на Соловецких островах радиостанцию.-

5.- Обязать ОГПУ немедленно приступить к организации труда заключенных для использования сельско-хозяйственных, рыбных, лесных и пр. промыслов и предприятий, освободив таковые от уплаты государственных и местных налогов и сборов.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ: /РЫКОВ/.-

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ: /ГОРБУНОВ/

С Е К Р Е Т А Р Ь СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ: /ФОТИЕВА/.-

Постановление СНК СССР об организации Соловецкого лагеря принудительных работ особого назначения. 1923 г.
ГАРФ, ф. 5446, оп. 1, д. 2, л. 43



Все прибывшие заключенные отправляются в карантинную роту, расположенную в Троицком соборе. *Кадр из фильма «Соловки» (1928 г.)*



Большинство заключенных женщин содержалось в бывшей монастырской Архангельской гостинице. *Кадр из фильма «Соловки» (1928 г.)*



Чистка трассы для прокладки узкоколейки. Слева – инженер А. Челноков.
Фото Е. Эрлиха. 1924 г. Все фотографии Е. Эрлиха –
из журнала «СЛОН», №№1–2, 1924 г.



Прокладка узкоколейки. *Фото Е. Эрлиха. 1924 г.*



Заготовка леса.
Фото В. Блувштейна 1928–1929 гг. Из фондов СГИАПМЗ



Выгрузка паровозов с баржи «Клара».
Фото Е. Эрлиха. 1924 г.

Ученый-конструктор Л.В. Курчевский (1890–1937). Арестован в 1924 г. Осужден на 10 лет. Досрочно освобожден в 1929 г. Расстрелян.
Кадр из фильма «Соловки» (1928 г.).



В.Н. Дегтярев (1884–?). В 1925 г. осужден на 10 лет. На Соловках работал в дендропитомнике.
Фотография из следственного дела. 1925 г.



Аэросани, сконструированные заключенным инженером Л.В. Курчевским.
Фото В. Блувштейна. 1928–1929 гг.
Из фондов СГИАПМЗ





Укладка булыжником дороги около Святых ворот.
Кадр из фильма «Соловки» (1928)



На кирпичном заводе. *Кадр из фильма «Соловки» (1928)*



Епископ Мануил
(Лемишевский)
(1884–1968).
С 1962 г. – митрополит.
На Соловки сослан
в 1924 г. на три года.

СОЛОВЕЦКОЕ ОБЩЕСТВО КРАЕВЕДЕНИЯ

О. Соловки на Белом море, через Кемь, Карельской Республики.

№ ____ 13 ноября 1927 г.

Гр. Лемишевскому (Еп. Мануилу)

Президиум Историко-Археологической секции сим свидетельствует, что гр. Лемишевский состоял членом секции и библиотекарем Музея СОК в 1926 – 1927 годах и являясь добросовестно-энергичным работником, оставив большой труд по изучению монастырских синодиков, за что секция выражает ещ благодарность с пожеланием не прерывать связь с секцией будучи на материке.

Председатель Историко-археологической секции

Секретарь



Гора Секирная. План составлен заключенным генерал-майором И.М. Зайцевым.
Из книги воспоминаний «Соловки (Коммунистическая каторга или место пыток и смерти)». Шанхай. 1931 г.



Вид на Свято-Вознесенский скит. В лагерное время здесь располагалось IV штрафное отделение.
Фото Я. Лейцингера



Заготовка древесины. *Фото Е. Эрлиха. 1924 г.*



План Соловецкого кремля, составленный заключенным генерал-майором И. М. Зайцевым. *Из книги воспоминаний «Соловки (Коммунистическая каторга или место пыток и смерти)». Шанхай. 1931 г.*



Сотрудники хозчасти 1-го отделения. 1926–1927 гг.
Верхний ряд, справа налево: о. Павел Чехранов, архивариус хозчасти, В.И. Рукавишников, делопроизводитель, А.И. Иванов, зав. хозчастью, О. И. Голощапов, казначей, Г. Е. Ниссельсон, старший счетовод.
Нижний ряд слева направо: В. Д. Верхотурцев, художник, М. М. Бочаров, делопроизводитель, А. Л. Максимов, зав. инвентарным столом, А. И. Розов, зав. вещевым столом, А. А. Смирнов, зав. продовольственным столом, Здоровенко и Райскин, сотрудники хозчасти. *Из архива В. П. Чехранова*



Больничная палата, устроенная в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Справа – группа врачей. *Фото Е. Эрлиха. 1924 г.*



Аптека при лагерном лазарете. *Фото Е. Эрлиха. 1924 г.*



Б.М. Сапир (1902–1989).
Социал-демократ. На Соловках находился в 1923–1925 гг.

Б.О. Богданов (1884–1960). Один из лидеров социал-демократов. *Из книги Н.Б. Богдановой «Мой отец – меньшевик». СПб, 1994 г.*



Б. О. Богданов. Москва, 1922 г.



Б.О. Богданов с дочерью Ниной в группе ссыльных. Архангельск. 1925 г.
Из книги Н.Б. Богдановой «Мой отец – меньшевик»



Савватиево. Здесь до 1925 г. содержались политзаключенные.
Фото Е. Эрлиха. 1924 г.

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПИСЬМА ИЗ СОЛОВКОВ

// Начиная с расстрела 19-го Декабря администрация непрестанно ухудша
ет наше положение и ведет себя все более вызывающе. Весной на основа-
нии какой то неизвестной нами инструкции, нам предложено самим заго-
товлять дрова, как для кухни, так и для отопления корпусов и зданий, чт
что для нас невыполнимо и физически, ибо у нас половина коллектива не
трудоспособна и морально - ибо это означает перевод на уголовное по-
ложение. Мы отказались, и теперь нам не дают дров. Мы скоро не будем
иметь горячей пищи, не имеем бани и вероятно будем без света.
2/ Паек уменьшили, мясо мы получаем только два раза в неделю, и сов
сем не получаем свежих овощей. Если в прошлую зиму при лучшем питании
у нас было сорок человек цинготных, то будущей зимой надо ждать по-
вальной цинги.
3/ Администрация начинает делать попытки переводить отдельных поли
заключенных на уголовное положение.
4/ Свидания с родными даются в безобразной форме обстановке и фак-
тически раз в год и то немногим.
5/ Свидания старост скитов запрещены.
6/ Медицинская помощь как была, так и не налаживается.
7/ Прогулки ограничиваются и зимой нет гарантии от повторения со-
бытий 19-го Декабря.
Все это вынуждает нас требовать от администрации или перевода на
материк, или коренного изменения режима. //

Выдержка из письма политических заключенных В. Р. Менжинскому.
ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 44, л. 356



Братья Цетлины, слева направо: Семен (1888–1937), расстрелян, Эмиль, Михаил (1887–1937), расстрелян. *Из фондов СГИАПМЗ*



Группа социал-демократов слева направо: Иван Миньков, Елена Мацель, Эстер Рабинович, Леонид Вакупсон, Борис Сапир, Леонид Ланде, Роза Эльман. Москва, 1920 г.
Из книги Ю. Бродского «Соловки. 20 лет особого назначения». Москва, 2002 г.



М. С. Ланде (1886–1937). Эсер. Расстрелян. Рисунок сделан в Бутырской тюрьме в 1921 г.
Из фондов СГИАПМЗ



Е. К. Полетика (1896–1934). Эсерка. В 1923 г. на два года сослана на Соловки. Затем – в ссылке в Усть-Выми. Скончалась в Минусинске. *Из фондов СГИАПМЗ*

Ф.Ф. Роллан-Ломоносов (1893–?). Анархо-синдикалист. С середины 1920-х гг. на Соловках, затем – в ссылке в Великом Устюге, откуда бежал. *Из книги Ю. Бродского «Соловки. 20 лет особого назначения». Москва, 2002 г.*





Г.А. Белима-Пастернак (1897–19 декабря 1923). Эсер. Убит в Савватиево. Фото 1914–1916 гг. *Из фондов СГИАПМЗ*

К Соловецким событиям

В «Известиях ЦИК» напечатано:

19 декабря 1923 г., в 18 ч., во дворе Савватьевского скита соловецкого лагеря имел место печальный инцидент, выразившийся в столкновении заключенных с отрядом красноармейцев, охранявших названный скит, в котором помещаются заключенные.

В результате столкновения убита Котова Елизавета Ивановна—25 лет; умерли от ран: Кочаровский Георгий Трифонович—28 лет, Белима-Пастернак Гавриил Андреевич—27 лет, Горелик Меер Моисеевич—26 лет, Бауэр-Цейтлина Анастасия Арнольдовна—32 лет и Попов Всеволод Иванович—28 лет; ранены не опасно: Лебедев Леонид Яковлевич—24 л. и Шик Георгий Эммануилович—32 лет.

Следствие по делу ведется. Результаты следствия будут опубликованы особо.

Председатель комиссии по расследованию происшествия. Член президиума ЦИК СССР **А. П. Смирнов.**

В.О. Рубинштейн (1904–1995).
Социал-демократ.
На Соловках был в 1924–1925 гг.
Из фондов СГИАПМЗ



Политические заключенные в Савватиевском скиту.
Фото Е. Эрлиха. 1924 г.



В Архангельске мы вступили в новый мир — королевство Северных лагерей. Этап принимал молодой человек в форменной шинели, который не походил внешним видом на обычного агента ЧК. Оказалось, что он сам бывший заключенный и действующий комендант, исполняющий служебные обязанности в Архангельском лагере. В то время как остальные заключенные были оставлены в Архангельске, «политические» — социалисты и анархисты — должны были продолжить путь к Пертоминску. Начальник конвоя прежде был офицером. Он имел проблемы с законом и в качестве наказания был определен исполнять обязанности конвоирующего в Северных лагерях.

Все представители лагерной администрации имели подобное прошлое, за исключением нескольких вышестоящих чиновников, однако, по слухам, и они получили свои назначения в качестве наказания. Такие слухи были распространены даже о руководстве УСЛОНа (Управления Северных лагерей особого назначения) — Ногтеве и его заместителе Эйхмансе. Администрация комплектовалась из среды заключенных, предпочтение отдавалось бывшим агентам ГПУ, особенно при назначении на посты, требующие ношения оружия.

По пути из Архангельска в Пертоминск чувство изолированности становилось все более острым. Наша группа из 10—12 человек должна была идти первые три или четыре мили по замерзшей реке Северной Двине, а затем по дороге, покрытой глубоким снегом. Было невозможно идти исключительно по колее за санями, в которых ехал начальник конвоя и куда было сложено наше имущество. С обеих сторон колеи снег был по колено. Мы шли несколько дней, за день покрывая расстояние около 15 миль. Отдыхали каждые два или три часа, тем самым давая нашей попутчице, крестьянке, возможность кормить своего ребенка. Ей было позволено ехать в санях. Ночи мы проводили в деревнях на берегу. Примерно на второй день пути мы увидели колонну саней и пеших людей, похожую на нашу. Выяснилось, что это были анархисты, которых перемещали из Холмогор в Пертоминск[2]. Остаток пути мы шли вместе. На пятый или шестой день пополудни мы увидели стены с охранными вышками. Это и был Пертоминский концентрационный лагерь.

Когда мы приблизились, то разглядели надпись на стене: «Долгих лет жизни Третьему Интернационалу!». В старой монастырской церкви, холодной и пустынной, располагались столы для несуществующей «образовательной секции»; портреты советских лидеров висели под написанными на стенах образами святых и начертанной жирными буквами надписью, гласившей: «Советская власть не карает, а исправляет». И это было в лагере, где начальник, Бачулис, лично избивал его обитателей и

[2] Анархисты были доставлены в Северные лагеря в феврале 1922 г. Сначала их поместили в Архангельский лагерь, где они немедленно начали бороться за улучшение тюремного режима. В качестве наказания они были перемещены в Холмогорский лагерь. — Здесь и далее примеч. автора.

забавы ради стрелял из ружья по заключенным, работавшим в полях. Летом в поле оставляли на съедение комарам со связанными руками тех, кто вызывал недовольство администрации. Зимой же таковых помещали на ночь на неотапливаемые чердаки в одном исподнем. Сомневаюсь, что Бачулис был в здравом уме.

Бачулис пытался сломить дух первых политических заключенных, приехавших в декабре 1922 года, оставляя их бараки без света и тепла, а иногда стреляя по их окнам. Но его тактика, похоже, не встретила одобрения в Москве. Весной 1923 года он был замещен другим начальником — Михельсоном, хорошо известным благодаря своему участию в казнях, последовавших за разгромом армии Врангеля в Крыму. Доведенные до отчаянья мерами Бачулиса и ожидая еще худшего, анархисты 15 марта 1923 года начали голодовку, требуя своего перевода в Архангельск. На седьмой день протеста некоторые из них в состоянии безумства пытались сжечь себя заживо. Деревянные нары моментально охватило пламенем, и коридор наполнился густым дымом. Огонь был потушен политическими заключенными, не принимавшими участия в голодовке. Одиннадцать анархистов было доставлено в госпиталь. Голодовка окончилась провалом на шестнадцатый день. Позже, с наступлением теплых дней, когда дороги очистились от снега и была возобновлена навигация, резко возросло количество политиков, вновь доставляемых в лагерь. ГПУ, очевидно, не удовлетворял Пертоминск (монастырь был недостаточно большим), и было решено переместить весь контингент заключенных на Соловки. Однако агенты ГПУ в Пертоминске опасались, что политические заключенные будут сопротивляться перемещению с материка на отдаленные Соловки. 23 июня 1923 года двое политических, Татьяна Романова и Владимир Красовский, недавно прибывшие в лагерь, совершили побег. Руководство администрации воспользовалось этим инцидентом, чтобы покончить с колебаниями в Москве, и 29 июня Ногтев, начальник УСЛОНа, явился к нам с вооруженной охраной и приказал немедленно готовиться к этапу. Мы подозревали, что Романова и Красовский сами были агентами ГПУ, а их побег был инсценирован администрацией, чтобы представить его в качестве предлога для перемещения.

Мы покинули Пертоминск в июле 1923 года. Так Соловки поглотили остальные Северные лагеря и стали главным концентрационным лагерем ГПУ. Центральная администрация Северных лагерей также переместилась из Архангельска на Соловки.

Соловецкий лагерь и его обитатели

В 1923 году, когда Соловецкий монастырь стал центральным концентрационным лагерем ГПУ, в нем находилось около 4000 заключенных. Их число быстро возрастало. В 1925 году, когда я покинул Северные лагеря, в них содер-

жалось 7000 узников. Два или три года спустя количество заключенных перевалило за 20 000. В 1929–1930 годы, когда территория Соловецких лагерей распространилась на материк и включала в себя пространство суши от Северного Ледовитого океана на севере до реки Свирь и Ладожского озера на юге и до Финской границы на западе, число заключенных превысило 100 000 человек.

В Москве ответственными по Северным лагерям были два члена коллегии ГПУ: Глеб Бокий как руководитель и Фельдман как его представитель. Полноправными местными хозяевами Соловков с момента их основания и позднее, в 1920-е годы, были Ногтев, начальник УСЛОНа, и его заместитель Эйхманс.

Если не брать в расчет Кемский пересыльный пункт на Поповом острове, система Соловецких лагерей состояла из шести отделений: три на центральном (Большом Соловецком) острове и по одному на каждом из трех других островов или островных групп: Большом и Малом Муксаломском, Анзерском и Конд-острове. Отделения на Соловецком острове располагались в кремле и Савватиевском скиту; на Секирной горе был штрафной изолятор. Главное отделение находилось в кремле, там же располагались и службы УСЛОНа. Кремль представляет собой старые крепостные стены, окружающие здания монастыря. Они были призваны защищать остров от иноземного вторжения. Кремлевское отделение включало в себя 15 рот, состоявших из различных групп заключенных и административного персонала. Была также женская рота, расположенная в бараках вне кремлевских стен. Низшими были 8-я рота — шпана и уголовники, 12-я, включающая освобожденных от тяжкого физического труда, и 13-я, карантинная, для вновь прибывающих, которых также направляли на тяжелые работы. Остальные роты состояли из различных категорий административного персонала, канцелярских служащих, технических и прочих специалистов, квалифицированных рабочих, санитаров, кочегаров и других.

Едва ли в России есть национальность, конфессия, профессия, класс или идейное течение, представителей которых не было на Соловках. Социалисты, анархисты, так называемые контрреволюционеры — это бывшие участники белого движения и правые оппоненты режима; обычные уголовники и проститутки; бывшие торговцы и советские оптовики, доверившиеся нэпу (новой экономической политике); люди, осужденные как шпионы (настоящих шпионов расстреливали без шума); духовные лица всех вероисповеданий, особенно православного; осужденные за участие в стачках рабочие и обвиненные в разжигании бунтов крестьяне; советские чиновники, которые служили стране верой и правдой и были обличены в ее развале; провинившиеся агенты ГПУ; в конце 1920-х годов — троцкисты и члены других групп, оппозиционных правящей партии, — все были представлены на Соловках. Очень немногие из них отбывали наказания по приговору действующего суда. Задача Соловков

состояла не столько в наказании нарушителей закона, сколько в запугивании населения в атмосфере молчания. Политическая полиция, выносившая приговор о ссылке, даже не пыталась создать видимость того, что наказание назначается за совершенные преступления. Приговоры, мотивированные такими основаниями, как «женат на княгине», «пропагандировал военные займы в 1914—1917 годах» или «торговец», «промышленник», не были редкостью. Одна из заключенных, графиня Фредерикс, была выслана, так как ее брат был министром Императорского двора при последнем царе. Некий Дегтярев был обвинен в том, что осведомлялся о цене билета на корабль до Вера-Крус. Другой узник, Гурьев, был виновен в том, что являлся владельцем портновского магазина; бывший московский дантист, Маливанов, обслуживал АРА во время голода 1922—1923 годов и должен был искупить это преступление.

Важную категорию заключенных Соловецкого лагеря составляли православные священнослужители. В середине 1920-х годов их число достигло примерно 400 человек. Видными среди них были епископ Иларион (Троицкий), имя которого для советской власти неизбежно ассоциировалось с именем последнего патриарха Тихона; епископ Мануил (Лемешевский), который управлял Ленинградской епархией после казни митрополита Вениамина; Петр, епископ Тамбовский, который умер в 1924 году в штрафном изоляторе на Секирной горе; викарий Саратовский (по фамилии Соколов); епископ Колпинский Серафим; настоятель Казанского монастыря Питирим (Крылов). Заключение российских священнослужителей на Соловках имело особый смысл. Содержание в монастыре, который с незапамятных времен привлекал многочисленных паломников и теперь был превращен в концентрационный лагерь, должно было причинять им душевную боль.

Администрация лагеря, далекая от заботы о чувствах этих заключенных, вынуждала их быть свидетелями осквернения храмов. Наряду с другими узниками священнослужители были помещены в Троицкой церкви и в Преображенском соборе. Они были обречены на целенаправленное глумление. В середине 1920-х годов комендант кремлевской роты приказал силой обрить их. В определенные периоды, однако, администрация сносно относилась к проведению религиозных служб. Священнослужители могли собираться в праздники и молиться. Однако это было позволено только в нерабочие часы, тогда как работа занимала весь день целиком, включая воскресные и праздничные дни.

Основное население лагеря в это время составляли три группы заключенных: 1) преступники, которые считались не поддающимися перевоспитанию, 2) контрреволюционеры, известные обычно как «каэры», и 3) политические. Сегодня эта классификация — вопрос истории, но для заключенных времен первого десятилетия советского режима это было судьбоносное и наиболее важное деление.

Размежевание между контрреволюционерами и политиками было унаследовано со времен предреволюционной борьбы и 1917 года. Сторонники и лидеры бывших правых партий, отстаивающих дореволюционный режим умеренно-либеральной партии конституционных демократов, командующие белых армий и другие подобные группы составляли значительную часть контрреволюционеров. С другой стороны, социал-демократы, все фракции популистов, социалисты-революционеры, левые социалисты-революционеры и анархисты были определены как «антисоветские элементы» и их представители отнесены в трудовых лагерях к категории политиков.

В это первое десятилетие последняя группа заняла привилегированную позицию в тюрьмах по сравнению с контрреволюционерами и уголовными элементами. Их привилегии были остатком межпартийных взаимоотношений в той форме, которую они приобрели в предреволюционные десятилетия. Левые партии (популисты, социал-демократы и анархисты) одинаково преследовались старым режимом и разделили с большевиками все тяготы и лишения тюрьмы и ссылки. Ниспровержение имперского режима было в значительной степени подвигом левых политических партий, среди которых большевики были меньшинством. Теперь, спустя только пять или шесть лет после 1917 года, было невозможно порвать связи с прошлым и обречь членов левых партий на то же обращение, что было уготовано сторонникам имперского режима. Отношение к ним менялось постепенно. Более того, в обыденной речи левые партии никогда не назывались каэрами, несмотря на интенсивную кампанию в печати, которая обвиняла их в поддержке контрреволюции. Во всех тюрьмах и концентрационных лагерях представители левых партий продолжали находиться в лучшем положении по сравнению с остальными заключенными.

В Северных лагерях администрация признавала право политиков на самоуправление и вела переговоры с ними через выборных старост. Более того, администрация приняла их отказ от выполнения физического труда и выделила в их распоряжение специальную кухню, в которую поступали все продукты питания, разрешенные политическим заключенным. Благодаря этому обстоятельству они улучшили свой рацион в сравнении с уголовными заключенными, порции которых существенно уменьшались по мере прохождения через руки множества сотрудников администрации[3].

[3] Впоследствии Москва начала уставать от либеральных традиций в российских тюрьмах, которые предоставляли привилегированный статус политическим преступникам. ГПУ решило распространить на политических заключенных обычное обращение, применимое к заурядным преступникам, и начало кампанию против их привилегий. В 1923–1926 гг. ГПУ систематически преследовало заключенных социалистов и анархистов, а также их стремления защитить, ценой больших жертв, права, которые они отстояли в тяжелой борьбе. Позже, после моего побега, отношение к различным группам заключенных в тюрьмах и лагерях подверглось радикальному изменению. Все привилегии политических заключенных были отменены, и к концу 1920-х гг. политики даже на официальном уровне рассматривались как низшие по отношению к обычным преступникам.

Политические заключенные на Соловках

Я был в составе группы из 150 политических заключенных, прибывшей на Соловки 1 июля 1923 года. Мы были определены в Савватиевский скит, находившийся на расстоянии около 8 миль от кремля. Вокруг не было ни души, только находящиеся повсюду древние строения. Путь не был бы так тяжел, если бы не комары, которые роились в ночном воздухе. Они залетали в рот и уши, жестоко жалили каждый незащищенный участок кожи. Мы отбивались от них, как могли, защищали головы платками или бумагой. Через некоторое время нас начала одолевать усталость.

Наконец в нашем поле зрения появилась группа зданий, огороженных колючей проволокой. В нескольких местах были смотровые вышки, снабженные колоколами. Когда мы приблизились, вооруженные часовые на вышках заазвонили в колокола, чтобы вызвать охранников и коменданта лагеря. В очередной раз мы прошли рутинную процедуру передачи этапа от конвоя к тюремным охранникам. Когда она наконец закончилась, мы остались предоставленными самим себе. После сражения с комарами, трехчасового пешего пути от кремля и бессонной ночи, проведенной на корабле, мы не испытывали желания осматривать наш новый дом. Мы разбрелись по нашим камерам и, не раздеваясь, легли спать, где только смогли найти места — на скамьях, раскладушках или на голом полу. Одно обстоятельство стало сразу же очевидно: здание было слишком мало, чтобы вместить 150 человек.

Администрация не придавала значения этой переполненности и продолжала ввозить новые группы с материка. Вновь прибывших собирали во внутреннем дворе перед колючей проволокой. Скученность действовала нам на нервы, но мы не имели возможности выразить свой протест против заселения новых сокамерников.

Администрация нисколько не была заинтересована в установлении мирной атмосферы в лагере; напротив, Ногтев пытался провоцировать недовольство политических заключенных. В течение многих недель он удерживал письма от родственников, не имевших возможности узнать о новом месте ссылки арестантов из Пертоминска. Между тем оставалось два или три месяца до окончания сезона навигации, после которого переписка становилась невозможной.

Большое возмущение вызывало обращение с очень редкими посетителями, которые приезжали, чтобы повидать заключенного. Поездка требовала как времени, так и денег, а разрешение на такие посещения могло быть получено только в конторе ГПУ в Москве. Так что у людей, живущих в областях, едва ли был хоть какой-то шанс вообще получить его. Разрешение на посещение предоставлялось только близким родственникам: женам, родителям, сестрам и братьям.

Свидания с родственниками ограничивались часом в день в течение одной недели. Но когда жена или мать после бесконечных неприятностей, порой потеряв работу, израсходовав сбережения, наконец приезжала на Соловки, ей приходилось жить едва ли не на одном уровне с заключенными: она находилась под наблюдением охранников, следующих за ней по пятам везде, куда бы она ни направилась, и взимавших немыслимые цены за проживание и питание. Таким образом, визит превращался в своего рода пытку для заключенного, который опасался за своего «гостя», но, конечно, не мог отказаться от встречи с ним.

Посетители часто привозили еду на всех заключенных. Поскольку лагерный рацион питания был скуден, были все основания полагать, что администрация будет не в состоянии гарантировать распределение продовольственных запасов на всю зиму. И все же для посетителей стоимость транспортировки провизии на кораблях, принадлежащих администрации, и доставки от порта до Савватиевского скита была столь непомерна, что это почти удваивало цену продуктов. Администрация изводила заключенных подобными кажущимися пустяками, которые в атмосфере лагеря принимали гигантский размер.

Вскоре после нашего прибытия проявились более серьезные конфликты, которые привели к трагическому исходу.

Некоторые из заключенных в нашей группе были тяжело больны по прибытии на Соловки. Плохо оборудованная кремлевская больница, находившаяся на попечении врача с низкой квалификацией, г-жи Фельдман, могла обслуживать только пациентов, не страдавших от серьезных заболеваний. Ногтев обещал отправить наших больных на континент. Но время шло, корабли отплывали, приближалась зима, а больные оставались там, где они были. Я помню г-жу В. В. Трофимову, женщину средних лет, которая была сокрушена в Пертоминске острой формой меланхолии. На Соловках она ни разу не встала с кровати; она лежала, глядя на стену, неделями не произнося ни слова. Эсер А. П. Гельфгот, пожилой писатель, скитавшийся по советским тюрьмам с 1919 года, страдал от невроза. Он не мог выносить ни малейшего шума, был неспособен перемещаться по камере и беспомощно стонал. Не было никакой возможности помочь таким страдальцам.

С приходом зимы трагедии начали преследовать наш скит. Первая из них произошла в Кеми. 19-летний социал-демократ Яков Аронович покончил жизнь самоубийством в одном из бараков. Ссылка и жизнь в лагере стали для него слишком тяжелым испытанием. Улучив момент, когда в бараке никого не было, он связал свои подтяжки в петлю и повесился. При нем было обнаружено две записки: одна была адресована его родителям, другая — соратникам. Обе записки были конфискованы.

Едва улеглись переживания, вызванные смертью Ароновича, когда произошла другая трагедия, на сей раз на Муксалме. Глубокой ночью молодой эсер Юзя Сандомир вскрыл себе вены. На следующее утро заключенные обнаружили труп. Это самоубийство стало реакцией восприимчивого молодого человека на избиение по приказу Ногтева группы политических заключенных, в которой находился Сандомир, во время их перемещения из кремля на Муксалму. В результате самоубийства Сандомира сошел с ума руководитель профсоюза, рабочий-металлист Михаил Егоров-Лызлов. В ту ночь, когда произошло самоубийство, он находился на очередном дежурстве в бараках и чувствовал себя виновным в смерти юноши, так как не смог присматривать за ним лучшим образом. У Михаила развилась мания преследования: он отказывался принимать пищу, опасаясь, что она отравлена, проводил бессонные ночи начеку. В конечном итоге он обезумел.

Но все эти события затмило большое несчастье, которое поразило Савватиевский скит подобно грому, забрав шесть юных жизней.

Днем 19 декабря Ногтев пришел в скит и вызвал старост политических заключенных. Ногтева бойкотировали в ответ на произвол, произошедший на Муксалме. Немного погодя один из старост — думаю, это был эсер Иваницкий — получил записку из комендатуры, в которой сообщалось, что он должен «проинформировать политических заключенных на поверке, что с этого времени пребывание на свежем воздухе будет разрешено только до 18 часов». Перекличка обычно происходила в 20 часов. Из этого явствовало, что новый приказ не относился к текущему дню. Хотя никто не воспринял записку всерьез, она произвела некоторое беспокойство среди тех немногих, кто знал о ее существовании.

В 5 часов вечера около 60 заключенных совершали обычную вечернюю прогулку во дворе, когда появилась группа вооруженных солдат, и заключенным было приказано идти в помещение. Даже те из них, кто знал о новых правилах, сочли, что имеют право находиться снаружи, пока отмеренное время не истекло. Последовала команда: «Огонь!». Но только после того, как несколько человек опустилось на землю, заключенные осознали, что они служили мишенями. Когда некоторые из них бросились помогать раненым, последовал повторный залп, а третий был направлен на тех, кто уносил раненых. Полчаса спустя тела пяти погибших и трех раненых лежали в бараках. Один из пострадавших после трех недель мучительной болезни умер от заражения крови, полученного во время ампутации руки, которую поразила пуля[4].

[4] 19 декабря были убиты следующие лица: Елизавета Котова (25 лет), Наталья Бауэр-Цейтлина (32 года), Гавриил Белима-Пастернак (27 лет), Меер Горелик (26 лет), Георгий Кочаровский (26 лет). Всеволод Понов (28 лет) умер вследствие ампутации руки. Леонид Лебедев (24 года) и Эммануил Шик (32 года) позже оправились от полученных ранений. Все, кроме анархиста Лебедева, были социалистами-революционерами.

По неизвестным каналам слухи об этом расстреле добрались до Москвы. Родственники заключенных осаждали ГПУ в ожидании информации. 10 января московские газеты сообщили, что президиум Центрального исполнительного комитета назначил комиссию «по расследованию происшествия в Соловецких лагерях», а в феврале газета «Известия» опубликовала имена жертв. Однако за этим никаких мер не последовало; расследования не проводилось, и ни один из преступников никогда не был наказан.

Зима 1923—1924 года выдалась тяжелой. Начались эпидемии, продовольственные пайки становились все более и более скудными. Среди заключенных свирепствовали туберкулез и цинга, вызванные отсутствием овощей. С большими сложностями удавалось обеспечить цинготных больных несколькими луковицами в неделю.

Администрация тем временем продолжила травлю политических заключенных. Реакцией на эту политику стала голодовка анархистов и эсеров, которая проводилась с 3 до 14 октября 1924 года и окончилась неудачей. Накануне голодовки на Соловки прибыла комиссия ГПУ в составе Бокия, Катаняна и Красикова. Комиссия была осведомлена о предстоящей голодовке, но ничего не предприняла для удовлетворения требований заключенных. Все жалобы были проигнорированы. Позднее Красиков подготовил от имени комиссии отчет о жизни политических заключенных на Соловках, который содержал клевету на узников и прославлял гуманность советских пенитенциарных методов.

Полагая, что уравнять политических заключенных с уголовниками будет проще, если они будут расколоты на маленькие изолированные друг от друга группы, ГПУ решило прекратить их отправку на Соловки. В 1925 году все политические заключенные были высланы с Соловков на материк и распределены по отдаленным тюрьмам.

Каторжный труд

Вплоть до середины 1920-х годов труд заключенных использовался исключительно для удовлетворения потребностей лагеря, и в связи с этим круг работ, выполняемых узниками, был ограничен. Позднее, однако, лагерь начал работать на рынок, то есть на советские тресты и предприятия и на выполнение спецзаказов. Развитие системы каторжного труда на Соловках и ее широкое распространение связано с именами двух заключенных — Нафталия Френкеля и Ивана Селецкого.

Френкель, предположительно крупный венгерский промышленник, был приговорен ГПУ к каторге по обвинению в шпионаже. Это была эпоха нэпа, когда значительное число русских и иностранных предпринимателей стремились попытать удачу в капиталистической экономике под коммунистическим управлением. По од-

ной из версий, Френкель был пойман на совершении запрещенной биржевой сделки с иностранцами; по другой — он подозревался в шпионаже в пользу Турции. В любом случае, он был приговорен к десяти годам ссылки и каторги. Его шансы на то, чтобы выжить, были малы, особенно с тех пор, как Москва приказала ему «исполнять самые тяжелые виды работ в исправительном лагере». Френкель, будучи проницательным, предприимчивым и безжалостным человеком, представил властям план организации местного производства в огромном масштабе. Лагерные чиновники, остро нуждавшиеся в предприимчивых организаторах, оценили его идеи и доверили ему ряд проектов. Результаты были блестящими. Френкель эффективно организовал лесозаготовки, руководил строительством кирпичного завода, построил новое здание центральной администрации Северных лагерей в Кеми. Позднее, уже после моего побега, Френкель был назначен начальником снабжения лагерей ГПУ рабочей силой. Круг его полномочий быстро расширяется, и вскоре он стал одним из начальников ГПУ на Беломорканале. Во время войны, в сентябре 1943 года, он был награжден орденом Ленина за личный вклад в строительство Печорской железной дороги с использованием принудительного труда[5].

Иван Селецкий, другой отец-основатель трудовых лагерей, до революции был начальником тюрьмы в Сибири. Он также предлагал организовать производство в тюрьмах и лагерях, ему были поручены важные задачи в Вишерском лагере. Однако его карьера вскоре закончилась; как сообщалось, он был расстрелян ГПУ.

Теперь, когда лагеря стали существовать за счет выполнения заказов от государственных экономических учреждений, каждый лишний кирпич, каждая лишняя доска, произведенные заключенными, увеличивали доход УСЛОНа. Стимулом для более интенсивного труда стала идея высшей цели, ради достижения которой функционировала система, сформированная на Соловках. Массовый принудительный труд применялся на лесозаготовках, торфоразработках, лесопильных заводах, каменоломнях, кирпичных заводах, при сплаве леса, разгрузке и погрузке судов. Норма выработки была установлена высокая, несмотря на нехватку инструментов, суровый климат и подорванное здоровье работников. Выполнение больших физических нагрузок в условиях Севера требует специальной подготовки, соответствующей одежды и полноценного питания. Однако большинство заключенных испытывало голод и недостаток в одежде. Поначалу в общий котел заключенных попадало малое количество мяса из британских кон-

[5] Официальный советский источник однажды прокомментировал эту необычную карьеру: «Начиная как заключенный, обычный лесоруб на Соловках, Френкель прошел по всей лестнице жизни лагеря и наконец был назначен на пост с десятками тысяч людей в подчинении. Организатор и администратор по натуре... он обязан своим успехом той организации, в которой нашел себя... Когда Френкель оказался в этой организации, он должен был либо подчиниться ей, либо остаться осужденным организатором. Он выбрал покорность... [Организация] обучила его и... дала хороший толчок — Belomor» (Eng. ed., Smith and Haas, 1935. P. 229).

сервов, конфискованных Красной армией после ликвидации Северного фронта, однако позже узники стали получать дважды в день только суп и маленькую порцию овсянки без масла. Вдобавок к этому в день каждому полагалось полтора фунта хлеба и маленький кусочек сахара. Жиров, мяса, табака, чая и (что имело особое значение на Севере) овощей не получали вовсе. Из-за нехватки витаминов среди заключенных была распространена цинга. В скверных жилищных условиях невозможно было отдохнуть после трудового дня.

В былых храмах Соловецкого монастыря, отведенных под роты рабочих, нары занимали все пространство. На каждого узника приходилось так мало места, что лежать на спине было невозможно. Скученность, отвратительные санитарные условия, отсутствие возможности стирать одежду и мыться оказывали свое действие на здоровье заключенных. Не предназначенные для жилья строения слабо защищали от холода. Требовать напряженного труда от людей, существующих в таких условиях, значило подвергать опасности их здоровье и жизни. Но именно к этому и стремилась администрация. Нет другого объяснения тщательно спланированным наказаниям, к которым прибегало лагерное начальство, чтобы заставить этих несчастных людей работать сверх сил.

Наказания часто были плодом изобретательности десятника, который сам был заключенным и всеми правдами и неправдами пытался сохранить привилегированное положение. Они также зависели от инструкций, которыми снабжалась вооруженная охрана. В некоторых случаях заключенных избивали или привязывали к деревьям; в других их заставляли стоять на морозе часами без движения. На основании доноса провинившиеся могли быть отправлены на Секирную гору или расстреляны.

На полпути от кремля к Савватиевскому скиту, неподалеку от берега моря, есть холм, называемый Секирной горой. Это самая высокая точка Соловецкого архипелага. УСЛОН устроил здесь в 1923 году специальный штрафной изолятор Соловецкого лагеря (Секирку). До этого администрация имела обыкновение заключать провинившихся в так называемые «каменные мешки», которые прежде служили тюремными камерами, а позднее использовались монахами для хранения продовольствия. Когда был организован Секирный штрафной изолятор, необходимость в «каменных мешках» отпала. Зимой маленькая железная печь делала воздух внутри чуть теплым на несколько часов в день. Заключенным не позволялось надевать на себя что-либо, кроме нижнего белья. Их принуждали сидеть на скамьях, не разговаривая и не двигаясь. Продуктовые пайки здесь были еще хуже, чем обычный соловецкий рацион. Комендант Антипов наблюдал за неукоснительным соблюдением установленных на Секирке порядков.

УСЛОН был наделен полномочиями расстреливать заключенных не только под предлогом «попытки к бегству», но даже просто «за упорный отказ следовать рабочим указаниям». Я хорошо помню зачитанный на поверке в Кемском пересыльном пункте приказ, содержавший список заключенных, которые были расстреляны за нарушение трудовой дисциплины. С другой стороны, администрация могла освободить заключенного от «общих работ» и использовать его в качестве канцелярского служащего или подсобного рабочего. Такое положение предполагало лучшие условия жизни, что давало шанс пережить заключение на Соловках.

Однако даже у тех, кому посчастливилось избежать общих работ, не было никакой гарантии, что удача не отвернется однажды от них и что они не будут возвращены разделить общий удел. Неудивительно поэтому, что, несмотря на небольшие шансы на успех, безрассудные планы побега владели умами наиболее активных заключенных. Казалось, что любые попытки совершить побег из лагеря обречены на провал. Существовало строгое правило о казни беглецов. Я помню случай с двумя заключенными, сбежавшими из Кемского пересыльного пункта в 1925 году. Спустя два часа они были пойманы. Один был убит на месте, другой доставлен в комендатуру, помещен в карцер, а несколькими днями позже расстрелян согласно указаниям, полученным от УСЛОНа.

Заключенных иногда интересовало, было ли известно центральному руководству о том, что творилось на Соловках. Словно бы для того, чтобы поддержать благочестивые легенды о непричастности Москвы к процветавшему на Соловках произволу, комиссия в составе двух или трех инспекторов время от времени посещала лагерь. Она проводила осмотр, опрашивала заключенных — и отбывала. От случая к случаю тюремных служащих увольняли, но никогда такая мера не принималась в отношении высокопоставленных должностных лиц УСЛОНа. После отъезда комиссии все продолжалось по-старому. Северные лагеря находились под прямым контролем ГПУ, и там ничего не происходило без санкций ГПУ.

Заключенные, изолированные на Соловках, были лишены даже тех незначительных прав, которыми они довольствовались в тюрьмах на материке. Вне зависимости от того, выживут они или нет, их тяжелое существование зависело от доброй воли начальников, которые сами были заключенными и чье благополучие, в свою очередь, зависело от вышестоящего начальства. Эта закономерность прослеживалась от основания до вершины пирамиды, сформированной населением Соловков. Чем ближе к вершине находился заключенный, тем больше были его шансы выжить и избежать продления срока заключения. Опасность продления срока была вполне определенной и превращалась в реальность одним росчерком пера в комендатуре УСЛОНа. Поэтому в лагерях царила атмосфе-

ра морального разложения. Подслушивание, донос, попытки нажиться за счет других были среди заключенных обычным явлением. Особенно трагична была участь женщин. Они сталкивались с выбором между каторжным трудом, лишениями, риском остаться в лагере навсегда и более легкой жизнью ценой своей чести. Немногим из них хватало стойкости, чтобы справиться с этим испытанием. Мужчины сталкивались с похожей дилеммой, только цена выбора была другой.

Система, сложившаяся в лагерях, приводила к разрушению личности заключенного. Эта цель достигалась на Соловках путем милитаризации лагеря. Группы заключенных не случайно именовались ротами. Внутри них устанавливалась военная дисциплина, имели место муштра и маршировка. Мужчины и женщины, вне зависимости от их возраста и рода занятий, подвергались жестким тренировкам, однако без положенных солдатам льгот. С момента прибытия в Кемский пересыльный пункт, а затем и на Соловках арестантов муштровали на военных построениях и обучали приветствовать начальство на военный манер. Гражданских людей часами заставляли кричать хором: «Здрав-ствуй-те!». Всякий раз, как появлялись представители администрации, заключенные должны были выстраиваться в шеренгу, а иногда ждать во дворе на холоде и под дождем. В шеренгу выстраивались и во время утренней переклички, которая продолжалась 40 минут. Когда комендант проходил перед строем, заключенные должны были стоять по стойке смирно, подняв на него глаза. Удар в челюсть или удар прикладом были излюбленными методами воспитания надлежащей военной выправки.

Кемь

В конце осени 1924 года всех заключенных, сроки которых должны были истечь весной или зимой (то есть, в период, когда не было навигации), перевели в Кемский пересыльный пункт Северных лагерей особого назначения, расположенный на Поповом острове, неподалеку от Мурманского побережья, примерно в 40 милях от Соловков.

На Соловках мы находились в изоляции и не видели, что происходило за пределами нашего скита; в Кеми же вся лагерная жизнь проходила перед нашими глазами. Политические заключенные были размещены в отдельных бараках, огороженных колючей проволокой. Лагерь был настолько мал, что ничто из происходящего не могло ускользнуть от нашего взора. Кемский пересыльный пункт мог послужить худшим образцом военной тюрьмы. Лагерь был подобен полку, а каждый барак — роте. Во главе «полка» стоял комендант, а во главе каждой роты — ротный командир, назначаемый комендантом лагеря из числа заключенных. Арестантов подвергали муштре, как солдат. Всякий раз, когда появлялся комендант, обитатели

бараков должны были выстроиться в шеренгу, встать по стойке смирно и в ответ на его приветствие выкрикнуть хором: «Здрав-ствуй-те, товарищ комендант!» Горе тому бараку, который не постиг этой науки в совершенстве. Помощник коменданта лагеря, Попов, помещал провинившихся на штрафной режим содержания.

Больше, чем что-либо другое, действовали на наши нервы переклички, которые продолжались больше часа. Зимой они проводились в бараках, но ранней весной и поздней осенью заключенные должны были выстраиваться в шеренгу на «главной улице» перед бараками в предписанное время и ждать на холоде или под дождем прибытия начальников, а затем стоять, вперив в них глаза. Дисциплина достигалась путем телесных наказаний и заключения. Комендант лагеря Кирилловский, его помощник Попов и так называемый ротный командир Тельнов носили тяжелые дубины, при помощи которых они наводили порядок.

Небольшая постройка на берегу была приспособлена под изолятор. Внутри она была разделена перегородкой, проходящей вдоль всего помещения, на две части; с одной стороны перегородки был узкий коридор для часовых, а с другой располагалось шесть или восемь камер для преступников. За исключением маленькой железной печки в коридоре, других источников тепла не было, поэтому температура в камерах мало отличалась от температуры снаружи. Мужчины и женщины, часто раздетые до нижнего белья, помещались в этот изолятор на срок в несколько дней. На самом деле наказание состояло в пытке холодом.

Некоторые случаи могут свидетельствовать о характере преступлений, за которые узники помещались в изолятор. Заключенному Иванову в комендатуре по ошибке вручили письмо, прошедшее лагерную цензуру. Он передал его настоящему адресату — женщине, которая жила в бараке для политических заключенных. Предполагалось, что долгом Иванова было вернуть письмо обратно в комендатуру. В другом случае помощник коменданта поместил в изолятор женщину, обвиняемую в том, что та поздоровалась с ним недостаточно вежливо. Еще одного заключенного он наказал за нецензурную брань. Сами представители администрации едва ли говорили когда-либо с арестантами, не приправляя свою речь ругательствами. Доходило до нелепостей: узников заключали в карцер за нечистоплотность, не принимая во внимание переполненность бараков, отсутствие мыла и даже воды.

Другая часть бараков, в которой жил «ротный командир» Тельнов со своей свитой, была названа «дамскими бараками» (не путать с «женскими бараками» на другом конце лагеря). Женщины-заключенные по прибытии в лагерь делились на две группы: «дамы» и «женщины». Первая категория состояла из более образованных и «чистых» персон. Я никогда не видел, чтобы кто-то из них выполнял тяжелую работу. Как правило, обычных женщин, не «дам», распределяли на работу в пра-

чечную и на кухню, на мытье полов и так далее. Обитательницы «дамских» бараков прислуживали представителям администрации лагеря. «Женские» бараки не были пожалованы этим расположением. К тому же высший бюрократический аппарат относился к ним с презрением. Иногда домогательства чиновников встречали упорное сопротивление, но требовалось великое мужество, чтобы не поддаться на искушение и не согласиться на более терпимые условия жизни.

В целом условия пребывания в Кеми были отвратительны. Жилое пространство, очевидно, считалось неограниченным; какое бы число заключенных ни отправляли из Ленинграда, они должны были быть размещены. Нары заполняли весь барак, но мест для сна все равно не хватало. В лучшем случае заключенный имел в распоряжении только 14 дюймов пространства, так что приходилось спать на боку. Постельное белье не предусматривалось. Барак был наполнен грязью, паразитами и спертым воздухом. У входящего туда человека начинала кружиться голова. О том, чтобы читать или писать, не могло быть и речи из-за постоянного крика; одна лампочка обеспечивала только тусклый свет. В дневное время всех выгоняли на работу. Сев, уборка двора и лесозаготовки составляли основные занятия. Однако иногда заключенных определяли на совершенно бессмысленную работу. Я помню, как комендант лагеря Кирилловский пожелал, чтобы весна наступила до Первомая. Лежал глубокий снег, и был жуткий холод, но, следуя приказу, лагерь стали готовить к весне. Все были заняты крошением льда и уборкой снега. Как будто назло Кирилловскому, прямо в разгар нашего труда стал падать новый снег. Но комендант оставался невозмутим и продолжал принуждать заключенных активизировать усилия.

Нас перевели с Соловков в Кемь, потому что наши сроки заключения почти истекли. После их окончания, однако, никто из нас не был освобожден: управление в Кеми не обладало полномочиями освобождать политических заключенных без специальных приказов из Москвы. Эти приказы обычно присылали по истечении одного-трех месяцев, как правило, перед объявлением нового приговора. Мой срок истек в апреле 1925 года. Шесть или восемь недель спустя я был вызван в комендатуру лагеря. Там от меня потребовали подписать бумагу, которая оказалась выпиской из протокола заседания коллегии ГПУ. В соответствии с этим протоколом, коллегия рассмотрела мое дело и постановила, что после отбывания мною срока лишения свободы я должен быть депортирован на три года в Западную Сибирь.

В июне 1925 года я был включен в этап заключенных. После шестинедельного пути мы добрались до места назначения — города Кургана. Осенью того же года я совершил побег из Кургана и в начале 1926 года пересек латвийскую границу.

И. А. Флиге
СУДЬБА МЕНЬШЕВИКА

Как правило, годы выхолащивают память о человеческой судьбе, подменяя ее безличными дефинициями: «политический деятель Февральской революции», «политик, меньшевик, экономист». С Борисом Осиповичем Богдановым получилось иначе: людям, знавшим и любившим его — родным, соратникам по борьбе, односидельцам в лагерях и тюрьмах — в разных текстах (воспоминаниях, записках, кратких статьях) удалось сохранить и передать живой образ этого человека — его вкус к жизни и борьбе, любовь к правде, верность себе и своему времени.

Борис Осипович Богданов родился 4 марта 1884 г. в Одессе. Отец Осип Борисович, купец 1-й гильдии, занимался торговлей лесом. Борис Богданов окончил Одесское коммерческое училище им. императора Николая I (1904), в 1902-м вошел в молодежный социал-демократический кружок, в год окончания училища был первый раз арестован и заключен на полтора месяца в Одесскую тюрьму.

15 июня 1905 г., едва в одесский порт вошел мятежный броненосец «Потёмкин», Богданов проник на борт корабля и держал речь на митинге экипажа, призывая матросов присоединиться к одесской стачке.

С 1905 г. он — член Одесского общегородского комитета РСДРП. Весной 1906 г. арестован за участие в сходке. Через три месяца освобожден.

25 июля 1906 г. Богданов уехал в Петербург, через месяц опять арестован и в декабре выслан на два года в Сольвычегодск. В начале 1907 г. бежал из ссылки в Петербург, скрывался под вымышленной фамилией, работал в подполье. Будучи на нелегальном положении, он был избран членом Петербургского комитета РСДРП (тогда еще объединенного), а с середины 1907 г., после окончательного размежевания большевиков с меньшевиками, вошел в меньшевистский комитет. В конце 1907 г. он вновь был арестован и отправлен обратно в Сольвычегодск.

После окончания ссылки в середине 1909 г. Борис Осипович вернулся в Одессу, где познакомился со своей будущей женой Ольгой Альбертовной Дыхно (1889–1974), дочерью главы одесской еврейской общины. С середины 1910 г. Б.О. Богданов в Петербурге; Ольга Альбертовна приехала к нему, и они стали жить в гражданском браке.

17 сентября 1911 г. Богданова арестовали и за принадлежность к Петербургской организации РСДРП выслали в Великий Устюг, затем в Вологду. Ольга Альбертовна приехала к Борису Осиповичу в Вологду, там они заключили официальный брак. Впоследствии Богданов работал в Екатеринославе, Одессе, Киеве и в конце 1914 г. вернулся в Петербург. В 1916 г. в семье родилась дочь Наталия.

В годы Первой мировой войны Богданов занял позицию «оборонцев» — стал секретарем рабочей группы при Центральном военно-промышленном комитете (ЦВПК). Вместе с другими членами ЦВПК в ночь на 27 января 1917 г. был арестован, а освобожден из «Крестов» в ходе Февральской революции, 27 февраля. В тот же день он вошел во Временный Исполнительный Комитет Советов рабочих депутатов.

Именно Богданов разработал основные принципы построения Советов рабочих и солдатских депутатов: от местных органов до объединяющего их верховного органа — Всероссийского съезда Советов. Одна из предложенных Богдановым резолюций гласила: «Все российские граждане без различия пола и возраста имеют право устраивать собрания в закрытых помещениях и под открытым небом, а равно устраивать всякого рода шествия, манифестации, демонстрации и тому подобное без предварительного заявления власти»[1]. Временное правительство придало этой резолюции форму закона.

С июня 1917 г., как член Бюро ВЦИК, Богданов противостоял большевистским попыткам переворота. Во время июльского восстания большевиков он участвовал в переговорах с вооруженными кронштадтскими матросами, занявшими Петропавловскую крепость. Большевиков на переговорах представлял И. В. Сталин, который 6 июля сдал крепость, а Богданов принял капитуляцию.

Октябрьскую революцию он категорически не принял, считая ее преступной авантюрой. Отвергал любые соглашения с большевиками как предательство интересов пролетариата. 1 ноября 1917 г. в составе группы меньшевиков-«оборонцев» заявил о выходе из ЦК РСДРП. 16 декабря 1917 г. был арестован вместе с членами Союза защиты Учредительного собрания. Совместно с другими арестованными подписал воззвание (Петропавловская крепость, Екатерининская куртина, 19 декабря 1917): «Считая по принципиальным соображениям совершенно невозможным вступать в какие бы то ни было сношения с временщиками, мы, члены трех социалистических партий <...> призываем товарищей и всех граждан со всей энергией и настойчивостью продолжать борьбу за Учредительное собрание, которое положит конец большевистскому самовластию»[2].

---

[1] Богданова Н. Б., Ильящук Г. И., Миллер В. И. Богданов Борис Осипович // Политические деятели России 1917: Биографический словарь. М., 1993. — Здесь и далее примеч. автора.

[2] Там же.

После освобождения из Петропавловской крепости 20 января 1918 г. Богданов стал одним из инициаторов и руководителей антибольшевистского движения «Собрание уполномоченных фабрик и заводов» (январь—июнь 1918 г.). В июле 1918-го его вновь арестовали и посадили в Петропавловскую крепость, к осени освободили. В сентябре 1918 г. Б.О. Богданов вышел из партии меньшевиков из-за несогласия с политикой ее левоцентристского ЦК, переехал в Одессу, работал в Доме народного творчества, участвовал в профсоюзном движении. 16 декабря 1920 г. Богданов был снова арестован вместе со всей меньшевистской фракцией Одесского Совета рабочих депутатов. Из Одесской тюрьмы его перевезли в Харьков, затем выслали за пределы Украины. По прибытии в Москву опять арестовали, прямо на вокзале, заключили в Таганскую тюрьму, затем перевели во Владимирскую тюрьму. Освободили осенью 1921 г. Во время этого заключения Ольга Альбертовна наладила связь с Красным Крестом и возила передачи не только мужу, но и другим политическим заключенным.

НЭП, вслед за многими меньшевиками, Богданов воспринял как капитуляцию большевистской диктатуры. С декабря 1921 г. он обосновался в Москве, работал в торговом отделе ВСНХ, затем перевез семью, а также мать и сестру.

Летом 1922 г. Богданов скрылся из-под ареста (ордер выписан 3 июля), жил в Москве на тайной квартире. Ольга Альбертовна начала хлопотать о выезде (высылке) Бориса Осиповича с семьей за границу. Заявление Богданова с просьбой о разрешении выезда датируется 6 ноября 1922 г., а постановление о высылке за собственный счет за границу сроком на три года за антисоветскую деятельность — 18 ноября. В конце ноября Б. О. Богданов легализовался — вернулся к семье, работал в ВСНХ, начал оформлять документы для выезда.

Но 22 декабря 1922 г. Богданов вновь арестован, 27 декабря комиссия НКВД по административным высылкам приняла постановление: заключить Б. О. Богданова в Архангельский концлагерь сроком на два года (постановление о высылке за границу отменялось). 8 февраля 1923 г. Богданова по этапу отправили в Пертоминск. К 1922 г. большая часть политзаключенных (социалистов и анархистов) была сосредоточена в северных лагерях — Архангельском, Пертоминском и Холмогорском, а к весне 1923 г., перед отправкой на Соловки, всех их собрали в Пертоминском концлагере.

Ольга Альбертовна с начала 1923 г. стала работать в Красном Кресте (вероятно, на добровольных началах); в начале июня она вместе с дочерью отправляется в Пертоминск — сопровождает большой провиантский поезд от Красного Креста. На обратном пути Ольга Альбертовна была задержана в Архангельске и вместе с дочерью провела ночь в Архангельской тюрьме; в московской квар-

тире ее ждали с ордером на арест, поэтому она вместе с ребенком сразу уехала в Баку (через некоторое время вернулась в Москву).

Вскоре после свидания с его семьей Бориса Осиповича, 1 июля 1923 г., перевели из Пертоминска на Соловки. Считается, что это была первая партия политзаключенных, прибывших в Соловецкий лагерь из Пертоминска, хотя, по другим данным, первые партии политиков прибыли на Соловки 6—7 июня.

В течение лета все политики из Пертоминска (около 200 человек) были отправлены на Соловки и размещены в Савватьевском скиту, тут же переименованном в «политскит». И что интересно, слово «политскит» мгновенно вошло в обиход как среди самих политиков и других заключенных, так и в лагерной администрации.

Сразу в Савватьеве были избраны фракционные старосты, которые образовали старостат. Б. О. Богданов стал старостой меньшевиков и одновременно являлся общим старостой скита. С лета 1923 и до 1925 г. всех вновь приговоренных к лагерным срокам политиков (социалистов и анархистов) отправляли только на Соловки, где были организованы еще два политскита — на Большой Муксалме и на Анзере.

В советской пенитенциарной системе никогда не было понятия «политический режим» («политрежим»), да и само слово «политзаключенный» как юридически значимый термин отсутствовало. Однако де-факто до 1936—1937 гг. были и политзаключенные, и политрежим. Этот статус отстаивался осужденными в борьбе с лагерным и тюремным начальством. Основные характеристики политрежима (особый статус) сводились к нескольким принципам в отношениях с лагерной администрацией. Политики требовали отдельного от других заключенных содержания. Выступали как единый самоуправляющийся коллектив: все переговоры и контакты с лагерной администрацией велись только через старостат, в который входили старосты всех фракций. Старосты представляли коллектив, наиболее важные решения принимались на общих собраниях фракций голосованием. Политики отказывались от принудительного труда, считая, что лагерные работы являются средством перевоспитания преступников, коими они себя не считали.

В Савватьевском политскиту, осужденные расселились по фракциям: в большом братском корпусе — меньшевики и эсеры, в деревянном напротив — анархисты и левые эсеры. Территория скита была обнесена двухрядным ограждением из колючей проволоки с двумя сторожевыми вышками. За зоной находились баня и караульное помещение. Продукты получали сухим лагерным пайком, также в общий котел шли посылки от родственников и продукты от Красного Креста. В скиту были организованы клуб, библиотека из книг, присланных родственниками и международными организациями, проводились лекции, занятия по истории, политологии, экономике, велись дискуссии. Здесь издавался рукописный общественно-политический журнал

«Сполохи». Более-менее была налажена связь с внешним миром — через родных, приезжавших на свидания, получали даже некоторые номера «Соцвестника» и отправляли сведения о себе (но в период закрытия навигации Соловки оказывались отрезанными от всего мира).

Богданов пользовался бесспорным авторитетом в коллективе не только среди меньшевиков. В эти годы он все время в своих размышлениях обращался к анализу причин поражения Февральской революции. Молодые эсдеки — и Бацер, и Сапир, и Рубинштейн — вспоминают о дискуссиях, которые он проводил в Савватьеве о Февральской революции и о будущих перспективах социал-демократических идей.

Борьба за политрежим на Соловках не прекращалась все время, пока там находились политики, и Богданов в ней играл важную роль не только как посредник в переговорах с администрацией, но и как внутренний авторитет и лидер. Поздней осенью 1923 г. (после закрытия навигации) ужесточение режима началось с ограничения времени свободного передвижения по внутренней зоне Савватьевского политскита с 9 утра до 6 вечера. Старосты заявили протест против посягательства на самоуправление внутри скита, но 19 декабря они получили приказ об ограничении времени прогулок для того, чтобы присутствовать на вечерней поверке. Однако уже к 6 часам вечера по периметру скита были расставлены стрелки. Вечернюю поверку проводили после 7 часов вечера, поэтому эсеры и анархисты вышли на прогулку, как прежде, а меньшевики оставались в это время в жилом корпусе. Сразу после 6 началась стрельба. Погибли шесть человек. Бывшие соловчане в своих воспоминаниях описывают, как Борис Осипович во время начавшейся стрельбы не выпустил во двор молодых эсдеков и что именно благодаря его действиям события 19 декабря не привели к массовому убийству заключенных.

После 19 декабря перед политиками встал вопрос о дальнейшей тактике борьбы. Разгорелись ожесточенные споры; наиболее популярной была позиция социал-революционеров — принесение себя в жертву («это единственный оставшийся у нас способ борьбы»). Идею протестной голодовки поддерживали и анархисты. Меньшевики считали, что голодовка обречена на поражение, если не будет поддержки с воли и протестов за границей, кроме того, они считали, что голодовкой можно решать только какие-то конкретные, прагматические задачи, а выражать ею протест как таковой бессмысленно.

Осенью 1924 г., перед закрытием навигации, вновь обострились отношения с лагерной администрацией; заключенные стали опасаться, что в условиях зимней изолированности снова будут сделаны попытки ужесточить режим. «На собрании, на прогулке, в камере, в коридоре — все толковали об одном: о борьбе за режим. В том, что борьбу вести придется, никто не сомневался. Спорили о том,

как ее проводить», — писала Екатерина Олицкая, чьи воспоминания включены в настоящий сборник.

Политики выдвинули требование: немедленного вывоза политзаключенных на материк при сохранении режима. После отказа в его выполнении 2 октября 1924 г. началась голодовка эсеров и анархистов, в ней приняли участие 165 заключенных трех скитов. Под влиянием Богданова меньшевики в этой голодовке участия не принимали. Через две недели благодаря переговорам Бориса Осиповича с заместителем начальника соловецкого лагеря Эйхмансом был достигнут компромисс: зимовка коллектива в связи с близким закрытием навигации неизбежна, вопрос о переводе на материк будет возобновлен с открытием навигации, условия содержания ужесточаться не будут. И 18 октября голодовка была прекращена. Перевода на материк заключенные добились летом 1925 г., уже без участия Богданова.

По окончании заключения Б. О. Богданова в ноябре 1924 г. вывезли в Кемь, и по постановлению ОС КОГПУ от 21 ноября 1924 г. он получил новый срок — три года ссылки в Усть-Цильму. 25 декабря его по этапу отправили в Архангельск, где он оказался в начале января. Навигация к тому времени уже закончилась, поэтому в Усть-Цильму он не поехал и устроился на работу в Архангельский губисполком экономистом, а в конце января — начале февраля к нему приехала семья. Ольга Альбертовна оставила ему дочь и вернулась в Москву из-за ареста ее сестры — здесь она носила передачи, хлопотала через Красный Крест о ее освобождении. В марте 1925 г. Богданов вместе с дочерью этапирован в Москву по подозрению в подготовке побега (так трактовался его невыезд в Усть-Цильму). После нескольких допросов на Лубянке в июне 1925 г. он этапом отправлен обратно в Архангельск, а осенью последним рейсом перед закрытием навигации — в Усть-Цильму, куда в марте 1926 г. добрались санным путем через Архангельск Ольга Альбертовна с дочерью.

Наталия Борисовна вспоминает об усть-цилемской ссылке: «Отец трудился в сельсовете или в какой-то конторе при нем <...>скорее всего, разрабатывал перспективу экономического развития района»[3]. Упоминает она и других соловецких узников, оказавшихся в Усть-Цильме: «В одно время с нами отбывали ссылку несколько недавних соловчан: Михаил Соломонович Цейтлин с женой Еленой Константиновной Полетикой, оба эсеры, Михаил Соломонович — бывший член ЦК, в Соловках был старостой на Анзере; Владислав Адамович Оссовский с женой Марией Алексеевной Тюниной, оба социал-демократы...»[4]

[3] Богданова Н. Б. Мой отец — меньшевик. СПб., 1994. С. 118.
[4] Там же.

Весной 1927 г. Борис Осипович отправил семью готовить переезд из Москвы в Баку, где его жена и дочь поселяются в конце лета. Сам же Богданов выехал из Усть-Цильмы в Архангельск в ноябре 1927 г.; в конце декабря он был освобожден с ограничением в выборе мест проживания. Поэтому в Баку к семье Борис Осипович приехал в январе 1928 г., устроился на работу научным сотрудником экономической секции Госплана АзССР. А уже 23 апреля 1928 г. опять арестован (наряду с несколькими меньшевиками) по так называемому «бакинскому делу» — нелегальный приезд в Баку Евы Львовны Бройдо, члена заграничной делегации РСДРП и сотрудника «Соцвестника». Сам Богданов с Бройдо не встречался. Из Бакинской тюрьмы его отправили в Москву, и там приговорили 28 июня 1928 г. ОС КОГПУ к трем годам ссылки в Симферополь, куда вскоре переехали и Ольга Альбертовна с дочерью. В Симферополе Богданов поступил на работу руководителем секции коммунального и жилищного хозяйства в Госплан КрымАССР, но в сентябре 1930 г. из опасения вредительства был переведен на должность руководителя сектора экономических исследований Симферопольского научно-исследовательского института промышленности.

Наталия Борисовна пишет: «Симферопольский период нашей жизни в "семейно-географическом" плане был самым стабильным по сравнению с предыдущими и последующими: мы прожили на одном месте больше четырех лет, из них три года — с отцом <...> Для меня это был период становления характера, впитывания новых знаний и впечатлений, физического и духовного роста, время моей весны — "отовсюду на меня весельем веет". А для отца? Ведь в эти годы приобретало уже вполне определенные формы то зловещее, что влекло страну к катастрофе. Сверхиндустриализация. Диктатура партии. Репрессии»[5].

Наталия Борисовна по крупице собирает свои детские воспоминания, чтобы реконструировать душевное состояние своего отца в те годы («...твердо знаю, что мысли о судьбе страны его не оставляли ни на минуту»): «Доводилось мне не раз почувствовать реакцию отца на происходящие события. Он порой читал маме вслух какие-либо выдержки из газет, а то и статью или речь на Пленуме ЦК. Как правило, был сдержан, читал негромко, возможно из-за меня, сидящей в соседней комнате за уроками или книгой. Но иногда взрывался: "Вот ведь сукины дети!" — или: "Ну и сволочи, ах, какие же сволочи!", "Перерожденцы!" Я, конечно, догадывалась об адресате. И уж когда совсем невмоготу, бросал газету, вышагивал по комнате и причитал: "Несчастная страна!", "Полицейское государство!"»[6]

---

[5] Богданова Н. Б. Мой отец — меньшевик. СПб., 1994. С. 118.

[6] Там же.

26 февраля 1931 г. Богданов вновь арестован (на этот раз в связи с визитом Н. Н. Суханова и начинавшимся фальсифицированным процессом Союзного бюро меньшевиков) и был приговорен 23 июля 1931 г. ОС КОГПУ по 58-10, 11 к трем годам лишения свободы и отправлен в Суздальский политизолятор. С конца лета он сидел в одиночной камере, а семья оставалась в Симферополе. Через год по пересмотру дела Борис Осипович был отправлен в ссылку в Томск на оставшиеся два года. В Томске его приняли на работу начальником планового отдела в Шахтстрое. Семья к нему присоединилась в начале зимы.

В 1934 г., после окончания срока ссылки, Богданов переехал в Новосибирск, но не смог там найти ни работы, ни жилья. Устроился в Омске начальником отдела планирования в Управлении местной промышленности, а в 1935 г. к нему приехала жена (дочь уже училась на втором курсе и осталась в Томске).

13 июня 1937 г. Богданова вновь арестовали, поместили в Омскую тюрьму. Передачи не принимали, свиданий не давали, и весной 1938 г. Ольга Альбертовна вернулась к дочери в Томск. Под следствием Борис Осипович находился до апреля 1940 г. Он прошел через серию конвейерных допросов (с 15 марта по 6 апреля 1938 г. непрерывно, с 3 по 13 мая 1938-го — допросы каждую ночь, с 22 мая по 5 июня 1938 г. опять непрерывно), его избивали, заключали в карцеры — и в холодный, и в горячий. И каждый раз, приходя в сознание, Богданов отказывался от добытых пытками показаний, писал заявления с требованием аннулировать протокол, подписанный в невменяемом состоянии. Протокол об окончании следствия датирован 3 июля 1939 г., а 7 апреля 1940-го ему был вынесен приговор ОСО НКВД — пять лет ИТЛ.

Летом 1940 г. Бориса Осиповича отправили в Каргопольлаг, первые годы он был там на общих работах, затем в плановой части железнодорожного отдела лагеря. В рукописных воспоминаниях Н. И. Богомякова сохранен яркий образ Богданова тех лет: «Борис Осипович и в лагерях оставался политическим деятелем. Он не признавал никаких авантюр, крайне отрицательно относился ко всяким вспышкопускательствам, но продолжал упорно размышлять о будущем России, гражданином которой он оставался до последнего вздоха. С близкими ему людьми он делился своими размышлениями о практической деятельности, которой нужно сейчас заниматься, и о программных установках, на базе которых должно происходить объединение всех русских социалистов»[7].

Б.О. Богданов был освобожден в конце декабря 1946 г. и отправлен в ссылку на пять лет в Сыктывкар, где пробыл до осени 1948 г. На основании доносов, написанных на него солагерниками (В. А. Гроссманом и С. С. Кацем) — с пересказом его

[7] Богданова Н.Б. Мой отец — меньшевик. СПб., 1994. С. 118.

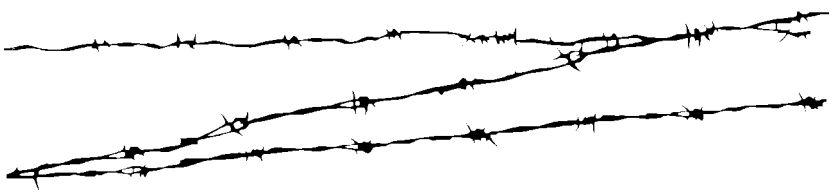
мыслей (которые он изложил им накануне своего освобождения из Каргопольлага) о политическом и экономическом положении страны и возможности в будущем возрождения русской социал-демократии, ему было изменено место ссылки: вместо Сыктывкара он был переведен в Петропавловск-Казахский. Каким-то образом ему удалось нелегально на два дня заехать к семье в Томск. В Петропавловске он устроился преподавателем экономических дисциплин в сельскохозяйственный техникум. Осенью того же 1948 г. Наталия Борисовна с семьей переехала из Томска в Москву, а Ольга Альбертовна поехала в Петропавловск к мужу; весной 1949 г. она вернулась в семью дочери, а 19 июля 1949-го Богданова вновь арестовали. 10 февраля 1950 г. он был приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Абезь (инвалидный лагерь Инталага). В феврале 1955 г. Богданова актировали (после инсульта) и направили в Зубово-Полянский дом инвалидов (Потьма, Мордовия) под надзор органов МВД.

Семья тем временем хлопотала о полном освобождении Бориса Осиповича. В 1955 г. в Потьму его навещать приезжали Ольга Альбертовна, сестра, дочь с внучкой, его друг по Каргопольлагу Николай Иванович Богомяков. Там Богданов начал писать воспоминания, но они остались незаконченными из-за болезни. В январе 1956 г. он перенес второй инсульт, и семья добилась его перевода на лечение в московскую больницу. В том же году Б. О. Богданов реабилитирован по всем делам, начиная с 1927 г., однако в московской прописке ему было отказано. После выписки из больницы Борис Осипович поселился на 101-м км — в Александрове Московской области. В конце 1959 г. он все же получил московскую прописку, но через несколько месяцев умер. Похоронен Б. О. Богданов на Донском кладбище.

В 1994 г. вышла в свет книга Наталии Борисовны Богдановой «Мой отец — меньшевик», в которой она смогла не только восстановить цепь биографических фактов и событий жизни отца, но и показать его действительную роль в русской революции, рассказать о судьбах его друзей и единомышленников, а также и о развитии социал-демократических идей после 1917 г. В эпилоге она приводит слова отца, написанные в Потьме, — своего рода его итоговый вывод: «Все. Эксперимент провалился. Остается один выход — стать на колени перед международным капиталом»[8].

[8] Богданов Б.О. Фрагменты воспоминаний. [Потьма, 1956]. С. 187. Рукопись.

Наш соловецкий староста[1]



Сознательная жизнь Бориса Осиповича Богданова распадается на две неравных части. Первые 17 лет его деятельности (1905–1922), связанные с революцией 1905 года, так называемым легальным рабочим движением, Военно-промышленным комитетом, организацией Петроградского совета рабочих депутатов и второй русской революцией, прошли у всех на виду, оставили много следов и не будут забыты ни одним серьезным историком общественного движения в России. Последние 35 лет жизни Б.О. (1922–1957), протекавшие за стенами тюрьмы, за колючей проволокой концлагеря и в ссылке, известны лишь его тюремщикам да его невольным спутникам по хождению по мукам.

Тюремщики будут молчать, а спутники, если они остались в живых, лишь случайно могут подать голос. Один из них недавно поделился своей информацией через посредство редактора русской газеты в Нью-Йорке. Он исполнил просьбу Б.О. передать товарищам по партии, что он, Б.О. Богданов, не сдался и до самого конца остался верен тому, во что уверовал в ранней молодости и во имя чего боролся всю жизнь — идеям социал-демократии.

Нужно хотя бы немного знать лишенного всякой сентиментальности Б. О., чтобы почувствовать всю патетичность его «заключительного слова». Знал ли он, верил ли он, что еще существует адресат, к которому он обращался через малоизвестного ему товарища по заключению. Видимо, в нем говорила потребность почувствовать себя еще раз частью коллектива, с которым он был связан по-настоящему и без остатка.

---

[1] Публикуется без сокращений по: Богданова Н.Б. Мой отец — меньшевик. СПб.: НИЦ «Мемориал», 1994. С. 218–221.

Начало крестного пути Б.О. относится к 1922–1923 годам, когда он, один из первых социал-демократов, был приговорен к заключению в северных концлагерях и попал в Пертоминск. (Б.О. подвергался репрессиям при большевиках и до 1922 года, равно как сидел в тюрьме при царском режиме, но то были лишь сравнительно короткие перерывы заполненной политической борьбой жизни.) В Пертоминске он застал группу социалистов-революционеров и левых социалистов-революционеров, пополнившуюся вскоре анархистами и значительным количеством социал-демократов. Коллектив настолько вырос, что при переводе его на Соловки в Савватиевский скит ранним летом 1923 года одних меньшевиков насчитывалось несколько десятков человек. Возглавлял их, конечно, Б.О. Богданов.

В тогдашних условиях заключенные социалисты и анархисты пользовались известным самоуправлением, и лагерное начальство признавало институт старостата. На Соловках каждая фракция имела своего старосту, но староста социал-демократов был известен далеко за пределами Савватиевского скита. О нем знали уголовные, о нем слышали так называемые каэры, с ним считалось и управление Соловецкими лагерями.

Среди заключенных социал-демократов Б.О. пользовался бесспорным авторитетом. Политически он примыкал к «правой фракции». Но, свободный от догматики, он вряд ли укладывался в рамки того, что в тот период понималось под правой оппозицией внутри РСДРП. Вспоминая его политические доклады о Парижской коммуне, о проблемах русской революции, его высказывания о событиях в Западной Европе и его беседы (он умел превосходно рассказывать о своих встречах с людьми и о своем участии в рабочем движении), я бы сказал, что Б.О. примыкал к позициям социалистического центра, возглавлявшегося у нас П. Б. Аксельродом, а у немцев — Карлом Каутским. Пытливый ум Б.О. не довольствовался традиционным объяснением неудач Февральской революции. Он искал более глубокие причины ее срыва и в своем понимании подводных рифов, о которые разбилась политика эсер-меньшевистского блока в 1917 году, он проявлял больше реализма, чем многие из бывших деятелей «революционной демократии». Он расходился с партийным большинством особенно по вопросу о возможности эволюции большевистского режима в сторону демократии. Но он явно не сочувствовал тому пафосу, с которым «правое течение» критиковало тактическую линию партии в период после октября 1917 года. Это сказывалось на его отношении к Мартову, смерть которого потрясла Б.О. Один из самых сильных его докладов был посвящен покойному Юлию Осиповичу. Благодаря стараниям Б. О. было налажено снабжение Соловков «Социалистическим вестником». Номера журнала, конспиративно собираемые Б. О. во время летней навигации, пускались по рукам в течение длинной соловецкой зимы.

Борису Осиповичу не было свойственно легко сходиться с людьми. Его больше уважали, чем любили. Близок он был лишь с немногими из товарищей по заключению. Да и в тех случаях речь шла не об интимной близости. Б. О. не нуждался в конфидентах. Он чувствовал в себе достаточно силы, чтобы самому, без чьей бы то ни было помощи справляться с личными, да и с общественными проблемами. С нежностью относился он к жене, Ольге Альбертовне, и к дочурке, получившим разрешение и приехавшим повидать его на Соловках[2].

Б. О. обладал многими качествами настоящего политического лидера. Ему только что исполнилось 40 лет[3] (в 1923 году). Он был в расцвете сил и, видимо, верил в будущее. Он тщательно пополнял свое образование, посвящая много времени истории и языкам, а также тщательно следя за западноевропейской жизнью по доходившей до него английской и немецкой печати.

С особым вниманием он относился к социал-демократической молодежи, составлявшей значительную часть социал-демократической фракции на Соловках. Опять-таки он вовсе не претендовал на роль учителя, интимно сближавшегося со своими учениками. В качестве ответственного партийного деятеля он дорожил новой сменой и ставил себе задачей не расходовать безрассудно этого, по его мнению, ценного человеческого материала. Он отдавал себе отчет в том, в каком направлении эволюционирует тюремный режим; не видя общественных сил в России, способных и готовых поддержать борьбу в концлагере, он стремился предотвращать конфликты, от которых он не ожидал никаких непосредственных результатов. Не впадая в пессимизм, он полагал, что до настоящих политических перемен еще далеко, и потому старался накапливать силы, если для этого существовали хотя бы самые скромные предпосылки. Под его влиянием осенью 1924 года социал-демократы отказались участвовать в голодовке, длившейся две недели и кончившейся победой администрации. То, что события 19 декабря 1923 года не привели к массовому убийству заключенных, тоже заслуга Б. О.

В 1924 году, перед концом навигации, Б.О., срок приговора которого истекал в начале 1925 года, был назначен к переводу на материк в Кемский концлагерь. Прощаясь с ним, его товарищи по партии подарили ему «Записки социал-демократа» Мартова — книгу, которой коллектив особенно дорожил и которую очень ценил Б.О. Один из квалифицированных рабочих, петербургский переплетчик, взялся переплести эту книгу. Надпись на ней гласила: «На память о прошлом и в надежде на будущее».

В Кеми Б.О. получил новый приговор — три года ссылки на Печору, и, кажется, ранней весной 1925 года он был отправлен по этапу в Архангельск,

[2] В 1924 г. мама приезжала на Соловки, но без меня. — Здесь и далее примеч. Н.Б. Богдановой.

[3] Точнее, 39 лет.

чтобы дожидаться там открытия пароходного сообщения с Печорским краем. Я запамятовал, почему Б.О. удалось задержаться на довольно продолжительное время в Архангельске, — вероятно, по болезни. Фотографическая карточка, сохранившаяся у меня, относится к пребыванию Б.О. в Архангельске в 1925-м, а может быть, в 1926 году. Вместе с его дочерью, сидящей на столе, на карточке изображены ссыльные социал-демократы (слева направо): Лидия Коган, М. Ф. Назарьев и Владислав Адамович Осовский.

Те, кто помнят Бориса Осиповича по Одессе и по Петербургу, вряд ли узнают его на карточке, где он изображен обросшим бородой и с бакенбардами. Но таким он был на Соловках, чуть ли не в том же самом френче. Прочно сколоченный, с наклонностью к полноте, иногда тяжелый на подъем, но передвигавшийся с большой легкостью, он обращал на себя внимание какой-то сосредоточенностью. В нем чувствовалась сильная воля и крепкая рука. Он знал, чего он хотел, и умел осуществлять свои планы. Среди поколения, вошедшего в движение в период 1905-го, он был, быть может, самым ценным приобретением для социал-демократии.

ЭСЕР



А. А. Головкова
ВОСПОМИНАНИЯ «ЭСЕРА»

Официально Соловецкий лагерь принудительных работ особого назначения начал функционировать в 1923 г., после выхода соответствующего постановления, подписанного тогдашним председателем Совнаркома А. И. Рыковым и управделами Совнаркома Н. П. Горбуновым. «...Все угодья, здания, живой и мертвый инвентарь, ранее принадлежавшие бывшему Соловецкому монастырю, а равно Пертоминскому лагерю и Архангельскому пересыльно-распределительному пункту, передать безвозмездно ОГПУ...», — гласил, не подлежавший опубликованию документ[1].

Но заключенные начали поступать на Соловки еще в 1920 г., сразу после закрытия монастыря. Их этапировали из Пертоминского и Холмогорского концлагерей, куда с 1918 г. свозили арестованных со всей страны. Это были белые офицеры, участники Кронштадтского восстания, члены социалистических партий — народ в основном молодой. Рассказывали, что расстрелы совершались там ежедневно, было погублено множество народа, почему Пертоминск с Холмогорами прозвали «могильщиками русской молодежи».

Не может быть, чтобы участникам «Соловецкой трагедии», рассказанной неким эсером, не было известно о беззакониях и жестокости, творимых Советской властью в северных концлагерях. И все же они попытались противостоять нарождающемуся монстру таким наивным и ненадежным способом. Противостояние анархистов, эсеров, меньшевиков власти, как ни горько это говорить, напоминало непослушание школьников. И вот шесть человек поплатились жизнью в неравной борьбе за сомнительную свободу: гуляние в пределах лагеря в любое время дня и ночи и наличие электрического света в течение суток. Так понимали обитатели бывшего Савватьевского скита «свое человеческое достоинство». Невольно вспоминаются другие узники, отстаивавшие иную свободу — свободу духа, которая непобедима ни в узах, ни в любых других внешних утеснениях.

Преподобноисповедник Георгий (Лавров), вспоминая годы, проведенные в тюрьме, говорил: «Вот где я желал бы провести всю свою жизнь. Там так много скорбящих, болящих, заброшенных жизнью людей... Вот где я нужен!..»

---

[1] См.: Постановление СНК СССР [Об организации Соловецкого лагеря принудительных работ особого назначения ОГПУ] // ГАРФ. ф. 5446. оп. 1. д. 2. л. 43; Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960 / Под ред. акад. А. Н. Яковлева; Сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров. М., 2000. С. 29–30. — Здесь и далее примеч. автора.

Такие же слова могли бы принадлежать священноисповеднику Максиму (Жижиленко), тюремному доктору, впоследствии епископу, добровольно делившему с узниками все невзгоды тюремной жизни.

Те шестеро убитых заключенных были первыми, поименно названными жертвами Соловков. Но теперь мы знаем многое, о чем не догадывались узники лагеря 1920-х гг., например, что осенью и зимой 1937–1938 гг. были расстреляны в несколько приемов 1820 человек (три соловецких этапа), а по всей стране в те же годы было казнено свыше 700 тыс. человек.

Мы знаем и то, что почти все мучители соловецких узников также погибли в огне Большого террора. Первый начальник Соловецкого лагеря, бывший балтийский матрос А. П. Ногтев в 1938 г. был осужден на 15 лет, в 1947 г. освобожден по амнистии и вскоре умер, не успев даже прописаться в Москве. Куратор Соловков, начальник Ногтева Г. И. Бокий, чье имя носил пароход, перевозивший заключенных из Кеми в Соловки, расстрелян в 1937 г. Ф. И. Эйхманс, помощник Ногтева, заверявший заключенных Савватьевского скита, что не давал приказа стрелять (врал, конечно!), расстрелян в 1938 г. Были расстреляны своими же чекистами первый и второй начальники Соловецкой тюрьмы и многие другие мучители соловецких узников. Все они казнены в Москве или Ленинграде, их останки лежат в земле спецзон НКВД: в Москве — на территории бывшей дачи наркома госбезопасности Г. Г. Ягоды под названием «Коммунарка», на Бутовском полигоне, Донском кладбище; в Ленинграде — на Левашовском кладбище или Ржевском полигоне[2].

Были расстреляны и те, кто подписал в 1923 г. постановление об организации Соловецкого лагеря особого назначения — А. И. Рыков и Н. П. Горбунов; их останки также были привезены и сброшены в общие ямы на территории спецобъекта НКВД «Коммунарка»[3].

Немногим был доступен в те годы смысл принесенных жертв. Их понимали лишь те, кто жил не сиюминутным, земным, а высшим — небесным. Даже простые неграмотные монахини нередко говорили своим мучителям на допросах: «Что хотите с нами делайте, мы от Бога не отречемся». Или же: «Будем счастливы пострадать за Христа даже до крови». Многих из них РПЦ прославила в лике святых.

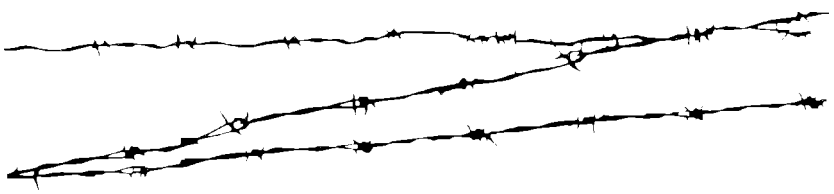
«Для нас настало настоящее христианское время, — писал свщмч. Фаддей (Успенский) о тех годах, — не печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас наши души должны открыться для подвига и жертв. Не унывайте, Христос ведь с нами».

---

[2] См.: Расстрельные списки. Москва, 1937–1941. «Коммунарка». Бутово. Книга памяти жертв политических репрессий. М., 2000; Книга памяти жертв политических репрессий «Бутовский полигон»: В 8-ми т. М., 1997–2004; Расстрельные списки. Москва, 1935–1953. Донское кладбище (Донской крематорий) / Книга памяти жертв политических репрессий. М., 2005; Ленинградский мартиролог, 1937–1938. Книга памяти жертв политических репрессий: В 11-ти т. СПб. 1999–2011. Т. 3: Ноябрь 1937 года.

[3] Расстрельные списки. Москва, 1937–1941. «Коммунарка», Бутово.

Соловецкая трагедия[1]



За чекистской завесой

Семь месяцев была скрыта от внешнего мира правда о Соловках. Пользуясь продолжительной зимней отрезанностью от материка, советское правительство вначале надеялось совершенно замолчать 19 декабря. С этой целью была скрыта от Политического Красного Креста посланная на его имя телеграмма старостата политических двух соловецких скитов, Савватиевского и Муксаломского, с извещением о расстреле и с именами пострадавших социалистов-революционеров и одного анархиста. Ни словом не обмолвились об убийстве шести социалистов-революционеров казенные коммунистические газеты. И только 10 февраля, когда весть о трагических событиях в Савватиевском скиту невидимыми путями дошла до Москвы, встревожила родных и друзей заключенных и вынудила их потребовать объяснения от органов коммунистической полиции, назначенная незадолго перед тем комиссия по расследованию «происшедшего» на Соловках опубликовала в московских газетах в отделе хроники напечатанное мелким шрифтом краткое извещение о происшедшем будто бы на Соловках «столкновении» конвоя с заключенными, «в результате» которого оказалось: один убитый, пять умерших от ран и два легко раненных.

Семь месяцев Россия и весь мир должны были на слово верить правительству Коммунистической партии, что 19 декабря 1923 года была убита только одна женщина, в то время как уже через полтора часа после расстрела пять бездыханных тел лежали там друг возле друга в одной из камер Савватиевского скита, а еще через 2 ½ часа смерть пяти социалистов-революционеров была официально запротоколирована врачом управления Северных лагерей.

[1] Публикуется без сокращений по: Эсер Соловецкая трагедия // Север. 1990. № 9. С. 94–98.

Семь месяцев советское правительство искусственно задерживало сношения материка с островами, чтобы ни один «вольный» человек не проник на Соловки и не узнал о новом преступлении большевиков, о незаконной и жестокой расправе агентов правительства с безоружными социалистами и анархистами. С этой целью ГПУ ответило отказом на заявление пяти родственников заключенных на Соловках о разрешении им пробраться на остров для свидания еще зимой, на поморской почтовой лодке, путем, которым неоднократно пользовались за время зимы чекисты, перебиравшиеся с острова на материк и обратно для выполнения служебных поручений, но который оказался закрытым для родных пострадавших социалистов-революционеров. С этой же целью почти полмесяца были запрещены обычные летние свидания родных с заключенными, несмотря на давно уже открывшуюся навигацию.

И только теперь, когда чекистская блокада Соловков снята, мы имеем возможность узнать всю правду о 19 декабря. Вот как представляется картина этого кошмарного, ныне исторического события на основании сведений, дошедших до нас за последнее время[2].

Московский приказ

Главным виновником событий 19 декабря явилось ОГПУ.

«Юридическим» основанием для расстрела послужило распоряжение члена коллегии ОГПУ, зарекомендовавшей себя в качестве садистки известной Андреевой о регулировании внутреннего распорядка в Соловецких концлагерях. Оно было передано в устной форме зам. начальника управления Северных лагерей Эйхмансу во время его пребывания в Москве. Долгое время это распоряжение не приводилось в исполнение. Только в середине декабря, с прекращением свиданий и навигации, решено было не делать из приказа секрета и приступить к решительным действиям. Очевидно, администрация сочла себя застрахованной от проникновения на материк нежелательных для себя сведений с острова, что бы на нем ни произошло.

Впервые о существовании московского приказа стало известно заключенным 16 декабря 1923 года из уст специально приехавшего для его объявления Эйхманса. Сущность этого приказа сводилась к ограничению времени прогулок и действия электрического света. До сих пор заключенные гуляли круглые сутки; новый порядок устанавливал для прогулок время с 9 утра до 6 вечера. Что же касается электрического освещения, то оно должно было прекращать свое действие в 12 часов ночи.

---

[2] В воспоминаниях Б. А. Бабиной есть указание на то, что с Соловков эту статью переправили в Москву ее мужу, известному эсеру Б. В. Бабину (Корень). Он запаял текст «Соловецкой трагедии» в алюминиевый чайник, который был вывезен за границу М. Л. Винавером, заместителем Е. П. Пешковой, стоявшей во главе организации «Помощь политзаключенным». См.: Бабина Б. Воспоминания Берты Бабиной. Париж, 1986. С. 375.

Выслушав сообщение Эйхманса, объединенный старостат Савватиевского скита заявил свой решительный протест против нового распорядка лагерного дня, рассматривая его как первый шаг к установлению в лагере норм тюремного режима.

Уезжая из лагеря в Соловецкий кремль, Эйхманс недвусмысленно пригрозил старостату:

— Нарушение приказа может повлечь за собой несчастные случаи.

Известие о занесенном над заключенными ударе мигом облетело все камеры. Угроза превращения лагеря в тюрьму взволновала весь Савватиевский скит. Возмущала в особенности полная немотивированность неожиданно свалившихся скорпионов. Полгода мирно жил Савватиевский скит в обстановке отвратительной «свободы передвижения» по лагерной территории, огороженной колючей проволокой. Этот порядок не создавал никаких неудобств для заключенных и для администрации. Не было никакой нужды ограничивать время прогулок. Изолированность острова, его естественная оторванность служили достаточной гарантией против побега. Нормы тюремного режима также мало вызывались условиями Соловков, как неуместен был бы тюремный режим на какой-нибудь Новой Земле. Администрация чувствовала себя настолько застрахованной от мести политических заключенных, что по собственной инициативе неоднократно поднимала вопрос о возможности свободного передвижения заключенных по всему острову с наступлением зимы.

И вдруг, как гром среди ясного неба, нелепый приказ из Москвы. Политические мотивы появившихся мероприятий били в глаза своей очевидностью. Да и сама администрация не скрывала их: уже на другой день после расстрела, 20 декабря, в разговоре со старостой социалистом-революционером Иваницким Эйхманс, вновь затронув вопрос о новом порядке прогулок, заявил, что ограничение времени прогулок входит в общий цикл мероприятий по нормированию лагерной жизни, и потому отмена этих распоряжений может произойти только в том случае, если бы изменилось общее отношение к политическим заключенным.

— Но на это рассчитывать трудно, — подчеркнул Эйхманс, — особенно теперь, когда в Киеве открыт заговор против советской власти и в этом заговоре обнаружено участие политических партий.

Этим заявлением подтверждались и без того напрашивающиеся догадки о политической подоплеке нового чекистского нажима на заключенных.

Заключенные так расценили московский приказ и твердо решили нового порядка не принимать и, не оказывая активного сопротивления, продолжали гулять по-старому, чем бы это ни грозило безоружным пленникам большевиков.

Перед расстрелом

17 и 18 декабря прогулки продолжались по-старому, не вызывая со стороны администрации попыток к их ограничению.

В ночь на 19-е произошел характерный инцидент с анархистами, вызванный прекращением в 12 часов ночи действия электрического света. Вопреки заключенному незадолго перед тем соглашению старостата с комендатурой лагеря о прекращении после 12 часов ночи прогулок по озеру, анархисты в виде протеста против неподачи электрического света нарушили это соглашение и всей фракцией с участием одиночек из других фракций высыпали на лед, не обращая внимания на окрики и свистки часовых. После бесплодных попыток дежурного по лагерю и самого коменданта уговорить анархистов уйти с озера их оставили в покое, и демонстративная прогулка беспрепятственно продолжалась, пока не наступило естественное утомление. Около 3 часов ночи анархисты возвратились на ночлег.

Наступило 19 декабря.

Ничего не подозревавшие заключенные спокойно тянули скучную нить лагерных будней. Перевалило за полдень. Прошел обед. Стало смеркаться.

Как всегда, быстро надвигался долгий северный вечер. В этой вечерней сгустившейся темноте шла невидимая черная работа подготовки убийства. Телефон между лагерем и Соловецким кремлем неумолчно трещал. Приблизительно за часполтора до расстрела в лагерь приезжал начальник управления Ногтев, по справедливости пользующийся среди заключенных репутацией человека, способного на самые жестокие и кровавые действия и уже набивший себе руку на расправах с заключенными в других северных лагерях. Это он в свое время цинично посоветовал привезенным из Сибири социалистам-революционерам заменить объявленную ими голодовку более сильным умерщвлением — «веревочкой»...

По указанию Ногтева комендатура мобилизовала к вечеру все наличные силы лагеря, годные к роли убийц. В сводный отряд усмирителей, помимо красноармейцев, вошли чины надзора и служащие канцелярии коменданта, навербованные исключительно из числа совершивших уголовные преступления чекистов, присланных на Соловки для отбытия срока наказания и здесь получивших в свои руки оружие и право жизни и смерти над социалистами и анархистами. Не нужно было никаких усилий, чтобы заставить этих бандитов и воров из числа бывших чекистов стрелять в безоружных людей — они сами искали случая загладить перед советской властью совершенные ими преступления; они естественно ненавидели социалистов, пришедших не за уголовные, как они, деяния и смело отстаивавших перед администрацией свое человеческое достоинство, в то время как им, бывшим чекистам, приходилось покупать свое благополучие, а иногда

просто откупаться от смерти ценой доносов, прислужничества и готовности бесчеловечно расправляться со всеми врагами советской власти.

Сложнее было с красноармейцами. Их пришлось загодя приготовлять к роли убийц на случай возможных «убийств и восстаний». Для этой цели был приглашен «политрук», в течение нескольких месяцев натравливающий солдат на заключенных. Еще с Пертоминска, незадолго до перевода политических заключенных в Соловки, солдаты, по наущению свыше стоящих, распевали направленную против эсеров самодельную песенку со следующим припевом:

Мы эсеров не боимся
И пойдем на них в штыки.

В результате этой обработки часть красноармейцев могла оказаться и действительно оказалась пригодной к стрельбе по безоружным людям. Все необходимые инструкции отряду были своевременно преподаны.

К 6 часу вечера в комендатуру был вызван староста анархистов Браверман, которому комендант Розенталь прочитал незадолго перед тем полученную из кремля телефонограмму Эйхманса, предписывающую провести в жизнь новый ограничительный порядок прогулок и действия электрического света.

Ознакомившись с содержанием телефонограммы, анархисты после доклада своего старосты сейчас же, еще до наступления 6 часов вечера, высыпали на двор и стали гулять.

Вскоре после этого старостату социалистического коллектива был предъявлен для ознакомления и подписи составленный на основании телефонограммы приказ по лагерю о вступлении в силу распоряжения управления. Приказ отличался от телефонограммы присутствием в нем одного существенного пункта: в нем говорилось о том, что содержание приказа должно быть объявлено для сведения заключенных на поверке, то есть не ранее 8 часов вечера. Таким образом, по смыслу приказа он мог вступить в законную силу только к 9 часам вечера.

Старостат отказался подписать этот безымянный приказ и предупредил дежурного о том, что для выяснения всего этого вопроса в комендатуру пойдет кто-нибудь из старост. Через две-три минуты дежурный появляется вторично с тем же приказом, но уже подписанным комендантом.

— Не забудьте сказать коменданту, что староста Богданов пойдет к нему для переговоров по поводу его распоряжения, — вторично заявил дежурному староста эсеров Иваницкий, расписываясь в прочтении приказа. Между тем количество гуляющих во дворе и по аллеям все возрастало. О существовании приказа и о приезде Ногтева узнали и некоторые из социалистов. Они по собственной инициативе вышли на двор и присоединились к ранее вышедшим на прогулку анархистам и одиноч-

кам из социалистов. Но так как подавляющее большинство социалистов и не подозревало о существовании приказа, то решено было обойти все камеры и ознакомить товарищей с его содержанием. Однако обход камер не удалось довести до конца. Со двора послышались глухие одиночные выстрелы часовых. Лагерь встрепенулся.

Не нужно было никаких объяснений. Все понимали смысл этих выстрелов. Никакие уговоры не выходить сразу всем в большинстве случаев не достигали цели. Наскоро набрасывая пальто и полушубки, выходили заключенные на двор, чтобы всем коллективом принять направленный против него удар.

Администрация проявляла необычайную торопливость. Забыв о своем собственном приказе, комендант еще до наступления 6 часов вечера отдал устный приказ препятствовать прогулке заключенных. Словно умышленно принимались все меры к тому, чтобы затруднить мирную ликвидацию конфликта: перестали отбивать на колокольне часы, что сделало невозможным для заключенных точное определение времени. Старосту Иваницкого не пропустили к коменданту для переговоров по поводу приказа. Когда товарищ Иваницкий подошел к зданию комендатуры, часовой кратко объявил ему: «К коменданту нельзя».

Все пути к мирному исходу конфликта были заказаны.

Так было угодно вдохновителям и организаторам 19 декабря.

Первый залп

Первый выстрел был дан часовыми с вышки, расположенной около замерзшего озера, недалеко от здания комендатуры. Вслед за ним огласили воздух другие одиночные выстрелы. Все они в большинстве своем были направлены в воздух. В это время двор лагеря представлял необычайную картину. Около сотни людей сплоченными группами толпой заполняли все обычные места прогулок. Молча, сосредоточенные, в тишине, медленно двигались в свете электрических лампочек люди. Постепенно напряжение стало, однако, проходить. Кое-где перекидывались шутками и замечаниями.

— Граждане, здесь нельзя ходить, — время от времени раздавалось со стороны часовых.

Замечания часовых оставались без ответа.

Безуспешные оклики и приглашения, обращенные к гуляющим, то и дело перемежались с беспорядочными выстрелами вверх.

Был драматический момент, когда один из часовых, направив винтовку в грудь зашедшего дальше других заключенного Рюмина (эсера), узнал в нем своего земляка.

— Уходи, — дрожа всем телом, не своим голосом закричал часовой, продолжая держать винтовку на изготовку.

— Стреляй, — ответил ему товарищ Рюмин. Винтовка ходуном заходила в руках часового.

Борьба человеческого со звериным в красноармейце длилась мгновение. С болезненно искаженным лицом он поднял винтовку вверх и подряд два раза выстрелил в воздух.

Между тем от ворот, примыкающих к корпусу анархистов, показались тесно подвигающиеся из города красноармейцы[3]. Они подошли, вооруженные винтовками. Часть их спустилась на озеро и растянулась по льду длинной цепью. Другая цепь осталась во дворе и выстроилась вдоль изгороди. Общее количество стрелков достигало 45 человек.

Впереди цепи, протянувшейся вдоль изгороди, стоял молодой взводный:

— Политзаключенные! Предупреждаю в первый раз, заходите по помещениям, — громко, размеренно крикнул молодой четкий голос.

— Кто командует карательным отрядом? — так же громко и спокойно спросил из толпы гуляющих товарищ Грошев, левый эсер.

— Командир взвода.

— Как его фамилия, чтобы увековечить? — продолжал допрашивать товарищ Грошев в жуткой торжественной тишине.

На этот раз взводный уклонился от ответа и увековечить себя не пожелал:

— Это не ваше дело, — недовольно буркнул он вместо ответа.

Прогулка продолжалась.

Положение становилось все более и более напряженным. Напряжение увеличивали какие-то люди, торопившие красноармейцев перейти от слов к делу. До гуляющих, ближе других подходивших к цепи, доносились случайные отрывочные фразы:

— Нечего церемониться, пора начинать.

— Если будут нападать, коли их штыками.

— Не давайте себя бить.

Это были явно провокационные возгласы, так как заключенные оказывали лишь пассивное сопротивление, твердо решив не давать никаких поводов к стрельбе. Выждав две-три минуты и убедившись в безрезультатности своего призыва к заключенным, начальник взвода крикнул во второй раз:

— Политзаключенные, расходитесь по своим местам!

В ответ на это один из гуляющих, товарищ С. Б. Корелиц (эсдек), бросил следующую четкую фразу:

— Мое место здесь.

---

[3] Видимо, со стороны монастыря.

Снова воцарилась напряженная тишина. А затем негромкое наставление, обращенное к красноармейцам:

— Без свистка не стрелять.

Наконец последовало третье предупреждение, столь же безуспешное, как и два предыдущих.

Нужно подчеркнуть следующее очень важное обстоятельство. Ни одно из предупреждений не сопровождалось угрозой стрелять в ослушников. Даже специалисты военного дела из среды заключенных были обмануты в своих предположениях о том, к каким мерам собирается прибегнуть карательный отряд для приведения заключенных к «повиновению».

— Сейчас начнут работать прикладом, — делились между собой догадками.

Кое-кто не исключал возможности изведать удары штыков. На эту мысль наводили доносившиеся от цепи угрозы: «Колоть штыком».

Были готовы ко всяким мерам оттеснения в корпус, но лишь незначительная часть гуляющих предвидела немедленный боевой огонь.

Не более как через минуту или две после третьего предупреждения со стороны руководившего стрельбой взводного раздалась громкая спокойная команда:

— Цепь, вперед. Прямо в помещение пальба взводом. Взвод, пли!

Послышался свисток, и тотчас же раздался оглушительный залп и отдельные беспорядочные, но частые выстрелы.

Слабо вскрикнув, тяжело опустился на землю у главной аллеи Г. А. Белима-Пастернаков (эсер). Недалеко от него лицом в снег упал Горелик (эсер). Оба были смертельно ранены. Горелик громко стонал. Тут же был ранен в плечо анархист Лебедев. В другом месте на боковой аллее с пробитой и развороченной правой ногой упал Г. Э. Шик (эсер).

Убедившись, что стреляют боевыми патронами, В. Д. Беляев (эсдек) зычно крикнул:

— Ложись!

Большинство гуляющих припало к земле. Часть продолжала стоять или двигаться. Но стрельба продолжалась и по лежащим.

Раздались многочисленные голоса:

— Есть раненые.

Вскочив на ноги, бросились поднимать стонущих в предсмертной агонии товарищей. Понесли.

Медленно, путаясь и мешая друг другу, продвигались вперед вверх по аллее, по направлению к красному социалистическому корпусу. Капли просочившейся крови отмечали по снегу этот медленный путь. А кругом шел непрерывный обстрел безоружных людей.

Когда выстрелы становились особенно частыми и настойчивыми, приходилось останавливаться и опускать раненых на землю. Все это происходило на глазах усмирителей, которые не могли не видеть результатов своей работы. Когда в промежутке между первой и второй серией выстрелов один из товарищей, М. А. Павлоцкий (эсер), бросился на главную аллею с громким криком: «Три человека ранены!» — со стороны цепи, стоящей вдоль изгороди, раздалось:

— Сами подберем.

Кто-то, негодуя и волнуясь, бросил от часовни в сторону цепи:

— Палачи!

И сейчас же послышался ответ взводного:

— Спасибо за аттестацию.

И непосредственно вслед за этой иронической репликой громкая и спокойная команда:

— Зарядить винтовки на полные обоймы.

А затем короткая, но зловещая пауза, в продолжение которой хождение по аллеям возобновилось.

Второй и третий залпы

Коллектив представлял в этот момент единый организм, спаянный общностью ненависти и опасности и уже пролитой крови.

Сплоченными группами, игнорируя все возрастающую опасность, продолжали гулять заключенные, противопоставляя винтовкам и револьверам свою решимость и сознание своей правоты. Было что-то трагическое в этом безнадежном и заранее предрешенном поединке вооруженной подлости с сознательностью односторонних жертв отстоять то, что коллектив считал своим правом и честью.

Еще не успел рассеяться дым от первых выстрелов, не успели еще отнести раненых, как раздалась новая команда все того же твердокаменного и тупого в своей солдатской исполнительности взводного:

— Цепь, вперед на десять шагов.

А навстречу поднимавшейся по аллее цепи спускалась уже поредевшая к тому времени толпа заключенных с Г. М. Кочаровским (эсером) впереди.

— Не подходи, — раздалось из рядов красноармейцев и чинов надзора.

Кое-кто остановился. Некоторые повернули назад. Обернувшись, Г. М. Кочаровский громко закричал:

— Не уходите, товарищи!

И своим телом заслонил от солдат С. Юдичеву (эсерку).

— Что же вы не стреляете? — громко крикнул Д. И. Попов.

Как бы в ответ на это последовала новая команда:

— Прямо по мишеням, взвод, начинай!

Свисток и беглый, частый огонь.

Пронзенный четырьмя пулями, падает смертельно раненный Г. М. Кочаровский. Перебиты сонные артерии. Рядом с ним погибает его жена, Лида Котова (эсерка); падает, тяжело раненный в руку, В. И. Попов (эсер). С. Юдичевой чудом удается ускользнуть от неминуемой смерти: ее пальто было пробито пулями в двух местах.

В другом месте возле часовни опускается на землю смертельно раненная Наташа Бауэр (эсерка), успев сказать только два слова:

— Я ранена.

Двукратное пассивное сопротивление было сломлено. Слишком тяжелы и дороги были понесенные жертвы.

Наступила естественная реакция.

Старостату удается на этот раз увести с собой со двора в корпус всех оставшихся в живых.

Часть товарищей бросается на помощь к несущим убитых и раненых.

В это время со стороны приближающейся цепи раздается спокойный деловитый окрик:

— Только подбирайте скорее.

И опять все та же настойчивая команда:

— Цепь, вперед. Никого не оставлять за цепью.

Да... «Они» тоже не теряли ни хладнокровия, ни деловитости, ни распорядительности, эти люди-машины.

— Не стреляйте. Мы уходим, — крикнул в их сторону староста анархистов Браверман.

Но стрельба после небольшой паузы возобновилась.

Это была серия беспорядочных выстрелов по уходящим, из которых никто не пострадал. Пули осыпали часовню, красный корпус, вход в него. Одна пуля еще в самом начале стрельбы попала даже в кухню. Приходилось останавливаться с тяжело раненными, уже умирающими товарищами и выжидать благоприятного времени, когда на минуту ослабевала стрельба, чтобы внести в корпус драгоценную ношу. Стрельба производилась с трех сторон. Заключенные были зажаты в кольцо красноармейцев и уголовных чекистов, этих отбросов большевистской политической полиции. По-видимому, последняя и проявила наибольшую жестокость и неразборчивость в стрельбе. Из красноармейцев большинство стреляло в воздух. Это засвидетельствовано очевидцами среди заключенных. Об

этом говорят сбитые выстрелами с высоких елей шишки и ветки. Вся операция «стрельбы» в живую мишень длилась пять-десять минут.

В корпусе

Одна мысль пронизывала коллектив по возвращении его в корпус: как спасти раненых? Ведь выведенные из строя были как раз наиболее мужественные товарищи, молодые и преданнейшие члены П.С.-Р. Кроме очень немногих товарищей, коллектив еще и не подозревал, что смерть уже вырвала из его рядов Лизу Котову, у которой была перебита сонная артерия, и что сочтены последние минуты большинства тяжело раненных товарищей.

Их разместили в камерах, ближайших к входу в корпус. Тяжело раненные быстро угасали в последней предсмертной агонии. Один за другим в течение полутора часов умерли Н. М. Горелик, через 20 минут Г. А. Белима-Пастернаков, Г. М. Кочаровский и Наташа Бауэр.

Тяжело раненный В. И. Попов и легко раненные были сосредоточены в одной из верхних камер. Только в 10 часов вечера, когда умершие были уже перенесены в большую камеру сибиряков, в социалистический корпус явилась женщина-врач Фельдман, бегло осмотрела убитых и раненых и попыталась уговорить старостат перенести последних в более будто бы приспособленный корпус чинов администрации. Старостат отказался от этого предложения, и Фельдман на нем не настаивала.

Вслед за Фельдман явился Эйхманс и в разговоре со старостатом выразил свое «соболезнование» по поводу всего совершившегося, назвал расстрел «глубоко прискорбным случаем».

— И для меня, и для товарища Ногтева, — заявил Эйхманс, — расстрел явился полной неожиданностью. Приказа стрелять я не отдавал. Можете не сомневаться в том, что все виновники будут арестованы и понесут должное наказание.

В заключение Эйхманс сообщил, что ближайшим пароходом виновные будут отправлены в Москву, и поэтому он просил старостат дать свои показания специальной комиссии, назначенной управлением для расследования обстоятельств расстрела. В ответ на это предложение Эйхманса старостат ограничился подачей ему письменных заявлений с изложением всей картины событий 19 декабря, отказавшись давать показания учрежденной управлением следственной комиссии. Иного отношения и не могло быть к попыткам соловецкой администрации свести трагедию 19 декабря к вине низшей лагерной администрации, якобы на свой страх и риск стрелявшей в безоружных социалистов и анархистов. Лучшей иллюстрацией лживости и искренности «соболезнования» администрации может послужить судьба арестованного и отправ-

ленного в Москву коменданта Савватиевского скита Розенталя: он был освобожден и получил повышение по службе. Неизвестно также, чтобы какое-нибудь наказание постигло увезенных вместе с ним «политрука», начальника взвода и двух красноармейцев. Их только убрали с глаз.

Да и не они только главные виновники убийства. Никогда рядовые стрелки не рискнули бы пойти на массовое убийство мирно гуляющих людей без внушения или прямого приказа своего начальника. И никакое начальство не решилось бы на свой риск и страх отдать приказ о стрельбе, не получив на это полномочий свыше и обещания своей безнаказанности.

А такое обещание было дано. Рассказывают, что, когда Розенталь в ответ на инструкцию Ногтева о приведении заключенных к повиновению выразил опасения относительно возможности жертв, Ногтев в свойственном ему напыщенном стиле ответил:

— Советская власть достаточно сильна, чтобы не бояться жертв.

Велико было поэтому первоначальное недоумение Розенталя, когда тот же самый Ногтев через несколько часов лично арестовал его. Когда Розенталя арестованным увозили из Савватиевского скита, он злобно сказал:

— Все здесь провокаторы.

Недаром назначенная Москвой «комиссия по расследованию происшествия на Соловках» не торопится прибыть на место «происшествия» и до конца лета 1924 года, когда пишутся эти строки, все ее работы свелись к опубликованию краткого и лживого сообщения об имевшем будто бы место «столкновении» конвоя с заключенными и к допросу и освобождению нескольких «стрелочников», арестованных на Соловках.

Похороны жертв на Соловках

Все убитые были похоронены в одной братской могиле.

Место для нее было выбрано за оградой на небольшом возвышении, окруженном молодыми стройными елями.

Все заботы о приготовлении к похоронам взяли на себя заключенные.

В ожидании похорон возле трупов погибших товарищей, меняясь каждые два часа, день и ночь дежурили представители всех фракций Савватиевского скита. У входа в корпус также были расставлены часовые из-за опасения возможных попыток администрации отнять ночью трупы убитых. Впоследствии выяснилось, что эти опасения имели под собой реальную почву. План похищения у заключенных трупов у администрации был. Но от него пришлось отказаться за невозможностью его выполнения.

Похороны состоялись 22 декабря.

После краткой гражданской панихиды печальная процессия длинной лентой вытянулась от корпуса к главной аллее. Впереди несли фракционные венки из еловых ветвей, скромные, строгие в своей суровой северной простоте. За ними пять тяжелых сосновых гробов, далее хор и весь савватиевский коллектив.

С пением похоронного марша процессия медленно спустилась по главной аллее, за три дня перед тем орошенной кровью убитых эсеров.

На дворе ни одной посторонней души, кроме одинокого часового на вышке, которому отдан приказ пропустить процессию за ограду без всякой охраны.

Вот и могила. Глубокая, большая яма, серая от промерзшей глины, с выступающими с боков валунами. Суровая могила. Под стать мрачному северному ландшафту.

Под печальные звуки похоронного марша и «Черного знамени» один за другим опускаются в могилу тяжелые гробы.

Могила засыпается доверху и скрывается под венками и зеленью елок — скромными украшениями скудного пустынного острова. В напряженной вечерней тишине плавно и ровно льются слова песни, будя вереницы воспоминаний о прежде и ныне погибших.

Их много, о правда, служивших тебе
И павших геройски в неравной борьбе.

Молча возвращается коллектив с похорон. Входят во двор, поднимаются по аллее и останавливаются у часовни на том месте, где была убита Наташа Бауэр. Довольно похоронных мотивов, пусть не подумают палачи, что социалисты могут только скорбеть. И бодрые, и грозные, громко раздаются в сумерках вечера волнующие слова народовольческого марша:

Смело, друзья, не теряйте
Бодрость в неравном бою.

Решительные мажорные ноты, решительные, резко обрубленные слова, и лица у всех становятся сосредоточенно строгие. С этим сознанием бодрости и несломленной воли к борьбе возвращается коллектив в корпус.

Но не скоро суждено было коллективу наладить так трагически сломленный «нормальный» круговорот будничной лагерной жизни. Совершенно неожиданно из больницы Соловецкого кремля пришло известие о смерти В. И. Попова после ампутации раненой руки: в страшных мучениях он умер вечером 4 января.

Снова коллектив вступил в траурную полосу.

Похоронили В. И. Попова 6 января все в той же братской могиле. Летом возвели над ней покрытый зеленым дерном холмик и положили сверху камень с выбитыми на нем именами погибших и датой. Так выросла первая братская могила на Соловках.

✠

ВЛАДИМИР ОСИПОВИЧ

РУБИНШТЕЙН



А. Гуллотта
ВОСПОМИНАНИЯ В. О. РУБИНШТЕЙНА

Среди многочисленных воспоминаний бывших заключенных СЛОНа воспоминания Владимира Осиповича Рубинштейна стоят в ряду наименее изученных. Этому во многом поспособствовал тот факт, что полностью они опубликованы не были и лишь в сжатом виде появились в книге Натальи Борисовны Богдановой о ее отце[1], а также дважды были процитированы в книге Юрия Бродского[2]. Тем не менее воспоминания Рубинштейна крайне важны как для простого читателя, так и для исследователя, поскольку представляют собой одно из двух свидетельств (второе — воспоминания Бориса Моисеевича Сапира) о жизни политических заключенных Соловецкого лагеря от начала его существования до трагических событий 19 декабря 1923 г.

Изложенные спокойным, без особых стилистических кульбитов стилем, воспоминания Рубинштейна, может быть, именно в этой удобочитаемости являют свою сильную сторону. Использование документальной прозы позволяет достичь наибольшего эффекта и как нельзя лучше отвечает стремлению автора свидетельствовать о событиях прямо и смело, без каких-либо претензий на художественность. Это способствует тому, что текст читается как хроника событий, в которых Рубинштейн стремится скрыть свою роль и выдвинуть на первый план поступки своих товарищей. В тексте крайне редко встречаются моменты страстной полемики, и это характерно для всех авторов, прошедших Савватьево, более склонных к молчаливому возмущению, чем к крику и возмущению.

У Рубинштейна (и в этом он схож с Екатериной Львовной Олицкой) в повествовании о событиях есть еще одно ценнейшее свойство — радость неофита. Действительно, автор попадает в лагерь очень молодым человеком и рассказывает о своем пребывании в политскиту Савватьево с энтузиазмом юноши, окруженного заслуженными и во многом уникальными людьми. Из этого особенного взгляда на события возникают мгновенные зарисовки, которыми Рубинштейн наделяет исторические фигуры левых радикалистов; он рисует их портреты через поступки, жесты и выражения (еще один знак отказа от любого рода эстетизации со стороны автора).

[1] См.: Богданова Н. Б. Мой отец — меньшевик. СПб, 1994. С. 206–215. — Здесь и далее примеч. автора.
[2] См.: Бродский Ю. А. Соловки. Двадцать лет Особого Назначения. М., 2008. С. 59, 67.

Позиция второго плана, сознательно принятая автором, и взгляд неофита — вот две особенные, оригинальные характеристики текста Рубинштейна. Все события жизни политзаключенных на Соловках предстают, таким образом, на страницах его воспоминаний отрывочно и восторженно: идиллическая общая жизнь вначале, трагедия 19 декабря 1923 г., голодовка, трудности со снабжением, внезапный переезд, приведший к распределению представителей политических партий по другим местам заключения, — все это документируется автором, который начинает свои мемуары с воспоминаний о детстве.

Владимир Осипович Рубинштейн пишет о том, что родился в самом конце 1903 г.[3] в Одессе в семье врача. В юности увлекся революционными идеями. Чтение книг о деятелях революционных движений, в том числе русских декабристах, уже в 1916 г. разожгло в нем неподдельный интерес к левым идеям. Когда разразилась революция, Рубинштейну едва исполнилось 14 лет. Именно в эти годы он сблизился с представителями политических движений, в частности с социал-демократами. В Туле, а затем в Одессе он начал посещать различные социал-демократические кружки, а в 1922 г., находясь в Москве, вступил в социал-демократическую партию меньшевиков. Членство в организации стоило ему ареста, который последовал 14 марта 1923 г. 13 апреля того же года он был осужден на три года заключения в лагере и отправлен в Пертоминск[4].

Тем не менее молодому Рубинштейну так и не суждено будет достичь указанного места заключения. После долгого этапа из Москвы в Архангельск «политики» были посажены на пароход «Глеб Бокий» и переправлены на Соловки. В этом месте своих воспоминаний Владимир Рубинштейн рассказывает об одном происшествии, никем не упоминаемом, а именно — о попытке со стороны анархистов и эсеров захватить судно, чтобы направить его к берегам Скандинавии. Эта идея, однако, так и не была реализована, и политических заключенных высадили в бухте Благополучия, откуда они сразу же были отправлены в Савватьево.

Здесь начинается, наверное, самая интересная часть воспоминаний Рубинштейна, в которой рассказывается о жизни в скиту в первые месяцы заключения «политиков» на Соловках. Описание повседневной жизни — организация курсов, занятия и спектакли, споры и дискуссии — дает яркое представление о наличии в тот период в лагере некоей политической культуры, подавляемой, однако, большевиками и с течением времени забытой. Автор говорит о величии и вместе с тем о слабости левого движения в России, способного на мощные идеалистические рывки и одновременно страдающего слабой способностью к принятию решений и отсутствием практической хватки.

---

[3] В справочных материалах обычно указывают другую дату рождения В. О. Рубинштейна — 12 января 1904 г., что отражает различия между календарями, которые действовали в России до и после 1917 г.

[4] По информации общества «Мемориал», В. О. Рубинштейн был сразу приговорен к заключению на Соловках.

С этой точки зрения можно посмотреть и на кровавые события 19 декабря 1923 г., когда группы ВОХРовцев под командованием соловецкого начальника А. П. Ногтева появились в Савватьеве, очевидно желая свести счеты с «политиками». Ограниченные введением комендантского часа, а следовательно, столкнувшиеся с ущемлением личной свободы заключенные ответили неповиновением, продиктованным не совсем понятными им принципами, которое было жестоко потоплено в крови. В драматических сценах, описанных Рубинштейном, предстают напряжение, боль и тревога людей, переживших этот момент. Среди других почти в ареоле святости выделяется фигура старосты скита Бориса Богданова, который, понимая всю серьезность момента, физически препятствовал социал-демократам выходить во двор и тем самым многих спас от неминуемой смерти.

Поражают до глубины души также и страницы, посвященные дням, последовавшим за трагедией, начиная со сцены прощания с погибшими товарищами во время похорон и заканчивая смелыми выступлениями политзаключенных и той решительностью, с которой им удалось поведать всему миру о случившемся в Савватьеве. Событие вызвало мощную волну возмущения, стало поводом для Международного комитета по делам политических заключенных составить том документов и писем со свидетельствами о зверствах советских властей по отношению к заключенным[5].

Впоследствии, однако, активность политических заключенных пошла на спад, что способствовало дальнейшему укреплению советского режима. Беспрецедентной голодовкой, которую Рубинштейн описывает с невероятной силой, осужденные в 1924 г. выдвигали требования по улучшению условий содержания в заключении, и она косвенно повлияла на решение ОГПУ рассеять «политиков» по разным местам заключения.

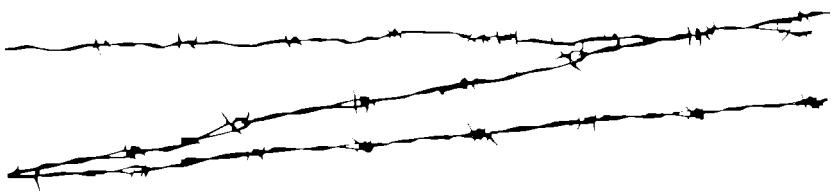
В воспоминаниях Рубинштейна можно ощутить то полубессознательное состояние, в котором пребывали узники во время своего переезда на материк в июне 1925 г. Грубое поведение конвоя, кажется, нисколько не способствовало осознанию политзаключенными происходящего. Это осознание пришло лишь в момент прибытия на материк, когда уже любая возможность активного со-

[5] См.: Letters From Russian Prisons: Consisting of Reprints of Documents by Political Prisoners in Soviet Prisons, Prison Camps and Exile, and Reprints of Affidavits Concerning Political Persecution in Soviet Russia, Official Statements by Soviet Authorities, Excerpts from Soviet Laws Pertaining to Civil Liberties, and Other Documents Published for The International Committee for Political Prisoners, Albert & Charles Boni. N. Y, 1925. В качестве предисловия к этому тому приводятся письма 22 известных людей, среди которых Альберт Эйнштейн, Томас Манн, Герберт Уэллс (С. 5–16). Соловкам и политическим заключенным посвящена довольно большая часть книги (С. 183–216), а в числе приведенных документов есть и совместное письмо политических заключенных Савватьева, подписанное 233 осужденными: под номером 124 стоит фамилия В. О. Рубинштейна.

противления была упущена. Распределенные по особым поездам, вынужденные ехать в условиях намного более страшных по сравнению с предыдущим переездом, осужденные оказались раздробленными и растерянными. Они не могли уже координировать и организовывать свои действия. Изолированные друг от друга, политзаключенные вынуждены были прекратить свою деятельность. Рубинштейн попал в политизолятор Верхнеуральска, а затем был отправлен на три года в ссылку под Норильск. Он больше не занимался политической деятельностью. Он еще дважды будет арестован: сначала в 1931 г. (приговорен к трем годам ссылки в Казахстане), а затем в 1949 г. (на пять лет в Воркутлагере). Во время Второй мировой войны он уйдет добровольцем на фронт и получит несколько высоких наград. В последние годы, работая инженером, он снова будет проявлять интерес к политике, но уже не участвуя в ней активно. В конце жизни, в возрасте 86 лет, он перенесет историю своей жизни на бумагу. Это будет его последним актом политического сопротивления, свидетельством заката грандиозного периода левых политических сил в России.

Владимир Осипович Рубинштейн скончался 1 мая 1993 г.

Из воспоминаний[1]



Трагедия 19 декабря

16 декабря в комендатуру скита неожиданно приехал Ногтев и вызвал к себе старостат. Так как после упомянутого инцидента[2] Ногтева бойкотировали, старосты отказались к нему идти, и он уехал. Но коллектив через комендатуру узнал о предстоящем ограничении вечерних прогулок по зоне и насторожился.

19 декабря в середине дня дежурный надзиратель принес Б. О. Богданову письменный приказ начальника УСЛОНа, в котором предлагалось «по поверке объявить политзаключенным о том, что впредь прогулки по зоне разрешаются с 9 часов утра до 6 часов вечера». Ни даты, ни подписи на бумажке не было. Борис Осипович немедленно известил об этом остальных старост. Посовещавшись, все четверо пошли в комендатуру. Ни до чего не договорившись с местным комендантом, они потребовали вызвать начальника УСЛОНа Эйхманса.

Вернувшись в зону и посовещавшись с социал-демократическим бюро, Борис Осипович обрисовал троим остальным старостам всю серьезность положения и, хотя поверка должна была, как всегда, начаться после 7 часов вечера, предложил сегодня воздержаться от прогулок. Он предчувствовал, что и охрана, и заключенные могут быть спровоцированы на непредсказуемые действия. В силу этого бюро меньшевиков, сказал он, предлагает своим товарищам после 6 часов вечера сегодня не гулять по зоне.

---

[1] Публикуется без сокращений по: Богданова Н.Б. Мой отец – меньшевик. СПб, 1994. С. 206–216.

[2] Речь идет об отказе политзаключенных подчиниться приказу о перемещении из Савватьево в другой политскит без согласия старостата.

Между тем многие из нас вернулись в корпус, желая выяснить ситуацию. Человек 70 — в основном эсеры и анархисты — продолжали прогулку по зоне по заснеженным дорожкам между высокими елями и соснами.

Вдруг после 6 часов вечера раздались удары колокола, возвещавшие поверку, хотя поверка до этого всегда начиналась после 7. И тут же со стороны комендатуры вдоль западного проволочного ограждения зоны высыпал взвод красноармейцев с приданными ему (как позднее выяснилось) стрелками ВОХРа, специально направленными Ногтевым в Савватий. В неярком свете фонарей фигуры оцепляющих зону людей были едва различимы. И вдруг окрик командира, обращенный к гуляющим: «Политзаключенные, прекратите прогулку, расходитесь по корпусам!» Люди в зоне продолжали стоять. Тогда раздалась команда: «По мишеням огонь!» — вслед за которой беспорядочно затрещали выстрелы. Кто-то из политзаключенных успел еще крикнуть: «Товарищи, ложись!» Но было уже поздно. После первого залпа воцарилась тишина... Кто-то из гулявших крикнул: «Товарищи, подберите раненых! Всем уходить в корпус!» Люди, неся сраженных пулями, двинулись ко входу в главный корпус. И тут по ним дали второй залп, сразивший насмерть еще двух человек.

В это время мы, социал-демократическая молодежь, вызванные нашим бюро, собрались в «первой Б» (большой камере второго этажа), обсуждая вопрос: выходить или не выходить во двор, подчиняясь решению меньшевистского бюро. Почти все были против «сдачи позиций», тем более что там, во дворе, оставался остальной коллектив, наши товарищи по борьбе, и нашим долгом было немедленно присоединиться к ним, а не слушать наших «стариков». О непредсказуемой развязке и мысли не было... И вдруг раздался беспорядочный треск винтовок. Мгновенно мы бросились по коридору к выходу, вниз по лестнице. Но у дверей корпуса, закрывая собой выход, стоял наш староста Борис Осипович Богданов. «Никого не пропущу!» — крикнул он, и как бы в ответ ему раздался второй залп. Пули затарахтели по кровле, несколько угодило в косяк наружной двери. В это время уже вносили убитых и раненых. Некоторые стонали, страшно кричал Качаровский, которому пули пробили живот и позвоночник, когда он стоял рядом с женой Лизой Котовой (она была ранена смертельно). Раненых заносили в разные камеры, и в течение получаса, ошеломленные случившимся, мы узнавали о смерти одного за другим. Потом пять тел были отнесены в большую камеру «первая Б» и уложены на топчаны.

Всю ночь, потрясенные и потерянные, мы бродили по корпусу и заходили к покойникам, принося с собой ветки близстоящих елей. Выход из корпуса был открыт, но в опустевшую зону никто не выходил, кроме как за хвоей. Вряд ли кто спал в эту ночь в корпусе.

Настало хмурое северное утро. Из кремля прибыл казенный врач. Вместе с нашими врачами И. А. Эгизом и К. К. Белкиным он произвел вскрытие трупов «для установления причины смерти». Врачами было установлено, что раны, от которых погибли пять человек, были нанесены пулями большого калибра из винчестеров, которыми, как я уже говорил, были вооружены только вохровцы, а не красноармейцы караула скита. Утром того же дня в Савватиевский скит «для расследования происшествия» прибыло соловецкое начальство: Эйхманс и Ногтев. Вместе со старостами они обошли место вчерашней бойни. Ссылаясь на якобы «самовольные действия начальника караула», они не преминули упрекнуть и старостат, «не обеспечивший подчинение политзаключенных приказу». Богданов предъявил этим палачам полученную накануне бумажку без даты и подписи: «...объявить заключенным на вечерней поверке...», то есть в 7 часов вечера или позже. Сигнал же на поверку, сказали старосты, был дан в 6 часов вечера, и зона с людьми была обстреляна сразу же после сигнала. Кроме того, стреляли и по уходящим.

Когда начальству показывали следы пуль над входом в корпус, не обошлось без инцидента. Под толстым Попляком сломалась табуретка, с которой он обследовал стены. К упавшему подбежал Ногтев, пытаясь поднять. Но тот в матерной форме попросил избавить от своего присутствия, назвав его гнусным убийцей и палачом. Мы очень опасались, что начальство прикажет забрать у нас трупы погибших, и с утра около них установили круглосуточное дежурство. Но старостату удалось все же договориться с несколько растерянным начальством и получить разрешение похоронить наших товарищей всем коллективом Савватиевского скита в лесу, приблизительно в одном километре к северу от зоны лагеря. Работы по рытью братской могилы и похоронная процессия политзаключенных были разрешены «под личное поручительство старост».

Несколько наших плотников принялись за изготовление гробов. Сосновые доски для этого нашлись в полуподвале нашего корпуса. Самое трудное было вырыть братскую могилу площадью 4 на 3 метра и глубиной около 2 метров в каменистой промерзшей северной земле. Непрерывно сменяясь, двое суток рыли эту могилу. Когда были изготовлены пять гробов, тела павших товарищей обмыли и перенесли в помещение клуба. Открытые гробы стояли рядом, усыпанные хвоей. Четыре знамени склонились над ними: три красных и одно черное. Я не знаю, из чего нашим женщинам удалось сшить их. Всю ночь у гробов непрерывно сменялся караул.

На четвертые сутки утром весь коллектив собрался в клубе. Произнесены прощальные речи. Спели «Вы жертвою пали в борьбе роковой любви беззаветной к народу». Под пение похоронного марша пять гробов понесли на руках по лесной дороге к месту вечного успокоения. Весь путь был оцеплен ко-

мендантской охраной, но стрелки были расположены вдалеке и еле различимы. Начальство разрешило похороны, «но без речей вне корпуса», очевидно беспокоясь об идеологической стойкости охраны. Как только могила была засыпана, на холм надвинули приготовленный заранее большой валун, на котором летом 1924 года нашими умельцами высечены были имена погибших и дата их смерти.

Еще раз спели «Вы жертвою пали...» и «Черное знамя» (гимн анархистов). Потом только побрели в зону. Но у маленькой часовенки посреди двора, где четыре дня назад свистели пули, остановились и запели старый народовольческий гимн:

Смело, друзья, не теряйте бодрость в бою!
Родину-мать вы спасайте, честь и свободу свою.
Если ж погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых —
Дело всегда отзовется на поколеньях живых.

Застывшие на вышках часовые слушали эту песню. Быть может, слова ее расшевелили душу этих молодых красноармейцев. Во всяком случае через неделю весь караул в Савватиевском скиту был заменен новым.

Через три или четыре дня из больницы соловецкого кремля пришло известие о смерти Всеволода Попова. Он очень мучился перед кончиной от гангрены руки. Руку ампутировали, но это не спасло его. По нашему требованию тело его было доставлено в Савватиевский скит, и мы похоронили его (снова всем коллективом) рядом с братской могилой пяти погибших.

...Когда весной 1924 года на Соловки прибыла комиссия ОГПУ во главе с Катаняном для «разбора инцидента 19 декабря», наши представители, предвидя наглую ложь чекистской версии происшедшего, отказались иметь с комиссией дело в отсутствии нейтральных свидетелей — представителей Рабочего Социалистического Интернационала или хотя бы советского Красного Креста во главе с Е. П. Пешковой. К тому времени мы узнали, что инициатор декабрьской трагедии Ногтев не только не отдан под суд (как было обещано) и не смещен, но переведен с повышением в должности. О бессовестной лжи, распространяемой в европейской коммунистической прессе о событиях на Соловках, я уже упомянул, как и об интерпретации их в газете «Известия». Для всех нас было ясно, что курс на ужесточение режима содержания политических заключенных был задан в высших инстанциях, вероятно из Московского Кремля.

Впрочем, от немедленного наступления на режим для социалистов и анархистов соловецкая администрация временно воздерживалась. Время прогулок по зоне практически не ограничивалось. О принудительном труде и речи не было, но по соглашению с администрацией коллективы политзаключенных во всех трех скитах взяли на себя заготовку дров на зиму. Для этого были созданы две межфракционные бригады из 10—12 человек каждая. Мы отправлялись в сопрово-

ждении трех-четырех конвоиров на отведенную начальством делянку, где выбирали высоченные сосны и лиственницы, подрубали, надпиливали их и сваливали. Затем очищали стволы от веток и на предоставленных нам лошадях с дрогами отвозили в зону, где приступали к пилке и колке.

И все же постепенно коллектив политзаключенных оправился после шока ужасной трагедии, унесшей шесть молодых жизней. Наступила весна, и мы полной грудью вдыхали запахи пробуждающейся северной природы. Даже в нашем небольшом, окруженном колючей проволокой мирке поражало многоцветье красок.

С наступлением теплых дней многие, в их числе и я, немало времени проводили на отведенной нам акватории озера. Мы могли кататься на лодке (их было две), купаться и ловить пескарей. Озеро было чистое и глубокое.

Общественная жизнь коллектива стала входить в свое русло: составлены были программы занятий в общеобразовательных и специальных кружках (по политэкономии, математике, философии), расписание разных лекций и дискуссий, в основном приуроченных к памятным дням (Февральской революции, Парижской коммуны, взятию Бастилии и другим). Объявлен был межфракционный шахматный турнир. Очень увлекались мы игрой в городки, или, как их тогда называли, рюхи. Среди нас были чемпионы этого вида спорта. До сих пор помню их: эсеры Губин, Кондратенко, Шмелев, Грошев; эсдеки Ф. В. Бяловский, В. Д. Беляев, И. Г. Рашковский, О. Я. Кейлис; левый эсер Самохвалов. Любил рюхи и неплохо справлялся с ними наш староста Б. О. Богданов.

Продолжал выходить (в двух экземплярах) наш межфракционный литературно-политический журнал «Сполохи».

Снова взялись за театральные постановки. К ним готовились тщательно: сценаристы писали скетчи и новеллы, артисты разучивали роли, два костюмера и два художника (Л. Л. Касаткин, фамилию другого не помню) заняты были реквизитом и декорациями, я был осветителем. Давид Жмудь тренировал свой «струнно-гребешковый» оркестр.

Из театральных постановок Леонида Касаткина, оказавшегося не только талантливым художником и декоратором, но и одаренным режиссером, мне запомнились «Принцесса Турандот» по классической сказке Карло Гоцци (текст был получен из Москвы), «Похищение из сераля» и «Испанская новелла» (пародии — обе по сценариям самого Касаткина). На нашей сцене ставились также короткие чеховские комедии и скетчи-миниатюры политического содержания или на «злобу дня», сочиненные в нашем коллективе.

Позднее мне удалось сконструировать большой эпидиаскоп, позволивший проектировать на экран рисунки и аппликации, вырезанные из газет и журна-

лов. На бумажной ленте наши карикатуристы выполнили серию забавных рисунков, порой довольно едких, иногда остроумно текстируемых. Конечно, качество изображения оставляло желать лучшего, так как вся оптика ограничивалась большой лупой и зеркалом. Световой поток давали две мощные электролампы, вмонтированные в аппарат.

И хотя эти праздничные вечера были не часты, но к ним приходилось готовиться.

Большая часть времени отдавалась занятиям (в кружках или индивидуальным), лекциям, информационным сообщениям (читался «Социалистический вестник» и другая легально или нелегально поступавшая литература). Из докладов и диспутов запомнились такие, как: «Парижская коммуна», «Диктатура и демократия», «Февральская революция в России», «Учредительное собрание: несостоявшиеся перспективы», «Термидор», «Аграрный вопрос и социализм». Эти доклады и диспуты по ним были межфракционными и происходили в «культе». Были доклады и на философские и научные темы. Читал их Григорий Львович Гольд — эсер, очень эрудированный человек, математик, философ и социолог, прекрасный шахматист. Лет ему было около тридцати пяти. Худой, высокий и прямой, он невольно привлекал к себе внимание; всегда в пиджачной паре и при галстуке, он производил впечатление европейца среди дикарей. Манеры у него были несколько чопорные и безукоризненные, к кому бы он ни обращался. Он прочел нам лекции о философии Канта, Авенариуса и Бергсона, о теории относительности Эйнштейна. Увы, не могу подтвердить, что разметанный перед нами бисер научного познания Вселенной глубоко проник в извилины наших варварских мозгов.

Борис Осипович Богданов

Общепризнанным лидером социал-демократов, а в критические моменты и всего коллектива политзаключенных на Соловках был Борис Осипович Богданов, наш савватиевский староста. Он пользовался заслуженным авторитетом не только у заключенных всех фракций, но и у администрации лагеря. Комендант Савватиевского скита робел в разговоре с ним, теряясь перед логикой и настойчивостью справедливых требований выполнения режима для политзаключенных. В переговорах даже с высоким начальством он не упускал случая подчеркнуть, что мы находимся здесь по произволу кремлевской власти Москвы и являемся жертвами внесудебных репрессий ЧК.

Среднего роста, атлетического сложения, с каштановой бородкой Зевса и добрым, слегка ироничным взглядом серых глаз сорокалетний мужчина — таким я запомнил Бориса Осиповича. Всегда убежденный в сформулированных им

мыслях, он логическим и последовательным изложением их привлекал людей. Правда, некоторые (чаще эсеры) расценивали его отношение к себе как надменность и «генеральство». Но ведь в коллективе, где более двух сотен человек, встречались разные люди. Во всяком случае, отеческое внимание к молодежи, доброта и, главное, участие в судьбе каждого товарища явно превалировали в характере этого красивого и обаятельного человека.

Обладая большим дипломатическим тактом и досконально изучив повадки наших тюремщиков-чекистов, Богданов в пределах возможного заставлял лагерную администрацию сохранять неписаный статус политических заключенных, удерживая в то же время последних от необдуманных актов протеста. Любой протест и его последствия, говорил он товарищам, вы всегда обязаны продумать до конца «во всех возможных вариантах, и если решили приступать к нему, то лишь будучи уверенными в своих силах — иначе вовлечете себя и других в беду». Так поступал он и во время голодовок протеста, о которых речь будет дальше. Этих же принципов держался Б. О. и в последующие годы своей нелегкой жизни.

Очень часто у нас, социал-демократической молодежи, возникали организованные или стихийные дискуссии на общеидеологические темы. Нужно сказать, что учение Маркса, и прежде всего его «Капитал» (который далеко не все из нас одолели), «Анти-Дюринг» Энгельса (о который мы ломали себе зубы) и более доступные его произведения, такие как «Происхождение семьи, частной собственности и государства», были в то время для нас Библией, Евангелием и Кораном. Все принималось большинством из нас на веру и всерьез. Усомниться в чем-либо из сформулированного основоположниками учения считалось недопустимым, в лучшем случае — плохим тоном. Между тем Б. О. всегда предостерегал молодежь от смещения духа марксизма в сторону догмы («сомневайся во всем!»). Последовательный марксист в его представлении должен в любой области человеческого познания, и прежде всего в социологии и истории, строго базироваться на научном фундаменте объективного исследования фактов, а также ознакомиться с альтернативным толкованием их; отклонение от этого пути неминуемо уводит от научного познания в догму, мифы или мистику. Умение творчески, диалектически мыслить — вот суть марксизма. Заучивание же цитат и формулировок «Капитала» или других произведений Маркса есть пустая и бесплодная трата времени, говорил Б. О. К сожалению, в то время и он, вероятно, не отдавал себе отчета, что догматизм в большой степени имманентен марксизму.

Не скрою, что выступления Б. О. в те далекие годы производили на некоторых из нас, молодых прозелитов Марксова учения, впечатление шока. Вспоминаю интереснейший доклад Богданова о Парижской коммуне, сделанный 18 марта 1924 года. Это было в праздничнo убранном «культе», и присутствовали на нем, кроме мень-

шевиков, все фракции Савватиевского скита. Уже в конце февраля многие из нас, молодых, стали штудировать историю Парижской коммуны по Бакунину и Марксу. И, хотя из всего прочитанного следовало бесспорно только то, что коммунары во Франции лишь расчистили завалы, остававшиеся от феодализма и мешавшие стремительному развитию нового общественного порядка, и что о замене только набиравшего силу капитализма другой общественной системой, придуманной Прудоном, Бакуниным или Марксом, можно было лишь мечтать в состоянии революционной эйфории, — мы, молодые, не могли и не хотели отвергать эту мечту.

И вот совершенно необычный, подвергающий все события того времени строгому историческому анализу доклад Богданова. Четко и доходчиво он представил экономическое состояние Франции второй половины XIX века, рост капиталовложений в крупную промышленность, политическую расстановку сил в Европе и неудачливую, коррумпированную империю племянника Наполеона. Рассказал о революционных традициях мелкой буржуазии, о начале рабочего движения во Франции, о наивности и неопытности его вождей, о несогласованности предпринятых Коммуной акций и — что явилось основным просчетом Коммуны — об игнорировании интересов крестьянства.

Помню, что очень многое, о чем нам бесстрастно, но с полным основанием поведал Б. О., совершенно не вписывалось в успевший уже укрепиться стереотип «великой Коммуны» как прообраза «великой социалистической революции». Б. О. развенчал миф об исторической возможности социалистического переустройства общества в те отдаленные от нас на полстолетия 70-е годы XIX века, то есть в самом начале развития производительных сил капиталистической Европы. Б. О. говорил, что, хотя перед соблазном представить «Париж рабочих с его Коммуной... как славного предвестника нового общества» (К. Маркс) и видеть в Парижской коммуне реализацию идеи «диктатуры пролетариата» не устояли сами основоположники исторического материализма, будучи ее современниками, нам, по прошествии полстолетия, все же не должно чуждаться трезвого исторического анализа на базе этого учения. Парижская коммуна не могла перерасти в социалистическую революцию ни по своим реальным возможностям (экономическим и политическим для всей страны), ни по целям самих коммунаров, лишенных к тому же единства действий.

Я вспоминаю, что выступление Богданова встретило бурю возражений, особенно со стороны анархистов и левых эсеров. Ведь с их точки зрения для социалистической революции, как и для всякой революции, не требуются определенные экономические условия и высокий уровень производительных сил. Основное условие — это наличие в народе революционного авангарда в лице активных и решительных ее сторонников. Масса их будет спонтанно возрастать по мере раз-

вития успеха, пока не охватит всю страну (а может быть, и не одну) в едином революционном порыве. Увы, все эти теоретические химеры впоследствии будут проверены временем, которое расположит все по своим местам, а участников соловецкой дискуссии — по лагпунктам и братским могилам «архипелага».

Но это — потом. А тогда, я вспоминаю, против Богданова очень аргументированно, с ссылками на историю и достижения передовых умов XIX века, выступил эсер-максималист В. К. Вольский. Он перечислил всех видных участников Парижской коммуны, вознося их отвагу и нравственные качества, противопоставляя их коррумпированным деятелям Версаля. Выступали Александр Алексеевич Иваницкий (староста эсеров) и М. Д. Самохвалов (староста левых эсеров).

Было тогда и много других выступлений «в защиту» коммунаров, в том числе и из среды ортодоксальных социал-демократов (Виктор Михайлович Коробков, Иван Григорьевич Рашковский и другие). Дискуссия на тему «Парижская коммуна, ее победы и поражение» продолжалась три дня. Я вспоминаю, что тогда все это очень импонировало таким зеленым юнцам, как я, особенно критика «ревизионистских» воззрений Богданова. Зато сегодня, обращаясь к той дискуссии через призму времени, я не могу не отдать должного трезвому историческому анализу событий Парижской коммуны, сделанному Богдановым.

Б. О. всегда принимал живейшее участие во всех наших беседах, праздничных мероприятиях, играх и соревнованиях (шахматы и городки). Он очень любил вечера, на которых разыгрывались соловецкие скетчи на политические или бытовые темы.

Выше я уже рассказывал о том, как Б. О. 19 декабря 1923 года спас нас, молодых эсдеков, бросившихся к выходу после первых залпов. Он не дал нам выйти, заслонив собой двери как раз в тот момент, когда по ним был дан второй залп и пули затарахтели по кровле, словно град.

Следует отметить серьезную миротворческую роль Б. О. во время голодовки политических заключенных всех трех соловецких скитов в 1924 году. Предвидя бесперспективность этой акции, он настоял на неприсоединении фракции социал-демократов к ней. Когда эсеры, леваки и анархисты все же объявили голодовку, Б. О. непостижимым образом удалось держать связь между тремя скитами, спасти несколько быстро терявших силы товарищей, а в дальнейшем своим дипломатическим тактом, путем переговоров с администрацией, предотвратить трагическую развязку для всего коллектива.

В декабре 1924 года мы простились с Борисом Осиповичем Богдановым. Навигация в тот год заканчивалась поздно, и его, закончившего свой срок заключения в концлагере, переводили на материк.

Москва, 1990 год

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

ШИРЯЕВ



М. Г. Талалай

РУССКАЯ СУДЬБА XX ВЕКА: КАТОРГА, ССЫЛКА, ИЗГНАНИЕ

Имя Бориса Николаевича Ширяева стало широко известным на рубеже XX–XXI вв., когда была переиздана огромными тиражами и разными издательствами его книга о первых годах Соловецкого лагеря «Неугасимая лампада». Высокий литературный слог, трагическая тематика, сила «первосвидетельства» не могли не впечатлить современного русского читателя — автором заинтересовалась самая широкая публика. Постепенно — и не до конца — стали открываться контуры прикровенной и противоречивой биографии Ширяева. О нем начали часто писать литературоведы и историки[1].

Внешние вехи его жизни таковы. Борис Ширяев родился 27 октября 1889 г. по старому стилю в Москве, где окончил гимназию и историко-филологический факультет Московского университета (некоторое время он учился и в Германии). Перед талантливым студентом, оставленным при университете, открывалась научная карьера, но началась мировая война, и 25-летний филолог ушел добровольцем на фронт, в ряды 17-го Черниговского гусарского полка; там он дослужился до чина корнета (зачастую неточно указывается, что до штабс-капитана или ротмистра). После развала фронта Ширяев вернулся в Москву, ставшую «красной». С началом Гражданской войны, сделав свой политический и моральный выбор, он отправляется на Юг России, в Добровольческую армию. Там попал в плен к «красным», был приговорен к смертной казни, однако сумел бежать в Одессу, а затем в Среднюю Азию, где участвовал в антибольшевистском сопротивлении, а после его поражения с целью конспирации работал надсмотрщиком табунов на азиатских пастбищах.

[1] См.: Казак В. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года. Лондон, 1988. С. 856; Савельев П. (Казанцев Ю.) Писатель-монархист // Наша страна (Буэнос-Айрес). 1989. 4 нояб.; Лапков Е. Встречи с Борисом Ширяевым // Наша страна. Он же. Читая Ширяева // Наша страна. 1994. 12 нояб.; Филатова А.И. Б. Н. Ширяев и «Неугасимая лампада» // Гумилевские чтения: Материалы междунар. конф. филологов-славистов, 15–17 апр. 1996 г. / СПб. гуманит. ун-т профсоюзов; Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме / Сост. В. Е. Триодин, Ю. В. Зобнин. СПб., 1996. С. 73–82; Паламарчук П. Г., Филатова А. И. Ширяев Борис Николаевич // Русские писатели XX в.: Биобиблиогр. слов: В 2-х ч. / Под ред. Н.Н. Скатова. М., 1998. Ч. 2. С. 592–593; Бабичева М. Борис Николаевич Ширяев // Новый журнал (Нью-Йорк). 2001. Кн. 222. С. 187–204 (библиогр.: С. 203–204. 15 назв.); Стрижев А. Б. Н. Ширяев // Москва. 2004. № 5; Колупаев В. Е. Русь в Риме Первом: По страницам произведений Бориса Ширяева // Наша газета. 2011. 10 янв. С. 22; Юдин А. В. Новые материалы к биографии Бориса Ширяева // Россия – Италия: этико-культурные ценности в истории / Под ред. М. Г. Талалая. М., 2011. – Здесь и далее примеч. автора.

Ширяев, однако, мечтает вернуться в Россию и пробирается в Москву, но в 1922 г. снова попадает под арест с очередным смертным приговором, замененным на десять лет каторги.

Тяжкий труд в Соловецком лагере особого назначения фантасмагорическим образом соединился у него с трудом литературным. В странной атмосфере начала 1920-х гг. в лагере выходил и журнал «Соловецкие острова», в котором появились первые произведения Ширяева: повести «1237 строк», «Паук на колесиках» и несколько стихотворений («Соловки», «Диалектика сегодня», «Туркестанские стихи» и др.). Вместе с соузником-литератором В. Н. Глубовским он собрал и записал лагерный фольклор, впоследствии изданный отдельным сборником. В 1927 г. каторгу Ширяеву заменили на ссылку в Среднюю Азию, где писатель сотрудничал в нескольких газетах, преподавал в университете (Ташкентском) и со свойственным ему филологическим темпераментом изучал местную культуру. Одно свое изыскание, «Наднациональное государство на территории Евразии», ему удалось опубликовать за границей, в альманахе «Евразийская хроника» (Париж, 1927. № 7). Другие очерки вышли в СССР в журналах «Прожектор», «Огонек», «Вокруг света» и пр. Публиковал он и брошюры, в том числе по азиатскому искусству, самой крупной из которых стала «Кукольный театр в Средней Азии».

По окончании срока ссылки литератор возвращается в Москву, но, будучи «под колпаком», снова подвергается аресту и ссылке на три года в слободу Россошь (Воронежская обл.). Когда время ссылки закончилось Ширяев переселяется на юг, в Ставрополь, где работает преподавателем педагогического института и женится на студентке Нине Капраловой.

Немецкую оккупацию бывший каторжник и ссыльный расценил как возможность легальной борьбы с большевизмом; он становится редактором ставропольской газеты «Утро Кавказа» (она же «Ставропольское слово»), а затем симферопольской газеты «Голос Крыма». Он также занимается социальной деятельностью, добиваясь освобождения ряда военнопленных и помогая многим, иногда даже рискуя своим положением. Позднее этот драматический опыт отразился в романе «Кудеяров дуб» (1958), в нем поднимается больная проблема судьбы русского патриота-антикоммуниста, пошедшего на сотрудничество с немцами.

С наступлением Красной армии литератор бежит в Берлин, а оттуда — в Белград, где в 1944 г. Ширяев провел несколько месяцев. В феврале 1945 г. вместе со своей семьей он через Германию переправляется в Италию. Во Фриули, в предгорьях Альп, он живет при штабе казачьей армии генерала Доманова и в

течение нескольких месяцев — до исхода казаков в Австрию — выпускает газету «Казачья земля». При наступлении союзников в отличие от большинства казаков он вместе с семьей остается в Италии.

Можно с уверенностью сказать, что именно в Италии Ширяев окончательно сформировался как писатель. Несмотря на постоянный страх насильственной репатриации и полуголодное беженское существование здесь, в колыбели европейской цивилизации, — а к глубокому историческому фону он, филолог по образованию, был особенно чувствителен — бывший журналист ощутил и литературное призвание, и собственный дар. После первого, чисто филологического труда «Обзор современной русской литературы», вышедшего на итальянском (Венеция, 1946), он пишет рассказ «Соловецкая заутреня», ставший камертоном последующей «Неугасимой лампады».

На рубеже 1940–1950-х гг. в самых разных эмигрантских изданиях — «Русская мысль», «Часовой», «Грани» — издаются художественные произведения Ширяева, написанные им в итальянских городах и весях. А в 1952 г. выходит его первая большая книга на основе самых свежих впечатлений — «Ди-Пи в Италии», в следующем году — сборники очерков «Я — человек русский» и «Светильники Русской Земли». Еще через год, в 1954-м, нью-йоркское издательство им. Чехова выпускает его самый важный труд — «Неугасимая лампада», принесший ему посмертную славу[2].

Как Гоголь в Риме создал картины русской провинции в своей поэме «Мертвые души», так и Ширяев, писавший книгу под Неаполем, воскресил атмосферу соловецкой каторги. Об обстоятельствах и времени ее написания сообщает сам автор: окончательный текст «Неугасимой лампады» появился в конце 1940-х гг., когда он оказался в беженском лагере под Неаполем, в местечке Пагани.

В Италии эмигрант получил статус «Ди-Пи» (от *displaced persons* — «перемещенные лица»). Эта почти забытая ныне аббревиатура в середине прошлого века была символом судеб миллионов людей, и не только русских: после окончания Второй мировой войны и победы в странах Восточной Европы режимов сталинского образца «перемещенные лица», а по сути, беженцы предпочли потерю Родины, нежели покорность чуждому им строю. Кроме того, многие «Ди-Пи», живя прежде на оккупированной немцами территории, при приближении Красной армии не без оснований опасались расправы за коллаборационизм, добровольный или вынужденный. Выдача этих беженцев назад, на плаху и в советские лагеря — темное пятно на «ризах» западных демократий. В Европе до сих пор неохотно говорят о драме дипийцев, в особенности в Италии, где в

[2] Из книг издательства Чехова она стала самой популярной.

течениепочти полувека в культуре доминировала левая идеология, изымавшая из цивилизации XX столетия все «реакционные», по ее мнению, явления.

Жизнь Ширяева в Италии протекала действительно в атмосфере не только непреходящей угрозы насильственной репатриации, но и постоянной борьбы с мифологизированным сознанием итальянцев, представлявших СССР «раем для трудящихся». Возможно, именно полемика с левой итальянской интеллигенцией, в основной своей массе находившейся тогда под сильным влиянием мифа о Сталине и большевизме, еще сильнее подтолкнула Ширяева к созданию обличительного (но и высокохудожественного) повествования — книги о советской концлагерной системе.

Страшный соловецкий опыт становится точкой отсчета его творчества. Даже стихотворный пространный эпиграф к «Ди-Пи в Италии» отсылает нас к беломорскому архипелагу:

«И связали вас крепкие нити / С далью прежних любимых сторон, — / Вы с трибуны отважно громите / Погубивших Россию и Трон. // В эти дни, когда с ревом и свистом / Были сорваны славы венки, / Против воли вы стали «туристом", / Посетив, например, Соловки» (так обращался к Ширяеву его коллега по «второй волне» Д. С. Товдин). С Соловками он сравнивает лагерь для «Ди-Пи» на острове Липари близ Сицилии...

Сама книга «Ди-Пи в Италии» с подзаголовком «Записки продавца кукол»[3] открывает нам как уникальные обстоятельства его жизни, увязанной с малоизученной «второй волной» эмиграции, так и легкость его пера, его юмор и иронию, которые, впрочем, оставляют место и для уже известного по «Неугасимой лампаде» драматического и эпического жанра (на тех страницах, например, где повествуется о насильственной выдаче беженцев сталинским карателям, называемым автором «охотниками за черепами»).

Попав после разных злоключений в неаполитанский лагерь, Ширяев, как признается, вытащил «счастливый билет». Среди роскошной природы, гостеприимных и веселых южан, в хорошо оборудованном лагере, где прежде стояли войска англо-американских союзников, можно было заняться и литературой. Конечно, жизнь в эмиграции была тяжелой и ради содержания семьи он принялся за изготовление кукол, в чем, кстати, преуспел, но тем не менее ожидать тут, близ Неаполя, заокеанской визы было много спокойнее, а главное, имелась возможность писать. Вот как он сам сообщает об условиях своего тогдашнего творчества:

Войдя в ворота [Помпей], я разом прыгаю через два тысячелетия и погружаюсь в мудрую тишину могилы. Я часто бываю здесь по будням.

[3] Ее называет «особенно интересной» наряду с «Неугасимой лампадой» Р. Плетнёв в своей монографии «История русской литературы в XX веке» (Englewood (USA), 1987. С. 69).

Захвачу свои тетрадки, сяду в излюбленном уголке в доме какого-то Клавдия Луция, к счастью его, давно испепеленного, и пишу свою «Неугасимую Лампаду», горевшую в иной могиле — на Соловках. Тихо. Редко-редко донесется трескучий речитатив гида, выкрикивающего свои затверженные годами объяснения («Ди-Пи в Италии»).

Вне сомнения, замысел книги о Соловках вынашивался Ширяевым еще до Италии. Естественно, в качестве «подсоветского» гражданина он не имел никакой возможности писать о СЛОНе, а если и вел заметки, вероятно, делал это скрытно.

Есть свидетельства тому, что общий замысел соловецкого произведения по мере его написания уточнялся: из обличения оно становилось свидетельством, согретым христианской верой. Повествование, как и другие большие книги Ширяева, по сути дела, в итоге представляет собой искусно собранную серию очерков, объединенных сквозной интонацией «сказителя» (но не историка). Для Ширяева было важно изложить именно сказание, предание, былину. Отсюда и обескураживающие порой неточности, касающиеся истории Соловков[4], их автор мог при желании устранить, будучи вхожим в папский колледж Руссикум в Риме с его богатейшей библиотекой. Поэтому и читателю книги следует, вероятно, подходить к ней с другой меркой: как к литературе не о жизни, а о житии, в центре которой — коллективный «Угодник Божий», Святая Русь. Главный пафос книги, сформировавшийся уже позднее, в эмиграции, это вера в сокровенную Родину, сберегшую свою былинную красу и мощь. Как некий Китеж, она ушла при победе 3-го Интернационала, ведомого врагами страны — внешними и внутренними, но Святая Русь воскреснет, возможно, вместе с «белым» царем во главе.

Стремление к агиографическому жанру присутствует и в мелочах, даже в «подписи»: в конце книги автор проводит особую географическую траекторию: «Соловки—Капри», с острова несвободы — на остров неподцензурного творчества (не было ли здесь и вызова Горькому, писавшему на Капри вольные, но левацкие тексты и ставшему в итоге прославителем Соловков и прочих атрибутов большевистского режима?). При этом названия места, где реально писалась «Лампада» — Пагани, автор явно избегает, не желая неприятных ассоциаций.

В Италии укрепились и политические воззрения Ширяева, патриота и монархиста. Оттачивает он и свой публицистический дар: под эгидой «Русского собрания» литератор основывает в 1946 г. периодический орган «Русский клич». Журнал первоначально размножался гектографическим способом в лагере беженцев в Риме, а затем стал издаваться в виде типографской брошюрки. «Русский клич» первоначально был непартийным изданием, и перед ним ставилась задача объединения русских людей в тя-

[4] Неточности относятся не только к Соловкам — к примеру, неаполитанца Джузеппе Дерибаса автор (живший близ Неаполя!) именует французским эмигрантом.

желых условиях эмиграции, однако постепенно он стал журналом монархическим. При нем существовал большой литературно-художественный кружок и проводились поэтические и прозаические конкурсы. Ширяев вошел также в правление «Российского народно-монархического движения», созданного И. Л. Солоневичем в Аргентине.

В Италии наконец Ширяев сделал и «выбор веры». Его переход в католичество не раз подвергался критике в его собственном стане, и поэтому на страницах книги «Ди-Пи в Италии» об этом важнейшем для автора духовном событии нет ни единой строчки. Однако читателя деликатно «подводят» к обоснованию подобного решения: это описание и духовных сокровищ Западной Церкви, и гуманизма католического клира, и благоговейные образы русских католиков в Риме. Католическая вера вновь затронула поэтические струны его души: спустя 40 лет после первых и последних стихотворений он вновь пишет стихи, на сей раз переводы гимнов Франциска Ассизского, небесного покровителя Италии. Сборник религиозно-литературных эссе Ширяева «Религиозные мотивы в русской поэзии» (Брюссель, 1960) стал его последней, посмертной книгой, выпущенной католическим издательством «Жизнь с Богом». Можно предположить, что большую роль в этом сыграла помощь Римско-Католической церкви во время скитаний по Италии; очень вероятно, что и в Аргентину семье Ширяева удалось уехать именно по католическим каналам, как это произошло в случае других коллаборационистов и даже немецких нацистов.

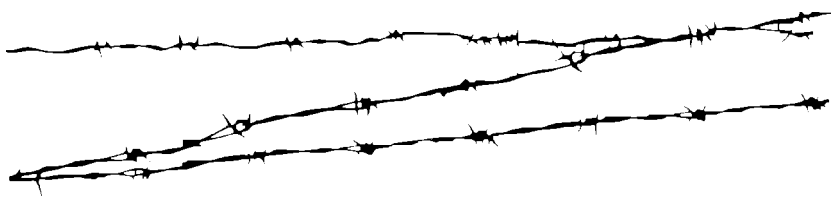
Парадоксально: вся книга «Ди-Пи в Италии» повествует о драматической битве автора за право уехать из Италии, что в итоге ему и удается. Тем не менее проходит несколько лет, и Ширяев при первой возможности сюда возвращается, уже защищенный, правда, аргентинским паспортом. Здесь же, в предместье милого курортного городка Сан-Ремо на берегу Лигурийского моря, и закончился земной путь каторжника и изгнанника, еще одной жертвы ушедшего века, сумевшей, однако, своим творчеством победить палачей и гонителей. В той же «благословенной», по выражению Ширяева, стране и закончился его земной путь: здесь 17 апреля 1959 г., в два часа пополудни, на улице Борго Опако, № 74, в предместье Сан-Ремо скончался писатель-беженец.

Его вдова и сын Лоллий вернулись в Америку, но уже не в Южную, а в Северную[5]. Согласно их распоряжению, могила Бориса Николаевича на городском кладбище Армеа не может быть упраздненной, даже если ее никто и не посещает[6], как нельзя упразднить и написанные им книги о драме русского народа.

[5] Попытки установить связь с потомками и наследниками Ширяева не закончились ничем. Следы Лоллия Борисовича Ширяева обнаружились среди списков канадских волонтеров, ушедших воевать вместе с американцами во Вьетнам в середине 60-х гг. — так был силен антикоммунистический дух, усвоенный сыном от отца.

[6] О могиле писателя см.: Талалай М. Г. Российский некрополь в Неаполе, Венеции, Сан-Ремо // Русско-итальянский архив № 2 / Под ред. А. Шишкина, Д. Риччи. Салерно, 2002. С. 432.

Неугасимая лампада[1]



Посвящаю светлой памяти художника
Михаила Васильевича Нестерова,
сказавшего мне в день получения приговора:
«Не бойтесь Соловков. Там Христос близко».

Часть первая
В СПЛЕТЕНИИ ВЕКОВ

Глава 1. Святые ушкуйники

Над гребными колесами привезшего нас на Соловки парохода алела полукругами ясно заметная издалека надпись «Глеб Бокий»; но плоха ли была краска или маляру не хватило олифы, — присмотревшись, вблизи можно было прочесть другую, скрытую под ней, крепко, глубоко всосавшуюся в оструганные еще на монастырской верфи доски, — «Святой Савватий».

Есть годы, скручивающие тугим, неразрывным узлом столкнувшиеся во времени века, сплетающие в причудливый до невероятия узор прошлое с будущим, уходящее с наступающим. В них то сходятся, то расходятся, обрываются и снова возникают нити человеческих жизней, развертывается ткань сомкнутых поколений, но, лишь отойдя на грань положенного срока, можно разобраться в загадочных извивах их узоров. Такими я вижу теперь Соловки первой половины двадцатых годов, последний монастырь — первый концлагерь, в котором прошлое еще не успело уйти и раствориться во времени, а предстоящее слепо, но упорно прощупывало, пробивало свой путь в жизнь, в бытие.

[1] Публикуется с сокращениями по: Ширяев Б. Н. Неугасимая лампада. М., 2007. 432 с.

Соловки — дивный остров молитвенного созерцания, слияния духа временного, человеческого с Духом вечным, Господним.

Темная опушь пятисотлетних елей наползает на бледную голубизну Студеного моря. Между ними лишь тонкая белая лента едва заметного прибоя. Тишь. Покой. Штормы редки на Полуночном море. Тишина царит и в глуби зеленых дебрей, где лишь строгие черницы-ели перешептываются с трепетно-нежными — таких нежных нигде, кроме Соловков, нет — невестами-березками. Шелковистые мхи и густые папоротники кутают их застуженные долгой зимой корни. А грибов-то, грибов! Каких только нет! Кряжистые, похрустывающие грузди, подосинники — щеголи красноголовые, боровики — купцы московские, тугие — не уколупнешь, робкие белянки, укрывшиеся под палой, пахнущей сладимой прелью листвой, стыдливые, как невесты на выданье, а к осени — ватаги резвых, озорных опенок лезут, толкаясь, на пни и валежник...

Остров невелик, длиной 22 версты, шириной 12, а озер на нем 365 — сколько дней в году. Чистые, ясные, студеные, битком набиты они стаями шустрых, игорливых ершей. Донья — каменистые; круглые, обточенные веками булыжники пригнаны плотно друг к другу, словно на московской мостовой. В полдень видно все, что творится на дне, каждый камешек, каждую рыбешку...

Дебря соловецкая мирная. Святитель[2] Зосима вечный пост на нее наложил: убоины всем тварям лесным не вкушать, а волкам, что не могут без горячей крови живыми быть, путь с острова указал по своему новгородскому обычаю. Волки послушались слова святителя, поседали весной на плавучие льдины и уплыли к дальнему Кемскому берегу. Выли, прощаясь с родным привольем. Но заклятия на них святитель не наложил.

— И вы, волки, твари Божие, во грехе рожденные, во грехе живущие. Идите туда, на греховную матерую землю, там живите, а здесь — место свято! Его покиньте!

С тех пор лишь робкие, кроткие олени да пугливые беляки-зайцы живут на святом острове, где за четыре века не было пролито ни капли не только человечьей, но и скотской горячей крови.

Множество древних сказов записано узорной вязью древнего полуустава на пожелтелых листах соловецких летописей, разметанных налетевшей на Святой остров непогодью и снова собранных по темным подклетям пришедшими в монастырь новыми трудниками.

---

[2] Святитель — архиерей, канонизированный за свою праведную жизнь и исключительное попечение о пастве на ее пути к Царствию Божию. Называя святителями преподобных основателей обители, которые посвятили всю свою жизнь добровольному уподоблению Богу, автор, возможно, имел в виду их роль в деле просвещения северных народов, или, говоря шире, освящение молитвой и постническими трудами дикого полуночного края, до появления монахов не знавшего света христианской истины.

Множество чудесных былей рассказывали и чернецы, оставшиеся на Соловках по скончании монастыря. Многое, уже забытое на Руси, они еще помнили. Недаром чутко слушавший народную молвь поэт писал:

Господу Богу помолимся,
Древнюю быль возвестим.
Так в Соловках нам рассказывал
Инок честной Питирим...

Теперь иноки эти — рыбаки на службе у лагерного управления, а отец Софроний даже советский чин имеет: начальник рыбоконсервного завода. Один лишь он знает стародавнюю тайну засола редкостной соловецкой сельди. Другой такой в мире нет: жирная, нежная, во рту тает, не уступит ни белорыбице, ни осетровой тешке. В древние времена обоз такой сельди по первопутку из Кеми в Москву уходил — к самому царю. Жаловал Тишайший монастырскую рыбицу и вкушал ее на Филипповки, а к Великому посту она уже вкус свой теряла, черствела. Об этих обозах в «кладовых листах» не раз писано, а в «рухольных» — ответные царские дары мечены: златотканые ризы парчовые, золотые панагии и чаши, убранные самоцветами, заморского венецейского мастерства, шелковые платы, покровы и плащаницы, вышитые нежными перстами дочерей царских, московских великих княжон.

Кое-что из этого и теперь осталось, стоит за стеклом в бывших палатах архимандрита — теперь антирелигиозном музее. Там же и раки с мощами святителей Зосимы и Германа. Открыты у них лишь главы да персты нетленные, а Савватий закрыт — нетленен весь.

Соловецкие монахи — особенные. Других таких по всей Руси не было: не в молитве, а в труде спасались. Обычай этот древний, от самих святителей повелся, когда они первый храм Господень на Соловках воздвигали из валунов и палого бурелома. Храм тот был во славу святого Преображения Господня учрежден и стоял он на том самом месте, где теперь Преображенского собора алтарь. Только намного он теснее алтаря был. Более двенадцати чернецов в себя не вмещал.

Так в истинных древнего писания житиях сказано.

Ладья же, на которой святители на остров прибыли, в ту же ночь волей Господней сама назад к материку берегу уплыла и там на причал стала. Таково было дано знамение: святителям на острове оставаться и далее на Полночь не идти, новым же трудникам во имя Господне с Руси на той ладье прибывать и трудом души свои оберегать от бесовского мирского искушения и напастей.

Иеромонах Никон, что монастырским гончарным заводом раньше управлял, рассказывал, как он с подначальными трудниками и к службе Божией только

раз в году поспевал, на светлое Христово Воскресение. Тропари же, ирмосы и псалмы пели каждодневно, глинку замешивая и печь растопляя.

— Телесное тружение — Господу служение, обители — слава и украшение, бесам же блудным — поношение, — поучали богомольцев чернецы и сами пример показывали.

От монахов и богомольцы тот обычай переняли: придет человек помолиться, отстоит молебен у мощей святителей-тружеников, да и останется на год сам потрудиться во славу угодников Божиих. По обету многие трудились год, два и три, покаяния усердного и просветления духа ради. Ими, трудниками земли Русской, возведены и неодолимая волной Муксоломская дамба-стена на море, и нерушимые стены Соловецкого кремля, мало чем Московскому уступающие: длиной округ верста три четверти, толщей же превыше московских. Сложены они из непомерных валунов по указу благочестивого государя Феодора Иоанновича, радением Бориса Годунова, правителя царства, ближнего боярина и царского шурина.

Петр-император, посетивший Соловки, тоже здесь потрудился: выточил на голландском станке и сам вызолотил резную сень над архимандритовым местом в Преображенском соборе. Висит теперь и она в том же музее.

Обычай сильнее времен. Он нижет на себя годы, как нить — окатные бурмицкие зерна. Сменились века, рухнуло Московское царство, нет более и благоверных его царей, а идут к Святому острову трудники со всей земли Русской, и нет им конца-краю.

Тугим узлом закручены безвременные годы, и в невиданном разноцветии сплелись в нем пестрые нити людских жизней.

Когда последний соловецкий архимандрит уводил чернецов в Валаам в 1920 году, иные из них по древности лет или по усердию остались в обители и с ними — схимник-молчальник, в глухой дебре, в затворе спасавшийся. Проведала о том новая власть, и раз в весеннюю пору подкатил на коне к схимниковой печуре-землянке сам начальник новый Ногтев со товарищи. Пил он сильно и тут хмельной был, сбил затвор и в печуру... бутылку водки в руке держит.

— Выпей со мной, распросвятой отец опиум! Попостился — пора и разговеться! Теперь, брат, свобода! Господа Бога твоего отменили декретом... — стакан наливает, старцу дает и матерится по-доброму.

Встал старец от своей лампады и молча земной поклон Ногтеву положил, как покойнику, а поднявшись, на открытый свой гроб указал: помни, мол, там будешь.

Переменился Ногтев в лице, бутыль за дверь кинул, сел на коня и ускакал. Пил потом месяц без перестану, старцу же приказал паек выдавать и служку к нему из монахов назначил.

Сплелись две нити из двух веков и вновь разошлись по своим путям, указанным свыше. А немое речение старца сбылось: году не прошло, как нагрянула из Москвы комиссия, дознались, что Ногтев серебряных литых херувимов с иконостаса спекулянтам продал, и расстреляли его, раба Божиего.

Провидел смерть его старец. Дано ему было то, как святителю Зосиме, узревшему обезглавленными новгородских бояр на пиру у Марфы Борецкой, Посадницы.

Древнее житие святителя об этом так повествует: когда обитель уже обширной стала и притекли к ней многие люди со всея Руси, тогда земли полуночные — Беломорские, Кемские, Пермские, Сорока, Кола и Печора, вплоть до самого Каменного пояса, под рукой Московского царя не были. Господин Великий Новгород ими володал; пенили его дерзкие ушкуи волны широких полуночных рек, сбирали его вольные дружинники-ратники и ставленные на вече тиуны дань с темных, диких лесных людей: куны, лису чернобурую, соболя... Таким ратником-землепроходцем и святитель смолоду был, а после, когда воздвиг обитель, пошел он к светлому Ильмень-озеру, чтобы там на вече грамоты на новые земли испросить.

С великой честью приняли старца новгородские бояре. Наслышан был Господин Великий Новгород о славе его подвига. Не только землями монастырь наделили — всем Кемским берегом, Колой и Сорокой, но поставили и утвердили на вече: архимандриту его все народы тех стран под своей высокой рукой держать, суд им творить и сбирать с них дань в обительскую казну. Встречать же того архимандрита в его волости превыше как князя и посадника, но как владыку митрополита: во все колокола бить и путь ему от моря до палат алым сукном стлать.

В те годы всем Новгородом, пятинами его и концами посадница Марфа Борецкая правила и, провожая старца в далекий обратный путь, созвала она на пир всех бояр. На пиру том отверзлись очи святителя, и узрел он грядущее; видит: сидят за столом бояре — все без голов...

Так и сбылось. Посек гордые головы грозный московский царь, попалил огнем новогородское торжище и подворья, но жалованную обители честь, земли, ловы и соляные варницы утвердил большой печатью Московского царства.

Закопали Ногтева в бору, на том самом месте, где в стародавние времена воевода Мещеринов схоронил мятежных иноков соловецких, петлей им удавленных. Тоже давно это было — в царствование Тишайшего, по приказу Никона-патриарха. Монастырь тогда новопечатных книг не принял. Мало того, старцы обители соборно обличительное послание патриарху написали.

Суров и непреклонен был Никон. Самому царю властью своей патриаршей указывал он путь. Тверд был и архимандрит-игумен: слово свое супротив патри-

аршего поставил, ересиархом нарек Никона и грамоты о том по всем северным обителям разослал.

Никон стрельцов от царя истребовал, отдал их под начал своего патриаршего боярина Мещеринова и двинул ратную силу на святую обитель. Не устрашился ее игумен, затворил окованные железом врата перед патриаршим воеводой и выкатил пушки на кремлевские стены. Снова воспрянула супротив Москвы вольности новгородской гордыня, и многие годы стоял под стенами Соловецкого кремля воевода Московского патриарха, «собинного» друга царя... Землянки, в которых жили патриаршие стрельцы, видны и теперь за монастырским кладбищем, на самой опушине бора. От них лишь ямки остались.

Устояла бы и дале твердыня древнего благочестия, но не судил того Господь. Некий чернец, имя его в житиях не указано, переметнулся к Мещеринову и указал ему тайный ход, под стеной кремля к озеру Святому прорытый. По тому ходу в кремль вода под землей шла.

Темной ночью потаенно вошли тем ходом в обитель патриаршие стрельцы, схватили архимандрита в его келье и, часу не теряя, на то же утро увезли в железах к патриарху.

Крови, однако, пролить на Святом острове и Мещеринов не посмел: петлей наиболее упорных старцев передушил. Иноки, оставленные в живых, истинный честной крест на могиле умученных поставили, и горели небесным огнем невидимые свечи округ того креста в ночь на светлое Христово Воскресение. Засветится ли такая свеча на могиле Ногтева — неведомо.

***

Соловецкая обитель зачалась в буйные времена новогородских ушкуйников. Сбивали они свои струги на Ильмень-озере и шли на них, кто — на полночь, к Студеному морю-океану, кто — на восход, к дикой гряде Каменного пояса; то сами в ладьях плыли, то их на себе волокли; просекали неизведанные дебри и пустыни; брали под руку Господина Великого Новгорода весь, мерю, чухлому и других сумрачных, скуластых лесных людей, рубили городцы из нетесаных смолистых бревен и шли, шли, шли...

Но была тогда и иная ушкуя. Она рождалась не под набатным гулом вечевого колокола, но под сладостными напевными звонами Софии — Премудрости Божией. Не на поиск новых земель, не за прибыльной рухлядью, рыбьим зубом и пушистыми мехами зверя полуночных дебрей слал ее этот звон, но за тем, что во сто крат дороже, за тем, чего не купить было на шумном торжище новогородском, за познанием света Премудрости Божией, сокрытого в безмолвии пустыни. Шли, искали и находили...

Такими ушкуйниками были и Соловецкие первосвятители Герман, Зосима и Савватий, приплывшие по Полуночному морю на безмолвный дотоле остров. Первым словом человеческим, сказанным на берегах его, было: «Хвалите имя Господне ныне и присно и во веки веков. Аминь!» — повествуют древние рукописные жития, уцелевшие от сокровищ книжной палаты соловецкого архимандрита.

Упал вечевой колокол, сорванный грозной рукой московского царя. Он — временный, земной, человеческий. Но пели свою горнюю песнь звонницы Святой Софии. Они — вечные, Божеские. Им отзывались из ясной озерной глубины незримые колокола преображенного града Китежа, им вторили деревянные била первого храма соловецкого, сложенного из валунов и нетесаного бурелома во имя светлого Преображения. Алчущая и жаждущая преображения духа своего Святая Русь пела хвалу Создавшему горы и дебри, моря и океаны, Сотворившему человека по образу и подобию Своему. Светлого преображения духа искали на Соловках святые ушкуйники. Потому и главный собор был воздвигнут там в честь Преображения Господня.

***

В 1922 году Преображенский собор сгорел. Его сожгли первые большевистские хозяева острова, чтобы скрыть расхищение ценностей, украшавших его древний пятиярусный иконостас и оставленных в ризнице ушедшей на Валаам братией. В те годы зарево великого пожарища стояло над всей Русью. Новые хозяева жгли украшавшие ее сокровища духа.

Сотворенное человеком — видимое — сгорало. Сотворенное Богом — невидимое — жило. Оно — вечно.

Четыре века со всей Руси притекали трудники к стенам Соловецкой обители. Земные, отягченные злобой, грехом, изъязвленные, смрадные, покрытые гноем и струпьями в душах своих, сбрасывали они тяготу своих грехов, бремя земной юдоли у гробниц святителей Соловецких, омывались покаянными слезами, и многие в жажде светлого преображения трудились во имя Божие — кто год, кто три, кто пять. Иные оставались тут навек и погребены на острове.

Века сплетаются. Оборвалась золотая пряжа державы Российской, Святой Руси — вплелось омоченное в ее крови суровье РСФСР, а в них обоих в тугом узле — тонкие нити жизней новых соловецких трудников, согнанных метелью безвременных лет к обугленным стенам собора святого Преображения.

О них — эта запись безвременных лет.

Глава 2. Первая кровь

Вот наконец они, страшные Соловки, рассказам об ужасах которых мы жадно внимали в долгие, тягучие часы бутырской бессонницы. Вот они, проникновенные, молитвенные Соловки, о которых повествовала тихоструйная молвь странников, молитвенников и во Христе убогих земли Русской. Святой остров Зосимы и Савватия, монастыря с созерцателями-монахами, нежным маревом бледных берез и тысячами трудников покаянных, притекавших сюда со всех концов Святой Руси...

И теперь... тянутся сюда новые трудники и тоже со всех концов Руси, но уже не святой, а поправшей, разметавшей по буйным ветрам свою святую душу, Руси советской, низвергнувшей крест и звезде поклонившейся.

Тяжелый девятидневный путь от Москвы до Кеми в специальном арестантском вагоне — позади. Девять дней в клетке. Клетки — в три яруса по всей длине вагона; в каждой клетке — три человека, в коридор — решетчатая дверь на замке, там шагает взад и вперед часовой. В клетках можно было только лежать. Пища — селедка и три кружки воды в день. Ночью кого-то вынесли из вагона; потом узнали: мертвеца, чахоточного, взятого из тюремной больницы.

Подходим к острову. «Глеб Бокий» дал уже три сигнальных свистка.

На носу парохода сотни каторжан сбились в плотный, вонючий, вшивый войлок. Мы еще не успели перезнакомиться, узнать друг друга. Среди втиснутой в трюм и на палубу тысячи лишь изредка мелькают знакомые лица. Вот мои сотоварищи по лежачему «купе» в «особом» вагоне, рядом с ними Генерального штаба полковник Д., полурусский-полушвед, выпрямленный, подтянутый и здесь, а около него — ящик, самый обыкновенный деревянный ящик, но из него вверху торчит взлохмаченная голова, а с боков — голые руки. Это шпаненок, ухитрившийся на Кемском пересыльном пункте проиграть с себя все.

Блатной закон не знает пощады: проиграл — плати. Не знает пощады и ГПУ: остался голый — мерзни. Ноябрь на Соловках — зима. Руки шпаненка посинели, ноги отбивают мелкую дробь.

Рядом со мной французский матрос в невероятно грязном полосатом тельнике и берете с помпоном. Он словоохотлив, и я уже знаю его историю: прельстившись «страной свободы», он бежал, спрыгнув через борт пришедшего в Одессу французского корабля, и попал... на Соловки. Поеживаясь, поет «Мадлен», но жизнерадостности не теряет.

Ко мне протискивается сидевший в той же, что и я, камере Бутырок корниловец-первопоходник Тельнов, забытый при отступлении больным в Новороссийске. Его лицо беспрерывно подергивается судорогой — старая контузия, память о бое под Кореновкой.

— Дошли до точки! Дальше что?

Что дальше? Глаза всех прикованы к смутным еще очертаниям вырисовывающегося в тумане острова.

Порыв ветра приподнимает туманную пелену, и с неба прямо на ставшие ясными стены монастырского кремля падает сноп лучей. Перед нами вырастает дивный город князя Гвидона на фоне темных, еще не заснеженных елей.

Золотые маковки малых церквей высятся над окружающими их многобашенными стенами, теснятся к обгорелой громаде Преображенского собора. Он обезглавлен... Над усеченным куполом колокольни — шест; на нем — обвисший красный флаг.

Красный флаг, свергнувший крест, стал на горнее место над сожженным храмом Преображения. Но кругом еще Русь — древняя, истовая, святая. Она в нерушимой крепости сложенных из непомерных валунов кремлевских стен; она устремляется к небу куполами уцелевших монастырских церквей, она зовет к тайне темнеющей за монастырем дебри.

Кажется, вот-вот выйдут из пены прибоя тридцать три сказочных богатыря и пойдут дозором по берегу... Но вместо них к пристани приближается отряд вооруженных охранников в серых шинелях и остроконечных шлемах. Соловки, видимо, готовы к приему нас.

— Выходи по одному, с вещами! Не толпись у сходней! Стройся в две шеренги!

Казалось бы, куда и зачем торопиться? У каждого впереди долгие годы на острове. Но привычка берет свое: на сходнях давка, чей-то мешок шлепается в воду, у кого-то выхватили из рук сумку, и он истошно орет. Толчея и на берегу. Наконец построены, хотя вместо шеренги причудливо извиваются какие-то зигзаги.

Приемка начинается. Перед рядами «пополнения» появляется начальник, вернее, владыка острова — товарищ Ногтев. Этому человеку предстояло в течение всего первого года нашего пребывания на Соловках играть особую, исключительную роль в жизни каждого из нас. От него, вернее, от изломов его то похмельной, то пьяной психастенической фантазии, зависел не только каждый наш шаг, но и сама жизнь. Но тогда, в первые дни по прибытии на остров, мы еще не знали этого. И он, как и его помощник Васьков, были для нас просто чекистами, одними из многих, в лапах которых мы уже побывали и принуждены были оставаться еще долгие годы.

— Здорово, грачи! — приветствует нас начальство. Оно, видимо, в сильном подпитии и настроено иронически-благодушно. Руки Ногтева засунуты в карманы франтовской куртки из тюленьей кожи — высший соловецкий шик, как мы узнали потом. Фуражка надвинута на глаза.

Некоторое время он скептически озирает наш сомнительный строй, перекачивается с носков на пятки, потом начинает приветственную речь:

— Вот, надо вам знать, что у нас здесь власть не советская (пауза, в рядах — изумление), а соловецкая! (Эта формула теперь широко растеклась по всем концлагерям.) То-то! Обо всех законах надо теперь позабыть! У нас — свой закон.

Далее дается пояснение этого закона в выражениях мало понятных, но очень нецензурных, не обещающих нам, однако, ничего приятного.

— Ну, а теперь, — заканчивает свою речь Ногтев, — которые тут есть порядочные — выходи! Три шага вперед, марш!

В рядах — полное недоумение. Кто же из нас может претендовать на порядочность с точки зрения соловецкого чекиста? Молчим и стоим на месте.

— Вот дураки! Непонятно, что ли? Значит, которые не шпана, по мешкам не шастают, ну, там, попы, шпионы, контра и такие-прочие... Выходи!

Теперь соловецкий критерий порядочности для нас ясен. Парадоксально, но факт. Вырванные из советской жизни как враги ее основ, осужденные и заклейменные на материке множеством позорных кличек, здесь, на острове-каторге, мы становимся «порядочными». Но что сулит нам эта «порядочность»?

Большая половина прибывших шагает вперед и снова смыкается в две шеренги. На этот раз линия фронта значительно ровнее. Чувствуется, что в строю много привыкших к нему.

Ногтев снова критически осматривает нас. Он, видимо, доволен быстрым выполнением команды и находит нужным пошутить.

— Эй, опиум, — кричит он седобородому священнику московской дворцовой церкви, — подай бороду вперед, глаза — в небеса: Бога увидишь!

Приветствие окончено. Наступает деловая часть — приемка партии. Ногтев вразвалку отходит к концу пристани и исчезает за дверью сторожевой будки, из окна которой тотчас же показывается его голова.

Перед нами нач. адм. части Соловецких лагерей особого назначения Васьков, человек-горилла, без лба и шеи, с огромной, давно небритой тяжелой нижней челюстью и отвисшей губой. Эта горилла жирна — жирна, как боров. Красные, лоснящиеся щеки подпирают заплывшие, подслеповатые глаза и свисают на воротник. В руках Васькова списки, по которым он вызывает заключенных, оглядывает их и ставит какие-то пометки. Сначала идет перекличка духовенства. Вызванные проходят мимо Васькова, потом мимо выглядывающего из будки Ногтева и сбиваются в кучу за пристанью.

Наблюдение за проходом духовенства, видимо, доставляет Ногтеву большое удовольствие.

— Какой срок? — спрашивает он седого, как лунь, епископа, с большим трудом ковыляющего против ветра, путаясь в полах рясы.

— Десять лет.

— Смотри, доживай, не помри досрочно! А то советская власть из рая за бороду вытянет!

Подсчет духовенства закончен. Наступает очередь каэров.

— Даллер!

Генерального штаба полковник Даллер размеренным броском закидывает мешок за плечо и столь же размеренным четким шагом идет к будке Ногтева. Вероятно, так же спокойно и вместе с тем сдержанно и уверенно входил он прежде в кабинет военного министра. Он доходит почти до окна и вдруг падает ничком. Мешок откатывается в сторону, серая барашковая папаха, на которой еще видны полосы от споротых галунов, — в другую.

Выстрела мы сначала не услышали и поняли происшедшее, лишь увидев карабин в руках Ногтева.

Два стоявших за будкой шпаненка, очевидно заранее подготовленных, подбежали и потащили тело за ноги. Лысая голова Даллера подпрыгивала на замерзших кочках дороги. Труп оттащили за будку, один из шпанят выбежал снова, подобрал мешок, шапку отряхнул о колено и, воровато оглянувшись, сунул в карман. Перекличка продолжалась.

— Тельнов!

Я сидел с ним в одной камере Бутырок и слушал его сбивчивые, несколько путаные, но полные ярких подробностей рассказы о Ледовом походе. Поручик Тельнов не лгал, он не раз видел смерть в глаза. Трудно испугать угрозой смерти того, кто уже проходил страшную грань отрешения от надежды на жизнь. Но теперь он бледнеет и на минуту замирает на месте, устремив глаза на торчащее из окна будки дуло карабина. Потом быстро, размашисто крестится и словно прыгает с разбега в холодную воду. Пригнувшись, втянув голову в плечи, он почти пробегает двадцать шагов, отделяющих строй от будки. Пройдя ее, распрямляется и снова размашисто крестится.

Все мы глубоко, облегченно вздыхаем и чувствуем, как обмякают наши напряженные до судорог мускулы.

— Следующий!.. — выкрикивает мою фамилию Васьков.

Меня! Кровь отливает от сердца и чугунным грузом падает в ноги. Они не повинуются, но я знаю, что нужно идти. Стоять на месте нельзя.

— Да воскреснет Бог, и да расточатся враги Его! — шепчу я беззвучно.

Дуло карабина продолжает торчать из окна. Между мной и им какая-то незримая, но неразрывная связь. Я не могу оторвать глаз от него и держащей его волосатой

красной руки с толстым указательным пальцем, лежащим на спуске. Эту руку я рассмотрел тогда до малейшей складки на сгибах коротких пальцев, до рыжеватого пуха, уходящего под обшлаг тюленьей куртки. Ее я не забуду всю жизнь.

Но я иду. Дуло все ближе и ближе... Вот поднимается... нет... показалось. Ничего нет в мире, кроме этого дула, лежащего на подоконнике.

Осталось десять шагов... восемь... шесть... пять...

Красная волосатая рука заслонила весь мир. Она огромна. В ней — жизнь и смерть. Каждая секунда — вечность. Четыре шага...

Зажмуриваюсь и прыгаю вперед.

Бегу.

Должно быть, роковая черта уже пройдена. Открываю глаза.

— ???

— Да!

Рядом со мной Тельнов. Окно будки позади. Из него по-прежнему торчит карабин. Васьков выкрикивает новую фамилию, не мою, теперь не мою!

Было страшно? Страшнее урагана немецкой шрапнели? Страшнее резки проволоки под пулеметным дождем?

Был не только страх смерти, но отвращение, ужас перед гнусностью этой смерти от руки полупьяного палача, смерти безвестной, жалкой, собачьей... Ощущение бессилья, порабощенности, плена ни на секунду не покидало глубин сознания и делало этот страх нестерпимым.

Но — кончено! Я жив! Радость жизни наполняет всего меня. Она разливается по жилам, пьянит, заставляет ликовать, животно, по-дикарски... Жив! Жив! Я не знаю, что будет завтра, через час, через минуту, но сейчас я жив. Дуло карабина и держащая его рука позади.

Больше выстрелов не было. Позже мы узнали, что то же самое происходило на приемках почти каждой партии. Ногтев лично убивал одного или двух прибывших по собственному выбору. Он делал это не в силу личной жестокости, нет, он бывал скорее добродушен во хмелю. Но этими выстрелами он стремился разом нагнать страх на новоприбывших, внедрить в них сознание полной бесправности, безвыходности, пресечь в корне возможность попытки протеста, сковать их волю, установить полное автоматическое подчинение «закону соловецкому».

Чаще всего он убивал офицеров, но случалось погибать и священникам и уголовникам, случайно привлекшим чем-нибудь его внимание.

Москва не могла не знать об этих беззаконных даже с точки зрения ГПУ расстрелах (многие из заключенных продолжали оставаться под следствием и в ссылке), но молчаливо одобряла административный метод Ногтева: он был и

ее методом. Вся Россия жила под страхом такой же бессмысленной на первый взгляд, но дьявольски продуманной системы подавления воли при помощи слепого, беспощадного, непонятного часто для его жертв террора. Когда нужда в Ногтеве миновала, он сам был расстрелян, и одним из пунктов обвинения были эти самочинные расстрелы.

Через пятнадцать лет так же расплатился за свою кровавую работу всесоюзный палач Ягода. Вслед за ним — Ежов.

Участь «мавров, делающих свое дело», в СССР предрешена.

Глава 3. Соловки в 1923 году

И в давно ушедшие времена бывали такие, что не своей волей проходили за тяжелые, окованные железом ворота Соловецкой обители. Привозили их туда с гербовыми листами, именными указами архимандриту. В них прописано было, как именовать и как содержать присланных: в железах ли, в затворе или с братией купно, с именами или безымянно. Случалось, что имена их самому архимандриту известны не бывали, а в листах значилось: «указанные персоны».

Когда братия уходила с острова, то древние книги и рукописи — много было их в «книжной палате» архимандрита — схоронили в потаенном месте. Может быть, закопали в землю, а может — и в стену замуровали. Оставшимся чернецам то место указано не было. Но хозяйственные книги чуть ли не за три века и часть монастырского архива остались. Половина их, а возможно и больше, погибла от огня, остальное было свалено в подвалы и в «рухольную клеть» монастыря, где уже лежали многие тысячи икон и иконок древнего, дониконианского, и нового письма. Новые пришедшие трудники нашли эти листы, книги, тетради и даже свитки, разбирали их ночами, после работы в лесу, и потом поместили в антирелигиозный музей. В этом архиве и значились некоторые узники ушедших веков Соловецкого монастыря.

В конце недолгого царствования второго Петра по навету врагов своих — вошедших в силу Долгоруких — привезен был на Соловки первый граф Толстой, Петр Андреевич, заключен был в угловую кремлевскую башню и прожил в ней более десяти лет. При воцарении дщери Петровой о старике вспомнили. Долгорукие тогда уже сложили свои головы на плахе. Присланный на остров гвардии сержант объявил узнику царицыну милость: все отобранное в казну имение, чины и ордена вернуть, а самому быть, где пожелает.

Но старец не захотел вернуться в суетный Санкт-Петербург. Преобразилась черная душа предавшего на муки и смерть горемычного царевича, принял он ангельский чин и в покаянии, слезах скончал свои дни.

В уцелевших от пожара и расхищения листах соловецких записей значатся и другие узники. Вины их не указаны, и можно лишь догадываться, что при Екатерине попадали сюда иные вольтерьянцы-богоотступники и кое-кто из братьев-каменщиков, но не в затвор навечно, а покаяния в грехах ради, по церковному суду. Через год-два их отпускали.

Последним соловецким узником был последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Кольнишевский. Пробыл он в заточении вплоть до восшествия на российский престол императора Николая Павловича. 101 год ему был, когда пришло помилование, и он, как Толстой, не захотел вернуться в суетный, ставший чуждым ему мир, но пострига не принял и, скончавшись, похоронен был не на братском кладбище, а одиноко, в стенах кремля.

Его могила нетронута и по сей день. На ней лежит тяжелая каменная плита с полустертой надписью.

***

Первые узники соловецкой каторги — Соловецких лагерей особого назначения (СЛОН ОГПУ) — прибыли на разоренный остров в 1922 году. Это были в подавляющем большинстве офицеры Белых армий, вольно или невольно оставшиеся на территории бывшей Российской империи, ставшей тогда РСФСР.

Они пробыли здесь недолго. Через месяц ими забили до отказа две гнилых баржи, вывели на буксире в море и потопили вместе с баржами.

Но тропа была проложена, и по ней потянулись новые и новые толпы. Прибывали и одиночки. Главным образом сюда шли каэры — заподозренные в контрреволюции (уличенных, конечно, расстреливали на месте), но была и шпана, и «легавые» — провинившиеся чекисты. Соловецкая песня рассказывает об этом времени так:

И со всех углов Советского Союза
Едут, едут, едут без конца...
Все смешалось: фрак, армяк и блуза.
Не видать ни у кого лица...

В 1923 году, кроме немногих оставшихся там монахов, на Соловецком, Анзерском, Заячьем и Конде — четырех островах каторжного архипелага — было лишь два-три человека, прибывших туда по своей воле.

Охрану берегов нес Соловецкий особый полк (СОП) — мобилизованные. Им командовал Петров, комиссаром при нем состоял Сухов. Оба — заслуженные красные партизаны гражданской войны, оба сильно пили, вследствие чего и были упрятаны подальше от глаз.

Первым начальником СЛОНа был Ногтев, попавший туда по той же причине и позже там же расстрелянный. Он был прост и малограмотен, во хмелю большой самодур: то «жаловал» без причины, отпуская с тяжелых работ, одаривал забранными в Архангельске канадскими консервами, даже спиртом поил, то вдруг схватывал карабин и палил из окна по проходившим заключенным... Стрелял он без промаха даже в пьяном виде.

Топивший в его комнатах печи уголовник Блоха рассказывал, что по ночам Ногтев сильно мучился. Засыпать он мог только будучи очень пьяным, но, и заснувши, метался и кричал во сне: «Давай сюда девять гвоздей! Под ногти, под ногти гони!»

До Соловков он был помощником Саенко — знаменитого харьковского чекиста времен гражданской войны.

Его заместителем и после него вторым начальником СЛОНа, тогда ставшим УСЛОНом, был латыш Эйхманс, тоже проштрафившийся чекист, откомандированный на Соловки за хищения и растраты. Он был иного типа: интеллигентный (бывший студент рижского политехникума), деловитый, энергичный; он делал карьеру на революции, дал промах на прежней службе, а потом на Соловках старательно и умно выслуживался. Вернуться на материк ему все же не удалось. По неизвестным причинам он был переведен лет через пять начальником лагеря на Новую Землю и там расстрелян. ГПУ строго хранит свои тайны. При Эйхмансе кровавый хаос Ногтева постепенно замыкался в твердую, четкую систему советской каторги.

Такими же «почетными» ссыльными были и остальные вельможи соловецкой сатрапии первых лет: нач. адм. части тупой, звероподобный Васьков и нач. 1-го отд. УСЛОНа грубый, но добродушный Баринов. Даже нач. санитарной части М. В. Фельдман, жена члена верховной коллегии ОГПУ, была сослана туда собственным мужем для охлаждения ее африканских страстей. Она закончила свои дни в стиле всей своей жизни: была убита ревнивым поклонником в Пятигорске. Но на Соловках о ней сохранилась добрая память: мягкая, культурная, окончившая Женевский университет, она многим облегчила тяжелые годы и казалась светлым лучом в сумраке соловецкой безотрадности.

Такие же провинившиеся чекисты занимали все крупные должности в управлении, из них состояла внутренняя охрана и комплектовался комсостав пятнадцати арестантских рот (16-я рота — кладбище, на соловецком жаргоне).

Каторжное население Соловков в первые годы их существования колебалось от 15 до 25 тысяч. За зиму тысяч семь-восемь умирало от цинги, туберкулеза и истощения. Во время сыпнотифозной эпидемии 1926—1927 годов вымерло больше половины заключенных. Но с открытием навигации в конце мая ежегодно начинали приходить пополнения, и к ноябрю норма предыдущего года превышалась.

Роты были разнохарактерны и по составу, и по режиму, и по быту. Первые три составляли «трудовой пролетариат» и были на привилегированном положении: размещались по пять-шесть человек в бывших монашеских кельях, светлых, теплых, чистых, имели пропуска за ворота кремля. В них концентрировались рабочие местных производств, оставшихся от образцового монастырского хозяйства: верфи, литейно-слесарной мастерской, канатного, гончарного, кирпичного заводов. 4-я и 5-я роты — хозяйственные, тоже со смягченным режимом. 6-я — духовенство. Она была сформирована позже, уже во время правления Эйхманса, и создалась в силу необходимости. До того времени на кухни и продовольственные склады назначались каторжане разных категорий, но все неизбежно проворовывались: голод не тетка. Это надоело Эйхмансу, и практичный латыш решил сдать все дело внутреннего снабжения лагерей корпоративно духовенству, до того рассеянному по самым тяжелым уголовным ротам и не допускавшемуся к сравнительно легким работам. Духовенство приняло предложение, епископы стали к весам, за складские прилавки, диаконы пошли месить тесто, престарелые — в сторожа. Кражи прекратились.

В 10-й роте группировались наиболее привилегированные спецы и служащие управления. Они жили сравнительно свободно. Зато 11-я рота была тюрьмой в тюрьме: помещения на ночь запирались. Три последние роты — самые тяжелые. Они были размещены в наскоро приспособленных развалинах Преображенского собора, холодных, темных, грязных, с нарами в три яруса. Беспрерывный шум сбитых сюда двух-трех тысяч человек, полное господство уголовников, тяжелые работы в лесу, на торфяных болотах и в море — вязка плотов. Через эти роты в обязательном порядке проходили все новоприбывшие, и многие застревали в них. Смертность здесь превышала 50 процентов.

Счастливцы после долгих мытарств попадали в отдаленные командировки: в Савватиевский скит — главную стоянку рыболовов, на Муксольму, где помещался скотный двор и было огородное хозяйство, и в разбросанные по островам малые скиты. Там, вдали от начальства, жилось вольнее.

Женщины помещались отдельно в «женбараке», вне кремля, а на маленьком Заячьем острове, в полуверсте от пристани, был штрафной женский изолятор. Традиция затейливо протянулась через оборванный век: именно с Заячьего острова молились соловецким святыням женщины-паломницы, не допускавшиеся на самый остров. В каторжные времена на Зайчиках был только один мужчина — 70-летний еврей-бухгалтер из ЧК Моргулис. Любовь была строжайше запрещена на Соловках, и преступления против этого запрета жестоко карались: Ромео шел на Секирку, Джульетта — на Зайчики.

Кормили беспрерывно и неизменно похлебкой из голов трески. Хлеба, очень плохого, — полкило. Жиров не было совсем.

Цинга и туберкулез развивались быстро и с необычайной силой. Заболевший редко задерживался в лазарете более месяца перед последней путевкой в «16-ю роту». Там его ждала всегда разверстая братская могила.

Особенно страдали от этих болезней шпана, уголовники, здоровье большинства которых было уже расшатано водкой и кокаином.

В эти первые годы первой советской каторги ГПУ еще не уяснило себе экономических выгод широкого применения рабского труда. Система концлагерей зародилась здесь же, на Соловках, но несколько позже. Тогда же Соловки были просто каторгой с жесточайшим режимом, царством полного произвола, бойней, в которой добивались последние явные и многие возможные враги советизма, а также свалкой для нетерпимого в столицах уголовного элемента.

Непосильный для большинства двенадцатичасовый тяжелый труд был лишь методом массового убийства, но не служил еще целям эксплуатации и коммерческой выгоды.

Все вновь прибывшие проходили сначала общие работы: лесозаготовки, торф, вязку плотов. Норма выработки — срубить, очистить от сучьев и вытащить на дорогу десять деревьев в день — выполнялась немногими сильнейшими. Невыполнение урока иногда сходило с рук, но чаще влекло за собой задержку в лесу на морозе на несколько часов, а то и на всю ночь. Многие замерзали. Замерзали и в старой монастырской дощатой голубятне, куда за отказ от работы запирали в мороз в одном белье. Летом за то же преступление ставили «на комарики»: привязывали голыми на ночь в лесу, где комаров, «гнуса», носились тучи. За преступления против дисциплины и лагерных правил полагались Секирка или Аввакумова щель, о них — особый рассказ. На работах, особенно ночных, пристреливали часто. Но били очень редко. Случаев избиения каэра я не помню. Шпане попадало.

С общих работ просачивались на производства. Там было легче. Наиболее ловкие интеллигенты быстро приспосабливались к соловецкой обстановке и пролезали в «чиновники» управления, прорабы, табельщики и т. д. Это давало возможность облегчить быт, получить лучшее помещение (пища была еще одинакова для всех), пропуск за ворота и другие блага.

Капля воды отражает в себе океан. Соловки отражали в себе все основные черты тогдашней жизни Советского Союза, население которого, болезненно отрываясь от старого уклада, еще только приспособлялось к новым уродливым формам.

На Соловках было тесно, и поэтому борьба за жизнь была особенно заострена. Было холодно и голодно; трения, укусы, уколы, неразрывные в быту с этой борьбой, ощущались особенно болезненно.

Темпы развития новых советских бытовых форм на Соловках даже обгоняли союзные: тюремная замкнутость, безграничный произвол, полное презрение к человеческой личности и ее правам, постоянная беспредельная лживость, вездесущий, всемогущий «блат» — узаконенное мошенничество всех видов, хамство, перманентный полуголод, грязь, болезни, непосильный, принудительный, часто бессмысленный труд — все это доводилось до предела возможного.

И вместе с тем среди этой наползавшей мути безвременных лет на Соловках того периода еще вспыхивали зарницы высокого жертвенного подвига, отблеска осознанного до глубин души долга, светочи чистой Христовой любви, каких уже не было позже, в годы, описанные И. Солоневичем («Россия в концлагере»), и тем более в той беспросветной зловонной мути, в которой погрязал еще позже М. Розанов («Открыватели белых пятен»). Ближе всего к описываемому мной периоду очерк Г. Андреева «Соловецкие острова». Тем не менее, все три упомянутых автора писали правду: менялись времена — менялись люди.

Последние нити старой Руси тогда еще вплетались в новую советскую жизнь.

Соловецкие каторжане «первых призывов» были осколками Великого Рухнувшего. Они не прошли еще шлифовки НЭПа, переплавки пятилеток, их сознание не было еще истерто в порошок дробилкой советской пропаганды, жерновами звериного, скотского советского быта — «житухи»; они не были еще теми «мизерами», размельченными личностями, в которых неуклонно и неотвратимо превращает русских людей победивший социализм и неразрывная с ним жалкая, мелочная и страшная именно своей мелочностью борьба за «местечко под солнцем», за сто граммов колбасы, за полметра дополнительной жилплощади...

На Соловках это столкновение — связь двух эпох — переживалось острее и резче, чем «на воле», ибо здесь концентрировались протестующие, которые там были рассеяны, но и здесь и там на смену человеку шел гомункулюс, механизм; брюхо напирало на сердце, но сердце еще билось...

На Соловках первых лет их существования это биение было слышнее, потому что сюда стекали последние капли крови из рассеченных революцией жил России.

Глава 4. Без вины виноватые

На Соловках первой половины двадцатых годов, до стабилизации концлагерной системы, не было ни одного заключенного, осужденного по суду, иначе говоря, имевшего за собой в какой-либо мере доказанное, хотя бы с советской точки

зрения, преступление. Все каторжане всех категорий — от уголовной шпаны до высших иерархов Церкви — были сосланы туда по постановлениям Верховной коллегии ОГПУ, Особого совещания при ОГПУ и местных троек по борьбе с контрреволюцией, то есть внесудебным порядком.

Уголовники: воры-рецидивисты, притонодержатели, проститутки-хипесницы и просто бродяги — осуждались по ст. 49 старого Уголовного кодекса РСФСР как «социально опасные», на основании их прежних приводов, недоказанных подозрений или просто задержанные при частых в то время облавах. Уличенные в краже шли под «суд народной совести» и получали короткие сроки исправдома, где находились в значительно лучших условиях.

Крупные воры и бандиты встречались на Соловках единицами. Поймать их было нелегко при тогдашней организационной слабости ГПУ и УРО (уголовного розыска), а пойманные охотно принимались на службу в те же учреждения в качестве агентов, следователей, палачей, инспекторов. Начальником банд. отдела Московского ГПУ был некто Вуль, в прошлом атаман крупной бандитской шайки, широко известный в уголовном мире «мокрятник» (убийца); его помощник Шуба — тоже бывший бандит. Позже, по миновании надобности, всех их, в том числе и Вуля, расстреляли.

Аналогичный метод подбора ссыльных на Соловки был и на другом конце каторжного спектра — в среде политических, к которым тогда причислялись только члены социалистических партий. Армянские дашнаки, бакинские мусаватисты, не говоря уже о членах несоциалистических партий — кадетах, октябристах и монархистах, — в этот разряд не попадали. Политические на Соловках до 1926 года жили отдельно, в Савватьевском скиту, в значительно лучших условиях, работ не несли и пользовались помощью и покровительством представительницы Международного Красного Креста в СССР М. Андреевой, бывшей жены М. Горького. Крупные партийцы — социалисты-революционеры, меньшевики и бундовцы — попадали в строго замкнутый Суздальский изолятор, на Соловки же шли рядовые, по большей части примкнувшие к одной из социалистических партий лишь во время революции.

Основную массу соловецких каторжан того периода составляли каэры, осужденные по подозрению в контрреволюции, а рамки этого понятия были расширены до безграничности. Наиболее определенными группами каэров были офицерство (как белое, так и принявшее революцию) и духовенство. Но кроме них в этот разряд попадали самые разнообразные лица: камергеры двора, тамбовские мужики, заподозренные в помощи повстанцам, директора крупных фабрик в прошлом и кавказские мстители-кровники, фрейлины и проститутки, юнцы, осмелившиеся

танцевать запрещенный фокстрот, лицеисты, собравшиеся в день своей традиционной годовщины, китайцы-разносчики, матросы-анархисты, отставные генералы, их денщики, профессора, финансисты, валютчики, вернувшиеся из эмиграции сменовеховцы, заблудившиеся в РСФСР иностранцы... кого только не было!

Термины «бывший» или «знакомый с NN» служили ГПУ вполне достаточным основанием для ссылки. Улика же в активной контрреволюции или хотя бы тень ее вели не на Соловки, а к расстрелу. Действенными, активными контрреволюционерами на Соловках можно считать лишь офицеров Белых армий. Кстати сказать, эти офицеры были амнистированы декретом Ленина после победы над генералом Врангелем, но все же их ссылали и истребляли. Потенциальными пассивными каэрами были все соловчане, включая значительную часть шпаны и даже некоторых репрессированных чекистов.

Уродливость советской «юриспруденции» доходила до невероятных гротесков. Эстрадный куплетист-еврей Жорж Леон был сослан за... антисемитизм. В его репертуаре были одесские еврейские песенки, которые он исполнял с акцентом. Кому-то из власть имущих это не понравилось, и Жорж Леон поехал на Соловки, но здесь, в лагерном театре, с успехом пел те же песенки под аплодисменты не только лагерного начальства, но и верховного владыки — приезжавшего туда члена коллегии ОГПУ Глеба Бокия.

Брат большевицкого публициста и писателя Виктора Шкловского Владимир, самоуглубленный философ, абсолютно чуждый политике, был дружен с православным священником и принял от него на хранение подлежавшие «изъятию» крест и чашу. Это узналось, и еврей В. Шкловский был осужден как тихоновец, православный церковник.

Императорский, а позже красноармейский офицер В. Мыльников получил десять лет по делу о «заговоре Преображенского полка», хотя единственным знакомым ему преображенцем был поручик Висковский, учившийся с ним вместе в 3-й московской гимназии и после окончания ее ни разу с ним не встречавшийся.

На Соловках того времени гораздо труднее было найти человека, знающего конкретно предъявленные ему обвинения, хотя бы иллюзорные, чем абсолютно не представляющего, за что же, собственно говоря, он сослан.

В этом стиле велось тогда и предварительное следствие, значительно отличавшееся по форме от последующих периодов: и следователь, и подследственный были вполне уверены как в полной вздорности обвинения, так и в неизбежности репрессии. Поэтому следователь не стремился ни к выяснению деталей, ни к раскрытию сути дела. Было совершенно достаточно выяснить личность «бывшего» и узнать десяток фамилий его знакомых — «дело» было состряпано, обвиняемый

получал сообщение от прокуратуры о привлечении его по таким-то статьям, а потом — столь же краткий, содержавший лишь номера статей, приговор «заочного внесудебного решения» коллегии или особого совещания... и он был на Соловках, где, по словам песни:

...попы, шпана, каэры
Доживают век.
Там статья для всех найдется,
Был бы человек!..

Человек в те годы еще находился, и даже в достаточном количестве.

Начиная с 1927—1928 годов тип каэра-интеллигента в советских концлагерях начал исчезать. Резервуар иссякал. На Медведке, на Беломорском канале (период, описанный И. Солоневичем) каэра уже сменял «вредитель», незадачливый или проворовавшийся хозяйственник, экономическая «контра», «хвостисты темпов развития» и т. д. Это действовала пятилетка. Коллективизация бросила в концлагеря гигантскую волну раскулаченных крестьян. Позже специфика концлагерного типа окончательно утратилась. Различие между концлагерным и вольным принудиловцем стерлась (период, описанный М. Розановым).

Человек-личность уходил в прошлое. Его место занимала безликая рабсила, робот-каторжник, «гражданин» эпохи победившего социализма.

Часть вторая.
НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

Глава 1. И мы — люди

В одной из первых партий 1923 года на Соловки прибыл провинциальный актер Сергей Арманов.

Кремль того времени по своему внешнему виду был далек от того кипящего своей особой каторжной жизнью муравейника, в который он превратился в 1925 году. В центре его мрачно чернели обгорелые купола громады Преображенского собора, дворы были завалены мусором и обломками... Сорванные двери, разбитые окна... Пожарище...

Первый революционный захватчик мощного, богатого и образцово благоустроенного монастыря — Кемский земельный отдел Архангельского совдепа — прежде всего занялся грабежом богатств, накопленных трудолюбивыми монахами за 400 лет, но не успел вывезти и половины, как пришел приказ Москвы передать острова ГПУ.

Новый хозяин шутить не любил и упускать свое «наследство» тоже не собирался. Грабители прибегли к старому испытанному способу — подожгли мона-

стырь, чтобы замести след. Сильно пострадал замечательный пятиярусный иконостас работы суздальских мастеров XVII века, погибла в огне большая часть архива с грамотами московских царей и новгородских посадников, многие ценности ризницы, но толстые, навек сложенные стены жилых корпусов устояли. Они спасли от огня и палаты архимандрита, его малую домовую церковь и сводчатую, темную трапезную братии. В эту трапезную и попали прибывшие.

Если бы сценический талант Сергея Арманова был равен хотя половине его великой, пламенной любви к театру, то он, Арманов, несомненно, превзошел бы в славе своей и Тальма, и Гаррика, и Мочалова... Вся вселенная представлялась ему лишь огромной сценой, на которой Великий Режиссер разыгрывает нескончаемую трагедию. Даже сидя под следствием в Бутырках, он ухитрился и там, в набитой до отказа общей камере, составить нечто вроде труппы-варьете с танцорами, певцами, декламаторами и китайским фокусником.

Новоприбывшие наскоро сбивали нары из обгорелых досок, а в воображении актера Арманова уже горели огни рампы в глубине трапезной, где еще стоял крепко въевшийся за 200 лет в стены запах неизменной монастырской ухи из трески.

Наутро, когда дежурный конвоец заорал во все горло: «На поверку становись! Живо!» — перед ним вынырнула из темноты тощая длинная фигура.

— К врачу, что ли? Потом заявишь! Становись!

— К начальнику лагеря.

— А ты кто будешь, растакой-сякой?

— Известный артист Арманов! — прозвучал гордый ответ.

— Знаем... Здесь все артисты... Становись!

— Театр устрою!

Это было сказано так уверенно и внушительно, что произвело впечатление. В полдень Арманов уже излагал свой план начальнику отделения Баринову, а вечером шнырял по темным коридорам, спотыкался о валявшиеся там бревна и доски, падал, чертыхался, наступал на чьи-то руки и ноги, но неутомимо, упорно искал желавших играть на сцене без освобождения от работы, после 10—12 часов тяжелого труда на морозе.

И нашел.

Репетировали, вернувшись с работ и наскоро похлебав баланды из голов соленой трески. Собирались на репетиции туго, порой с руганью, но, начав повторять за суфлером, режиссером и главным актером Армановым слова роли, просыпались, оживали: распрямлялись спины, загорались глаза.

Электростанция еще ремонтировалась, света не было. В келье горел единственный, добытый тем же Армановым огарок. Культурно-просветительная

часть административного аппарата тоже не была еще организована. Она создалась позже, после первого спектакля, как надстройка над уже начатой «снизу» культурной работой.

Часть актеров выбыла после первых же репетиций: одни сами бросили, другие оказались никуда не годными. Арманов нашел им замену, и через две недели на замшелой кремлевской стене, около главных ворот, красовалась первая на Соловках, тщательно, с соблюдением всех тонкостей театральных традиций, выписанная разведенным химическим карандашом афиша:

СОЛОВЕЦКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
И КОМЕДИИ

1. МЕДВЕДЬ

Миниатюра А. П. Чехова
Участвуют: АРМАНОВ, Овчинников, Рахман

2. СТАКАН НЕФТИ

Злободневный политический гротеск Н. Б.
Участвуют: АРМАНОВ, Климов, Красавцев,
Чекмазов

3. Грандиозный разнообразный дивертисмент

Кавказские танцы. Хор сибирских бродяг.
Цыганские романсы. Куплетист Иван Панин
в своем репертуаре. Соло на балалайке —
виртуоз Лепеша.
Участвует вся труппа
Вход по билетам
Худ. рук. С. АРМАНОВ Режиссер С. АРМАНОВ
Дирекция С. АРМАНОВ.
Начало в 7 часов вечера

Единственный раз в жизни Сергея Арманова осуществилась его заветная мечта: его фамилия красовалась на афише, написанная крупнейшими буквами. Потом лагерное начальство запретило выделять кого-либо из артистов.

Но в тот знаменательный день Арманов, несомненно, заслуживал лаврового венка. Им было сделано всё: сцена из опрокинутых шкафов, в которых хранилась прежде посуда трапезной, декорации из побеленных известкой мешков, из них же занавес, грим из клюквы и сажи, пудра из отсеянной муки... Даже текст «Медведя», который он записал по памяти, с некоторыми, правда, дополнениями... но, думается, простит их ему никого не осудивший при жизни автор!

Вторая пьеса была взята из случайно нашедшегося у кого-то номера журнала «Синяя блуза». Героем его был «фашист» Детердинг.

Нужна ли была эта афиша в концлагере, где каждый случайно пущенный слух разносится мгновенно по арестантской «радиопараше»?

Нужна. Перед ней беспрерывно толпились, читали, перечитывали, уходили и снова к ней возвращались, находя в ее чтении какое-то непонятное наслаждение.

Нигде так не любят, не ценят своего театра, как на каторге. Нигде так не гордятся им и актеры и зрители.

Это видел еще Достоевский на представлениях «Кедрила-обжоры». Видел и понял. Но не сказал почему.

Театр на каторге — экзамен на право считать себя человеком. Восстановление в этом отнятом праве. Афиша — диплом на это звание и для актера и для зрителей. Вот почему перед нею толпились.

— И мы — люди. Все-таки как-никак, а — люди. Несмотря ни на что — люди!

Позже, когда спектакли стали регулярными и сам театр превратился в профессиональный, яркость этого ощущения утратилась, но тогда, на пожарище, каждый из читавших афишу, не сознавая, чувствовал это, ради этого ощущения перечитывал ее и, отойдя, возвращался к ней вновь.

Создатель первого соловецкого каторжного театра третьеразрядный провинциальный актер Сергей Арманов имел полное право начертать аршинными буквами свое имя!

Когда выяснилось, что больше половины мест в зрительном зале получат солдаты Соловецкого особого полка, охрана и начальство, спектакль чуть не сорвался.

— Не для них после работ репетировали!.. — негодовали актеры, и только обещание повторения спектакля удержало их от отказа играть, хотя знали, что это будет сочтено саботажем и репрессии неизбежны.

Билеты распределялись через ротных командиров, и для получения их нажимались все пружины всемогущего блата. Не обошлось и без барышничества, и цена за билет доходила до десяти хлебных пайков — стоимости крепких ботинок на каторжанском рынке.

Сказать трафаретно «спектакль прошел с шумным успехом» значило бы обокрасть Арманова в день зенита его славы. Хлопали до онемения ладоней, стучали ногами, завывали воплями вызовов... Было забыто всё: каторга, непосильный изнурительный труд, безмерное унижение, голод, поджидавшая многих смерть...

Огни рампы, вспыхнувшие в монашеской трапезной, творили свое чудо преображения. На сцене из поваленных шкафов их свет превращал заурядного акте-

ра Арманова только в могущественного миллиардера Детердинга, но на скамьях зрителей он претворял в людей отчаявшихся ими быть...

***

На следующий день в приказе по УСЛОНу было отдано распоряжение об организации воспитательно-просветительной части, начальником которой был назначен Неверов, чекист-хозяйственник из сельских учителей, бесцветный, но мягкий по характеру человек, вероятно большой неудачник в жизни, чем лишь и можно объяснить то, что на Соловках он был чуть ли не единственным прибывшим туда добровольно. В помощники ему для фактического руководства работой дали бывшего начальника ЧК Закавказья Д. Я. Когана, сосланного на предельный срок (тогда десять лет). До революции Коган считался крупным подпольщиком и теоретиком марксизма, конкурентом Кирова и Орджоникидзе, что, кажется, и загнало его на Соловки.

Вскоре из Бутырок[3] было получено несколько тысяч книг, начала работать библиотека.

Театр стал постоянным, но его актеры освобождены от работ не были. Однако само помещение театра в бывшей монастырской трапезной было хорошо оборудовано. Сцена, зрительный зал, освещение, декорации — все было сделано под руководством бескорыстного слуги Мельпомены Арманова, и, выполнив предназначенное ему судьбой дело, он отошел на задний план, уступив место вновь прибывшему старому провинциальному комику М. С. Борину, широко известному на юге России.

Макар Семенович Борин был тертым калачом. Три десятка лет работы в провинциальных антрепризах дали ему не только глубокое знание сцены, но и, может быть, еще более глубокое знание человеческой души.

Через несколько дней после высадки на острове он вполне ориентировался в сложной и запутанной системе внутренних соотношений каторжного муравейника, понял, что Неверов — нуль, хоть и числится начальником ВПЧ, вся же сила в руках Васькова, грубого полузверя, но вместе с тем и очень глупого человека, которым, в свою очередь, управлял умный и деловитый Коган, а Когану нужно показать товар лицом. Он-то знает толк и разберется в качествах актера. Поэтому для своего соловецкого дебюта Борин выбрал «Лес» и выступил в сотни раз игранной им, испытанной и проверенной роли Аркашки. Несчастливцева играл Арманов.

---

[3] До революции заключенные в Бутырской тюрьме твердо держались традиции оставлять в ней при выходе или переводе присланные им в тюрьму книги. Это вместе с большими покупками за счет казны создало в Бутырках крупный книжный фонд. ГПУ многое изъяло, но бутырская библиотека и теперь насчитывает несколько десятков тысяч томов. — *Авт.*

Опытным, наметанным глазом старого лицедея Борин нащупал среди энтузиастов-любителей сносных и даже хороших исполнителей других ролей и «показал класс».

Разница между ним и Армановым была ясна, и Борин стал первым освобожденным от других работ руководителем соловецкого театра.

Действуя и дальше «тихой сапой», он клал на свою стройку кирпич за кирпичом: выпросил сначала освобождение от работ для нескольких ведущих актеров, потом еще для десятка, «прикрепил» к театру технический персонал: портного, парикмахера, бутафора, плотников...

Через год в новом, изящно отделанном по эскизам ссыльного художника Н. Качалина и прекрасно оборудованном театре на 1500 мест М. С. Борин давал перед приехавшей на Соловки во главе с «самим» Боким, заместителем Менжинского, комиссией действительно блестящий парадный спектакль — «Бориса Годунова» А. С. Пушкина, в собственных, выполненных художниками-каторжанами декорациях и роскошных костюмах, сшитых из нераскраденных, в силу невозможности сбыть, запасов парчи монастырской ризницы.

Глава 2. Последний из могикан

Это был длившийся два-три года период максимального напряжения культурной жизни соловецкой каторги. Старая интеллигенция составляла около половины ее населения и беспрерывно пополнялась новыми ее представителями всех видов и всех профессий. Традиции русской культуры, надломленные революционной бурей, были еще живы и действенны. Приспособленчество в те годы еще не растерло личность в порошок. «Последние могикане» русской интеллигенции тогда не только помнили, но и ощущали и несли в себе ушедшее «вчера». Духовенство высоко держало крест, офицерство хранило устои долга и чести, юристы — их было много на Соловках того времени — стройное представление о праве и законности, артисты и художники — стремление к свободе творчества и бескорыстному служению искусству.

Все это находило свои формы выражения даже в условиях каторги — вернее, открытой могильной ямы, в которую упоенный победой всероссийский Шигалев сбрасывал огулом действительных и возможных врагов грядущего коммунистического рабства.

Соловецкий театр первых лет своего существования выражал эти еще жившие тогда традиции ярко и полноценно. Он мог сделать это, так как в нем нуждались сами тюремщики, как в яркой вывеске, кричавшей культуре, и в силу этого предоставляли соловецкой сцене относительную свободу — как это ни странно, но значительно большую, чем та, которую имел театр тех лет на материке.

В репертуаре соловецкого театра 1923—1927 годов агитка почти отсутствовала и шли даже запрещенные в РСФСР пьесы, как, например, «Псиша», «Старый закал», «Каширская старина», «Сатана» (Гордина).

— Попов и генералов все равно не сагитируешь, а гнилую шпану и агитировать не стоит! — изрек, разрешая их, зам. нач. управления лагерями Эйхманс.

Думается, что этой фразой он не только прикрывал свое личное желание видеть полноценные, интересные спектакли (театр он любил), но и выражал взгляды коллегии ОГПУ, смотревшей тогда на этот первый концлагерь только как на свалку недобитых буржуев, последышей...

Тенденция эксплуатации труда заключенных зародилась позже 1926—1927 годов. Тогда же, до 1926 года, значительно большая, по сравнению с материком, свобода предоставлялась и выходившему несколько позже «толстому» ежемесячнику «Соловецкие острова», в котором шли далеко не «созвучные эпохе» воспоминания последнего царского резидента в Хиве генерала Зайцева, очерки сменовеховца Н.К. Литвина, бывшего ростовского журналиста, рассказы и повести Б. Глубоковского, автора этих строк и др.

***

М. С. Борин, как опытный старый актер, строил репертуар, прежде всего, на самом себе. Аркашка Счастливцев, Расплюев, Шмага, Фердыщенко из запрещенной тогда на материке сценической переработки «Идиота»... Все классические образы русского комического жанра прошли в его исполнении перед глазами соловецких зрителей. Репертуар он строил на наиболее ходких пьесах предреволюционной русской драматургии. Шли «Дети Ванюшина», «На дне», из иностранных — «Потоп», «Коварство и любовь», «Сверчок на печи»... Очень жидкую «революционную» часть репертуара составляли «Поджигатели» Луначарского, «Рабочая слободка» Е. Карпова, шумевший тогда в театре Мейерхольда «Мандат» Н. Эрдмана.

О грубой агитке, заполнявшей уже сцену РСФСР, на Соловках не было и помина.

Сценическая культура и техника соловецкого театра того времени стояла на такой ступени, что несколько позже, когда актеры были освобождены от общих работ, он мог ставить по две премьеры в месяц. Раз даже была постановлена оперетта «Тайны гарема» с оркестром, хором и балетом, причем «танец негритят» исполняли... дети комсостава Соловецкого особого полка, обученные артистом балета каторжником Шелковниковым.

Странные, полные контрастов отношения были между тюремщиками и каторжниками в спутанные, неустоявшиеся годы взвихренной Руси. Конвой ох-

раны вечером с жаром, до самозабвения аплодировал тем, кого наутро мог пристрелить или заморозить в лесной глуши.

Автор этих строк играл в скетче своего сочинения, являясь на спектакль и репетиции непосредственно из строгого карцера, куда он попал за неумеренный протест против несправедливостей надсмотрщиков, штат которых был сформирован из грузин-меньшевиков — участников восстания 1923 года.

Кто же играл на соловецкой сцене?

Те, кто ее любил. Те, для кого она была не средством переключиться на более легкую работу, но возможностью развернуть свою, порой неосознанную, потребность творчества.

Почти целый год актеры репетировали и выступали после выполнения ими тяжелого урока в лесу. Более того, в день спектакля они старались возможно раньше выполнить норму, чтобы успеть до начала его привести себя в порядок, побриться (это было нелегко: иметь бритвы при себе не разрешалось), выпросить у приятелей недостающие принадлежности костюма, повторить роль или немного отдохнуть...

Эта тяжесть работы на сцене создала естественный отбор, который определил ядро труппы. Оно было очень пестро и по социальному составу, и по уровню общей культуры. Вместе с изящным сенатским чиновником, питомцем лицея и учеником Варламова Кондратьевым выступал полуграмотный казак-бандит Алексей Чекмаза; рядом с древней рыцарской фамилией правоведа барона фон Фицтума стояла блатная кличка Сёмки Пчёлки — вора-рецидивиста, который и сам после многих перемен своей бурной жизни, вероятно, позабыл свое подлинное имя. Актеры-профессионалы Глубоковский из Камерного, Красовский из 2-го МХАТа и другие не выделялись, но сливались с остальными.

Среди актрис профессиональных совсем не было, но и здесь наблюдалась такая же пестрота: кавалерственная дама, смолянка, вдова командира одного из гвардейских полков Гольдгойер выступала вместе с портовой притонодержательницей Кораблихой, волею судеб попавшей на Соловки вместе с мятежными кронштадтскими матросами. На Соловках в ней обнаружился яркий талант амплуа комических старух.

Параллельно со сценой развивалась и концертная эстрада. Не говоря о многих певцах, скрипачах и пианистах, к 1926 году были созданы приличный духовой и симфонический оркестры. Девять десятых программы занимала серьезная музыка. Здесь, как и на сцене, можно было слышать то, что не допускалось за пределами лагеря: запрещенного «белобандита» Рахманинова, «Чуют правду» в исполнении дантиста-шпиона Ганса Милованова, обладавшего сверхмощным, но абсолютно не обработанным басом, повергавшим шпану в мистический ужас.

Театр был первым зерном культуры на соловецкой каторге. Он вызвал своеобразные и единственно возможные там проявления общественности.

Глава 3. Зарницы с Запада

Из взбаламученного моря отвергшей свое имя России на Соловки летели брызги каждой вздымавшейся там волны. Случайно спасшиеся от расстрела на фронте пленные деникинцы и колчаковцы, участники офицерских заговоров и восстаний, кронштадтские матросы, крестьяне-повстанцы средней России, повстанцы-грузины, ферганские и туркменские басмачи... Потом — причастные на самом деле или припутанные, «пришитые», как говорили на Соловках, к громким «показательным» процессам: церковники-тихоновцы, федоровцы, баптисты и даже несколько масонов, а вместе с ними и хлопья пены уже вошедшего в полную силу НЭПа: валютчики черной биржи, растратчики, преимущественно из коммунистов (беспартийные шли в суд), первые «хозяйственники» — незадачливые дельцы советской торговли, а вместе с ними захваченные в облавах проститутки и торговцы кокаином. Пестры были толпы сходивших на соловецкий берег с парохода «Глеб Бокий».

Далекий, но не замкнутый еще тогда «железным занавесом» свободный зарубежный Запад тоже бросал свои блики на эти серые волны прибывающих на каторжный остров «пополнений». На Соловках эти отблески европейской жизни преломлялись гротескно, порой уродливо: в аспекте тех сумбурных, бродивших, как сусло, лет.

Наиболее ярким из этих отблесков были, пожалуй, «русские фашисты» и «фокстротисты», а самой выпуклой, блесткой фигурой первой из этих групп был характерный представитель московской предреволюционной богемы, артист Камерного театра, журналист и, несомненно, талантливый, хотя так и не успевший развернуться, беллетрист Борис Александрович Глубоковский[4].

Искристая и разнообразная талантливость так и сверкала во всем, за что он только ни брался. Блестяще окончив Московский университет, Глубоковский имел полную возможность быть оставленным при нем и обеспечить себе научную карьеру; он мог также, избрав адвокатуру, стать помощником видного присяжного поверенного, кажется, Ледницкого (позже первого посланника Польши в СССР). Речью он владел превосходно, а темперамент и глубокий, раскатистый «львиный» голос делали его не только увлекательным, но огненным, умевшим захватить слушателей оратором. Но Глубоковский метнулся к театру. Таиров охотно принял его в свой стоявший тогда в зените славы Камерный театр и начал вы-

[4] Все имена и фамилии, приведенные в этой главе, точны. Я не боюсь этого делать, так как подавляющее большинство этих лиц уже мертвы. Повредить им я не могу. — *Авт.*

двигать, давая столь значительные роли, как, например, Тигиллин в «Саломее» Уайльда. Удачно шла и журналистика, которая тоже влекла Глубоковского. Позже некоторые его рассказы проникли даже в зарубежное «Накануне».

Но Глубоковский был столь же беспутен, сколь и талантлив. Беспутен почти в буквальном значении этого слова: поехав, например, с Камерным театром в турне по Европе в начале двадцатых годов, он ухитрился «потерять» его в Берлине, а сам очутился в Мадриде, откуда его доставил к месту службы советский полпред. Это путешествие по Европе косвенно послужило ему путевкой на Соловки.

В то время, в первые годы НЭПа, в Москве имел большой успех ночной артистический кабачок «Бродячая собака», открытый широко известным в богемных кругах ловким предпринимателем Борисом Прониным[5].

В этом подвале на Кисловке после двух часов ночи можно было видеть многих известных артистов и литераторов: там шумел Есенин, всегда сопутствуемый более чем сомнительной компанией; порой маячила одутловатая маска только что вернувшегося из эмиграции и еще нащупывавшего почву А. Н. Толстого; забредал туда и Луначарский в окружении своих «цыпочек» с Н. И. Сац в роли дуэньи. Артисты мешались с коммунистами и нэпачами, не обходилось, конечно, и без агентов ОГПУ, получавших в «Бродячей собаке» широкие возможности подслушать вольные спьяну разговоры. Скрипки оркестра надрывно тянули:

Все то, что было,
Все то, что ныло,
Все давным-давно уплыло...

В уборной открыто торговали кокаином, на полу валялись окурки толстых «Посольских» папирос, густо измазанные кармином губной помады; приехавший из Парижа поэтик Борис Парнок танцевал тогдашнюю новинку монмартрских кабачков — фокстрот и формировал в театре Мейерхольда первый в Москве джаз...

В этой-то болезненно-удушливой атмосфере и родился характерный для тех безвременных, сумбурных лет Союз русских фашистов.

Назвать этот союз в какой-либо мере политической партией или хотя бы заговором было бы только смешно. Период офицерских подпольных организаций к тому времени уже закончился, утопив себя в крови, пролитой в подвалах ГПУ. Крестьянское сопротивление коммунизму было парализовано иллюзиями НЭПа, но порывы к борьбе продолжали вспыхивать, порой в самых неожиданных и даже нелепых формах. Одной из таких был «русский фашизм», зародившийся из отзвуков на скудные сообщения советской прессы о победе Муссолини над коммунизмом.

---

[5] Подробнее о колоритной для того времени фигуре Бориса Пронина, оказавшегося агентом ЧК, читатель может узнать из очерка о нем, данного Г. Ивановым в его интересной книге «Петербургские зимы». – *Авт.*

Идеологии итальянского фашизма никто из «русских фашистов» не знал даже в общих чертах, однако организации того же типа возникали и в Москве, и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе. Их брызги долетали до Соловков.

Психологической основой этих организаций был протест первых ощутивших разочарование в революции и не осознанная еще ими тоска по разрушенной и поверженной русской культуре, звучавшая даже в поднятых тогда на щит, а позже запрещенных новеллах Бабеля. Думается, что именно он и некоторые замолкшие теперь поэты были выразителями настроений этих разочаровавшихся бунтарей.

Несколько молодых поэтов из числа многих, заполнявших тогда эстрады «Домино» и «Стойла Пегаса»[6], столь же молодых журналистов и актеров, полных не перебродившей еще революционной романтики, распаленных вином и кокаином, вошли в эту группу. Число ее членов не превышало 20—30 человек. Какой-либо оформленной программы не было. Конспирация была детски-наивной. Собрания Союза русских фашистов происходили главным образом в подвале «Бродячей собаки», и на одном из них после обильных возлияний стали «распределять портфели будущего фашистского правительства». Кандидата, достойного занять пост министра иностранных дел, не нашлось, и портфель был предложен сидевшему за соседним столиком, уже много выпившему Глубоковскому как только что вернувшемуся из-за границы и «осведомленному в вопросах международной политики».

Вся эта история была бы только глупым и смешным анекдотом, если бы не окончилась расстрелом одиннадцати и ссылкой нескольких десятков человек. Все они были молоды и многие из них — талантливы.

Глубоковский получил десять лет концлагеря. Остальные «члены правительства» погибли. Он же, отбыв срок, вернулся в Москву для того, чтобы там умереть, отравившись морфием. Случайно или намеренно — я не знаю.

Попав на Соловки, Глубоковский быстро выделился из общей массы. Уже окрепший к этому времени театр испытывал острую нужду в актере именно его жанра — в «герое». После первого же дебюта в роли Рогожина (сценическая переработка «Идиота» Достоевского) Глубоковский был освобожден от общих работ и закреплен за ВПЧ в качестве актера и лектора.

Лектором он был интересным, даже захватывающим, но своеобразным: его мозг прекрасно работал в аналитическом и критическом направлениях, но был абсолютно бессилен при синтезе и еще более — в области конструктивной, созидательной работы мысли. «Разделать под орех» было его специальностью, и «разделывал» он смело, ярко и забористо кого угодно и что угодно.

---

[6] Два московских «кафе поэтов» того времени, в которых собирались и читали свои произведения представители многочисленных тогда поэтических течений: имажинистов, акмеистов, эгофутуристов, ничевоков и проч. Тоже характерное для тех лет явление. — *Авт.*

Носил ли он в себе какой-либо идейный костяк или хотя бы определенные непоколебимые идейные устремления? Я знал его близко и смело говорю: нет. Никаких. Он был только кислотой, быть может даже ржавчиной, разъедающей все, чего он касался. Эта характерная для него черта была созвучна первым симптомам спадания волны революционного пафоса, разочарования в революции, вылившаяся позже в горькую ходкую формулу: «За что боролись?»

Еще меньше идейного содержания несла в себе вторая группа соловецких «западников», прозванная «фокстротистами». Ее составляли молодые люди, в большинстве из средней московской интеллигенции, виновные лишь в том, что хотели, по праву своего возраста, веселиться. В Москве они собирались на уцелевших еще кое у кого больших квартирах, чаще всего у расстрелянного позже и по другому делу крупного железнодорожного деятеля фон Мекка, и танцевали только что входивший в моду фокстрот. Их «дансинги» были сочтены заговором, хотя «фокстротисты», по крайней мере подавляющее большинство их, были до смешного безграмотны в политике и абсолютно чужды ей.

Но среди них были прекрасные пианисты Б. Фроловский и Н. Радко, ученик Игумнова, был недурной эстрадный танцор Н. Рубинштейн, умерший на Соловках от туберкулеза, акробатический танцор школы Форренгера Н. Корнилов, поэт Б. Емельянов — блестящий версификатор, выступавший в московских нэпических кабаре с мгновенными экспромтами на заданные публикой темы, талантливый младший режиссер 2-го МХАТа Н. Красовский. К ним примыкал также осужденный по другому делу и иной по своему внутреннему укладу, серьезный и глубокий поэт Н. Бернер, один из немногих уцелевших с тех времен и вырвавшихся в волне второй эмиграции, ныне здравствующий и печатающийся в газетах зарубежья под псевдонимом Божидар. Это была талантливая молодежь.

«Фокстротисты» были тоже богемой, но иного типа, чем та, из среды которой вышел Глубоковский. До революции они были благовоспитанными мальчиками «из хороших семей». Ее шквал разметал уюты их быта. Отцы лавировали между подвалами ГПУ и местом спеца при каком-нибудь наркомате, матери продавали на Сухаревке ставший ненужным балластом фарфор и хрусталь из распиленных на дрова буфетов, а сами они, полностью чуждые революции, слепо тянулись к маячившим где-то «огням Бродвея» и жадно ловили долетавшие оттуда обрывки шумов свободной жизни, без очередей, уплотнений, обысков, полуголода...

Подушки смятые, подушки алые,
Духи «Коти», коньяк «Мартель».
Твои глаза, всегда усталые,
И губы, пьяные, как хмель...

Так звучал их гимн. Мало ли было таких тогда? Изредка в сходившей с парохода толпе «пополнений» мелькали сменовеховцы, больно ушибшиеся о Запад и оттолкнувшиеся от него. Таким был Н. К. Литвин, журналист, до революции сотрудник крупных либеральных ростовских газет, потом эмигрант с Графской пристани, прошедший через Галлиполи и блуждания по Балканам с какой-то импровизированной эстрадной труппой. Оттуда — в Берлин. Волна послевоенного шиберства не захлестнула, не вовлекла в себя нежную лирическую душу Н. К. Литвина, он стал чужим и одиноким даже в среде эмиграции, подобно многим сходным с ним натурам, например Огнивцеву. Молчаливо, застенчиво улыбаясь, садился он в уголке той кельи, где собиралась по вечерам шумная компания «неунывающих соловчан», и слушал ее споры, не вступая в них сам, смотрел со стороны на мелькавшую перед его глазами сутолоку, не врастая, не вживаясь в нее. Таким он ушел с Соловков в Сибирь, куда ему дали дополнительный срок. Много позже, увидев мою подпись в какой-то газете, он прислал мне письмо с Енисея, где работал поваром артели рыболовов, и там также был чужим, также смотрел со стороны, не вливаясь в течение жизни, пока смерть не унесла его из нее.

Но и шиберство Запада брызнуло на Соловки несколькими своими каплями. Одной из них был Миша Егоров, по кличке Парижанин.

Я увидел его впервые в общей камере Бутырской тюрьмы, куда Миша был доставлен... непосредственно из Парижа.

Хлопнула дверь, и, как всегда, все воззрились на «новенького».

Было на что посмотреть! Перед нами стоял великолепно одетый молодой человек, державший в одной руке залепленный яркими рекламами отелей желтый заграничный кофр, а в другой — огромную голубую бомбоньерку. За ту же руку была элегантно зацеплена трость, а с плеча ниспадало шикарное, длинное по тогдашней моде, полосатое шелковое кашне. Пораженная этим необычайным для Бутырок явлением, камера смолкла.

Прибывший несколько удивленно обвел нас глазами, протянул: «Н-да-а-а... — и вдруг широко улыбнулся: — Бонжур, честная компания!» Через час мы все уже знали трагикомическую эпопею Миши. Его отец был довольно известным московским средней руки купцом, что не помешало сыну стать уже в 1917 году коммунистом. После Октября он, как знакомый с коммерцией, был направлен в Париж в торгпредство. Там...

— Пожил, ребятки! И хорошо, чорт возьми, пожил! — мечтательно улыбаясь, рассказывал Миша. — Париж — это, знаете ли... не Хамовники!

Парижская жизнь Миши была оборвана срочным вызовом в Москву. Миша поехал, полный, как всегда, самого радужного оптимизма, прихватив даже огром-

ную коробку дорогих конфет для дамы своего сердца. Так, вместе с этой коробкой и желтыми кофрами, полными модных новинок, он и угодил в Бутырки, будучи арестованным при выходе из вагона экспресса Париж—Москва.

Что именно послужило причиной краха карьеры Миши — знакомство ли с парижскими эмигрантами, с которыми он весело покучивал в монмартрских кабачках, или слишком свободное обращение с подотчетными суммами торгпредства, — установить не удалось, но приобретенный в Париже шарм не покидал его даже на Соловках. Там Миша быстро устроился на какую-то легкую работу и разгуливал по монастырским дворам с той же тростью, в том же шелковом кашне и надетой набекрень фетровой шляпе...

Эти, казалось бы, столь различные люди (что общего могло быть между бежавшим от шиберства тихим лириком Литвиным и нашедшим в том же шиберстве свою стихию Мишей?) слились на Соловках в тесный, дружный кружок. Что их сближало и роднило? Теперь, вглядываясь в минувшее, я улавливаю стимулы этого сближения. Один из них можно назвать бездомностью, неумением найти свое место в новых, еще не выкристаллизовавшихся формах изломанной жизни. Другой — поиск этого места, неразрывная с молодостью жажда самопроявления и самоутверждения. Первый рождался из необорванных связей с ушедшим. Второй — из стремления влиться в современное, в будущее, из того, чего не было у старшего поколения, целиком отмежевывавшегося и от настоящего, и от будущего перетряхнутой сверху донизу России. Сочетание этих двух противоречивых друг другу начал сближало их носителей между собой и одновременно отталкивало их от целиком ушедших в свое прошлое и полностью отвергавших настоящее заброшенных на Соловки «бывших людей».

Этим группам соловецкой интеллигентной молодежи предстояло вовлечь сюда и другие, сходные с ними по психике элементы и оформиться в том, что носило на Соловках имя ХЛАМ.

Глава 4. ХЛАМ

Дело происходило зимним вечером 1924 года в «Индийской гробнице» — камере чистокровного индуса Набу-Корейши, где он иногда угощал нас после спектакля настоящим черным кофе с сахаром и печеньем — редкостным лакомством на Соловках. Корейша, сидевший на Соловках «за шпионаж», был представителем большой индийской фирмы, торговавшей джутом, и получал от нее крупные суммы в иностранной валюте. На руки ему этих денег не давали, но он мог закупать на них что ему угодно и сколько ему угодно в закрытом кооперативе НКВД. Это богатство давало ему не только освобождение от работ, но даже от-

дельную теплую и светлую келью. В ней-то, носившей у нас имя боевика экрана того времени — «Индийской гробницы», мы и обсуждали в тот вечер только что оконченный спектакль.

— Все это рутина, старье, заваль, — ораторствовал Миша Егоров, — нужно искать новых форм.

— Борин, что ли, на седьмом десятке лет жизни будет тебе их искать? — пренебрежительно бросил Глубоковский. — Таиров с Мейерхольдом пока еще не нашли и к нам сюда не доставили.

— Можно и без Таирова обойтись... самим... — изрек Миша.

— Кому это самим? Ты, что ли, поведешь к новым формам?

— Почему обязательно я? Сколько вас здесь: поэты, литераторы, артисты, музыканты... Создадим коллектив, организацию и начнем!

— А кто это разрешит тебе организацию?

— Разрешат, — уверенно заявил Миша. — Коган, безусловно, поддержит, Неверов под его дудку пляшет, а Васьков балда, что ему Коган подскажет по культурной части, то и будет. Берусь устроить! — заорал он.

Его практическая купеческая сметка не терпела отвлеченности и тотчас же отыскивала для нее реальные формы.

— Все хлопоты на себя беру! Ручаюсь! Сделаю!

Темперамент Миши хлестал из него бурным фонтаном и захватывал нас.

— А почему бы нет? Театр малых форм, но не по текстам «Синей блузы», а наш, соловецкий, — поддержал Егорова Акарский, деникинский офицер, в прошлом тоже близкий к московской богеме. — Литвин, Глубоковский, Ширяев подработают тексты, Глубоковский и Красовский — режиссура, а исполнителей всех видов: актеров, певцов, танцоров и музыкантов — на Соловках хватит! Будет успех — новые к нам потянутся, да и «пополнения» с каждым пароходом прибывают... Дерзнем!

— А как окрестим это дело? Название очень важно: попадем в тон начальству — разрешат, промахнемся — могила и черный гроб.

— Организация пролетарских...

— К чорту пролетарских!

— Цех...

— К дьяволам все цехи! Ты еще скажи худрабсила! Идиот!

— ХЛАМ! — неожиданно выпалил нескладный, длинный, как жердь, и вечно попадающий в нелепые положения поэт Борис Емельянов, восхищавший шпану своим черным плащом-крылаткой, в котором он разгуливал по Соловкам и летом, и зимой. — ХЛАМ! — уныло, но твердо повторил он.

— Ты что, окончательно сдурел? — уставился на него Мишка Егоров. — Мочевой пузырь в голову переместился?

— Ты дурак, а не я, — спокойно и так же уныло отозвался Емельянов. — Художники, литераторы, актеры, музыканты; начальные буквы «х», «л», «а», «м». То есть ХЛАМ.

Все застыли, как в финале «Ревизора».

— В точку! — завопил первым Мишка. — Что надо! Под таким названием не артистическую, а контрреволюционную организацию можно у Васькова провести! Ее двусмысленность всем понравится! Кончено, ХЛАМ — и никаких гаек!

Так в «Индийской гробнице» Набу-Корейши, коммерческого представителя бомбейской фирмы, присужденного к Соловкам за «шпионаж», родился если не самый яркий, то, во всяком случае, самый искренний и откровенный сценический выразитель настроений тех сумбурных лет, когда обрывки ушедшего сплетались с неясными, тонкими нитями, ведущими к туманному, неясному будущему русской культуры. Он родился на соловецкой каторге, потому что именно там в те годы было больше внутренней свободы, чем на материке, потому что там еще светилась бледным пламенем неугасимая лампада духа. Только там, в охватившей Россию тьме безвременных лет.

***

Добиться разрешения на спектакль под маркой «свободного ХЛАМа», а не воспитательно-просветительной части было довольно трудно, но удалось, как и рассчитывал Миша Егоров, при помощи сочувствовавшего всем новым начинаниям партийца-интеллигента Когана. Все работали дружно, дополняя один другого. Никаких «целей» не ставили и «программ» не составляли. Каждый участник ХЛАМа действовал свободно, задумывая, разрабатывая и осуществляя задуманное.

Когда программа первого вечера определилась достаточно ясно и литературные тексты были готовы, выяснилось, что удельный вес злободневной соловецкой тематики значительно превышал остальные разделы программы вечера и некоторые фразы звучали слишком смело. Кое-кто приуныл.

— Прихлопнет Васьков наш ХЛАМ еще до его рождения. Перехватили ребята. Надо потише, поосторожнее... — слышались голоса робких.

Но неробкие упорствовали:

— В этом-то и сила! Увидите, что как раз это понравится. Ведь им самим надоела агитационная жвачка. Только бы цензуру Васькова проскочить. Он по глупости может зарезать.

Начальник адм. части Васьков был, действительно, редкостным болваном и тупицей, но, к счастью — для самого вообще, а для ХЛАМа в тот момент, — он сам отчасти сознавал свое тупоумие и маскировал его, чутьем подбирая себе дельных помощников и перекладывая на них работу. По идеологической и пропагандной части он слепо вверялся умному, широко и глубоко эрудированному Когану и поэтому, не читая, подписал представленную им программу ХЛАМа.

Миша Егоров угадал и то, что соловчане разом, еще до появления ХЛАМа на сцене театра, отнесутся к нему сочувственно именно потому, что он был свободным, формировался по инициативе и силами самих каторжан, а не воспитательно-просветительной части и был подчинен ей лишь формально вследствие мягкотелости начальника ВПЧ, с одной стороны, и крепкой поддержки Д.Я.Когана — с другой.

К ХЛАМу потянулись уже выявившие себя сценические силы и новые, проявлявшиеся порой там, где их совсем нельзя было ожидать, например уже в пожилой кавалерственной даме, жене командира одного из блестящих гвардейских полков, не имевшей ничего общего с ядром ХЛАМа — московской богемой. Эта генеральша Гольдгойер на шестом десятке лет обнаружила в себе яркие и своеобразные сценические способности. Вместе с нею вступили в ХЛАМ прекрасно танцевавшая столбовая дворянка-помещица Хомутова-Гамильтон, «леди», как звали ее на Соловках, и именитая московская купчиха «чайница» Высоцкая. Они вполне ужились в атмосфере ХЛАМа и с молодежью, и с типичными профессиональными актерами, каким был, например, эстрадный куплетист-еврей Жорж Леон.

Вся эта пестрая, разноликая, разнохарактерная толпа была спаяна и крепко связана общим цементом — тоской по отнятым у жизни красочности и звучности, стремлением к личному, свободному, поскольку это возможно, творчеству, и странно, что эту максимальную из возможных по тому времени свобод мы находили именно на каторжном острове, на свалке, казалось, разбитой вдребезги русской культуры. Но на всей остальной площади Советского Союза это было уже невозможно. Там рожденное революцией «сегодня» уже заполнило пустоту, образовавшуюся на месте отброшенного, попранного «вчера».

Наконец вечер первого спектакля ХЛАМа настал.

Первым номером шла инсценировка популярного тогда романса «Шумит ночной Марсель». Ее героем был апаш, а действие развертывалось под надрывные звуки танго в портовой таверне, «где негр-слуга смывает с пола кровь».

Дешевая романтика темы была легко воспринята залом, и шпана дружно зааплодировала своему «героическому» западному собрату при первом его появлении.

Героя-апаша играл изящный белогвардеец Евреинов, артистически танцевавший танго — стержень действия пьесы, а его партнершей, загадочной «в перчатках черных дамой» — обученная им этому танцу... свояченица командира охранявшего нас Соловецкого особого полка!

Трудно верится теперь таким воспоминаниям. Но эта очень красивая и, как оказалось, талантливая девушка стала потом ярой «хламисткой», засиживавшейся на репетициях до поздней ночи и разделявшей все горести и радости «хламистов»-каторжан, хотя сама она была свободной. Сам командир полка Петров не протестовал против ее общения с заключенными. Наоборот, он даже поощрял посещение ею ХЛАМа, где она воспринимала манеры и шарм от каторжанок-аристократок.

Другим появившимся вместе с ней на сцене ХЛАМа монстром был пожилой морской офицер, капитан 1-го ранга князь О-ский. Он, к сожалению, был абсолютно бесталанен, и лишь снисходя к его упорным, чуть не слезным мольбам ему дали статическую роль того негра, который, по словам романса, «по утрам стирает с пола кровь» в портовом притоне. Князь вполне удовлетворился ею, густо вымазал сажей свое лицо и досаждал всем одним и тем же вопросом: «Типичный готтентот, не правда ли? Характерное негритянское лицо! Я видел точь-в-точь таких же на Мадагаскаре... А?».

Но вот занавес поднят. Ведущий певец под аккомпанемент гитар и мандолин струит в зал сладостно-тягучие строфы:

Шумит ночной Марсель.
В притоне «Трех бродяг»
Там пьют матросы эль
И женщины жуют табак...

Недоступное, недостижимое даже для мечты встает явью перед глазами, становится реальным, ощутимым... Огни рампы творят свое дивное таинство...

В перчатках черных дама
Вошла в притон и смело
Там негру приказала
Подать вина...

Нет, это входит уже не свояченица командира СОП и не изображающий блистательного «незнакомца» Мишка Егоров в извлеченном из чемодана умопомрачительном яростно-клетчатом жакете. Не вымазанный сажей князь О-ский ставит перед ними оплетенную соломой фиаску. Это...

Что это?

— Романтика папиросных реклам, — пренебрежительно процедил о постановке «Марселя» Глубоковский, и тогда я не возражал ему. Но теперь, оглядываясь на пройденную вереницу лет серой советской обезлички, истомленный нудной жвачкой затасканных слов, бескрасочностью, беззвучием расползшейся на всю Россию социалистической каторги-казармы, я понимаю, почему в зрительном зале соловецкого театра тогда стало тише, чем

В притоне «Трех бродяг»
Стало тихо в первый раз,
И никто не мог никак
Оторвать от дамы глаз.

Теперь я с глубокой благодарностью и хвалой вспоминаю тех, кто тогда захватил, сумел и смог показать соловецким каторжанам «музу дальних странствий», хотя бы и в аляповатом наряде «папиросной рекламы».

Пусть так. Свое — высокоодаренному поэту Гумилеву, но свое — и безвестному, безымянному бродяге. Они оба имели право на жизнь и радость.

Следующим номером шел мой сатирический скетч, заостренный против нашей «рабсилы» — надсмотрщиков из числа заключенных, в большинстве из грузин-повстанцев. Это был уже рискованный номер. Он начинался сценическим трюком: загримированные грузинами актеры, размахивая дрынами, врывались на сцену через зрительный зал и начинали загонять актеров-исполнителей на очередной ударник.

Трюк был настолько близок к соловецкой действительности, что публика приняла его всерьез. Кое-кто из шпаны побежал прятаться, а сам Эйхманс, встав с места, возмущенно закричал:

— Кто разрешил ударник? Убрать рабсилу к чорту!

После этого услышанного всем залом восклицания владыки острова осмелевшие актеры под сочувственный рокот зала стали с удвоенной силой метать отравленные стрелы сатиры в ненавистных продавшихся отщепенцев, заклейменных кличкой «ссученные»[7].

Но самый рискованный момент был еще впереди. Почти в конце программы шла коротенькая веселая пьеска с пением и танцами «Любовь — книга золотая», автором которой был Н.К. Литвин.

Надо пояснить, что любовь во всех ее видах была преследуема и гонима на Соловках, и уличенному в этом преступлении Ромео полагалось не менее трех месяцев Секирки, а Джульетте — столько же Зайчиков. И все же «золотая книга» — вечная книга — читалась.

[7] Слово «ссученный» (на жаргоне каторги — «подхалим», «продажная душа») происходит от слова «сука». Ссучиться — стать сукой. — *Авт.*

Специальным и утвержденным свыше гонителем любви в Соловецком кремле, ее Торквемадой и неутомимым охотником на Ромео и Джульетт, был ссыльный чекист Райва, одевавшийся всегда в длинную кавалерийскую шинель и носивший на голове неимоверно грязную белую кавалергардскую фуражку. Его фигура была известна всем, и пьеска Литвина заканчивалась именно ее внезапным появлением и паническим бегством застигнутых любовников.

Сам Райва сидел в первом ряду и с большим удовольствием смотрел программу.

Вдруг его точный двойник в неизменной кавалергардской фуражке выскочил на сцену и обратил в бегство слившихся в поцелуе счастливцев.

— Райва! — в диком восторге взвыла шпана.

Подлинный Райва инстинктивно схватился за голову.... На ней была на этот раз не традиционная фуражка, а надетая второпях перед спектаклем меховая ушанка.

Но на него уже, смеясь, смотрел весь первый ряд, и защитница соловецкой любви нач. санчасти М. В. Фельдман, жена члена коллегии ОГПУ, сосланная им самим на остров именно для охлаждения ее бурного темперамента, и грубый, но прямодушный Баринов, и сам Эйхманс.

К чести Райвы нужно сказать, что в дальнейшем он не мстил за «критику» и, получая обратно выкраденную у него перед самым спектаклем фуражку, лишь буркнул:

— В другой раз не сопрете. Спать в ней теперь буду.

Но воровать ее не пришлось ни вторично, ни третично: на повторные спектакли ХЛАМа Райва давал ее сам и, сидя в первом ряду, неизменно аплодировал своему сценическому двойнику.

— Ишь, с... дети, чего понастроили!

Совсем не так отнеслись к сатире на них надсмотрщики рабсилы. Они подали Эйхмансу официальное заявление, обвиняя автора скетча в подрыве их служебного авторитета, и требовали строгого его наказания и запрещения пьесы. Эйхманс порвал этот рапорт. Тогда они начали систематическую травлю меня и изображавших их на сцене актеров, назначая нас на самые тяжелые работы. Эта травля была прекращена тем же Эйхмансом, которому Коган доложил об их действиях.

Первый спектакль ХЛАМа имел бурный успех и в верхах, и в низах Соловков, главным образом потому, что в нем ощущалось робкое, едва заметное, но все же дыхание свободы, а тосковали по ней не только каторжники, но подсознательно и их тюремщики. Кроме того, он воплощал в огнях рампы ту затаенную мечту, в которой признаться даже самому себе было бы постыдным ребячеством, — мечту о дальних странствиях.

Первая программа ХЛАМа была повторена три раза, и его руководителям был тут же заказан специальный спектакль для ожидавшейся «разгрузочной комиссии» из Москвы во главе с начальником всех лагерей, членом коллегии ОГПУ Глебом Бокием.

— Можно и перцу подсыпать? — спросил в упор Эйхманса Глубоковский, получая заказ.

— Валите, не стесняйтесь, — ответил тот, — только чтобы было ярко и остроумно.

Весть об этом взбудоражила всех хламистов.

— Как? Свободно? Так что можно будет и правду сказать?

Скептики каркали:

— Ляпните эту правду и срок себе прибавите.

Но горячие головы не робели.

— Чорт с ним, со сроком, зато...

Мудрый, знавший людскую душу и душу зрителя старик Борин одобрял:

— Можно. Генералы любят больше всего анекдоты именно о самых генералах. Ничего нет нового под луной. Валите!

И вот день этого самого торжественного и значительного в жизни ХЛАМа спектакля настал. Первый ряд занимали приезжие во главе с Глебом Бокием, прибывшим на пароходе, носившем его имя взамен монастырского «Святой Савватий».

Занавес раздвинулся. На сцене вся труппа, приветствующая гостей. К рампе выходит куплетист Жорж Леон во фраке и с хризантемой в петлице. Он по-эстрадному кланяется Бокию.

Шептали все... Но кто мог верить?
Казался всем тот слух нелеп:
Нас разгружать сюда приедет
На «Глебе Боком» — Бокий Глеб, —

звучит первый куплет приветствующей «разгрузку» песни. Хор подхватывает рефрен:

Всех, кто наградил нас Соловками,
Просим: приезжайте сюда сами,
Проживите здесь годочка три иль пять —
Будете с восторгом вспоминать!

Далее солист жалуется на свой врожденный пессимизм и заканчивает свое приветствие словами:

В волненье все, но я спокоен.
Весь шум мне кажется нелеп:
Уедет так же, как приехал,
На «Глебе Боком» — Бокий Глеб.

После вступительных куплетов, в которых пелось и о знаменитом соловецком наказании «комариках», и о Секирке:

Хороши по весне комары,
Чудный вид от Секирной горы, —

шел скетч «Губернатор Зеленого острова», добродушно-иронически, но остроумно и метко отражавший нравы администрации соловецкой сатрапии и даже некоторые личные черты владыки острова Эйхманса.

Эти искры своей мелкой бытовой соловецкой правды, блеснувшие на спектакле ХЛАМа, не сыграли, конечно, никакой роли в общей жизни самой каторги. Все осталось как было. Но они необычайно подняли престиж ХЛАМа среди зрителей, особенно их «низов».

— Не побоялись! Прямо ему в нос табаку пустили!

Эта крошечная щепотка «табака» переживалась ими с корпоративной каторжной гордостью. Приезжие члены коллегии поняли это и учли при «разгрузке». Результаты ее были незначительны: были освобождены лишь 20—30 человек уголовников и хозяйственников, а двум-трем сотням уменьшены сроки. Но в числе этих последних были руководитель ХЛАМа Б. Глубоковский (с десяти на восемь лет) и куплетист Жорж Леон (с трех на два года).

ХЛАМ нес на себе печать нэпического ренессанса, и ее клеймо рельефно проступило при встрече нового, 1926 года.

«Встреча Нового года на каторге?» — удивится читатель.

Да. Во-первых, календарь и на ней сохраняет свою, хотя и неполную, силу. Каторжане тоже хотят дней веселья и радости, остро и напряженно их жаждут. А во-вторых, НЭП в это время был в своем полном расцвете.

«Обогащайтесь!» — воскликнул Бухарин, и многим показалось, что «построение социализма» уже растаяло пред лицом реальной жизни, отодвинуто ею на неопределенно далекий срок. Те же, кто не доверял отступлению «всерьез и надолго», обещанному Лениным, те, захваченные общим потоком, танцевали на вулкане.

Свой собственный НЭП был и на Соловках, отражавших каждую вариацию жизни советского материка. Была открыта коммерческая столовая. В ней играл струнный квартет и можно было прилично пообедать за 50 копеек. Заведовал ею Парижанин — Миша Егоров, и был очень ловким метрдотелем. По ночам

в ней кутили СОПовские командиры, вольнонаемные служащие и привилегированные ссыльные чекисты. Премьеры театра тоже стали платными, и на них можно было сидеть рядом со своей дамой, а не раздельно с ней, как обычно. Присылаемые заключенным деньги на руки не выдавались, но были выпущены боны универмага, которые котировались наравне с деньгами. В универмаге было все, вплоть до шампанского и икры. У ссыльных валютчиков и хозяйственников деньги водились. Вот при такой «экономической базе» и соответствующем ей «духе времени» и была разрешена встреча Нового года в театре при условии необычайно высокой платы за вход — 5 рублей. Ее организация была поручена тому же Мише Егорову, а декоративно-сценическая часть — ХЛАМу.

К этому времени новый, очень элегантный театральный зал был уже готов, и над декорировкой его для встречи трудился тот же Коля Качалин, талантливый художник, по эскизам которого был оформлен сам зал. Он блеснул и здесь. Световые эффекты были то нежно-мягки, то поражали своей неожиданностью.

Ни одного красного полотнища! Ни одного лозунга! Ни одного портрета «вождей»! Как не верится этому теперь.

Не было ни больших флагов и пошленьких гирлянд мелких флажков, ни возведенных тогда в культ декоративных механических фрагментов: шестерен, зубцов, рычагов... Тенденция конструктивизма была выражена сочетанием красок и геометрических форм.

Сцена была заполнена столиками, а в глубине блистала и искрилась хрустальная глыба льда. В ней шампанское, которое продавали самые изящные из обитательниц женбарака: высокая, с точеным профилем камеи, Энгельгардт, блиставшая парижским (хотя и отсталым от моды) туалетом, чайница Высоцкая и кто-то из «бомонда»...

Зал был переполнен. Откуда-то появились приличные, даже хорошие костюмы. Стулья партера убраны, там — танцы, а на балконе — сооруженные тем же Качалиным футуристические киоски — огромные яркие зонты под ослепляющим прожектором. Это солнце, недостаток в котором так остро чувствовался на Соловках. Между зонтами — шедевр мастера сцены, старого, знавшего Шаляпина и даже побитого им (о чем вспоминалось с гордостью и умилением) театрального плотника и бутафора Головкина — пальмы диковинной породы, «совсем как настоящие».

Снова иллюзия, реализация больной, сверлящей, сосущей мечты о невозможном, недостижимом, отнятом...

Для одних этот вечер был нирваной, временным погружением в прошлое, шагом назад, для других — тоже нирваной, но скачком вперед, в неизведанный мир блеска внешней материальной культуры. Кое-кто из шпаны тоже был на встрече

Нового года, но кто бы узнал на ней бандита Алешку Чекмазу или ширмача Ваньку Пана? Ступив в иную обстановку, они сами преобразились.

Буфет торговал вином, водкой, крюшоном с консервированными фруктами. Некоторые «буржуи» изрядно подпили, но ни одного скандала, ни даже резкого слова не было произнесено в этот вечер в зале театра на густо заматеренных Соловках.

Артисты выступали на сцене, между столиков. Там скользили нежные «китайские тени», горели при потушенном свете веселые разноцветные «светлячки», «фарфоровые кавалер и маркиза» танцевали жеманный старинный гавот... ХЛАМ дал в этот вечер все, что он мог, и трудно сказать, кто испытывал большую радость — зрители или артисты.

«Куранты» — гавот фарфоровых кукол — танцевал я с проституткой-хипесницей Сонькой Глазком, гибкой и стройной, как танагрская статуэтка, под хрустальную россыпь Моцарта. Ставивший танец тонкий стилист, режиссер 2-го МХАТа Н. Красовский долго «обламывал» нас на репетициях и «вживал» в рисунок танца, но мы полностью «вжились» в него лишь на сцене. И теперь, через 27 лет, вынимая тот вечер из глубины ларца памяти, я чувствую нежное прикосновение руки маркизы, сучившей пеньковые канаты, и подлинный (чорт возьми!) аромат поданной мне ею бумажной (нет, настоящей, живой!) розы. В тот миг, только миг, я был кавалером де Грие, склонившимся к руке подлинной, реальной Манон Леско — каторжанки Соньки Глазок! Радость этого мига жива до сих пор.

Глава 5. «Свои»

Эмбрион свободы творчества, ХЛАМ встретил отзвук и в массах уголовников. Там был также создан сценический коллектив «Своих»[8].

Термин «свой» на блатном жаргоне определяет принадлежность к уголовному миру, в отличие от «фрайера» — добропорядочного гражданина, объекта эксплуатации. В сознании уголовников он сливается с ощущением кастовой гордости. Эта психологическая черта русской шпаны очень недалека от корпорантского мировоззрения «славного старого Гейдельберга». Ведь и там, за дубовыми столами трехсотлетних пивных, мир делился на «добрых буршей» и «филистеров».

Традиции рождаются в «верхах» и просачиваются в «низы» медленно, но верно. В них они продолжают жить, хотя и в гротескной, уродливой форме. Поблекший в «верхах» образ Чайльд Гарольда встает в ином наряде под за-

[8] Театр и коллективы ХЛАМ и «Свои» были атомами внутренней свободы в душах людей, уже взятых в железные тиски порабощения и размельчения личности системой социалистических концлагерей. Именно поэтому театр и запал так глубоко в память побывавших на Соловках в те и ближайшие к ним годы, о чем свидетельствует искренняя и яркая повесть Г. Андреева «Соловецкие острова» («Грани», № 8), в которой он отзывается о соловецком театре 1927 г. с особенной теплотой. — *Авт.*

унывный мотив «классической» песни беспризорников «Позабыт, позаброшен», а слова песни:

Отцовский дом спокинул я,
Травою зарастет...
Собачка верная моя
Завоет у ворот, —

почти точно повторяют стихи Байрона.

***

Организаторами «Своих» были бандит Алексей Чекмаза, взломщик Володя Бедрут и ширмач-карманник Иван Панин. Каждый из них был ярок, самобытен и колоритен.

Алексей Чекмаза был донским казаком. Германская, а за нею и гражданская война оторвали его от родного куреня, закружили, завихрили, и стал приказный Чекмаза заправским бандитом. Но «на деле» не попался, а был схвачен в облаве на «социально вредных» и попал на Соловки. Стремление к личной, внутренней культуре жило и проявлялось в нем с большой силой. Он много и осмысленно читал, старался поговорить о прочитанном с интеллигентами, пытался и сам писать стихи, порой искренние, хотя и нескладные, неплохо исполнял в театре небольшие «рубашечные» роли... Организатором он был очень хорошим: дельным, чутким, в меру властным. Сказывалась учебная команда казачьего полка. Много позже я слышал, что по выходе из каторги он порвал с уголовщиной и стал заведующим большой фабричной столовой.

Совсем иным типом был Бедрут. Сын московского врача, окончивший одну из лучших частных гимназий, он вступил в годы безвременья, заразившись тлетворной «героикой» воров-джентльменов вроде леблановского Арсена Люпена, пришедшего на смену одряхлевшему Рокамболю. Современники этого последнего носили в себе те или иные моральные устои, ограждавшие их от его разлагающего влияния. Формировавшееся же в годы революционного распада сознание Бедрута не могло ничего противопоставить Арсену Люпену. Его путь был путем многих интеллигентных юношей того времени. Он привел Бедрута к Соловкам, где он занял место какого-то связующего звена между группами каэров и уголовников. Он приходился «к месту» и среди «своих», где его специальность взломщика занимала высокую ступень в своеобразной кастовой иерархии, и среди контрреволюционной молодежи, причем сам он ни в какой мере не приноравливался ни к тем, ни к другим.

Он был не лишен способностей: легко писал грамотные, трафаретные по тому времени стишки и был очень неплох в глубинно ощутимых им ролях, например в роли Незнамова.

Безусловно талантливым был третий — Иван Панин, распевавший на сцене песенки и куплеты своего сочинения, приспособленные к ходким мотивам. В этих песенках он чутко и остро реагировал на окружающее, гармонично чередовал добродушный юмор и злую сатиру, выполняя функции лагерного Зоила или соловецкого Беранже. С цензурой он мало считался, дополняя проверенные тексты экспромтами и импровизациями. Иногда его сажали в карцер, но долго не держали, так как его сценический жанр был по нутру самим тюремщикам, и главным постоянным его заступником был комсостав Соловецкого особого полка. Он совпадал с культурным уровнем командиров и их запросом к сцене.

— Ишь, с... сын, как продергивает! С песком чистит!

Успех Панина был неизменен, и даже в серьезно выдержанных концертах, после Чайковского и Бородина, комсостав СОП категорически требовал Панина, который был всегда тут же, под рукой, и всегда с обновленным репертуаром.

Он был «премьером» «Своих», но их действительным художественным достижением был прекрасный хор в 150 человек, созданный и обученный бывшим регентом Императорского конвоя, глубоко музыкальным старым казаком. Этот хор и выделяемые им трио, квартеты и секстеты давали широкий и красочный репертуар русских народных, а также арестантских и каторжных песен.

ХЛАМ и «Свои» просуществовали до 1927 года. Окончательно оформившийся концлагерный социализм смел их со своего победного пути.

Слушая песни «Своих», Глубоковский и я заинтересовались «блатным» языком и своеобразным фольклором тюрьмы. Мы собрали довольно большой материал: воровские песни, тексты пьесок, изустно передававшихся и разыгрывавшихся в тюрьмах, «блатные» слова, несколько рожденных в уголовной среде легенд о знаменитостях этого мира. Некоторые песни были ярки и красочны. Вот одна из них:

Шли два уркагана[9]
С одесского кичмана,
С одесского кичмана на домой.
И только ступили
На тухлую малину,
Как их разразило грозой...

— Товарищ, миляга,
Ширмач и бродяга, —
Один уркаган говорит, —

[9] Даю перевод «блатных» слов: уркаган — вор, кичман — тюрьма, малина — притон, ширмач — карманник, сыграть в ящик — умереть, фарт — удача, а также жребий, судьба, бан — вокзал, малахольные — одуревшие, легавый — полицейский или милиционер — *Авт.*

Судьбу свою я знаю,
Что в ящик я сыграю,
И очинно сердце болит...

Другой отвечает,
И он фарт свой знает,
Болят его раны на груде,
Одна затихает —
Другая начинает,
А третия рана на боке...

— Товарищ, миляга,
И я доходяга,
Зарой мое тело на бану!
Пусть помнят малахольные
Легавые довольные
Геройскую погибшую шпану!

Не напоминает ли текст этой песни «Двух гренадеров», отраженных в кривом зеркале романтики уголовного мира?

На свою работу мы смотрели как на фиксацию живого фольклорного материала для будущего исследователя. Издательство УСЛОНа, о котором я рассказываю в дальнейшем, выпустило эту книжку страниц в 100 тиражом в 2000 экземпляров, и она попала в магазины ОГПУ на Соловках, в Кеми, на другие командировки, даже в Москву. Тут получился неожиданный, но характерный для того времени анекдот: издание было очень быстро раскуплено. Материалы по фольклору разбирались как песенник, сборник модных в то время (да и теперь в СССР) романсов...

Позже советское кино построило на том же материале имевший большой успех фильм «Путевка в жизнь».

Но двенадцать обязательных экземпляров, рассылавшихся издательством УСЛОНа по закону в главные книгохранилища Союза, несомненно, дошли по назначению, и наш труд даром не пропал.

Глава 6. Под охрану дьявола

Яшке Цыгану досталась в тот день легкая работенка. Пофартило. В лес не погнали. Грузин-нарядчик, пробежав глазами по неровной шеренге, поманил сначала пальцем сотрясавшегося в припадке кашля Мерцалова, а потом остановил свой начальнический взгляд на «колесах»[10] Цыгана. Эта принадлежность

[10] «Колеса» на жаргоне — обувь. — *Авт.*

его туалета действительно заслуживала внимания. В очень далеком прошлом ботинки Цыгана, несомненно, служили какому-нибудь лихому форварду, о чем свидетельствовала сохранившаяся на одном из них предохранительная резиновая накладка, но в настоящее время подошва одного полностью отсутствовала, а у другого не хватало верхней части носка. Эти технические неполадки, видимо, не смущали теперешнего владельца ботинок, а наоборот, будировали его творческую мысль. Подошву заменяла доска, вроде короткой лыжи, тщательно, даже элегантно прикрученная сложной системой обрывков электропровода, а из недостающего носка торчало подобие гигантской груши, набитой бумагой.

Сам Цыган не только не жаловался на дефекты своей обуви, но явно гордился своим творческим достижением, лихо прищелкивая лыжей о плиты пола. Он был вообще оптимистом.

Это-то, вероятно, и вызвало сочувствие строгого администратора, и, хотя многие были обуты еще хуже, он крикнул:

— Эй ты, франт кривой! Топай сюда!

Сдав партию лесорубов конвою, грузин повел Цыгана и Мерцалова в подвал под бывшей монашеской кухней и указал:

— Очищай помещение! Доски и что подходящее сюда складывать, а мусор туда валить. Блатная работа.

Он был прав. На дворе стоял трескучий мороз, а в подвале было тихо и тепло.

От Мерцалова было мало толка. Сухой, удушливый кашель корежил его хилое тело, как огонь костра сухую бересту.

— Ты, доходяга, хоть доски-то из угла отваливай помалу, — покрикивал на него Цыган. — Тяни на себя! Стой! Это что за хреновина?

Под досками в груде обломков тускло поблескивало что-то непонятное. Вытащили, осмотрели. Вроде фонаря с разноцветными стеклами, укрепленного на большом металлическом держаке. Да и сам фонарь из металла...

— Может, «рыжий»?[11] Монахи богато жили...

Цыган поколупал пальцем дверцу фонаря.

— Не! Не «рыжий»! Видишь, ржавь зеленая въелась. Однако работа тонкая, узорная. Клади в сторонку, там разберем.

При дальнейших раскопках нашли другой, парный к первому. Потом вытащили что-то вроде знамен с изорванными ветхими полотнищами, а на полотнищах — образа.

Цыган всесторонне обдумал положение. Затырить[12], конечно, возможно. Но какой от того «фарт»? Какому чорту эти фонари нужны?

---

[11] «Рыжий» — золотой. — *Авт.*

[12] Затырить — спрятать. — *Авт.*

Выгоднее доложить по начальству: может, и наградят.

А начальство, в лице Баринова, уже само входило в подвал.

— Клад нашли, гражданин начальник, — разлетелся к нему Цыган, — вот посмотрите какие финемоны... — Цыган любил умные слова.

— Барахло... Принадлежности культа, — ткнул ногой хоругви Баринов. — Ты, однако, посматривай. Может, и что путное попадется. Все возможно.

«Путному-то мы и без тебя место найдем», — подумал Цыган.

— Будьте благонадежны, гражданин Баринов, не упустим, — добавил он вслух. — А вы прикажите меня к этой работе прикрепить. Уж я!..

— Ладно! Ты и отвечать будешь. Как фамилия?

Стоя в очереди за тресковым борщом, Цыган патетически ораторствовал о своей находке, давшей ему в результате легкую работу в тепле. Среди слушателей был доцент Приклонский, историк, уже выпустивший тогда одну интересную работу с предисловием академика Платонова. Наскоро проглотив свою баланду, он побежал в подвал, торопясь побывать там за время перерыва, а вечером в «Индийской гробнице» состоялся военно-операционный совет избранных.

— Светильники очень тонкой художественной, вероятно, итальянской работы. Вместо стекол — толстая цветная разрисованная слюда. Историческая ценность их несомненна. Очень интересны и хоругви. Вероятно, XVII век. Дело в том, что подобные находки, безусловно, будут повторяться. Ведь расхищены главным образом только золото и серебро. Надо добиться сбора и охраны этих ценностей, создать нечто вроде музея, — говорил Приклонский.

— Хватил! Это на Соловках-то музей! Да еще религиозный! Невозможно!

В углу сидел Б. Емельянов, поэт-фокстротист, молчаливый, долговязый и довольно нескладный парень. Остротой ума он не отличался и поэтому часто служил мишенью для очередного розыгрыша, но именно ему принадлежала ответная реплика:

— Религиозный — невозможно, а антирелигиозный — вполне возможно.

Мы поняли не сразу, а лишь после пояснения:

— Дело не в вывеске, а в спасении ценностей, и поверьте, что под антирелигиозной вывеской они целее будут!

Загорелся по русскому обычаю спор. Нашлись сторонники «чистых риз», возмущенные помещением святынь «под защиту дьявола», но точка зрения здравого смысла восторжествовала.

— Быть или не быть? Спасение «под печатью антихриста» или неминуемая гибель?

— Только вот кого в заведующие подсунуть? Нужно умно выбрать... Из нас никто не годится. Эйхманс никому не поверит.

— Ваську Иванова, — безапелляционно решил Миша Егоров. — Самый подходящий человек.

— Безбожника? Расстригу?

— Безбожника?! — огрызнулся Миша. — Это для всех вас он безбожник, а я с ним три месяца в одной келье прожил... Как только свет потушат, Васька под одеялом креститься начинает и молитвы шепчет... В белые ночи все видно! Безбожник! Много вы знаете!..

Васька Иванов был одной из колоритнейших фигур каторги. Я не видел более безобразного по внешности человека: ненормально низкого роста, почти карлик, кривоногий, с безобразно отвисшей нижней губой и огромными, торчащими, как крылья нетопыря, ушами, он напоминал одну из страшных химер Нотр-Дам. К тому же он обладал неприятнейшим, громким и визгливым фальцетом.

На Соловках Иванов выполнял обязанности антирелигиозного лектора, и, слушая его безграмотные выкрики, шпана резонировала:

— За то Васька Бога обидеть старается, что Бог-то его крепко обидел...

Невежественен он был до предела. Даже пресловутый «учебник» Ем. Ярославского он ухитрился перевирать так, что Когану делалось стыдно.

— Ты, Васька, ближе к современности держись, — говорил он, — нечего там об Озирисах да Изидах распространяться.

Свои лекции Иванов начинал всегда одним и тем же красочным анекдотом:

— Наполеон, — визжал он, — взял подзорную трубку и стал смотреть на небо. Где Бог? Нет Бога! «Лаплас! — позвал он своего придворного астронома. — Ты тридцать лет смотришь на небо, видел ты Бога?»

До ареста Василий Иванов был монахом. В тюрьме снял постриг и письменно отрекся, но все же получил три года и теперь лез из кожи ради сокращения срока.

Вот этого-то субъекта прочил Миша в хранители соловецких святынь, реликвий, древностей. И не ошибся в своем замоскворецком трезвом расчете.

С Коганом мы говорили наутро прямо и откровенно, лишь с упором не на религиозную, а на культурную ценность памятников. Он же говорил в верхах, может быть, по-иному, но как бы и чем бы он там ни аргументировал создание соловецкого антирелигиозного музея, таковой был не только разрешен, но получил целиком в свое распоряжение неразрушенную домовую церковь соловецкого архимандрита и его палаты.

Вскоре был утвержден штат постоянных работников музея, и ему было предоставлено право реквизиции всех материалов, признанных исторически ценными. Это было особенно важно: ретивые хозяйственники уже на многое наложили свою руку; например, мастерская музыкальных инструментов забрала себе

остатки замечательного пятиярусного иконостаса Преображенского собора для выделки гитар и балалаек из выдержанного веками дерева его икон.

Много другого ценного успели прибрать к рукам хищники и невежды с дипломами высших технических учебных заведений.

Васька оказался незаменимым в сборе расхищенного. Руководило ли им желание выслужиться или что другое, я не берусь судить, но он ругался, визжал, плевался, бегал жаловаться начальству в борьбе за каждый обломок разрушенного и поруганного величия, за каждый клочок древнего великолепия... Он, как Плюшкин, тащил к себе все без разбора, и музейным специалистам, отыскавшимся в бесконечном разнообразии соловецких профессий, работы хватало.

А специалисты выныривали совсем неожиданно. Среди безнадежных инвалидов нашелся купец-старообрядец Щапов из Нерехты или Кинешмы, глубокий и тонкий знаток русской иконографии. Над клочками и обрывками рукописей корпел доцент Приклонский; бронзу, резное дерево и вышивки определял и классифицировал известный в Москве комиссионер-антиквар, попавший на Соловки за продажу иностранцам какой-то редкой коллекции фарфора, собранного несколькими поколениями старомосковской барской семьи.

Ценности всех видов лились в музей беспрерывным потоком. В мусоре одного из подвалов нашли два окованных медью сундука с хозяйственными записями XVII века. На основе их доцент Приклонский воссоздал яркую картину экономики Беломорья того времени, почти полностью бывшего вотчиной мощного, культурного и широко прогрессивного в своем хозяйстве монастыря, лозунгом которого были слова: «В труде спасаемся!»

Эта работа была напечатана в журнале «Соловецкие острова», и некоторые проблемы экономической деятельности монастыря были учтены и использованы первым организатором концлагерной принудиловки Н. А. Френкелем при освоении Колы, Сороки, Кемского берега и Печоры.

Монахи, уходившие в Валаам обозом и пешком, не могли взять с собой и сотой доли богатейшей соловецкой ризницы, накапливавшей свои ценности со времен Марфы Посадницы. Грабители из Архангельского совдепа хватали только пригодное для быстрой и легкой реализации. Достаточно было и такого. Пожар коснулся ризницы лишь слегка, и множество облачений из старинной венецианской парчи, пелен, платов, покровов на плащаницу, вышитых теремными затворницами, боярышнями и великими княжнами московскими, сохранились. Они поступили в фонд музея, и часть из них, как я слышал потом, была увезена в Москву и, вероятно, распродана. Запасы нешитой новой фабричной парчи были переданы театру, и из них сшили богатейшие костюмы для постановки «Бориса

Годунова» Пушкина, который шел на Соловках в 22-х картинах — всего лишь на две меньше, чем в Художественном театре. Потом в них играли «Царя Феодора Иоанновича», «Девичий переполох» и «Василису Мелентьеву».

Найденные Цыганом светильники оказались флорентийской работы, они были подарены монастырю папой Иннокентием (каким по счету — не помню). Схожие с ними литые факелы — подарком венецианского дожа.

Монастырскую библиотеку разыскать не удалось. Установили, что рундук с грамотами новгородских посадников, московских царей и, вероятно, с другими важнейшими документами архимандрит увез с собой, а остальные рукописи и книги были зарыты или замурованы, но где — на острове знал это лишь один из оставшихся иноков — отец Иринарх. Да и знал ли? Как ни пытались выведать тайны от этого простоватого с виду, словно топором высеченного инока — не выдал! Эйхманс, сам увлекшийся кладоискательством, поил его до умопомрачения и даже на самолете катал.

Любил выпить отец Иринарх, но и, выпив сверх меры, молчал.

Теперь он, вероятно, умер или удален с острова, и навек погибли для потомства ценнейшие уники. Судя по найденным обрывкам описи (печатное ее издание, выпущенное, кажется, Казанской духовной академией, было, как видно, далеко не полным), на Соловках хранились уникальные старообрядческие рукописи, часть которых была полемикой склонных к древлему благочестию соловецких старцев с новаторами-никонианами. Хранились они, конечно, под спудом и, вероятно, потому не вошли в напечатанный каталог. Но в ризнице отыскался рукописный «Апостол», по преданию, переписанный царевной Софьей. Он был переслан в Москву для точного определения. Я помню его изумительные заставки и узоры титульных букв. Кто выводил их золотом, лазурью и киноварью? Неужели сестра, достойная своего великого брата, была и талантливой художницей?

Наибольшее количество религиозных, художественных и исторических ценностей было, вероятно, скрыто в перешедшей под охрану музея монастырской «рухольной».

Эта «рухольная» представляла собою большой сухой подвал, почти доверху заполненный складывавшимися туда в течение веков иконами. Монахи говорили, что туда убирались образа из церквей и часовен «по древности», то есть закопченные, потрескавшиеся, с неразличимыми уже начертаниями, но доцент Приклонский нашел указания и на поступление туда икон, изъятых по постановлениям соборов, вплоть до Стоглавого, по решениям Синода и из закрытых старообрядческих молелен и скитов. Подтверждением тому был часто попадавшийся образ «Крылатого Предтечи», иконописный канон которого был запрещен еще в XVII веке. Сюда же попали, вероятно, и старописные иконы существовавшей при монастыре еще

до Никона иконописной мастерской, снятые при «замирении» отколовшегося от Московской Патриархии и боровшегося с ней около пятнадцати лет монастыря.

Ознакомиться хотя бы поверхностно с богатствами «рухольной» за время пребывания моего на Соловках не удалось. Единственный работник иконографического отдела музея старик Щапов был очень внимательным и точным исследователем. Он не довольствовался внешним осмотром, но проверял и тайны древнего мастерства: состав красок, способ полировки и грунтовки дерева и т. д. Тщательность его работы отнимала много времени, и ему удалось обследовать лишь внешнюю, сравнительно новую часть груды икон в «рухольной». Можно предполагать, что главные ценности таились в ее недрах.

Многое можно было бы написать еще о богатствах соловецкого антирелигиозного музея. Что из того, что над ними были вывешены пошлые и глупые надписи? Эти куски картона сгинут, а спасенные сокровища, Бог даст, останутся и снова, освященные и обновленные, послужат прославлению имени Господнего.

Верю свято и нерушимо, что отступник, богохульник и лжец был тоже орудием в руке Его, атомом непостижимой для нас премудрости, и за спасение, за честь хранения вековых святынь России простятся грехи и грешки, сотворенные расстриженным заблудшим иноком Василием в его нищей земной и, несомненно, страдальческой юдоли.

Глава 7. Птица гага и крыса ондатра

— У меня на Соловках любой специалист найдется, — говорил Эйхманс, своеобразно гордившийся населением своей сатрапии.

Он был прав. Кого только не было на Соловках того времени! Какие только профессии, знания, а порой и таланты не таились в среде серого, вшивого, сбитого в густое человеческое месиво населения острова! От командующего армией до исключительного по ловкости рук карманника, от дирижера симфонического оркестра до дрессировщика охотничьих собак. Был и такой — польский шляхтич, барзо гоноровый пан, презиравший все другие виды работы.

К чести Эйхманса надо сказать, что до оформления Н.А. Френкелем системы социалистического концлагерного рабства (до 1926—1927 годов) он легко предоставлял всем желавшим и умевшим работать возможность развития их инициативы в любой области труда. Даже пан-шляхтич нашел себе применение, став егерем того же Эйхманса и воспитателем охотничьих собак для магнатов ОГПУ. Позже он был переведен для той же работы в одно из огромных охотничьих поместий этого учреждения.

С одной из первых партий 1924 года на остров прибыл учитель зоологии одной из станичных кубанских гимназий казак Некрасов. Ничем особым он не

блистал, был рядовым провинциальным учителем, но свой предмет любил, и не по-книжному, не схоластически, а живо, страстно, пламенно, тесно связывая теоретическую премудрость с ее основой — жизнью животных.

Случайно он попал на отдаленную от кремля командировку, вернее наблюдательный пост охраны на побережье. В этом глухом углу острова гнездилось много гаг. Некрасов набрал птенцов и приручил их, одомашил, как он говорил. Статью о своем опыте и о возможных выгодах его промышленного использования он поместил в только что начавшей выходить тогда еженедельной печатной газете «Новые Соловки». Потом дал туда же и другую, с очень смелой и, быть может, необоснованной гипотезой о происхождении соловецких «лабиринтов». Эти «лабиринты» нередки на побережье и островах Белого моря. Они представляют собою скопление поставленных на ребро каменных плит, образующих огороженные «закутки». Некрасов предположил, что эти циклопические лабиринты были «скотными дворами», в которых доисторические обитатели севера содержали живых тюленей в тот период, когда их стада откочевывают в просторы морей. Тюлени были главной пищей обитателей Соловков того времени.

Эти статьи были замечены. В результате Некрасову были предоставлены широкие возможности для развития опыта превращения гаг в домашних птиц, и под его руководством в бывшей летней резиденции архимандрита, в трех километрах от кремля, на берегу прозрачного озера, был организован соловецкий биосад. Некрасов любил, хотел и умел работать. Умел он и «попасть в тон», заинтересовать кого надо своей работой. Он предложил Эйхмансу разводить на Соловках ценную по своему меху американскую, вернее, нью-фаундлендскую крысу ондатру, а также и чернобурых лисиц.

Эйхманс клюнул, как обычно клюют, вернее клевали, большевики на все новое, неизвестное. Эта их психологическая черта верно и правдиво изображена в рассказе «Роковые яйца» безвременно вычеркнутого из русской литературы талантливого М. Булгакова. Не останавливаясь перед затратами, на Соловки были доставлены американские крысы и сибирские чернобурки. На Соловках же были переведены и изданы несколько брошюр об американских пушных питомниках и заложен первый в СССР питомник пушных животных. Я слышал, что позже обезличка оформившейся социалистической принудиловки стерла соловецкий биосад как ненужную мелочь, но идея, впервые в России осуществленная соловецким каторжником Некрасовым по его воле и инициативе, нашла дальнейшее развитие: под Москвой и в других местностях Европейской России, а еще более в Сибири, функционируют питомники не только пушных животных (лис, куниц, соболей), но и «лечебных» маралов, рога которых (панты) богаты содержанием гормонов.

К 1927 году некрасовский питомник разросся в небольшую биостанцию, которая была связана с Академией наук и выполняла ее задания по изучению флоры и фауны Белого моря не только в его верхних слоях, но проникала и в таинственные глубины, изучая жизнь в водах с температурой ниже нуля.

Среди работников биосада были и люди науки, были и просто любители этого дела. В числе этих последних мне запомнилась одна необычайная, возможная только в СССР, фигура сосланного на Соловки вместе с женой бразильского консула в Египте синьора Виоляро.

Его история исключительная даже в пестроте соловецкого калейдоскопа. Богатый гациендер, молодой дипломат, попав в Каир, женился там на русской эмигрантке княжне Чавчавадзе. Но мать его молодой жены не смогла вовремя эмигрировать и осталась в СССР. Попытки выручить ее легальным путем не привели ни к чему, и пылкий бразилец, готовый на все ради своей красавицы-жены, рискнул на авантюру. Он, надеясь на свой дипломатический паспорт, приехал в СССР вместе с женой и начал поиски, в результате которых очутился на Соловках.

Режим по отношению к нему был смягчен. Он единственный из ссыльных жил вместе с женой и не нес работ. Возможно, что помогали большие деньги, которые, высылались ему из Бразилии (на руки он их, конечно, не получал). Его жена работала в биосаду добровольно, ухаживая за гагачьими птенцами. Она встает в моей памяти, окруженная их пискливой толпой, а он — созерцающим эту идиллию, стоя в тени темной ели в белой широкополой шляпе, элегантнейшем пиджаке и безупречно отглаженных белых брюках.

Каких только неожиданностей, несуразностей, нелепостей не встречалось на Соловках в те неустойные годы!

***

Научная работа соловецких каторжников не ограничивалась музеем и биосадом.

Одним из интереснейших персонажей каторги был 84-летний профессор Кривош-Неманич. Вся его долгая жизнь была сплошным, жадным и страстным накоплением всевозможных знаний. Родом серб, он знал около 30 языков, в том числе древнеегипетский, древнеарийский и арамейский. Его переводы с древнеегипетского печатались в специальных журналах. Изучил он, кроме того, ряд наук, которые многими берутся в кавычки: магию, хиромантию, систематику шифров. В этой последней он достиг больших знаний и успешно выполнял специальные работы по зашифровке и расшифровке еще при императорском правительстве. Пришедшие к власти большевики также воспользовались его знаниями в этой об-

ласти. Я не знаю, добровольно или по принуждению он работал у них, но скоро стряслась беда. Он был арестован, вероятно, вследствие того, что слишком многое узнал, и получил десять лет Соловков.

— Спасибо, — сказал всегда любезный и остроумный старик, — я предполагал умереть через два-три года, но теперь считаю себя обязанным дожить до 94 лет, выполняя предписание советского правительства.

На Соловки он попал с особым «паспортом», предписывавшим предоставление ему сносных условий жизни, но и строжайшую слежку за ним, даже частичную изоляцию его от других каторжан.

Эйхманс, пораженный объемом и разнохарактерностью знаний профессора Кривоша, спросил его:

— А метеорологию вы знаете?

— Интересовался, — ответил тот, — кое-что помню...

— Назначаетесь заведующим метеорологической станцией.

Метеорологическая станция на Соловках была создана монахами и успешно обслуживала монастырскую навигацию и рыболовную флотилию. Но при разгроме монастыря Советами она погибла. Кривош-Неманич восстановил ее и заново оборудовал. Живя при ней в отдельном доме, в сравнительно хороших условиях, он беспрерывно находился под наблюдением. Получая пропуск в кремль, он ходил туда в сопровождении сексота, которого, между прочим, великолепно знал.

Доклады профессора Кривоша в зале соловецкой библиотеки, которые он делал там на самые разнообразные научно-популярные темы, всегда собирали много слушателей. И не только из среды интеллигенции. Он был превосходным «легким» лектором, просто и занимательно излагавшим подчас сложные вопросы науки.

Но таинственный корень славы «тридцатиязычного» профессора крылся в ином — в его познаниях в области хиромантии. Говорили, что он за несколько месяцев до расстрела предсказал «смерть от пули» первому властителю Соловков — Ногтеву. На мои вопросы об этом сам Кривош всегда отшучивался, не говоря ни да, ни нет. То, что он предрек автору этих строк (между прочим, предстоящую эмиграцию и даже жизнь в Италии, о чем я не смел, конечно, и мечтать на Соловках), пока сбывается. Сам он к этой науке относился вдумчиво и серьезно, не впадая в крайний мистицизм.

Упомянув о соловецкой библиотеке, я должен сказать несколько слов и о ней. К 1927 году ее фонды превышали 30 000 томов. Их основой были книги, выделенные библиотекой Бутырской тюрьмы, но в 1925 году, во время бурного расцвета соловецкой каторжной культуры, захватившего и начальника лагеря Эйхманса, он, по настояниям Когана, потребовал от НКВД присылки большого количества книг, и из

Москвы прибыло несколько реквизированных частновладельческих и коммерческих библиотек. Цензура была возложена на того же Когана, но он, воспитанный еще в старых традициях революционного подполья, провел ее более чем поверхностно, выделив в особый закрытый фонд лишь несколько десятков томов, выдававшихся все же по особому разрешению ВПЧ. Таким образом, в соловецкой библиотеке можно было получить книги, уже изъятые на материке: «Бесов» Достоевского, полное собрание статей К. Леонтьева, «Россию и Европу» Данилевского и др. Заведовал библиотекой бывший большевик и эмигрант царского времени Шеллер-Михайлов (Михайлов — партийная кличка), по прозванию Соперник Ленина, вероятно первый из уклонистов. Вернувшись после февраля 1917 года из Лондона в Россию и состоя членом РСДРП(б), он «разошелся во взглядах» по какому-то вопросу ни с кем иным, как с Лениным, и основал «свою партию», в которую завербовал пять или шесть человек. Финал ясен. Все члены этой «партии» были арестованы и сосланы, но несчастье преследовало незадачливого Соперника Ленина и дальше. ГПУ не признало реальной его «партию» и направило его не к «политическим» — членам соцпартий, жившим в прекрасных условиях в Савватьевском скиту, а на общее каторжное положение как каэра.

Библиотечное дело он знал и вел его прекрасно. Дефектом соловецкой библиотеки было полное отсутствие в ней газет, которые (даже «Правда» и «Известия») не допускались в лагерь по распоряжению Москвы. Сведения о происходившем в мире соловчане получали лишь по скудной информации еженедельной газеты «Новые Соловки».

При библиотеке был большой читальный зал. В нем ставились доклады, читались рефераты и бывали даже диспуты. Характер докладов был двоякий. Одни, читавшиеся раз в неделю, были обязательными — пропагандой на политические и антирелигиозные темы. Они бывали массовыми, и слушатели на них высылались из рот принудительно. Другой разряд составляли доклады и диспуты на свободно избранные темы. На них шли без принуждения, и часто о них даже не оповещали, а лишь регистрировали темы в ВПЧ у Неверова. На эти доклады собирался лишь небольшой кружок интеллигенции. Темы избирались чаще всего научные или литературные, мало доступные массам. Для характеристики их назову цикл докладов по истории масонства, прочтенных профессором Макаровым (умер на Соловках), по истории Соловков — доцентом Приклонским, о сокровищах Эрмитажа — художником Бразом (зам. хранителя Эрмитажа), о литературе Древнего Востока — профессором Кривош-Неманичем и т. д.

Самым шумным и оживленным диспутом был имевший темой «Преступность в социалистическом обществе». На нем выступили и интеллигенты, и маркси-

сты, и шпана. Особенно ярким было выступление Б. Глубоковского, утверждавшего, что преступность в СССР растет, принимая бытовые массовые формы и разрушая этические основы общества. Это было в 1925 году, и дальнейшая советская действительность подтвердила положения Глубоковского, но на материке в то время подобное утверждение было бы оплачено автору... Соловками. На Соловках же оно сошло благополучно и вызвало сочувственные отклики каэров и уголовников. Парадоксальны и сумбурны были те годы на Соловках.

Глава 8. «Новые Соловки» и «Соловецкие острова»

Мысль о выпуске газеты на Соловках зародилась впервые в мозгу Н. К. Литвина, сменовеховца, в прошлом сотрудника какой-то крупной ростовской газеты, кажется «Приазовского края». Тогда он только что вышел из лазарета после тяжелой болезни и тихий, молчаливый бродил, опираясь на палочку, по кремлевским дворам.

Что побудило его сменить вехи — не знаю. Он никогда и никому не открывал глубин своей души; рассказывал, что кружил по Балканам с какой-то труппой новоявленных артистов, был, видимо, удовлетворен своей работой, не голодал и вдруг... вернулся и, конечно, попал на Соловки как бывший сотрудник ОСВАГА, чего он не скрывал. О своем плане Литвин не сказал никому из заключенных, а действовал в одиночку, по обычному пути — через Когана. Обстоятельства благоприятствовали, так как в то же время открылась и типография, организатором которой был контрабандист с десятилетним сроком, дельный и феноменально работоспособный Слепян из Себежа. Этот маленький, хлопотливый, невзрачный с виду еврей таил в себе хитрость Талейрана и выдержку Фабия Кунктатора. В Себеже у него была своя типография, служившая одновременно базой для переброски через границу крупных ценностей, главным образом золота. Она была на подозрении, и обыскивали ее каждую неделю, но всегда безрезультатно. Слепян сплавлял золото в слитки, подобные по форме слиткам типографского металла, покрывал поверхность их этим металлом и держал на самом видном месте.

— Бывало так, — рассказывал он, — закончат обыск, протокол пишут, а я эти же слитки на их бумаги кладу, чтобы не разлетались...

Но все же попался. Кто-то из соучастников выдал его. На Соловках он развил ради сокращения срока бешеную деятельность, создав образцовую типографию.

Еженедельная печатная газета была разрешена. На ней не стояло подписей ни редактора, ни издателя, но фактическим редактором был назначен П. А. Петряев, секретарем — Тверье, цензором — комиссар Соловецкого особого полка Сухов. Каждый из них был колоритен для Соловков того времени.

Гвардии капитан Павел Александрович Петряев не принадлежал к преобладающему типу родовитой и богатой гвардейской аристократии. Средств у него, судя по его рассказам, не было, и служба в гвардии была лишь ступенью карьеры. Карьеризм, видимо, толкнул его и к вступлению в 1918 году в войска Советов, где он быстро выдвинулся вплоть до поста командующего 13-й советской армией, действовавшей на Северо-западном фронте. С переходом на мирное положение он занял место инспектора артиллерии, но скоро был съеден. Говорили, что он был связан с павшим тогда Троцким. Вполне возможно, но утверждать не берусь. На посту редактора каторжанской газеты, а позже и ежемесячника он был более чем на своем месте. Прекрасно знавший и тонко чувствовавший русскую литературу, всегда ровный, выдержанный, тактичный и всегда ясно разбиравшийся в столь изменчивой на Соловках расстановке сил, он умел легко и незаметно обходить все подводные камни, мягко и эластично устранять препятствия. Он никогда не шел напролом, но почти всегда достигал цели, тонко учитывая психологию противника и ловко маневрируя. Несомненно, он ошибся, став военным. Его призванием была дипломатия.

Внутренняя жизнь этого человека была от нас скрыта. Мы не знали даже, коммунист он или каэр. Изящно фрондируя, остроумно отшучиваясь, он отбивал все попытки проникнуть в его «нутро», был очень отзывчив к чужому несчастью, и я не помню случая, когда бы он отказал кому-нибудь в помощи и заступничестве, даже рискуя нанести ущерб своему влиянию.

Официальная цензура не стесняла Петряева, ведь цензором был Сухов из сверхсрочных вахмистров, прошедший какую-то совпартшколу. Коммунистическая обработка не могла вытравить в душе этого служаки крепких устоев, заложенных в нее учебной командой полка императорской армии. Теперь на Соловках бывший вахмистр Сухов был военкомом полка, а Петряев, бывший капитан гвардии и революционный командарм, — каторжником, но в подсознании Сухова Петряев оставался гвардии капитаном, да еще как-никак хоть и революционным, но все же командармом, генералом. Военком охраны явно робел перед каторжником и безоговорочно подписывал к печати все предложенные Петряевым корректуры, иногда даже не читая их. Но и при внимательном чтении разобраться во многом ему явно было не по силам.

Совсем иным был секретарь редакции чекист-коммунист Тверье, мрачный, озлобленный неудачник. Будучи посланным для агитации в Германию, он был там разоблачен, жестоко избит студентами и брошен в сток нечистот. Такие провалы в ГПУ не прощаются: последовали Соловки, но и здесь за какой-то, очевидно, серьезный промах он ухитрился попасть на сутки в знаменитую Аввакумову щель — каменный мешок в кремлевской стене, где нельзя было ни стоять, ни лежать. Придирчивый, подозрительный Тверье (подлинная фамилия

Тверос) был темным пятном редакции. К счастью, он оставался в ней недолго, так как был переведен в команду охраны в Кемь.

После его перевода Петряев свел должность секретаря к чисто технической работе и взял на нее полную противоположность Тверье — милого, приветливого и услужливого Шенберга. Он, как и Тверье, был евреем, но выросшим в богатой купеческой семье и получившим прекрасное воспитание. Трагическую роль судьбы, рока в его жизни сыграли... японцы.

Шенберг был одним из немногих евреев-офицеров, произведенных при Керенском. Прекрасное знание французского языка и связи отца доставили ему командировку во Францию, где его и застал Октябрьский переворот. У милого, элегантного, прекрасно державшего себя Шенберга к тому времени в Париже была уже невеста-француженка. Ради получения гражданства республики Шенберг поступил с чином младшего офицера в колониальные войска и был назначен в Индокитай. Это было, кажется, очень трудно для русского.

В Индокитае его постиг первый удар судьбы: он завел там любовницу-японку, которая оказалась шпионкой. Бедный Шенберг был не только изгнан из армии, но и из пределов Франции и ее колоний.

Куда? Скитаться бесприютным бродягой по Океании или рискнуть вернуться к оставленной в Москве семье? Не будучи ни в какой мере сменовеховцем (да и «вех»-то у него не было), Шенберг избрал второй путь и через Шанхай и Владивосток вернулся на родину, соблюдая все формальности и ничего не утаивая из своего прошлого.

Первая встреча с ГПУ во Владивостоке прошла вполне гладко, и бывший офицер французских колониальных войск, получив все права гражданства РСФСР, поселился в Москве, где быстро нашел прекрасную службу — секретарем торговой миссии Японии. Это, конечно, стало известным и было учтено на Лубянке. Шенберг был вызван туда и принужден к слежке за своим принципалом.

Новая «служба» повисла тяжким камнем на совести Шенберга. Избавиться от нее он не мог и пошел на компромисс, уведомив японца о произошедшем, а потом рассказал об этом кому-то из своих русских друзей.

Результат этой наивности не заставил себя ждать: высшая мера (расстрел) с заменой десятью годами концлагеря!

Тайфуны Индийского океана сменились колючим соловецким норд-остом; банановые заросли джунглей — темными елями соловецкой дебри. Бродя в их сумрачной тишине, бедный Шенберг ронял слезы на письма сохранявшей еще верность ему парижской невесты, которые все же доходили. Но парижанка никак не могла понять сущности перемены в жизни своего жениха и, воображая,

что он командует ротой какого-то советского пограничного полка, жертвенно предлагала ему соединиться даже там, во льдах ужасного Русского Севера...

Жившему еще старыми традициями революционного подполья Когану хотелось сделать из «Новых Соловков» массовую газету соловецкой общественности, конечно направленную по советскому руслу, — то, что на материке было организовано в форме пресловутого рабкорско-селькорского движения. Это было, конечно, невозможно. В газете сотрудничал лишь узкий кружок бывших профессионалов и научных работников. «Массы» откликались лишь со стороны своей худшей, наиболее аморальной части. Большинство поступавших со стороны писем и заметок были густо, до отвращения насыщены тем подхалимством, той добровольно-принудительной ложью, которая теперь стала квинтэссенцией всей советской прессы. Повествовали о своем перерождении, перевоспитании и даже восхваляли прелести каторжного режима — «вкусный рыбный суп» и «веселую, здоровую работу»...

На Соловках эта подлость имела некоторое оправдание: наивные авторы надеялись на сокращение срока, что для многих было спасением жизни, но ее фальшь была слишком очевидной и бесстыдной.

Подобные заметки и письма неизменно летели в корзину. В возможность «перековки» не верил никто даже в среде чекистского начальства. О ней и не говорили. В те годы причудливого сплетения уходившей в прошлое России с вторгавшейся в сознание советчиной еще жили остатки представлений о совести, о стыде, о личной честности даже в среде чекистов.

Нач. адм. части Васьков, передавая Петряеву одну из таких заметок, направленную через адм. часть с расчетом на прочтение ее им, сказал:

— Вот, возьми. Тут какая-то сволочь тебе врет...

Но газету читали и даже покупали. Из тиража в 1000 экземпляров раскупалось и расходилось по подписке на дальние командировки около 100—120. Цена была 5 копеек в счет заборной книжки (на руки присланные с воли деньги не выдавались). Остальное шло на материк, и там большинство подписчиков составляли родственники заключенных, желавшие узнать хоть по газете о жизни своих близких. Не много, конечно, они узнавали.

На Соловках же читали, прежде всего, очень краткую информацию о жизни в СССР и столь же краткий обзор международного положения. Это понятно. Никаких других газет не допускалось. Читали последнюю страницу, где была официальная часть: некоторые постановления коллегии ОГПУ и управления лагерей. Читали театральные рецензии и добродушные, мягкие фельетоны Литвина на местные темы.

Во много раз ценнее и интереснее газеты был ежемесячный журнал «Соловецкие острова». Он содержал 250—300 страниц убористого шрифта и

мог быть смело названным самым свободным из русских журналов, выходивших в то время в СССР. Теперь мне ясны причины допущения этой свободы. Он был безопасен для большевиков. Его тираж в 500 экземпляров был весь в распоряжении ОГПУ. Пересылка журнала с острова на материк допускалась лишь по особым разрешениям, в то время как газету можно было посылать свободно.

Но ОГПУ он приносил несомненную пользу. Во-первых, он осведомлял его (помимо воли и намерений авторов) о настроениях некоторых кругов русской, преимущественно московской, интеллигенции; во-вторых, был рекламным козырем в руках того же учреждения, которым оно оперировало как доказательством гуманности соловецкого режима перед иностранцами, а главное — в высших слоях своей же партии, где в то время была еще сильна оппозиция старых большевиков (Рязанов, Цюрупа, Красин, Томский и др.), относившихся отрицательно и к орудию Ленина Дзержинскому, и к истреблению им русской интеллигенции.

Но тогда мы не знали этого и работали в журнале, упоенные возможностью хотя бы частичного проявления свободы мысли.

Журнал выпускался солидно, даже щегольски, на хорошей бумаге, в строгой серой обложке, с заголовком по эскизу талантливого Н. Качалина. Он не только не имел провинциального вида, но внешне напоминал лучшие из старых изданий этого типа. Вышло его семь или восемь номеров.

По содержанию он распадался на две части: художественную литературу и научно-краеведческую. Вторая была много обширнее первой.

Художественная проза была бедновата. Шли рассказы Литвина, Глубоковского, мои... Стихов было больше. Евреинов, Бернер, Русаков, Емельянов, Акарский давали очень неплохую лирику, правдиво и искренно отражавшую соловецкие настроения. В стихах можно было сказать больше и неуловимо для цензуры все же выразить свои чувства.

Соловецкие поэты это делали. На смерть Есенина «Соловецкие острова» отозвались целым циклом (около десяти) стихотворений различных авторов. В них звучала нескрываемая скорбь о безвременной кончине поэта и упрек его гонителям.

Не сберегли кудрявого Сережу,
Последнего цветка на скошенном лугу...

На материке сделать этого не осмелился ни один журнал. Там поэты равнялись по хамской, циничной эпитафии Есенину, данной Маяковским.

Интереснее был отдел воспоминаний. Мне запомнились мемуары генерала Галкина, последнего русского резидента при последнем хане Хивинском. Они проливали яркий свет на жизнь этой мало известной окраины России, этого

нелепого пережитка азиатских деспотий... Многие вспоминали войну 1914—1917 годов, и эти воспоминания, равно как и мемуары генерала Галкина, могли бы смело идти в любом из современных эмигрантских изданий.

Прекрасные иллюстрации, главным образом зарисовки старых Соловков, давал художник Браз, получивший срок за протест против расхищения сокровищ Эрмитажа, в котором он заведовал одним из отделов.

Вторая часть журнала — научно-краеведческая — заинтересовывала не только специалистов. Материалы по биологии, климатологии, океанографии и проч., конечно, мало кого, кроме них, интересовали, зато все касавшееся истории Соловков находило читателя. Такового было немало. Сотрудники музея давали его в изобилии. Картины долгой и насыщенной творчеством жизни таинственного монастыря вставали одна за другой: новогородские монахи-ушкуйники, воинственные старообрядцы, выдерживавшие осаду стрельцов воеводы Мещеринова, ссыльные запорожские атаманы и даже некоторые декабристы — все они прошли на страницах журнала на фоне огромной культурной и экономической работы, проводившейся 400 лет монастырем, на пепелище которого были брошены последние могикане, мелкие осколки разбитой, поруганной русской культуры. Пустырь разоренного монастыря, угрюмая тишина северной дебри были ее последним приютом на родине, казалось нам тогда...

***

В детстве мне случилось однажды попасть на скотскую бойню. В одном из ее помещений я увидел груду внутренностей убитых животных. Безжизненно розовели легкие, белели связки кишок, и между ними темнели комки сердец. С них стекала густая черная кровь...

Сердца еще жили. Они пульсировали, сжимались, расширялись в неверном, порывистом темпе. Сила инерции уже отнятой жизни еще владела ими и заставляла их содрогаться. Одни уже замирали, другие еще работали вхолостую, вырванные, разобщенные с организмами, которым они служили, брошенные на грязный, залитый кровью пол.

Такой же грудой вырванных из тела, но еще пульсировавших, кровоточивших внутренностей представляются мне Соловки 1923—1927 годов. У выброшенных на эту всероссийскую свалку не было ни будущего, ни настоящего. Было только прошлое. И это безмерно мощное прошлое еще сотрясало уже обескровленные сердца. В этой беспорядочной груде валялись и туго набитые уже загнившей заглоченной пищей желудки. От них шел удушливый смрад.

Они были уже мертвы, а сердца еще жили...

***

Однажды глухой безлунной сентябрьской ночью я возвращался пешком с отдаленной командировки. Дорога шла лесом, и я сбился с тропинки. Пришлось идти наугад, путаясь в высоких папоротниках, спотыкаясь о бурелом и валежник.

Пути не было, и я шел, уже не надеясь найти его до рассвета. Но вдруг впереди мелькнул отблеск какого-то луча. Я пошел на него, почти не веря, что это огонь в жилище человека. Он едва мерцал и порой совсем исчезал, скрытый ветвями ели...

Лишь подойдя вплотную, я понял, что свет идет из крохотного оконца незаметной во тьме землянки. Я заглянул в него.

Прямо передо мной горела лампада, и бледные отблески ее света падали на темный лик древней иконы. Ниже был виден ничем не покрытый аналой, а на нем раскрытая книга... Это было все, и, лишь присмотревшись, я смог различить склоненную пред аналоем фигуру стоящего на коленях монаха и рядом, на лавке, очертания раскрытого гроба.

Я стоял у входа в сокровенный затвор последнего схимника святой нерушимой Руси.

Взойти я не посмел. Можно ли было нарушить своей человеческой нуждой в приюте смиренно-торжественный покой беседы молчальника с Богом?

До рассвета стоял я у окна, не в силах уйти, оторваться от бледных лучей неугасимой лампады пред ликом Спаса...

Я думал... нет... верил, знал, что пока светит это бледное пламя неугасимой лампады, пока озарен хоть одним ее слабым лучом скорбный лик Искупителя людского греха, жив и дух Руси — многогрешной, заблудшейся, смрадной, кровавой... кровью омытой, крещенной ею, покаянной, прощенной и грядущей к воскресению преображенной китежской Руси.

***

Я знаю, что у многих, очень многих читателей возникает вопрос.

Почему, на каком основании автор называет несколько десятков жалких, заморенных, голодных, искалеченных работников науки и искусства, брошенных на соловецкую каторгу, последними носителями русской культуры? Ведь в то же время на всей территории СССР развертывался процесс грандиозного строительства, включавший в себя огромное количество творческих сил высокого напряжения. Как можно сравнить по объему и по результатам творческую работу этих сил с ничтожными усилиями жалкой кучки каторжников?

Но бродяга, изгой, беглый раб, каторжник Сервантес узрел своими духовными очами и запечатлел словом образ Вечного Рыцаря, будучи в оковах, в тюрьме.

Рухнула мощная империя, в пределах которой не заходило солнце, а рожденный в каземате Вечный Рыцарь все так же бродит по миру, любит, страдает и борется, повергается во прах и снова восстает и снова устремляет свое копье против злобных великанов и коварных чародеев! Люди, государства, режимы сменяются, но он неизменен, ибо он — дух.

Сокровища человеческого духа, к числу которых принадлежит и русская культура, не поддаются ни физическим, ни математическим, ни иным доступным человеку измерениям. Ничтожная лепта евангельской вдовицы превысила все сокровища храма. Слово, вдохнутое Богом, победило сильнейшую из империй, созданных человеком. Двенадцать галилейских нищих противопоставили свой дух и излученную им мысль непреоборимой силе непобедимых легионов — и победили их!

Работа в области культуры ничтожной кучки русских интеллигентов на Соловках была действом духа. Она была бескорыстна, стимулировалась только волей творивших ее, она была тяжелой, порой подвижнической.

Подвигом было создание театра Сергеем Арамановым, ничтожным в мастерстве сценического преображения, но великим в своей любви к нему.

Подвижником был доцент Приклонский, кропотливо собиравший и склеивавший при свете коптилки клочки древних разорванных записей...

Прошли десятилетия, и многим казалось, что воля к личному подвигу сокрушена, растерта в прах тяжким жерновом социалистической обезлички. Казалось, что угасла приглушенной неугасимая лампада — душа России... Казалось и мне тогда...

Но только казалось. Господь судил мне увидеть иное, о чем расскажу в конце этой книги.

Глава 9. Как это началось

В 1926 году пароход «Глеб Бокий», доставивший на остров разгрузочную комиссию во главе с Глебом Бокием, привез в наглухо запертом трюме и небольшую партию новых ссыльных, среди которых был одесский контрабандист с десятилетним сроком Н. А. Френкель и сыпнотифозная вошь.

Глеб Бокий, без подписи которого не обходился ни один смертный приговор коллегии ОГПУ, был убийцей многих тысяч.

Сыпнотифозная вошь, занесенная в лагеря и до сих пор не переводящаяся в них, стала убийцей многих сотен тысяч людей.

Натан Аронович Френкель, которому суждено было стать оформителем и главным конструктором системы концлагерей страны победившего социализма, может смело претендовать на звание убийцы многих миллионов.

Было бы ошибкой назвать его автором, изобретателем системы социалистической принудиловки. Эта система вполне закономерно и логично вытекает из самой доктрины социализма. Концлагеря ОГПУ лишь первичные ячейки, опорные пункты теперь уже достроенного социалистического государства-концлагеря, в котором жизнь «свободного» гражданина отличается очень немногим от жизни концлагерника за проволокой. Он не был автором системы, но в его мощном, реалистически мыслившем мозгу отвлеченная и еще туманная тогда идея получила свои первые реальные практические формы. Он осознал, оформил ее и включил в действие. Соловки были первым опытом ее широкого применения.

Большинство коммунистических карьер начинается быстрым взлетом ad astra (к звездам) и очень нередко заканчивается еще более стремительным падением и пулей в подвале всемирно известного учреждения.

Карьера Натана Аароновича Френкеля развернулась в обратном порядке: от более чем вероятной пули в подвале — к звездам, в системе которых он и поныне блистает в составе того созвездия, которое чуть было не прервало не только его карьеру, но и жизненный путь.

Расцвет НЭПа в Одессе был особенно пышен. Город, помнивший блаженную для дельцов эпоху порто-франко, город, насчитывавший даже в царское время более десяти тысяч зарегистрированных уголовников всех видов и специальностей, ожил и возродился в родной ему стихии. Шиберство, спекуляция и контрабанда развернулись в нем тогда в невиданных для России масштабах.

Еще молодой в то время коммерсант, природный одессит Натан Ааронович Френкель разом понял и оценил «дух эпохи», наступившей, как обещал сам Ленин, «всерьез и надолго». Поняв это, Френкель сделал «оргвыводы» и приступил к их широкой реализации: образовал трест контрабанды с размахом поистине американским.

Несколько пароходов, целый флот парусников и катеров этого треста совершали правильные рейсы между советскими портами Черного моря, Румынией и Турцией. «Дело» велось открыто до бесстыдства. Всевозможные товары, начиная с шелковых чулок и кончая валютой всех стран, находили себе место в трюмах этой флотилии и чемоданах доверенных агентов Френкеля. Пограничная охрана, уголовный розыск, суды и даже само ГПУ было закуплено.

Френкель был коммерсантом действительно большого стиля и человеком своей эпохи в истинном ее значении.

История любит иногда подшутить. На этот раз ее шуткой была служебная командировка в Одессу члена коллегии ОГПУ Дерибаса, фамилию которого шпана считала остроумно придуманным псевдонимом «Дери бас», что на блат-

ном языке означает: ори во всю мочь, нагло и нахально. Но эта фамилия была подлинной и лишь несколько иначе писалась до революции — де Рибас, с добавлением звучного титула. Носивший ее чекист был прямым потомком нашедшего новую, более чем милостивую к нему родину в России французского эмигранта, аристократа, ближайшего сотрудника строителя Одессы герцога Ришелье, главная улица которой носила тогда еще его имя.

Последний из рода де Рибас был чрезвычайно ярко выраженным вырожденцем. Очень маленького роста, почти карлик, с огромными оттопыренными ушами, шелушащейся, как у змеи, кожей и отталкивающими чертами лица, он вызывал среди окружающих чувство отвращения, гадливости, смешанной со страхом, какое испытывают обыкновенно при взгляде на паука, жабу, ехидну... Он знал это и не старался замаскировать своего уродства, но, наоборот, бравировал, подчеркивая его крайней неопрятностью, бесстыдством, грубостью и презрением к примитивным правилам приличия. Столь же уродлива была и его психика (сказать «душа» было бы ошибкой: вряд ли у него была таковая). Дерибас был более чем обычным садистом — он был каким-то концентратом зла всех видов, «лейденской банкой», заряженной дьяволом в аду. Он ненавидел всё и всех и не переносил улыбки довольства даже на лицах своих ближайших сотрудников и сотоварищей. Дерибас завидовал всему миру в целом и каждому его атому в отдельности. Он никогда не пропускал возможности причинить боль или иной вред каждому, даже бывшему в его лагере. Если коллегию ОГПУ считать ножом гильотины революции, то он был острием этого ножа. Его ненавидели и боялись даже члены этой всемогущей коллегии. Шатобриан или Лермонтов нашли бы в нем готовый прототип выразителя демонизма, который они безуспешно искали среди людей.

Именно эти качества Дерибаса и приковали к нему внимание Дзержинского в первые годы «чрезвычайки». Создатель ЧК, вернее, выполнитель этого задания Ленина, оценил по достоинству редкостное внешнее и внутреннее уродство этого человекообразного существа и быстро возвысил его до члена коллегии. Такие люди были там нужны, и Дзержинский не ошибся в своих расчетах: Дерибас оказался даже «полезнее», чем ожидал этого сам главный палач. В силу своей ненависти ко всему живущему Дерибас был на самом деле... неподкупным. Ненависть превышала в нем все другие чувства, желания и страсти...

Прибыв в Одессу с самыми широкими полномочиями, Дерибас, конечно, тотчас же узнал о контрабандном тресте Френкеля. Знал, конечно, и Френкель о полномочиях Дерибаса. Игра началась.

Френкель по происхождению был евреем, но не имел ничего общего с крупной и мощной в Одессе еврейской общиной, руководимой чтимыми раввинами.

Он был циничным и откровенным атеистом, поклонялся лишь золотому тельцу и щедро рассыпал подачки нужным ему людям, но ничего не давал ни на синагогу, ни на еврейскую благотворительность. Раввины были настроены против него. Эту историю рассказывал мне здесь же, на Соловках, также еврей, сосланный туда одесский чекист среднего ранга. От него я и узнал подробности о начале деятельности Френкеля.

Именно этот антагонизм между Френкелем и еврейской общиной помог Дерибасу одержать победу. Борьба с Френкелем в тот период была нелегка даже и для такой крупной фигуры, как Дерибас, ибо у Френкеля были закупленные им «свои люди» в составе самой коллегии. Можно предполагать, что одним из них был возвышавшийся в то время Ягода, который позже, уже во втором периоде карьеры Френкеля, явно ему покровительствовал. Глава НКВД того времени Менжинский был по существу пустым местом. Доведенный до полного аморализма наркотиками и развратом всех видов, он был пешкой в руках своих ближайших помощников, а среди них, как это всегда было, есть и будет во всех учреждениях и организациях Коммунистической партии, шла ожесточенная внутренняя борьба. Пауки яростно пожирали друг друга. Умный, расчетливый и осведомленный о ходе этой борьбы Френкель был в курсе всех изменений в расстановке внутренних сил НКВД и спекулировал на них столь же умело, как и на валюте.

Но на этот раз он наскочил на достойного противника. Щупальца спрута, раскинутые от Москвы до Константинополя, встретили жало ехидны. Ехидна была под самым сердцем спрута, в Одессе.

Дерибас, сея ужас вокруг себя, повел игру с Френкелем чрезвычайно осторожно. Он умело делал вид, что хочет сам сорвать с Френкеля крупный, очень крупный куш, столь значительный, что не стеснявшийся обычно в таких случаях Френкель призадумался и начал торг при помощи доверенных лиц. А пока шел этот торг, в Москву, помимо и даже тайно от одесского отдела НКВД и, вероятно, от некоторых членов коллегии, шли сообщения Дерибаса, в чем ему помогала настроенная против Френкеля религиозная часть одесских евреев.

И вот в одну далеко не прекрасную для Френкеля и его друзей ночь в Одессу прибыл зашифрованный поезд с отрядом московских чекистов, который поступил под команду Дерибаса. Френкель, вся головка одесской ЧК и главные «директора» треста были в ту же ночь арестованы и через несколько дней отвезены в Москву самим Дерибасом.

Далее этот авантюрный роман разыгрался так: коллегия ОГПУ вынесла Френкелю и его ближайшим сотоварищам смертный приговор, но их покровители не сложили оружия. Френкель был уже приведен в подвал... и там ему

было объявлено помилование, вернее, замена смертной казни десятью годами соловецкой каторги.

Странная незримая нить связала Френкеля и привезенную вместе с ним сыпнотифозную вошь. Первой стала действовать она. На острове началась и развилась с необычайной быстротой эпидемия сыпняка.

Лазарет уже не вмещал больных. Заболевали в кремле, в скитах, на соседнем острове Анзере, в Секирном изоляторе... Яма для свалки трупов на монастырском кладбище ежедневно расширялась на несколько метров.

Так действовала вошь, слепо и стихийно, убивая и сама погибая на трупах убитых ею...

Френкель действовал иначе — обдуманно и систематически. В первые же дни по прибытии на Соловки он при помощи взятки устроился в штат нарядчиков и внимательно присмотрелся к жизни соловецкого муравейника. Его точный коммерческий практицизм констатировал бесцельность, никчемность труда 20 тысяч каторжников. Практический результат этого труда был ничтожен. Машина работала вхолостую, бесполезно растрачивая горючее. Думается, что тут же, в первые дни пребывания на острове, в его голове начал оформляться грандиозный план, вполне созвучный тому, который уже оформлялся тогда в лабораториях Московского Кремля и вступил в жизнь СССР под именем первой пятилетки.

Но надо было ждать случая для проведения первого опыта, обстановки, нужной для рождения эмбриона.

Эту обстановку создала сыпнотифозная вошь. Бурное развитие эпидемии вынудило начальство к срочным профилактическим мерам. Населению островов, уже отрезанному от материка прекращением навигации, грозило полное вымирание к весне. В первую очередь нужны были бани и в кремле, и в раскиданных по островам командировках, нужны немедленно, срочно.

Инженеры, которым было задано составить план и сметы построек, запроектировали их сроки в 10—20 дней. В проекте, поданном Френкелем по его личной инициативе, значился срок в 24 часа для постройки самой большой бани и только 50 человек рабочих, набранных по его выбору.

Баринов вызвал Френкеля к себе.

— Берешься построить за сутки?

— Берусь, если дадите все, что указываю.

— Дадим. Надуешь — Секирка!

— Знаю!

— Вали!

Френкель отобрал около 30 сильных молодых работников, в большинстве ловких на все руки кронштадтских матросов. Служа нарядчиком и надсмотрщиком в отделе рабсилы, он уже знал их и намечал безошибочно. Остальных он потребовал из барака инвалидов.

— На кой чорт тебе это барахло? — изумился Баринов.

— Мое дело.

— Раз так — бери. У меня попов да генералов хватит. Только помни: сорвешь — сгною на Секирке!

Обе команды — работников и инвалидов — Френкель построил друг против друга на месте намеченной стройки. Дул норд-ост. Мороз грыз уши и руки. Старики меньшей шеренги зябко кутались, топчась на месте. Многие были в лохмотьях.

— Дело обстоит так, — обратился к рабочим Френкель, — в 24 часа мы должны построить здесь баню. Не выполним задания — уйдем с работы прямо на Секирку. И вы, и я, и они, — указал он на стариков. — Горячую пищу — мясную — принесут сюда. Будет по стакану спирта. Начинаем.

Молодежь смотрела на стариков. Старики смотрели на молодежь. И те и другие были людьми. Молодежь поняла не столько умом, сколько сердцем, что от нее и только от нее зависит в данный момент жизнь стариков.

— Берись, братва!

— Дружно!

— По авральному!

— Свисти всех наверх, боцман!

— Боевая тревога!

Вероятно, в давно минувшие времена Святой Руси так же дружно, с таким же напряжением всех сил строились по обету церкви-однодневки. В мятежных кронштадтцах, последних матросах Русского императорского флота, еще жили пронесенные в их сердцах сквозь кровавый туман безвременья традиции Севастополя и Порт-Артура. Ими еще пелась тогда песня о героической смерти «Варяга».

Стены из толстых бревен были еще не закончены, а в огороженном ими пространстве уже клали печи. Доски, баланы, брусья словно сами летали по воздуху. Двухдюймовые гвозди загонялись одним ударом молотка сильной, привычной рукой...

— Даешь! Даешь! Полундра! — звучало над стройкой.

Старики помогали чем могли, но могли они мало. Френкель умышленно выбрал самых убогих, самых старых епископов и генералов. Сам он был центром всей работы, ее мозгом и распоряжался спокойно, дельно, толково... Свои обещания он сдержал: были и густые мясные щи, и хлеб без веса, и спирт...

Чахлый день соловецкой зимы замирал. Над стройкой вспыхнули прожекторы, и работа продолжалась в том же темпе.

Пришедший на следующее утро Баринов вошел в пахнувший свежей сосновой стружкой предбанник. Из двери бани валил белый пар уже закипавших котлов.

— Молодцы, так-растак, в сердце, в кровь, в селезенку!.. — рявкнул восхищенный Баринов. — Всем по стакану спирта! От меня! А ты, — обратился он к Френкелю, — зайдешь ко мне... побалакаем...

Работа была выполнена за два с половиной часа до срока. В лазарет унесли только двух замерзших ночью стариков-священников.

Этот день был началом новой эры в жизни соловецкой каторги. Она вступила в систему социалистического строительства, раскинутую на территории одной шестой мира...

***

Вторая часть зимы протекала под знаком напряженной работы сыпнотифозной вши и Натана Аароновича Френкеля.

Первая работала в низах, транспортируя уже не в одну, а в десятки ям, вырытых в мерзлой земле, новые и новые сотни мертвых.

Второй работал в верхах, подготовляя транспортировку того же продукта социалистического производства уже не в десятки, а в сотни, тысячи, сотни тысяч братских могил.

Управление СЛОНом было реорганизовано коренным образом. Его отделы, возникшие в период хаотического развития Соловков — свалки недорезанных, были преобразованы, частью аннулированы и пополнены новыми, сведены в стройную систему воспитательно-трудовой части, во главе которой стоял Френкель.

Для специалистов-техников всех видов настал золотой век. Первыми вступили в него экономисты-плановики — уродливая, паразитарная профессия, порожденная практикой социалистического хозяйства, и бухгалтера. Пишущие машинки управления стучали день и ночь, продуцируя кипы планов, смет, схем, которые единственный тогда соловецкий самолет едва успевал перебрасывать на материк — в Кемь, а оттуда на Лубянку.

Соловки были всегда микрокосмом, чутко отражавшим в уменьшенном во много раз виде все процессы, возникавшие на материке. Они пережили свой период военного коммунизма, свой НЭП и теперь вступали в эпоху формирования социалистической кабалы.

Отразили они и последний бой зубров революционного подполья с провозвестниками грядущей армии роботов. Воспитательно-просветительная часть встала на пути воспитательно-трудовой. Коган вступил в борьбу с Френкелем и был разбит, приведен к молчанию, утратив разом все свое влияние. Иначе быть не могло. Соловки отражали жизнь СССР.

Вместе с воспитательно-просветительной частью были разгромлены и все ячейки соловецкого пережитка русской культуры. Первым умер журнал, ненадолго пережила его и газета. Музей сохранился лишь как показательно-рекламное учреждение, его научные сотрудники-краеведы были растасованы по канцеляриям, а часть их — геологи, топографы, картографы, геодезисты и проч. — направлены на изыскательные работы в торфяники Колы, тайгу Северного Урала и даже на Новую Землю, где была запроектирована база промышленного лова тюленей, моржей и трески. Биосад обезлюдел, театр был разделен на несколько мелких передвижек для обслуживания пропаганды в новых беспрерывно формировавшихся лагерях и командировках.

Размах Френкеля был широк и его организационные способности, несомненно, велики. Если до него распорядители соловецкой рабсилы в большинстве случаев не знали, куда девать прибывавших каторжников, то теперь людей и особенно техников всех специальностей не хватало. В отправленных в Москву планах и схемах значилась потребность в десятках, сотнях тысяч... ОГПУ удовлетворяла ее в срочном порядке.

Молох социалистического рабства рос с каждым днем, и ничтожный северный остров не мог уже вместить даже его мозга. Управление лагерями особого назначения было перенесено на материк, а сами Соловки превратились к 1930 году в третьеразрядный лагерь, последнее пристанище безнадежных доходяг. Их роль была сыграна.

Соловецкий этап развития социалистического рабства сменился Беломорско-Балтийским. Во главе этой новой гигантской системы стоял Н. А. Френкель, превратившийся из каторжника с высшим сроком в неограниченного повелителя миллионов жизней, орденоносца и Героя Социалистического Труда. Надо быть справедливым: это последнее звание он мог носить по праву. Его вклад в практику осуществления социализма — грандиозен.

В наши дни Френкель продолжает вести свое страшное дело, разворачивая его все шире и шире. Теперь он уже имеет чин генерала Госбезопасности и множество орденов. С Дерибасом он, очевидно, сосчитался: этот последний исчез в период террора 1938 года на Дальнем Востоке.

Часть четвертая.
СИХ ДНЕЙ ПРАВЕДНИКИ

Глава 1. Преддверие

Это было в первый год моей соловецкой жизни. Я томился еще на общих работах, рубил в лесу укутанные в снежные шубы стройные и строгие ели, очищал их от сучьев и выволакивал на дорогу. Последнее было самым трудным: нести вдвоем на плечах десятипудовый балан, пробиваться иногда по пояс в снегу, то роняя проклятое бревно, то падая вместе с ним, и совершать в день по 20 таких переходов длиной в полкилометра каждый было под силу далеко не всем из лесорубов, а слабым старикам и непривычным к физическому труду совсем невозможно. Но мы с моим партнером, мичманом Г-ским, были молоды, тренированы спортом и службой: он — во флоте, я — в кавалерии. Мы были здоровы и, научившись владеть топором, урок выполняли. Страдать нам приходилось только от голода, так как оба были бедны, как церковные крысы, и от вшей при ночевках на третьем этаже нар общежития в руинах Преображенского собора.

Но свет не без добрых людей. Даже на Соловках. Правдами и неправдами нас перетащили в 10-ю роту, состоявшую из учрежденцев и спецов. Я попал шестым постояльцем в просторную келью.

Сожители были славными людьми, и жили мы дружно, верили друг другу, говорили свободно и единодушно боролись с тяготами режима, то посильно протестуя, то обходя их, ловчась и хитря.

Но все мы были различны в своих «вчера» и «сегодня».

Старшим по камере был Миша Егоров, Парижанин; здесь и завязалась моя с ним дружба. Он, как полагалось старшему, занимал стоявший около печки непомерный и столь же неуклюжий «бегемот» — оставшийся от монахов широкий деревянный диван, жесткий, но со спинкой. На другом таком же диване — в нашей келье в монастырское время жили два монаха — помещался его друг еще по коммерческому училищу Вася Овчинников, тоже московский купец, но с Рогожской, старообрядец, воспитанный в строгой, еще хранившей вековой уклад семье и в столь же строгих правилах древнего русского благочестия. Приятели любили друг друга, но это не мешало им постоянно пикироваться.

Третьим был турок Решад-Седад, их сверстник по годам, но с иным, пестрым и экзотическим даже для Соловков прошлым. Во время гражданской войны Решад занимался коммерческими, а быть может и контрабандными, операциями между Турцией и Грузией. При захвате Тифлиса попал к большевикам и разом приспособился к новой обстановке. Он вступил в партию, куда, как иностранец, был принят в те времена с распростертыми объятиями, и начал делать карьеру,

спекулируя на самоопределении наций. Сначала все шло блестяще, коммерсант-контрабандист Решад-Седад стал ни мало ни много как наркомом просвещения автономной Аджарской республики. Но потом стряслось что-то, о чем Решад говорил коротко:

— Очень хорошо жил, как жантильом жил... Только маленькая ошибка вышла... Из Батума — на Соловки.

Политическая беспринципность Решада происходила от полной чуждости его политике вообще. Он понимал и расценивал ее только с коммерческой точки зрения. Но это поклонение мамоне не мешало ему быть в личной жизни вполне порядочным, очень отзывчивым человеком и добрым, верным товарищем. Малых талантов и умения ими пользоваться у Решада было хоть отбавляй. Он был и графиком, и рисовальщиком, умел делать игрушки, музыкальные инструменты, варить сыр и мыло, коптить рыбу, приготовлять конфеты из картошки... чего только он не умел! С такими знаниями на Соловках не пропадали: Решад стал заведующим мастерской экспортных художественно-кустарных игрушек и поставил дело неплохо, пользуясь всем разнообразием профессий соловецкой каторги.

Рядом с ним спал на едва прикрытом какой-то тоненькой тряпочкой топчане старый барон Иоганн Ульрих Риттер фон Рикперт дер Гельбензандт — его полная противоположность, который абсолютно ничего не умел делать, даже сколько-нибудь сносно приспособиться к соловецкому быту. Остзеец, просидевший всю жизнь в своем рыцарском замке, читая «Готский альманах» и лютеранский молитвенник, он был начисто обобран шпаной в дороге, всадил себе топор в колено в первый же день работы и, лишившись коленной чашки, как полный инвалид, попал в ночные сторожа какого-то склада. Это и спасло его от гибели. Земляки-остзейцы, которым уже удалось пробраться к мизерному каторжному счастью, вытащили старика в привилегированную роту. Свободный днем, он педантично следил за чистотой и порядком в келье, работая за своих беспорядочных соседей, а убрав и буквально выскоблив ее, садился у окна и читал свой молитвенник. «Готский альманах» отобрали при выгрузке. Как он ухитрялся проделывать всю процедуру уборки на своем костыле, для меня до сих пор непонятно.

Его соседом по койке и соперником по древности рода был шляхтич вольный Стась Свида-Свидерский, герба Яцута, тоже хранитель феодальных традиций, но иного порядка. Пан Свидерский был молод, силен, красив и неглуп, но делом, достойным его древнего, от самого Казимира Великого, происхождения, он признавал только войну и охоту. Сколь доблестны были его подвиги на войне, мы знали только по его, заставлявшим вспоминать пана Заглобу, рассказам, но во всем, что касалось охоты, он был действительно большой и глубокий знаток.

Распознавание следов зверя, обкладка его, дрессировка собак, пристрелка ружей, весь обширный и сложный комплекс охотничьих наук не имел от него тайн.

Право на жизнь в 10-й роте ему давала очень приятная для него и небезвыгодная служба. Он был егерем Эйхманса и проводил все дни, скитаясь по острову, выслеживая дичь и тренируя собак. Сожитель он был приятный, веселый, покладистый и забавный собеседник.

— Пан, спать еще рано, читать не хочется, поври чего-нибудь, — просил его по вечерам бесцеремонный и простоватый Овчинников.

— Лайдак! — беззлобно огрызался Свида. — Поучись гонору. Врут только хлопы и хамы, а шляхтич если и мовит неправо, то фантастикует, — однако тотчас же начинал красочный рассказ о какой-нибудь необыкновенной охоте или о роскоши «палаца» князей Любомирских.

Шестым в келье был я. По странной случайности мы все были не только разных вероисповеданий, но и религиозного воспитания. Вася Овчинников — истовый старообрядец, Решад — правоверный мусульманин, барон — умеренный, как и во всем, добропорядочный лютеранин, пан Стась — фанатичный католик, я — православный, с налетом тогда деизма, Миша Егоров — полный и убежденный атеист-эпикуреец.

***

Однажды, в декабрьский вечер, случилось так, что мы все шестеро собрались в келью довольно рано. Так бывало редко. Пан обычно поздно возвращался из леса, я репетировал или выступал в театре, Миша Егоров засиживался у своих многочисленных приятелей, и лишь барон в одиночестве перебирал в памяти своих предков — магистров и комтуров — перед уходом на сторожевку.

— А знаете, ведь сегодня 15 декабря, — изрек Миша. Он всегда начинал речь с сентенций.

— А завтра — шестнадцатое, — в тон ему ответил Овчинников.

— Через десять дней — Рождество, — пояснил Миша, оглядывая всех нас.

— Тебе-то, атеисту, до этого какое дело? — возразил Овчинников, не прощавший безверия другу и однокашнику.

— Как — какое? — искренно изумился Миша. — А елка?

— Елка? А Секирку знаешь? Елки, брат, у вас в Париже устраивают, а социалистическая пенитенциария им другое назначение определила, — кольнули мы Мишу его партийным прошлым.

— А мы и здесь свой Париж организуем! Собственное рю Дарю! Замечательно будет, — одушевился Миша. — После поверки в келью никто не заглянет... Дверь забаррикадируем, окна на третьем этаже... хоть молебен служи!

Идея была заманчива. Вернуться хоть на час в безвозвратно ушедшее, пожить в том, что бережно хранится у каждого в сокровенном уголке памяти... Даже барон вышел из своего обычного оцепенения и в его тусклых оловянных глазах блеснул какой-то теплый свет.

— Елка? Tannenbaum? Да, это есть очень хорошо. В моем доме я всегда сам заряжал... Нет, как это будет по-русски? Надряжал семейную елку... И было много гости.

Мы верили друг другу и знали, что стукачей меж нас нет. Предложение Миши было осуществимо, и мы тотчас приступили к выработке плана.

— Елочку, небольшую конечно, срубишь ты, — говорил мне Миша. — Через ворота нести нельзя: возбудит подозрение. А мы вот что сделаем: я на угловую башню залезу и бечевку спущу. Ты, возвращаясь, привяжи елку, а я вздерну. В темноте никто не заметит.

— Украшения изготовит, конечно, Решад. Он мастер великий. А свечи?

— Склеим трубочки из бумаги, вставим фитили и топленой ворванью зальем, — отозвался Овчинников. — У нас в моленных фабричных не приемлют. Сами делают, и я мальчишкой делал. Умею.

— Есть, капитан! Но еще вопрос: угощение? Без кутьи какой же сочельник...

— Ша, киндер! — властно распорядился Миша. — Это мое дело. Я торгпред! Парижские штаны реализую, лучших уркаганов мобилизую, а угощение будет! Ручаюсь!

— Но ведь еще надо один священник... Это Рождество, Heilige Nacht... Надо молиться... Я, конечно, могу читать молитвы, но по-немецки. Вам будет... как это? Непонимаемо?

— Да, попа надо, — раздумчиво согласился Миша, — мне-то, конечно, это безразлично, но у нас всегда в сочельник попа звали... Без попа как-то куцо будет. Не то!..

— Вопрос в том — какого? Мы-то, как на подбор, все разноверцы.

— Россия есть православный империя, — барон строго обвел всех своими оловянными глазами и для убедительности даже поднял вверх высохший, как у скелета, указательный палец. — Россия имеет православный религион. Мой батюшка ходил в русски Kirche на Пасх, на Рождество и на каждый царский день. Он был российски генерал!

— Ты, пан, как полагаешь? Ты, адамант истинный?

— Пан ксендз Иероним, конечно, не сможет. Он будет занят... Пусть служит русский.

— Далековато от нас Рогожское-то, — улыбнулся Вася Овчинников, — пожалуй, не поспеем оттуда нашего привезти!

— Решено. Вопрос лишь, кого из священников, — резюмировал я. — Никодима Утешителя?

— Ясно, его! По всем статьям! — отозвался Миша. — Во-первых, он замечательный парень, а во-вторых, голодный. Подкормим его для праздника!

«Замечательному парню», как назвал его Миша, отцу Никодиму было уже лет под восемьдесят, и парнем он вряд ли был, но замечательным он был действительно, о чем рассказ впереди. Его знали все заговорщики, и кандидатура была принята единогласно.

***

Подготовка к запрещенной тогда и на материке, и на Соловках рождественской елке прошла как по маслу. Решад задумал изумить всех своим искусством и, оставаясь до глубокой ночи в своей мастерской, никому не показывал изготовленного.

— Все будет как первый сорт, — твердил он в ответ на вопросы, — живой товар! Я все знает, что тэбэ нада... Всякий хурда-мурда! И рыбка, и ангел...

— А у вас, у басурманов, разве ангелы есть? — с сомнением спросил Вася.

— Совсэм ишак ты! — возмутился турок. — Как мошет Аллах быть без ангел? Один Бог, один ангел всех! И фамилия та же самая: Габариил, Исмаил, Азараил... Совсем одинаково!..

Миша также держал в тайне свои приготовления, лишь Вася Овчинников с бароном открыто производили свои химические опыты, стараясь отбить у ворвани неприятный запах. Химики они были плохие, и по коридору нестерпимо несло прелой тюлениной. Выручил тот же ловкий Решад, добыв у сапожников кусок темного воска, каким натирают дратву.

В сочельник я срубил елочку и, отстав от возвращавшихся лесорубов, привязал ее к бечеве в условленном месте, дернул, и деревцо поползло вверх по заснеженной стене.

***

Когда, обогнув кремль и сдав топор дежурному, я вошел в свою келью, елочку уже обряжали. Хлопотали все. Решад стоял в позе триумфатора, вынимая из мешка рыбок, домики, хлопушки, слонов... Он действительно превзошел себя и в мастерстве, и в изобретательности. Непостижимо, как он смог изготовить все это, но его триумф был полным. Каждую вещь встречали то шепотом, то кликами восторга. Трогательную детскую сказку рассказывали нам его изделия...

Теснились к елке, к мешку, толкались, спорили. Миша, стремившийся всегда к модернизму, упорно хотел одеть в бумажную юбочку пляшущего слона, уверяя, что в Париже это произвело бы шумный эффект.

— Дура ты монпарнасская, — вразумлял его степенный Овчинников, — зеленые слоны еще бывают, допиваются до них некоторые, но до слона в юбке и допиться никому не удавалось... хотя бы и в Париже!

На вершине елки сиял... нет, конечно, не советская звезда, а венец творчества Решада — сусальный вызолоченный ангел.

Украсив елку, мы привели в порядок себя, оделись во все лучшее, что у нас было, выбрились, вымылись. Трудновато пришлось с бароном, имевшим лишь нечто, покрытое латками всех цветов, бывшее когда-то пиджаком, но Миша пришел на помощь, вытащив из своего чемодана яркий до ослепительности клетчатый пиджак.

— Облачайтесь, барон! Последний крик моды! Даже не Париж, а Лондон... Модель!

Рукава были несколько коротки, в плечах жало, но барон сиял и даже как будто перестал хромать на лишенную чашечки ногу.

— Сервируем стол, — провозгласил Миша, и теперь настал час его торжества. — Становись конвейером!

Сам он поместился около своего необъятного дивана, и из скрытого под ним ящика начали появляться и возноситься в Мишиных руках унаследованные от монахов приземистые оловянные мисы и деревянные блюда.

— Salade des pommes de terre. Étoile du Nord, — торжественно, как заправский метрдотель, объявлял Егоров. — Sauté de тюленья печенка, чорт ее знает, как она по-французски будет!— Ну, это, брат, сам лопай, — буркнул Овчинников.

— Действительно, ты — адамант рогожский! Столп — и только! Дубина! Я пробовал: лучше телячьей! Поверь! Ragoût soviétique. Пальчики оближете! Frit de селедка avec луком! Riz russe... кутья... Вот что даже достал! С изюмом!

— Подлинно изобилие плодов земных и благорастворение воздухов!

В азарте сервировки мы не заметили, как в келью вошел отец Никодим. Он стоял уже среди нас, и морщинки его улыбки то собирались под глазами, то разбегались к седой, сегодня тщательно расчесанной бороде. Он потирал смерзшиеся руки и ласково оглядывал нас:

— Ишь ты, как прифрантились для праздника! Герои!.. А сиятельного барона и узнать невозможно: жених, прямо жених! Ну, а меня уж простите: ряска моя основательных дополнений требует, — оглядел он отрезанные полы, — однако материал добрый... В Киеве купил, в году — дайте вспомнить... в девятьсот десятом! Знаменито тогда вырабатывали...

— Дверь! Дверь! — страшным голосом зашептал Миша. — Забыли припереть, анафемы! Чуть-чуть не влопались. Придвигай «бегемота»... Живее да потише!

Приказание было мгновенно исполнено.

— Ну, пора и начинать. Ставь свою икону, адамант. Бери требник, отче Никодимче!

На угольном иноческом шкапчике-налое, служившем нам обычно для дележки хлебных порций, были разостланы чистые носовые платки, а на них стал темный древний образ Нерукотворного Спаса, сохраненный десятком поколений непоколебимого в своей вере рода Овчинниковых. Но лишь только отец Никодим стал перед аналоем и привычно кашлянул... вдруг «бегемот», припиравший дверь, заскрипел и медленно пополз по полу. Дверь приоткрылась, и в щель просунулась голова дежурного по роте охранника — старого еврея Шапиро, бывшего хозяйственника ГПУ, неизвестно за что сосланного на Соловки.

«Попались! Секирка неизбежна, а зимой там верная смерть», — пронеслось в мозгах у всех, кроме разве барона, продолжавшего стоять в позе каменной статуи.

— Ай-ай!.. Это-таки настоящее Рождество! И елка! И батюшка! И свечечки! Не хватает только детишек... Ну и что? Будем сами себе детишками!

Мы продолжали стоять истуканами, не угадывая, что сулит этот визит. Но по мере развития монолога болтливого Шапиро возрастала и надежда на благополучный исход.

— Да что же тут такого? Старый Аарон Шапиро тоже будет себе внучком. Отчего нет? Но о дежурном вы все-таки позабыли. Это плохо. Он тоже человек и тоже хочет себе праздника. Я сейчас принесу свой пай, и мы будем делать себе Рождество, о котором будем знать только мы... одни мы...

Голова Шапиро исчезла, но через пару минут он протиснулся в келью целиком, бережно держа накрытую листком бумажки тарелку.

— Очень вкусная рыба, по-еврейски фиш, хотя не щука, а треска... Сам готовил! Я не ем трефного. Я тоже верующий и знаю закон. Все евреи верующие, даже и Лейба Троцкий... Но, конечно, про себя. Это можно. В Талмуде все сказано, и ученые ребби знают... Батюшка, давайте молиться Богу!

— Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков! Аминь.

— Amen, — повторил деревянным голосом барон.

— Amen, — шепотом произнес пан Стась.

Отец Никодим служил вполголоса. Звучали простые слова о Рожденном в вертепе, об искавших истины мудрецах и о только жаждавших ее простых, неумудренных пастухах, приведенных к пещере дивной звездой...



Б.Н. Ширяев
(1889–1959).
*Автор рисунка
неизвестен*



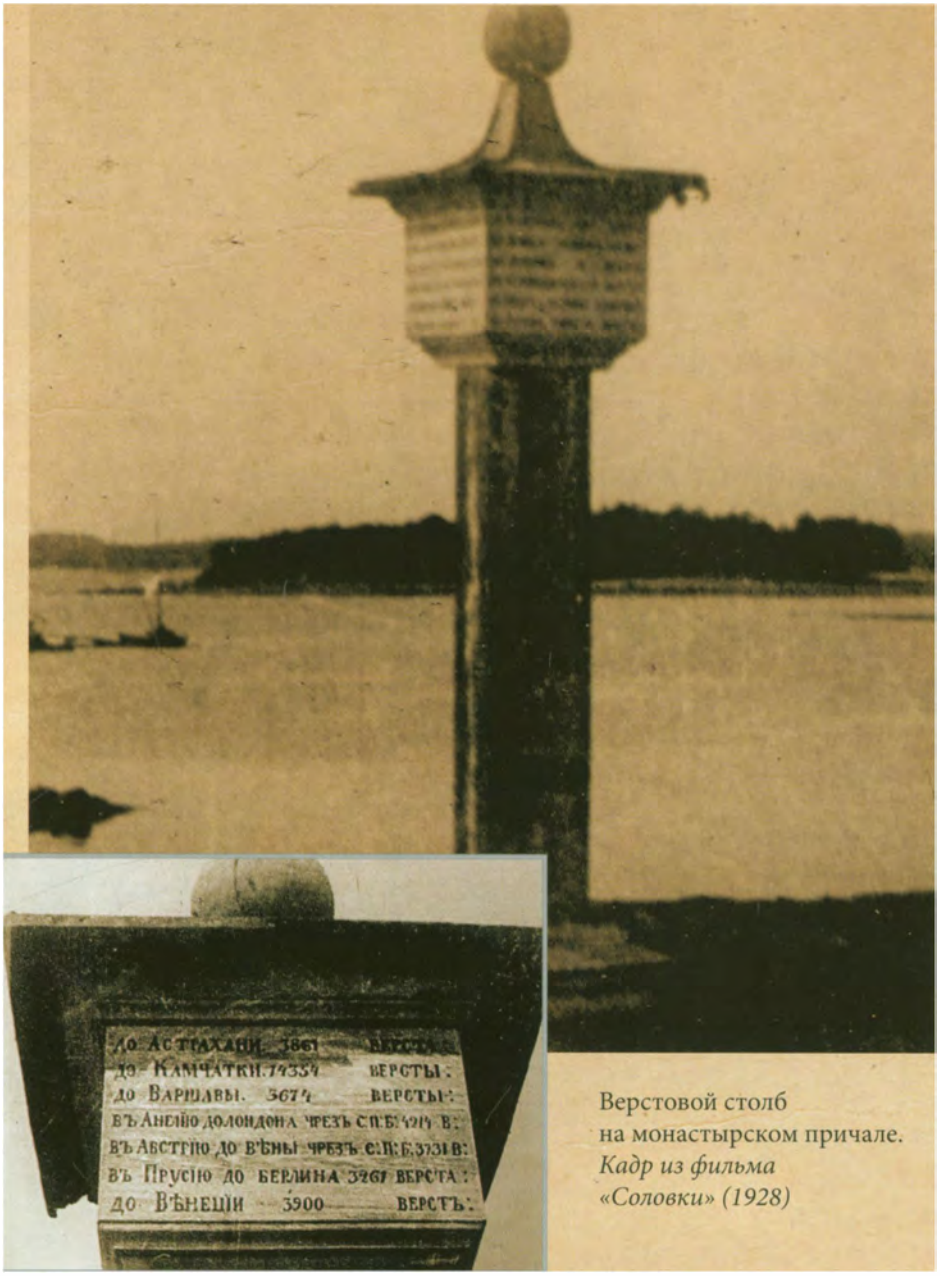
Вскрытие мощей прпп. Зосимы и Савватия 22 сентября 1925 г.



Вид монастыря после майского пожара 1923 г.
Фото П. Барановского. Август 1923 г.



Переходы от Трапезной палаты к Спасо-Преображенскому собору
после пожара 1923 г.



Верстовой столб
на монастырском причале.
Кадр из фильма
«Соловки» (1928)



А. П. Ногтев (1892–1947).
Начальник УСЛОНа в 1923–1930 гг.
с перерывом в 1928–1929 гг.



Р. И. Васьков (1891–1961).
Занимал разные должности
в УСЛОНе в 1926–1930 гг.
Из фондов СГИАПМЗ



Ф.Я. Эйхманс (1897–1938). Заместитель
начальника УСЛОНа
с 1923 г. В 1925–1929 гг. – начальник
Соловецкого отделения лагеря.
Расстрелян. *Фото 1930 г.*



Г. И. Бокий (1889–1937).
Член коллегии ОГПУ с 1921 г.
Один из организаторов
Соловецкого лагеря. Расстрелян



Л. Д. Вуль (1899–1937). Начальник Московского уголовного розыска в 1931–1933 гг. Неоднократно бывал на Соловках. Расстрелян



М.С. Кедров (1878–1941). Советский государственный и партийный деятель. Один из ликвидаторов Соловецкого монастыря. Расстрелян



Группа начальников Беломорстроя. Крайний справа – Н.А. Френкель. *Повенец, 1932 г.*





Соловецкий монах Иринарх (Мишнев). *Кадр из фильма «Соловки» (1928)*



Соловецкий монах за работой в лагерном гончарном заводе. *Кадр из фильма «Соловки» (1928)*

Сщмч. Иларион (Троицкий) (1886–1929).
Архиепископ Верейский, викарий Московской епархии.
Фото ок. 1926 г.



М.Н. Фроловский (1895–1941 (?)).
Литератор. На Соловки сослан
по «делу лицеистов».
Скончался в Карлаге.



А.А. Сиверс (1894–1929)
с женой Татьяной.
На Соловки сослан
по «делу лицеистов».
Расстрелян по «Делу
о кремлевском заговоре».
Соловки, 1927 г.

Сщмч. Владимир Лозина-Лозинский
(1885–1937). Настоятель университетского
храма в СПб. Расстрелян. *Фото ок. 1925 г.*





В.И. Кривош-Неманич (1862–?). Чех. Профессор. В 1923 г. был приговорен к расстрелу по обвинению в шпионаже. Расстрел заменен десятью годами лагерей. На Соловках был активным членом СОКа, работал на Метеостанции. *Кадр из фильма «Соловки» (1928)*

Метеорологические сведения.

Море Белое

Станция о. Соловки

Год 1927

Месяц Март

Наблюдатель Владимир Иванович Кривош-Неманич
(имя) (отчество) (фамилия)

Номера приборов, служащих для наблюдений.

Барометр № 973 Fuess'a
Запасный барометр № 288 Naudet
Сухой термометр № 13398 (Müller 1340) 73783
Смоченный термометр № 13398 (1340) 73784
Минимальный термометр № 6187 ф.о Müller 68602)
Максимальный термометр № 4725
Волосной гигрометр № 104693
Психрометр Ассмана { сухой термометр №, смоченный термометр №

Таблица метеонаблюдений. *Из фондов СГИАПМЗ*



Н.М. Фредерикс
(1864–1926). Баронесса.
Сослана на Соловки
в числе 35 человек
по «Церковному делу»

Дело № 776/

Регистрационная карточка примет заключенного.

1. Имя, отчество, фамилия Наталия Модестовна Фредерикс
2. Возраст (сколько лет) 60л.
3. Рост (высокий, средний, ниже среднего) средний
4. Наружностью (брюнет, блондин, шатэн) седая.
5. Сложение (фигура) полный, сухощавый и т. п. полная.
6. Особые приметы: характерное выражение лица, глаз, очертание губ, носа, родинки на лице, повреждение лица оспою и т. п. глаз гноит.
7. Физические недостатки: шрамы на лице или руках, хромота и другие недостатки
8. Выговор: картавит, недоговаривает, заикается, с иностранным акцентом и другие особенности речи чисто
9. Описание постоянной одежды заключенного коттовая куртка, черная блуза, черное платье

30/I-24

Подпись: Комендант



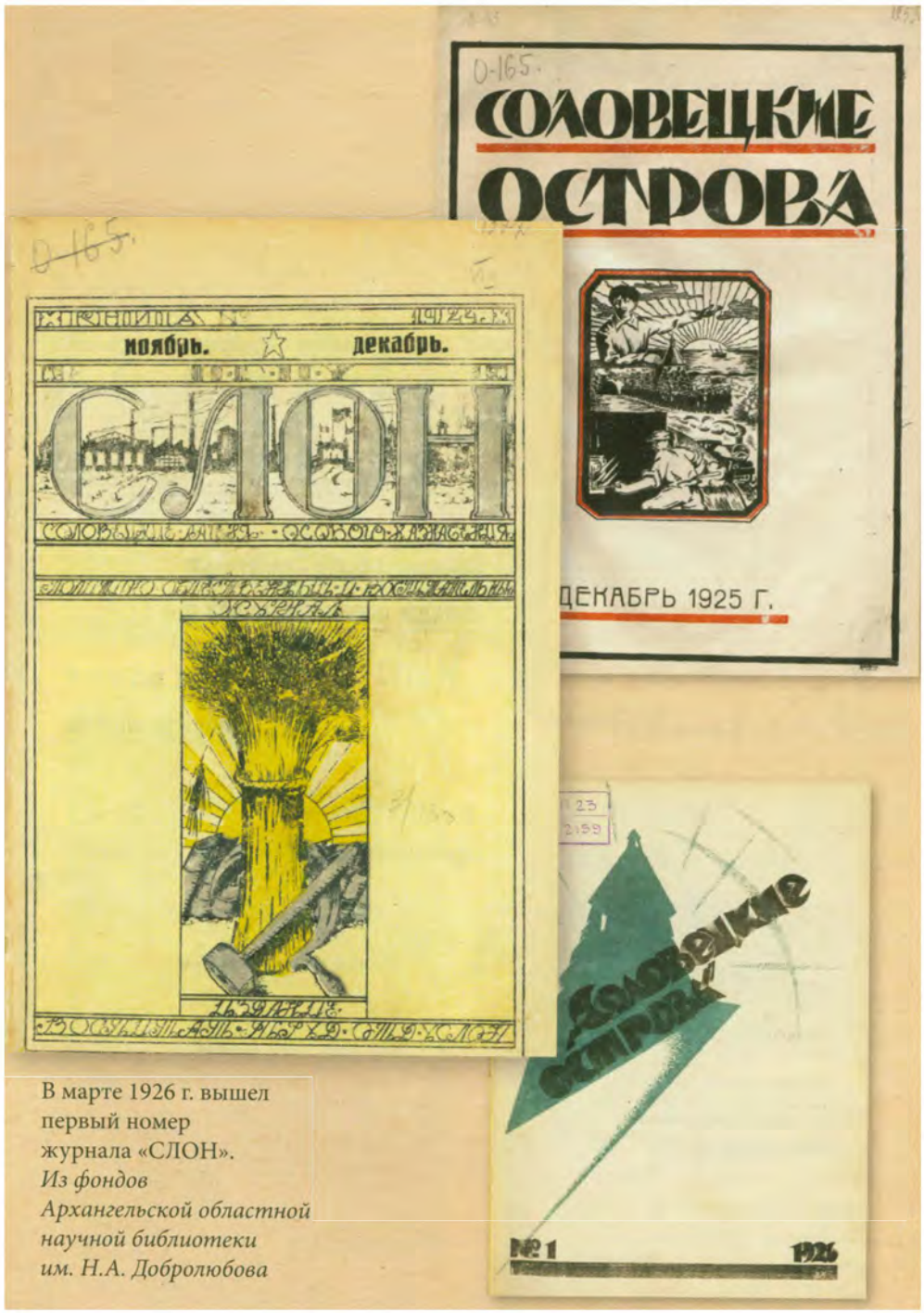
Театр I-го отделения.
Сцена из спектакля «Мандат» Н. Эрдмана.
Режиссер Б. Глубоковский. 1926 г.



Б.А. Глубоковский
с актерами театра.
Из фондов СГИАПМЗ



Вход в театр.
Кадр из фильма «Соловки» (1928)



В марте 1926 г. вышел первый номер журнала «СЛОН». *Из фондов Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова*

За 1926–1929 гг. вышли
23 сборника материалов Соловецкого общества краеведения (СОК).
Из фондов Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова



11 января 1925 г. вышел первый номер газеты «Новые Соловки». Первый выпускающий – Н.К. Литвин.
Из фондов Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова



С 1924 г. в лагере начала работать литография. Фото В. Блувштейна, 1928–1929 гг. *Из фондов СГИАПМЗ*



И.С. Слепян.
С 1924 г. – заведующий литографией.
Из фондов СГИАПМЗ



Сотрудники Биосада СОАОКа. В первом ряду третий справа – начальник УСЛОНа Ф.Я. Эйхманс, слева от него – зав. Биосадом М.И. Некрасов.
Лето 1926 г.
Из фондов СГИАПМЗ



Заведующий Биосадом М.И. Некрасов с первой семьей белок, доставленных на Ленинградскую биостанцию в 1926 г.



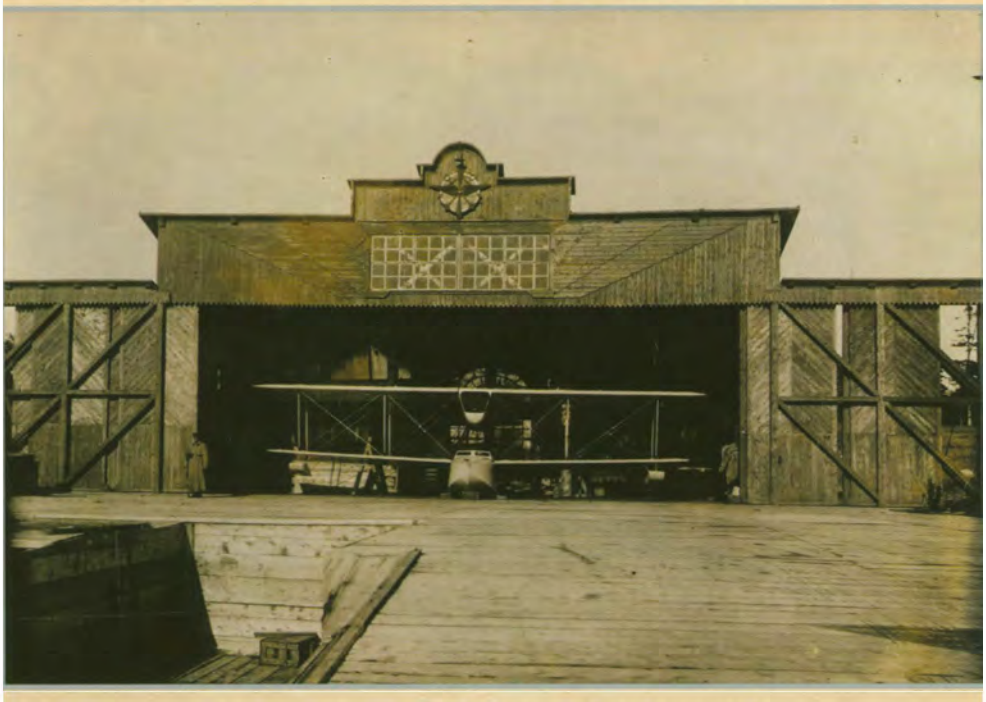
К.Г. Туомайнен (1893–1937), инициатор разведения пушных зверей на Соловках, с первым приплодом соболей. *Фото ок. 1927 г. Из фондов СГИАПМЗ*



Вход на территории Биосада в Филипповой пустыни.
Слева – Игуменское озеро, вдали видны вольеры для птиц.
Весна 1926 г. *Из фондов СГИАПМЗ*



В лагерное время для приезжих проводились экскурсии. Экскурсию ведет заключенный А.И. Иванов.
Кадр из фильма «Соловки» (1928)



Здание ангара для гидросамолета. Фото В. Блувштейна, 1928–1929 гг.
Из фондов СГИАПМЗ

Электричество в келье было потушено. Горела лишь одна свечка перед ликом Спаса, и в окнах играли радужные искры величавого сполоха, окаймлявшего торжественной многоцветной бахромой темную ризу усыпанного звездами неба. Они казались нам отблесками звезды, воссиявшей в мире Высшим Разумом, перед Которым нет ни эллина, ни иудея.

Отец Никодим читал Евангелие по-славянски. Методичный барон шепотом повторял его по-немецки, заглядывая в свой молитвенник. Со стороны стоявшего сзади всех шляхтича порой слышалась латынь... На лице атеиста Миши блуждала радостная детская улыбка.

— С наступающим праздником, — поздравил нас отец Никодим. И потом совсем по-другому, по-домашнему: — Скажите на милость, даже кутью изготовили! Подлинное чудо!

Все тихо, чинно и как-то робея, словно стыдясь охватившего их чувства, сели за стол, не зная, с чего начать.

— О главном-то и забыл с вашими молитвами! — хлопнул себя по лбу Миша, метнулся к кровати, пошарил под матрацем и победно взмахнул такой знакомой всем бутылкой.

— Вот она, родимая! Полных 42 градуса, и печать... Из закрытого распределителя достал! На парижскую шелковую рубаху выменял...

Ликование превысило все меры. Никто из нас никогда в жизни ни прежде, ни потом не ел такого вкусного салата, как Étoile du Nord из промерзшей картошки, рыба-фиш была подлинным кулинарным чудом, а тюленья печенка — экзотическим изыском...

Выпили по первой и повторили. Разом зарумянившийся барон фон Риккерт, встав и держа в руке рюмку, затянул «Stille Nacht, Heilige Nacht», а Решад стал уверять всех, что «по-турецки тоже эта песня есть, только слова другие».

Потом все вместе тихо пропели «Елочку», дополняя и импровизируя забытые слова, взялись за руки и покружились вокруг зажженной елки. Ведь в ту ночь мы были детьми, только детьми, каких Он звал в Свое Царство Духа, где нет ни эллина, ни иудея...

***

Когда свечи догорели и хозяйственный Вася собрал со стола остатки пира, отец Никодим оглядел все изделия Решада своими лучистыми глазами и даже потрогал некоторые.

— Хороша елка, слов нет, а только у нас на Полтавщине обычай лучше. У нас в этот день вертеп носят. Теперь, конечно, мало, а раньше, когда я в семинарии

был, и мы, бурсаки, со звездою ходили. Особые вирши пели для этого случая. А вертепы-то какие выстраивали — чудо механики! Такое устроят бурсаки, что звезда по небу ходит, волхвы на коленки становятся, а скоты вертепные, разные там — и овцы, и ослята, и верблюды — главы свои пред Младенцем преклоняют... а мы про то поем...

— Скоты-то чего же кланяются? — удивился Миша. — Они что понимают?

— А как же! — всем лицом засветился отец Никодим. — Понимать не понимают, а сочувствуют. Потому и они — твари Божии. Даже и древо безгласное и то радость Господню приемлет. Апокрифическое предание о том свидетельствует... Как же скотам-то не поклониться Ему в вертепе?!

— Поклонился же Ему сегодня ты... скот в вертепе...

— Ты иногда не так уж глуп, как кажешься, адамант, — не то раздумчиво, не то удивленно ответил Миша своему другу.

Глава 2. Приход отца Никодима

Впервые я увидел отца Никодима в казарме Преображенского собора, куда прямо с парохода загоняли еще не рассортированные прибывающие партии. Вернее, не увидел, а услышал его. Увидеть было трудно. Высоко вверху, под опаленными, закопченными сводами древней храмины, мутно желтело несколько слабых лампочек, а внизу, в тумане испарений от мокрой одежды и дыхания сбитых в сплошную кучу двух тысяч человек, неясно вырисовывались столбы тянущихся вдоль стен и между поддерживающими свод колоннами трехъярусных нар. Между ними и на них — густая, растекающаяся, как грязевая жижа, копошащаяся, гудящая толпа.

— Как черви в гнилом падле... Вам приходилось видеть? — спросил мой спутник по поиску знакомых среди новоприбывших, в прошлом земский ветеринар. — В таком месиве и брата родного не угадаешь. Все на одно лицо. Вернее, совсем без лиц. Протоплазма какая-то вместо людей...

Протоплазма однотонно гудела, жужжала, как гнездо потревоженных шмелей. Но у одной из ближних к поломанному иконостасу толстых четырехгранных колонн было тише, хотя сгусток безликих человеческих тел там был плотнее. Нам были видны только наползающие одна на другую спины, а из-за них слышался ровный, шуршащий, как камешки в глинистой осыпи, голос.

— Сказку тюремную похабную кто-то рассказывает. Вы такие слыхали? — сказал мой спутник.

— Записал даже пару. Хотел и дальше этот фольклор собирать, но бросил: все на один лад.

Мерный шорох глинистой осыпи вдруг зазвенел серебристыми колокольцами, всплеснулся с ними и заиграл, как весенний ручей.

— И дошел, — ликующе воскликнул кто-то, — дошел все-таки! В язвах весь... в струпьях, значит. Ноги, конечно, в кровь сбил: место там каменистое, босому плохо. А все-таки дошел до дому и стал на коленки... Вот! Завтра утром посмотрите, так увидите. Аккурат сзади меня, на этом столбе весь вырисован. На коленках стоит — это сын, а руки вверх поднял — это отец. Радуется, значит, и Господа благодарит.

— Есть за что благодарить! — отозвался другой голос. — Пропойца, сукин сын, обормот, — загрохал он увесистыми булыжниками. — Такого надо поганой метлой от порога гнать!

— Вот и нет, — всплеснул в ответ ручеек, — совсем даже по-другому вышло. Отец-то велел самого первого во всем стаде телка зарезать, гостей позвал, чтобы все радовались. Сына, конечно, в баню сводил, прибрал, как полагается, и показывает гостям, — добавил он полушепотом. — Вот он, глядите! — ликующе выкрикнул первый голос. — Вот он у меня какой! Везде побывал, сквозь огонь, воду и медные трубы прошел, в какой только грязи ни валялся, а из этого смрада восстал и ко мне опять возвратился! К отцу своему! Как из мертвых воскрес. В том и радость великая...

— Это по Писанию, конечно, так выходит, как вы, батюшка, наставляете, — снова грохнули булыжники, — а в жизни совсем наоборот следоват, — по-костромскому обрубая окончания, не унимался басовитый спорщик, — такого поганца и в избу не надо пускат... Я б его...

— Вот и врешь! И ты бы пустил. Что ж ты, сына родного не пожалел бы? Нет, врешь, пожалел бы! Сын он.

— Ну, може, пустил бы, — помягчали булыжники, — а перед тем поучил бы.

— Аккурат и поучил его отец. Наилучшим способом выучил — любовью. Твоя баба как корову к дойке приучает? Чтобы она, значит, стояла без брыка? Как? Помоев ей соберет да поставит... Так? Значит, угощенье ей, любовь. А если боем?..

— Боем никак невозможно, — согласился булыжный бас, — от боя молоко пропасть могёт. Такого нельзя. Скотина, она тоже понимат...

— А ты человека, да еще сына родного, ниже бездушной скотины располагаешь.

— Зачем ниже, — совсем притих басовитый, — душа, это, конечно... без души быть невозможно. А все же...

— Ну тебя к... Слушать не даешь! — закричал кто-то из тесноты. — Дальше, поп, сказки крути!

— Ну, дальше пошло обыкновенно. Сели за стол, проздравили родителя. Другому сыну обидно стало. «Что ж ты, — говорит, — папаня! Сколько я на тебя трудился, а ты меня не награждаешь, а его вон как уважил!»

— Конечно, обидно, — словно его самого обидели, прогудел бас.

— Опять врешь. Никакой тут обиды нет. Ты, примерно, если рупь, там, или полтинник затерял, а потом найдешь, так радуешься? Обязательно радуешься, хотя у тебя, кроме того рубля, может еще и десятка есть. А найденный целковый против нее все-таки веселее станет. Не было его — и получился!

— Факт! Ясно-понятно, веселей! — выкрикнул опять кто-то из гущи.

— Потом что было? Крути, поп!

— Потом по-хорошему зажили. Все свои убытки вернули, овец приумножили и прочей скотины... Это на другой стороне обрисовано. Овцы, там, козы... А на этой, где я сижу, тут только возвращение его и пирование.

В тесноте кто-то завозился, протискиваясь сквозь гущину.

— Пусти! Сейчас бумагу запалю, все увидят.

Вспыхнул бледный отсвет спички, а за ним по темной стене суетливо забегали красноватые блики от зажженного бумажного жгута. Но, втиснувшись сам в толпу, я увидел только чью-то седую бороду, а над ней — затасканную буденовку со споротой звездой. Ни лица рассказчика, ни фрески притчи о блудном сыне, писанной кистью какого-то давно ушедшего из мира художника, рассмотреть я не смог.

И то и другое я увидел лишь на следующий день, придя в обеденный перерыв в казарму Преображенского собора. Рассмотреть фреску было трудно: полки верхних нар затемняли ее, а рассказчик, отец Никодим (я узнал уже его имя) сидел на краю нижних нар, и солнце, пробиваясь сквозь узкое, как бойница, окно собора, ударяло прямо ему в глаза. Старик жмурился, но головы не отклонял. Наоборот, подставлял лучу то одну, то другую щеку, ласкался о луч и посмеивался.

— Вы ко мне за делом каким? Или так, для себя? — спросил он меня, когда, бросив рассматривать фреску, я молча стал перед нарами. — Ко мне, так садитесь рядком, чего на дороге стоять, людям мешать.

— Пожалуй, что к вам, батюшка, а зачем — сам не знаю.

— Бывает и так, — кивнул головой отец Никодим, — бредет человек, сам пути своего не ведая, да вдруг наскочит на знамение или указание, тогда и свое найдет. Ишь, солнышко-то какое сегодня! — подставил он все лицо лучу. — Будто весеннее. Радость!

Старик даже рот открыл, словно пил струящийся свет вместе с толпой танцующих в нем пылинок.

— Ты, сынок, из каких будешь? По карманной части или из благородных?

— Ну, насчет благородства здесь, пожалуй, говорить не приходится. Каэр я, батюшка, контрреволюционер.

— Из офицеров, значит? Как же не благородный? Благородиями вас и величали. Правильное звание. Без него офицеру существовать нельзя. Сколько ж тебе сроку дадено?

— Десятка.

— Многонько. Ну, ты, сынок, не печалься. Молодой еще. Тебе и по скончании срока века хватит. Женатый?

— Не успел.

— И слава Богу. Тосковать по тебе некому. Родители-то живы?

— Отец умер, а мать с сестрой живет.

— Опять хвали Господа. Значит, и тебе тоски нет: мамаша в покое, а папашу Сам Господь блюдет. Ты и радуйся. Ишь, какой герой! Тебе только жить да жить!

— Какому чорту тут радоваться в такой жизни?!

Отец Никодим разом вывернулся из солнечного луча. Лицо его посерело, стало строгим, даже сердитым.

— Ты так не говори. Никогда так не говори. От него, окаянного, радости нету. Одна скорбь и уныние от него. Их гони! А от Господа — радость и веселие.

— Хорошенькое веселье! Вот поживете здесь, сами этого веселья вдосталь нахлебаетесь. Наградил Господь дарами.

— Ну, и выходишь ты дурак! — неожиданно рассмеялся отец Никодим. — Совсем дурак, хотя и благородный. А еще, наверное, в университете обучался. Обучался ведь?

— Окончил даже, успел до войны.

— Вот и дурак. Высшие философские премудрости постиг, звезды и светила небесные доставать умудрен, а такого простого дела, чтобы себе радость земную, можно сказать, обыкновенную добыть — этого не умеешь! Как же не дурак?

— Да где она, эта обыкновенная радость? — ощетинился я. — Где? Вонь одна, грязь, кровь с дерьмом перемешана — вот и все, что мы видим. Кроме ничего! И вся жизнь такая.

— Не видим, — передразнил меня отец Никодим. — Ты за других не говори. Не видим!.. Ишь, выдумал что, философ. Ты не видишь — это дело подходящее, а другие-то видят. За них не ответствуй. Вот, к примеру, родит иная баба немощного, прямо сказать, урода, слепого, там, или хроменького... Над ней все скорбят: несчастная, мол, она, с таким дитем ей одна мука... А оно, дитё это, для нее оказывается самый первый бриллиант. Она его паче всех здоровых жалоствует,

и от него ей душе умиление. Вот и радость. А ты говоришь — дерьмо. Нет, сынок, такое дерьмо превыше нектара и всякой амброзии. Миро оно благовонное и ладан для души. Так и здесь, хотя бы в моем приходе.

— Да какой же у вас теперь приход, батюшка? — засмеялся на этот раз я. — Были вы священником, приход имели. Это верно. А теперь вы ничто, не человек даже, а номер, пустота, нихиль...

— Это я-то нихиль?! — вскочил с нар отец Никодим. — Это кто же меня, сына Господнего, творение Его и к тому же иерея, может в нихиль, в ничто обратить? Был я поп — поп и есть! Смотри, по всей форме поп!

Старик встал передо мной, расправил остатки пол своей перелатанной всех цветов лоскутами ряски и поправил на голове беззвездную буденовку.

— Чем не поп? И опять же человек есмь, по образу и подобию Божиему созданный. А ты говоришь — нихиль, пустота! — даже плюнул в сторону отец Никодим. — И прихода своего не лишен. Кто меня прихода лишал? Вот он мой приход, вишь, какой, — махнул он рукой на ряды нар, — три яруса на обе стороны! Вот какой богатый приход! Такого поискать еще надо.

— Хороши прихожане, — сыронизировал я. — Что ж, они у вас исповедуются, причащаются? Обедни им служите?

— А как же? Врать тебе не буду: к исповеди мало идут, разве кто из вашей братии да мужики еще. Но душами примыкают многие. И служу по возможности.

— Здесь? В бараке?

— Здесь мы всего третий день. Еще не осмотрелись. А когда везли нас, служил.

— Разве вас не в «столыпинском» вагоне везли? Не в клетках по трое?

— В нем самом.

— Как же вы служили? Там, в этих клетках, и встать нельзя.

— Самая там служба, — залучился улыбкой старик и, снова всунув голову в солнечную струю, прижмурил глаза, — там самая служба и была. Лежим мы, по одну сторону у меня жулик, а по другую — татарин кавказский, мухамед. Стемнеет, поезд по рельсам покачивает, за решеткой солдат ходит... Тихо... А я повечерие творю: «Пришедши на запад солнце, видевши свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа...». Татарин враз понял, что хвалу Господу Создателю воздаем, хотя и по-русски совсем мало знал. Уразумел и по-своему замолился. А жулик молчит, притулился, как заяц. Однако цигарку замял и в карман окурок спрятал. Я себе дальше молитствую: «От юности моея мнози борют мя страсти, но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой... Святым Духом всяка душа живится...» А как дошел до великого славословия (это я все шепотом молил, татарин тоже тихо про себя), на славословии-то

я и в полногласие вступил: «Господи Боже, Агнче Божий, вземляй грех мира, приими молитву нашу». Тут и жулик закрестился. Так ежевечерне и служили все девять ден, пока в вагоне нас везли. Чем тебе не приход? Господь обещал: во имя Его двое соберутся, там и Он промеж них, а нас даже трое было... Мне же радость: пребываю в узилище, повернуться негде, слова даже громко сказать боюсь — а духом своим свободен, с ближними им сообщаюсь и воспаряюсь с ними.

— Ведь они не понимали вас, молитвы ваши.

— Как это так не понимали? Молились — значит, понимали. Ухом внимали и сердцем разумели.

— Я вчера ваш рассказ о блудном сыне здесь слушал. Верно, шпаны к вам набралось много. Но они всегда так. И похабные сказки тоже слушать всю ночь готовы, лишь бы занимательными были.

— А ты думаешь, ко Христу, Человеколюбцу нашему, все умудренными шли? Нет, и к Нему такие же шли, одинаковые. Ничего они не знали. Думаешь, они рассуждали: вот Господь к нам пришел, спасение нам принес? Нет, браток. Прослышат, что человек необыкновенный ходит, слепых исцеляет, прокаженных очищает, они и прут на него глазеть. Придут, сначала, конечно, удивятся, а потом слово Его услышат и подумают: стой, вот оно в чем дело-то! Телесные глаза, конечно, каждому нужны, но, окромя них, и духовное зрение еще существует. Как они это самое сообразят, то и сами прозревать начнут. Вроде котят. И с проказой то же: одному Он, Человеколюбец, чудом ее с тела снимал, а сотням с душ — словом Своим. Так и в Евангелии написано.

— Где же это там написано, батюшка? Я Евангелие читал, а этого не помню...

— Значит, плохо читал, — снова сердито буркнул старик, — на каждой страничке там это значится.

Отец Никодим встал с нар, сделал два шага в сторону, поправил сбившуюся на затылок буденовку и потом снова обернулся ко мне. Теперь из его глаз лился свет и словно стекал из них по лучащимся морщинкам, струился по спутанной бороде и повисал на ней жемчужными каплями.

— Ты, дурашка, телесными глазами читал, а душевными-то в книгу святую не заглядывал, — ласково проговорил он и погладил меня обеими руками по плечам. — Ничего. Потому это так получилось, что ты, чуда прозрения не видавши, сам не прозрел. Очищенных от проказы не зрил.

— Какие теперь чудеса, — с досадой отмахнулся я, — и прокаженных теперь нет. Исцелять некого.

— Нет? Нет, говоришь? Прокаженных нет? — быстро зашептал, тесно лепя слово к слову, отец Никодим. Улыбка сбежала с его лица, но оно по-прежнему

лучилось ясным и тихим светом. — Ты не видал? Так смотри, — повернул он меня за плечи к рядам трехъярусных нар. — Кто там лежит? Кто бродит? Они! Они! Все они прокаженные, и все они очищения просят. Сами не знают, что просят, а молят о нем бессловесно. И не в одном лишь узилище, в миру их того больше. Все жаждут, все молят...

Лучащееся светом лицо старого священника стало передо мной и заслонило от меня все: и ряды каторжных нар, и копошащееся на них человеческое месиво, и обгорелые, закопченные стены поруганного, осквернённого храма...

Ничего не осталось. Только два глаза, опушенные редкими седыми ресницами, и на них, на ресницах, — две слезы. Мутных старческих слезы.

— Вот он, приход мой, недостойного иерея. Его, Человеколюбца, приход слепых, расслабленных, кровоточивых, прокаженных, бесноватых и всех, всех, чуда Его жаждущих, о чуде молящих.

Две мутные слезы спали с ресниц, прокатились по тропинкам морщин и, повиснув на волосах бороды, попали в последний отблеск уходившего зимнего солнца. Зарозовели в нем, ожили двумя жемчужинами и растеклись.

Отец Никодим повернул мою голову к темной фреске, по которой тоже стекали капли сгустившейся испарины, такие же мутные, как его слезы. Скатывались и растекались. Рисунка уже совсем не было видно. На темном фоне сырой стены едва лишь брезжили две ликующе вздетых руки обретшего блудного сына отца. Только.

— Зри, прозри и возрадуйся! — шептал отец Никодим.

Глава 3. Утешительный поп

Фамилии его я не помню, да и не многие знали ее на Соловках[13]. Она была не нужна, потому что Утешительного попа, отца Никодима, и без нее знали не только в кремлевском муравейнике, но и в муксаломском богоспасаемом затишье, и в Савватиеве, и на Анзере, и на мелких, затерянных в дебрях командировках. Так сложилась его соловецкая судьбина — везде побывал.

Ссыльное духовенство — архиереи, священники, монахи, — прибыв на остров и пройдя обязательный стаж общих работ и жительства в Преображенском соборе, обычно размещалось в 6-й роте, относительно привилегированной, освобожденной от поверок и имевшей право выхода из кремля. Но для того чтобы попасть в нее, одного духовного сана было мало, надо было запастись и соответствующей статьей, каравшей за антисоветскую агитацию, преступное сообщество, шпионаж или какое-нибудь иное контрреволюционное действие, а отец Никодим был осужден полтавской тройкой НКВД за преступление по долж-

[13] До сих пор не удается персонифицировать «утешительного попа» о. Никодима.

ности. Вот именно это отсутствие какой-либо контрреволюции в прошлой жизни отца Никодима и закрывало ему двери в тихий, спокойный приют.

Получался анекдотический парадокс: Владимир Шкловский, брат известного литератора-коммуниста Виктора Шкловского, пребывал в окружении иереев и высших иерархов как «тихоновец» (хотя по происхождению и был евреем[14]) — он взял на хранение церковные ценности от своего друга-священника, а священствовавший более 50 лет иерей, отец Никодим, кружил по всем командировкам то в качестве лесоруба, то скотника, то рыбака, то счетовода.

К политике он, действительно, не имел никакого отношения ни в настоящем, ни в прошлом.

— Кого-кого только в нашем селе не побывало, — рассказывал он, — и красные, и белые, и немцы, и петлюровцы, и какие-то еще балбачановцы... всех повидал... Село-то наше стоит на тракту, что от Сум на Полтаву идет. А мне — все единственно, что белые, что красные. Все сыны Божии, люди-человечки грешные. Господь на суде Своем не спросит, кто красный, кто белый, и я не спрашивал.

— А не обижали вас, батюшка?

— Нет. Какие же обиды? Ну, пасеку мою разорили... Что ж, это дело военное. Хлебает солдат свои щи... Год хлебает, другой хлебает, так ведь и медку захочется, а где взять? А они, пчелки-то, твари Божии, не ведают, кому медок собирают — мне ли, солдату ли? Им единственно, на кого трудиться, ну и мне обиды быть не может.

— Не смеялись над вами?

— Это бывало, — засмеется сам отец Никодим, и мелкие морщинки, как резвые детишки, сбегутся к его выцветшим, с хитринкой, глазкам, — бывало даже часто. Один раз большой какой-то начальник у меня на ночь встал. Молодой, ловкий такой. «Поп, а поп, — говорит, — я на ночь бабу к себе приведу. Как ты на это смотришь?» — «Мне чего смотреть, — отвечаю, — я за семьдесят-то лет всего насмотрелся. Дело твое молодое, грешное. Веди, коли тебе без того невозможно». — «Может, и тебе, поп, другую прихватить?» — «Нет, сынок, обо мне, — говорю, — не беспокойся. Я пятнадцатый год вдовствую, а в этом не грешен». — «И не смущал тебя бес?» — «Как не смущать? Смущал. Ты думаешь, поп не человек? Все мы — люди, и всему людскому не чужды. Это и латинскими мудрецами доказано. Бесу же смущать человеков и по чину положено. Он свое выполнять обязан. Он меня — искушением, а я его — молитвою...» Так поговорили с ним, посмеялись, а бабы он все же не привел. Один спал, и наутро две пачки фабричной махорки мне дал, заусайловской. «Этим грешен, — говорю, — сынок! Табачком занимаюсь. Спасибо!»

[14] К концу отбывания срока В. Шкловский крестился и не скрывал этого. С Соловков он был отправлен в Восточную Сибирь на «вольную» высылку. — *Авт.*

— А в другой раз на собрание меня потребовали, как бы на диспут. Оратор ихний меня вопрошает: «Ответьте, служитель культа, подтверждаете ли, что Бог в шесть дней весь мир сотворил?» — «Подтверждаю, — говорю, — в Писании так сказано...» — «А современная наука доказывает, что за такой малый срок ничего создано быть не может. На этот процесс миллионы тысячелетий требуются, а не дни». — «А какие дни?» — вопрошаю. — «Как какие? Обыкновенные. Двадцать четыре часа — сутки». — «А ты по науке читал, что на планиде Сатурне день больше двух лет выходит?» — «Это, — говорит, — верно. Астрономия подтверждает». — «А у Господа, Творца Вселенной, какие дни? Это тебе известно? Земные человеческие или сатурнальные? Его день-то, может, в сто миллионов лет вскочит! Что ж Он, Бог-то, по гудку, что ли, на работу выходит? Эх ты, философ, не решивший вопросов!» Хотел надо мной посмеяться, а вышло ему самому посрамление.

— За что же вас все-таки посадили?

— Правильно посадили. Должностное преступление совершил.

— Да какая же у вас должность была?

— Как какая? Своя, иерейская, по чину положенная: рожденных — крестить, во плоти укрепившихся — венчать, Господом прибранных — отпевать и напутствовать. Дела хватало! Я его и выполнял по старинке: крещу, венчаю, хороню и в свои книги церковные записываю. Ан новая-то власть новой формы требует: без свидетельства из города не венчать, без врачебного удостоверения не хоронить... Ну, а мое положение каково? Люди всё обладили, кабана зарезали, кур, гусей, самогону к свадьбе наварили, гостей назвали, одно осталось — «Исаия, ликуй» отпеть! А тут на тебе — в Полтаву ехать! Виданное ли дело? «Батюшка, — говорят, — обвенчай! Да разве ты Оксанки с Грицьком не знаешь? Сам ведь их крестил! Какое тебе удостоверение?» Ну, и венчал. А с покойниками еще труднее, особенно в летнюю пору: жара, а тут доктора ожидай трое суток... Входил в положение — хоронил. Новые правила должности своей нарушал, конечно. За то и осужден.

Свои пастырские обязанности отец Никодим выполнял и на Соловках. Наперсный крест серебряный, епитрахиль, ризу и камилавку отобрали в Кеми при последнем перед Соловками обыске. Евангелие оставили — это служителям культа разрешалось. Последняя камлотовая, подбитая ватой ряска изорвалась на лесных работах до непристойности. Пришлось полы обрезать. Священническая шляпа, в которой он попал в тюрьму, давно уже пришла в полную негодность, и седую голову отца Никодима покрывал подаренный кем-то красноармейский шлем с ясно видневшимся следом отпоротой красной звезды.

Посылок с воли отец Никодим не получал. Но он не унывал. Сгорбленный под тяжестью последних лет восьмого десятка, он был необычайно бодр и крепок

для своего возраста. Рубить дерево под корень он, правда, уже не мог, но при обрубке сучьев топор в его руках ходил лучше, чем у многих молодых, а скотником на муксаломской ферме он считался незаменимым.

Лохмотья обрезанной рясы и мало подходящий к его сану головной убор не смущали отца Никодима.

— Попа и в рогоже узнаешь, — говорится в народе, а меня-то и узнавать нечего, без того все знают. Кроме того, не рогожа на мне, а материал знатный, в Киеве купил. Починить бы толком — век служил бы еще... Все же «нужное» у меня в исправности.

Это «нужное» составляли: искусно вырезанный из дерева наперсный крест на веревочке, носившийся под одеждой, епитрахиль суконная, короткая, подбитая легким слоем ваты, и дароносица из плоской немецкой солдатской кружки с ловко подогнанной крышечкой.

— Зачем же вы епитрахиль-то ватой подстегали?

Отец Никодим хитро улыбался:

— От соблазну. В случае обыска чекист ее отобрать обязан. А я в грех его не введу, на себя грех возьму: нагрудничек по древности моей от кашля, а в кружечке — лекарство. Ему и свободно будет все мне оставить.

С этим «нужным» для его перевалившего за полвека служения отец Никодим никогда не расставался. Святую литургию он совершал ежедневно, встав раньше всех и забравшись в укромный уголок. Спал он по-стариковски — не более двух-трех часов.

— Потому при себе ношу, что служение мое всегда может потребоваться. В Господа же веруют в тайнике своей души все. Раз заехал к нам важный комиссар, с орденом. Закончил он свои дела и в сад ко мне идет. Садок у меня был любительский, редкие сорта я развел, пасека там же... Комиссар со мной вежливо... все осмотрел, похвалил. Чай со свежим медком сели пить, разговорились. «Как это вы, — говорит, — в садоводстве, в пчеловодстве и прочей ботанике столь сведущий, предпочитаете мракобесием своим заниматься, людей морочить? Шли бы к нам в земотдел инструктором, полезным бы человеком стали...» — «А вы, — спрашиваю, — господин-товарищ, действительно в Господа не веруете?» Он даже обиделся: «Странный вопрос! Как же я веровать буду, раз я коммунист, а кроме того человек сознательный, интеллигентный...» — «Так вы никогда, ни разу, сознательным став, имя Его святое не призывали?» Смутился мой комиссар. «Было такое дело, — говорит. — Наскочили казаки ночью на наш обоз. Я как был, в подштанниках, — под тачанку. А казак приметил. Кружится на коне окрест тачанки и пикой меня достать норовит. А я, как заяц, то к передку, то к задку перескакиваю. Тут-то и Бога, и Богородицу,

и Николу Угодника — всех вспомнил. Махнул на меня рукой казак и ускакал. Тут я перекрестился. Верно. Но ведь это от страха, а страх есть основа религии...» — «Отчего же вы от страха иное имя не призвали?» — «Пережитки...» — потупился мой комиссар. Все в Господа веруют, и все приобщиться к телу Его жаждут. Не всегда только дано им понять это. Вы Губичева знавали? Нет? Быть не может! Человек приметный, ростом — Петр Великий, и характером крут: из бандитов был. Дня за три до кончины раздатчика чуть не задушил: порцию будто тот ему неправильную дал. Матерщинник и к тому же богохульник. Владычицу Небесную беспрестанно поносил. Так вот, с неделю назад сосной его придавило, прямо поперек грудей ударила. Лежит на земле и хрипит: «Амба! Попа зовите!» — а у самого уже смертные пузыри изо рта идут. Ребята за мной сбегали. Я приспел, и солдат уж тут. Как быть? А Губичев глаза под лоб подкатывает. Я — солдату: «Отвернись, господин-товарищ, на малое время и не сомневайся. Видишь, человек помирает». — «Вали, — говорит, — поп, исполняй свою обязанность», — и к сторонке отошел. Я Губичева епитрахилью накрыл, прегрешения ему отпускаю, а он хрипит: «Три души...» Больше понять ничего невозможно было. Приобщил я его святых таин, дернулся он разок, и душка отлетела. Вот вам и вера. Значит, была она у него, у смертоубийцы и богохульника! А солдат-то, думаете, зря отошел? Нет, и он под своей политграмотой искру Божию таил.

От выполнения своего служения отец Никодим никогда не отказывался. Служил шепотком в уголках молебны и панихиды, исповедовал и приобщал святых таин с деревянной струганой лжицы. Таинство евхаристии он совершал над водой с клюквенным соком.

— Вина где ж я достану? А клюковка, она есть тоже виноград стран полуночных и Тот же Виноградарь ее произрастил. Нет в том греха.

По просьбе группы офицеров он отслужил в лесу, на могиле расстрелянных, панихиду по ним и царе-искупителе. Его же под видом плотника проводили в театр к пожелавшим говеть женщинам. Шпана ухитрялась протаскивать его через окно в лазарет к умирающим, что было очень трудно и рискованно. Никто из духовенства не шел на такие авантюры. Ведь попадись он — не миновать горы Секирной. Но отец Никодим ни ее, ни прибавки срока не боялся.

— Что мне могут сделать? Ведь восьмого-то десятка всего один годик мне остался. Прибавляй, убавляй мне срок человеческий, Господнего срока не изменишь! А с венцом мученическим перед Престолом Его мне, иерею, предстать пристойнее, — скажет отец Никодим и засмеется дробным стариковским смехом. Побегут к глазам лучистые морщинки, и поверишь, что так — светлой, веселой радостью — переступит он предельную черту.

С этой радостью прошел он весь свой долгий жизненный путь. С нею не расставался он и в дни свои последние, соловецкие. Этой же радостью своей стремился он поделиться с каждым, плеснуть на него водой жизни из сосуда духа своего. За то и прозвали его Утешительным.

Долгие зимние вечера на командировках много отличны от кремлевских. Нет ни театра, ни кино, никакого электрического света. Нет возможности пойти в другую роту, послушать беспрерывно обновляющуюся информацией «радиопарашу».

На командировке раздадут ужин пораньше, построит команду дежурный, просчитает и запрет барак. Чадит тюлений жир в самодельных коптилках... Кое-кто ругается с тоски...

Случаев самоубийства в кремле я не знаю, а на глухих командировках кончали с собой многие. Затоскует человек, добудет обрывок веревки... вот и всё. Или на сосне найдут, или утром висящим в углу барака обнаружат.

Такого затосковавшего отец Никодим разом узнавал своими бесцветными, с хитринкой глазками. Вечерком в бараке, а то и днем на работе будто невзначай с ним разговорится. Начнет совсем про другое, расскажет, как он, будучи в Киевской семинарии, яблоки в архиерейском саду воровал и попался на этом деле. Посмеется. Или попадью свою вспомнит, садик, пасеку. Смотря по собеседнику. И тот повеселеет. Тут ему отец Никодим и шепнет тихонечко:

— Ты, сынок, Николе Угоднику помолись и Матери Божией «Утоли моя печали». Так и так, скажи, скорбит раб Божий имя рек, скорбит и тоскует... Прими на Себя скорбь мою, Заступница, отгони от меня тоску, Никола Милостивый... И поможет. Да почаще, почаще им о себе напоминай... У святителя дела много. Все к нему за помощью идут. Может и позабыть. Человек он старый. А ты напомни!..

Как ручеек из-под снега, журчит тихая речь Утешительного попа. Смывает с души тоску ручеек... Светлеет чадная тьма барака.

— Ты молодой еще. Кончишь срок — домой поедешь, а не домой, так в Сибирь, на вольную... Что ж, и в Сибири ведь люди живут. Даже похваливают. Жена к тебе приедет...

Вспыхивала радужным светом надежда. Загоралась пламенем вера, входили они в черное, опустошенное, перегорелое сердце, а из другого, светлого, лучисто улыбалась им любовь и мудрость немудрящего русского деревенского Утешительного попа.

Был и другой талант у отца Никодима. Большой, подлинно милостью Божией талант. Он был замечательный рассказчик. Красочно, сочно выходили у него рассказы «из жизни», накопленные за полвека его священнослужения, но еще

лучше были «священные сказки». Об этом таланте его узнали еще в дороге, на этапах, а в Соловки он прибыл уже знаменитостью, и слушать его по вечерам в Преображенский собор приходили и из других рот.

— Ну, батя, начинай «из жизни», а потом и «священное» не забудь!

«Из жизни» бывало всегда веселым и забавным.

— Чего там я буду о скорбях вам рассказывать! Скорбей и своих у каждого много. Лучше повеселее что, а у меня и того и другого полные чувалы...

«Священные сказки» были вольным пересказом Библии и Евангелия, и вряд ли когда-нибудь был другой пересказчик этих книг, подобный отцу Никодиму.

Строгий догматик и буквоед нашел бы в них, может быть, много в Библии не упомянутого, но все это были детали, фрагменты, не только не затемняющие, но выделяющие, усиливающие основной смысл рассказа, а главное — отец Никодим рассказывал так, словно он сам не далее как вчера сидел под дубом Мамврийским, у шатра... нет, не у шатра, а у крепко, навек, сколоченной избы Авраама. И сам патриарх был подстать избе, смахивал малость на тургеневского Хоря, только писанного не мирским легкодумным художником, а твердой кистью сурового суздальского иконописца. Живыми, во плоть и в рубище одетыми были и ангелы-странники. Жила и «бабка» Сарра, подслушивавшая под дверью беседу мужчин...

Ни капли казенного елея, ни буквы сухой книжной премудрости не было в тихоструйных повестях о рыбаках неведомой Галилеи и их кротком Учителе... Все было ясно и светло до последнего камешка пустыни, до малой рыбешки, вытащенной сетями из глубин Генисаретского озера.

Шпана слушала, затаив дыхание... Особенным успехом пользовалась притча о блудном сыне. Ее приходилось повторять каждый вечер.

Я слушал «священные сказки» только в крикливой сутолоке Преображенского собора, но и оттуда уходил очарованный дивной красотой пересказа. С какой же невероятной силой должны были они звучать в чадном сумраке нескончаемой ночи лесного барака?

Но Секирки и мученического венца отец Никодим не миновал. На первый день Рождества вздумали всем лесным бараком — человек двадцать в нем жило — обедню отслужить затемно, до подъема, пока дверей еще не отпирали. Но, видно, припоздились. Отпирает охрана барак, а там отец Никодим Херувимскую с двумя казаками поет. Молившиеся успели разбежаться по нарам, а эти трое были уличены.

— Ты что, поп, опиум здесь разводишь?

Отец Никодим не отвечает — обедню прерывать нельзя, — только рукой помахивает. Все трое пошли на Секирку.

Весной я спросил одного из немногих, вырвавшихся оттуда, знает ли он отца Никодима.

— Утешительного попа? Да кто же его не знает на Секирке! Целыми ночами нам в штабелях «священные сказки» рассказывал.

— В каких штабелях?

— Не знаете? Не побывали еще в них? Ну, объясню. Зимой Секирная церковь, где живут штрафные, не отапливается. Верхняя одежда и одеяла отобраны. Так мы такой способ изобрели: спать штабелями, как баланы кладут. Ложатся четыре человека в ряд, на бок. На них — четыре поперек, а на тех — еще четыре, снова накрест. Сверху весь штабель имеющимся в наличии барахлом укрывают. Внутри надышат — и тепло. Редко кто замерзнет, если упаковка тщательная. Укладывались же мы прямо после вечерней поверки. Заснуть, конечно, не можем сразу. Вот и слушаем «священные сказки» Утешительного попа... и на душе светлеет... Отца Никодима у нас все уважали, епитрахиль ему соорудили, крест, дароносицу...

— Когда же он срок кончает?

— Кончил. На самую Пасху. Отслужил ночью в уголке Светлую заутреню, похристосовался с нами. Потом в штабель легли досыпать, он же про Воскресение Христово «сказку» сказал, а наутро разобрали штабель — не встает наш Утешительный. Мы его будим, а он холодный уже. Надо полагать, придушился — в нижний ряд попал. Это бывало. Сколько человек он у нас за зиму напутствовал, а сам без напутствия в дальний путь пошел... Впрочем, зачем ему оно? Он сам дорогу знает.

Глава 4. Василек — Святая душа

Каждая прибывающая на Соловки партия попадает сначала в первичную обработку. В первый год жития Соловецкой каторжной обители первый повелитель острова Ногтев встречал новых ставшим теперь пословицей окриком:

— Здесь вам власть не советская, а соловецкая!

Потом, став у окна сторожевой будки на пристани, «шлепал» из карабина одного или двух, остановивших на себе его внимание.

Приехавшая из Москвы комиссия «шлепнула» самого Ногтева. Таков неписаный закон всех революций.

«Первичная обработка» приняла иной вид. Всех прибывших, проверив их по списку, загоняли в одно из отделений Преображенского собора и тотчас же, разбив на группы, усылали в лес на работу. Проработав пять-шесть часов, они возвращались, ели, спали четыре-пять часов, затем их снова угоняли на работы, снова

возвращали, и так в течение 10—15 дней. В это время на острове стояли белые летние ночи. Главные многочисленные партии прибывали в июне-июле — солнце едва скрывалось за горизонтом и снова выныривало... День? Ночь? Представление о времени терялось. На измученных, истомленных тюрьмой и следствием людей накатывалось раздавливавшее их волю бремя беспрерывного бессмысленного труда. Ими овладевала безнадежность. Такова была цель «первичной обработки».

В эту обработку попал тот, кого я условно называю вымышленным именем Василий Иванович, так как не уверен в его смерти и никоим образом не хочу нанести какой-либо вред этому светлому во всех днях его жизни человеку.

Василий Иванович был русским интеллигентом в полном и лучшем значении этого слова. Более того, был носителем той специфически московской культуры, которая сто с лишним лет гнездилась и выводила птенцов в лабиринте переулков Арбата и Пречистенки, тихой заводи Собачьей площадки, где над одинокой урной пахнущие медом липы и теперь шепчут имена живших здесь Хомяковых, Аксаковых и здесь же их посещавших Пушкина, Гоголя, Герцена...

Последнее поколение этой славной плеяды не покинуло своего родового пепелища, и его азиатским именем назвал Андрей Белый одну из своих симфоний. Это поколение можно было видеть на премьерах Художественного театра, на симфонических концертах в скромном зале консерватории, в редакциях толстых московских журналов и «Русских ведомостей», на кафедрах университета, на средах литературно-художественного кружка... и мало ли где еще... Оно носило на себе неповторимый отпечаток гармоничного сочетания московской фрондирующей чаадаевской барственности с лучшими традициями искреннего и истинного народничества. К этому поколению принадлежал и Василий Иванович.

Окончив Московский университет в блестящую эпоху Ключевского, Муромцева и Трубецких, он под эгидой одного из крупнейших адвокатов того времени вступил защитником прав человека в храм законности и суда правого, скорого и милостивого, лучшего и гуманнейшего в мире суда Российской империи.

Ко времени революции он сам уже был видным адвокатом, бравшимся, как говорили, только за «чистые» дела. Это было правдой. Компромисс со своей совестью был чужд, противоречив всему кристаллически-ясному духовному складу Василия Ивановича.

Революция коснулась его лишь поверхностно. Он не был политиком, и ни одно из политических течений не вовлекло его в свой круговорот.

Время катилось... Октябрьский сквозняк сдул с игорного стола революции карточные домики прекрасных слов, благородных устремлений, буквенной, книжной премудрости. Один за другим стали пустеть арбатские и пречистенские уюты.

Василий Иванович имел полную возможность эмигрировать, но не сделал этого, потому что всем существом своим верил в человека, в его совесть и волю к добру. Наступавшее безвременье казалось ему, как и многим тогда, лишь краткими часами похмелья народной души, после которого она неизбежно должна воскреснуть очищенной и обновленной. Но, в отличие от многих, мысливших одинаково с ним, он не считал себя вправе даже временно оторваться от народных масс вздыбленной, мечущейся Руси. Он остался, не изменив своего пути служения праву и справедливости, но стал лишь называться правозаступником, а не адвокатом или присяжным поверенным.

В те годы Уголовный кодекс СССР еще не был разработан. В судах сидели не бездушные роботы, тупые выполнители постановлений ЦК ВКП(б), а малограмотные, обалделые, порой даже осатанелые, но все же люди, поставленные судить «по революционной совести».

С одним из таких судей я был приятелем на Соловках. Это был одноногий матрос-инвалид, бузотер и матерщинник, разудалая головушка.

— Вышел нам приказ из ЦИКа за перевод зерна на самогон полный бант в десятку давать, а в особых случаях и шлепку, — рассказывал он мне. — Вот сделают облаву на селе, приведут ко мне десяток стариков да солдаток, вещественных доказательств ведер пять представят. Я и сужу по революционной совести: дюжина вас? Вот и получайте себе сто лет на всех да сами и делите! Через неделю всех их из тюрьмы амнистирую по разгрузке, а вещественное доказательство в срочном порядке ликвидирую. Потому мне так моя революционная совесть велит. У солдаток дома ребята кашки просят, да и самогон не гидра-контра. Может, там, у Ленина совесть стрелять таких позволяет, а у меня — своя...

Эта своя личная революционная совесть, совместно с усиленной ликвидацией спиртуозных вещественных доказательств и привела на Соловки красу и гордость революции, ее искреннего партизана.

Василий Иванович в своей новой судебной практике безошибочно находил верный путь к этой, порой уродливой, искривленной, но еще жившей тогда в сердцах людей совести, к чувству личной ответственности перед живым человеком, а не перед мертвой буквой постановления ЦК, и легко прокладывал к ней дорогу. Уродливость и кривизна путей не отталкивала, а привлекала его.

— Люблю я неправильных людей, — признавался он после задушевного разговора с рецидивистом или чекистом-«шлепальщиком».

Он говорил с ним без брезгливости, не снисходя, не осуждая, но и не впадая в слезливость, подлаживание, своеобразную елейность, столь обычную в разговоре интеллигента с простым человеком.

Этот прирожденный внутренний такт, соединенный с нерушимой уверенностью в наличии зерен добра в каждом человеческом сердце, открывал ему, казалось бы, наглухо замкнутые двери.

В бытность правозаступником ему пришлось хлопотать за какого-то уже приговоренного к расстрелу, но совершенно чуждого политике арбатского москвича. Пользуясь старыми связями с революционным подпольем, Василий Иванович чуть ли не накануне казни пробился к Дзержинскому и с той же верой в наличие совести в тайных глубинах его темной окровавленной души стал убеждать «принципиального палача» не в невинности осужденного (это знал и сам Дзержинский), но в ненужности казни.

— Он мне о неизбежности революционного террора толкует, а у самого глаза вот так, вот так крутятся, — рассказывал об этой встрече Василий Иванович, и не осуждение, не гадливость, а тот же огромный интерес к «неправильности» звучал в его словах. Словно в темный, глубокий колодезь заглянул и дно его увидел.

Он на самом деле достал тогда до дна этого колодца: казнь была отменена.

Казалось бы, спокойному бытию Василия Ивановича, непричастного ни к каким формам контрреволюции, лояльно выполнявшего свою работу правозаступника в рамках революционной законности, ничего не угрожало, но никогда не покидавший его бесенок юмора ввел лояльного советского адвоката во грех перед советской властью. Он подтолкнул его руку написать в час досуга сатирическую поэму на тогдашнюю советскую действительность, даже не злобную, а только меткую, остроумную и забористую, написанную прекрасным русским языком, которым Василий Иванович владел безупречно. Списки ее пошли по рукам и, конечно, попали на Лубянку. Остальное понятно без слов.

Популярность Василия Ивановича среди уголовников создалась еще во время его сидения в Бутырках. В общей камере его, как правозаступника, конечно, завалили просьбами писать всякого рода заявления, на которые так падка шпана. От части таких просьб Василий Иванович отказывался как от явно безнадежных, что умел просто и убедительно разъяснить своим «клиентам».

— Ну, что ж из того, что ты «без дела» задержан? А «на рояли» сколько раз играл?[15] Приводов сколько? Судился сколько раз?

— Приводов четырнадцать, а судился четыре раза, — смущенно признавался шпаненок.

— Ну вот. Как же ты не рецидивист? Все это там зафиксировано. Чего же зря писать?

Но несколько написанных им заявлений имели успех и упрочили за ним славу.

[15] Т.е. давал отпечатки пальцев в сыскном отделении или уголовном розыске. — *Авт.*

С этой славой заступника, которого и «сам Катанян слушает», Василий Иванович прибыл в Преображенский собор и попал в «первичную обработку». Несомненно, что ему, физически слабому, даже хилому и малорослому, она была очень трудна, а еще труднее сама жизнь в беспрерывной сутолоке, гаме, вони сбитой в провшивевший войлок толпе людей, потерявших право носить имя человека.

Вот тут-то и определилось то назначение, которое суждено было выполнить арбатскому интеллигенту Василию Ивановичу, каторжнику Соловецких лагерей особого назначения, труднику обители Зосимы и Савватия, святителей русских, просветителей полуночной дебри.

***

Однажды два уголовника подрались из-за какой-то спорной вещи. Их растащили, но один, намного сильнейший другого, отъявленный буян и драчун, вырвался из рук державших его и, схватив тяжелую скамью, ринулся на своего врага. Защитники его врага метнулись в стороны. Получить удар скамьей ни у кого не было охоты, и быть бы бедняге в братской могиле, если бы перед буяном неожиданно не оказалась тщедушная цыплячья фигура Василия Ивановича.

— Что ты? Что ты? Ведь так ты его и убить можешь! Надо толком, толком все разобрать!..

Эти слова были сказаны без тени патетики, так же просто, как «держи чашку крепче, а то уронишь». В этом и была сила их убедительности, тот безошибочный путь к человеческой совести, который находил Василий Иванович потому, что беспредельно верил в нее.

Буян отбросил скамью, и разбор дела «толком» состоялся тут же: Василий Иванович, соблюдая судебный порядок, допросил свидетелей, дал слово тяжущимся и поставил свое «резюме председателя» на решение всех присутствующих. Голосовали в буквальном смысле голосом и присудили спорную вещь слабейшему. Буян отдал ее беспрекословно.

Второй известный мне случай того же порядка, произошедший за время пребывания Василия Ивановича в Преображенском соборе, был много труднее и сложнее. Уголовный мир дореволюционного времени имел собственную этику и собственные, твердо выполнявшиеся в тюрьмах законы. Теперь эта «законность» утратила в тюрьмах и концлагерях СССР свою силу, так как и сам уголовный мир своеобразно «разложился», утратив свой кастовый характер. Кражи вросли в повседневность, в быт. Грань между вором и обывателем стерлась, и в силу этого само воровство перестало быть замкнутой профессией «отверженных».

Но в те годы «блатной закон» был еще крепок. Одной из самых жестоких, самых звериных его статей была статья, присуждавшая к «динаме». «Динама» — пария среди париев, отверженный среди отверженных, спит только около зловонной «параши», даже когда в камере есть место; каждый может его ударить, плюнуть ему в лицо, в пищу, отнять пайку хлеба или обидеть каким-либо иным способом. Камера всегда встанет на сторону обидчика против «динамы»... Случится что-нибудь, подлежащее наказанию от начальства, — виновником будет «динама», и все покажут на него. Все грязные тяжелые работы по камере будет нести он же, «динама».

Ни вор, укравший у товарища пайку хлеба, ни предатель-«стукач» к «динаме» не присуждаются. Но не уплативший карточного долга неизбежно становится «динамой».

Игра в карты, в «святцы» — самое яркое, самое острое из переживаний, возможных в тюремном быту, и ее законы очень строги. Шулер наказанию не подлежит, он даже в почете — мастер своего дела! Играют на затыренные (спрятанные при обыске) деньги, на «барахло», на «пайки», на «службу», на «палец», на «очко»... Последнее — сексуальная тюремная гнусность, «служба» — безоговорочное рабство на условленный срок, полное безобразнейших издевательств, «палец» — отрубание себе пальца или нескольких, причем рубить должен сам проигравший. Отрубивший — герой, струсивший — «динама».

Вот на таком-то суде по поводу двух неотрубленных пальцев и пришлось выступать Василию Ивановичу, на этот раз в качестве защитника. Он понимал, что преодолеть, разрушить звериный закон ему не под силу и прибегнул к аргументу, доступному пониманию «присяжных».

«Саморубы», не наказывавшиеся в тюрьмах, на Соловках неминуемо шли на Секирку как дезертиры труда. Таким образом, к потере проигранного пальца должник добавлял непроигранные полгода страшного изолятора, а быть может, и жизнь.

Создавался казус, подобный тому, которого не смог преодолеть Шейлок: «фунт мяса, но без крови!» — палец, но без Секирки!

И так же, как некогда в далекой Венеции, примитивная логика здравого смысла победила букву волчьего закона. Камера, на этот раз большое отделение Преображенского собора, где размещалось несколько сот человек, оправдала отказавшегося рубить. Прецедент получил силу, и в последующие годы (я имел сведения о двух годах: 1926-м и 1927-м) следственная часть УСЛОНа не отметила ни одного случая саморубства из-за проигрыша.

***

Друзья нажимали все пружины, чтобы вызволить Василия Ивановича из адского котла, в котором он варился. Это было нелегко. В следственную часть, куда охотно брали опытных беспартийных юристов, поручая им расследование уголовных преступлений, он идти не захотел. Наконец подвернулась спокойная вакансия сторожа разведенного на лесной поляне огорода. Но беда в том, что туда требовался не только добросовестный, чуждый «блату» охранник, но и физически сильный человек, способный дать отпор похитителям картошки и репы. Все зависело от решения Баринова, который захотел сам видеть рекомендованного кандидата.

Властный начальник 1-го отделения УСЛОНа критически осмотрел представшую перед ним тщедушную фигурку и недоверчиво спросил:

— А как же ты, брат, шпану погонишь, когда она наскочит?

Василий Иванович напряг все силы, чтобы сделать свое лицо страшным и даже кулаком потряс:

— А я им крикну... — прозвучало неожиданное диссонирующее всему облику Василия Ивановича грубое «крылатое» слово. В эту минуту он удивительно был похож на... царя Феодора Иоанновича в исполнении Москвина:

— Да, я суров, грозен... весь в батюшку...

Вероятно, наивно-трогательный комизм этой сцены коснулся каких-то сокровенных струн огрубелого, обросшего колючей щетиной, но все же русского, мужицкого сердца Баринова. Василий Иванович получил назначение и переселился в лесную землянку, где жил тихо, спокойно вместе с одним из самых экзотических соловчан — бывшим оберштальмейстером и начальником конюшен корейского императора, одноглазым колчаковцем, выплеснутым из пределов родной земли и вернувшимся в Россию только потому, что незримые нити, связывавшие его с ней, революция порвать не смогла.

Шпана быстро нашла дорогу в лесной уют. Авторитет совести, приобретенный Василием Ивановичем, не снизился, а возрос, и нередко по протоптанной между густыми папоротниками тропинке пробирались искавшие правосудия, иногда даже целыми группами. Здесь, под густыми лапами пятисотлетних елей, слышавших еще зовы убогого била над землянкой-часовенкой первых соловецких трудников-иноков, творился суд «скорый, правый и милостивый», твердо стоявший на основе закона совести, гуманнейшего в мире закона Российской империи. Последний суд совести в забывшей ее и свое имя России... Злопыхатели и завистники — были, конечно, и такие у Василия Ивановича — с усмешечкой называли его «доктором блатного права».

Шпана дала ему другое имя — Василек — Святая душа.

Его сторожевка на огороде прошла благополучно. Первые воры, накопавшие там ночью картошки, были уличены в своем же бараке и крепко побиты. Этот самосуд был своеобразным, уродливым откликом совести, разбуженной призывными ударами убогого одинокого била нового соловецкого трудника Василька — Святой души, совести — света Божиего, в чью силу верил он той же нерушимой верой, с которой шли на далекий остров его первые древние трудники...

Глава 5. Фрейлина трех императриц[16]

По строгому уставу Соловецкого монастыря женщины на остров не допускались. Они могли поклониться святыням лишь издали, с крохотного Заячьего островка. От пристани до него — верста с небольшим, и весь кремль с высящимися над ним куполами виден оттуда как на ладони.

Традиция сохранилась. Новый хозяин острова отвел Зайчики под женский изолятор, куда попадали главным образом за грех против седьмой заповеди и куда в качестве представителя власти был допущен лишь один мужчина — 70-летний еврей, Бог весть какими путями попавший на службу в хозяйственную часть ЧК, проштрафившийся чем-то и угодивший в ссылку. Возраст и явная дряхлость ставили его, как жену Цезаря, вне подозрений.

Каторжницы, ни в чем не провинившиеся на Соловках, жили на самом острове, но вне кремля, в корпусе, обнесенном тремя рядами колючей проволоки, откуда их под усиленным конвоем водили на работы в прачечную, канатную мастерскую, на торфоразработки и на кирпичный завод. Прачечная и «веревочки» считались легкими работами, а «кирпичики» — формовка и переноска сырца — пугали. Чтобы избавиться от «кирпичиков», пускались в ход все средства, и немногие выдерживали два-три месяца этой действительно тяжелой, не женской работы.

Жизнь в женбараке была тяжелей, чем в кремле. Его обитательницы, глубоко различные по духовному укладу, культурному уровню, привычкам, потребностям, были смешаны и сбиты в одну кучу без возможности выделиться в ней в обособленные однородные группы, как это происходило в кремле. Количество уголовных здесь во много раз превышало число каэрок, и они господствовали безраздельно. Притонодержательницы, проститутки, торговки кокаином, контрабандистки... и среди них — аристократки, кавалерственные дамы, фрейлины.

Выход из барака строго контролировался, даже в театр женщины ходили под конвоем и сидели там обособленно, тоже под наблюдением.

Женщины значительно менее мужчин приспособлены к нормальному общежитию. Внутренняя жизнь женбарака была адом, и в этот ад была ввержена

[16] Глава посвящена Наталии Модестовне Фредерикс.

фрейлина трех императриц, 65-летняя баронесса, носившая известную всей России фамилию.

Великую истину сказал Достоевский: «Простолюдин, идущий на каторгу, приходит в свое общество, даже, быть может, более развитое. Человек образованный, подвергшийся по законам одинаковому с ним наказанию, теряет часто несравненно больше него. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки, перейти в среду, для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом. <...> И часто для всех одинаковое наказание превращается для него вдесятеро мучительнейшее. Это истина...» (Записки из мертвого дома. IV. Первые впечатления).

Именно такое, во много более тяжелое наказание несла эта старая женщина, виновная лишь в том, что родилась в аристократической, а не в пролетарской семье.

Если для хозяйки кронштадтского портового притона Кораблихи быт женбарака и его среда были привычной, родной стихией, то чем они были для смолянки, родной стихией которой были ближайшие к трону круги? Во сколько раз тяжелее для нее был каждый год, каждый день, каждый час заключения?!

Беспрерывная, непрекращавшаяся ни днем, ни ночью пытка. ГПУ это знало и с явным садизмом растасовывало каэрок в камеры поодиночке. С мужчинами в кремле оно не могло этого сделать, в женбараке это было возможно.

Петербургская жизнь баронессы могла выработать в ней очень мало качеств, которые облегчили бы ее участь на Соловках. Так казалось. Но только казалось. На самом деле фрейлина-баронесса вынесла из нее истинное чувство собственного достоинства и неразрывно связанное с ним уважение к человеческой личности, предельное, порой невероятное самообладание и глубокое сознание своего долга.

Попав в барак, баронесса была там встречена не «в штыки», а более жестоко и враждебно. Стимулом к травле ее была зависть к ее прошлому. Женщины не умеют подавлять в себе, взнуздывать это чувство и всецело поддаются ему. Слабая, хилая старуха была ненавистна не сама по себе в ее настоящем, а как носительница той иллюзии, которая чаровала и влекла к себе мечты ее ненавистниц.

Прошлое — элегантное, утонченное, яркое — проступало в каждом движении старой фрейлины, в каждом звуке ее голоса. Она не могла скрыть его, если бы и хотела, но она и не хотела этого. Она оставалась аристократкой в лучшем, истинном значении этого слова; и в соловецком женбараке, в смраде матерной ругани, в хаосе потасовок она была той же, какой видели ее во дворце. Она не чуждалась, не отграничивала себя от окружающих, не проявляла и тени того высокомерия, которым неизменно грешит ложный аристократизм. Став каторжницей, она признала

себя ею и приняла свою участь, неизбежность, как крест, который надо нести без ропота, без жалоб и жалости к себе, без сетования и слез, не оглядываясь назад.

Тотчас по прибытии баронесса была, конечно, назначена на «кирпичики». Можно представить себе, сколь трудно было ей на седьмом десятке носить на локте двухпудовый груз. Ее товарки по работе ликовали:

— Баронесса! Фрейлина! Это тебе не за царицей хвост таскать! Трудись по-нашему! — хотя мало кто из них действительно трудился до Соловков.

Они не спускали с нее глаз и жадно ждали вопля, жалобы, слез бессилия, но этого им не пришлось увидеть. Самообладание, внутренняя дисциплина, вынашенная в течение всей жизни, спасли баронессу от унижения. Не показывая своей несомненной усталости, она доработала до конца, а вечером, как всегда, долго молилась, стоя на коленях перед маленьким образком.

Моя большая приятельница дней соловецких, кронштадтская притонщица Кораблиха, баба русская, бойкая, зубастая, но сохранившая «жалость» в бабьей душе своей, рассказывала мне потом:

— Как она стала на коленки, Сонька Глазок завела было бузу: «Ишь ты, Бога своего поставила, святая какая промеж нас объявилась», а Анета на нее: «Тебе жалко, что ли? Твое берет? Видишь, человек душу свою соблюдает!» Сонька язык и прикусила...

То же повторялось и в последующие дни. Баронесса спокойно и мерно носила сырые кирпичи, вернувшись в барак, тщательно чистила свое платье, молча съедала миску тресковой баланды, молилась и ложилась спать на свой аккуратно прибранный топчан. С обособленным кружком женбарачной интеллигенции она не сближалась, но и не чуждалась, как и вообще не чуждалась никого из своих сожительниц, разговаривая совершенно одинаковым тоном и с беспрерывно вставлявшей французские слова княгиней Шаховской, и с Сонькой Глазком, пользовавшейся в той же мере словами непечатными. Говорила она только по-русски, хотя «обособленные» предпочитали французский.

Шли угрюмые соловецкие дни, и выпады против баронессы повторялись все реже и реже. «Остроумие» языкатых баб явно не имело успеха.

— Нынче утром Манька Длинная на баронессу у рукомойника наскочила, — сообщала мне вечером на театральной репетиции Кораблиха, — щетки, мыло ее покидала: крант, мол, долго занимаешь! Я ее поганой тряпкой по ряшке как двину! Ты чего божескую старуху обижаешь? Что, тебе воды мало? У тебя где болит, что она чистоту соблюдает?

Окончательный перелом в отношении к бывшей фрейлине наступил, когда уборщица камеры, где она жила, «объявилась».

«Объявиться» на соловецком жаргоне значило заявить о своей беременности. В обычном порядке всем согрешившим против запрета любви полагались Зайчики, даже и беременным до седьмого-восьмого месяца. Но бывших уже на сносях отправляли на остров Анзер, где они рожали и выкармливали грудью новорожденных в сравнительно сносных условиях, на легких работах. Поэтому беременность тщательно скрывалась и объявлялась лишь тогда, когда можно было, минуя Зайчики, попасть прямо к «мамкам».

«Объявившуюся» уборщицу надо было заменить, и по старой тюремной традиции эта замена производилась демократическим порядком — уборщица выбиралась. Работа ее была сравнительно легкой: вымыть полы, принести дров, истопить печку. За место уборщицы боролись.

— Кого поставим? — запросила Кораблиха. Она была старостой камеры.

— Баронессу! — звонко выкрикнула Сонька Глазок, безудержная и в любви, и в ненависти. — Кого кроме нее? Она всех чистоплотней! Никакой неприятности не будет...

Довод был веский. За грязь наказывалась вся камера. Фрейлина трех всероссийских императриц стала уборщицей камеры воровок и проституток. Это было большой «милостью» к ней. «Кирпичики» явно вели ее к могиле.

Я сам ни разу не говорил с баронессой, но внимательно следил за ее жизнью через моих приятельниц, работавших в театре: Кораблиху и ту же Соньку Глазок, певшую в хоре.

Заняв определенное социальное положение в каторжном коллективе, баронесса не только перестала быть чужачкой, но автоматически приобрела соответствующий своему «чину» авторитет, даже некоторую власть. Сближение ее с камерой началось, кажется, с консультации по сложным вопросам косметических таинств, совершающихся с равным тщанием и во дворце, и на каторге. Потом разговоры стали глубже, серьезнее... И вот...

В театре готовили «Заговор императрицы» А. Толстого — халтурную, но игровую пьесу, шедшую тогда во всех театрах СССР. Арманов играл Распутина и жадно собирал все сведения о нем у видавших загадочного старца.

— Все это враки, будто царица с ним гуляла, — безапелляционно заявила Сонька, — она его потому к себе допускала, что он за наследника очень усердно молитствовал... А чего другого промеж них не было. Баронесса наша при них была, а она врать не будет.

Кораблиха, воспринявшая свое политическое кредо среди кронштадтских матросов, осветила вопрос иначе:

— Один мужик до царя дошел и правду ему сказал, за то буржуи его и убили. Ему царь поклялся за наследниково выздоровление землю крестьянам после войны отдать. Вот какое дело!

Нарастающее духовное влияние баронессы чувствовалось в ее камере все сильнее и сильнее. Это великое таинство пробуждения человека совершалось без насилия и громких слов. Вероятно, и сама баронесса не понимала той роли, которую ей назначено было выполнить в камере каторжного общежития. Она делала и говорила «что надо» так, как делала это всю жизнь. Простота и полное отсутствие дидактики ее слов и действий и были главной силой ее воздействия на окружающих.

Сонька среди мужчин сквернословила по-прежнему, но при женщинах стала заметно сдерживаться, и главное, ее «эпитеты» утратили прежний тон вызывающей бравады, превратившись просто в слова, без которых она не могла выразить всегда клокотавших в ней бурных эмоций. На Страстной неделе она, Кораблиха и еще две женщины из хора говели у тайно проведенного в театр священника — Утешительного попа. Таинство принятия тела и крови Христовых совершалось в темном чулане, где хранилась бутафория, дарами, пронесенными в плоской солдатской кружке в боковом кармане бушлата. На стреме у дверей стоял бутафор-турок Решад-Седад, в недавнем прошлом коммунист, нарком просвещения Аджаристана. Если б узнали, быть бы всем на Секирке и Зайчиках, если не хуже...

Когда вспыхнула страшная эпидемия сыпняка, срочно понадобились сестры милосердия или могущие заменить их. Нач. санчасти УСЛОНа М.В. Фельдман не хотела назначений на эту смертническую работу. Она пришла в женбарак и, собрав его обитательниц, уговаривала их идти добровольно, обещая жалованье и хороший паек. Желающих не было. Их не нашлось и тогда, когда экспансивная Фельдман обратилась с призывом о помощи умирающим.

В это время в камеру вошла старуха-уборщица с вязанкой дров. Голова ее была укручена платком — на дворе стояли трескучие морозы. Складывая дрова к печке, она слышала лишь последние слова Фельдман:

— Так никто не хочет помочь больным и умирающим?

— Я хочу, — послышалось от печки.

— Ты? А ты грамотная?

— Грамотная.

— И с термометром умеешь обращаться?

— Умею. Я работала три года хирургической сестрой в царскосельском лазарете...

— Как ваша фамилия?

Прозвучало известное имя, без титула.

— Баронесса! — крикнула, не выдержав, Сонька, но этот выкрик звучал совсем не так, как в первый день работы бывшей фрейлины на «кирпичиках».

Второй записалась Сонька и вслед за ней еще несколько женщин. Среди них не было ни одной из «обособленного» кружка, хотя в нем много говорили о христианстве и о своей религиозности.

Двери сыпнотифозного барака закрылись за вошедшими туда вслед за фрейлиной трех русских императриц. Оттуда мало кто выходил. Не вышло и большинство из них.

М. В. Фельдман рассказывала потом, что баронесса была назначена старшей сестрой, но несла работу наравне с другими. Рук не хватало. Работа была очень тяжелая, так как больные лежали вповалку на полу и подстилка под ними сменялась сестрами, выгребавшими руками пропитанные нечистотами стружки. Страшное место был этот барак.

Баронесса работала днем и ночью, работала так же тихо, мерно и спокойно, как носила кирпичи и мыла пол женбарака. С такой же методичностью и аккуратностью, как, вероятно, она несла свои дежурства при императрицах. Это ее последнее служение было не самоотверженным порывом, но следствием глубокой внутренней культуры, воспринятой не только с молоком матери, но унаследованной от ряда предшествовавших поколений. Придет время, и генетики раскроют великую тайну наследственности.

Владевшее ею чувство долга и глубокая личная дисциплина дали ей силы довести работу до предельного часа, минуты, секунды...

Час этот пробил, когда на руках и на шее баронессы зарделась зловещая сыпь. М. В. Фельдман заметила ее.

— Баронесса, идите и ложитесь в особой палате... Разве вы не видите сами?

— К чему? Вы же знаете, что в мои годы от тифа не выздоравливают. Господь призывает меня к Себе, но два-три дня я еще смогу служить Ему...

Они стояли друг против друга. Аристократка и коммунистка. Девственница и страстная, нераскаянная Магдалина. Верующая в Него и атеистка. Женщины двух миров.

Экспансивная, порывистая М. В. Фельдман обняла и поцеловала старуху.

Когда она рассказывала мне об этом, ее глаза были полны слез.

— Знаете, мне хотелось тогда перекрестить ее, как крестила меня в детстве няня. Но я побоялась оскорбить ее чувство веры. Ведь я же еврейка.

Последняя секунда пришла через день. Во время утреннего обхода баронесса села на пол, потом легла. Начался бред.

Сонька Глазок тоже не вышла из барака смерти, души их вместе предстали пред Престолом Господним.

Глава 6. Душу за други положивший

Удачных побегов с Соловков не было. Напечатавший в Риге в 1925 или 1926 году свои очерки «Остров крови и смерти» Мальсагов бежал не с самих островов, а с одной из командировок на Кемском берегу. Но и оттуда его побег был до 1927 года единственным и, несомненно, героическим[17].

Три или четыре офицера, выйдя на работу в лес, разоружили и связали конвоира и без карты, без компаса, устремились к финской границе. Нужно было идти тундрой и болотистым лесом не менее 300 километров, избегая больших поселков. Продовольствия у них не было, оружия — одна винтовка и две обоймы патронов. Питались, очевидно, лишь ягодами да грибами.

Погоня, пущенная через несколько часов по их следу, шла все время по пятам. Ее вели собаки. Иногда беглецов настигали. Тогда их лучший стрелок маскировался и меткими выстрелами укладывал ближайших преследователей. Говорили, что пять-шесть красноармейцев было убито и ранено.

Беглецы все же дошли до финской границы, были приняты генералом Маннергеймом и позже переехали в Ригу, где Мальсагов и выпустил свои очерки.

Но попыток к побегу было много. Бежали исключительно уголовники с большим сроком, главным образом бандиты-«мокрятники» (убийцы). Обычно они пытались незаметно проскочить на отходящий пароход и спрятаться где-нибудь в трюме. Проскочить удавалось, но спрятавшихся неизменно обнаруживали при выгрузке в Кеми. Расстреливали их не всегда, чаще гноили на Секирке.

Бывали и трагикомические случаи. Один шпаненок решил укрыться в трубе парохода, но как только затопили печь, конечно, сам выскочил оттуда.

Самой смелой из попыток уголовников был побег бандита по кличке Драгун. Он бежал в одиночку и рассчитывал перебраться на лодке, но захватить ее ему не удалось. Тогда Драгун скрылся в лесу, в тот же день напал на проходившего лесной дорогой охранника и отобрал у него оружие.

Эйхманс выслал погоню, но она не смогла найти Драгуна в дебре. Не помогли и собаки. Драгун появлялся то там, то здесь, нападал на мелкие рабочие посты, отбирал продовольствие и действовал настолько смело, что обобрал даже повариху Эйхманса, несшую продукты в его резиденцию, отстоявшую в двух-трех километрах от кремля.

Взбешенный Эйхманс разнес чекистов-охранников и двинул на Драгуна чуть ли не весь Соловецкий особый полк, который прочесал цепочками весь остров от края до края. Драгун снова ускользнул. Тогда Эйхманс ввел на острове нечто вроде осадного положения, покрыл его сетью застав, пустил патрули, но не помогли и эти меры.

---

[17] Побег группы во главе с Ю. Бессоновым в мае 1925 г. из Кемского пересыльного пункта не был единичным случаем. В тот же год благополучно бежал А. Клингер, чьи воспоминания открывают данную книгу.

Эйхманс капитулировал. Он снял заставы и разбросал по дорогам объявления, в которых гарантировал «своим честным чекистским словом» жизнь Драгуну, если тот придет с повинной.

Драгун сдался. Эйхманс пытался сдержать свое «чекистское слово». Много странных сплетений было в душе этого чекиста из рижских студентов, захлестнутого русской революцией, и, несомненно, в ней была своя трещина, своя драма, закончившаяся его расстрелом на Новой Земле. Он просил о смягчении приговора Драгуну, мотивируя просьбу тем, что убийств при побеге тот не совершил. Но Москва не сочла нужным посчитаться с его «чекистским словом», и Драгун был расстрелян.

Рассказывали, что, узнав о приговоре, он только крепко выругался, а смерть встретил совершенно спокойно.

Но вряд ли бы удалось Драгуну спастись, даже захватив лодку. Его настигли бы моторные катера или единственный имевшийся тогда на Соловках самолет. Их наличие делало летом побег морем невозможным.

Зимою бежать было еще труднее. Белое море замерзает не сплошь, остаются широкие пространства чистой воды. Следовательно, надо тянуть с собой лодку. Это требует страшных усилий нескольких человек, так как лед не ровен, а загроможден хаосом глыб.

Самым удобным временем для побега морем была поздняя осень, когда над ним ползут густые туманы. Под их покровами беглецы могли рассчитывать укрыться и от катеров погони, и, главное, от зорких глаз самолета. Но в это время года их подстерегал другой страшный враг — шуга.

Море замерзает не сразу. Сначала по нему идут отдельные мелкие льдинки. Потом они скопляются густыми массами и ползут, подгоняемые ветром или течением. Это и есть шуга. Не только лодки, но и промысловые шхуны, попав в нее, не могут вырваться. Соловецкая летопись сохранила предание о нескольких монахах-рыболовах, занесенных шугой на Новую Землю — далекий пустынный Грумонт, где они прожили робинзонами десять лет, пока их не спас норвежский китобой.

Это-то время и избрали для осуществления своего плана несколько морских офицеров. Душой заговора был князь Шаховской, более известный на Соловках под фамилией Круглов, под которой он был захвачен после провала заговора Таганцева, к которому, кстати сказать, прямого отношения не имел.

Все флотские держались особняком, работали, обычно сбиваясь в свои группы. Тяжелых работ не боялись, и странно, что в этих группах и офицеры, и матросы не только легко уживались вместе, но стремились к этому объединению и крепко держались друг за друга. От слепой ненависти «братвы» к «драконам», столь ярко

вспыхнувшей в первые годы революции, не осталось следа. Наоборот, в этих морских группах, всегда твердо державших свою внутреннюю дисциплину, было заметно если не чинопочитание, то во всяком случае признание старшинства и авторитета офицера. Он всегда становился фактическим старшим в группе, даже если назначен был другой. Но чужаков в эти артели и не назначали. После нескольких печально окончившихся попыток начальство решило предоставить флотских самим себе, так как дорожило ими как лучшими ударниками на самых тяжелых работах.

Характерен такой случай. Поздней осенью на Соловки зашел возвращавшийся в Архангельск ледокол. Капитан пропьянствовал ночь с Эйхмансом, а в это время ударил сильный мороз, и бухта разом покрылась толстым слоем льда. Ледокол вмерз, и вмерз безнадежно, так как был построен по системе адмирала Макарова, то есть пробивал себе путь, вползая на лед с разбега и продавливая его своей тяжестью. Лишенный возможности разбежаться по чистой воде, он был бессилен.

Работавший в то время в порту морской офицер Вонлярлярский предложил пропилить путь ледоколу во льду, пользуясь обычными двуручными пилами. На один конец такой пилы привязывался груз, который тянул ее книзу, а за другой пильщик вытягивал ее вверх, действуя по вертикали. Но для успеха дела — пропилки дороги в полтора-два километра — была необходима одновременная работа на всем ее протяжении, так как иначе уже готовые участки замерзали бы снова за время пропилки последующих. Для такой работы нужно было мобилизовать всех дроворубов и побудить эту нестройную хаотическую толпу к одновременному дружному и напряженному действию в тяжелых условиях.

Чтобы достигнуть этого, Вонлярлярский, которому было поручено руководство работой, использовал именно эту внутреннюю спайку и дисциплину флотских. Он поставил их старшими групп по всей линии и создал этим крепкий передаточный аппарат для утверждения своей воли.

Работа была выполнена быстро и четко, без неразберихи и сутолоки, ругани и избиения, неизменно сопровождавших администрирование грузино-меньшевистской рабсилы.

Только в такой среде мог возникнуть и вызреть рациональный, обладавший шансами на успех план побега. Возможность предательства в ней была сведена к нулю, хотя сексотов, навербованных из самих заключенных, было много. Но среди флотских каждый возможный предатель знал, что он будет узнан и неминуемо убит не самими пострадавшими от него, но коллективом — «братвой». О подготовке к побегу этой группы знали и другие, но тайна была сохранена.

Выполнению плана помог случай. Талантливый молодой инженер Стрижевский сконструировал для морских прогулок Эйхманса глиссер — мо-

торный катер с воздушным винтом, развивавший скорость вдвое большую, чем катера обычного типа. Получив пять-шесть часов преимущества, он становился безусловно неуловимым для наводных преследователей. Но оставался самолет. Он мог догнать глиссер и потопить его одной ручной гранатой. Нужно было избавиться от угрозы.

Ангар тщательно охранялся чекистами. Сам летчик уходом за машиной не занимался, называл ее не иначе, как «гробом», чего этот аппарат времен первой великой войны вполне заслуживал. Кажется, в авиационной механике летчик сам был слаб и поднимался в воздух только в пьяном виде, но летал смело и искусно.

Уход за самолетом вел некто Силин — лицо, мало кому известное, инвалид, хромавший на обе ноги. Он помещался при ангаре под строгим контролем охраны, имел большой срок. Появляясь иногда в кремле, он редко с кем разговаривал, брал по многу книг в библиотеке, закупал продукты в закрытом магазине, куда был допущен, и уходил. Начальство, видимо, им дорожило и даже платило ему какое-то жалованье.

Позже говорили, что это был известный морской летчик, носивший тогда другую фамилию, но точно об этом знали очень немногие.

Силин, этот загадочный человек — таких немало было тогда на Соловках, — и взял на себя главную роль в осуществлении побега. К намеченному времени, не раньше, не позже, он должен был вывести самолет из строя.

Это был не риск. Это было осознанное обречение себя на гибель. Сам бежать он не мог. Он находился под постоянным наблюдением, и даже отсутствие его на квартире в ночное время, несомненно, тотчас бы вызвало тревогу. Кроме того, можно было предполагать, что при его выходе из ангара за ним направлялся наблюдатель. Следовательно, побег был бы сорван.

Участь его при удаче побега без него тоже была вполне ясна. Непригодность аппарата к полету в нужный момент была вполне достаточной причиной для расстрела даже при отсутствии других улик. На сохранение жизни у Силина не было ни одного шанса. Он шел на неотвратимую смерть. И все же он пошел.

Туманной ноябрьской ночью, после вечерней поверки, из кремля скрылись три или четыре человека. Вероятно, они спустились со стены по веревке, что было нетрудно, потом веревка была кем-то убрана.

Нападение на часового при катерах вынырнувшими внезапно из тумана людьми тоже не представляло большого труда. Он не был убит, а лишь обезоружен и связан. Гораздо труднее было снабдить к этому моменту глиссер большим запасом бензина. Это мог выполнить только Силин, имевший в своем распоряжении горючее самолета. Вероятно, он заранее пронес баки в условленное место.

Отважные беглецы вышли в море ночью. Их отсутствие было замечено только на утренней поверке. В то же время обнаружили исчезновение глиссера.

Беглецы могли уйти за ночь на 250–300 километров.

– Самолет!

Мотор был разобран для генеральной чистки без приказания пилота. Некоторые части его оказались негодными.

Силин был расстрелян, но, очевидно, не назвал никого при допросах. Несколько моряков было арестовано, но держали их недолго. Улик не было.

Лишь один Силин «положил живот свой за други своя» и совершил этот подвиг, следуя славной традиции Российского императорского флота. Он был верен ей до конца.

***

О дальнейшей судьбе этих единственных беглецов, которым все же удалось вырваться с каторги, сведений нет. Можно сказать с уверенностью лишь то, что они не были пойманы. Вышедшие все же в погоню катера вернулись ни с чем.

Но в эмиграции никто не мог дать сведений об их прибытии, которое не могло пройти незамеченным! Остается предположить лишь одно: отважные моряки погибли в пути. Это вполне возможно. Глиссер был хрупким суденышком. Столкновение с льдиной в тумане было бы верной гибелью для него. Попав в шугу, он был бы растерт ею в щепки... Кроме того, вряд ли у беглецов были компас и морская карта.

«Безумству смелых поем мы славу», но высшей славы достоин тот, кто без малейшей надежды на спасение принес себя в жертву их подвигу.

Глава 7. Мужицкий Христос

За кремлем, на пригорке, с которого открывается морской простор, стоит каменный столб. Он был поставлен Петром Великим во время первого его приезда на Белое море, при первой встрече с суровыми, гордыми капитанами фрегатов и каравелл, теми, у кого

Не пылью изъеденных хартий –
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой по разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь.
Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что золото сыплется с кружев
Розоватых брабантских манжет.

Дерзостный юноша-царь, вырвавшись на морской простор из плена дворцовых стен нерушимого Третьего Рима, из тумана банного пара с росным ладаном, из-под низких, давящих сводов Грановитой палаты, увидел здесь иные туманы, клубившиеся над северными пенистыми волнами, а за ними — своды высоких лазурных небес, простертых над дальними, запретными, прелестными странами...

Он, разрывавший свои оковы царственный пленник, увидел здесь путь к мечте...

Тогда он приказал утвердить этот столб и высек на его камне своей могучей рукой:

«До Амстердама-града... (столько-то)[18] верст.

До Вениции-града... (столько-то) верст».

Этот столб стоит и поныне. Свищет вокруг него колючий норд-ост, вздымает и несет мириады льдистых игл, колет ими зажимающих уши ладонями, куда-то спешащих людей. Свищет он и в кремлевских стенах, злобный, вражеский, воет в зубцах вековечных стен, рвет снежные шапки с угрюмых башен, костенит пальцы, леденит тело, сковывает душу...

Плен. Бессилие. Впереди — тьма...

Тьма и в переполненном зале соловецкого театра. Не видно и не слышно, как раздвигаются полы занавеса. Тьма и на сцене...

Но вот во тьме раздаются чьи-то голоса. Они звучат грустью:

Занесет нас зимою метель
И запрячет на полгода в щель...
Лишь весною найдут рыбаки.
Соловки, Соловки, Соловки...

Один за другим вспыхивают цветные фонарики... Они замирают, снова загораются. Их все больше и больше... в темноте уже вырисовываются неясные силуэты ритмически колышущихся женских фигур; огоньки кружатся, танцуют в уходящей, рассеивающейся побежденной тьме. Ритм песни оживает, она звучит уже лаской, смутной надеждой:

Мило нам из щели соловецкой
В даль взглянуть с улыбкой ясной, детской...
Приходите к нам и слушайте, как тут
Песенки веселые поют, поют...

Эта пьеска называлась «Светлячки». Она была написана двумя не-поэтами: Н. К. Литвиным и автором этих строк. Мотивом послужила популярная тогда

[18] Сколько именно верст, я помнить, конечно, не могу. — *Авт.*

песенка о «Ню, смеявшейся весело и звонко». Пьеска была сценически оформлена и поставлена на первом спектакле ХЛАМа в 1925 году младшим режиссером 2-го МХАТа Н. М. Красовским.

Когда я заканчивал эту повесть о годах, проведенных на Святом острове, записывая ушедшее уродливое и прекрасное, ничтожное и величавое, безмерно униженное и неудержимо взметывавшееся ввысь прошлое, я прочел уже несколько измененные слова этой песни в повести Г. Андреева.

Андреев был на Соловках позже меня. Он видел лишь некоторых из уцелевших соловчан «первого призыва». Подавляющее большинство уже погибло или рассеялось по разросшимся концлагерям, растворилось в мутных волнах новых «наборов». Но он видел там эту же пьеску, которая, потеряв свое имя, стала, как он отмечает, традицией.

Иные люди... Но песня та же. Почему? Потому, что в ней — мечта узника о свободе, та же мечта, что владела Петром, высекавшим на камне столбе: «До Вениции-града... верст».

Над островом завывала метель и тяготела тьма, а здесь, из рассеянной тьмы, выплывала ярко-оранжевая луна на синем тропическом небе и сказочный раджа, он же каторжник Ганс-Милованов, грохотал своим потрясающим басом на мотив из «Жрицы огня»:

Соловки открыл монах Савватий,
Был тот остров неустроенный пустырь.
За Савватием шли толпы черных братий...
Так возник великий монастырь!

Край наш, край соловецкий,
Ты для каэров и шпаны прекрасный край!
Снова, с усмешкой детской,
Песенку про лагерь начинай!

Но теперь совсем иные лица
Прут и прут сюда со всех сторон.
Здесь сплелись и быль и небылица
И замолк китежный древний звон...

Но со всех сторон Советского Союза
Едут, едут, едут без конца.
Все смешалось: фрак, армяк и блуза...
Не видать знакомого лица!

Край наш, край соловецкий,
Всегда останется, как был, чудесный край...

Раджу сменяла толпа веселых моряков, плясавших джигу и слушавших в тени банана песню-рассказ старого капитана:

Это было много лет назад.
Порт шумел в вечерний час.
Подошел ко мне слуга-мулат,
Дал письмо и скрылся с глаз...

В той стране, где зелены лианы,
В той стране, где губы дев так пряны,
Там под тенью манго и банана
Поцелуи призрачны и пьяны...

Не ту ли песню-мечту о свободных просторах и странах пели дерзостному юноше Петру изъеденные солью дальних морей капитаны заморских фрегатов? Не в память ли ее он водрузил каменный столб? И снова свищет и беснуется вокруг столба снежная вьюга... Над островом — тьма. До Вениции-града... верст...

***

Давно, 19 октября 1825 года, в жарко натопленной горнице скромного барского домика села Михайловского лицеист первого выпуска Александр Сергеевич Пушкин писал гусиным пером на листе желтоватой бумаги:

Роняет лес багряный свой убор;
Сребрит мороз увянувшее поле;
Проглянет день, как будто поневоле,
И скроется за край окружных гор.

Пылай, камин, в моей пустынной келье;
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.

Ярко вспыхивали в печке еловые дрова. Проглядывал поневоле осенний день. Оживала пустынная михайловская келья. «Минутное забвенье горьких мук» уносило опального лицеиста в те дни, «когда в садах лицея он безмятежно расцветал»...

Через 100 лет, 19 октября 1925 года, в жарко натопленной камере 6-й роты 1-го отделения Соловецких концлагерей звучали те же слова. Ярко вспыхивали

в печке еловые дрова. Проглядывал поневоле осенний день. Оживала пустынная соловецкая келья. «Минутное забвенье горьких мук» уносило последних ссыльных лицеистов в те дни, «когда в садах лицея»... И:

Мне сладкая готовилась отрада
В обители пустынных вьюг и хлада...

«Спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем», — писал Пушкин Жуковскому. Думал ли тогда опальный питомец лицея, что вековые замшелые стены сурового монастыря замкнут и отрекут от мира многих из числа последних питомцев горячо любимого им Царскосельского отечества, а безвестная братская могила — без креста и гробов, — не смыкавшая своего черного зева на каторжном кладбище, станет последним пристанищем некоторых из них? Мог ли он предположить, что пламенные слова его послания к друзьям юности прозвучат там ровно через 100 лет и

Усладят мученья день печальный
И в день его лицея превратят —

для тех немногих, кто среди непредугаданной поэтом, немыслимой даже для его гениального прозрения России останется верным традициям «царем открытого для них царицына чертога»?

Стремясь проникнуть в будущее своим вещим взором, Пушкин видел в тот день лишь того из своих однокашников, «кому под старость день лицея торжествовать придется одному».

Мы не знаем, вспомнил ли эти слова «несчастный друг... средь новых поколений докучный гость, и лишний, и чужой», — переживший всех лицеистов Пушкинского выпуска светлейший князь Горчаков, но через 42 года после его смерти они с невыразимой трагической силой прозвучали в устах одного из последних питомцев лицея — Кондратьева, в одной из келий ставшего каторгой Соловецкого монастыря, на потаенном собрании в день годовщины — 19-IX-1925.

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен, —

писал Пушкин ровно за 100 лет до этого дня, и вечный дух величайшего из лицеистов витал среди последних из них, загнанных на суровый остров и отринутых обезумевшим народом, тем, в котором «чувства добрые он лирой пробуждал».

Их было немного — всего 12—15 человек, и страшной правдой прозвучали слова:

Еще кого не досчитались мы?..
Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж нами нет?

Так спрашивал поэт немногих уцелевших, собравшихся в день лицея «в обители пустынных вод и хлада», устами каторжника-лицеиста Кондратьева.

***

Каждый год начинавшаяся в мае навигация приносила на Соловки новые наслоения. Они отражали, как капля воды — океан, процессы, происходившие на одной шестой мира.

Сначала большинство прибывающих составляли офицеры. Потом — крупные партии повстанцев: среднерусских, украинских и окраинных, грузин и народов Средней Азии: туркмен, узбеков — «фанатиков», как прозвала их шпана. В разгар НЭПа — контрабандисты, валютчики, проститутки и нищие, получившие за свою голодную жадность к еде кличку «леопарды».

В 1925 году красный Ленинград добивал остатки императорского Петербурга: прибыли «дипломаты» — чиновники Министерства иностранных дел, «фараоны» — бывшие полицейские, рядовые и служившие в департаменте, и лицеисты.

К этой последней группе относились не только бывшие питомцы Александровского лицея, но и правоведы, и просто сенатские чиновники. Эта группа была наиболее яркой, имела свое определенное лицо, свои культурные традиции, уходившие корнями к временам первого, Пушкинского выпуска.

Инкриминированным им «преступлением» была панихида, отслуженная по царю-мученику. Служил ее также бывший лицеист, ставший священником, отец Лозино-Лозинский, изящный, утонченный, более напоминавший изысканного аббата XVIII века, чем русского семинариста. В этой группе приехали на остров и воспитанники лицея — сенатский чиновник Кондратьев, талантливый пианист, ученик Сен-Санса барон Штромберг и другие.

Утонченность культурной традиции, заметная в большинстве лицеистов и порой становившаяся болезненным гротеском, в Кондратьеве сказывалась особенно ярко. Ей не противоречил ни один его поступок, ни одно его слово, ни один его жест.

Одетый в просмоленный овчинный кожух, в какой-то уродливой ушастой шапке, он все же оставался самим собой, изящным светским петербуржцем, именно петербуржцем, а не москвичом или парижанином. Еловая палка в его руке превращалась в тросточку фланера, а огромные тупоносые валенки, казалось, не изменили его походки, выработанной на натертом воском паркете.

Но снобом он не был. Столь же, сколь внешность, были утонченны и чутки струны его души.

Служба в Сенате была для Кондратьева клеткой, оковами. Он был рожден не чиновником, не юристом, а артистом, глубоким, чутко отзывавшимся на каждую коснувшуюся его эмоцию.

В Петербурге он учился сценическому искусству у Варламова, и знаменитый старик считал его одним из лучших учеников. Но для полной отдачи себя искусству перевоплощения лицеист должен был порвать со своей средой, ее традициями, а быть может, даже с семьей, с налаженной обеспеченной жизнью. На это у Кондратьева не было сил. На Соловках соотношение влечения к сцене и отталкивания от нее в душе Кондратьева изменилось. Призвание победило, и, несмотря на осуждения части своих друзей и однокашников, он вступил на «подмостки большевицкого театра».

Опошленные, к сожалению, определения творчества актера «горел», «светил», «внутренний огонь» как нельзя более подходили к сценическому служению, именно служению, Кондратьева. Быть может, яркости его эмоции своеобразно способствовал туберкулез, обостряющий их, как говорят врачи.

Кондратьев не только «горел» и «светил». В силу какого-то таинственного внутреннего процесса он, созвучно духу Святого острова, углублял каждую роль, доходя до каких-то смутных метафизических, даже мистических истоков. Знаменитая реплика Кречинского «Сорвалось!» звучала в его устах как удар Рока, а не крик досады неудачливого игрока. Этой глубинностью своего преображения он касался в душах зрителей тех сокровенных струн, о существовании которых они и сами не подозревали...

Внутренне он будил духовность. Внешне — осуществлял мечту в иллюзии...

В пошленькой переводной комедии «Три вора» он смог столь ярко героизировать банальную роль вора-джентльмена, крадущего из любви к искусству, ради острых переживаний, и вложить в нее столько неподдельной грации, что попавший на «большевицкий» спектакль старичок-дипломат времен чуть ли не канцлера князя Горчакова заплакал подлинными слезами:

— Фрак-то, фрак как он носит... Ведь этого больше не увидим... никогда... никогда...

А экспансивный воришка Фомка Рулек, выходя из зала, кричал, бешено жестикулируя:

— Вот это всамделишный уркаган! Фартовый в три доски! А мы — что?

«Фартовый» в этом случае означало безудержно широкий, могучий, сверхчеловек в его представлении.

В обеих оценках звучала тоска по недостижимом. Мечта. О прошлом или о будущем — не все ли равно!.. Актер Кондратьев подарил им иллюзию ее осуществления.

Предела своей глубинности он достиг в роли царя Феодора Иоанновича. Пьеса А. Толстого была сильно урезана, не по цензурным соображениям, а по недостатку актеров, но роль самого Феодора стала от этого еще выпуклее, ярче.

— А где его мощи лежать? — спросил меня после спектакля тамбовский мужик-повстанец.

— Чьи мощи? Какие?

— Вот этого царя, какого представляли...

— Так он же не святой. И мощей никаких от него нет.

— Коли не знаешь, скажи, что не знаешь, — вразумительно и веско ответил повстанец, — а врать зачем? Не могёт того быть, чтобы от него мощей не осталось!..

***

И Кондратьев, и я имели постоянный пропуск на выход из кремля. Это давало нам возможность уходить даже ночью на берег устланного серебристым туманом Святого озера, в суровую тишь подступавшей к нему дебри.

Так было и в ночь после постановки сцен из «Царя Феодора Иоанновича». Стояла средина мая. В укрытых лапами елей низинах и под раскиданными по дебре валунами еще лежали остатки колкого, покрытого льдистой корой снега. Солнце еще надолго пряталось за серой гладью согнавшего лед моря, но ночи уже бледнели. Зимнюю тьму сменял лиловатый сумрак. Сладко пахло липким березовым листом и талой сырой землей.

Кондратьев остановился возле высокого креста, одного из многих, поставленных монахами на просекавших лес дорогах. На них, вопреки православному канону, тело Христово было не нарисовано, а вырезано из дерева какими-то безымянными трудниками-художниками.

— Когда я готовил роль царя Феодора, я приходил сюда, — тихо, боясь нарушить покой лилового сумрака, проговорил Кондратьев. — Я искал понимания ее до конца, до глубины у Него... именно вот у Этого, только у Него, а не у другого...

— Почему у Этого? И только у Него?

— Всмотритесь в Него. Разве Он походит на тех, что вы видели под куполом Исакия, на полотнах Эрмитажа? Нет. Этот совсем иной. Смотрите, как выдаются скулы. И глаза маленькие, даже чуть-чуть косят, а борода редкая, ключ-

коватая... Ведь это мужичонка ледащий из какого-то завязшего в болотах села Терпигорева. Надеть бы Ему рваный зипунишко, закинуть за плечи котомку — и пошел бы Он по заметанным пургой, путаным дорогам...

— Куда?

— Куда? К Своему Царству. К тому, что «не от мира сего»...

— А где оно, это Царство?

— Не знаю! И Он не знает. Не знает, а идет. Искал его и в неведомой Опонькой земле, и в сумраке Киевских пещер, у вод валаамской купели, в строгой тишине полуночной пустыни, и здесь... Вот сюда дошел и поднялся на крест, гвоздями Себя с ним сбил воедино, как плотник доски сбивает. Накрепко. Навек. Чтобы не сорвало ни метелью, ни бурей...

— И так навек?

— Да. «Здесь» — навек. Сошествие с креста «там». Вот к Этому-то Христу, скуластому, косоглазому, в зипунишке, с котомкой и шли сюда 500 лет такие же, в зипунишках и с котомками...

— И мы, мы тоже сюда к Нему пришли?

— Нет. Мы не пришли, а нас пригнали. Против нашей воли метелью сюда занесло, и в этом непознанное нами откровение. В грозе и буре, со зверем, с конями растаптывающими, с блудницей, растлившей наш разум. Пригнали, чтобы показать: вот Он, о Котором вы позабыли...

— Знаете, кому вы созвучны сейчас?

— Кому?

— Нестерову, художнику, Михаилу Васильевичу. Мне пришлось посидеть с ним в Бутырках дней пять. Его скоро выпустили. Луначарский вызволил, да и делу была грош цена: продал пару картин в чье-то полпредство. Я как раз в это время получил приговор. Конечно, испугался. Соловки... Кровь... Холод, смерть... Все в камере мне сочувствовали, охали... Только Нестеров шепнул: «Не печальтесь! Это к лучшему. Там Христос близко», а вечером и потом еще две ночи мне рассказывал, как он приезжал сюда летом почти каждый год и здесь задумал и скомпоновал свое огромное полотно «Святая Русь». Помните его? На фоне вот этих по-нездешнему нежных березок на полянке стоит Христос, а к Нему из лесной чащи, из темной дебри, на светлую полянку идут калеки и сермяжники, девушки, старики, отроки — все...

— Помню. Он назвал ее также «Приидите ко Мне все труждающиеся и обременении, и Аз упокою вы». Только у него все же не то. Он от Писания Христа показал... И к Нему идут обремененные... А этот безымянный художник слил уже их с Христом, объединил в вере и любви. У этого не «придите», а уже приш-

ли и «Я в них». Вот этот-то безымянный художник и разъяснил мне Феодора. Феодор тоже уже «пришел».

— Поэтому и царевать он не умел?

— Да. Поэтому. Потому что «царство его не от мира сего»... К этому царству и шли сюда. К нему и нас пригнали. Ведь все мы — калеки и убогие... Вся Русь.

— И Ногтев, и Васьков?

— И они! Может быть, еще сильнее нас покалечены.

Слово Пригвожденного ко Кресту звучит одной и той же единственной правдой на всех человеческих языках. Оно звучит и на языке искусства. Актер и лицедей Кондратьев сказал его с «подмостков большевицкого театра». Достоин ли он имени праведника?

Глава 8. Сказы камней

В те уже далекие теперь двадцатые годы нигде, кроме Соловков, не смыкались так плотно последние образы древней, уходившей в прошлое Руси с теми новыми формами, которые несла в буре пришедшая советская власть.

В стенах, сложенных из обтертых доисторическими льдами камней по указу правителя царства Бориса Годунова на Полуночном море, в их твердыне, крепившей силу первопрестольной Москвы, красная Москва учредила свой застенок-каторгу.

Пылкая фантазия шпаны превратила могилу последнего запорожского кошевого Петра Кольнишевского в гробницу «святого Кудеяра», «патрона» разбойников, бандитов и прочих уголовников. Невдалеке от нее, на кремлевском дворе, стояла сложенная еще руками монахов пирамида неразорвавшихся бомб, выпущенных по монастырю английской эскадрой в 1855 году. По преданию, их фитили были потушены в воздухе ширококрылыми соловецкими чайками, взятыми за это под особую охрану монастыря. Традиция их охраны перешла и к чекистам: Эйхманс настрого запретил убивать спокойно прогуливавшихся по дворам птиц, и этот запрет выполнялся, хотя в белые ночи непрерывный крик чаек изводил заключенных, да и в пищу они годились бы с голодухи... Ели кое-что и похуже...

Комнаты корпусов-общежитий даже в ротных списках именовались не потюремному камерами, а по-монастырски — кельями. Оставшиеся на острове соловецкие монахи были зачислены инструкторами в каторжанские рыболовные артели, на кирпичный завод, на вязку плотов и считались на службе ОГПУ, получая зарплату и паек.

В таком же странном сочетании сплетались тонкие цветистые шелка прошлого с грубым, жестким суровьем новых веяний в душе военкома Соловецкого

особого полка Петра Сухова. Еще недавно был он бравым боевым вахмистром одного из строгих и блестящих кавалерийских полков, состоял на сверхсрочной службе, знал твердо и непоколебимо, верил сам и другим внедрял веру в то, что «русское знамя есть священная хоругвь»...

Но сменилось знамя. Помимо его, вахмистра Сухова, воли вместо «Спаси, Господи, люди Твоя...» запели «Вставай, проклятьем заклейменный», вместо царственных величавых орлов нацепили пятиконечные звезды. Лик Спасителя был сорван с древка пробитого бородинскими пулями штандарта, и на том же древке повисла красная тряпица, наскоро сметанная из гусарских штанов штабного писаря. На том же древке...

Значит, так надо, и вахмистр Сухов стал служить пришедшим на смену знаменам так же верно и честно, как служил ушедшему. Так же твердо и неуклонно.

Когда кончилась война с немцами, вахмистр Сухов пригнал на двор военного комиссариата небольшой табунчик отощавших, запаршивевших от чесотки коней, свалил там же в кучу не растасканные седла, поставил пустой денежный ящик и древко с красной тряпкой — все, что осталось от трехсотлетней истории славного боевого и блестящего полка.

— Получите под расписку, товарищ начальник, а мне позвольте назначение на предмет дальнейшей службы, потому славный ...ский гусарский его бывшего высочества полк приказал долго жить.

Получив назначение на новый фронт, Сухов так же, как и прежде, не раздумывая, но выполняя приказ, пошел против нового врага. Были немцы, стали буржуи, кадеты. Это не его, Сухова, дело, кто враг, а вверенный ему эскадрон, теперь уже полк, в полном порядке и задания выполнены.

То, что против него бились теперь не немцы, а русские, не наводило Сухова на размышления. Это был враг. О врагах и в старом, и в новом уставе ясно сказано.

Только раз в душу его заглянуло сомнение. Он сам об этом так рассказывал:

— Уже перед самым окончанием войны, когда Ростов у нас в тылу остался, настигли мы ихний эскадрон... Да какой там к чертям эскадрон! Одно название: десяти рядов не насчитаешь. Разомкнулись в лаву, настигаем. У них кони сморенные, как на стоячих идем. Я впереди, конечно. Жеребец у меня — огонь, под Воронежем с казенного завода взят, кровный. Достигаю отсталого. Заезжаю слева, как полагается, взял клинком замах. Гляжу: погон-то наш, золотой, просветы небесные, по ним гусарский зигзаг вьется... Один такой во всей кавалерии у нашего полка был. Сумно мне стало. Не рубаю, кричу: «Сдавайся, товарищ полковник, жизню оставим!» Он обернулся, вижу: наш эскадронный, какой меня к первым двум крестам представлял. Я ему, как другу, кричу: «Сдавайтесь,

товарищ, ваше благородие!» — сам не знаю, как это у меня получилось. Он оглянулся и, видно, тоже мою личность вспомнил. «Серый волк тебе товарищ, иуда-христопродавец, отцеубийца...» — кричит... Ну, тут я, конечно, рубанул. Не то чтобы обидно мне стало, а как иначе? Война! Ночи три он потом мне снился. Я даже пьян напился, хотя вообще на службе пить остерегаюсь и в строю сроду пьяным не был. Оно, так сказать, он, действительно, мне заместо отца на старой службе был. Добром его поминаю...

Кончилась война, направили Сухова в совпартшколу. Новый устав. Новая присяга: «Служу трудовому народу». Господь Бог в ней ни словом не упомянут. Значит, отменен окончательно, вычеркнут из списков, и Сухов Его тоже вычеркнул. Обучающий на занятиях разъяснил по всей науке, что никакого Бога нет и быть не может. Одна поповская выдумка. Значит, так. Правильно!

На Соловках комиссару полка приказ за приказом: усилить, углубить антирелигиозную работу, учитывая местонахождение полка в центре распространения религиозного дурмана.

Правильно. Здесь и монахи еще целы, а на каждом перекрестке дорог стоят трехметровые распятия. Чудит товарищ Эйхманс: везде кресты и даже самые малые крестики посняты, а здесь вон какие стоят. Только дощечки понабиты с надписью: «Религия — опиум для народа». И Спаситель на этом распятии необыкновенный, навроде статуи крашеной. Таких у нас не бывало. И личностью с нашим не схож, попроще, на Бога не походит, а вроде мужика...

Однако не его это, Сухова, дело. Островом Эйхманс заведует, а у Сухова — полк. Полк в полном порядке. Спаситель же на распятии деревянный и вреда от Него быть не может.

Раз в сумерки, возвращаясь с охоты на соловецких оленей, Сухов выпалил оба заряда в бледно маячившую грудь распятого Христа.

— Получи, товарищ!

Все шестнадцать картечин в мишени — подсчитал он. Кучно бьет двухстволочка!

Выпалил в Христа — и ничего не случилось! Так-то.

***

Замшелые, источенные ветрами камни соловецких башенных стен повествуют суровые были об адамантах и смарагдах истового русского благочестия, долгие годы пребывавших в их нерушимом молчании.

Камни много расскажут тому, что захочет прослушать их беззвучную, бессловесную повесть. Соловецкие камни — книга четырех веков.

Тот, кто сумеет прочесть эту книгу, узнает о многих трудниках, стекавшихся сюда «по воле» и «поневоле» со всех концов Святой Руси, чтобы омыть свои души в соловецкой купели. Эти люди были различны, как и камни в стенах. Иные из них грозными громадами давили друг друга. Так и теперь: камни в стенах словно борются между собой, столкнувшись в твердыне стен, борются так же, как боролись меж собой в ушедших веках созидавшие Русь исполины — камни стен ее рухнувшей ныне храмины. Не о них ли хранит в себе память этот нетленный синодик?

Могучий и грозный патриарх Никон был тоже в молодости иноком Анзерской пустыни. Не здесь ли окаменел его непреклонный, непреоборимый дух? И другая громада стародавней кондовой Руси прикатилась сюда. Ее имя и по сей день сохранила мрачная темница в кремлевской стене — Аввакумова щель.

А на полке соловецкого антирелигиозного музея теперь лежит иной, меньший по размерам, но столь же твердый камень. В давние времена он лежал в головах сбитого из неструганых и ничем не покрытых жердей ложа чернеца Филиппа Колычева, инока соловецкого, митрополита Московского царства, столь же грозного и непреклонного, как и сам царь его Иван. На этом камне в часы недолгого монашеского сна покоилась голова, не склонившая свой терновый мученический венец перед державной шапкой Мономаха. Слово святительское стало тогда против царского слова во имя Христовой правды. Стало и победило его в веках.

Не один такой камень лежит в соловецких стенах. Камни-люди громоздили эти валуны, камни-люди в них жили. Камнем был и соловецкий архимандрит, затворивший врата обители перед поправшим предания Древней Руси патриархом. Камнями были и его иноки-воины, десять лет продержавшиеся в затворе против стрельцов патриаршего воеводы Мещеринова. Много здесь побывало и других таких же камней, не оставивших нам своих имен.

Древни, но нетленны сказы соловецких камней, и нет им конца... В ряд с замшелыми камнями ушедших веков теперь становятся новые, времен сущих, текущих, столь же твердые и непоколебимые.

Одним из таких новых, но столь же несокрушимых, как прежние, камней соловецкой обители духа стал архиепископ — владыка Иларион.

С первого же дня его соловецкого жития имя владыки окуталось легендой силы и славы. Рассказывали, что в недалеком еще тогда прошлом он был послан Синодом на усмирение какого-то кавказского монастыря, охваченного безумием проповеди тоже тогда еще не забытого исступленного фанатика монаха Илиодора — русского Савонаролы. Монастырь отказался подчиниться Святейшему Синоду и затворился. Применение полицейских мер в этой чисто церковной распре было бы бестактностью. Монастырь не принял молодого еще тогда викария, заперев ворота, и

не стал слушать его увещаний. Это не остановило воина Христова. Силой своего мощного слова владыка собрал верующих, пошел крестным ходом на монастырь и взял его приступом, как крепости-монастыри в стародревние времена. В этой легенде было не зерно, а много правды. Позже мне приходилось слышать ее подтверждение из нескольких различных источников. Но в другой легенде о нем, возникшей к концу первого года его пребывания на Соловках, фактической правды совсем не было, но вместе с тем она крайне интересна и очень ярка для познания этой замечательной личности чисто русского иерарха. В этом плане в ней была своя правда, не фактическая, а внутренняя, как в апокрифе.

Рассказывали, что в Кемь приехал нунций Римского папы с целью использовать трагическое положение православного духовенства ради создания унии. Говорили, что ОГПУ было вынуждено, в силу дипломатических соображений, разрешить ему совещание с заточенными русскими иерархами, которые избрали якобы для переговоров владыку Илариона. Описывали с яркими, красочными подробностями встречу в Кеми двух князей двух Церквей, пышное облачение нунция и убогое рубище Илариона, повторяли речь посланника Римского престола и предложенные им тезисы условий соединения Церквей, обещания вывезти из Соловков все русское духовенство и гордый трагически-непреклонный ответ владыки, избравшего терновый венец и отвергнувшего предложенную ему тиару кардинала... Спорили даже о таких подробностях, как икона, держа которую, вышел к нунцию владыка Иларион.

Но ни капли фактической правды в этом апокрифе не было и не могло быть. Посольство папы и тем более разрешение на встречу его с заточенными со стороны ОГПУ были абсолютно невозможны, и все бывшие на Соловках иерархи решительно отрицали этот факт.

Тем не менее апокриф родился и жил на острове. Он даже перекинулся на материк: позже я слышал его в Москве.

Легенда возникла и жила потому, что люди *хотели* видеть реальное воплощение духовной силы Церкви, ее несокрушимой твердыни, и самым подходящим объектом для этого воплощения был владыка Иларион.

Огромная внутренняя сила его проявилась с первых же дней по прибытии на каторгу. Он не был старейшим из заточенных иерархов, но разом получил в их среде признание высокого, если не первенствующего авторитета. Среди верующих мирян эта авторитетность его достигла еще большей высоты: его называли хранителем и местоблюстителем патриаршего престола, возведенным в этот сан тайным завещанием патриарха Тихона, что тоже было апокрифом; говорили и о посулах ему со стороны ГПУ за переход и возглавление созданной этим органом «живой церкви» и о его решительном отказе.

Последнее вполне возможно. Подобные предложения не раз делались и высшим иерархам, и рядовому духовенству.

Силе, исходившей от всегда спокойного, молчаливого владыки Илариона, не могли противостоять и сами тюремщики: в разговоре с ним они никогда не позволяли себе непристойных шуток, столь распространенных на Соловках, где не только чекисты-охранники, но и большинство уголовников считали какой-то необходимостью то злобно, то с грубым добродушием поиздеваться над «опиумом».

Нередко охранники как бы невзначай называли его владыкой. Обычно — официальным термином «заключенный». Кличкой Опиум, попом или товарищем — никогда, никто.

Владыка Иларион всегда избирался в делегации к начальнику острова Эйхмансу, когда было нужно добиться чего-нибудь трудного, и всегда достигал цели. Именно ему удалось сконцентрировать духовенство в 6-й роте, получить для него некоторое ослабление режима, перевести большинство духовных всех чинов на хозяйственные работы, где они показали свою высокую честность. Он же отстоял волосы и бороды духовных лиц при поголовной стрижке во время сыпнотифозной эпидемии. В этой стрижке не было нужды: духовенство жило чисто. Остричь же стариков-священников значило бы подвергнуть их новым издевательствам и оскорблениям.

Устраивая других — и духовенство, и мирян — на более легкие работы, владыка Иларион не только не искал должности для себя, но не раз отказывался от предложений со стороны Эйхманса, видевшего и ценившего его большие организаторские способности. Он предпочитал быть простым рыбаком. Думается, что море было близко и родственно стихийности, непомерности натуры этого иерарха, русского князя Церкви, именно русского, прямого потомка епископов, архимандритов, игуменов, поучавших и наставлявших князей мира сего, властных в простоте своей и простых во власти, данной им от Бога.

***

Когда первое дыхание весны рушит ледяные покровы, Белое море страшно. Оторвавшись от матерого льда, торосы в пьяном веселье несутся к северу, сталкиваются и разбиваются с потрясающим грохотом, лезут друг на друга, громоздятся в горы и снова рассыпаются.

Редкий кормчий решится тогда вывести в море карбас — неуклюжий, но крепкий поморский баркас, разве лишь в случае крайней нужды. Но уж никто не отчалит от берега, когда с виду спокойное море покрыто серой пеленой шуги —

мелкого, плотно идущего льда. От шуги нет спасения! Крепко ухватит она баркас своими белесыми лапами и унесет туда, на полночь, откуда нет возврата.

В один из сумеречных, туманных апрельских дней на пристани вблизи бывшей Савватиевской пустыни, а теперь командировки для организованной из остатков соловецких монахов и каторжан рыболовной команды, в неурочный час стояла кучка людей. Были в ней и монахи, и чекисты охраны, и рыбаки из каторжан, в большинстве — духовенство. Все, не отрываясь, вглядывались вдаль. По морю, зловеще шурша, ползла шуга.

— Пропадут ведь душеньки их, пропадут, — говорил одетый в рваную шинель старый монах, указывая на еле заметную, мелькавшую в льдистой мгле точку, — от шуги не уйдешь...

— На все воля Божия...

— Откуда бы они?

— Кто ж их знает? Тамо быстринка проходит — море чистое, ну и вышли, несмышленые, а водой-то их прихватило и в шугу занесло... Шуга в себя приняла и напрочь не пускает. Такое бывало!

Начальник поста, чекист Конев, оторвал от глаз цейсовский бинокль.

— Четверо в лодке. Двое гребцов, двое в форме. Должно, сам Сухов.

— Больше некому. Он охотник смелый и на добычу завистливый, а сейчас белухи[19] идут. Они по сто пуд бывают. Каждому лестно такое чудище взять. Ну, рисканул!

Белухами на Русском Севере называют почти истребленную морскую корову — крупного белого тюленя.

— Так не вырваться им, говоришь? — спросил монаха чекист.

— Случая такого не бывало, чтобы из шуги на гребном карбасе выходили.

Большинство стоявших перекрестилось. Кое-кто прошептал молитву.

А там, вдали, мелькала черная точка, то скрываясь во льдах, то вновь показываясь на мгновение. Там шла отчаянная борьба человека со злобной, хитрой стихией. Стихия побеждала.

— Да, в этакой каше и от берега не отойдешь, куда уж там вырваться, — проговорил чекист, вытирая платком стекла бинокля. — Амба! Пропал Сухов! Пиши полкового военкома в расход!

— Ну, это еще как Бог даст, — прозвучал негромкий, но полный глубокой внутренней силы голос.

Все невольно обернулись к невысокому плотному рыбаку с седоватой окладистой бородой.

---

[19] В Белом море живет белуха (delphinapterus leucas) отряда китообразных, длиной до 5–6 м.

— Кто со мной во славу Божию на спасение душ человеческих? — так же тихо и уверенно продолжал рыбак, обводя глазами толпу и зорко вглядываясь в глаза каждого. — Ты, отец Спиридон, ты, отец Тихон, да вот этих соловецких двое... Так и ладно будет. Волоките карбас на море!

— Не позволю! — вдруг взорвался чекист. — Без охраны и разрешения начальства в море не выпущу!

— Начальство вон оно, в шуге, а от охраны мы не отказываемся. Садись в баркас, товарищ Конев!

Чекист как-то разом сжался, обмяк и молча отошел от берега.

— Готово?

— Баркас на воде, владыка!

— С Богом!

Владыка Иларион стал у рулевого правила, и лодка, медленно пробиваясь сквозь заторы, отошла от берега.

***

Спустились сумерки. Их сменила студеная, ветреная соловецкая ночь, но никто не ушел с пристани. Забегали в тепло, грелись и снова возвращались. Нечто единое и великое спаяло этих людей. Всех без различия, даже чекиста с биноклем. Шепотом говорили между собой, шепотом молились Богу. Верили и сомневались. Сомневались и верили.

— Никто как Бог!

— Без Его воли шуга не отпустит.

Сторожко вслушивались в ночные шорохи моря, буравили глазами нависшую над ним тьму. Еще шептали. Еще молились.

Но лишь тогда, когда солнце разогнало стену прибрежного тумана, увидели возвращавшуюся лодку и в ней не четырех, а девятерых человек.

И тогда все, кто был на пристани: монахи, каторжники, охранники — все без различия, крестясь, опустились на колени.

— Истинное чудо! Спас Господь!

— Спас Господь! — сказал и владыка Иларион, вытаскивая из карбаса окончательно обессилевшего Сухова.

***

Пасха в том году была поздняя, в мае, когда нежаркое северное солнце уже подолгу висело на сером, бледном небе. Весна наступила, и я, состоявший тогда по своей каторжной должности в распоряжении военкома особого Соловецкого

полка Сухова, однажды, когда тихо и сладостно пахуче распускались почки на худосочных соловецких березках, шел с ним мимо того распятия, в которое он выпустил оба заряда.

Капли весенних дождей и таявшего снега скоплялись в ранах-углублениях от картечи и стекали с них темными струйками. Грудь Распятого словно кровоточила.

Вдруг, неожиданно для меня, Сухов сдернул буденовку, остановился и торопливо, размашисто перекрестился.

— Ты смотри... чтоб никому ни слова... А то в карцере сгною! День-то какой сегодня, знаешь? Суббота... Страстная...

В наползавших белесых соловецких сумерках смутно бледнел лик распятого Христа, русского, сермяжного, в рабском виде и исходившего землю Свою и здесь, на ее полуночной окраине, расстрелянного поклонившимся Ему теперь убийцей...

Мне показалось, что свет неземной улыбки скользнул по бледному лику Христа.

— Спас Господь! — повторил я слова владыки Илариона, сказанные им на берегу. — Спас тогда и теперь!

Часть пятая.
НА ТРОПЕ К КИТЕЖУ

Глава 1. Самое страшное

Соловецкий парижанин Миша Егоров умел устраиваться во всех случаях жизни: размашисто, смачно жить до революции, неплохо прокатиться и прожуировать в Париже при революции. Не смутили его и Соловки.

Когда отстроили новый театральный зал с глубокой сценой, «карманами», софитами, костюмерной, бутафорской и прочими атрибутами настоящего профессионального театра, потребовался и директор. Им стал Миша. Директором он был дельным: замоскворецкая купеческая сметка помогала; работал для театра, не забывая себя. Прежде всего, он отыскал себе квартиру, удобную, уютную, скрытую от лишних глаз и довольно оригинальную. Это был небольшой подвал под сценой. Миша эффектно декорировал его сценическим барахлом, расставил театральную мебель, повесил картины, и получился апартамент, похожий не на соловецкую камеру-келью, а на номер элегантного отеля или студию модного художника.

Гости, конечно, повалили валом, но Миша пускал к себе с разбором, и скоро создалась небольшая группа «завсегдатаев подполья», получивших кличку «фантомов» в честь героя какого-то бульварного французского романа, пользо-

вавшегося успехом у соловецких любителей легкого чтения. Состав «фантомов» был пестрым: большинство — московская интеллигентская молодежь с налетом богемы, обычным в те годы, но были и ссыльные интеллигенты-чекисты, вовлеченные в русло интеллектуально-духовной жизни каторги.

В «подполье» говорили свободно. Присутствие ссыльных чекистов никого не смущало. Знали: эти не «стукнут»: хоть и чекисты, но «свои». Самой интересной фигурой среди них был тот, кого я назову здесь условно Отен.

Его настоящая фамилия была чисто польской, шляхетской, но, очевидно, род уже давно обрусел, и Отен был православным, по-польски не говорил. По профессии он был инженером-металлургом, кажется хорошо знавшим свое дело, хотя и молодым. На Соловках Отен заведовал чугунно-литейной мастерской — должность по соловецкой иерархии неважная, не-хлебная. Но среди чекистов-правленцев и охраны он пользовался большим авторитетом. Видимо, в прошлом он имел какие-то специальные заслуги, и чекистские связи его не порвались.

Из специфически польских черт Отен сохранил в себе лишь одну — типично польскую, не русскую, несмотря на его Православие, религиозность. Он верил экстатически вплоть до изуверства, тайно говел по несколько раз в году и фанатично выполнял посты и епитимьи, которые, вероятно, сам на себя накладывал. Русские так не молятся, не пролеживают ночи, раскинувшись крестом на холодном полу, не бичуют себя... не постятся по рациону один сухарь в день... У нас — земные поклоны и внутреннее устремление в себя, а он давил на себя извне, словно борясь, преодолевая и истязая какую-то иную, угнездившуюся в нем, но чуждую ему личность.

О его религиозности, конечно, знали в правлении, однако допускали и доверия не лишали. В некоторых случаях ЧК смотрит сквозь пальцы на подобные «чудачества», вернее, смотрела тогда. Теперь — вряд ли...

Музыка вообще и особенно религиозная музыка действовала на Отена потрясающе. Иногда он затаскивал в пустой клуб, в часы, когда тот бывал закрыт, ученика Сен-Санса барона Штромберга и заставлял его играть Глюка, Баха, Генделя. После этих сеансов при запертых дверях милейший и талантливый, но недалекий Штромберг разводил руками:

— Я боюсь, говорю вам без шуток, боюсь его! Это сумасшедший! Положительно сумасшедший... Он бесится под музыку. Это ужасно! Под музыку можно танцевать, петь, ну, пить вино... Но хлестать себя ремнем!.. Нет, он сумасшедший!

И вместе с тем, в личной, повседневной внешней жизни Отен был необычайно аккуратен, практичен и даже стяжателен. Не получая помощи с материка, он жил на Соловках «богато», всегда был хорошо одет, в чистом и даже щегольском

белье; его койка блистала редкостью Соловков — простынями, наволочками и покрышкой на подушке... Заманчивое содержимое Мишиных парижских чемоданов постепенно, вещь за вещью перешло к Отену; через него по высокой цене можно было достать водку и прочие радости из закрытого распределителя, сбыть утаенный золотой крестик, цепочку, колечко, коронку с зуба...

***

Однажды поздним зимним вечером — в подполье засиживались до двух-трех часов ночи — там шел жестокий спор. Тема его: преимущества русской духовной музыки над западной. Спорили с пеной у рта — по-русски; доказывая, пели; притащили оставшуюся от монахов маленькую фисгармонию, служившую, вероятно, регенту хора, и услужливый Штромберг, сам не принимавший участия в споре, играл на ней то Баха, то Бортнянского, то Чимарозу, то Венявского.

Отен был одним из главных спорщиков, пожалуй, даже самым глубоким и страстным из них. Неожиданно его позвали сверху. Он вышел и, вернувшись, шепнул Мише:

— Дай, пожалуйста, на минутку ключ от мастерской.

— Зачем тебе? — удивился тот.

— Инструмент один срочно нужен. Я с Головкиным пройду... Дай на минутку.

Головкин был театральным плотником, декоратором, личностью тоже небезынтересной, помнившим и любившим рассказывать о первых выступлениях молодого Шаляпина на Нижегородской ярмарке.

Отен исчез, но часа через полтора вернулся и снова страстно вступил в еще не оконченный спор.

В этот момент у спорщиков шел разбор заупокойной литургии Иоанна Дамаскина. Прекрасно знавший церковную службу Милованов возглашал своим могучим басом и за священника, и за диакона, и за хор. Штромберг тихо вторил на фисгармонии.

— Помилуй мя, Господи, научи мя оправданиям Твоим...

Мощные, торжественные, полные сверхчеловеческого трагизма звуки наполняли «подполье».

— Смотри, как Отена разбирает, — шепнул мне Глубоковский.

На того было страшно смотреть. Выпрямившись, напрягшись всем телом, как натянутая до предела струна, он вглядывался в пространство огромными, расширенными, остекленевшими глазами. Окружающее для него не существовало. Он видел иной мир, порожденный в его душе взлетами боговдохновенной мелодии...

***

На следующий день, под вечер, когда солнце уже скрылось за темно-синей стеной бора, мы вышли вдвоем с Глубоковским из стен кремля. Наползали лиловые сумерки с той ясной, мягкой прозрачностью, какая бывает лишь на Русском Севере в начале осени, когда уютно пахнет грибами и прелым листом.

Мы обогнули кремль по берегу зеркального Святого озера и вышли к кладбищу. Во время таких тихих вечерних прогулок мы оба любили заходить туда, бродить между замшелыми, изъеденными червем крестами, древними, русскими, с острым князьком наверху. Надписи не были интересными; на каждом кресте стояло только имя почившего инока, его духовный чин, дата кончины и слова: «Жития его было в обители столько-то лет».

— Смотри, — сказал я Глубоковскому, — как подолгу жили иноки! На каждом кресте 55, 60, 65 лет в обители, меньше 50 и нет...

— Спокойно жили, оттого и подолгу. Да и климат здоровый. А знаешь, как от цинги они лечились? Мне Иринарх рассказывал: еловый отвар пили и, взяв увесистое беремечко дров, раз по пятнадцать в день на колокольню поднимались... «Крови разгоняли», — говорит... И помогало.

Вот и конец монастырских могил. На краю — несколько новых, одни с крестами, другие без крестов. Дальше впереди никогда не закрывающийся, отверзлый зев «общей»: свалят мертвецов, слегка засыплют землей и известкой и снова добавляют на следующий день... В 16-ю роту всегда идет пополнение.

— Посмотрим, кто крайний в этой очереди, кого последнего похоронили с крестом? Вот он, на углу общей. Читай, есть надпись.

На простом кресте, сбитом из неоструганных еловых обрубков с уже окаменевшими смолистыми слезами, была прибита дощечка, а на ней выжжено раскаленным гвоздем:

Генерального штаба полковник Даллер.
† 17 ноября 1923 года
Я не первый воин, не последний,
Будет долго Родина больна.
Помяни за раннею обедней
Мила друга, верная жена.

— Ишь, из Блока эпитафию взяли... Думал ли он, Александр Александрович, что сюда эти строки попадут? А? Вряд ли... Только ведь это, пожалуй, попочетнее, чем в «Весах» и в «Аполлоне» напечатанным быть... Как думаешь? Кто писал, интересно?

— Свои, генштабисты, надо полагать.

— Вряд ли. Они дальше «земли пухом» не раскачались бы. А, впрочем, разный теперь народ пошел. Ты его знал?

— В Бутырках вместе в 78-й сидели. И приехали сюда вместе. Тебя еще не было тогда. Его Ногтев на приемке из карабина шлепнул. Я за ним третьим стоял. Вторым — Тельнов.

— Значит, теперь твоя очередь. Тельнова вчера израсходовали.

— Что ты врешь! Я с ним вчера вместе ужин брал!

— Ну, и брал... А после ужина его взяли. По предписанию Москвы. А в расход вывели вечером, когда мы у Мишки Гайдна слушали... Очень просто. Так ты говоришь, за Даллером тогда стоял? Страшно было?

— Было.

— Очень?

— Очень.

— А хочешь, я тебе самое страшное расскажу? Такое, что пострашнее самой шлепки? Идем. Сесть бы где-нибудь... На гроб разве?

По другую сторону разверстой «общей» белели еле-еле видные в спустившейся тьме неструганые доски «почетного» гроба, единственного на Соловках. Если друзья умершего хотели проводить его на кладбище, они могли брать этот гроб, доносить в нем покойника до могилы, сбрасывать туда, гроб же ставить на место. У каторжан этот церемониал назывался «прокатить на автобусе».

Мы подошли к гробу. Глубоковский внимательно осмотрел его, приподнял крышку, внутрь заглянул и даже пощелкал пальцем по доскам.

— Слажено крепко. Должно быть, мужичок какой-нибудь сбивал, плотник рязанский. Шпана бы наскоро, кое-как сколотила... А заметь, стиль-то как эволюционирует!

— Какой стиль? Чей? Гроба?

— Ясно, гроба, а не ленинского мавзолея! У того по-иному, а здесь смотри: не то гроб, не то ящик, носилки, в каких для мостовых щебень таскают. Ширина-то какая! Троих уложить можно. Разве такие гробы бывают? А почему? Видишь, держаки прибиты, как к носилкам. Сделай его узким — взяться будет нельзя. А тут все приспособлено. Темпы, братец, индустриализация!.. А крышка еще правильная, как у настоящего гроба, с поднятым возглавием. Традиция с прогрессом в гробу сплелась. Здорово!

— Знаешь, Глубоковский, что мне вспомнилось: в Риме, в Латеранском музее я собрание первых христианских гробниц смотрел. Там тоже: на гробу высечен Пастырь Добрый с овечкой на плечах, а вокруг крылатые амурчики с виноградными лозами пляшут и козлоногие сатиры за вакханками гоняются... Значит, и тогда тоже сплеталось... Закон такой.

— Закон-то закон, а разница большая. Тогда-то Он, Пастырь с овечкой, сатиров-козлов в людей переделывал, Дух Свой вечный в них, в козлов, вкладывал... Даже святые сатиры бывали, если Мережковскому верить. А уж Мессалина в Магдалину преображалась — это факт, вакханки — в сестер Беатрис, Урсул там разных, тоже факт... А теперь усыпальница вечная, русская наша домовина в мусорный ящик преобразилась! Такой же факт, а не реклама. Вот тебе и прогресс! Гуманизм, чорт его задери! Храм — агитпункт, гроб — помойка, могила — свалка, Евангелие — промфинплан... Приехали гуманисты на всех парах к социализму! Осчастливили человечество!

Он ткнул гроб ногой, заглянул в яму с белевшей на дне россыпью извести и потянул носом.

— Нет, здесь нехорошо. Попахивает из «общей». Душком грешным несет. Тельновским может быть... со вчерашнего ужина. Ну ее к Аллаху, эту la fosse commune...[20] Правда, забавная игра слов получается? По-русски выходит «коммунистическая»... Лучше уж на частновладельческую, буржуазную могилку сядем. Курить есть?

Ну, слушай. Вот когда я про Тельнова сказал, передернуло тебя? Передернуло, не ври. Я видел. А тебя мертвецом не удивишь. Только не думай, что я тебе «ужасы ЧК» или про «комариков» рассказывать буду. Это, брат, бутафория, картон крашеный. Щенячьи забавы, вроде Эдгара По, что про маятник с колодцем выдумал. Подумаешь, удивил! Этакого маятника теперь самый плюгавый чекистишко постыдится: прыгнет у него подследственный в колодец этот — и концы в воду! И вообще никаких «ужасов ЧК» в природе нет. Есть иной ужас — русский, всероссийский... Слушай. Помнишь, когда вчера Отена сверху позвали? Помнишь? Штромберг тогда Гайдновский хорал играл... А наверху Отену сказали: «Идем Тельнова шлепать». Он и собрался в момент. Прямо с Гайдна. Здорово? Только и это чушь, детство. Не в самой шлепке дело. Кстати, и производится здесь эта операция очень гуманно. Выведут из кремля, руки свяжут и идут по лесу... Двое с боков, один сзади... не больше... Никакой излишней торжественности, будни... Ведут, а связанный думает: «Еще, может быть, 100 метров пройду... не сейчас еще... ну, хоть 50 метров...» А его в затылок — цок! И готов голубчик... Ей-Богу, гуманно! Думаешь, шучу?

Но слушай. Не в том ужас, что Отен прямо от Гайдна шлепать пошел. И не в том, что идти его не тянули... добровольно шел... а в том... Знаешь, что он у Головкина взял? Клещи и плоскогубцы. Тельновский рот помнишь? Весь в золоте, в коронках... Так вот, для них — клещи, а Отен — в качестве спеца-оператора... он же и коммерческий директор треста... Понял? Дай курить.

[20] Общая могила (фр.)

Глубоковский оторвал кусок газеты, насыпал махорки, завернул, прорвал бумагу, снова завернул и после нескольких жадных затяжек зашептал:

— Теперь представь картину: лес, Тельнов еще тепленький лежит, может быть и дергается еще... глаза не закрыты... мутные... сам знаешь, какие бывают у свежих мертвецов... А они — кругом! Трое. Не больше. А то помалу золота на рыло выйдет. Один рот Тельнова растягивает, другой фонариком светит, по лицу желтенький кружочек бегает — рука дрожит, а Отен во рту оперирует, то клещами прихватит, то плоскогубцы примерит... Клещи срываются, а он матерится... Но и это еще не страшно. И это — картон. В лучшем случае — Гойя... Тоже щенок был бутафорский, несмышленыш...

А вот когда вернулся к нам Отен и стал «оправдания» слушать, а у самого в кармане зубы тельновские лежат... Вот это страшно! Ведь не ханжил он ни секунды, а действительно, понимаешь, действительно чувствовал Дамаскина и в высь духом своим возносился превыше всех нас! С зубами-то в кармане!..

Ведь такие, как он, за Петром-Пустынником ко гробу Христову шли, за Савонаролой — в огонь, за Зосимой — в пустыню полуночную, с Аввакумом — на дыбу, на колесо... и на колесе ирмосы пели...

А у него — зубы в кармане! Нет, брат, чтобы этот узел распутать, дюжину Достоевских надо! Одному не совладать. Федор, блаженный эпилептик, что видел? Нуль с хвостом. «Кедрилу-обжору»! Эко дело — Раскольникова написать! Что он, Раскольников?! Дерьмо с брусникой... Кисель с миндальным молочком. Раскроил мальчишка череп старушонке ради дурацкого эксперимента и раскис! Даже и деньги позабыл поискать... Грош цена такому преступлению. Это шалость, игра в грех, а не сам грех. Вот если бы он медленно, методично, с оглядкой все комоды у нее пересмотрел, нашел бы заветную укладку, просчитал бы деньги раз, другой, третий, на свет кредитки проверил... а оттуда прямо ко всенощной и молился бы от души, умилялся бы, духом бы, как Отен, возносился, из старухиных денег за рупь свечку бы поставил... Богородице... Вот когда бы я испугался.

— Ты, наверное, скоро с ума сойдешь, Глубоковский!

— Я? Ни в жисть, как Алешка Чекмаза говорит. Думаешь, я в глубине переживаю все это? Нет, брат. Это у меня репортаж. В книжечку памяти записываю, анекдотики царства советского антихристова собираю. Еще хочешь? Могу. У меня их хватит. С «изюминкой» рассказец, со сдобой, с перчиком. Слушай!

В Тамбове присудили к шлепке двух бандитов-мокрятников. Правильно присудили. У каждого человек по двадцать на душе. Тюрьма, конечно, переполнена: все камеры мужичьем набиты — повстанцев дочищали. И в смертной камере

два старика сидят. Убрать их некуда, да и стоит ли на одну-то ночь! Сунули и бандитов туда же. Вот и решили бандиты последнюю ночку отгулять, с жизнью проститься. Но как? Водки не достанешь. Одно осталось: припугнули стариков да и усладились их прелестями по тюремному способу... Ловко? Федор-то Михайлович эту «последнюю ночь приговоренного» из сердца своего каленными клещами рвал. А выходит-то, все его муки ни к чему. Дело совсем просто стало. Ошибся маленько провидец наш великий.

Думаешь, тут и делу конец? Нет, браток, погоди. Дальше хлеще будет. Когда пришли ночью за бандитами: «Выходи без вешшей которые...» — старики к ним: «Господа-товарищи, вам все одно не боле часу жисти осталось, а сапожки на вас новехонькие, ахвицерские, хромовые... Вы бы их нам пожаловали, за наше вам угождение... Время летнее, ножек не застудите...»

Не веришь? Оба они здесь теперь. Сами рассказывали. Могу их завтра с тобой познакомить. Посмотришь на них. Да кто же это? Знаешь, кто? Калиныч с Платоном Каратаевым! — зашептал он мне на ухо. — Вот кто!

Глубоковский захлебнулся прорвавшим его смехом. Он давился им, всхлипывал, кашлял, повторяя меж душившими его спазмами:

— За сапожки... Платоша Каратаев... за хромовые...

Отдышался, вытер слезы, закурил.

— Так вот, всякое на Руси бывало! И дыба, и колесо, и «утро казни стрелецкой», и «сарынь на кичку», а такого не бывало вовек... А вы с детскими «ужасами ЧК» носитесь... идиоты червивые... Маниловы!

Нет, ты представь только себе, Ширяев, я ли, ты ли, сунулись бы мы вот с такой темкой в любую редакцию в году этак 1870-м? Что было бы? Давай этот фарсик разыграем. Пришли бы в «Отечественные записки» к бородатому Щедрину... Он бы нас так «обличил»... и каких-нибудь пескарей, лещей или иную рыбицу с нас бы, с лжецов, выдумщиков, написал. Сунулись бы к Некрасову — приказал бы нас взашей выгнать: стонущего по острогам мужичка, дескать, порочим! К Каткову — вежливенько выставил бы и вразумительно Марк Аврелия или Сенеку по-латыни процитировал... К Тургеневу — побежал бы в подол Полины Виардо плакать... К Достоевскому — он бы в припадке три дня катался, а поверить... и он не поверил бы... даром, что бесов разглядел!

Вот мы и подошли к корню, к сердцевине моих анекдотиков... Их я в сердце своем записываю... В мозгу адским огнем выжигаю, как печать Каинову.

Помнишь, году, кажется, в двадцать втором сидели мы с тобой в «Домино»? Грузинов с нами денатурку еще пил... Помнишь? Вышел Клюев на эстраду и по-своему, по-козлиному, задьячковил:

Всепетая Матерь сбежала с иконы,
Чтоб вьюгой на Марсовом поле рыдать
И с Ольгою Псковской за желтые боны
Усатым мадьярам себя продавать...

Ты и не заметил этого тогда, проморгал, а меня по сердцу резануло... Да ведь это же «Бесов» продолжение! «Если Бога нет, то какой же я капитан?» Или старик Верховенский перед смертью: «Existe-t-elle, la Russie?» Вот тебе и «экзист»! Сбежала она, Русь-то, матушка, «всех скорбящих радости», прошлась по мукам да завертела подолом на Марсовом поле... Ольга-то Псковская с блоковской Катькой пляшет:

Больно ножки хороши...
Спать с собою положи!
Эх, эх, без креста...
Тра-та-та...

Слушай дальше. Тайну тебе открою. Только договоримся сначала: не лепи на меня этого своего дурацкого ярлыка! Брось эту аптекарскую привычку людей, как флакончики, по полочкам расставлять. Слово «мистик» забудь. Какой я мистик? Откуда я, богема московская, мог этого снадобья набраться? У Кизеветтера, что ли, у которого Русь-то и на Куликово поле без креста шла? У Таирова или у Филиппова в кофейной? У Морозихи в «заведении»? Выброс, вычеркни это слово.

Так вот. Это мне один монашек тут уж рассказал. Немудрящий такой, вроде юродивого. Нас, каторжников, чиновниками зовет и, хоть убей, понять, что мы — принудиловцы, не может. Рассказал он мне апокриф, вычитанный им в какой-то, очевидно, старообрядческой рукописи. Когда Сергий Радонежский созывал рати в Коломну к Дмитрию, послания он князьям писал: рязанским, ярославским, белозерским и прочим... Бесам же очень обидно стало (так и говорит монах — «обидно»), что Святая Русь утверждается и поганым погибель приходит. Всячески они святителю пакостили: то в чернила ему нагадят, так что он от смрада дышать не может, то под руку толкнут, то лампаду затушат...

Ничего с ними святитель поделать не может и молит Пречистую Заступницу: «Дай мне силу от проклятых бесов оборониться!» Услышала Матерь Божия и послала Своему молитвеннику мощь наложить заклятие на бесов, больших и малых, на Гога и Магога, сроком на полтысячи лет... На Руси им не быть, а в недрах земных замкнуться. На полтысячи! Теперь считай, по Евтушевскому, без мистики, считай: 1380-й плюс 500, ровно 1880. Кончилось заклятие! Вышли Гог

и Магог из каменного затвора! Понеслись бесы по Руси сначала чуть заметной поземкой, а потом разгулялись, разыгрались, засвистали, закрутили метелью... Русские бесы... свойские... Смеешься?

— Как же не смеяться-то? Чертячий национализм какой-то или национальное чертобесие! Спятил ты с ума, Глубоковский!.. Уже совсем свихнулся: амба тебе!

— А ты что думал? И бесы у нас свои! Нам немецкий чорт в плаще, со шпагой не годится. Ему делать на Руси нечего. И Демонам-Манфредам, кроме как институткам сниться, занятия нет. Наш бес в лапотках, по болотцу прыгает, с кочки на кочку, с кочки на кочку, а потом с купчихой чаи вприкуску распивать сядет, с мужичонкой лядащим, пьяненьким попляшет... Помнишь, у Мусоргского — трепака как отхватывает?! Чувствовал он беса... слышал его пьяненький, а Достоевский увидел воочию, ощупал, за хвост поймал. Не иносказательного, не символического, а взаправдишного, из тех, каких Христос в свиней загнал...

Тем-то и страшен наш бес, что его не только от человека, но порой и от ангела не отличить. Без плаща, без шпаги, простенький... Жила-была, примерно, Софья Перовская, папе-маме по утрам реверансики делала, косичка с бантиком... французские глаголы зубрила... Ан, глядь — таким же русачкам-простачкам топор, то есть бомбу, в руки всунула: «Иди, убей. Так надо во имя любви». Подвиг с грехом в одной ступке истолкла. И не сдрейфила, как Раскольников от первой старушки! Раз, два, три, пять... Поезда — под откос, Зимний дворец — к чорту, сотни трупов... кровища хлещет, а им хоть бы что, бесам-то русским в ангельских образах!.. Верили ведь! В «Жертву вечернюю» верили, как весь Синод, вместе взятый, не верит... Вот он, русский-то бес! Это тебе не шляпа с пером... Наш бес всюду пролезет. Мышкой, клопиком, вошкой малою... червяком — точит и точит — и в мозгу, и в сердце... И в постель, и в гроб с тобой ляжет... Слышишь? — схватил он меня за руку.

— Что еще?

— Вот он, стучит... Крышкой о гроб стучит! Отзывается...

Лицо Глубоковского, бледно-желтое в свете взошедшей луны, надвинулось на меня в упор.

— Слышишь? Слышишь? — хрипел он. — Вот еще, вот, вот...

Позади нас, там, где стоял общественный гроб — «автобус», действительно что-то размеренно и дробно стучало.

— В живого чорта не веришь, а оглянуться не оглянешься! Кишка тонка. Эх, ты... свободомыслящий... — Глубоковский засмеялся. — Ишь, побледнел как! Не робей, посмотрим. Наверное, розыгрыш какой-нибудь.

Мы встали и повернулись. Гроб, накрытый некрашеной крышкой, был виден ясно: смолистые доски поблескивали в лучах полной луны. Стука больше не было. Но вдруг крышка медленно приподнялась от изголовья, упала на сторону. Из гроба вынырнула фигура мужчины, он стоял на коленях, потом поднялся на ноги, воровато оглянулся по сторонам, подтянул пояс и быстро, почти бегом, зашагал к кремлю.

— Только и всего, — разочарованно протянул Глубоковский. — В чем же дело? Ага, вот еще, смотри...

Из гроба опять кто-то выглянул. На этот раз женщина. Поправила сбившийся платок, одернула юбку и побежала, но в противоположную сторону, к женбараку.

Глубоковский снова закатился смехом, упал на землю, корчился, давился, кашлял.

— Вот она — иллюстрация! Черти нашенские, в живом виде, полностью... бесенятки... блудливые... мелочь... молодежь! В гробу милуются! Ловко придумали! Сам Райва не угадает этакого. Днем — покойнички, вечером — любовнички! Это, брат, почище Щедринской купчихи будет... Бородатому обличителю такого не выдумать!

Вдруг он вскочил, разом оборвав смех. Округлившиеся, безумные глаза были устремлены к черневшей громаде кремля.

— Еще анекдотик царства советского! Здорово? В гробу... Это ли не сюжетец? Эдгар По от зависти в могиле своей перевернется. Все запомню, к сердцу суконной ниткой пришью, чтобы бередила, покоя не давала...

— Будет время, — загрохотал он во весь свой могучий, львиный голос, — придет оно, все это напишу! Изображу! Покажу русского беса во всей красе его! Кровь свою с дерьмом собачьим смешаю и этой гнусью писать буду... в назидание грядущему потомству, чорт бы его задрал!..

Покажу ему Китеж-град, революцией преображенный! Вот... Смотри! — погрозил он кулаком посеребренным лунным сияньем башням кремля. — Любуйся! Премудрая дева Феврония в гробу блудит, а князь Юрий благоверный зубки у покойничков дергает! Отслужили бесы в евангельском виде проскомидию свою дьявольскую... «Сия есть кровь моя нового завета»... Желябовы, Перовские, Засуличи, Каляевы, Дзержинские... Святые бесы... Адовы святители! Кровь свою несли «во оставление грехов»! Революцией Русь преображали! Вот она, святая, преображенная... Всё напишу я, бродяга, каторжник Глубоковский! Всё![21]

[21] Эту книгу Глубоковскому написать не пришлось: в половине тридцатых годов он умер, отравившись, в психиатрической больнице. — *Авт.*

Последние слова он выкрикнул, исступленно вырвал из себя и, словно выбросив что-то безмерно тяжкое, давившее, угнетавшее, разом обмяк и, обессиленный, сел на могилу.

— Устал я... ох, как устал... Курить... дай.

— Книжный ты человек, Глубоковский, и самому тебе от этого круто приходится, — сказал я, глядя на капли пота, блестевшие на его лбу.

— Что значит книжный? — вскинул он на меня глаза. — Точнее вырази.

— Не сумею, пожалуй, слова нужного у меня нет... Может быть, лучше сказать — зрительный, зрелищный... Таировский... Он, должно быть, тебя и испортил. У него, у Таирова, всё от внешнего, снаружи... зрелище. Посмотрит и сердцевину сам выдумает. Так и ты: увидал этих мужиков — хлоп! — Калинычи, Каратаевы! Всунул в них готовое, книжное нутро и анекдотик составил.

— А каким же чортом их, по-твоему, фаршировать?

— Никаким. У них свой фарш имеется, не калинычевский, не каратаевский, собственный, «созвучный эпохе», как полагается выражаться.

— Про то и анекдоты.

— А я тебе про то же другие анекдоты расскажу. Ты Ногтева не застал. При тебе уже Эйхманс был начальником лагеря. Так вот, этот Ногтев был форменная зверюга. Нет, хуже, у волка какая-то волчья этика имеется: он сучонок «в охоте» не трогает, родовой инстинкт выше голода ставит. Костромские мужики их на ночь в лесу привязывают — для щенят — и говорили: не было случая, чтобы волки их рвали. А у Ногтева и этого не было. Рожа дурацкая и вся дергается... Так вот... ты о схимнике, последнем русском молчальнике, что и теперь еще здесь в дебре живет, слыхал?

— Кто ж об этом феномене не знает? Ну?

— Говорят, — мне это Блоха рассказывал, уголовник, холуем у Ногтева был, теперь ушел по разгрузке, — сначала монахи скрывали схимника, но, конечно, дознались чекисты и доложили Ногтеву. Тот спьяну обрадовался: «Вот какая петрушка! Самонастоящий святой человек у меня на острову! Поеду к нему и водки с ним выпью! Антиресно!»

Блоха с ним за коновода. Набрали водки, колбасы. Приехали к землянке. Ногтев вышиб ногой дверь, вваливается, размахивает бутылкой: «Святой опиум! Разговеться пора! Отменили твоего Бога!» Наливает стакан и подает схимнику, а тот с колен поднялся и, ни слова не говоря, земной поклон Ногтеву... как покойнику... потом опять к аналою стал.

Блоха говорил, что тут Ногтев «с лица спал, перекорежило его». Представляешь? Говорит: выходит как с марафета задуренный, в двери повер-

нулся: «Душу мою, отец, помяни...» Ну, это, может быть, Блоха и приврал; факт тот, что Ногтев не только оставил схимника в землянке, но на паек его зачислил и служку к нему из монахов приставил. Вот и расшифровывай его по крови, им пролитой, по хамству, по роже, по «зрелищу»...

— А ты его видел?

— Ногтева? Как же иначе?

— Нет, какого там чорта Ногтева! Схимника этого видел?

— Раз. Случайно. Мельком.

— Расскажи.

— Я с Анзера, от переправы ночью пешком шел...

— Чего тебя туда носило?

— Тоже анекдот, — засмеялся я. — Воспитателем к проституткам меня ВПЧ туда назначило.

— Вот это Неверов додумался с большого ума! — захохотал Глубоковский. — Ну, и воспитал?

— Воспитать не воспитал, но кое-что получилось. Тоже анекдот, Борька, и того же порядка. На Анзере тогда помещались «мамки», родившие на Соловках. Они — в главном корпусе, а в амбаре каком-то или бывшем складе монашеском — «бляжий дух», как прозвала шпана, — проститутки, наловленные в Москве. Хватали их на улицах и на квартирах. Позвонят ночью, вскочит девчонка с постельки, как была, накинет только манто на рубашку, а ее тут — цоп! «Без вешшей»! Так и сюда приехали: сверху манто, а под ним ничего. Рубашки на обертку ног порвали, туфельки сносились. Обмундирование им, конечно, не дали, тогда никому не давали, ну, а на работу все-таки попробовали гнать. Только ничего не вышло: такой содом подняли, что сам Райва сбежал. Тогда их заперли в этот барак, без выхода, на половинный паек, как и нищих — «леопардов». Что в нем творилось — можешь себе представить! Воспитателей из чекистов назначили, но и те отказались: их такой обструкцией встречали, что сам чорт не выдержит. Вшами засыпали, дерьмом мазали... зачерпнет рукой из параши и по морде его... Бунтующие бабы — страшное дело! Да и истерички... Вот меня туда и ахнули. Даже паек «охранный» дали, с мясом.

— И тебя вшами осыпали?

— А мне что? Сыпняк у меня был, а от вшей все равно не убережешься. Только не обсыпали. Я вошел в барак один, без начальства. Господи Боже ты мой! Представляешь, Борис, комбинацию из нужника — такого, как в ночной чайной, в «Калоше», помнишь, был? — из женской бани и Дантова ада в стиле Дорэ? Добавь сюда еще поголовную истерику... Голые... страшные... холод... вонь!.. Сознаюсь —

струхнул. Одна выскочила вперед и давай выплясывать. Такого похабства, поверь, я и представить себе не мог. Однако уже оправился, взял себя в шенкеля и отпустил ей солдатскую прибаутку с тройным загибом. Потишели. Я о Москве заговорил, спросил, где жили... Знакомых общих нашли — Авдотью Семеновну, хромую, что в Ермаковке марафетом торговала... Совсем ладно стало. «Ты кто — чекист?» — спрашивают. Нет, говорю, артист. Ну, тут прямо дружба началась. Я им пару армянских анекдотов в лицах представил — фурор! Потом «Страсти-мордасти» прочел — впечатление слабое, а читаю я их хорошо, люблю эту вещь...

— Магдалининскую патронессу состроил... Балда! Литературой вздумал зацепить! Тоже... нашел...

— И, представь, зацепил! Только не тем концом. Я им по особому признаку подбирал. «Страсти-мордасти» — провал, а «Манон» — полный сбор с аншлагом! Да как! Ревмя ревели! Я сам обалдел от удивления.

— Мелодрама! «Гастошей его звали»... Помнишь в «На дне»?

— Вот и опять ты через книгу в душу лезешь! А как, по-твоему, любила она, Настька, этого своего выдуманного ею Гастошу? Любила, Борис, может быть, крепче Джульетты любила, только Горький не рассмотрел и тебе не показал.

— И долго ты с ними валандался?

— Всю осень. Месяца четыре. Прочел им «Марью Лусьеву», «Даму с камелиями» (тоже зацепила!), «Надежду Николаевну». Даже стенгазету выпустил — «Голос улицы». Сами писали... стихи больше... А знаешь, кто их еще за сердце взял? Не угадаешь. «Леди Макбет Мценского уезда». Вот! И все ей сочувствовали, ее жалели... Вот тебе и камуфлет! Я бы у них и остался. Служба хорошая. Занятия — два дня в неделю, пять дней свободен и паек. Да Борин перетянул. Прикрепил к театру с освобождением от работ. У него на «голубые» роли никого не было. Прощались — плакали. Перецеловался со всеми.

— Сифилиса не получил? Твое счастье. Ну, мы о проститутках разговорились, а про схимника забыли. Как полагается. Ты о нем расскажи.

— Вот раз осенью, возвращаясь ночью, я сбился с дороги. Пру по папоротникам каким-то — ничего не видать! Вплотную на землянку наскочил и только тогда свет в оконце заметил. Маленькое оконце, в одну шибку. Заглянул — лампада! Я догадался: схимник. Смотрю в окошечко, а взойти боюсь. Не стесняюсь, не деликатничаю, а боюсь, Борис, сам не знаю чего, а боюсь. Когда присмотрелся, вижу гроб на скамье, а перед лампадой — образ. Лика не разбираю, но знаю, что Спас! Другого не может быть. Вспыхнет лампадка — блеснет, прояснится, качнет ветер — снова тьма... А у самого схимника я сперва только бороду увидел. Длинная, седая... вверх и вниз ходит... Это он кланялся.

Так я к нему и не вошел и всю ночь до утра у окошка простоял. Присмотрелся, ясно стал различать и епитрахиль с черепами, и тулуп под нею. Стоял и смотрел. А он молился, поклоны клал. До утра.

Вот тебе и еще анекдотик: святой Соловецкий кремль грехом доверха набит. В Преображенском соборе — содом. И чей тут грех — Сам Господь Бог и на Страшном суде не разберет!.. А под боком, в земляной келье, схимник грех замаливает. Этот самый грех. Какой же иной? Может, его лампадка и сюда светит?

— Вот он, весь на виду, собор твой Преображенский, в содом, в свалку ныне преображенный, — махнул рукой Глубоковский в сторону кремля, над которым высилась громада собора, — весь во тьме! Гроб!

— И у схимника гроб стоял... И Лазарь ожил в гробу... Был ведь Лазарь?

— Может, и был. Да теперь его нет. И не будет. Взяться неоткуда. И гроб запакощен. Сам видел. Чушь все это, чушь.

— Нет, смотри, — вглядываюсь я в обезглавленный купол, — в окне правой звонницы что-то мерцает...

— Со двора отсвет, от фонарей.

— Снова нет! Звонница — справа, к стене. Есть там кто-то. Я лазил — там пусто, лестница еле держится... Может, отец Никодим забрался всенощную с кем-нибудь отслужить? Или панихиду? А?

Глава 2. Схимник умер

Спустя год я снова временно работал на вязке плотов. Инструктором по вязке был отец Петр, соловецкий инок. Лет уже более тридцати занимался он этим делом. Руки у него были как дубовые корневища: суковатые, корявые, перекореженные, с твердыми, как железо, ногтями, но крепости в пальцах необычайной: металлические номерные бляшки, потолще серебряного рубля, двумя пальцами в трубки скатывал, а собой был невелик и широк в плечах, человек как человек.

Раз в июле, в субботу, приходит он утром на вязку, потолковал с конвойным и к нам:

— Нынче вы, братики, одни работайте... без меня.

— Заболел, что ли, отец Петр?

— Нет, слава Богу, носит Господь, милует... Иное у нас дело нынче — погребение.

— А кто ж у вас, отец, помер?

— Схимник наш, молчальник, что в затворе пребывал. Он и преставился Господу, а когда — того не знаем. Сухарики-то ему раз в неделю носили. По субботам. Нынче утречком пришли, вступили в затвор, а он, голубчик, лежит перед

образом, лбом в землю уперся... Должно, земной поклон клал, и в тот самый раз Господь его душеньку принял. Сладостно это, утешно, и честь старцу великая, значит, венец райский заслужил... А стать тому должно еще в середу или во вторник. Сухарики-то старые непоедены, и масло в лампаде все выгорело...

— Потухла лампада? — вскрикнул я невольно.

— Нет, тлелась еще малым светом. Подлинно — неугасимая. В фитильке малая толика елея оставалась.

— И не перетухла?

— Не допустили того. Подлили из скляницы с великим бережением, она и снова засияла перед лицом Господа...

— Засмердел он, молчальник, али навроде мошшей вышел? — поинтересовался один из нашей артели крестьянин-повстанец.

— Нет, быдто духом не отдает... Да и откуда духу в нем взяться? Высох он, как лист, подвижник наш... По своей святой жизни. Утробу свою испостил, кости да кожица.

— Такое возможно... Конечно, и от праведной жизни тоже бывает, чтобы, значит, не гнить, бывает, это верно...

Хоронили в лесу, около земляной кельи, и нас никого туда не пустили, даже священников, но весть о смерти схимника взволновала многих в кремле. О ней говорили, ощупью искали в ней какого-то сокровенного смысла, тайного знамения.

В этих разговорах вспомнили о другой смерти, о мученической кончине несчастного императора. Вспомнил первым старый-престарый генерал Кострицин, с конца прошлого века уже живший на пенсии не то в Чухломе, не то в Судогде, откуда и взяли его на Соловки за неимением там иной золотопогонной контры.

— И нам не мешало бы панихидку по государю императору отслужить. День-то кончины, вот он, через недельку, — сказал он, думая, вероятно, и о своей близкой смерти, которая пришла к нему в этом же году.

— А чем это пахнет, если узнают, представляете? — возразил кто-то.

Пахло действительно скверно. Всего за месяц до этого на Соловки прибыла значительная по числу группа бывших царскосельских лицеистов. Они были сосланы на большие сроки именно за такую же панихиду по государю, отслуженную в Петрограде. Шесть или семь инициаторов поминовения были расстреляны.

Но желание помолиться о душе царственного мученика здесь, на острове мучеников, на Голгофе распятой России, было особенно сильно. Группа офицерской молодежи, строго соблюдая тайну, принялась за подготовку. Это было нелегко.

Прежде всего — найти священника. Их много, но большинство не рискнет, а за теми, кто нес свою службу Христову пламенно и страстно, за теми —

слежка. Предлагали и обсуждали кандидатуры, спорили, но все согласились на Утешительном попе — отце Никодиме: он-то не откажется. Провести его в лес тоже легче, он ведь не в 6-й роте живет, а с лесорубами. Пропуск добудем.

Уговаривать отца Никодима не пришлось. От своей службы он никогда не отказывался. Но о риске его все же предупредили.

— Это все как Господь пошлет... Не нашего ума дело, а вы вот что, голубки, расстарайтесь мне крест да епитрахиль достать подостойнее. Моя-то, сами знаете, какая, для такого случая она как бы и неуважительная. Постарайтесь, сынки! Ребята вы молодые, проворные... Да и кадило не забудьте... Панихида без каждения не годится.

Расстарались и достали из музея не раз испытанным способом, при помощи «короля взломщиков» Бедрута; потом тем же способом вернули все взятое на место, в витрину.

Место панихиды? Конечно, Голгофа — полянка за Святым озером, в лесной глуши, у каменного креста на крови.

Вместо свечей мичман Г-й принес с верфи просмоленной бечевы от морского каната.

В заговоре участвовало только 22 человека. Больше собрать боялись. Вышли из кремля все порознь и, сделав большие обходы, к закату собрались на Голгофе.

***

О ком говорят слова молитвы? Не о тех ли, кто беззвучно шепчет их?

Кто стоит здесь, в лесной храмине, у каменного креста на неостывшей крови?

Живущие или тени живших, ушедших в молчание, в тайну небытия? Без возврата в жизнь?

Это стояли не люди, а их воспоминания о самих себе, память о том, что оторвано с кровью и мясом. В памяти одно — свое, отдельное, личное, особое для каждого; другое — над ним стоящее, общее для всех, неизменное, сверхличное: Россия, Русь, великая, могучая, единая во множестве племен своих — ныне поверженная, кровоточащая, многострадальная.

— Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих!

Отец Никодим почти шепчет слова молитв, но каждое слово его звучит в ушах, в сердцах собравшихся на поминовение души первого среди сонма страстотерпцев распятой России, мучеников сущих и грядущих принять свой венец...

Отец Никодим, иерей в рубище и на одну лишь ночь вырванной из плена епитрахили, поет беззвучно святые русские песнопения, но все мы слышим разливы невидимого, неведомого хора, все мы вторим ему в своих душах.

— Николая, Алексея, Александры, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и всех, иже с ними живот свой за Тя, Христе, положивших...

— Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих...

Отец Никодим кадит к древнему каменному кресту, 300 лет простоявшему на могиле мучеников за русскую древнюю веру... их имен не знает никто.

— Имена же их Ты, Господи, веси!..

Ладан дали обступившие церковь-поляну полные тайны соловецкие ели. Они — стены храма. Горящее пламенем заката небо — его купол. Престол — могила мучеников.

Стены храма раздвигаются и уходят в безбрежье. Храм — вся Русь, святая, неистребимая, вечная! Здесь, на соловецкой лесной Голгофе, — алтарь этого храма.

— Идеже несть болезни и печали, но жизнь бесконечная!

Бесконечная? Повергающая, преодолевающая и побеждающая смерть?

В робко спускавшемся вечернем сумраке догорали огоньки самодельных свечей. Они гасли один за другим.

На потемневшем скорбном куполе неба ласково и смиренно засветилась первая звезда, неугасимая лампада пред вечным престолом Творца жизни.

В земляной келье призванного Богом схимника так же нежно и бледно теплился огонек его неугасимой лампады пред скорбным ликом Спаса. В его тихом сиянии 40 дней и 40 ночей, сменяясь непрерывной чередой, последние иноки умершей обители читали по старой, закапанной воском книге слова боговдохновенного поэта и царя, полные муки покаянные крики истомленного духа, ликующие напевы его веры в грядущее преображение... Они приходили туда и позже — творить литии.

22 соловецких каторжника в тот час молений о погибших были с тобой, Русь, в бесконечной жизни твоей... С тобой, мученик-царь, принявший вины и грехи наши на душу свою!

— Вечная память!

Глава 5. Звон Китежа

От Соловков «до Вениции-града... верст» было высечено юношей-царем на истертом, исколотом вьюжными норд-остами каменном столбе...

Он мечтал тогда о Венеции, о теплой голубизне южного моря, но до него не добрался. Ему — не пришлось.

Я смотрел на столб, читал надпись и не мечтал тогда о Венеции, о солнечном юге, не смел, не мог мечтать... и добрался. Мне — пришлось.

Белое море — Неаполитанский залив. Остров Соловки — остров Капри. Сумрачная, строгая скорбь соловецких елей — пышное ликование цветущих олеандров. Призрачные завесы радужного сполоха — жгучая радость палящего солнца Салерно, совсем близкого здесь к напоенной его вином стране.

Таков путь человека по земле, начертанный ему в Книге за семью печатями. С него не сойти. Он — жизнь.

***

Пагани — лучший из всех итальянских лагерей ИРО. Недавно еще, в последние годы войны, здесь был лазарет для американских солдат.

Аллеи олеандров, густая роща апельсинов, мандаринов, фиг и в ней — ряды белых коттеджей.

Пасха в этом третьем послевоенном году пришлась как раз в дни самого сильного цветения. Вся роща белая. Густой дурман торжествующей весны врывается в окна, в открытые двери тихой маленькой часовни, сливается там с запахом ладана и свечей, горящих у плащаницы...

Я сижу на ступеньках церковки. Домой нельзя — жена выгнала: у нее предпасхальная уборка нашего картонного закутка, паравана, поломойка и все такое прочее... Пальцы у меня красные, желтые, зеленые: это мы с сыном яйца красили... Русь — в роще маслин, фиг и лавров. С собой ее сюда принесли. В крови. В сердце.

Уже совсем темно. Кущи деревьев сливаются в сплошную завесу, на которой призрачно белеют пятна неразличимых в сумраке цветов. Эта завеса — кайма пышной мантии синего неба, блистающей переливами звездных алмазов.

Быть может, так же светились белым пламенем такие же южные пахучие цветы в ту ночь во тьме Гефсиманского сада? Быть может, их запах так же сливался с ароматом мирры и ладана, доносившимся из гробовой пещеры Иосифа Аримафейского?

Рядом со мной на ступеньки садится человек. Я не вижу его лица в темноте, не узнаю его даже при свете зажженной им спички.

— Не признаете?

— Сознаюсь — нет. Слабая у меня память на лица. В лагерях встречались?

— В лагерях... в этих, итальянских. И в других тоже... — снова бледный огонек спички у самого лица. На нем, на простом, обыкновенном, какие каждый день видишь, — улыбка.

— Опять не признали?

— Нет... извините.

— Оно и понятно. Это я сам как-то не додумался. Я-то на вас не один раз смотрел, а вы на меня, пожалуй, ни разу... Вы ведь в театре играли *там*.

Много разных профессий было у меня в ломаной, ухабистой советской жизни, и сцена не раз выручала.

— Где *там*?

— Что же, опять не догадываетесь? Да на Соловках на тех же. Я и в одной партии с вами тогда прибыл, а выехал оттуда пораньше. Вы еще оставались.

В ИРОвских лагерях, да и в самой стране Советов трудно встретить русского человека, не побывавшего в концлагере или тюрьме, но еще труднее встретить там, а здесь и подавно, своего «годка-первопризывника»... Мало таких осталось.

— Так вы еще Ногтева помните? — невольно оживляюсь я.

— А как же. И его, и Эйхманса, и Баринова, и Райву, что за бабниками гонялся. Всех. Тех лет не забудешь. Рассказывать о них не люблю, а вот с вами поговорить есть охота. Вспомнить совместное. Это дело другое.

— Вы где же работали там?

— Сначала в лесу, конечно, а потом в мехмастерской по специальности. Металлист я, слесарь из Луганска. С Ворошиловым на одном заводе служил, с ним же и на фронт пошел. В Первой конной я был всю войну. Будённый мне самолично орден нацеплял.

— И на Соловки угораздили с орденом?

— От вас даже слышать смешно. Мало ли с орденами там было? Не таких, как я, а повыше малость.

— Верно, что так. Но на что же вас зацепили?

— Это рассказ долгий. Но, коли время имеете, расскажу.

— До заутрени буду здесь сидеть. Часа два, а то и больше.

— Ну, и я тоже. Расскажу. Извольте.

Мой сосед извлек из кармана горсть окурков, вытряс из них табак, свернул флотскую. Помолчал, как полагается.

— Слесарь я. Металлист. На заводе в Луганске с тринадцати лет работал. А в революцию мне как раз девятнадцатый пошел... Однако сам я казачьих кровей...

— Как же вы из казаков в рабочее, пролетарское звание переключились? Такие переходы очень редки.

— Могу рассказать вам это дело. Случай мой действительно редкий в казачестве. Так это было. Когда еще первая революция пошла в 1905 году, батьку моего на усмирение мобилизовали, хотя он уже действительную отслужил и во

второй очереди состоял. Попал он в Харьков и там охрану какого-то банка нес. Наскочили на тот банк грабители, аккурат когда батька на посту стоял, ну и бомбой его разорвало... а нас у матери пятеро, я старшеньким был. Забрала она нас всех и к станичному атаману пошла — насчет вспомоществования просить. Я это как сейчас помню. Ревет мать ревмя, а атаман ей разъясняет: «Не выть ты должна, а гордиться. Муж твой на своем казачьем посту жизни решился, честь и славу казачью соблюдая. Насчет же вспомоществования — положение общее. Что полагается, получишь. Особого же по своему многосемейному положению не жди. Такого закона нет. Однако я тебе присоветую в тот банк, где он голову сложил, казну его охраняя, написать. Должны помочь по человечеству. Денег у них невпроворот. Писарь тебе напишет».

Конечно, написали. На другой месяц вызывают опять мать к атаману, и я с ней побежал.

Доходим до писаря. Самого-то атамана не было. Вынимает писарь из ящика десять рублей и подает матери. «Вот, — говорит, — тебе банк прислал на твою вдовью справу. Десять рублёв!.. Может, обувку какую ребятишкам укупишь... Вот она, жизни казачьей цена! Так нас, значит, господа банкиры определяют...»

Запало мне тогда в сердце это самое слово — банкиры. Кто они такие, я, конечно, по юности своей понимать не мог, а так мне разумелось, что через них папаня жизни решился и все наши бедствия пошли.

А бедствовать пришлось. Вы, конечно, нашей казачьей жизни не знаете, а только скажу вам, что в станице женщине одной, особливо многодетной, прожить невозможно. Ну, и пошло все прахом. Коня папаниного продали... потом волов обе пары... За конем очень я тогда тосковал. Вороной был, во лбу белая отметина. Вспомню его — и сейчас про банкиров вспоминаю...

Когда продавать нечего стало, мать сестренку постарше в город в услужение отдала, а меня писарь в Луганск отвез и на завод определил. «Учись, — говорит, — ремеслу. Слава наша казачья, а жизнь — собачья!»

Ну, на заводе, конечно, тоже салом не кормили. Однако жил до самой революции вполне обыкновенно. С революцией другая полоса пошла. Когда стали на собраниях программы там и партии объяснять, тут я и узнал, кто они есть — банкиры, ну и, конечно, практический вывод сделал: пошел в Красную армию.

— Тут и в Первую конную попали?

— Угадали. Аккурат сам Ворошилов меня и записывал. В ней и душу свою отвел, злобу свою на банкиров реализировал.

— Ну, это дело обычное. Нового мне не расскажете. А на Соловки-то как же вас все-таки загребли?

— Случай такой вышел. Из-за инвалидов. Я, как демобилизовался, обратно на свой завод поступил. Однако к станку не стал, а в фабзавком комитетчиком определился. Орденоносцев тогда мало было. Почет! Я, хотя и ранен два раза, но все в целости, а по городу инвалиды ходят безрукие, два безногих, один припадочный, контуженый. Голодные, конечно. Пенсион им какой советская власть давала? Поменьше банкировой десятки. Ну, и промышляла братва своими качествами: по учреждениям ходят, собирают... Надо правду сказать: безобразничали тоже много... Зайдут к директору какому, сейчас припадочный симулировать начинает, со стола у него все сшибет, орет, по полу катается... бывало, что и безногий костылями кого по кумполу хватит... Это все верно. Бывало. Жалобы на них пошли... Смотрим — не стало инвалидов. Определили их, что ли, куда? По городу, конечно, болтают. Забрали, говорят, Чеку и в расход вывели.

У меня же чекист приятелем был. В одном взводе совместно и кадетскую, и польскую ломали. Как-то мы с ним выпили, я и спрашиваю: «Куда инвалидов дели?» Он смеется: «Не слыхал, что ли? В расход главных бузотеров вывели, а прочих отвезли куда-то... в Сибирь, что ли, или в Караганду...» — «Как в расход? — говорю. — Врешь ты, сукин сын, такого быть не может!» — «Дурак ты, — отвечает, — что с ними делать? Они люди все равно никудышные, а безобразия от них много...» — «Так ведь вместях же мы с ними против банкиров и офицеров боролись!» — «Ну, что ж из того? Боролись. А теперь иная линия. Порядочных, и тех, когда надо, шлепаем, а с такими-то канителиться не будем!»

Я его в морду — раз! «Выходит, — кричу, — мы от банкиров хуже! Обманная она, советская власть!»

Конечно, выпимши я был, осмелел. Да еще его раза два хватил... Ну, ясно-понятно, хотя и с орденом, и с Будённым лично ручкался, а на Соловки отправили. Там-то у меня и поворот мыслей произошел.

— Вот это мне поинтересней будет, а инвалидных историй, вроде вашей, я и сам десяток знаю. Коли есть желание, про поворот ваш расскажите.

— Утешительного попа знавали?

— Как не знать, и сказки его слушал.

— Так вот, от этих сказок и окончательный поворот произошел, а начало ему даже при вашем личном участии получилось.

— Причем же я мог быть? Я и не знал вас тогда.

— Мало ли что не знали. А помните, пьеса у вас в театре шла... Название ее позабыл. Дело там было на Кавказе, когда еще Шамиля замиряли, при дедах наших. Полковник один, боевой такой, заслуженный, в летах, конечно, на молоденькой барышне оженился. А барышня-то до того с князьком одним любовь крутила...

— Ага! «Старый закал» пьеса называлась?

— В точности! «Закал». И как это я такое индустриальное слово забыл? Борин полковника играл, а вы — князька, полюбовника ейнова. Черкесочка у вас белая была и кубаночка белого же курпея...

— Ишь, как вы все помните! — засмеялся я. — Вот не думал, когда играл...

— Оно так и бывает. Не думаешь, а выходит. Все обдумаешь — ничего не получается. Так вот. Узнал этот полковник, что промеж них опять любовь зачинается и не ее стал бить, как это полагалось бы по человечеству, а сам нарочно под чеченские пули пошел, чтобы ее, значит, ослобонить от греха и жизню ей с любовником устроить...

— Какое же это отношение к революции имеет?

— Обождите. Придем и к революции. От того представления, от конца его, когда полковник этот, уже раненый, другу своему все объяснял, думка у меня в голове началась про папаню моего и обратно же про банкиров.

— Ну, это что-то мне непонятно...

— Говорю, обождите. Все ясно-понятно будет. Я себе так в голове планировал: хорошо, батька мой на посту жизни решился, сполняя свою казачью службу. Понятно. А к чему этот пост, служба эта? Стал бы он за эти десять рублёв служить? Ни в жисть! Своего тогда нам вот как хватало. Чего душа хочет! Нет, он знамени своему, присяге, душе своей служил. Опять же инвалиды наши... они за что жизни решились? А сам я за что в Конную пошел? От одной лишь злобы? Конечно, злобы этой много во мне скипелось за банкировы десять рублёв, за маманины слезы. Это верно. Злобу эту я в крови топил. Тоже верно. А только и я не одной злобой в бой шел. Вот как этот полковник... Он ведь на жену-то не озлобился, а ее счастья ради подвиг свой смертный совершил. Тут и есть центр удара...

Мой собеседник помолчал, оглянулся на двери церкви, откуда еле струился свет немногих бедных лампад, и продолжал...

— Есть еще время. Досказать вам успею. Так вот... засела во мне эта думка. Когда меня осудили, я так себе располагал: ладно, оно, может, и лишнего дали мне, а в корне правильно. Советскую власть я ругал? Ругал. Чекиста побил? Побил. Права советская власть. А вот когда я над полковником этим раздумался, все по-другому стало. Выходит, я прав, что его по морде саданул. Не я — контра, а он — сволочь! По рассуждению одно, а по душе совсем наоборот. Так и ходил я промеж двух дорог, а по какой идти — не знаю!

— Все-таки я не понимаю вас, причем же тут этот полковник кавказский?

— Как же вы понять этого не можете? Очень даже просто. Ведь по закону, что он должен был произвести? Ну, там, побить жену или в чулан ее запереть...

не знаю, как у интеллигенции в таком случае полагается, а князька — откомандировать или, того вернее, его под верную пулю послать, да и дело с концом. Шито-крыто. А он сам на смерть пошел. Для спокоя души.

А в революции иное: тебя пнули — ты руби, тебя рубанули — стреляй! Изничтожай до корня! За одного — десять к стенке! Так и я за папанину обиду, за эти самые десять рублёв сколько порубал? А пришли тогда банкиры тысячу, может, совсем мне другой маршрут вышел? Даже обязательно другой. Значит, вся-то революция за десять рублёв произошла? За дерьмо это? Да знаете, сколько у меня их на фронте было? Полная кобура! Сам навроде банкира...

Вот тут-то, в рассуждении этом, я и с отцом Никодимом познакомился. Дело это так было. Попал я на командировку, в самую что ни на есть дебрю нас загнали: один барак, лесорубов человек двадцать, туда же и отца Никодима определили. Вот запрут нас вечером, он и начнет свои сказки рассказывать, а я, надо вам сказать, от малых лет всякое чтение очень уважал, какая книжка в руки попадет, обязательно всю прочту. Очень нам было всем занимательно отца Никодима слушать.

Раз начал он нам про Веру, Надежду, Любовь и Софию, мать их, рассказывать, как они, царя не побоявшись, на своей правде стояли и лютую казнь за нее приняли; вот тут-то и вышел главный поворот. Стой, думаю, да ведь это же опять полковник тот и батька мой на посту, да и я сам, когда от сердца чекиста по роже хватил... Вот ведь оно самое, только в другом обличье! А отец Никодим дальше рассказывает, как они, значит, в муках на небо смотрели и ангелов там видели. «Извиняюсь, — говорю, — батюшка, ведь это им все представлялось так, конечно, как бы от мечтания...» — «Почему же ты так рассуждаешь, — отвечает он мне, — что от мечтания? Видели — значит было!» — «Да откуда же эти ангелы возьмутся? Почему же мы их не видим?» — «А очень даже просто это, — отвечает мне батюшка, — ты в яме сидишь, что видишь? Одним счетом — ничего! А поднялся из ямки — видней тебе стало! А на гору взошел — еще дальше видишь! На вершину встал — и все пути тебе оттуда открываются. И всех человеков, скотов и прочих творений Божиих в полном виде там себе представляешь... Сверху-то, значит. Вот она, гора-то эта, и есть жизнь человеческая. Трудна она, это, конечно, верно, а на то и дан нам подвиг. У каждого же человека своя гора. Одна — повыше, другая — пониже, а превыше всех — гора Голгофа».

И зачал он нам тут опять про разбойника рассказывать, который со Христом на Голгофу взошел и там через смертную муку спасение принял. Вот на этом самом месте окончательный поворот и получился. Вижу: разбойник тот самый я есть. Должен я на ту гору взойтить. Так мне от рождения назначено. Поняли теперь, как

поворот произошел? Однако будто и к заутрене близко. Надо еще в барак сбегать, разговенье свое принести. А нашу-то заутреню соловецкую помните?

Еще бы я не вспомнил ее, эту единственную разрешенную на Соловках заутреню в ветхой кладбищенской церкви. Помню и то, чего не знает мой случайный собеседник.

Я работал тогда уже не на плотах, а в театре, издательстве и музее. По этой последней работе и попал в самый клубок подготовки. Владыка Иларион добился от Эйхманса разрешения на службу для всех заключенных, а не только для церковников. Уговорил начальника лагеря дать на эту ночь древние хоругви, кресты и чаши из музея, но об облачениях забыл. Идти и просить второй раз было уже невозможно.

Но мы не пали духом. В музей был срочно вызван знаменитый взломщик, наш друг Володя Бедрут. Неистощимый в своих словесных фельетонах Глубоковский отвлекал ими директора музея Ваську Иванова в дальней комнате, а в это время Бедрут оперировал с отмычками, добывая из сундуков и витрин древние драгоценные облачения, среди них — епитрахиль митрополита Филарета (Колычева)[22]. Утром все было тем же порядком возвращено на место.

Эта заутреня неповторима. Десятки епископов возглавляли крестный ход. Невиданными цветами святой ночи горели древние светильники, и в их сиянии блистали стяги с ликом Спасителя и Пречистой Его Матери.

Благовеста не было: последний колокол, уцелевший от разорения монастыря в 1921 году, был снят в 1923-м. Но задолго до полуночи вдоль сложенной из непомерных валунов кремлевской стены, мимо суровых заснеженных башен, потянулись к ветхой кладбищенской церкви нескончаемые вереницы серых теней. Попасть в самую церковь удалось немногим. Она не смогла вместить даже духовенство. Ведь его томилось тогда в заключении свыше 500 человек. Все кладбище было покрыто людьми, и часть молящихся стояла уже в соснах, почти вплотную к подступившему бору.

Тишина. Истомленные души жаждут блаженного покоя молитвы. Уши напряженно ловят доносящиеся из открытых врат церкви звуки священных песнопений, а по темному небу, радужно переливаясь всеми цветами, бродят столбы сполохов — северного сияния. Вот сомкнулись они в сплошную завесу, засветились огнистой лазурью и всплыли к зениту, ниспадая оттуда, как дивные ризы.

Грозным велением облеченного неземной силой иерарха, могучего, повелевающего стихиями теурга-иерофанта, прогремело заклятие-возглас владыки Илариона: «Да воскреснет Бог и да расточатся врази Его!»

---

[22] Автор имеет в виду святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея России.

С ветвей ближних сосен упали хлопья снега, а на вершине звонницы вспыхнул ярким сиянием водруженный там нами в этот день символ страдания и Воскресения — святой Животворящий Крест.

Из широко распахнутых врат ветхой церкви, сверкая многоцветными огнями, выступил небывалый крестный ход. 17 епископов в облачениях, окруженных светильниками и факелами, более 200 иереев и столько же монахов, а далее — нескончаемые волны тех, чьи сердца и помыслы неслись к Христу Спасителю в эту дивную, незабываемую ночь.

Торжественно выплыли из дверей храма блистающие хоругви, сотворенные еще мастерами Великого Новгорода, загорелись пышным многоцветием факелы-светильники — подарок венецейского дожа далекому монастырю — хозяину Гиперборейских морей, зацвели освобожденные из плена священные ризы и пелены, вышитые тонкими пальцами московских великих княжон.

— Христос воскресе!

Немногие услыхали прозвучавшие в церкви слова Благой вести, но все почувствовали их сердцами, и гулкой волной пронеслось по снежному безмолвию:

— Воистину воскресе!

— Воистину воскресе! — прозвучало под торжественным огнистым куполом увенчанного сполохом неба.

— Воистину воскресе! — отдалось в снежной тиши векового бора, перенеслось за нерушимые кремлевские стены, к тем, кто не смог выйти из них в эту святую ночь, к тем, кто, обессиленный страданием и болезнью, простерт на больничной койке, кто томится в смрадном подземелье Аввакумовой щели — историческом соловецком карцере.

Крестным знамением осенили себя обреченные смерти в глухой тьме изолятора. Распухшие, побелевшие губы цинготных, кровоточа, прошептали слова обетованной вечной жизни...

С победным ликующим пением о попранной, побежденной смерти шли те, кому она грозила ежечасно, ежеминутно...

Пели все... Ликующий хор «сущих во гробех» славил и утверждал свое грядущее неизбежное, непреодолимое силами зла воскресение...

И рушились стены тюрьмы, воздвигнутой обагренными кровью руками. Кровь, пролитая во имя любви, дарует жизнь вечную и радостную. Пусть тело томится в плену — дух свободен и вечен. Нет в мире силы, властной к угашению Его! Ничтожны и бессильны вы, держащие нас в оковах! Духа не закуете, и воскреснет он в вечной жизни добра и света!

— Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ... — пели все: и старый, еле передвигающий ноги генерал, и гигант-белорус, и те, кто забыл

слова молитвы, и те, кто, быть может, поносил их... Великой силой вечной, неугасимой истины звучали они в эту ночь. — И сущим во гробех живот даровав!

Радость надежды вливалась в их истомленные сердца. Не вечны, а временны страдания и плен. Бесконечна жизнь светлого Духа Христова. Умрем мы, но возродимся! Восстанет из пепла и великий монастырь — оплот земли Русской. Воскреснет Русь, распятая за грехи мира, униженная и поруганная. Страданием очистится она, безмерная и в своем падении, очистится и воссияет светом Божией правды. И недаром, не по воле случая стеклись сюда гонимые, обездоленные, вычеркнутые из жизни со всех концов великой страны.

Не сюда ли, в святой ковчег русской души, веками нес русский народ свою скорбь и надежду? Не руками ли приходивших по обету в далекий северный монастырь «отработать свой грех», в прославление святых Зосимы и Савватия, воздвигнуты эти вековечные стены? Не сюда ли в поисках мира и покоя устремлялись, познав тщету мира, мятежные новогородские ушкуйники?..

«Приидите ко Мне все труждающиеся и обременении, и Аз упокою вы...»

Они пришли и слились в едином устремлении в эту святую ночь, слились в братском поцелуе. Рухнули стены, разделявшие в прошлом петербургского сановника и калужского мужика, князя-рюриковича и Ивана Безродного: в перетлевшем пепле человеческой суетности, лжи и слепоты вспыхнули искры вечного и пресветлого.

— Христос воскресе!

Эта заутреня была единственной, отслуженной на соловецкой каторге. Позже говорили, что ее разрешение было вызвано желанием ОГПУ блеснуть перед Западом «гуманностью и веротерпимостью».

Ее я не забуду никогда.

***

— Шел я тогда в крестном ходу этом, — шепотом, как великую тайну, рассказывает мне собеседник, — и чую, что вот на гору свою я взбираюсь, будто сила какая меня несет. А рядом со мной Тельнов. Помните его? В одной роте мы с ним на Соловках были. Часто мы с ним балакали о прежних наших жизнях; он у кадетов в Корниловском полку служил, а я, как вам известно, буденовец. Частенько наши части тогда в бою сталкивались... Может, и он по мне бил; может, и я по нем... Возможно, и я зубы ему прикладом вышиб... Разве упомнишь? Кровищи на нем не менее, как на мне, было. Сам рассказывал, как наших армейцев в нужнике стрелял...

Спорились мы с ним раз, даже до злобы доходило: зачнет он про победы свои рассказывать, обзывает нас краснопузыми, а то и того хуже, мне, конечно, обидно станет. Лаялись, а тут идем рядом. Он оборотился ко мне и говорит: «Христос воскресе!» — «Воистину», — отвечаю. Радостно мне стало. Смотрю на него и вижу: он тоже на свою горку лезет.

— Шлепнули его, Тельнова, при вас еще? Помните?

— Я аккурат в тот год на волю вышел, но это дело знаю. Выходит, он там еще до своей вершинки дошел, а мне далее идти приходится.

— И идете?

— Сказать точно не могу. Иной раз думаю: иду, а другой раз под низ качусь — по-разному выходит.

— И сюда из России на горку шли?

— Опять же вам на то не отвечу. Так это получилось. Генерал Книга, наш же действительный буденовец, зачал при открытии войны старых конников собирать в свою особую дивизию. Конечно, и меня к нему направили. Служу. За Донцом стоим. В это самое время наши Киев сдали. Бегут оттелева наши вояки и в одиночку, и бандочками собираются. Нам перенимать их приказано. Хорошо. Приказано — берем. Однако не злобствуем, как особисты, а по-хорошему, балакаем с ими. Все в один голос твердят: неправильная эта война есть. Супротив самих себя, своего народа нас гонят, и зря мы кровушку свою проливаем.

Конечно, и промеж нас разговор пошел. У каждого своя думка. Каждый свое повидал, кто в концлагере сам побывал или родичей имеет, кто в тридцать третьем году голоду хватил... Вот и сговорились мы пятеро подбиться так, чтобы всем разом в разведку идти, начальство, какое будет, ликвидировать и... айда! Взводным у нас тоже старый буденовец был, только не нашего полка. Его очень опасались, по прежнему времени таких шкурами звали. Спуску ни в чем не давал и с политруком дружбу вел. Партиец. Ну, пришлось, как мечтали. Вызвал он раз охотников в ночную облаву. Мы вызвались. Поседали на коней. Годок мой, еще по кадетской войне, веревку себе за пазуху сует. «Я, — говорит мне, — втихую его арканом по калмыцкому способу спешу, а вы тогда помогните... чтобы без шуму...»

Заехали в лес. В балочку небольшую спустились. Тут он взводного и заарканил. Очень ловко вышло, прямо наземь с седла, и сам навалился. Мы с коней и к нему... перекинули аркан на шею, затягивать стали, только тянем недружно... боязно все же... свой. А он хрипит через силу: «Дайте слово сказать...»

Приспустили концы. Пусть скажет. Сел взводный на землю и нас матом: «Малахольные вы, растак вашу мать, я же все думки ваши знал, потому и вызывать стал... Тут не более чем за километр речка, туда я вас и вел. Думаю, перейдем вброд, там и разъясню, и через фронт вас поведу, куда и сам направление имею... А вы вот что надумали, мать вашу...»

Посумневались мы, но все же порешили меж собой его не кончать, а, связавши, с собою везти. Далее видно будет...

Перешли речку. Он нам указывает левей брать: направо застава особистская, с пулеметом. Выслали дозор — вышло правильно. Тогда мы смелее с ним пошли. Так и оказалось, что правильное его слово: провел нас, как по своему огороду.

Вот они, дела-то какие бывают: решаешь человека жизни, а он выходит твой родной есть брат...

— У немцев к фон Панневицу в корпус попали?

— Нет, извиняюсь, я за Россию шел... Тоже горка она, Россия. Это понимать надо. Под немецкую команду я не становился. Да и они к тому казаков не неволили. Спервоначала я в полевой охранный отряд вступил. Под начал есаула Сотникова. Знали, может, или слыхали?

— Нет, не приходилось.

— Партизан мы ликвидировали. Правильное дело, потому в эту войну партизаны фальшивые были. Крестьянству и прочим жителям от них, кроме вреда и гибели, ничего не получалось. Тут и взводного нашего убили... А когда немцы с Днепра отходили, влились мы в 3-й полк казачьих формирований полковника Доманова и с ним в Италию пришли. Краснов — генерал очень известный был, от него никакая измена быть не могла — нас под свою команду принял. Так оно и вышло...

— Дальше все знаю. Из Лиенца как выскочили?

— Не был там. 23 апреля меня с подводой в Венецию из Толмеццо командировали, покупали там что-то. Там и остались мы с сотником Хмызом при капитуляции. Видно, другая Голгофа-горка мне назначена... А Краснов-генерал и прочие в Лиенце на ихнюю горку вступили. Каждому — свой путь... И вам — тоже. Вот и батюшка идет. Значит — пока! Побегу, принесу свою паску...

Я тоже пошел за своим куличом. Мы возвратились в церковь снова вместе. Он положил на лавку рядом с выпеченным моей женой настоящим российским, даже с барашком наверху, куличом завернутый в бумажку кусок пайкового хлеба и выданное нам ИРО некрашеное яичко.

— Паска у меня слабоватая по моему холостому положению. Семья ведь там осталась... Ну, да простит Господь, я так полагаю...

Прозвучал первый удар нашего маленького железного, неизвестно откуда и кем добытого нерусского колокола.

Ответили ли ему била земляной церкви Преображения, воздвигнутой святителями соловецкими? Отозвались ли дивным звоном своим Китежские колокола сокровенных озерных глубин?

Ответили. Мой случайный собеседник в ту ночь, простой, совсем обыкновенный человек, шаг за шагом взбиравшийся на свою горку Голгофу, их слышал...

Глава 6. Седьмой ангел

Прошло 23 года, как колючая проволока Кемского пересыльного пункта осталась позади меня.

Проверивший мои документы чекист пожал мне руку. Ему оставалось еще два года до срока.

— Прощай, не поминай лихом!

Не поминать лихом соловецкую каторгу тогда я не мог. Она была для меня только страшной, зияющей ямой, полной крови, растерзанных тел, раздавленных сердец, разбрызганных мозгов... Стоны, вопли, бред, рыдания еще звучали в моих ушах. Над навсегда покинутым святым островом смерть, только смерть простирала свои черные крылья...

Написать эту повесть я задумал еще на Соловках, на могилах безвестных страдальцев за древнее русское благочестие, на могиле новых мучеников, положивших жизнь свою за Русь...

Какую? Ушедшую или грядущую?

Ушедшую, величавую, безмерную, дивную в несказанной красоте своей... Так думалось мне тогда, в проникновенной тишине соловецкой дебри. Так думалось мне и после в раскаленных азиатских песках, в грохоте и сутолоке новостроек, в смраде пота, гниющей человечины и снова крови...

Я знал, что, может быть, есть один лишь жребий из тысячи, миллиона, дающий возможность рассказать эту повесть, писал ночами, наглухо заперев двери, а под утро рвал написанное или зарывал в сырую русскую землю, в сухой азиатский песок.

Я писал о слезах и крови, страданиях и смерти. Только о них. Образы моих братьев, падающих под пулей угасившего дух свой безумца, или — еще страшнее — другие безумцы, рвущие плотничьими клещами золотые зубы изо рта неостывшего еще трупа своей жертвы, и, наконец, самое страшное —

плотник, спокойно принимающий возвращенные ему клещи и без страха и содрогания вытирающий с них кровь своим фартуком... Эти бесконечно мучительные отблески пережитого теснили, давили, душили меня, заслоняя все остальное.

Годы шли. В грохоте войны, вихре смерти, новых потоках крови и слез мне выпал единственный из миллиона жребий: *я смог рассказать о пережитом.*

Я снова всмотрелся в ушедшее и теми же глазами увидел иное. Дивная, несказанная прелесть преображенного Китежа засияла из-за рассеянной пелены кровавого, смрадного тумана. Обновленными золотыми ризами оделись обгорелые купола соловецкого Преображенского собора, вознеслись в безмерную высь и запели повергнутые на землю колокола. Неземным светом вечного духа засияла поруганная, испепеленная, кровью и слезами омытая пустынь русских святителей, обитель веры и любви. Стоны родили звоны. Страдание — подвиг. Временное сменилось Вечным.

***

Я не художник и не писатель. Мне не дано рождать образов в тайниках своего духа, сплетать слова в душистые цветистые венки.

Я умею только видеть, слышать и копить в памяти слышанное и виденное. Претворят это скопленное те, кто вступит в жизнь позже.

Люди, о которых я рассказал, прошли перед моими глазами, их слова запали мне в сознание. Большая часть этих людей уже ушла из жизни, иные еще в ней. Ушедшие оставили след: одни — темный, смрадный и кровавый, другие — ясный, светлый, радужный, как крылья серафима.

По следу устремлялись другие и пробивали тропы. По тропам шли многие. Я видел и слышал.

Ломался след, тропа терялась и снова возникала. Тропы свивались, сплетались и вновь расходились. Извечная, неугасимая жизнь ткала свое нескончаемое полотно.

***

Давно-давно над головами двенадцати галилейских рыбаков вспыхнули огоньки Духа. Они расторгли, преодолели тьму. Я не видел их.

Огонек лампады последнего на Руси схимника я видел. Он светился пламенем того же Духа. Вокруг тяготела тьма.

Пламя возгорается от пламени. Свет идет от света. Пламя и свет неразделимы, извечны, неугасимы.

Последний на Руси схимник умер, склоненный в земном поклоне перед своей лампадой на освященном страданием, подвигом и молитвой острове.

Его лампада не угасла.

Пламя от пламени, свет от света. Тихими тайными светильниками возгорелись иные лампады. Я их видел и сохранил в своей памяти. Духа не угасить.

***

Мне не дано рождать образов, но только видеть рожденное помимо меня.

...Во тьме жил человек и ей служил. Тьма ничем не грозила его телу, но он рассек тьму страданием и подвигом. Свет ничего не сулил его телу, но он пошел к свету.

Выход из тьмы грозил ему смертью. Человек преодолел страх тела подвигом Духа.

Путь подвига — путь страдания. Человек избрал этот путь. Почему?

Кто толкнул и повлек его на преодоление плоти, ее власти и ее страха?

Я не создаю образов, но лишь храню в памяти виденное... Имя этого человека — легион.

Сквозь тьму — к свету. Через смерть — к жизни. Таков его путь. Почему он пошел по нему?

Когда в елей неугасимой лампады каплет кровь, ее пламя вздымается ввысь, блистая и сияя всеми переливами небесной радуги — знака обета вечной жизни. Оно как крыло серафима. Терновый венец сплетается с ветвями Неопалимой Купины и ее свет — с пламенем горящей в лампаде крови.

Подвиг торжествует над страхом. Вечная жизнь духа побеждает временную плоть. Безмерное высится над мерным, смертию смерть поправ.

Так было на Голгофе иерусалимской. Так было на Голгофе соловецкой, на острове-храме Преображения, вместившем Голгофу и Фавор, слившем их воедино. Так было на многих иных Голгофах иных стран и земель, по которым легли китежские тропы, страдные крестные пути к благостной святыне преображенного града.

Путь к Голгофе и Фавору един. Жертва кладет предел страху плоти. Страх умирает на жертвеннике, ибо он — плоть. Дух не ведает страха.

Платтен, Дахау, Римини, Лиенц... еще и еще сотни, тысячи, десятки тысяч безымянных Голгоф... От Камчатки до Пиренеев, от Колымы до Ла Рошели... На эти Голгофы всходили те, кто нес в себе искру пламени Духа, всходили отвергшие тьму, победившие ее в своем сердце.

Меня эта чаша миновала. Два раза неведомая мне сила, помимо моей воли, моего разума, сломала и повернула мой путь по земле. Первый раз он лежал в Лиенц, второй — в Римини. Теперь это называют случаем. Прежде называли чудом.

Я умею рассказывать только то, что видел сам. В Лиенце я не был. Я не прошел крестного пути к нему. Я не стоял на его Голгофе. Пусть расскажет о ней видевший.

***

Страшная «тирольская обедня» была совершена 1 июня 1945 года. Только две таких литургии знает христианский мир. Первую совершали 20 тысяч мучеников, в Никодимии сожженных, память их святая Церковь установила 28 декабря старого стиля. Вторая литургия совершена тоже 20 тысячами мучеников казачьего христолюбивого воинства... Память их будет установлена впоследствии 1 июня нового стиля.

Служили эту литургию 18 священников, из 18 чаш причащались на смерть казаки... Танки репатриационных отрядов раздавили церковный помост и разрезали войско на отдельные островки, в которых закипела насильственная посадка на автомашины: люди бросались под колеса машин, под гусеницы танков, стреляли в своих жен, детей и в себя. Над войском стоял сплошной стон, вслушиваясь в который можно было различить слова: «Христос! Христос!»

Отец Николай в ризах, с чашей стоял среди волнующегося моря на каком-то высоком столбе — остатке церковного помоста — и был виден всем. Высоким, звенящим тенором, охваченный экстазом мученичества, запел он гибнущему войску песнь брачного веселия: «Святии мученици, добре страдальчествовавшии и венчавшиеся, молитеся ко Господу...» Голоса сотен казаков и казачек-певчих подхватили брачный гимн... Войско обручалось со своим Небесным Женихом. Цокали машины, работали приклады, лилась кровь... А над всем этим плыл торжественный напев верной до гроба невесты-Церкви, оплакивавшей чад своих...

«Доколе, Господи, не мстишь за кровь и слезы?» — спрашивали омывшиеся кровью, пролитой за Господа[23].

Эта повесть о людях живших записана среди людей живущих, в лагерях, в скоплениях вырвавшихся из тьмы.

---

[23] См.: Захаров Б. Отец Сеймипут // Русская мысль. – 1950. – № 262. 28 июля. – *Авт.*

Кто они? Мы не в состоянии определить, взвесить их ни по одному из общепринятых измерений. Мы не можем установить ни удельного веса различных социальных групп, ни ступеней культуры, ни религиозных верований, ни даже национальностей российских людей, ушедших от потерявшей свое имя России. Мы вправе утверждать лишь одно: подавляющее большинство этих разноликих, разнородных, разноязычных, разномыслящих, разноверующих людей прошли сквозь колючую проволоку социалистического концлагеря или близко соприкоснулись с ней через своих родственников, друзей, единомышленников. За колючей проволокой, в разросшихся вглубь и вширь Соловках — страдание, кровь, смерть. Муки тела и томление духа. В этой муке и в этом томлении — пламя лампады последнего схимника. Свет во тьме.

Если нужны имена людей из костей и мяса, людей, живущих среди нас, с нами в одной жизни, — их легко услышать, прочесть, найти...

Имя им — легион, и число их множится с каждым днем, с каждым часом.

Они идут разными тропами, они говорят различными словами, они поразному видят, слышат, претворяют виденное, мыслят, веруют... Но в каждом из них теплится, то ярко вспыхивая, то почти угасая, частица пламени неугасимой лампады духа.

Не будь этого света, они не шли бы и мы не знали бы их. Мы их не видели бы.

Множатся светильники, рассекая тьму. Их видят уже многие. Множится и число видящих. Теперь...

...тогда была тьма. Немногие видели в этой тьме догоравшее, как казалось, бледное, задушенное тьмой пламя, — пламя лампады последнего русского схимника.

Я видел его. Поэтому пронес в своем сердце эту повесть о живших людях, пронес через кровь и огонь, через тьму, через жизнь и смерть.

***

Преображение требует искупления. Искупление — жертвы. Соловки и все рожденные ими, покрывшие Русь Голгофы были жертвенниками искупления, на которые лилась и льется кровь, на которых сияли и сияют многие лампады. Тогда, в непроглядной тьме, была лишь одна.

Чтобы воскреснуть духом, *надо* умереть плотью, надо лечь в гроб. Этим гробом были Соловки. И тогда, в ту жуткую ночь на каторжном кладбище, у развернутой свалки-могилы, мы — Глубоковский и я — видели только гроб, ощущали только смрад, тление тела.

Не мы одни. Многие, многие видели только то же и видят и теперь, не услышав керженских звонов из тайных глубин Святого озера сущей Святой Руси.

***

«Проказа сошла с него, и стал он чист», — писал евангелист, видевший первый крест на первой Голгофе.

«Страданием очистишься», — повторил другой евангелист, позже пришедший в мир, чтобы узреть очами своего духа грядущие Голгофы, грядущие жертвы, грядущее искупление, грядущее преображение.

Безмерно пленительны и безмерно страшны слова пророков. Они просекают тьму грозным огненным мечом архистратига-провозвестника и сияют в ней радугой обетования...

Они рождаются в пепле сгоревших сердец, в каплях-морях пролитой крови. Из смрадных греховных болот, из темных зияющих провалищ они вливаются в ясную глубь непорочных святых озер. От тьмы и страха Керженской сечи — к благостному свету преображенного Китежа. Так указал пророк, не означивший своего имени, ибо имя ему — легион.

Сотни лет по глухим лесным тропам шли многие к водам Святого озера, приходили к нему и слушали звоны из его глубин. В тех звонах было обетование. Но когда меч рассек тьму, обуглились души и полилась кровь, — пришел страх, и многие пали пред ним, «уверовали в злодейство и поклонились ему». Но звонили в глубинах колокола обетованного града, и вставали павшие, каялись. Поклонившиеся. «И приходили к Нему отовсюду...»

***

Поэт, пророк и евангелист, живший в глубине веков на подобном Соловецкому пустынном острове, видел там Ангела. Лицо Ангела было как солнце, и над головой сияла радуга. Он сходил с небес, облеченный в облачные ризы.

Став ногами на землю и море, Ангел воскликнул голосом, подобным рыканию льва. И семь пророков вторили ему своими голосами. Речь их была тайной.

Ангел поднял руку к небу и клялся Живущим во веки веков, Сотворившим небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем...

Он клялся, что придет день, когда возгласит, вострубит седьмой Ангел, и тогда свершится тайна Божия, о которой Он благовествовал устами рабов Его — пророков.

Тайна Преображения...

***

Но перед приходом седьмого Ангела над миром пронесутся шесть иных. На их крыльях будет страдание и смерть.

Через смерть к жизни — тайна Преображения. Крылья какого из ангелов раскинуты днесь над нами?

Соловки, 1925 г. — Капри, 1950 г.

СОЗЕРКО АРТАГАНОВИЧ

МАЛЬСАГОВ



М. Д. Яндиева

ВОСПОМИНАНИЯ МАЛЬСАГОВА – ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ И ВПОЛНЕ ДОСТОВЕРНОЕ ОПИСАНИЕ ЖИЗНИ В БОЛЬШЕВИСТСКИХ ЛАГЕРЯХ

Слова из аннотации издательского каталога «A.M. Philpot LTD» весны 1926 г., вынесенные в заглавие, фактически позиционируют текст царского офицера, участника Белого движения, эмигранта Созерко Артагановича Мальсагова как первопроходческий в гулаговской тематике XX в.

Большая лагерная летопись, начавшаяся как соловецкая, открылась его книгой «Адский остров» и продолжилась в других произведениях, описывающих Соловки 20-х – начала 30-х гг. Книга «Адский остров» увидела свет в Лондоне в 1926 г. на английском языке[1]. В ноябре–декабре 1925 г. в эмигрантской газете «Сегодня», издававшейся в Риге, под названием «Остров пыток и смерти (Записки бежавшего с Соловков офицера С.А. Мальсагова)» его свидетельство было опубликовано на русском языке (№ 269–293). Свидетельство С. Мальсагова взорвало общественное мнение Запада, а также вызвало серию ответных мер со стороны Советского правительства. Оно организовало в июле 1929 г. поездку М. Горького на Соловки с целью опровергнуть свидетельства о преступлениях большевиков. Горький написал очерк «Соловки», был снят специальный фильм о том, как на Соловках «делаются полезные граждане»[2].

Свидетельство С. Мальсагова, зафиксированное вначале в виде записок, а затем документальной повести, было написано сразу после побега из Соловецкого концлагеря без дистанции во времени. Этим объясняются жанрово-повествовательные и стилистические особенности книги. «Адский остров» — первая «малая» летопись лагерной жизни — сегодня рассматривается как неотъемлемая составляющая национальной исторической памяти. Эта строго документальная, с элементами публицистики проза впервые заявила об эре (или периоде) «инфернальной эстетики» (В. Турбин) в изображении «коммунистического рая» как ада. Данная метафора отныне была востребована для изображения подлинной

[1] См.: Mal'sagov, S.A. An island Hell: A Soviet prison in the Far North / Transl. F.H. Lyon. Anno pub. 1926 Luogo pub. L., A.M. Philpot, 1926. 223 p. – *Здесь и далее примеч. автора.*

[2] Документальный фильм «Соловки (Соловецкие лагеря особого назначения)»: В 7 ч. Выпуск «Совкино». 1928. Режиссер А.А. Черкасов, оператор С.Г. Савенко, художник Р.Ф. Банцан.

(неофициальной) жизни страны Советов с ее новой, «адской» лагерной моралью и социальной философией.

Сюжетно-композиционную, повествовательную особенности произведения С. Мальсагова схематично можно представить как схождение в ад, пребывание в нем и бегство из этого ада.

Авторская позиция заключается в следующем: свобода — это единственная и самая драгоценная награда за стойкость в аду; сохранение внутренней свободы в обстоятельствах внешней тотальной несвободы есть главное условие остаться человеком, а не превратиться в животное.

Две части книги (первая и вторая), девятнадцать глав — это четкий, строгий (по-военному) порядок воссоздания главнейших этапов (или кругов) ада: арест, тюрьмы, следствия, суды, этапы, лагерь на Соловках. Третья часть, состоящая из пяти глав, — бегство из ада — может рассматриваться как самостоятельное повествование, маленькая документальная повесть о неодолимом никакой внешней силой бесстрашном броске в пространство свободы, осуществленном людьми непоколебимого достоинства и чести.

Хроникально-последовательное, почти этнографическое описание в повести осуществляется не столько посредством событийного сюжета, сколько логикой автора — первооткрывателя «зэческой» темы. «Первопроходческий» этнографизм ощущается во всем — в некотором натурализме описаний, конкретном перечне событий, фактов, деталей, за которыми стоит колоссальный личный трагический опыт. Это лаконичное, но вместе с тем очень подробное свидетельство первого человеческого опыта, полученного вследствие репрессивной политики Советской власти, апробированной на Соловках.

Мальсагов на основании полуторагодичного пребывания в аду разоблачил изнутри систему растления и подавления в человеке человеческого. Он рассказал *о коммунистическом аде только сущностное*[3], главное с позиции очевидца и человека чести — офицера царской армии и верующего мусульманина-ингуша, а именно: «расчеловечивание» человека; разъединение людей в ситуации каждодневного унижения и растления вплоть до низведения их до скотского состояния; рождение тоталитаризма как осуществление богохульства, т. е. явления не только и, может быть, не столько политико-социального, экономического, но нравственно-этического.

К настоящему времени, когда уже опубликованы десятки текстов, воспоминаний, свидетельств, можно говорить о целом автономном пласте жанра мемуарной прозы о лагере. Безусловно, это очень разные повествования по характеру

[3] Здесь и далее выделено автором.

изложения, стилю, интонации, системе образов и т. д. В связи с этим также можно утверждать, что «зэкология» — уже целая наука об узниках, заключенных, об особенностях их мышления, прямо-таки бьющих в глаза: подлинность, эмпиризм жизни[4], возводимый «к тысячелетнему религиозному мифу... образа ада»[5], — *«стартовала» с документальной повести Созерко Мальсагова «Адский остров».*

Даже само название «малого» эпоса Мальсагова впоследствии нашло свое продолжение в документально-художественном «большом» эпосе А. Солженицына — в емком символе «беспрецедентно-масштабных репрессий коммунистического режима против народа», который назывался трагическим словом «архипелаг»[6]. Словом «архипелаг» обычно принято называть группу морских островов, расположенных рядом и просматривающихся как единое целое. Выступая по французскому телевидению, писатель объяснил использование географического понятия в названии своей книги: «Лагеря рассыпаны по всему Советскому Союзу маленькими островками и побольше. Всё это вместе нельзя представить себе иначе, сравнить с чем-то другим, как с архипелагом. Они разорваны друг от друга как бы другой средой — водой, то есть нелагерным миром. И вместе с тем эти островки во множестве составляют как бы архипелаг»[7].

Остров ада у Мальсагова, описываемый им с подробностью чёрно-белой фотографии, — это конкретный Попов остров, на котором находился Кемлагерь Соловецкого архипелага. До 1929 г. СЛОН (Соловецкие, или Северные, лагеря особого назначения) являл собой как бы микроархипелаг. В последующие годы он разросся и распух от крови и истерзанной плоти сталинских узников до гигантского макроархипелага, названного Солженицыным ГУЛАГом. С Северных лагерей и пошла вся лагерная Россия.

Три части повести находятся в причинно-следственной связи. События излагаются сжато и предельно насыщенно, особенно в первой (вводной) части, в которой подлинные исторические события на Северном и Южном Кавказе с 1920 по 1924 г. излагаются в четырех коротких главах.

Очевидец и участник происходящего «слома эпох» С. Мальсагов, кажется, просто перечисляет знаковые вехи, события и факты, определившие трагедию народов и самой страны в последующие годы. Он как бы нанизывает звенья одно на другое, составляя цепь, фатально сковавшую весь Кавказ и всю Россию на целый век.

---

[4] См.: Турбин В. Долюшка женская // Знамя. 1990. №4. С. 226.
[5] Там же.
[6] Урманов А. В. Творчество Александра Солженицына. М., 2004. С. 210–211.
[7] Солженицын А. И. Публицистика: В 3-х т. Ярославль, 1995–1997. Т. 2. С. 390.

Своеобразная кажущаяся скоропись, как нам представляется, была связана с тем, что Мальсагов торопился немедленно, сразу же после своего броска в пространство свободы из подземелья реального ада, выплеснуть максимально подробно — лишь отцеженное, главное и сущностное.

Это стиль документального (потому что за каждым приводимым фактом, событием стоит историческая подлинность) отчета, в котором фактология сгущена в невероятный концентрат. Например, о повстанческой войне против большевиков и таком ее эпизоде, как гибель чекиста-палача Штыбе (С. М. Штыба) в ноябре 1923 г.

С. Мальсагов лаконично, без каких-либо эмоций и оценок описывает изнутри кавказское «чистилище» перед Соловецким адом. Картина ужасающа именно этим безэмоциональным, как бы отстраненным изложением очевидца-свидетеля.

Стоящая перед Мальсаговым задача доподлинно рассказать о пережитом требует от него фотографической четкости без ретуши и излишних комментариев. Для повествования характерна лишь черно-белая палитра и почти телеграфный проговор там, где, кажется, можно было бы много подробнее и многословнее описать ужасающую действительность: «Весь персонал замка Закавказской и Грузинской ЧК был укомплектован садистами. Каждый четверг ночью расстреливалось от шестидесяти до ста человек. Эта ночь была сущим адом[8] для всего Метеха[9]. Мы не знали, кому суждено быть расстрелянными, и поэтому каждый ожидал смерти...» Или: «Чекисты Метеха всегда ходили пьяными. Это были профессиональные мясники. Их сходство с последними усиливалось привычкой закатывать рукава по локоть и таким образом расхаживать по коридорам и камерам. Время от времени они валились на пол, опьяненные вином и человеческой кровью».

Повествование настолько сгущенное, отфильтрованное, что каждое предложение — новая запечатленная информация — картина (или фотография). Картины динамично сменяют друг друга, как в кадрах документального кино. Несмотря на то, что повествование в тексте от первого лица, автор как бы скрыт, неявен настолько, что иногда кажется, будто это не собственно прямая речь. Хотя «я» Мальсагова и присутствует буквально на каждой странице даже не по одному разу, кажется, что автор одновременно в центре всего происходящего и как бы несколько отстранен.

Эта повествовательная форма адекватна материалу и идейным задачам С. Мальсагова максимально лаконично и сущностно изложить «карательные действия Советской власти на Северном Кавказе после подавления антибольше-

[8] «Первичный» ад перед Соловецким как испытание перед настоящим кошмаром.
[9] Центральная тюрьма Тифлиса тех лет.

вистского восстания» в самом начале 1920-х гг. с позиции легитимиста и верующего человека (т. е. с позиций нравственного правосознания).

Мальсагов — участник исторических событий и одновременно летописец-экстремал, поставивший перед собой сложную задачу фиксации и морального осуждения, полного неприятия социально-политической системы — урода, рождавшегося на крови и костях. Изображение экстремальных событий, в эпицентре которых он оказался волею судьбы (революция, Гражданская война, террор большевиков, тюрьмы), не допускало «беллетризации». И в силу именно этого обстоятельства — передачи «знаний о событиях», свидетелем которых он был, — «книга воспринималась как некая историческая память»[10].

Пятнадцать глав второй (основной) части — это своеобразные маленькие документальные очерки, имеющие историко-социологический характер. Они не связаны единым сквозным сюжетом, но у них есть единая внутренняя логика: от очерка к очерку, от темы к теме воссоздается объемный образ ада, социально-политического, физического и духовно-нравственного.

Согласно принятому в науке определению, очерк — небольшое по объему, краткое изложение какого-то жизненного факта или явления, общее его изложение. Открытие закрытых, тайных, внутренних сторон общественной жизни, «схваченных врасплох» (Некрасов), есть задача так называемого физиологического очерка. История скрытой внутренней «непричесанной» и «немытой», нелакированной действительности в свое время была целью русской классической натуральной школы XIX в. С. Мальсагов — своего рода натуралист, впервые сбросивший покров с безобразной тайной, сокрытой части жизни страны Советов. Изображение этой постыдной, тайной действительности могло быть только критическим и очерковым. Тема, сам «предмет» изображения — общественно, нравственно и политически значимые, галерея персонажей, увиденных собственными глазами; образ жизни, нравы новой бесчеловечной реальности (потому и скрытой от мира) требовали от автора-первооткрывателя безусловно «натуралистического», а не беллетристического подхода.

Обстоятельность в передаче самых главных ужасов раннесоловецкого ГУЛАГа характеризует вторую часть, вобравшую в себя основное содержание произведения. От истории самих Соловков и первых «предтеч» собственно СЛОНа к подробнейшей характеристике во всех ипостасях лагеря на Поповом острове. Несмотря на лаконичный, сжатый стиль, С. Мальсагову в коротких очерках удалось прочертить более десятка фундаментальных проблем новой России — страны-ада. Названия глав-очерков говорят сами за себя: «Галерея

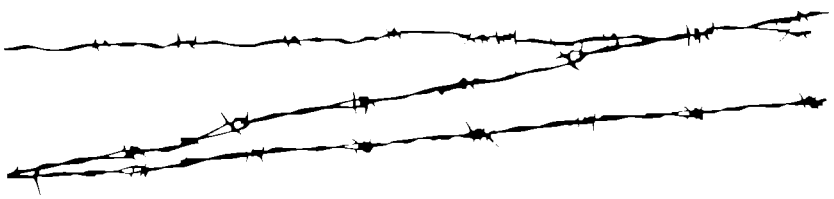
[10] Бычков В. В. Русская средневековая эстетика XI–XVII вв. М., 1995. С. 130.

чекистов», «Тирания уголовников», «Судьба женщин», «Повседневная жизнь, работа, пища», «Больничные ужасы», «Как живут чекисты» и т. д.

Он прежде всего информационно подтвердил фактическое существование *концлагеря* (географически, схематически, т. е. буквально начертив схемы) как места для изоляции не только военнопленных или нежелательных иностранцев, но и *собственных граждан*. Впервые ввел в «оборот» понятие пайки («порции пищи»), ставшей главной мерой всех ценностей в истории России XX в.; запечатлел уголовную тиранию во всех тюрьмах, через которые прошел, и на Соловках как новую антигуманную идеологию и практику социальной жизни; классифицировал заключённых, репрессированных в 20-х гг. по трем группам: контрреволюционеры, политические, уголовники (первая и вторая группы в сталинский террор сольются в одну большую группу «врагов народа»); обозначил изначально уголовный характер Советской власти, ее антилегитимную природу; рассказал подробно о двух самых первых, досоловецких ленинских концлагерях на Севере — в Холмогорах и Пертоминске; пояснил феномен чекизма и дал типологию первых чекистов страны Советов, бесчеловечный характер системы правосудия в новой России, рождение новой хозяйственной и экономической системы, в фундаменте которой лежит рабский труд советских зэков; описал положение женщины в лагере; точно зафиксировал симптомы гуманитарной, духовно-нравственной катастрофы в результате первых «опытов» селекции «человеческого материала» в коммунистическом «раю».

По существу, в коротких очерках С. Мальсагова заключается сжатая до предела энциклопедия социально-политической и моральной «инверсии» России в XX в.

Адский остров: советская тюрьма на далеком севере[1]



От автора

Я и четверо моих друзей покинули Соловецкие острова (в данном повествовании названные Соловками — именем, под которым они, в общем, и известны) 18 мая 1925 года и пересекли границу между Россией и Финляндией 15 июня. Но только восемью днями позже, достигнув Кусамо, мы точно выяснили, что находимся в Финляндии. Наше путешествие длилось, таким образом, 36 дней.

Как я и предполагал, обнаружилось, что вне Советской России все обстоятельства жизни (или правильнее было бы сказать — медленной смерти) сосланных на Соловецкие острова — режим, условия труда, пища и прочие внутренние и внешние особенности лагерных будней — совершенно неизвестны.

Тайна, которой окутаны Соловки, понятна. Советские газеты, утаивающие жестокую правду от русских читателей, обходят Соловки полным молчанием. Корреспондентам иностранных газет не разрешено ездить туда. Никогда не было до нас ни одного случая, когда бы узнику сопутствовала удача в побеге через границу, а европейское общественное мнение узнало бы правду о Соловках.

Провидение чудом избавило меня от этого ада. И я считаю своим священным долгом поведать миру о том, что я видел, слышал и через что прошел.

Эти заметки, конечно же, не претендуют на художественные совершенства и стилистические прелести, а также на исчерпывающую полноту. Примите их как свидетельства честного очевидца, который говорит правду и только лишь правду. И если мое свидетельство будет достойным обсуждения и признано частью

[1] Публикуется без сокращений по: Мальсагов С. А. Адский остров. Советская тюрьма на далеком севере / Пер. с англ. Ш. Яндиев. М., 1991 г. 100 с.

гигантского обвинительного приговора, который русский народ, все человечество, история и Бог, без сомнения, предъявят советской власти, я буду считать свой долг выполненным.

В подтверждение этой моей просьбы, если хватит сил и беспристрастия в моем описании, я могу сказать: когда я показал эти записи моим друзьям, бежавшим вместе со мной, они сошлись во мнении, что описание режима на Соловецких островах во многих случаях было слишком сдержанным.

Часть 1.
ИЗ БАТУМА НА СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА

Глава 1. Белая гвардия на Кавказе

Поражение Деникина. — Партизанская война. — Неожиданный удар. — Неуловимый Челокаев. — Договор в действии.

Прежде чем перейти к моей главной задаче — описанию условий жизни в советской тюрьме на Соловецких островах, я хотел бы коротко остановиться на периоде моей жизни, который непосредственно предшествовал высылке.

Я думаю, что это интересно не только как часть моей биографии. Насколько мне известно, карательные действия советской власти на Кавказе после подавления вооруженного антибольшевистского восстания никогда не описывались ни в книгах, ни в воспоминаниях.

Во время последнего отступления сил генерала Деникина я находился в рядах Кавказской армии на Царицынском фронте. Катастрофа Добровольческой армии вынудила всех нас искать убежище в горах. Постоянно сталкиваясь с нападающим врагом, наша кавалерийская бригада достигла реки Терек, где и была расформирована. Наиболее стойкие и надежные части ее пересекли границу Грузии, в то время еще независимого государства.

В Грузии члены бригады, которые еще были пригодны к службе, соединились под руководством Клыч Султан-Гирея в кавалерийский полк. В его обязанности входило совершать нападения на советские тылы и вносить в них сумятицу, разрушать дороги и организовывать восстания против большевиков. Рейд на Кубань, планировавшийся на лето 1920 года штабом генерала Врангеля, который находился со своей армией в Крыму, увлек Султан-Гирея послать и нас на Кубань в надежде склонить казаков к восстанию. На Кубани мы приняли участие в отступлении вторгшихся в Крым войск, и рейд значительно превзошел первоначальные масштабы, но дерзкий план восстания не удался. Мы были опять разбросаны.

В исключительно трудных условиях, окруженные войсками Красной армии, мы сформировали новый отряд под командованием полковника X. Я не могу назвать имени полковника, он до сих пор продолжает партизанскую войну против советской власти на Кавказе.

Наш отряд, несмотря на свою малочисленность, вел военные действия не без успеха. И мы начали обдумывать операции больших размеров, когда неожиданно лишились поддержки, от которой полностью зависели и на которую рассчитывали. Произошло знаменательное национальное восстание в Грузии. В действительности же Грузия была оккупирована без всякого сопротивления регулярными войсками Красной армии. Наш отряд, сражаясь, уходил через неприступные горы в Батум. Здесь часть его прекратила свое существование и превратилась в большие или меньшие воинские повстанческие формирования. Другая часть ушла в Анатолию.

Я отправился в Аджаристан. Здесь была установлена связь с Трапезундом, где жил Y (его имя также не могу назвать по выше объясненной причине). До осени 1922 года мы с Y организовывали нападения на советскую границу.

Тогда, как и сейчас, неофициальное руководство всем повстанческим движением на Кавказе было сосредоточено в руках хорошо известного полковника Челокаева. Благодаря всесторонней поддержке населения, которое симпатизирует «белым», и его собственному мужеству, смелости и умению, большевики считают Челокаева неуловимым.

Мне точно известно, что Грузинское и Закавказское ЧК часто пытались подкупить его. Они неоднократно предлагали ему очень много золота просто для того, чтобы он покинул Кавказ. Большевики сулили ему виллу в любой стране Европы, какую только он назовет. Неуловимый полковник, однако, отвергал эти предложения с отвращением и до сих пор продолжает свои неожиданные нападения то на один, то на другой оплот советской власти на Кавказе.

Между Челокаевым и кавказскими советами существует необычное соглашение. Семья полковника уже в течение нескольких лет заключена в Метехский замок Тифлиса — тюрьму, известную своими жестокостями и зверствами. Большевики, конечно же, давно расстреляли бы родных Челокаева, если бы он не захватил в плен и не спрятал в надежном месте как заложников нескольких известных представителей советской власти. Когда полковник услышал, что его семья арестована, он послал такое письмо председателю Грузинской ЧК: «Я пришлю в мешке 40 голов коммунистов за каждого члена моей семьи, убитого вами. Полковник Челокаев».

Так семья Челокаевых и заложники-коммунисты до сих пор живы.

Глава 2. Знаменитая «амнистия»

Моя глупая доверчивость. — Мальчик-чекист. — Выведены, чтобы быть расстрелянными. — Взаимные репрессии. — Храбрый горец. — Опознан идиотом.

В 1922 году в честь годовщины Октября Совет Народных Комиссаров РСФСР (Россия тогда существовала под таким названием) объявил полную амнистию для всех противников советской власти. Эта амнистия, которая была подписана цветом Коммунистической партии, официально обещала полное забвение любого преступления, совершенного белогвардейцами всех рангов и категорий.

Я до сих пор не могу простить себе то, что я, который лучше, чем кто-либо другой, знал цену большевистским обещаниям, который вел борьбу с советской властью не на жизнь, а на смерть, мог поверить в добрую волю людей, которые всегда лгали. Я заплатил за свою непростительную глупость страданиями в соловецкой тюрьме. Пусть моя судьба будет предостережением для других доверчивых людей.

В апреле 1923 года я сам сдался в руки офицеров ЧК в Батуме. Меня допрашивал следователь, примечательный своей молодостью. Это был дерзкий юноша 17 лет. Следственная служба в Советской России сформирована «блестяще». Когда молодой чекист суммировал мои преступления (надо сказать, довольно подробно), он заключил свой допрос глумливой усмешкой: «Ха, мы не будем мягкотелы в отношении таких парней, как ты». И они, действительно, не были мягкотелы. Когда я сослался на официальный текст амнистии, следователь прямо взревел от смеха: «Отведите его в камеру, и пусть там ему покажут амнистию». И они действительно показали.

Я не буду подробно описывать свои моральные и физические муки, избиения, оскорбления, попытки извлечь из меня информацию провокационными методами — все, что я вынес, будучи заключенным в Батумской ЧК. Достаточно сказать, что я был вызван на допрос в 2 часа ночи. Допрашивающие опять прошлись по моей биографии за последние несколько лет с удивительной точностью и предложили, чтобы я сознался во всем и назвал главных соучастников в количестве десяти человек (число указано очень точно). Убеждения сменялись бранью и оскорблениями, оскорбления — выстрелами из револьвера над моей головой. Все делалось с расчетом запугать меня.

Я отрицал свою виновность и отказывался назвать кого-либо из соучастников. Меня и еще троих заключенных вывели на расстрел во двор тюрьмы. Один из узников был убит в двух шагах от меня. Второго точно так же застрелили насмерть. Третий упал, истекая кровью. Затем крикнули мне: «Теперь твоя очередь».

В оцепенении я стоял рядом с телами моих спутников. Почти касаясь моей головы дулами пистолетов, чекисты кричали мне: «Признавайся!»

Я молчал. По какой-то причине они не стали убивать меня. Возможно, моя жизнь была им зачем-то необходима. Я провел несколько дней в тюрьме Батумской ЧК. Затем меня перевели в Закавказскую ЧК в Тифлисе. Ее главное управление находилось в квартале Сололаки, в центре города. Что касается жестокости, то не было разницы между порядками там и в Батуме. Председателем и всемогущим хозяином Закавказской ЧК в то время был хорошо известный Могилевский[2], который не так давно погиб в авиакатастрофе.

Кровь лилась на Кавказе рекой. Коммунисты осуществляли тройную месть по отношению к своим заключенным: за убийство Воровского в Швейцарии, за восстание в Грузии, за ультиматум лорда Керзона.

В бессчетных тюрьмах Кавказа ежедневно уничтожались тысячи людей. Кавказ не был еще окончательно покорен коммунистами, и в то время, о котором я пишу, весь регион был в огне гражданской войны. Повстанческие группы врывались в города и подряд вешали большевиков. Последние отвечали усилением своего и так безжалостного террора.

Однажды повстанцы спустились в станицу Курск рядом с Владикавказом и среди прочего угнали стадо, принадлежавшее Советам. Следом бросилась погоня, возглавляемая прославленным латышом Штыбе, председателем ГПУ Горской республики. Группа повстанцев скрылась в горах, угнав с собой весь скот, и ее не могли обнаружить. Чекистам удалось обнаружить только одного из главарей повстанцев.

Горец, позади которого была отвесная скала, располагал полным карманом патронов и противостоял атаке нескольких эскадронов в течение многих часов. Один из его метких выстрелов сразил самого Штыбе. Хотя повстанец несколько раз был ранен, он уничтожил более восьми коммунистов. Но в конце концов он упал, смертельно раненный. В его ружье, которое холодные пальцы держали близко у лица, не было найдено ни одного патрона. Он сражался до конца. Его привязали к хвосту лошади и потащили во Владикавказ. Палача Штыбе похоронили с пышностью и воинскими почестями на Пушкинской площади в Тифлисе. Смерть этого мошенника власти использовали как предлог для репрессий над заключенными.

Пастухом, заботам которого был доверен скот, угнанный повстанцами в горы, был глухонемой от рождения мальчик, явно слабоумный. Этому идиоту и было поручено устанавливать личности среди всех заключенных в тюрьмах Кавказа тех, кто имел отношение к убийству «незабвенного товарища Штыбе».

---

[2] С. Г. Могилевский был следователем по делу миссис Стен Хердинг во время ее заключения в Москве в 1920 г. См. ее книгу «Преисподняя в государстве» (изд. Эллен и Ануин). – *Авт.*

Председателя ГорЧК (ЧК Горской республики) не тревожил вопрос, как мы, находившиеся в тюрьмах ЧК в момент гибели Штыбе и задолго до нее, могли иметь отношение к его убийству. Нас выстроили в два ряда, и если пастух останавливался напротив человека и издавал нечленораздельный звук или просто идиотски улыбался, этого было достаточно, чтобы человека, который привлек внимание полоумного мальчика, сделать причастным к убийству «незабвенного товарища Штыбе». Немедленно отдавался приказ: «Два шага вперед!» И пуля посылалась в голову.

Несколько дюжин людей было уничтожено на моих глазах. Так, шествуя вдоль второго ряда, пастух остановился передо мной. Смерть казалась неминуемой. Но прокурор Горской республики Тогузов, который следовал позади пастуха и который допрашивал меня минувшей ночью и точно знал, что я абсолютно не имел никакого отношения к смерти Штыбе, почувствовал, видимо, угрызение совести и отвел пастуха как раз в тот момент, когда он передо мной исказил свое лицо в идиотской гримасе.

Этот прокурор является характерной фигурой. Казбек Тогузов — бывший офицер, в 1917 году продолжал на Кавказе отчаянную и безнадежную борьбу в поддержку Временного правительства, требуя роспуска всех солдатских и рабочих Советов с помощью вооруженных сил. Но при обстоятельствах, весьма загадочных, он вступил в Компартию и до сих пор вешает людей, но уже врагов большевиков.

Глава 3. Ужасы тифлисской тюрьмы

Решительность князя Мухранского. — Метех. — В руках садистов. — Проклятое место. — Ночи расстрелов. — Сам попал в собственные сети.

Среди тысяч людей, заключенных в тюрьмы Закавказской ЧК одновременно со мной, было пятнадцать офицеров. Среди них генерал Цулукидзе, князь Камшиев, князь Мухранский, брат которого был женат на дочери великого князя Константина Константиновича. Все они обвинялись в организации мифического контрреволюционного заговора и в связях с грузинским восстанием 1923 года. Эти люди после продолжительных мучительных допросов были приговорены к расстрелу.

Князь Мухранский решил дорого продать свою жизнь. Ему удалось раздобыть большой гвоздь (он нашел его в камере). Когда в ночь исполнения приговора открылась дверь и группа чекистов, возглавляемая Шульманом, комендантом Закавказской ЧК, известным как «комендант смерти», вошла, чтобы увести осужденных офицеров, Мухранский бросил гвоздь со всей возможной силой в лицо Шульману, целясь ему в глаза. Тяжелый гвоздь сломал палачу нос. Шульман застонал от боли, и сразу же раздались ужасные крики и выстрелы. Камера наполнилась

дымом. Все пятнадцать офицеров, находившихся в камере, были убиты конвоем на месте. Заключенным из других камер был отдан приказ смыть потоки крови.

Палач Элиев, чрезвычайный уполномоченный ГПУ Горской республики в Осетии, прибегал к следующему. Он насильно вставлял дуло револьвера в рот заключенного, которого допрашивал, поворачивал его и, таким образом ранив десны, выбивал зубы. Мой сокамерник по тюрьме ГорГПУ подвергался такой пытке. Это был пожилой осетин, которого обвинили в следующем преступлении (цитата из обвинительного заключения): «Обвиняется в том, что однажды прошел мимо дверей дома Челокаевых».

По истечении нескольких недель я был перемещен в главную кавказскую тюрьму Метех в Тифлисе. Как и ныне, замок Метех использовался в 1923 году исключительно как место содержания под стражей политических заключенных; обычные уголовники размещались в государственной тюрьме. В замке находилось 2600 белогвардейцев, включая большое число грузинских меньшевиков.

Бесчисленные репрессии систематически продолжали осуществляться по отношению к беззащитным лицам — я видел много стариков, женщин и детей, ставших жертвами беззакония. Один раз в неделю, в четверг, специальная комиссия, состоявшая поочередно из членов Закавказской и Грузинской ЧК, заседала в канцелярии начальника тюрьмы и составляла список жертв, не уделяя много внимания степени вины каждого. Желание найти повод для расстрела заглушало голос человечности. Весь персонал замка Закавказской и Грузинской ЧК был укомплектован садистами.

Каждую неделю в четверг ночью расстреливалось от 60 до 100 человек. Эта ночь была сущим адом для всего Метеха. Мы не знали, кому суждено быть расстрелянным, и поэтому каждый ожидал смерти. Ни один человек не мог сомкнуть глаз до самого утра. Непрерывное кровопролитие оказалось пыткой не только для заключенных, но и для людей, живущих на свободе, вне тюрьмы. Все улицы вокруг Метеха долгое время были необитаемы. Население этого квартала бросало свои дома, будучи не в состоянии больше слышать выстрелы палачей и пронзительные крики и стоны их жертв.

Чекисты Метеха всегда ходили пьяными. Это были профессиональные мясники. Их сходство с последними усиливалось привычкой закатывать рукава по локоть и таким образом расхаживать по коридорам и камерам. Время от времени они падали на пол, опьяненные вином и человеческой кровью.

В ночь расстрела из каждой камеры забиралось от пяти до десяти человек. Чекисты как можно дольше затягивали процедуру зачитывания списка обреченных на смерть, и средний минимум их пребывания составлял около четверти часа в каж-

дой камере. Делались длинные паузы перед каждым именем, во время которых все арестованные трепетали от ужаса. Такую пытку не могли выдержать даже люди с очень крепкими нервами. В ночь под четверг половина заключенных замка плакала до самого утра. На следующий день никто не мог съесть даже маленького кусочка пищи — тюремный обед оставался нетронутым. Это случалось каждую неделю.

Заключенные из Горской республики, которые прибыли на Соловки в 1925 году, рассказывали нам, что это продолжалось и потом. Многие люди не могли вынести длительного кошмара и сходили с ума. Другие совершали самоубийства любыми доступными способами.

Когда я находился в замке, хорошо известный тифлисский чекист Зозуля, кубанский казак, был помещен среди заключенных для провокаторской деятельности. Этот палач в сравнительно короткий промежуток времени собственноручно расстрелял 600 человек (факт, который не отрицал сам Зозуля). Под конец он был разоблачен, и заключенные его убили.

Я провел четыре с половиной месяца в Метехе и каждый раз каждый четверг приготавливал себя к смерти.

После Метеха пошла нескончаемая серия путешествий по новым тюрьмам. Из метехской тюрьмы я был переброшен в государственную тюрьму в Тифлисе. Оттуда в «Тимахика» — бакинскую тюрьму, где провел две недели. Затем тюрьма ВЧК в Петровке. Три недели. Потом Грозный, из Грозного в «столыпинском» вагоне, специально сконструированном для заключенных, во Владикавказ.

И везде было одно и то же — абсолютное подавление человеческой личности, пытки на ночных допросах, голод и избиения, те же беззаконные и беспорядочные расстрелы.

Глава 4. Отправление на Соловки

Окончательно «амнистированный». — Шпана. — Удачный побег. — Классификация заключенных. — Протеже мадам Каменевой.

В конце концов 30 ноября 1923 года (таким образом, через семь месяцев после того, как я был «амнистирован» Батумской ЧК) следователь Владикавказской ЧК окончательно «амнистировал» меня в следующих выражениях: «По приказу административной комиссии Народного комиссариата внутренних дел по высылке гражданин Мальсагов признан виновным в преступлениях против основ государства, предусмотренных статьями 64 и 66 Уголовного кодекса РСФСР. Статья 64 — «Организация террористических актов и сотрудничество с иностранцами». Статья 66 — «Шпионаж в пользу международной буржуазии». Мальсагов высылается в концентрационный лагерь на Соловецкие острова сроком на три года».

Я и некоторые другие, которые тоже были «амнистированы», не торопясь отправились на Север. Первой остановкой был Ростов. Здесь я впервые столкнулся с так называемой шпаной — обычными уголовниками, которые играли столь необычную роль во всех российских тюрьмах, лагерях и местах ссылки.

Грабители большого и малого масштаба, взломщики, убийцы, фальшивомонетчики и бродяги кочевали целыми дивизиями из одной тюрьмы в другую, отбывая свой срок, совершая побег при помощи подкупа охраны, чтобы вскоре вновь попасть в следующую тюрьму. Почти все они были совершенно раздеты, всегда голодны и завшивлены. Охрана била их по головам прикладами ружей, уголовники убивали друг друга кирпичами, вырванными из тюремных стен. Совершенно одичавшие, куда бы они ни отправлялись, эти преступники проигрывали в карты скудный паек (порцию пищи) или последнюю пару собственных брюк. Подобные уроны они возмещали, грабя вновь арестованных заключенных, относящихся к политической категории. Украденные вещи шпана пропивала и продавала через тюремных и лагерных надзирателей.

Войдя в камеру, предназначенную для нас в ростовской тюрьме, я онемел от ужаса: нас встретили около ста уголовников из шпаны с оглушительными воплями и угрожающими выкриками. В углу сидели пять человек из образованных, включая и полковника Генерального штаба. Шпана за ночь раздела их догола.

К счастью, среди нас были люди, которые прошли через все мыслимые переделки. Один из них прочертил мелом линию на полу, поделив комнату на две зоны — политическую и уголовную, и крикнул шпане: «Я убью первого, кто переступит эту линию». Он был огромного роста — шпана испугалась его. По ночам мы выставляли часовых на границе зоны. Если бы не это, наши деньги и прочие вещи были бы украдены. От денег и вещей фактически зависела наша судьба: мы подкупали охрану, чтобы иметь хоть какие-то блага.

Из Ростова нас отправили в Москву на Таганку. В Таганской тюрьме упомянутая система разделения была преобладающей. Здесь существуют отдельные камеры для уголовников различных категорий. Мы познакомились с любопытной градацией преступников, осуществляемой советскими властями. Все преступники делятся не на два класса — контрреволюционеров и шпану, как на Кавказе и в Южной России, а на три.

Первая группа, именуемая «каэр», включала людей, подозреваемых в действиях в пользу монархии или в общем буржуазии, то есть в антисоциалистической деятельности. В этой разнородной группе можно встретить и бывшего министра и швейцара, молодого унтер-офицера и генерала, крупного фабриканта и приказчика из маленькой лавки, бывшую княжну и ее повариху. Советские вла-

сти включают в эту группу и все духовенство целиком без разделения вероисповеданий, все образованные и полуобразованные классы, всех купцов и офицеров.

К следующей группе относятся так называемые «политические и партийные деятели», остатки дореволюционных социалистических партий: социал-революционеры, социал-демократы, анархисты и т. д., которые так и не слились с большевиками.

Третья группа включала в себя уголовников в чистом виде, так называемую шпану.

Советские власти поддерживают такое разделение и на Соловках, и во всех других местах ссылок, и на вольных поселениях.

На Таганке нас поместили в камеру, которая до отказа была наполнена представителями духовенства. Здесь находились и владыка Петр (Соколов), архиепископ Саратовский, и монахи казанского монастыря и т.д. Почти все они обвинялись в сокрытии ценностей, в то время как большевики разграбляли церкви для удовлетворения материальных потребностей Коминтерна. Эти епископы, священники и монахи, как и мы, были высланы на Соловки.

В Петрограде, куда наш этап прибыл в начале января 1924 года, нас поместили в одну камеру с группой из 25 человек, которую называли «Казино». Это было во 2-й пересыльной тюрьме, занимаемой исключительно заключенными, направляемыми в другие места.

Незадолго до этого в Москве был закрыт фешенебельный игорный дом, предназначенный для высокопоставленных коммунистов и названный «Казино». Его ликвидировали под предлогом того, что там делались высокие ставки, устраивались пьяные оргии, процветали разврат и дебош. Неофициальной патронессой этого «благородного» заведения была мадам Каменева, жена председателя Исполнительного комитета Московской губернии.

Московское ГПУ, закрывая казино, не отважилось арестовать супругу коммунистического генерал-губернатора Москвы, но весь штат игорного дома, возглавляемый крупье Петровым, был сослан на Соловки на три года.

Эти парни также были нашими спутниками в Кеми. Впоследствии группа «Казино» по настоянию мадам Каменевой была переведена на вольное поселение в Печорский район. Перед нашим побегом из лагеря я слышал, что Петров и компания вернулись в Москву.

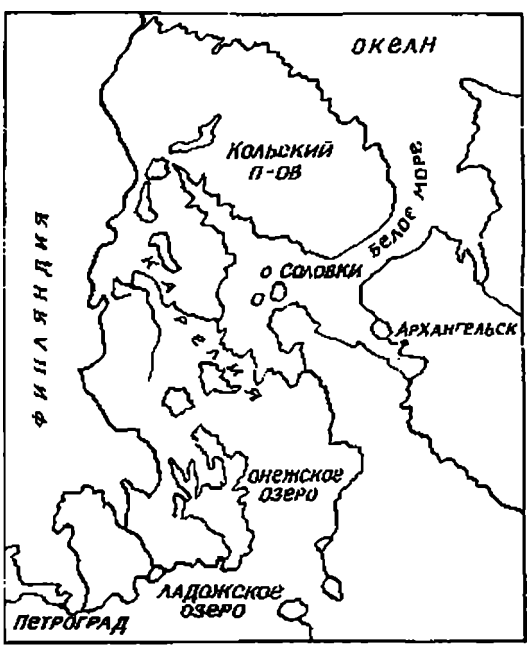
Этапы с заключенными направлялись из Петрограда на Север один раз в неделю — по средам. В одну из таких сред, 14 января 1924 года, я и большое число прочих «каэр», политических и иных деятелей, а также шпаны были вывезены на Соловки в арестантских вагонах.

Часть 2.
СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА

Глава 1. Предшественники Соловков

Условия жизни в прежних лагерях. — «Белый дом». — 10 тысяч расстрелянных. — Массовые потопления. — Следственная комиссия. — Оставшиеся перемещены на Соловецкие острова.

До 1922 года Холмогоры и Пертоминск выполняли функцию, которая сейчас возложена на Соловки. Когда я попал на Соловки в начале 1924 года, я встретил несколько человек, осужденных по статье «Контрреволюция» и оставшихся в живых. Они находились в заключении в этих местах. На Соловки их переместили в 1922 году. Я бы хотел коротко остановиться на том, что рассказывали эти чудом уцелевшие люди.



северо-запад России
Соловецкие острова

Концлагеря в Холмогорах и Пертоминске были созданы советским правительством в конце 1919 года. Люди направлялись туда из всех уголков России и должны были жить в наскоро выстроенных бараках. Это были никогда не отапливаемые, даже в самую сильную зимнюю стужу, помещения (когда температура в этих северных широтах снижалась до — 50—60° по Цельсию или до 90—110° по Фаренгейту).

Заключенным выдавался следующий паек: одна картофелина на завтрак, картофельные очистки, сваренные в воде, на обед и одна картофелина на ужин. Ни кусочка хлеба, ни унции сахара, не говоря уже о мясе или масле. И эти люди, доведенные муками голода до отчаяния, поедали кору на деревьях. Они вынуждены были из-за пыток и расстрелов соглашаться выполнять самую тяжелую работу: корчевать пни, работать в каменоломнях, сплавлять лес.

Им было категорически запрещено переписываться со своими родными или получать от них посылки с едой или одеждой. Все письма уничтожались. А пища и прочее пожиралось и использовалось лагерной охраной.

После поражения генералов Деникина и Врангеля (соответственно в конце 1919-го и в 1920 году) взятые в плен белые офицеры и солдаты, а также гражданские лица с отвоеванных у белых территорий — мужчины, женщины и дети — ссылались в Холмогоры этап за этапом. А после подавления Кронштадтского восстания в апреле 1921 года все матросы, взятые под стражу большевиками в количестве около двух тысяч человек, тоже были присланы туда.

Остатки колчаковской армии, различные сибирские и украинские атаманы, крестьяне из Тамбовской губернии, примкнувшие к антоновскому движению, десятки тысяч представителей интеллигенции всех национальностей и вероисповеданий, кубанские и донские казаки — все стекались широким потоком в Холмогоры и Пертоминск.

Высшее начальство в этих лагерях назначалось Москвой и исполняло предписания, полученные оттуда. Средний и низший персонал состоял из арестованных чекистов, которые были сосланы по причине слишком очевидного грабежа, взяточничества, пьянства и других нарушений. Эти ребята, потеряв выгодные должности в чрезвычайных комиссиях Центральной России, свою неимоверную злость с неописуемой жестокостью вымещали на лагерных заключенных.

Помощник коменданта в Холмогорах поляк Квициньский был особенно свиреп. Этот палач-садист имеет на своей совести ужасы «Белого дома» в окружностях Холмогор. «Белый дом» — так называлось имение, покинутое его владельцами, — здание, выбеленное в белый цвет. В нем в течение двух лет, с 1920 по 1922 год, по распоряжению Квициньского ежедневно производились расстрелы. Ужасная слава «Белого дома» удваивалась еще и потому, что тела казненных не убирались.

Две тысячи матросов из Кронштадта были расстреляны в три дня. Запах разложившихся тел отравлял воздух на целые километры вокруг. Смрад, который не уменьшался ни днем ни ночью, заставлял заключенных в лагере задыхаться и даже терять сознание. Три четверти жителей города Холмогоры оказались не в состоянии вынести все это и покинули свои дома.

Без всякого сомнения, советское правительство знало о тех ужасах, которые творились в Холмогорах и Пертоминске (не могло не знать!). Но, будучи заинтересованным в безжалостном уничтожении своих врагов, подлинных и мнимых, руководители Коммунистической партии ограничились лишь умыванием рук.

Казни осуществлялись не только в «Белом доме», но и в других местах. Чекисты практиковали следующий метод: они входили к заключенным и, указывая на будущие жертвы, произносили: «Один, два, три». «Один» значило, что заключенный будет расстрелян в тот же день, «два» — его расстреляют завтра, «три» — казнят послезавтра. Это обычно делалось, когда прибывала новая большая партия и появлялась острая необходимость в камерах для вновь прибывших.

Согласно свидетельству очевидцев, около 10 тысяч человек были расстреляны в Холмогорах и Пертоминске. Как это ни ужасно, но в этой цифре нет ничего поразительного. Ибо в течение трех лет подряд до своего расформирования эти лагеря составляли главную тюрьму всей Советской России. В огромные этапы из всех уголков европейской и азиатской России попадали те, кого по каким-либо причинам было нежелательно убивать на месте, например все те, кто был «амнистирован» местными властями.

Палачи в Холмогорах и Пертоминске прибегали и к другому способу уничтожения заключенных — они их топили. Из всего множества случаев, мне известных, я остановлюсь на следующих.

В 1921 году четыре тысячи бывших офицеров и солдат армии Врангеля были погружены на баржу, и это судно чекисты потопили в устье Двины. Те, которые были еще в состоянии удержаться на поверхности воды, были расстреляны.

В 1922 году несколько барж загрузили заключенными, которых потопили в Двине прямо на глазах у всех. Несчастные пассажиры с других, непотопленных барж, среди которых было много женщин, были высажены на одном из островов около Холмогор и расстреляны из пулеметов прямо с барж.

Массовые убийства на этом острове продолжались довольно долго. Как и «Белый дом», он был завален трупами.

Тех, кто избежал расстрела, охотящиеся за смертью чекисты уничтожали непосильным трудом. Заключенным полагался упомянутый уже паек, а среди них были старики и женщины, которые работали по двенадцать часов. Считалось большой удачей найти гнилой картофель в поле, он прямо сырым с жадностью поедался на месте.

Когда чекисты заметили, что местные жители (саами, зыряне, самоеды) бросали хлеб в толпу заключенных, когда те проходили мимо их хижин, они стали водить их на работу иным маршрутом — через густой лес и болота.

Если новоприбывший заключенный был прилично одет, его тут же расстреливали для того, чтобы поскорее забрать одежду.

Ранним летом 1922 года матрос из Кронштадта, который, к счастью, остался жив, бежал из холмогорского лагеря. Ему удалось добраться до Москвы, где он, используя старые связи, добился приема во ВЦИКе и сказал Калинину: «Делайте со мной что хотите, но обратите внимание на те ужасы, которые творятся в советских лагерях».

А к тому времени чекисты уже уничтожили 90% всех заключенных. «Человеколюбие» коммунистов было доказано с полной очевидностью, и ВЦИК, сменив гнев на милость, снисходительно выслушал мольбы беглого матроса.

В конце июля из Москвы в Холмогоры была направлена комиссия для инспекции лагеря. Ее представителем стал некий Фельдман. Сам Фельдман не сумел скрыть своего ужаса от того, что он увидел и услышал в этих местах. Он расстрелял коменданта лагеря, а его помощников и прочий персонал направил в Москву — якобы для расследования. Но, однако, все чекисты были помилованы и получили ответственные должности в учреждениях ГПУ в Южной России.

Полностью осознавая, что и «Белый дом», и десятки тысяч его трупов были грузом на совести Москвы, Фельдману пришлось уничтожить все следы того, что там произошло. Поэтому он распорядился сжечь все. Комиссия Фельдмана была уполномочена ВЦИКом амнистировать заключенных в обоих лагерях, но только обычные уголовники (шпана) получили свободу. Никто из контрреволюционеров не был амнистирован.

В августе 1922 года оставшихся контрреволюционеров под надежной охраной перевели через Кемь из Пертоминска и Холмогор на Соловецкие острова.

Глава 2. От монастыря к лагерю

Знаменитый Соловецкий монастырь. — Его значимость и экономическая мощь. — Большевистское нашествие. — Разрушение и грабеж. — Учреждение Соловков. — Лагеря и их правители.

Соловецкий лагерь получил свое наименование от Соловецкого монастыря, основанного в 1429 году святыми Савватием и Германом. А святой Зосима в 1436 году воздвиг первую церковь на его территории. Остров (17 миль в длину и 11 миль в ширину), на котором стоит монастырь, является одним из целого архипелага, известного под названием Соловецкие острова. Помимо главного острова, есть еще пять крупных: Анзерский, Большой и Малый Заяцкие, Большая и Малая Муксалма. А также несколько маленьких островков. Они расположены в Белом море при входе в Онежский залив, близко к западному побережью Архангельской губернии.

Соловецкий монастырь — один из самых древних и самых почитаемых в России — долго был славен особым аскетизмом жизни, которую вели его обита-

тели, несметными сокровищами его церквей и большим количеством монахов в обители. Это подтверждалось тем, что количество юношей, посылаемых родителями в монастырь на год, достигало в некоторые периоды двух тысяч.

Монастырь имел среди прочего собственный кожевенный завод, литейную мастерскую, бумажную фабрику, спичечную фабрику, лесопилки, дюжину мастерских различного назначения, печатный двор (все рабочие — монахи), док, торговый флот и даже небольшую военную флотилию для защиты своих берегов. Монастырская артиллерия и пехота состояли исключительно из монахов и также предназначались для охранных целей.

Первые годы революции затронули организационную и экономическую мощь монастыря в очень малой степени, хотя он и находился на главном пути большевистского грабежа. Даже в то время, когда в этих местах находились англичане (стоит напомнить, что Архангельская и Мурманская губернии были некоторое время оккупированы русской белогвардейской армией под командованием генерала Миллера и британскими войсками), монастырь все еще жил своей традиционной трудовой жизнью.

Советская власть с присущим ей насилием и жестокостью разрушила этот в высшей степени обжитой уголок России на Крайнем Севере. Осенью 1922 года все деревянные здания на территории монастыря были сожжены. Большевики начали с того, что уничтожили монахов, начиная с настоятеля монастыря, а оставшихся направили на принудительные работы в Центральную Россию. Сокровища разграбили первые чекисты, которые вступили на территорию монастыря. Оклады икон были выкрадены, а сами иконы святотатственно порублены на дрова. Колокола сбрасывали с колоколен, а обломки увезли в Москву для переплавки.

Помимо множества предметов, ценных в религиозном и материальном смысле, советские варвары уничтожили сокровища, представляющие большую историческую ценность. Чекисты разграбили монастырскую библиотеку, которая в течение пяти веков своего существования пополнялась уникальными произведениями. Редкими книгами растапливались печи, в огне погибли старинные документы и хроники. В конце концов варварские методы нового управления, соединенные с преступным расхищением и некомпетентностью новой советской администрации, привели в упадок и мастерские, принадлежащие монастырю.

Древние здания были превращены в груду развалин. Чекисты огородили монастырь колючей проволокой. Полуразрушенный кремль (основная укрепленная территория монастыря) стал главным управлением СЛОНа.

Все сферы деятельности Соловков находятся под управлением Ведомства по делам — сам Соловецкий лагерь, Кемлагерь на Поповом острове, лагерь на Конд-острове и места ссылок в Печорском и Зырянском районах.

Кемлагерь на Поповом острове (он расположен в четверти мили от побережья и в 26 милях от города Кемь) является основной железнодорожной станцией Соловков. В нем скапливаются до открытия навигации тысячи новых заключенных, заброшенных на Соловки из всех уголков России. Обыкновенные уголовники, которых время от времени амнистируют, начинают оттуда свой путь на юг.

Заключенные непрерывным потоком перевозятся из Кемлагеря в монастырь, а из монастыря — на Попов остров для работы, которая в основном выполняется на этом острове.

Прежде чем перейти к подробному описанию соловецкой администрации, напомню, что когда я прибыл во владения СЛОНа, в лагере находилось более пяти тысяч заключенных трех категорий, описанных в предыдущей главе: контрреволюционеры, политические и шпана (то есть просто уголовники).

В самом монастыре контрреволюционеры и уголовники живут в церквях и кельях на территории кремля, который избежал разрушения. А политические — в скитах отшельников, разбросанных по всему острову в трех, шести, восьми милях от кремля.

На Поповом острове заключенные жили в бараках, построенных британцами, контрреволюционеры и шпана вместе, а политические отдельно.

Самым главным лицом в администрации Соловецкого лагеря особого назначения является московский чекист, член ВЦИКа Глеб Бокий (один из советских пароходов, между прочим, был назван в его честь). Это высокий худой человек, очевидно хорошо образованный. Его манеры в основном производят мрачное впечатление, взгляд острый, пронзительный. Он всегда одет в военную форму. Это типичный непреклонный коммунист с элементами жестокости в характере. Он живет в Москве, где исполняет некоторые обязанности в ГПУ, и только время от времени наведывается на Соловки.

Его заместитель, по фамилии Ногтев, постоянно находящийся в монастырском кремле, и является истинным главой СЛОНа. Судьба заключенных полностью в его руках. Он тоже член ВЦИКа, а прежде был моряком на крейсере «Аврора». Это полуобразованный, выпивающий и несколько глуховатый человек с жестокой физиономией. В лагерях он всем известен под прозвищем Палач. Когда Ногтев обходит бараки и скиты политических заключенных, они громко кричат ему в лицо: «Палач, убирайся!» (Я позже объясню, почему такая вольность остается безнаказанной).

Правой рукой Ногтева и его помощником является эстонский коммунист по имени Эйхманс. Он страдал парадоманией. Будучи помешанным на любви ко всему военному, он требовал того же самого и от заключенных, моря их постоянным голодом. Им всегда вменялось в обязанность приветствовать его по-

военному. Сразу же по прибытии на Соловки он начал приказами и ударами обучать заключенных, как следует отвечать на его приветствие «С добрым утром!» (бодрый военный тон и стопроцентное внимание).

Когда я прибыл на Соловки, вплоть до марта 1924 года комендантом Кемперраспредпункта[3] был некий чекист Гладков, который родился в Центральной России, в Калуге, и прежде был рабочим. Он примечателен своим пристрастием к казенным деньгам и поразительным покровительством шпане.

Почти неграмотный, грубиян, пристрастившийся к вину и картам, он ничем не отличался от обычных уголовников. Все это послужило своеобразной идеологической почвой для того, чтобы Гладков установил произвол и диктатуру шпаны над контрреволюционерами и политическими, а мы были вынуждены сносить все это.

Глава 3. Галерея чекистов

Осужденные чекисты в качестве тюремного персонала. — «Прокурор». — Судьба иностранного гостя. — Ближайший соратник Белы Куна. — «Палки Смоленского». — Бунт в Московской тюрьме. — «Мать» уголовников. — Ненаказанный спекулянт.

В марте 1924 года произошла так называемая смена кабинета. Об этом я постараюсь рассказать ниже. А сейчас я продолжу свой рассказ о руководстве из прежнего состава. Бокий, Ногтев, Эйхманс, Гладков — вот те люди, которые обладают властью. Они присланы из Москвы самим Дзержинским. Остальные представители персонала Соловецкого и Кемского лагерей были заключенными чекистами. В монастыре, на Поповом острове их насчитывалось несколько десятков. Когда уже невозможно стало скрывать от глаз общественности взяточничество, мошенничество, произвол и омерзительное пьянство должностных лиц ГПУ, их начали привлекать к ответу за преступления.

Некоторые из них сосланы в иные места, другие же брошены в лагеря СЛОНа на сроки от двух до десяти лет. Тут они до сих пор используются по «специальному» назначению.

Я помню нескольких из сосланных чекистов, которые занимали и до сих пор занимают важные административные должности на Соловецких островах.

Помощником Ногтева по административной части является некий Васко — грубый и жестокий негодяй. Это существо — «прокурор» Соловецких островов, и все документы, относящиеся к делам сосланных, находятся в его руках.

---

[3] Это ужасное сокращение — прекрасный образец советской официальной фразеологии — обозначает Кемский пересыльно-распределительный пункт. Эти скучные официальные наименования не представляют абсолютного интереса для обычного читателя и приводятся здесь для изучающих проблемы Советской России. — *Авт.*

Значимость деятельности этого человека может быть доказана тем обстоятельством, что все контрреволюционеры и политические считаются осужденными ГПУ (впрочем, всегда в их отсутствие и без всякого судебного разбирательства), а сроки заключения — неизменными. На самом же деле они находятся на положении лиц, чьи дела еще расследуются. В любой момент может быть обнаружена новая улика, имеющая отношение к делу заключенного, и срок будет продлен или его расстреляют.

Работа «товарища» Васко сводится к тщательному поиску любого нового факта или просто голословного заявления, что позволило бы более основательно закрепить арестанта на Соловках. И для достижения этой цели он использует агентов-провокаторов, фабрикует «новые» доказательства и т. д.

Управление технической стороной жизни нынешнего Соловецкого лагеря сосредоточено в руках Роганова — инженера, сосланного на Соловки за преступную профессиональную некомпетентность. Я не знаю, как он руководил на своем посту, но для всех очевидно, что сейчас Роганов, сменивший мундир, ничем не отличается от истинного чекиста: ни отношением к заключенным, ни самодовольным поведением. Его техническими помощниками и в монастыре, и на Поповом острове являются инженеры, набранные из арестантов. Эти люди так же бесправны и беззащитны, как и мы, все прочие.

Руководству Соловецкого лагеря особого назначения было предписано по причинам, о которых я расскажу позднее, добиваться самообеспечения. Под этим подразумеваются различные договоры с Карельской республикой, со всевозможными организациями и центральными властями об использовании труда заключенных на строительстве дорог и зданий, на лесозаготовках. Предпринимаются также попытки вновь восстановить на Соловецких островах разрушенные фабрики и мастерские. Хотя все это, как будет показано ниже, не заканчивается ничем, кроме провала.

Начальник управления СЛОНа в своем распоряжении имеет кого-то вроде «юридического советника по вопросам принудительного труда». Эту практически бесполезную обязанность выполнял Френкель — крупный венгерский фабрикант. Френкель прибыл в Россию по приглашению Внешторга, чтобы заключить торговые соглашения и взять в аренду некоторые советские предприятия на концессионных условиях. Вместо этого он оказался сосланным по приказу ГПУ на Соловки сроком на два года за «шпионаж в пользу международной буржуазии» (ст. 66 Уголовного кодекса). Иногда Френкеля направляют даже в Москву и Петроград по коммерческим и юридическим делам лагеря. Срок его наказания истекает в конце нынешнего года (1925), но, согласно приказу ГПУ от августа

1924 года, с Соловков его пошлют не в Венгрию, а в Нарым, затем в Туруханск и в конце концов — в Зырянский район.

На более низком уровне администрация Соловков состоит из старост, командиров трудовых полков и командиров трудовых рот.

До недавнего времени старостой Соловецкого лагеря (он же и командир трудового полка) был чекист по имени Михельсон — увечное уродливое создание, отличающееся дикой свирепостью. Когда в конце двадцатых годов советская власть осуществляла репрессии в побережном Крыму, Михельсон был правой рукой другого зверя — Белы Куна, бывшего диктатора Венгерской советской республики, которому он помогал в деятельности «председателя триумвирата по руководству красным террором в Крыму». Михельсон, как и Бела Кун, прославился далеко за пределами Крыма казнями десятков тысяч врангелевских офицеров и солдат, а также гражданского населения. В итоге даже сам Дзержинский, которого никак нельзя заподозрить в человеколюбии, вынужден был положить конец крымским варфоломеевским ночам. Белу Куна признали психически неполноценным, это проскользнуло в советских газетах, а Михельсона сослали на Соловки. В настоящее время он руководит действиями ГПУ в одной из автономных республик.

Другая достойная внимания личность — Мариан Смоленский, член Польской компартии — ко времени моего прибытия на Соловки уже числился командиром трудовой роты. В середине 1924 года его освободили, и он получил прибыльную должность в ГПУ. Смоленский не стал военнопленным в период советско-польской войны 1920 года, а перешел на сторону красных по собственному желанию. «Пролетарская солидарность» сочеталась в нем с ненавистью к своим собратьям по классу. Он был неистовым польским шовинистом и к русским относился с такой жгучей ненавистью, что багровел от злости при одном только слове «Россия». Он безнаказанно предавался своей ненависти по отношению к заключенным, которых безжалостно избивал. Имя Смоленского увековечено в анналах Соловков «смоленскими палками», им изобретенными. Это толстые изогнутые дубины, до сих пор используемые для порки арестантов.

Нельзя обойти молчанием и другого командира трудовой роты — Грохальского. Его расстреляли на Соловках осенью 1924 года. Грохальский заявлял, что при царе был офицером интендантской службы. Он производил впечатление человека интеллигентного. У него был один глаз. В конце 1917 года, когда большевики захватили власть, его назначили комендантом Ораниенбаума на Финском заливе. Там ему и выбили правый глаз пулей или ружейным прикладом.

Главная претензия Грохальского на популярность основывалась на том, что он принимал участие в знаменитом московском восстании в Бутырской тюрь-

ме зимой 1923 года. Заключенные, которых годами держали под стражей без предъявления какого-либо обвинения, пришли в полное отчаяние и подняли восстание под руководством политических (социал-революционеров). В одно прекрасное утро вся Москва пробудилась от диких воплей... Арестанты в количестве трех тысяч разоружили внутреннюю охрану тюрьмы и потребовали, чтобы их дела были незамедлительно рассмотрены самим Калининым, председателем ВЦИКа, а также настаивали на отставке прокурора республики небезызвестного Катаняна. Высунувшись из окон, они скандировали на всю Москву: «Мы требуем Калинина, нам не нужен Катанян».

Весь город устремился к тюрьме. Все ведущие к ней улицы были заполнены народом, многие аплодировали. Демонстрацию не удалось остановить ни убеждениями, ни угрозами. Истошные вопли продолжались около двух часов. В конце концов ГПУ применило силу. Два полка специальных войск ГПУ (ЧОН) сломили сопротивление толпы и проложили путь к тюрьме. ГПУ настоятельно потребовало для восставших самого жестокого наказания. Организаторы были в тот же день расстреляны на тюремном дворе, всех остальных избили шомполами. Две недели тюрьма совершенно не отапливалась, хотя стояли сильные морозы. Все окна были разбиты. У узников отобрали шерстяные одеяла, посадив их на голодный паек. Те, которые стонали от холода громче всех, были сосланы на Соловки на пять лет.

В их числе оказался и Грохальский, которого через шесть месяцев все же расстреляли по заявлению Васко, обвинившего его еще и в подстрекательстве к демонстрации.

Квициньский, которого Фельдман отправил в Москву для разбирательства после расследования в Холмогорах, уже известен читателю. За свои страшные преступления он не понес никакого наказания и до сих пор продолжает на Соловках славные традиции «Белого дома», постоянно прибегая к «смоленским палкам».

До смены кабинета весной 1924 года комендантом Кемского лагеря, как я уже упоминал, был Гладков, покровитель всех уголовников. Но гораздо более сильную защиту своих интересов уголовники нашли в лице жены Гладкова, простой калужской крестьянки, в полном подчинении которой находился муж. Ее официальное звание — администратор. Но весь лагерь обращался к ней почтительно, называя Матерью. Этим именем нарекла ее благодарная шпана. И действительно, она была матерью для уголовников, которые с ее благословения отлынивали от работы, освобождались от наказаний, она вступалась за них, когда они грабили или плохо обходились с другими заключенными. Было совершенно бессмысленно подавать жалобу Гладкову, что уголовники украли у вас послед-

ние брюки. Комендант Кемского распределительного центра неизменно давал один и тот же ответ, прибавляя несколько непечатных выражений: «Меня не интересует, ограбили они тебя или нет, раньше у моей шпаны ничего не было, а ты — буржуй».

Под покровительством Гладкова и Матери уголовники осуществляли в лагерях свою диктатуру. Фактически и по сей день они — привилегированная каста, аристократия Соловецких островов.

Помощником кемского коменданта до смены кабинета был Климов, тоже из арестованных чекистов. Прежде чем поступить на службу в ведомство Дзержинского, он являлся комендантом Московского Кремля. Несколько позже находился в свите Троцкого. Будучи переброшенным на службу в ГПУ, он оказался талантливым взяточником. И даже начал отбивать клиентуру у председателя губернского ГПУ, поэтому его шеф избавился от него, сослав на Соловки на десять лет.

Но талантливые люди всегда на виду. На Соловках Климов продолжил свое прежнее занятие — взяточничество. Группа «Казино» привезла с собой во владения СЛОНа большие суммы денег и еще каждый месяц получала дотации от мадам Каменевой. Представители этой группы просто засыпали Климова деньгами, а в ответ он освобождал их от любых работ.

В 1924 году вместо того, чтобы встать перед судом, Климов был переведен в Соловецкий монастырь и там возглавил ВОХР. На его место прибыл человек по имени Правоторов, который вскоре опять уехал и стал комендантом Конда — острова близ Попова острова.

Помощником Гладкова и Матери по хозяйственной части был арестованный чекист Мамонов, молодой человек 22—23 лет. Его сослали на Соловки на десять лет из-за «добродетельных» поступков, совершаемых всеми чекистами: взяточничества, пьянства, жестокого обращения с заключенными.

Несмотря на свою молодость, Мамонов был опытным человеком. Невообразимым воровством государственного имущества (о чем сам регулярно сообщал народу, когда напивался), мошенничеством и некомпетентностью он полностью развалил хозяйство Кемлагеря, а счета привел в безнадежный беспорядок. Московский чекист Кирилловский, который в конце марта 1924 года сменил Гладкова, отказался принять руководство лагерем, пока специальная комиссия не расследует деяния Мамонова. Поэтому центром была назначена следственная комиссия. Она провела за проверкой мамоновских счетов и хозяйственных книг день в день целых пять месяцев. Открылась страшная картина материального урона, воровства и мошенничества, но Мамонов так и не понес наказания.



С. А. Мальсагов (1893–1976).
Участник побега из Кемперпункта в 1925 г. Фото 1926 г.
Из книги С. Мальсагова «Адские острова». Алма-Ата, 1990 г.

С. А. Мальсагов в кругу родных.
Из книги С. Мальсагова «Адские острова». Алма-Ата, 1990 г.





Кемский пересыльный пункт.
Кадр из фильма «Соловки» (1928 г.)



Tuntomerkkejä.

Pituus .....
Varlalo .....
Hiukset ruskeat
Kasvojen muoto soikea
Silmät ruskeat
Nenä suora

Erikoista tuntomerkkejä .....

Suku- ja ristinimet Bezonoff, Georg
(Vanhempien nimet " Dmitri, Pakt
(Vaimo ja lapset Polozajeff, Nina
Syntymäaika ja -paikka 22/3 1891 Pietarissa
Ammatti Liikemies
Kansallisuus ..... *Alamaisuus*
Kirjoilla .....
Asunto tai olinpaikka (milloin?) .....
Puoluekanta .....

Merkintöjä toiminnasta: Loukok. 1925 karannut

Pidätykset: Kainuun Rajavartio pid. 24/6-25 sal
1/7-25 Oulun l. vk:aan, pan. 4/7-25 26:jen l. vk:sta
K:jen l. vk:aan.

Анкета Ю. Д. Бессонова для сыскной полиции Финляндии.
Из книги Е. Г. Сойни «Солоневичи и Север». Петрозаводск, 2010 г.



Ю. Д. Бессонов (1890–1959).
Снимок сделан вскоре после успешного побега из Кемперпункта в 1925 г.
Из книги Ю. Бродского «Соловки. Двадцать лет особого назначения». М., 2002 г.



Группа ссыльных эсеров в Чимкенте. Е. Л. Олицкая – четвертая слева во втором ряду, перед ней – А. В. Федодеев, из-за его плеча выглядывает их дочь. 1928 г.
Из архива Д. Ф. Калюжного



Е. Л. Олицкая (1900–1974). Эсерка. В лагерях и ссылках провела около 40 лет. Умань. Июнь 1974 г.
Из архива Д. Ф. Калюжного



А. С. Л. Шауфельбергер (1874–1938). На Соловках был в 1924–1927 гг.



Монастырское кладбище с храмом прп. Онуфрия Великого. В лагерное время здесь хоронили умерших заключенных I отделения. *Фото Я. Лейцингера. Кон. XIX в.*



Свято-Троицкий скит на о. Анзер. В лагерное время здесь располагалась командировка VI отделения. *Фото нач. XX в.*



Выгрузка в порту. *Фото П. Д. Барановского. Август 1923 г.*



Платформа Торфразработки. *Кадр из фильма «Соловки» (1928 г.)*



На торфоразработках. За смену женщина должна была перевернуть 7000 тяжелых торфяных кирпичей. *Кадр из фильма «Соловки» (1928 г.).*



Женская портновская мастерская.
Заключенные женщины за работой. *Фото Е. Эрлиха. 1924 г.*



Обработка кож. В 1928 г. план для кожевенного завода
составил обработку 20 тысяч разных кож
и изготовление 20 тысяч пар обуви. *Фото В. Блувштейна. 1928–1929 гг.*



Сапожная мастерская. *Фото В. Блувштейна. 1928–1929 гг. Из фондов СГИАПМЗ*





Группа заключенных с охранниками в Кемском пересыльном пункте.
Кадр из фильма «Соловки» (1928 г.)



Отправка заключенных из Кемперпункта. *Кадр из фильма «Соловки» (1928 г.)*



Браз О. Э. Вид на монастырь со стороны Никольских ворот. Акварель. 1925 г.



Браз О. Э. Вид на монастырь со стороны Святого озера. Акварель. 1925 г.



О. Э. Браз (1872–1936). Заслуженный профессор Императорской Академии художеств. В 1924 г. арестован и сослан на Соловки. *Из книги «225 лет Академии художеств СССР: каталог выставки (1757–1919)». М., 1983 г.*



Б. Л. Седерхольм (1884–1933). В лагере на Соловках находился в 1925 г.



Прибытие новой партии заключенных. Сер. 1920-х гг. *Из фондов СГИАПМЗ*



Оборот фотографии
от 19 ноября 1925 г.
Факсимиле подписей
священнослужителей –
узников Соловецкого лагеря



Протоиерей П. Чехранов (1875–1961).
Арестован в 1923 г. Осужден на три года



Священнослужители – узники Соловецкого лагеря.
19 ноября 1925 г. *Из архива В. П. Чехранова*



Священнослужители на Соловках. 1924 г.
Слева направо: сидят: о. Алексий Шишкин,
еп. Митрофан (Гринев), архиеп. Иларион (Троицкий),
архиеп. Евгений (Зернов), еп. Захария (Лобов), о. Павел Чехранов;
стоят: о. Симеон Краснов, о. Илия Пироженко, о. Алексий Трифильев,
о. Петр Фалевич, о. Владимир Вологурин. *Из архива В. П. Чехранова*



Группа священнослужителей и мирян,
выходящих из кладбищенского храма
прп. Онуфрия Великого.
Кадр из фильма «Соловки» (1928 г.)



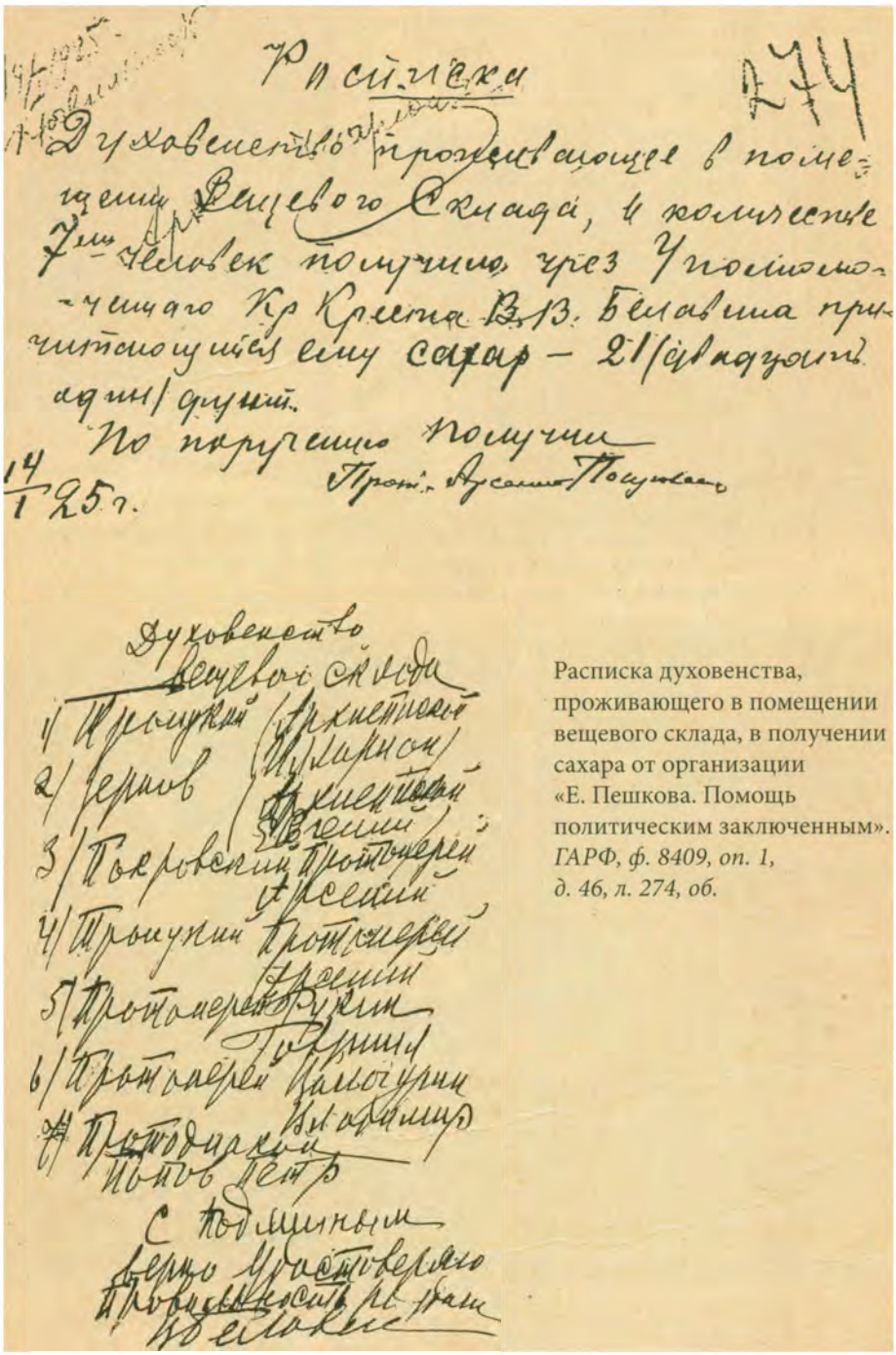
На почте. Выдача посылок. Предположительно крайний справа –
о. Владимир Лозина-Лозинский. *Кадр из фильма «Соловки» (1928 г.)*



Группа заключенных священников на Филимоновской тоне за вязкой сетей.
Второй слева во втором ряду – архиеп. Иларион (Троицкий). 1926 г.



Список духовенства, содержащегося в I отделении (Кремль), и подписи в получении или отказе от пайка от организации «Е. Пешкова. Помощь политическим заключенным». *ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 16, л. 189, об. 1924 г.*



Расписка духовенства, проживающего в помещении вещевого склада, в получении сахара от организации «Е. Пешкова. Помощь политическим заключенным». *ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 46, л. 274, об.*

Глава 4. Лагерь на Поповом острове

Холод, сырость и тьма. — Лагерь, его географическое положение и «прелести». — Последние усовершенствования. — Легкий труд за большую взятку.

Сама природа противится существованию такого явления, как каторга. Соловецкие лагеря особого назначения находятся очень далеко на севере. Климат там суровый и влажный. Лето длится только два — три с половиной месяца. Снег начинает стаивать очень поздно, и весна всегда задерживается. Часты бури, метели, пронизывающие северо-восточные ветры. Девять месяцев в году Соловецкий монастырь полностью отрезан от внешнего мира. Долгая темная зима особенно угнетает, тем более что освещение в бараках скудное. Сырость, идущая от соловецких болот, вредно воздействует на здоровье заключенных, изнуренных тяжелым физическим трудом.

Монастырский кремль, огороженный высокой каменной стеной, напоминает крепость. Там, в бывших монашеских кельях, живут контрреволюционеры и шпана. Им пришлось самим обеспечить себя койками, столами и топливом. Кроме того, эти группы заключенных занимают еще и церкви. Последние не так давно были разграблены, и многие из них стоят с разбитыми окнами. Помимо основных (Преображенского, Троицкого, Зосимо-Савватиевского и Успенского соборов, а также храмов святителя Филиппа и Благовещения Богородицы) существует еще около десяти церквей и часовен, а также множество отдельных отшельнических жилищ, в которых расквартированы политические. Чекистам же отведены дом архимандрита и лучшие кельи.

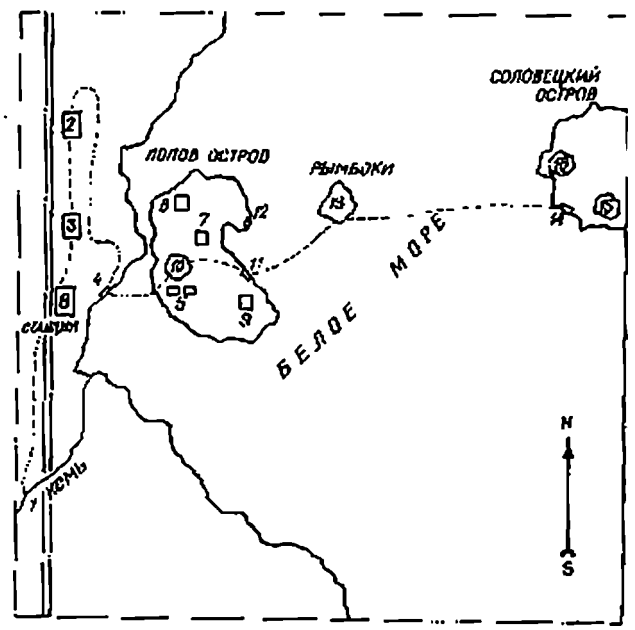
Попов остров имеет около 3 миль в длину и 2 мили в ширину. Пролив между ним и материком узок (всего в четверть мили) и неглубок. Поэтому оказалось возможным перекинуть через него мост на деревянных сваях для узкоколейки, которая связывает остров с городом Кемь, ответвлением от линии Петрозаводск—Кемь—Мурманск.

Расстояние между станцией на Поповом острове и станцией Кемь (она находится в двух милях от города) около восьми миль; кроме того, ближе к Кеми на железной дороге есть еще и полустанок. От лагеря к островной станции идет деревянная пешеходная дорога из бревен. И точно такие же дороги внутри самого лагеря связывают его строения.

На восточной стороне Попова острова находятся две пристани — северная и южная. Используется же только последняя. Попов и Соловецкие острова разделяют около 40 миль: 12 миль до Рымбаки и еще 28 миль от Рымбаки до Соловецких островов. Море между Поповым островом и Рымбаки зимой не за-

мерзает, а между Рымбаки и Соловецкими островами замерзает. На Рымбаки находятся маяк и склады.

Фабрика «Северолес» расположена близко к южной пристани. На ней используется труд заключенных. Два больших здания рядом с лагерем близ склада лесоматериалов заняты красноармейцами 95-й дивизии.



Попов остров и его окрестности

1. Река Кемь
2. Избушка станционного рабочего
3. Полустанок
4. Место, где начался наш побег (пунктирная линия указывает наш маршрут в течение первой недели)
5. Два здания, занятые 95-й дивизией ГПУ
6. Телеграфная станция
7. Склад лесоматериалов
8. Железнодорожная станция
9. Здание «Северолеса»
10. Лагерь, огороженный проволочным забором
11. Южная пристань (действующая)
12. Северная пристань (бездействующая)

13. Маяк
14. Пристань
15. Соловецкий монастырь, огороженный проволочным забором
16. Секирная гора (Секирка) — место наказаний

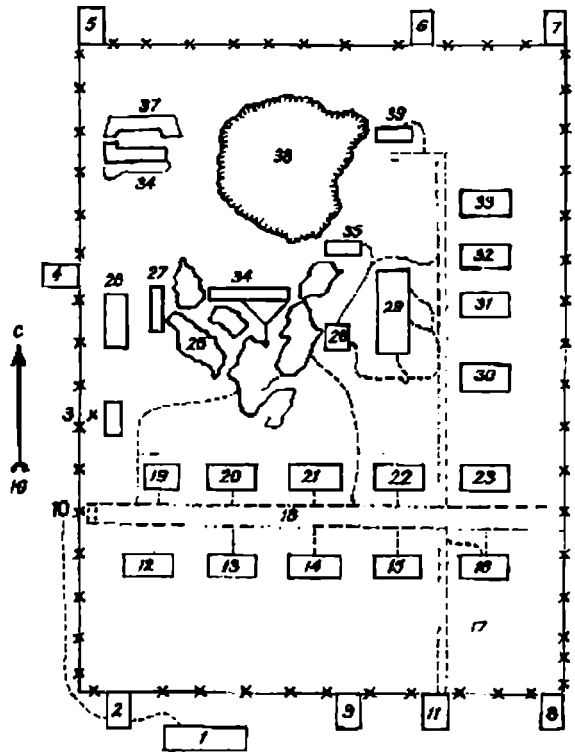
На северной оконечности находится телеграфная станция. Зимой это единственное средство связи с Соловецкими островами. Монастырский телеграф расположен в кремле. В ясную погоду с пристани Попова острова можно четко рассмотреть знаменитую Секирную гору на Соловецком острове.

Сам концлагерь имеет вид прямоугольного огороженного пространства, приблизительно в 200 ярдов длиной и 150 шириной. Он стоит на болоте в юго-восточной части острова, а вокруг разбросаны груды камней. Близость болота способствует распространению малярии, цинги и легочных заболеваний. На Соловках заключенные ужасно мучаются из-за отвратительных комаров, которые роятся на болоте, никому не давая покоя ни днем ни ночью.

Лагерь[4] огорожен высоким проволочным забором. Вдоль него через определенные интервалы высятся часовые сторожки, вмещающие по восемь человек. В караульном помещении (вне лагеря) размещаются красноармейцы (в количестве 38 человек), являющиеся резервной силой. Они выполняют функцию наружной охраны и оказывают помощь в случае необходимости. Дежурные чекисты расквартировываются внутри лагеря в комендантской.

Все входы в лагерь и выходы из него осуществляются через главные ворота, охраняемые специальным караулом. Другие ворота (на плане помечены цифрой 11) постоянно заперты. Они считаются запасными. Большая часть лагерных бараков сооружена британцами, действовавшими совместно с Русской северной армией под предводительством генерала Миллера. Руками заключенных уже при советском режиме построено совсем немного. До 1925 года в лагере не имелось ни уборной, ни больницы, ни электростанции, ни мастерских; не было и дорог, ни деревянных, ни грунтовых. Совсем еще недавно случалось, что арестанты тонули в липкой болотной жиже, а бараки заливались потоками жидкой грязи. Деревянные дороги из досок и планок поддерживаются утопленными в болоте сваями. Таких дорог и тропинок всего пять. Самая большая из них идет от главного входа до восточной стороны проволочного забора и называется Невским проспектом. Другие дороги проходят от запасных ворот к Невскому проспекту и от него к уборной, к бараку № 1 (на плане он помечен цифрой 29), где живут политические, и от крайнего складского помещения к больничному бараку (на плане помечен цифрой 36).

[4] Имеется в виду лагерь на Поповом острове.



План лагеря на Поповом острове

1. Караульное помещение
2–9. Сторожки для часовых (в каждой по восемь человек) вдоль проволочного забора
10. Главные ворота
11. Запасные ворота
12. Женский барак (из двух отделений)
13. Лагерные чиновники и технический персонал
14. 2-я трудовая рота
15–16. 1-я трудовая рота
17. Деревянная дорога от запасных ворот
18. Невский проспект
19. Комендантская
20. Специализированная трудовая рота.
21–22. 3-я трудовая рота
23. Тюрьма, дежурный квартирмейстер

24. Кузница
25 (a, b, c). Груды камней
26. Мастерские
27. Электростанция
28. Кухня
29. Барак для политических
30–33. Склады
34. Уборная
35. Помойка
36. Больница
37. Лошади, телеги
38. Овраг
39. Сеновал

Грунтовые дороги проходят от Невского проспекта вдоль линий складских помещений (30–33 на плане), а от Невского проспекта мимо кухни, мастерских, электростанции к больнице, и от комендантской мимо бараков, где расквартированы контрреволюционеры и шпана. Кроме перечисленных, имеются еще несколько узеньких и неровных дорожек через болото — от барака политических к кухне и в другом месте.

Комендантская — здание № 2 (на плане цифра 19). Это помещение поделено на несколько отсеков, предназначенных для различных отделов управления лагерем: административного, хозяйственного и т. д. «Специализированная» рота, расквартированная в бараке № 4 (цифра 20 на плане), состоит из портных, сапожников, столяров и других специалистов, которые удовлетворяют нужды администрации и красноармейцев.

Электростанция находится на попечении инженера по фамилии Красин. Прежде он был таможенником, но его уволили за спекуляции и сослали на Соловки. За мастерскими наблюдает «приверженец» Савинкова. Кухня вверена бывшему полковнику Решевскому, а конюшня — другому контрреволюционеру, Ларину.

Делами лагеря управляет некий Павлов (Николай Иванович), продажный мошенник. Он берет взятки по аукционному принципу: тот, кто предлагает больше всего денег, высвобождает себе день. Приведу такой пример. На Поповом острове нет воды, ее необходимо доставлять из Кеми. Для этой цели предназначены две телеги с цистернами. Поскольку возить воду — самая легкая работа по сравнению с выкорчевыванием пней, за такой труд заключенные отчаянно соревнуются. И Павлов открыто спрашивал, кто больше заплатит за эту работу. Были трое арестантов, которые ухитрились провезти с собой крупные суммы

денег. Они и предложили больше остальных (в складчину 150 рублей) и возили воду до самого моего побега.

Высокое лагерное начальство проживает в небольшой рыбацкой деревушке (около 70 изб), недалеко от проволочного забора. Во время дежурства старшее должностное лицо квартирует в лагере.

Глава 5. Тирания уголовников

Распределитель. — Ограблены в первую же ночь. — Неписанный закон уголовников. — Наказание предателя. — Профессорская посылка. — Удачное вымогательство.

Все прибывшие на Попов остров заключенные направляются в лагерный распределитель. Не успели вы ступить на злополучную землю Соловков, как тут же ощущаете на себе всю силу шпаны. Когда наш этап, состоящий из кавказских контрреволюционеров, духовенства, группы «Казино» и многих других, приблизился к бараку № 6 (распределителю), то навстречу нам вышли вооруженные чекисты из заключенных. Им хотелось знать, были ли среди нашего этапа сотрудники или агенты ГПУ, так как последним ни в коем случае не следует входить в распределитель, иначе им грозит неминуемая смерть от уголовников. Несколько человек отошли в сторону. Остальные проследовали в барак № 6. Это был огромный деревянный сарай, до отказа набитый шпаной. Койки в нем располагались в два яруса один поверх другого. Ложа и пол под нижним ярусом были покрыты полуобнаженными телами. В воздухе стоял такой ужасный смрад, что я едва удержался на ногах. Раздавались вопли и плач, отвратительная брань. Лампа в углу давала скудный свет.

Я потому так подробно описываю распределитель, что все вновь прибывшие вынуждены пройти через этот мучительный этап своей неволи. Кроме того, ничто другое не может столь красочно охарактеризовать в целом условия соловецких лагерей.

Будучи наученными своим прежним ростовским опытом, мы улеглись на собственные вещи, подложив их под головы. Но этой меры предосторожности оказалось совсем недостаточно. Ночью меня разбудил страшный шум. Пристально вглядываясь в полутьму, я с ужасом осознал, что все вещи наши разворованы: съестные припасы растащены, корзины, чемоданы и коробки грубо вскрыты. Из одного угла раздавались вопли — там своеобразная судебная комиссия уголовников приговорила к порке своего дружка, прибравшего слишком много чужого добра. В другом углу трое уголовников били четвертого по голове деревянными брусьями. Он истекал кровью, но белье, которое цепко сжимал в руках, не отдавал. На верхнем ярусе, под самым потолком, на наши же деньги уголовники

играли в «три листика» (русская карточная игра). Около дверей группа шпаны заключала торговую сделку с охранником, обменяв чей-то плед на спирт.

На следующее утро мы, представители контрреволюционной группы, решили, что подавать жалобу бессмысленно. Но один заключенный из политических, эсер тоже из нашего этапа, с негодованием сообщил коменданту о поведении шпаны, по милости которой он остался среди зимы в одной рубашке. Комендант ради проформы явился в барак и очень нерешительным тоном потребовал: «Верните вещи. Что за безобразное поведение!» Уголовники ответили раскатистым хохотом. Не защити мы того человека, он в следующую ночь был бы убитым.

Утром епископу Илариону (Троицкому), ближайшему соратнику патриарха Тихона, давнишнему обитателю лагеря, было приказано сопровождать наш этап в барак № 9.

Обычные уголовники тесно объединены неписанным внутренним законом. Эти полуголодные, полуобнаженные висельники, во множестве гибнущие ежедневно от цинги и сифилиса, тем не менее никогда не идут на риск. Особые благосклонность и покровительство, которые соловецкие власти распределяют на шпану, довольно легко объяснимы.

Враждебность, инстинктивно испытываемая уголовником к контрреволюционеру, образованному барину, в равной же степени присуща и каждому чекисту, поскольку он тоже видит в любом контрреволюционере монархиста и буржуа. Другая причина, делающая бесплодными жалобы на шпану, состоит в том, что большая часть соловецкой администрации тесно связана с уголовниками не только идейно, но и общим дореволюционным прошлым.

Когда я попал на Попов остров, шпаны в лагере насчитывалось 1400 человек. Число контрреволюционеров могло быть несколько раз поделено на эту цифру. А политических было всего около 70 человек. Последние по причинам, о которых я скажу ниже, совершенно не работали. К тому же Мать постоянно освобождала уголовников от любых форм труда. Поэтому на плечи контрреволюционеров ложилась страшным грузом непосильная ноша изнурительного труда. Итак, шпана работает мало, политические не работают вообще, работают только контрреволюционеры.

Своеобразный этический кодекс соловецких уголовников объединяет всех их в неделимый союз. Этот закон применяется самым жестоким образом. Если уголовники обнаруживают, что среди них оказался «ссученый» (на их языке данное слово означает «изменника», разглашающего властям тайны), то его немедленно убивают наимучительнейшим способом. Нигде в такой степени не реализуется принцип «один за всех, все за одного», как среди уголовников.

В середине 1924 года шайка разбойников, которой долгое время удавалось избегать поимки, наконец была арестована в Москве. Их главарем был бандит по имени Моисейко. Дружки-грабители прозвали его Петлюрой. И поэтому члены банды именовались «петлюровцами». Эти разбойники имели на своей совести, помимо нескольких вооруженных налетов, и множество «мокрых дел».

«Мокрое дело» на воровском языке означает убийство. Один из наиболее активных «петлюровцев», известный по кличке Аврончик, сделался «ссученым», предал шайку и способствовал ее аресту. Банда состояла из 38 человек обоих полов, 30 из них были посланы «налево» (воровское жаргонное название расстрела) в Бутырской тюрьме в Москве. А восемь человек (среди них Аврончика, а также четырех женщин, жен расстрелянных) отправили на Соловки. Когда предатель оказался в распределителе, чудом уцелевшие «петлюровцы» чуть не до смерти избили его. «Петлюровцев»-мужчин тут же арестовали, а Аврончика поместили в больницу. Но даже там ему не удалось спастись. Четыре женщины из банды проникли в больницу и убили Аврончика, проломив ему череп. Дело было переслано в Москву. ГПУ ответило коротко: «Расстрелять». И в ноябре 1924 года оставшиеся «петлюровцы» — мужчины и женщины — пали от чекистских пуль, своей гибелью подтвердив верность принципам уголовников.

Если шпана не опасается убивать тех, кто ей неугоден, то еще меньше ее смущает грабеж всех и каждого. Кроме того, к грабежу вынуждает уголовников и постоянный голод, холод (на Соловках довольно часто можно видеть заключенных из шпаны совершенно голыми), их пристрастие к картам и вину.

Грабежи, неизменными жертвами которых являются контрреволюционеры, реализуются с профессиональным мастерством. Как я уже говорил, по прибытии на Попов остров нас перевели из барака № 6 в барак № 9. Последний состоял из четырех отделений, разделенных деревянными перегородками. В первом отделении жил староста лагеря, во втором — «казиношники», третье служило лагерной тюрьмой и в четвертом располагались мы, контрреволюционеры, имея с тюрьмой общую стену.

Несколько раз шпана проделывала с нами такого рода трюки. Уголовники совершали серьезные нарушения и намеренно попадали в тюрьму. Там они буравили в деревянной стене, отделяющей тюрьму от нашего помещения, отверстие ближе к полу и ночью, бесшумно проползая под нарами, выкрадывали вещи, продукты и деньги. И если кто-либо пытался требовать назад свою собственность, уголовники забивали его до полусмерти.

Шпана всегда делилась своей добычей с лагерной охраной и со старостой. И поэтому никто из них совершенно не обращал внимания на наши жалобы. А однажды староста даже заявил, что это мы сами грабим друг друга.

Иногда грабежи сменялись бесстыдными вымогательствами, тоже при попустительстве со стороны персонала. Например, среди заключенных нашего барака находился профессор Кривач-Неманец, очень старый человек (примерно 70 с лишним лет). По национальности чех, до тюрьмы служил переводчиком в Комиссариате иностранных дел. Его сослали на Соловки (на десять лет) по той же ст. 66 УК, что и всех остальных иностранцев — «шпионаж в пользу международной буржуазии». Конечно же, он был совершенно невиновен. Кривач-Неманец пользовался большим авторитетом в лагере. Его глубоко уважали главным образом за то, что он бегло разговаривал практически на всех языках мира, включая китайский, японский, турецкий и, естественно, европейские.

Профессор получил посылку с подарками от политического Красного Креста, возглавляемого мадам Пешковой, женой Максима Горького. Данная организация опекала только политических заключенных и, очевидно, считала контрреволюционеров обычными бандитами, бросив их на произвол судьбы, на милость соловецкой администрации и шпаны.

Профессор радовался посылке как дитя, но, увы, недолго. Шпана вновь оказалась в тюрьме. Бандиты еще раз проломили стену и похитили наши вещи, включая и посылку Кривач-Неманеца. Наутро уголовники прибегли к шантажу. Нам всем хорошо был знаком этот метод. Через чекиста они прислали профессору письмо, в котором предлагали ему вернуть вещи за 6 червонцев (около 6 фунтов). Чех, промерзший в насквозь продуваемом бараке, счел искренним это предложение, несмотря на наши предостережения. И послал шпане через того же чекиста все деньги, буквально оставшись без копейки. Как мы и предвидели, ни вещи, ни деньги ему не возвратили. Некоторое время спустя несколько уголовников уехали с Соловков, среди них были и ограбившие профессора. По дороге на юг они послали ему письмо, в котором обещали «всегда помнить дорогого профессора, не забывать его до последних своих дней».

Грабеж контрреволюционеров считался у уголовников чуть ли не делом чести — ограбить собственного товарища было строго наказуемым преступлением. Посылки для контрреволюционеров и политических хранятся в специальном помещении на Поповом острове в течение осени и зимы, пока не откроется навигация и не станет возможным сообщение с монастырем. Когда наступает весна, их переправляют в монастырь на специальном пароходе. Несколько раз уголовники вламывались в это помещение, безнаказанно наслаждаясь плодами своего грабежа. И это полностью оправдывалось их сотоварищами. Но однажды, когда в разграбленном бараке оказалось несколько посылок для уголовников, с виновниками обошлись самым жестоким образом: двое взломщиков были просто убиты.

Глава 6. Контрреволюционеры

Самая тяжелая работа для контрреволюционеров. — «Контрреволюционер» — многозначный термин. — Пестрое разнообразие. — Особые гонения на духовенство. — Выдающиеся деятели Церкви.

Политические на Соловецких островах живут в отдельных кельях, в скитах отшельников. А на Поповом острове — в специальном бараке. Контрреволюционеры же в монастыре и в Кемском лагере находятся вместе с обычными уголовниками. Монастырские кельи и лагерные бараки заполнены до отказа тщательно перемешанной людской массой шпаны и контрреволюционеров. Последние не только выполняют самую тяжелую работу и содержат в порядке собственные помещения, но помимо этого им вменяется в обязанность и мытье нар уголовников от грязи, очистка их от остатков пищи, плевков и вшей. Как только прибывает новая партия контрреволюционеров, ее тут же заставляют мыть бараки, которые настолько загажены шпаной, что после этой повинности они просто заболевают.

В 1924 году два полных месяца полторы тысячи контрреволюционеров были привлечены для очистки лагеря на Поповом острове. Достаточно сказать, что очень часто уголовники отправляют свои естественные надобности прямо на месте, то есть в бараках.

Конечно, уголовники нисколько не испытывают благодарности за все, что для них делается. Напротив, этот труд, глубоко унижающий человеческое достоинство, воспринимается шпаной как должное. Исполнители этого позорного труда с благословения лагерной администрации подвергаются все новым и новым издевательствам. К примеру, когда мы вычистили указанный администрацией грязный барак, «благодарная» шпана прислала нам ультиматум с подробным перечнем большого количества продуктов: чая, хлеба, сахара, табака и т. д. Все это немедленно должно быть вручено уголовнику, принесшему ультиматум. Предварительно предупредили, что в случае отказа нас сначала изобьют, а потом дочиста ограбят. Мы вынуждены были отдать требуемые продукты. Такого рода ультиматумы пользуются большой популярностью среди шпаны. Она забрасывает ими контрреволюционеров и в монастыре, и в Кемлагере.

Очень трудно дать точную оценку или сделать тщательный анализ той категории заключенных, к которой относятся контрреволюционеры. На Соловках их довольно много — около трех тысяч. Они включают в себя разнородные элементы. Разделение их на группы, даже на условные, приведет читателя к осознанию того, кто они есть на самом деле и почему они находятся на Соловках. Но этого будет явно недостаточно. В лагерях имеется много контрреволюционеров, которых вообще невозможно классифицировать.

В Соловецком лагере особого назначения немало представителей так называемых гуманитарных профессий: адвокатов, литераторов, учителей, врачей. Очень много учителей начальных и средних классов, а также университетских преподавателей, как мужчин, так и женщин, причем последние составляют большинство. Имеется немалое количество крестьян, рабочих, ремесленников и мелких служащих. Довольно хорошо представлены донские, кубанские, сибирские казаки и народы Кавказа. Из нерусских, являющихся советскими подданными, наиболее многочисленны на Соловках эстонцы, поляки, карелы (некоторые из них вернулись из Финляндии, поверив в амнистию) и евреи. Последние преимущественно присылаются сюда со своими семьями и за причастность к сионизму, и за экономическую контрреволюцию, и за так называемый «вооруженный бандитизм», под которым ГПУ подразумевает все, что ему заблагорассудится: от членства (даже в прошлом) в монархической партии до производства фальшивых банкнот.

На Соловках много иностранцев, о которых более подробно я скажу ниже.

Самые большие группы заключенных составляют офицеры старой и новой армий, деловые люди дореволюционной поры и нэпманы, видные представители старого режима — бюрократы и аристократы, а также духовенство.

В настоящее время здесь находится приблизительно 300 епископов, священников и монахов. К этому количеству следует прибавить несколько сотен мирян, сосланных вместе с духовными лицами, главным образом по ст. 72 УК — «Религиозная контрреволюция, сопротивление конфискации церковных ценностей, религиозная пропаганда, обучение детей в религиозном духе» и т. д. Духовенство на Соловках, хотя и является самой притесненной и униженной лагерными властями группой заключенных, обращает на себя внимание смирением и стоицизмом, с которыми оно переносит физические и нравственные страдания. Будучи приученными с детства к тяжелому физическому труду, представители духовенства справедливо почитаются лучшими работниками в лагере. И с этой точки зрения почти по достоинству оцениваются администрацией, хотя они и эксплуатируются самым бесчестным образом. Священников посылают на изнурительнейшие работы; например, все отрезки узкоколейки были уложены исключительно духовными лицами. Естественно, любые виды религиозных служб находятся под запретом. В лагере на Поповом острове скончался один священник, немощный старик. Перед смертью он со слезами на глазах умолял коменданта позволить владыке Илариону преподать ему святое причастие. Комендант в оскорбительной форме отказал умирающему.

Каждый день считается рабочим, и на Пасху или Рождество власти стараются поручить представителям духовенства наиболее унизительную работу, например чистку отхожих мест.

В Соловецкий лагерь особого назначения заключены следующие известные деятели Церкви. Владыка Иларион (Троицкий) — глава Московской епархии, самый близкий помощник последнего патриарха Тихона. Ни на свободе, ни в тюрьме архиепископ Иларион не вступал в конфликт с советской властью, но он всегда был решительный сторонник истинного Православия в противовес «новой церкви», которую щедро субсидирует ГПУ. За отстаивание религиозных убеждений и за тесную связь с патриархом Тихоном епископа сослали на три года в Архангельск, где он отбыл срок наказания в самых ужасных условиях. По возвращении в Москву вновь принялся энергично бороться против «новой церкви». Мастерски участвовал в богословских дискуссиях, немилосердно развенчивая коммунистический вздор своего оппонента Луначарского, и снова был сослан, на сей раз на Соловки.

Владыка Михаил (Лемешевский) управлял делами Петроградской епархии после расстрела митрополита Вениамина. Приговоренный к ссылке по ст. 72 УК («Религиозная контрреволюция»), под которой большевики подразумевают защиту «новой церкви» от разрушительных натисков Православия, в сентябре 1924 года епископ прибыл на Соловки.

Шесть других епископов и монахов, а также двенадцать мирян были высланы в то же время и по той же статье.

Епископа Серафима Колпинского, епископа Петра (Соколова), исполнявшего обязанности епископа Саратовского, и епископа Питирима (Крылова), игумена казанского монастыря, а также пятнадцать представителей монастырского черного и белого духовенства, всех до единого, сослали на Соловки по той же 72-й статье.

Сотни прочих епископов, священников и монахов депортировались не только из-за того, что исповедуемая ими религия была «опиумом для народа», но и потому, что они не желали оправдывать разграбления церквей якобы для помощи страдающим от голода, а наоборот, публично осудили эту акцию как дело рук сторонников «новой церкви», подкупленной государством.

Глава 7. Жертвы ЧК: некоторые странные случаи

Жена и муж. — Обман ежегодной амнистией. — Ужасный конец Бориса Савинкова. — Помощь голодающим — «преступление». — Дзержинский в неожиданном освещении. — Неутомимый охотник за паразитами. — Пытки старых заложников.

Причины, по которым людей ссылают на Соловки, так разнообразны и настолько безосновательны, что их невозможно расценить как простое изобретение чекистской «юриспруденции».

К примеру, среди заключенных находится престарелая графиня Фредерикс. Во время войны в качестве сестры милосердия от Красного Креста эта пожилая дама исполняла великую миссию, заботясь о раненых офицерах и солдатах. А сейчас она не получает никаких посылок от Красного Креста, но чем может помогает больным и постоянно находится в полуголодном состоянии, без конца подвергаясь насмешкам и оскорблениям. Ее сослали только за то, что она имела несчастье быть сестрой графа Фредерикса, министра Императорского двора при казненном царе. Его хорошо знали как ближайшего советника Николая II. Именно тогда, когда графиню сослали на Соловки, сам граф, глубокий старик почти столетнего возраста, до последнего времени жил на свободе в Петрограде. Только относительно недавно ему разрешили выехать в Финляндию.

В одной из келий Соловецких островов (в так называемом женском здании) томится жена известного государственного деятеля старого режима, страдая от недоедания и непривычного тяжелого физического труда. Официальное заключение по ее делу гласило: «Сослать на Соловки на пять лет жену министра Николая Кровавого», в то время как сам министр занимал высокую должность в советском правительстве.

Слесаря по фамилии Тимошенко привезли на Соловки из Воронежа на двухлетний срок. Это был обыкновенный рабочий, ничего общего не имеющий с политикой. Он все время пытался добиться ответа на вопрос, за какое такое преступление его бросили в концлагерь. И только в 1925 году, по прошествии двух лет заключения, его обвинили в принадлежности к «контрреволюционной организации Савинкова» и увезли в Нарымский край еще на три года.

В это время из Новохоперска (уездный город в Воронежской губернии) на Соловки были еще присланы «савинковцы». Среди них Врашников, бывший управляющий владениями графа Воронцова-Дашкова на Кавказе, Савинов — специалист, Кривякин — управляющий делами в советском учреждении и другие. К ним следует еще прибавить инженера из Полтавской губернии по фамилии Новицкий и группу воронежских крестьян. Многие из крестьян, когда им говорили на Соловках, что обвиняются в соучастии в «савинковском заговоре», с подозрением спрашивали: «Савинков? Кто он, генерал?».

В мою бытность на Соловках туда прибыл некий Эпштейн, приговоренный к трем годам. Когда он спросил, почему его высылают, то получил от следователя такой ответ: «Потому что вы — деловой человек».

Аналогичный ответ услышал и другой «преступник» — еврей-портной по фамилии Гуриев, в прошлом владелец магазина готовой одежды (сейчас он заведует швейной мастерской в Кемлагере).

Не так давно из Польши в Россию бежали два поляка: Минич и Винтовский. Пограничные власти устроили пышную встречу беглецам, «спасшимся от жестокой неволи польских панов». Но Московское ГПУ отправило их на Соловки на три года. Оба поляка проклинают сейчас тот день, когда решили пересечь границу «самого свободного в мире государства».

Ежегодно в Кемь прибывает две тысячи контрреволюционеров, которые пересылаются на Соловецкие острова с открытием навигации. Наибольшее число их поступлений приходится на предшествующий 7 ноября месяц, то есть день большевистской революции 1917 года (25 октября по старому стилю). К данному юбилею ВЦИК каждый раз обнародует крупномасштабную амнистию для «всех врагов правящего пролетариата», развенчивая таким образом «злобную ложь международной буржуазии и бесстыжих эмигрантов» о жестокости советской власти. На деле разыгрывается настоящий спектакль (иначе не назовешь). Председатели провинциальных и районных отделений ГПУ, выполняя декреты «гуманного» ВЦИКа, расстреливают половину своих заключенных за несколько дней до объявления амнистии, а остальных направляют в концлагеря. Выходит в действительности, что в день 7 ноября никого не амнистируют, так как никто не попадает под сроки действия постановления об амнистии. От всей этой процедуры получают удовлетворение лишь ВЦИК и ГПУ, ибо «ложь бесстыжей буржуазии» разоблачена.

Я мог бы заполнить целые страницы именами людей, «амнистированных» таким образом. Приведу случай, когда был «амнистирован» не только сам человек, оказавшийся весьма недальновидным, но и все его родственники. В конце 1923 года солдат деникинской армии, крестьянин из Полтавской губернии, вернулся в Россию, услышав об амнистии, объявленной советским правительством в ноябре месяце. На границе ему вручили советский паспорт, а по приезде домой он сходил в уездное ГПУ, был зарегистрирован, затем отпущен к родным, среди которых провел несколько дней. После этого в начале 1924 года его отправили в Нарымский край Сибири на три года, в то время как его отца и тетку ГПУ бросило на Соловки за укрывательство контрреволюционера (ст. 68 УК). Ко времени моего побега эти крестьяне, жертвы «чудной амнистии», все еще находились на Соловках, ожидая пересылки в Зырянский район.

На Соловки постоянно присылались и «амнистированные» эмигранты. Перед самым моим побегом прибыла большая группа эмигрантов, в основном состоящая из рядовых солдат с несколькими офицерами. Среди них кавалерист-субалтерн Менуэль и Шапруненко, бывший адъютант гетмана Украины Скоропадского.

Подлинная амнистия распространялась советскими властями только на тех людей (будь то эмигрант или советские граждане), чьи имена могли быть впо-

следствии использованы как приманка. Такие господа, как бывший генерал Слащев и подобные ему отступники, могут жить на свободе и занимать ответственные посты, пока это устраивает ГПУ и пока ГПУ считает, что имена таких «сменовеховцев» можно использовать как доказательство «доброй воли советской власти, которая амнистировала всех раскаявшихся эмигрантов». Но когда изменника используют в своих целях и он становится ненужным, его, как правило, если не ссылают, то отправляют на тот свет. Достаточно вспомнить судьбу известного социал-революционера Савинкова, «амнистированного» большевиками, после чего чекисты выбросили его с пятого этажа тюрьмы.

Простых эмигрантов, которые возвращаются, немедленно ссылают на Соловки или в Нарымский край, в том случае если по отношению к ним не применена высшая мера (расстрел). Под угрозой последней всегда находятся офицеры. Опасность расстрела, как дамоклов меч, висит постоянно над ними.

Советское правительство, отплачивая злом за добро, бросает в концлагерь людей, «запачкавших» себя работой в организациях, о которых несчастный русский народ всегда будет хранить добрую память.

На Соловках среди заключенных находится зубной врач, московский еврей по фамилии Малеванов. Он активно помогал американской благотворительной организации в пользу голодающих, результатом чего и стала ссылка на Соловки на пять лет. Поскольку в настоящее время в Уголовном кодексе СССР не предусмотрена какая-либо кара за оказание безвозмездной помощи голодающим, к Малеванову была применена статья, связанная с «экономическим шпионажем». Несколько русских, сотрудничавших с американским благотворительным обществом в пользу голодающих и подобными филантропическими организациями других стран, были высланы «благодарным» ГПУ в Сибирь, в Нарымский и Печорский края.

Карпов, известный управляющий сценой Александровского театра в Петрограде, впоследствии Большого и Малого театров в Москве, был сослан на Соловки с артистами Юровским, Георгисом и прочими по обвинению в контрреволюции. Во время моего пребывания там Карпова препроводили в другое место.

Если чекисты желают кого-либо сослать, но не могут найти подходящего предлога, то для этой цели весьма удачным оказываются ст. 68 («Укрывательство контрреволюционера») и ст. 72 («Религиозная контрреволюция»).

Один из самых курьезных случаев — это история человека по фамилии Витте из Петрограда. Его сослали за то, что он носил «контрреволюционную» фамилию.

Инженеры-коммунисты (среди них некий Осипов, прославившийся на весь лагерь чрезмерной завшивленностью), морские офицеры-сексоты, ювелиры, парикмахеры, помещики, сторонники Махно (руководителя украинского парти-

занского движения), «экономические бандиты», командиры войск ГПУ, часовщики — коротко говоря, заключенные представляют собой все известные профессии, общественные уровни, положения и должности.

Очень любопытен случай братьев Мышеловиных, часовщиков. Они обвинялись в подделке и выпуске банкнот, хотя свидетельские показания, представленные следователю, и результаты домашнего обыска выявили, что в то время как один из братьев действительно изготовлял фальшивые банкноты, второй был совершенно невиновен. И каким же оказалось решение ГПУ? Виновного сослали на Соловки на три года, невиновного — на десять лет. Мотивы, которыми руководствуются чекистские суды при вынесении подобных приговоров, так и останутся навсегда для нас тайной.

Довольно любопытной фигурой был технический инженер Николай Дмитриевич Красильников. Его сослали на Соловки за «религиозную контрреволюцию», но в действительности ни к чему подобному он не имел никакого отношения. До революции инженера хорошо знали как толкового и решительного противника социализма всех оттенков. Когда большевики пришли к власти, Володарский несколько раз посылал за ним и пытался убедить инженера прекратить проповедь контрреволюции. Но неистовый инженер, пользуясь громадным авторитетом среди рабочих, продолжал выступать с речами и печатать свои памфлеты. Вскоре он перебрался в Москву, где продолжал активную деятельность, целью которой была, как и в дореволюционные дни, дискредитация социализма любого толка.

Сам Дзержинский заинтересовался Красильниковым и послал за ним. Инженер явился в штаб-квартиру ГПУ, и там, в кабинете председателя Чрезвычайной комиссии, Дзержинский и Красильников дискутировали в течение нескольких часов подряд о социализме и его утопических целях. Наверное, это был единственный случай в жизни Дзержинского, когда он позволил кому-либо свободно высказаться. И где? В самом здании ГПУ!

Красильников — блестящий оратор — пытался убедить главу чекистов полностью отказаться от надежды воплотить в реальность такую абсурдную идею, как социализм. Дзержинский не мог согласиться и пустил в ход доказательства другого рода.

...Ночь тянулась медленно, Дзержинский предложил инженеру складную кровать в своем кабинете. А наутро распорядился, чтобы Красильникову принесли кофе и позволили уйти. Но вскоре, однако, его арестовали низшие чины ГПУ и сослали на Соловки. В лагере Красильникова буквально поедали вши. Я сам, пройдя через дюжину тюрем по пути на Север, имел представление о паразитах, но никогда и нигде не доводилось быть свидетелем такой неимоверной завшивленности, как у инженера.

Ежедневно утром и вечером он уничтожал паразитов в огромных количествах и каждый раз при этом восклицал: «Ага, держи ее! Теперь следующая!»

Соловки проглатывают как старых, так и молодых. В феврале 1925 года на Попов остров прибыло 50 студентов и школьников из Феодосии, Симферополя и Ялты. Они получили по три года каждый за организацию «контрреволюционного заговора совместно с иностранной буржуазией». Под такой формулировкой подразумевалось то, что руководство заговором осуществлялось из Константинополя. Но все это было совершенно бездоказательно. Кроме взрослых студентов, этап включал еще 20 учеников средних и старших классов, почти еще мальчиков.

Незадолго до моего приезда на Соловки ГПУ Закавказской советской республики прислало туда 40 очень старых чеченцев. Один из них выглядывал из окна, что запрещалось некоторыми чекистами. Указанное явилось основанием для того, чтобы вся эта группа была послана на Секирную гору, известную на Соловках как место пыток, посажена в «каменный мешок» (данная процедура описана в последующей главе) и выпорота «смоленскими палками» до потери сознания. Одному из стариков было 110 лет.

Старых чеченцев сослали в качестве заложников из-за сыновей, внуков и правнуков, которые присоединились к партизанским отрядам и ведут непрекращающуюся войну с большевиками. Эта война продолжается до сих пор. Сами же заложники не совершали никакого преступления. Практика брать заложников и осуществлять жестокие репрессии против родственников и даже против знакомых повстанцев и эмигрантов была развита советскими властями в сложную систему террора, которая не гнушается ничем для достижения своей цели — абсолютной покорности всего русского народа воле руководителей Коммунистической партии.

Глава 8. Политические — привилегированный класс

Современные отшельники. — Почему с ними лучше обходятся. — Культурные привилегии. — Мужество и дисциплина социалистов. — Голодовки. — «Разгрузились» обычными уголовниками. — Выдающаяся советская брошюра.

Политических на Соловках в настоящее время около 500 человек, включая 150 женщин и несколько десятков детей. Дети содержатся в таких условиях, что и взрослые заключенные, с равными правами и обязанностями, и получают такой же паек.

На Поповом острове из политических находятся 60 мужчин и 20 женщин. Большинство из них — члены социал-революционной, социал-демократической,

бундовской, анархической, а также подобных партий. Все они сосланы за активную оппозицию Советской власти в 1917—1919 годах и за последующую пассивную критику ее действий.

Соловецкий остров (на котором стоит монастырь) приблизительно составляет около 40 миль в окружности и усыпан скитами, в которых в прошлом обитали монахи и отшельники, а также святые мужи, давшие обет молчания. Эти скиты высечены в утесах и напоминают средневековые деревенские жилища[5]. Они разбросаны по всему острову на расстоянии трех, шести или даже десяти миль от монастыря. Тут группами расселены политические по 20—30 человек в каждом скиту.

В Кемлагере политические живут в специальном бараке № 11 (помеченном на плане цифрой 29), который поделен на два помещения: одно для мужчин, другое для женщин и детей. Барак огражден проволочным забором и охраняется специальными часовыми.

На Соловецком острове политические могут довольно свободно, без охраны, ходить по всей территории и навещать друг друга. На Поповом острове их выводят на прогулки для физических упражнений в сопровождении часового. Политические никогда не соприкасаются с контрреволюционерами и уголовниками. Имея в идеологическом отношении гораздо больше общего с большевиками (если, конечно, вообще можно говорить о какой-либо большевистской идеологии), нежели контрреволюционеры, политические, естественно, привлекают определенное внимание со стороны советских властей к своим нуждам и требованиям. В этом смысле на советскую власть влияет отчасти и правое крыло Коммунистической партии, и в значительной степени — социалисты Западной Европы, к чьим мнениям коммунисты, несмотря на все возражения, все-таки прислушиваются. В итоге, когда политические прибывают в места ссылок — на Соловки и другие лагеря, их помещают в райские условия по сравнению с почти невыносимым существованием контрреволюционеров.

Только после «смены кабинета» весной 1924 года контрреволюционерам было позволено переписываться с родственниками (письма при этом тщательно прочитываются чекистами) и получать с воли посылки. Политические же всегда пользовались такими правами.

Если контрреволюционер не имеет родственников или его родственники не могут прислать ему деньги, продукты и другие необходимые вещи, он обречен на голодную смерть, поскольку лагерной пайки, выдаваемой наперед за десять дней, едва хватает лишь на пару суток. При этом не следует забывать, что

[5] Автор представлял себе монастырские скиты как пещеры отшельников, «высеченные в утесах», примерно как в горах Кавказа.

ГПУ, отправляя его в ссылку, как правило, конфискует все принадлежащее ему и его семье имущество. Политические же получают все необходимое не только от своих родственников, но и еще от 1) политического Красного Креста, возглавляемого мадам Пешковой, 2) иностранных социалистических организаций, в громадных масштабах посылающих помощь, 3) Комитета помощи российским ссыльным и заключенным.

Следует отметить, что контрреволюционеры никогда не имели такого рода поддержки. Политические располагают собственной библиотекой, которая постоянно пополняется новыми русскими и иностранными книгами. Им позволено подписываться на советские газеты и иностранные журналы неполитического содержания. Они имеют право на создание обществ для культурных целей. Вожди политических читают газеты и по различным вопросам организуют дебаты, как в скитах, так и в бараке № 11. Политическим разрешены и занятия спортом. Администрация внимательно прислушивается к любой поданной ими жалобе.

Контрреволюционеры не располагают такого рода возможностями. Им доступна только лагерная читальня. Но так как шпана периодически превращает ее в отхожее место, ни один из них даже не заглядывает туда.

Всего приходят два периодических издания — газета «Беднота» и журнал «Безбожник». Но даже такого рода литература попадает к контрреволюционерам только через два-три месяца после ее прибытия, поскольку вначале читает кемская администрация, затем соловецкая и в конце концов красноармейцы. Естественно, контрреволюционерам не разрешено заниматься культурной деятельностью, не говоря уже о политической, да и времени у них на это нет, так как они без конца загружены непосильной работой. Жаловаться бесполезно (как администрация рассматривает жалобы, поступающие от контрреволюционеров, читателям уже известно).

И наконец, политические, согласно установившейся традиции, вообще не работают, что является огромным преимуществом, но в то же время вопиющей несправедливостью. Весь объем работ как вне лагеря, так и внутри возложен в первую очередь на плечи контрреволюционеров и в меньшей степени шпаны, участие которой в тюремном труде практикуется с недавнего времени.

Но только ли благодаря симпатиям зарубежных социалистов и некоторой терпимости советского правительства политическим удается обеспечить для себя более или менее сносное существование на Соловках? В большей степени — это заслуга самих политических.

Я — убежденный противник социальной программы политических, основополагающие задачи которой не отличаются от большевистских идей и являются современной утопией. Но, тем не менее, я не могу не воздать должное настой-

чивости и бесстрашию, которые они проявляют (при необходимости не останавливаясь ни перед какими человеческими жертвами) в отношении своих требований, выдвигаемых ими как сплоченной единой организацией для того, чтобы облегчить отвратительные условия жизни в ссылке. Дисциплина социалистов превосходит даже дисциплину шпаны. Они бы, не дрогнув, объявили голодовку, подняли бы восстание и почти без колебаний приняли бы саму смерть, чем согласились бы обречь на неудачу поставленную цель.

Зимой 1923 года в Соловецком монастыре политические (числом более тысячи) устроили около скита [пещер] каток. Лагерная администрация сделала замечание группе конькобежцев, распевавших революционные песни. Был отдан приказ прекратить пение, но политические не повиновались. Тогда Ногтев прислал на каток взвод красноармейцев и распорядился открыть по конькобежцам огонь без предупреждения: девять человек (шесть мужчин и три женщины) были убиты, многие ранены.

Политические объявили голодовку и потребовали прислать из Москвы следственную комиссию. Буквально все они приняли участие в голодовке и на Поповом острове, и на Соловецком. Некоторые от истощения не могли стоять на ногах, и их отправили в больницу. Одним из голодающих политических был хорошо известный социал-революционер Богданов, который до своей отправки в Нарымский край в апреле 1925 года на Соловках являлся общепризнанным лидером социалистов. Ногтев пошел в больницу, чтобы убедить их прекратить голодовку, но его встретили криками: «Палач!». Богданов, озабоченный тем, чтобы Ногтев своим присутствием в палате не причинил беспокойство ослабленным людям, попросил сопровождающих вынести его на носилках во двор, где он в упор задал вопрос Ногтеву: «Что вам угодно?». На что Ногтев вновь попытался убедить его прекратить голодовку. «Это все, что вы можете сказать? — ответил Богданов. — Отнесите меня назад в больницу. Я не хочу разговаривать с убийцей».

В конце концов политические добились своего. В сентябре того же года была назначена комиссия, состоящая из Смирнова (прокурор Верховного суда СССР), Катаняна (прокурор ГПУ) и Сольца. Но социалисты не получили от комиссии всего того, что ожидали. Ногтев не понес никакого наказания за расстрел девяти человек. Комиссия установила, что он действовал в целях самообороны.

Летом 1924 года политические вновь объявили голодовку, на сей раз потребовав, чтобы было улучшено питание. Голодовка длилась тринадцать дней. Несколько человек умерло, а около сотни доставили в больницу. И опять обратились за указаниями в Москву. Но на этот раз требования политических были удовлетворены. Начиная с того времени они стали ежедневно получать

по 2 фунта хлеба (белого и черного), 1 фунт мяса, хорошее масло, молоко, яйца и т. д. Такие пайки выдаются им до сих пор.

В конце 1924 — начале 1925 года на Соловки начали прибывать университетские студенты из Москвы, Петрограда и других городов. Советское правительство стало изгонять из учебных заведений и арестовывать студентов буржуазного происхождения, чтобы освободить дорогу коммунистам[6].

Они прибыли в три этапа. Первые два, состоящие приблизительно из 100 человек, включая 30 студентов, приехали в Кемь в августе 1924 года. Этапы состояли из представителей всех партий (монархистов, социал-демократов, анархистов и др.). Вновь прибывшие заявили, что являются заключенными политической категории и потребовали разместить их в скитах с предоставлением всех льгот для «отшельников» с улучшением питания. Администрация отказала в их просьбе. Студенты объявили голодовку, и все политические поддержали их. После того как несколько человек погибли от голода, студентов признали политическими заключенными и послали на жительство в скиты Конд-острова.

Конд-остров расположен в десяти милях от монастыря. Прежде туда направляли «сексотов» (секретных агентов ГПУ) обоих полов. Их обязанность — осуществлять слежку за заключенными и составлять на них доносы. Ногтев подкупает нужных для этих целей людей при помощи улучшенных пайков. А когда необходимость в них отпадает, поселяет в отдельных скитах.

Третья группа студентов (в количестве 26 человек, включая двух анархистов) прибыла в Кемь в апреле 1925 года. По дороге из Петрограда в Кемь эти арестанты разнесли вдребезги вагоны, в которых ехали. Администрация отказалась причислять их к политическим. Студенты, вновь поддерживаемые социалистами, объявили голодовку, которая продолжалась пять недель. Ногтев обратился в ГПУ, а оно распорядилось вернуть студентов в Петроград. Дальнейшая судьба их мне неизвестна.

Все переговоры с властями политические ведут через «генерала» Эйхманса, публично бойкотируя виднейших представителей ГПУ и Наркомюста (Народного комиссариата юстиции), отказываясь от общения с Ногтевым.

В конце 1924 года на Соловки приехала так называемая «разгрузочная комиссия», состоящая из Смирнова, Катаняна, Глеба Бокия и секретаря. Заключенные связывали с ней большие надежды, но они не оправдались. Комиссия на самом деле разгрузила Соловки, но только от шпаны. Около 400 уголовников были освобождены, но ни одного контрреволюционера или политического. Во время прощания с отъезжающей шпаной Катанян заявил всем собравшимся арестантам: «Если освобожденные сейчас заключенные исправятся и станут полезными

[6] Из книги Георгия Попова «ЧК». С. 257–259. — *Авт.*

гражданами Советской республики, то в будущем году я приеду еще раз и освобожу другую группу».

Таким образом, участь контрреволюционеров и политических была поставлена в зависимость от поведения уголовников на свободе. Комиссия пробыла на Соловках три дня и большую часть времени развлекалась охотой. Чекисты истребили последних уцелевших диких и прирученных животных (приручением в прежние времена занимались монахи). В последний день Катанян посетил скиты Соловецкого монастыря. Но политические выгнали его с криками: «Убийца, убирайся! Палача вон!»

Прокурор Верховного суда Смирнов созвал собрание и выступил с долгой пространной речью. Его доклад был всецело посвящен опровержению «бесстыдной клеветы эмигрантской белогвардейской прессы и зарубежных буржуазных газет». Особым нападкам он подверг газету социалистов-эмигрантов «Дни» за то, что она «своей преступной ложью о Соловках вводит в заблуждение пролетариат Западной Европы».

По возвращении в Москву Смирнов написал и издал брошюру под названием «Соловки» (М.: Государственное издательство, 1925), в которой он заявляет, что здесь царит «полная свобода», что обращение администрации с заключенными «более чем мягкое»[7]. В довершение всего этого балагана Смирнов не отказывает себе в удовольствии открыто насмехаться над заключенными. Большое число экземпляров брошюры было прислано в соловецкие лагеря, роздано нам, тем, кто каждый миг вкушал «свободу, великолепную пищу и более чем мягкое обхождение администрации».

Если Ногтев, Эйхманс и их приближенные прислушивались к словам политических, то внимательное отношение низшего персонала считалось в порядке вещей.

Диалоги политических с командирами трудовых полков и отрядов, квартирмейстерами, надзирателями за кухнями и мастерскими звучали скорее как приказы. Их староста Богданов во время беседы с любым из низших чинов в комендантской всегда начинал свою фразу словами: «Мы желаем...» вместо: «Мы просим...» Перед распределением пайков Богданов имел обыкновение наведываться к квартирмейстеру и отбирать для своей группы лучшее мясо, белый хлеб и т. д. Его преемник на посту старосты, социал-демократ Мамулов, юрист из Владикавказа, пользовался такими же правами. Политические, располагая в достатке личным временем, могут обучать своих детей и воспитывать их в соответствии с собственными политическими убеждениями. Часто можно

[7] Статья «Соловки» была написана прокурором Верховного суда П. А. Красиковым, опубликована в «Известиях» за 30 сентября, 7 октября и 15 октября 1924 г. – *Примеч. ред.*

видеть десятилетнего мальчика, сына социалиста, проходящего через бараки и приветствующего чекистов и охранников бранью. А когда заключенные смеха ради спрашивают его, к какой партии он принадлежит, он с гордостью отвечает: «Я — социалист, долой коммунистов-узурпаторов!»

Глава 9. Участь женщин

Ужасная компания. — Как выплачиваются карточные долги. — Чекистский гарем. — «Рублевые» женщины. — Венерические болезни.

Самое большое благо, выпавшее политическим, это то, что их женам и детям не приходится соприкасаться с уголовниками. Компания этих женщин ужасна.

В настоящее время в соловецких лагерях содержится около 600 женщин. В монастыре они расселены в «женском здании» в кремле. На Поповом острове им полностью отведен барак № 1 и часть других. Три четверти из них составляют жены, любовницы, родственницы и просто соучастницы уголовных преступников.

Официально женщин высылают на Соловки и в Нарымский край за «постоянную проституцию». Через определенные промежутки времени в крупных городах европейской России против проституток предпринимаются рейды с тем, чтобы отправлять их в концлагеря. Проститутки, которые при советском режиме объединились в своего рода официальные профсоюзы, время от времени устраивают в Москве и Петрограде уличные шествия с целью протеста против рейдов и высылок, но это приносит мало пользы. Характер и образ жизни этих женщин до такой степени дикий, что их описание любому не знакомому с условиями соловецкой тюрьмы может показаться бредом сумасшедшего. К примеру, когда уголовницы направляются в баню, они заранее раздеваются в своих бараках и совершенно нагие прогуливаются по лагерю под раскаты смеха и одобрительные возгласы соловецкого персонала.

Уголовницы так же, как и мужчины, приобщаются к азартным карточным играм. Но в случае проигрыша они вряд ли могут расплатиться деньгами, приличной одеждой или продуктами. Ничего этого у них нет. В итоге каждый день можно оказаться свидетелем диких сцен. Женщины играют в карты с тем условием, что проигравшая обязана немедленно отправиться в мужской барак и отдаться подряд десяти мужчинам. Все это должно происходить в присутствии официальных свидетелей. Лагерная администрация никогда не вмешивается в это безобразие.

Можно представить себе то ощущение, которое уголовницы вызывают у образованных женщин из контрреволюционной категории. Самые отвратительные ругательства, вместе с которыми упоминаются имена Бога, Христа, Божией Матери и всех святых, поголовное пьянство, неописуемые дебоши, воровство,

антисанитария, сифилис — этого оказывается слишком много даже для человека с сильным характером.

Послать честную женщину на Соловки — значит в несколько месяцев превратить се в нечто похуже проститутки, в комок безгласной грязной плоти, в предмет меновой торговли в руках лагерного персонала.

Каждый чекист на Соловках имеет одновременно от трех до пяти наложниц. Торопов, которого в 1924 году назначили помощником кемского коменданта по хозяйственной части, учредил в лагере официальный гарем, постоянно пополняемый по его вкусу и распоряжению. Красноармейцы, охраняющие лагерь, безнаказанно насилуют женщин.

По лагерным правилам, из контрреволюционерок и уголовниц ежедневно отбирают по 25 женщин для обслуживания красноармейцев 95-й дивизии, охраняющей Соловки. Солдаты настолько ленивы, что арестанткам приходится даже застилать их постели.

Старосте Кемского лагеря Чистякову женщины не только готовят обед и чистят ботинки, но даже моют его. Для этого обычно отбираются наиболее молодые и привлекательные женщины. И чекисты обходятся с ними так, как им захочется. Все женщины на Соловках поделены на три категории. Первая — «рублевая», вторая — «полурублевая», третья — «15-копеечная» (пятиалтынная). Если кто-либо из лагерной администрации просит «первоклассную» женщину, то есть молодую контрреволюционерку из вновь прибывших в лагерь, он говорит охраннику: «Приведи мне "рублевую"».

Честная женщина, отказавшаяся от «улучшенного» пайка, который чекисты назначают своим наложницам, очень скоро умирает от недоедания и туберкулеза. На Соловецком острове особенно часты такие случаи. Хлеба на всю зиму не хватает. Пока не начинается навигация и не будут привезены новые запасы продовольствия, и без того скудные пайки урезаются почти вполовину.

Чекисты и шпана заражают женщин сифилисом и другими венерическими заболеваниями. Как широко распространены на Соловках эти болезни, можно судить по следующему факту. До недавнего времени больные сифилисом располагались на Поповом острове в специальном бараке (№ 8). В связи с последующим ростом заболеваемости барак № 8 не мог уже вмещать всех пациентов. Еще до моего побега администрация «разрешила» данную проблему, разместив их в других бараках со здоровыми людьми. Естественно, это приведет к быстрому увеличению числа зараженных.

Когда домогательства наталкиваются на сопротивление, чекисты не гнушаются мстить своим жертвам.

В конце 1924 года на Соловки была прислана очень привлекательная девушка — полька лет 17. Ее вместе с родителями приговорили к расстрелу за «шпионаж в пользу Польши». Родителей расстреляли. А девушке, поскольку она не достигла совершеннолетия, высшую меру наказания заменили ссылкой на Соловки на десять лет.

Девушка имела несчастье привлечь внимание Торопова. Но у нее хватило мужества отказаться от его отвратительного домогательства. В отместку Торопов приказал привести ее в комендатуру и, выдвинув ложную версию в «укрывательстве контрреволюционных документов», раздел донага и в присутствии всей лагерной охраны тщательно ощупал тело в тех местах, где, как ему казалось, лучше всего можно было упрятать документы.

В один из февральских дней в женском бараке появился очень пьяный чекист Попов в сопровождении еще нескольких чекистов (тоже пьяных). Он бесцеремонно влез в постель к мадам X (даме, принадлежавшей к наивысшим кругам общества, сосланной на Соловки сроком на десять лет после расстрела мужа). Попов выволок ее из постели со словами: «Не хотите ли прогуляться с нами за проволоку?» — для женщин это означало быть изнасилованными. Мадам X находилась в бреду до следующего утра.

Необразованных и полуобразованных женщин из контрреволюционной среды чекисты нещадно эксплуатировали. Особенно плачевна участь казачек, чьи мужья, отцы и братья расстреляны, а сами они сосланы.

Глава 10. Иностранные узники

Шпионаж в пользу Мексики. — Загадочное сообщение. — Тактика ГПУ. — Попытки совершить побег жестоко пресечены.

Большинство иностранцев было сослано на Соловки по обвинению в «шпионаже в пользу международной буржуазии» (ст. 66). Наряду с данной статьей чекисты изредка прибегали к помощи другой, но в той же степени безосновательной. «Юриспруденция» ГПУ удивительно искусна в обнаружении преступления там, где нет даже и намека на него.

Среди соловецких узников находится граф Вилла, генеральный консул Мексики в Египте, и его жена. Если вдуматься, то человеку, живущему в Каире, довольно трудно «осуществлять шпионаж в пользу Мексики в Советской России», особенно если учесть то, что консул не только не говорит, но даже и не понимает по-русски.

Обстоятельства его ареста таковы. Жена графа Виллы — грузинка, урожденная княжна Каралова. В 1924 году с разрешения советского правительства с завизированными паспортами консул с женой отправились на Кавказ, чтобы на-

вестить мать. К несчастью, именно тогда было подавлено грузинское восстание. Большевики расстреляли брата княжны — князя Каралова, а дипломата с женой сослали на Соловки на три года за «шпионаж в пользу Мексики». В феврале 1925 года они прибыли в лагерь.

Генеральный консул проживает на Соловках по дипломатическому паспорту, гарантирующему личную неприкосновенность. По прибытии в лагерь он пытался послать в Мексику исчерпывающее описание вопиющих нарушений международных законов советской властью в отношении к нему. Но соловецкая цензура уничтожила письмо. В конце концов граф прибег к помощи эзопова языка и направил своему правительству телеграмму следующего содержания: «Я совершаю чрезвычайно интересный круиз по Северной России». Очевидно, факт высылки мексиканского дипломата на Соловки стал известен за рубежом, так как незадолго до моего побега из Лондона аэропланом ему были присланы вещи (кстати, в момент ареста чекисты дочиста ограбили графа). Он ведет оживленную переписку с Чичериным по-французски, требуя своего освобождения. Но Мексика слишком далека, она не располагает ни торговым флотом, ни деньгами, чтобы дать их взаймы Советам, а посему Комиссариат иностранных дел вежливо обходит молчанием вопрос об освобождении графа Виллы. Единственным проком, полученным от переписки с Чичериным, было освобождение консула от работ. В то же время графиня Вилла на общих основаниях, как все контрреволюционерки, продолжала мыть полы в бараках и стирать чекистам рубашки.

На Соловках можно встретить представителей любой нации, как большой, так и малой: англичан, итальянцев, японцев, французов и немцев, а также уроженцев крохотных государств. Причины их арестов, как правило, до постыдного безосновательны. Складывается впечатление, что ГПУ умышленно отбивает охоту у иностранцев посещать Россию, поближе познакомиться со страной, положить начало коммерческим или каким-либо иным связям с ней.

Я уже упоминал здесь о деле венгерского фабриканта Френкеля, которого Внешторг пригласил в Россию, а в результате он был сослан на Соловки. Подобного рода случаев великое множество. К примеру, эстонец Мотис приехал в Москву, чтобы осмотреть Всероссийскую выставку, и прямо с выставки угодил на Соловки.

Во время правительственного кризиса в Литве, когда межпартийная борьба достигла кульминации ожесточенности, член одной из проигравших партий бежал из страны в Советскую Россию. Он был офицером инженерных войск литовской армии, ровным счетом ничего не знавший о Советской России и коммунистах. Он считал, что как политический эмигрант найдет убежище в соседней стране. Но получилось иначе: как только беглец пересек границу, его тут же арестовали, об-

винив, несмотря на энергичный протест, в «организации контрреволюционного заговора и шпионажа в интересах Литвы», и выслали на Соловки.

В монастыре и на Поповом острове содержится большое количество лиц, официально прикрепленных к дипломатическим миссиям иностранных государств. Преимущественно это поляки, финны, эстонцы и литовцы — сотрудники дипломатических представительств, консульств и миссий соответствующих стран, арестованные по обвинению в «шпионаже», реже — в «спекуляциях».

Все иностранцы пребывают в постоянной надежде, что собственные правительства обменяют их на коммунистов. Администрация обходится с ними жестоким образом. Они получают такой же паек, что и коммунисты, а выполняемая ими работа большей частью чрезвычайно тяжела. За последнее время предпринималось несколько попыток побега. Они совершались (всегда неудачно) главным образом эстонцами, финнами и поляками. Поэтому Ногтев распорядился, чтобы заключенные этих национальностей не привлекались к работам вне лагерей. Попытки побега карались вначале жестоким избиением, а затем расстрелом (хотя, согласно правилам, максимальным наказанием является продление срока заключения на один год).

В марте 1925 года некий финн попытался бежать из Соловецкого монастыря. Он направился, сопровождаемый часовым, в уборную, перемахнул через стену и оказался на берегу моря. В этих широтах весна преимущественно наступает поздно, и слой льда на море поблизости от кремля довольно прочен, чтобы выдержать человеческое тело. Финн со всех ног побежал в сторону леса по узкой ледяной кромке вдоль берега. Побег был обнаружен, подняли тревогу, и вслед беглецу раздались выстрелы. Прежде чем финн достиг леса, где он мог укрыться и переждать, лед под ним неожиданно затрещал, и беглец застыл в нерешительности. Чекисты схватили его. Финна вернули в лагерь. Его истязали около часа с такой жестокостью, что даже не выдержали толстые «смоленские палки» — поломались. Все равно после такой экзекуции всего окровавленного его расстреляли.

Глава 11. «Смена кабинета»

Новые руководители Кемлагеря. — Военный парад. — Чекист-многоженец. — Злоупотребления продолжаются.

Весной 1924 года персонал на Поповом острове был заменен. Члены УСЛОНа (управления Соловецкого лагеря особого назначения) и руководство в монастыре осталось на своих местах. Это как раз и было то, что заключенные прозвали «сменой кабинета».

Вместо Гладкова начальником Кемлагеря был назначен Иван Иванович Кириловский, бывший сержант одного из гвардейских полков. Как уже гово-

рилось выше, он отказался принять руководство лагерем, пока центральным правительством не будет назначена специальная комиссия по проверке лагерной документации. Когда комиссия обнаружила расточительство и мошенничество в невообразимых размерах, Гладкова приговорили к пятилетней ссылке за «мошенничество и халатное отношение к возложенным обязанностям». Мамонов, непосредственно виновный в преступлении, не понес никакого наказания. И, вероятно, поэтому сам Гладков через два дня после приговора был прощен и получил назначение в ГПУ города Калуги.

До прибытия Кириловского по лагерю пронеслась весть, что он вполне приличный человек. Скоро представилась возможность воочию убедиться в его «порядочности». Кириловский до сих пор находится во главе лагеря, имея тех же помощников. Его приезд оказался подходящим поводом для проведения тщательно отрепетированной церемонии. Эйхманс (уже знакомый читателю), чьей мечтой было превратить лагеря в военные поселения аракчеевской эпохи, несколько дней подряд выстраивал голодных арестантов, включая женщин и детей, и заставлял их разучивать различные движения, подчиняться словам команды — всё в военном духе. Когда Кириловский приблизился к лагерю, нас выстроили в два ряда. «Внимание! Равнение направо!» Староста подошел к Кириловскому с рапортом: «Во вверенном мне трудовом полку все в порядке». То же самое проделали командиры трудовых рот. Затем Кириловский поприветствовал нас: «Добрый день!» Этот пошлый фарс продолжался около часа. Под конец Кириловский спросил, имеет ли кто-нибудь просьбы или жалобы на администрацию. Конечно же, вопрос остался без ответа. Если бы кто-то и дерзнул пожаловаться, то его в тот же день забили бы до смерти «смоленскими палками», бросив на Секирку.

Помощником Кириловского по административной части был, как я уже упоминал, Торопов — отпетый негодяй с вытаращенными бараньими глазами. Первоначально он командовал взводом 95-й дивизии войск ГПУ, охраняющей Попов остров. Помимо безнадежной глупости, его отличительной чертой является то, что, куда бы он ни попал, всюду женится. На Поповом острове Торопов не удовлетворился гаремом из арестанток и в шестой раз женился на «трескоедке» (трескоеды — прозвище жителей рыбацких поселков в окрестностях лагеря, чьей основной пищей является треска).

Помощником Кириловского по хозяйственной части был Николай Николаевич Попов. Он на удивление хорошо одевался и, как ни странно, не являлся ни чекистом, ни даже коммунистом. Это был очень загадочный субъект. Иногда Попов говорил, что некогда служил гвардейским офицером, иногда — в министерстве при царе, иногда адъютантом Троцкого. Но в любом случае, он

производил впечатление хорошо образованного человека и с виду походил на поляка. Попов заикался и к контрреволюционерам относился со злобой и ожесточением. Когда заключенные проходили мимо него, следуя на работу, он имел привычку обращаться к окружавшим его чекистам нарочито громким голосом, чтобы услышали контрреволюционеры: «Это шайка уголовников. Вы слышите — уголовников. Они — враги. Мы приструним всю эту свору!»

«Смена кабинета» мало изменила положение заключенных. Единственной переменой было то, что их «приструнили», а разворовывание администрацией казенных денег и без того скромных арестантских пайков стало еще более упорным, чем раньше. Гладков крал открыто, Кириловский же — под прикрытием «честности».

Общая картина соловецкой жизни и порядков — мрачный звон колокола, призывающий на работу, репрессии, античеловеческий характер деятельности персонала — осталась прежней.

Глава 12. Повседневная жизнь, работа и пища

«Место под лампой». — Работа «снаружи» и «внутри». — Освобождение по болезни. — Ужасы лесоповала. — Как нас кормили. — Заключенных морят голодом, а государство обслуживают.

Бараки Попова острова составляют около 40 ярдов в длину и 10 ярдов в ширину. В каждом из них расквартировано, как правило, от 200 до 300 человек. В бараках № 5 и № 6, которые в основном заняты шпаной, более 700 обитателей. В стенах бараков зияют щели, а на потолках — отверстия. Это способствует возникновению сквозняков, и помещения, продуваемые со всех сторон, настолько выстужены, что людей трясет как в лихорадке от холода по вечерам, когда заключенные возвращаются с работы. Особенно страшен приход ночи: задыхаешься от ужасного смрада, царящего в бараках. По ночам невозможно спать из-за духоты и человеческих испарений.

Нары расположены вдоль стен в два яруса. Каждый стремится занять верхнюю койку, иначе, если оказаться внизу, то на голову обрушивается нескончаемый ливень из вшей, объедков, плевков. За верхний ярус разгораются буквально кровопролитные бои.

Электростанцию построили только в конце 1924 года. А до этого вместо лампы в центре каждого барака мерцала жестянка с фитилем, слегка смоченным парафином. Ее света хватало едва на ближайшие три-четыре койки. Все остальное пространство было погружено во тьму. Сейчас в каждом бараке по маленькой электрической лампочке (16 Вт), но их недостаточно для нормального ос-

вещения такого большого помещения. Под единственной крошечной лампочкой всегда собирается огромная масса заключенных, пытающихся что-то читать или писать письма родственникам. Отсутствие света особенно тяжело переносится зимой. Старосты бараков пользуются этим затруднением для взимания взяток как деньгами, так и натуральными продуктами за «место под лампой».

НЭП — новая экономическая политика — оказал влияние даже на Соловки. Лагеря были переведены на принцип «самообеспечения», и сумма, ежегодно выделяемая на содержание Соловков, значительно уменьшилась. Так, в нынешнем (1925) году лагеря получили только 250 тысяч золотых рублей вместо 2 миллионов, затребованных Бокием и Ногтевым.

Нет надобности кормить заключенных и даже держать их на полуголодной диете. Администрация должна обязательно прикарманить крупные суммы денег. Поэтому начальник УСЛОНа и его приспешники вытягивают из заключенных последние силы, превращая их всех в бессловесных рабов.

Работа на Соловках подразделяется на две категории: «наружную» (за проволочным забором) и «внутреннюю» (внутри лагеря). Для внешних работ заключенных по большей части забирали с Соловецкого и Попова островов на материк. Вот что подпадало под категорию внешних работ: доставка леса, осушение болот, расчистка и содержание в порядке железнодорожных путей и дорог (грунтовых и деревянных), заготовка строевого леса для лагерных нужд и на вывоз, погрузка лесоматериалов, камней, продовольствия и т. д. Суда для перевозки грузов — пароходы «Глеб Бокий» и «Нева», а также баржа «Клара», получившая свое название в честь немецкой коммунистки Клары Цеткин.

Под внутренними работами подразумеваются: расчистка снега, помощь на кухне и в мастерских, вынос нечистот из отхожих мест и бараков, заселенных обычными уголовниками, и прислуживание чекистам и красноармейцам. Женщины моют полы в конторах и бараках, готовят пищу, обстирывают чекистов и красноармейцев, чинят им одежду и т. д.

Работа и зимой, и летом начинается в 6 часов утра. По инструкции она прекращается в 7 часов вечера. Таким образом, на Соловках 12-часовой рабочий день с перерывом на обед в 1 час пополудни. Это — официально. Но на самом деле работа продолжается гораздо дольше — по усмотрению надзирающего чекиста. Особенно часто такое происходит летом, когда заключенных заставляют работать буквально до потери сознания. В это время года трудовой день длится от 6 часов утра до полуночи или 1 часу ночи.

На Соловках нет ни воскресений, ни других дней отдыха. Каждый день считается рабочим. По великим праздникам (Пасха, Рождество и т. д.) время рабо-

ты обычно увеличивается для того, чтобы оскорбить чувства верующих заключенных. Только один день в году считается праздником — 1-е мая.

Болезнь, физическая слабость, преклонный возраст или малолетство ни в коей мере не брались во внимание. Отказ от работы по болезни, даже если она очевидна для самих чекистов, влечет за собой в качестве первоначального наказания перевод на Секирку (место пыток), а затем расстрел, хотя, согласно закону, карой за отказ от работы даже без уважительной причины может быть только продление срока заключения на один год.

Самое изнурительное — перевозка леса в зимнее время. Этот труд совершенно невыносим. Приходится стоять по колено в снегу так, что трудно двигаться. Огромные стволы, обрубленные топорами, падают на арестантов, иногда убивая их на месте. Облаченные в лохмотья, без рукавиц, только в одних лаптях, заключенные с трудом удерживаются на ногах от слабости по причине недоедания. Их руки и все тело промерзают насквозь от мучительного холода.

Минимальное дневное задание таково: четыре человека должны нарубить, расколоть и сложить 4 кубических сажени (сажень — около 2 ярдов) леса, и пока они этого не выполнят, им не дозволено вернуться в лагерь. Крайние затруднения, связанные с внешними работами, состоят в том, что если заключенные не выполнят дневного задания точно ко времени возвращения в лагерь, то шпана штурмом завладевает кухней, и контрреволюционеры остаются без обеда.

Однажды меня и группу других контрреволюционеров послали на берег реки Кемь рубить лес, который был очень нужен. Поэтому нас выгнали на работу в 5 часов утра. Как правило, смена часовых происходит в полдень. Но на этот раз по какой-то причине подмена нашему караулу не была вовремя послана в лес. Красноармейцы, не очень-то отличающиеся дисциплинированностью, отвели нас обратно в лагерь, чтобы там смениться. Торопов их отругал и вызвал новый конвой. И так мы проследовали в тот же лес под охраной на работу без перерыва на обед. А обратно в лагерь вернулись только в 4 часа утра. Иными словами, мы проработали на страшном холоде 19 часов без отдыха и еды, исключая два внеплановых перехода в лагерь и обратно.

На Соловках все, что только можно было расхитить, расхитили давным-давно. И все, что можно продать, уже продали. Чтобы изыскать новые ресурсы, власти заключают разные крупные трудовые соглашения на территории автономной республики Карелии. Например, на строительство дороги от Кеми до Ухты. Но видя, что самой Карелии грозит безработица, ВЦИК республики пожаловался в Москву на СЛОН, так как последний лишает карелов куска хлеба. Соглашения были аннулированы. Но соловецкая администрация, тем не менее,

извлекла из них пользу. Случилось следующее. Ногтев передал на рассмотрение в Москву совершенно невыполнимые проекты трудовых обязательств на территории Карелии и запросил денежных ассигнований и спирта (он якобы предназначался для рабочих, надрывающихся на болотах). Как только деньги и спирт были доставлены, их сразу же поделили между собой чекисты. Причем большую долю получили ближайшие друзья Ногтева.

Так как строительные и коммерческие проекты не приносили ощутимого дохода, соловецкие власти единственную возможность экономить видели в урезывании пайков, что они и осуществили на деле.

Каждый заключенный, несмотря на выполняемую им тяжелую работу, с этого времени стал получать 1 фунт черного хлеба, который выдавался на десять дней вперед и к концу срока твердел, как камень. Он был всегда плохо выпечен, из несвежей муки, придававшей ему горький привкус.

Дважды в день заключенных кормят горячей пищей. Обед состоит из тарелки супа, сваренного из заплесневелой трески. В эту зловонную жидкость не добавлено ни кусочка масла. На ужин подается миска каши из проса или гречки, опять же без масла. Довольно часто контрреволюционеры вовсе остаются без ужина, так как шпана, проигравшись в карты, успевает до крошки разграбить кухню.

Согласно лагерной документации, каждому заключенному ежедневно причитается 3 золотника сахару (золотник составляет $^1/_{96}$ от русского фунта). На самом деле каждый арестант получает на декаду полстакана полузамерзшего жидкого сахара, где содержится 10—12 золотников (вместо 30 золотников). Чекисты разбавляют сахар водой и таким образом из каждой пайки крадут по 12—20 золотников, что для лагеря с несколькими тысячами заключенных в итоге составляет прибыль в 2—3 десятка пудов.

В документах также значится: заключенные получают ⅛ фунта масла и столько же табаку. На самом деле в лагере не выдается ни то, ни другое. Бочонки с маслом и сотни тонн табаку сбрасываются начальством в Кемь, а деньги прикарманиваются.

И, наконец, по инструкции каждому заключенному, находящемуся на тяжелых физических работах, предписано вознаграждение в 35 копеек на карманные расходы. Деньги для данной цели присылались московским правительством дополнительно к обычному бюджету. Ни один арестант не получил этих 35 копеек. Каждый грош из «премии» идет в карманы чекистов.

Возможно даже, что питание на Соловках до «смены кабинета» было лучше, чем сейчас. Тогда заключенные хотя бы получали консервы, большая часть которых (их хватало на два года) была оставлена англичанами. Нынешний паек как будто рассчи-

тан на уничтожение арестантов при помощи медленной голодной смерти. По моим подсчетам, сообразно с потребностями человека, занятого тяжелым физическим трудом, такого десятидневного пайка хватает на двое-трое суток.

Как я уже говорил выше, политические получают «улучшенный» паек, которого едва хватает.

Красноармейцам выделяется «северный» паек. Он включает большое количество масла, жиров, белого хлеба и даже спирта.

Глава 13. Больничные ужасы

Больница без лекарств. — «Заключенные не должны болеть». — В руководстве сумасшедшая. — Смертность арестантов поощряется. — Добрый чекист.

«Медпомощь» на Соловках является фактически медицинской беспомощностью. Частично из-за нехватки средств, частично из-за безучастности лагерной администрации, а также вследствие секретных предписаний Московского ГПУ. Единственно эффективным лекарством является смерть.

Санитарные условия лагерей ужасны. Дико загажены бараки, кухни, отхожие места и прочее, но и сами соловецкие «больницы» справедливо могут быть названы рассадниками эпидемий. Влажность, болотистая местность, отвратительная вода, миллионы комаров и вшей — все это очень способствует возникновению и распространению заболеваний. У заключенных нет сменного белья, мыла, надлежащей одежды и обуви. Их организмы, ослабленные постоянным недоеданием и тяжелой работой, не могут сопротивляться недугам.

«Больница» расположена в кремле Соловецкого монастыря. Слово это должно быть взято в кавычки, так как больница не отвечает своему назначению. В ней нет никаких лекарств, постели ужасно грязны, пациентам выдается обычный голодный паек, а само помещение почти все время не отапливается.

Врач, ответственный за больницу (сам из заключенных), неоднократно пытался убедить начальство УСЛОНа в том, что отсутствие лекарств, постельного белья (больные лежат на голых досках), мыла, съедобной пищи и уборной в самом больничном помещении (пациенты вынуждены выходить на улицу при любой температуре, даже зимой) равносильно умышленному убийству арестантов. Но соловецкая администрация всегда отказывала в такого рода просьбах. На Соловки прибывают новые тысячи заключенных, и нужно очищать бараки от «лишних элементов». Однажды Ногтев и вправду заявил: «Болеть вовсе не дело заключенных».

Другим совершенно точным образчиком соловецкой медицинской помощи является «больница» на Поповом острове. Ее возглавляет женщина — Мария

Николаевна Львова. Это опытный врач. До своей ссылки она служила в Красном Кресте и побывала буквально на всех фронтах империалистической и гражданской войн. Впоследствии Львова стала «сексоткой» (секретным агентом ГПУ), но было установлено, что Мария Николаевна «неосторожно высказалась о секретных делах ГПУ», и ее выслали на Соловки на пять лет. Эта женщина, возможно, и неплохая по натуре, была совершенно изуродована работой на ГПУ и соловецкой жизнью. Она утратила всякий самоконтроль. Никто на Соловках, даже из развращенных уголовников, не ругался с таким мастерством, как больничная начальница, адресующая людям и даже Самому Богу наигрязнейшую брань. Часто уголовники ходят в больницу, чтобы просто послушать ругань Львовой и ввести в собственный обиход некоторые из ее самых последних непристойных «перлов». Никто на Соловках, ни из мужчин, ни из женщин, не пьет так много и не доводит себя до такого скотского состояния, как Мария Николаевна. Она опустилась до самого низкого уровня нравственной деградации. Ее забота о больных была именно такой, какой и следовало ожидать от подобного существа. Для Львовой человеческая жизнь утратила всякую ценность. Уже сами по себе соловецкие больницы являются твердой гарантией того, что оказавшиеся в них пациенты будут умирать массами. Львова же своей грубостью, полным равнодушием к страданиям, свойственным полусумасшедшим людям, ускоряет смерть больных. Когда пациенты жалуются на ужасные условия в ее больнице, она всегда отвечает: «Чем хуже, тем лучше. Большинство из вас еще попляшет». И далее следуют совершенно непечатные выражения.

Но у меня не поднимается рука бросить камень в эту женщину. Сумасшедшие условия жизни сделали ее сумасшедшей. Но неужели у Ногтева и прочих соловецких «начальников» нет ушей и глаз? Почему они поручили руководство медслужбой Попова острова психически неполноценной женщине?!

В начале главы я уже ответил на данный вопрос: центральное руководство ГПУ, а вслед за ним соловецкие чекисты умышленно повышают смертность в лагерях. Еще одним подтверждением этому является факт, что заключенный может быть послан на осмотр к кемскому врачу только за собственный счет. Доктор из города посещает регулярно только соловецких чекистов, но не арестантов.

Контрреволюционеры и политические боятся больницы как чумы. Если заключенные из этих двух категорий заболевают и не могут лечиться домашними средствами, они умирают в бараках, умоляя не переносить их в больницу. И только шпана, которая, как Львова, не ценит ни собственную, ни чужую жизнь, добровольно идет туда. В результате уголовники мрут десятками, и в основном от цинги.

Вода на Соловецких островах обладает свойствами разрушать зубы с последующим появлением боли, которая усугубляется холодом и сквозняками, сви-

репствующими в бараках. В лагерях обязательно необходимы зубные врачи, но их нет. Правда, в кремле Соловецкого монастыря имеется дантист (уже известный читателю участник американской благотворительной акции в поддержку голодающих) Малеванов, наказанный большевиками в благодарность за служение людям. Но у него нет ни лекарств, ни инструментов.

На Поповом острове этот вопрос разрешен радикальным образом. В лагере есть человек по фамилии Брусиловский. До революции он был фельдшером, а после стал чекистом в Елизаветградском ГПУ (ныне относится к Одесской губернии, а первоначально — к Херсонской). Его прислали на Соловки по ст. 76 УК («Вооруженный бандитизм»). Несмотря на свою службу в ЧК, Брусиловский — очень приятный, симпатичный человек. Он решил сделать все возможное для страдающих от зубной боли и каким-то образом приспособил для удаления зубов обычные кузнечные клещи.

Безусловно, нельзя излечить зубы, если они портятся и нет никаких лекарств и инструментов. Единственный способ — выдернуть больной зуб, и пациенты всегда на это соглашаются. За свои услуги Брусиловский никогда не берет денег. Он имеет огромную практику, особенно среди шпаны, у которой выдергивает зубы сразу целыми рядами. В первое время Брусиловский удалял даже здоровые зубы, вероятно, набивая руку.

Этот сострадательный чекист лечит еще и сифилис. Его метод борьбы с отвратительным недугом тоже «последнее слово» соловецкой науки. Смесь из травяного настоя, спирта и еще чего-то впрыскивается вовнутрь обычным шприцем. Но в этой области ему, очевидно, нужно набраться побольше опыта, поскольку количество заболевших сифилисом в лагерях неуклонно растет, да и случаи со смертельным исходом все чаще и чаще.

Глава 14. Как делаются «полезные» граждане

Основные наказания. — Выстуженная темница. — «На комаров!» — Средневековая пытка. — Массовые расстрелы не нужны.

Руководители Коммунистической партии заявляют: «Соловецкие лагеря особого назначения по всей сути являются исправительными заведениями». Им хочется убедить мир в том, что наказание в данных учреждениях имеет своей целью сделать заключенных лучше и помочь им стать полезными гражданами Советской республики. В действительности же наказания, как и медицинское обслуживание, основываются на том расчете, чтобы наибольшее число заключенных как можно скорее спровадить на тот свет.

Отказ от работы, неповиновение властям, «контрреволюционная» пропаганда, оскорбительные слова или поступки в адрес персонала, «раскрытое» пре-

ступное прошлое (занятие Васко), попытка побега — для всех этих нарушений предусмотрены различные наказания в соответствии с совершенным проступком. Но я хочу упомянуть некоторые из основных кар:

— Секирка,

— «На комаров!»,

— продление срока заключения,

— «каменные мешки»,

— расстрел.

Такие меры исправления, наряду с ударами по лицу, изъятием посылок от родственников на неопределенное время в пользу изымающего, поркой кнутом или «смоленскими палками» (без «каменного мешка») и прочее, настолько распространены на Соловках, что нет нужды останавливаться на них подробно.

Секирка — это тюрьма на знаменитой Секирной горе на Соловецком острове в двух милях от кремля. В минувшие времена тут был скит одного из самых благочестивых овеянных легендой здешних святых обитателей. «Провинившегося» заключенного забрасывают на Секирку сроком от двух до шести месяцев. Режим там таков: арестант ежедневно получает полфунта хлеба, кувшин холодной воды и ничего больше. Все двери и окна в скиту завинчиваются, и заключенный полностью отрезан от внешнего мира. Темница совершенно не отапливается. Как правило, когда срок наказания подходит к концу, арестант превращается в насквозь промерзший труп. В редких случаях с Секирки возвращается полумертвый скелет.

«На комаров!» — очень популярная среди соловецких чекистов разновидность наказания. Оно производится следующим образом. Заключенного раздевают донага и заставляют встать на специальный камень позади комендантской. Несчастному приказывают под угрозой «каменного мешка» и расстрела стоять совершенно без движения, не шевелить даже пальцами и не отгонять комаров, которые покрывают тело страдальца толстым слоем. Пытка длится несколько часов. Когда наказание заканчивается, тело жертвы превращается в огромную язву от ядовитых укусов насекомых. Заключенные послабее погибают, а те, кто посильнее, еще много недель после наказания не в состоянии ни сесть, ни лечь.

Продление срока заключения сейчас применяется в качестве кары сравнительно редко по той простой причине, что недавно спущенные из ГПУ приказы осуждают арестантов на неопределенный срок. Когда он отбыл два, три, десять лет, его пересылают из Соловков в Печорский район. Затем в Нарым, потом в Зырянск и так далее до бесконечности. За более «серьезные» нарушения чекисты бросают заключенных в «каменные мешки».

В стародавние времена каждый монах в кремле и каждый святой в скитах имел по маленькому погребу, выбитому в большом камне кельи, где хранились съестные припасы. Погребки в 3—4 фута глубиной не имели дверей, и провизия укладывалась в них сверху через маленькие отверстия.

Это были знаменитые «каменные мешки». Чекисты подводили заключенных к «мешку» и спрашивали: «Как ты хочешь влезть туда: вниз головой или вниз ногами?» Если арестант влезает в «мешок» вниз головой, то его больно бьют «смоленскими палками» по спине и ногам; если он предпочитает вниз ногами — его колотят по голове и лицу. Избиение продолжается до тех пор, пока все тело целиком не войдет в «мешок», слишком узкий, чтобы в нем можно было сесть, и слишком неглубокий, чтобы стоять. Поэтому истязаемый должен находиться в коленопреклонном состоянии с вытянутой вперед головой. Время нахождения в «мешке» длится от трех дней до недели. Пайки тут такие же, как на Секирке. Очень немногим удается вынести эту средневековую пытку.

На Соловках не практикуются массовые расстрелы, подобные тем, что имели место в «Белом доме», но отдельные расстрелы довольно часты и считаются обычным явлением.

Советское правительство прибегает время от времени к уничтожению некоторого количества заключенных как к ответному шагу. Это делается в то время, когда в других странах предпринимаются меры подавления вспышек терроризма среди собственных коммунистов. Так, более 100 человек, как русских, так и иностранцев, были расстреляны после разгрома коммунистического мятежа эстонским правительством 1 декабря 1924 года, и несколько меньше — после подавления восстания в Болгарии.

Из открытых заявлений чекистов я заключил, что ГПУ сейчас не нужны систематические массовые расстрелы, потому что есть более «гуманные» способы для достижения совершенно аналогичного результата: медленная смерть от голода, работа сверх человеческих сил и «медицинская помощь».

Ошибочно предполагать, что для пыток комарами и «каменными мешками», для заключения на Секирке или расстрела нужно совершить какое-либо преступление. Заключенные всецело зависят от непредсказуемых капризов лагерной администрации, на произвол которой они брошены центральными властями. Если чекисту не нравится ваше лицо, если кто-то увидел, что вы тайком перекрестились, если вы поведали в письмах к родственникам о своей тяжелой судьбе — Секирка и «мешки» распахивают для вас свои страшные объятия.

Глава 15. Как живут чекисты

Роскошествующие пролетарии. — Веселые сборища в Кеми. — Отвратительные оргии. — «Высоко держите знамя коммунизма». — Как освобождены уголовники.

Концлагерь на Соловецких островах охраняется 3-м конвойным полком войск ГПУ (всего 300 винтовок), а на Поповом острове — 95-й дивизией войск ГПУ (150 человек). Несмотря на хорошее питание, среди красноармейцев свирепствует цинга, равно как и сифилис. Солдаты, за исключением тех, кто находится на посту по охране лагерей, живут на частных квартирах.

Соловецкая охрана, составленная из уголовных элементов, которые после Октябрьской революции внезапно обнаружили «классовую сознательность» и десятками тысяч вступили в Коммунистическую партию, все свое время проводила за игрой в карты, в дебошах, за распитием самогона и в пьяных оргиях. В этом они следовали примеру вышестоящего начальства.

Образ жизни, который ведут представители соловецкой администрации, весьма далек от пролетарского образца. Ногтев, Эйхманс, Васко, Кириловский, Попов ни в чем себе не отказывают. Зарабатывая за счет заключенных огромные деньги, «начальники» ведут совершенно некоммунистический образ жизни. Напитки, одежда и другие товары всегда поступают к ним с поезда из Москвы, Петрограда и Кеми. Я сам принимал участие в разгрузке двух таких составов. Они были заполнены водкой различных сортов, русскими и иностранными винами, включая шампанское и ликеры, дорогостоящей одеждой, как мужской, так и женской (для наложниц), удобной мебелью и прочим.

«Начальники» известны своими оргиями не только на Соловках, но и за их пределами — по всему северу России. Местом их дебошей обычно является Кемь, куда собираются для веселья чекисты из монастыря и с Попова острова.

На Поповом острове оргии проходят на квартире Кириловского — коменданта Кемперраспредпункта, который еще недавно имел репутацию хорошо воспитанного человека. Как правило, почти все застолья обязательно заканчиваются перебранкой. К примеру, в августе 1924 года во время обычной попойки гости и хозяин настолько напились, что Кириловскому сделалось плохо, и его вывели на свежий воздух. Когда он вернулся в дом, то увидел, что гостей, набравшихся до поросячьего визга, рвало прямо на стол, а его жена в соответствующей позе лежала на кушетке в объятиях Попова. Придя в бешенство, Кириловский стащил Попова с кушетки и отбросил с такой силой, что тот проломил головой дверь. Попов, однако, исхитрился ударить коменданта по лицу, разбив ему очки. Затрещали выстрелы. Попова отволокли домой, где он перебил кулаками все

окна и, проливая горькие слезы, вопил так громко, что было слышно по всему лагерю: «Убили, убили!»

Я склонен думать, что такой стиль жизни не является коммунистическим идеалом. Тем не менее, в ноябре 1924 года начальник УСЛОНа получил из Московского ГПУ письмо, полное благодарностей. В нем выражалась признательность Ногтеву и его коллегам за то, что они «высоко держат знамя коммунизма».

По завершении алкогольных развлечений начальники Соловков забавляются амнистированием шпаны. После установления навигации ежедневно освобождается до 500 человек. Процедура проходит так: у уголовников и уголовниц снимают их последние лохмотья («казенную одежду»), вручают им железнодорожные билеты до родных мест, снабжают хлебом в зависимости от протяженности путешествия. Потом шпану абсолютно без всякой одежды погружают в вагоны и отправляют на станцию Кемь. Естественно, половина уголовников прямо по прибытии в Кемь начинают грабить, чтобы добыть какие-либо вещи, что является причиной возвращения шпаны в лагерь, где они получают новый срок. Оставшаяся половина уезжает голой.

Никого из контрреволюционеров никогда не освобождали. Время от времени просачивались слухи о том, что, возможно, будут выпущены на волю политические или их повезут в какую-нибудь континентальную тюрьму. Но эти слухи так и остались слухами. Если политические покинут Соловки, то только ради другого места ссылки.

Часть 3.
НАШ ПОБЕГ

Глава 1. Единственный путь на свободу

Лицемерие большевиков. — Пожизненные узники. — Побег студента Николаева. — Провал других попыток.

Группам иностранных рабочих, которые приезжают в Москву, советское правительство дает понять, что само оно, конечно же, против существования Соловков и охотно допускает, что Соловки заставляют усомниться в «гуманности» народной власти. «Но, — вопрошают советские руководители, — что же делать?» Контрреволюционеры продолжают борьбу с народной властью, поэтому ГПУ, в свою очередь, настаивает на необходимости концлагерей и при этом перекладывает всю ответственность на Совет Народных Комиссаров. Пока все это говорится, Совет Народных Комиссаров и ГПУ пожизненно заточают своих узников на Соловках и их подобиях. С осени 1924 года по специальному при-

казу ГПУ, переданному на рассмотрение ВЦИК и им утвержденному, каждый заключенный, отбывший свой срок на Соловках, высылается еще на три года на «вольное поселение» в Нарымский край, затем еще на три года в Печорский район, и в итоге получается 12 лет. Для тех, кто каким-то образом ухитрился не умереть в течение этого времени, припасена окончательная «награда» — ссылка на вечное поселение в Восточную Сибирь.

Так что, в каком бы преступлении вас ни обвинили, как бы вы ни вели себя на Соловках, вас никогда не освободят. Любой сосланный советскими властями обречен на гибель во время своих странствий из тюрьмы в тюрьму, из одного места насильственной ссылки в другое.

Ужасное осознание того, что он осужден пожизненно, что после Соловков его повезут на новые страдания, отдадут во власть новому Ногтеву, новому Кириловскому, назначат худший паек, заставят выполнять еще более тяжелую работу, бросят в «каменный мешок», сгноят в другой Секирке, приводит несчастного узника к убеждению, что это нескончаемое, безнадежное хождение по мукам должно быть раз и навсегда прекращено при помощи побега. Но успешное бегство с Соловков — сущее чудо, невероятный жест, ниспосланный благосклонной судьбой всего лишь нескольким счастливчикам из десятков тысяч простых смертных.

В мою бытность на Соловках я слышал только об одном случае, когда заключенному удалось бежать с острова, причем он бежал не за границу, а в глубь России. Это был студент-медик по фамилии Николаев (контрреволюционер). Каким-то образом ему удалось устроиться на службу в комендантскую контору и войти в доверие к чекистам, изобразив ненависть к контрреволюционерам. Он стал управляющим всеми делами лагеря, имел в собственном распоряжении образцы официальных бумаг и даже иногда по вопросам конторы без охраны ездил в Кемь. Студент подделал для себя необходимые документы на вымышленное имя, бесплатный железнодорожный билет и даже удостоверение члена Компартии. Затем Николаев отправился в Кемь, якобы по делам, и более уже не вернулся. Много недель спустя мы получили письмо, в котором сообщалось, что Николаев находится в Москве, шлет нам теплый привет и желает наискорейшего выезда на юг.

Все прочие попытки неизменно заканчивались поимкой беглецов и преданием их мучительной смерти. Так было с финном, пытавшимся бежать в марте 1925 года, так стало с группой Цхиртладзе.

Шестеро контрреволюционеров во главе с капитаном Цхиртладзе совершили побег из Соловецкого монастыря в лодке, захваченной после убийства часового.

Пять дней их носило по бурному морю. Они старались пристать к берегу близ Кеми, у них не было пищи, иссякли последние силы и несколько раз закрадывалась мысль о совершении самоубийства (опрокинув лодку). Но в конце концов один из несчастных «колумбов» вдруг воскликнул: «Земля!» Они причалили к берегу и высадились поздней ночью. Беглецы были настолько слабы и истощены, что, разведя в лесу костер, полумертвыми пали на землю, забыв обо всем. Там их и обнаружил соловецкий патруль. Чекисты швырнули в огонь ручные гранаты. Четверо из беглецов были тут же убиты, а двое (один из них — капитан Цхиртладзе) захвачены. Капитану взрывом оторвало руку и перебило обе ноги. Пленников отвезли в больницу, немного подлечили, а потом после жестокой пытки расстреляли.

Благодаря одному чуду, прямому Божиему Промыслу смогли совершить невозможное — побег — я и четверо моих товарищей. Только об одном, о спасении, просили мы Бога, который вел нас 35 дней через карельские болота и пограничные леса, а на 36-й день вывел к Кусамо, в Финляндию.

Глава 2. Воплощение наших планов

Тщательная разведка. — Приезд Бессонова. — Наша группа составлена. — Нужна большая изобретательность. — Критический момент.

Мысль о побеге постоянно не давала мне покоя еще на Кавказе, в тюрьмах чрезвычайных комиссий Батума, Тифлиса, Владикавказа и Грозного. По прибытии на Соловки я сразу же начал выяснять все имеющиеся для этого возможности. В Соловецком лагере наведение подобного рода справок должно производиться с исключительной осторожностью. При расспросах и выяснении обстоятельств необходимо применять большую тонкость и деликатность. Нельзя с уверенностью сказать, кто именно из заключенных агенты ГПУ, а кто думает так же, как и вы. Часто происходили случаи, когда образованные заключенные, на первый взгляд вполне обаятельные люди, предавали своих товарищей.

Зимой 1924—1925 годов я сблизился со студентом-медиком Николаевым. Он сообщил мне, что подготавливает побег. Мы, однако, не пришли к общему согласию относительно последующего этапа в осуществлении плана. Николаев настаивал на необходимости бежать в глубь России, имея при себе все нужные документы: он обещал их подделать. Как уже говорилось в предыдущей главе, ему самому удалось полностью реализовать задуманное. Я же, напротив, был сторонником побега за границу по двум причинам: даже если нам удастся бежать, чекисты очень скоро могут обнаружить нас, останься мы в России; Кавказ — конечная цель моего пути — находился слишком далеко от Соловков,

и я никак не мог быть уверенным, что доберусь туда. Итак, пока Николаев с успехом пробирался через Кемь и Петроград в Москву, я оставался на Соловках в ожидании более благоприятной возможности.

В одну из февральских суббот 1925 года на Соловки прибыл новый этап с контрреволюционерами. Среди арестантов находился бывший капитан драгунского полка личной охраны его величества по фамилии Бессонов. Он не провел в лагере еще и двух дней, когда спросил меня: «Как вы относитесь к мысли о побеге? Я довольно скоро собираюсь бежать отсюда».

Так как у меня были все основания считать, что имею дело со шпионом ГПУ, я ответил: «Я и не думаю никуда бежать. Мне и здесь хорошо».

Но скоро я получше узнал Бессонова. Его выслали в Тобольск за «контрреволюцию» и неоднократные попытки бежать из тюрьмы. Он все же ухитрился совершить побег из Тобольска и добраться до Петрограда, где провел полгода на свободе. Затем Бессонов вновь попал в руки ГПУ, которое приговорило его к расстрелу. Но приговор был заменен пятью годами Соловков с последующей ссылкой в Нарымский край. В лагере он держался независимо. Не скрывал своего презрения к чекистам и не подчинялся приказам персонала.

Мы решили бежать в Финляндию. Каждый из нас искал среди заключенных спутников для рискованного путешествия. Бессонов пришел к выводу, что наиболее подходили два поляка: Мальбродский и Сазонов. Мальбродский был особенно нужным спутником, поскольку располагал компасом. Находясь в тюрьме Минского ЧК, он упрятал свой компас в куске мыла и тайно провез его на Соловки. Естественно, у нас не было никаких карт местности. Направление нашего похода определялось просто — на запад. И для этого компас имел решающее значение.

Только те заключенные, которые заняты на работах вне лагеря, имеют шанс бежать. В последнее время администрацией мне поручалось составлять списки арестантов, назначаемых для выполнения различных внешних работ. Но мне самому, однако, чекисты не позволяли выходить за проволочный забор, так как они давно подозревали меня в намерении бежать. Я столкнулся с трудной задачей — составить список, включив в него нужных нам людей, а в дополнение внести еще туда же и свою фамилию.

Как правило, для внешних работ составляют группы от 5 до 12 человек. Нам не нужно было слишком много народу. Следовало набрать группу, включающую уже названных четырех заключенных: Бессонова, Мальбродского, Сазонова, меня и еще какого-нибудь надежного контрреволюционера. Мне удалось вписать кубанского казака, которого мы ни о чем заранее не предупредили.

Но успеху препятствовало одно обстоятельство. Каждая группа, как правило, состояла из заключенных, входящих в состав одной трудовой роты. Бессонов относился к 5-й роте, а Сазонов — к 7-й.

Хотя я испытывал беспокойство за судьбу с большим трудом составленного плана, мне, тем не менее, удалось включить всех наших в одну группу.

Рано утром 18 мая 1925 года две партии заключенных были выведены на работу за территорию лагеря. Группа из 6-й роты направлялась рубить лес на берегу неподалеку от Кеми, а другая, наша, мыть бараки красноармейцев на самом Поповом острове. Это грозило сорвать весь план, так как с Попова острова невозможно убежать.

Все это время чекист по фамилии Мясников особенно внимательно наблюдал за мной. Иногда он говорил, что прежде был гусаром, иногда — матросом, иногда — сослуживцем Дзержинского. В лагере Мясников занимал должность помощника командира трудового полка. И мне пришлось под его наблюдением искать повод для того, чтобы именно нашу (а не другую) группу направили в лес. После минутного раздумья я подошел к заключенным из 6-й роты и сказал: «Ребята, да вы просто замерзнете в лесу в своих лохмотьях и лаптях. Вам бы лучше отправиться в бараки». Наши же, специально готовясь к побегу, подлатали одежду и починили обувь.

К счастью для нас, как раз в этот момент Мясникова куда-то вызвали, и я подвел нашу группу к охране со словами: «А теперь, товарищи, идем работать в лес».

Никогда еще мое сердце не билось так сильно, как в ту минуту. Нам выделили конвой из двух красноармейцев, и мы пошли на работу.

Глава 3. Наш побег: первый этап

Первоначальный успех. — Следуя нашими путями. — Бессонов в роли диктатора. — Следы преследователей. — Западня.

Мы рубили лес до 8 часов утра. Именно в это время проходит товарный поезд, следующий с Попова острова в Кемь. Поэтому было бы очень опасно бежать раньше. Когда поезд скрылся из виду, Бессонов подал ранее условленный знак — поднял свой воротник. Мы сзади набросились на солдат, и нам удалось сразу же разоружить одного из них. Второй оттолкнул Мальбродского и Сазонова, которым было поручено обезвредить его, и поднял дикий крик. К счастью, мы находились в трех милях от лагеря. Я сбоку ударил красноармейца, и он упал.

Я был за расстрел обоих солдат: они были коммунисты и служили в войсках ГПУ, но Бессонов убедил меня не делать этого, поскольку акт мести в данной

ситуации совершенно не принес бы никому никакой пользы. В этот момент кубанский казак, который от удивления рухнул на землю, простер к нам свои руки и взмолился: «Братишки, не убивайте!» Мы успокоили его: «Чего ради ты поднял такой шум, дурень? Никто и не думает тебя убивать. Свобода, которую ты имел на Соловках, дарована Калининым, а мы сейчас по-настоящему освобождаем тебя. Поступай как знаешь. Если ты вернешься в лагерь, расстрел неминуем. Идти с нами — рискованное дело. Или, если желаешь, отправляйся на юг, в свою Кубань. Мы обойдемся без тебя. Так что поступай как знаешь».

Казак пошел с нами. Его фамилия была, между прочим, Приблудин. Еще раньше мы условились твердо следовать намеченному пути — во что бы то ни стало достичь русско-финской границы. Главная цель — благополучно пересечь ее, поэтому взяли западное направление. Мы прошли двенадцать миль точно на север вдоль железнодорожной насыпи, ведя с собой двух красноармейцев. После девяти миль одного из них мы послали в западном направлении, а второго отпустили, пройдя одиннадцать миль. При этом у обоих отобрали ботинки. По нашим предположениям, они не смогли бы добраться до лагеря раньше следующего утра, даже если бы отыскали обратную дорогу.

Мы дошли до домика железнодорожника и попросили его продать нам хлеба (у нас было шесть червонцев, собранных за время подготовки к побегу). Но стрелочник (очевидно, коммунист) отказал нам. Пришлось забрать пищу силой. Мы нагрузили Приблудина, Мальбродского и Сазонова продовольствием и прошли еще три мили на север. Затем повернули на восток, потом на юг и возвратились почти в то же самое место, из которого два дня назад начали свой поход на север. Мы пересекли железнодорожную насыпь и взяли курс прямо на запад.

В течение этих первых дней мы шли без остановок целые сутки. «Привалы», обозначенные в дневнике Бессонова (он вел его на внутренней стороне переплета своей Библии), были лишь минутными остановками на еду. Но скоро начала сказываться усталость. Дорог не было, наш путь пролегал по влажной почве, покрытой густым низким слоем растительности, и по бесконечным болотам.

Бессонов, который сам утвердил себя в ранге безжалостного диктатора, потрясал винтовкой перед носом каждого, кто останавливался хотя бы даже на минуту, и грозил убить на месте. В тот момент он казался нам жестоким, но теперь я понимаю, что беспощадная строгость нашего командира в большой степени определила успех побега.

Мы еще раз резко изменили направление и продвинулись к югу, в сторону реки Кемь. Здесь нас настигла метель. Сильный ветер валил с ног. Мои ботинки развалились совсем, но, к счастью, у меня оказалась пара старых калош, которы-

ми я и воспользовался, предварительно обмотав ноги тряпьем. Возможно, этот ужасный буран, принесший столько лишений, в то же время и помог нам: снег замел наши следы.

Хлеб закончился. У нас осталось 30 кусочков сахара. Мы вынуждены были ввести «голодный паек» и тщательно делить каждую крупицу. В этот момент мы подходили к деревушке Подужемье.

Около деревушки нам бросились в глаза следы чекистов. Так как Бессонов был обут в пару казенных ботинок, отобранных у одного из красноармейцев, мы смогли сравнить следы и убедились, что прошли солдаты войск ГПУ. Здесь же просматривались отпечатки лап собак-ищеек. Мы поняли: за нами охотятся с собаками.

Было решено следовать на запад вдоль берега реки Кемь без всяких отклонений. Я так обморозил ноги, что временами на глазах появлялись слезы от боли.

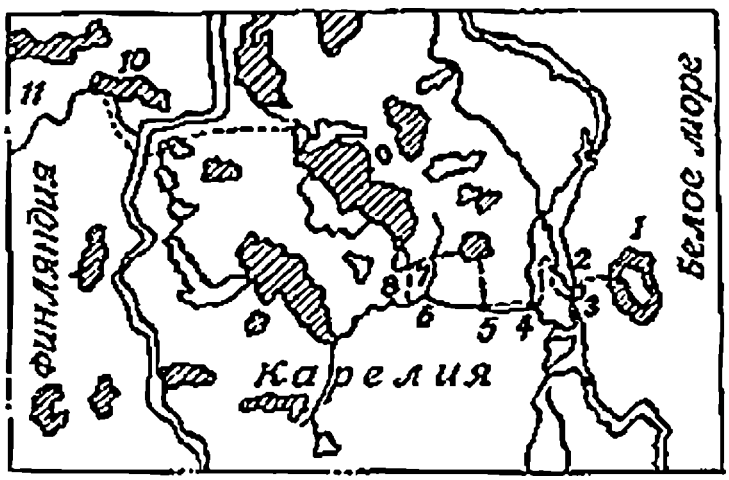
Но не оставалось ничего другого, как идти дальше и дальше. Приблизительно в десяти милях от Подужемья мы встретили двух карелов. Они пришли в ужас от нашего каторжного вида. Карелы сообщили, что вся республика оповещена по телефону о том, что с Соловков бежали пять человек. За поимку каждого беглеца обещали 10 пудов муки. Они видели десятерых чекистов с собаками. Кроме того, катер из Кеми с шестью военными на борту патрулирует реку.

Мы попросили у карелов хлеба и табаку. Они дали нам две буханки и пакет махорки, за что мы заплатили им 3 рубля. У них не было сдачи. Карелы посоветовали свернуть в сторону на 25 миль от Подужемья к молочной ферме. Через некоторое время мы обнаружили на этой ферме вполне профессиональную засаду. Но я не думаю, что два карела умышленно направили нас туда.

Обычно, приближаясь к обитаемым местам, мы ложились на пару часов на землю и наблюдали, кто входит и кто выходит из него. И на сей раз было проделано то же самое. Но ничего подозрительного мы не обнаружили. Сазонов, Мальбродский и Приблудин остались в укрытии. А Бессонов и я направились к ферме; он открыл дверь, но уже с порога издал дикий вопль: «Красные!» Распахнув дверь, Бессонов увидел три прямо на него наставленные винтовки. Будучи на редкость хладнокровным человеком, он и в этой ситуации не утратил самообладания, быстро захлопнул дверь и начал стрелять сквозь нее.

Я устремился к нему. Красноармейцы все еще безмолвствовали. Было глупо вступать с ними в бой, и мы решили отойти в лес. Но для этого необходимо было пройти мимо окна, и чекистам ничего не стоило перестрелять нас оттуда, как куропаток. Бессонов занял позицию удобную, рядом с конюшней, откуда можно было бы в любой момент открыть огонь по окну, если вдруг там появится

солдат. Я стоял с другой стороны с винтовкой наготове. Через некоторое время мы, покидая наши посты, сами отдали себе команду: «Бегом марш!» — и были почти у самого леса, когда к берегу от устья Шомбы, притока Кеми, подплыл катер с шестью солдатами на борту. Те красноармейцы, что находились в доме, повыпрыгивали из окон с противоположной стороны, выходящей к реке. В перестрелке уже не было никакого смысла. Однако Бессонов стрелял в катер. Чекисты выскочили на берег и бросились к лесу. Откуда ни возьмись, появилась другая лодка, заполненная плачущими женщинами и детьми из семей карельских рыбаков. Мы поспешно скрылись в лесу.



Приблизительная карта показывает путь нашего бегства (помечен точками).

1. Соловецкий остров (в действительности он гораздо дальше от материка)
2. Рымбаки
3. Попов остров
4. Кемь
5. Подужемье
6. Река Кемь
7. Река Шомба
8. Деревянная дорога
9. Озеро Торо
10. Озеро Муоярви
11. Главная дорога от Кусамо до Улеаборга

Глава 4. Ужасный переход

Сазонов — плотовщик. — Горькое разочарование. — Кладовая косарей. — Грабеж коммунистической фермы. — Неминуемая гибель. — Плавательный рекорд Сазонова.

Мы продолжили свое изнурительное путешествие через болото, поросшее густыми кустарниками. Надежда сменилась в наших сердцах отчаянием. Время от времени мы без сил падали на землю от истощения и усталости. Мои обмороженные ноги причиняли ужасную боль. Мы продолжали следовать почти строго на юг вдоль реки Кемь, а затем повернули на запад. Таким образом, падая и поднимаясь снова, непрестанно проваливаясь в болотистую воду, мы покрыли 25 миль. Впереди показалось большое озеро. На его берегу было несколько рыбацких хижин, но дома никого не оказалось. Мы прихватили немного съестного, оставив на камне червонец с запиской следующего содержания: «Простите, но нужда заставляет нас заниматься воровством. Вот вам червонец».

Длительное время мы не представляли, как перебраться через озеро. Попытались обойти его вокруг, прошли десять миль — и никакой надежды, всюду вода. Тогда Сазонов, выросший вблизи водоема, смастерил несколько необычных маленьких плотов, связывая чем попало планки. В ход было пущено все, что имелось в нашем распоряжении: ремни от винтовок, пояса, рубахи. После этого Сазонов перевез нас на противоположный берег. Мне запомнилось, что переправа по озеру отняла у нас последние силы. Воскрешая теперь в памяти весь пройденный в те страшные дни путь, я не могу понять, как нам удалось выдержать такое напряжение (физическое, психическое) и не пасть замертво где-то в карельских торфяниках.

Но, очевидно, Богу было угодно сохранить нас, выведя из густых болотных зарослей, чтобы мы засвидетельствовали перед всем миром: святые пределы Соловецкого монастыря превращены нечестивым правительством в места неизбывной муки.

Переправившись через озеро, мы решили двигаться строго на запад. Вокруг простирались бесконечные болота без всяких тропинок. У нас не осталось ни кусочка хлеба. В течение трех дней сильный голод был единственным нашим ощущением, поэтому на четвертые сутки, рискуя угодить в засаду, мы все-таки отправились на поиски хлеба. Охотясь за съестным, мы набрели на деревянную дорогу, которая пролегала через болото. Очевидно, ее построили англичане. На ней мы не обнаружили чьих-либо следов. Проведя военный совет, единодушно решили свернуть на север в надежде найти жилье. Прошли двенадцать миль — ни души. Через некоторое время мы поравнялись с другим озером. На противоположном берегу виднелась большая деревня. Можно было расслышать голоса и собачий лай. Мы медленно доплелись до

берега. Бессонов и Сазонов долго стояли у самой воды и громко кричали: «Эй, кто-нибудь!» Наконец нас услышали. Подплыла лодка, на веслах сидел карел. «Можно ли раздобыть у вас хоть сколько-нибудь хлеба? Мы заплатим». — «Хлеба раздобыть можно сколько угодно. Да и всего другого тоже, — ответил честный рыбак, — но в деревне чекисты с Соловков. Они разыскивают вас».

Мы опять углубились в заросли кустарника. Беспрерывно шел дождь, стояла сырая и ветреная погода. Более четырех дней мы ничего не ели, а только курили. В конце концов наша группа вышла к деревянной тропинке, проложенной над водой. Она привела нас к маленькому домику среди болота. Мы тщательно осмотрели это местечко, но не обнаружили ничего съестного. Четверо из нас пытались под дождем развести костер из хвороста, а Бессонов продолжал исследовать окрестности. Из своей разведки он вернулся внезапно, держа в руках пять караваев черного хлеба. По пути Бессонов с жадностью поедал кусок за куском. Сначала я думал, что это галлюцинация, вызванная голодом. Но нет же! То был настоящий хлеб, причем в изобилии.

Несомненно, домик принадлежал карельским косарям. Зимой они переносят съестные припасы в дом, поскольку летом до них невозможно добраться: болота превращаются во внутреннее море. Недалеко от избушки Бессонов обнаружил деревянное укрытие, похожее на гигантский гриб. Оно открывалось посредине, и прямо под ним были сложены сотни огромных караваев, три мешка крупы, мешок соли. Наша радость не знала границ. Мы решили хорошо отдохнуть. К счастью, вероятность чекистской засады в центре болота могла быть полностью исключена, поскольку доступ сюда практически был невозможен, кроме как по найденной нами тропинке. Из этого хлеба мы приготовили отвар, зажарили мясо и сварили суп. Мы прожили в избушке, пока хлеба не осталось по пять буханок на каждого.

Потом — опять на запад. Вода, вода, вода — без конца. Мы шли около недели, взяв по пять буханок на каждого. Найденная тропинка вывела нас к уединенной молочной ферме. Мы спрятались, стали внимательно прислушиваться и через некоторое время отправили Сазонова раздобыть пищу. Когда он вернулся с хлебом и маслом, нам бросилось в глаза, что из избушки выбежала крестьянка и заспешила к лодке, брошенной на берегу. Было ясно: в этом доме живут коммунисты, и женщина направилась за красноармейцами. Мы несколько раз выстрелили в ее сторону, она испугалась и вернулась в дом.

Мы дочиста разграбили этих коммунистов: забрали кадку масла, много белого хлеба и всю имеющуюся рыбу. У нас оказалось так много провизии, что даже Бессонов и я, которые обычно шли во главе отряда только с одними винтовками и прокладывали путь, теперь несли на плечах каждый по мешку.

К этому времени наша одежда превратилась в лохмотья. Колючие кустарники все изодрали в клочья. Ботинки развалились прямо на глазах. Наши бороды взлохматились и свалялись, лица были невероятно грязные, на коленях и локтях зияли дыры. В общем, мы выглядели как людоеды или беглецы-каторжники.

Пробираясь через лес по узкой тропинке, мы наткнулись на следы солдатских ботинок и окурок от самокрутки. Так как у нас не осталось больше табаку, мы с жадностью схватили окурок, и каждый сделал по две затяжки. Сазонов и Мальбродский настаивали на том, чтобы покинуть опасную тропинку. Мы вышли к реке. Поиски брода заняли три часа, но его так и не удалось обнаружить. Нам пришлось опять вернуться на покинутую тропинку.

После длительного пути мы вышли к месту, где четко просматривались следы многих ног. Это подсказало нам, что граница совсем рядом. Но установить хотя бы приблизительно, где она, мы не могли. У нас не было карты, и никто не знал, сколько миль нужно пройти, чтобы достичь Финляндии. Стрелка компаса показывала нам только, где находится запад, и это все. По компасу мы могли определить только, где находится запад, и это все.

Мы осторожно пошли по следу. В тот момент, когда наш отряд огибал маленькую возвышенность, из-за большой скалы посыпался град пуль. От неожиданности я застыл на месте как вкопанный. Пущенные в нас чуть ли не в упор 50 или 60 пуль просвистели мимо, никого не задев. Нам были видны вспышки от производимых со скалы выстрелов. Мелькнула догадка, что попали в засаду, устроенную с обеих сторон тропинки. В данной ситуации спас нас лес, особенно густой в этом месте.

Мы разбежались в разные стороны среди деревьев. Стрельба продолжалась долго. Возможно, это было столкновение с советским пограничным отрядом.

Быстро продвигаясь в западном направлении, мы вновь остановились у реки. Брод так и не был найден. Попытка обогнуть реку тоже ни к чему не привела: мы проделали долгий путь и в итоге вернулись на прежнее место. Через несколько дней выяснилось, что по этой реке проходила граница между Россией и Финляндией. Она считалась непреодолимой, поэтому ее не охраняли ни финны, ни русские. Но мы должны были перебраться через реку: она преграждала нам путь на запад. Сазонов переплыл на противоположный берег. Мальбродский нырнул в воду и стал тонуть. Сильным течением его понесло вниз. Я с трудом вытолкнул Мальбродского на берег. Меня самого отнесло на несколько ярдов ниже, я уже начал захлебываться, но вовремя уперся стволом своего ружья в речное дно и сумел удержаться на поверхности. Мы не знали, как поступить. Вконец обессилевшие и измученные, несколько раз

безрезультатно бросались в воду и каждый раз возвращались на берег. Спас нас Сазонов, который вновь продемонстрировал свое умение покорять любое течение: он каждого из нас по очереди переправил на противоположный берег на собственной спине.

Глава 5. Свобода

Языковые трудности. — Счастливая уверенность. — Дневник Бессонова. — Убытки, понесенные финскими крестьянами. — Друг в нужде. — Наконец свобода.

Мы промокли до нитки, отсырели патроны. От холода зуб на зуб не попадал, и в довершение всего маленький запас хлеба унесла река. К счастью, пару дней спустя в лесу мы набрели на оленя. Бессонов, ухитрившийся (в отличие от всех нас) сохранить свое оружие сухим, пристрелил его. На радостях мы сразу съели почти половину туши, без хлеба, в вареном виде, а оставшуюся часть взяли с собой. Результатом такого пира явилось общее желудочное расстройство. Несколько дней мы были настолько ослаблены, что с трудом передвигались.

Через двое суток после переправы через реку и довольно длительного пути нам повстречался коттедж. Мы вошли вовнутрь и попросили хозяев продать нам хлеба и кое-какой другой снеди. Они не понимали нас, так как не знали русского языка. Затеплилась надежда, что мы в Финляндии[8]. Мы спрашивали, где мы, что это за страна — Финляндия или Россия. Пришлось прибегнуть к помощи жестов и объяснить на пальцах, но это было совершенно бессмысленно (между прочим, попав в Финляндию, мы узнали, что финское название страны — Суоми). Мы взяли нужную провизию и предложили хозяевам червонец, но они от него отказались. Тогда мы высыпали свой оставшийся запас мелких монет, которых набралось 90 копеек серебром. На серебро крестьяне согласились. Мы уходили от них, провожаемые недружелюбными взглядами. Прошло еще несколько дней полной неуверенности и тревоги: пересечена ли граница, находимся ли мы в Финляндии или еще в СССР? Если принять за факт последнее, не рискуем ли мы провалом нашего побега после стольких трудностей, не попадемся ли мы снова в руки чекистов?

23 июня мы вышли к большой реке. На противоположном берегу стояло много народу: очевидно, шла подготовка к сплаву леса. В течение последних недель нам бросилась в глаза определенная перемена в окружающем пейзаже: везде проглядывались признаки порядка и культуры. Мы даже нашли

[8] Язык не был для нас точным доказательством, так как крестьяне по обе стороны границы говорят по-фински. — *Авт.*

пачку из-под сигарет с нерусской надписью. Да и работники на том берегу были одеты гораздо чище их советских коллег. После долгих сомнений и беспокойства мы решили, что граница осталась позади. Крикнув, мы попросили прислать с другого берега лодку. Переправившийся работник объяснил нам (конечно, не без труда), что СССР лежит далеко позади.

Несколько мгновений мы не могли вымолвить ни слова, так как радость перемешивалась с усталостью. Казалось, последние силы внезапно оставили нас. Бессонов этот незабываемый момент зафиксировал в своем дневнике только одним словом: «Финляндия».

Наш «диктатор» вел дневник на внутренней стороне обложки за оглавлением и на обороте последней, 440-й, страницы Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа (Синодальное издание 1916 года). Ежедневно он делал коротенькие записи карандашом. Эти мало связанные между собой заметки, воистину прошедшие сквозь огонь и воду, дают наиболее полную картину всех превратностей нашего побега. Благодаря им мы не потеряли счет дням.

Я приведу несколько характерных выдержек из дневника Бессонова.

«18 мая 1925 года. Разоружили конвой и сбежали.

21 мая. Бивуак в лесу. Из-за метели остаемся в хижине.

24 мая. Снегопад продолжается. Прекратился вечером.

26 мая. Снег тает. В 2 часа ночи отправляемся в сторону реки Кемь. В 7 часов вечера пришли в деревушку Подужемье. В 11 часов вечера встретили двух крестьян. Взяли немного хлеба. Ночь. Идем вдоль реки Кемь. Настроение хорошее. В Подужемье засада красноармейцев. Они вышли нас разыскивать.

27 мая. Прошагали всю ночь и весь день без отдыха. Еда почти закончилась. В 7 часов вечера пришли на молочную ферму, угодили в засаду. После перестрелки красные удрали в лодке. Мы поспешили вдоль реки, раздобыли еду у рыбаков. Еды мало. Вынуждены идти голодными. Ужасно устали. В 2 часа ночи ушли с берега реки, сделали привал в 6 часов утра.

28 мая. Отдыхали весь день. Еды мало. У всех распухли ноги.

29 мая. Ночной переход через «непроходимые» болота. Дневной отдых. Вечером устремились вперед. Отдых. Мешки. Гуси. Заяц. Полночь. Мальбродский не может идти от усталости. Отдохнули.

30 мая. Около 11 часов вечера успешно переправились через реку Шомба. Облегчение и большая радость. Слава Богу! Шли всю ночь.

1 июня. Утром неожиданно набрели на рыбацкую избушку. Все они на рыбалке. Взяли там хлеба, оставив 3 рубля. Большая помощь. Идем дальше. Потеряли

дорогу среди озер. Сделали плот. Переправились на другой берег. Вечер. Переход без отдыха. Пошел дождь. Ужасное утомление. «Страшная ночь». Дождь так льет, что наш костер погас. Ни минуты сна. Утомление осталось.

2 июня. Идем как пьяные. Утром дождь прекратился. Останавливаемся на дневной отдых. Избушка. Отдыхаем весь день и всю ночь.

4 июня. Утром пошли в деревню добыть пищу. Карелы обещали дать и обманули нас. В деревне солдаты. Еды совсем мало. Идем на запад. Что еще Бог уготовил нам?!

5 июня. Артаганович не может идти, плохо выглядит. Двинулись в 1 час ночи. Дует с севера. Вода, болота, ледяной холод. Непреодолимая река. Прошли шесть миль, вместо запланированных шестнадцати. Маленький кусочек хлеба и "манна" в карманах в течение двух дней. Домик косарей. Гриб и огромное количество хлеба, муки и соли. Все пали на колени и возблагодарили Создателя. Почти утро. Все спят. Слава Богу! О Господи, помоги нам таким же образом и в будущем избавь нас от врагов наших! Я верю, Он нам поможет.

6 июня. Отдых. Маленькая избушка. В данный миг я счастлив нравственно и физически. Бог явил чудо!

8 июня. Погода изменилась. Тепло. Вода спадает. Едим каждые два часа и славим Бога. Почти ночь. Костер. Я не могу спать. Я начеку. Обстановка хорошая. Ничего не замечено. По нашим подсчетам, по "непроходимым" болотам пройдено 18 миль.

11 июня. Шли всю ночь. Утром остановились на короткий отдых, попили кипяченой воды. Пошли дальше. Остановились в 6 часов вечера. Маленькая избушка № 2. Двинулись вечером. Как много испытаний, чтобы приблизиться к нашей цели! По моим подсчетам, мы в 13 милях от границы. У меня осталось два кусочка хлеба, у Мальбродского — ни одного.

12 июня. Рано утром выпили кипятку под маленьким навесом у озера. Тропинки, озера, дождь. Привал в развалившейся избушке. Нервы. Нечего есть. Господи, помоги нам! Пошли дальше. Движемся всю ночь. Дождь, роса, холодно, тропинка.

13 июня. Озеро. Красные. Линия патрулирования.

Идем вокруг. Отдых без костра. Шесть миль на запад — и ни признака границы. По моим подсчетам, мы пересекли границу в полночь. Шли всю ночь. Холодно. Развели костер и отдыхаем до утра. Еды нет совершенно.

14 июня. Река. Отступление. Тропинка. Засада. Выстрелы в упор. Бог сберег нас. Хвала ему! Бегство. Назад к реке. Ужасная переправа.

15 июня. Отдых после переправы. Обсушиваемся день и ночь. Ссора. Мир водворен.

17 июня. Счастливым выстрелом сразили оленя. Почти всего съели.

18 июня. Двинулись утром. Остановились на отдых в полночь. Весь день стояли. В 7 часов вечера пересекли поляну.

19 июня. Отдохнули. Поляна никуда не ведет. Рейд на молочную ферму. Отдых с коровами.

21 июня. Двинулись утром. Усталость. Неуверенность. Идти неохота. Поляна. Пошли к краю. Вышли с поляны. Телефонная линия. Сплавка леса. Финляндия!»

Бессонов, очевидно, писал в своем дневнике не каждый день; в действительности наш побег завершился 23 июня 1925 года.

Финны приняли нас приветливо. Накормили и отправили в Улеаборг. Начальник улеаборгской полиции своим вниманием тронул до слез. Он не только доставил в тюрьму еду и снабдил деньгами, но и сам отвел меня к врачу для перевязки обмороженных ног. Я, с виду настоящий бандит, грязный, в лохмотьях, почувствовал некоторую странность в его обходительных манерах, а в лицах встречных людей — недоумение: «Кто это угодил в ловушку шефа полиции?»

Но, тем не менее, нас освободили не сразу. Выяснилось, что владелец молочной фермы, где мы несколько дней назад взяли провизию, заплатив около рубля серебром, так как хозяева отказались от советских бумажных денег, подал жалобу, требуя компенсацию в 1000 марок.

Газеты, в частности, сообщали о происшествии таким образом: «Пятеро большевистских бандитов пересекли границу и совершили вооруженное нападение на финскую ферму». Нам пришлось побыть несколько дней в тюрьме, пока дело рассматривалось (вначале в Улеаборге, а потом в Хельсинки). Но после Соловков и карельских лесов даже тюрьма нам показалась сущим раем.

Когда мы приехали в Хельсинки, в тюрьме с нами повидался председатель Специального комитета по делам России в Финляндии А. Н. Феноулт. Благодаря его неиссякаемой энергии и проявленному участию нас очень скоро освободили, предоставив возможность прилично одеться и привести себя в более или менее человеческий вид.

Примечательно, что Мальбродский (другой поляк, Сазонов, родом из бывшей Виленской губернии, не был признан подданным Польши), который сразу обратился к польскому консулу, покинул тюрьму только с нами, не имевшими официальной дипломатической поддержки.

Мне бы хотелось завершить свое скромное повествование словами искренней благодарности всем (как финнам, так и русским), кто проявил к нам в Финляндии столько симпатии и участия.

После зверской жестокости, пережитой в концлагерях, вопиющего эгоизма, черствости и непостижимого бессердечия, привитого большевиками несчастному народу России, прием, оказанный в Финляндии, тронул нас до глубины души.

✠

ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

БЕССОНОВ



Е. Г. Сойни
ПОБЕГ В ФИНЛЯНДИЮ ЮРИЯ БЕССОНОВА

В 1928 г. в Париже был опубликован роман Юрия Бессонова «26 тюрем и побег с Соловков», повествующий о побеге пятерых узников Соловецкого лагеря в Финляндию. Роман принес автору ошеломляющую известность и в то же время вызвал тревогу в чекистских кругах. Это было первое художественное произведение о жизни заключенных в Соловецком лагере. «Я этому парню верю, так не врут», — сказал Р. Киплинг, прочитав перевод романа Бессонова. Киплинг был единственным, кто поддержал Ю. Бессонова в тот момент, когда видные писатели Европы заявляли, что «Побег с Соловков» — это клевета на молодое Советское государство[1]. Поездка А.М. Горького на Соловки и была организована с целью замять международный скандал, а сам роман Бессонова исчез из многих библиотек.

Юрий Дмитриевич Бессонов, сын генерала царской армии, родился в Петербурге в 1891 г. После окончания гимназии два года учился в художественной студии в Париже, а вернувшись, окончил кадетское военное училище в Петербурге в 1908 г. и Николаевскую кавалерийскую школу в 1910-м. После революции примкнул к корниловцам, с которыми участвовал в походе на Петроград. В 1918 г. был арестован. Заключение Ю. Бессонов отбывал на станции Плесецкая, откуда ему удалось бежать на Северный фронт, в войска под командованием генерала Миллера. После поражения армии Миллера в 1920 г. Бессонов пробовал бежать в Финляндию, но вместе с другими белыми офицерами был схвачен и доставлен в петрозаводскую тюрьму. После нескольких амнистий Ю. Бессонов был вновь арестован и заключен в Соловецкий лагерь, обвиненный за контрреволюционную деятельность. Оказавшись в одной рабочей роте, Юрий Бессонов, Матвей Сазонов, ингуш Созерко Мальсагов и поляк Эдвард Мальбродский договорились о побеге в Финляндию. Пятый — Василий Приблудин — примкнул к группе беглецов совершенно случайно. Мальсагов, занимавшийся среди заключенных распределением на работы, поставил кубанского земледельца пятым в бригаду по заготовке метел.

18 мая 1925 г., разоружив двух конвоиров, бригада отправилась в путь через леса и болота. Пройдя за 35 дней около 400 верст пути под неожиданным июнь-

[1] См.: Интервью с Б.И.Бессоновым от 21 января 1993 г. СПб. — Архив автора. — *Здесь и далее примеч. автора.*

ским снегом без карт и продуктов, переплыв через порожистую реку, бывшие соловецкие узники пересекли финскую границу. С тех лет сохранились два фотоснимка Ю. Бессонова. На первом — потомственный дворянин, «лицо овальное, глаза синие, нос прямой», снят сразу же после побега с Соловков в июне 1925 г., еще голодный и изнуренный, на другом — он уже при костюме, с модной прической перед отъездом, на сей раз во Францию.

Первые финны, встретившиеся беглецам после пересечения границы, были крестьяне Вихтаваара, которых бывшие узники тут же «ограбили». Впрочем, это было скорее недоразумение, чем грабеж, напишет в заключении рапорта начальник полиции Куусамо лейтенант Шенберг. Беглецы хотели купить еды и предложили крестьянам деньги. Иивари Вихтаваара, не знавший русского языка, не понял, чего от него хотят. И советских денег не взял, и еды не хотел давать. Обед пришлось добывать силой, он мог бы сослужить плохую службу беглецам, если бы не благородство начальника полиции, оказавшегося добрым малым и не открывшего на соловчан уголовного дела. В отчете финской полиции этот эпизод с «покупкой» продуктов и советскими деньгами занимает солидное место. Лейтенант Шенберг с юмором пересказывает показания Ю. Бессонова, открыто занимая сторону беглецов: «Сначала они спросили у хозяев, где находятся, но те, не зная ни слова по-русски, ничем помочь не могли. Попытались объяснить, что голодны. Хозяева снова ничего не поняли. Хозяйская дочка выскользнула из дома и побежала к соседям. Они сильно испугались, что она донесет на них красноармейцам. Тогда они быстро собрали все увиденные в доме продукты и ретировались... В свое оправдание допрашиваемый приводит тем не менее следующие доводы:

1. Они не знали, где находятся — в России или в Финляндии;
2. Продукты были все полностью использованы, а члены группы крайне истощены;
3. Хозяева дома их не понимали, хоть лопни.

Они оставили в доме все имевшиеся у них в наличии серебряные и медные деньги (всего 45 копеек). Рассказчик говорит, что попытался объяснить хозяйке, что они не большевики, и в подтверждение показал висящий на шее медальон, на котором была изображена Богоматерь ... Из знакомых, живущих в Финляндии и могущих удостоверить его личность, называет полковника Оскара Вилкмана (Вилкама)»[2].

Сослуживец Бессонова — бывший царский офицер Оскар Вилкама в 1920- х гг. был уже в чинах, находясь на должности военного коменданта г. Хяменлинна. Из финской тюрьмы, где беглецы ожидали решения своей участи,

[2] Schönberg. Luutnantti Kuusamo / Kainuun Päällikko. Liitteenä. I kpl. S. 9–10; Suomen kansallisarkisto. Asia N. 1007.

Ю. Бессонов отправил письмо своему другу: «Дорогой Оскар, я нахожусь сейчас в крайне тяжелом положении... я выгляжу разбойником с большой дороги. Моральное истощение от тюрем, постоянного бегства от преследования, как у загнанного волка. Ужасная нервотрепка. Сильные впечатления, и теперь вот реакция — полное отсутствие сил. У меня к тебе следующая просьба — чтобы у меня при содействии какой-нибудь организации — государственной ли, Красного Креста или какой-нибудь другой, или с твоей помощью, или с помощью твоего брата (я помню его еще с клубных времен, думаю, что и он помнит меня) была бы возможность отдохнуть где-нибудь в больнице или пансионате. Мои запросы на данный момент ограничены одним литром какао, килограммом белого хлеба, отбивной котлетой на обед и отдыхом в кресле в течение двух месяцев. В этом и заключается моя главная просьба... По прошествии стольких лет ты, естественно, не сможешь дать мне положительной характеристики. Но я этого и не прошу. Единственное, что я хочу, чтобы ты подтвердил, что я действительно являюсь Бессоновым, который служил с тобой... Я бы очень хотел встретиться с тобой и поговорить о жизни... Принимаешь ли участие в конных состязаниях? В каких? Сколько лошадей?»

Неизвестно, удалось ли Бессонову воплотить в реальность свои «ограниченные» пожелания. Друг ответил, что занят в маневрах и ничего не сможет сделать для Бессонова. Письмо Оскару Вилкама было отправлено 6 июля 1925 г., т. е. после первых двух недель пребывания Бессонова в Финляндии. Бессонов еще полон иллюзий о западной жизни, о свободе, о благополучии. А вскоре на него начнут писать доносы. В одном из них побег расценивался как совершенный по благословению ЧК, «ибо невозможно, пройдя столько большевистских тюрем и лагерей, все-таки суметь остаться целым и невредимым и спастись в Финляндии». Бессонов тоже считает, что побег вряд ли был бы возможным, если бы не благословение — только не ЧК, а самого Господа Бога, ведь в спасение не верил никто. К слову, страницы, на которых писатель рассуждает о Боге, пожалуй, самые сильные в романе. Перед лицом смерти человек без Бога ничего не стоит, «Бог и она» — вот кредо Бессонова.

По жанру первые главы «26 тюрем...» — авантюрный роман с широким показом северных тюрем первых послереволюционных лет, с ярким описанием уголовного мира, с занимательным повествованием о любви главного героя к красавице чекистке. Во второй части происходит как бы смена жанров. Вместо пестрящих картин уголовного быта, бесконечно хлопающих тюремных дверей перед читателем возникают сдержанные пейзажи Вологодчины, Карелии, Финляндии; уголовный фольклор уступает место нравственно-религиозным

размышлениям главного героя. Это уже этико-философская проза с ее обращением к Доброму и Вечному.

Разочарование настигает главного героя «26 тюрем...» уже на так называемой свободе. «Свобода!.. Но в лесу я ощущал ее острей». Разочаровывают героя газеты, полные мелочными выяснениями отношений: «Все было тут не то. — Тут важно было победить друг друга». Разочаровывает эмиграция: «Они все ссорятся и думают — за ними вся Россия. За ними — ничего. Так, по три человека... Уж, конечно, не Россия». Разочаровывает то, что с Запада не видно России: «И вот я здесь... Нет Соловков, не видно России... Не видно отсюда и ее зари».

Рваный лаконичный стиль Бессонова, напоминающий военную прозу Э. Хемингуэя, обжигает. Это не столько словесное искусство, сколько горячее дыхание, стук сердца: «Границу ждали, ее хотели... Придирались ко всякому признаку... Вот широкая просека... И хочется верить... Граница это или нет?» Юрий Бессонов мастерски описывает резкую перемену, произошедшую с беглецами, полными мистических сил, энергии и, главное, цели. Первое, что произошло «за границей», — это потерялась цель, исчезла энергия: «Странное ощущение. Цель достигнута, и инициатива больше не нужна... Стало как-то неловко, даже неприятно...»

Конечно, Бессонов удивлен, что финские рабочие одеты в синие теплые фуфайки и непромокаемые сапоги; колоритно, почти с физическим наслаждением описывает вкус рисовой каши с киселем, и художественно точно называет чашку кофе «бесцельной». Бессонов не скрывает противоречий, терзающих его душу, вроде бы он на свободе, вроде бы он должен быть счастлив, вокруг Финляндия, «все чисто, гладко... Очень хорошо». Но буквально через несколько строк после этого «хорошо» Бессонов восклицает: «Я весь был в будущем... Ну, а теперь? Мне тяжело... Невыносимо».

Негативное отношение Бессонова к эмиграции привело к тому, что книгу нечасто цитировали в русской зарубежной периодике, а некоторые симпатии к коммунистам и красноармейцам настроили против автора монархистов; в то же время колоритное описание тюрем северной России: Петрозаводска, Вологды, Архангельска, Мурманска, захватывающие сцены перестрелок, бандитских налетов, грабежей и пьяных загулов заставили чекистов конца 1920-х гг. сделать все необходимое по уничтожению книги. Но в Финляндии книга была замечена. О ней доброжелательно писал преподаватель хельсинкского университета Валентин Кипарский в очерках «Финляндия в русской литературе». Имя Бессонова стояло рядом с именами Н. Гумилева и А. Ахматовой.

Вероятно, все пережитое по обе стороны границы и, может быть, разочарование в самом результате побега привело Бессонова к мысли о том, что в матери-

альном мире нет никаких ценностей, за которые стоит бороться. Как его герой в «26 тюрьмах...», бывший рубака, зэк, пришел к постижению высоких законов нравственности, так и сам автор посвятил свою жизнь служению Богу. В 1942 г. в Париже в разгар мировой войны он обращается ко всем православным христианам в книге «Партия сильных» с молитвой об объединении: «Наш лозунг не разъединение, но соединение. Мы широки во Христе и от сердца тянем руку нашим братьям».

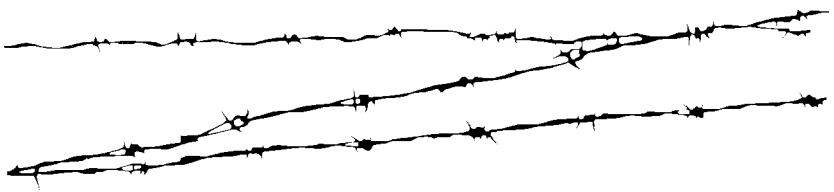
Побег в Финляндию сделал Бессонова знаменитым, определил его дальнейшую судьбу, но в то же время отнял у Бессонова жизненные силы, порвал все связи с Родиной. Стоило ли бежать? Этот вопрос не раз вставал перед писателем.

Из Финляндии в 1926 г. Ю. Бессонов перебрался во Францию, открыл художественный салон на Монмартре. Умер Юрий Дмитриевич Бессонов в конце 1950-х гг. и похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Друг Ю. Бессонова по побегу, бывший офицер царской и затем Добровольческой армии Созерко Мальсагов, автор документальной книги «Адский остров» (1926), после окончания войны обосновался в Англии. Умер в 1976 г. Коммерсант Эдвард Мальбродский и сын настоятеля церковного прихода Матвей Сазонов выехали из Финляндии в Польшу, а вот судьба кубанского казака, уроженца станицы Староминской Василия Приблудина, даже не подозревавшего, что ему придется участвовать в побеге, пока остается неизвестной. Впрочем, за человека с такой фамилией можно быть спокойным.

✠

Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков[1]



Дорогая сестра!

Вот уже несколько дней я нахожусь в том состоянии, когда человек, захлебываясь от ощущения полноты жизни, выходит за грань повседневности и не может совладать с собой, чтобы словами, буквами, знаками и всеми чувствами выразить радость бытия.

Вот уже несколько дней я принуждаю себя написать тебе.

Я чувствую, я понимаю, что я должен поделиться с тобой своей радостью. Хочу — и не могу этого сделать. Я пьян от свободы. Я счастлив, чувствуя жизнь, и у меня нет слов это передать.

Я обращаюсь к тебе и прошу меня понять.

Восемь лет разлуки, восемь лет молчания — и вдруг возможность общения. Да не прежнего, ограниченного, не частичного, не нелегального — записочками и слухами, детски шифрованными письмами, а полная возможность просто, ясно и откровенно выразить то, что ты хочешь.

Моя голова этого еще не охватывает, я к этому не привык и еще не умею пользоваться свободой выражения мысли. Мысль бегает, не сосредотачивается. Я стараюсь уловить главное — и все кажется главным.

Но надо начинать...

Я — за границей!

Ты не можешь себе представить, сколько жизни, полноты и смысла в этих словах для меня, человека, бежавшего из неволи, из России. Ведь в них сосредотачивается все. Я дышу — я чувствую — я понимаю — я свободен — я счастлив — я живу. Я... я — человек.

[1] Публикуется с сокращениями по: Безсонов Ю.Д. Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков. — Paris, 1928. 228 с.

Как мне хотелось бы одним махом, одним мазком передать тебе все мое прошлое и настоящее. Жаль, но это невозможно. Слишком много событий и переживаний, чтобы выявить их разом.

Но, прежде всего, основа всего, все для меня, одно для меня — я верю в Бога.

Двадцать шесть тюрем, побеги, налеты, нелегальная жизнь, белые, красные, арестантские вагоны, уголовники и проститутки, страдания и мучения, постоянная угроза смертной казни выковали во мне человека, сильного в жизни, — недоковали силу духа.

В то памятное для меня утро, когда на рассвете я вышел в тайгу, разоружив конвоиров, оставляя за собой соловецкую каторгу, огромное пространство болот и лесная чаща отделяли меня от финляндской границы.

На 36-й день я достиг ее.

Сила?.. Нет. Сила не в моей упрямой воле, а в Божией, с которой я должен слить свою, и правилен не мой путь борьбы за жизнь, а единственный истинный путь — путь, который нам указал Христос. Мне труден он. Я уклоняюсь от него постоянно, ежечасно, ежеминутно, и я расписываюсь: я слаб. И слаб потому, что я силен. Но я вижу идеал. Я верю в Любовь — Правду — Добро — Истину — Бога. Я шатаюсь, но я иду. Я иду, и я дойду.

Сейчас, пока еще жива во мне память о прошлом, я хочу передать тебе мою жизнь так, чтобы она была тебе понятна и ясна. Я буду тебе писать просто, что сам видел, сам чувствовал, пережил, только правду.

Твой брат Ю. Б.

<...>

Знаменитый Соловецкий лагерь особого назначения. Самая тяжелая большевицкая каторга. Соловки, с которых нет возврата... Зимой без одежды, без помощи извне... Вот мой удел. Страшно. Не выдержу.

Нет... Ничего... Выдержишь... Сейчас ты более чем когда-либо силен духом. Верь, что Бог лучше тебя знает, когда нужно послать облегчение. Он тебя не оставит, и эту перемену в жизни ты должен принять с радостью. Сейчас ты с Богом — Совестью внутри себя идешь в мир. Оглянись назад, посмотри, на что были направлены все твои стремления раньше и куда ты идешь сейчас. Взвесь, что бы ты предпочел: эти шесть месяцев или все блага мира?

Так вот он, выход. Тяжело...

Соловецкие острова

Все тот же двор... Конвой... Вокзал... Но все не то... Я сам не тот...

Что ж изменилось?

Все. И отношение к людям... И к себе, и к фактам, и к судьбе... Все новое...

Я как-то мягче, чище стал. И люди будто изменились. На путь Христа я твердо встал и не сойду. Ему я покорюсь.

«Не выдержишь! Ведь ты же сдал... Ведь нет уж сил... Ведь ты на каторгу идешь. Нужна борьба... Не выдержишь!..» — мне разум говорил.

Но я спокоен был. Я силу чувствовал и знал: пока я с Ним и Он со мной — я победитель.

Дверь вагона раскрылась, и в коридоре послышался топот ног нескольких человек...

Что-то вносили... В дверях замялись... Шла руготня...

— Да ну... Нечего там канителиться!.. Вали ее на пол!..

Что-то тяжелое, мягкое шлепнулось об пол и потом стукнулось.

— Берись за веревки! Тащи! — опять послышался голос.

И опять топот ног...

Я подвинулся к решетке и увидел: по узкому коридору, выставив вперед руку, боком маленькими шажками шел конвоир. На правой руке у него была намотана веревка, и он тащил за собой беспамятную, в разорванном на груди платье, связанную по рукам и ногам женщину.

В моем вагоне их было восемь.

При вывозе из тюрьмы эта не давалась взять... Тогда ее избили, связали и, несмотря на сильный мороз, так, как она была — в одном платье, положили на сани и привезли. По дороге она потеряла сознание.

Другая во время пути рассказала нам свою историю.

Она крестьянка. Вдова. У нее был грудной ребенок. За недостатком хлеба вместе с ребенком она ушла из деревни и нанялась уборщицей в школу. Заведующий школой был коммунист. Вскоре же после ее поступления он начал к ней приставать. На связь она не пошла, и он ей отомстил. Ее обвинили в контрабанде, арестовали, долго держали в тюрьме и около года тому назад сослали в Соловки. Не желая расставаться с ребенком, она взяла его с собой. Детей там держать не разрешается, и с обратным этапом ее отправили в Псков, уверив, что дело там пересмотрят, и ее, может быть, оправдают. В Пскове ее вызвали как бы на допрос. Ничего не подозревая, она, передав ребенка своей товарке по камере, пошла к следователю. Он задал ей какие-то вопросы и быстро отпустил в камеру. Ребенка своего она больше не видела. И вот теперь ее уже второй раз везут в Соловки.

Она просила ей помочь. Я передаю ее просьбу.

Везли нас скоро. Наши вагоны были прицеплены к пассажирскому поезду. Через три дня утром мы прибыли в город Кемь.

Здесь нас должны были передать на ветку и отвезти за 12 верст на Попов остров, соединенный с материком дамбой и железнодорожным мостом. Это был один из островов Соловецкого лагеря особого назначения. Наша каторга.

Часа в 2 дня дверь в вагон шумно растворилась, и в него, в полушубках, валенках, с револьверами на боку, ввалились два каких-то типа. От обоих пахло спиртом. Запанибрата поздоровавшись с начальником конвоя, один из них сейчас же обратился к нему с вопросом:

— Ну как? Баб привез? Показывай!

И они вместе подошли к отделению женщин.

Среди них была видная блондинка. Ее мужа расстреляли, а ее сослали на 10 лет. Дорогой она держала себя скромно, плакала и, видимо, была очень удручена.

— Ну-ка, ты! Повернись! — обратился к ней один из типов.

Блондинка продолжала сидеть спиной к решетке.

— Тебе говорят... — повторил он.

— Всю дорогу морду воротит, — сказал начальник конвоя.

— Ну ничего, пообтрется. А недурна! — мотнув головой, проговорил он и пошел по вагону.

— Ты за что? Ты за что? — спрашивал он, идя по коридору.

— Вы за что? — спросил он одного из ехавших со мной офицеров, остановившись у нашего отделения.

— По 61-й статье... За контрреволюцию, — ответил тот.

— А, значит по одному делу. Приятно... На сколько?

— На три года.

— Мало!.. Я тоже был на три, два отсидел, еще три прибавили. Итого четыре. Ну, до свидания, — прибавил он и, хлопнув дверью, в сопровождении другого типа вышел из вагона.

— Это ваш будущий командир полка и заведующий карцерами, — сказал нам, указывая по их направлению, один из конвоиров. — Поехали ловить шпиона. Сегодня бежал из лагеря. Тоже бывший офицер, — прибавил он.

Я ничего не понимал. Бывший офицер! Он же — командир полка! Он же — арестованный. Ловит беглецов. С Соловков можно бежать. Почему он сам не бежит? Трудно было, на мой взгляд, совместить это, и понял я это только на Соловках.

На Поповом острове было только три «административных лица» из центра. Начальник лагеря Кирилловский и его два помощника: один по административной, другой по хозяйственной части. Все остальные места занимались арестованными же.

Тонко и умно построили большевики соловецкую каторгу... Да, собственно, и всю Россию.

Лишив людей самого необходимого, то есть пищи и крова, они же дали им и выход. Хочешь жить, то есть вместо полагающихся тебе восьми вершков на нарах иметь отдельные нары и получать за счет других лучшую пищу, — становись начальником. Дави и без того несчастных людей, делайся мерзавцем, доноси на своего же брата, выгоняй его голого на работу... Не будешь давить — будут давить тебя. Ты не получишь трех лишних вершков койки, лишнего куска рыбы и сдохнешь с голоду.

И люди идут на компромисс. Да и удержаться трудно, ведь вопрос идет о жизни и смерти.

То же делается и во всей России, но на Соловках это наиболее резко выявлено.

Одним из таких поддавшихся людей и был наш будущий командир полка знаменитый Ванька Т-в, теперь покойник. Его расстреляли. Он бывший офицер. За участие в белых войсках попал на Соловки. Есть было нечего, он поддался и дошел до должности командира полка. Но я никак не могу сказать, что это был совершенно отрицательный тип. Он хотел жить, делал свою «карьеру», но никогда не давил своего брата — «контрреволюционера», то есть арестантов, отбывающих наказание по контрреволюционным статьям. Его расстрел еще раз подтверждает, что для того, чтобы служить советской власти, нужно изгадиться до конца. Он не дошел до этого конца и, как непригодный для советской власти элемент, был уничтожен.

На севере смеркается рано...

Часа в 4 дня нас выгрузили из вагона. Как всегда, долго возились, выстраивая и пересчитывая. Окружили конвоем и повели...

Идти пришлось недалеко, всего версты полторы. Издалека я увидел высокий забор... Вышки часовых... И громадные ворота.

Над ними надпись: «У.С.Л.О.Н. — Управление Соловецких лагерей особого назначения. Кемский распределительный пункт».

Подошли... Все, даже уголовники, всегда наружно бодрящиеся и веселые, как-то приутихли. Жизнь кончается.

Впереди знаменитая соловецкая каторга. Раскроются ворота. Впустят... И навсегда.

«Неужели навсегда?» — подумал я.

Нет. Ведь только на три года.

Да не на три, а на всю жизнь. Выхода нет.

Начальник конвоя постучал в дверь, часовой открыл окошечко, посмотрел и сильно дернул за веревку колокола. Гулко на морозном воздухе раздался звон.

Вышел караульный начальник. Ворота раскрылись... Мы вошли... Они закрылись.

И я — на каторге.

Попов остров — небольшой островок, кажется, километра три в длину и два в ширину — принадлежит к группе Соловецких островов. С материком он связан дамбой и железнодорожным мостом.

Прежде он служил передаточным пунктом для богомольцев и монахов, едущих на главные Соловецкие острова, находящиеся от него в 60 километрах. Теперь это один из самых тяжелых пунктов соловецкой каторги.

На юго-западном его берегу расположен лагерь соловецкой каторги. С трех сторон этот кусок сплошного камня, в полкилометра в длину и в одну треть ширины, омывается морем. Здесь нет ни одного дерева, кое-где он покрыт землей, все остальное — гранит. Со стороны моря он окружен переплетенной колючей проволокой. От суши отделен высоким забором. За проволокой и забором — вышки для часовых.

В длину от ворот, к юго-западному его концу, идет «линейка», то есть на камне настланы доски. Здесь в летнее время, а иногда и зимой — за наказание — происходит поверка.

Справа и слева от нее расположены большие бараки. У ворот — караульное помещение, канцелярия, барак чекистов и барак женщин. В ширину идут мастерские, электрическая станция, кухня, баня, лазарет, политический барак, цейхгауз и карцера.

Кто строил этот уголок, я не знаю. Говорят, что начат он при постройке Мурманской железной дороги, продолжен при пребывании на севере англичан и кончен большевиками. Причем каждый внес свое: инженеры — плохие бараки, англичане — электрическую станцию, большевики — карцера. Что последнее произведение принадлежит им, это мне известно достоверно.

Нас вывели на линейку... Остановили — и начался прием... С палками в руках, в самой разнообразной одежде, с малиновым цветом на шапке или на петлицах, со всех сторон из всех бараков бежали к нам чекисты... Это была соловецкая аристократия — войска внутренней охраны, бывшие сотрудники ГПУ. Наше будущее начальство.

Начался «парад»...

Я был на войне. Слышал команды там, где они имеют действительное значение, где командой нужно вести человека на смерть, и поэтому часто в нее вливается и злоба, и ярость, и самая нецензурная ругань, но я никогда не мог представить, чтобы команду нужно было так изгадить и исковеркать, как это сделали чекисты.

Нас было всего около ста человек, и над этими ста голодными, истощенными и замороженными людьми измывались 25 человек. Это был какой-то сплошной никому не нужный рев. Они изощрялись один перед другим, но чего они хотели от нас, ни они, ни мы не понимали. Мне кажется, это были просто люди, уже перешедшие в стадию зверя, которому нужно порычать...

Вдруг сразу несколько человек, приложив руки к шапкам, пародируя старое офицерство, вытянулись и заорали исступленными голосами:

— Смирно! Товарищи командиры!..

Шел помощник командира полка.

Бывший чекист, бывший проворовавшийся начальник конвойного дивизиона Соловецкого же лагеря. Теперь тоже арестант.

— Ты что? Ты где? Как ты стоишь? — переплетая каждую фразу руганью, заревел он на одного из арестантов.

— Помни, что ты в лагере особого назначения, — кричал он, ударяя на словах «особого назначения».

— В карцер его! — и опять ругань.

— И вот этого, еще и этого, пусть помнят, сукины дети, что они на Со-ловках! — растянул он последнее слово.

Моментально куча его сподвижников кинулась исполнять его приказание.

Нас отвели в барак... У меня с собой не было ни одной вещи, но один из арестантов попросил меня взять его узел, с ним я пошел на обыск.

— Деньги есть?

— Нет.

— Врешь! Если найду, карцера попробуешь. По глазам вижу, что есть...

Во мне шла борьба... Я молчал...

Кончился обыск. Началось распределение по ротам, я попал в 7-ю.

Для того чтобы увеличить ответственность за проступки, в Соловках введен воинский устав: разделение на роты, взводы и т.д. Все это устроено безалаберно, структура непонятна, но в общем помогает цели, преследуемой большевиками, — помогает давить человека. Конечно, этого можно было достигнуть и иначе, но ведь они очень любят вводить все в рамку законности.

Привели меня в роту перед началом вечерней поверки.

Большой барак, шагов 100 в длину и 20 в ширину. Несмотря на мороз, дверь открыта, и, несмотря на открытую дверь, ужасающий воздух... Внизу мороз, наверху нечем дышать. Испарения немытого тела, запах трески, одежды, табаку, сырости — все смешалось в густой туман, сквозь который еле мерцали две 10-свечевые электрические лампочки.

Все арестанты были дома. Нары в четыре ряда, идущие в длину барака, были сплошь завалены лежащими и сидящими на них людьми... Изможденные, усталые лица... Под лампочками грудой стоят голые тела с бельем и одеждой в руках: бьют вшей.

На одном конце барака — загородка. Там «аристократия» — командный состав. На другом, у окна, — столик, лучшее место. И тоже «аристократия», но денежная.

Барак во многих местах в щелях заткнут тряпками.

Вот где придется жить...

Подошли арестанты... Разговор сразу перешел почти на единственную интересовавшую тогда всех тему: что слышно в Петрограде об изменении Уголовного кодекса?

Я ответил, что я из одиночки и ничего не знаю.

Это была одна из тех очередных надежд, которыми должен жить заключенный. Раньше бывали амнистии, разные досрочные освобождения и т.п. В тот момент Соловки жили надеждой на изменение Уголовного кодекса и скидку по новому кодексу двух третей со срока наказания.

Вера в это была колоссальна. Только об этом и говорили, и эту надежду поддерживало начальство. Ему это было выгодно. Есть предел человеческому терпению. И у арестанта оно может лопнуть. Чтобы этого не произошло, начальство решило: пусть верят — нам легче их держать.

Прозвонил колокол...

И сравнительная, усталая тишина барака нарушилась тем же диким ревом, который я слышал при нашем приеме.

На середину барака вышел командир роты.

— На поверку становись! — заорал он исступленным голосом.

Нехотя слезали с нар усталые люди... Крик и наказание действуют на человека до известного предела. Видно, здесь люди привыкли ко всему.

— Ну что ж, вас там просить, что ли? Выгоню на мороз, продержу там — будете становиться!

Люди становились, но неумело и неохотно. Много было не знавших строя.

— А тебя что, Калинка, отдельно просить? — обратился он к старичку, маявшемуся на месте и не знавшему, что ему делать. — Ты гроб себе сделал? Нет? Так делай! Я тебя туда вгоню, — продолжал он издеваться над старичком.

Но тот, видимо, дошел до предела и не выдержал.

— Стыдно вам, товарищ командир, глумиться над старостью, — взволнованным, но внятным голосом произнес он.

— Ты отвечать еще?! Дежурный! В карцер его! С поддувалами... Нет, погоди, я его после поверки сам отведу.

В бараке наступила тишина. Мерзость сцены шокировала людей, уже видавших виды.

Около часу мы стояли и ждали...

Наконец пришла «поверка». Дверь резко открылась, и в барак полным ходом влетело, звеня... шпорами, сразу несколько человек чекистов. «При чем тут шпоры?» — подумал я.

К дежурному по пункту подскочил дежурный по роте с рапортом... Все это так не шло ни к их полуштатским костюмам, ни ко всей обстановке с полуголыми людьми, и было так глупо, что казалось каким-то фарсом, если бы это не было трагично... Ведь от всей этой кучки людей совершенно произвольно, вне всякого закона, зависела жизнь каждого из нас.

Дежурный по пункту просчитал ряды, и «поверка», опять гремя шпорами и шашками, вышла из барака.

— Калинка, сюда! Да не одевайся! Все равно голым раздену и поддувала открою! — опять заревел командир роты.

Я видел, как старичок подошел к нему, как он его взял за шею и толкнул с крыльца так, что тот упал на первых же ступенях.

Командир роты был известный на все Соловки своими зверствами Основа. На Поповом острове были устроены особые карцера, построенные из досок и никогда не отапливаемые. Чтобы арестованному в них было еще холоднее, там открывали окно, а чтобы довести наказание до предела, его раздевали догола. Повел же старичка Основа сам, чтобы, приведя в карцер, его еще и избить.

Свободного места, то есть тех восьми вершков, которые мне полагались, на нарах не было, и я расположился на ночь на узком, единственном в бараке столе.

Барак спал...

Переплетаясь телами, задыхаясь от духоты и вони, люди лежали на своих восьми вершках.

То и дело в бараке раздавались стоны и крик... Бред во сне и наяву...

Измученный трудом, морозом и недоеданием человек получал свой законный отдых.

«Вот он, «милосердный режим»», — подумал я.

Не надо злобствовать — сейчас же ловил я себя на мысли.

Но как же? Ведь я не могу не видеть этой обстановки...

Нужно стать выше этого... Терпеть и искать счастья в любви к людям...

Картины дня переплетались в моей голове с моими намерениями... Трудно было их совместить. Но в ту ночь я твердо решил не сходить с выстраданного мною пути. Бог меня на него поставил. Он и выведет.

Но я не выдержу...

Тогда нужно идти на компромисс — встать на место Основы и ему подобных... Сделаться мерзавцем и давить людей...

Нет, этого я сделать не могу — сразу и навсегда решил я.

Тогда сказать и продолжать говорить правду. То есть, иначе говоря, кончить самоубийством.

Но имею ли я право идти на верную смерть? Да и хватит ли у меня сил, чтобы умереть такой медленной и мучительной смертью?

Я подумал. И понял... Исповедовать правду имеет право каждый, и это не самоубийство, а высший подвиг. Жизни мне не жаль, но сил на это у меня не хватит.

Где же выход? Как себя держать, вести, как жить?

Так, как этого хочет Бог. По совести. Подчиняться, страдать и терпеть.

Но ведь это же полумеры... Возможны ли они здесь?.. Не выдержу, прорвет меня...

День на Поповом острое начинался рано. Летом в 5, зимой в 6 часов утра звонил колокол. Нехотя, через силу вставали люди... Но отдельные фигуры, большей частью постарше, вскакивали и бежали за кипятком. Пресную воду на Попов остров привозили по железной дороге из Кеми. Кипяток получался один раз в день — утром, да и то его обыкновенно не хватало. Заменить его, кроме снега, было нечем. Днем после мороза хотелось согреться, и, чтобы получить кипяток, приходилось на кухне покупать его за продукты или просто за деньги. Умывалки не было. Зимой умывались просто снегом.

На рассвете шла поверка. Выстраивались на нее за полчаса, а то и за час. Командиры, помощники, дежурные, дневальные, взводные, отделенные...

Все это ревело, кричало и ругалось... После поверки читался наряд на работы.

Весь барак был в расходе: пилка дров, укладка дров... Сколка льда, заготовка льда... Наряд на лесопилку, на водокачку, на погрузку и разгрузку и т.п.

Снова колокол... И раздетых, голодных, не отдохнувших каторжан строем ведут к комендатуре на разбивку.

Нарядчик вызывает партии, конвой окружает и выводит. Начинается работа.

Открытое море... Мороз градусов 12... Ветер подымает и кружит снег...

На льду кучка арестантов, кругом красноармейский конвой.

Идет заготовка льда для начальника лагеря. Нужно пилой выпилить льдину, ломом отколоть ее и баграми вытащить из воды.

Ноги мокрые, скользят... Руки коченеют, сил не хватает... Льдина срывается и уходит в море...

Укладка дров. Приходит десятник: «Сложите дрова здесь». Сложили. Является заведующий хозяйством: «Почему дрова здесь? Переложите их туда». Переложили. Потом заведующий дровами: «Уложите на старое место» и т. д.

Работа по очистке лагеря. Чекистов нет — можно отдохнуть... Но стоишь — холодно, работаешь — силы уходят, есть хочется, а хлеба нет.

На водокачке. «Вот, — предлагает заведующий, — на урок... налить пять бочек — и конец». Навалились. Налили, позвали заведующего. «Нет, еще только 10 часов, отпустить не могу». Дело имеешь с людьми, у которых нет слова ни в каком масштабе.

Работы делились на внутренние и «за проволокой». На внутренних работах начальство — свои же, арестованные, — «чекисты». Хотят выслужиться — гонят, доносят, и нет никого хуже их. На внешних — красноармейцы конвойного дивизиона.

Бывали работы и ночные. Из Москвы должна была приехать какая-то ревизия, и наше начальство решило провести по Попову острову дорожки, чтобы красивее было. И вот над этими дорожками в течение месяца день и ночь работало около тысячи человек.

12 часов. Колокол на обед. Раздатчики ушли уже давно... От кухни по направлению к баракам идут «чекисты» с маленькими бачками, наполненными рыбой. За ними, отстаивая свои права с руганью, а иногда и дракой, получает свой обед шпана. Затем наливают суп и нам.

Первое время моего пребывания на Соловецких островах мне даже есть было нечем — не было ложки. На Соловках не выдают ничего: устраивайся как хочешь. Есть лавочка, а деньги хоть воруй.

Мы едим втроем из одного бачка. На обед суп, он должен быть с рыбой, но у нас ее нет — одни сушеные, разваренные овощи. Садимся... Около наших нар стоит молодой крестьянин — «политический бандит»: голубоглазый, здоровый, настоящий русский парень.

— Ты что, Ф-в?

— Да так. Ничего.

— Хлеба нет? — сразу понял я.

— Да вчера еще с кипятком всю пайку съел... Не хватает...

— Ну чего же, садись с нами.

Рядом обедает группа цинготных. У некоторых она задела только десны, другие уже еле двигаются и ходят скрючившись.

После обеда опять работа. В 5 часов ужин. Каша без масла вроде замазки. Хочется пить. Кипятку нет. Раз в неделю выдают маленький стакан мелкого сахару. И это всё.

У большинства арестованных есть родные, которые, недоедая сами, посылают продукты и деньги своим близким. Остальные питаются за их счет, получая остатки хлеба, обеда и ужина, а зачастую поддерживаются и посылками. Умереть с голода не дадут.

Не знаю, что выдается арестованному на бумаге, я говорю про то, что он получает, и уверен, что если бы в Соловки приехала какая-нибудь иностранная делегация, то ей великолепно бы втерли очки. В советской России при осмотрах нужно уметь смотреть, а лучше всего попробовать самому. Но по-настоящему, всерьез... Например, сесть на Соловки на общих основаниях. Много интересного можно там увидеть, услышать и многому поучиться.

День на Поповом острове кончался поверкой. После нее приносилась «параша», и выход из барака запрещался.

Всего на Соловецких островах сидело около 6000 человек. На Поповом острове было 1500 человек.

Всех сидящих можно разделить на несколько категорий.

Совершенно привилегированное, исключительное положение занимали там «чекисты» — бывшие сотрудники ГПУ. Сидели они за «должностные преступления»: воровство, взятки и т.п. Никто из них не работал. Все они занимали различные командные и административные должности. Из них были сформированы войска внутренней охраны, на обязанности которых было конвоирование работающих арестантов.

Тоже в исключительных условиях находились на Соловках «политические», то есть социалисты и анархисты.

Везде, во всем мире есть какое-то общее понятие о политическом преступнике как о лице, делом или даже словом переступившем установленный человеческий закон с целью ниспровержения или только изменения существующего государственного строя страны, нескольких государств или даже всего мира во имя блага отдельной группы людей, государства или всего человечества.

С оригинальной, как всегда, точки зрения советского правительства, «политическими» преступниками, если не принимать в расчет небольшой группы анархистов, считаются только социалисты. Их не расстреливают. Я не говорю об исключениях. Они одеты и сыты. Само советское правительство установило им особый режим и выдает особый, вполне достаточный паек. Главные причины такого отношения — поддержка их социалистами Запада. Заигрывание советской

власти с западными рабочими. Желание власти «заработать» на «политических» звание гуманнейшего правительства. Отсюда — сравнительно незначительное количество политических в тюрьмах и их организованность как следствие неприменения к ним смертной казни.

На Поповом острове они находились в отдельном бараке, конвоировались войсками внутренней охраны, связь с ними не разрешалась, они не работали, получали лучший паек, имели свой коллектив и старосту. Всего на Поповом острове их было около 150 мужчин и женщин.

В самом худшем положении на Соловках находятся контрреволюционеры. Они вне закона. О них никто не заботится, и никто им не помогает. Все их проступки караются большей частью расстрелом. Бежит уголовник — прибавят год, два... контрреволюционер — верный расстрел. Неисполнение приказаний — расстрел. Рот у них закрыт. Болтнет что-нибудь — прибавят срок и т.п. Вот почему многие и поддаются на компромиссы. И винить их трудно.

К этой категории принадлежат обвиняемые в различных контрреволюционных действиях, заговорах по церковным делам; разные повстанцы, «шпионы», «политические» бандиты, их пособники и укрыватели. Сюда входит духовенство, бывшее белое офицерство, казаки, главным образом кубанские и терские, кавказские народности: черкесы, осетины и грузины и т.п. Много среди контрреволюционеров и возвращенцев из-за границы разных сроков.

Говорить в отдельности о ком-нибудь из контрреволюционеров по некоторым причинам я не могу, но, на мой взгляд, людей, действительно совершивших преступление, подходящее под одно из тех обвинений, которые им предъявляют, то есть, короче говоря, преступников, на Соловках нет. Всякого сколько-нибудь активно участвовавшего в каком-нибудь контрреволюционном заговоре или действии, организатора восстания, шпиона, политического бандита советская власть расстреливает. Другого наказания нет. Поэтому почти все, кто попадает на Соловки, все это второстепенные роли. И большей частью по выдуманным, сфабрикованным делам.

Последнюю категорию заключенных на Соловках составляют «блат-шпана», то есть уголовные преступники. Вообще говоря, уголовники представляют собой в советской России хорошо сплоченную, по-своему дисциплинированную организацию. Живут они по своим законам. В то время, когда каэры никак не хотят понять, что тюрьма — это их участь чуть ли не на всю жизнь, не хотят объединиться, в конце концов ценой нескольких жизней добиться прав в тюрьме, уголовники считают тюрьму своим домом и устраиваются в ней как можно удобнее для себя.

На Поповом острове они не работают... Право это они себе отвоевали. Вначале их грели, принуждали, потом оставили в покое. Все равно ничего не сделаешь.

Помещаются они в отдельных бараках. Хороший процент их сидит совершенно голыми, то есть совершенно — в чем мать родила. И когда им нужно идти в уборную, то они занимают штаны у приятеля.

Большая часть из этих голышей — проигравшиеся. Клуб там открыт круглые сутки. Играют все. Деньги имеют колоссальное значение.

«Деньги есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно свободы, они дороже вдесятеро... Деньги же имели в остроге страшное значение, могущество. Положительно можно сказать, что арестант, имевший хоть какие-нибудь деньги в каторге, в десять раз меньше страдал, чем совсем не имевший их, хотя последний обеспечен тоже всем казенным, и к чему бы, кажется, иметь ему деньги».

Продавали всё. «Продавались иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами острога не только покупать или продавать их, но даже считать вещами», — говорит Ф. М. Достоевский в своих «Записках из Мертвого дома».

Каторга мало изменилась. Разница в пустяках. В прежнем остроге арестант мог быть спокоен, что он останется жив, теперь его жизнь в постоянной опасности: ему грозит и расстрел, и голодная смерть. И теперь деньги имеют еще большее значение. Раньше они шли на покупку водки и табаку, а теперь просто на хлеб, чтобы не умереть с голоду.

Живется уголовникам легче. Сроки у них меньше, и, кроме того, на них распространяются различные амнистии и сокращения. Все они совершенно не касаются каэров. Тюрьмы, лагери переполнены, число преступников растет. Нужно место, поэтому ежегодно весной приезжает комиссия и до срока освобождает часть уголовников.

В середине между каэрами и уголовниками стоят «хозяйственники» и «фальшивомонетчики».

Первые — это главным образом служащие различных учреждений, проворовавшиеся или попавшиеся на взяточничестве. На Соловках их сравнительно мало.

Мне кажется, что в настоящее время в советской России не найдется ни одного человека, который бы не пошел на уголовное преступление, направленное против правительства. Вопрос только в ответственности перед законом, но никак не перед совестью. Сама жизнь, сама советская власть ставила и ставит людей в такие условия, что волей-неволей, но преступление ее закона они совершать

должны. И люди не совершают их только из боязни наказания. Раскаяния бывают... Но не говорят: зачем я взял. А: зачем мало взял.

За последнее время на Попов остров прислали много «фальшивомонетчиков». Хорошо действует ГПУ. Оно не идет в хвосте за преступлением, а, наоборот, наваливается на его зародыш. Так било оно по контрреволюции, спекуляции, по взяткам. В последнее время, когда задрожал червонец, оно выкинуло лозунг: «Все на борьбу с фальшивомонетчиками». И действительно, стреляло их нещадно. В Соловки их попало много, но это уже остатки. Все ядра были уже уничтожены. Большинство фальшивомонетчиков — евреи. Высылали их сюда иногда целыми семьями.

На Поповом острове находилось около 150 женщин. Жизнь их была тоже несладкая. Подоплека к каждому наряду на работу к начальству был разврат. Назначение на какие-либо должности — тоже и т.д. Хочешь жить — сходись с кем-нибудь из начальства. Не пойдешь — замотают на работе, прибавят срок...

При ссылке возраст не принимался во внимание. Высылались на Соловки и целые семьи: отец, мать и сын; муж и жена; мать и дочь.

Официально в таких случаях свидания разрешались раз в неделю. На короткие промежутки встречаться можно было чаще. Вообще же свидания арестованных с родными допускались только с разрешения Москвы, и получить такое разрешение было очень трудно.

На Соловках разрешалось получать и писать одно письмо в неделю. Все это проходило через строжайшую цензуру. В письмах совершенно нельзя было говорить о режиме и быте Соловков.

Говорят о расстрелах, которые существуют в советской России. Действительно ли там расстреливают? Да. Стреляют... Не так, как стреляли, — меньше и с разрешения центра. Но все-таки стреляют, когда им угодно и сколько угодно. Но ужас не в том, что тебя расстреляют, а в том, что тебя каждую минуту могут расстрелять. Расстреляют ли тебя с санкции Москвы или без таковой — тебе все равно. Факт тот, что хотя бы ты и не был ни в чем виноват, тебя всегда могут расстрелять. Ужас в том, что царство произвола продолжается.

Физические мучения, лишения, пытки, избиения в советской России существуют. Я мог бы привести много примеров избиений и пыток заключенных на Соловках и в тюрьмах. Я видел избиение при попытках к бегству, я видел арестованных с разбитыми в кровь лицами, я видел, как на них ломали палки, я сам перенес много. Но это все не орудия для большевиков, на этом далеко не уедешь. Большевики гораздо тоньше, чтобы применять эти грубые старые способы. Раз изобьешь — подействует, второй — меньше, третий — еще меньше и т.д. Большевики умны, они

этим не злоупотребляют. Важно действовать на психологию, важно, что тебя могут избить, могут пытать, могут расстрелять. Важно, что в России каждый боится этой возможности, этого «могут», что на деле там ни права, ни законности нет. Важно, что царство произвола там продолжается...

Тяжело действовало на меня угнетение личности: упорное желание большевиков сделать из тебя мерзавца. Путь к облегчению своей участи всегда открыт — делайся начальством и дави. Но дави уж изо всех сил... А то тебя сметут и задавят.

Затем мучила скученность...

Ф. М. Достоевский говорит: «Что страшного и мучительного в том, что во все десять лет моей каторги ни разу, ни одной минуты я не буду один. На рабстве всегда под конвоем, дома с двумястами товарищами, и ни разу, ни разу один». И дальше: «Впоследствии я понял, что кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы, в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это вынужденное сожительство».

Но ведь обстановка, в которой пришлось жить Достоевскому, не сравнима с соловецкой. Восемь вершков нар... Это не шутка. Спать можно только на боку. Здесь так много народу, что буквально нельзя найти места, чтобы можно было бы говорить так, чтобы тебя не слышали...

А кругом провокация. Провокация во всех видах и оттенках. Купить голодного человека легко. И большевики покупают... И как Россию, так и Соловки крепко держат этим в руках. Рта нельзя раскрыть, чтобы это не было известно. А раскрыл, болтнул или тем более сказал правду — и тебе обеспечена прибавка срока.

В России вообще, а на Соловецких островах в частности и в особенности, только тот может удовлетворить свои элементарные потребности, то есть иметь хотя бы и очень ограниченную свободу, кров и хлеб, кто совершенно отказался от совести. Кто сознательно идет на то, чтобы стать мерзавцем. Везде, на всем земном шаре, человек может честным трудом заработать себе кусок хлеба. В одних местах легче, в других труднее, но заработать можно всегда. В России этого сделать нельзя. Там человек не может только работать. Там он обязательно должен участвовать в политике. Он не может молчать, он должен говорить, и говорить то, что ему приказывают. Мало того — должен заставлять других повторять свои слова.

Я колебался... Меня шатало... Во мне было два *я*, два человека... Материя и дух. Христианин и человек земли. Раздвоенность. Она мешала и мучила...

Вот я на нарах. Ночью... Я один... Лежу и думаю...

Ведь я сейчас силен. Во мне есть дух. И Бог меня сюда поставил. Здесь я найду людей, которые меня поддержат. Вот случай мне проверить силу... Мне

надо покориться Богу, страдать, терпеть, любить, прощать... Так говорил мне человек, которым я хотел бы быть. Но ведь условия тяжелы, я их не выдержу... Я человек земли... Я жить хочу, хочу борьбы, свободы, я не могу смириться... Так возражало мне мое земное *я*.

Что делать? Ведь выхода же нет. Одно из двух: страдать или изгадиться. Идти на компромисс... Давить — или тебя задавят.

Бежать...

Эта мысль пришла мне в голову на следующий же день после моего прибытия. Она не могла меня не интересовать. И хоть я и старался всеми силами отогнать ее и подчиниться воле Бога, она все-таки не давала мне покоя.

В первый день после моего прибытия на Соловки я не пошел на работу. Мы сидели на нарах. Нас было трое: ротмистр Ингушского полка Мальсагов, один арестант, отбывший уже свои три года и на днях отправляемый в Нарымский край, и я.

Я расспрашивал их о жизни, о работе, о порядках на Соловках и хоть очень интересовался побегами, но подходил к этому издалека. Я знал, что об этом нельзя даже и говорить. Понемногу выяснилось, что до сих пор все эти попытки бежать кончались неудачей.

— Но ведь вчера же бежал один? — задал я вопрос.

— Да. И будет пойман.

Разговор на эту рискованную тему был начат; неизвестно, позволит ли обстановка его повторить, и я решил его довести до конца. Передо мной офицер, с виду внушающий доверие и уже год просидевший на Соловках... «Надо попробовать его самого», — подумал я и, рассказав ему, что я уже несколько раз бежал, спросил его прямо: хочет ли он бежать.

— Это невозможно. И вообще я вам советую об этом не говорить, — ответил он сейчас же, вставая и прощаясь со мной. На этом разговор, казалось бы, и кончился.

Несколько дней спустя я видел, как привели в канцелярию и потом в карцер совершенно избитого бежавшего в день нашего приезда. Его поймали в 60 верстах от Попова острова, голодного и измученного. Зайдя в избу за хлебом, он попал на засаду. Так кончались все попытки к бегству.

Странные установились у меня отношения с командиром роты Основой. Мои восемь вершков на нарах приходились как раз против его загородки, так что мы оба хорошо видели жизнь друг друга. Он никогда меня не трогал. Часто мы лежали друг против друга и в упор смотрели в глаза, но очень редко разговаривали.

Раз как-то ночью я не спал, и он, подойдя ко мне, попросил меня встать, прийти к нему и поговорить.

Он нарисовал мне картину жизни на Соловках и предложил мне занять командную должность.

Я наотрез отказался.

— Почему?

— Потому что я считаю недопустимым строить свое благополучие на несчастии страдающих людей.

Разговор наш затянулся и перешел на тему о духовной жизни человека. Я увидел, что это его интересует.

Тогда я предложил ему отказаться от его должности и всю его энергию обратить в пользу заключенным. Странно он реагировал на это. Он вдруг оборвал разговор, лег на койку и весь задергался в судорогах. Этот припадок продолжался минуть пять, затем наступила реакция, и он впал в забытье.

С тех пор мы опять долго не разговаривали, и только месяца полтора спустя он неожиданно спросил меня:

— Послушайте, Бессонов... Когда же вы бежите? Да, да! Не удивляйтесь. Для вас есть только этот выход.

Я остолбенел. Для всей обстановки Соловков это было совершенно неожиданно. Об этом вообще не говорилось, и слово «побег» не произносилось. А тут вдруг сам Основа бухает такую вещь. Я отделался какой-то фразой, но принял это во внимание.

Я работал... Ежедневно, стиснув зубы, выходил я в наряд, но чувствовал, что раздражение во мне накипает, что я не выдержу, меня прорвет, и я наделаю таких вещей, которые повлекут за собой расстрел.

Помощником Основы был мальчишка, недавно возвратившийся в Россию из-за границы. Он надеялся найти здесь рай, но ошибся и попал на Соловки. Здесь поддался и пошел по наклонной плоскости делать карьеру.

Он ежедневно назначал меня в наряд. В конце концов усталость взяла у меня верх, и однажды я с утра лег на нары и так пролежал весь день... Я видел, как он побежал жаловаться к Основе. Тот выслушал его, но ни звука мне не сказал.

Возвращенец решил мне отомстить: назначал на работы и в очередь, и не в очередь. Я терпел, но в конце концов меня прорвало.

Он отдал каких-то два противоречивых приказания и закричал мне, почему я их не исполняю. Я тут же, при всей роте, послал его очень далеко, пошел к командиру полка и рассказал о случившемся. Он принял мою сторону.

Это были мои первые срывы. Они не несли за собой наказания, но я понял, что перелом совершился: я не выдержу.

А если так, то надо действовать.

Ночь... Я опять один... Опять раздумье...

Бежать...

А Божий Промысл? А воля Бога? Вера?

Пошел к священнику. Не знал, как быть... Имею ли я право переломить судьбу и действовать своим усилием, чтобы избежать креста?.. И есть ли он? И дан ли он мне? А если дан, то дан ведь Богом, я должен верить и положиться на Него.

Я ничего не понимал... Вернее, понимал, но не хотел понять... Еще вернее, я просто мало верил...

Ответа я не получил... Вопрос потух... И все смешалось...

Все показалось мне теорией и не давало смысла... Все стало как бы набранным, нахватанным и отошло на задний план. Чего-то не хватало... И что-то было для меня важней всего...

Но что?

Я мучился, искал, не мог понять, в чем дело... И наконец почувствовал: все та же сила. Все тот же импульс к жизни, который не мог я вытравить в тюрьме. Все тот же враг иль друг, несчастье иль счастье, ни грех, ни благо, а сила сильная. Любовь.

Толчок. Нет колебаний. Решение принято. И надо действовать. Бежать.

С большим или меньшим риском, но бежать надо. С того времени я весь был сосредоточен на мыслях о побеге. Но мало было решиться — нужно было выполнить это технически. Сделать так, чтобы не дать возможность большевикам еще раз показать свою силу и позволить им еще раз поглумиться над собой. Примеры этих попыток я видел своими глазами.

Однажды, вернувшись немного раньше с работы, я, сидя в бараке, за окном услышал выстрелы. Барак бросился к окну, и я увидел такую картину. Белая равнина... Море... По льду бежит человек... За ним шагах в 100—150 красноармеец... Он останавливается и стреляет...

Побег — сразу понял я. И, конечно, всеми силами желал счастливого пути беглецу. Он бежал довольно легко и отделялся от красноармейцев... Но стоп! Он вдруг остановился и заметался... Качнулся вправо, влево и встал на месте.

Началось избиение. Оказалось, что он наскочил на трещину в море, которую не мог перескочить. Били его прикладами. Он падал, поднимался, его снова били и так довели до бараков; здесь его принял Основа, который немедленно сломал на нем палку. Конечно, его потом расстреляли.

Нельзя было бежать глупо. План должен быть прост, может быть рискован, но не мог быть глупым.

Меня очень удивило, что Мальсагов так отнесся к моему предложению бежать. Офицер, ингуш, год просидевший на Соловках, — и вдруг такое равнодушие к свободе...

Но это вскоре раскрылось. Однажды он подошел ко мне, и так как на Поповом острове из-за скопления народа трудно разговаривать, то он коротко сказал:

— Я согласен бежать. На первое ваше предложение я ответил отказом, так как я боялся провокации.

Вот пример отношения между людьми в советской России. Встречаются два офицера одной и той же дивизии, оба находятся в заключении, имеют общих знакомых и боятся друг друга.

Мы с ним условились встретиться и разработать план. Просидев на Поповом острове уже больше года, он последнее время был на скромной должности нарядчика. Вся его работа заключалась в том, что он утром и после обеда выходил со списком в руках и распределял людей по работам. К сожалению, не от него зависело, из какой роты и куда назначать людей. Он был только исполнителем приказаний.

Со второго нашего свидания началась подготовка к побегу.

В принципе было решено уйти с оружием. Как его можно было достать? Только взять у конвоя. Поэтому план наш основывался на разоружении конвоя.

Куда идти? Только за границу.

Что нужно было для осуществления плана? Люди, деньги, карта, компас, затем точный план, построенный на уходе с какой-нибудь работы с разоружением конвоя.

Начались приготовления... Свидания наши были затруднительны... Разговоры шепотом могли обратить внимание. Нужно было быть осторожными.

Остановились мы на двух возможностях бежать. Во-первых, с работы по заготовке метелок.

Для этого в лес приблизительно в полутора верстах от лагеря посылалось по 10—12 человек под конвоем пяти-шести красноармейцев.

И во-вторых, с похорон кого-нибудь из заключенных. В этом случае давали подводы, пять-шесть человек арестантов, два-три конвоира и посылали за 12 верст в Кемь.

Нужны были люди. У Мальсагова их не было. Он все надеялся, что придут его земляки: кавказцы, ингуши. Но напрасно; мы упустили из-за этого много времени. Ни с одним этапом не пришло ни одного ингуша.

Осторожно подходил я к этому вопросу. Со мной в нарядах обыкновенно работал некто Сазонов. Разговаривая с ним, я узнал, что он человек бывалый, несколько раз переходивший границу. Долго я не решался предложить ему бежать, но в конце концов, достаточно прощупав его, я ему намекнул об этой возможности, и мы сговорились.

Нужно было достать компас и карту. Сазонов передал мне, что у его знакомого в куске мыла есть маленький компас и что, на его взгляд, он не прочь бежать. Я ему поручил переговорить с ним.

Карты не было; единственно, что мог сделать Мальсагов, это по временам смотреть в канцелярии на 50-верстную весьма неточную карту. Пользуясь картой и слухами, которые нужно было собирать очень осторожно, мы установили, что по прямому направлению мы находимся приблизительно в 300 верстах от финляндской границы.

Дорог нет совершенно. Где деревни — неизвестно... Болота, через которые нам идти, непроходимы.

Вопрос местности был наше слабое место. Все наши старания осветить его были безуспешны. Пришлось мириться на тех сведениях, которые имелись.

Деньги... При винтовках они играли не первую роль, но были нужны...

Мальсагов имел их и пропил. Пользуясь своими связями, он где-то достал по дорогой цене спирт — и денег не стало. Помню, что на меня это очень нехорошо подействовало. Уже перед самым побегом Сазонов продал несколько своих вещей и получил за это немного денег.

Итого в сговоре нас было четыре человека. Причем я знал Мальсагова, Сазонова и только два раза говорил с Мальбродским. Сазонов и Мальбродский не знали Мальсагова. Все мы, кроме Сазонова и меня, были в разных ротах, и это очень затрудняло нашу задачу. Большую роль играли мелочи, с которыми очень трудно было справляться, но в общем мы были готовы и только ждали момента. Мне очень хотелось бежать с похорон. Там можно было забрать с собой лошадь. Но нам не везло. Умирало сразу по несколько человек, и поэтому наряд увеличивался.

Тут произошел забавный случай, который мог кончиться для нас печально. Я и Мальсагов ежедневно ходили в лазарет и у знакомых фельдшеров между прочим спрашивали о тяжелобольных.

Наступил, как казалось нам, благоприятный момент. Мальсагов узнал, что умирает кавказец-магометанин. Так ему сказали в лазарете. Будучи сам магометанином, он, предупредив нас, отправился к командиру полка и попросил его разрешения похоронить своего единоверца.

Командир разрешает... Мы собираемся... Готовы. Но вот Мальсагова вызывают в штаб полка. Он идет и возвращается. Оказалось, что покойник был кавказским евреем и хоронить его будут евреи.

После этих неудач мы твердо остановились на плане побега с работ. Приближалась весна. Был май месяц, лед растаял, но снег еще кое-где лежал... Нужно было бежать и бежать во что бы то ни стало... Нельзя было терять время,

так как скоро открывалась навигация, и нас всех должны были увезти в центральный лагерь. Надо было действовать, но мелочи не позволяли. Центр тяжести был в том, чтобы нам выйти всем вместе на работу. Наряд на нашу работу ходил по разным ротам, перевестись нам всем в одну было трудно, и, кроме того, в наряд назначали по 10—12 человек, а нас было всего четверо. Это зависело от Мальсагова. Наконец он добился, что наряд «на метелки» уменьшили до пяти человек.

Последний побег (Дневник)

Побег назначен на 18 мая.

Спешно шли последние приготовления и переговоры... Мальбродский откровырял из мыла свой компас. Сазонов продавал последние вещи... Я чинил свои развалившиеся сапоги... Мальсагов, как магометанин, мылся...

Мальсагов не знал Сазонова и Мальбродского. Надо было их показать друг другу.

Условились, что я выйду с ними на прогулку к известному часу и месту. Я их показал.

План наш был такой. По всей вероятности, нам дадут двух конвойных. По уставу к ним не разрешалось подходить ближе, чем на пять шагов. По приходе на место мы начинаем работу... Затем я выбираю подходящий момент и предлагаю конвоирам закурить. Если возьмут, то во время закуривания мы берем их за горло и отбираем винтовки. Если нет — нападаем. Чтобы действовать вместе, я поднимаю воротник. Это значит: приготовиться. Затем двое из нас — Мальсагов и я — берут одного. Сазонов и Мальбродский — другого.

Здесь наши мнения расходились. Трое стояли за то, чтобы кончить конвоиров. Я был против этого. С самого начала я заявил, что не пролью лишней крови. Решившись на побег, я сознавал, что я уже иду против Бога, иду на насилие, но, идя на него, я хотел, чтобы его было как можно меньше.

Я не хотел доводить насилие до предела, я не хотел крови, но, ставя свою и чужую жизнь на карту, я не хотел и не мог проигрывать. Я убил бы только тогда, когда пришлось бы делать выбор между нашей и наших врагов жизнью. Я верил, что не для того меня Бог спасал, чтобы я стал убийцей.

Итак, красноармейцев брали с собой.

А дальше? Все зависящее от нас было сделано. Компас был. Карты так и не достали. Дальше, что Бог даст. Перекрестимся — и на запад.

17-е... Вечер...

Вдруг Сазонов просит отложить побег. Говорит, что он не приготовился. Почему? Не мог закупить продуктов.

Между мной и им уже давно шел об этом разговор. Он уговаривал выходить с продуктами, то есть с салом и сахаром. Я был против этого.

Я знал слежку на Соловках и допускал, что нас могут обыскать в воротах, тем более что идет Мальсагов, который за последнее время не выходил «за проволоку». Я настаивал на том, чтобы не брать никаких продуктов.

Момент был решительный. Я знал, что откладывать нельзя. Мы идем в 50 процентах на смерть, и нужен подъем. Отложить — он пропадает, не вернется, и дело пропало.

Я нажал... Потребовал... И Сазонов согласился.

Ночь... Прошел к Мальсагову, спросил его, все ли в порядке. Он ответил, что надеется устроить наряд. Мы простились, и я пошел спать.

Но не скоро удалось мне заснуть. Как только я разделся и лег на свои нары, ко мне пришел один из моих знакомых. Уселся... И начал мне рассказывать про свою любовь к одной из арестанток...

Мягко, стараясь его не обидеть, хотел прекратить это излияние, но ничего не помогало: он сидел и говорил...

Белая ночь... Манящая и зовущая... Барак — и, может быть, хорошая, но все-таки жалкая арестантская любовь.

А завтра? Завтра — свобода. И там любовь. Настоящая, широкая, новая...

Уже солнце вставало, когда я заснул.

Утро... Сегодня бежать?!.

«Да. И во что бы то ни стало», — уверенно ответил я себе.

Встал, умылся, выпил кипятку... Прошла поверка...

«Бессонов, Сазонов...» — прочел командир роты в наряде на работы наши фамилии, почему-то всегда стоявшие вместе...

Мы вышли.

Нас построили и повели к канцелярии.

Встретил моего ночного собеседника.

— Бессонов, что с вами? Почему у вас так блестят глаза? По-моему, вы тоже любите... — спросил он меня, здороваясь.

«Да. Я люблю... свободу!» — срывалось у меня с языка, но я удержался.

Вышел Мальсагов. Вижу: одет особенно. Френч, а на нем плащ. Значит, наряд есть.

Вызывает партию за партией... Люди выстраиваются. Конвой окружает их и уводит...

— Ну, а теперь «на метелки», — обращается он к нам. — У кого сапоги получше... Там мокро... Ну, вот ты!.. Ты выходи!.. — указывает он на нас.

— Ну и ты, — ткнул он на кого-то. Я посмотрел: какая-то скуластая физиономия. Значит, наряд не на четыре, а на пять человек, и это лишний.

Мы вышли.

— Конвоиров! — крикнул начальник конвоя.

От строя красноармейцев отделилось два парня. Один небольшой, сухопарый. Другой — здоровый краснощекий широкий детина.

«Эх, не повезло», — подумал я.

Обыкновенно бывали маленькие, а тут, как нарочно, такая детина! Ну и пускай его берет Сазонов, он хвастался, что выйдет один на один.

Теперь пройти ворота...

Двинулись... И сердце замерло... Я вижу, что в воротах стоит один из командиров рот — лютый враг Мальсагова: «Мальсагов — за проволоку? Подозрительно!»

«Не пропустит, — думал я. — Задержит, обыщет...»

«Арест... Стенка...» — мелькало у меня в голове... На счастье, он отвернулся.

Прошли... И отлегло.

Ярко светило солнышко... Нерв ходил... Начался разговор...

Шли кучкой... Конвоиры по бокам. Закуриваем... Конвоирам не предлагаем и как будто не обращаем на них внимания.

Они сходятся и идут сзади...

Подходим к мосту на материк... Перешли... Закуриваем второй раз... Папиросы у нас хорошие. Предлагаем конвоирам... Отказываются. Дело хуже...

— Ну, где же будем ломать метелки? — обращается к нам Мальсагов.

— Дальше, товарищ десятник, я бывал на этой работе, — отвечаю я.

Подходим к тому месту, где действительно обыкновенно ломают метелки.

— Вот здесь... Ну что ж, покурим? — в последний раз пробую я конвоиров.

— Садитесь, закуривайте, — отвечают они.

Ни им, ни нам не надо торопиться. Эта работа считалась легкой.

Сели, закурили... Идет разговор... Но голова в нем не участвует.

— Ну, пошли работать... — сказал я, вставая.

Сазонов снял полушубок. Я с Мальсаговым, как было условлено, пошел в одну сторону, Мальбродский с Сазоновым в другую. Расстояние между нами шагов 20. Так развели конвоиров. Краснощекий со мной.

«Вот гадость, — подумал я, — ведь здоров, как бык, а надо брать».

Работаю... Смотрю на него... Он не спускает с меня глаз.

Отошел в сторону — он за мной, в другую — опять то же. Дело плохо, ведь так не возьмешь.

Проработали минут десять. Я вижу, что Мальсагов ломает вместо березы ольху. Обращаюсь к нему и говорю:

— Товарищ десятник, вы не то делаете, — и вижу, как к нему оборачивается и конвоир.

«Сейчас или никогда», — мелькнуло у меня в голове.

«Время!» — понял я. И поднимаю воротник.

Конвоир стоит ко мне в пол-оборота, шагах в восьми. Сазонов и Мальбродский видят сигнал. Но Мальсагов не смотрит...

Я делаю три-четыре прыжка и всей правой рукой, в обхват, обнимаю горло конвоира. Левой прижимаю правую к своей груди и начинаю его давить.

И мое удивление! С хриплым криком «А-а-а...» краснощекий опускается подо мной... Винтовка его падает, и я сажусь на него верхом.

Мальсагов оборачивается. Подскакивает и подхватывает винтовку. Те двое барахтаются с другим конвоиром...

В несколько приемов Мальсагов там — и всаживает конвоиру штык. Тот выпускает винтовку, ее берут, и картина сразу меняется.

Два конвоира и пятый, подняв руки кверху, стоят на коленях и молят о пощаде. Слезы, рев и просьбы не расстреливать...

Винтовку передают мне. Штык дугой... Совершенно согнулся: попал в кость.

Первый приступ ощущения свободы! Но думать нечего... Мы недалеко от ветки железной дороги... И надо уходить...

Плачущие конвоиры ставятся в середину, я с Мальсаговым по бокам. Компас в руку — и на запад. Так начался наш 35-дневный марш по лесам и болотам.

День был ясный, теплый... Ярко светило солнце... Но еще ярче было на душе. Солнце, небо, кусты, деревья, даже болото, по которому мы шли, казались какими-то особенными, невиданными, новыми, хорошими, праздничными...

Вот она, настоящая свобода. Вне человека. Вне закона.

Бог — совесть. Сила — винтовка в руках. И больше — ни-че-го.

Хотелось упиться этим состоянием. Вся опасность еще впереди. Но день, да мой. День радости счастья. День свободы. Это чувствовалось остро.

Мы сняли шапки, поцеловались и вздохнули полной грудью.

У нас 30 патронов. Мало. Но 28 в противника и два в себя — таково было мое с Мальсаговым условие.

Шли лесом по болоту...

Кучами, в особенности в лесу погуще, лежал снег. Ручейки разлились... Ноги вязли...

Надо были уйти с места работы.

Конвоиры и пятый шли в кучке, за ними Сазонов и Мальбродский. Я с компасом и винтовкой шагах в десяти сбоку. Мальсагов сзади.

Пройдя версты три, мы были совершенно измотаны, и я сделал первый маленький отдых. Конвоиров и пятого посадили на приличное расстояние и запретили им разговаривать между собой.

Сами сели в кучку, выпили болотной воды и начали строить дальнейший план и делиться первыми впечатлениями.

Покуда мы были в сравнительной безопасности. Мы в лесу, и раньше, как в 12 часов дня, то есть в обед, нас не хватятся. Потом, конечно, погоня по следу и, наверное, полицейские собаки.

Последнее обстоятельство мне особенно не нравилось. В лесу от человека уйти можно, но от собаки трудно, поэтому даже на этих трех верстах, переходя ручейки, я старался провести всех хоть немного по воде. Но, конечно, наш след можно было найти.

План наш был такой. Прежде всего, нам нужно перейти железную дорогу Петроград—Мурманск. Она находилась в 12 верстах от лагеря. Затем, обогнув с севера город Кемь, выйти на реку Кемь, которая течет с запада на восток, и, придерживаясь ее, идти на запад.

Все это возможно было выполнить, но тут являлось препятствие: конвоиры.

Идти сразу этим путем — значит, конвоиры вернутся в лагерь и покажут наш след.

Расстрелять... Я не мог пойти на это. Я убью только тогда, когда по совести будет совершенно ясен выбор: или убить, или умереть. Бог меня спасал, спасет и без убийств...

Что делать?

Показать след в другом направлении — идти на север.

Так, решено.

Отдыхая, мы вспоминали подробности... Позвали «краснощекого» конвоира... Оказалось, что, следя за мной, он по лицу и манерам подозревал меня в желании бежать в одиночку...

— Почему?

— В вас виден бывший офицер.

— Ну так что ж?

— Опасный элемент... Только не расстреливайте меня, — становясь на колени, со слезами умолял он...

Вспомнили про согнутый штык. Позвали другого, «сопротивлявшегося». Осмотрели и перевязали рану. Оказалось, не опасно: штык попал в кость. И... согнулся.

— Рана — пустяки... только оставьте живым, — взмолился и этот.

За короткий промежуток нашего путешествия эти мольбы повторялись чуть ли не в десятый раз... Они были уверены, что их кончат.

Трудно было их успокоить и уверить в различии большевицкого и нашего отношения к человеческой жизни.

Пригласили и «пятого» — нашего невольного компаньона. Он оказался казаком Васькой Приблудиным. При разоружении он никак не мог понять: кто — кого. Поэтому встал на колени и поднял руки.

Я спросил его, что он хочет делать: вернуться в лагерь, идти своей дорогой или следовать за нами.

Взмолился взять его с собой. Нас это, конечно, не устраивало: лишний рот, и хотя и свой брат, арестант, но все-таки нельзя довериться. Покуда вопрос оставался открытым.

Передохнули. И надо было двигаться.

Солнце грело, и на ходу становилось жарко.

Мы сняли с себя все, чтобы идти налегке, и нагрузили этим красноармейцев. Ничего, пускай попарятся и вымотаются.

Мальбродский отдал свою одежду и надел красноармейскую форму. То же хотел сделать и я, но мне она была мала.

Трудно было идти. Сапоги были полны воды... Болото вязкое... Лес лежал... Натыкались на заросли... Но шли бодро. Ощущение свободы двигало вперед. Все казалось хорошо.

Часов у нас не было. Я определял время по солнцу и компасу. Перевалило за 12.

Мы шли не останавливаясь... хотелось есть...

Часа в 2 опять передохнули... И опять пошли... Начали выдыхаться... И вот около 4 часов, взобравшись на гору, мы увидели линию железной дороги Петроград—Мурманск, а на юго-западе — город Кемь.

Здесь мы решили отдохнуть и поспать, чтобы потом двигаться всю ночь.

Единственной ценной для меня вещью на Соловках было мое Евангелие. Его я взял с собой. Дня три-четыре спустя после нашего побега я начал путаться и сбиваться в счете дней, и поэтому, не имея бумаги, я решил на Евангелии записывать наши дневки. Обозначал я их какими-нибудь событиями, предметами или происшествиями, которые чем-нибудь выделялись и врезывались в мою память. Потом уже эта запись перешла в короткий дневник.

Тот день у меня записан так: *18 мая. Разоружение конвоиров и побег. Дневка с красноармейцами.*

И в моей памяти встает картина этого отдыха.

Мы расположились на горе. Все устали, хотелось есть и спать. Сазонов, вопреки моему желанию, все-таки утащил из лагеря кусок сала величиной с кулак и несколько кусков сахару. Тут это очень пригодилось, и мы закусили.

Опять усадив красноармейцев и «пятого» в кучку, мы разостлали одежду и с удовольствием заснули, по очереди будя друг друга и передавая винтовку для охраны и наблюдения за конвоирами.

«Что со мной? Где я?» — не мог я понять, просыпаясь.

На свободе! — вздохнул я. На настоящей, невиданной еще мною свободе. В лесу, который знает только зверя...

А впереди?

Что Бог даст!.. Жизнь, любовь, счастье... Или — смерть.

Два выхода.

Но если и смерть, то не страшно. За миг такой свободы — отдам жизнь!

Солнце еще не зашло, но день кончался... И начиналась белая северная ночь с ее особым настроением...

Нужно было решать, что делать с красноармейцами.

Я посоветовался со своими, и, хотя они были против этого, я твердо решил их выпустить на свободу.

Но надо было сделать все, чтобы они вернулись в лагерь как можно позже.

И я обратился к их совести. Зная хорошо, как их будут допрашивать, я, говоря с ними, вызывал каждого отдельно.

— Ты понимаешь, — говорил я им, — что мне выгоднее было вас расстрелять, чем возиться с вами, таскать за собой и давать вам тот кусочек сала, который нам так нужен, но я этого не делаю, потому что не могу убивать. Тебя же я только прошу об одном — вернуться в лагерь как можно позже...

— Будут допрашивать, скажи, что заблудился, был измотан; всему этому поверят, а ты еще ранен, — прибавил я проткнутому. — Вам дана жизнь — вы исполните мою просьбу.

Красноармейцы плакали... Но по временам мне все-таки не верили, настолько такой подход был им чужд. Ваську Приблудина решили взять с собой.

Приблудин — приблудился...

Пошли...

Для того чтобы по возможности сбить погоню со следа, мы двинулись не на запад, а на север, вдоль железной дороги.

Было около часу ночи. Прошло достаточно времени, чтобы убедить красноармейцев, что наш поход на север не блеф, а наш истинный путь, и я решил их отпустить.

Идти в лесу даже по компасу трудно, без компаса и без солнца невозможно. Никакой ориентировки, и обязательно заблудишься — собьешься на круг.

Я твердо верил и верю, что красноармейцы исполнили мою просьбу. Но я был не один, и поэтому не просто отпустил их, а взял каждого из них в отдельности и, чтобы окончательно не дать ему возможности ориентироваться и совсем запутать его, сделал с каждым из них по большому кругу в лесу.

До последней минуты они не верили мне, что я их отпущу. Все слезы и просьбы... И даже уходя в чащу леса по указанному мной направлению, они оглядывались и с мольбой складывали руки. Думали, что я ввинчу им пулю сзади. Вероятно, голубчики, тоже кое-что пережили...

Теперь нам нужно было двигаться на запад, и мы пересекли железную дорогу.

Голод давал себя чувствовать. За весь день кусочек сала и сахару. Нервы сдали, и усталость брала свое... Пошли маленькие разочарования.

Двигались мы так: впереди, с компасом в руке и винтовкой на плече, шел я, за мной Мальбродский и, много отставая, Мальсагов с винтовкой и Сазонов. За ними плелся Васька. Они выдохлись...

На Сазонова я возлагал большие надежды. Основываясь на его рассказах, я в него верил больше, чем в других. Он обещал один на один выйти на конвоира. Болото и лес он знал великолепно. Он был вынослив. И увы... Сдал и выдохся.

Мальсагов — дело другое. Он сразу показал себя: ясно выраженная храбрость. Плевать на все, только бы не утруждать себя и не переносить лишений. Он устал, хотел есть и, ни на кого и ни на что не обращая внимания, все время предлагал устроить отдых.

Мальбродский шел великолепно, легко, и рвался вперед.

Здесь я в первый раз поставил вопрос ребром о беспрекословном подчинении всех мне. Ими же мне была дана власть «диктатора». Ими же не исполнялось мое приказание — двигаться вперед. Пришлось крикнуть и пугнуть, особенно «ходока» Сазонова.

Ну ничего. Поругались, но все-таки поплелись. Идти было действительно трудно. Мы уже вышли на «непроходимые» болота. Нога вязла даже на кочках. Нужно было прыгать и вместе с тем вытаскивать вязнущую ногу. Короткие отдыхи становились все чаще. Был день, и нужно было становиться на дневку.

Уверившись, что дальше ни уговорами, ни угрозами тащить моих спутников невозможно, я выбрал в болоте маленький оазис из камней и леса, нашел подветренную сторону, и мы встали на отдых, который у меня отмечен: *19 мая. Дневка «на камнях».*

Развели костер...

Кто-то, переходя железную дорогу, нашел и захватил с собой совершенно заржавленную банку из-под консервов. В ней вскипятили воду. Попили этого «чаю».

Надо было доставать продукты. Больше суток мы были без пищи. Но, прежде всего, выспаться.

Я остался охранять.

Северное солнце греет плохо, и остальные легли кругом около костра. Момент — и все спали...

На душе было хорошо. Я вымылся в болоте. Подложил дров и начал «жить». Нахлынули воспоминания... Их я отогнал.

Пришли надежды... Много их было... Свобода... Работа... Любовь... Ох, это чувство! Много оно может сделать.

Что же, думал я, неужели все то, что я получил путем стольких страданий: вера в Бога, вера в духовную жизнь человека, в счастье человека чуть не в аскетизме, — неужели все это навеяно, набрано под влиянием обстоятельств? Неужели во мне опять выявился человек только мирской жизни, и она меня захватит полностью?

Нет, есть спасение. И это спасение — любовь. Вот что будет двигать мною в жизни, что не позволит мне забыть прошлого и выведет на истинный путь в будущем.

Да. Все, все ерунда. Есть Бог и *она*. И в соединении их — счастье. К нему я сейчас иду. Дай его Бог!

Я разбудил мою смену, передал винтовку и радостным, счастливым лег спать.

Наконец поспали все.

Подумали, поговорили, что делать. Надо доставать продукты. Где?

Мы были сравнительно недалеко от железной дороги. Надо идти на нее. Затем двигаться прямо по полотну. Наверное, найдется какая-нибудь сторожка. И брать там продукты.

А засада? Но ведь надо есть... Пошли...

Голод раздражает... Лица мрачные.

На болоте брусника и клюква... То и дело останавливаемся и едим... Наконец вышли на железную дорогу. Пошли по полотну.

Шли долго. Надежда встретить что-нибудь уже терялась. Но выходов нет. И вот за поворотом слышится мычание коровы. Все встрепенулись. Как подходить?

Здесь впервые резко выявилась тактика наших групп. Мальбродский и Сазонов стояли за то, что нужно выследить, нет ли засады. Мальсагов и я решили идти прямо.

Пошли в лоб. Из-за поворота выглянуло большое строение. На дворе сарай, амбары, коровы, телята...

Мальсагов шел за мной.

— Не отставай, Артаганович (его отчество), — подбодрял я его усталость, — сейчас будем делать обыск...

Я шел быстро, чтобы не дать жителям или засаде возможность заметить нас издалека и принять меры предосторожности. Не сбавляя хода, мы вошли в дом.

— Товарищи! По приказанию Кемского ГПУ у вас сейчас будет произведен обыск, — объявил я, входя. — Пожалуйте все в одну комнату.

Кто-то попробовал заикнуться о мандате.

— Вот тебе мандат, — с прибавлением ответил я, тряхнув винтовкой.

Сразу все стихло.

Лица вытянулись, и люди колебались. Их было все-таки человек 20. Как оказалось потом, мы попали на железнодорожное депо по починке дороги.

— А ну-ка поживей. Поворачивайтесь! — крикнул я, и это подействовало.

Все, как бараны, пошли в одну комнату.

— Артаганыч, становись у дверей и стреляй каждого, кто двинется. А вы, — обратился я к остальным, — забирайте все, что есть съестного.

Тут Васька показал свою расторопность. Быстро появился на сцену мешок, и в него посыпались хлеб, крупа, сало и масло. Я взял топор, чайник, котелок, кружки, ложки и раздал это всем.

Сазонов вытащил из печки кашу, и тут же с особенным удовольствием мы ее съели. А затем навалились на молоко.

В 10 минут дело было кончено. Взяв у Сазонова 10 рублей и войдя в комнату, я заявил:

— Вот что я вам скажу, братцы. Меня не интересует, кто вы. Может быть, люди бедные, поэтому вот вам червонец за то, что мы у вас взяли. Кто мы, вы скоро узнаете. Покуда в течение двух часов чтоб никто из вас отсюда не выходил. Прощайте.

Все сидели и не двигались. По мордам было видно, что среди них были коммунисты. Но все нами было сделано так быстро и решительно, что они обалдели и не могли сговориться.

Сытые, правда, не пьяные, но с табаком, взвалив на плечи мешки, мы двинулись на север по полотну железной дороги. Затем тут же, учитывая, что на нас будут смотреть из окон, свернули в лес и пошли, оставаясь в поле их зрения, параллельно железной дороге. Двигаясь по полотну, мы слишком ясно показали бы наши следы.

Так шли мы около двух верст.

Чтобы окончательно замести следы, я сделал большую петлю. Сначала вел на север, повернул на восток, затем на юг, здесь мы перешли вброд попавшуюся речку, снова пересекли железную дорогу, и тогда я взял курс на юго-запад, чтобы выйти на реку Кемь.

Легко шлось ночью после нашего ужина, несмотря на то, что у всех, кроме меня и Мальсагова, за плечами была ноша.

Мы отошли от железной дороги верст 10—12 и могли чувствовать себя в безопасности. Соблазн поесть и отдохнуть снова заставил Сазонова и Мальсагова заныть об отдыхе.

— Остановимся... Остановимся. Вот здесь, — привязывались они к каждому сухому местечку.

— Здесь совсем сухо, — решили они, остановившись на маленьком холмике.

Дул северный ветер... Как я их ни убеждал, что они сами сбегут отсюда, что надо выбрать защищенное от ветра место, они настаивали, что здесь хорошо, что они были в партизанах и умеют выбрать стоянку. Поэтому и в дневнике моем этот день замечен так: *20 мая. Налет на железной дороге. Дневка «партизанская».*

Действительно, недолго мы простояли здесь. В захваченном чайнике сварили кашу, поели, попили... Но, несмотря на костер, было слишком холодно. Легли, но скоро вскочили и двинулись в путь.

Этот переход был очень труден. Сплошное «непроходимое» болото... Я подчеркиваю «непроходимое», потому что оно было действительно непроходимо летом.

Наше счастье, что мы шли в эту пору. Вначале я не мог понять, почему оно не затягивает совершенно. Я попробовал штыком и уперся во что-то твердое. Попробовал в другом месте: штык уходил на то же расстояние. В чем дело? Оказалось, что болото оттаяло только сверху, а на пол-аршина вглубь — лед. Вот почему это «непроходимое» болото было проходимо.

Но все-таки в некоторых местах пройти его было нельзя. Мы шли, проваливались, с трудом возвращались обратно, делали обход, снова шли, опять проваливались и снова возвращались. Здесь я начал считать «полезные» и «неполезные» километры, которые нам приходилось проходить.

Дул холодный северный ветер. Мы были мокры по пояс. Было очень холодно. Наконец мы попали в лес. Но были уже так вымотаны, что недотянули до утра и остановились ночью.

21 мая. Ночевки «в лесу». Остановка в шалаше вследствие выпада снега.

Немного поспав, мы вышли утром. Лес оказался небольшим, и скоро мы снова попали в болото. Этот день оказался еще труднее предыдущего. Болото было еще хуже, вода холоднее, и северный ветер крепчал.

В середине дня стало очень холодно; несмотря на движение, согреться было невозможно.

Шли мы, страшно растягиваясь. Впереди я и Мальбродский. Отставая от нас на полкилометра, остальные...

Я решил сделать привал. Хорошо, что на этот раз я долго выбирал для него место и нашел защищенное от ветра. Мы развели большой, настоящий северный костер. Кстати, по приемам разведения костра в России легко можно определить южного — степного и северного — лесного жителя.

Уроженец юга разводит костер из сучков, ковыряется с веточками и все время держит маленький огонь.

Северный житель начинает с двух-трех щепок, затем сразу наваливает на огонь поленья и сейчас же покрывает это целыми стволами. Огонь у него не затухнет, и через пять минут дает настоящий жар. Таким он его и поддерживает.

Хотя среди нас и были большей частью жители не лесных губерний, но все-таки огонь мы держали северный — горячий.

Сегодня нужно было его особенно поддерживать. Ветер крепчал и крепчал... Лес шумел... Собрались тучи... Стало темно... Начиналась вьюга... Вот появились первые снежинки...

Мрачно лежали мы у костра... Все молчали... В головы забирались неприятные мысли. Что бы ни случилось, крыши, крова мы над собой не увидим... Нужно все перенести...

Вьюга усиливалась... Болото уже покрылось пеленой снега...

— Надо строить шалаш, — предложил я моим спутникам.

Требовалась работа. Все устали. Нехотя, надеясь, что вьюга скоро кончится, принялись мы за постройку.

Построили навес и покрыли его еловыми ветками. Снег валил хлопьями. Быстро покрывались они белой пеленой.

Мы забрались в шалаш. Но увы, он не спас нас. Недостаточно низкая температура, близость костра и наше дыхание растапливали снег, и шалаш начал протекать.

С этого времени началось наше пятидневное сидение в снежной пустыне под завывание вьюги, шум леса, с постоянно падающим снегом...

Это было тяжело... Очень тяжело... В моем дневнике помечено коротко: *Остановка в шалаше вследствие выпада снега.*

22 мая. То же.

23 мая. То же.

24-го. Метель продолжается. К вечеру прекратилась.

25-го. Снегу на пол-аршина.

26-го. Снег тает...

Одинокие, голодные, холодные, все время мокрые, сидели мы оторванные от всего мира. Давило сознание, что своими силами найти выход было нельзя. Можно было только ждать. А ждать было тяжело...

Первую ночь мы провели совершенно без сна. Усталость была сильная, но холод не давал заснуть. Все платье было мокро. Только высушишь его у костра, ляжешь — через полчаса весь до нитки мокрый. Опять костер; платье горит, но ничего не помогает. Вначале мы хоть ели вволю. Затем пришлось сократить и паек.

Чем дальше, тем хуже... Настроение переходило в апатию... Мы почти не разговаривали...

Появились первые признаки цинги — сонливое состояние.

День мало отличался от ночи... Та же тьма... и безостановочно падающий снег...

В голове у меня начали путаться дни... Здесь, чтобы не забыть их, я начал писать свой дневник. Казалось, просвета не видно...

Но вот что-то изменилось... Что? Еще трудно определить, но перемена есть. Стало чуть светлее... Чуть теплее... Но снег еще шел.

А вот появились и признаки... Ветер повернул на юг, метель прекратилась, и выпавший на пол-аршина снег начал таять.

На душе стало легче. Я взял винтовку и пошел в болото. Идти еще было невозможно. Все прогалины занесены снегом, и в них можно было провалиться так, что и не вылезти. Но долго ждать было нельзя. Паек был сокращен до минимума, и его могло хватить только на день; кроме того, нас поджидала цинга — этот бич севера. Почва для нее была благоприятная: и голод, и холод, и отсутствие движения... Первые признаки ее приближения — апатия и сонливость — были налицо.

На следующий день мы выступили.

26 мая. Снег тает. В 2 часа вышли на реку Кемь, часам к 7 вечера дошли до деревни Подужемье. В 11 часов вечера встретили двух крестьян. Получили немного хлеба. Ночь. Идем по реке Кеми. Настроение бодрое. В дер. Подужемье была засада из красноармейцев, которая, поискав нас, ушла.

Снег еще тонким слоем покрывал сухие части болота и леса, когда мы вышли. Несмотря на усталость, все-таки было приятнее двигаться, чем сидеть в тех условиях, в которых мы находились последние пять дней.

Мы шли довольно быстро, и вскоре показались первые признаки жилья: начали попадаться тропинки, заборы, затем пошли поля... Взобравшись на гору, мы увидели деревню, а за ней реку. По полям разгуливали бараны... хотелось взять, но нельзя было портить отношения с крестьянами. Деревню надо было обогнуть, и мы начали ее обход с северо-запада. Обход должен был быть достаточно глубок, так как следы наши ясно отпечатывались на снегу. Попадались тропинки...

— Стоп, — поднял я руку.

Все остановились. На тропинке два человеческих следа с подкованными каблуками, сбоку — два собачьих. Красноармейцы с собаками. Не скажу, чтобы это добавление на меня приятно подействовало. Лучше быть охотником, чем зверем.

Двое нас — двое красноармейцев. Постреляли бы, подсчитали... Как-нибудь и поладили бы... А эти не отвяжутся.

Оставив всех на месте, я пошел на разведку и к моему удовольствию скоро увидел обратный след.

Мы пересекли оба следа и к вечеру дошли до реки Кеми. Широкая, сильная река... По обоим берегам могучий, почти девственный лес, вдоль берега узенькая, еле заметная тропинка. Свежих следов нет — значит, можно идти.

Тишина... Наступает ночь...

По воде слышно очень далеко... Стук...

Мы остановились. Прислушались. Разговор... Подошли поближе: крестьяне строят на пожне забор. Подходить или нет?

Не хотелось кому-нибудь показывать свой след...

Но надо было есть, надо получить хоть какие-нибудь сведения.

— Пойдем! — кивнул я Мальсагову.

Два бородатых мужика... При нашем приближении продолжают работу.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте...

Никакого вопроса, кто мы и почему мы здесь. Ясно видно, что знают нас, но ничем этого не выдадут. Приходится нам заговаривать первыми.

— Вот что, отцы, — начинаю я прямо, — вы о нас, вероятно, знаете, мы беглые люди, не большевики, а поэтому помогите нам.

Вижу: мнутся...

— Мы вас не выдадим, и вы нас не выдавайте, — прибавляю я.

— Да нам что... Мы не доносчики. А чем помочь-то?

Я рассказал:

— Нам нужно знать, где мы, что у нас сзади и спереди и где достать хлеба.

Оказалось, что деревня, которую мы видели, называется Подужемье и в ней до сегодняшнего дня стояло человек 25 красноармейцев с собаками. Сегодня они ушли, но неизвестно куда. Крестьянам, под страхом наказания, приказано не давать нам продуктов. Деревне за голову каждого из нас обещано по 10 пудов хлеба на человека. Вверх по течению, верстах в 30, есть два хутора, в них можно достать продуктов...

— А все, что у нас есть, мы вам отдадим. Чай, голодны? — прибавил один из стариков.

Оказалось, что они здесь на лодке. Оттуда он принес две буханки хлеба. Это была для нас большая поддержка.

Обоюдно обещав не выдавать друг друга, мы простились со стариками, поели хлеба и двинулись по Кеми.

Погода поправилась. Кое-что было в животе. Впереди хлеб, настроение стало лучше.

Узенькой, еле заметной тропинкой пробирались мы вверх по течению Кеми. Масса маленьких притоков затрудняла наше движение. Через многие из них были перекинуты срубленные деревья. Но все-таки, чтобы перейти их, приходилось каждый раз спускаться в овраг, а потом карабкаться в гору.

Несмотря на утомление, трудность перехода, голод, холод, все-таки хорошо жилось среди природы. Мы шли всю ночь. Настало утро. Пробежал утренний холодок, потом запели птички...

Начался рассвет... Вставало солнце... Его еще не было видно, только лес на том берегу реки стал двойным: сверху золотой, снизу совсем темный. На тропинке показался свежий след большого медведя. Тянуло пойти по нему...

Хорошо было на душе. Опять чувствовалась свобода.

Много ли человеку нужно для счастья? Кусок хлеба в полном смысле этого слова и кров. Природы... И природы вплотную... И при спокойной совести он счастлив.

Шли мы без отдыха, и к полудню от хлеба ничего не осталось. Нужно было идти. След наш мы все-таки показали, значит, можно было ждать и погони.

Показались хутора... От усталости прислонившись к забору, издалека рассматривал я их расположение. Их было два. Один поближе к нам, другой в версте от первого.

Я рассчитал, что если будет засада, то они посадят ее в первый хутор, который нам по дороге, и решил обойти его.

Усталость была страшная. Лишних три-четыре версты по болоту — это большое расстояние.

Ни с кем не советуясь — думать и говорить уже никто не мог, — я дал знак своим и пошел в обход.

Долго шли мы, обходя первый хутор; наконец показался второй... Подошли мы к нему с северной стороны и находились на горе. Нам был виден дом, а за ним река. Залегли... Посмотрели... На хуторе никакого движения.

Идем!

Спустились вниз... Подходим к дому...

Я шел впереди, Мальсагов за мной... Он страшно устал и еле брел.

Где вход в дом, я не видел, и попал на противоположную от него сторону.

Поравнялся с окнами, взглянул туда... Вижу голые, стриженные головы...

«Крестьяне — и голые черепа?.. Что-то неладно...» — мелькнуло у меня в голове.

Раздумывать было нельзя, и я только ускорил шаг, проходя дом под всеми окнами: по фасу, сбоку и сзади, где была дверь... В окнах движение...

На дворе на корточках сидел крестьянин, и Мальсагов, ничего не заметив, направился к нему...

Я распахнул дверь. Прямо против меня стоял красноармеец с винтовкой навскидку. Я был у него на мушке.

— Руки вверх! — крикнул он.

Раздался выстрел — но было поздно: я отскочил.

«Дурак, — подумал я, — люди идут на смерть, а он: «Руки вверх!»», — но в этом было мое спасение.

В избе защелкали затворы... Вот из-за печки показалась винтовка... Я выстрелил — отбил кусок кирпича.

«У меня 15 патронов — надо беречь», — остановил я себя.

— Сдавайтесь! Ведь нам все равно не жить, — с прибавлением крикнул я.

«Между нами три шага. Сколько их? Выстрелы слышны... соседний хутор... Оттуда поддержка... Если драться, то лучше в поле», — быстро проносилось у меня в голове...

— Идем на гору! — крикнул я Мальсагову.

И мы быстро заняли хорошую позицию. Выход из дома был у нас под обстрелом.

Все замерло. Так прошло минут десять.

Но вот на реке, в полукилометре от нас, появилась лодка с четырьмя фигурами. Красноармейцы удирали...

Оказалось, что они выскочили в окно, мертвым пространством прошли к реке и там сели в лодку. Под прикрытием высокого берега они отошли по течению и сейчас переправлялись на другую сторону.

Зная, как хорошо действует свист пули, я разорился на один патрон и выстрелил по направлению лодки.

Они быстро причалили к берегу, и я увидел, как несколько фигур бегом направились в лес.

Лезть в бой, конечно, было нечего. Мы были обнаружены. Что делалось на соседнем хуторе, мы не знали. Теперь наша задача была уйти как можно дальше.

Впереди нам предстояло переправиться через приток Кеми реку Шомбу. Этой Шомбы я боялся больше всего. Я понимал, что там большевики должны были сосредоточить свои силы, и мне хотелось сегодня же проскочить ее. Надо было пройти ее раньше, чем узнают наш след. До нее оставалось верст 20.

Мы двинулись вверх по Кеми. Продуктов не было совершенно. И как не верить в Бога?!

Сейчас только я ушел от смерти. Но впереди смерть от истощения. Бог помог.

По дороге мы натыкаемся на рабочий шалаш. В нем карел и продукты. Он дал нам (вернее, мы взяли) рыбы, мяса, хлеба и «манны». Кроме того, еще проводил.

— Идите, как звери, — напутствовал он нас, — не выходите даже на тропинки.

Мой дневник: *27 мая. Шли всю ночь и день без отдыха. Часов в 7 вечера пришли на хутор в 34 верстах от деревни Подужемье. Войдя на хутор, попали на засаду красноармейцев. После перестрелки кр-цы удрали на лодке. Мы спешно двинулись по Кеми, забрав продукты у рабочих. Продуктов мало. Придется голодать. Усталость страшная. Часа в 2 ночи свернули от Кеми и часов в 7 утра встали на отдых.*

И дальше: *28 мая. Весь день на отдых, питание слабое. У всех сильная опухоль в ногах. Часов в 10 вечера выступили на Шомбу.*

У Мальсагова были не ноги, а сплошная рана. Кроме того, во время путешествия по снегу и остановок он отморозил себе пальцы на ногах. Они были синие и не двигались.

Когда он показывал их мне, я ясно видел, что они отморожены, но уверял его, что они только посинели от холода. Все равно помочь было нельзя. Нужно было идти вперед. Не граница подойдет к нам, а мы должны подойти к границе.

Но до Шомбы мы так и не дошли — просто не вытянули. Усталость взяла свое. Нам предстоял большой обход. Нужно было идти на ее истоки, где было меньше вероятности встретиться с противником, и там переправляться.

Вопрос этот все время сидел у меня в голове. Сазонов обещал построить плоты, но я знал, что это легко говорить, но гораздо труднее сделать. Шомба все время заставляла о ней думать.

Ночью, решив, что нам не дойти, мы двинулись в этот обход, но после двух дней, проведенных совершенно без сна, в постоянном движении, мы отошли недалеко и скоро встали на отдых. Спали целый день. К вечеру начали готовиться.

Подсчитали продукты, их оказалось очень мало. Вопрос наших ног и обуви был для нас один из первых. И он был совсем не благополучен. Начали одевать сапоги — не лезут. Не ноги, а чурбаны. Васька распорол свои сапоги и сделал поршни.

Еще на стоянке, во время снежной бури, я, одев сапоги Мальсагова, почти сжег их на костре. Здесь я пристроил ему его галоши, то есть протянул в них ремни, так что они не падали.

Для себя я распорол свои сапоги, но все-таки они жали, поэтому я засунул их за пояс и пошел в кожаных туфлях, которые вытащил из лагеря Сазонов.

29 мая. Ночь шли по непроходимым болотам. День на отдых. «Брусника, гуси и заяц». Среди ночи Мальбродский от переутомления не мог идти, встали на отдых. «Соленая рыба».

За все время нашего пути все мои старания были направлены на то, чтобы как можно меньше отдыхать и как можно скорее двигаться вперед. Но это не всегда мне удавалось.

Иногда тихим, просящим, иногда резким, раздраженным голосом Мальсагов уговаривал остановиться и «передохнуть». Я знал, что значит это «передохнуть». Маленький отдых... А потом никого не поднять.

В тот день для преждевременного отдыха были основательные причины: мы шли по красному ковру. Это была прошлогодняя брусника, зимовавшая под снегом и теперь очень вкусная, а особенности на голодный желудок. Но еще соблазнительнее были гуси, которые летали над нашими головами, и заяц, сидевший долго в поле нашего зрения. Стрелять или нет? Каждый патрон на учете. А расстояние большое. Я воздержался. Все эти обстоятельства и заставили нас отдохнуть, с тем чтобы раньше выступить.

Но отдых затянулся до вечера, и только мы вышли, как опять принуждены были остановиться.

За все время похода Мальбродский шел великолепно. Казалось, усталости он не знает. Конечно, это были нервы, и они сдали... Без всякого основания он вдруг начал перегонять меня и, шатаясь из стороны в сторону, делать передо мной круги по болоту.

Меня это удивило, я спросил, в чем дело.

— Так, нужно размяться, — ответил он.

Но я понял, что дело не в том, что надо «размяться», а в том, что человек сейчас может упасть и больше не встать.

На нем не было лица. Я довел его до первого попавшегося «острова», то есть до леса среди болота, и мы встали на отдых.

Он долго держался, не выдержал и свалился как сноп.

Еще раз проверили продукты... Мало...

Нужно экономить и рассчитать паек. На сегодняшний день полагалось маленький кусок соленой рыбы, немножко «манны» и хлеба.

Сазонов был больше и крупнее нас всех. Рыбу сварили и разделили по пайкам. Разлили по кружкам. Соли не было.

Говорят, что соль — это раздор. И тут я имел возможность это проверить. Я налил чашку этой пресной похлебки Сазонову. Он начал просить соли. Я категорически отказал. Он обозлился и ногой опрокинул стоявшую на земле чашку. Новой я ему не дал. Этот эпизод запечатлелся в моей памяти, поэтому наш отдых я назвал «соленая рыба». Все эти маленькие происшествия кажутся мелочами, но когда вопрос идет чуть ли не о жизни и смерти, они становятся серьезны.

30 мая. Часа в 4 дня выступили. Около 11 вечера благополучно перешли реку Шомбу. Облегчение и радость большая. Шли всю ночь.

Шомба пройдена. И совершенно неожиданно... наткнулись на тропинки. Боялись выходить. Но они спутались совершенно, и, хотели мы или не хотели, но мы шли по ним. Сперва осторожно, потом смелее... Следов нет... Пошли...

И вышли: маленькая речушка... Около нее заброшенная плотина и маленький мостик. Неужели это наше страшилище — Шомба? Не верилось, что миновали такое трудное препятствие.

31 мая. Неожиданно наскочили на избу рыбаков, которые были на ловле. Забрали у них хлеба, оставив три рубля. Большая поддержка. Идем дальше.

Казалось, что мы находимся в каком-то густо населенном краю. Но это только казалось.

На севере деревня от деревни и разные мелкие временные жилища людей стоят друг от друга верст на 25—40. Не знаю, везло ли нам или Бог помогал, но тогда, когда нам приходилось очень плохо, я знаю, что Бог выручал.

Запутались в озерах. Построили плот. Переправились. Идем без отдыха. Начинается дождь. Страшное переутомление. Кошмарная ночь. Дождь заливал костер. Ни минуты сна. Утомляющий отдых... — записано у меня на Евангелии.

Все это легко вспоминать, но труднее переживать.

Помню наш тупик. Только что мы, отобрав продукты, вновь показали наш след. И нет хода.

Кругом озера... Красивая природа... Дикие лебеди... И некуда деваться.

Возвращаться обратно? Жалко. Нет карты, и может быть опять безвыходное положение.

Надо построить плот и переправиться. И вот здесь самое трудное. Требуется напряжение сил. Надо нарубить, принести и связать лес. Хочется спать... Но надо.

С большим усилием срубишь дерево, очистишь его от ветвей, из последних сил дотащишь его до воды, сядешь отдохнуть и... заснешь.

Наконец плот готов. И тут я вспомнил возможную переправу через Шомбу. Недаром я так за нее беспокоился. Лес был сырой, и плот потонул. Хорошо, что было мелко, и мы все-таки очутились на другой стороне.

Я заботился только о винтовке, компасе, спичках и Евангелии. Засунул их в шапку и вынес сухими.

Почти по горло мокрые, вылезли мы из этой переправы. Но, слава Богу, попали на берег. Сняли и выжали мокрое платье. Пошли... Но не суждено нам было отдохнуть.

Начал накрапывать дождь. Идем дальше... Дождь сильнее. Запросили отдыха...

Встали — и началось мучение... Целую ночь лил дождь. Развели костер, но он не помогал. Дождь тушил его...

Нужно было сохранить спички. Я согнулся, спрятал их и компас на груди и так просидел всю ночь.

Не трудно было бы перенести это свежими. Но после всех тех лишений, которые нам пришлось пройти, это было очень тяжело.

Спать хотелось до смерти. Не было никакой возможности хоть сколько-нибудь согреться и забыться. Крупный холодный дождь все время поливал спину, мочил штаны и наполнял сапоги. Вся эта стоянка вместо отдыха только утомила и измотала меня.

Утром мы вышли. Компас на согнутой руке, винтовка на плече. Но сил нет.

Дождь продолжается. Меня шатает. Это был, пожалуй, самый худший для меня переход.

Вдруг — тропинка! Выбитая, протоптанная... Свежих следов нет. Но не на запад, а в сторону — на северо-запад. Не по дороге...

Фантазия работала. Лес разделен на просеки... Значит, есть лесничие... Изба... Отдых под крышей. Обсушиться и поесть.

Все это проходило в голове и давало силу.

Я веду, шатаясь и оступаясь на каждом шагу. Но впереди отдых. Приманка рисовалась слишком отчетливо... Изба, тепло, да и милые, гостеприимные люди...

И вдруг — опять тупик. По тропинке подходим к озеру. А на том берегу — деревня.

Сил нет. Прежде, чем что-нибудь предпринять, нужно отдохнуть.

Помню, как Мальбродский разговаривал со мной. Он был весь синий, и его трясло какой-то ненормальной дрожью.

Так посмотрели мы на возможное счастье: достать хлеб, высушиться, обогреться — и отошли на вынужденный отдых. Сил не было проявить какую-нибудь инициативу.

1 июня. Веду как пьяный. Утром дождь уменьшается и перестает. Днем становимся на отдых. «Шалаш».

2 июня. День и ночь на отдыхе. Изредка дождь.

Опять настали тревожные дни. Опять мы целые дни мокрые, холодные и голодные... И под боком соблазн — деревня с продуктами.

Пойти или нет?

Между нами и деревней — вода. Переправимся — попадем в лапы большевиков. Нет — потеряем силы от истощения. Надо попытаться...

4 июня. Утром выходим на деревню достать продовольствия. Карел обещал дать и обманул. В деревне были кр-цы. Продовольствия очень мало. Идем на запад... Что-то даст Бог? Положение трагическое. Дорога трудная, почти сплошь болото. Надоели кукушки. Остановились на полчаса, съели по кружке «манны». Нужно всецело положиться на Провидение. Утешает, что каждый час приближает к цели.

Рано утром мы подошли к полосе воды, разделявшей нас от деревни. Она была у нас как на ладони. Крикнули. Раз, два... Ответа нет. Наконец с того берега отчаливает лодка... Подходит к нам. В лодке мужик. Начинаем разговор: «Мы землемеры, исследуем край, зашли в это место и заблудились. Нужны продукты. Нельзя ли доставить на этот берег?»

Сидящий на лодке карел хитро улыбается и на русском, с акцентом, языке отвечает, что хлеба в деревне нет. Разговор прекращается, и он ловким ударом весла поворачивает лодку обратно.

Я понял, что играть в прятки нечего, делаю два-три шага в воду и задерживаю лодку.

— Рассказывай!

Мужик мнется, но потом выкладывает: в деревне засада. Сейчас красноармейцы куда-то ушли. Крестьяне запуганы. Приказано не давать продуктов и сообщать обо всех лицах, которые обратятся за продовольствием. Обещана награда за поимку каких-то преступников...

Видно, что мы проиграли. Пошли на уговоры. Привези — заплатим...

Карел обещает и отчаливает... Мы наблюдаем.

Он выходит на берег. Около него собирается вся деревня. Митинг... Но никто не возвращается обратно... Надо уходить.

Без продуктов, голодные, вымокшие, усталые, по сплошному «непроходимому» болоту, без всяких перспектив впереди, двинулись мы на запад, надеясь только на Бога.

Оставалась у нас только «манна». Это была какая-то мука, взятая нами у рабочих, которая годилась на все. Из нее мы делали лепешки, ее же растворяли в кипятке и пили как что-то очень питательное.

Но силам настал предел. Мальсагов встал. Я попробовал действовать на него уговорами. Никакого впечатления... Угрозами... Обещал оставить на месте и уйти без него. Ничего не действует. Значит, нужно остановиться.

5 июня. Часов в 5 утра встали на отдых. «Артаганович не может идти». Невесело...

На этом отдыхе мы подвели итоги: из манны напекли лепешек, разделили, подсчитали приблизительное расстояние до границы и решили идти по 25 верст в день.

Вышли в 10 часов. Дует северный ветер. Вода в болоте, как лед.

Тяжелы были эти выходы с отдыха...

Только что отогреешься, высушишься — и надо идти... Подойдешь к болоту и замнешься... Холодно... И неприятен этот первый шаг в ледяную ванну... Ноги онемеют и заболят... Но окунулся, пошел, и становится как-то легче.

Этого перехода я не помню. Шли мы как во сне...

Лес... Болото... Снова лес... Никаких порубок... Никаких признаков человека...

Продукты съели... У меня в подсумке вместе с патронами осталась маленькая лепешка. У других ничего.

Но вот вышли на просеку.

Сразу полегчало, но ненадолго... Просека старая, человеческого следа — топора, свежих порубок, навоза — не видно.

Идем дальше... Накрапывает дождь... Одежда намокла, стала тяжелой... Положение серьезное... Сил нет...

Впереди... несколько усилий... и... смерть.

Все молчат...

В левой руке у меня компас, от него веревочка к пуговице, в правой — винтовка.

Держа направление на запад, обходя свалившиеся деревья, насколько возможно выбирая более легкий путь, я иду впереди.

Сзади, в совершенно безразличном состоянии, бредут Мальбродский, Мальсагов, Сазонов и Васька.

Дождь усиливается... Холодно... Ноги отказываются работать. Подойдешь к стволу лежащего дерева, хочешь переступить — и срываешься. Напрягаешь все силы — и валишься... Ветви хлещут по лицу, рвут одежду... Войдешь в чащу — и нет сил двинуться дальше... Завязнет нога — и не вытянуть... Остановишься, передохнешь, сделаешь шаг — и снова остановка.

Но вот тропинка.

Когда после той тайги, по которой нам пришлось идти, мы выходили на тропинки, то казалось, что мы идем по паркету. Сразу поднималось настроение и являлись силы.

Так и на этот раз. Все подбодрились. Всякая тропинка должна привести к жилью... Мы двинулись по ней, но подошли к реке... Я попробовал перейти... Брода нет. Река разлилась. Ткнулся на север, на юг — везде глубоко. Была не была... Пойду прямо. Вернулся на старое место и побрел по воде. Все глубже и глубже... Дошел до самого русла... Не перейти...

Но вот под водой виднеются какие-то два бревна вроде мостика. Я на них... Перешел.

Оглянулся. Вижу: на берегу избушка. Маленькая. Такая, какие бывают в северных губерниях на сенокосах.

«Эх, хлеба бы! — мелькнуло у меня в голове. — Вот было бы счастье...»

Но все равно этой крышей надо воспользоваться. И я, свистнув своим, указал мой след и крикнул, чтобы они переправлялись.

Обыкновенно, когда мы становились на отдых, я, чтобы познакомиться с местностью, посмотреть, нет ли поблизости человеческих следов, делал вокруг стоянки круг.

Взяв избушку за центр, я и на этот раз пошел в обход.

Пришлось брести по воде, было холодно, хотелось спать... Я видел, что наши уже в избушке и оттуда валит дым. Хлеба... Хлеба... И какой был бы отдых!..

Иду дальше... И вправо от моего пути среди деревьев вижу какой-то навес. Вроде гриба, под которым в прежнее время часовые вешали одежду.

Что такое? «Какая-нибудь карельская молельня или прикрытие от дождя...» — отвечал я себе.

Хотелось отдыха, а до гриба было далеко. Идти или свернуть к избушке? Пойду посмотрю. Впереди вода. Иду вброд, выхожу на маленький островок. Подхожу к грибу. Взглянул наверх. Под навесом лежат какие-то круглые камни. Раздвинул балки. Взял рукой. Для камня легко. Разломал... Попробовал на зуб. Хлеб!

Тут же с хлебом в руке, в болоте, я встал на колени и благодарил Бога.

Как не верить в судьбу — Промысл Божий — в Бога. Под навесом лежало два ряда печеных, высушенных хлебов, стояло два мешка с пшенной крупой и банка из березовой коры с солью.

Я взял пять этих лепешек и пошел к своим.

Мальсагов мне потом рассказывал, что, когда я подходил к избушке, держа в руках и жуя хлеб, он думал, что он сходит с ума или у него начинаются галлюцинации.

Он бросился ко мне и начал меня целовать.

Помню, как часа через два я в одном белье, сытый, с цигаркой из махорки в зубах, лежал в жарко натопленной избушке и чувствовал себя счастливым человеком. Я жил... Я чувствовал жизнь...

В открытую дверь светило солнышко...

Я был свободен... Был близок к природе... Имел хлеб и кров... Я был счастлив.

Никакая самая утонченная еда, никакие самые комфортабельные условия не дадут тех переживаний, которые получает голодный и усталый человек, когда у него есть, в буквальном смысле слова, кусок черного хлеба и крыша над головой.

Никакие впечатления от всех городов мира не могут сравняться с впечатлениями человека, вплотную подошедшего к природе. Все свободы всех стран ничто перед свободой человека, для которого один закон — закон Бога — совести.

Слава Ему за то, что Он дал мне это пережить!

Дневник: *Вот уж истинно дал Бог. Просека. Тропинка. Непроходимая река.*

Прошли вместо предполагаемых 25 верст — 9. В подсумке маленькая лепешка из «манны». Положение ужасное. И Бог дает. Перехожу реку вброд. Избушка на сенокосе. Гриб и колоссальный запас лепешек, крупы и соли.

Встал на колени и благодарил Создателя.

Сейчас утро. Все спят. Слава Богу. Помог и спас от насилия. Помоги, Боже, и дальше, и верю, что поможет.

6 июня. Отдых «Избушка». Настоящий морально и физически счастливый человек. Природа, хлеб и крыша.

7 июня. Встал днем. Вылез на солнышко, лежу и живу. Бог совершил чудо.

8 июня. Погода переменилась. Тепло. Вода спадает. Ем через два часа и благодарю Бога. Сейчас ночь. Костер. Не сплю. Охраняю ночлег. Позиция хороша. Незаметно не подойдешь. Сейчас подсчитал, что в общем прошли по «непроходимым» болотам около 270 верст.

9 июня. Весь день спал. Вечером встал с неприятным чувством неизвестности впереди и несплоченности компании. Ночь опять не спал, настроение и самочувствие хорошее

Хорош был этот отдых. В особенности ночи. Северные, белые... Красивые своей простотой и ясностью...

Недолго живет север... Могуча, серьезна и сурова его жизнь... Но весной и он улыбается своей манящей и зовущей улыбкой. Чувствует это лес и не спит. Так только забудется немножко и снова торопится жить...

Солнышко зашло, немножко тишины, и опять все ожило. Пробежал ветерок, закуковали кукушки, протянули гуси и зазолотились верхушки деревьев... День начался.

Ночная томящая улыбка исчезла, и лицо севера стало еще яснее, еще проще, еще более классически красиво.

Ночью я не спал. Сидел у костра, варил кашу и каким-то шестым чувством жадно захватывал жизнь... Остро переживал я это единение с природой, свободу и Бога... Я жил тогда...

Часто я благодарил Бога за то, что на пределе к отчаянию, когда я мог для сохранения своей жизни пойти на все: на убийство, грабеж, разгром деревни... — Он спас меня. Он уберег меня от преступления Его закона. Он не дал мне совершить насилие, и вместе с тем Он дал мне все. И я от души славил Его.

Мне вспоминался один момент из нашей стычки на хуторе. Я стрелял по красноармейцу... Этому делу я был обучен. Несмотря на опасность, у меня не было никакого волнения, то есть до противности. Я помню войну. Как часто там приходилось сдерживаться и faire bonne mine au mauvais jeu[2], а тут? За все время похода у меня ни разу не екнуло сердце. Я стрелял по человеку и не хотел его убить. Был момент, когда он сидел у меня на мушке, и я сознательно не стрелял, а потом перевел винтовку, выстрелил и отбил кусочек печки.

«Мягкотелость!» — с презрением сказал бы я год назад. «А не повыше ли?..» — думал я тогда.

Что легче: стрелять или удержаться? Плюнуть на все и идти к намеченной цели или поставить себя в рамки хотя бы людских, компромиссных, но все-таки нравственных законов?

Порок или достоинство — быть с мягкой душой? Размягчать ее нужно или, наоборот, заставить ее огрубеть? Гнать всякую сентиментальность, гнать прощение, любовь и... Бога?

Нет. Только не насилие! Но слаб я, чтобы отказаться от него совсем. Нет во мне настоящего размаха, настоящей крепости.

---

[2] Делать хорошую мину при плохой игре (фр.).

Но все-таки я не сойду и буду стараться идти по пути, который указал Христос.

Становилось теплее... На берегу речки я поставил «водомер» — палку с делениями на приблизительные дюймы. Вода упала на полметра.

Пора было кончать наш отдых. Запасы истощались.

Мне кажется, что происхождение нашего клада было таково. На севере сенокосы далеко от деревень. Подвоз продуктов летом невозможен. Их можно только принести на себе. Идти с ношей по болотам трудно. Поэтому крестьяне пекут хлеба-сухари, забирают крупу и соль и зимой на оленях доставляют все это на сенокос, а летом приходят на готовое.

Конечно, это мое предположение, точного происхождения этих продуктов я не знаю до сих пор.

Впереди у нас был неизвестный путь. Я подсчитал, что мы прошли «полезного» и «неполезного» пространства около 270 верст.

К сожалению, по вопросу о дальнейшем движении у нас образовались две группы. Я с Мальсаговым стояли за то, чтобы достать «языка», выяснить положение и стараться идти ближе к деревням. Мальбродский и Сазонов держались обратного взгляда.

Как ни хорош был отдых, но продукты кончались, и надо было идти. Мы подсчитали оставшееся: его хватало дня на два, на три.

10 июня. День спал. Сейчас встал, солнца нет, и совершенно не могу определить времени. Вечером выступили. Настроение невеселое. Надоело идти.

11 июня. Утром встали на отдых «у озера». «Мельзуппе»[3]. День плохой. Вечером выступили.

12 июня. Ночь шли. Утром остановились на «короткий отдых» выпить кипятку. Пошли дальше. В 6 часов утра встали на отдых — «избушка № 2». Вечером вышли. Скорей бы к цели. По-моему, до границы 20 верст. У меня осталось два сухаря. У Мальбродского нет совсем.

Отдых помог, но и расслабил. Как-то осели нервы. Уже не было прежнего подъема.

Питались главным образом мукой, размешивая ее в кипятке. Называлось это «мельзуппе».

Шли уже ближе к деревням, часто попадались сенокосы... Попали на вторую «избушку». Долго искали «гриба». Но, увы... не каждый раз.

13 июня. Рано утром выпили кипятку «в сарайчике у озера». Тропинка. Озеро. Дождь. Остановка в «проломанной избушке». Настроение нервное.

[3] Мучной суп (нем.).

Продуктов нет. Господи, помоги. Вечер спали... Ночь идем. Дождь. Роса. Холод. Тропинка.

14 июня. Озеро. Красноармейцы.

Мы опять наскочили на погоню.

Вымокшие, прозябшие, шли мы всю ночь по тропинке. Быстро продвигались вперед, но скорое движение уже не согревало. Организм требовал пищи. Мокрые ветки хлестали по одежде, мочили ее; солнца не было, и только крупная дрожь шла по телу и тем поддерживала жизнь.

Но вот на тропинке показались свежие следы. Надо быть осторожнее... Сбавили ход. Трое ушли в лес. Я с Мальбродским пошел вперед.

Озеро... В него впадает речка... Слышен разговор...

«Крестьяне», — подумал я. И в голове прошли мечты о тепле, горячей пище, об отдыхе в жилом помещении...

Осторожно подходили мы ближе и ближе...

Из-за кустов показалась лодка... И около нее возятся два красноармейца. Сразу по форме, в которую они были одеты, я узнал конвоиров нашего дивизиона.

«Стрелять или нет?» — невольно задал я себе вопрос. Если убью, оружие и патроны будут наши... ведь нам это нужно. Все будут вооружены... Но сейчас же другой голос заговорил гораздо яснее, проще и убедительнее: просто глупо убивать человека после того, что ты прошел, и неужели так мало веры в Бога, чтобы можно было из-за какой-то винтовки и 15 патронов убить человека.

Соблазн сразу отпал. Но я продолжал наслаждаться моей ролью загнанного зверя, имеющего силу. Я сидел в кустах и наблюдал, как два моих врага, мирно разговаривая, усаживаются в лодку и, по моим предположениям, едут патрулировать ту реку, через которую нам нужно перейти.

Глупые, очень глупые, но все-таки милые моему сердцу русские бараны... Душа у них не потеряна, но путь их неправилен, порядка и воли у них нет. Подайтесь в ту или другую сторону. Или к Западу — цивилизации — насилию — дьяволу, но до конца. Или к Востоку — прощению — упрощению — к добру, к Богу. Но время придет... Все изменится... Восток — и Россия в частности — поведут мир к Духу.

Надо уходить... Я вернулся к своим.

Где мы? Не на границе ли? Пошли вперед. Прошли какое-то вырубленное пространство... Затем телеграфную или телефонную линию... Все это еще не встречалось... Померещилась патрульная линия... Граница и наш Рубикон...

Прошли верст десять на запад... Сил нет. Встали на отдых, но без костра. Зажигать страшно. Кажется, что перешли границу.

Пошли дальше... Продуктов нет. Надо их добывать... Но где мы?

Слышен лай собаки... Уже вечер, но белая ночь светла... И мы видим хутор... Сейчас ли брать или подождать до утра? Подождем...

Встали, развели костер, вскипятили воду, есть совершенно нечего. Попили кипятку и заснули.

Рано утром вышли. Подошли к хутору. Залегли... Наблюдаем...

Было воскресение. Вышла баба, дети, еще баба — умылись... Встал мужик... Красноармейцев нет...

Прошло немного времени, и мужик куда-то ушел.

Не хотелось обнаруживать себя, и Мальбродский охотником согласился идти на хутор, чтобы достать продукты. Весь дом у нас был под обстрелом, и в случае неудачи мы могли ему помочь.

Но вот он вернулся. По его мнению, на хуторе коммунисты... и он предлагает уходить.

Ни в коем разе! Идем и берем.

Быстро скатились мы с горы на хутор. Брать — и брать как можно больше. Икон нет. Валяются коммунистические газеты...

Много забрали мы там. Был хлеб, масло, рыба, соль... Сели на лодку... Через реку... По озеру — и на запад...

Бросили лодку, взвалили на плечи продукты — и вперед. Шли и на ходу жевали вкусные пироги с рыбой...

Тропинка... Горы... Хочется остановиться и поесть по-человечески. Но положение опасное, ясно, что будет погоня.

Забрались на гору, развели костер, поели вволю и двинулись дальше.

Я страшно устал. Для того чтобы вести, нужно постоянное напряжение... Кажется, что по компасу идти легко, но это не совсем так. Тебя так и тянет сбиться на круг... Я передал компас Мальбродскому и сам шел сзади всех. Светило солнце и, ориентируясь по нему, я видел, что он врет в направлении. Меня это злило... Я нервничал и резко говорил ему об этом. Шли мы через горы. И нужно было чувствовать... Не знать, а чувствовать... Угадывать впереди лежащую местность... А он вел с хребта на хребет...

Дошли до реки... Попробовали перейти — невозможно. Течение настолько быстро, что сбивает с ног.

Я взял компас, и мы пошли обратно. Была уже ночь... Силы были истрачены на горы, и нужно становиться на отдых. Снова мы вышли на тропинку, с которой свернули.

Но что это? На мокрой земле свежие следы... Кто-то прошел. Стой! Нужно понять...

Несколько шагов вперед... Около тропинки камень, и около него свежий окурок махорки... Табаку у нас не было: его раскурили. Немного дальше... Записка... Я прочел... Не помню точно, что-то вроде: «Дорогой товарищ такой-то, возьми мое белье, которое находится у товарища командира...»

Сомнений нет: за нами по пятам идет погоня...

Я отвел всех в сторону. На мой взгляд, положение было серьезное. Прежде всего, нужно выяснить направление следов, их количество и затем, принимая во внимание нашу усталость, отойти, хотя бы и в противоположную нашему направлению сторону, и встать на отдых. Так, решено.

Мы вышли на тропинку. Переставив затвор своей винтовки с предохранительного на боевой взвод, крадучись, весь внимание, смягчая звук своих шагов, чтоб не было слышно металлического лязга, придерживая рукой подсумок с патронами, подвигался я вперед.

Помню, как я огрызнулся на Мальсагова, когда он от усталости, чтобы было легче, закинул винтовку за спину и отстал от меня. Он перевесил ее на плечо и подошел ко мне.

Так прошли мы шагов сто...

Чтобы не показывать наших следов, мы старались идти по обочине... На тропинке же ясно обозначилось штук десять красноармейских, с подкованными каблуками, следов и один крестьянский — широкий, с тупыми носками отпечаток.

«Проводник!» — подумал я... Тишина... Птички угомонились... Лес замер. Впереди, шагах в десяти, маленькая горка... На ней большие куски гранита... Кругом кусты... Еще вперед...

И вдруг картина изменилась! Лес защелкал... Загрохотал... Загудел... Эхо подхватило, понесло... Все сразу ожило.

На мгновенье я остановился. Часто, очень часто, но беспорядочно — то здесь, то там — из-за камней вспыхивали огоньки и щелкали выстрелы.

Вспышка! Огонь! Выстрел! Шлепок пули о дерево! «Трах-тах-тах!..» — неслось по лесу. Но ни людей, ни их шапок видно не было, и свиста пуль не слышно.

Мальсагов сжался... И вся его кавказская кровь выявилась во всей своей непосредственности.

— Бей! Стреляй! — шептал он мне...

Я схватил его за руку и ткнул под откос. Васька удирал... Сазонов на моих глазах, спускаясь под гору, как раненый заяц, три раза перевернулся через голову. «Убит», — подумал я. Мальбродский был спокоен.

Огонь продолжался... Стреляли пачками... Но свиста пуль я не слышал и людей не видел. По количеству выстрелов и скорости стрельбы в засаде было

человек десять... Однако ясно было, что эти люди боялись нас и стреляли, как новобранцы на войне, — не высовывая головы, вверх, не целясь.

Принимать бой было глупо. Надо уходить... И как можно скорее... Куда?

Путь был один — на запад... На реку...

Я спустился под откос. Погони нет.

Компас в руку... И полный ход... Два-три изменения направления и снова на запад...

Сазонов здесь... Сзади тяжело дышит Васька... Оказывается, он бросил мешок с хлебом, но потом вернулся, нашел и тащит на плечах...

Подошли к реке... Все то же быстрое течение... Но нужно переходить...

Сразу ткнулись в воду... Брода нет...

Был мороз, болото подернулось корой льда... Холодно, но нужно идти. Я плаваю как топор... Пошел в одно место — неглубоко, но течение такое быстрое, что валит с ног. Один шаг вперед — вода подобьет ноги... Свалишься... и головой о камни... На мне были кожаные туфли, и течение разорвало их на клочки.

Прошел час, другой... Все пробуют, но ничего не выходит...

Мальбродский отошел от берега, встал посередине реки и не может двинуться ни вперед, ни назад. Замерз, посинел, дрожит... Один шаг, ноги не выдержат, теченье подобьет, подхватит, и он разобьется о камни.

Его вытащили...

Наконец переправился Сазонов. Он взял палку и пошел по горло в воду там, где течение было слабее. За ним самостоятельно перешел Мальсагов.

Положение наше становилось все хуже... Мы раздроблены... С минуты на минуту можно ждать обстрела.

Тут Сазонов выручил. Он с палкой вернулся обратно и, приняв на себя всю силу течения, помог перейти мне и Мальбродскому. За нами перешел Васька.

Мы все были мокрые по горло. Компас, Евангелие и спички я положил в шапку. Хлеб намок и обратился в труху.

Одежда стала пудовой. Я дрожал редкой, крупной дрожью. Отойти далеко не было сил, и мы, пройдя верст пять, встали на отдых.

Я продолжаю дневник: *Патрульная линия. Обход. Отдых без костра. Верст около 10 на запад, и никаких признаков границы. По-моему, мы перешли границу в 12 часов дня. Ночь шли. Холод. Развели костер и простояли до утра. Продуктов нет совершенно.*

15 июня. Часа в 4 утра выступили. Опять с продуктами. Положение опасное. Отдых «на высоте». Река. Отступление на тропинку. Засада. Выстрелы в упор. Бог спас. Слава Ему. Бегство. Опять на реке. Кошмарная переправа.

Уже в Финляндии мы узнали, что река, которую мы перешли, считалась так же, как и болото, «непроходимой».

Но когда что-нибудь очень хочешь, то препятствия нет.

16 июня. Отдых. «После переправы». Сушка весь день и ночь. Раздел продуктов. Конфликт. Примирение.

17 июня. День на отдыхе. Вечером выступление. Ночь шли.

Где мы? И где конец?

Отношения наши начали обостряться... Мальбродский и Сазонов обвиняли меня в недостаточной осторожности. Мне это надоело, и я решил отдать им компас, одну винтовку, и с Мальсаговым и Васькой, ориентируясь, если возможно, по солнцу, а если его не будет, то просто надеясь на Бога, идти напрямик. Я знал, что граница к нам не подойдет, сил нет — надо двигаться вперед.

Чтобы кончить это, я поставил ультиматум. Или полное и беспрекословное подчинение, которое они мне сами обещали, или я ухожу.

Сидели, рядили и наконец решили подчиниться.

У Мальбродского несколько раз не хватало хлеба. Он его съедал сразу. И я каждый раз делился с ним моей долей. Но мне тоже нужно было питаться, и я поставил условием, что все потребление продуктов будет под моим контролем. Сначала он накинулся, но потом подчинился, и мы двинулись.

На этом переходе сдал Васька.

— Не могу идти... Устал... Тяжело, — ныл он.

Но двигаться было надо.

— Пойдешь, — приказал я ему.

— Не могу...

Можно и нужно было только страхом перед еще большими страданиями победить усталость. Я крепко ударил его. Упал... Встал...

— Пойдешь?

— Не могу...

Снова в ухо... Встал и тихо, безропотно поплелся сзади.

17 июня. День на отдых. Вечером выступили. Ночь шли.

18 июня. Хорошим выстрелом убил оленя. День ели шашлык. Съели почти всего.

Звери подпускали нас редко. Уходили вне выстрела. Патронов было мало, и можно было бить только наверняка.

Но хотелось есть, и подвернулся олень. Он шел в 800 шагах... Я взял винтовку на изготовку, поставил прицел и думал: стрелять или нет? Промажу — один патрон в расходе. Попаду — поедим... Но медлить было нельзя, и я убил.

Мальсагов был страшно доволен. Он его освежевал, и к концу дня от большого оленя остались только кусочки.

Съели все, включая мозг костей и потроха. Не было соли, не было хлеба, но это нас не смущало. Мы были голодны по-настоящему.

За время нашего похода у меня удивительно обострились все чувства, в особенности зрение и слух. Идя по лесу, я без всякого напряжения замечал все мелочи, в особенности те, которые указывали на присутствие человека. Говорить нечего, что каждый отпечаток человеческой ноги был на учете, но и другие мелочи, вроде срубленного дерева, кучи конского или оленьего навоза, какой-нибудь тряпки или кусочка бумаги, я видел сразу.

Освежевав оленя, Мальсагов повесил его на сучок дерева, шагах в ста от нашей стоянки. Поев его досыта, мы улеглись спать. Так как за последнее время усталость была страшная, то часто мы укладывались спать без всяких часовых, по принципу туземной дивизии: «Кому страшно, тот пусть не спит». Так и на этот раз, положив винтовки под себя, мы легли и заснули.

Вдруг треск... Еле слышный... Момент — Мальсагов и я на ногах, и винтовки в руках... В чем дело? Оказалось, что сломался сучок, на котором висел олень.

На этом отдыхе мы немного заболели. Слишком навалились на оленя. Я удивляюсь, как мы избегли этого раньше. Ведь мы пили, например, все время болотную воду, в которой простым глазом можно было видеть множество каких-то маленьких головастиков. Или эти «отдыхи» под снегом и под проливным дождем... Да что говорить... Просто Бог спасал.

19 июня. Утром выступили. В 12 часов дня встали на отдых. Простояли весь день.

Подъем кончался — нервы сдавали. Отдыхи стали чаще и дольше. Силы падали. Где мы? Что впереди?

20 июня. Утром выступили. В 7 часов утра перешли какую-то просеку. Встали на отдых. Просека не годится. Не знаем, где находимся. «Отдых с коровами».

Границу ждали, ее хотели... Придирались ко всякому признаку...

Вот широкая просека... И хочется верить, что это граница... Посмотрели — не решили, отошли на отдых.

Но я не удержался, и мы вернулись. Снова проверили... Признаков границы нет.

Опять нужно есть... С вершины горы видим хутор.

Около него, в версте, другой... Нужно брать...

Опять залегли, проследили... Охотником пошел Мальбродский. Стало теплей, комары не давали наблюдать...

Мальбродский махнул платком. Мы спустились в хутор. Оцепили... я вошел в избу...

Сидит крестьянин и чинит сапог... Обращаюсь к нему по-русски. Смотрит на меня большими глазами и продолжает свое дело...

— Finland? — спрашиваю я его.

Ответа нет.

— Russland? Finland?

Опять молчание...

— Гельсингфорс? Петроград? — настаиваю я.

Те же большие, но невыразительные глаза... И ответа все-таки нет...

Население этого края — карелы. На предыдущем хуторе мы уже столкнулись с тем же. Там тоже не говорили по-русски.

Кто здесь, финские или советские подданные?

Решить было невозможно. Я искал каких-нибудь верных признаков... Легче всего было посмотреть деньги. Но, не зная языка, обратиться и попросить их было трудно, и это могло показаться грабежом. Положение было неопределенное. Что делать?

Но вот я вижу, как на дворе через нашу жидкую линию охранения проскочила девочка лет 15 и стремглав полетела к соседнему хутору...

Дольше колебаться было нельзя. Довольно опытов. Глупо будет, если она сообщит о нашем присутствии и приведет погоню; надо брать продукты и уходить.

Я свистнул Ваську и приказал ему забирать хлеб. Те же лепешки, которые мы ели в «избушке».

Конечно, он не ограничился этим и хапнул еще рыбы, соли и других вещей... Увидав маленький кусочек мыла, я не мог воздержаться и взял его.

У Сазонова были еще деньги, и он пришел в избу, чтобы заплатить. К нашему удивлению, баба взяла серебряную мелочь и оставила советский червонец.

Это было указание, что мы за границей, но на этом признаке успокоиться было нельзя.

С горы было видно, что дорога на запад, то есть наш путь, лежал между двух озер. Если мы задержимся, он может быть отрезан.

Довольно развлечений. Силы наши далеко не равны. Надо уходить, и мы, забрав продукты, спешно двинулись на запад.

Как всегда, имея еду за плечами, мы не выдерживали и уходили не далеко... И здесь, отойдя километров пять, мы встали на отдых. Поели, попили, первый

раз с мылом помылись в болоте и на утро встретились... с коровами... Значит, мы недалеко от людей.

21 июня. Утром вышли. День шли. Ночь на отдыхе. «У трех тропинок».

За последние дни нашего перехода во мне произошел перелом.

Вначале я шел только нервами. Я не знал усталости. Я ни разу не останавливался на отдых, не поторговавшись с остальными. Только тогда, когда я видел, что люди не могут идти и никакие меры не заставят их двигаться вперед, мы останавливались и отдыхали. Но и мои нервы сдали. Неизвестность томила... Где мы? Далеко ли до границы? И будет ли какой-нибудь конец?

Уже не хватало сил... Движения стали вялые, неуверенные. Голова работала только по компасу: запад и запад... На левой согнутой руке компас, в правой — винтовка. Не разбирая и не желая разбираться в пути, как кабан шел я впереди... Только на запад... Только ближе к цели...

Мы подошли к просеке... Направление на запад... Забор. Перевалились и попали в болото... Казалось, не перейти. Нужно обходить...

Далеко, чуть ли не за километр, я увидел на дереве белую точку. Она мне показалась делом человеческих рук. Я позвал Мальсагова: что это такое?

— Лист... Белый лист, — сказал он мне.

Я не верил.

Впереди было болото — широкое, большое и топкое... Надо было его обойти...

Пошли в обход. Но, как часто бывало, обход был хуже прямого пути. Пришлось вернуться обратно.

Опять та же белая точка.

«Изолятор телефонной или телеграфной линии», — подумал я.

Опять посоветовался с Мальсаговым

— Какой там изолятор! Ты бредишь... — ответил он мне.

Идем дальше... Подходим ближе. Ясно выраженная телефонная линия, протянутая по деревьям. И впереди.... Какая-то белая дорога, а на ней... Люди!

Сердце застучало... Кто там?!

Мы были как на ладони, в середине большого болота. Ни только укрыться, но и быстро двигаться в случае обстрела было нельзя. Болото затягивало, и не было видно его края...

Назад или вперед?

Надо положить конец — идем прямо.

Неприятно чувство ответственности, когда рискуешь жизнью людей. Здесь я ясно сознавал, что иду ва-банк.

Если большевики, то нас перестреляют, как куропаток. Обидно, но пусть хоть какой-нибудь конец.

Я слышал сзади ворчание Мальбродского, Сазонова и даже Мальсагова, всегда стоявшего за более короткий путь, но и он на этот раз тянул к лесу...

Мы все-таки двигались вперед.

«Дорога» впереди становилась все более и более ясной и выявилась большой рекой, по которой плыли бревна. Люди сплавляли лес...

Мы подходим ближе и ближе... Нас заметили, и отдельные фигуры, ловко перепрыгивая с бревна на бревно, уходят на другую сторону реки.

Наконец мы подошли вплотную.

На одном берегу — «они»... На другом — «мы»...

Кричим... Друг друга не понимаем... Не меньше часу шли переговоры... Нас боятся. В результате с того берега отчалила лодка. Из нее вышли люди. Нам показали финские деньги. Мы вынули затворы и сдали наше оружие.

22 июня. Утром выступили. Переутомление. Неизвестность. Нежелание идти. Просека. Болото. Отход. Снова выход на просеку. Телефонная линия. Река. Сплав. Люди. Финляндия.

За границей

«Финляндия», — так кончил я свой дневник. Казалось бы, конец. Конец похода... Конец какой-то ненормальной, кто ее знает — плохой или хорошей, но во всяком случае какой-то особенной жизни... А главное — конец страданиям.

Впереди новая жизнь, широкое, большое и совершенно новое будущее. Впереди свобода, борьба, жизнь... Но свой рассказ вел я по порядку, так и буду продолжать.

Что дальше? Берег реки. Нам подали лодку. Сели... Два гребца на веслах, мы в середине.

Быстро идем мы вверх по течению. Странное ощущение. Цель достигнута, и инициатива больше не нужна. Нет борьбы. Нет упора. Прострация. Стало как-то неловко, даже неприятно, и совершенно непривычно.

Деревня... Пристали к берегу, вылезли, нас окружил народ. Где мы?

Несмотря на показанные нам финские деньги, разницу в постройках, в культуре, где-то в глубине все-таки таятся сомнения: не у большевиков ли? Просто отвыкли верить...

Наконец здесь в первый раз русскими словами мы услышали, что находимся в Финляндии. Сомнения отлетали навсегда.

Вошли в избу... Ввалился народ... На нас смотрят...

Контраст разителен. Синие пиджаки, хорошие теплые фуфайки, настоящие непромокаемые сапоги... Нам странно. Ведь это же простые рабочие...

И мы. Одежда прожжена, дыры разорваны ветвями, видно голое тело. На ногах опорки... Волосы всклокочены, на лицах 35-дневная борода, в складках кожи неотмывающаяся копоть... Словом, бродяги. Раньше мне казалось, что, показывая бродяг в кинематографе, там утрируют их внешний вид. Нет. Мы были совсем как бродяги из кинематографа.

Сели... Закурили... Через переводчика начали разговор.

Мы находимся в 800 километрах севернее Петрограда, в нескольких километрах от маленького финского местечка Кусома. Оказывается, что последний наш налет мы произвели уже на финской территории. Вот почему настроение встретивших нас так неопределенно. Слышатся понятные нам слова: «большевик», «коммунист»... Но вместе с тем для нас собирают деньги, кормят обедом и затем предлагают кофе.

Какая вкусная была рисовая каша с киселем! Но какой маленькой и бесцельной показалась мне чашечка кофе! Нас обыскивают. Не остается сомнений, что мы приняты как большевики. И затем под конвоем отправляют в местечко Кусома.

Наутро допрос... Пальцем по карте, мимикой, жестами, коверкая немецкий язык, объясняюсь я с лейтенантом финской службы — начальником местной пограничной стражи.

Оказалось, что, перейдя вброд «непроходимую», по словам лейтенанта, реку, мы прошли через советскую пограничную линию. Дальше, в нескольких километрах от нее, пересекли официальную границу.

После допроса мы почти реабилитированы. Но только почти. Нас отводят в казарму и... приставляют часового. И тут начинается! Сон и еда... Еда и сон...

Сколько мы ели! Кашевар с улыбкой приносил бак на целый взвод, и от него ничего не оставалось. Через два часа снова хотелось есть.

Финны любят подумать. Не могли решить, что с нами делать. Думала Кусома. Мы ели и спали... Запросила Улеаборг. Он ответил. Нас перевезли туда. Думал Улеаборг. Мы сидели в тюрьме. Улеаборг связался с Гельсингфорсом, подумал и Гельсингфорс. Ответил, и мы в столице Финляндии... Но... опять в тюрьме.

Финские тюрьмы несравнимы с советскими. Там и порядок, и хорошая еда, идеальная чистота, и достаточно вежливое обращение, но уж очень они сухи, как-то черствы, впрочем, как и сам Запад. Пора бы ему понять, что и в тюрьмах ведь тоже люди.

Так прошел месяц. Из гельсингфорской тюрьмы я связался с русской колонией, нашлись приятели, которые удостоверили мою личность; за это время кон-

трразведка установила факт побега, проверила правдивость моих показаний, нам предъявили счет в 1000 марок за хлеб и мыло, взятые на финской территории, — и я на свободе!

Первые впечатления. Я вышел из тюрьмы... Солнечный день... Дома, автомобили, улицы... Все чисто, гладко...

Спокойные лица, все сыты, обуты, одеты... Кругом человек. Непривычно... Отвык я от этого... Хорошо... Очень хорошо...

Переживания. Свобода! Но в лесу я ощущал ее острее. Вот гнета не было — это было ново. Как вспомнишь, что ты вне большевиков, так и вздохнешь свободно... Хорошо было...

События. Они обыкновенны. Сидя в гельсингфорской тюрьме, я писал своему товарищу по полку: «...по внешнему виду я бродяга: оборванный, грязный, черный, загорелый и худой. Я вымотан совершенно. Все мои желания сводятся сейчас к литру какао, кило белого хлеба и отдыху на кресле в каком-нибудь санатории или лазарете».

Но надо было есть. На следующий же день после моего выпуска на волю я встал на работу.

Главное: я на свободе. Жизнь впереди... Все впереди...

Из писем к сестре

Конец, родная... И кажется, на этот раз действительно конец.

Я кончил прошлое, и жаль мне расставаться с ним. Я жил тогда... Я верил, я любил, надеялся, я знал... Я весь был в будущем... Ну, а теперь?

Мне тяжело... Невыносимо... Очень тяжело...

Но в сторону нытье! Я буду продолжать и расскажу тебе про те переживания, те впечатления и удары, которые докончили меня.

Начну с того, чем я в России жил. Что думал, слышал, видел... На что надеялся и верил и что знал.

Вот я в тюрьме... Народу много, и разного... Здесь вся Россия... Здесь лучший и наиболее стойкий элемент... Здесь север, юг, восток и запад... И выбор есть: здесь офицер, здесь и священник, здесь и крестьянин, и купец... Народу много, и времени хватает, и люди думают, а иногда и говорят. Так вырабатывают взгляд.

Есть взгляды разные, но на спасение России он один. Для всех, кто жил в России, кто посидел в тюрьме, кто знает всю структуру власти, всю стройную систему ГПУ, кто понял, осознал, почувствовал всю силу людей, которым «все позволено», здесь нет двух мнений, это ясно: самой России власть не скинуть.

Прибавлю: и не изменить. Пока в России власть не примет Божеских и человеческих законов, в ней эволюция невозможна.

Но там надеются... Ведь без надежды трудно и просто невозможно жить. Надеются на что-то... На что-то и на все, но только на «извне».

И я надеялся... Сейчас писать мне это странно... Надеялся на эмиграцию и на Запад.

Я знал, что здесь, у эмиграции, все преимущества... Здесь люди могут мыслить, говорить, читать, писать, меняться мнениями... Рождать идею... Организовываться, делать... А главное, здесь могут объединиться, слиться, быть существом одним и стать Россией будущей. Я это знал, а верил я?

Я верил, что революция научила... Что люди наконец прозрели, изменились, поняли, а главное — объединились. Что здесь идет работа, что ее хотят, она нужна, и только вот чего-то ждут... Я верил, что здесь люди любят, что здесь один за всех и все за одного... Что правда здесь, что здесь объединение сил... Я верил в дух.

Идя сюда, я понимал, что мы, российские, и здешние — мы не одно и то же... Кто лучше, хуже, выше и кто ниже, я не берусь судить. Но мы не вы... Вот это ты прими, пойми, и положи в основу для понимания меня: я новый, самый новый, тамошний, российский человек.

В чем разница? Попробую ответить. Я знаю: Россия умерла. Я верю: Россия родилась. Я видел ее смерть и чувствую начало жизни.

Здесь говорят... не верят и не знают, но говорят: «России незачем рождаться, она жива, живет и будет жить...». Я умер, но родился; ты продолжаешь жить — вот разница. Вот те надежды, вера, знание, с чем я пришел.

Я на свободе. Хотелось жить и знать... С чего начать?

Газеты...

Я бросился на них... В лесу — я их курил... В России я читал классическую «Правду»... но вот передо мной свободная печать.

Вот истинная правда — «Русская газета». Чуть не крестясь, я развернул ее. Передовая...

Я прочел... Мне показалось что-то непонятно... Какие-то фамилии, и кто-то кем-то недоволен...

Я взял другую... Там тоже спор идет... И что-то странное... Все мелочи... Опять мне непонятно.

Я утешал себя: «Ну это так — сегодня неудачно... Не повезло... Да я ведь многого не знаю... Не подготовлен, поэтому не понимаю, но время хватит... Я пойму, узнаю...»

Завтра...

Странно... Но все то же...

Большевики кричали: «Там, в эмиграции, рознь... Там партии... Они дерутся...» Никто не верил.

Так неужели же, подумал я, они правы?

Я продолжал читать и начал понимать... Все время шли полемика и споры... Хотелось оправдать...

«Что ж, — думал я, — ведь это полюбовно... Все для победы над врагом».

Нет, что-то нет... Все было тут не то. Тут важно было победить друг друга.

Вот первый шок. Он неприятно действовал, но я надеялся и продолжал искать. Ведь я людей еще не видел и думал здесь найти и правду, и исход.

Я был у белых... Там видел многое... И многое неладное.

Прошло семь лет — и снова я увидел то же.

Все те же партии, объединения, соединения... Центры, съезды... Платформы и программы... Все жалкий старый лепет... Слова... Слова... Дел никаких... Основы нет... Все мелко так, бессильно и смешно...

Кто во главе? Все те же злые старички со стажем. Великая война... За ней две революции... Гражданская война... Все ими... не нами — ими создано и ими проиграно.

Их просят: «Уходите!».

Но нет! Они все ссорятся и думают: за ними вся Россия.

За ними — никого. Так, по три человека... И уж, конечно, не Россия.

Но это все отцы... Все главари, руководители... Все тени прошлого... Ни Запад, ни Россия; так — серединочка... Они уж доживают и не родятся вновь...

Их много здесь. Но это ведь не все. А молодежь? А эмиграция? Масса? Дети?

«Так неужели же...» — подумал я...

Нет. Слава Богу, нет... Совсем не то...

Здесь в душах кузница... Не слышно, неприметно здесь жертвенно куют любовь.

Здесь фабрики, заводы, труд... Здесь тягости и бедность. Нищета... Но здесь и главное — наш дух... Здесь Русь, и Русь действительно святая... Здесь просто. Здесь тебе помогут, напоят и накормят и 10 франков в долг дадут.

Нет, нужно осознать, что мы одни. Мы эмиграция рядовая, мы офицеры, мы молодежь, мы все, которые на фабриках, заводах, — мы одни. У нас нет руководителей, у нас есть братья там — в России. И через голову всех главарей им руку мы должны тянуть.

***

Теперь, родная, мне хочется сказать тебе про главное. Во что я верю, что я знаю и что мне кажется всего важней.

Была Россия.

Старая, давнишняя... Еще до нас... Там дух был все... Во всем... Везде... В царях, в церквах... В монастырях и странниках... В страданиях, в земле... Все было дух.

Там не было основы твердой, незыблемой идеи — учения Христа. Там не было и знания мудрого. Слепой верой, совестью и интуицией Россия старая жила.

Но вот ей люди знание кинули. Не мудрость Божию, а полузнание... Как зверю — кровь...

Россия приняла. Поколебалась вера... На смену ей пришли желания... Материя поравнялась с духом... Родился большевик.

Молчала мудрость древняя... Идеи не было... Молчала Церковь — и не дала основ.

Россия новая.

Я в Соловках. В руках у меня лом. Я должен выкорчевать изо льда какое-то бревно. На дворе мороз, перчаток нет... Лом холодный, тяжелый; тело ломает; работа бессмысленна...

Ко мне подходит парень... Ясные, чистые глаза, на голове чуть набок одета фуражка, на ней значок одного из высших учебных заведений...

— Друг! Дай помогу...

Я передал лом. Сильными, размашистыми, крепкими, верными ударами он быстро расколол лед, выбросил из него полено и остановился.

Сдвинул на затылок фуражку, оперся на лом и, подняв свои красивые глаза, как бы про себя не сказал, а, скорее, выдохнул:

—Хорошо...

Я не понял. Мы помолчали...

— Вы за что? По какому делу? — спросил я его, чтобы начать разговор.

Он чуть улыбнулся и ответил:

— Я христианин.

— Что-что? — от неожиданности повторил я вопрос. — Объясните...

— Вас это удивляет? И непонятно? — начал он. — Да, я христианин. Нас здесь партия. Мы прибыли с последним этапом. Все мы из высших учебных заведений и считаемся политическими. Но так как Запад на анархистов обращает меньше внимания, чем на социалистов, то нас не хотят переводить на политический режим... Мы объявили голодовку. После семи дней я сегодня первый раз вышел. Хорошо... — вздохнул он и продолжал:

— Мы не политики. Власть называет нас мирными анархистами. Мы не отказываемся. Это, пожалуй, верно. Мы не контрреволюционеры, мы скорее контрматериалисты. Мы не белые, не красные... мы синие — Христовы.

Прозвонил колокол. Работа кончилась. И мы расстались, чтобы скоро встретиться.

Вечером, после поверки, когда каторга спала, забравшись в угол нар, я сидел с ним и его приятелями в темном, вонючем, страшном соловецком бараке. Все это была молодежь... Настоящая, здоровая, сильная, крепкая духом и телом, новая, самая новая молодежь России.

— Кто мы? — говорил один из них. — Мы христиане. Мы просто христиане до конца. Мы веруем в учение Христа — в любовь. В любовь к Добру и Правде, к Истине... Ну, словом, к Богу.

Мы веруем в закон Христа. Он прост. Он детски прост, и Божески он мудр. Он говорит: зло побеждай добром. Люби людей. И это всё. И в этом всё. Здесь все теории, здесь жизнь и реальность.

Социализм начал: я ни во что не верю, я знаю: Бога нет! Повел... Ушел за нацию... Позвал трудящихся... И бросил миру: интер-нация! Класс! Всё для него! И за него борьба!

Предел. Борьба достигла апогея. Масштаб широк. Он мировой, и слово сказано. Оно высоко.

Мы выше, шире! Мы полней! Мы тоже знаем: дух — Бог! В Нем вся основа. Любовь, а не борьба! Не класс, а человечество! Вот идеал! Вот идеал Христа!

Социализм вел... Отбросил совесть и перепрыгнул нравственность. Связал людей законом помощи друг другу и в мир пошел. Он много обещал... Казалось, там тоже был порыв к добру...

Мы шли за ним... Рай впереди... Он близко... Виден...

Но вот он все сказал, все сделал... Дошел до коммунизма, большевизма... И стоп! Тупик! Социализм рушится...

В чем дело?

Его логический конец.

Как? Почему? Опомнились и начали искать... Бросались в стороны... К меньшевикам, к эсерам, к анархистам... Мы все прошли сквозь это. Но там все те же щи, да чуть пожиже...

Искали и наконец нашли. Ошибка оказалась в корне: Бога нет... Нет духа в человеке... Нет любви... Нет человека — и остался зверь.

Так правду мы нашли. Идею чистую, реальность высшую — учение Христа.

Он передохнул и продолжал:

— Мы не одни. Нас много по России. Мы держим связь. Вот, посмотрите, письма... Но это ведь не все, не главное... Так верили давно... Так верили и в первые века христианства. Так верили и духоборы, и Толстой... Но главное... В противовес учению дьявола... Теперь так верит вся страдавшая Россия. И горе в том, что верит, но этого не сознает. Что ищет, ходит около... Но вот найти, сказать и исповедовать не может.

Мы лежали на нарах... Я видел, как остро переживает свои слова этот молодой новый русский человек. Он вскочил на нары, встал на колени, подвинулся ко мне и, повысив свой шепот, продолжал:

— Я говорил... Вы поняли меня... И вот теперь мне хочется кричать. Вы все! Все русские! Ты, молодежь! Ты, эмиграция, брат! Услышьте зов, мольбу и крик души России: объединитесь под учением Христа!

В страданиях, в мучениях, по тюрьмам, ссылкам, в избе крестьянина и у станка рабочего вновь возрождается в России дух.

Растерзана, разрознена, избита. Слаба, нема, беспомощна Россия. Молчит... Ей рот зажат... Сил не хватает... Нет прежней веры... Нет нового знания мудрого. Нет слова истины — учения Христа.

Нас гонят... Тяжело... И нет... не может быть объединения... Ведь враг силен. Вот если бы толчок извне. Вот если б эмиграция объединилась и подняла бы синий флаг любви. Эх, чтобы было бы! Сила... Моральный сдвиг... Стихия, которая смела бы все и растворила бы в себе весь большевизм.

Но нет... Мечты... Там люди не страдали... — как-то сразу оборвал он себя и продолжал уже более спокойно:

— А знаете ли вы, кто близко к нам? Вам это будет непонятно. Коммунисты! Да. Коммунисты. Не шкурники — идейные. Ведь эти верят. Не знают — просто верят. А думают, что знают, но не верят. Не понимают, но все-таки стремятся к идеалу. Идут, дойдут, упрутся во всю бессмысленность учения о материи... Поймут и повернут к Христу.

Наш русский человек, он был и Стенькой Разиным, он был и Пугачевым, он был Зосимой-старцем — он вправо, влево большевик... Он сила, он стихия... Он может быть «холодным», он должен быть «горячим»... Но никогда он не был «теплым». И никогда не будет он «политик».

Россия широка... Россия ищет правды... Ее шатает в стороны... Шатает до конца... И ни «варяги» из Германии, ни платформы, ни программочки Россию не спасут. Пусть каждый скажет: я христианин. Затем: я русский. И уж потом... И уж совсем потом: я монархист, республиканец и т.д.

России нужно знание мудрое, основу твердую, идеологию... Одну идею высшую — учение: учение Христа.

Молодой кончил. Мы вышли на крыльцо барака. Лагерь еще спал... Была ранняя весна, начался рассвет. Солнышко еще не встало, но его первые холодные розовые лучи уже охватили восток, и черным, резким, как будто вырезанным силуэтом выделялась на нем вышка, а на ней часовой... Хорошо, легко, по-новому было на душе... «Вот она — новая весна, новая заря России», — понял я тогда.

И вот я здесь. Нет Соловков, не видно России... Не видно отсюда и ее зари.

ДАВИД МИРОНОВИЧ

БАЦЕР



А. Ю. Даниэль
«Я ПРОЖИЛ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ...»[1]

Об авторе «Соловецкого исхода»

Давид Миронович Бацер (далее — Д. М.) родился в 1905 г. в Белостоке, небольшом городе в Западном крае, более 80 % населения которого составляли евреи. Знаменитого белостокского погрома он помнить не мог — ему тогда не было и полутора лет, но, как он говорил, в семье часто вспоминали о событиях лета 1906 г. Семья была интеллигентной, эмансипированной и не из самых бедных: у его деда был собственный дом, его отец Мирон Григорьевич Бацер служил в местном отделении известного страхового общества «Саламандра», маленький Давид после начальной школы поступил в реальное училище.

В Белостоке Бацеры дожили до 1915 г. Первая мировая война стронула семью с места и забросила сначала в Гомель, а затем в российскую провинцию, хотя и неглубокую — в Нижний Новгород. Родители, впрочем, старательно следили за тем, чтобы перипетии эвакуации не нарушили ход учебы детей: и в Гомеле, и в Нижнем Давид с сестрой продолжают посещать школу, правда, Давид учится уже не реальном училище, а в гимназии. В 1918 г., после революции и распада Российской империи, окончательно отпадает надежда на возвращение домой, в Белосток. Бацеры перебираются в Москву.

В детстве самым близким человеком для Давида была, по-видимому, сестра Мина, годом старше своего брата. Как это часто бывает с погодками, брат и сестра были неразлучны. В семье и среди друзей их называли «Титиль и Митиль», имея в виду героев метерлинковской «Синей птицы». Так было в отрочестве, так оставалось и в юности: общие увлечения, общие политические симпатии, общая судьба политзаключенных.

...Мина Бацер умерла родами в колпашевской ссылке в 1930 г., в возрасте 26 лет. Полвека спустя Д. М. будет подписывать свои главные самиздатские публикации именами «Т. И. Тиль» и — еще более прозрачно — «Дм. Минин». Кроме самых близких людей — жены и свояченицы, понять смысл, заключенный в этих псевдонимах, было уже некому.

---

[1] Слова Д. М. Бацера, сказанные им перед смертью. См.: Новикова Л. С. Давид Миронович Бацер // Из архива Новиковых, 1889–1991. / Сост. Л. С. Новикова. М., 2006. С. 187–191. — *Здесь и далее примеч. автора.*

Повышенный интерес к политике, система нравственных и общественных ценностей, определившая политические взгляды брата и сестры Бацеров, тоже начали формироваться еще в детские годы и окончательно закрепились в сознании молодых людей, почти подростков, в первые революционные годы, когда они уже жили в Москве. В одном из своих очерков 1970-х Д. М. пишет: «Я живо помню вечера 1915—1916 гг., когда отец читал вслух пришедшие днем газеты — конечно, либеральные, помнится, "Русские ведомости" и "Речь", и у меня, в то время 12-летнего мальчика[2], вызывали интерес не только фронтовые сообщения, но и думские прения, и уже тогда были не только знакомы, но и близки имена лидеров думской "левой" фракции Чхеидзе и Керенского и примелькалось имя Распутина, были уже понятны смысл белых пятен на газетных полосах и намеки на "темные силы" и иные словечки из эзоповского жаргона газет и думских речей того времени. В этом интересе были у многих и некоторые мотивы личного характера: я, например, поступил в гимназию, когда министром просвещения был пресловутый Кассо, и на собственной еще неокрепшей шкуре испробовал, что такое "национальная политика" в области образования; в Думе обсуждался "еврейский вопрос", и главным защитником равноправия евреев был социал-демократический депутат Чхеидзе, речи его не могли не вызвать сочувствия даже у такого умеренного либерала, каким был мой отец <...> Февральскую революцию все мы встретили с восторгом. И главное, что она несла, — это свобода и на заднем плане как некий само собой разумеющийся, хотя и несколько туманный, идеал — социализм. <...> И когда после октября 1917 г. революция обернулась разгоном Учредительного собрания — предмета мечтаний нескольких революционных поколений, закрытием газет, ограничением свободы выборов, самосудами, а вскоре и массовыми арестами, бессудными казнями, то это не могло не вызвать у подростков, только недавно проникшихся идеями политической свободы и в первые месяцы революции видевших ее воочию, своего рода морального шока. <...> За эмоциями приходили размышления, и когда в сознании худо-плохо просеивались "все впечатленья бытия", отметалось все случайное и преходящее, то в нем, как на фильтре, оседали два незыблемых понятия — демократия и социализм.

К тому времени, когда начиналась работа сознания, дети уже превратились в подростков, подростки — в юношей и девушек»[3].

Дальше Д. М. рассказывает, как в 1918 г. он случайно наткнулся на Тверской на книжный магазин издательства ЦК РСДРП «Вперед», познакомился с меньшевистской литературой, какое впечатление произвела на него брошюра

[2] В своих самиздатских публикациях Д. М. иногда конспирирует по мелочам: в данном случае сознательно изменяет свой реальный возраст. В 1915 г. ему было не 12, а 10 лет.

[3] Тиль Т. И. [Д. М. Бацер]. Социал-демократическое движение молодежи 1920-х годов // Память: Ист. сб. Т. 3. М, 1978; Париж, 1980. С. 180—182.

Ю. О. Мартова против смертной казни, как весной 1919 г. он слушал выступление автора брошюры на собрании, посвященном памяти Веры Засулич[4]. Впрочем, эти первые случайные соприкосновения юного Давида с социал-демократией не были еще, конечно, сознательным выбором. Это произошло позднее, в 1921—1922 гг., когда Д. М., окончив гимназию (уже переименованную к тому времени в «единую трудовую школу»), поступил на социально-экономический факультет Пречистенского практического института, популярного в то время московского высшего учебного заведения, возникшего на базе знаменитых Пречистенских рабочих курсов. Именно к этому моменту относится его замечание: «Оглядываясь на прошлое и пытаясь его осмыслить, я все больше убеждаюсь в том, что мой выбор был в значительной мере предопределен тем, что большевистскому "марксизму" было противопоставлено иное, гораздо более отвечавшее моему настроению его понимание»[5].

Насколько можно понять, Д. М. последовал за старшей сестрой — та с 1921 г. принимала участие в нелегальной работе молодежного кружка при так называемой Московской группе социал-демократов[6]. Строго говоря, это не была партийная организация: в то время руководство РСДРП — и Заграничная делегация, и большинство членов Бюро ЦК по России — еще искало пути лояльного сотрудничества с большевистской диктатурой в рамках «советской работы» и не желало расставаться с иллюзией легального существования, Московская же группа оппонировала этой линии с «правых» позиций. В еще большей степени это касалось молодежи, в силу возраста склонной к радикальности, что в контексте тогдашнего меньшевизма означало ориентацию на непримиримое противостояние диктатуре и на подпольную работу, т. е. на «правый» меньшевизм.

Идеи Мартова и «эсдеков-интернационалистов» были в этой среде непопулярны. Три волны репрессий, обрушившиеся на меньшевистские организации в августе 1920 г., в феврале 1921-го и в январе 1922-го, также способствовали радикализации молодежи. На личный выбор студента Пречистенского института наверняка повлияло также общение с некоторыми из его преподавателей, до революции приобретших известность в качестве социал-демократических теоретиков и публицистов, в особенности с А. Н. Потресовым, одним из лидеров дореволюционного меньшевизма, ушедшим из партии в 1918 г., после того, как в ее руководстве возобладала линия Мартова и «интернационалистов»[7].

---

[4] См.: Там же. С. 183—185.

[5] Там же. С. 186.

[6] Мина Бацер, студентка Московской консерватории, была арестована спустя год после Давида, в мае 1924 г. Суздальский, Челябинский, Верхнеуральский политизоляторы (в Верхнеуральске она, по-видимому, в последний раз встретилась с братом), затем ссылка, сначала в Нарофоминск, затем в Западную Сибирь, в Колпашево, где она и умерла.

[7] Мейеров Я. [Д. М. Бацер]. Из воспоминаний юности: Пречистенские рабочие курсы — Пречистенский практический институт. А. Н. Потресов // Память: Ист. сб. Т. 3. М., 1978; Париж, 1980. С. 120—142.

Впервые в поле зрения ГПУ Д. М. попал в 1922 г.: его арестовали, но вскоре выпустили. Такие аресты, скорее, превентивные, чем связанные с конкретной оппозиционной деятельностью, были тогда не редкостью. Судьбу Д. М., как оказалось, на многие десятилетия вперед — определил не этот арест, а следующий. 28 августа 1923 г. при обыске у Д. М. нашли некую написанную им рукопись «антисоветского содержания», озаглавленную «Вниманию гражданина Мартынова». Мы не знаем, что это была за рукопись, но по заголовку можно предположить, что речь шла о газетной заметке, предназначенной для одного из подпольных социал-демократических листков, издававшихся в Москве. Однако арестован он был не столько как публицист, сколько как участник молодежного меньшевистского кружка: ему была предъявлена ст. 62 УК РСФСР («участие в контрреволюционной организации, действующей в явный ущерб пролетарской диктатуре»). 28 сентября Комиссия НКВД СССР по административным высылкам постановила сослать его в Нарымский край. Впрочем, уже 12 октября постановление было смягчено, и Д. М. отправился по этапу не в Нарымский край, а в менее отдаленную Архангельскую губернию. Вероятно, этому предшествовали хлопоты Е.П. Пешковой. Во всяком случае, в публикациях Д. М. 1970-х обнаруживается близкое его знакомство с деятельностью возглавляемой ею организации «Помощь политическим заключенным» («Помполит»), относящейся именно к этому периоду — началу 1920-х гг.[8]

В Архангельске Д. М. получает предписание отправиться на Печору, в Усть-Цильму, но не торопится выполнять его, ссылаясь на окончание речной навигации. За это он 30 апреля 1924 г. взят под стражу и выслан в Усть-Цильму по этапу. Пустяковый эпизод, но этот пустяк сыграл значительную роль в судьбе Д. М.: при задержании у него была изъята очередная «рукопись антисоветского содержания», посвященная празднованию Первого мая. Судя по дате изъятия — 30 апреля, похоже, что архангельская социалистическая ссылка готовилась отметить пролетарский праздник на свой манер — листовками.

Новое следствие — новый приговор: 1 августа решением Особого совещания при Коллегии ОГПУ Д. М. приговорен (все по той же ст. 62 УК[9], к которой на этот раз добавилась ст. 72 — «Изготовление, хранение и распространение агитационной литературы контрреволюционного характера») к двум годам концлагеря, арестован в Усть-Цильме и 26 сентября 1924 г. привезен на Соловки.

---

[8] См., напр.: Дм. Минин [Д. М. Бацер]. Еще о политическом Красном Кресте // Там же. С. 523–538.

[9] В обзорной справке Калининского ККГБ по делу Д. М. Бацера 1924 г., составленной в 1958 г., указана другая статья УК — 61-я («участие в организации, действующей в направлении помощи международной буржуазии»). Скорее всего, это просто опечатка, хотя не исключено, что и нет: праздник солидарности трудящихся — международный, стало быть, и омрачение этого праздника меньшевистскими ересями можно трактовать как помощь международной буржуазии.

Несколько месяцев пребывания на Соловках вместе и на равных с видными деятелями меньшевизма, известными эсерами и анархистами, подпольщиками с большим дореволюционным стажем Д. М., безусловно, считал одним из самых ярких эпизодов своей долгой жизни. К Соловкам, к своим товарищам по Анзерскому политскиту он постоянно возвращается в своих поздних публикациях. К моменту «Соловецкого исхода» (17 июня 1925 г.), которому посвящен воспроизведенный в данном сборнике мемуарный фрагмент, он в свои 20 лет был уже закаленным бойцом.

Дальнейшая биография Давида Мироновича Бацера представляет собой живую иллюстрацию к известной метафоре А. И. Солженицына, использованной им в «Архипелаге ГУЛАГ»: Большой Пасьянс социалистов. В Верхнеуральском политизоляторе Д. М. пробыл до конца концлагерного срока. 31 июля 1926 г., накануне освобождения, ОСО при Коллегии ОГПУ выносит постановление о высылке Д. М. в Среднюю Азию, в Ашхабад, сроком на три года[10].

В Средней Азии Д. М. был тем, что в дореволюционные годы обозначали словами «земский статистик», т. е. экономист, краевед, историк и этнограф в одном лице. Поначалу работал в ЦСУ Туркмении, затем перешел на научную и литературную работу в журнал «Туркменоведение», орган Института туркменской культуры. Написал и издал книгу «Очерки экономической истории Туркмении»[11] и в соавторстве с Г. И. Карповым[12] основательную научную брошюру, посвященную одному из самых экзотических и кровавых эпизодов в истории Гражданской войны в Туркмении и Узбекистане — диктатуре Джунаид-хана в Хиве в 1918–1920 гг.[13]

С Ашхабадом связан еще один ключевой эпизод жизни Д. М. В городе существовала большая колония ссыльных — эсеров, меньшевиков, анархистов, социалистов-сионистов и пр. Летом 1927 г. к одному из них, эсеру Константину Новикову, приехала в гости сестра Елена; спустя полтора года Елена Новикова и Давид Бацер поженились. Они прожили вместе (если можно так сказать о жизни, первые 25 лет которой то и дело прерывались арестами, ссылками и лагерями) 58 лет; Елена Андреевна не намного пережила мужа, но успела оставить записки о их знакомстве и начале совместной жизни[14].

19 июля 1929 г., незадолго до истечения срока ссылки вышло новое постановление ОСО: ограничение выбора места жительства (так называемый

[10] До конца жизни он произносил название этого города на старый манер — «Асхабад».

[11] Установить выходные данные этой книги не удалось.

[12] Можно только догадываться, как и каким образом складывалось научное и литературное сотрудничество между могущественным секретарем ЦИК республики, директором института Г.И. Карповым и молоденьким ссыльным меньшевиком.

[13] См.: Карпов Г. И., Бацер Д. М. Хивинские туркмены и конец Кунградской династии. Ашхабад, 1930.

[14] См.: Новикова Е. А. О Давиде // Из архива Новиковых. С. 193–206.

«минус 10») с закреплением на определенном месте жительства сроком опять на три года. Та же ссылка, только с возможностью выбора места. Д. М. выбрал Ташкент: там тоже была большая колония ссыльных социалистов (в том числе лидеры левых эсеров М. А. Спиридонова, И. А. Майоров, А. А. Измайлович, И. К. Каховская. С последней Д. М. поддерживал дружеские отношения вплоть до ее смерти в 1960 г., там жил теперь и брат жены Константин.

В Ташкенте Д. М. работает в Институте экономики Средней Азии научным сотрудником. Но научной карьеры сделать не успевает: 16 июня 1930 г. его вновь арестовывают за участие в «нелегальной антисоветской организации, ставившей своей целью оказание материальной помощи ссыльным меньшевикам, т. е. попросту за участие в неофициальной кассе взаимопомощи политсыльных; вторым обвинением было участие в «нелегальных собраниях» ссыльных, на которых обсуждались текущие политические вопросы. На самом деле это явилось ударом ОГПУ по ташкентской политической ссылке в целом: сначала арестовали эсдеков, затем — правых эсеров (в том числе К.А. Новикова), за ними — левых; всего по делу о «кассе взаимопомощи» проходило 22 человека.

8 сентября Д. М. был приговорен ОСО к заключению сроком на три года и отправлен сначала в Верхнеуральский, а потом в Суздальский политизолятор. В Суздале уже в 1931 г. его застало новое Постановление ОСО, смягчившее прежний приговор: три года лишения свободы заменялись тремя годами высылки — снова в Среднюю Азию. Новое место ссылки — городок Джизак на юге Голодной степи, в 180 км от Ташкента. Там тоже были ссыльные, но, видимо, всего несколько человек. В Джизаке Д. М. работал в системе потребкооперации, по всей вероятности, бухгалтером.

Наконец, летом 1934 г. его освобождают «вчистую» и позволяют вернуться в Москву, где в коммуналке на Патриарших прудах живет его семья — мать, отец, жена. Д. М. устраивается на работу бухгалтером в промкомбинате.

Но это еще не конец, а лишь небольшая пауза в раскладке Большого Пасьянса социалистов. Для начала в октябре 1935 г. Д. М. высылают из Москвы; при этом, правда, не препятствуют устроиться сравнительно недалеко, в Калинине, где он и проработал бухгалтером в городской филармонии вплоть до начала войны. Большой террор каким-то чудом миновал Д. М., но для семьи это все равно трудное время. В мясорубке 1937 г. погибло несколько родственников Елены Андреевны, в том числе и брат Константин, сгинули без следа множество друзей и бывших однопартийцев Давида Мироновича. В 1939 г. умирает Мирон Григорьевич Бацер. И самое, наверное, тяжелое испытание: единственный сын Бацеров Борис, родившийся в 1935 г., оказывается тяжелобольным психически, и родители вынуждены отдать его в интернат.

С началом войны, как известно, Большой Пасьянс был возобновлен: соответственно 24 июня 1941 г. Д. М. вновь арестован НКВД. Формальное обвинение сводится к «антисоветским разговорам» семи-, восьмилетней давности между ссыльными в Джизаке; фактически же следователю достаточно было установить факт прошлых репрессий за политическую активность меньшевистского толка. Двухнедельное следствие, шесть допросов — и 7 июля уже готово обвинительное заключение. Даже возмутительная дерзость подследственного, заявляющего, что он и по сей день не согласен с отдельными аспектами политики партии и Советского правительства — например, с ролью, которая отводится репрессиям во внутренней политике, — и что, по его мнению, в 1937—1938 гг. органы НКВД «вышли из-под контроля», не привлекает внимания следователя. Однако решение ОСО при НКВД СССР состоялось лишь 22 сентября; Д. М. был приговорен по ст. 58-10 к пяти годам лагеря. Срок он отбывал в Ивдельлаге на Урале.

Освободившись в 1945 г., Д. М. вернулся в Калининскую область. В областном городе прописываться не стал (или, может быть, ему не дали), устроился в райцентре Киверичи, в 100 км от Калинина, работал старшим бухгалтером в Медведицком леспромхозе. Но от Указа Президиума Верховного Совета от 21.02.1948 г. «О направлении особо опасных государственных преступников по отбытии наказания в ссылку на поселение в отдаленные местности СССР» никакая глушь не спасение. 4 декабря 1948 г. Д. М. вновь арестован. Следствие опять уложилось в две недели и всего в один допрос; обвинительное заключение состояло из дословного повторения формулировок 1941 г., и статья та же — 58-10. Постановлением ОСО МГБ от 20.01.1949 г. Д. М. был отправлен на вечное поселение в Красноярский край, на Ангару, в село Мотыгино.

На вечном поселении он оставался пять с половиной лет — до августа 1954 г., когда к нему с опозданием на год или больше был применен Указ об амнистии от 27 марта 1953 г. (так называемая «бериевская амнистия»).

Д. М. возвращается в Москву, устраивается на работу главбухом в трест «Арарат», в 1958 г. добивается реабилитации по двум последним делам — 1941 и 1948 гг. Внештатно работает библиографом, описывая вместе с женой (ставшей профессиональным библиографом еще в 1920-х) книжные собрания Толстого в Ясной Поляне, библиотеку Н. П. Смирнова-Сокольского и т. д.; публикует статьи в журналах «Советская библиография» и «Библиотекарь»; в частности, с увлечением занимается библиографической работой в области музыкальной литературы, что закономерно: и он, и Елена Андреевна были людьми высокой музыкальной культуры. Быть может, главная библиографическая работа Д. М., которой он отдал последние

годы жизни, — это двухтомник, посвященный русской народной музыке, составленный им в соавторстве с музыковедом-фольклористом Б. И. Рабиновичем[15].

* * *

Автор данного очерка познакомился с Д. М. во второй половине 1976 г. Один из моих друзей, Арсений Рогинский, собирал в то время материалы для Биографического словаря социал-демократов (меньшевиков) после 1917 г. О доступе к архивным источникам, разумеется, и речи быть не могло, равно как и о том, чтобы опубликовать результаты работы в советском издательстве. Словарь делался для себя, точнее, для самиздата и, возможно, последующего зарубежного издания. Сбор материалов был тесно связан с нашим участием в подготовке исторических сборников «Память», распространявшихся в машинописи в довольно узком кругу и, как мы надеялись, имевших шанс на типографское переиздание за рубежом (первый том уже был переправлен за границу). Что касается словаря, то Рогинский собирал материалы для него единственным доступным способом: опросами оставшихся в живых ветеранов послеоктябрьского меньшевизма. В ходе опросов выявлялись новые имена потенциальных респондентов, которые, в свою очередь, подробно опрашивались, что позволяло расширять и корректировать общий список.

Имя и адрес Д. М. были получены именно таким образом. На него Арсения вывела Вера Владимировна Рыбакова, участница упомянутого выше молодежного кружка при Московской группе социал-демократов, подруга Мины Бацер, арестованная вместе с ней в мае 1924 г.

Рогинский навестил Бацеров в подмосковном дачном поселке Мичуринец, где те снимали на лето какой-то сарайчик. Был встречен вежливо, но сдержанно, на вопросы о прошлом Д. М. отвечал предельно сжато и неохотно. Раздосадованный, гость перевел разговор на светские рельсы: мол, здесь, в Мичуринце, снимает дачу его знакомый филолог. «Вот и хорошо, — обрадовался Д. М., — я его тоже знаю. Давайте его навестим». Арсений, недоумевая, согласился, и они отправились на другой конец поселка, на дачу общего знакомого. После этого визита отношение Д. М. к своему гостю резко переменилось, стало гораздо более дружелюбным и открытым. Вскоре они быстро и близко сошлись. Лишь позже Рогинский догадался, что в первый раз старый конспиратор Д. М. просто проверял его — тот ли он, за кого себя выдает.

В следующий раз мы навестили Д. М. уже вдвоем в Москве. Бацеры занимали все те же две маленькие комнатки на Патриарших, в которых жили по крайней мере с 30-х гг. Жили втроем: Давид Миронович, Елена Андреевна и ее сестра, Вера Андреевна. На этот раз Д. М. был предупрежден Рогинским о визите еще

[15] См.: Русская народная музыка: Нотогр. указ. (1776–1973): [В 2-х ч.] / Д. Бацер, Б. Рабинович. М., 1985.

одного молодого человека и был любезен и гостеприимен. Меня поразило двойное портретное сходство хозяина с Борисом Пастернаком (с которым Бацеры, кстати, были неплохо знакомы) и одновременно с Маяковским, точнее, с заметно уменьшенной и состаренной его копией. Произвели впечатление и книжно-журнальные завалы повсюду — на столах, под столами, на диванах и подоконниках, не говоря уже о шкафах и стеллажах, занимавших более половины жилого пространства.

Впоследствии Д. М. познакомился и с другими участниками выпуска сборников «Память» — Александром Добкиным, Сергеем Дедюлиным, Алексеем Коротаевым. С последним у него возникла какая-то особенно тесная взаимная симпатия и близость; Алексей стал бывать у Бацеров чуть ли не каждую неделю.

Идея независимого бесцензурного исторического сборника сильно увлекла Д. М. Он с огромным интересом прочитал первый том «Памяти» и сделал ряд содержательных замечаний. А в последующих томах он уже принял самое деятельное участие. Во втором томе он выступает как публикатор одного из центральных материалов сборника[16] и автор двух небольших заметок[17]. В третьем, помимо уже отмеченных мною выше трех публикаций: «Из воспоминаний юности: Пречистенские рабочие курсы — Пречистенский практический институт; А. Н. Потресов», «Социал-демократическое движение молодежи 1920-х годов» и «Еще о Политическом Красном Кресте», — он совершенно определенно является автором одной мемуарной миниатюры[18] и предположительно (за давностью лет мы не рискуем утверждать это категорически) еще двух публикаций[19]. Последняя, если она действительно принадлежит перу Д. М., не случайна: он интересовался современным самиздатом, а с автором «Моих показаний» познакомился (сначала через нас с Л. И. Богораз, также принимавшей участие в «Памяти», а затем и с А. Т. Марченко, ее мужем) и очень подружился. Было в них — «вечных зэках» разных исторических эпох — что-то очень общее, какие-то необычайные порядочность и твердость, то ли врожденные, то ли благоприобретенные в лагерях, тюрьмах и ссылках...

---

[16] Короленко В. Г. Из дневников 1917–1921 гг. / Публикация Т. Тиля [Д. М. Бацера]; Коммент. Т. Тиля и В. Рыжова [А. Б. Рогинского] // Память. Ист. сб. С. 374–421.

[17] См.: Несколько штрихов к портрету Б. Л. Пастернака: Сообщ. У. Д-да [Д. М. Бацера] // Там же. С. 442–447 фрагмент воспоминаний, посвященных переписке между Б. Л. Пастернаком и солагерницей Д. М., журналисткой и поэтессой Аллой Лебединской, заключенной Ивдельлага); Светлой памяти одного чекиста: Из воспоминаний Дм. Т-ского [Д. М. Бацера] // Там же. С. 525–533 (история сокамерника Д. М. по Бутырской тюрьме 1923 г., уполномоченного Архангельского ГПУ Андрея Новикова; тот в знак протеста против политических репрессий ушел из ГПУ, вышел из ВКП(б) и опубликовал в «Социалистическом вестнике» открытое письмо, в котором разъяснял смысл и мотивы своего поступка; был арестован и в начале 1924 г. расстрелян в Архангельске).

[18] См.: Дм. Т-ский. Случай с Катаняном // Память. Ист. сб. С. 416–417 (рассказ о встрече в 1923 г. в политической камере Таганской тюрьмы прокурора по надзору за органами ГПУ Р. П. Катаняна, пришедшего туда с инспекцией, и заключенного эсера А. Д. Высоцкого, до революции сидевших вместе в Бутырках).

[19] См.: В. Н. Фигнер и Общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев: Сообщ. И. Гарелина [Д. М. Бацера(?)] // Там же. С. 393–402; З. З. [Д. М. Бацер (?)]. Достоверное свидетельство // Там же. С. 474–475 (отзыв на книгу А. Т. Марченко «Мои показания»).

Д. М. принимал участие в «Памяти» не только как автор и публикатор. Он интересовался материалами других авторов, давал дельные советы по их подготовке и комментированию. Книжная и общекультурная образованность этого недоучившегося студента была необычайно высока.

Значительным был вклад Д. М. в работу по сбору биографических материалов о судьбах социалистов и анархистов после октября 1917 г. Этому способствовала та особая, неформальная роль, которую он с конца 1950-х гг. играл в «сообществе уцелевших» — бывших заключенных Пертоминского лагеря, соловецких политскитов, Верхнеуральского, Суздальского и Ярославского политизоляторов, ветеранов политссылки, а также среди родственников погибших. К середине 1970-х «уцелевшие» были разбросаны по разным городам Союза, но поддерживали между собой связь, чаще всего эпизодическую, но иногда довольно систематическую. Д. М. был в этом сообществе одним из самых молодых и, возможно, благодаря этому стал одним из наиболее энергичных «хранителей памяти». Вот навскидку далеко не полный перечень имен тех, с кем он на нашей памяти поддерживал регулярную связь (помимо уже упоминавшейся В. В. Рыбаковой): эсдеки — А. К. Абисов и Р. З. Витухновская; анархистки — сестры А. М. и Т. М. Гарасевы, З. Б. Гандлевская; эсерка Е. Л. Олицкая; левая эсерка Б. А. Бабина; Л. С. и В. С. Кранихфельды — сестры погибшего в 1938 г. эсдека А. С. Кранихфельда; Н. Б. Богданова — дочь эсдека Б. О. Богданова, старосты Савватьевского политскита; Г. И. Затмилова — комсомолка, примкнувшая в конце 1920-х гг. к ссыльным эсерам и разделившая их судьбу. Ленинград, Москва, Красноярск, Алтай... Д. М. собирал и хранил старые письма и фотографии своих товарищей, групповые фотопортреты ссыльных; в фотоальбоме на сайте Мемориала «Российские социалисты и анархисты после октября 1917 г.» есть отдельный раздел — «Из коллекции Д. М. Бацера»[20].

Он никогда не произносил это вслух, но, вероятно, им двигало что-то, что уместно было бы назвать долгом памяти. И перспективе сотрудничества с нашим историческим сборником он откровенно обрадовался. Д. М., со своим жизненным опытом понимал, разумеется, что сотрудничество с неподцензурным изданием — дело рискованное, но это свое понимание тоже никогда не демонстрировал. К счастью, репрессии против участников издания (А. Б. Рогинский был в 1985 г. арестован и приговорен к четырем годам лагерей, другие подвергались обыскам и допросам) его никак не затронули.

Самой важной работой Д. М. из числа опубликованных им в «Памяти» была, конечно, статья «Социал-демократическое движение молодежи 1920-х». Это не просто исторический очерк — в него вошли в качестве приложения материалы упомянутого выше Биографического словаря социал-демократов, собранные Рогинским вместе с

[20] См.: http://socialist.memo.ru/photoalbum/gal3/gallery.html

Добкиным и откорректированные памятью Д. М. Надо сказать, что Д. М. был чрезвычайно ответственным мемуаристом: если он не был на сто процентов уверен в каком-либо вспомнившемся ему эпизоде, то никакими силами невозможно было заставить его включить этот эпизод в текст, даже если он выглядел очень правдоподобно и ни у кого не вызывал сомнений. Еще одна важная составляющая этой работы — резкая полемика автора с Солженицыным в его оценке соловецких «политиков» (т. е. обитателей политскитов 1923–1925 гг. — социалистов и анархистов) и их борьбы за политрежим. Д. М. категорически и резко отвергает обвинения в высокомерии, элитарности, душевной черствости и эгоизме, высказанные автором «Архипелага ГУЛАГ» в адрес «политиков». И независимо от того, прав ли Д. М. в своем споре с Солженицыным (на мой взгляд, в основном прав), но в этом споре есть доля истины, нельзя не восхищаться рыцарственностью Д. М., безоглядно выступившего в защиту чести своих товарищей, в подавляющем большинстве погибших за полвека до того.

Очерк «Соловецкий исход», публикуемый в настоящем сборнике, был написан также для «Памяти»; автор этих строк помнит, как читал и обсуждал с Д. М. на Патриарших отдельные куски данного текста. Но после ареста А. Рогинского «Память» перестала выходить; ее преемником стал журнал «Минувшее», который начал выпускать в Париже В. Аллой, зарубежный издатель «Памяти». Правда, не вполне понятно, почему «Соловецкий исход» не попал туда же, куда попали все материалы из портфеля «Памяти», в первый выпуск «Минувшего». Возможно, работа Д. М. над ним затянулась, а может быть, он рассматривал текст как неоконченный, намереваясь продолжить мемуары дальше. Так или иначе, но в 1989 г., спустя два года после смерти Д. М., рукопись находилась у А. Добкина, который и предложил напечатать ее в мемориальском альманахе «Звенья». В 1991 г. это важнейшее мемуарное свидетельство, посвященное одному из поворотных пунктов истории Соловецкого лагеря, было наконец опубликовано[21].

Первые знаковые события эпохи перестройки начали происходить еще при жизни Д. М., и он со свойственным ему политическим чутьем раньше многих сумел разглядеть в них начало новой эры — противоречивой, как сами эти события. Арсений Рогинский вспоминает, что именно от него впервые услышал оценку чернобыльской катастрофы как «начала конца» режима. А осенью 1986, вернувшись с просмотра еще не вышедшего на широкий экран фильма Т. Абуладзе «Покаяние», он, вообще-то совершенно не склонный к пафосу, произнес примерно следующее: «Все-таки дожил. Теперь можно и умереть».

Д. М. умер ранним утром 1 января 1987 г., в первые часы Нового года. По свидетельству племянницы, Людмилы Новиковой[22], не отходившей от него в по-

[21] См.: Бацер Д. М. Соловецкий исход // Звенья: Ист. альманах. М., 1991. Вып. 1. С.288–298.
[22] См.: Новикова Л. С. Указ. соч. С. 187–191.

следние недели жизни, он, никогда на ее памяти не плакавший, в декабре 1986 г. заплакал дважды: в первый раз — когда ему сообщили о смерти в Чистопольской тюрьме Анатолия Марченко, во второй — от радости — когда узнал об освобождении А. Д. Сахарова (с которым он не был знаком) из горьковской ссылки.

***

...А лет за семь-восемь до этого в ходе длинного и совсем не делового разговора с Д. М. «про жизнь» я осмелился задать ему вопрос, чудовищную бестактность которого можно извинить разве что моей тогдашней молодостью, а также острым ощущением взаимной душевной близости с собеседником, за которую многое прощается:

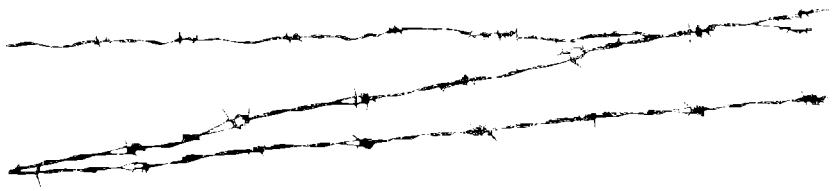
— Скажите, Давид Миронович, вот вы лучшую часть жизни — с 17 лет и до 50 — промыкались по тюрьмам, лагерям да ссылкам. Ваши товарищи почти все погибли. Наверное, это можно было бы легче перенести, если бы дело, ради которого вы терпели все эти беды, — дело демократического социализма, — восторжествовало. Но оно провалилось, и почти очевидно, что вряд ли в обозримом будущем идея демократического социализма восторжествует в России. Не кажется ли вам, что жизнь прошла напрасно?

Честно говоря, я думал, что Д. М. ответит рассуждениями из области метафизики и морали, привычных интеллигенту 1960—1970-х гг. Но тот, не поведя бровью, спокойно и без всякой обиды отпарировал:

— А кто вам сказал, что наше дело провалилось? Оно победило — в Европе, в Америке, во всех передовых странах, кроме России. Социалистические ценности, социалистические принципы государственной, общественной, экономической жизни вошли в плоть и кровь современной демократии, стали ее неотъемлемой частью независимо от того, какая партия находится у власти — социалисты или консерваторы. И трагический опыт российской социал-демократии сыграл здесь решающую роль: он продемонстрировал европейским социалистам, по какому пути ни в коем случае нельзя идти, от каких ценностей нельзя ни при каких обстоятельствах отказываться, перед чем нельзя капитулировать, с чем смертельно опасно идти на компромисс. Это мы, русские социалисты, их научили — да, ценой собственных жизней, собственных поломанных судеб, но разве результат — торжество наших идей в мире — не стоит того?

Ответ потряс: он был дан абсолютно в иной плоскости, нежели я ожидал. И это было удивительно — увидеть, почувствовать иной, давным-давно ушедший из нашей жизни менталитет — мироощущение настоящего политического мыслителя, интеллигентного, честного и умного.

Соловецкий исход[1]



1. Мы уезжаем

Конец июня 1925 года. День выдался для северных широт на редкость хороший — безоблачный и тихий. В политических скитах он начался как всегда. После завтрака дежурные на кухне начали готовиться к приготовлению обеда; любители утреннего моциона прогуливались по двору; большинство засело за книги и тетради. Никто и не заметил, как часов около 11-ти — 12-ти староста, в сопровождении караульного, вышел за ворота скита. Тем большим было общее удивление, когда раздался сигнал — удары в самодельный гонг — созывавший всех обитателей скита в здание бывшей церкви. Это было самое обширное помещение в скиту, носившее название «культ» — то ли в качестве напоминания о его прежнем назначении, то ли потому, что в нем проводились общескитские «культурные мероприятия»: чтение лекций и докладов, празднование 1-го мая и годовщины февральской революции, встречи Нового года и т.п. Когда все собрались, староста сообщил, что его вызвали к начальнику команды и тот передал ему распоряжение Управления: всему скиту через три часа быть готовым к отбытию из лагеря.

Куда? На этот вопрос староста ответа не получил, но ему сказали, что другие скиты якобы уже отправились в путь.

Ликвидировать в течение трех часов хозяйство, существующее около двух с половиной лет, было не так просто. Тут же было решено всю принадлежащую коллективу хозяйственную утварь оставить будущим хозяевам скита; имевшиеся запасы продуктов, кроме таких нетранспортабельных, как картофель, капуста, взять

[1] Публикуется без сокращений по: Бацер Д. М. Соловецкий исход / Публ. А. Ю. Даниэля // Звенья: Ист. альм. М., 1991. Вып. 1 С. 288–298.

с собой; библиотеку (более 1,5 тысячи книг) не разрознивать, хотя она состояла из книг, как принадлежавших лично заключенным, так и присланных Политическим Красным Крестом для всего коллектива. Собрание длилось недолго, не больше двадцати минут. Через три часа были поданы подводы, на которые погрузили весь скарб; нас вывели за ворота, где уже ожидал конвой, и мы двинулись в путь[2].

На рейде Анзера стоял хорошо известный всем нам «Глеб Бокий» — пароход УСЛОНа. На нем уже находились товарищи из двух других политскитов — Савватия и Муксолмы. На борт нас перевезли на корабле, в несколько приемов. Когда все были приняты на борт, пароход взял курс на материк.

На станции железной дороги в Кеми стоял состав, какого нам, да, наверное, и никому другому, ни раньше, ни позже видеть не приходилось: шесть, помнится, арестантских вагонов, один или два двухосных товарных, также один или два обычных пассажирских, а посередине блистающий зеркальными окнами роскошный салон-вагон. Его занимали Андреева, тогда зам. начальника секретно-политического отдела (СПО) ОГПУ, в ведении которой находились все политические заключенные и ссыльные; начальник Тюремного управления ОГПУ Вейс (или Вейсс) и Дукес, ранее начальник Внутренней тюрьмы ОГПУ (Лубянка, 2), а к тому времени, как говорили, заместитель начальника Тюремного управления.

Посадка прошла без суеты, понуканий и окриков. Помнится, что обошлось даже без обычной процедуры приемки этапа по документам — при посадке в вагоны пересчитали количество «голов», и дело с концом. Вагоны оказались не «столыпинскими», а простыми арестантскими, вроде изображенного на известной картине Ярошенко «Всюду жизнь»: дореволюционные вагоны 4-го класса с обычными, по обе стороны, но зарешеченными окнами. Их можно было открывать, и доступ к ним был свободен. Особенность вагонов 4-го класса — в том, что в них не два, а три яруса полок. На каждом ярусе у одной полки была откидная доска, превращавшая полки в сплошные трехметровые нары.

В пассажирских вагонах, по-видимому, ехал тюремный надзор и свободные от смены пассажиры; в багажных — казенное имущество.

Спешные сборы, впечатления от путешествия из скитов на пристань и затем — на пароходе по морю, а главное, от встречи с друзьями, с которыми не виделись кто по два, а кто и по три года, и ранее незнакомыми товарищами — все это не оставляло времени для того, чтобы задуматься над тем, что, собственно, происходит, что сулит нам будущее.

Мы разместились, осмотрелись и, наконец, тронулись в путь.

---

[2] В июне 1925 г. автор находился в Свято-Троицком скиту на о. Анзер. — *Примеч. А. Ю. Даниэля.*

2. Предыстория

Расстрел заключенных в Савватиеве 19 декабря 1923 г. получил широкую огласку: даже в центральных советских газетах были помещены краткие заметки. В высших сферах расстрел, по-видимому, вызвал некоторое смущение: даже в самые острые послеоктябрьские дни в тюрьмах таких заранее подготовленных эксцессов не было. Шингарева и Кокошкина убили не охрана, а ворвавшиеся в больницу «безответственные элементы». Здесь хладнокровно стреляли в людей, повинных всего лишь в нарушении лагерных «правил внутреннего распорядка» — случай беспрецедентный. Позднее из весьма осведомленного источника нам стало известно, что Д. Б. Рязанов на заседании ЦК РСДРП кричал, что «опозорены его седины». Так, если не говорили, то думали многие коммунисты.

Еще больший резонанс имел соловецкий расстрел на Западе, особенно с лета 1924 г., когда с началом навигации появилась возможность информировать о событиях внешний мир. Слово «Соловки», не сходило со страниц зарубежных газет. Социалистический Интернационал требовал расследования с участием представителей международного рабочего движения. Британский Конгресс тред-юнионов, ведший тогда переговоры с ВЦСПС, настаивал на предоставлении членам его руководства возможности посетить Соловки. Сначала английской профсоюзной делегации ответили чем-то вроде полусогласия, но затем их требование было отклонено под тем предлогом, что инцидент то ли расследуется, то ли уже расследован компетентными советскими органами, и ответственность за него несут заключенные, не подчинившиеся законным требованиям администрации, которая, впрочем, также действовала самовольно и поспешно.

В это же, примерно, время в ОГПУ было подано от имени всех соловецких политзаключенных требование о переводе их на континент. Требование мотивировалось тем, что в течение более полугода Соловки почти полностью отрезаны от внешнего мира, и все это время заключенные остаются во власти безответственной администрации, действия которой, за отсутствием какой-либо связи с континентом, нельзя своевременно обжаловать. Сколько я помню, заявление было сдержанным по форме, но решительным и почти ультимативным.

На исходе лета в Соловки приехал П. А. Красиков (в то время прокурор Верховного Суда), чтобы провести, в порядке прокурорского надзора, обследование Соловецких лагерей. Главной целью Красикова было посещение политскитов. Сколько я помню, он побывал только в Савватьевском скиту (а может быть, в Муксолмском); вел длительные переговоры со старостатом, главным образом с Б. О. Богдановым, представлявшим все фракции всех трех скитов. К слову

сказать, они достаточно хорошо знали друг друга по Петрограду 1917 г. и, надо думать, едва ли испытывали взаимную симпатию.

В бытность Красикова на Соловках во всех скитах была объявлена голодовка в поддержку требования о переводе на материк. Она была тщательно подготовлена и, несмотря на разобщенность скитов, прошла организованно и дружно; начали и кончили ее во всех скитах в один и тот же день. Продолжалась она, кажется, две недели.

Красиков заверил старост, что вопрос о переводе политзаключенных на материк рассматривается и будет, по его мнению, разрешен положительно.

Первым результатом экскурсии Красикова на Соловки была обширная статья, помещенная им в «Известиях»[3], где подробно описывалось привольное, чуть ли не райское житье соловецких политзаключенных. Статья была хорошо документирована, в ней обильно цитировались письма заключенных, адресованные, впрочем, не Красикову и не редакции газеты, а родным. И все цитаты были как на подбор: в них расхваливались условия жизни, хорошее питание, красоты природы, писалось об успешности занятий науками. В этих письмах цинга даже не упоминалась; судя по ним, никто никогда не болел, все были бодры и полны оптимизма.

Статья поставила заключенных перед тягостной дилеммой: писать все как есть — это значит вызывать тревогу и излишние волнения близких; писать, как это всегда делалось, успокоительные письма — давать Красиковым возможность подкреплять свою ложь свидетельствами самих заключенных. Удовлетворительно решить задачу так никому и не удалось...

Прошла осень 1924 г. и стало ясно, что зимовать придется на Соловках. Когда открылась навигация 1925 г., старостат напомнил о своем заявлении. И вот в конце июня нас вывезли на материк. Требование, предъявленное в прошлом году, удовлетворено. Формально это победа. И тут же невольно вставал вопрос — не пиррова ли это победа, не везут ли нас на еще худшее, чем Соловки.

3. Зеленая улица

Наталкивали на этот вопрос не особая суровость конвоя и «дорожного пайка», и даже не салон-вагон с начальством явно высокого ранга. Тревогу вызывали совершенно необычные условия этапирования. Нашему составу была открыта «зеленая улица». Я помню три остановки на всем нашем долгом пути — в Ленинграде, Вологде и Челябинске. Их несомненно было больше: ведь паровоз не мог совершить таких длинных перегонов без забора на промежуточных станциях воды и пополнения запасов топлива. Можно

[3] См.: Красиков П.А. Соловки // Известия. 15 окт. 1924 г. — *Примеч. А.Ю. Даниэля.*

предположить, что эти промежуточные остановки делались главным образом, если не исключительно, ночью. Это предположение подтверждается тем, как обставлены были те дневные остановки, которые хорошо сохранились в моей памяти.

Первая была в Ленинграде. Там наш состав сразу поставили на какой-то дальний запасной путь. К моменту прибытия по обе стороны были выстроены шпалеры войск. Такой чести мы еще ни разу не удостаивались. В Ленинграде мы простояли целый день. Нам выдали там паек на последующие дни и покормили горячей пищей — в этапах вещь небывалая.

Днем до нас донеслось из недалека довольно стройное пение хором революционных песен. Репертуар был обычным в те времена у социалистов: «Вихри враждебные...» (тогда бывшие чем-то вроде общего для всех направлений гимна), «Смело, друзья, не теряйте». Лишь спустя примерно неделю мы узнали, что к нашему составу прицепили еще один арестантский вагон с недавно осужденными ленинградскими социал-демократами, главным образом молодыми. Молодежь получила тогда первое крещение, была полна энтузиазма и дала ему выход в пении революционных песен.

Следующая запомнившаяся мне остановка была в Вологде. Тот же ритуал встречи: шпалеры войск по обе стороны запасного пути, подальше от вокзала; раздача сухого пайка и горячей пищи. Из Вологды путь наш лежал через Буй — Вятку — Пермь на Челябинск. Вятку и Пермь мы, по всей вероятности, проезжали ночью. Хорошо сохранилась в памяти длительная — с раннего утра до позднего вечера остановка в Челябинске, снова со шпалерами войск.

Подъезжая к Вологде и Челябинску и отъезжая оттуда, изо всех (как потом выяснилось) вагонов мы выбрасывали через окна письма. Мне точно известно, что по крайней мере два письма дошли до адресатов. На стоянках выставляли в окнах листы бумаги, на которых большими буквами был написан примерно один и тот же текст: «Социалистов из Соловков увозят в неизвестном направлении». Конвой никаких мер против этого не предпринимал, рассчитывая, очевидно, на то, что солдаты не дадут подойти к вагонам на такое расстояние, чтобы можно было прочитать написанное.

После Челябинска ехали мы недолго, не более 2—3 часов, и остановились. Выглянув в окно, мы ничего не обнаружили, кроме двух-трех тускло горевших керосиновых фонарей, едва освещавших что-то вроде станционного здания. Порешив, что утро вечера мудренее, мы улеглись спать. Проснулись, когда уже рассвело, от шума открываемых в тамбуре дверей. Через несколько минут раздалась команда: «Выходи по трое!».

4. «Мы ехали полем...»

Вышли, огляделись: голая степь, небольшое станционное здание и на нем вывеска «ст. Чебаркуль», один или два железнодорожных жилых здания, сарай.

Конвоир предложил нам следовать за ним. Пошли. За станционным зданием стояла подвода с возчиком. Мы погрузили в нее свои вещи, уселись сами и тронулись в путь, очень, впрочем, недалекий. Проехав около километра, остановились около группы вооруженных конвоиров, к нам присоединился сопровождавший нас. Через несколько минут подъехала еще одна подвода с тремя товарищами, затем еще, и еще, и еще, пока не растянулся обоз длиной чуть ли не в километр — всего набралось подвод не менее 130, а может быть, и все 150. Через некоторое время впереди нашей подводы появилась еще одна с тремя конвоирами и пулеметом, обращенным в нашу сторону. Как мы узнали потом, такая же подвода с пулеметом замыкала обоз. Обоз окружила большая группа вооруженных всадников, как оказалось — местных чоновцев. Один из них в качестве «впередсмотрящего» отъехал по проселочной дороге метров на двести, и мы снова тронулись в путь.

Это было путешествие, не лишенное колоритности. Передовой всадник сгонял с дороги любого встречного — пешего, конного или едущего на подводе. В общей сложности мы провели в пути (не считая остановки на ночлег) не менее 18-ти часов и за все это время проехали только два села, которые, очевидно, никак нельзя было объехать. Наш авангард предварительно загонял всех в дома, и мы не проезжали, а карьером, подымая облака пыли, проскакивали опустевшую сельскую улицу и переходили на шаг только после того, как она оставалась далеко позади.

Когда солнце уже начало клониться к закату, наш обоз свернул на большую поляну и образовал нечто напоминающее казачий стан — круг, внутри которого, слезши с подвод, оказались мы, и который с внешней стороны был оцеплен подводами с конвоирами и спешившимися чоновцами.

В походных кухнях был приготовлен обед. Тут-то мы и обнаружили, что в Ленинграде к нам присоединили человек 50 только что осужденных к трем годам заключения социал-демократов, а в Челябинске еще нескольких, сидевших до того в тамошнем политизоляторе. Но гораздо большего числа мы недосчитались: среди нас не оказалось не менее четверти, а то и трети соловчан. Не было среди нас ни одного из соловецких старост. Потом мы узнали, что трех женщин, бывших на Соловках с маленькими детьми, отправили в ссылку, а все остальные пошли в Тобольский политизолятор.

Отсутствие старост диктовало необходимость выбора новых. На импровизированном тут же на поляне общем собрании было решено фракционных старост не выбирать. В качестве общего старосты был без споров и обсуждений выбран

кто-то из социал-демократов старшего поколения, не помню сейчас, кто именно, кажется, Алексей Малкин.

Присутствие среди нас отбывавших срок в Челябинском политизоляторе подсказывало, что ждет нас не лагерь, а тюрьма. Встал вопрос — какой линии поведения придерживаться в случае «завинчивания» режима. Главной задачей было при любых условиях сохранять единый коллектив.

Без долгих прений старосте была вручена верховная и абсолютная власть, а все его распоряжения были признаны подлежащими безусловному выполнению. Далее, было решено по прибытии на место требовать присутствия старосты при приемке этапа; в противном случае своих имен не называть, вещей не брать. Если рассадят — в камеры под замок — немедля устанавливать всеми имеющимися средствами связь между собой и со старостой. Староста, со своей стороны, тут же дал указание: без его прямого распоряжения не объявлять голодовки, но, если этого потребуют обстоятельства, прибегнуть к другим методам борьбы — пассивному сопротивлению и т.п., не вступая однако ни в какие переговоры с администрацией без участия старосты.

Собрание продолжалось недолго, так как никаких возражений предложенная линия поведения ни у кого не вызвала.

Ночевали под открытым небом на телегах. Впрочем, мало кто заснул в ту ночь раньше 2—3 часов пополуночи. Кто прогуливался парами или небольшими группами внутри нашего казачьего круга, кто разговаривал, усевшись с друзьями на подводе. Все были возбуждены.

На рассвете мы снова пустились в странствование с конным эскортом и пулеметами впереди и сзади.

Днем вдали замаячили какие-то строения. Когда приблизились к ним, то увидели среди голой степи большого красного кирпича П-образное здание тюрьмы, огражденное высокими, кирпичными же стенами с караульными вышками на углах. Перед тюремной оградой высился трехэтажный жилой дом. Кругом ни деревца, ни здания, только проселочная дорога тянулась к черневшему вдали поселку. Это был маленький тогда городок Троицкого уезда Челябинской области — Верхнеуральск. Здесь в столыпинские времена был построен военно-каторжный «централ». Теперь он был назван Верхнеуральским политизолятором, и нам предстояло стать первыми его обитателями.

5. Приехали

Обоз подъехал к тюрьме и, сделав полукруг, остановился. Мы слезли с подвод. Вскоре из ворот вышло несколько человек в военной форме, в руках одного из них было несколько листов бумаги. Это был небольшого роста, плотный мужчина, как мы узнали позднее, начальник политизолятора Дупер (или Дуппер).

Началась перекличка. Называется первая фамилия. В ответ — гробовое молчание; вторая — то же, третья, четвертая, десятая... Все молча стоят. Затем от группы военных отделяются двое — это были надзиратели, «менты», по принятой в те времена тюремной терминологии — и выдергивают из толпы первого попавшегося под руку.

— Берите ваши вещи.

— Где ваши вещи?

— У старосты.

Выхваченного уводят. То же повторяется со вторым, третьим и т.д. Доходит мой черед. Тот же диалог, и два надзирателя ведут меня через калитку у тюремных ворот во двор, откуда мы сразу попадаем в здание тюрьмы. Входим в небольшую комнату, в ней несколько человек, под зарешеченным окном канцелярский стол и на нем груда папок — «личных дел».

— Ваша фамилия?

— Спросите у старосты.

— Имя и отчество?

На этом разговор кончается. Вопрошавшие держатся корректно, ограничиваются этими двумя вопросами и сразу же начинают перебирать папки, взглядывая то на меня, то на очередную папку. Администрация явно предусмотрела возможность пассивного сопротивления такого рода и к нему подготовилась: опознание производилось по фотокарточкам в личных делах, и, надо отдать справедливость, делалось это быстро и безошибочно.

Со мной, впрочем, обошлось без переборки папок. Один из находившихся в комнате начал вглядываться в меня и сказал:

— Постой, постой, я его знаю, он у меня в 1923 г. в собашнике[4] сидел...

Мое личное дело быстро найдено, и надзиратель повел меня на второй этаж, помнится, даже предварительно не обыскав. Через несколько минут я оказался в довольно просторной камере. В ней уже было человек пять-шесть.

Камера была такой, какой положено быть камере в Столыпинском централе, цементный пол, стены до половины покрашенные в серый цвет, а выше побеленные, два окна почти под потолком с крутыми откосами вместо подоконников. До намордников царское тюремное ведомство не додумалось; а новое начальство пока еще придерживалось освященных временем традиций.

---

[4] «Собашником» или «собачником» называлась большая камера в 1-м этаже здания ГПУ на Лубянке, вход в нее был с Лубянской площади. Туда привозили только что арестованных. В собашнике держали не более 2—3 дней и либо отпускали с Богом (были в те времена и такие чудеса), либо переводили в «предварилку» — несколько камер в каком-то из закоулков того же этажа. Из «предварилки» направляли во Внутреннюю тюрьму, или в Бутырки. Пребывание в «предварилке» было тоже непродолжительным — 5—6 дней. — *Авт.*

Меблирована камера была скромно, но мило: большой стол посередине, штук десять табуретов, столько же деревянных топчанов с набитыми соломой тюфяками, подушками и солдатского сукна одеялами. И у двери — услада сердца — милая параша.

На стене около двери красуются в деревянной рамке «Правила внутреннего распорядка», а в них множество пунктов, касающихся того, что заключенные делать обязаны, а что им делать возбраняется; меньше места было уделено тому, на что «заключенные имеют право», а в конце и вовсе кратко перечислены кары, налагаемые за нарушения правил — начиная с лишения закупок в ларьке и кончая заключением в карцерное узилище. Среди прав была переписка с ближайшими родственниками, с ограничением общего числа получаемых и отправляемых писем тремя в месяц.

Было ясно, что безропотно этих правил не примем, что предстоит борьба, а чтобы начать ее, нужно прежде всего связаться с товарищами. Залезши на топчан и ухватившись за решетку, кто-то из нас подтянулся к окну и окликнул. Никто не ответил — ближайшие к нам камеры были еще пусты. Решили выждать, а пока заняться делом. Живя относительно свободно в Соловках, кто знал, успел забыть тюремную азбуку, а кто не знал ее — не выучился. Нужно было вспоминать или учиться заново. Пример подал Валентин Людвигович Неймарк[5], самый старый из нас сиделец — в первый раз он был арестован в 1908 г. Улегшись на топчан, он стал выстукивать пальцем по пряжке брючного ремня тюремную азбуку. За ним и остальные занялись тем же, одни вспоминая азбуку, другие — предварительно начертав ее. У всех были карандаши, а кой у кого в карманах нашлась и бумага.

Через некоторое время мы услышали, как несколько раз отворяли и запирали дверь соседней камеры. Выждав, мы простучали. Вот уже шестьдесят лет прошло с того времени и, должно быть, не менее сорока с той поры, когда мне последний раз пришлось пользоваться тюремной азбукой, но эти три буквы въелись в мою память неизгладимо.

Тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук; тук-тук-тук-тук; тук-тук-тук; тук-тук-тук; тук-тук-тук-тук. КТО?

Нам ответили. Сначала неуверенно, спотыкаясь, повторяя по несколько раз непонятное слушателям слово, а потом все уверенней я быстрей мы стали перестукиваться сначала с соседней камерой, а потом с расположенными под и над нами. По мере того, как стали заселяться камеры, все в более широких размерах шла перекличка через окна.

---

[5] Это тот «Валя» Неймарк, которого так часто вспоминал Илья Эренбург в своих мемуарах «Люди, годы, жизнь». — *Авт.*

Дальше события начали развиваться столь стремительно, что я не могу поручиться ни за правильную передачу их хронологической последовательности, ни за полноту моего рассказа.

На следующий, кажется, день прибыло высокое начальство: Андреева (в просторечьи Андреиха), Вейс и Дукес. По-видимому, они задержались в Челябинске и прибыли в Верхнеуральск следом за нами на автомобиле. Потом они в сопровождении Дупера обходили камеры. Их встречали молча, не вступая в разговоры и либо не отвечая вовсе на вопросы, либо предлагая за ответом обратиться к старосте. В тот же как будто бы день караульный выстрелил в кого-то разговаривавшего через окно. Едва ли он сделал это по собственной инициативе. Думаю также, что промахнулся он тоже не случайно: повторять декабрьские события высшее начальство, вероятно, не было расположено.

Ответом на выстрел была обструкция. В считанные минуты вся тюрьма ходуном заходила. В двери и оконные решетки колотили чем попало — табуретками, сорванными с топчанов досками; за этим шумом почти не были слышны выстрелы. Надо думать, что если при этом никто не был убит или ранен, то и это было не случайным. Весь этот шум и гам покрывал несшийся изо всех камер крик: ста-рос-ту!

Много времени спустя родственники, приезжавшие на свидание и останавливавшиеся у местных жителей, рассказывали, со слов последних, что шум достигал городка, — а он был расположен довольно далеко: от тюрьмы до ближней окраины было километра два[6]. Не помню, сколько времени продолжалась обструкция. Кончилась она тогда, когда надзиратели через кормушки стали кричать, староста «приказал» прекратить шум, так как он сейчас будет говорить. Действительно, когда все стихло, мы в нашей камере услышали голос старосты, предложившего обструкцию прервать до дальнейших указаний. Не могу вспомнить, как это происходило, — говорил ли староста из своей камеры и далее его слова переводили из одного крыла тюрьмы в другое. Как бы то ни было, администрация могла убедиться, что заключенные действуют сплоченно и дисциплинированно: стихийно начавшаяся обструкция была поддержана всеми, и прекратилась она мгновенно по первому слову старосты.

Затем велись долгие и тяжкие дипломатические переговоры старосты с приезжим начальством, и это было главным, так как означало фактическое признание старосты как законного представителя всех заключенных. Тем самым молчаливо признавалось, что заключенные являются не механическим сборищем отдельных единиц, а цельным коллективом.

---

[6] К слову сказать, местным обывателям этот шум объясняли тем, что в тюрьме бунтовались привезенные туда «каплановы», т. е. люди, стрелявшие в Ленина. — *Авт.*

Переговоры закончились рядом уступок со стороны администрации. Достигнутое соглашение действовало по меньшей мере первые десять лет существования Верхнеуральского политизолятора, и значительная часть «Правил внутреннего распорядка» оставалась мертвой буквой. За эти десять лет было многое: стрельба по окнам, обструкции, голодовки, один раз избиение заключенных, но ни разу ни один человек не побывал в карцере.

Всех деталей соглашения по памяти я восстановить не могу. Помню только главное. Прогулки были удлинены. В каждом дворе гуляли одновременно две камеры. Обитатели каждого этажа одиночного корпуса гуляли вместе, семейные пары были соединены в камерах одиночного корпуса или в маленьких камерах западного; разрешено было перечислять деньги с одного лицевого счета на другой, а это практически означало, что все имевшиеся и получаемые заключенными деньги попадали в общий котел и ими распоряжался староста; все книги, в том числе и личные, передавались в общетюремную библиотеку; в камерах разрешалось иметь ножи, ножницы и бритвы, иголки и даже кой-какой инструмент.

Когда переговоры были закончены, староста дал указание всем забрать свои вещи. Политизолятор начали обживать. Наступил новый период жизни политических заключенных, продолжавшийся до 1936—37 гг.

ЕКАТЕРИНА ЛЬВОВНА

ОЛИЦКАЯ



А. А. Сошина
ВОСПОМИНАНИЯ Е. Л. ОЛИЦКОЙ[1]

Екатерина Львовна Олицкая родилась в селе Сорочин Верх Курской губернии. Отец, Лев Степанович Олицкий, происходил из еврейской семьи среднего достатка, а мать, Лидия Петровна, в девичестве Халютина — из богатой дворянской семьи Воронежской губернии, оба с высшим образованием, которое получили в Женеве. Чтобы жениться на Лидии Петровне, Лев Степанович принял Православие, но родители невесты все равно были не в восторге от выбора дочери и с новыми родственниками отношений не поддерживали. Они болезненно восприняли тот факт, что дочь и сын Федор стали народовольцами, и, видимо, не без оснований считали, что большое влияние на них оказывал будущий зять, который за свои взгляды год провел в тюрьме. Все же родители купили для молодоженов небольшое имение в селе Сорочин Верх Курской губернии, где 7 января 1899 г. и появилась на свет Екатерина[2].

В 1916 г. Олицкая окончила гимназию в Курске и поступила на агрономические курсы в Петербурге, но проучилась всего год и в связи с начавшейся революцией, вернулась в Курск, где вскоре вступила в партию эсеров. В 1918 г. она переехала в Харьков и поступила в сельскохозяйственный институт, но в 1919 г. по семейным обстоятельствам вынуждена была вернуться домой (отец попал под поезд и стал инвалидом), в следующем году умерла мать.

Весной 1922 г. семья Олицких переехала в Москву, Екатерина Львовна недолго проучилась на Пречистенских курсах, а после их закрытия перевелась на второй курс промышленно-экономического института им. Бабушкина, но она обучалась всего несколько месяцев. В Москве Олицкая установила связь с эсеровской студенческой организацией, стала ее активным членом, принимая участие в собраниях и конспиративных сходках. Студентам даже удалось приобрести типографию, и они собирались издавать газету, но вскоре последовали аресты.

В 1924 г. вместе с братом Дмитрием была арестована и Екатерина Львовна (при аресте у нее обнаружили листовки) и после недолгого содержания в Лубянской внутренней тюрьме приговорена по статье 58-10, 11 к трем годам

[1] Биографическая справка составлена по материалам Дмитрия Филипповича Калюжного, г. Умань. — *Здесь и далее примеч. автора.*

[2] Всего в семье Олицких было пятеро детей — три дочери и два сына.

Соловков. В лагере она вышла замуж за Александра Васильевича Федодеева, тоже эсера, сосланного на три года. Как беременную, ее из лагеря освободили досрочно и сослали в Чимкент, где у Олицкой родилась дочь. Муж был отправлен в Каркоролинск Семипалатинской области, но по ходатайству Е. П. Пешковой им удалось воссоединиться в Чимкенте, где в это время образовалась довольно большая коммуна ссыльных эсеров, что хоть как-то облегчало жизнь.

В 1927 г. по амнистии в честь 10-летия революции Олицкую отпустили досрочно, сослав на три года в Рязань, куда позднее к ней приехал и муж. После смерти пятилетней дочери они, не отбыв срок прикрепления, в 1930 г. покинули Рязань и переехали в Серпухов, где перешли на нелегальное положение, живя под вымышленными именами по поддельным документам, но через восемь месяцев были арестованы сотрудниками ОГПУ и вывезены в Москву. Екатерина Львовна год просидела в следственной тюрьме и по приговору ОС КОГПУ на пять лет заключена в Суздальский политизолятор. Там же отбывал срок и муж.

В Суздале Екатерина Львовна пробыла до января 1937 г., а затем с пятилетним сроком в числе других женщин была переведена в Ярославскую тюрьму и с тех пор больше никогда не видела мужа, получив известие о его приговоре: «десять лет без права переписки».

Весной 1938 г. Олицкую вывезли на Колыму, куда она ехала одним этапом с Евгенией Гинзбург, и об этом факте узнаем из известных воспоминаний Гинзбург «Крутой маршрут». Екатерина Львовна пробыла недолго в Магадане и была отправлена еще дальше — в Эльген, где познакомилась с женой своего брата Дмитрия Надеждой Витольдовной Суровцевой. Дмитрий Львович и Надежда Витольдовна многие годы провели в лагерях, политизоляторах, ссылках (очень недолго Суровцева была и на Соловках).

На Колыме Олицкая пробыла до 1947 г., а после освобождения в 1948 г. приехала в Малоярославец, под Москвой, но через год была вызвана в прокуратуру, где ей объявили, что она должна выехать в Красноярск. Это была очередная ссылка. В Красноярске ее не оставили, а отправили в совхоз недалеко от Абана, где она и проработала до 1958 г. и еще два года жила как пенсионерка.

В 1960 г. больная, много пережившая Екатерина Львовна приехала жить в город Умань к Надежде Витольдовне Суровцевой. Обе давно овдовели, трудно жили и писали воспоминания о пережитом, понимая, что в СССР подобные мемуары опубликованы не будут. В начале 1960-х гг. началась переписка Екатерины Львовны с А.И. Солженицыным, который в то время жил в Рязани. В 1965 и 1972 гг. он проездом на юг заезжал в Умань к Олицкой, во второй раз прожил здесь неделю, ознакомился с рукописями воспоминаний, высоко оценив

их. Александр Исаевич выразил глубокую уверенность, что придет время — и его труд и воспоминания Олицкой будут напечатаны в нашей стране[3]. Не рассчитывая на публикацию, Олицкая считала, что она имеет право свои «Воспоминания» давать читать тому, кому она хочет, и тому, кто хочет их читать. Первый экземпляр рукописи воспоминаний при обыске забрали сотрудники КГБ, но второй экземпляр попал за границу и в 1972 г. был опубликованы в ФРГ под названием «Мои воспоминания»[4], о чем сама автор не знала. Этот труд оказал большую моральную поддержку немногим оставшимся к тому времени в живых эсерам, пережившим крушение дела, которому они отдали жизнь. «Если бы не воспоминания Е. Л. Олицкой, то можно было бы считать, что ряска над головами рядовых и нерядовых членов партии эсеров — сомкнулась», — говорили ее друзья по партии.

В это время Екатерина Львовна была уже очень больна и лечилась иногда в Москве, где ей большую поддержку оказывали друзья, известные правозащитники Виктор Александрович Некипелов и его жена Нина Комарова, Сергей Георгиевич Мюге и Ася Великанова[5].

Скончалась Екатерина Львовна в Умани.

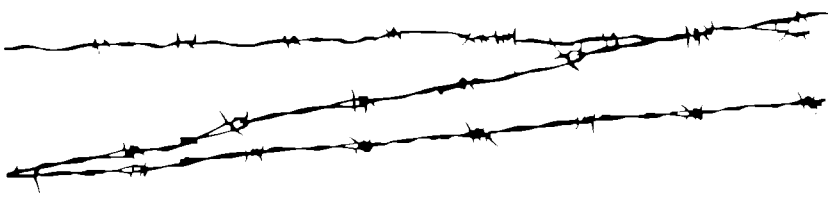
[3] На страницах «Архипелага» имеются ссылки на воспоминания Екатерины Львовны и Надежды Витольдовны.

[4] См.: Олицкая Е. Л. Мои воспоминания: В 2-х кн. Frankfurt/M, 1971. 318. 270 с.

[5] Виктор Некипелов с женой в 1965–1970 гг. жили в Умани, там познакомились и подружились с Екатериной Львовной и Надеждой Витольдовной, что во многом определило их дальнейший жизненный путь.

✠

Мои воспоминания[1]



Ссылка на Соловки

Через месяц, проведенный во внутренней тюрьме, мне объявили, что по постановлению ОСО я заключаюсь под стражу на три года и отправляюсь на Соловецкие острова. Одновременно следователь сообщил, что брат получает высылку из Москвы — минус 32 пункта. Это означало, что ни в одном губернском городе он жить не может. Мне было сказано, что в ближайшие дни я получу свидание с родными, что через следователя могу сообщить, какие вещи хотела бы получить от них на дорогу.

Взволнованная, но не испуганная, вернулась я в камеру. Уж если ехать куда-нибудь, то лучше всего на Соловки! В камере я рассказала Вере о приговоре. Она крепко пожала мою руку. Потом она сказала:

— Сегодня соседняя камера нас вызывала.

— Которая? — спросила я.

— Стена «ДУР»[2], — ответила Вера.

— Вы ответили?

Вера отрицательно покачала головой.

---

[1] Публикуется с сокращениями по: Олицкая Е. Л. Мои воспоминания: В 2-х кн. Frankfurt a. M., 1971., Кн. 1. С. 318.

[2] Стена «ДУР» — стена в соседнюю камеру. Выше автор писала о том, как они с соседкой «решили завязать отношения с камерой налево. Мы не были опытными тюремными сидельцами, мы даже не сумели прислушаться к тому, сидит ли кто в этой камере, отворяется ли ее дверь на оправку, приносят ли в нее обед и ужин. Мы просто забарабанили в стену. Сперва тихо, потом, не получая ответа, все громче. Наконец, когда мы уже бессовестно гремели в стенку, нам послышался ответный стук.

— Кто вы? — застучали мы и напряженно стали слушать ответ. Так как мы обе еще не бегло читали азбуку, то при приеме одна из нас, а то и обе, произносили принимаемую букву вслух. Так приняли мы букву за буквой «Д», «У», «Р», «Ы»». Олицкая Е. Л. Указ. соч. Кн. 1. С. 187

— Сначала я постучу соседям о приговоре, — сказала я.

Усевшись на Вериной койке лицом к волчку, чтобы видеть, не пойдет ли надзор, левой рукой, заложенной за спину, я тихонько застучала, вызывая Вершинина. Мы с Верой поделили наших соседей. Мы кое-что уже знали о них. Даже подсмотрели в щель волчка, как они выглядят. Петровский, старый с.-д., подпольщик царских лет, давал нам массу практических советов: побольше ходить по камере, ежедневно делать гимнастику, заниматься языками. Вершинин, молодой украинский эсер, был поэт и мечтатель. Он выстукивал в стенку всякую лирику и даже свои стихи. Едва я застучала, как соседняя камера, очевидно, услышав наш стук, застучала в свою стену. Ее стук сбивал меня, мешал слушать соседей.

— Вера, замажьте стену, — попросила я.

До самого вечера мы, возбужденные моим приговором, не подходили к стене «Дур». Когда мы уже улеглись спать, Вера сказала:

— Все же следует проверить вашу стену. Кого-то туда привели. Я слышала, когда вы были у следователя, как там открывалась дверь. Ужин, по-моему, туда тоже приносили.

Высунув руку из-под одеяла, я осторожно постучала. На мой вызов сейчас же раздалась ответная дробь.

«Кто вы?» — простучала я.

Ответ был до того неожиданным, что вызвал во мне сомнения: «Эсерка с Соловков Сима Юдичева». Сегодня я узнала о том, что еду на Соловки, и сегодня же за стенкой появляется эсерка с Соловков...

— Подозрительно, — шепнула я Вере, но все же продолжила разговор. Свой-то приговор я могла без риска сообщить каждому.

Сима простучала нам, что ее родители без ее ведома хлопотали о ней, и ее вызвали с Соловков. Следователь предложил ей отречься от партии, дать покаянное письмо. Она, конечно, отказалась и следующим этапом едет обратно на Соловки. Сима выстукала, что болеет, что родители прислали ей в передаче уйму вкусных вещей, но она их есть не может и завтра оставит сверточек нам в уборной. Мы с Симой решили, что, очевидно, поедем на Соловки вместе.

<...>

Товарищи

Мы вошли теперь в огромную светлую комнату. Посередине ее стоял длинный стол. Рядом с ним надзиратель поставил мой чемодан, на стол я положила узелок.

Почему-то теперь, когда я понимала, что меня готовят к этапу, меня больше всего смущала моя шляпа — черная, газовая, как носили в то время, с большими полями. Куда ее деть? Не могу же я и в тюремный этап идти в такой шляпе! Вслед за мной в помещение, где составлялся этап, привели девушку, которая сперва показалась мне школьницей. На ней было темно-коричневое, почти форменное платье, которое едва прикрывало колени. На ногах ее были коричневые чулки и мягкие, без каблуков, туфли. Русые, растрепавшиеся слегка волосы спускались на плечи и были перевязаны большим черным бантом.

Она не была красива, но высокий матовый лоб и огромные серые глаза создавали впечатление исключительной чистоты и прелести. Лицо ее было очень-очень бледно. Я сразу догадалась: Сима.

— Катя... — чуть вопросительно сказала она, — вот мы и вместе. Как я рада, что вы едете, что я не одна среди уголовных.

Мы крепко пожали друг другу руки.

— А как вы ехали сюда?

— Ну, сюда я ехала спецконвоем. Я все расскажу вам и про Соловки.

Дверь снова отворилась, в нее впустили целую группу заключенных: четырех мужчин и одну женщину.

— Симочка! — воскликнула женщина и заключила Симу в объятия. Мужчины тоже окружили Симу, жали ей руки.

А дверь открылась опять. Одного за другим приводили мужчин. Один из них сразу присоединился к группе возле Симы. Другие два остановились возле меня. Мы познакомились. Один оказался эсдеком, второй, к моему ужасу, тем самым студентом Киселевым, чью листовку показывал мне следователь. Как-то невольно заговорила я о ней. Сбивчиво начал объяснять Киселев, что это вовсе не была листовка, что это он для себя набросал свои мысли, вернувшись домой со студенческого собрания.

«Хрен редьки не слаще, — думала я, — хорошенькие юдофобские мысли про себя». К счастью, Сима обернулась ко мне.

— Это тоже наш товарищ и тоже едет на Соловки. Знакомьтесь. Это все наши товарищи, Катя.

Александра Ипполитовна Шестневская, отделившись от группы мужчин, подошла ко мне:

— Вы первый раз арестованы и вот так идете в этап?

Я покраснела до ушей. На мне был черный шерстяной костюм, в котором меня арестовали, белая маркизетовая блузка с короткими рукавами и проклятая газовая шляпа с широкими полями.

— Ну, ничего, мы что-нибудь придумаем. В этап шерстяной костюм просто жалко. А в шляпе будет неудобно. Нужна косынка, а то волосы от грязи совсем пропадут.

Я указала рукой на мой чемодан.

— Может быть там, в моих вещах...

— Ну и отлично. Что-нибудь подберем!

Шестневская была лет на семь старше нас с Симой. Светлая блондинка с карими глазами и правильными чертами лица, она была явно очень возбуждена. Она без конца говорила. Сима мне нравилась больше. Но она была с другими, а Александра Ипполитовна занялась мной.

— Наша группа, пять человек эсеров, едет из вятской ссылки. В ссылке была большая колония ссыльных, с работой было трудно, и мы решили организовать кассу взаимопомощи ссыльных. Высокий пожилой мужчина — Студенецкий, а молодой красивый паренек — Николай Замятин. Вот тот, маленький, полный, — Иван Юлианович Примак. Это чудесный, замечательный человек! Рядом с ним Волк-Штоцкий. Этот совсем больной, у него туберкулез. Как он будет жить на Соловках, не знаю. Есть у вас знакомые на Соловках?

— Нет, я там никого не знаю.

— Там, конечно, замечательные люди! Но в Вятке состав был сильнее. Один Рихтер... изумительный человек! Жаль, что вы не попали в Вятку. Хотя, может быть, и всю ссылку разбросают.

Взволнованность и возбуждение слышались в ее словах, в их торопливости.

Между Симой и группой мужчин шла речь о Стружинском. Я слышала уже о нем и его двух товарищах, фамилии которых я не помню. Они прибегли к самосожжению. Забаррикадировав дверь камеры и облив матрасы керосином, подожгли их. Они лежали в вятской больнице. Товарищи говорили, что есть надежда спасения их жизни.

Товарищи оживленно разговаривали, когда раздался окрик надзора:

— Женщины, с вещами выходи!

Мы вздрогнули. Нам не хотелось отделяться от мужчин.

— Почему это? Как же это? — сказала Александра Ипполитовна. — Ведь все мы идем на Соловки, общим этапом. Сюда тоже шли все вместе. Я не пойду.

Студенецкий — он был старшим по группе — предложил надзирателю вызвать старшего по корпусу.

— Наши женщины всегда идут этапом вместе с нами. Едем мы в один и тот же лагерь. Почему вы вдруг отделяете женщин?

— Следуете вместе — значит будете вместе. Сейчас подчиняйтесь команде. Женщины, без вещей выходи! Мужчины, берите вещи женщин и свои, стройтесь!

Сима и я угрюмо двинулись к выходу. Александра Ипполитовна с полными слез глазами пошла за нами.

— Зачем она плачет? — шепнула мне Сима. — Разве при них можно плакать?

Я не все принимала в Александре Ипполитовне. Но многое, очень многое можно и должно было ей простить. Молодая женщина, женщина с головы до ног, со всеми женскими качествами и недостатками, красивая, заботливая, добрая, с ярко выраженным инстинктом материнства, неведомыми мне путями пришла она в партию. Но пришедши в нее, никогда не поколебалась, не отступила. Первый раз она была арестована на восьмом месяце беременности. Всю оставшуюся беременность провела она в Бутырской тюрьме. В тюремной больнице родила она сына. Вместе с ребенком в этапном порядке ее направили в ссылку. В этапе ребенок умер. В пятой ссылке Александра Ипполитовна забеременела вторично. Беременную, ее снова бросили в тюрьму и в этап. В этапе произошел выкидыш. Еще не вполне оправившуюся, ее везли этапом на Соловки. Она крепилась, она держалась. Только бы не отстать от товарищей, не остаться одной. С болью смотрели на нее наши товарищи мужчины.

— Александра Ипполитовна, в вагоне мы добьемся соединения! — крикнул ей вслед Примак.

Во дворе внутренней тюрьмы стоял, готовый принять нас, «черный ворон». Мы трое зашли в него, двери захлопнулись, зашумел мотор... Последний слепой рейс по московским улицам.... Мы молчали. Александра Ипполитовна кусала губы, но слезы текли по ее щеке.

Когда «черный ворон» остановился, нас вывели из него. Прямо перед нами оказались открытые двери «столыпинского» вагона, загнанного на запасные пути. Вагон был пуст. Только конвой. Он пропустил нас мимо себя, загнал в одну клетку и запер ее дверь. В клетке, рассчитанной на восемь человек, нас было только трое. Минут через пятнадцать за стенами вагона послышался шум подъезжающих машин. Двери вагона открылись, началась погрузка мужчин. Их было много, очень много. Оборванные, заросшие, проходили они мимо решетки нашей двери и заполняли одну клетку за другой. В нашей клетке было много свободных мест. Мужчин набивали как сельдей в бочку. Последними грузились наши товарищи. Их всех загнали в одну клетку. Проходя мимо нас, Студенецкий сказал:

— Ваши и наши вещи погружены в тамбур вагона.

В вагоне надзор разрешил нам и нашим мужчинам, то есть политическим, обмениваться куревом и продовольствием. У Симы была огромная корзина всякой снеди, переданная ее родителями. Сима к еде не прикасалась. Зато мы, особенно мужчины, отдавали ей должное.

С Симой, моей ровесницей, я очень сдружилась. Она привлекала меня своей жизнерадостностью, простотой, начитанностью. Подробно рассказывать о Соловках она отказалась.

— Вы же сами едете туда, сами все увидите, во всем разберетесь. Я не хочу говорить, может быть, это только мое предвзятое мнение.

Александра Ипполитовна, горевавшая о вятской ссылке, смотрела на будущую жизнь на Соловках очень мрачно. Она допытывалась у Симы о подробностях расстрела 19 декабря. Сима молчала.

Я чувствовала, что Сима рвется на Соловки, мечтает о них, считает дни этапа. Сперва я недоумевала, а потом поняла: там же остались ее друзья, а может быть, любимый человек. Сима тревожилась за них. Она мне говорила, что в тюрьме отошла от политики, что не она ее сейчас интересует, что ни к чему заниматься политикой в тюрьме. Сейчас она была увлечена занятиями по философии.

— На Соловках есть замечательные люди, — говорила мне Сима, — Гольд, Иванов, Гельфготт. Это изумительные люди! Гольд занимался со мной по философии. Мы проработали Маха, Авенариуса... Сейчас мы продолжим рассмотрение философии Беркли.

О внешней жизни Соловков Сима говорила охотно. От нее я узнала, что политзаключенных в 1923 году перевезли из Пертоминска на Соловки. На Соловках бывшее монастырское хозяйство было ликвидировано. На главном острове на берегу моря, в кремле, разместилось управление лагеря, заключенные — уголовники и каэры (контрреволюционеры). Заключенные свободно передвигаются по всему острову, но содержатся в очень тяжелых условиях. Скученность, тяжелые работы, плохое питание, произвол администрации...

Всех политических, то есть социал-демократов, эсеров и анархистов, держат отдельно, изолированно, в глубине острова, в бывших скитах. Там создано для них за колючей проволокой заключение, так называемый политрежим.

Сперва для политзаключенных были отведены два скита — Савватиевский и Муксаломский. Сейчас по мере увеличения числа заключенных организуется третий — Анзерский. Выход за колючую проволоку не разрешен. Вдоль ограды — вышки с часовыми. За ней надзора нет. Раз в неделю приходит надзор с поверкой. Всей жизнью в зоне ведает старостат, выбранный заключенными. Каждая фракция имеет своего старосту. Переговоры с администрацией тюрьмы ведут только старосты. В скитах самообслуживание. Сами заключенные топят печи, варят еду, убирают помещение, стирают белье. Для этого из заключенных созданы рабочие бригады. Вся соловецкая администрация состоит из осуж-

денных, проштрафившихся коммунистов-чекистов и проч. Условия очень тяжелы из-за того, что на полгода Соловки бывают отрезаны от материка. Только изредка поморам удается пробиться на своих лодочках. Ни почты, ни газет. Заключенные чувствуют себя полностью во власти местной администрации.

— Вся наша жизнь, — говорит Сима, — окрашена этим. Окрашена борьбой за сохранение режима, который существует, — политрежима. У нас довольно хорошая своя библиотека, составленная из личных книг заключенных, организована школа для повышения знаний, существуют кружки для занятий по различным вопросам. Иногда читаются доклады и лекции. Есть любительский кружок, ставящий спектакли. Вот это все — свою внутреннюю независимость — мы и отстаиваем в своей тюремной борьбе. Выходит у нас наш тюремный журнал «Сполохи». В нем есть целый ряд статей, освещающих события 19 декабря.

Нового представления о Соловках у меня не получалось, разговор наш перескакивал с темы на тему, велся урывками. Александра Ипполитовна рассказала мне о Примаке.

Пятнадцатилетним юношей принял Примак участие в подготовляемом террористическом акте, был арестован и приговорен к повешению. Как подростку, не достигшему еще совершеннолетия, смертная казнь была заменена пожизненным заключением в крепость. 15 лет провел он в одиночном заключении, кажется, Орловского централа. Освободила его Февральская революция 1917 года. Сесть пятнадцати лет, выйти на волю тридцати...

С грустной улыбкой он рассказывал, что, когда его вызвали в тюремную контору, сообщили об освобождении и выдали чемоданчик с его личными вещами, он, не веря ни во что, спешил выбраться из стен тюрьмы. Неуверенно, прижимаясь к стенам домов, спешил он уйти как можно дальше от тюрьмы. Он не верил в свободу, он разучился общаться с людьми. Вышел он из тюрьмы с совершенно разрушенным здоровьем.

— Он и сейчас весь больной, — говорила Александра Ипполитовна, — и такого везут на Соловки.

Я слушала Александру Ипполитовну, и передо мной вставал образ Примака. Невысокая обрюзгшая фигура с серым, одутловатым лицом, с большими серыми ласковыми глазами и суровой складкой между бровей...

На Ленинградском вокзале нас снова разлучили с нашими мужчинами. Из «ворона» нас высадили у ворот женской пересыльной тюрьмы. В этой тюрьме мы должны были дожидаться этапа на Соловки.

<...>

На Поповом острове

На станции Кемь наши арестантские вагоны придвинули вплотную к дамбе. Началась выгрузка арестантов. Нас, политических, выгрузили в последнюю очередь. Впереди стояла длинная колонна заключенных; нас, по сравнению с уголовными, была ничтожная горстка: десять мужчин и три женщины.

По пять человек в ряд выстроилась колонна. За уголовниками шли наши мужчины, заключали строй мы, женщины. Началась перекличка. Поименная. Поштучная. Каждая пятерка выходила на пять шагов вперед. Этапный конвой сдавал этап конвою перпункта Попова острова.

Вдоль всего строя и всей дамбы стоял конвой с ружьями наперевес. Медленно, пятерка за пятеркой, двигался строй заключенных по дамбе к воротам, расположенным на другом ее конце, при входе на остров.

Дамба представляла собой земляную насыпь с настилом из досок. О насыпь били волны Белого моря. Островок был маленьким клочком серой земли, виднелись крыши приземистых деревянных бараков, вытянувшихся в одну линию. А вокруг — необозримый водный простор.

Сима восторженно говорила о Соловках, об их природе, о чудесных лесах. Трудно было поверить ей, глядя на этот клочок земли.

Только колючая проволока ограждала остров да ворота у дамбы. За воротами шел тот же деревянный настил. Земля была кочковатой, топкой. В четырех местах на высоких столбах возвышались вышки часовых.

В ворота сперва пропустили уголовных, за ними прошли наши мужчины со своими и нашими вещами. Когда мужчины скрылись в одном из бараков в конце острова, пропустили и нас.

Ни деревца, ни кустика. Только у самых бараков поселка редкая травка. Мне она напомнила пасхальное блюдо с всходами овса, на которое укладывались крашеные яички. Только реденьким и жалким был этот овес. Серый тоскливый день висел над серым островом, над серым морем.

Нас завели в первый барак от ворот направо. Ни одного человека не было видно на всем острове.

Барак, в который нас завели, был похож на пустой сарай с прорезанными окнами. Решеток в окнах не было. В одном углу длинного узкого помещения стоял сбитый из досок стол, такой же серый и грязный, как пол.

Мы знали, что политзаключенных не изолируют в лагере друг от друга. Почему же отделили нас от мужчин? Нас было всего трое. На этом унылом, от всего мира отрезанном островке, в этом мрачном бараке мы чувствовали себя покинутыми. Даже надзора за окнами не было видно. Мы стучали в дверь, но

никто не подходил к ней. Усталые, грязные, голодные, уселись мы прямо на грязные доски пола и молча ждали, что будет.

Так просидели мы около часа, а может быть, и больше. Наконец в дверях барака щелкнул замок. В барак вошел надзиратель. В руках у него был сверток.

— Передача из мужского барака, — сказал он.

— И у нас к ним будет передача, — беря пакет, сказала Александра Ипполитовна.

Ничего не отвечая, надзиратель вышел и запер дверь.

Мужчины прислали нам хлеб, сахар, коробку консервов. В хлебе мы нашли записочку. Писал Примак. Он просил нас не волноваться. Наш староста Студенецкий уже говорил с администрацией, нас соединят с мужчинами, как только закончится прием этапа, после того как мы будем пропущены через баню. Староста был уже в ларьке и шлет передачу.

Настроение наше поднялось. Уж очень неприглядно было в бараке. Есть не хотелось, мы снова приткнулись на полу. Не знаю, спал ли кто, я не спала. Перед вечером опять загремел замок, нас повели в баню.

По бугристой неровной тропинке мы пересекли почти весь островок. Баня стояла у края острова. Это был низенький, но просторный деревянный сруб с чаном нагретой воды, с деревянными скамьями и шайками. Бане мы были рады. А обыск носил такой поверхностный характер, что мы его почти не заметили. Белье и платье наше взяли в прожарку и выдали нам по маленькому кусочку мыла. Вещи наши были у мужчин, и переодеться мы не могли.

Женщина-уголовная, топившая баню, сказала нам, что прошлый этап тоже трех баб мыла, только те были совсем молоденькие. Их последним пароходом отвезли на Соловки. От нее мы узнали, что пароход ходит раз в неделю или раз в две недели — как людей наберется. Сейчас он еще с Соловков не вернулся, но его ждут не сегодня-завтра.

Из бани нас привели в тот же барак. В нем стояли уже наши вещи, и, к нашему удивлению, дверь за нами не заперли. Мы вышли на крыльцо. Никого. Даже конвоя не видно. Потом где-то в конце островка группу мужчин провели в баню. Может быть, наших? Мы достали белье, переоделись. Нам захотелось есть. Стоя у стола, ломали мы хлеб, макая в консервы. Чистым, нам не хотелось опять садиться на пол. Мы толкались от двери к окну. Мы могли выйти из барака, но не хотелось.

Как-то неожиданно услышали мы шум шагов, в окно увидели наших мужчин, одних, без конвоя. Они шли к нам также чистые, вымытые, побритые.

Радость наша была неописуемой. Мы жали друг другу руки, как будто разлучились не утром, а много дней назад.

Мужчины принесли много новостей. Студенецкий сговорился с начальником перпункта: вечером, после поверки, нас переведут в их барак. Их барак лучше, в нем есть нары, и состоит он из двух половин. Бараки уголовных запираются на замок, наш будет весь день стоять открытым, мы можем ходить по острову и только на поверку должны заходить в барак. Питание мы будем получать из лагерной кухни два раза в сутки. В лагерном ларьке мы можем получать продукты. Мужчины уже выбрали завхоза — Льва Наумовича Тавровского. Ему они передали все свои деньги и продукты, что остались от этапа. Он будет ведать всеми покупками и кормить нас. С радостью поспешили мы отдать Льву Наумовичу наши денежные квитанции.

Идя к нам, мужчины видали, что к острову подходит пароход с Соловков. Когда он пойдет обратно на Соловки, начальник Студенецкому не сказал.

Тут в сутолоку нашей встречи ворвался дикий, безумный, нечеловеческий крик, а следом в наш барак вскочил один из товарищей, стоявший за дверью барака:

— С парохода кого-то волоком волокут! — крикнул он. — А он кричит и отбивается.

Первой сорвалась и бросилась за дверь Сима. За ней Николай, а потом и мы все. Вдоль по настилу между бараками два конвоира волокли по земле человека, а он отбивался, упирался, вопил, то замолкая, то дико взвизгивая. Очевидно, его волокли с парохода к вахте, расположенной как раз против нашего барака. Они приближались к нам, а мы сгрудились около дверей. И Сима узнала.

— Это Козлов! — закричала она. — Он душевнобольной. Его давно должны были вывезти в психиатрическую лечебницу. Что они с ним делают?!

Не дослушав Симу, вернее, услышав, что это наш больной товарищ, Николай, высоченный, широкоплечий 23-летний парень, угрюмо, со сжатыми кулаками пошел навстречу приближавшимся. Сквозь нашу толпу за ним стремительно двинулся Студенецкий.

— Николай, стой! — говорил он. — Пусти меня, слышишь?

Но Николай, как гора, стремительно двигался вперед.

— Прекратите издевательства! — кричал он. — Что вы, мерзавцы, делаете? Больных так возите?!

Между Николаем и конвоирами было шагов пять, не больше. Один из конвоиров, тащивших заключенного, выпустил его из рук, выхватил винтовку и направил ее прямо в грудь Николая.

Я видела взбешенное, разгоряченное, налившееся кровью лицо конвоира, поднявшего винтовку, и спину Николая, двигавшегося вперед.

Откуда-то, вероятно с вахты, выскочивший надзиратель наотмашь ударил по прикладу ружья. Выстрел грянул, но пуля прошла мимо.

— Заходи в барак! — орал старший. — Вот вас не запирай! Видали, что у вас делается!

— Что у вас делается?! — как-то хрипло, но громко отвечал Николай.

Сима стремилась вперед, к Козлову. Он, видимо, узнал ее. Освободившейся рукой он приветственно махал и что-то радостное выкрикивал нам.

На выстрел из вахты бежала уже толпа надзирателей. Они оцепили нас кольцом и начали оттеснять к бараку. Теперь Козлов шел, и мы расслышали, он кричал нам:

— Не мешайте мне с ними бороться, я еще им покажу, палачам!

Козлов и надзор скрылись в дверях вахты. Мы же стояли в самых дверях барака. Но Студенецкий сказал:

— В барак заходить не будем, пока не явится комендант лагеря.

Через несколько минут явился старший и сказал, что Студенецкого вызывают в комендатуру. Уходя, Студенецкий просил нас зайти в барак и спокойно ждать его возвращения.

В бараке Сима рассказала нам о Козлове. Обычно очень мягкий и чуткий товарищ, временами впадал он в полное психическое расстройство и с течением времени становился все раздражительнее. Приступы сумасшествия появлялись все чаще. Он начинал протестовать тогда против тюремного режима. Сперва нервное напряжение длилось часами, и его удавалось уговорить, успокоить. Потом приступы стали принимать тяжелый характер. Он писал бесконечные протесты против заключения социалистов в тюрьму и требовал свободы слова, потом стал буйствовать, рваться за ограду тюрьмы. А когда его удерживали товарищи, бил стекла в окнах, бросал табуреты в дверь.

— Решеток в окнах у нас нет, — говорила Сима, — двери открыты, мы свободно гуляем по двору внутри колючего заграждения. Если он полезет под заграждение, часовой будет стрелять. Его нельзя было выпускать, двери его камеры запирали. Тогда он объявлял голодовку. Мы просто не знали, что с ним делать, старостат добивался вывоза его на лечение.

Студенецкий вернулся от коменданта. И я получила первый настоящий урок коллективной жизни заключенных в тюрьме.

Николай Замятин казался мне героем, не дрогнув ставши под дуло направленного на него ружья. Он попросту отдавал свою жизнь за товарища. А теперь Николай стоял красный, смущенный, и Студенецкий его отчитывал:

— Я должен был там оправдывать твое поведение, они хотели взять тебя в карцер. Странно, что мне приходится объяснять именно тебе. Ты вел себя как

мальчишка. Какое ты имел право выскакивать вперед из коллектива? Или у нас нет старосты? Что мы должны были бы делать, если б эта шальная пуля задела тебя? Так ты поддашься на любую провокацию. Разве ты не знаешь, что ты член коллектива и не должен допускать никаких индивидуальных выступлений? Ты понимаешь, в какую историю ты мог вовлечь нас и шире, чем нас?

У коменданта перпункта Студенецкий добился свидания с Козловым. Впечатление от свидания было очень тяжелым. Козлов был совершенно невменяем. Он кричал на Студенецкого:

— Вы хотите сидеть в тюрьмах — и сидите, а я не хочу! Я будут протестовать! Пусть убивают социалистов, в тюрьмах держать не смеют!

Комендант обещал Студенецкому завтра же направить Козлова в больницу. Пока его заперли одного в пустом бараке.

Вечером нас перевели в барак к мужчинам. Барак был чище и светлее нашего. Вдоль стенки его шли широкие сплошные нары. Двери барака не запирались. В обед и вечером в барак приносили бочку с отвратительной вонючей жижей — похлебкой. Кроме того, мы получали политпаек, по два куска сахара и по 13 папирос на курящего. Наш завхоз выдавал нам из объединенных средств добавочное питание.

Дни тянулись томительно. Мы ждали вывоза на Соловки. Больше всего говорили о них, о жизни, которая ожидала нас.

Отступление: о Соловках. 19 декабря 1923 года

Все услышанное мной о Соловках обрело реальность только тогда, когда я сама попала на острова, когда своими глазами увидела кремль, скиты, условия заключения, заключенных и надзор. Здесь, на Поповом острове, я подробно узнала о событиях 19 декабря 1923 года. Здесь, во время столкновения с Козловым, я ощутила, что попали мы в новые условия, невозможные на материке. Здесь я увидела и Симино пальтишко, в трех местах пробитое пулями, которыми надзор стрелял по заключенным. Как сумею, так и расскажу об этом сейчас, тем более что рассказом этим было освещено пребывание на перпункте.

Арестовывать эсеров начали в 1918 году. Сперва их отправляли в ссылки, затем стали посылать в политизоляторы и лагеря. Несколько позже аресты распространились и на левых эсеров, еще позднее — на социал-демократов. И на анархистов. На севере России, на Мурманском побережье, в Пертоминском монастыре, был создан лагерь для изоляции политзаключенных. Тогда же в Суздальском монастыре был создан политизолятор и разработан режим, на котором стали содержать политзаключенных. Под эту рубрику подводились

не все политические «преступники», а только члены социалистических партий и анархисты. Члены других политических партий: кадеты, трудовики, народные социалисты, мусаватисты — словом, все не стоящие на социалистических позициях не причислялись к политическим. Они назывались каэрами (контрреволюционерами) и содержались в лагерях и тюрьмах на общем режиме вместе с уголовными.

Конечно, и нас, социалистов, обвиняли в контрреволюционной деятельности, но режим наших политизоляторов и лагерей резко отличался от общего режима — кое в чем он был легче, кое в чем значительно строже. Политзаключенные получали некоторую надбавку к общему питанию. Они были освобождены от принудительных работ, не подвергались оскорбительной для человеческого достоинства поверке, в политизоляторах допускалось самоуправление, политзаключенные выбирали из своей среды старостат и в основном только через него сносились с администрацией. Политзаключенные сохраняли при себе все свои личные вещи: одежду, книги, письменные принадлежности, часы, ножи, вилки и даже бритвы. Могли выписывать журналы и газеты. Зато изоляция их от внешнего мира производилась значительно строже. Ограничивалась свобода передвижения по лагерю или тюрьме. Ограничивалась переписка с волей, свидания с родными. В отношении к социалистам все было как-то двойственно: с одной стороны, нам часто приходилось слышать о том, что мы — не арестанты, а политзаключенные, с другой — той же администрацией внушалось надзору, что мы — опаснейшие враги народа. Но мы все же рассматривались как социалисты.

Отметание идейных противников в лагерь врагов — опасный путь. По мере развития созидательного процесса построения «социалистического» общества число инакомыслящих росло. Начались идейные расхождения внутри самой партии большевиков. Росло количество репрессированных. Ожесточалась борьба за сохранение власти. Завинчивался режим в местах заключения.

Заключенные социалисты всегда вели в тюрьмах борьбу за режим, за сохранение своих маленьких арестантских прав. Летом 1923 года всех заключенных из Пертоминского лагеря перевезли на Соловки. Центром Соловецких лагерей стал старинный кремль, расположенный на берегу моря. Там, в бывших монастырских строениях, разместилась администрация лагеря, продовольственные склады, больница. Там же были сосредоточены все уголовные и каэры. Политзаключенных завезли вглубь острова и поместили в бывших монашеских скитах. Уголовные могли свободно передвигаться по всему острову, политзаключенные не могли выходить за колючую проволоку, окружавшую скит, даже приближаться к ней. За этим следили постовые с вышки. За колючей проволокой

возле скита стоял административный корпус, где помещалась комендатура и жил надзор.

Савватиевский скит, отведенный под лагерь, состоял из двух двухэтажных зданий, бывших в свое время гостиницей для приезжавших на остров богомольцев. Большой красный кирпичный корпус стоял на берегу небольшого озера; второй, желтый, корпус отстоял от первого шагов на тридцать. Вокруг обоих зданий, захватывая небольшую площадь двора и часть озера, шла колючая проволока, по четырем углам ее поднимались вышки часовых. За проволокой шел чудесный лиственный лес. За проволоку заключенные не могли выходить, зато и конвой не заходил к нам за проволоку. Два раза в сутки — в 6 часов утра и в 6 часов вечера — на территорию лагеря приходил старший надзиратель и, обходя камеры вместе со старостой, производил поверку, подсчет заключенных. Заключенные внутри проволоки были хозяевами своей жизни.

Каждая фракция — эсеры, эсдеки, анархисты — избирали из своей среды старосту. Таким образом создавался старостат, ведавший всей жизнью тюрьмы и сносившийся по всем вопросам с администрацией. Хозяйственной жизнью ведали так же по фракциям выбранные завхозы. В их распоряжении были бригады заключенных — поваров, истопников, уборщиков, дровоколов, подсобных рабочих. Каждый заключенный работал в какой-нибудь бригаде и нес дежурство по лагерю.

Кроме общей каптерки, в которую поступали общие продукты питания, выдаваемые лагерем и присылаемые Красным Крестом помощи политзаключенным, возглавляемым Е. П. Пешковой, каждая фракция имела свою каптерку. В ней сосредотачивались все денежные переводы и посылки, получаемые заключенными от родных.

Из Пертоминска на Соловки была переброшена большая группа заключенных. С ними прибыл и конвой. Режим оставался прежним, оставалось только освоить новое место заключения. Из личных книг заключенных была создана библиотека. Церквушка, примыкающая к красному корпусу, была превращена в «культ». Там проводились собрания коллектива, занятия школы, созданной самими заключенными, делались доклады на разные темы. В общем, шла повседневная арестантская жизнь. Получались письма, газеты. Кое к кому из заключенных приехали на свидание жены и матери. Новым, характерным для Соловков, было одно — заключенные знали, что Соловки на зиму будут отрезаны от всего мира. В конце декабря закроется навигация, и на шесть долгих месяцев прекратится всякая связь с материком, разве когда пробьются поморы на своих утлых лодочках через узкую полосу незамерзающего бурного течения. И

по лагерю ползли нехорошие слухи. Намечается изменение тюремного режима. Тюремная жизнь завинчивается. Ликвидируется политрежим.

Откуда пришли и как проникли эти слухи, сказать трудно — тюрьма всегда живет слухами. На тюремном языке их называют «парашами».

Слух о завинчивании режима креп. Заключенные начали нервничать. Что сулит им зима на отрезанном от мира острове? Режим тюремный — жизнь для заключенного. Режим мягкий — заключенному есть чем дышать, чем жить за тюремной стеной. Режим завинчивается — и начинается борьба за жизнь, борьба за режим.

В один из приездов на Савватиевский скит начальник управления Соловецких лагерей Эйхманс объявил старостам, что им получен новый приказ, новые инструкции о режиме для политзаключенных на Соловках, что в настоящее время он уточняется и постепенно будет вводиться в жизнь. Пока он сообщает, что с 20 декабря переписка ограничивается тремя письмами в месяц и прогулочное время будет сокращено. С поверки, с 6 часов вечера до 6 часов утра заключенным будет запрещено выходить из корпусов.

Старосты, даже не советуясь с коллективом, сразу заявили Эйхмансу, что такого нововведения коллектив не примет, что оно невозможно в условиях Соловков. Не выходить из корпуса после 6 часов вечера заключенные не могут хотя бы потому, что ужин разносится из корпуса в корпус после 6 часов. Ограничение же переписки на Соловках, где зэки пользуются правом переписки фактически только полгода, да и переписка идет очень замедленно из-за частых простоев пароходов, сводит всю переписку на нет. Свое заявление старосты сделали и для того, чтобы прощупать настроение администрации, может быть, узнать из разговора, какие еще изменения несет новая инструкция.

Ни в какие разговоры Эйхманс вступать со старостами не стал. Он коротко объявил, что инструкция ему дана, и, начиная с 20 декабря, он будет осуществлять ее всеми мерами.

20 декабря было сроком прекращения навигации; значит, администрация намерена была осуществлять новую инструкцию тогда, когда всякая связь с волей будет прервана. Неясные слухи превратились в еще более ясную действительность.

Общее мнение всех зэков всех фракций было едино: подчиниться и принять новый режим нельзя. Отказ Эйхманса объявить инструкцию в целом, очевидно, возникал из желания отнимать у зэков одну привилегию за другой, тихой сапой завинчивая режим. Решение не принимать новый режим было у всех, но по поводу способов борьбы за режим сразу наметились расхождения. Эсеры, левые эсеры и анархисты решили: прогулок на тюремном дворе не прекращать, и, что-

бы гуляние продолжалось весь день, разбились на группы, которые сменяли друг друга в определенные часы и до, и после поверки, проводимой в 6 часов вечера. Социал-демократы сочли, что демонстрировать прогулки после 6 часов вечера не нужно, что следует присмотреться к тактике администрации.

Между тем в Савватиево прибыл новый начальник скита Ногтев. На переговоры к нему в 5 часов вечера 19 декабря пошел староста эсеров Иваницкий. Гулявшие во дворе товарищи видели, как Иваницкий вернулся в корпус. Ногтев его не принял.

Лагерь жил еще спокойной жизнью. Каждый занимался своим делом. Обычно в 6 часов вечера с колокольни скита ударами в колокол объявляли поверку. До поверки зэки гуляли во дворе. Гуляла и Сима со своими друзьями — Жоржем Кочаровским и его женой Лизой Котовой. Гуляющих было довольно много. Внезапно они увидели, что из административного корпуса выходит наряд конвоиров с ружьями наперевес. Цепь конвоиров окружила весь прогулочный двор, и сразу же раздалась команда: «Заходи в корпус!» и «По мишеням пли!» Раздался залп. Все, кто был в корпусе, услышав выстрелы, вскочили, бросились к окнам, к лестнице, на двор. Навстречу им несли уже раненых и убитых. А на дворе зазвучала новая команда и раздался новый залп. Зэки поднимали раненых товарищей и несли их в корпус. В дверях создалась пробка. По ней, по толпе, заходящей в корпус, был выпущен третий залп.

Жорж Кочаровский, высокий широкоплечий мужчина, после первого залпа пытался загородить собой Симу и Лизу. Он свалился, тяжело раненный в живот. Лиза, убитая наповал пулей, попавшей ей в затылок, сползала на землю из рук Симы. Пять пробитых пулями дырочек показывала нам Сима на своем пальтишке. Сима осталась цела.

В тот день дежурный на Соловках не звонил в колокол на поверку. Шесть человек убитых и трое тяжелораненых были занесены в корпус за 20 минут до поверки, до 6 часов вечера.

Эсер Белкин, врач по специальности, пытался оказать первую помощь раненым. Жорж Кочаровский, крепкий, здоровый, молодой, не хотел умирать. Двое суток он оглашал корпус своими криками. Весь живот его был разворочен, разорван в клочья. Кронид Белкин извлек из раны разрывную пулю.

20 декабря в скит прискакал Эйхманс. Он вызвал в административный корпус старост. Он заявил им о печальном недоразумении, о снятии Ногтева с поста, об отдаче его под суд. Старосты скита не вступили в беседу с Эйхмансом. Они заявили только, что двоих тяжелораненых нужно немедленно направить в больницу, что зэки хотят сами похоронить убитых товарищей. Эйхманс разре-

шил все. За колючей проволокой вдоль ограды зэки выкопали братскую могилу. В день похорон весь лагерь был выпущен за ограду. Шесть гробов были спущены в братскую могилу. «Вы жертвою пали...» — пел хор арестантов. Большой валунный камень был водружен на могилу. На нем высекли товарищи имена погибших. Может быть, и сейчас еще лежит этот камень возле Савватиевского скита. Я знаю только, что после вывоза с Соловков политзаключенных в 1925 году он был повернут так, чтобы имен погибших не было видно.

Мертвые были похоронены, живые должны были жить дальше. Жить дальше должен был муж убитой 19 декабря Наташи Бауэр, друзья убитых, их товарищи. Ни о каком изменении режима, ни о какой новой инструкции никто не говорил больше: ни зэки, ни администрация. Заговорили о ней ровно через год, когда я была уже на Соловках.

Весной 1924 года, когда возобновилась навигация, из Москвы на Соловки прибыла комиссия ОГПУ для разбора дела. К этому времени зэки уже знали, как лживо было описано событие 19 декабря в коммунистических газетах. В «Правде» петитом была набрана маленькая заметка о том, что на Соловках при столкновении конвоя с зэками, напавшими на конвой, было убито шесть человек. В коммунистической «Роте фане» был помещен целый подвал, описывающий бунт зэков на Соловках. В ней говорилось, что взбунтовавшиеся зэки установили сигнализацию между скитами и, вооруженные вилами, топорами и другим оружием, напали на конвой.

Зэки Савватия через своих старост заявили комиссии, что показания они будут давать лишь в том случае, если в разборе дела примут участие представители общественности, хотя бы Красного Креста. Твердо отказались зэки давать показания и потому, что узнали дальнейшую судьбу Ногтева. Он, будто бы снятый с работы и отданный под суд, на самом деле работал начальником другого лагеря, из которого на Соловки прибыли новые зэки.

Соловки

Пароход отправлялся на Соловки. Из всех бараков выводили зэков. Я еще не видела такой большой партии арестованных. Оборванные, худые, поднимались они по сходням парохода и ныряли в трюм. Когда нас погрузили на пароход, трюм был полный. Нас поместили на лестнице, спускающейся в трюм, у самого люка. Люк не закрывался, всю дорогу мы могли любоваться морем!

Раньше мне не приходилось видеть моря — никогда не видела водной шири, никогда не плавала на пароходе. И я смотрела, не отрываясь, на необозримый простор, на пену на гребнях волн, на чаек, летающих и ныряющих в волнах.

После унылого Попова острова я не могла ожидать того чудесного вида, который открылся передо мной при приближении к Соловкам. Над морем круто вверх поднимался берег. На нем, у песчаной отмели, большие зубчатые стены кремля на зеленом фоне векового леса. Весь остров утопал в зелени. Не отрываясь, смотрели мы на край нашего нового жительства. Но кончилась красота природы, пароход причалил к берегу, началась арестантская жизнь. Первыми сошли на берег мы, женщины. Мужчины еще оставались на пароходе, когда нас ввели в кремль, а в нем — в маленькое сводчатое помещение. По разбросанным там и тут вещам мы поняли, что помещение обитаемо, но самих обитателей мы не застали. Из окошечка, узкого и забранного решеткой, но открытого, лился свет и свежий воздух.

Мы не успели ни сесть, ни оглядеться, как услышали веселые женские голоса. Дверь отворилась.

Мы увидели трех еще совсем молодых девушек. Каким-то светлым видением показались они мне на пороге тюремной кельи. В светлых легких летних платьицах, со спущенными косами за плечами, оживленные, возбужденные, веселые. Они не подходили к тюремной атмосфере, диссонировали с ней. Я сначала не поняла, кто же эти веселые и цветущие девушки. Мы же, наверное, походили на арестанток, по крайней мере, девушки сразу догадались, кто мы. Так и познакомились: Люся Ионова, Тася Попова, Аня Бахман и мы.

Аня была старшей из них. Ей было около 19 лет. Тася и Люся были моложе. Все они прибыли на Соловки предыдущим пароходом и жили в кремле в ожидании своей дальнейшей судьбы. Привезли их из Ленинграда вместе с большой группой студенческой молодежи. Сейчас они вернулись с прогулки. Ежедневно их водили гулять по острову вместе с «мальчиками» — так называли они мужскую молодежь своего этапа. На прогулке их сопровождал обычно конвоир. Если конвоир попадался хороший, то его почти не чувствовалось. Вот и сегодня конвоир разрешил даже покататься на лодке вдоль острова.

Нам девушки очень обрадовались. Они спешили выговорить все, что накопилось в их душах. После следствия по студенческому делу в Ленинграде, после тоскливого заключения в тюрьме их вывели на этап. В вагоне они встретились со своими товарищами — студентами. Всю дорогу до Кеми они пели революционные песни. Конвой бесился, он не давал им ни капли воды. В ответ на это, подъезжая к каждой станции, студенты кричали в окна: «Воды! Воды!» Надзор хотел применить репрессии, потащил кого-то в вагонный карцер. Тогда студенты устроили настоящую обструкцию и выбили окна вагона.

Кто были эти девушки?

Люся Ионова была дочерью старого народовольца, каторжанина. Выросла в каком-то ссыльном городке. Она с трепетом говорила об эсерах. Аня, кажется, сочувствовала эсдекам. Тася еще не знала, к какому направлению примкнуть. Они все трое говорили о том, как ждут встречи со старшими товарищами, как мечтают в тюрьме выработать свое мировоззрение.

Наперебой угощали они нас вкусными вещами. Папы и мамы, провожая своих дочек в этап, принесли им столько еды и лакомства, что они до сих пор не смогли с ними справиться. А здесь, в кремле, получили уже и новые посылки.

Помещение, в котором мы находились, было так мало, что шесть человек не могли разместиться. Нам и не пришлось в нем ночевать. Сбылось то, о чем мечтали девушки. Вечером нас, шестерых женщин, перевели в огромный кремлевский зал к мужчинам. Зал был уставлен койками, нам отвели одно крыло его, отделенное сводами и арками. Здесь находились наши товарищи по этапу и студенты-соэтапники Люси, Ани и Таси. Юноши производили более серьезное впечатление, но и они были еще неоперившимися птенцами. Мечталось им о всяких идеалах, свободе, справедливости, равенстве, — тех идеалах, на которых вырастало их поколение. Все свои силы готовилась молодежь отдать им. Много недоуменных вопросов вставало перед ними, со многим спорным и неясным столкнулись они, попав за решетку. Со всеми этими вопросами обратились они теперь к первым встреченным старым социалистам.

Больше всего волновал группу один вопрос. В их среде находился парень лет 18, Вова Коневский. Был он сухорукий: одна рука у него висела, как плеть. Во время следствия Вова вел себя недостойно: он не устоял, выложил перед следователем все, что ему было известно о борьбе студенчества за свободную школу, назвал имена ряда товарищей. После приговора, встретившись с товарищами, он признался им во всем. Молодежь не могла прийти к единому решению. Одни бойкотировали его; другие считали невозможным осуществлять бойкот, потому что Вова больной, однорукий и без помощи товарищей погибнет в тюрьме; третьи, наконец, полагали, что в связи с полным раскаяньем Вовы всю историю надо предать забвению. Но на наш вопрос о том, предал ли Вова, все отвечали, что предал. Коневский так и жил. Кто бойкотировал его, кто только сторонился. По большей части он бродил один, при нем воздерживались от споров и бесед, но окончательно отношений не порывали. Решился вопрос Вовы, когда приехали старосты принимать этап в скиты.

Приехали они во время уборки нашего помещения. На время уборки нас выводили из церковного помещения во двор. За мусором, собранным в корзины, приходили уголовные и уносили его. Уголовные рвались к нам на работу всегда:

они наедались у нас, да и с собой уносили куски хлеба, миски с тюремной похлебкой. Уголовные голодали. И одеты они были ужасно. Особенно запечатлелся в моей памяти один арестант. Он был одет, как и многие другие, в балахон, сшитый из церковной рясы. Из-под балахона на сухих, как жерди, ногах болтались рваные кальсоны, серые, как земля. Лицо его все оплыло от чирьев, осыпавших всю шею и голову.

Здесь впервые увидела я воочию цинготников. О цинге я знала раньше только из учебника географии.

Когда приехали старосты, я стояла на тюремном дворе, который подходил к самому берегу моря, у песчаного откоса, буквально кишевшего чайками. Толстые, неповоротливые, неуклюжие птицы бесстрашно шныряли у нас под ногами. Боже, как ужасно они кричали! Хотелось заткнуть уши и бежать прочь. Как не походили они на тех прекрасных птиц, которые носились над волнами, сопровождая наш пароход. Я вспомнила свое любимое стихотворение «Чайка» Бальмонта.

Чайка, серая чайка, с печальными криками носится
Над холодной пучиной морской.
Откуда примчалась, зачем, почему ее жалобы
Так полны безнадежной тоской?
Бесконечная даль, беспросветное небо нахмурилось,
Закурчавилась пена седая над гребнем волны,
Плачет северный ветер, и чайка рыдает, безумная,
Бесприютная чайка из дальней страны.

Мне было грустно, но грусть моя не ассоциировалась с этими отвратительными, действительно открывшими базар птицами. От мыслей меня отвлек чей-то голос: «Старосты идут». В наше помещение входили старосты. Товарищи, их знавшие, рассказывали мне:

— В шинели, среднего роста, худощавый, черноволосый, с карими горячими глазами — староста Савватиевского скита. Алексей Алексеевич Иваницкий прошел тяжелый путь революционера. При царизме он был приговорен к смертной казни, но с помощью товарищей бежал, жил на нелегальном положении, у него за плечами много лет каторги. Рядом с ним — Богданов, староста эсдеков, полная противоположность Иваницкому. Широкоплечий коренастый блондин, неплохой оратор, очень эрудированный человек, член ЦК СД. Конечно, тоже подпольщик царских времен.

С ними шли старосты Муксаломского скита. Старосты побывали уже в административном корпусе и теперь шли к зэкам. Кое-кого из прибывших они знали лично.

Савватиевский и Муксаломский скиты были переполнены. Старосты добивались от администрации лагеря открытия нового, третьего скита для политзэков на островке Анзерском, отделенном от Савватия проливом. Старшие товарищи уединились вместе со старостами скитов, обсуждая, кого принять в скиты и как распределить народ между скитами. Большинство нас, вновь прибывших, составляла молодежь. Направить ее одну во вновь организуемый скит было нецелесообразно. С молодежью решил ехать Студенецкий. От него не захотел отделиться Николай Замятин. Хотел переселиться в новый скит и муж Наташи Бауэр: ему очень тяжело было жить на Савватии, где все ежечасно напоминало ему о ее жизни и смерти. Я прямо дрожала от того, как решится моя судьба. Сима, конечно, возвращалась в Савватий. Мне не хотелось расставаться с ней, мне хотелось попасть в старый скит к старшим партийным товарищам. Просить о том, чтобы меня взяли на Савватий, я не решалась. Думаю, что за меня попросила Сима.

Когда список, распределяющий людей, был составлен, старосты ушли с ним в административный корпус, а мы обступили наших старших товарищей, стараясь узнать свою судьбу. Меня, Симу, Примака, Александру Ипполитовну, Тавровского и Волка-Штоцкого брали в Савватиевский скит. Студенецкий и Николай Замятин с группой молодежи направлялись на Анзерку. Группа студенческой молодежи, заявившая себя б/п, вывозилась на Конд-остров. С ней ехала Тася Попова. Потрясло меня и всю студенческую молодежь то, что Вова Коневский не вошел ни в одну группу, он оставался в кремле на общем режиме.

Вова Коневский — на общем режиме

Зэки, находившиеся в кремле, были разношерстны по своему составу и не имели никакой внутренней организации. Они жили по принципу «каждый за себя». Тюремный паек на общем режиме был хуже пайка политзаключенных. Лучше обеспеченные помощью из дома или умеющие добиться расположения администрации жили лучше; другие — голодали, заболевали цингой, умирали. Все они работали на разных работах. Если в скитах произвол администрации наталкивался на сопротивление коллектива, то в кремле ничего подобного не было. Голодный и без того тюремный паек часто разворовывался. Воровали все — сверху донизу: завхозы, повара, раздатчики пищи. Воровали и зэки друг у друга. Кремлевский режим был ужасен. Нам, молодым, он казался, во всяком случае, страшным. Нас ошеломило решение старост оставить Вову в кремле. Будь еще он здоров! Но он был болен. Сухорукий, он даже одевался с трудом. Во время следствия Вова предал своих товарищей, но ведь он молод, разве он не может

исправиться? Надо пытаться выправить его, а не выбрасывать из коллектива. Не толкать по наклонной плоскости.

Вова, очень расстроенный решением старост, держался мужественно. Вся молодежь окружила его теперь теплотой и вниманием. Даже те, кто в свое время бойкотировали его, выражали свое участие, обещали добиваться его приема в скиты впоследствии. Молодежь подчинилась решению старших товарищей, но согласна с этим решением не была и, чем могла, старалась смягчить удар, нанесенный Коневскому. Все мы знали: сейчас мы покинем кремль, уйдем в скиты, а Коневского переведут в бараки на общий режим. Я горячо спорила по этому вопросу с Иваном Юлиановичем Примаком. Меня поразила жестокость этого обычно мягкого и чуткого, даже нежного в отношениях с окружающими человека. Мне казалось даже, что его большие серые внимательные глаза стали холоднее и уже под черными нахмуренными бровями.

— У нас нет возможности проявлять чувствительность и сентиментальность, — говорил он. — Если Коневский стоящий парень, он оправится и поймет, что иначе поступить мы не имеем права. Мы не можем рисковать всем коллективом во имя Коневского, коллектив дороже Коневского. Что если мы его пожалеем, а он, как только наступят трудности, снова предаст? Кто будет в ответе за весь коллектив?

Рассуждения Примака казались мне неубедительными: передо мной стоял живой человек. Закончил спор Примак суровым голосом:

— Я был в худших условиях, чем те, в каких был и будет Коневский, и выжил. Выживет и он, а если сломается, значит, решение относительно него верно. Перед нами нелегкий путь.

Вспоминая о Коневском, я забегу вперед и расскажу о его дальнейшей судьбе. Полгода провел Коневский в кремле. Его состоятельные родители помогали ему переводами и посылками. Но тосковал он очень. Через полгода под нажимом молодежи Коневский был принят в скит. Окончив срок тюрьмы, а может быть и ссылки, Коневский вернулся в Ленинград. Там он встретился с другими вернувшимися из ссылки товарищами. В 1935 году вместе с группой других был арестован вновь и Коневский. И снова он выдал всех, больше того — он давал показания о том, что было и чего не было, оговорил товарищей. Рассказала мне об этом Тася Попова, привезенная в Суздальский политизолятор в 1936 году по окончании следствия. Ее, ее мужа, Массовера и еще ряд товарищей Коневский предал и оговорил. Так утверждала Тася, она была в этом убеждена.

Мне было уже 36 лет. Больше 12 лет отделяло меня от юношеского спора с Примаком, но суровый взгляд его серых глаз я видела так же ясно и теперь.

Я будто слышала, как он говорил: «Жестока жизнь, и часто приходится быть жестоким». Милый Иван Юлианович! Как трудно было спорить, наверное, тогда с наивной и прекраснодушной девушкой. Он не убедил ее тогда! Увы! Жизнь потом убедила.

В Савватиевском скиту

Сима и Александра Ипполитовна уехали вместе со старостами, и через несколько дней, когда наш этап шел к скиту, я знала, что там есть знакомый и близкий мне человек, но на сердце было тревожно. Прошло следствие, этап, чередовались впечатления. Теперь я водворялась на постоянное местожительство на три года. Как сложится здесь моя жизнь? Я рвалась навстречу новым товарищам и в то же время стеснялась их. Все они казались мне людьми необыкновенными, несравненно выше меня стоящими, людьми, имеющими целый ряд заслуг перед народом, перед революцией. А я? Кроме желания и стремления отдать свои силы на завоевание счастья народного у меня ничего не было, я считала себя не вправе даже быть членом партии эсеров. В тюремной запертой камере люди быстро сживаются, сама жизнь толкает их друг к другу. Иначе в большом савватиевском коллективе. Здесь люди уже сжились, разбились на группы, связанные дружбой, симпатией, приязнью.

Почти год прожила я в Савватиевском скиту, более или менее близко узнала товарищей по партии. Что же касается зэков других фракций, то многих я едва знала в лицо или же по фамилии. Я чувствовала, что товарищи ко мне присматриваются, как бы прощупывают меня. Это не было мне неприятно. Но многое вокруг казалось непонятным для меня. Я не могла понять розни отчуждения между фракцией эсеров и фракцией эсдеков. Почему в скиту, несмотря на трудности, люди расселены по камерам, исходя из их партийной принадлежности? Много надо было узнать и понять.

А пока я шла этапной группой от кремля к Савватию. Дорога шла лесом. Кое-где огибала она озера, цепью смыкающиеся, вырытые когда-то ледником. Был конец августа. Лес жил непотревоженной жизнью. Ни звери, ни птицы не боялись людей. Монахи не занимались охотой. Богомольцы, приезжавшие в обитель, тоже. Другого населения на Соловках не было.

С возникновением лагеря на острове появились новые люди, но положение зверей и птиц не изменилось. Охота осталась запрещенной. Часто приходилось нам слышать поучения командиров надзирателям, упражнявшимся на плацу перед нашими окнами: «Патроны беречь. Ни одного выстрела, иначе как по зэкам».

То и дело через дорогу перебегали зайцы. Усаживались на обочину дороги и, навострив уши, смотрели на проходящих мимо людей.

Пока этап шел, со мной рядом шагал Иваницкий.

Он расспрашивал меня о моем деле, о воле. Я знала, что ему я могу все рассказать. И всех, кого я знала, о ком слышала, знал и он. Он же объяснил мне, почему у эсеров нет ЦК, а только ЦБ. Когда эсеровский ЦК был арестован, созвать съезд партии не было возможности. ЦК заменило избранное собравшейся группой Центральное Бюро. Иваницкий сказал мне, что с двумя членами ЦБ первого созыва я познакомлюсь в Савватии. Он не назвал мне их фамилии. Позже я узнала, что одним из них был он, вторым был Гельфготт, о котором я много слышала от Симы. Иваницкий много рассказывал мне о Соловках, о прежней жизни монахов и богомольцев на острове.

Когда заключенных перевозили из Пертоминска, монастырь только ликвидировался. Заключенные постоянно наталкивались на брошенные кресты и иконы, монастырскую утварь. Жили монахи на Соловках сыто, но до смешного примитивно. Был, например, у них свечной заводик. И сейчас еще старичок монах, представляющий этот свечной заводик, одиноко живет в своей келье. Он топит воск и каплет им на скрученный фитиль нити. Век свой прожил этот старичок на Соловках. Иваницкий его видел, беседовал с ним. Многое он рассказал Иваницкому о заточении в монастыре в былые годы.

<...>

Наш переход — этап к Савватию — ничем не напоминал этап. Конвоиры шли спокойно, они не равняли строй, не торопили. Мы шли без окриков, без соблюдения строя. Никто не мог встретиться на этой уединенной дороге. Некуда было бежать арестантам.

Когда дорога завернула к Савватию и строение скита показалось из-за деревьев, Иваницкий сказал мне:

— Перед вами всеми, прибывшими с воли, стоит большая задача. Наша жизнь здесь застоялась, вы увидите много болезненных явлений в жизни коллектива. Тяжело пережили мы 19 декабря, тяжело живем дальше. Вы — свежие люди, и вы должны внести освежающую струю. Помочь изжить прошлое.

По плечу ли была задача нашей маленькой горсточке, вливающейся в коллектив?

Тепло и радостно встретили заключенные вновь прибывших. Все гулявшие во дворе товарищи окружили нас, как только мы вошли за ограду колючей проволоки. Иваницкий попросил кого-то проводить меня в женскую эсеровскую камеру. С двумя спутниками, несшими мои вещи, я вошла в большой корпус

и поднялась на второй этаж. Монастырская гостиница, отведенная теперь под заключенных, ничем не походила на тюрьму. От узкого полутемного коридора, идущего в обе стороны от лестничной площадки, налево и направо выходили двери номеров-камер.

Мы вошли в женскую эсеровскую камеру. Светлая, чистая, свежепобеленная, с двумя большими, настежь открытыми окнами, выходящими на озеро, камера была полна света и воздуха. Конечно, никаких решеток. Посреди камеры стоял небольшой, покрытый белой скатертью стол. Вдоль стен четыре топчана — аккуратно застеленные постели. У каждой по маленькому столику. На них — книги, тетради, чернильница. В углу, у двери, над табуретом с тазом висел умывальник. У одного из столиков, забравшись на топчан с ногами, сидела Сима и читала книгу. Такая, какой я привыкла ее видеть. В коричневом платье, с волосами, перевязанными большим черным бантом. Радостно поднялась она мне навстречу:

— Наконец-то и вы с нами! Знакомьтесь скорее.

В камере, кроме Симы, жили еще три заключенные. Клавдия Порфирьевна Седых, худощавая, очень серьезная с виду, тридцати двух лет; была она сибирячкой, по профессии учительницей. На Соловках, в школе заключенных, она преподавала русский язык и литературу. Свой предмет она очень любила и вела его так, что многие заключенные, образованные и знающие люди, шли все на отдельные занятия, просто чтобы послушать Клавдию Порфирьевну. Прасковья Григорьевна Муралова — 29 лет. Не успела закончить высшую школу. Продолжала свои занятия, изучала высшую математику. Весь столик ее был завален толстенными книгами. Она занималась не одна. Еще двое товарищей вместе с ней грызли «корень науки», как шутила Клавдия Порфирьевна. Третьей затворницы не было в камере, но вернулась она тут же. Это была Александра Ипполитовна. За плечами ее стоял завхоз. Он пришел позаботиться о моем устройстве. Как бы извиняясь, он говорил:

— Придется потесниться, у нас эсеровских камер всего две. Со временем перегруппируем мужчин, а пока — в тесноте, да не в обиде.

В камеру двое товарищей внесли топчан. Передвинули, сдвинули стоявшие. Сокамерницы огорчились, что для меня не удавалось поставить столик — еле втиснулась маленькая тумбочка.

— Вы будете заниматься за моим столом, — сказала Сима, — или за общим, как захотите.

Я очень устала за день, полный новых впечатлений. Больше всего мне хотелось остаться одной. Тяжело начинать жизнь на глазах у посторонних людей. Хоть как-нибудь уединиться можно было только на своей койке. И, посте-

лив постель, я легла, укрылась, повернулась лицом к стене. В конце концов я уснула.

Разбудил меня утром крик в коридоре: «Первый кипяток!» Я поднялась, села на постели. Сима уже не спала. Она лежала, читая.

— Спите еще, — сказала она, — мы встаем, когда раздается третий кипяток.

Действительно, по крику «Второй кипяток!» женщины начали вставать, а когда закричали «Третий!», дежурная по камере спустилась на кухню и принесла два чайника — один с кипятком, второй, маленький, с заваркой. Она накрыла стол скатеркой, поставила чайные чашки с блюдцами, положила чайные ложечки, хлеб, аккуратно нарезанный ломтиками, сахар-песок в вазочке. Мы собирались сесть за стол, когда в дверь постучали. В камеру зашел завхоз с большим деревянным подносом. На подносе были разложены порции сливочного масла. Одну из них, размером в две спичечные коробочки, он положил на наш столик. Я не могла скрыть своего удивления ни сервировкой стола, ни самим завтраком. Товарки мне объяснили:

— Мы хотим жить по-человечески, а питание наше складывается из тюремного пайка, продуктов, присылаемых Красным Крестом, и того, что присылают родные.

В скиту была общая каптерка. Из находящихся в ней продуктов наши повара готовили обеды и ужины. Продукты из посылок родных поступали во фракционные каптерки. Эсеры сдавали все свои продукты из посылок, все денежные переводы. Коммуна была полная. Так же поступали «леваки» и «анархи». Социал-демократы были против так жестоко осуществляемой коммуны-уравниловки. Лакомства, предметы роскоши, то, чем родные хотели побаловать, оставались у заключенного в его полном распоряжении. Все книги сдавались по списку в общую библиотеку. При выезде владельцу по желанию книги возвращались. Библиотекарь выдавал книги читателям. Такая организация жизни давала возможность улучшить положение заключенных, создать особое повышенное питание для слабых и больных. Из фракционных каптерок им выдавались дополнительные продукты.

Эсеры и эсдеки

В жизнь коллектива я входила постепенно, с трудностями. Не все сразу стало мне понятно в сложившемся строе жизни. В первые же дни меня зазвал в свою камеру Богданов. Мне было понятно: все старые сидельцы хотели говорить с человеком, недавно пришедшем с воли. Богданов жил в маленькой уютной камере, которая сразу поразила меня. Она походила скорее на рабочий кабинет, а

не на тюремную камеру. И письменный стол, и кресла, и побелена по-особому. Богданов расспрашивал меня о воле, о студенческой жизни. На стол он поставил коробочку шоколадных конфет. Я отказалась от сластей.

— Не любите? Или по принципиальным соображениям? — спросил меня Богданов.

— По принципиальным, — смеясь, ответила я. — Я думаю, конфет хочется не только тем, кто получает их в посылках.

Богданов стал серьезнее.

— Мы простые люди, а не святые. Допустим, от себя мы еще можем потребовать. Но вправе ли мы требовать от наших родных? Они, может быть, отказывая себе во всем, шлют брату, мужу или сыну, что могут, чтобы побаловать его, скрасить его участь. Почему мы должны лишать человека маленькой радости? Да и станут ли родные слать эти мелочи, если узнают, что они не попадут адресату?

— Зачем же их уведомлять об этом? — перебила я Богданова.

— Ну, мы не святые. Мы не можем ущемлять своих родных, принимать их жертвы для соседа.

Я опять перебила Богданова:

— А для себя?

— Я буду просить родных высылать продукты, деньги и сдавать их в каптерку. Так должны делать мы все, улучшая питание свое и своих товарищей. Но балуют родные меня, именно меня. А я побалую того, кого приятно побаловать мне. В данном случае — вас. Каждый живет по-своему.

Я взяла конфету. Мне было неудобно не взять. Не помню всего, о чем мы говорили с Богдановым. Пробыла я у него в камере недолго. Богданов мне не нравился своим авторитетным тоном, своей самоуверенностью. Однако, должна сознаться, внимание, проявленное ко мне старостой социал-демократов, мне льстило.

Вечером, гуляя по коридору с Иваном Юлиановичем, я спросила:

— Почему у Богданова при общей тесноте отдельная камера?

— Каждому старосте коллектива выделяется одиночка. Она ему необходима для бесед с товарищами и для отдыха. Поймите, какую нервную работу он ведет. Ведь он отвечает за жизнь коллектива.

— Почему же у Иваницкого нет отдельной комнаты? — спросила я.

Иван Юлианович рассмеялся.

— Потому что он — Иваницкий, а не Богданов. Ему выделена одиночка, но он, зная о тесноте в коллективе, позвал в свою камеру товарища.

— А почему у Богданова кабинет, а у Иваницкого койка под суконным одеялом?

— Я не имел чести быть у Богданова, — резко сказал Примак и сразу мягче добавил: — вероятно, социал-демократы находят нужным, чтобы их староста так жил. Вы замечаете, — уже посмеивался Примак, — что они уже и вас уважают, раз их староста пригласил вас к себе.

Этого я не заметила, но я заметила другое. Многие мои товарищи по фракции обратили внимание на то, что я была у Богданова. Я не понимала, в чем дело, а спросить прямо я не умела. Я чувствовала, что между фракцией эсеров и эсдеков какая-то отчужденность. Отдельные члены из разных фракций поддерживали между собой хорошие товарищеские отношения, но на них большинство косилось. В то же время я чувствовала в коллективе какую-то нервозность, болезненную настороженность. Недавно пришедшая в тюрьму с воли, я не могла понять повседневную тюремную жизнь. Меня поражало то, что во время прогулок многие заключенные ходят в одиночку по тюремному дворику, вышагивая круг за кругом. Я не могла еще понять тяги к одиночеству. Я стала избегать встреч с Богдановым. Мне хотелось уяснить, почему мои товарищи не одобряют общения с ним. Помогла мне Александра Ипполитовна.

— Очень непросто живем мы в тюрьме. За годы сидки наслоились груды переживаний. Они размежевали коллектив. Эсеры и социал-демократы не просто разные партии. Люди, примкнувшие к этим партиям, резко отличаются друг от друга. Они разные по складу мышления, по взглядам, по образу жизни. Мы говорим «типичный эсер» или «типичный социал-демократ». В тюрьме эти различия особенно выпирают наружу. Сравните Иваницкого и Богданова. В тюрьме эти разные люди вынуждены жить рядом. Мало того, они вынуждены рядом противостоять администрации тюрьмы. Линия поведения в тюрьме у социалистических фракций разная. Вы знаете, что 19 декабря среди убитых не оказалось ни одного социал-демократа? И это не случайность: социал-демократы были на прогулке во дворе только потому, что все произошло до шести часов вечера. После шести их не было бы. Богданов — человек очень крупный. Никто не умаляет его достоинств. Возможно, товарищи опасаются его влияния на вас. Весь наш коллектив разбит сейчас на две группы: сторонники активной борьбы за режим и сторонники пассивного сопротивления. Здесь каждый человек на счету. Многие насторожились: с кем будете вы? Вы заметили, наверное, что Сима демонстративно дружит с социал-демократами. Многие ее за это осуждают. Я не осуждаю. Я просто не понимаю, как и зачем сохраняет она эту близость в нашей обстановке? А Богданов, конечно, хочет, чтобы среди эсеров было как можно больше согласных с его тюремной тактикой.

Очевидно, в моих письмах к отцу проскользнуло достаточно намеков на жизнь в Савватии. Папа удивленно спрашивал меня в письме: «Неужели в тюрьме вы делитесь на группы?» В словах отца мне слышалась укоризна.

Чем дольше я жила в Савватии, тем больше убеждалась, что так жить дальше коллектив не может. Часто и подолгу о жизни коллектива говорила я с Примаком, с которым очень подружилась. В Савватиевский скит я попала в начале сентября. Проходила осень. Близилась зима. Близилось закрытие навигации. В числе заключенных было несколько человек тяжелобольных. И прошлую зиму коллектив перенес тяжело. Появилась цинга. Особенно быстро поддались ей сибиряки и дальневосточники. Им тяжело давался сырой соловецкий климат. У них распухали ноги, товарищи на руках выносили их на воздух. С прошлого года здоровье людей ухудшилось. Завхозы изыскивали все возможности подкармливать больных за счет здоровых. Это приводило к тому, что больные продолжали жить, а здоровье здоровых изнурялось и число больных росло. Ни свежего мяса, ни овощей, ни молока на Соловках не было. Картошка считалась деликатесом. Когда она входила в меню, 10—12 человек чистили ее часами. Клубни едва превышали голубиные яички, а готовили обед на 250 с лишним человек. С медикаментами тоже было из рук вон плохо. Без конца подавались начальству заявления о вывозе больных на материк. Ответа не поступало. Особенно тяжело было одной заключенной с больным сердцем. Кронид Белкин, заключенный врач, опасался за ее жизнь. Днями и ночами по очереди дежурили мы у ее койки. Неделями жила она на камфоре, а запас камфоры подходил к концу.

Тревожило заключенных и новое наступление администрации на режим. О сокращении прогулок речи не поднимали, но об обязательном принудительном труде для политзаключенных Эйхманс поднимал разговоры со старостами. Вопрос о новой инструкции, заглохший после 19 декабря, поднимался вновь. Вновь предполагалось завинчивание режима с закрытием навигации. Все больше появлялось сторонников предложения добиться от администрации, не дожидаясь прекращения навигации, сохранения политрежима на Соловках или же вывоза всех политзаключенных с Соловков.

Все фракции скита были едины в вопросе об отстаивании политрежима, но методы борьбы за режим были разные. Социал-демократы заняли особую позицию. Были и в эсеровской партии сторонники их позиции, но их было ничтожное меньшинство. Все считали необходимым довести до сведения Москвы, пока есть еще связь, что политзаключенные Соловецких островов не примут нового режима, что свои права они будут отстаивать до конца. Все, кроме социал-демократов, считали, что заявление свое политзаключенные должны подкрепить

определенным разъяснением слов «до конца», то есть указать, что в случае неудовлетворения их требований они начнут голодовку.

Примак был по темпераменту активным, решительным, упорным. Он стоял среди тех, кто считал, что мириться с завинчиванием режима нельзя. Он рассказывал мне о борьбе, которую вели заключенные за режим в царских тюрьмах. Он говорил, что сдача позиций, уступки заключенных под нажимом по мелким вопросам ведет к сдаче всех позиций, к разложению, ослабляет сопротивляемость коллектива. Но выговорить слово «голодовка» ему было трудно. Примак был тяжело болен. Его включили в список тех больных товарищей, о вывозе которых на материк настаивали заключенные. Он знал, что в случае голодовки коллектив запретит ему, как больному, принимать в ней участие. И все же он не считал возможным подачу заявления с требованиями без указания, чем они подкрепляются.

— Если требования действительно жизненно важны для нас, мы боремся за них, а пустые, ничем не подкрепленные декларации ни к чему не ведут. За режимные требования здесь, на Соловках, уже пролилась кровь. Товарищи не могут забыть утрат. Уступить для них означает оскорбить память погибших 19 декабря.

Последнее замечание Примака звучало для меня особенно убедительно. Весь коллектив был болен. Он не пережил декабрьский расстрел, он умолк, сжался в комок, но внутри него все дрожало, было все напряжено. Я знала, что на Соловках каждая мелкая стычка с администрацией может привести к катастрофе. Коллективу нужна разрядка. Ему нужно сознание, что та кровь, которая пролилась, пролилась недаром.

Я мало ознакомилась с людьми, окружавшими меня. Кое-кого я знала ближе, но огромное большинство было мне вовсе неэнакомо. Весть о том, что психически заболел Н., конечно, меня очень взволновала. Его я не знала, но видела. Сперва даже никто не говорил о психическом заболевании. Говорили о повышенном нервном состоянии. Принимали всяческие меры к его успокоению. Выделили больному одиночку, окружили товарищеской заботой и вниманием. Но подавленное состояние сменилось возбужденным. Мания, охватившая Н., состояла в том, что им открыта тайна построения социализма на всем земном шаре. Что социализм будет осуществлен без борьбы и усилий, путем взаимодействия Земли и Луны. Сперва он только пытался всем растолковать свое открытие, затем стал добиваться осуществления его. Он бесновался, крушил все, что попадалось под руки. Откуда-то взялась непомерная сила. Самые сильные не могли удержать его. Наконец из Москвы пришло разрешение на вывоз его

на материк в клинику для душевнобольных. Как взять его? Как добиться спокойного отъезда? Картина вывоза Н. Козлова, рассказанная нами товарищам, вставала перед глазами.

Когда из кремля за Н. приехали конвоиры, старосты сообщили ему, что за ним из Москвы приехали от Сталина. Сталин вызывает его на доклад, чтобы ознакомиться с его теорией. Н. обсудил со старостами вызов. Но проявил недоверие. Он заявил, что рискнет доверить тайну ЦК Коммунистической партии, но так как его могут убить по дороге, он хочет обнародовать ее на месте. Он потребовал перед отъездом созыва общего собрания скита, чтобы сделать сообщение.

Для успокоения Н. было устроено общее собрание. На собрании я увидела его впервые. Высокий тонкий юноша с обыкновенным, по-моему, совершенно нормальным лицом вышел к собравшимся. Совершенно спокойно начал он свое сообщение. Он говорил ясно и четко, но постепенно в произносимых словах не стало никакого смысла. Более жуткой картины я не видела. Не выдержав, я ушла в свою камеру. Мне просто было страшно. Прямо с собрания Н. увезли от нас.

В эти тревожные дни неожиданно вывезли на материк и Примака. Состояние его здоровья было очень серьезным. Всего несколько минут дали ему на сборы. Долго ли собраться арестанту? Иван Юлианович простился с коллективом. Он зазвал меня в свою камеру. На минуту мы остались вдвоем.

— Мне грустно расставаться с коллективом и с вами. Увидимся ли мы, я не знаю, но думать и помнить о вас я буду.

Он обнял меня. Мы крепко поцеловали друг друга. Разлука с Иваном Юлиановичем была моей первой тяжелой разлукой. С ним мне было легко говорить. Он разъяснил мне многое.

Первые месяцы моего пребывания на Савватии спокойной, нормальной жизни почти не было. На собрании, на прогулке, в камере, в коридоре — все толковали об одном: о борьбе за режим. В том, что борьбу вести придется, никто не сомневался. Спорили о том, как ее проводить. Социал-демократы во главе с Богдановым приводили всевозможные доводы против голодовки. Они утверждали, что массовые голодовки, в которых принимают участие сотни заключенных, обречены на неудачу. Что в условиях Соловков, где заключенные изолированы по трем скитам, она становится невозможной. Ведь даже предварительный сговор со скитами наталкивается на бесконечные трудности. Во время же голодовки связь оборвется совсем. С этими доводами соглашались все, но другого выхода не находили.

Я впервые сталкивалась с тюремной борьбой за режим. Сможет ли коллектив выжить в условиях завинченного режима? Вокруг себя я видела стойких идей-

ных людей, но физически они были измучены, ослаблены годами заключения. И им войти в голодовку?

Что голодовка, раз начавшись, окажется длительной, не сомневался никто. Коллектив, каким я его застала, казался мне обреченным на борьбу. И чем раньше войдет он в нее, тем больше сэкономит сил, растрачиваемых на подготовку. Этот коллектив не выдержит завинченного режима ни физически, ни психически. Так казалось мне.

Левые эсеры и анархисты уже прекратили всякие переговоры с эсдеками, кто-то из них сказал мне:

— Вы верите им, вы думаете, что эсдеки верят в возможность избежать голодовки? Ничего подобного. Они хотят, чтобы голодали за режим мы. Они ищут путей, дающих им возможность не участвовать в общей голодовке. Их обычная тактика... <...> бороться за режим нашими руками. Они будут писать заявления, протесты... на это они молодцы. А голодать будем мы с вами.

Я возмущенно запротестовала.

— Как было в прошлом году, вы знаете? — продолжал мой собеседник. — Протестовали они, возмущались, кричали о том, что не примут новый режим. Богданов кричал громче всех. Но 19 декабря, когда во дворе убивали наших товарищей, он у дверей корпуса ловил своих и не выпускал их за дверь. Берег свои меньшевистские кадры. А в переговорах с Эйхмансом ораторствовал: «Вы хотите еще крови — будет и еще кровь!». Иваницкий так легко не аргументировал кровью своих товарищей. И теперь они хотят пожинать плоды, купленные ценой наших жертв.

Многие в коллективе думали так же. Однажды Саша Яковлев, Егор Кондратенко и Соломон Штерн, три заядлых эсера, залучили меня в свою камеру. Все трое были рабочими людьми без особого образования. Саша — многие называли его «святым», — молодой, в ореоле каштановых кудрей, с какими-то светящимися глазами, казалось, сошедший с одного из нестеровских полотен, бил меня этическими категориями. Егорушка, значительно старше, рабочий от станка, неказистый, ничего привлекательного по внешности не представлявший, брал иронией, скепсисом. Сема Штерн, более эрудированный, чем его товарищи, раззадоривая, поддерживал их отдельными репликами.

Запомнился мне из всего спора о эсдеках всего один Сашин аргумент:

— В нашей фракции тоже есть противники голодовки. Ваша Сима, или Гольд, или Иванов... Но они первыми начнут голодовку и последними ее снимут. Пусть бы и эсдеки так: спорили до момента решения, а потом присоединились бы к большинству.

— Нам бы отказаться сейчас от голодовки... Что бы тогда сделали эсдеки?

— Может быть, эсдеки в процессе голодовки присоединятся к нам, — ответила я на слова Кондратенко. Но мои собеседники только засмеялись в ответ.

Во всех трех скитах всеми фракциями было принято решение: отправить в Москву заявление еще до закрытия навигации. В нем было требование либо вывезти всех политзаключенных с Соловков в места заключения, расположенные на материке, либо сохранить существующий в настоящее время режим. Фракции эсеров, левых эсеров и анархистов подкрепляли свое требование голодовкой в случае неполучения положительного ответа к указанному в заявлении числу.

Для всех было ясно, что в случае возникновения голодовки всякая связь между Савватием, Муксалмой и Анзеркой будет прервана. Поэтому все переговоры во время голодовки и решение о ее снятии доверялись голодающим Савватиевского скита. Все сговоры в скитах и между скитами и теперь велись с большими трудностями, конспиративно. Заявления всех скитов и всех фракций были посланы в один день и час. Для ответа администрации предоставлялся двухнедельный срок. После подачи заявления нервная напряженность в лагере спала, спорить и дебатировать было не о чем.

Очень тяжелым для меня и моих товарищей был вопрос о переписке с родными. Конечно, с началом голодовки переписка оборвется. Родные знали, когда кончается навигация. Отсутствие писем в неположенное время будет волновать их. Но это и должно стать свидетельством тому, что на Соловках неспокойно. Я думала о папе. Всего несколько писем успела послать я с Соловков. Что будут думать, что будут переживать наши родные, не получая вестей? Мы тоже не будем получать писем. Но мы-то будем знать причину молчания...

Переписка с родными всегда была трудной для нас. Что можно писать из тюрьмы? И как можно писать, меня при моем прибытии на Соловки старшие товарищи инструктировали: письма, рисующие тяжелые и мрачные стороны, не пропускаются цензурой. Изображать нашу жизнь в оптимистических розовых тонах, чтобы успокоить родных, не рекомендуется. Такие письма или отрывки из писем выхватываются цензурой и публикуются в нашей и зарубежной печати, как хорошо содержатся заключенные в Советском Союзе.

Два наших товарища, желая ободрить родных, писали им бодрые письма, приукрашивая светлую сторону нашей жизни. В одном из номеров, кажется «Роте фане», получаемой нами, в подвале, посвященном жизни заключенных на Соловках, они прочитали свои письма. Их письма сопровождали измышления автора о рае на Соловках.

Трудно писать из тюрьмы, зная, что каждая твоя мысль, каждое твое настроение взвешивается на весах цензуры, приобщается к твоему делу, используется органами ГПУ. Знали мы об использовании наших писем, наших личных взаимоотношений точно. Для утяжеления судьбы заключенных ГПУ всегда использовало их личные переживания. Например, зная, что Таня Ланде разошлась со своим мужем Моисеем и полюбила Шестакова, ГПУ направляло их троих в одни и те же места заключения. И напротив, оно разлучало мужей и жен, даже в ссылках.

Голодовка

За день до указанного заключенными срока Эйхманс приехал в лагерь и заявил, что из Москвы получен отрицательный ответ.

Голодовка началась. По трем скитам голодали анархисты, левые эсеры и эсеры. Только очень серьезно больным и слабым товарищам коллектив запретил принимать участие в голодовке. В Савватии перед началом голодовки заключенные произвели переселение. Все неголодающие были переведены в одно крыло нижнего этажа, где помещалась кухня. По указанию старост, голодающие с первого дня разошлись по камерам и легли на койки. Надо было беречь силы. Не ослаблять себя. Настроение коллектива стало спокойным, уверенным. В победе мы не сомневались.

Меня интересовало чувство, испытываемое голодающими. Особенный, профессиональный интерес к голодающим был у Кронида Белкина. Его интерес был интересом научного порядка. Был он очень слабого здоровья, и голодание ему было запрещено коллективом. Как врачу, ему было разрешено администрацией лагеря ежедневно вместе с тюремным фельдшером обходить камеры с голодающими. В Савватии голодало около 200 человек. Поле для наблюдения было широким. Кронид переживал, что не может голодать вместе с нами, но профессиональный интерес не покидал его. Он вел ежедневные наблюдения и записи. Для нас его ежедневный обход был желанным. Он приносил нам вести о состоянии, настроении товарищей, о жизни всего коллектива. Приносил нам вести и Иваницкий. Он голодал, но все же обходил наши камеры ежедневно.

Голодающие все переносили очень разно. Одни мучительно ощущали голод с первого дня до последнего. Другие почти не ощущали потребности в еде. Голодовка наша не была «сухой». Воду мы пили. Самым неприятным для всех был привкус во рту, пересыхание языка, губ. Мне говорили, что в камере голодающих всегда спертый неприятный запах. Его сами голодающие обычно не ощущают. Совершенно и абсолютно ясное мышление мы сохранили во все дни

голодовки. Казалось даже, что мозг работает четче, чем обычно. Мы читали, занимались; Прасковья Григорьевна упорно решала задачи и выводила какие-то формулы.

Мы, женщины, целыми днями лежали на койках. Но мужчины, особенно молодежь, не выносили этого постановления старостата. Они бродили по камерам, и у нас нередко бывали гости. Особенно часто заглядывали Степан Гнедов, Вася Филиппов и Шура Федодеев. Крепкие, молодые, здоровые ребята не могли выдержать лежачего режима, а камеры наши находились по соседству.

Часто заходил проведать Симу Гольд. Это был странный и своеобразный человек. И в манере держать себя, и в манере одеваться, и по образу мыслей. Ничего типично эсеровского в нем не было. Худой, высокий, он держался несгибаемо, и лицо его было неподвижное, как бы застывшее. Одевался он всегда по-европейски, в пиджачную, тюрьмой потертую пару, привлекавшую к нему внимание на всех этапах. Был он мало общителен, его не очень любили, но очень уважали. Был он человеком для круга избранных, умным, образованным. Знал языки, был математиком, философом, социологом и прекрасным преферансистом и шахматистом. Он приходил к нам и садился на стул возле Симиной койки. Ровным голосом говорил о вещах, не имеющих никакого отношения к нашей жизни и интересам сегодняшнего дня.

Оба они, и Сима, и Гольд, были противниками голодовки. Оба не верили в победу и не допускали мысли о поражении. Говорили они об астрономических явлениях, о форме литературного творчества, об архитектурных стилях разных эпох. Казалось, что они любят друг друга. Но за Гольдом шла слава старого холостяка, и без конца у нас повторялась его фраза: «Жениться может только человек, больной на голову».

Степа, Шура и Вася были совсем другими. Они могли часами просиживать в нашей камере и говорить о голодовке, вернее, об ее окончании. Все трое были поварами у нас. Один перед другим выдумывали они, какими обедами будут кормить нас после голодовки, после победы. Эти беседы кончались обычно тем, что Клавдия Порфирьевна, которая мучительно хотела есть с начала голодовки и до ее конца, выгоняла их из камеры. Шура Федодеев и Вася Филиппов часто вели нескончаемые разговоры по социологическим и программным вопросам. Вася был сибиряком, сыном крестьянина. Был он широкоплеч и коренаст. Он не получил никакого систематического образования и упорно наверстывал этот пробел в тюрьме. Больше всего его интересовали экономические вопросы, и он усидчиво штудировал «Капитал» Маркса. Деревенский парень, не видевший ни большого города, ни театра, ни картинной галереи, ни трамвая, он вырос и

культурно, и умственно в тюрьме среди книг и товарищей. В шутливой беседе мечтали мы с ним часто, как вместе поедем смотреть антоновские яблоки. Наши мечты снова прерывала Клавдия Порфирьевна.

— Бросьте, — говорила она, — у меня слюнки текут.

Шура, сверстник Васи, был коренным москвичом. Отец его был тренером на бегах, и Шура с детства увлекался скачками, беговыми лошадьми, тренерами — всем тем, о чем я не имела ни малейшего представления. В 1917 году он окончил гимназию и собирался поступить на юридический факультет. Но жизнь столкнула его с одним социалистом-революционером. Вместо юридического факультета дальнейшее образование Шура получал в тюрьмах и ссылках. Он был арестован в 1919 году и сослан в Архангельск. Недолго поработав там на погрузках пароходов, он бежал. Некоторое время он жил и работал на нелегальном положении. Женился на своей товарке и эсерке. Ждал рождения сына. В 1922 году был снова арестован и отправлен в Пертоминский лагерь. Больше всего его интересовали вопросы социологии. Занимался он упорно и много. В коллективе из молодежи считался одним из самых талантливых. Он принимал участие во всех дискуссиях и сам выступал с докладами. Обычно молчаливый и застенчивый, он мог часами говорить на интересующие его темы. Он вечно сражался с Васей.

— Все наши ударились в экономику. Маркса штудируют. Эсдеки — те молодцы, они своих теоретиков назубок знают. А ты?.. Знаешь ты Лаврова, Герцена, Чернышевского?

— Я должен знать обоснования наших противников, — защищался Вася. Но Шура не сдавался:

— Не эти вопросы сейчас животрепещущие. Нам надо свою программу пересматривать и обосновывать.

В течение всей голодовки он готовился к очередному докладу. Вернее, содокладу. Шестаков должен был делать доклад о демократии. Шура стоял на более левых позициях, чем Шестаков. В своих установках он ближе других был к левым эсерам. Он считал, что настало время ставить вопрос об объединении всех эсеров на новых позициях — позициях конструктивного социализма.

Степа теорией не занимался. Он был человеком действия, душевным, отзывчивым товарищем, всегда приходившим всем на помощь. Голодать ему было труднее, чем многим другим. Он не любил лежать с книгой. Во время голодовки, вопреки указаниям старостата и Кронида, целыми днями бродил он по камерам голодающих. Приход его всегда радовал. Он разносил вести о самочувствии людей.

Первую неделю заключенные голодали спокойно. На восьмой день как-то сразу сдал Волк-Штоцкий. Он был болен туберкулезом, но отказался от освобождения от голодовки, на котором настаивал старостат. Плохо стало с Таней Ланде и Шестаковым. У всех трех начала подниматься температура. В нашей камере очень ослабела Муралова. Слабость распространялась среди голодающих быстро. Люди все больше дремали или спали; поднимаясь и садясь на койках, испытывали головокружение.

На тринадцатый день голодовки мы узнали, что среди левых эсеров и анархистов появились ликвидаторские настроения. Возмущал нас выдвинутый ими аргумент. Они утверждали, что среди эсеров ослабели некоторые товарищи, им самим неудобно ставить вопрос о снятии голодовки, потому его должны поставить левые и анархисты. Им говорили, быть может, в Анзерке или Муксалме уже есть жертвы голодовки. Ведь договаривались мы голодать до конца. В ответ на предложение о снятии голодовки в связи с тем, что она грозит гибелью слабейшим товарищам, группа эсеров, в которую вошли и Вася, и Шура, и Степа, пришли к старостам со следующим заявлением: «Голодовку не прекращать ни в коем случае. Но, считая невозможным ставить под удар слабейших товарищей, в подтверждение требований заключенных, начиная с пятнадцатого дня голодовки, ежедневно один из группы вскрывает себе вены и кончает с собой. Остальные продолжают голодать».

Широкие круги голодающих не знали об обсуждении такого предложения. Старостат колебался, может ли он прийти к такой форме голодовки, не уведомив другие скиты. Во всяком случае до выяснения вопроса он запретил подобные выступления. С этого совещания старост вызвали в комендатуру. Из кремля прибыл Эйхманс.

Администрация прекрасно знала о состоянии здоровья голодающих. Ежедневные обходы совершал Кронид в сопровождении фельдшера. Эйхманс стал убеждать старост снять голодовку. Из разговора у старост сложилось впечатление, что им получены из Москвы какие-то инструкции, какие-то полномочия. И он приехал проверить настроение коллектива.

Вернувшись в корпус, старосты застали всех еще более возбужденными. В уборной пытался повеситься Н. Его успели вовремя снять с петли. Левые эсеры, узнав о попытке самоубийства, решительно заявили о снятии голодовки. Коллектив голодал уже пятнадцатый день. Старостам после разговора с Эйхмансом казалось, что снимать голодовку нецелесообразно. Но состояние коллектива было таково, что они решили провести референдум.

Иваницкий и Гольд прошли по камерам с урной. Закрытой подачей голосов должны были голодающие решить вопрос о голодовке. Жить или умирать — мы понимали, что так стоит вопрос. Но мы понимали и другое: снять голодовку — значит отдаться на милость администрации. Снять голодовку — значит признать свою неспособность бороться за режим и впредь. Все эсеры единогласно высказались за продолжение голодовки. Даже те, кто раньше голосовал против нее. Как, например, Сима и Гольд. Но анархисты и леваки почти единогласно высказались за прекращение голодовки. А это означало ее конец.

Кто-то из товарищей предложил, чтобы наша фракция продолжала голодовку одна. Очевидно, это требование не было продиктовано трезвыми размышлениям. Все мы сжимали кулаки, стискивали в отчаянии руки. Мы знали, что голодовку приходится снимать, и не видели возможности примириться с этим. Особенно остро реагировали слабые, больные. Им казалось, что их физическое состояние определило решение коллектива. Мы боялись, что они наложат на себя руки, за ними напряженно следили.

Спас положение староста эсдеков Богданов. Он взял на себя переговоры с Эйхмансом, потребовав от левых эсеров и анархистов до его беседы ни в какие переговоры с администрацией не вступать. Богданов сообщил администрации скита, что просит срочно вызвать Эйхманса, так как имеет к нему весьма серьезное заявление. На другой же день утром Эйхманс прибыл и вызвал Богданова. Пока Богданов был в административном корпусе, в скиту царила мертвая тишина.

Мы пятеро лежали, уткнувшись головами в подушки. Как осужденные, ждали мы приговора. Надежды было мало. Много передумала я за эти полтора часа. Одно решение приняла я, казалось, на всю жизнь: голодать, добиваясь чего-нибудь, можно одной или когда знаешь других как самого себя. Групповые голодовки обречены на неудачу.

Первую весть принес Степа. Как сумасшедший, без стука, ворвался он в нашу камеру:

— Голодовка выиграна!

Не знаю, поверили мы Степе или нет, но дыхание у нас перехватило. Все пятеро сели на койках и не могли сказать ни слова. Вслед за Степаном вошли старосты — Иваницкий и Гольд. Прежде всего, они накинулись на Степу:

— Марш в камеру! Не будоражить людей: прежде всего — организованность. И никаких самостоятельных выходок.

Нам они сказали:

— Теперь, товарищи, выдержка и спокойствие. Сегодня в 6 часов вечера мы голодовку снимем. Условия приемлемы. Богданов договорился о них. Голодовка

не проиграна, можете нам верить. Подробную информацию вы получите позже, сейчас мы спешим по камерам успокоить всех. Не принимайте сами никакой пищи. Первая еда будет проводиться организованно. Мы теперь поступаем в распоряжение Кронида, он будет ставить коллектив на ноги.

Они ушли. Мы остались одни. «Не проиграна! Но и не выиграна — так надо понимать информацию старосты».

Иваницкий выглядел плохо. Последние дни голодания резко сказались на нем. Примерно через час пришел Шура как посланец от старостата с подробной информацией. Разговор Богданова с Эйхмансом начался с заявления Богданова о том, что голодовку надо кончать, что он не в силах сдержать свою фракцию от присоединения к голодовке, что его товарищи, особенно молодежь, не могут оставаться пассивными, наблюдая гибель голодающих, что сам он считает голодовку нежелательным способом борьбы, но за фракцию социал-демократов больше отвечать не может. Во всяком случае, если не завтра, то после первой жертвы все социал-демократы всех скитов к голодовке присоединятся. Богданов сказал, что берет на себя ответственность за начало переговоров об условиях, на которых убедит товарищей голодовку снять. Эйхманс пошел на переговоры, и были приняты следующие положения.

1. Вывоз политзаключенных с Соловков, в связи с закрытием навигации, в настоящее время произведен быть не может, и до весны о нем говорить невозможно.

2. Режим в целом остается прежним. Никаких принудительных работ зэки проводить не будут; они будут заниматься только заготовкой в лесу дров для отопления своего корпуса, доставкой дров в зону.

Формально голодовка была выиграна. Фактически мы знали, что она проиграна. И дело было не в заготовке дров... От работы по самообслуживанию зэки никогда не отказывались. Зэки, люди в большинстве своем физического труда, даже тяготились из-за отсутствия работы. Выход в лес, когда нас посылали за вениками, выход за колючую проволоку — радовал.

Сообщив нам решение старостата, Шура хотел уже уйти из камеры, но Клавдия Порфирьевна спросила:

— Если решили голодовку снять, почему нам не дают есть?

— На Анзерку и Муксалму уже выехали наши представители — два уполномоченных старостатом социал-демократов. Администрация предоставила им транспорт. По их возвращении мы начнем принимать пищу.

— Эсдеки прямо с ног сбились, — шутил уже Шура, — все это время они одни весь корпус отапливали, теперь берутся за приготовление пищи. Две недели дают они нам на поправку. Будут нас поить и кормить. Им дела теперь по горло

будет. Первая еда неважная. По распоряжению Кронида — кофе с молоком и сухарик. А через два часа — манная каша.

Настроение наше несколько поднялось. Клавдия Порфирьевна сказала, что будет спать до первого сухарика. Я перебралась на койку к Симе. Тихонько перешептываясь, мы вместе переживали события. Разговаривая, мы не сразу обратили внимание на странный звук, идущий с койки Александры Ипполитовны. Или плачет она? И чем поможешь? Мы обе знали, что Александра Ипполитовна вошла в голодовку в надежде на вывоз с Соловков. Ей было очень грустно, очень одиноко, очень тяжело на Савватии. Иваницкий был отцом ее первого умершего ребенка. Постоянные встречи с ним были ей очень тяжелы. Из старых друзей с отъездом Примака у нее никого не было. Александра Ипполитовна не говорила прямо, но мы чувствовали, как она надеется на вывоз с Соловков. С этой надеждой проголодала она все 15 дней. Теперь надежды рухнули.

Звук, который мы слышали, не походил на плач. Какое-то неровное, прерывистое дыхание. Сима окликнула ее. Ответа не было. Я подошла к ее койке, отстранила одеяло. Александра Ипполитовна лежала, вытянувшись, бледная, с широко открытыми, застекленевшими глазами. Зубы ее были оскалены и сжаты.

— Сима! Сима!

На мое восклицание оглянулись все.

— Ей дурно! — крикнула Сима. — Скорее врача!

Я бросилась вон из камеры.

— Никому ни слова, кроме Кронида! — крикнул мне кто-то вслед.

В коридоре не было ни души. Кругом камеры голодающих. Где найти Кронида? «Можно сказать кому-нибудь из эсдеков», — подумала я. Чтобы не встретить никого из голодавших, я бросилась вниз по лестнице на первый этаж. Тут я сразу натолкнулась на людей...

— Катя, что с вами?

— Ради Бога, скорее Кронида. Шестневской плохо. И никому, кроме него, ни слова.

Молоденький меньшевичок Коля Зингер бросился прочь. Я почувствовала, что у меня самой подкашиваются ноги. Нервное напряжение схлынуло. Наступил упадок сил. Как я бежала вниз по лестнице? Теперь, держась за перила, я еле ползла вверх. Бегом, прыгая через две ступеньки, обогнал меня Кронид.

Когда я поднялась по лестнице и завернула в наш коридор, меня охватил страх. Я не могла зайти в камеру. Лицо Александры Ипполитовны маячило перед моими глазами. Я завернула по коридору и пошла в уборную. Сколько я простояла там, прислонившись к подоконнику, — не помню. Помню, как открылась дверь и вошла Сима.

— Я за вами, — сказала она. — Кронид впрыснул камфору. Ей лучше.

— Откуда вы узнали, что я здесь?

— Догадалась, — отвечала Сима, пожимая мне руку.

Так за руку мы и вернулись в камеру.

По усмотрению Кронида нам дали по стакану кофе с молоком и по сухарику. Это была ошибка. Большинство — я, Сима и другие, — выпив кофе, с удовольствием заснули. И не захотели просыпаться и есть принесенную нам ночью манную кашу. Но многие ослабленные голодовкой зэки реагировали на кофе иначе. Крепкий кофе не поддержал сердечную деятельность, а нарушил ее. Всю ночь бегал Кронид со шприцем по камерам.

Серьезнее других после голодовки заболел Иваницкий. Нервная нагрузка пятнадцатидневной голодовки и ее печальный конец расстроили его нервную систему. Алексей Алексеевич начал икать. Он икал безостановочно два раза в минуту. Кронид уложил его в кровать, он запретил всем, кроме ухаживающих за Иваницким, входить в камеру. Иваницкого нельзя было оставить одного, и в то же время он не должен был сознавать, что находится под наблюдением. Иваницкий не хотел признать нервную икоту за болезнь и гнал от себя Кронида.

Мы осаждали Кронида вопросами о неслыханной ранее болезни. Он прочитал нам целую лекцию о непроизвольном сокращении пищевода. Мы усвоили из нее только то, что если икание не прекратится в течение нескольких суток, возможен смертельный исход. Коллектив замер. Двое суток икал Алексей Алексеевич в своей камере. Двое суток мы прислушивались к тому, что происходит в его камере. На третьи сутки икание прекратилось так же внезапно, как и появилось. Выздоровление Иваницкого можно считать концом голодовки.

Все вздохнули с облегчением. Прямого урона, прямой потери голодовка не принесла ни одному скиту. Коллектив начал жить, перестраиваться с позиций борьбы на мирные позиции. Иваницкий сложил с себя старостатство. Коллектив принял это как должное, без слов.

На мирных позициях

Мирную жизнь должен был возглавить иной человек, более гибкий, более уступчивый, сторонник пассивной жизни в тюрьме. Старостой эсеров Савватиевского скита был избран Гольд.

В трудное время принял он старостатство. Он должен был отстаивать перед администрацией интересы зэков, зная, что в своих переговорах с Эйхмансом он должен избегать острых углов, ни на минуту не роняя престижа зэков. И надо сказать, Григорий Львович повел коллектив блестяще. Без позы и демагогии, присущих

Богданову, спокойно, твердо, уверенно и выдержанно вывел он коллектив из голодовочного состояния и переключил на мирную спокойную ежедневную жизнь.

В утренние, дообеденные часы зэки занимались по своим камерам. До 4 часов работала скитская библиотека, богатая по количеству и по составу книг. С 4 часов дня до 6 вечера — занятия в школе, программа которых соответствовала старшим классам гимназии. Вечерами шли доклады по различным вопросам. После вечерней поверки шли репетиции нашего оркестра и драмкружка.

Жизнь была для меня так полна, что я не замечала, как уходили дни. Меня никогда не привлекала сцена, не было у меня и артистических способностей, но по настоянию товарищей я вошла в драмкружок, так как не хватало исполнительниц женских ролей. И увлеклась. У нас не было талантливых артистов, зато были талантливые режиссеры, декораторы и музыканты. По культуре выполнения и замыслу наши постановки не уступали московским театрам, по использованию ничтожных средств — они превосходили все, мною виденное. Буквально из ничего создавались костюмы и декорации. Всем этим, конечно, мы должны быть благодарны художникам Косаткину и Энсельду. Оркестр был организован Яшей Рубинштейном. Из чего только не создавались музыкальные инструменты! Юмористические номера были тонки по содержанию и блестящи по форме. В них была и политическая сатира на скитские темы.

Никогда раньше и никогда позже не встречала я такого богатого людьми коллектива. Коллектива, стоявшего на столь высоком моральном и духовном уровне. Часто мне приходилось слышать от товарищей, что савватиевский коллектив беден силами, и назывались имена Рихтера, Гоца, Веденяпина, Агапова и других, разбросанных по разным тюрьмам и ссылкам. Я верила. Недаром же эти люди были выдвинуты в свое время в ЦК партии. Но те, кого я знала воочию, вызывали во мне преклонение. С кем бы из старых товарищей я ни заговорила, я чувствовала, какую глубокую веру, какую продуманную, прочувствованную, убежденную мысль несут они в себе. До сих пор я счастлива, что встретилась с такими людьми, укрепившими во мне веру в человека. То, чего я ожидала от Соловков, то, что надеялась найти, воплощалось в жизнь.

В те годы все вопросы революции были животрепещущи. Внутри партии они стояли с предельной остротой. Дискутировался на наших собраниях, реже межфракционных, чаще фракционных, каждый программный тезис. Люди, только что вырванные арестом из кипящей революционной борьбы, обреченные на вынужденное бездействие, всеми помыслами своими были по ту сторону решетки. Они переживали, вновь пересматривали прошлое, подвергая его критике, сопоставляя теорию с практикой, вносили поправки в первую и отмечали ошибки во второй.

Внутри эсеровской фракции скита были представлены разные течения. Умеренное возглавлялось наиболее эрудированными людьми. Самое левое течение, ратующее за объединение с левыми эсерами, больше поддерживалось молодым поколением. Споры и дискуссии открывались по каждому докладу. Каждый доклад делался двумя докладчиками, разделявшими разные точки зрения. Затем разворачивались прения. В этих дискуссиях не было вражды. Вернее, было больше взаимоуважения. На них рос коллектив. Росла и я.

Остро и страстно проходили прения. Люди спорили и говорили о том, чему отдали и продолжали отдавать свою жизнь. Проверяли правильность позиций и дел, во имя которых они прошли каторги и тюрьмы и снова садились за решетки.

Среди коллектива было много старых каторжан: Саша Яковлев, Егор Кондратенко, Фельдман, Абрам Гельтман, потемкинец Филиновский; были люди, присужденные судом к смертной казни: Иваницкий, Юрий Подбельский. Разве я могу перечислить всех? В нашей фракции было больше 60 человек.

Ничто я не могу сравнить с впечатлением, которое производило на меня хоровое пение ими революционных песен.

Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытают огнем,
Пусть в Соловки нас ссылают,
Пусть мы все кары пройдем.
Если ж погибнуть придется
В тюрьмах иль шахтах сырых,
Дело всегда отзовется
На поколеньях живых...

Сейчас, когда я пишу эти строки, я знаю — они прошли весь этот путь и погибли. Погибли во имя своих идеалов, во имя счастья и блага людей.

Рихтер — в 1932 году от голодного тифа в ссылке.

Ховрин — в 1933 году в этапе.

Берг — в 1935 году в ссылке.

Филиновский — в сороковых годах на Колыме.

Самохвалов, левый эсер, — на Колыме.

Погибали в лагерях без права на переписку, погибали под пулями расстреливавших их палачей.

«Вы жертвою пали в борьбе роковой любви беззаветной к народу...»

«Не плачьте над трупами павших борцов...»

Я и не плачу.

***

Не помню всех докладов и дискуссий, проведенных в Савватии. Знакомые темы, наиболее волновавшие тогда: «Диктатура и демократия», «Трудовластие», «Учредительное собрание и власть Советов», «Тактика эсеров в вопросе о войне в 1917 году», «Аграрный вопрос».

После каждого доклада споры, разгоравшиеся во время прений, продолжались в коридорах, в камерах, на прогулках. Старшие товарищи не всегда являлись для нас авторитетом. Да они и не хотели своим авторитетом подавлять молодежь. Из молодых с докладами выступали: Володя Радинт, удивительно честный, чистый и одаренный юноша; Четкин, стоявший на левых позициях; Федодеев, считавший себя «черновцем». Последний упорно искал новых форм конструктивного социализма, выискивая, что удавалось, в учении гильдейских социалистов. Он стремился к объединению расколовшейся в 1917 году партии; доклады его всегда были очень интересны, хотя оратор он был из рук вон слабый. От волнения он не мог говорить, запинался, задыхался, заикался. Писал он очень хорошо, но даже прочесть свой доклад не мог. Старшие товарищи, даже расходившиеся с ним по ряду существенных вопросов, упрекая его в «левизне», упорно настаивали на его выступлениях.

Отдавая дань наукам, мы отдавали дань и развлечениям. По большей части играли в шахматы и в преферанс. На прогулках возникали иногда неожиданные забавы.

В нашем коллективе были и семейные, которым выделялись одиночки. Было в Савватии трое детишек: двое грудных, родившихся на Соловках, и Вова Дерковский, привезенный вместе с матерью на Соловки. Вове было около 6 лет. Зэки очень любили с ним играть. В нашей каптерке завхоз, очень любивший Вову, всегда берег для него сласти. Для него зэки смастерили на прогулочном дворе снежную гору, сделали салазки. Неожиданно для себя строители горки увлеклись катанием сами. Горка разрослась в большую гору. Спуск с нее уходил на самое озеро. Постепенно в катание с горы втянулся весь коллектив. Салазок больших, конечно, не было. Их заменили доски, облитые водой, обледеневшие, перевернутые вверх дном табуретки, даже оставшиеся от монахов старые иконы, против чего возражали отдельные товарищи, видя в этом неуважение к чужому культу. Излюбленным было катание на большой скамье, повернутой вверх ножками. На доску ее, вытянув ноги, садился первый ряд, на плечи к ним залезали любители сильных ощущений. На середине горы неизбежно, не без содействия катящихся, происходила авария. Все летели кувырком. Самым привлекательным при этом было падение. Оно покрывалось дружным смехом падающих, наблю-

дающих и даже часового с вышки. Число семейных пар возрастало. Родился ребеночек у Ани Туговой. Соединилась Сима с Гольдом, перейдя от нас в его строительную одиночку.

Самыми оживленными днями были дни получения почты. Изредка поморы на своих лодочках прорывались на остров. Они привозили толстые пачки газет, письма от родных, приносивших то радостные, то печальные вести.

С получением газет доклады прерывались. Все стремились поскорей узнать новости с материка. Организовывалась совместная читка газет. Вслух прочитывались все телеграммы, сообщения ТАСС, наиболее интересные статьи.

Из писем брата и отца я узнала, что поселились они в деревне, в семи верстах от Курска, так как в городе жить брату не разрешили. Никакой работы он найти не мог. Письма были бодрые. Я понимала: так пишут они для меня. Горько и тревожно было за них. Обрадовала вложенная в письмо приписка моих курских друзей. Они уверяли, что мой арест переживается ими тяжелее, чем мной самой. Возможно, что так оно и было. Они обещали постоянно навещать отца и брата и помогать, чем смогут.

Очень тяжела была эта зима для Шуры Федодеева, ставшего моим близким другом. После его ареста у него родился сынок. Жена Шуры тоже была эсеркой. В связи с беременностью и родами она отошла от партийной работы. И все же ее послали в ссылку. В ссылке, далеко в Сибири, ей жилось нелегко. Ее родители стали хлопотать и добились перевода к ним. Шура не одобрял этот перевод, отрыв от ссыльных товарищей. И он оказался прав. Перед натиском родных, перед соблазнами жизни Циля не устояла. Шура стал получать письма о том, что ей с ребенком нецелесообразно жить так, что все окружающие убеждают ее написать письмо с отказом от общественной деятельности, посвятить жизнь ребенку. Шура в ряде писем старался удержать Цилю от этого шага. Как раз перед нашей голодовкой он послал ей решительное письмо. Он писал ей, что отречение от партии означает отречение и от него. В первом письме, полученном после голодовки, сообщалось о том, что Циля опубликовала в газете письмо с отказом от партии социал-революционеров. Шура не ответил на это письмо. Долго и упорно бегал он по кругу нашего прогулочного двора. Все сочувствовали ему, все понимали его. Люди, давшие в печать письмо с отказом от партии, отрекшиеся от своего прошлого, от всего того, за что мы шли в тюрьмы и ссылки, во имя своих узких личных интересов, осуждались нами.

Я очень хорошо понимала Шуру. Когда-то и я пережила такую же утрату. Но я потеряла друга, а Шура пережил утрату жены и, вероятно, сына.

В те годы было достаточно печатного отречения от своей прошлой деятельности, от своих прошлых убеждений, и человек возвращался из тюрем, из ссылок к жизни.

Мы понимали, что человек отказывается от своих убеждений во имя житейских благ, но путь погони за благами был скользким путем. На каком месте наклонной плоскости может человек поставить точку?.. Сможет ли устоять перед новым нажимом, раз пойдя на сделку с совестью? Сможет ли кто-нибудь, кроме нас, понять такое отношение к этим людям? В нашей среде для них был создан особый термин, выдававший наше отношение к ним, — «продаванец».

Зима уходила, приближалась весна. За ней промелькнет лето...

В конце 1925 — начале 1926 года из нашего коллектива должно было освободиться много зэков. Всех, кто кончал срок до открытия навигации 1926 года, то есть до мая 1926 года, должны были осенью 1925 года вывезти с Соловков на Попов остров, откуда могли освободить людей в срок. Конечно, полного освобождения не наступало. По опыту предыдущих товарищей мы знали, что за тремя годами лагерей или тюрьмы для политзаключенных следуют три года ссылки. Освобождались люди только из-под стражи, но и это было много, страстно желанно.

Группа наших товарищей, уже в ту зиму освобождавшихся, зимовала, чтобы освободиться вовремя, в очень тяжелых условиях на Поповом острове.

Каждый зэк отсчитывает годы, месяцы, дни, оставшиеся до дня освобождения. Почти каждый заводит календарик и сутки за сутками вычеркивает проходящие дни. «Разменять» последний год — событие в жизни зэка.

В январе 1925 года Шура разменял последний, третий, год заключения. В декабре того года он должен был быть вывезен на Попов остров. Мы очень сдружились и сблизились с Шурой, а близкая разлука была неизбежна. Нам хотелось оставшееся время больше принадлежать друг другу. Мы не думали организовывать семью. Для нас, политических, не существовало перспектив мирной семейной жизни. Мы просто любили друг друга. И хотели положенные нам месяцы пожить рядом.

Чтобы осуществить это, мы должны были просить старостат выделить нам одиночную камеру. Просить об одиночке означало стеснить других товарищей. Это было нам очень тяжело. Вопрос об одиночке решился для нас неожиданно легко. В нашем дворике, рядом со скитской гостиницей, где размещался наш корпус, стояла маленькая деревянная часовенка. Она пустовала. Соломон Штерн, уставший от жизни в больших камерах, предложил Шуре перегородить часовенку на две половины. В одной половине должен был поселиться он с товарищем, в другой — мы с Шурой. Старостат разрешил, и мужчины принялись за работу.

В новоселье, день, когда мы переселились в часовенку, Шура с утра до позднего вечера дежурил поваром на кухне. Перенести его и мои вещи помогли товарищи. Весь день у меня «толклись» гости, мы устроили «званый» обед. Шура на нем, конечно, не присутствовал. Но ряд товарищей и я получили положенную нам порцию супа и жареной трески в часовенку.

Уютно жилось в часовенке. Впритык друг к другу изголовьями два топчана, у окна маленький столик, рядом печурка, один табурет на двоих, чемоданы под топчанами. За перегородкой — друзья. От часовенки в двух шагах вход в корпус, прямо к «культу».

Вечерами, не занятыми докладами и собраниями, у нас собирались товарищи, отдыхая в нашей семейной одиночке от жизни общих камер. Дни были заполнены чтением, занятиями, знакомством друг с другом.

Вывоз с Соловков

Ненадолго приютила нас с Шурой часовенка. Весна пришла, снег почти сошел, везде стояли лужи, подергивавшиеся на ночь корочкой льда. Светлые белые ночи...

В ту ночь мне не спалось. У меня болел зуб. Поганое состояние начинающегося флюса. Шура уже спал, когда мое внимание привлек странный шум за окном, нарушивший обычную тишину острова. Мне чудился шум шагов. Приоткрыв занавесочку, я выглянула в окно. Наш дворик заполнялся идущим из-за проволоки конвоем. Я разбудила Шуру. «Обыск», — решили мы. За все наше пребывание на Савватии ни одного обыска не было. Но чем иным можно было объяснить появление такого количества конвоя?

— Стучи тихонько Штерну, — сказал Шура, — а я сожгу в печке, что успею. Пока не сожгу, дверь не откроем.

Я постучала Соломону в то время, как он постучал нам. И мы договорились дверь в часовенку до прихода старосты не открывать, свет не зажигать, сжечь все компрометирующее. У меня было три номера рукописного журнала «Сполохи». Их надо было во что бы то ни стало спасти. Но как?! Печь наша пылала, когда в дверь застучали:

— Откройте!

Соломон Ильич ответил, что откроет дверь только в присутствии нашего старосты. К нашему удивлению, конвой согласился ждать. Один надзиратель остался у двери, другой ушел в корпус. Печь уже догорала, и Шура размешивал кочергой золу, когда мы услышали голос Бориса Сергеевича Иванова, присланного к нам от старостата.

— Отворите двери, товарищи.

И Соломон, и Шура одновременно открыли двери. Переступив через порог, Борис Сергеевич сказал:

— По распоряжению Москвы всех политзаключенных вывозят с Соловков. Мы срочно складываем вещи и двигаемся общим этапом в кремль. Больным и слабым под вещи дают подводы в кремле. На пристани соединяемся с товарищами с Анзерки и Муксалмы, по их прибытии соглашаемся грузиться на пароход. Собирайтесь. Администрация тюрьмы просит не задерживать.

Борис Сергеевич хотел уже уйти, но Шура, умоляюще глядя на него, взял его за руку:

— У нас есть вещи и книги других товарищей, нам необходимо пройти в корпус.

Борис Сергеевич понял.

— Совсем забыл, — сказал он, — соберите все библиотечные книги и сдайте Добровольскому, нашему библиотекарю. Он раздаст книги владельцам. Библиотекарь и завхоз задержатся и догонят нас в пути. Личного обыска, обыска вещей здесь производиться не будет.

Ударение на слове «здесь» говорило само за себя.

Борис Сергеевич ушел. Торопливо складывали мы свои вещи и тихими голосами обменивались соображениями, строили различные варианты на будущее.

Когда вещи были сложены и мы сами были готовы к этапу, Шура с большой связкой книг, включая и «Сполохи», пошел в корпус. Я осталась стоять у окна. Мысленно я прощалась с нашей часовенкой, со всем Савватиевским скитом. Руку я крепко прижимала к щеке: зубная боль перекрывала все другие переживания.

Шура вернулся из корпуса с сообщением о том, что все готовы и выходят из корпуса.

— В этап, Катя, — он обнял меня, и мы тоже вышли из нашей часовни.

На дворе уже командовал конвой:

— Стройся по десять человек в ряд!.. Женщины, отойдите в сторону... Вещи складывайте к вахте!.. Первая шеренга, отойди на пять шагов!.. Стой!.. Вторая... Третья...

В конце этапной колонны поставили женщин. Долго путался конвой с подсчетом. Арестантов было более 200 человек. Наконец прием зэков конвоем был закончен. Раздалась общая команда:

— Малейшее неподчинение конвою... Шаг в сторону... рассматривается как попытка к бегству... Расстрел на месте... Шагом марш!

Не прошло и года, как я шла по той же тропинке в Савватиевский скит. Тогда мы шли свободно, без конвоя, спокойно беседуя. Теперь по обе стороны дороги с ружьями наперевес шагали конвоиры. Впереди и позади ехал конный конвой. Грубые окрики. Нас торопили. Лошадиные морды врезались в последний ряд отставших женщин. Ноги наши скользили по еще не просохшей глинистой земле. Я ничего не хотела. Только бы добраться поскорей. У меня отчаянно болел зуб.

Когда мы добрались до кремля, нас, миновав все здания, вывели прямо на пристань. Конвой окружил нас, расположившись цепью до самого берега. Группами кто как и кто где уселись мы на землю, подсохшую вдоль кремлевских стен. Перед нами было море. Нас поджидал пароход. Опять мы были все вместе, и шли толки о том, что ожидает нас. Будем ли мы на материке вместе, развезут ли нас по разным местам?.. Сговаривались, обменивались адресами родных для сохранения связи на будущее.

Администрации Соловков зэки предъявили два последних требования: 1) грузиться на пароход не будем, пока не прибудут политзаключенные из других скитов и 2) пока нас не покормят обедом.

Погрузить насильно на пароход такую большую партию арестантов было трудно. Шолом Брухимович, левый эсер, чудесный человек и прекрасный товарищ, рассказал мне об одном насильственном развозе зэков. Было это здесь, на Соловках, с этапом, на котором он прибыл за несколько недель до прибытия моего этапа.

Савватиевский скит был перегружен зэками, и старостат отказался принять новую партию, требовал открытия нового скита. Администрация не хотела открыть новый скит и решила отправить вновь прибывших на Савватий. Узнав об этом, вся партия зэков, а было их больше двадцати, отказалась идти в этап из кремля. Они легли на нары. Тюремная администрация вызвала подводы, связала зэков, на руках их вынесли из кремля и связанными уложили. Связанными их несли с подвод и положили на землю у Савватиевского скита. Администрация добилась своего. Скит принял людей. Но вся эта операция стоила стольких хлопот, что при поступлении новой партии зэков был открыт скит на Муксалме, и часть зэков из Савватия перевели в него.

Конечно, администрации было бы легче грузить нас партиями, но спорить с нами они не стали. И мы дождались своих товарищей с Анзерки и Муксалмы.

Встретились зэки трех скитов, встретились друзья и товарищи, раньше знавшие друг друга. Я встретилась с теми, кто прибыл со мной на Соловки и потом был отправлен на Анзерку.

Перед погрузкой нас накормили чудесной ухой из свежей форели. Всех отправляемых на материк было человек 500. И всех нас погрузили в трюм. Было тесно, шумно и жарко. Мужчины уступили нам лучшие места. Я сидела на каком-то низеньком ящике, Шура прикорнул на полу, положив голову мне на колени. Кругом шел тихий оживленный разговор. Я не принимала в нем участия, у меня дико болел зуб.

У Попова острова пароход разгрузился. Минуя бараки, нас вывели к дамбе. По ту сторону дамбы на железнодорожных путях стояли «столыпинские» вагоны. Настал момент расставания. Нас разведут по вагонам... Куда направят какой вагон?

МЕЧИСЛАВ

ЛЕОНАРДОВИЧ



М. Н. Супрун
ВОСПОМИНАНИЯ М. ЛЕОНАРДОВИЧА

Об авторе этих воспоминаний Мечиславе Леонардовиче известно крайне мало. Российские архивы все еще хранят молчание. Но и в архивах межвоенной польской истории нелегко отыскать следы человека, оказавшегося в круговороте бурных исторических событий. Даже в материалах польской КАРТЫ – архиве, специально исследующем судьбы репрессированных, — о Мечиславе Леонардовиче содержатся лишь самые краткие сведения, да и те главным образом извлечены из самих воспоминаний автора[1].

Известно, что он родился в Варшаве предположительно в 1890-х гг., поскольку по приезде в Россию в декабре 1923 г. был уже вполне самостоятельным человеком. После советско-польской войны приезд поляка в новую, большевистскую Россию не мог не вызвать подозрений. Поэтому, куда бы поначалу ни направлялся М. Леонардович – в Литву или в Белоруссию, его везде вызывали на допросы в ГПУ, дабы выяснить цель его визитов. После допросов его обычно отпускали, установив при этом строгий негласный надзор.

В июне 1924 г. его в очередной раз задержали в Минске, тщательно обыскали. Ничего не нашли, но по подозрению в шпионаже доставили в местную тюрьму ГПУ. Сразу же начались изощренные пытки: любой ценой надо было получить нужные чекистам показания. В случае признания вины «польским шпионом» можно было бы использовать это как фактор нагнетания антипольских настроений, Леонардовича же — в качестве провокатора, а при необходимости — обменять на красноармейцев, взятых в плен в ходе «похода на Варшаву». Вот почему и во время ареста, и в ходе истязаний Леонардовича в них участвовали самые высокие чины минского ГПУ: начальник Медведь, комендант Баранов и его заместители Креск и Апаньский. Несговорчивость узника делала пытки все более изощренными. На первые трое суток Мечислава Леонардовича поместили в простую одиночку. После отказа подписать нужные чекистам показания его перевели в крошечную камеру, наполненную по колено водой, где продержали еще трое суток, следя за тем, чтобы узник не потерял сознание и не утонул. Затем его на 20 дней поместили в «камеру смерти», как

[1] См.: Архив КАРТЫ. Sign. M/I/17/3. S. 3. – Примеч. автора.

называли заключенные каменный мешок шириной в полметра, кишевший крысами. Но и после этих пыток Леонардович отказывался давать «признательные показания». Тогда к нему было применено самое страшное испытание — мнимый расстрел. Как правило, после мнимых казней люди, если не ломались, то лишались рассудка. Остается лишь удивляться, как смог человек выдержать все это?! Но именно стойкость М. Леонардовича и непризнание вины спасли ему жизнь.

После трех месяцев истязаний в минских казематах в сентябре 1924 г. он был приговорен к трем годам принудительных работ на Соловках и спустя месяц этапом доставлен на острова, став одним из тех без малого 10 тысяч несчастных, испытавших все ужасы советской каторги. Этим испытаниям, собственно, и посвящены воспоминания М. Леонардовича. Едва ли иные источники, кроме мемуаров, смогли бы с такой достоверной точностью и эмоциональным напряжением передать то, что происходило в системе советского ГУЛАГа. Ощущение ужаса усиливается самим тоном повествования. Написанные простым, спокойным языком, эти воспоминания жутко буднично повествуют о зверствах, чинимых чекистами на «островах смерти». Издевательски спокойно чекисты, по описаниям Леонардовича, расстреливают на глазах пани М. любимого ею человека. Так же легко они расстреляли заключенных «политскита» за их законное требование не сокращать время на прогулки. Вполне буднично описывает М. Леонардович «званые пирожки» у начальника лагеря Ногтева, сопровождавшиеся дикими пьяными оргиями с последующей охотой на заключенных или глумлением чекистов над заключенными на Секирной горе и на Голгофе.

Особенно отвратительны описанные М. Леонардовичем сцены издевательств над женщинами-каторжанками. Порой ловишь себя на мысли, что лучше бы этого не знать и лучше пропустить эти страницы. Но вновь и вновь возвращаешься к ним, не веря, что так может быть, что именно так и было. Гадливое чувство сменяется чувством отвращения к той системе, какая была создана на Соловках. А ведь во многом она являлась экспериментальной площадкой для всей страны. Поэтому не менее гадливое ощущение возникает и по отношению ко всей системе, созданной большевиками. И чтобы этого не повторилось, надо читать, надо публиковать такие воспоминания! Пусть каждый знает, что несет в себе любая тоталитарная система...

М. Леонардовичу повезло. После отбывания наказания он не только выжил, но и был освобожден, пусть даже с последующей ссылкой в Пензенскую губернию. Спустя еще три года, в 1930-м, ему удалось вернуться в Варшаву и по свежим следам написать воспоминания, которые ниже предлагаются читателю.

На островах пыток и смерти. Воспоминания с Соловков[1]



В конце декабря 1923 г. я покинул Варшаву и выехал в Россию. Первые дни 1924 г. я находился в Минске, в Литве. Это время мне пришлось провести в ГПУ, где меня допрашивали. Их целью было узнать, зачем я решил приехать в СССР. Видно, мои ответы не удовлетворили ГПУ, потому что, хоть меня и выпустили на волю, все же установили за мной строгий надзор.

Получив свободу действий, я начал приглядываться к жизни в коммунистической России. Мое любопытство привело меня в клуб коммунистов имени Розы Люксембург, где я познакомился со многими коммунистическими деятелями, в том числе и с пани К., молодой и милой девушкой, женой одного из служащих минского ГПУ. Она работала там же.

Через несколько месяцев между нами возникла симпатия, и пани К., дорожившая нашей дружбой, часто рассказывала мне в подробностях не только о своей личной жизни, но и о том, что делается в ГПУ.

От нее я узнал, что польская коммунистическая секция в Минске под предводительством Межеевского, Витковского и Богуцкого решила осуществить несколько диверсионных актов на территории Польского государства. Эти банды должны были напасть, спалить и ограбить город Столице, Рубежавич, Раков, Радушковец. В состав банд должны были войти местное население и польские беженцы. Каждому из членов банды было обещано по 20 рублей и легитимное пребывание на территории России. Прогнозы пани К. подтвердились, хотя и не

[1] Публикуется без сокращений по: Леонардович М. На островах пыток и смерти (воспоминания с Соловков) / Пер. с пол. М.С. Горбунова // Каторга и ссылка на Севере России: Сб. ст. Т. 3: Воспоминания поляков / Сост. и науч. ред. М.Н. Супрун. Архангельск, 2008. С. 50–91.

полностью. Бандам удалось напасть только на Столице. Во время нападения на Столице я уже сидел в советской тюрьме.

Как это случилось? Все просто! В один июньский вечер 1924 г. у дома, в котором я жил, остановился автомобиль чекистов. Вскоре ко мне вошли три вооруженных человека. Это были комендант ГПУ в г. Минск Баранов, его помощник Креск и следователь Петерсон. Последний показал мне разрешение на проведение обыска, приказал сдать оружие и какие-то приказы советских войск.

— У меня нет оружия, — ответил я, — и я не знаю никаких советских приказов.

— Посмотрим, что покажет обыск.

Мои вещи стали безжалостно крушить. Вскоре комната покрылась перьями. Это рьяный исполнитель ГПУ разорвал подушку, ища среди перьев... оружие и некие военные документы. Видимо, меня принимали за опасного контрреволюционера или шпиона. Обыск длился два часа. Не осталось закутка, в который бы они не залезли, вещи, которой бы не сломали. Оружия или каких-то там приказов так и не было найдено.

На лицах чекистов нарисовались разочарование и ярость.

— Поедем в ГПУ? — обратился ко мне Петерсон.

— Зачем?

— Чтобы подписать протокол. Это продлится не больше 15 минут, — уверял меня Петерсон.

Но после того как автомобиль довез нас до крыльца ГПУ и мы вошли в кабинет дежурного комиссара, Петерсон, язвительно улыбнувшись, сказал:

— Ты у меня как пташка в руках, не вырвешься легко. Запереть его в пятой «одиночке» второй тюрьмы.

В той «одиночке» я провел три дня, прежде чем Петерсон пригласил меня в свой кабинет.

— Вы подозреваетесь в шпионаже в пользу Польши, — сказал он, как только я вошел. — Советую во всем признаться и подписать этот протокол.

В том протоколе было уже написано мое признание, которого я на самом деле никогда не давал, но которое говорило о моей шпионской службе в пользу Польши.

— Я этого не подпишу, — ответил я, — потому что не шпионил и тем более не делал никаких признаний.

Мой ответ привел Петерсона в ярость. Он подскочил ко мне и, ударяя кулаком по столу, закричал так, что эхо разлеталось по всему зданию: «Мы сумеем заставить тебя во всем признаться. Ты у нас в руках, а способ мы сами найдем...»

Я повел плечами. Что я мог ответить разъяренному чекисту? Тотчас же Петерсон провел меня к коменданту ГПУ и, указывая на меня, сказал:

— Возьми его и познакомь с нашим ГПУ.

Меня отвели во вторую тюрьму, приказали раздеться до нижнего белья и заперли в камере, которая была заполнена водой до колена. Тут я просидел три дня, дрожа от холода. Что я пережил в эти три дня, трудно описать. Мне никогда об этом не забыть.

Через три дня меня выпустили из этой купальни, дали сухое белье, одежду и проводили к Петерсону.

— Понравилась тебе наша советская ванна? — спросил он, дьявольски смеясь.

— Ваши ванны страшные, — ответил я, — но они не заставят меня подписать протоколы, в которых приведены фальшивые признания.

Петерсон, скрипя зубами, проговорил:

— Посмотрим, ты попробовал только одно удовольствие, у нас же их множество.

Так как Петерсону опять не удалось заставить меня подписать этот протокол, меня снова увели в камеру и заперли в шестой «одиночке». Это была маленькая камера, темная, без окон, длиной в два, а шириной в один локоть. В ней трудно было даже пошевелиться. Позже я узнал, что эта камера называлась камерой смерти, потому что из нее люди шли на смерть. Чуть ли не на каждой камере висели таблички с надписями «s.p.i.» и фамилиями, преимущественно польскими. Из этих камер множество поляков ушли на смерть.

На вечернем построении комендант приказал надзирателям, чтобы не включали свет в моей камере. Ужас пребывания в этой коморке я ощутил сильнее, чем в предыдущей «ванне». Тучи крыс с писком пробегали около меня. Когда я ложился спать, накрывал лицо рубашкой от этих отвратительных созданий. Неоднократно крысы съедали у меня и без того мизерную пайку хлеба. Если ко всему сказанному добавлю, что тюремные власти запретили мне даже прогулки, то легко можно представить, какие тяжелые минуты переживал я в этой темнице.

Поступок большевиков возмутил всех заключенных, особенно женщин, которые, плача, умоляли старого надзирателя-эстонца, чтобы хоть на минутку ночью отворял дверь моей камеры, для того, чтобы впустить немного свежего воздуха. Иногда он исполнял просьбу арестанток и в полночь отворял мою камеру.

После двадцатидневного пребывания в темнице меня вызвали к Петерсону.

— Крысы не отгрызли тебе уши? — цинично поинтересовался Петерсон.

— Наверное, крысы поняли, что я невиновен, и не тронули меня, — ответил я.

В этот момент в комнату Петерсона вошел Апаньский, заместитель начальника ГПУ и следователь Савицкий. Савицкий начал убеждать меня на польском, чтобы я принял акт обвинения и подписал его.

— Советую тебе от всего сердца. Если подпишешь протокол, все дело кончится для тебя хорошо, в противном случае ждут тебя большие неприятности.

— Но я невиновен! Зачем мне подписывать показания, которых никогда не давал?!

Услышав это, Апаньский сказал на русском:

— Раз он не хочет признать свою вину, за что мы могли бы даровать ему жизнь, тогда расстреляем его.

Меня снова отвели и заперли в камере, где я до этого сидел. В этот раз я уже не ждал так долго новой большевистской выдумки. По прошествии двух часов во дворе ГПУ раздался шум мотора автомобиля. Дверь моей камеры отворили, вошел Баранов, приказал мне собрать вещи, бросив:

— Марш на двор!

Я выполнил его приказ. С меня было достаточно темноты, крыс и разных насекомых, которые днем и ночью не давали мне покоя.

В это же время из камеры номер 7 вывели еще одного заключенного, как потом выяснилось, это был Кругляньский. Мы встретились на дворе, где нас посадили в машину. Рядом места заняли Баранов, Апаньский, Петерсон и два красноармейца. Машина двигалась по улицам Минска и привезла нас до так называемой Коморувки — места убийств, где покоились сотни поляков, расстрелянных большевиками.

Когда автомобиль выехал к пролеску, нам приказали выйти из машины и двигаться вглубь леса. Вскоре мы добрели до места, где зияли свежевыкопанные ямы. Нас поставили перед ними, так чтобы их ужасные пасти глядели нам в глаза, Петерсон торжественно обратился к нам:

— Ваша жизнь в ваших руках. Выбирайте: либо признание вины, либо пуля в лоб. Если признаетесь, пролетарский суд может изменить смертную казнь на 10 лет строгого режима.

Мы посмотрели друг на друга, затем каждый из нас невольно перевел взгляд в яму. «Это будет мой гроб?» — промелькнуло в голове. Но другая мысль успокоила меня: это же еще один из способов ГПУ, применяемый для получения нужных советским властям признаний.

— Я невиновен,— проговорил я, — не подпишу протокола с фальшивыми признаниями.

— Я — тоже! — прокричал белый, как полотно, Кругляньский. Петерсон опешил. Изумление отразилось и на лицах остальных.

— Расстрелять их! Баранов, стреляй им в лоб! — крикнул Петерсон Баранову, стоявшему за нашими спинами.

Прежде чем мои мысли успели среагировать на выкрик Петерсона, раздались два выстрела. Пуля просвистела около моего уха, и я упал в яму.

Меня охватил страх, я трясся как загнанный зверь, сердце хотело выпрыгнуть из груди, а пульс бил, как кузнечный молот. Я весь вспотел, но все еще что-то видел и чувствовал! «Промахнулись»,— промелькнуло в голове. Над нами раздался наглый смех наших палачей. Хохотали как дьяволята, которым удалось замучить невинную христианскую душу.

Тут я понял, что вся эта экзекуция была так называемым мнимым расстрелом, очень часто применяемым большевиками для устрашения, чтобы вынудить заключенных подписать фальшивые показания. Это было применено и к нам. Мы остались живы! Мы — в лапах большевиков, но все-таки живы.

Я приподнялся и оглянулся вокруг. В яме лежал мой товарищ. Я его не узнал. Кругляньский не был седым, а у человека, находившегося в яме и пытавшегося встать, голова была белой. Бедолага совершенно поседел от испуга...

— Выходи из ямы! — прогремел над нами голос Петерсона. — Пошевеливайтесь!

Поднимаясь и помогая Кругляньскому, я вылез из ямы. Но как только мы поднялись, чекисты накинулись на нас, избивая рукоятками револьверов и прикладами карабинов. Били нас так долго, что, окровавленные и обессиленные, мы повалились возле их ног. Наполовину живых нас втащили в машину, накрыли брезентом и повезли в ГПУ. Там нас снова заперли в камерах.

Очнувшись на другой день в седьмой камере, я не мог пошевелиться, не причинив боль. Все части тела страшно болели, лицо и руки были покрыты запекшейся кровью. Еще хуже выглядел бедный Кругляньский, которого также затащили в камеру. Бедняга поседел и лишился разума. Это было следствием пролетарских большевистских судов. В своих негодяйских способах они воплотили методы царских жандармов, легенды о которых разнеслись по всему свету.

Через пару дней, когда мы только-только зализали раны, нанесенные чекистами, в нашу камеру посадили некого Антония Малиновича. До того как попасть в тюрьму, Малинович был сотрудником ГПУ, он был заслан в Польшу в целях шпионажа. Но поскольку Малинович не выполнил задания, по возвращении в Совдепию оказался в тюрьме. Об отношениях Малиновича с ГПУ я тогда еще не знал, эта информация дошла до меня намного позже.

Вспоминаю о Малиновиче потому, что он сыграл определенную роль в моей жизни. Доведенный до бешенства действиями чекистов, я планировал побег из тюрьмы. В свои планы я посвятил Малиновича и Юзка Саблинского, знакомого мне еще по Варшаве. Как позднее выяснилось, Малинович обо всем донес чекистам. Узнал я об этом, когда меня вызвал к себе Петерсон. В его кабинете я за-

стал целую банду чекистов: Баранова, Апаньского, Дамберга, Пика, Савицкого, Дианулиса, и даже самого начальника ГПУ Медведя.

— С кем ты разрабатывал план побега? — зло спросил Петерсон. Мгновенно поняв, что он напряжен, я ответил:

— Я? План побега? Не понимаю, о чем идет речь...

— Как это?! Ты же разработал целый план, — сказал Апаньский и в нескольких предложениях изложил его.

На меня набросились остальные. Посыпались перекрестные вопросы и угрозы. Я все решительно отрицал. Тогда чекисты привели в кабинет Малиновича. Петерсон начал задавать ему вопросы, а Малинович пел, как по нотам, сдавая меня в наиподробнейших деталях.

— Что ты на это скажешь? — спросил меня Петерсон.

— Это все неправда, Малинович лжет.

— Как я могу врать, если ты сам мне все это говорил? — выкрикнул Малинович.

— Ах ты, сукин сын! — огрызнулся я на него по-польски, и, пока чекисты мешкали, схватил со стола Петерсона мраморную статуэтку и со всей силы обрушил ее на голову Малиновича. Тот рухнул на землю. Тут же вся банда чекистов набросилась на меня, в комнате начался настоящий ад. На меня сыпались удары; каждый из них бил, чем мог: одни стульями, другие рукоятками револьверов, третьи палками. Избитый и окровавленный я упал без чувств. Позже я узнал, что допрашивали и Юзка Саблинского, но тот также категорично отрицал, что ему что-то известно о побеге.

После допросов все отрицавшего Саблинского чекисты не знали, что и думать о показаниях Малиновича. В конце концов пришли к выводу, что Малинович просто пытался выслужиться, вернуть о себе хорошее мнение и сам придумал историю о побеге. Нас выпороли кнутом и рассадили по разным камерам.

Так ничем закончился наш план побега из ГПУ, а жаль, потому что, если бы нам удалось бежать, мы могли бы спасти еще 108 человек, в том числе 29 женщин и 79 мужчин — главным образом поляков. Им бы удалось избежать судьбы, которая их ожидала. Вскоре 40 из них были расстреляны, а остальные получили длительные сроки заключения. Но и стукач Малинович ничего не выгадал на своем предательстве. Чекисты предъявили ему какие-то дополнительные обвинения и приговорили к смерти. На этом и закончилась его карьера стукача на советской службе.

В начале августа того же года меня перевели из тюрьмы ГПУ в центральную тюрьму Минска. В это же время меня уведомили о том, что мое дело заочно передано в московский суд. В центральной тюрьме я ожидал приговора тайного суда. Здесь меня посадили в камеру номер 2, где уже сидели несколько поляков,

осужденных за шпионаж. Я быстро подружился с ними, а особенно с Кажкем и Влодкем (фамилии по известным причинам не упоминаю). Они были польскими солдатами, которые, желая проведать свои семьи в Белоруссии, незаконно перешли польско-советскую границу. После короткого пребывания в родном доме солдат арестовали и доставили в минскую тюрьму. Их обвинили в шпионаже, а дела передали в заочный суд в Москве.

Девятого сентября нас троих вызвали в тюремную канцелярию, где минский чекист Пик зачитал решения заочного суда. Выслушали его с тяжелым сердцем: нас ждало жестокое наказание. Нам дали по три года принудительных работ на Соловецких островах.

— За что, — спрашивали мы друг у друга, — нас ждет такая тяжелая кара? Видимо, только за то, что мы поляки и не походим на чекистов.

Перед нами теперь рисовалось очень тяжелое будущее. Соловецкий лагерь имел определенную славу среди советских заключенных. Уже само название «острова пыток и смерти» откровенно говорило об их назначении. Но что нам оставалось делать?

Около двадцатого сентября нам велели собрать пожитки и выйти на тюремный двор. Там уже ждал усиленный конвой, который тут же окружил нас и выстроил по четыре человека. Начальник конвоя приказал пересчитать заключенных. Оказалось 72 человека. Нам объяснили, что во время движения нельзя разговаривать, курить, нельзя держать руки в карманах. За попытку побега — пуля в лоб.

Когда были улажены все формальности, раздалась команда: «Конница, сабли в руки! Пехота, приготовить оружие! Колонна, шагом марш!»

С тяжелым сердцем мы двинулись в неизвестное будущее. Что нас ждет? Вернемся ли мы с этих островов пыток и смерти? Когда мы теперь увидим Польшу, Варшаву? Мои глаза застили слезы. Всплыл образ моих старых родителей... После короткого марша по улицам города мы остановились на вокзале. Нас завели в вагон. В полдень, набитые, как сельди в бочке (в вагоне было 48 мест, а нас 72), мы выехали из Минска. В полночь уже были в Орше. Здесь нас, направляемых на Соловки (26 человек), отделили и проводили в городскую тюрьму, где пару дней ожидали новую партию осужденных. В один из вечеров нас снова посадили в вагон, и мы двинулись в сторону Витебска, где также побывали в городской тюрьме. Тут к нам снова присоединили заключенных. Нас ждал путь до Ленинграда, бывшей столицы царей.

В Ленинград мы прибыли вскоре после весеннего наводнения. Большая часть ленинградских улиц были под водой. Нас выгрузили из вагонов, погнали по улице, на которой было по колено воды. По ней нужно было не только двигаться, но и нести багаж, оберегая его от воды, помогая при этом немощным арестантам та-

щить их вещи. Страшный отпечаток в моей памяти оставил этот марш по столице царей. Приняла она нас негостеприимно и уныло... В городской тюрьме наш багаж и одежду обыскали, и нас посадили в камеру № 4, большую и просторную, но набитую до краев 150 арестантами. Тут мы «отдыхали» — если, конечно, пребывание в переполненной камере можно назвать отдыхом — несколько дней, пока партия, направляемая на Соловки, не увеличилась до 240.

Из Ленинграда мы двинулись в сторону Мурманска. 13 октября прибыли в Кемь, к Белому морю. Из вагонов сразу пошли в лагерь. По прибытии начальник лагеря вместе со старостой «поприветствовал» нас весьма оригинальным способом. Он прочитал нам так называемую «соловецкую летопись», которая содержала указания, как должен вести себя заключенный на Соловках. Нам приказали забыть о предыдущих тюрьмах, так как тут, на Соловках, находится концентрационный лагерь особого назначения для заключенных, приговоренных к тяжелым принудительным работам.

— Тут нет ничего вашего, тут все советское, — громко прокричал комендант лагеря. — Кто осмелится разговаривать во время работы или изображать из себя больного, тот будет сурово наказан. Мне разрешено в вас стрелять за непослушание хоть каждую минуту.

Можно понять, что это приветствие не оставило приятного впечатления. Оно было предсказанием будущих мук, которые нас здесь ожидали. После прочтения предписания нас разделили на группы и разместили в соседних бараках.

Это были грязные, с характерным запахом, здания с дырявыми крышами, через которые текла вода. Мы легли на грязный от тины и сырой от воды пол, дрожа от холода. Трудно было спать в таких условиях, но усталость свалила нас с ног, и вскоре мы заснули сном невинных.

Два дня нас держали в Кеми в голоде и холоде. Запасы хлеба, которые нам выдали в Ленинграде, давно уже закончились, а комендант лагеря в Кеми особенно не волновался насчет наших желудков. Видимо, его больше беспокоило, как приготовить заключенных к худшим условиям, которые ожидали их на Соловецких островах. Через два дня нас посадили на пароход под названием «Глеб Бокий» и привезли на Соловецкие острова.

Большой Соловецкий остров, длиной 30 и шириной 15 километров, находится в Белом море в 67 километрах от Кеми. Несколько веков назад здесь был построен монастырь, который был похож на большую и мощную крепость. Кроме самого монастыря здесь были еще и монастырские дома, так называемые скиты. Всего их на острове три: Савватиево, Муксалма и Секирная гора. Кроме того, на острове было еще несколько хуторов: Исаково, Старая Сосновая тоня, Новая Сосновая тоня, Овсенка...

До большевистской революции на этом острове жили монахи. В 1922 году сюда приехал прославленный преступлениями Феликс Дзержинский, председатель Чрезвычайной Комиссии. Он выпроводил монахов и переделал остров с монастырем под тюрьму. Остров был поделен на четыре лагеря: первый — монастырь, похожий на старую крепость, второй — Савватиево, третий — Муксалма, а четвертый — Секирная гора. Но кроме Соловецкого острова Дзержинский велел использовать для строгих тюрем и соседние острова: Конт, лежащий в 120 верстах от Соловецкого острова, названный пятым отделением лагеря; остров Анзер, острова Заяцкий, Маяк, Мудьюг. Через два года, когда эти острова уже не вмещали всех сосланных на каторгу, Дзержинский определил для лагерных целей и мурманское побережье.

Заключенных направляли на разные работы, на строительство дорог через леса и болота. Климат был непривычным для большинства людей, многие из них умирали. В этих местах свирепствовали болезни: цинга, туберкулез и тиф. Но более страшными для осужденных были пытки, которые придумали для них соловецкие чекисты. Вскоре мы остановимся на них подробнее.

Когда мы прибыли на Соловецкий остров, начался проливной дождь. Мы вымокли до нитки, прежде чем добрались до так называемого кремля бывшего монастыря. Староста кремля, который принял нас от конвоя под свою «опеку», направил нас в помещение 11-й рабочей роты. С великим усердием мы поместились в комнате, выглядевшей на первый взгляд довольно просторной. До нашего прихода здесь уже находилось 460 заключенных. Трудно было даже пошевелиться. Представьте, каких усилий стоило отыскать местечко на грязном полу. Фактически люди лежали друг на друге. А какой в этом помещении был воздух, трудно описать и даже представить. Это было в сто раз хуже, чем в публичных уборных...

На грязном полу лежали, стесняя друг друга, существа, а точнее, человеческие тени. Все они были грязными, оборванными, покрытыми лохмотьями, запачканными и помятыми, как будто вынутыми из помойки. В глазах каждого отражалась горячка, а лица земляного цвета выражали изнуренность. Человеческие лохмотья! Отбросы общества!

Наше прибытие их не слишком сильно взволновало. Они уже не обращали внимания на какие-либо изменения в жизни. Большинство этих людей отказались уже от всего, терпеливо ожидая смерти как спасения.

Вид людской нужды и унижения ужасно подействовал на меня и моих товарищей. Неужели и нас советские палачи сравняют с этой безликой массой? Меня охватывала дрожь при одной только мысли об этом.

В этот момент раздалась команда: «Внимание!»

Кричала, стоя посередине комнаты, изнуренная фигура начальника отряда.

— На сколько дней, — обратился он к нам, — вы получили пищу, отправляясь на Соловки?

— На пять дней, — ответил один из прибывших. — Но, несмотря на то, что ехали мы восемь, наши запасы не залежались и на три дня.

— Залежались? На Соловках залежались? А кулаком в морду?

Все замолчали.

— Разойтись! — крикнул нам на прощание начальник отряда.

Мы немного вздохнули, хотя разойтись нам было некуда, так как места в помещении, как я уже говорил, не было. Однако нам не дали отдохнуть. Через 30 минут снова раздалась команда: «Внимание!» В камеру вошел пьяный, еле держащийся на ногах чекист и приблизился к командиру отряда. Они о чем-то пошептались между собой. На этом совещании у них родился подлый замысел.

— Новоприбывшие, выходите во двор, — скомандовал командир, — вам там выдадут хлеб.

Так как у каждого из нас уже кишка за кишку заходила, мы быстро вышли во двор, где нас расставили в две шеренги. Комендант приказал:

— Пересчитать!

— Раз, два, три, четыре...

Когда посчитали людей в шеренгах, вооруженные чекисты взяли нас в кольцо; их командир, пьяный чекист, прокричал:

— Марш на работы!

— Мы голодны! Три дня уже ничего не ели, — закричали мы одновременно.

— Я вас накормлю, сукины сыны! А в морду кулаком не хотите?

После этих слов разъяренный чекист двинулся в нашу сторону и начал бить заключенных кулаками по лицу.

— Я вас, гады, научу соловецкой дисциплине! Хлеба им захотелось! А по морде кулаком не нравится? — кричал чекист, нанося удары направо и налево.

Среди избиваемых было 19 старцев и 7 священников. Как я позже узнал, этот бешеный чекист носил фамилию Соколов. Он славился на островах своими выходками.

Нас проводили до пристани и велели разгрузить баржу «Клара Цеткин», на которой было 3300 пудов угля, и перенести его на 250 метров от причала. Для 22 человек это была очень тяжелая работа, тем более что лил холодный проливной дождь, струями врывавшийся в баржу. Мы работали около 25 часов без перерыва и отдыха. Нас регулярно подгоняли, не позволяя даже закурить. Если кто-то

осмеливался остановиться хоть на минутку, на него тут же обрушивались приклады чекистских карабинов. Так выглядел восьмичасовой рабочий день при Советах.

Это был первый для меня день принудительных работ на советской каторге Соловецких островов. Буду помнить об этом всю свою жизнь. Я падал от усталости, собирал остатки сил, глаза мои слипались, но я обязан был работать, потому что в каждую минуту приклад карабина мог раздробить мне голову.

После 25 часов мучений нас отправили в камеру и выдали хлеб на три дня вперед. Но мы были настолько голодны, что съели все в ту же минуту. С трудом собрались просушить одежду и белье: каждый из нас промок до нитки. Однако отдыхать нам позволили недолго. После четырехчасового перерыва нас отправили на озеро Перт, которое находилось в трех километрах от кремля. Тут нам приказали вытаскивать из воды на берег разбитые плоты. Снова мы вымокли до нитки. А ведь была уже осень! Но разве чекистов заботило наше здоровье?! Нет! Умышленно они планировали такие работы, чтобы довести нас до болезни и физического унижения.

После двух недель такого труда (длился он по 16 часов в сутки) меня вместе с ранее упомянутым Влодкем и Кажкем перевели на рытье могил. Партия заключенных, направленная на рытье могил, насчитывала 26 человек. Каждый из нас обязан был выкопать по две ямы в день. Это было очень сложно, практически невозможно: грунт на Соловках каменистый. Кто не выкапывал этих ям, того ожидало заключение на так называемой Секирной горе, которая была устрашением для всех осужденных. На ее 250-метровой вершине стояла очень старая каменная церковь, без окон и дверей, с каменным полом. Там было очень холодно, как в морозилке. Внутри церковь была пуста: не было ни нар, ни столиков, ни лавок — ничего. У сосланного на Секирку отбирали одежду и обувь, загоняя в церковь в одном нижнем белье.

Легко представить, какие муки переживали заключенные в этой ледяной церкви, особенно осенью и зимой. Бедняги спасались от холода как могли. Когда приближалась ночь, ложились друг на друга, чтобы сохранить тепло. Через несколько часов менялись местами: те, кто был сверху, ложились вниз, а те, кто был внизу, перебирались наверх. Но не всегда такое согревание телами помогало. Часто сверху находили умерших от переохлаждения, а внизу — раздавленных под тяжестью тел, лежавших наверху. И все это приходилось терпеть заключенным на Соловках. Под угрозой подобных мук осужденные выжимали из себя последние остатки сил, лишь бы не попасть на Секирную гору.

В отряде, который копал могилы, я повстречал двух поляков. Один из них — Роман Напольский, 28-летний студент четвертого курса Медицинского университета в Варшаве, другой — Франчишек Дец, сержант польской армии. Ему

было 26 лет. Вскоре я с ними подружился. Они пребывали на Соловках с 1923 года, поэтому знали все лагерные правила.

Напольский поведал мне историю своего пребывания на Соловецких островах. Поскольку его рассказ подробно описывает отношение чекистов к заключенным, позволю себе процитировать его читателям.

— Так как, — рассказывал Напольский, — я был медиком четвертого курса, а на Соловках не хватало врачей, по прибытии меня определили в больницу. Но поработал я там недолго. За выражение протеста против расстрела чекистами заключенных эсеров отправили меня копать могилы.

— Как это было?

— Вся эта сцена произошла в июле 1924 года в Савватиево, во 2-м отделении лагеря, начальником которого был Антипов. Эсеры прогуливались по двору, я сидел под деревом и читал книгу. В это время один из чекистов позвал их: «Хватит гулять, марш в барак!» — «Но наше время еще не вышло. Нам еще осталось полчаса», — торговались эсеры с чекистами. В эту минуту во двор вышел Антипов. «О чем торгуется стража», — спросил он заключенных. «Только расходились, — ответили они. — Можем гулять еще полчаса, а охрана приказывает нам уже сейчас возвращаться в барак».

Спокойный ответ эсеров разъярил Антипова. Кровь прилила к его лицу. Он покраснел, а потом посинел. «Ах вы, проклятые псы, гады, сукины дети, — выкрикивал он ругательства. — Я научу вас уважать власть!» — «Просим следить за своими словами», — прокричали тотчас эсеры, которые, как интеллигентные и воспитанные люди, были чувствительны к оскорблению достоинства. «Это что такое? Сопротивление властям? Товарищи, — зарычал он, обращаясь к охранникам, — научите их разуму. Стреляйте по ним из карабинов! Быстрее!»

Послушная, а впрочем, и сама жаждущая крови стража пальнула из карабинов по эсерам. Итог залпа был страшен: 10 убитых и 16 раненых.

Я сорвался с места, бросив книгу, и, подбежав к Антипову, закричал: «Начальник, за что вы приказали убить этих людей?!» — «Молчать! Не твое дело, — ответил Антипов. — Впрочем, как можно жалеть гадов, — начал философствовать он, — которые подрывают наш советский строй».

«Да и ты, — взбесился он снова, — такой же гад, как они, и тебе бы надо тоже пулю в лоб».

После этого Антипов повернулся на пятке и, не оглянувшись на раненых и убитых, ушел со двора. Я тем временем бросился к раненым, созывая санитаров-заключенных, и начал обрабатывать раны. На другой день в больницу принесли бумагу с распоряжением о моем переводе из больницы на рытье могил. О!

Сколько могил я уже выкопал с того времени! Но что делать? Такая уж наша доля на этих Соловках.

— Товарищ копальщик, — подшучивали надо мной Напольский и Дец, — глубже. Кто знает, для кого копаешь: для себя или для нас.

Предсказание Деца и Напольского вскоре сбылось.

В ноябре 1924 года мы жили в бараке 4-го отряда. Во время одного из вечерних осмотров, на котором присутствовал начальник администрации Васьков, Напольский спросил, нельзя ли вернуть его обратно в госпиталь.

— А что? — выкрикнул Васьков. — У интеллигентов, особенно польского происхождения, что-то в голове перевернулось? Может, вас еще на руках носить? Тьфу! Лучше я сто раз поговорю с темным глупым русским крестьянином, чем с польским интеллигентом.

— Удивляет меня, — ответил Напольский, бледный от смущения, — что начальник администрации не способен на более интеллигентный ответ.

Высказывание Напольского сразило Васькова.

— Эй! — закричал он главному в отряде. — Посадите эту пташку на Секирную гору. Там он точно научится уважать советскую власть.

Дец, приятель Напольского, запротестовал против этого несправедливого наказания.

— И этого бунтовщика, — рыкнул Васьков, — тоже на Секирку. Может, кто-нибудь еще хочет туда отправиться? — кричал он, оглядывая замершие колонны.

Все трусливо молчали...

Дец и Напольский просидели на Секирной горе два месяца. О том, что они пережили в этот период конца осени и начала зимы, можем только догадываться, зная истории мучений заключенных в этой ледяной камере. Это точно, что Всевышний, глядя на их земные мучения, отпустил им все прежние грехи и забрал их души в рай.

После двухмесячного пребывания Деца и Напольского на Секирной горе большевики приговорили их к смерти и в январе 1925 года расстреляли. Покоились они недалеко от тех могил, которые они копали для других жертв большевиков.

Расстрел людей на Соловках был обычным делом. Тысячи людей гибли от пуль советских выродков и очень часто без причины. Начальник Северного лагеря Ногтев очень часто устраивал у себя забавы, так называемые званые «пирожки». На этих «пирожках» бывали все лагерные начальники, в том числе и помощник Ногтева Эйхманс, административный начальник Васьков, начальник 1-го отделения Баринов, начальник 2-го и 4-го отделений Антипов, начальник 3-го отделения Кирилловский, начальник следственного отделения Позов, начальник 6-го Ярошенко и много других советско-соловецких «дегенератов».

Когда они напивались, посылали чекистов в женское отделение за девушками, которых приводили к начальникам силой. Пьяные изверги набрасывались на бедных девчат, срывали с них платья, рубашки и приказывали голыми танцевать на столе между бутылками водки. Тем, кто отказывался, не жалели кулаков и нагаек. Когда через несколько часов этого дикого безумства им надоедали униженные девушки, чекисты выгоняли их голыми на мороз и снег, пиная сапогами аж до самого барака.

Но это было только начало забавы советско-соловецких извергов. Дальше начиналась кровавая программа. Пьяные начальники хватались за наганы и карабины и в открытые окна стреляли по заключенным, которых в это время выгоняли на работы в лес или на пристань. После такой забавы появлялось несколько свежих могил, а в санчасти было полно тяжелораненых.

Может, читатели удивятся, что я запомнил фамилии этих начальников так хорошо. Я повторял их на Соловках каждый день, верил в то, что придет время справедливого возмездия.

В феврале 1924 года на вечернем собрании отряда из нас было выбрано 18 человек для работы в лесу в районе Исаково, что в десяти километрах от кремля. То была тяжелая дорога — никогда ее не забуду. В 10 часов вечера нас вывели во двор кремля, расставили в две шеренги, провели перекличку и приказали погрузиться на сани, запряженные волами. Сани прибыли из Исаково в кремль за провизией. Так как уже пару дней мела страшная снежная буря, о какой в Польше не имеют даже представления, нас, 18 человек, и отправили, чтобы откапывать дорогу и помочь перевезти провизию в Исаково. Нам дали по деревянной лопате и послали в дорогу. В этот раз мы были без чекистов, потому что эти палачи, издевающиеся над беззащитными заключенными, побоялись снежной бури.

Та буря действительно была ужасной. Массы снега, бросаемые ветром, били по лицу и ежеминутно засыпали транспорт. Не видно ни зги. Слышен был лишь свист ветра, который завывал как сумасшедший, разбрасывая массы снега в стороны.

Когда транспорт, двигавшийся черепашьим шагом, выехал из железных ворот кремля, уже на первом пригорке на нас налетел страшный ветер и сорвал с телеги все наши одеяла, подушки и матрасы, унеся их в бездну. Напрасно мы носились за ними по полю, занесенному снегом. Сильнейшие вихри уносили их в закрытую снежными тучами даль.

Пока обоз двигался по открытому полю, мы еще не вкусили всех прелестей этого путешествия. Настоящее горе пришло, когда наш транспорт въехал в лес. Шальная буря гнула толстенные стволы, трясла ветками, как перышками, ломала деревья. Время от времени могучий грохот и треск врывались в адскую

музыку вихрей. Сломанные или вырванные с корнями деревья валились на землю. Пронзительный грохот шел по шокированному стихией лесу. Каждый из нас оглядывался, ожидая, что вот-вот на него свалится вырванное с корнем дерево. Казалось, это никогда не кончится. Мы не успели сообразить, как на наш обоз рухнули несколько деревьев. Одиннадцать заключенных погибли, волы были раздавлены. Остальные уцелели чудом: нас накрыла верхушка сосны, не причинив сильной боли. Тем не менее, мы не могли выбраться из-под нее. Каждую минуту нас засыпало снегом, все ждали смерти.

Спустя несколько часов, когда буря стихла, из Исаково выслали партию заключенных для поиска обоза. Около 9 часов утра засыпанный снегом транспорт был найден. Раскопали снежные завалы и достали нас еле живых из-под снега. У большинства из тех, кто выжил, были обморожены руки, ноги и другие части тела. Продукты почти не пострадали, если не считать несколько испорченных мешков муки.

Когда прибыли в Исаково, нас встретили присматривающие за лесорубами Рыскинд, два его помощника Исаак и Абрам Левицы и начальник конвоя на Исаково еврей Реминсон.

— Какие потери нанесла буря транспорту? — спросили они десятника, который откапывал нас.

— Одиннадцать заключенных погибло, потеряли шесть пар волов, несколько мешков муки, — отрапортовал десятник.

— Жалко муку, — бросил Рыскинд, — лучше бы остальные гады сдохли...

Вот так ценилась жизнь заключенных на Соловках.

После нескольких часов пребывания в теплой избе при заботливом уходе отца Платона, бывшего монаха Соловецкого монастыря, мы пришли в себя, хотя долго не могли забыть о страшной буре, в которой чуть не погибли.

— Отец Платон, — спросил я у старца, — часто ли бывают на острове такие бури?

— Вообще-то бури бывают часто, но та, что застала вас вчера, случается очень редко. 56 лет провел я в монастыре, но только два раза видел такие вихри: вчера и 40 лет назад.

Название Исаково происходит от имени одного из монахов, основывавших Соловецкий монастырь. Это очень маленькое поселение. Около деревянной церковки, вознесенной на горе, стоит несколько домов. Церковь большевики переделали в склад провизии, а в деревянных домах разместили заключенных. В каждом домике находились лишь нары, там жило по десять человек. Теснота была страшная. Это легко представить, если вспомнить, что во времена, когда строилась церковь, такой домик предназначался только для двух монахов.

Ничего удивительного, что в этом тесном скоплении людей размножались различные насекомые, а с ними — болезни. Днем нас грызли вши, а по ночам не давали спать клопы и крысы. Начальство не заботилось и о смене белья. Когда мы пытались просить, они говорили, что смена белья — это буржуйские выдумки.

На второй день после прибытия в Исаково, когда я еще чувствовал боль в костях и мышцах, меня и других заключенных отправили на работы в лес. Это был адский труд. Заключенных поделили на группы по три человека в каждой. Мы должны были рубить стволы по три сажени в длину и полторы в ширину. Потом надо было это дерево протащить по снегу еще на 300 шагов. И так в течение дня. Кто не выполнял норму, еды не получал, и его оставляли на ночь в лесу до тех пор, пока не выполнит задание.

За работу мы получали по 2,5 фунта черного хлеба и обед, приготовленный из трески. Обычно обед состоял из супа, который был приготовлен следующим образом. В котел бросали порезанную, с кожурой, мороженую картошку, вонючую треску и заливали водой. Эта мешанина, которая больше напоминала помои, что дают свиньям, была нашей горячей пищей.

Как я сказал, заключенные, не выполнявшие норму, не получали ни хлеба, ни этого вонючего супа, а к тому же их вообще оставляли на ночь в лесу. Ясно, что редко несчастный возвращался к своим товарищам. Обычно он умирал в лесу от холода. Понятно, почему многие заключенные отрубали себе пальцы на руках или калечились другим способом, лишь бы избежать этой каторги и попасть в санчасть. Но когда такие случаи участились, чекисты стали оставлять на лесоповале и калек, отказывая им в медицинской помощи.

Много жизней уносили морозы. Многие отмораживали себе руки, ноги, носы или уши. Мы не знали, как следует лечить обморожение, да и лекарств никаких не было. Часто обморожения заканчивались гангреной, усугубляемой грязью и насекомыми.

Работая на лесоповале, я познакомился с хорошо известными в Петрограде бароном Штромбергом и российским купцом Коралловым. Вместе мы валили в лесу деревья, вспоминая о прежних временах.

Как-то Кораллов, в отчаянии от тяжелой работы в лесу и полной унижений жизни на Соловках, положил руку на пень и сказал, обращаясь ко мне:

— Коллега, отруби мне пальцы.

— Нет, не сделаю этого, — ответил я, дрожа от возмущения.

— Ты сделаешь для меня доброе дело, — упрашивал Кораллов. — Хватит с меня этого леса и этой каторжной работы.

— Нет, я не могу, друг, не могу, — успокаивал я Кораллова. — Думаешь, эта жертва тебе поможет? Попадешь в госпиталь, грязный и ужасный, но и там тебя не перестанут мучить.

На следующий день мы снова собрались тройкой в лесу. Я с бароном Штромбергом корчевал пни, а Кораллов обдирал кору с деревьев. Мы уже срубили несколько деревьев и присели, чтобы выкурить по папиросе из вонючей махорки. Завязалась беседа, в которой Кораллов участия не принимал.

— Что такой грустный? — спросили мы его.

— Эх! — махнул он рукой. — Жить не хочется. Может, ты, барон, отрубишь мне пальцы?

— Снова тебе в голову взбрело, — начал было протестовать Штромберг. — Тебя и Бог покарает за такие нехристианские мысли.

— А этих гадов, большевиков, не покарает?

Дальнейший наш разговор прервал десятник, который, размахивая палкой перед нашими глазами, кричал:

— За работу, обезьяны, сукины дети! За работу! А не то сделаю из вас этой палкой зебру...

Кораллов злым взглядом посмотрел на десятника и стиснул в руках топор. Мы с бароном собрались рубить очередную сосну. Когда сосна уже была подрублена настолько, что в любую минуту могла рухнуть, мы предложили Кораллову отойти в сторону. Но он только того и ждал. Когда сосна начала валиться на землю, он бросился под нее. Мы не успели даже ахнуть, как он упал, придавленный огромным стволом. Так закончил свои мучения известный некогда российский купец Кораллов. После него остались вдова и трое сирот. Подобные случаи происходили практически ежедневно.

После смерти Кораллова его место в нашей тройке занял князь Николай Голицын. Работа шла медленно, потому что ни Голицын, ни Штромберг не были к ней приспособлены. Нас часто оставляли в наказание в лесу на ночь, не давали пищи, били палками. От этих побоев вскоре сошел с ума Штромберг.

Да и князь Николай Голицын тоже плохо кончил. Однажды ночью из-за плохого самочувствия он не захотел выйти из барака на работы. Чекист еврей Реминсон и охранник Иванов избили его палками. Помню как сейчас: заплетаясь ногой за ногу, князь тащился в лес. Он встал около нас, шатаясь, из последних сил держась на ногах.

— Дайте ему топор, — приказал Реминсон. — Возьми его и обдирай кору со стволов.

Но у избитого князя не было сил даже двинуться. Топор выпал у него из рук, колени согнулись под тяжестью обессиленного тела, он упал на землю. Разъяренный Реминсон набросился на обездвиженного князя с криком:

— Снова это аристократическое быдло притворяется больным! Сейчас быстро отучу тебя! Иванов, помни ему ребра наганом!

В ту же минуту на несчастного обрушились приклады карабинов. Так еврей Реминсон с простолюдином Ивановым глумились над российским аристократом. Ему сломали ребра и бросили в лесу без присмотра и помощи. Через пару часов душа князя Голицына покинула изуродованное еврейско-большевистскими палачами тело.

Впрочем, вскоре пришел и мой черед. Я тоже вынужден был испробовать «удовольствия», которые приготовил Реминсон для подвластных ему заключенных. Через несколько дней после убийства князя Голицына я почувствовал дрожь во всем теле и боль в мышцах. Я обратился к фельдшеру по фамилии Бут-Ковальский. Фельдшер измерил у меня температуру: оказалось больше 39 градусов.

— Ты действительно болен, — заключил Бут-Ковальский, — и не должен выходить на работу, оставайся в бараке и лежи.

С великой радостью принял я предписания фельдшера. Однако чекисты не позволили мне болеть. Через полчаса после посещения фельдшера ко мне вошли два палача: Реминсон и Иванов.

— Почему не пошел на работу? — закричал Реминсон.

— Я болею, у меня температура выше 39 градусов, фельдшер велел мне остаться в бараке.

— Что значит болею? На Исаково не может быть больных! Марш на работу!

Меня заставили идти в лес. Я брел, шатаясь от слабости. Но Иванов и Реминсон меня погоняли, не жалея ударов и колкостей.

— Будешь работать в лесу? — спросил меня по дороге Реминсон.

— Тяжело мне будет, потому что у меня высокая температура и боль в легких.

— Я тебе другую работу найду, — ответил зловеще еврей Реминсон и отвел меня на заснеженное озеро. Недалеко от берега виднелась прорубь, из которой черпали воду для питья. Чекисты проводили меня до этой проруби.

— Снимай одежду! — приказал Реминсон.

— Зачем? — спросил я, понимая, что они собрались выкупать меня в этой проруби или утопить.

— Быстро раздевайся! — вскричал взбешенный чекист.

— Не сниму! — прокричал я изо всех сил.

Не успел и оглянуться, как оказался на льду, и они стали избивать меня прикладами. Когда меня избили до такой степени, что я не мог пошевелиться, Иванов по приказу Реминсона стянул с меня одежду и толкнул в прорубь при 37-градусном морозе. Когда вытащили из ледяной воды, я весь трясся от холода.

— Беги в барак, — приказал Реминсон, толкая меня палкой, — сейчас ты будешь здоров как бык.

Я бежал так быстро, насколько у больного организма хватало сил. Когда я пробежал полкилометра от озера до барака, то больше был похож на кусок льда, чем на человека. Купание в проруби при 37 градусах ниже нуля подорвало здоровье. Несмотря на то, что я был молодым и полным сил, никогда уже я не смог вернуть здоровье, какое имел до этого проклятого купания. Такими вот «играми» забавлялись чекисты на Соловках. Жизнь заключенных ценилась здесь меньше, чем жизнь пса или иного животного.

С весны 1925 года на Соловках начал свирепствовать тиф. Он сразу распространился по всем отделениям соловецкой тюрьмы. Ясно, что тиф в условиях холода и грязи спровоцировал вспышку других болезней в лагере. Санчасть была переполнена. Вскоре в ней совсем не стало мест. Грязные бараки, больше похожие на хлев, чем на помещение для людей, были по необходимости приспособлены для больных. Каждый день умирали десятки заключенных. На устах 11 тысяч несчастных мучеников соловецких тюрем застыли два страшных слова: «Смерть идет!» Всех охватил страх, который окончательно расшатывал и так расстроенные нервы. Многие с нетерпением ожидали минуты, когда за ними придет смерть-избавительница и вызволит их из лап большевистских палачей.

Наибольший страх испытывали чекисты, которые хоть и проливали каждый день кровь других людей, но сами панически боялись смерти. Видимо, чувствовали, что после смерти их ожидает ад.

Когда эпидемия тифа на Исаково приобрела огромные масштабы, к нам прислали врача, пани Фельдман, которая отправила часть больных в центральный лазарет острова. Когда я пошел на поправку, врач назначила меня санитаром при лазарете. Это была тяжелая работа. В палате, куда меня определили, находилось 48 больных. Практически каждый день умирали по десять человек. Трудно было им помочь, поскольку не было лекарств.

После нескольких недель работы в лазарете врач назначила меня старшим санитаром и помощником фельдшера, должность которого исполнял бывший православный архиерей из Петрограда Протопопов. Мы оба никогда раньше не работали в больнице и не имели ни малейшего представления о лечении и уходе за больными. И нет ничего смешного в том, что с нами произошел следующий комический случай.

Однажды я подошел к лежащему в нашей комнате Сидорову, чтобы измерить пульс и температуру. Когда схватил его за руку, почувствовал, что пульса нет.

— Владыка, — позвал я Протопопова, — Сидоров умер.

Протопопов подошел к кровати Сидорова, взял его за руку, приложил ухо к сердцу и сказал:

— Умер, бедняга! От имени Господа...

Он осенил крестом умершего и попросил вынести тело в морг. Молодые санитары взвалили Сидорова на руки и унесли. Там с него сняли белье и положили на стол, где лежали мертвецы. Вскоре мы забыли о Сидорове, потому что забота о больных не позволяла нам долго думать об усопших. После полутора часов, как отнесли Сидорова в морг, я вышел в коридор, чтобы забрать из шкафа больничное белье. Не успел я сделать несколько шагов, как перед моими глазами предстала страшная картина: по полу коридора в сторону больничной избы полз Сидоров. Меня охватил неописуемый страх, тем более что уже было около 12 ночи. Я быстро повернулся и вбежал в помещение санчасти с криком:

— Владыка, Сидоров ожил, ползет по коридору в нашу сторону.

— Ты что, с ума сошел?

— Владыка, выйдите на коридор, сами увидите.

Архиерей подошел к двери, осторожно приоткрыл ее, посмотрел в щель и быстро захлопнул ее обратно.

— Во имя Отца... — начал причитать он. — Сидоров ползет.

Владыка вынул из кармана иконку и начал молиться. Дрожа от страха, я прислонился к нему.

Дверь отворилась, и в комнату ввалился Сидоров.

— Владыка, — шептал он, — зачем приказали снести меня в морг?

Мы моментально пришли в чувство и поняли нашу страшную ошибку: Сидоров был живой, когда мы приказали отнести его в морг. Он проснулся на столе, где лежали трупы, и, поняв причину, по какой он тут оказался, решил, что должен добраться до больничного помещения. Мы осознали свою вину, подняли бедного Сидорова, положили на кровать, дали ему чистое белье. На другой день Сидоров пожаловался доктору, который, понимая нашу неосведомленность в медицине, хорошенько нас отругал. Через несколько недель Сидоров выздоровел и с того времени стал насмехаться над нашими познаниями в медицине. Так закончилась эта трагикомичная история с Сидоровым. После того случая мы все очень тщательно осматривали умерших.

Скоро койку Сидорова занял новый пациент, на это раз не заключенный, а чекист Соколов, известный своими издевательствами над заключенными на Соловках. Соколов собственноручно расстрелял более ста осужденных. Он был настоящим выродком, которому кровопролитие доставляло наибольшее удовольствие.

Разумеется, мы обрадовались тому, что тиф свалил палача. Пришло и его время. Когда однажды наша врач, пани М., обходила больницу, она приблизилась ко мне и спросила:

— Знали ли вы Напольского и Деца?

— Как же. Мы вместе копали могилы до того времени, пока их не приговорили к смерти. Они мои соотечественники.

— А вы знаете, кто их расстрелял?

— Я пробовал разузнать, но трудно было найти фамилии убийц.

— Это Соколов, — шепнула она, указывая на лежавшего на койке чекиста, — собственноручно расстрелял Деца и Напольского.

— Откуда вы это знаете?

— Я, как врач, должна была засвидетельствовать их смерть.

— Это точно был Соколов?

— Своими глазами видела.

Я застыл на минуту. Эта дрянь, кровопийца, нервное быдло расстрелял Деца и Напольского? Я стиснул зубы, страшная ненависть подтолкнула меня к койке Соколова. Будь у меня что-нибудь под рукой, точно бы не сдержался.

— Пан Мечислав, — оторвал меня от тяжелых мыслей голос врача.

— Слушаю вас!

— Знаете ли вы, почему я присутствовала на расстреле Деца и Напольского?

— Приказали?

— Да, приказали! Приказали потому, что видели, что нас с Напольским связывали очень близкие отношения. Я любила Романа. Сильно. Это их система: довести людское терпенье перед смертью до предела. Канальи! Звери!

Я не удивился этим выкрикам пани М., потому что, если их на самом деле связывали близкие отношения, последним скотством было приказать ей освидетельствовать, пусть даже и в качестве доктора, смерть любимого. Но в издевательствах над людьми чекисты не знали меры. Через некоторое время пани М. вызвала меня через санитара в свою комнату. Из ее уст я услышал грустный и страшный рассказ.

— Васьков и Ногтев, — говорила пани М., — хотели отомстить мне за то, что я отказалась от их пошлых предложений, и приказали присутствовать на расстреле Романа. Это было в январе 1925 года. Однажды ночью меня вызвали на расстрел двух заключенных. Меня это удивило, потому что на Соловецких островах обычно не вызывали доктора для освидетельствования смерти. Однако мне было приказано присутствовать. Когда меня привели на место убийства, я увидела мерзавцев Васькова и Ногтева, а кроме них и пьяного Соколова. Приговоренных еще не было. Я еще не знала, кого будут казнить. Через несколько минут увидела группу из шести человек: двоих заключенных в окружении четырех красноармейцев. Когда они приблизились ко мне на пару шагов — о, Боже! я узнала Романа и Деца. Это их приговорили к смерти, это их через минуту должны были расстрелять.

Трудно передать словами, что я пережила в те минуты, я практически перестала соображать, что со мной происходило. Но я все видела и все запомнила.

Романа и Деца, у которых были связаны руки, проводили вниз. Зачитали им приговор: за сопротивление советским властям — расстрелять.

Им развязали руки и приказали раздеться.

Роман с удивлением глядел на меня и спокойно, не спеша, раздевался. Также поступил и Дец. Когда разделись, к ним с пачкой папирос подошел пьяный Соколов и стал угощать их. Оба отказались, а Роман спокойно, но с гордостью сказал: «Из рук, испачканных кровью невинных людей, не возьму даже папиросу!» — и закурил свою махорку. Васьков и Ногтев не произнесли ни слова, только пьяный Соколов махнул рукой.

«Мы готовы!» — обратился к палачам Напольский, докурив самокрутку. «Да! Мы готовы!» — подтвердил Дец. «Как желаете, — спросил Васьков, — чтобы вам стреляли в спину или в лоб?» — «Хотим видеть, — вскипел Роман, — что у вас не дрогнет рука». Тотчас же Васьков, для которого расстрел людей не был чем-то новым, приказал красноармейцам отойти в сторону, взяв оружие наизготовку, а Соколову крикнул: «Ну, Соколов, доставай свой наган!»

Озверевшие чекисты Васьков и Соколов — запомните их фамилии! — нацелили наганы на Напольского и Деца. Раздались два выстрела. Первым на землю упал Дец, потом Роман. Что происходило дальше, уже не помню. Когда на другой день я очнулась на больничной койке, санитарка рассказала мне, что я упала в обморок при расстреле заключенных и меня без чувств и без памяти привезли в санчасть. После потери Романа я целый месяц болела. Так мне отомстили Васьков и Ногтев. Но Бог уже отдал одного из палачей в мои руки. Клянусь, что Соколову не выйти живым из больницы!

Хоть я сам ненавидел Соколова, меня насторожила эта фраза.

— Что вы говорите?

— Говорю то, что должно случиться. Клянусь отомстить всем палачам, которые расстреляли Напольского и Деца, и клятву эту я сдержу, даже если это будет стоить мне жизни.

После 13 дней пребывания Соколова в санчасти наступил критический момент в его болезни. Я видел, как пани М. с нетерпением ожидала этого момента, надеясь, что смерть приберет его. Но сильный организм Соколова справился с осложнениями, и видно было, что он будет жить. Надежды пани М. не сбылись. Через несколько дней после кризиса Соколов начал набирать силы.

— Может, после этой болезни ты станешь лучше, — однажды сказала ему доктор, — и прекратишь убивать людей?

— Тебе жаль эту дрянь Напольского? Я таких уже сотни расстрелял, а когда выйду отсюда, еще не одного на тот свет отправлю, — сказал Соколов.

— Смотри, чтобы тебя Бог не наказал, — пригрозила ему пани М. — Там, в России, сотни вдов и сирот просят Бога о твоей смерти, а ты мыслишь о новых преступлениях.

— Бог? Буржуйский вымысел! Что мне Бог? Я все равно буду расстреливать!

— У меня — предчувствие, что не успеешь! — крикнула она, и в ее голосе появились грозные нотки.

Рано утром врач позвала меня к себе и приказала разнести больным кружки с молоком. Когда я уже все сделал, она дала мне еще одну кружку со следующим словами:

— Она предназначена для Соколова. Смотри, чтобы не досталась кому-нибудь другому. Это специальное лекарство, оно только для Соколова.

Меня удивила ее забота о Соколове, особенно после вчерашнего разговора.

— Что-то пани слишком заботится о Соколове, — сказал я.

— Это же наша власть, — ответила она загадочно, — ей нужна специальная опека.

Молча я отнес кружку с молоком. Через час проснулся Соколов, схватил кружку и залпом выпил ее содержимое. Еще через полтора часа один из санитаров сообщил мне, что Соколов умер.

Я бросился к его койке, позвал фельдшера, и мы оба подтвердили, что Соколов мертв, попрощался с этим светом. Затем я побежал к пани М.

— Вы знаете, что Соколов умер?

— И его это когда-нибудь должно было коснуться, — бледнея, тихо ответила мне доктор. — Бог справедлив.

Я заметил, как она побледнела, нахмурилась, и сразу понял, что на самом деле произошло. «Отравила его», — прошептал я.

Так она отомстила Соколову за расстрел Напольского. Никто не узнал об этом, я скрыл в себе эту тайну за тремя печатями. Сегодня пишу об этом только потому, что пани М. (пусть ее фамилия останется неизвестной) давно уже покинула этот мир.

В июле 1925 года в санчасть пришла телеграмма, что к нам на барже «Глеб Бокий» высылают 300 больных из Кеми. Доктор Виноградов приказал мне взять восемь санитаров и идти на причал. Когда мы прибыли на причал, баржи еще не было, но на горизонте едва виднелся дым одной из ее труб. Через два часа она причалила к пристани. На ней было полно осужденных, высланных на Соловецкие острова. Потихоньку их начали вытаскивать. Больных я приказал положить на

сани и под присмотром санитаров отправить в санчасть. Сам остался на причале, пытаясь выяснить, нет ли среди прибывших поляков. Тут же я наткнулся на старого ксендза. Это был 60-летний священник Барановский, декан из Витебска.

— За что вас сослали на Соловки?

— Думаешь, я знаю? Меня причислили к делу поляков из Витебска: Ивановского, его жены и брата, Войно, Леоновича и пани Захаровской, о которых я до этого даже не слышал. После нескольких месяцев заключения в тюрьме дело это разрешилось. Ивановский, Захаровская, Войно, Леонович и еще кто-то пятый были приговорены к смерти и расстреляны, жену и несовершеннолетнего брата Ивановского выслали в Польшу, а меня и нескольких других отправили на Соловки, — грустно отвечал мне священник.

— Остальные прибыли с вами на этом же транспорте?

— Нет, — ответил он, — их оставили в Кеми вместе с 300 осужденными из минской тюрьмы. Они должны скоро сюда прибыть.

Дальнейший разговор прервал конвой, который увел Барановского с собой. Я бросился в кремль, чтобы предупредить поляков о прибытии на остров католического священника. Вскоре эта весть разнеслась по всему лагерю. Каждый из нас старался увидеться с ксендзом и хоть минуточку с ним поговорить. Каждый католик ждал от него утешения, и каждый мечтал помочь ему.

На следующий день в кремль стянулось множество поляков, литовцев, белорусов и даже армян, только чтобы встретиться с католическим священником. Каждый нес что мог: кусочки хлеба, сахара и т.п., лишь бы поделиться со священником и хоть немного с ним побеседовать. Собралось несколько десятков человек, я был среди них. Когда подошли к 13-му отряду, в который был определен священник, мы уже никого не застали. Оказалось, что отряд отправлен на работу. Вскоре мы узнали, что ксендз возит камни неподалеку от кремля, и отправились туда. Перед нами предстала картина: два старика тянут груженную камнями тележку. Одним из этих стариков был Барановский. Все как один мы бросились к телеге, отстранив стариков, и сами потащили камни.

Конвой предупредил нас о прибытии дежурного по лагерю. Едва мы успели перегнать телегу на место, как на нас набросились несколько красноармейцев и стали избивать прикладами. Кто не успел убежать, был посажен в карцер или заперт на проклятой Секирной горе.

После нескольких дней тяжелой работы священник заболел и оказался в санчасти. В то время там работал сосланный поляк доктор Высоцкий. Он занялся болезнью священника так заботливо, что за несколько дней поставил его на ноги. Вскоре, благодаря заступничеству доктора Высоцкого, ксендза перевели работать в больничную аптеку.

Он проработал там несколько месяцев, а после перевода Высоцкого в Кемь его сделали сторожем. В этом качестве Барановский пребывал до конца своего срока, то есть до 1928 года, после чего был отправлен с Соловков в Центральную Россию.

Через несколько дней после прибытия ксендза на Соловки прислали новую партию заключенных в количестве 300 человек. В этой партии я встретил много своих знакомых из минской тюрьмы.

— Прибыли ли с вами женщины?

— Да. Около двадцати.

— А из моих знакомых?

— Вроде бы графиня Р.

Графиню Р. я хорошо знал еще по минской тюрьме. Окно моей камеры было как раз над ее окном, так что при помощи «шнурковой» почты мы часто переписывались, чтобы хоть чем-то отвлечь себя от грустных мыслей. Я решил обязательно разыскать ее на острове. В отделе работ узнал, что часть прибывших женщин работает на кирпичном заводе в трех километрах от кремля. Прибыв на кирпичный завод, начал искать графиню Р. и вскоре нашел. Согнутая, она тащила на плече доску с мокрыми еще кирпичами.

— День добрый, пани! — поприветствовал я ее.

Графиня, увидев меня, бросила доску и кинулась ко мне с криком:

— Ах! Какая радость, пан Мечислав! Спрашивала уже о вас, знала, что выслали вас сюда. К сожалению, никто не смог ответить мне, где вы находитесь.

— Зато я вас нашел.

— Я рада, очень вам благодарна. Радостней мне будет на этом проклятом острове.

Мы пошли в сушилку и сели на досках.

— Что там, в Минске?

— Много ваших знакомых расстреляли: Лешчинского Александра, Журавского Стефана, Абрамовича, Адамовича и много-много других. После вашего отъезда из Минска расстреляли 150 человек.

— А что с Хеленой Рубчиньской?

— Хелену отправили в Польшу, ее брат получил пять лет заключения на Соловках, он сейчас в Кеми.

— Знаете ли вы, что расстреляли Янину Яцкевич? — продолжала она. — Ту, которая сидела со мной в камере.

— Это невозможно! — вскрикнул я.

— Да-да, Мечислав. Мы все были удивлены ее спокойствием перед смертью. Так смотреть в глаза смерти могут только польки.

— Прошу, расскажите об ее последних минутах, — просил я графиню.

— Красиво и геройски она держалась. Когда она возвращалась из суда, мы спросили у нее через окно: «Янина, сколько тебе дали?» Она, смеясь, ответила: «Приговорили к расстрелу». Отважно, с улыбкой на губах пошла она в так называемую камеру смерти. Через несколько дней около 6 часов вечера в тюрьму прибыли Баранов, Креск и Пик — палачи ГПУ. Когда мы их увидели, сразу поняли, что приехали на расстрел. Через несколько минут из камеры вывели Янину. Ненависть переполняла нас. «Янина, Янина!» — кричали мы. «Не плачьте, сестры! Плач вам не поможет! Помните, что это счастье — умереть за Польшу!» — махнув платком в нашу сторону, она пошла за Барановым, Пиком и Крестом в машину, которая стояла у тюремных ворот. Мотор недолго порычал, машина двинулась. Янина поехала на расстрел. Позднее мы узнали, что она приняла смерть геройски, смело глядя в дула наганов, с криком: «Пусть всегда живет Польша!»

— А что тут на островах делается? — спрашивала меня графиня по окончании рассказа о смерти Янины. — Здесь все женщины обязаны так работать?

— Почти все. Есть исключения, но к ним принадлежат те женщины, которые соглашаются на нечеловеческие предложения чекистов. Но и те работают меньше только до тех пор, пока не перестанут быть интересны чекистам. Потом они снова возвращаются к тяжелым работам.

— Может, у них все-таки есть какая-нибудь другая женская работа, а не этот ужасный труд на кирпичном заводе?

— Прошу вас, пани! Работа здесь еще не самая тяжелая, хотя каждая из вас должна ежедневно перенести тысячи кирпичей на 200 шагов до сушилки. Зимой я работал в лесу, видел, что в лесу работают и женщины. Была там, например, известная княгиня Ольга Гагаринова.

— А что они делали в лесу?

— Мы, мужчины, рубили деревья, а женщины, запряженные в сани, вывозили их на склад. А на Соловках снегу по пояс. Это была действительно тяжелая, непосильная работа. Не одна тогда умерла, много женщин погибло от переохлаждения и переутомления. Впрочем, на Заяцком острове, где находились только женщины, они сами должны были рубить и вывозить срубленные деревья, выполняя ту же норму, что и мужчины.

— Меня поражает то, о чем вы рассказываете. Лучше покончить с собой.

— Ну что вы, пани. Я тогда об остальном буду молчать, не хочу вас пугать.

— Лучше все-таки узнать об этом раньше.

— Девушки из женского лагеря обо всем вас проинформируют.

В эту минуту к нам подошел управляющий работами на кирпичном заводе и крикнул:

— Что за разговоры! Марш на работу!

Мы встали с лавки и не спеша двинулись в сторону завода.

— Знаете, — полушепотом сказала графиня, — этот мужик приказал мне зайти в его комнату. Я думала, что это как-то связано с теми, кто сидел со мной в Минске, и он хочет со мной об этом поговорить. Но представьте себе, когда я вошла в его комнату, он начал мне делать пошлейшие предложения.

— Догадываюсь, — кивнул я головой.

— Это тот отвратительный старый еврей без зубов, — продолжила графиня Р. — Он предложил мне стать его любовницей. Я плюнула ему в лицо и вышла.

— Эти изверги, — пробормотал я, — бесчувственны, они знают, что наша жизнь зависит только от их прихоти. Вы спросите у женщин в бараке, сколько уже отдалось этому паршивцу. Он управляющий работой на кирпичном заводе, зовут Ремер, настоящий жид.

— Не понимаю, — обратилась ко мне пани Р., — как женщины могли согласиться на это.

Мы замолчали. Пани Р. погрузилась в раздумья. Грусть и недовольство отразились на ее лице. Я попрощался с графиней и направился в санчасть.

После недели многочасовой работы на заводе графиню Р. перевели в тюремную прачечную. Когда я узнал об этом, снова решил ее навестить. Я застал ее возле шайки, она отстирывала экскременты с белья. Только вид ее был странный и обидный, как и сама работа. Тем более для графини, которая всегда была изысканной и независимой. В обязанности прачки входило простирать за день сто пар белья, а это было просто невозможно сделать. Так как графиня до этого никогда не стирала, сейчас она не успевала за остальными. Вскоре ее перевели на другую работу, и с тех пор она переходила с места на место. Когда в ноябре началась рубка леса, ее перевели туда.

Под конец декабря меня послали от лазарета в то место, где работала графиня Р. Там уже находился наш фельдшер Давиденко.

— Вы знаете, — спросил я у Давиденко, — графиню?

— Да, знаю. Очень мне ее жаль. Мстят ей чекисты за то, что не соглашается на их утехи. Держат ее в лесу.

— А как у нее со здоровьем?

— Плохо. Поморозила ноги. Если бы я не боялся чекистов, давно бы отправил ее в санчасть. Ей это необходимо.

— Сделай это для меня, друг!

Давиденко долго не соглашался, но потом уступил моей просьбе. Графиню перевезли к нам в больницу. Тут я упросил доктора Виноградова, чтобы он занялся больной графиней. Виноградов сердечно заботился о больной, которая пролежала в больнице полтора месяца.

Прошел 1925 год. На следующий год на Соловках произошли серьезные изменения. Главный врач, доктор пани Фельдман, выехала в Москву; на ее место пришел доктор Драго. Сменилось и начальство лагеря. На место Ногтева пришел Эйхманс, который стал теперь начальником лагеря. Его помощником был назначен присланный из Москвы Мартынели. Васькова сместил новый начальник административной части Степанов. Начальником 1-го отделения стал Зарин; место Антипова, начальника 2-го и 3-го отделений, занял Вейсс, бывший комендант Московского ОГПУ.

В больничном штате также произошли изменения. Прежде всего, уехали те, кто отсидел свои сроки на островах. Уехала и пани М., давшая клятву отомстить убийцам Романа Напольского. После отъезда пани М. и доктора Высоцкого, которого перевели в Кемь, доктор Драго назначил меня в отделение, где находились сумасшедшие. Их было 60 человек в одном помещении. Я и еще два санитара ухаживали за ними. Среди сумасшедших нашел я и барона Штромберга, с которым еще год назад рубил деревья в лесу, князя Оболенского — известного богача из Петрограда, Николая Казнакова — бывшего ротмистра царской армии и т.д.

Через несколько месяцев это отделение закрыли: спокойных больных отпустили, а остальных вывезли в Ленинград. Однако они не доехали до бывшей царской столицы. Как позже я узнал, больных довезли только до Кеми и под Сорокой, что на Мурманской дороге, расстреляли. Среди других погиб там и князь Оболенский, и Николай Казнаков. Их расстреляли на станции по переданному телеграфом приказу Эйхманса.

Когда ликвидировали палату для душевнобольных, меня перевели в отделение для надзора за карантином и дезинфекцией в лагере. На этой должности я еще лучше узнал тайны Соловецких островов, так как в мои обязанности входило ездить вместе с доктором Кацевым по разным отделениям лагеря. Я ко всему приглядывался и многое увидел.

Однажды во время поездки с доктором Кацевым произошел со мной такой случай. Когда мы прибыли на Сосновую тоню, доктор Кацев приказал мне с двумя санитарами идти до Овсянки, расположенной в двух километрах от Сосновой тони. Но так как туда трудно было дойти пешком, мы поплыли на лодке. В лодку мы сложили приборы для дезинфекции и двинулись в путь. Когда отплыли километра на два от берега, разыгралась буря, из-за которой наша лодка, как со-

ломинка, была вынесена в открытое море. Были минуты, когда огромные волны ударялись о наше судно, и казалось, что пробил наш час. 26 часов мы переживали этот ужас, каждую минуту ожидая смерти. Но Бог сжалился над нами. После 26 часов волны выкинули нашу лодку на берег острова Анзер.

В это время чекисты, уверенные в том, что мы спланировали побег, выслали за нами моторную лодку с вооруженными красноармейцами. Каково было удивление чекистов, когда мы сами, промокшие до нитки, голодные и обессиленные, появились в здании санчасти. Начальник адм. части Степанов все-таки возбудил следствие, хотел привлечь нас к ответственности за попытку побега. Следствие закончилось ничем благодаря свидетельству доктора Кацева, и дело вскоре закрыли.

Через несколько дней мне было приказано ехать во 2-е отделение лагеря, в Савватиево, находящееся в 12 километрах от кремля. Туда я отправился с фельдшером Брусиловским. Здесь на второй день после нашего приезда перед нами предстала следующая картина: в комнату фельдшера Репина внесли человека с разбитой головой.

— Кто и где его так ударил? — спросили мы у людей, которые его принесли.

— На Секирной горе. Это начальник тюрьмы разбил ему голову прикладом винтовки.

Принесли его сюда, так как фельдшер Репин обслуживал и Секирную гору.

Репин и Брусиловский занялись раненым. Оказалось, что череп его был очень сильно поврежден и что раненый вот-вот умрет. Было очевидно, что уже через несколько минут несчастный покинет этот мир.

— Умер, — констатировал Репин.

— Да, умер, бедняга, — подтвердил Брусиловский.

— Во имя Отца и Сына... — начал я молитву по усопшему.

— Нужно доложить главному врачу, — сказал Репин.

— Вышлите заключение, — посоветовал Брусиловский.

Вскоре телеграфом была отправлена грустная весть: «Сегодня в 10 часов утра начальник Секирной горы убил заключенного». Главный врач Драго отписал: «Доставить труп в санчасть». Тут же Репин дал распоряжение, чтобы труп везли на вскрытие. Мы выехали. Когда проехали уже около километра, я решил посмотреть на погибшего.

— О, чудо! — шептал «труп».

— Брусиловский, он жив, он шевелит губами!

— Ты что несешь? — перепугался фельдшер, остановил лошадь и начал проверять, жив «труп» или нет.

— Он жив, — сказал фельдшер через минуту, — но мы будем отвечать за то, что уведомили начальство о смерти.

Нам действительно было о чем беспокоиться. Главврач Драго был на островах всего несколько недель и еще не успел познакомиться со всеми порядками, а поэтому досконально осматривал каждого убитого и составлял акты о смерти. Он хотел показать их комиссии, которая ежегодно весной прибывала с проверкой на Соловки из Москвы. Некоторые из нас верили, что акты, составленные главврачом Драго, привлекут внимание комиссии, и та призовет к ответственности убийц и сократит число преступлений чекистов.

— Ну, и что будет с этим больным? — спросил у меня фельдшер.

— Давайте остановимся, — ответил я, — может, вернем его к жизни.

— Но что будет с нами? Что нам скажет доктор?

— Большее, что он сможет сделать, — это добавить нам еще по три года заключения, выгнать нас из больницы на тяжелые работы, но зато мы спасем жизнь человеку.

Не спеша фельдшер двинулся дальше. Надежды мои не оправдались: раненый умер, когда мы были уже в одном километре от лазарета. Фельдшер спокойно вздохнул.

В госпитале доктор Драго составил акт о смерти заключенного. За четыре месяца своей службы в больнице до приезда комиссии из Москвы Драго составил 14 таких актов, подтверждающих смерть заключенных, убитых начальниками разных отделений тюрьмы. Когда комиссия прибыла, Драго показал все 14 актов, однако члены комиссии особо не заинтересовались.

— Видимо, заключенные, — пробубнил председатель этой комиссии, — заслуживают того, как с ними поступают. Вообще-то мы приехали не порядки ваши смотреть.

Тогда зачем, интересно, приехали эти высокопоставленные лица? Позже мы об этом узнали. Комиссия эта вместо того, чтобы проверять состояние лагерей на Соловецких островах, больше думала о том, как веселее провести время, которое им предстояло провести здесь.

Начальник Северного лагеря Эйхманс дал распоряжение Кутозову, начальнику отделения работ, чтобы приказал своим подопечным каждый день высылать по восемь новых девушек для обслуживания московских гостей. Каждый день девушек должны были сменять новые, чтобы советские начальники не очень скучали. С этого и началась работа проверяющей комиссии.

Когда приводили девушек, начиналась попойка и «забавы» под звуки оркестра, собранного из заключенных. Товарищи изверги иногда силой, иногда обе-

щаниями о досрочном освобождении брали девушек. Эта забава длилась 11 дней; комиссия завершила свою «проверку» и возвратилась в Москву. Напрасно девушки, поддавшиеся на обман членов комиссии, ждали досрочного освобождения. Московские насильники вскоре забыли о них.

Одна из больничных работниц, тоже принужденная обслуживать московских гостей, через несколько дней после их отъезда отравилась. В предсмертной записке, которую она положила в шкаф, где хранились лекарства, мы прочитали о причине, толкнувшей ее на самоубийство: «Изнасилованная дикими отвратительными существами, членами комиссии, которые, пользуясь моей наивностью, за цену моего тела обещали вытащить меня из соловецкого ада, не могу больше смотреть на преступления, которые творятся на островах, на несчастных женщин, окружающих меня. Нет у меня больше сил, не смогу я дождаться конца десятилетнего срока, и поэтому я хочу оборвать свою жизнь».

Я видел еще много различных преступлений, которые совершали тюремные начальники и московские гости. Примером их вранья может служить следующая история, которая случилась в конце 1926 года.

Из одной московской киностудии к нам прибыл кинооператор. Это вызвало немалое удивление и различные домыслы заключенных. Дескать, большевики хотят показать наши мучения нашим знакомым и родным. В один из дней начали подбирать так называемых статистов и снимать фильм. Сначала были представлены давние времена, когда на Соловках содержались только политические заключенные и опасные преступники, переживавшие в ужасных условиях нечеловеческие муки. А после большевистского переворота все здесь якобы сменилось на рай.

Выбранных для фильма заключенных привели в дома, где располагалась администрация тюрьмы и где достаточно было диванов и другой мягкой мебели. Сюда же привели женщин и заставили танцевать под музыку. Целью этого представления было показать, как большевики обходятся с заключенными, показать, что все здесь по-человечески и больше похоже не на тюрьму, а на санаторий.

Долго еще мы надеялись, что комиссия увезла с собой хотя бы несколько десятков дел на рассмотрение и что хоть пару человек освободят. Но когда наступил декабрь, море покрылось льдом и переправляться по нему стало невозможным около шести с половиной месяцев, наши надежды растаяли. Наши мысли быстро протрезвели, и мы стали готовиться к новым жизненным испытаниям.

Зима 1926–1927 годов была необыкновенно тяжелой. В лагере не хватало еды, всем заключенным глядела в глаза голодная смерть. А случилось это потому, что администрация тюрьмы вместо того, чтобы перевозить провизию, предназначенную для заключенных, использовала паромы для перевозки личных вещей из

Мурманска в Архангельск. Вскоре морозы сковали море льдом и парализовали движение паромов. Для урегулирования ситуации был использован небольшой ледокол. Но и тот вскоре застрял во льдах в 40 километрах от островов. На помощь послали большой ледокол «Малыгин», который очистил путь для маленького ледокола, чтобы тот смог приблизиться к острову. Но чем ближе он подходил к берегу, тем толще становился лед. Даже «Малыгин» не смог с ним справиться. Тогда всех заключенных направили ломать лед и очищать дорогу судам. Это был адский и практически бесполезный труд. Несколько человек утонули. За несколько дней нечеловеческих усилий мы не намного продвинули ледокол к острову. Капитан «Малыгина» обратил внимание Эйхманса на то, что было бы лучше вместо этих бесполезных занятий заставить заключенных на санях перевозить продукты на остров. Эйхманс последовал совету капитана. Работа по разбиванию льдов была приостановлена, и заключенных заставили вытаскивать мешки и коробки.

Ледоколы застряли в восьми километрах от острова, именно на это расстояние мы должны были таскать сани. Это касалось всех, даже врачей. Спустя несколько дней продукты были доставлены на остров, и угроза голода миновала.

После этого случая меня и фельдшера Брусиловского отправили в 6-е отделение лагеря, которое размещалось на острове Анзер. Мы должны были провести дезинфекцию женского барака на Голгофе. Всю дорогу ехали на санях по замерзшему морю.

Никогда не забуду того момента, когда увидел барак, в котором жили женщины. Это было помещение бывшей церкви. Здесь находилось около 350 женщин. Все спали на так называемых нарах, стоящих в два уровня: «партер» и первый этаж. Тут было тесно и душно, нечем было дышать. Женщины были грязными, немытыми, в лохмотьях, в которых обитали многочисленные насекомые. Мы приказали сжечь их одежду, а женщин, после того как подстригли и умыли, одели в чистое белье. Довольные своей работой, мы ожидали доктора Каца и начальника адм. части Степанова, которые должны были приехать и проконтролировать процесс дезинфекции. Однако нас не только не похвалили, а, наоборот, выказали неудовольствие за то, что спалили без разрешения столько одежды. Хотя это были только лохмотья, полные насекомых. Но разве волнует большевиков здоровье заключенных?

Когда весной 1927 года растаяли льды и наладилось сообщение по воде, доктор Кац взял меня с собой на остров Конд, где я узнал, что происходит с больными. Их там было 478 человек. Их выслали сюда поздней осенью прошлого года за пару дней до того, как стал лед. С пристани мы сразу отправились в больницу. Но каково же было наше удивление, когда увидели, что она закрыта. Вскоре мы

узнали, что больничный доктор Уральский вместе со своими помощниками сидит в заключении, а из 478 больных осталось только 123.

— Что это за порядки? — крикнул доктор Кац. — Сейчас же выпустить доктора Уральского!

Доктора привели к нам.

— Что тут творится, коллега? — спросил у него Кац.

— Дивные вещи стали происходить после отъезда доктора Липиньского, высланного в Польшу. Начальник острова Хаим Рейво просто закрыл больницу, а продукты, предназначенные для больных, отдал на производство самогонки.

— А что стало с больными?

— Из-за голода они умирали один за другим. Того, кто осмеливался упомянуть о своей пайке, начальник приказывал раздевать догола и садить в церковную башню. Конечно, они все умерли. Многих расстреляли. Всего погибло 355 человек.

— А что делает это быдло Рейво?

— Пьет с красноармейцами до потери сознания и расстреливает людей.

Доктор Кац стиснул зубы. Он решил записать во всех деталях ужасные преступления, которые творил на острове Конд Хаим Рейво. После возвращения на Соловецкий остров доктор Кац написал подробный рапорт о преступлениях Рейво доктору Драго.

— Попробуем что-нибудь с этим сделать, — сказал Драго, который во время своего короткого пребывания на Соловках составил уже 1224 акта об убийстве заключенных на островах.

— Хотя, если по правде, — продолжил он, — не удалось мне этими убийствами заинтересовать проверяющую комиссию, которая прошлой осенью приезжала из Москвы. Но я попробую еще раз. Сам поеду в Москву. Может, что и получится.

Действительно, вскоре Драго уехал в Москву и передал документы главному прокурору Советов Крыленко и заместителю председателя Минского ГПУ Ягоде. Вскоре Драго вернулся на Соловки и по секрету рассказал одному из докторов-заключенных, как Крыленко и Ягода среагировали на его жалобу. Оба... похвалили поступки Рейво. «Если бы таких, как Рейво, было больше, — говорили Ягода и Крыленко, — давно бы уже покончили с внутренней контрреволюцией. Наградить его надо, а не казнить. А ты, доктор, слишком добр».

Действительно, вскоре Рейво получил премию, и его перевели в город Грозный на Кавказе на должность начальника ГПУ. Чем страшнее преступление, чем ужаснее палач, тем больше его хвалят в стране Советов.

После посещения острова Конда я продолжал работать в санчасти, наблюдая за режимом карантина. В 1927 году начался массовый наплыв заключенных. Почти каждую неделю на пароме прибывало от 600 до 700 человек. Тогда на Соловки прибыло много католических священников. Например, из Петрограда — профессор духовной семинарии Белоголовый, Тройго, Хомич, Иванов, Василевский. С Украины — Илгу, Крывенчик, Федорович, Васович, Савинский. Из Белоруссии — Любаньский, Жолнерович и много других, фамилий которых уже не помню. Отец Василевский после нескольких месяцев заключения на Соловках был выслан в Среднюю Азию. Остальные были направлены на работы. Некоторых из них назначили сторожами, большинство же отправили на лесоповал.

Карантинная, где я работал, была прикреплена к 13-му отряду и располагалась в здании бывшего Троицкого собора в кремле. Это было большое помещение, способное вместить около 1000 человек. Поскольку оно не было никак обустроено, заключенные спали на нарах или прямо на каменном полу. Крыша собора была дырявой, и во время дождя вода струями вливалась в помещение, образуя на полу лужи и жидкую грязь, в которой должны были спать люди.

Ничего удивительного в том, что заключенные, попробовавшие всю эту «роскошь», теряли желание жить. Многие кончали жизнь самоубийством. Часто утром мы находили мертвых: один повесился на оконной перекладине, другой перерезал себе горло, третий отравился мышьяком и т.д. Такое происходило очень часто. В таких условиях работать было невыносимо. И хотя человек ко всему привыкает, нервы часто не выдерживали. Много раз я давал клятву отомстить красным палачам, которые, сидя в удобных креслах где-нибудь в Москве, Ленинграде или Минске, посылали на смерть десятки тысяч человек.

Весной 1927 года меня вызвали в канцелярию и сказали, что срок моего заключения на Соловках подошел к концу и что я могу покинуть остров. Мне разрешили выехать в Воронежскую губернию, куда разрешалось селиться бывшим заключенным.

Перед отъездом с Соловецких островов я как можно точнее старался узнать, сколько заключенных было в этой тюрьме во время моего пребывания[2]. Согласно статистике, составленной администрацией тюрьмы, за эти три года на Соловках побывало 23400 человек. Из них 9600 умерли. В эту цифру я бы включил и убитых чекистами. Освобождены были 3200 заключенных.

[2] В 1991 г. польский историк Хелена Овсяны передала Соловецкому музею-заповеднику копии документов из польского архива МВД — материалы польской разведки с подробными данными о Соловецком отделении СЛОНа за 1928–1932 гг. Документы содержат карту архипелага с описанием всех командировок, числа содержащихся там заключенных, подробным списком всей администрации Соловков, даже с указанием слабых мест некоторых из них. Возможно, что автор этих воспоминаний был одним из информаторов. — *Примеч. М.Н. Супруна.*

Спустя несколько дней после того, как я узнал об освобождении, по передаче дел преемнику меня вызвали на пароход. Это был радостный, но вместе с тем грустный момент. Я радовался, что наконец-то покидаю этот проклятый остров, но сердце мое разрывалось на части при мысли о том, что сотни поляков остаются тут, приговоренные к мукам и унижениям. Как же тоскливо мне было смотреть на их грустные, но все-таки доброжелательные лица. Они были рады, что один из братьев поляков выбрался из советской тюрьмы. Сама по себе в их головах родилась мысль, отразившаяся грустью на их лицах: когда же к ним придет такое счастье? Когда дождутся они этой радостной минуты, которая остановит их каждодневные муки и страдания? Или суждено умереть от голода и болезней, или от пули чекиста и лежать здесь, далеко от родины, в этой проклятой земле?

— Расскажи в Польше, как мы тут мучаемся. Пускай все узнают, как выглядит коммунистическое государство, — шептали мне все.

Вскоре раздался пронзительный вой сирены, и пароход, увозивший меня на свободу, двинулся в путь. Долго смотрел я с парохода на уменьшающиеся тюремные здания, в которых провел столько тяжелых дней. Я погрузился в мысли о будущем. Долго ли позволят мне радоваться свободе советские палачи? Действительно ли закончился мой срок? Неужели они выпустили меня из своих окровавленных лап? Эти вопросы мучили меня.

В полночь мы прибыли в Кемь, а утром после отдыха я отправился в местную больницу, чтобы повидать знакомых. Тут я застал доктора Высоцкого, которого в прошлом году перевели с Соловков в Кемь. Я с удивлением заметил, что у доктора не хватает двух пальцев на правой руке.

— Что с вами случилось?

— О! Это целая история. Как вы помните, я, фельдшер Адельский, инженер Курчевский и двое чекистов выехали с Соловков на Кемь на моторной лодке уже после того, как перестали ходить пароходы. На нас двигались большие льдины, дул сильный ветер. Такое путешествие не могло понравиться. Недалеко от островка Рембот нас отжала огромная льдина, которая отнесла лодку на несколько десятков километров на север. Там лодку затерло во льдах так, что мы, казалось, уже не могли выбраться. Только после семидневной борьбы со льдами нам все-таки удалось выйти на открытую воду. А нужно было пройти еще 150 километров, чтобы добраться до Кеми. Уставшие, мы засыпали. Фельдшер Адельский умер во сне, его тело мы были вынуждены выбросить в море. Я, заснув, отморозил себе пальцы рук и ног. Когда мы все-таки добрались до Кеми, я оказался в санчасти уже в качестве больного. Два с половиной месяца тяжело болел. Мне ампутировали два пальца правой руки, два пальца левой ноги и большой палец правой ноги.

— Ну и как вам в Кеми, доктор?

— Очень часто я выезжаю в командировки: в Пуранду, Ухту, на Медвежью гору. Пан Мечислав, здесь творятся вещи еще более ужасные, чем на островах, ежедневно убивают десятки человек.

— Я рад, — продолжал доктор, — что вы вырвались из этого ада. Какие у вас планы на будущее?

— Постараюсь попасть в Москву и найти Польский Красный Крест, чтобы узнать, как мне достать разрешение на выезд в Польшу.

— Мне приятно, что вы хотите вернуться на родину. Нужно, чтобы вы добрались туда как можно быстрее и рассказали всем, как выглядит коммунистический строй в России, как издеваются над народом палачи. И я хотел бы вернуться в Польшу. Живу в России уже 20 лет, меня вывезли из Польши, когда мне было 9 лет. В 1920 году большевики расстреляли моего отца. Мы жили на Дону, там я окончил гимназию. Позже поступил в университет, а в 1925 году стал врачом. Все люди сидят по тюрьмам в этой гниющей России. Тянет меня в Польшу, и, несмотря на то, что вырос в России, я люблю Польшу всем сердцем. Меня научила этой любви моя мать.

Действительно, доктор Высоцкий на каждом шагу показывал пример настоящего патриотизма. Каждый поляк, попадавший в санчасть, мог в любой момент рассчитывать на его поддержку и опеку. Я помню, как он заботился о старом поляке Владиславе Маляже. Все доктора и фельдшеры были уверены, что он умрет и поэтому не нуждается в лечении. Но доктор Высоцкий все-таки поставил старика на ноги.

— Помните ли вы, доктор, Маляжа, которому спасли жизнь? Его тоже скоро выпустят.

— Я рад, что смогу увидеть его. А к вам у меня будет просьба. Как только вы окажетесь в Москве, прошу, зайдите к моей матери и передайте ей огромный привет, скажите, что я жив. Она живет недалеко от Москвы.

Он дал мне точный адрес.

Кемь была последним пунктом, напоминающим Соловецкие острова. На этом я и закончу свои воспоминания.

Позволю себе еще присоединить фамилии поляков, которых расстреляли на Соловках во время моего заключения. Это не весь список, многие фамилии вылетели из моей головы.

1. Напольский Роман. 2. Дец Франчишек. 3. Лукашевич Петр. 4. Федорович Тадеуш. 5. Михаловский Здислав. 6. Щведерский Феликс. 7. Сидор Ян. 8. Мурачевский Станислав. 9. Кшижановский Юзеф. 10. Муравский

Владислав. 11. Лисовский. 12. Журавский. 13. Грушка Ян. 14. Козловский Эдвард. 15. Чайковский Зигмунд. 16. Петровский. 17. Денбиньский Хенрик. 18. Флорчак. 19. Жолнаревич и др.

На свободе

Через два дня после остановки в Кеми я приехал в Ленинград. Я решил надолго здесь задержаться, чтобы повидать живших здесь некоторых моих знакомых, бывших заключенных. Меня радовал город, его движение, его пульс. Вот уже три года я не был в цивилизации, находясь далеко от вольной жизни. Но чем сильнее я вглядывался в город, присматривался к людям, тем больше я замечал на их лицах уныние, тоску, страх. Практически у всех в глазах поселилась грусть, а на губах редко появлялась радостная улыбка. Вскоре я увидел в этом когда-то прекрасном и огромном городе серьезные недостатки. Главные улицы Ленинграда, такие, как Невский проспект, улица Литейная и другие, полны были грязи. Дороги — все в ямах и выбоинах, тротуары разбиты. Люди выглядели не лучше в своих одеждах: они больше походили на обитателей какой-нибудь глухой деревни, нежели на жителей столицы. Хватало и оборванцев, пугающих своим видом.

После достаточно долгой прогулки по Ленинграду я нашел своих знакомых, которые мне очень обрадовались и поздравили с тем, что я смог вырваться из советских лап. В ту минуту я еще не до конца понимал, как мне хочется уехать в Польшу.

Огромный камень спал с души, когда я узнал об окончании срока заключения, но мысль о том, что меня не оставят в покое советские палачи, не покидала. Вскоре оказалось, что я должен был отправиться на вольное поселение в Пензенскую губернию без права выезда. Тем не менее я не оставил надежды выбраться из этого большевистского болота и строил планы побега в страну, которая представлялась мне в ту минуту настоящим раем и мечтой жизни. Планам моим суждено было сбыться. Вскоре мне удалось добраться до Польши. Долго я отходил от жизни в большевистском крае, о котором и сейчас вспоминаю с содроганием.

Я решил написать эти воспоминания, чтобы поляки узнали, что на самом деле представляет из себя большевистский рай в России и какую «пользу» несут красные властители Кремля мировой цивилизации.

✠

АРНОЛЬД СЕРГИУС ЛЕОНАРДОВИЧ

ШАУФЕЛЬБЕРГЕР



Вячеслав Умнягин, иерей

АРНОЛЬД ШАУФЕЛЬБЕРГЕР И ЕГО РУКОПИСЬ

Обращение к наследию соловецких узников позволяет задуматься не только о путях русской истории или участи отдельных людей, но и о судьбе дошедших до нас свидетельств, проливающих свет на события недавней эпохи.

Предлагаемый вниманию читателя текст — четвертая по счету публикация очерка «Соловки»[1] Арнольда Сергиуса Леонардовича Шауфельбергера.

Его отец Леонард Леонардович Шауфельбергер — сын приехавшего в Россию архитектора из Цюриха — был «главным мастером живописной мастерской Императорского фарфорового завода (ИФЗ) в Петербурге <...> В 1890 г. при Александре III Л. Л. Шауфельбергер стал техником 4-го класса и надворным советником. За свои заслуги он был удостоен четырех орденов: Святой Анны 2-й и 3-й степени и Святого Станислава 2-й и 3-й степени»[2].

Мать Шауфельбергера Мария Эмилия Свентицкая, воспитывавшаяся при императорском дворе, была «внебрачной дочерью Александра II и придворной дамы, баронессы фон Тизенхаузен»[3]. Впоследствии ее сводный брат великий князь Сергей Александрович Романов стал крестным отцом Арнольда[4].

Доктор Маркус Шютц, в статье, посвященной истории его семьи, пишет о своем прадеде так: «А. Л. Шауфельбергер был женат дважды. Его первой женой стала пианистка Ирма Мундиго, а второй — Алиса Антуанетта Россе, учительница французского языка из семьи швейцарских часовщиков Эшлиманн-

---

[1] См.: Неизвестный автор. Соловки // Новый журнал. 1980. № 141. С. 144–175; Неизвестный автор. Соловки // «В Белом море красный СЛОН...»: Воспоминания узников Соловецкого лагеря особого назначения и лит. о нем / Сост. и автор вступ. статьи М. Е. Бабичева. М., 2006. С. 285–311; Шауфельбергер А. Соловки. Воспоминания Арнольда Шауфельбергера // Леонард Шауфельбергер / Сост.: Е. М. Тарханова (СПб), Dr. М. Шютц (Германия). СПб., 2009. (К 265-летию Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге. Ведущие мастера фарфора дома Романовых: Материалы семейных архивов). С. 54–102. — Здесь и далее примеч. автора.

[2] Шютц М. Три поколения «российских швейцарцев» Шауфельбергеров в Санкт-Петербурге // Antiq.Info. 2009. № 74. С. 84–85.

[3] Там же. С. 86.

[4] Шютц М. Сын главного мастера ИФЗ — узник Соловецкого лагеря особого назначения // Леонард Шауфельбергер. С. 54.

Тибо из Порррентруи. Шауфельбергер вступил с ней в брак в 1904 г., имел двух дочерей: мою бабушку Алису Марию А. Шауфельбергер и Марию Элизабет А. Шауфельбергер»[5].

Родственные связи и хорошее воспитание способствовали удачной карьере Арнольда. «Купец 2-й гильдии, один из 10 аккредитованных маклеров Петербургской биржи, председатель правления английского Вагранского золотопромышленного общества, член правления горнопромышленной компании "Медиатор" и посредник в Петербурге по закупке месторождений полезных ископаемых», Шауфельбергер и сам владел золотыми приисками, через него «проходили "нефтяные деньги" братьев Нобель»[6].

Лишившись всего этого в 1917 г., Шауфельбергеры бежали в Кисловодск, а затем в Екатеринодар, где семья пережила Гражданскую войну. С началом НЭПа правительство обратилось к известному предпринимателю с предложением принять участие в восстановлении фондовой биржи, что по замыслу большевиков должно было стимулировать советскую экономику и обеспечить приток иностранного капитала в страну. В знак благодарности Шауфельбергеру даже вернули квартиру в Петрограде, но благосклонное отношение властей было недолгим.

В 1924 г. Арнольд Леонардович был арестован и спустя 3,5 месяца тюремного заключения отправлен на Соловки, где находился до 1927 г. За освобождением из лагеря последовала ссылка в Новгород, откуда благодаря усилиям немецкого консула Шауфельбергер смог вырваться в Берлин. Некоторое время спустя он переехал на историческую родину, в Цюрих, где в 1929 г. записал свои воспоминания о Соловках. Умер Арнольд Шауфельбергер в бедности в возрасте 64 лет...

***

Безымянная, переписанная под копирку копия воспоминаний о Соловках, представляющая собой тонкую тетрадь под шифром 1.е.265, объемом в 31 лист», была обнаружена Р. Мартыновым «в рукописном отделе Женевской публичной библиотеки[7]. Написана она четким почерком, очень тщательно, с незначительными исправлениями. «Очевидно, — сообщает Мартынов в послесловии "Нового журнала", — оригинал был беловиком, предназначенным для публикации»[8].

Стремясь установить авторство, исследователь выдвигал разные гипотезы. В частности, почерпнув из самой рукописи сведения о том, что ее создатель вышел

[5] Шютц М. Три поколения... С. 87.
[6] Там же. С. 86–87.
[7] Мартынов Р. О рукописи «Соловки» // Новый журнал. 1980. № 141. С. 173.
[8] Там же.

на свободу в 1927 г., Р. Мартынов сделал предположение, что воспоминания могли принадлежать освободившимся тогда же Б. Н. Ширяеву или генерал-майору И. М. Зайцеву. Вполне осознавая шаткость подобных умозаключений, сотрудник нью-йоркского издания все же указывал на одно обстоятельство, которое действительно роднит мемуары Зайцева[9] и Шауфельбергера. Дело в том, что воспоминания генерала посвящены Международной Антикоммунистической лиге (Entente internationale contre la III-e Internationale). Что касается «женевской» рукописи, то даже если Лига и не опубликовала ее целиком, то, по крайней мере, «пользовалась фактами, приводимыми в ней. Так, в брошюре о религиозных преследованиях в России, она цитирует статистические данные о смертности на Соловках и численности женщин. Кроме того, подробно описываются пытки, упомянутые и в статье: "ставить на комары" и "каменный мешок". Что сведения об этих пытках почерпнуты именно из данной рукописи, является тем более вероятным, что начало абзаца о пытках в рукописи подчеркнуто красным карандашом»[10].

Подводя итоги исследованию, Р. Мартынов писал о том, что для него «путь рукописи представляется следующим: прислана Лиге от неизвестного автора, рукопись читалась в постоянном секретариате Лиги в Женеве. Так как в ней имелись новые данные, она была переведена целиком или частично и, может быть, опубликована. Во всяком случае, данными пользовались в позднейших публикациях Лиги. Из архива Лиги (или из рук сотрудника?) рукопись позже могла попасть в Женевскую библиотеку»[11].

Следующая известная нам публикация очерка состоялась спустя четверть века в России. Мемуары увидели свет в составе литературного сборника под редакцией М. Е. Бабичевой. Текст воспоминаний был взят из «Нового журнала», вступительная статья содержит упоминание о «безуспешных попытках установить автора». Анализируя очерк, составитель антологии пишет о том, что «характерной чертой этого произведения является сдержанный тон автора и подчеркнутая ориентация на факты, чаще всего подтверждаемые конкретными цифрами. Текст написан в основном от третьего лица, лишь несколько раз автор открыто обнаруживает свое присутствие. Так, рассказ о привилегированном положении заключенных из числа коммунистов и бывших чекистов заканчивается высказанным от первого лица обобщением социально-политического характера, утверждением, что такие лагеря — естественное и неизбежное следствие утвердившейся в стране социальной системы. Непосредственные эмоции автор

[9] См.: Зайцев И. М. Соловки: Коммунистическая каторга, или место пыток и смерти: Из личных страданий, переживаний, наблюдений и впечатлений: В 2-х ч. (с приложением четырех планов). Шанхай, 1931. 171 с.

[10] Мартынов Р. Указ. соч. С. 175.

[11] Там же.

проявляет, когда речь идет об осквернении святынь (гнев, боль, возмущение, негодование) и при описании царящего в лагере бесчеловечного обращения с заключенными (искреннее сострадание к жертвам и ненависть к палачам)»[12]. Ниже Бабичева указывает на еще одну «особенность этого очерка — большое место в тексте и специфическая представленность в построении сюжета темы побега»[13].

Повышенное внимание к теме свободы, то, что заканчивается книга словами о «Советском Рае», где царит «бесчеловечное отношение к несчастным заключенным», позволяют провести параллели между этим произведением и другими мемуарами о ГУЛАГе, в которых заключение в лагере, сама жизнь в СССР рассматриваются как некое пребывание во аде, тогда как бегство из него, исход на свободу приобретает библейское звучание.

Местом очередной, на этот раз персонифицированной, публикации мемуаров стала выпущенная в 2009 г. антология, посвященная 265-летию Императорского фарфорового завода и связанной с ним семьи Шауфельбергеров. Этот труд включает в себя русский оригинал, датированный 11 апреля 1929 г. и современный английский перевод очерка.

Важно отметить, что представленные в книге воспоминания отличаются от своего аналога, опубликованного на страницах «Нового журнала» и сборника «В Белом море красный СЛОН...». С одной стороны, стилистика повествования, композиция и само содержание списков указывают на их принадлежность перу одного и того же человека, с другой — рассматриваемые тексты содержат фактические расхождения[14]. Наличие в тексте поврежденного места[15], явных опечаток[16] и авторских помет[17], указывающих на неуверенность в достоверности имеющейся информации по тому или иному вопросу, говорит в пользу того, что в 2009 г. была опубликована черновая запись воспоминаний, датируемая апрелем 1929 г.

Такое предположение объясняет упомянутую Мартыновым помету, сделанную красным карандашом на первой странице найденного им раритета:

---

[12] Бабичева М. Е. Трагические страницы истории Соловков // «В Белом море красный СЛОН...». С. 27.

[13] Там же. С. 28.

[14] Напр., «Соловки и Попов остров оставались английской базой до 1921 г. После ухода англичан на Соловках остались лишь 65 монахов; всех остальных, кто не выехал самостоятельно раньше, англичане эвакуировали в Финляндию» (Неизвестный автор. Соловки. С. 287), «Соловки и Попов остров оставались английской базой до 1922 года. После ухода англичан, на Соловках остались лишь 50—60 монахов, которые затем перешли в ведомство ГПУ, всех остальных, кто не выехал самостоятельно раньше, англичане эвакуировали в Финляндию» (Шауфельбергер А. Соловки. С. 62).

[15] «На протяжении 10—12 верст к северу от монастыря озера эти соединяются целой сетью искусственных каналов с ... (шлюзами) (?), которые подводят воду к "Святому озеру", расположенному у самого Кремля и обеспечивающему водой электростанцию» (Там же. С. 60).

[16] «В распоряжении Соловецкого лагеря было два парохода: "Глеб БОНТ" и "Клара Цеткин"» (Там же. С. 68).

[17] «Организаторами этой попытки были два брата Драгуна, арестованные и высланные на Соловки как контрабандисты. Родом они были из Псковской губернии (?)» (Там же. С. 76).

«IX–29»[18]. Возможно, эти числа указывают на время написания текста (сентябрь 1929 г.), имеющего позднейшее происхождение и представляющего собой более взвешенное, по сравнению с «апрельским» черновиком выражение воспоминаний А. Шауфельбергера[19].

***

Не исключено, что существуют и другие списки, переводы, а быть может, даже публикации очерка «Соловки»[20], но нам они неизвестны. Зато известно, что на сегодняшний день это не единственная загадка, связанная с личностью и наследием А. Шауфельбергера.

Вступительная статья д-ра Шютца содержит информацию о том, что в 2001 г. в архиве ФСБ в Санкт-Петербурге было обнаружено дело Шауфельбергера Р–88352 (1924–1928). Однако оно отмечено грифом «Секретно», и доступ к делу остается закрытым[21].

Остается надеяться на то, что со временем тайное станет явным и мы узнаем нечто новое как о самом Арнольде Леонардовиче, так и о его мемуарах, проливающих свет на события недавней Советской истории и истории Соловков.

[18] Мартынов Р. Указ. соч. С. 174.

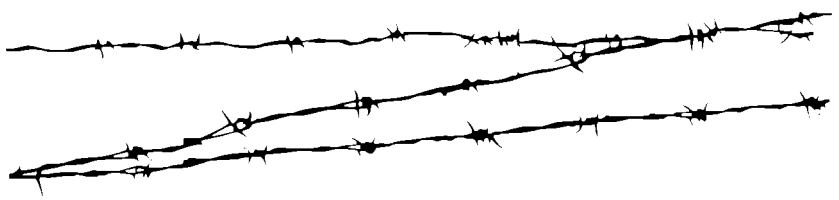
[19] Подобное предположение предопределило выбор опубликованного ниже текста. Им стала «женевская» рукопись, однако, т. к. это может быть важным для профессиональных исследователей, в квадратных скобках указаны хронологические и статистические расхождения, имеющие место в издании 2009 г.

[20] «Появилась ли она (статья А. Шауфельбергера) в печати или нет, выяснить не удалось, Лига печатала не только в своем журнале, La Vague rouge (там статьи нет), но и в ряде других журналов и газет, особенно в Швейцарии» (Мартынов Р. Указ. соч. С. 175).

[21] Шютц М. Сын главного мастера ИФЭ – узник Соловецкого лагеря особого назначения. С. 56.

✠

Соловки[1]



Соловецкий монастырь, основанный в XIV столетии Св. Савватием, служил до Революции местом паломничества многих десятков тысяч православных и представлял большой духовный и культурный центр нашего крайнего Севера. Находятся Соловецкие острова в Белом море, приблизительно в 80 верстах от ст. Кемь Северн. жел. дор. и в 150 верстах от Полярного Круга. Соловки представляют группу островов, из которых главный, длиною в 23 [27] версты и шириною в среднем 12, тянется с юга на север, в виде удлиненного неправильного треугольника, с широким концом на севере.

Главные церкви, — всего их пять, сосредоточены на крайней южной оконечности острова, обнесены широкой и высокой каменной стеной длиною более 500 сажен, построенной неровным треугольником, частью из дикого камня, частью из кирпича, с тремя высокими башнями-бойницами по углам. Башни эти были защитою монастыря, и до сих пор еще в каждой из них находятся по 2—3 старинных орудия на громадных деревянных колесах. Последний раз эти орудия отражали английские суда, подошедшие к острову в 1854 году.

Все место, обнесенное стеной, называется Кремлем; в нем же помещается большинство келий монахов, покои настоятеля, трапезные, кухни и главные склады. Церкви тянутся внутри, вдоль стен Кремля, на известном расстоянии друг от друга и соединены между собой двухэтажными каменными домами-кельями монахов и прочими многочисленными службами. В середине Кремля небольшая открытая часовенка с историческим колодцем, около которого сложена пирамида английских

[1] Публикуется без сокращений по: Новый журнал. 1980. № 141. С. 144–175.

ядер осады 1854 г., собранных монахами. Кругом монастыря, в окружающих его громадных стенах до сих видны следы разрушения от попадания этих ядер.

Вне Кремля, но в непосредственной его близости, расположены кладбище с небольшой, но очень красивой церковью, две гостиницы — мужская и женская, несколько заводов, верфь, амбары, конюшни, ферма, а также электрическая станция, построенная монахами в начале этого столетия.

У монастыря было свое крупное хозяйство, отлично, образцово поставленное, что видно и теперь еще, хотя в настоящее время далеко не на той высоте, как при монахах. Весь остров был покрыт вековым лесом, с которым монахи обращались очень бережно, никогда не рубили и для своих нужд пользовались лишь буреломом и обреченными на гибель старыми и большими деревьями; уголь и недостающее количество дров монастырь покупал на материке.

При большевиках большая половина леса уже вырублена и продана на покрытие части расходов по содержанию заключенных.

На острове находится до 450 больших, средних и малых озер, имеющих каждое свое название; на протяжении 10—12 верст на север от монастыря озера эти соединены целою сетью искусственных каналов с шлюзами, собирающими воду в «Святое озеро», находящееся у самого Кремля и дающее водяную силу электрической станции. Из заводов и мастерских, перешедших от монастыря к Г.П.У., следует упомянуть прекрасно оборудованные литейный завод, кирпичный, кожевенный, кузнечные, столярные, сапожные, переплетные мастерские, молочные фермы с холмогорскими племенными коровами и конский завод. В сараях до сих пор хранятся еще кареты, коляски, повозки и сани, между которыми выделяется необычайной величины карета Петра I, который два раза посетил Соловки и ездил по всем скитам острова.

Скитов на большом острове — 10—12, причем каждый из них помимо прямого имел также и промышленное назначение: большинство из них были монашеские рыбные артели, два — занимались зверобойным промыслом — били тюленей, моржей и в старину морских коров, называемых монахами «белухи», доходившими до 150 пудов; теперь этот безчешуйный зверь, покрытый сплошь белыми волосами, большая редкость и, как говорят монахи, водится еще в небольшом количестве в Ледовитом океане.

До революции на Соловецких островах насчитывалось приблизительно 900 монахов, и кроме того там жило постоянно от 300 до 500 «годовиков», подростков и молодых людей, преимущественно крестьянских детей северных губерний, в большинстве готовившихся в будущем стать монахами, но до того обучавшихся грамоте, ремеслам и промыслу. Эта молодежь и составляла, главным образом,

рабочий элемент островов, руководимый и обучаемый монахами. «Годовиками» их называли потому, что, прибыв в монастырь, они обязывались оставаться там не менее года, но большинство уже не покидало более монастыря. Обучение и содержание они оплачивали своим трудом; их хорошо кормили и одевали, причем многие, не собиравшиеся постричься в монахи, по просьбе и желанию родителей, для основательного изучения ремесла оставались в монастыре по несколько лет. Со времени революции и последовавшей гражданской войны жизнь и вся картина монастыря резко изменились!

Соловки стали одной из баз английского флота; такая же база, но в меньших размерах была устроена и около Кеми, на Поповом острове, где сооруженные англичанами большие фанерные бараки до сих пор продолжают служить помещением заключенных, ожидающих очередной отправки на Соловецкий остров. Попов остров, находящийся от гор. Кеми в 10 верстах, называется теперь «Кемперпункт» — Кемский пересыльный пункт и набирает в себя всю человеческую массу со всех концов необъятной России, отправляемую в ссылку на Соловки.

Поначалу, в 1922—24 гг. этот пункт действительно был лишь временным этапом, в дальнейшем же, начиная с 1925 г., количество заключенных, постоянно остававшихся в Кемперпункте, все время увеличивалось, но к более детальному описанию этого явления мы вернемся несколько ниже.

Соловки и Попов остров оставались английской базой до 1921 [1922] г. После ухода англичан на Соловках остались лишь 65 [50—60] монахов; всех остальных, кто не выехал самостоятельно раньше, англичане эвакуировали в Финляндию.

В 1922 г. Соловецкие острова были переданы Государственному Политическому Управлению — «Г.П.У.», предназначены как место ссылки и получили название — «Соловецкие лагери особого назначения», или, как их называли сокращенно, С.Л.О.Н.» с управлением на месте, которое называли «У.С.Л.О.Н.»

Заселение Соловков заключенными пошло очень быстрым темпом. В 1922 г. приехала комиссия от Г.П.У. из Москвы, которая приняла от монахов острова в свое ведение.

С открытием навигации в 1923 г. начали прибывать первые партии заключенных, которые, между прочим, застали еще конец большого пожара Кремля, подожженного агентами Г.П.У., чтобы скрыть следы грабежа и разгрома, произведенного ими после принятия богатых соборов и церквей, в которых, несмотря на эвакуацию монахов, все-же оставалось еще много драгоценностей.

Один из героев этого грабежа, чекист, но бывший офицер из солдат, лично мне рассказывал, как он нашел в Преображенском соборе в Кремле, в нише за

образом, большой образ-складень и несколько десятков медалей XIX столетия и какого труда ему стоило вывезти все это незамеченным с острова, причем образ, хотя и признанный им исторической ценностью, ему пришлось сломать и сплющивать молотком для большей портативности.

Первыми аборигенами островов были заключенные архангельских и холмогорских концентрационных лагерей, за ними уже следовали заключенные, высланные из московских и петроградских тюрем. Вначале жизнь на острове казалась раем после тюрем и лагерей на материке; места было много, жили исключительно в кельях монахов, в которых было еще много оставленной ими мебели; к слову сказать, монахи не спали на кроватях, а имели все отличные самодельные деревянные диваны с тонкими, но хорошими тюфячками. Заключенные, приехавшие в 1923 г., почти все обзавелись такими диванами и зачастую имели для себя отдельную небольшую келью.

В смысле продовольствия 23-й год был также исключительным, так как заключенным выдавали между прочим оставленные монахами в большом количестве мясные консервы и, кроме того, даже иногда кое-что из остававшегося одеяния, как-то фланелевые рубашки, теплые пиджаки, портянки и сапоги, но все это, к сожалению, кончилось в том же 1923 году.

Комиссия, постоянно наезжавшая осенью из Москвы, узнав, что после англичан осталось много имущества, тут же распорядилась вывезти все эти остатки, коих оказалось еще более 15 вагонов в Москву, причем уже после принятия этого добра на соответствующие склады в Москве теплые пиджаки с Соловков можно было купить на Сухаревке по 2 р. 50 к. за штуку.

Все заключенные, направляемые на Соловки, привозились обыкновенно по железной дороге через гор. Кемь на Попов, в Кемперпункт. Из Архангельска на пароходе в Соловки заключенные доставлялись только в исключительных и редких случаях. По доставлении на Попов остров заключенные проверялись, обыскивались и распределялись по казармам в ожидании очереди отправки их на Соловки; в 1923—1924 гг. обыкновенно долго не оставались в Кемперпункте и дальнейшая отправка зависела лишь от прибытия пароходов с Соловков.

В распоряжении Соловецких лагерей было два парохода, названные «Глеб Бокий» и «Клара Цеткин», а также одна баржа, перешедшие к Г.П.У. вместе со всем прочим имуществом монастыря. Постоянный штат Кемперпункта не превышал в первые 2—3 года 200—300 человек, считая заключенных и администрацию; как уже было сказано выше, пункт этот служил в то время лишь передаточным этапом.

Как на всех Соловецких островах, так и здесь все заключенные мужского пола распределялись по ротам, которых к концу 27-го года на одном лишь

Соловецком насчитывалось 13. В Кемперпункте в первые годы была лишь одна рота. В дальнейшем развитии деятельности Г.П.У. на Соловецких островах Кемперпункт стал играть значительно большую роль.

Занять работой всех заключенных на Соловках не представлялось возможным, их труду не было достаточного применения, и поэтому Управление лагерями начало заключать договоры с государственными лесными предприятиями и Северной жел. дор. на посылку заключенных на лесные и дорожные работы; договаривались на определенное количество человек и по определенной цене за человека.

Первая такая партия, составленная преимущественно из уголовного элемента, в количестве 800 человек была отправлена на работы на материк летом 1925 года. Опыт был неудачным: уже с первых дней работы, несмотря на имевшуюся охрану, начались побеги заключенных-уголовников. Условия жизни были здесь невозможны; кормили отвратительно. Людей приводили большими партиями в безлюдные болотистые леса, иногда за 50—60 верст от Кеми, заставляли сперва строить для себя бараки, а затем уже приступали к подрядным работам. Выдаваемый инструмент был плохой, специалистов не было, руководили работами люди, ничего не понимавшие в строительном и дорожном деле, и вдобавок ко всему зачастую задерживалась доставка и без того скудного и плохого продовольствия. Недовольство и ропот был общий, и, конечно, немудрено, что побеги начались с первых дней этой каторжной работы и жизни. Хотя эти работы и производились на материке, но бесследно скрыться удавалось лишь очень немногим, большинство же было изловлено, приведено обратно и расстреляно.

Не только фактический побег, но даже открывшийся сговор и приготовление к побегу карались безапелляционным расстрелом. Шпионаж был везде поставлен очень хорошо, и Г.П.У. прилагало все свои усилия заручиться возможно большим количеством доносчиков среди самих же заключенных, что при небольших поблажках, преимущественно в виде увеличения пайка или облегчения работы, достигалось без всякого труда; изголодавшиеся и раздетые люди зачастую без всякого принуждения сами предлагали Г.П.У. свои услуги. К стыду надо признать, что даже среди интеллигентных заключенных были сотни и сотни доносчиков, или, как их называли, «стукачей». Возможно, что голод и холод, а также многолетнее соприкосновение с все разрушающим и не имеющим ничего святого — коммунистическим элементом так разлагающе действовало на этих, по всей вероятности, раньше порядочных людей. Нужно было много лет прожить среди коммунистов, этих подонков общества, тунеядцев и в подавляющем большинстве своем воров и грабителей, чтобы понять как трудно удержаться самому морально чистым и не подпасть под их пагубное влияние.

Дальнейшие партии заключенных, отправляемые на материк на работу, набирались уже главным образом из казаков и не уголовников. Казаки, в количестве более тысячи человек, очутились на Соловках после восстания на Дону и отчасти на Кубани в 1923 [1924] году. В Соловки попало при этом сравнительно лишь очень небольшое количество, большинство же, которое надо считать многими и многими тысячами, были расстреляны по всем станицам Дона и Кубани. После беспощадного и кровавого подавления этого восстания, расстрелов и высылок, все хозяйства и хутора были окончательно разорены, имущество реквизировано, весь скот уведен, причем даже на Соловки были присланы несколько сот [200] волов употребленные там сперва для работ в лесу, а затем, по мере их истощения и непригодности к работе, они пошли на прокорм заключенных. Насколько мне известно, случаев побега казаков никогда не наблюдалось.

По мере развития работ на материке количество заключенных, отправляемых на эти работы, превысило в 1927 году 3000 человек, и нужно полагать, что подобная сдача в аренду заключенных приносила Управлению лагерями немалый доход. В связи с этими работами увеличилось и значение «Кемперпункта».

Были построены большие склады, появились магазины, обслуживающие не только заключенных и администрацию, но открытые также и для местного населения; магазины были открыты не только на Поповом острове, но и на материке, был даже открыт универсальный магазин Г.П.У. в городе Кеми. Во всех этих магазинах и лавочках помимо всего необходимого продавалась и водка, которой Г.П.У. начало торговать с лета 1925 года по 3 р. 50 к. за бутылку. Торговали водкой по той же цене и в Соловецком кооперативе для заключенных, но чтобы купить ее, требовалось разрешение заведующего кооперативом, тоже заключенного, что получить, имея деньги, было нетрудно. Что касается цен на товары, продаваемые заключенным, то я могу судить лишь о ценах в кооперативах на Соловках и Кемперпункте, где Г.П.У. не стеснялось наживать с заключенных зачастую больше 100%, продавая, например, нормированные товары, как махорку и сахар — первую вместо 48 по 96 и сахар вместо 32 — 65 коп. за фунт; за простые валенки до колен, очень неважного качества, мне пришлось заплатить 7 руб., а за фланелевую рубашку из партии, оставленной англичанами, и попорченную к тому же дымом от пожара, с меня содрали 4 с лишком рубля. Приблизительно в этом же роде были и все прочие цены.

Для заключения обзора «Кемперпункта» и для характеристики царивших там нравов, как среди заключенных, так и начальства, приведу случаи издевательства, происходившие в 1924–25 годах. С одной из партий заключенных, был доставлен в 1924 г. на Попов остров бывший офицер Иван Тельнов человек еще

молодой, лет тридцати, энергичный и дельный, но абсолютно беспринципный. Проделав войну — мировую и гражданскую, он эвакуировался с белой армией с юга России в Константинополь, но вернулся в 1923 или 1924 г. обратно в Россию, по всей вероятности, нелегально, и был арестован Г.П.У.

Начальнику «Кемперпункта» — бывшему вахмистру Баринову — Тельнов приглянулся, был оставлен на Поповом острове и вскоре стал старостой лагеря. Как таковой, он принимал прибывавших заключенных и руководил обысками. Заключенные не имели права оставлять при себе денег и были обязаны сдавать их при обыске, вернее до него, т. к. каждого спрашивали, имеются ли у него при себе деньги. Сдаваемые добровольно или отбираемые при обыске деньги вносились на личные счета заключенных, и ими они имели право пользоваться при покупках в Кооперативе всего им нужного. Начал Тельнов с того, что стал утаивать часть отбираемых у заключенных денег и таковые пропивать вместе с своим начальником Бариновым, с которым успел подружиться. Этим однако Тельнов не ограничился и дошел до того, что начал насиловать заключенных женщин, проходивших через его руки, как старосты лагеря. Все это осталось бы, вероятно, нераскрытым, если бы он не имел несчастья столкнуться с одной молодой заключенной, видимо, ему очень понравившейся. Оказалась эта женщина московской коммунисткой, в чем-то провинившейся и высланной на Соловки. Но ведь коммунистов, хотя бы и виновных даже в самых тяжких преступлениях, судят в Совдепии иначе, нежели всех прочих смертных; для них почему-то всегда находятся смягчающие вину обстоятельства, и не приходилось слышать о случаях, когда коммунисты, приговоренные к заключению или высылке, отбывали бы полный срок своего наказания.

Так было и в этом случае. Упомянутая коммунистка после непродолжительного пребывания на Соловках была прощена и вызвана обратно в Москву. Вернувшись в Москву, в лоно своей партии, она рассказала кому следует о происходящих в «Кемперпункте» безобразиях и произволе, и московское Г.П.У. начало расследование.

Следует еще упомянуть, что Тельнов за время своего пребывания на Поповом острове сошелся с коммунисткой Фельдман, не заключенной, женщиной-врачем, присланной из Москвы заведывать лазаретом пересыльного пункта. Ходили слухи, что Фельдман была выслана из Москвы своим мужем, большим коммунистом — главным прокурором суда, недовольным ее легкомысленным поведением.

Тельнов, сейчас же арестованный, был отправлен в Москву на допрос, но скоро возвращен и водворен в обычное заключение на Соловецком острове.

Баринов и Фельдман были переведены с Попова острова на Соловки, причем первый был назначен начальником I Отделения (Кремль), а Фельдман — начальницей соловецкого лазарета. Вскоре после этого из Москвы пришел приказ о расстреле Тельнова. При казни присутствовали Баринов и Фельдман — эксметресса и друг. Вместе с Тельновым были расстреляны еще пять заключенных за попытку к побегу; побег оригинальный и на нем стоит остановиться подробнее.

Организаторы этого побега — два брата по фамилии Драгун, были арестованы и сосланы на Соловки по обвинению в контрабанде. Родом они были из Псковской губернии и проживали близ границы. Решившись бежать с Соловков, они подговорили еще троих и скрылись с работ в лесу. Через день трое вернулись добровольно в Кремль и сдались на милость начальства; оставались в бегах два брата Драгуна, из которых младший был скоро пойман охраной, разосланной по всему острову для поисков беглецов. Все четверо были посажены в изолятор — так сказать, тюрьма в тюрьме. Старший брат Драгун пропал — как в воду канул; полагали уже, что он где-нибудь погиб, так как скрыться с острова он не мог — все лодки были налицо; поиски и облавы прекратились; с момента побега прошло уже больше двух месяцев. Но все же несчастному исстрадавшемуся беглецу не повезло: — его увидели с маяка, одним осенним утром, после бурной ночи приближающимся в лодке к берегу.

Оказалось, что все это время он скрывался в лесу, скитаясь по всему острову, укрываясь от облав и охраны, подходя иногда осторожно к партиям заключенных, работавших в лесу, и получая от них кой-какие скудные продукты и подготовляя осторожно свой побег с острова. Все им было подготовлено хорошо, ночь была теплая, но не предусмотрел прилива и выбившись за ночь совершенно из сил, был к утру прибит к берегу и схвачен охраной с маяка. Расстреляны были все пять беглецов, даже те трое, которые в первый же день добровольно вернулись обратно.

Побеги были часты; обреченные люди не могли привыкнув к страшному и несправедливому режиму и предпочитали рискнуть жизнью, нежели продолжать еще много лет эту сверхкаторжную жизнь. Нередки были также случаи самоубийств. Случаи удачных побегов с Соловков были очень редки, их можно считать единицами. Чтобы спастись, нужна теплая ночь, сильный ветер, умение ориентироваться без компаса, большая отвага и, главным образом, благоприятное стечение многих привходящих обстоятельств. Так, например, в октябре 1927 г. бежали из Кремля пять заключенных — четыре морских офицера и один матрос, приговоренные каждый к десяти годам строгого заключения на Соловках. Скрылись они все вместе ночью, спустившись с высокой стены, окружающей Кремль, и взяв на берегу, вдали от Кремля, рыбачий баркас с парусом, направились не прямо на материк, как это обыкновенно делали большинство беглецов, а

взяли направление к финской границе, находящейся от Соловков приблизительно в 200 верстах. В данном случае побег удался, чему в значительной степени способствовало знание морского дела, темная и длинная ночь и попутный сильный ветер. Высланные утром, после обнаружения побега, два парохода и моторный катер, не могли их нагнать, и беглецы благополучно достигли Финляндии.

Вернемся, однако, опять к Соловкам. С Попова острова заключенные, отправляемые на Соловки, погружаются на пароходы и буксируемую пароходом баржу. Расстояние в 80 верст до острова, в зависимости от погоды, пароход проходил в 4—5 часов, но в бурю поздней осенью пароход берет иногда 8 и 10 часов, особенно когда море бывает покрыто плавучим льдом, что начинается обыкновенно уже в сентябре, но бывает иногда и раньше.

Пароходы продолжают рейсы почти всегда до 15—25 [20] декабря; открывается же навигация в конце мая — начале июня. В зимние месяцы Соловки обслуживаются поморами, они доставляют на остров корреспонденцию, газеты и небольшие посылки, но эта доставка нерегулярна и зачастую, в связи с погодой, Соловки бывают совершенно отрезаны от материка в течение 4—6 недель.

В 1924 году Управление лагерей для экономии заменило поморов заключенными чекистами, но экономический опыт этот не удался и чуть не стоил жизни всем посланным пяти заключенным; 20 дней, затертые льдами, почтари перебирались со своими лодками с льдины на льдину и наконец полуживые, с отмороженными ногами и руками пристали где-то к берегу верстах в двадцати от Кеми; после этого зимний транспорт был вновь передан поморам.

По прибытии на Соловки заключенных сводили на берег, опять проверяли и затем попарно, с котомками или немногочисленным своим багажом, под конвоем вооруженной охраны отводили в Кремль. Женщин после проверки конвоировали в женбарак. Женский барак находился вне Кремля, и для него была отведена большая женская гостиница — просторный и вместительный двухэтажный деревянный дом. В первые годы женщин было немного; еще в 1924 г. их было не больше трехсот [300—500], но с осени этого года количество их стало постепенно увеличиваться.

В Кремле производился очень строгий и детальный прием заключенных — вновь прибывших каторжан. Как везде в Советск. России, так и здесь процедура приема начиналась с заполнения анкет с многими десятками вопросов. После этой регистрации, продолжавшейся для партии в 200—300 человек часа 3—4, приступали к сортировке, отбору и распределению заключенных по ротам. Здесь, как и повсеместно теперь в Совдепии, составлялись группы привилегированных. В эти группы входили все провинившиеся чекисты и члены коммунистической партии,

затем сотрудники Г.П.У., т. е. доносчики, обслуживавшие Г.П.У. и чем-нибудь навлекшие на себя неудовольствие этого высокого и гуманного учреждения, и, наконец, провинившийся командный состав и нижние чины войск особого назначения Г.П.У. Эта группа, так сказать, аристократия Соловков, составляла в Кремле отдельную роту. Из этой роты набирались кадры охраны, и из нее же в дальнейшем комплектовались смотрители, руководители и заведующие разными производствами и отраслями работ на Соловках. На тяжелую работу никто из них никогда не посылался и подавляющее их большинство, если только не были какими-нибудь специалистами, составляли охрану всех Соловецких островов и скитов на них.

Был на Соловках еще полк красноармейцев, количеством около 800 человек, помещавшийся вне Кремля, но этот полк, составленный из обыкновенных призывников, представлял собой то же, что и все прочие красноармейские полки; размещен полк был в отдельных казармах, имел свое командование, отдельное хозяйство и был помещен на Соловках лишь на случай усмирения возможного восстания заключенных.

Большинство чекистов были высылаемы за взятки и кражи; много было между ними следователей Г.П.У., и между этими последними была масса евреев. Должности следователей при Г.П.У. были одними из самих выгодных: следователи производили аресты и обыски, крали при этом все, что только можно было разместить по карманам, в первую, конечно, очередь драгоценности, валюту и деньги, а при допросах, за взятки, смягчали приговор и даже совершенно прекращали порученное им дело.

Арестованные чины войск Г.П.У. присылались на Соловки преимущественно из пограничных губерний — петроградской и псковской — и обвинялись в контрабанде и пособничестве переходу границы за деньги. Контрабандой, по их рассказам, занимались поголовно все чины пограничной стражи Г.П.У., одинаково как начальство, так и все подчиненные; для этой цели существовали специальные организации, имевшие агентов за границей, в приграничной полосе. Эти же организации принимали на себя поручения с гарантией доставки в целости за границу лиц, пожелавших покинуть свое милое отечество. Зачастую при этом были обманы и провокации, и многие сотни и сотни легковерных людей поплатились при подобном переходе границы своей жизнью.

Многим удавалось переходить границу, не обращаясь к помощи этих услужливых агентов Г.П.У., большинство же или излавливалось или пристреливалось при попытке перехода. Эти пограничники, между прочим, также рассказывали, что через персидскую, афганскую и главным образом через китайскую границу проходит значительно больше народа и с меньшим риском, нежели через эстон-

скую, латвийскую и финскую; из-за громадных расстояний и отсутствия достаточной охраны там это гораздо легче.

Начальник Соловецких лагерей, его главные помощники и несколько лиц высшей администрации, конечно, все коммунисты, не являются заключенными в полном смысле этого слова. Все они получают назначения на Соловки от московского Г.П.У., перебираются туда с семьями, живут совершенно свободно, в хороших и обставленных квартирах, имеют даровую прислугу из заключенных и все получают жалованье. Однако неспроста последовали все эти назначения, а были последствием различных провинностей, возможно, не столь серьезного характера, за которые этих лиц все же следовало наказать и удалить на определенное время. Так, например, главный начальник лагерей — эстонец, чекист Эйхманс, совсем молодой еще человек из недоучившихся гимназистов, был переведен из Москвы на Соловки за беспробудное пьянство, чем, однако, продолжал заниматься и там, живя в отдельном доме, как в своей усадьбе, в трех верстах от Кремля. У себя же он поселил двух-трех приятелей чекистов, таких же горьких пьяниц, имел женскую и мужскую прислугу, держал лошадей и кучера, ходил постоянно на охоту и, одним словом, старался всеми силами скрасить монотонную жизнь. После двухлетнего начальствования на Соловках Эйхманс надеялся вернуться в Москву, но получил предписание остаться и впредь еще начальником лагеря. В этом же роде было и все прочее начальство, из которого мы упомянули уже выше начальника I Отд. Баринова и докторшу Фельдман.

Заключенные непривилегированные и без специального образования размещались по рабочим ротам и, независимо от возраста, положения и даже состояния здоровья, с следующего уже утра после прибытия посылались на лесные разработки под конвоем вооруженной охраны. Исключение делалось лишь для лиц духовного звания, которые должны были работать на заводах и в мастерских, обслуживали промысла, склады, распределяли продовольствие между заключенными и работали в канцеляриях. Духовенство жило отдельной ротой и не принуждалось к работе в лесу, но помимо этого не пользовалось никакими преимуществами; получало духовенство тот же паек, что и прочие заключенные, но в продовольственном отношении им жилось легче и лучше, т. к. оставленная ими паства продолжала поддерживать их в заключении, и большинство из них получали продовольственные посылки, частью от своих почитателей, частью от оставшихся родных из дома.

Духовенство и арестованные по церковным делам имели право посещать церковь на кладбище около Кремля; всем другим заключенным посещение церкви было запрещено. Служили в церкви оставшиеся на Соловках монахи, а также по

желанию, сосланное духовенство; службы на Рождество и Св. Пасху были постоянно очень торжественны и зачастую в подобных службах принимало участие более десяти архиереев. Один из священников, работавший в канцелярии лагеря, много мне рассказывал, что случаи посещения его коммунистами для исповеди и благословения бывали у него весьма часты. Жена начальника Баринова была ревностной посетительницей церкви, прикладывалась к образам, шла под благословение и на Соловках же окрестила своего ребенка; возможно, что она сделала это без ведома мужа, но посещение ею церкви было ему определенно известно.

Вновь прибывших специалистов обыкновенно сразу же направляли на работы по специальности. Отлично всегда умели устраиваться евреи, в большинстве это были всё спекулянты, торговцы, валютчики, комиссионеры, проворовавшиеся служащие трестов и кооперативов и вообще лица, игравшие роль в экономической жизни Советской России. Эти проныры с первых же дней прибытия на Соловки умели находить теплые местечки и самую легкую работу; устраивались преимущественно по разным канцеляриям управления Лагеря, бухгалтерами и счетоводами на заводах и мастерских и полностью завладели всеми кооперативами как на Соловках, так и на материке. Евреи же руководили лесными разработками и материальными складами, портняжной, обувной и сапожной мастерскими, устраивались при лазаретах, были докторами и дантистами, а один из них, некто Френкель, приговоренный в Москве к расстрелу, замененному ему ссылкой на Соловки на десять лет, умудрился даже стать одним из помощников начальника Лагерей Эйхманса и стал главным заведующим хозяйством и всеми предприятиями Соловецких островов.

Уже с начала 1924 года всех непривилегированных заключенных за неимением более свободных мест в кельях начали размещать по церквам в Кремле. Здесь условия жизни были самые невероятные. В церквах Кремля, вдоль стен и посередине в несколько рядов, были устроены деревянные нары, но лишь очень немногим и на них не хватало места; приходилось утраиваться на каменном, холодном, грязном и мокром полу. В 1925 году стали делать нары в два и три яруса, но несмотря на это, мест для всех заключенных никогда на них не хватало. Так жили несчастные заключенные в рабочих ротах — XI, XII и XIII, в которых размещались все вновь прибывающие и в которых зачастую бывало более 200 человек в каждой. Разницы между уголовным элементом и всеми прочими, называемыми контрреволюционерами, никакой не делалось, и все размещались вперемешку по этим ротам. Кражи здесь были постоянным явлением, и бороться с этим злом не было никакой возможности; заключенные лишались своих последних, и без того скудных запасов; командиры рот и их помощники, в большинстве сами из уголовных, в своих же интересах и зачастую будучи сами косвенными участниками краж, конечно, никогда никого не выдавали.

Между уголовниками была распространена отчаянная игра в карты, изготовлявшиеся ими самими из пергамента старых монастырских книг. Играли обыкновенно поздно вечером и ночью, и объектом игры служили пайки, одежда, обувь и, если у проигравшегося больше нечего было ставить, то он обязывался украсть определенную какую-нибудь вещь у другого заключенного и в случае проигрыша доставить ее своему счастливому сопернику; исполнение взятых на себя обязательств выполнялось всегда в точности. В этом отношении уголовным преступникам надо отдать справедливость — товарищество у них было развито сильно, друг за друга они стояли горой и, если бывали случаи выдачи одним другого, то они карались беспощадно. Командир XI роты Лин, железнодорожный вор, постоянно бивший и притеснявший заключенных своих же товарищей уголовников, освобожденный в 1925 году досрочно с Соловков, был за это убит своими же в 1926 г. в гор. Астрахани. Еще хуже обстояло дело на «Секирной Горе», или, как ее называли сокращенно, «Секирка» — один из скитов верстах в семи от Кремля, куда отправлялись и заключались провинившиеся уже на Соловках арестанты. Но более подробное описание об этом мы дадим ниже.

На рабочих ротах заключенных будили не позже шести часов утра; одевшись и помывшись на дворе Кремля (в ротах не было ни уборных, ни умывальников) шли за кипятком в кухню. Хлеб выдавался обыкновенно 2—3 раза в неделю из расчета один и полтора фунта на день на человека, в зависимости от работы заключенного; чай и сахар выдавали так же, но в количестве далеко недостаточном, как и хлеб, принимая во внимание тяжелый физический труд. При этом хлеб был плохого качества и всегда неимоверно мокрый, что происходило оттого, что пекаря обязаны были давать 40% припеку.

В 6 ½ часов была поверка роты, производившаяся в плохую погоду в самой роте, в хорошую — на площадке, вернее даже — на длинном открытом балконе перед церковью, в которой помещалась рота, или еще на дворе Кремля. После поверки составлялись партии, которые отправлялись под вооруженным конвоем в лес и на другие работы вне Кремля; иногда на эти работы заключенных гоняли за несколько верст. Хуже всего на тяжелых работах было то, что заключенным приходилось выходить почти совершенно раздетыми. Управление лагерями обязано было выдавать обмундирование, но его было далеко не достаточно, и счастливы были уже те, кто получал старую, дырявую красноармейскую шинель и лапти; сапог, также старых и изношенных, военного образца, в лучшем случае приходилось по 5—10 пар на сто человек, и в таких сапогах или лаптях, прикрыв нижнее белье дырявой шинелью, приходилось работать круглый год. Я лично видел в октябре 1926 [1925] г. партию заключенных из одиннадцати человек,

отправлявшихся под конвоем из Кремля на работу, из которых шесть человек шли в одних кальсонах, рубашках и лаптях, причем это было во время снежной вьюги и при 10 градусах мороза. Работа в лесу, особенно для заключенных незнакомых с ней, была очень тяжела и считалась самой трудной в сравнении со всеми прочими работами.

Партия, доставленная в лес, делилась на группы по три человека каждая, и такая группа обязана была спилить, обсучить, распилить и сложить в один день одну кубическую сажень дров. Поленья должны были быть полутора аршин длины и назывались балланами. Зачастую рубка и пилка производилась в одном месте, а складывать балланы приходилось за несколько сот шагов от места работы, или у дороги, или на берегу озера; затрудняло работу еще то, что Соловки вообще гористы и таскать на плече балланы по 2—3 пуда, а иногда больше, было неимоверно тяжело. Время работы не было ограничено — надо было закончить данный урок, и часто бывали случаи, особенно поначалу, что не привыкши еще к подобной работе, заключенные оставались в лесу с раннего утра и до позднего вечера, понукаемые ежеминутно охраной и десятниками, не имевшими права оставлять заключенных до окончания урока и торопившимися вернуться в лагерь. Сколько раз приходилось наблюдать неопытных еще новичков, не знавших никогда раньше подобной работы, возвращавшихся вечером в свою роту и бывших настолько измученными, что, забыв голод, они валились на свои нары или на пол промокшими, какими вернулись из лесу, и моментально же засыпали мертвым сном.

Конечно, подобную работу переносили далеко не все, слабые и не сумевшие к ней приспособиться заключенные обыкновенно еще раньше месяца приходили в полную негодность, теряли последние силы и вынуждены были просить начальство перевести их на более легкую работу.

Если такой несчастный, располагал деньгами на счету или мог уделить что-нибудь из своей одежды или белья, то он без труда сговаривался с помощником командира роты или самим командиром и за взятку переводился на другую работу. Будучи обеспеченным, живя на посылки из дому и имея деньги в кооперативе, делясь с начальством, можно было избавиться вообще от всякой работы, но таких счастливчиков было, к сожалению, очень немного.

Необходимо упомянуть, что, как во всех советских учреждениях, так и здесь на Соловках, за взятки в любом виде, можно было добиться чего угодно. За взятку переводили на усиленный паек, в лучшее помещение, зачисляли в канцелярии и можно было даже получить очень приличное обмундирование.

В 1925 году с одной из партий были доставлены на Соловки арестованные в Петрограде мексиканский консул в Александрии граф Виолара со своей женой,

рожденной грузинкой. Вызваны они были из Александрии в Тифлис проживавшим там отцом жены консула, серьезно заболевшим и скончавшимся затем у них же на руках. Возвращаясь обратно за границу после смерти отца и остановившись на несколько дней в Петрограде в Европейской гостинице, они были арестованы перед самым своим отъездом. Обвинили консула и его жену в шпионаже, и после продолжительных мытарств по тюрьмам Петрограда и Москвы они очутились на Соловках. Граф Виолара, видимо человек богатый, сумел сразу же устроиться и, несмотря на незнание русского языка, был назначен заведующим «био-садом», в котором находились — один орел, несколько чаек и уток и два-три северных оленя; там же ему с женой отвели очень приличное помещение. Этот зоологический сад находился приблизительно в трех верстах от Кремля, в лесу, вблизи усадьбы начальника Эйхманса, который, со времени появления новых соседей, вероятно, им же самим себе выбранных, стал бывать у них частым гостем.

Другим заключенным совместное проживание с их женами, тоже заключенными, не разрешалось; в лучшем случае, свидания разрешались один раз в неделю по одному часу. Взятки в Совдепии самая магическая сила и всюду открывают дороги.

Несколько сот заключенных занимали разные канцелярские места при Управлении лагерями особого назначения. Помещалось это управление у самой пристани, вне Кремля, в большом трехэтажном каменном доме и было высшей инстанцией всех Соловецких островов; ему же был подчинен Кемский пересыльный пункт. В этом же доме помещались служебные кабинеты начальника лагерей и его помощников, а также главная бухгалтерия, финансовая часть и касса. В нижнем этаже несколько комнат были отведены под Кооператив и его склады. Другая, тоже большая канцелярия, помещалась в самом Кремле и занимала бывшие покои настоятеля и все трапезные монахов. Эта канцелярия ведала регистратурой всех заключенных, перемещениями их, продовольствием и, кроме того, всеми делами I Отделения. Здесь же, рядом, было отведено помещение для канцелярии старосты лагеря, а также комнаты для него и его помощников. Всем канцелярским служащим приходилось работать много, но труд их был не тяжелый и, кроме того, все они жили, хотя очень скученно и тесно, но все же в теплых и сухих помещениях — бывших кельях монахов и числились все в X роте. В кельях, предназначенных для одного монаха, помещалось 5—6, а иногда и больше заключенных.

Как в других ротах, так и в этой поверки производились дважды в день — утром и вечером. Вставали в семь часов утра, в восемь шли в канцелярии и работали до 12-ти; затем обеденный перерыв до 2-х часов, а с двух работали вновь до семи. К обеду всему лагерю выдавали большую тарелку супа и в изобилии кипяток. Суп

был отвратительный — мясной редко, главным образом, рыбный, из соленой трески с одним, в лучшем случае, двумя маленькими кусочками плававшего в нем картофеля. Вечером, после семи, выдавали по 16 золотников гречневой или пшенной каши и опять в неограниченном количестве кипяток. Это было все, что получали заключенные в течение дня, с тою лишь разницей, что занятые физическим трудом получали 1 ½ фунта хлеба в день, а все остальные по одному. Работали в Соловках семь дней в неделю, ни воскресений, ни праздничных дней не соблюдалось.

Несколько лучше обстоял вопрос с продовольствием на рыбных промыслах: промысловые артели получали продовольствие натурой, имели своего кашевара и, конечно, не стеснялись пользоваться в нужном количестве пойманной рыбой. В побережных скитах, где жили эти артели, помещение было также несравнимо лучше, чем в церквах Кремля. При рыбных артелях постоянно находилась вооруженная охрана, но жилось там легче, сытнее и гораздо свободнее, и попасть заключенному в такую артель было большим счастьем.

Ловили преимущественно сельдь и треску, и уловы, смотря по времени года, бывали огромны. Рыба тут же солилась и отправлялась в рыбное отделение в Кремле, где сортировалась в бочки и затем направлялась по всей России. В зимние месяцы штаты рыбных артелей сокращались и снятые с работы заключенные возвращались обратно в Кремль на другие работы; в скитах оставался вольнонаемный монах, руководитель артели и несколько специалистов рыбаков, из заключенных же, занимавшихся зимой приведением в порядок и починкой неводов и других рыболовных снастей.

Заключенные, работавшие на заводах и в мастерских, находившиеся вне Кремля, были в большинстве также сухопайщиками, т.е. получали продовольствие натурой и жили обыкновенно своими артелями, зачастую тут же, при своих предприятиях. Вообще нужно сказать, что каждый заключенный, живший в Кремле, прилагал все старания выбраться из него, безразлично куда, но лишь бы жить вне его стен; жизнь вне Кремля была значительно спокойнее, проходила не на глазах начальства и в продовольственном отношении была много лучше, но получить такое назначение, не имея протекции или денег, было очень трудно.

Много сот заключенных было занято на кирпичном заводе построенном монахами, и на вновь организованных в 1925 году торфяных разработках. Кирпичный завод был увеличен Управлением лагерей, и ему был придан промышленный характер. Назначенный заведывать заводом фармацевт из евреев, выдававший себя за специалиста, действительно увеличил производство, на основании чего Управление подписало контракт на поставку большой партии кирпича Северной жел. дор., но качество его было настолько плохим, что при сдаче кирпича на ма-

терике в Кеми с самого начала возникли недоразумения и в конце концов кирпич пришлось уступить по ценам много ниже своих затрат, лишь бы сбыть.

Была на Соловках еще группа заключенных, называвшаяся «политической»; эта группа состояла приблизительно из шестисот [800] заключенных, мужчин и женщин, бывших активными членами различных политических партий, преимущественно соц.-револ. и социал-демократов. Арестовывались они постепенно, с самого начала Октябрьской революции, по мере того, как списки этих партий попадали в руки Г.П.У. Поначалу они были размещены по разным тюрьмам Сов. России и Сибири, но в 1923 и 1924 годах их доставили и сосредоточили на Соловках и отвели им Савватьевский скит. Скит этот находился в 10 [14] верстах от Кремля и был самым большим на острове. Савватьевский скит, с небольшим участком леса, был обнесен колючей проволокой и заключенные в пределах отведенной им территории пользовались полной свободой. На работу политических заключенных не посылали, кормили лучше, чему в значительной степени помогали постоянные продовольственные посылки политического Красного Креста. «Политические» были совершенно изолированы и не имели никаких сношений с прочими заключенными острова — за этим днем и ночью следила вооруженная охрана этого скита. Около версты от «Савватьева» еще и сейчас видна небольшая площадка в лесу около дороги с камнем посередине и выбитыми на нем именами, где в 1924 г. были расстреляны пять «политических» заключенных за подготовлявшийся ими бунт. В числе этих расстрелянных были две женщины.

В июне 1925 года вся эта группа по распоряжению из Москвы была эвакуирована обратно в Россию и вновь размещена по разным тюрьмам. Причина эвакуации была та, что они организовали недозволенную отправку и получение писем из России и даже из-за границы через поморов, проживавших по побережью материка и наезжавших иногда на остров с разными местными продуктами для кооператива и начальства, преимущественно картофелем и яйцами. Среди этих заключенных было около десяти маленьких детей, прижитых уже за время совместного пребывания в Савватьевском скиту. Около половины политических — были евреи и еврейки. Количество заключенных в Соловках и Кеми постоянно увеличивалось: к концу 1923 г., первого года заселения, заключенных было несколько менее 2000; в 1924 г. дошло до 4000 [3000], к концу 1925 г. дошло до 7000, а в октябре 1927 г. перевалило уже за 12000; в это число входили также заключенные, работавшие на лесных разработках и постройке дорог на материке.

Неизменно, но в обратной пропорции, менялся и классовый состав заключенных; поначалу на Соловки ссылали преимущественно интеллигенцию, потом в большинстве, с развитием преступности, хулиганства и полного падения нравов

во всей России, преобладающим элементом стали уголовники, одинаково мужчины и женщины, причем, например, последних, в 1924 году было не больше 300, в 1927 же году уже более 2000.

Роль женщины на Соловках была в высшей степени унизительна. Помимо того, что власть имущие принуждали их к насильственному сожительству, их заставляли производить всю грязную работу. Очень лишь немногим удавалось пристроиться в Канцелярии, на работу на молочные фермы или в прислуги к начальству. Коснувшись заключенных женщин, нельзя обойти молчанием случай, имевший место в октябре или ноябре 1925 года. На Соловки была доставлена партия женщин около 500 человек, если мне не изменяет память, их было ровно 490. Была уже зима и лежал высокий снег. Женщины эти были привезены из Москвы и были преимущественно проститутками, содержательницами притонов, посетительницами государственных клубов (других в Сов. России не имеется и открыты они 24 часа в день), ресторанов и подозрительных кафе и арестованы они были в связи с декретом об очистке столицы от преступных и сомнительных элементов. Хватали их вне дома, на улицах, в разных злачных местах и в том виде, как они были, доставляли на вокзал и сажали в заранее заготовленные арестантские вагоны. Многие из них были в вечерних платьях, открытых туфельках и большинство совершенно без денег. Зайти домой и взять с собой хотя бы смену белья, простое платье или что-нибудь теплое никому не было позволено, и поэтому они появились на Соловках в самом жалком и невероятном наряде.

К слову сказать — при большевиках проституция совершенно запрещена, но никогда она не расцветала таким махровым цветом, как именно теперь при них. Женбарак на Соловках, переполненный уже без того сверх всякой меры, принять вновь прибывших женщин фактически не мог и вследствие этого, продержав их продолжительное время на морозе у пристани для поверки и решения их дальнейшей участи, их наконец отправили в Савватьевский скит в 10 вер. от Кремля. Повели пешком, лесной дорогой, по глубокому снегу. Надо было видеть шествие этих голодных, измученных и несчастных женщин, чтобы понять весь трагизм их положения. Прибыли они наконец в скит, но оказалось, что и там места далеко недостаточно, отправлять их еще дальше, как это хотело савватьевское начальство, не было положительно никакой возможности — женщины были лишены последних сил и валились с ног; их разместили в широких и длинных коридорах на полу. На следующий день, после медицинского осмотра, оказалось, что здоровых из всей этой партии было только сорок женщин — 450 были больны разными венерическими болезнями и туберкулезом. К осени 1927 г., перед моим отъездом с Соловков, более 300 женщин этой группы успели умереть.

Серьезное лечение и усиленное питание могли себе позволить лишь заключенные, имевшие деньги на уплату всего этого. В 1926 году Управлением лагерей была устроена в Кремле столовая, в которой заключенные, за небольшую сравнительно плату, могли получать довольно сносный обед, ужин, а также чай, кофе, молоко и хлеб, но пользоваться всеми этими благами, за неимением денег, могли лишь очень немногие заключенные.

Для развлечения лагеря был оборудован в небольшой церкви в Кремле театр, где поначалу довольно редко, а в дальнейшем еженедельно, самими же заключенными разыгрывались небольшие пьесы, преимущественно старого репертуара. Определенное количество билетов на эти спектакли рассылались по всем ротам и помощники командиров распределяли их между заключенными.

В 1926 году был даже устроен платный кинематограф, причем заключенному, взявшему два билета, позволялось передать один билет в женбарак, заключенной по его указанию, с которой, он, таким образом, имел право провести весь вечер в театре.

Встречаться и разговаривать с женщинами при других обстоятельствах было строго запрещено, и пойманные на месте преступления наказывались до карцера включительно, но несмотря на все эти строгости и запрещения, ухаживания и шашни были постоянным явлением.

Весной 1925 года, благодаря провокации своего же товарища, были произведены массовые аресты бывших лицеистов, преимущественно в Петрограде; из них около пятидесяти были высланы на Соловки, а около тридцати были расстреляны в ночь с 4-го на 5-е июля того же года. Инкриминировались им сношения с Западной Европой и получение материальной помощи от своих товарищей-эмигрантов.

Среди заключенных на Соловках было, между прочим, 12 офицеров Преображенского полка, высланных туда на три года и провинившихся лишь в том, что в день полкового праздника они отслужили в своем соборе панихиду и молебен.

Большим злом на Соловках были так называемые «ударники» — срочные работы, производившиеся иногда и по ночам и не освобождавшие заключенных от обязанности исполнения своей постоянной дневной работы. Привозили пароходы и баржи муку, соль, каменный уголь, сено для лошадей полка, разные товары для кооператива, сейчас же назначался ударник; приходилось отправлять с острова на материк балки, кирпичи, соленую рыбу — опять ударник. Зимой, при глубоком снеге, назначались ударники для прокладки заключенными лесных дорог, занесенных снегом, чтобы облегчить волам и лошадям вывоз лесного

материала. Для этой ударной работы заключенные ставились тесно в ряд по 6 и 8 человек, и так один ряд за другим, Должны были утаптывать снег, который часто доходил до пояса; пройдут известное расстояние — передние два-три ряда отводят назад и их место занимают следующие, и так это продолжалось до тех пор, пока вся дорога не была пройдена.

При недостаточности пайка, тяжелом физическом труде и полном отсутствии гигиены лазарет был всегда переполнен больными; преимущественно болели цингой, и притом в очень тяжелой форме. Смертность была ужасающая и чтобы скрыть от заключенных количество умиравших, хоронили только по ночам. Для этой цели в течение лета рыли на кладбище длинные, но неглубокие канавы десятками сажен длиной, в много рядов и в них, конечно, без гробов и какого-либо одеяния, зарывали умерших и расстрелянных.

Расстрелы производили ночью у самых канав, и звуки выстрелов были совершенно ясно слышны в Кремле. Стреляли из наганов в затылок, и если палач, обыкновенно кто-нибудь из начальства, попадал верно, то у казнимого разрывная пуля сносила половину головы. Трудно проверить слухи, доходившие до заключенных из лазарета, но, по словам медицинского персонала, смертность доходила до 20% всего количества заключенных.

Обращение с заключенными было зачастую очень жестоким; избиения были обыкновенным явлением, но были также наказания, возможность которых по своей жестокости нормальный человек не в состоянии даже себе представить и допустить подобной расправы и издевательства над живыми людьми. К этим наказаниям следует отнести — «ставить на комары» и сажание в «каменный мешок». Первая пытка производилась только летом с появлением комаров и состояла она в следующем: провинившийся заключенный выводился двумя охранниками в лес; здесь его раздевали догола и крепко прикручивали к дереву; не проходило нескольких минут, как все тело несчастного истязуемого сплошь облеплялось тысячами комаров; двигаться и защищаться жертва не могла, и самые сильные и здоровые редко выдерживали подобную пытку более получаса, обыкновенно истязуемый терял сознание уже через 15—20 минут.

Сажание в «каменные мешки», или, как их еще называли, «колодцы», имеет на Соловках свою историю: устроены были эти мешки в громадных стенах, окружающих Кремль, по приказанию Ивана Грозного. Это были действительно колодцы, аршин 5—6 глубиной и около 1/2 аршина шириной; отверстие было с боку стены, почти на самом верху ее; отверстие колодца было невелико и позволяло лишь спустить в него человека; дно колодца было совершенно темным и лишь наверху было видно пятнышко света. В этих мешках томились бояре

Грозного, ссылаемые в Соловки за неповиновение. Последними жертвами мешков были стрельцы Петра Великого, после чего, до воцарения большевиков, не было ни одной подобной пытки.

При Грозном редко кто выходил из колодцев живым; при большевиках наказание ограничивалось несколькими неделями. Хлеб и воду спускали заключенным на веревке; естественные потребности производились там же на дне колодца, и, конечно, нечистоты никогда не убирались и колодцы никогда не вычищались. Всему этому трудно поверить, но это неопровержимые факты и на них есть тысячи свидетелей.

В октябре 1926 г. комиссия, приехавшая из Москвы, запретила эти пытки, но затем их стали вновь применять. Упомянув об этой комиссии, нелишним будет дать более детальную характеристику ее деятельности на Соловках. Каждый год осенью, обыкновенно в октябре, приезжала из Москвы комиссия в составе 5—7 человек для ревизии и разгрузки лагеря. Возглавлялась эта комиссия постоянно Катаньяном и Фельдманом; первый из них был председателем Трибунала, второй — главным прокурором Республики. Пребывание этой комиссии на Соловках не превышало одной недели, причем главное внимание было обращено на охоту, делами занимались исподволь, по вечерам. По распоряжению начальника лагеря к приезду этих знатных московских господ изготовлялись списки заключенных, предназначенных к досрочному освобождению. В такие списки заносилось до тысячи заключенных, и они утверждались далеко не полностью этой комиссией. Характерно, что подавляющее количество освобожденных составляли уголовники; затем шли члены партии, чекисты и охранники; все эти лица получали полную свободу и могли ехать куда им угодно. Количество освобождаемой до срока интеллигенции редко превышало 20 человек на всю освобождаемую партию, и были это преимущественно старики и больные, неспособные к работе. Всем интеллигентам досрочное освобождение заменялось вольной высылкой на 3 года — «минус 6», что означало предоставление освобождаемому права самому выбрать себе место пребывания по всей стране, кроме пограничных губерний и кроме шести городов — Петрограда, Москвы, Харькова, Киева, Одессы и Ростова н/Д. Все освобождаемые получали «литеры» — даровые билеты до избранного ими места пребывания, но до Москвы или Петрограда доставлялись под конвоем вооруженной охраны.

«Секирная Гора» или «Секирка», о которой мы упоминали выше, была раньше также монашеским скитом и находилась верстах в семи от Кремля, на восточной стороне острова, на горе и служила как бы исправительной ротой Соловецких лагерей. На Секирку ссылались все неисправимые заключенные, и контингент ее состоял исключительно из уголовных преступников. Режим был строже еще, чем в Кремле, и кормили заключенных отвратительно; большинство сидело на хлебе

и имело лишь нижнее белье. Несмотря на голод и холод, угрозы, битье и расстрелы, эта категория заключенных была действительно неисправима; там также процветала карточная игра и разврат, не поддающийся описанию. Проигрывать, кроме хлеба, было нечего, красть также, а поэтому на карты ставились суставы пальцев, уши, умышленное ранение своего тела, а был случай, когда игравший обязался прыгнуть при проигрыше, с высоты второго этажа, в отхожее место, что он и исполнил, и откуда был лишь с большим трудом извлечен.

Все это мне лично рассказывал начальник охраны, человек, которому у меня нет оснований не верить и который знал этот преступный мир по своей прошлой деятельности.

В заключение статьи расскажу еще об одной попытке к побегу, имевшей место на Соловках в конце 1923 года. Участниками побега были 11 человек, преимущественно кавказские горцы. Беглецы скрылись с Соловков ночью, раздобыли большую рыбачью лодку и благополучно достигли материка недалеко от Кеми. Лодку бросили и надеялись лесом добраться до финской границы. В одной из деревень по пути они обезоружили находившихся в ней нескольких красноармейцев и, завладев оружием и патронами, продолжали свое бегство.

Высланная утром усиленная погоня без особого труда напала на их след и начала преследование. Заметив на второй или третий день преследующую их охрану и видя, что без боя им не уйти, беглецы забаррикадировались в пустом сарае вблизи какой-то деревни и решили защищаться. Несколько дней продолжалась осада; двое беглецов в перестрелке были убиты, все остальные ранены, некоторые тяжело: имевшиеся патроны пришли к концу, кроме того мучил голод, холод и жажда, и в результате несчастным все же пришлось сдаться.

Доставленные сперва на Попов остров, а затем на Соловки, все они были помещены в лазарет, где им были сделаны перевязки и принялись за их лечение, а через неделю, ночью, почти в безнадежном состоянии, не будучи в состоянии идти, все девять человек были свалены на телегу, привезены на кладбище и лежа расстреляны.

К сожалению, я лишен возможности описать еще много случаев бесчеловечного отношения к несчастным заключенным; лишен этой возможности потому, что предание многих фактов гласности неминуемо вызвало бы тягчайшие репрессии и новые казни многих лиц, находящихся и сейчас еще в этом Советском Раю.

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ

СЕДЕРХОЛЬМ



С. В. Волков
ВОСПОМИНАНИЯ Б. Л. СЕДЕРХОЛЬМА

Судьба этого автора воспоминаний о Соловецком лагере довольно необычна для его узников. В отличие от подавляющего их большинства он не был ни советским гражданином, ни захваченным в плен участником Белого движения, а попал туда, будучи подданным иностранного государства.

Борис Леонидович Седерхольм (в дореволюционных официальных изданиях фамилия его и других представителей этого рода писалась как Седергольм) родился 14 января 1884 г. Он происходил из дворян Великого княжества Финляндского. Род Седерхольмов шведского происхождения дал России ряд видных офицеров и чиновников.

Окончив в 1903 г. Морской корпус в Петербурге, Борис Леонидович начал службу в качестве морского офицера. Он был непосредственно наблюдавшим по электротехнической части за постройкой кораблей на Балтийском море, а во время Первой мировой войны — портовым минером Свеаборгского порта. В 1916 г. его произвели в капитаны 2-го ранга.

Во время массовых убийств морских офицеров на Балтийском флоте после февраля 1917 г. Б. Л. Седерхольму удалось уцелеть, а после большевистского переворота он остался в провозгласившей свою независимость Финляндии. Затем Б. Л. Седерхольму удалось устроиться на работу в финляндское представительство одной южноамериканской экспортной фирмы. В качестве ее представителя он был командирован в 1923 г. в Петроград для переговоров. Город, который Борис Леонидович помнил блестящей столицей Российской империи, в этот раз произвел на него тягостное впечатление. В своих воспоминаниях он уделяет много места стилю жизни страны при большевиках, всеохватной роли большевистской партии и органов ГПУ во всех сферах жизни, в том числе, конечно, и в вопросах торговли, которая являлась предметом его служебных обязанностей. Ему пришлось иметь дело с высокопоставленными советскими деятелями — не только с председателем Севзапгосторга Ландой, но и с наркомами внешней и внутренней торговли Л. Б. Красиным и А. М. Лежавой.

После неудачи переговоров, сопровождавшихся шантажом с советской стороны, Седерхольм пытался добиться разрешения на выезд, а не получив его,

пытался нелегально перейти границу. В 1924 г. Б. Л. Седерхольма арестовали и поместили в тюрьму по сфабрикованному делу. Он неоднократно подвергался допросам, участвовал в этом и сам Ф. Э. Дзержинский. Предложение о сотрудничестве с ГПУ Седерхольм отверг. После предпринятой голодовки он некоторое время находился в тюремной больнице. Время пребывания автора воспоминаний в заключении совпало с раскруткой ряда дел, в том числе и «Дела лицеистов», и Б. Л. Седерхольму довелось встречать в тюрьме людей, привлеченных по этому делу. В конце концов он был этапирован в пересыльный пункт в Кеми, а затем — на Соловецкие острова. В публикуемых воспоминаниях даны яркие картины обстановки в лагере и непосильного труда заключенных.

Хотя финляндское гражданство не помешало аресту и заключению Б. Л. Седерхольма в лагерь, но все-таки именно благодаря дипломатическим усилиям правительства Финляндии он был отпущен на свободу. Некоторое время провел в Бутырской тюрьме в Москве, а в 1926 г. освобожден и смог выехать в Финляндию.

Вырвавшись из «разбойного стана», как он охарактеризовал СССР под властью большевиков, Седерхольм написал воспоминания о пережитом, которые впервые вышли на французском языке в Париже под названием «В стране НЭПа и Чека»[1]. Книга Б. Л. Седерхольма выдержала несколько изданий: в 1929 г. она вышла в Лондоне, Порво (Финляндия) и Турине — на английском, финском и итальянском языках, а в 1930 г. в Стокгольме на шведском.

Пережитое в советских тюрьмах и лагерях, однако, по всей видимости, не прошло даром для здоровья автора, и Борис Леонидович скончался 30 мая 1933 г. в Гельсингфорсе, не дожив до 50 лет.

Вдова Седерхольма после его смерти сумела наконец опубликовать книгу на русском языке в издательстве И. Форгача в Риге под названием «В разбойном стане: Три года в стране концессий и "Чеки", 1923—1926». Отрывки из нее печатались и в русской эмигрантской периодике Латвии[2] и США[3].

Следует заметить, что, хотя Б. Л. Седерхольм принял в эмиграции финляндское гражданство, взгляд на события, отраженные в этих воспоминаниях, является взглядом не иностранца, а русского офицера, навсегда сохранившего соответствующее самоощущение. Б. Л. Седерхольм — представитель того широко распространенного типа людей разных национальностей, принадлежавших к служилому слою Российской империи, которые, как бы ни складывалась в дальнейшем их судьба, никогда не забывали о том, что были русскими офицерами

[1] Au pays du Nep et de la Tcheka: dans les prisons de l'U.R.S.S. P., 1928. 413 p.
[2] Четверги // Для Вас. Рига. 1934. № 34.
[3] Четверги в советской тюрьме // Новое русское слово. Нью-Йорк. 4.11.1934. № 7951

или чиновниками, и не порывали связей с русской эмигрантской средой. К этому типу людей относился и сам правитель Финляндии барон К.-Г.-Э. Маннергейм, и множество других генералов и офицеров шведско-финляндского происхождения (кстати, не менее трех представителей рода Седергольмов воевали в белых армиях, в том числе генерал-майор Дмитрий Карлович, командовавший 5-й Северной стрелковой бригадой в войсках генерала Миллера).

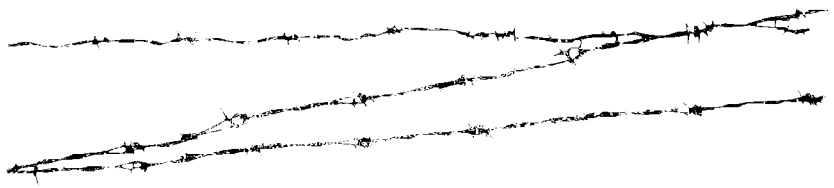
Сам Борис Леонидович также был полноправным членом русской морской семьи в эмиграции, среди которой был хорошо известен и уважаем: состоял членом Союза взаимопомощи служивших в российском флоте, печатал статьи на морские темы в периодических изданиях. В частности, участвовал в известном сборнике русских морских рассказов «Флаг адмирала»[4], поместив там два произведения — «Компас» и «Это было весной». Отметим также, что его воспоминания вошли в состав «Русской зарубежной морской библиотеки»[5] (первое французское издание вышло под № 4, а русское — под № 34). Естественно, что кончина Б. Л. Седерхольма была отмечена обоими основными печатными органами русской военной эмиграции — журналами «Часовой» и «Морской журнал».

Воспоминания Бориса Леонидовича о советских тюрьмах и Соловецком лагере являются не только одними из самых первых, появившихся в печати за рубежом и открывших правду о советской карательной системе 1920-х гг., они к тому же интересны как взгляд на эту систему человека того круга и той культуры, к которым принадлежал автор.

[4] См.: Флаг Адмирала: Сб. рассказов А. А. Гефтер, А. П. Лукина, Б. Л. Седергольм и С. С. Политовского. Рига, 1930. 240 с.

[5] Книги ее выходили в самых разных странах и издательствах, но были объединены принадлежностью авторов к морской семье и имели порядковый номер.

В разбойном стане: Три года в стране концессий и «Чеки» (1923–1926)[1]



<...>

На утро третьих суток нашего путешествия конвой сменился, и новый начальник конвоя почему-то не пожелал оказывать льготы ехавшим с нами чекистам. Старика священника и еще двух стариков с верхней полки начальник конвоя перевел на три отделения вперед, а на их место вселил к нам четырех уголовных. Двое из них были совсем молодые парни, сплошь татуированные на груди, руках и даже на спине. Двое других были постарше и держали себя с большим достоинством, как и полагается держать себя настоящим бандитам согласно тюремной традиции.

На одной из станций конвойные в первый раз за все путешествие принесли кипяток и разлили его по кружкам и чайникам.

Когда Калугин встал со скамейки, чтобы протискаться в уборную, то сверху на него свалился чайник с кипятком, обваривший ему шею и уши. Калугин немедленно вызвал конвойного начальника, но ничего определенного установить не удалось. На двух верхних полках нашего отделения помещалось десять человек, и у конвойного начальника не было возможности разбираться в этом происшествии.

— Приедем в Кемь — там разберем, — таково было Соломоново решение начальника конвоя.

Когда Калугин проходил в уборную, то в одном из отделений на него опять свалился чайник и рассек ему кожу на лбу, а в другом отделении крикнули:

[1] Публикуется с сокращениями по: Седерхольм Б.Л. «В разбойном стане (Три года в стране концессий и «Чеки»). 1923–1926». Рига. Изд. И. Форгача, 1934. С. 240–302.

— Лягавый идет!

С перекошенным от злобы лицом, залезая в глубь нашего «саркофага», Калугин громко сказал:

— Ничего, скоро приедем в Кемь. Там будет предъявлен счет к оплате. Там не шутят.

На одной из станций мне опять удалось достать через конвойного несколько штук яиц, хлеба и свиного сала, и кое-как я немного подкрепился.

Большинство заключенных не имело ни денег, ни запасов провизии, так как почти все были взяты на этап неожиданно для них. Поэтому все они должны были довольствоваться в течение трехсуточного путешествия 1 килограммом черного хлеба и тремя дрянными солеными рыбами, выданными в Петербурге перед отправлением из тюрьмы на этап.

Я чувствовал себя разбитым до последней степени, каково же было тем из нас, которых везли с Кавказа, из Крыма, с Украины?

Когда мы приехали на станцию Кемь, все облегченно вздохнули. Увы, настоящие страдания тут только начинались!

На станции Кемь наш вагон отцепили, и мы стояли там около двух часов. Наконец вагон тронулся, и мы поехали к месту расположения пересыльного лагеря, отстоящего от станции Кемь на 12 километров.

29 августа 1925 года около 6 часов вечера мы прибыли в пересыльный лагерь Кемь. В первый раз за трое суток нашего путешествия мы получили возможность вдохнуть свежий воздух и размять отекшие от неподвижного лежания члены. Накрапывал осенний дождик, но было еще светло, так как в этой широте в это время солнце заходит около 9 часов вечера. Всех нас выстроили во фронт с вещами в руках. Потом было приказано погрузить вещи на подъехавшие две телеги и опять стать во фронт. Я оказался на левом фланге, и рядом со мной выстроились ехавшие с нами женщины. Кроме уже знакомой мне дамы в английском пальто и Кати, я заметил, что и остальные дамы принадлежали к интеллигентному кругу. Одна из дам, австриячка, не понимала по-русски, и мне пришлось перевести ей несколько фраз на немецкий язык. Инженера Шевалье вынесли на руках и вместе с несколькими стариками положили на телегу. Еще раз нас всех пересчитали, и, окруженные конвоем, мы двинулись по четыре человека в ряд. Пройдя каким-то унылым типичным северным поселком, мы миновали громадные штабеля сложенных досок и минут через 20 ходьбы подошли к пустынному месту, огороженному несколькими рядами колючей проволоки. На желтых деревянных воротах красовался советский герб — серп и молот, а под ним надпись: «Особый пересыльный пункт управления Соловецкими лагерями особого назначения (сокращенно УСЛОН)». Мы вошли

в открывшиеся настежь ворота и пошли по широкому дощатому настилу, по обеим сторонам которого было расположено по шесть длинных дощатых одноэтажных бараков. Продолжал накрапывать мелкий дождь, за бараками виднелось серое, неприветливое море, скалы и чахлая болотистая растительность.

Протопоп Аввакум, приехавший сюда миссионером в начале XVII столетия, писал своей жене: «Когда взглянул я на сии печальные места — тоска и зима вошли в мое сердце». В наше сердце вошло нечто большее, чем тоска, когда мы увидели выстроенную роту в форме войск особого назначения (войска Чеки) и человек около 40 чекистов в кожаных куртках и в фуражках с красными околышками. В этот момент мы поняли полнейшую безнадежность нашего положения: здесь бесконтрольно царила Чека в лице своих самых худших и самых беспринципных представителей.

Нас всех, включая и женщин, выстроили во фронт, и начальник лагеря обратился к нам с такой приблизительно речью:

— Вы все сосланы сюда за тяжкие преступления, и ваше заключение в концентрационном лагере имеет целью ваше исправление. Помните, что лагерь на военном положении и от вас требуется безусловное послушание. Малейший проступок повлечет за собой строжайшее взыскание, включительно до расстрела. Вашим непосредственным начальником будет товарищ Михельсон. Здесь, в Кеми, вы пройдете «моральный карантин», а затем будете отправлены в Соловецкий лагерь.

Товарищ Михельсон, чрезвычайно истощенный человек в очках и с скривленной ногой, пошел вдоль нашего фронта, внимательно нас осматривая.

Это был знаменитый «товарищ Михельсон-Крымский», самолично расстрелявший из пулемета 3000 пленных белогвардейцев, их жен и детей после отступления армии генерала Врангеля. Этот же Михельсон прославился рядом неслыханных зверств в Пскове, а потом в Холмогорском концентрационном лагере под Архангельском.

Он был сослан в Соловецкий концентрационный лагерь, как говорили, благодаря интригам своих сослуживцев в Чеке, опасавшихся его растущего влияния на Дзержинского.

Женщин отправили после переклички в женский барак, а нас, мужчин, — в барак № 5.

Как и все остальные 11 бараков, наше помещение представляло собой дощатый сарай длиной 45 метров и шириной 20 метров. Вдоль выбеленных известью стен были устроены двухэтажные нары, и точно такие же нары с двумя проходами тянулись посередине. Две круглых печки по сторонам сарая довершали все оборудование этой казармы. Барак был совершенно пустой и предназначался для

пересыльных партий. В других бараках было все переполнено, так как в Кемь присылают на зиму из Соловецкого лагеря большие партии заключенных для лесных заготовок. Едва мы успели сбросить наши пожитки на нары, как нас опять выстроили во фронт. Вошел Михельсон с несколькими чекистами, и начался осмотр как наших вещей, так и нас самих, для чего нас всех раздели донага. Было ужасно холодно, так как помещение не отапливалось и двери были раскрыты настежь. Как только осмотр вещей окончился, один из чекистов вызвал по списку всех бывших в нашей партии чекистов, и, к нашему великому удивлению, из фронта вышло более десяти человек. Двое из этих бывших сотрудников Чеки имели настолько приличный вид вполне порядочных людей, что я никогда и никому не поверил бы, если бы мне кто-нибудь указал на них как на чекистов.

Всех чекистов нашей партии перевели немедленно в особый барак. Тут же я впервые понял, что значит на языке Чеки «предъявить счет». Калугин подошел к Михельсону и что-то ему тихо сказал, показав на тех четырех уголовных преступников, которые ехали в нашем отделении. Михельсон оглядел их и спокойно сказал:

— Кто бросил чайник на товарища Калугина? Признавайтесь сейчас же. Если не признаетесь — расстреляю сию же минуту всех четырех. Ну, живо!

Через минуту выдали одного из молодых парней. Его увели. Таким же образом нашли двух бросивших чайник из другого отделения. Их тоже увели. Через полчаса нас всех фронтом вывели на прибрежную часть лагеря и показали на три лежащих трупа с простреленными черепами. Всех троих расстрелял лично Калугин.

В этот момент всем стало ясно, что такое УСЛОН.

Тут же, перед еще не остывшими трупами, под дождем, у серого, унылого моря, нас разбили на две группы и вывели на главную линейку лагеря, то есть на широкий деревянный помост, тянувшийся между бараками. Каждую группу окружили чекисты и конвойные солдаты, после чего всех нас вывели за ворота и повели через поселок. Минут через 20 мы пришли на пристань, около которой стоял большой пароход. Нам приказали нагрузить его углем. Это была адская работа, так как мы в течение трех суток почти ничего не ели и почти не спали. Нагрузив несколько мешков, я упал и потерял сознание. Очнувшись, я увидел, что лежу на мешках из-под угля и рядом со мной сидит молодой человек в кожаной куртке при револьвере. Видя, что я пришел в сознание, чекист сказал:

— Что, старикашка? Сомлел? Ну иди, записывай мешки!

Меня поставили у сходни, и я должен был считать проходивших мимо грузчиков с мешками. Часов около 11 вечера, перед самым окончанием погрузки, потерял сознание бывший вице-губернатор Павел Иннокентьевич Попов. Он так и не очнулся, так как умер, не приходя в сознание.

Со времени отъезда из Петербурга шли четвертые сутки, а в нашей партии было уже шесть покойников и один с простреленным плечом. Есть над чем задуматься!

Мы вернулись в барак около 12 часов ночи и как были, то есть в угольной пыли, в грязи, повалились на нары и заснули. Клопы неистовствовали, из щелей стен немилосердно дуло.

Ночью со мной приключился гастрический припадок, и с разрешения дневального я пошел в уборную, выстроенную на скалах, в 300 метрах позади линий бараков. Заключенным разрешается ходить в пределах лагеря лишь до наступления темноты, а вечером и ночью можно ходить только по нужде. Вся линия проволочного заграждения освещена электрическими фонарями и охраняется часовыми.

По дороге в уборную я был дважды опрошен дозорными, причем допрос производится криком: «Стой! Руки вверх!». Вернувшись в барак, я не мог больше спать. Боль в животе, клопы, грязь и расшатавшиеся нервы гнали от меня сон.

***

В 5 часов утра нас подняли. Кое-как я вымылся позади барака на скалах. Дул холодный пронизывающий ветер, небо было серое, и эти вытянувшиеся в одну линию бараки среди болота и скал производили гнетущее впечатление.

В половине шестого мы отправились в лагерную кухню за кипятком и черным хлебом. Деньги мои у меня отобрали при осмотре вещей и сказали, что внесут их на мой текущий счет.

О получении книжки нечего было и думать пока, так как мы были в состоянии «морального карантина», то есть не имели ни минуты свободной. Едва напились мы кипятку с черным хлебом, как всех заключенных лагеря выстроили на главной линейке для поверки.

Все заключенные лагеря разбиты на четыре роты. Как командиры рот, так и взводные командиры назначаются из среды заключенных, преимущественно чекистов. Если ротное начальство не чекисты, то это еще хуже, так как к ним предъявляются из штаба лагеря еще более строгие требования, чем к чекистам, и это, разумеется, отражается на рядовых заключенных.

Поверка длится около 40 минут, и все это время надо стоять «смирно», то есть абсолютно замерев на месте. Я думаю, что такой фронтовой дисциплины, какая царит в УСЛОНе, не было даже в гатчинских полках императора Павла.

Сейчас же после поверки всех заключенных разводят по работам. Работы самые разнообразные, так как весь лагерь сам себя обслуживает. На различных хозяй-

ственных работах, в канцеляриях, в мастерских, на электрической станции работают преимущественно те заключенные, которые уже давно находятся в заключении и прошли «моральный карантин». Период «карантина» для каждого заключенного различен: от одного месяца и до нескольких лет — в зависимости от его социального происхождения, прошлой деятельности и характера «преступления». Легче всего уголовным и труднее всего так называемым каэрам, то есть контрреволюционерам и политическим заключенным. Но есть разряд политических заключенных, пользующихся некоторыми льготами: это те, которых сама советская власть квалифицирует как «политических». Сюда входят коммунисты-троцкисты, левые социал-демократы и иногда социалисты-революционеры. Они получают несколько улучшенный паек (очень жалкий), их не назначают на тяжелые работы, и помещаются они все вместе, отдельно от общей массы заключенных.

Иногда кому-нибудь из заключенных удается довольно скоро устроиться на сравнительно легкую работу, но это всегда кончается очень печально. Или начальство лагеря замечает ошибку, или кто-либо из сексотов доносит по начальству, что такой-то заключенный неправильно или преждевременно попал в привилегированное положение. В таких случаях несчастного немедленно снимают с легких работ и возвращают в «первобытное» состояние.

Сексоты — это настоящий бич заключенных Соловецких лагерей. Сексотов, то есть секретных сотрудников Чеки из среды самих заключенных, несколько сотен. Далеко не все они вербуются из бывших чекистов. Большая часть из них стали добровольно доносчиками и провокаторами в надежде заслужить себе прощение и вырваться из лагеря если не на свободу, то хоть в тюрьму.

Работы в Соловецких лагерях тяжелы по многим причинам. Во-первых, рабочий день длится не менее 10 часов и праздничных дней не существует. Фактически надо считать рабочий день 12 часов, так как одни лишь поверки берут около двух часов времени ежедневно. Во-вторых, благодаря скудной отвратительной пище, совершенно невозможным жилищным условиям и неимению заключенными обуви и платья, большинство заключенных истощены и больны цингой. В-третьих, все инструменты и приспособления для работ совершенно негодны. В-четвертых, заключенные никогда и ни от кого не получают определенных инструкций, что именно и как именно следует делать. Спросить нельзя, так как это может показаться недисциплинарным поступком. Разумеется, все работы без исключения никак не оплачиваются, и даже чекисты не получают жалованья за свою службу. Но чекисты получают обмундирование и улучшенный казенный паек, а все остальные заключенные вынуждены питаться и одеваться за свой счет. На отпускаемый казенный паек немыслимо существовать. Заключенные, не имеющие возможности

тратить на пропитание себя хотя бы 15 рублей в месяц (7 долларов), погибают от цинги в первый же год пребывания в Соловецком лагере.

Сейчас же после утренней поверки меня повели в лазарет вместе с группой больных цингой, инвалидов и стариков. Лазарет — небольшое деревянное здание, рассчитанное на 40 кроватей, переполненное больными настолько, что даже места в прихожей на полу заняты больными. Тут же, во дворе лазарета, под пожарным навесом, стоят гробы с «очередными» заключенными, освободившимися навсегда. В лазарете пять врачей. По количеству врачебного персонала, я убежден, что лазареты в Кеми и на Соловках — первые в мире. Это вполне понятно, так как в Соловецких лагерях среди заключенных масса врачей. Их так много, что они исполняют обязанности фельдшеров и санитаров, так как это все-таки лучше, чем распиливать доски тупой пилой или грузить уголь дырявыми мешками. Снабжение лазарета крайне скудное, и не только нет надлежащих лекарств, но даже пища мало съедобна и мало питательна.

Меня осматривали два врача под контролем двух чекистов-фельдшеров. Моя длинная, во всю грудь, седая борода и истощенный вид помогли мне на этот раз, и я ушел из лазарета с запиской, дававшей мне право быть назначенным на легкую работу. Как только я явился в барак, мне приказали разнести по всем казармам дрова, каковую работу я исполнил вместе с двумя священниками. Потом мы разнесли воду по баракам и наконец занялись подметанием главной линейки лагеря. В час дня все вернулись с работ и пошли поротно получать из кухни обед. Он состоял из супа, сваренного из картофеля и гнилой трески. Запахом разлагающейся трески пропитан весь лагерь. Случайно я встретил моего знакомого ювелира, с которым сидел в тюрьме в Петербурге, и достал у него заимообразно кое-какую провизию. Многие заключенные не имеют ни кружек, ни мисок, ни ложек. Они стоят толпами у дверей кухни, прося счастливых обладателей посуды взять в свои миски обед на их долю. Я не успел опомниться, как мне в руку всунули два картонных кружочка, по которым выдается обед, и у меня духу не хватило отказать несчастным людям, не имевшим даже миски. У меня в руках был небольшой алюминиевый таз, в котором я мылся, так как мою миску украли еще в дороге. Я набрал почти до краев вонючей похлебки, к великому удовольствию моих случайных доверителей. Один из них оказался бывшим венгерским офицером Фюрреди, попавшим в русский плен во время войны. В 1920 году большевики его арестовали, так как он пробирался на Украину, чтобы с помощью немцев как-нибудь выбраться к себе на родину. Сначала большевики сослали его на Урал на вольное поселение, но этого им показалось мало, и в 1923 году Фюрреди попал на Соловки. Он был очень бедно и легко одет и очень болезненно выглядел, хотя и получал от своего брата, живущего в Будапеште, денежную помощь.

В 2 часа опять всех развели по работам, и меня отправили с небольшой группой слабых и больных засыпать болото щебнем. Это очень противная работа, так как она бессмысленна и непродуктивна. Я предложил десятнику сначала окопать болото канавой, но получил в ответ:

— Не рассуждай тут. Делай, что приказано.

В 7 часов все вернулись в бараки и поротно пошли за ужином. На ужин каждому дали по две очень больших ложки гречневой каши с подсолнечным маслом. В 8 часов, под дождем, нас опять выстроили всех на главной линейке, и около часа происходила поверка. После поверки прочли постановление особой дисциплинарной коллегии пересыльного лагеря Кемь о расстреле тех трех ребят, трупы которых нам демонстрировали вчера. Совершенно непонятно, когда могла успеть собраться эта «коллегия», судить о преступлении, вынести смертный приговор и привести его в исполнение. Разумеется, это постановление было написано задним числом, так как всех троих ребят расстреляли менее чем через полчаса после жалобы Калугина, и Михельсон, председатель коллегии, еще довольно долго был в нашем бараке после увода парней, и он же нам демонстрировал их трупы «для примера». После поверки все повалились спать.

Около часа ночи нас внезапно подняли и приказали быть наготове к отправке на пароход, уходивший вскоре на Соловецкие острова. Сложив вещи, мы сидели на них до 4 часов утра. Чуть начал брезжить рассвет, как нас выстроили, вещи сложили на телегу, и под сильным конвоем повели из лагеря через поселок и лесопильный завод на пристань. К нашей партии присоединилась группа тех же женщин, что ехала с нами из Петербурга. На пристани стояло много чекистов с женами, приехавшими к мужьям из Петербурга и Москвы на двухнедельное ежегодное свидание. Всех пассажиров, включая и нас, было около 150 человек. Чекисты с женами заняли внутреннее помещение парохода, а всех нас, вместе с женщинами, поместили на баке. С мостика на нашу группу направили два пулемета со вставленными лентами, и пароход отошел от пристани.

От Кеми до главного Соловецкого концентрационного лагеря около 65 километров. Старый полуразвалившийся пароход проходит это расстояние в хорошую погоду в течение пяти часов. Утро было на редкость ясное и обещало прелестный осенний день. Все заключенные расположились на свертках и мешках, наслаждаясь неожиданным отдыхом. Пожилая дама-австриячка, обрадованная возможностью говорить со мной на своем родном языке, начала подробно расспрашивать меня о Соловецком лагере. Я знал о нем столько же, как и она сама, но, чтобы не расстраивать ее, перевел разговор на другую тему. Это было нелишним и в смысле безопасности, так как наш разговор мог быть подслушан кем-либо из сексотов, которых, вероятно, уже успели завербо-

вать и среди заключенных нашей партии. Все наши дамы очень волновались, так как среди заключенных распространился слух, что на Соловках нас всех немедленно же по прибытии отправят сразу на тяжелые работы. Беседа принимала опять опасное по местным понятиям направление, и я счел за лучшее отойти в сторону. Опершись о борт, я смотрел на расстилавшуюся вокруг нас серебристую поверхность моря. В ясный солнечный день это море вполне оправдывает свое название — Белое. Далеко впереди виднелись смутные очертания разбросанных островных групп, а влево небосвод почти сливался с морем. Вправо от курса, за еле заметной линией горизонта, начинался Северный Ледовитый океан. Свежий морской воздух, грохотание цепочек штуртроса будили старые воспоминания о моей прошлой долгой морской службе, и болезненно остро хотелось свободы. Меня вывел из задумчивости чей-то шепот. Рядом со мной, опершись о планширь, стояла среднего роста женщина с очень красивым профилем. Из-под повязанного на голове шарфа выбивались седые пряди волос, но лицо этой женщины было юношески свежо. Красивого рисунка породистые руки моей соседки носили следы долгой грубой непривычной работы. Нервно перебирая пальцами рук по дубовому планширю и смотря прямо перед собой, моя соседка тихо, еле шевеля губами, сказала мне по-французски:

— Не смотрите на меня. Вы говорите по-французски?

Я ответил ей, чуть наклонив голову. Оказалось, что моя случайная собеседница узнала от австриячки, что я иностранец, и, подобно всем русским, решила, что меня «вероятно, скоро отправят на родину». Трогательная и святая простота.

Быстро шепча, г-жа Х. просила меня тотчас же, как только меня освободят, сообщить ее мужу, инженеру, бежавшему за границу и живущему в Париже, что она уже два года пробыла в Бутырской тюрьме и теперь ее сослали на два года в Соловецкий лагерь. Причина ареста г-жи Х. — переписка с мужем и подозрение в шпионаже. Я, разумеется, не стал разочаровывать бедную женщину относительно моего «вероятного скорого освобождения» и возвращения на родину и обещал исполнить ее просьбу. Сверх всякого ожидания, я освободился, хотя и не так быстро, как предполагала г-жа Х.; и я не забыл ее поручения. К сожалению, мне не удалось сразу найти ее мужа, так как вскоре после освобождения я уехал из Финляндии в Южную Америку. Лишь по возвращении оттуда мне удалось попасть в Париж в 1927 году и разыскать там после многих хлопот г-на Х., который, увы, успел уже жениться, «полагая», что его бедная жена умерла в ссылке.

***

Группа Соловецких островов находится в Белом море в расстоянии около 65 километров прямо на восток от приморского городка Кемь. Самый большой остров

в этой группе носит название Соловецкого и лежит приблизительно под 65 градусом с.ш. и 36 градусом в.д., считая от меридиана Гринвича. На северо-восток от Соловецкого острова лежат острова Анзорский, Большая и Малая Муксальма, причем Муксальма соединена с Соловецким островом искусственным перешейком. На юго-запад от Соловецкого острова в расстоянии одного километра расположены Заяцкие острова и Конд-остров. На всех этих островах расположен Соловецкий концентрационный лагерь особого назначения — СЛОН.

В период моего пребывания в лагере в нем находилось около 8500 человек заключенных. Все управление лагерями и большая часть заключенных сосредоточены на Соловецком острове, и кроме заключенных на всей территории лагеря нет ни одного свободного жителя.

Размеры Соловецкого острова с севера на юг 23 километра и с запада на восток 15 километров. Длина острова по окружности 175 километров. Берега острова низменны и каменисты. Поверхность острова около 250 квадратных километров, неровна, гориста и местами болотиста. На острове до 300 озер, и самое большое из них носит название Белого. Оно имеет в длину 5 километров и 1 километр в ширину. На острове много лугов, и в его лесах водятся лисицы, зайцы, белки и дикие олени, привезенные на остров в XVII столетии будущим митрополитом Филиппом. Берега острова изрезаны бухтами. Самая большая бухта — Соловецкая, и в ее северо-западном углу расположен монастырь, ныне занятый под центральное управление лагерями и под помещения заключенных.

Соловецкий монастырь основан двумя схимниками — Германом и Савватием — в 1429 году. В 1584 году начаты были постройкой окружающие центральную часть монастыря стены. Строили их 12 лет, общая длина их 510 сажен, высота 6 сажен и ширина 3 сажени. На стенах восемь громадных башен так называемого новгородского стиля. Внутри пространства, окруженного этими гигантскими стенами, находится так называемый кремль. Здесь расположены главные постройки монастыря: управление, хозяйственные здания, церкви и три громадных собора.

За период почти 400-летнего существования Соловецкому монастырю пришлось неоднократно играть выдающуюся роль в истории России, о чем до сих пор свидетельствуют следы неприятельских гранат в поросших мохом стенах и старинные пушки в башнях кремля. К моменту революции в монастыре числилось около 700 человек монахов. Кроме братии в монастыре всегда проживало свыше 1000 паломников, обслуживавших нужды монастыря наравне с монахами. Таким образом, все население монастыря представляло собой гигантскую трудовую коммуну. Благодаря неустанному труду монахов, Соловецкий остров и прилегающие к нему острова превратились в образцовую сельскохозяйственную колонию.

В 1918 году советская власть добралась до Соловецкого монастыря. Монахи были частью расстреляны, частью размещены по различным тюрьмам, частью забраны по набору в Красную армию. В течение пяти месяцев была сведена на нет созидательная работа четырех столетий. До 1921 года монастырь и все острова оставались совершенно необитаемыми, так как вандализм советской власти ограничился только ограблением церковных ценностей, не придавая значения доходности всего обширного монастырского хозяйства. В середине 1921 года кто-то из советских чиновников откопал в архивах бывшего Министерства финансов документы о Соловецком монастыре, из которых советская власть неожиданно для себя убедилась, что монастырь не только целиком себя обслуживал, но давал значительный доход государственной казне. Это открытие дало мысль Чеке устроить из монастыря концентрационный лагерь для политически неблагонадежных элементов. К этому времени все тюрьмы и концентрационные лагеря внутри страны были уже переполнены до отказа.

Самый ужасный из всех лагерей — Холмогорский (под Архангельском), в котором было заключено до 3000 человек, закончил свое существование в 1922 году несколько необычно: заключенные постепенно все вымерли от повальных болезней и массовых расстрелов. Осталась лишь одна администрация лагеря, состоявшая из сосланных в Холмогорский лагерь чекистов-взяточников. Приехавшая из московской Чеки комиссия для расследования дел Холмогорского лагеря, со свойственной Чеке быстротой и решимостью, расстреляла всю администрацию лагеря, и этим мудрым актом советского правосудия было вычеркнуто из истории все прошедшее, настоящее и будущее Холмогорского лагеря.

В этом лагере люди жили в досчатых, сколоченных наскоро, бараках, без отопления и почти без еды. Заключенных впрягали в плуги для запахивания земли и тут же расстреливали. В тюрьме на Шпалерной я познакомился с одним, кажется единственным уцелевшим из всего состава Холмогорского лагеря, заключенным — бароном Гревениц, бывшим полковником лейб-гвардии Финляндского полка. В Холмогорах он валялся среди груд тел сваленных в один барак больных сыпным тифом. Его свалили, считая за умершего, вместе с грудой трупов в канаву, и оттуда ему удалось выползти. После многих, поистине чудесных, приключений барон попал в избушку какого-то старого помора. Постепенно оправившись, он долго скитался по провинции внутри России, пока не попал в Петербург уже в период Нэпа. Ему удалось себя легализировать и даже устроиться на службу в одном из советских учреждений. В 1924 году бедного барона вновь арестовали по процессу лицеистов, и весной 1925 года он был расстрелян.

Благодаря своему островному положению на крайнем Севере России, Соловецкий концентрационный лагерь, по мнению Чеки, являлся идеальным

местом заключения. Поэтому, недолго думая, туда сразу была отправлена партия заключенных в 2000 человек. В 1922 году в лагере произошел бунт и пожар, так как пустовавшие в течение нескольких лет здания пришли в такое состояние, что заключенные были обречены на голодную смерть и на замерзание. Ошибка была исправлена, по способу Чеки. Послано было 2 полка с полным запасом продовольствия, разумеется, для солдат и чекистов. Несколько сот человек-заключенных были расстреляны, и режим сделался еще строже.

Присылавшиеся в лагерь все новые и новые партии заключенных должны были приводить в порядок разрушавшийся монастырь, самыми примитивными орудиями. Наконец, и в Москве поняли, что так продолжаться дело не может, так как заключенные умирали сотнями, а доходность лагеря не повышалась. Решено было отпустить средства на снабжение лагеря инструментами и на ремонт всех его заводов, мастерских и хозяйственных построек. Приблизительно в это время количество заключенных в лагере дошло до 8500 человек, и как раз в этот период прибыл в лагерь я.

Несмотря на всю мерзость запустения лагеря, бывший монастырь поразительно красив, если смотреть на него с палубы парохода. Среди зелени хвойных лесов мелькают разбросанные там и сям маленькие белые часовенки с ярко-зелеными коническими крышами. Чуть вправо от курса парохода высятся золоченные купола кремлевских соборов и несколько зеленых куполов церквей. По мере нашего приближения, все яснее и яснее открывался Кремль, и можно уже было разглядеть поросшие мхом вековые стены с возвышающимися по углам башнями. Странное впечатление производит вид всех этих куполов, лишенных их главной эмблемы — креста. В машине уменьшили ход, и мы медленно вползли в бухту, приближаясь к пристани. Прямо против пристани высится высокое, длинное белое здание бывшей монастырской гостиницы для «чистой публики». Теперь это здание занято под У.С.Л.О.Н. Всюду видны массы чекистов в форменных фуражках и кожаных куртках. На пристани наш пароход встречали несколько чекистов и полурота конвойных солдат. Тут же робко жалась толпа каких-то заморенных людей в лохмотьях. Оборванцы — это заключенные, обслуживающие гавань.

Всмотревшись в их лица, я некоторых узнал, так как год тому назад я видел их на прогулках в петербургской тюрьме и с некоторыми даже сидел в одной камере.

Вот бывший капитан 2-го ранга, блестящий некогда франт Вонлярлярский. Вот высокая сутуловатая фигура князя Голицына, сына расстрелянного бывшего премьер-министра. Согнувшись под тяжестью ящика, еле переступая ногами, сходит с нагруженной баржи художник-академик профессор Браз, бывший ви-

це-президент Императорской Академии художеств. Я сидел с ним в тюрьме на Шпалерной в августе 1924 года.

Масса знакомых, но, Боже мой, во что превратились все эти люди за один лишь год пребывания на Соловках! Оборванные, грязные, большинство в плетеных берестовых лаптях, привязанных к ногам обрывками веревок. Не люди, а скелеты, обтянутые кожей.

Чекисты, стоящие многочисленными группами, осматривали нас, вновь прибывших, с ироническими улыбками. Особенным вниманием пользовались наши дамы, которые робко жались, тесно скучившись у пароходного люка.

— Выходи! Становись во фронт! Ни слова разговоров! Живо! — командовал какой-то чекист, по-видимому грузин, усиленно размахивая револьвером. Мы выстроились во фронт с вещами в руках и за спиной.

Знакомое щелканье ружейных затворов, конвойные заняли свои места, и по команде мы направлялись к кремлю, идя между монументальной вековой стеной и глубоким рвом.

Женщины не поспевали, и грузин крикнул:

— Поторапливайтесь, барыньки, здесь автомобилей нет. Успели уже забеременеть?

Входим в главные ворота, проходим какую-то арку и попадаем на большую площадь, окруженную разными постройками. Первое впечатление мое: будто мы находимся на толкучем рынке окраины большого города.

Тысячи ужасающих оборванцев, истощенных, грязных, с язвами на лице, со слезящимися глазами. По-видимому, идет развод на работы, так как, пока мы проходим через площадь, толпы людей постепенно выстраиваются во фронт. По площади разгуливают странного вида птицы, и по временам они кричат резко, пронзительно. О, эти крики полярных чаек! Потом к ним привыкаешь, но первые недели одни лишь крики этих птиц могут свести с ума. Полуразрушенные, опустошенные соборы-казармы, тысячи истощенных, оборванных людей с потухшим взглядом, бродящих как тени, и резкие крики чаек, свободно разгуливающих среди отверженных, измученных людей!

Пройдя через площадь, мы поднялись по каменной лестнице (50 ступеней) и вышли на длинную каменную довольно широкую галерею. По левую сторону галереи высятся громады соборов и зданий бывшей монастырской трапезной, ризницы и других служб. По правую сторону — полуобгоревшая от пожара стена с зияющими развалившимися окнами. Раньше эта галерея была крытой, но потолок обвалился, и поэтому его сломали. На стене галереи кое-где еще сохранились остатки церковной живописи. Галерея длиной около 350 метров и шириной около 8 метров.

Нас привели почти в самый конец галереи на громадную площадку перед бывшим Рождественским собором[2]. Началась бесконечная регистрация, заполнение всевозможных анкет и осмотр вещей. Около 5 часов вечера все формальности были закончены, и нас ввели в собор.

Рождественский собор вмещал свободно до 1500 человек молящихся. В данное время собор превращен в казарму.

Оборудование собора под жилое помещение ограничилось лишь тем, что все изображения святых и вообще вся стенная живопись были на скорую руку закрашены известью и на всей площади собора были устроены на деревянных козлах нары из неструганных досок. Всего в соборе помещалось 850 человек заключенных в страшной грязи и тесноте.

В соборе царил всегда полумрак, так как свет проникал лишь сквозь окна, прорезанные в своде, и от мокрого платья заключенных и сырости всегда стоял туман.

Все заключенные в соборах составляют так называемые испытательные роты: 11-ю, 12-ю и 13-ю. Эти роты входят в состав так называемого 1-го отделения лагеря. Начальником этого отделения был чекист Ногтев, бывший кубанский казак, сосланный на Соловки на 10 лет за пьянство и нераспорядительность. Наша 13-я рота была разделена на взводы и отделения под командой чекистов. Я попал в 3-й взвод, помещавшийся в правом притворе бывшего алтаря. Это была комната такой высоты, что потолок ее исчезал в сумраке испарений. Раньше это помещение было нераздельной частью алтаря и отделялось от остальной части собора иконостасом. Теперь иконостас был снят, и вместо него была устроена дощатая перегородка, отделявшая нас как от алтаря, так и от остальной части собора. Все помещение 3-го взвода было длиной 30 метров и шириной 20 метров. Вдоль стен на высоте 12 метров шли нары из неструганных досок. Наше помещение считалось среди заключенных «привилегированным», так как в нашем взводе не было ни одного уголовного преступника. Кроме нар не было никакой другой мебели, да, впрочем, в этом не было и необходимости, так как в этом помещении мы только спали, а все остальное время мы были на работе.

Только мы свалили наши вещи на нары, как нас погнали на площадку перед собором. Там нас выстроили, и наш взводный объявил нам, что нас сейчас отправят на торфяные разработки в 5 километрах от кремля. Вслед за этим явился «нарядчик» с четырьмя чекистами, пересчитал нас, и под командой чекистов мы двинулись в путь, голодные, уставшие и продрогшие. Многие из нас уже более суток ничего не ели, но об этом нельзя было и заикаться.

[2] Имеется в виду либо Свято-Троицкий, либо Преображенский собор.

Выйдя из кремля, мы пошли по большой лесной дороге, потом миновали ряд огородов и наконец пришли к деревянной избушке около торфяных разработок. Ввиду скорого наступления зимы нам приказали разобрать весь рельсовый путь, проложенный через торфяное болото, и как рельсы, так и железные вагонетки сложить у сторожевой избушки. Каждая смычка разборного рельсового полотна весит около 160 кило, и всех смычек было 75 штук. Вагонетки были около 200 кило весом каждая, и было их 23 штуки. Наша партия состояла из 45 человек, включая нескольких стариков и больных. Так как болото было пересечено несколькими канавами и зарослями кустарников, то пришлось сначала настлать кое-где доски. Поэтому мы приступили к работе только около 8 часов вечера. Холодное железо рельсов прорезало до крови кожу на руках. Местами приходилось идти по топкой болотистой почве, и путь был не меньше 1 километра. Всю работу было приказано окончить как можно скорее, и по ее окончании нам был обещан давно желанный отдых и сон. Невыносимое мученье идти втроем по болоту, держа в руках смычку рельсового полотна весом в 160 кило. Чуть кто-нибудь из трех несущих спотыкался, остальные двое носильщиков тоже немедленно спотыкались, роняя рельсы на землю. Руки отказывались служить, так как холодное железо впивалось в ладони. К 10 часам три старика совершенно выбились из сил. Один из них, Колокольцов, бывший военный, лег на землю со словами:

— Убейте меня лучше! Я больше не в силах.

Чекист Сартис (латыш) поднял Колокольцова и, поставив его на ноги, сказал:

— Нечего дурака ломать. Другие работают — и ты работай. Помереть еще успеешь.

С вагонетками было тоже немало хлопот. Трава и кустарники наматывались на колеса, и они врезались в рыхлую почву. К 2 часам ночи, обессиленные, мы наконец закончили эту адскую работу и повалились прямо на холодную землю. Казалось, что мы больше не в состоянии двигаться. Вдруг Сартис вынул часы и сказал:

— Передохните немного, а потом все, что принесли, надо будет отнести на станцию и погрузить в вагоны к 6 часам утра. К этому времени будут поданы вагоны.

Станция узкоколейной железной дороги была почти в 1 километре от сторожевой избушки. Взошла луна, и освещаемые ее бледным светом, согнувшиеся под тяжестью непосильной работы люди производили впечатление каких-то фантомов. Колокольцов умер от разрыва сердца около 4 часов утра. Когда вагоны были нагружены и Сартис приказал нам тоже садиться в вагон, один из нас спросил его:

— А как быть с трупом Колокольцова? Разве мы его не возьмем в лагерь?

Сартис подошел вплотную к спрашивавшему и, поднеся к его лицу револьвер, сказал:

— Это видел? Я тебя научу вмешиваться не в свои дела. Не разговаривать!

Приехав в гавань, мы должны были выгрузить из вагонов как рельсы, так и вагонетки и сложить все в порядке около одного из сараев. Мы попали к себе в собор около 9 часов утра и повалились на нары как убитые. Неудивительно: мы почти полутора суток не ели и не спали, или, вернее сказать, мы почти не ели и не спали с самого дня отъезда из Петербурга. В эту последнюю ночь мы убедились на опыте, что такое Соловецкий концентрационный лагерь.

***

Часов около 3 дня меня с трудом растолкали. Весь собор был пустой, так как все были на работах, кроме нашей группы, получившей отдых благодаря ночной работе. Нам приказали заняться уборкой собора. Для этого нам дали тощие обтрепанные метлы, обломанные деревянные лопаты и два мешка с опилками.

Тяжелое впечатление производит собор с бесконечными рядами грязных нар, на которых набросаны вороха всякого тряпья. Каменные плиты пола покрыты толстым слоем грязи, а под нарами высятся кучи разлагающегося мусора, опилок и отбросов пищи. Все это разлагается и издает отвратительный запах. Убрать мусор нельзя, так как некуда. Выход из собора — на широкую площадку, на которой должно быть чисто, так как там иногда проходит «начальство». Ближайшее место, куда можно было бы свалить мусор, находилось в расстоянии от собора около полутора километров — это развалины небольшой церкви. На этих развалинах разрешалось заключенным 11-й, 12-й и 13-й рот умываться по утрам, так как в соборах не имелось ни малейшего приспособления для умывания. Чтобы вынести из собора весь мусор, понадобилось бы работать нескольким десяткам человек целый день. Поэтому начальство лагеря ограничилось простым средством гигиены: на южной стене собора саженными буквами написано такое изречение: «Без грамотности и чистоты нет путей к социализму». На северной стене бросается в глаза другая не менее поучительная надпись: «Труд укрепляет душу и тело человека». Прямо над алтарем, там, где раньше был написан образ Христа, теперь красовалось изображение Ленина, под которым было выведено славянскими буквами: «Мы новый путь земле укажем. Владыкой миру будет труд». Накануне нашего прибытия в Соловецкий лагерь как раз под нарами в нашем соборе обнаружили закоченевший труп какого-то заключенного, умершего от истощения.

Часам к 6 вечера стали приходить в собор, взвод за взводом, заключенные, возвращавшиеся с работ. Мы наскоро задвинули под нары весь сметенный нами в кучи

сор и пошли в свое помещение. В нашем помещении было несколько чище, так как мы весь сор складывали втихомолку в мешок и вытряхивали его через окно прямо в ров. Ужин принесли в двух деревянных кадках, и он состоял из круто сваренной гречневой каши, заправленной подсолнечным маслом. Каждому пришлось по нескольку ложек каши. За кипятком надо было идти самим в кухню, которая обслуживает почти 5000 человек. Чтобы попасть в кухню, нужно пройти всю каменную галерею, спуститься на площадь, пересечь ее налево и ждать в очереди около получаса. Получив кипяток и попав к себе, надо ждать, когда освободится место на нарах, так как все переполнено и некуда поставить чайник. И все это надо проделывать ежедневно, после целого дня утомительной работы и ночей почти без сна. Вся процедура еды чрезвычайно неопрятна, так как большинство не моется неделями. Для мытья не хватает времени, и для этого надо ходить на площадь к колодцу, набрать в чайник воды, а потом идти на развалины, рискуя сломать себе шею. Да и какое там мытье под открытым небом, на холодном пронизывающем ветру! Многие едят руками за неимением ложек. У большинства провизия, купленная в кооперативной лавке, лежит у изголовья нар среди тряпья, мокрой обуви и грязного инструмента. Нет возможности описать ту грязь, нищету, голод и холод, в котором живут заключенные Соловецкого лагеря! Сейчас же после ужина всех выстраивают на вечернюю поверку, которая производится одновременно во всех отделениях лагеря и длится поэтому часа полтора. Все это время все стоят, выстроившись в несколько шеренг, строго в затылок друг другу, не шевелясь. Во время каждой вечерней поверки читается приказ о расстрелянных за истекший день. Таких всегда ежедневно по нескольку человек, а иногда даже свыше десятка.

После вечерней поверки очередные группы назначаются на ночные смены работ. Нашу группу назначили на вытаскивание бревен из озера. Пока светло, с этой работой можно кое-как справляться, но с наступлением темноты это настоящий ад, а не работа. Толстые бревна, длиной до 15 метров, плавают в воде. Их надо вытаскивать на берег и относить через кустарники и скалы на лесопильный завод. Дается так называемый урок, то есть определенная группа людей должна к известному часу доставить на лесопильный завод определенное количество бревен. Ни багров, ни веревок, ни вообще каких бы то ни было средств для выполнения этой работы не выдается. Заключенные входят в воду по горло (в сентябре на Соловках конец осени) и руками толкают скользкое бревно на берег. Какая это пытка тащить вдвоем скользкое, мокрое бревно, спотыкаясь о кочки, камни и цепляясь за кустарник! Работать надо добросовестно, так как в противном случае начинают протестовать товарищи по группе. Работа должна быть непременно выполнена к определенному сроку, и за малейшее промедление

отвечает не только вся группа работающих, но и чекист, приставленный наблюдать за работой. Только смерть может освободить от работы.

Самые здоровые и молодые в нашей партии вошли в воду и начали подавать нам, оставшимся на берегу, бревна. Сделав три конца на лесопилку и обратно, я совершенно выбился из сил, и, несмотря на протесты и ропот товарищей, я лег на берегу, решив лучше умереть, чем продолжать это мученье, которому все равно нет и не будет конца. Вчера были рельсы, сегодня бревна, завтра еще что-нибудь. Ни отдыха, ни сна, ни еды, ни тепла. И ни малейшей надежды на улучшение. Вдруг меня точно пронизала мысль: «Держись до конца. Держись, пока не упадешь. Стыдно тебе, старому солдату, распускаться». Собрав всю мою волю, я встал и пошел работать в воду. Если суждено умереть, то уж лучше умирать в своей родной стихии.

В 12 часов ночи, промокшие до нитки, мы вернулись в собор. Все громадное помещение собора тускло освещалось несколькими лампочками, и после свежего воздуха смрад в помещении вызывал тошноту. Тела спящих лежали вплотную друг к другу — 850 человек! В нашем помещении воздух был чуть лучше, но было еще теснее. Я с громадным усилием заклинился между двумя спящими, и было так тесно, что я мог лежать лишь на одном плече. Но нет худа без добра. Благодаря духоте было тепло, и для меня это было на руку, так как я лежал, как и многие, совершенно голым. Все белье и платье было промокшим до нитки, и я развесил его тут же в помещении просушиваться.

Прошло несколько дней. Уже успела прибыть еще партия заключенных из Кеми, а мы уже успели слиться с общей массой заключенных Соловецкого лагеря. Ежедневно с 6 часов утра я уходил на какие-нибудь тяжелые работы, каждый день разные, и возвращался к 12 часам дня в собор. Проглотив тресковую похлебку или суп из гречневой крупы, я опять шел на назначенную работу и возвращался к 6 часам вечера. Затем следовал так называемый ужин и поверка. Часов около 9 вечера нас всех запирали в соборе, мы валились, полумертвые от усталости, и, сдавливая друг друга, засыпали. За эти несколько дней моего пребывания на Соловках я окончательно потерял всякий человеческий образ, и я думаю, что в самой ужасной ночлежке любого большого европейского города нельзя было отыскать человека с более сомнительной внешностью, чем та, которую я приобрел в то время.

Неудивительно: с момента отъезда из Петербурга я имел лишь изредка возможность сполоснуть руки и лицо под открытым небом. Кроме двух пар носков, ночной рубашки и трех носовых платков у меня не было белья. От тяжелой и грубой работы костюм мой порвался, и по ночам меня заедали насекомые. Но мои соседи по нарам были в еще худшем состоянии, чем я.

С каждым днем становилось холоднее, и посередине собора сложили из кирпичей две примитивных печки. Одну такую же печку сложили в нашем помещении, и на ней же некоторые заключенные жарили треску и картошку, отчего поднимался чад, и дым разъедал глаза.

Ходя на различные работы, мне посчастливилось встретить и многих моих бывших друзей по петербургской тюрьме. Кое-кто из них уже прошел так называемый «моральный карантин» и доживал на Соловках уже второй год. Некоторым, в особенности инженерам и врачам, даже посчастливилось кое-как сравнительно устроиться, то есть попасть на работу, отвечающую их специальности. Из специалистов образована так называемая 10-я рота численностью в 600 человек; они живут в особом здании, выходящем на главную площадь. Это здание ранее занимали монахи, и в их кельях помещаются теперь заключенные.

Старые приятели помогли мне, прежде всего, продуктами, так как мои деньги не поступили еще в казначейскую часть лагеря, и из-за этого я голодал. Продукты и даже одежду можно покупать в лагерной кооперативной лавке или в ее отделении, находящемся в кремле на главной площади. Это отделение помещается в киоске, построенном из частей бывшего иконостаса, и продавцы лавок, разумеется, тоже заключенные. Обе лавки делают довольно большой оборот, так как, кроме заключенных, на острове имеется два охранных полка. Цены в лавках невероятно высокие, и наличие товаров совершенно не отвечает потребностям покупателей.

Несмотря на громкое название «кооперативные лавки», эти учреждения не имеют ничего общего с той кооперацией, как ее понимают в Европе. Это такая же кооперация, как всюду в советской России, то есть обычное государственное предприятие, доходы с которого идут в то учреждение, откуда отпущены средства для оборота. Весь доход с кооперативной лагерной лавки поступал в кассу Чеки. Благодаря этому солдаты расквартированных в лагере полков и чекисты получали товары из лавок по более низким ценам, чем заключенные, и в лавке всегда было в наличии вино, печенье, консервы, ветчина, варенье и тому подобное, но зачастую не бывало хлеба, сала и других продуктов первой необходимости, доступных по цене для заключенных. Вообще говоря, среди заключенных более половины, то есть около 4000 человек, совершенно не имеют не только денег, но даже самой необходимой одежды. Большинство из них умирает на второй год пребывания в лагере от простуды, цинги, сумасшествия и расстрела, так как под влиянием полного отчаяния эти обезумевшие от голода и страданий люди пытаются наивно протестовать. Главный контингент этих несчастных состоит из крестьян, рабочих и случайных уголовных преступников, и они ниоткуда не полу-

чают помощи. Около 2000—3000 заключенных из образованного класса общества выдерживают заключение несколько дольше, так как их близкие посылают ежемесячно 10—15 рублей, добытых потом и кровью. На эту сумму можно существовать в лагере впроголодь, покупая лишь такие продукты, как сало, селедка, картофель, хлеб, лук и иногда сахар и чай. Около 1000 человек живут вполне сытно; это всевозможные нэпманы, попавшие в лагерь за спекуляцию, контрабанду, взятки и разные должностные преступления. Они имеют возможность проживать в среднем от 50 рублей в месяц и выше. Прекрасно обставлены заключенные чекисты высших рангов. Хотя официально они не получают никакого жалованья, но им отпускается так называемый «особый паек», обмундирование, и их помещают в особые, вполне комфортабельные, помещения.

Как это ни странно, но в конечном итоге хуже всего живется на Соловках представителям рабочего и крестьянского классов, и смертность среди них значительно выше, чем среди других групп заключенных. Образованные люди страдают невыносимо первые два-три месяца «морального карантина». За это время все больные и старики обычно умирают. Выдержавшие ад «карантина» постепенно устраиваются на работы сообразно со своей специальностью и назначаются даже на ответственные технические и хозяйственные должности. Разумеется, это не дает никакого материального улучшения, но зато избавляет от тяжелых работ и, самое главное, дает возможность жить не в соборах, а в бывших монашеских кельях. Это очень много значит. Можно спать на отдельной койке, можно мыться в закрытом помещении и можно иногда погреться около печки. Вполне естественно, что мечта каждого заключенного — как можно скорее вырваться из ада «карантина» и попасть в одну из специальных рот. Благодаря счастью, знакомствам по прежней тюрьме, ловкости иногда удается кому-нибудь проскочить в специальную роту ранее положенного срока и даже попасть на какое-нибудь ответственное место. Но это всегда кончается грустно. Сексоты не дремлют, весь лагерь кишит предателями, и в один прекрасный день «специалиста» снимают с должности и переводят без всякого объяснения причин в одну из рот собора. Надо все опять начинать сначала.

Весь ужас Соловецкого лагеря в том и состоит, что ни один заключенный никогда не уверен за ближайшую минуту своего существования. Ничего прочного и определенного. Никто не знает, что именно можно делать и чего нельзя. Например, выводят партию заключенных мостить дорогу. На всю партию выдано два молотка для разбивания щебня и одна лопата. В партии 20 человек. Как быть? Просить, чтобы партию снабдили инструментом в надлежащем количестве, нельзя, так как это недисциплинарно; возможно, что не дают инструмента нарочно, чтобы сделать работу труднее. Но может случиться и иначе. Кто-либо

из проходящего мимо «начальства» вдруг обратит внимание, что заключенные носят щебень пригоршнями рук. Тогда всю партию обвинят в саботаже. Малейшее замечание влечет за собой дисциплинарное взыскание.

Самое слабое наказание — 30 суток заключения в темном подвале с обязательным ежедневным выходом на исключительно тяжелые работы. Два дисциплинарных взыскания, полученных на протяжении трех месяцев, — и заключенного переводят в особый отдел лагеря на Секирную гору. На этой горе имеется церковь, обращенная в казармы для заключенных. В церковь ведет лестница в 247 ступеней, по которой надо четыре раза в день спуститься и подняться, так как все работы происходят внизу, у подножия горы. По этой же лестнице надо принести все необходимое для хозяйственных потребностей казармы: воду, дрова, провиант. С Секирной горы редко кто возвращается обратно, а если и возвращается, то с увеличенным сроком пребывания в лагере, так как административная коллегия лагеря имеет право выносить приговоры помимо Москвы, включительно до смертной казни, и этим правом коллегия пользуется в самом широком объеме. Я видел однажды, как вели партию заключенных с Секирной горы для работ по засыпке кладбища цинготных и тифозных. Это кладбище отравляло весь воздух, так как подпочвенная вода размыла ямы с погребенными заключенными. Я именно говорю ямы, а не могилы, так как заключенных хоронят в ямах, как бездомных собак. О приближении партии заключенных с Секирной горы мы догадались по громкой команде:

— Прочь с дороги!

Разумеется, мы все шарахнулись в сторону, и мимо нас прошли истощенные, совершенно звероподобные люди, окруженные многочисленным конвоем. Некоторые были одеты, за неимением платья, в мешки. Сапог я не видел ни на одном.

Очень опасно быть назначенным на какое-нибудь ответственное место, в особенности по хозяйственной части, или в лавку, или в многочисленные мастерские, изготовляющие для свободного населения материка и для армии обувь и платье. Во всех этих учреждениях происходят периодические панамы[3]: воровство, подлоги, бесхозяйственность. Во всех случаях без исключения злоупотребления расследуются местной комиссией лагеря, и, разумеется, самому строгому наказанию подвергаются заключенные, не чекисты. Нет никакой возможности оградить себя от таких неприятностей, так как у заключенного, какое бы он ни занимал место, нет никаких прав, а есть лишь одни обязанности. Состав помощников — тоже заключенные самого пестрого прошлого, и среди них нередко попадаются уголовные преступники.

[3] Обман, подлог. — *Примеч. автора.*

Я встретил в лагере нескольких из моих бывших сослуживцев по российскому императорскому флоту. Приблизительно в этот период начальство Соловецкого лагеря собиралось возродить бывшую флотилию Соловецкого монастыря, состоявшую из нескольких довольно больших парусных судов. Предполагалось вновь организовать рыболовную промышленность и транспорт лесных заготовок на материк. Кое-кто из моих бывших сослуживцев был привлечен к этому делу. Начальство лагеря, решительно ничего не понимая в судоходном деле и ожидая от него больших доходов для лагеря, то есть для Чеки, выхлопотало из Москвы необходимые ассигнования, и началась типичная советская организация предприятия. Широкий размах, масса фантастических проектов на бумаге, грошовые средства и полное невежество на «верхах». Для вновь организуемого дела требовалось много специалистов, а настоящих моряков с высшим специальным образованием было в лагере не больше 15 человек. Поэтому мои приятели решили привлечь и меня к этому делу и под этим благовидным предлогом вытащить меня из собора. Для меня было очень соблазнительно переехать в 10-ю роту на житье и работать в знакомой специальности. Но я все-таки колебался, так как в любой момент начальство могло спохватиться, что я каэр и шапэ (то есть осужденный за контрреволюционную деятельность и за шпионаж) и пробыл в «моральном карантине» всего несколько дней, поэтому меня с большим скандалом водворили бы обратно в 13-ю роту. Руководясь этими соображениями, я отказался наотрез от любезных предложений моих друзей и не раскаиваюсь в этом. Через несколько дней в «Судострое» (так было названо морское рыболовное предприятие) уже произошла перетасовка, и половина моих друзей была отправлена прямо от чертежных столов в каменоломни Конд-острова. Говорили, что кто-то из сексотов донес начальству, что будто бы моряки организуются, чтобы устроить побег.

Тем временем я был совершенно случайно назначен сторожем на один из огородов, обслуживающих два расквартированных в Соловецких лагерях полка. Это занятие мне очень понравилось, и я решил, что надо во что бы то ни стало прочно устроиться на этом спокойном месте. Я попал в ночную смену, и моими товарищами были старичок архиепископ Петр[4] и писатель Игорь Ильинский. Другой ближайший огород стерегли молодой князь В. — товарищ моих братьев по Пажескому корпусу, профессор духовной академии Вербицкий и бывший тамбовский вице-губернатор Князев. Я пробыл в почетной должности сторожа советских огородов несколько ночей и должен сказать, что за весь период моего пребывания не только в тюрьмах, но и в советской России, это самое мое приятное воспоминание.

[4] Возможно, речь идет о епископе Вольском, викарии Саратовской епархии Петре (Соколове), который в это время находился на Соловках.

Стояли тихие осенние лунные ночи, и из стоявшего на пригорке сторожевого шалаша были видны бесконечные площади огородов, посеребренных луной. Вокруг огородов стоял темной стеной густой лес. В шалаше можно было разводить огонь, варить в котелке картофель и репу, которые мы, как сторожа, воровали с доверенных нам огородов (архиепископ тоже). По очереди мы обходили порученный нам район, но сторожить огороды было, собственно говоря, не от кого, так как они находились от кремля на расстоянии 7 километров, а по ночам заключенные ходят по острову только на ночные работы и всегда в сопровождении чекистов.

Архиепископ был очень умный и широко образованный человек с неиссякаемым запасом юмора и добродушия. Он попал в ссылку по подозрению в контрреволюционных замыслах. Остальные мои компаньоны попали в лагерь приблизительно за то же самое. Молодой князь В. успел уже три года отсидеть в Бутырской тюрьме. Это был очаровательный молодой человек, мечтатель и поэт. Странное впечатление должна была производить на постороннего наблюдателя наша пестрая группа у костра в шалаше, когда мы слушали молодого В., декламирующего нараспев свои сонеты лунным лучам. К 6 часам утра мы все возвращались в кремль и расходились по своим ротам. Помещения были почти безлюдны, и можно было свободно отсыпаться на нарах до 12 часов.

В 2 часа всех сторожей ночной смены выводили на уборку площади. Это была нетрудная работа, и так как через площадь проходила масса заключенных в лагере, как мужчин, так и женщин, то я встречал массу знакомых не только по прежней тюрьме, но по петербургскому дореволюционному обществу.

Приблизительно в то же время я успел получить высланные мне консульством белье, платье и деньги. Это было весьма приятно, так как доказывало, что консульство не потеряло моего следа.

С каждым днем становилось все холоднее, чайки улетели на юг, и по площади бродили птицы, еще не успевшие отрастить крыльев для полета... Мысль зимовать на Соловках приводила меня в ужас. Почти семь месяцев быть отрезанным от внешнего мира! Почти шесть месяцев полярной ночи во власти дегенератов и палачей!

Во второй половине сентября окончилась охрана огородов, и я с большим беспокойством ждал, куда меня теперь назначат. Как-то, проходя мимо киоска на площади, я увидел за прилавком длинноносую физиономию знакомого еврея-ювелира, который некогда сидел вместе со мной в тюрьме на Шпалерной. Звали его Кюммельмахер. В тюрьме он был в чрезвычайно тяжелых условиях, так как его арестовали в театре и прямо оттуда привезли в тюрьму. Сидел он со мной три месяца в общей камере и не получал со стороны никакой помощи, так как его

магазин и квартира были опечатаны, а семья арестована. Я подкармливал иногда несчастного, перепуганного Кюммельмахера и даже покупал ему папиросы. За что его посадили и за что сослали, я до сих пор не знаю, так как никогда не имел терпения дослушать до конца чрезвычайно болтливого еврея, начинавшего неизменно свой рассказ о злоключениях почему-то с 1899 года...

Увидев меня, Кюммельмахер пришел в неописуемый восторг, хотя и неуместный, но совершенно искренний. По-видимому, он чувствовал себя за прилавком совершенно в своей тарелке. Шутя, я спросил его, не нужен ли киоску сторож, и сверх всякого ожидания получил восторженный ответ:

— Обязательно нужен. И такой образованный и деликатный человек, как вы, Борис Леонидович, самый подходящий человек для этого места.

В тот же день в 2 часа дня я вступил в мою новую должность. Мой предшественник, мексиканский генеральный консул в Египте синьор Виолара, получил повышение, так как его назначили продавать молоко, и он поместился тут же, у киоска.

Странный контингент служащих был у этой лавки. Заведующий лавкой был бывший маклер Петербургской фондовой биржи Баркан, кстати сказать, исполнявший до революции и мои поручения. Его помощником был ювелир Кюммельмахер. Бухгалтером киоска был священник, доктор богословия Лозина-Лозинский. Продавал молоко консул Виолара. Сторожами были я и камергер Елагин.

Самая интересная и необычная история — мексиканца Виолара. Он был женат на русской, и его жена тоже была заключена в женском отделении лагеря. До 1924 года супруги жили в Александрии, где Виолара имел крупное коммерческое предприятие и был мексиканским генеральным консулом в Египте. Слухи о нэпе дошли и до ушей г-жи Виолара, которая решила, что политическое положение в России улучшилось и можно туда поехать, чтобы повидаться со старушкой матерью, проживавшей в Тифлисе. Уговорить мужа было нетрудно, и весной 1924 года супруги приехали в Тифлис. Повидавшись со своей матерью, г-жа Виолара захотела посмотреть Петербург и Москву. В «Европейской» гостинице в Петербурге муж и жена были арестованы агентами Чеки и отвезены в Бутырскую тюрьму. В Москве им было предъявлено обвинение в шпионаже и контрреволюции. Основанием для этих обвинений послужило то, что брат г-жи Виолара был офицером Деникинской армии. После шести месяцев заключения в Бутырской тюрьме обоих супругов выслали на три года в Соловецкий лагерь. Когда я впервые встретил Виолара, то прошел уже почти год его пребывания в лагере. Несмотря на громадные деньги, проживаемые им в лагере, положение его было очень плачевное. Почти ни слова не говоря по-русски, он

часто попадал в весьма рискованные положения. Свою жену он мог видеть только мельком, когда она проходила через площадь с группой других женщин, работавших на мельнице и в хлебопекарне.

Брат г-на Виолара, живущий в Александрии, перевел на текущий счет арестованного брата очень крупную сумму, и это позволяло мужу и жене проживать в месяц до 30 долларов. За эти деньги супруги сносно питались, скверно, но чисто и тепло одевались и могли подкармливать кое-кого из своих товарищей по заключению. Благодаря последнему обстоятельству они могли пользоваться помощью при тяжелых работах. Разумеется, никаких льгот ни муж, ни жена не получали, и лишь по истечении нескольких месяцев г-на Виолара перевели в 10-ю роту, а его жену перевели с торфяных разработок на мельницу. Виолара жил в одной комнате с другими четырьмя заключенными, и эта комната напоминала провиантский склад. Зная по опыту, что зимой в лавке ничего нельзя достать ни за какие деньги, запасливый мексиканец заполнил всю комнату продуктами на себя, на жену и на товарищей.

Как и другие заключенные, жены которых отбывали наказание в Соловецком лагере, Виолара не мог иметь с женой свиданий, и больно было смотреть, как этот любящий и экспансивный человек часами сидел с ведром молока у киоска, выжидательно смотря на тот угол площади, где должна была показаться группа женщин, возвращающихся с работ на мельнице. Чувствительный Кюммельмахер в таких случаях стряхивал слезу со своего длинного носа и, кивая на мексиканца, говорил:

— Н-н-н-у? И я хотел бы знать, какая им выгода, что человек мучается? А почему мы не можем видеть наших деточек? Какая им выгода, этим сволочам?

Ответ на свой вопрос Кюммельмахер получил несколько позже, так как «они», наши мучители, всюду имели уши...

***

Стоять сторожем у ларька было нетрудным, а в условиях Соловецкого лагеря даже приятным занятием. Во-первых, ничего не было ниже этой должности, так что не могло быть никаких интриг. Во-вторых, не было помощников, значит, никто не мог меня подвести под неприятность.

Я вступал на дежурство в 6 часов утра и дежурил до 12 часов дня. В полдень меня сменял камергер Елагин, и дежурил он до 6 часов вечера. В 6 часов я опять вступал в дежурство, а в 8 часов к ларьку ставили часового, и я уходил в роту. Целый день у ларька было движение, и тут был своего рода клуб, в котором обсуждались всякие новости. По части выведывания новостей Кюммельмахер был большой мастер. Как только к ларьку подходили покупатели-чекисты,

Кюммельмахер начинал ловко заговаривать им зубы, и мы всегда были в курсе различных перемещений начальства, новых распоряжений, приездов всевозможных комиссий из центра и тому подобных вещей, которые играют первостепенную роль в монотонной жизни обезличенных заключенных лагеря.

Однажды была рассказана такая «новость». Помощник начальника лагеря — московский чекист Васьков — воспылал страстью к одной из заключенных, Томилиной. Ее муж был тоже заключенным лагеря. Супруги были сосланы в лагерь на один год, и срок их заключения истекал в сентябре. Поэтому их надлежало отправить на материк в пересыльный лагерь Кеми, где их должны были освободить. Томилин все время находился на тяжелых работах, а его жена состояла секретаршей Васькова. Однажды Томилина назначили на такие работы, каких он не мог выполнить, и за это его перевели на Секирную гору, продлив срок пребывания в лагере. Томилина оказалась во всех отношениях свободной и сделалась законной супругой Васькова.

После целого ряда таких новостей, в которых расстрелы чередовались с предательством, у меня пропала всякая охота слушать разговоры посетителей ларька. Я избрал себе другое занятие. В промежутках между подметанием площадки вокруг киоска, установлением очередей покупателей и рассыпанием картошки по кулькам — все это входило в круг моих обязанностей — я усаживался на ящик и бросал кусочки хлеба готовившимся к отлету молодым чайкам. Но и это невинное занятие мне опротивело после одного случая. Как-то Елагин запоздал меня сменить. Закрыв ларек, я уселся на ящик и, пожевывая ветчину с хлебом, начал бросать маленькие кусочки хлеба птицам. Они очень ловко и забавно ловили кусочки на лету и даже пытались вырывать хлеб у меня из рук. Из этого занятия меня вывели два донельзя истощенных и оборванных человека, которые, повидимому, уже несколько раз пытались обратиться ко мне, но я по своей глухоте и рассеянности не обращал на них внимания. Один из них, молодой, сказал мне:

— Бросьте лучше нам несколько кусочков. Мы не хуже птиц поймаем их на лету.

Эта фраза была для меня точно удар хлыстом по моей совести. На беду ларек был заперт, и у меня в руках был до смешного маленький кусочек хлеба. Видя мое смущение, другой, постарше, сказал:

— Может быть, вы, гражданин, дадите нам несколько картошек из этого мешка?

Я дал им несколько картофелин, и оба с жадностью принялись грызть сырой картофель.

Птиц я перестал кормить.

***

В 20-х числах сентября священник Лозина-Лозинский без всякого объяснения причин был снят с обязанностей бухгалтера киоска и назначен на очистку отхожих мест главного управления. Сутки спустя убрали болтливого Кюммельмахера и отправили его на лесопилку. На его место назначили удивительно противного поляка — бывшего директора какого-то банка. Во избежание всевозможных сюрпризов я стал подыскивать пути к уходу на какую-нибудь новую подходящую мне безответственную и незаметную должность.

Как раз напротив нашего киоска высилось здание 10-й роты — предмет моих тайных и страстных желаний, увы, недостижимых для меня как для каэра и шапэ. Во время ежедневных разводов на работы, происходивших на площади неподалеку от киоска, я обратил внимание на высокую представительную фигуру какого-то человека в полуофицерской форме дореволюционного образца. Это оказался П. — бывший полковник одного из блестящих гвардейских полков, однополчанин моего дяди, расстрелянного в Холмогорах. До революции я часто встречался с полковником П. в Царском Селе, и потому, улучив удобный момент, я подошел к нему и назвал себя. Бравый полковник был уже старожилом лагеря и достиг высокого звания младшего помощника командира 10-й роты. Командиром роты был кубанский казак, славный парень, осужденный на 10 лет за бандитизм и вооруженный грабеж советских поездов. Полковник обещал мне попытаться пристроить меня рассыльным в ротную канцелярию, но надежды на это было мало, так как я был уже при «деле», и мой «начальник»-поляк мог меня не отпустить. К счастью, меня выручил Виолара, который давно уже прикармливал поляка, и я в конце концов попал в рассыльные при канцелярии 10-й роты. Это было пределом моих желаний, так как у меня были деньги, было платье, но не было здоровья, и я не мог больше жить в кошмарной обстановке 13-й роты. Я мог устроиться в инвалидную команду, но это было мне противно, так как там были настоящие больные и царила атмосфера больницы, притом грязной советской больницы.

Как раз в последнюю ночь моего пребывания в соборе произошел любопытный эпизод. Часов около 3 ночи нас внезапно подняли и выстроили в несколько шеренг в громадном помещении собора. Никто не знал, в чем дело, и заключенные предполагали по обыкновению, что нас всех поведут под пулеметный огонь. Говорю «по обыкновению», так как, благодаря постоянным массовым расстрелам, заключенные видят в каждом неожиданном распоряжении начальства, прежде всего, перспективу расстрела. Дело оказалось значительно проще. Начальник нашего отделения чекист из кубанских казаков Ногтев сильно подвыпил, «инспектируя» состояние женского барака, и, чтобы освежиться, при-

казал подать себе лошадь, на которой и поднялся по 47 ступеням на каменную галерею и начал объезжать вверенные ему роты. Въехав к нам в собор и сильно собрав лошадь на мундштуке, он остановился перед фронтом и весело крикнул:

— Здорово, ребята! Как поживаете, господа буржуйчики?

Но скоро Ногтева, что называется, развезло, и он сошел с лошади, передав поводья двум подскочившим дневальным. Во фронте я стоял рядом с каким-то приземистым стариком священником, все время что-то шептавшим про себя. Думая, что старику дурно, я обратился к нему с вопросом:

— Вам дурно, батюшка? Что с вами?

Священник нервно взял меня за локоть и, показывая пальцем на пол, сказал:

— Боже, Боже! Ведь здесь как раз попираем ногами место святого престола, и какие слова слышим! Пьяный безумец — и на коне в храме святом.

Мы действительно как раз стояли в центре бывшего алтаря, и священник был потрясен, так как у православных то место, где стоит жертвенник, считается заповедной святыней, на которой может стоять только посвященный в сан священника.

Ногтев пытался держать нам какую-то речь, но не докончил и приказал всем разойтись. Каким образом его убрали и как увели лошадь, мне неизвестно.

В 10-ю роту я явился с утра со всеми моими пожитками. Так как я весь был покрыт насекомыми и ими кишели мои вещи, меня отправили в баню, которая находится вне кремля. Все мои вещи я передал двум заключенным, исполнявшим обязанности дневальных в коридоре: один — бывший охранник, а другой — бывший жандармский вахмистр. За три фунта сахара, пять пачек махорки и два куска мыла они обещали вычистить и вытряхнуть все мои вещи и тщательно обрызгать их скипидаром (скипидар за мой счет). Сразу чувствовалось, что я попал наконец в культурную обстановку. Надолго ли?

Все заключенные, кроме находящихся в карцерах и на Секирной горе, ходят по острову совершенно свободно. Но для выхода из кремля нужно всякий раз брать у дежурного по кремлю пропуск. Разумеется, никто не бродит по острову без дела, так как, во-первых, все заключенные всегда заняты, во-вторых, бродить по острову ради удовольствия прогулки очень опасно, так как всюду ходят патрули и прогуливаются чекисты. Пока я шел в баню, меня три раза останавливали по дороге и опрашивали. Ярко светило солнце, но приближение зимы уже чувствовалось в резком холодном ветре и подмороженной дороге. Встречались заключенные группами и в одиночку, выполнявшие различные работы. Из труб заводов и мастерских валили клубы дыма, и из-за поворота леса выползал змейкой поезд узкоколейной железной дороги. Я шел и старался себе представить, какое впечатление произвела

бы вся эта картина на постороннего наблюдателя, не знающего закулисной стороны Соловецкого лагеря. Мирная, почти идиллическая картина трудовой коммуны. Мне кажется, что советская власть может вполне безопасно для себя пригласить любую иностранную делегацию для поверхностного осмотра Соловецкого лагеря. Разумеется, не надо пускать делегации в кремль и в особенности на каменную галерею к соборам. Упаси Бог подпускать членов делегаций к заключенным, так как один вид заключенных способен разрушить всю идиллию. Но для показа можно продемонстрировать переодетых чекистов, они ведь тоже считаются заключенными, и их наберется несколько сотен. Кроме них можно показать «политических» заключенных, то есть тех, которых советская власть считает за политических: левых эсеров и левых меньшевиков. Им живется недурно.

А вот, кстати, влево от дороги, не доходя до бани, громадная вывеска на двух столбах: «Дезинфекционная камера». Вывеска от времени и непогод немного облезла, но ее можно подновить. Это ничего не значит, что за вывеской пустырь и какие-то развалины. Важен факт, что имеется доброе желание соорудить дезинфекционную камеру. Об этом свидетельствует вывеска — чего же еще надо? Год тому назад эта вывеска вполне удовлетворила приезжавшую из Москвы комиссию, и в газетах «Правда» и «Известия» было написано несколько восторженных статей об образцовом санитарном состоянии Соловецкого лагеря.

В бане, невероятно грязной и полуразрушенной, обосновалась так называемая «горская республика». Заключенные, обслуживающие отдельно стоящие предприятия и хозяйственные учреждения, при них же и живут. Конечно, все эти заключенные — старожилы лагеря, так как к таковым советская власть благоволит, и начальство лагеря относится к ним с доверием и даже с симпатией.

Баней заведуют кавказцы, осужденные за бандитизм и грабежи. Вся баня может вместить в один прием не больше 50 человек, но ее обслуживают 15 человек здоровенных грузин и абхазцев, живущих в пристройке у бани и в самой бане. Что они там делают, я не могу понять. У меня создалось впечатление, что вся баня существует специально для них, так как я почти не видел, чтобы заключенных водили в баню. Для этого у заключенных нет времени, а кроме того, этой бани недостаточно на 8500 человек. Правда, из этого числа надо выключить около 700 человек чекистов, для которых имеется прекрасная баня в кремле.

За обещание выписывать из лавки сало, сахар, чай и табак мне восточный человек выстирал тут же, в бане, мое белье, брюки и пиджак и все это высушил в кочегарке над котлом.

Наконец-то я был чист и одет в чистое платье, хотя и совершенно сморщенное от энергичной сушки. Но стоило ли на такие пустяки обращать внимание!

10-я рота помещается в двух верхних этажах бывшего общежития монахов. В первом этаже помещаются разные канцелярии учреждений кремля и медицинская амбулатория. Все помещение роты состоит из массы небольших комнат — бывших келий, расположенных по бокам длинного коридора. Канцелярия роты помещается в одной из келий, и в ней живут ротный командир, его помощник, писарь и один из дневальных коридора. Комната вся величиной 12 квадратных метров, и, разумеется, мне там нельзя было поместиться. Остальные помещения пока все были переполнены, и поэтому я устроился в конце коридора на так называемом топчане, то есть на двух деревянных козлах, на которые положен деревянный щит. Меня это вполне удовлетворяло, так как, по сравнению с моей жизнью в соборе, спать на топчане было верхом роскоши. Через коридорного дневального (бывшего жандармского вахмистра) я достал два мешка со стружками, и он мне устроил из них матрац, а свои вещи я рассовал частью в комнату Виолара, частью в комнату румынского офицера Бырсана, с которым я сидел еще в петербургской тюрьме.

Днем все помещения роты пустовали, так как все были на работах, кроме дневальных. Режим и порядок здесь были несколько иные, чем в карантинных ротах, так как 10-я рота обслуживала преимущественно канцелярии, бухгалтерию, технические бюро, госпиталь, аптеку и тому подобное.

В 6 часов утра все поднимались по звонку и трубе и после поверки и уборки в 8 часов расходились по разным учреждениям лагеря. В час дня все возвращались, и начиналась суета с приготовлением обеда. В 3 часа все опять уходили на работы и возвращались в 7 часов. Опять начиналась суета с приготовлением пищи, вечерняя поверка — и трудовой день был закончен. И так ежедневно, включая и праздники. Фактически рабочий день был значительно больше 12 часов, так как массу времени отнимала поверка, стирка белья, уборка помещения и добыча и приготовление пищи. Почти все заключенные 10-й роты получали на руки так называемый двухнедельный сухой паек. Дело в том, что обед и ужин из лагерной кухни был настолько отвратителен и в кухне царила такая ужасная грязь, что лучше было не состоять «на горячей порции» и раз в две недели получать из провиантского склада весь паек натурой. Начальство лагеря это охотно разрешало для специальных рот, так как время еды в этих ротах не совпадало с остальными ротами и выдача двухнедельного пайка значительно разгружала кухню, кормившую два раза в день 5000 человек. Такие же двухнедельные пайки получали заключенные, работавшие и жившие в дальних углах Соловецкого острова, на Муксальме и на Конд-острове.

Весьма неизбалованный и вполне здоровый человек может просуществовать впроголодь на выдаваемый двухнедельный паек не больше десяти дней. Паек состоит из соленой трески, гречневой крупы, сушеной зелени (600 грамм на

две недели), соли, подсолнечного масла (1 литр на две недели), сахарного песку (150 грамм на две недели), картофеля и 500 грамм (ежедневно) черного хлеба.

Получающие горячий обед непосредственно из лагерной кухни питаются еще хуже, так как продукты раскрадываются заключенными, обслуживающими кухню. Большинство заключенных специальных рот получают ежемесячную помощь от своих близких и друзей в виде посылок с продуктами и деньгами. Пока есть сообщение с материком, то есть в течение пяти месяцев, посылки приходят регулярно. С наступлением зимы продукты можно приобретать только в кооперативной лавке, но там все продукты очень дороги и не всегда имеются в наличии.

Привожу цены некоторых продуктов — в долларах: 1 кг полубелого хлеба — 25 центов; 1 кг соленого топленого коровьего масла — 1 доллар 40 центов; 1 кг соленого свиного сала — 1 доллар; 1 стакан молока (из вновь возрожденной бывшей монастырской фермы) — 11 центов; 1 жестянка в 250 грамм мясных консервов — 40 центов; 1 кг сахарного песку — 50 центов.

Если у заключенного даже есть возможность приобретать продукты, это все-таки еще далеко не решает вопроса питания. У каждого заключенного свободного времени имеется в обрез. На все помещение 10-й роты имеется только три маленьких печки в коридоре, на которых официально не разрешается готовить. Разумеется, все готовят на этих печах, всегда с риском навлечь на себя гнев начальства и оказаться на Секирной горе. Поэтому, как только проносится слух, что в кремле бродит кто-либо из высших чинов администрации, всякое приготовление пищи прекращается. Спрашивается, где же готовить? Ведь если разрешается получать на руки двухнедельный сухой паек, то, значит, разрешается где-нибудь приготовлять из этого пайка обед. Никто из заключенных этого не знает и никогда не решится поднять этот вопрос, так как за это могут перевести обратно в собор.

Заключенные специальных рот группируются для питания по несколько человек, живущих в одной комнате. Если в комнате случайно живет большинство не получающих со стороны денежной помощи, то получающие таковую присоединяются к какой-нибудь группе приблизительно равного с ними экономического уровня. В таких случаях надо быть очень осторожным, так как среди товарищей по комнате может оказаться сексот. Из чувства зависти или по злобе, что ему не удалось подкормиться за счет более зажиточных товарищей, сексот может донести по начальству об «образовавшейся опасной группировке». Тогда — прощай, 10-я рота! Пожалуйте обратно в «первобытное» состояние «морального карантина».

В перерыве между работами в коридорах шум и суета. У печек бесконечные очереди, ссоры, чад от поджариваемой трески и сала. Очень зажиточные заключенные, имеющие возможность кормить и даже одевать нескольких товарищей, чувствуют себя несколько спокойнее, так как кто-либо из друзей всегда успеет занять очередь у печки и приготовить неприхотливый обед. Но и тут есть «но». Подкармливать товарищей надо чрезвычайно осторожно, чтобы это не носило характера платы за услуги. В противном случае начальство усмотрит «буржуазные наклонности»», и, как неисправимого, переведут надолго в собор. Поэтому в Соловецком лагере все всегда суетятся и стараются придать себе занятой вид даже вне рабочего времени, так как у заключенного при данном режиме не может быть ни минуты свободной. Если остается свободное время — значит, что-нибудь не ладно: кто-нибудь подкуплен. В результате — перевод на тяжелые работы и житье в одном из соборов.

Мои новые обязанности заключались в разносе пакетов из ротной канцелярии по разным учреждениям лагеря, в уборке коридора, в приеме из канцелярии кремля писем для заключенных 10-й роты и в переписывании ролей для артистов лагерного театра. Последняя обязанность была совершенно неожиданной, но я, разумеется, не протестовал, так как это давало мне возможность и законный повод заходить раз по десять в день в театр и присутствовать на репетициях.

В Соловецком лагере имеется два театра: один обслуживается уголовным элементом, другой — интеллигенцией. В обоих театрах идут пьесы исключительно коммунистического содержания. Артисты театра избавлены от тяжелых работ и пользуются незначительными льготами. Но артисты, и в особенности артистки, должны иметь собственные костюмы, и так как они всегда заняты на репетициях, то должны всегда кого-нибудь подкармливать из товарищей и подруг, чтобы на них готовили обед. Благодаря этому состав труппы театра интеллигенции пополняется бывшими спекулянтами, чекистами, бывшими дамами полусвета — одним словом, тем элементом, который пользуется в советской России относительным благосостоянием. Среди «артистов» вечные интриги, и поэтому нередко случается, что сегодняшняя «героиня» или «герой» завтра отправляются на кирпичный завод или в кочегарку. В Соловецком лагере все непрочно и изменчиво.

Мне удалось очень удовлетворительно разрешить вопрос моего питания, войдя в компанию с четырьмя очень милыми людьми: профессором Императорской Академии художеств Бразом, румынским офицером Бырсаном, афганцем инженером Саид-Султаном Кабир-Шахом и бывшим начальником одного из департаментов императорского Министерства иностранных дел Вайнером. Браз находился в Соловецком лагере более года и успел уже побыть в одной из

специальных рот, занимая какую-то должность по архитектурной специальности. За два месяца до моей встречи с Бразом в лагере на него донес кто-то из сексотов — и знаменитого профессора перевели на тяжелые работы в гавани. В 10-ю роту Браза перевели недавно, и теперь он был, по остроумному выражению Бырсана, «придворным живописцем». Ежедневно старый заслуженный профессор Императорской Академии художеств отправлялся зарисовывать различные виды Соловецкого лагеря. Эта работа вполне удовлетворила бы профессора, если бы не обязанности «придворного живописца», которые чрезвычайно угнетали чуткого и самолюбивого художника. Ему было приказано начальством лагеря зарисовывать сцены из жизни заключенных и внутренности исторических церквей старого монастыря. Все нарисованное проходило через цензуру начальства, и, по указаниям Васькова, Ногтева и т.п., старый профессор должен был создавать в своем альбоме «потемкинские деревни». Всякий раз, возвращаясь с «цензурного осмотра», профессор принимался с горьким вздохом за реставрацию церквей и украшение лагерной жизни... на бумаге своего альбома. Эти рисунки предназначались для какого-то советского издания, долженствовавшего изобразить в картинках и описаниях райское житье заключенных в тюрьмах Союза Советских Социалистических Республик.

Был на Соловках и «придворный фотограф». Но тот был чекист, и однажды я сделался свидетелем такой сцены. Меня отправили в госпиталь за пакетами. Госпиталь помещался в двухэтажном здании недалеко от выхода из кремля. Раньше здание было занято монастырской больницей и находилось в образцовом состоянии. От прежнего остались жалкие воспоминания, и то лишь благодаря поистине самоотверженной работе обслуживающих госпиталь заключенных врачей и сестер. Я терпеть не мог ходить в это учреждение, так как больные лежали даже в коридорах, прямо на полу, и распространяли невыносимое зловоние. Подходя к госпиталю, я с удивлением заметил, что в чахлом садике, разбитом на площадке перед госпиталем, были расставлены столики, аккуратно накрытые белыми салфетками. На столиках были расставлены чашки, бутылки, и за ними восседали однообразно и хорошо одетые «больные». Был собачий холод, и сидевшие за столиками должны были сильно мерзнуть в своих легких костюмах. Но здоровым людям холод не страшен. Дело в том, что среди сидевших и позировавших «больных» не было в действительности ни одного больного. Все это были наряженные для фотографической съемки статисты, набранные из чекистов. Должно быть, моя весьма непредставительная фигура в помятой шляпе, коротком полушубке и фетровых сапогах портила идиллическую прелесть картины «весеннего» (или «летнего») отдыха счастливых больных. Мне два раза крикнул кто-то из «режиссеров»:

— Эй, ты, там, с бородой! Ступай к черту! Пошел вон!

Прошу извинения у читателя за невольное отклонение от нити рассказа и возвращаюсь к прерванному описанию нашей жизни в кельях 10-й роты.

Браза сослали на Соловки по подозрению в шпионаже, так как он бывал в гостях у германского генерального консула в Петербурге. Несчастный художник полтора года не имел связи с семьей, и почти перед самым отъездом он вдруг получил письмо от своей старой прислуги, которая сообщила ему, что его семья находится в Германии в тяжелом положении и что оба сына умерли в Берлине.

Румынский офицер Бырсан был славный, немного грубоватый человек, но очень сердечный и обязательный. Его схватили в Одессе, куда он вполне легально приехал, чтобы повидаться со своими родственниками. Там он увлекся одной русской девушкой и хотел на ней жениться. Незадолго до женитьбы невесту арестовала одесская Чека и предложила несчастной девушке в обмен на свободу давать сведения о состоянии румынской армии. Она, разумеется, по наивности согласилась, думая, что это согласие ее ни к чему не обязывает. Но оказалось далеко все не так просто, как думала девица. Когда Бырсан женился и собрался уезжать за границу, то ему разрешили выехать, а жене «без объяснения причины» не дали разрешения на выезд. Тут только молодая жена спохватилась и рассказала мужу все, что с ней произошло в Чека.

Так как у Чека имелась расписка жены о согласии стать шпионкой, то Бырсан, не желая компрометировать у себя на родине жену и себя, счел за лучшее не давать делу официального хода и попытаться нелегально бежать. На русско-румынской границе он был пойман вместе с женой, и по обвинению в шпионаже обоих супругов сослали на Соловки на 10 лет. Родственники г-жи Бырсан ежемесячно высылали ей небольшую сумму денег, и на эти же деньги существовал впроголодь и ее муж. Ни муж, ни жена не имели никакой возможности сообщить подробности ареста своим родственникам и даже не знали, известно ли об их судьбе что-либо румынскому правительству.

Аркадий Петрович Вайнер был замешан в фантастический процесс лицеистов и с редким мужеством, достоинством и энергией нес свой тяжелый крест.

Самым интересным из всех вышеописанных моих компаньонов по продовольствию был афганец инженер Саид Кабир-Шах, он же почетный и наследственный мулла Афганистана. Схвачен и арестован он был афганскими большевиками однажды ночью на Памире, куда он приехал по делам из своего родного города Пешавар. Связанного, его везли по ночам и передали в конце концов в московскую тюрьму Чеки на Лубянке, а оттуда его сослали в Соловецкий лагерь. Никто в Афганистане не знал ничего о судьбе Кабир-Шаха, и, не получая ниоткуда

материальной помощи, он терпел ужасные лишения. Кое-кто из заключенных ему помогал деньгами, продуктами и платьем, но самолюбивый, обидчивый и осторожный афганец не от всякого принимал помощь. Кабир-Шах окончил английский инженерный колледж в Калькутте и прекрасно говорил по-английски. Его английская ориентация и популярность среди его соотечественников были как раз причинами, вызвавшими нападение на него афганских агентов советской власти и передачу советским властям.

По-русски он говорил ужасным языком и употреблял выражения, более подходящие для боцмана парусного корабля, чем для духовного лица. В этом нет ничего удивительного, так как Кабир-Шах изучал русский язык практически в тюрьмах и преимущественно у уголовного элемента. По-английски он говорил безупречно, даже изысканно, и беседа с ним мне доставляла огромное удовольствие. Это был прекрасно, всесторонне образованный человек с твердыми взглядами и свежим ясным умом европейски воспитанного дикаря.

Иногда к нам заходил индус Корейша, живший в другой роте и отбывавший наказание на Соловках по подозрению в шпионаже. Почему он попал в Россию, как был арестован, да и другие подробности его жизни — мне осталось неизвестным.

Кабир-Шах был очень красивый мужчина, крепко сложенный, стройный и выглядел моложе своих 34 лет. Без всякого смущения он исполнял в келье, невзирая на наше присутствие, все положенные мусульманской религией обряды, и в этом смысле он был большим педантом.

Помню, однажды в лагере прекратили выдачу подсолнечного масла, и даже в лавке можно было достать из жиров только свиное сало. Мы жарили картофель и треску на свином сале и этим кое-как питались. Кабир-Шах, избегавший прибегать к чужой помощи, очень страдал, не имея жиров, и питался исключительно черным хлебом и гречневой кашей. Никакие уговоры не могли заставить его проглотить хотя бы кусочек свиного сала, запрещенного законом его религии. Он неизменно отвечал нам:

— Я Саид-Султан Кабир-Шах. Это имя значит, что я потомок пророка. Если я, потомок пророка, нарушу закон, то что же тогда требовать от обыкновенных рядовых мусульман?

Иногда по вечерам, после поверки, мы все проводили часок за дружеской беседой, а я, пользуясь любезным разрешением хозяев, мылся в обширном медном тазу, оставшемся в келье от старых монастырских времен.

Чем больше живешь в лагере, тем все больше и больше проникаешься сознанием, что Соловецкий лагерь — это какой-то гигантский сумасшедший дом.

В техническом бюро при строительной части лагеря, где среди других 20 чертежников работает и Бырсан, разрабатывают ряд сногсшибательных проектов: электрификации всех Соловецких островов, образцовой механической прачечной, судостроительных верфей, астрономической обсерватории и зоологической опытной станции с аквариумом. Профессор Браз рисует эскиз фасада дома, где будет помещаться управление водным транспортом... Сеньор Виолара ведет переговоры с администрацией лагеря об устройстве на собственный счет биостанции. Мексиканец предполагал, что ему удастся устроиться при станции заведующим и поселиться там вместе с женой.

В отхожем же месте, находящемся на центральной площади кремля, провалилась крыша. Заключенные, населяющие кремль (около 5000 человек), отправляют естественные потребности во всех закоулках отхожего места, и вечером туда небезопасно ходить, так как несколько сидений обвалилось и зияет зловонная яма. На площади и на каменной галерее нередко падают в обморок истощенные голодом и работой люди, и по вечерам на поверке всегда читаются списки расстрелянных.

В лагере имеется два театра: один в кремле, другой за кремлем, около кирпичного завода. В этом театре проходят спектакли и кинематографические сеансы. Входная плата от 5 до 20 центов. Играют заключенные из бывших профессиональных артистов и интеллигенции. Недавно из Москвы вернулась особо командированная комиссия, которая привезла духовые и струнные инструменты для оркестра.

Князь Максутов, тот самый, с которым я сидел в петербургской тюрьме, исполнял обязанности капельдинера в кремлевском театре, и за то, что не вовремя скомандовал «смирно!», когда в театр вошло начальство, его сослали на Кондостров в каменоломни.

По субботам в театре устраиваются антирелигиозные субботники. Устраивают их по окончании работ, и водят на них каждую роту по очереди. Какой-нибудь полуграмотный и разбитной лектор из заключенных чекистов или коммунистов делает доклад на антирелигиозную тему. Я присутствовал на одном только субботнике, но этого вполне достаточно, чтобы получить ясное представление о культурно-просветительной работе начальства лагеря.

Доклад был на тему «Что такое бог (с маленькой буквы), и для чего нужна религия?». Перед аудиторией, почти сплошь состоявшей из университетских людей с высшим образованием, среди которых было много священников, лектор повторял общесоветские агитационные фразы об обмане народа, о религиозном дурмане, о недобросовестности священников и тому подобное.

Довольно комично вышло, когда лектор, солидно откашлявшись, обратился к нам с полувопросом:

— Может быть, вы, граждане, не знаете, что такое теория Дарвина? Я вам вкратце сейчас изложу ее.

И пошел, и пошел...

На этом докладе чуть не случилось большого несчастья с Кабир-Шахом, и спасло его только удачное стечение обстоятельств.

Кабир-Шах сидел между мной и бароном Б. Справа от меня сидел и мирно прихрапывал Виолара, ничего не понимавший по-русски, кроме самых обыденных фраз.

Истощив весь запас красноречия на тему о религии и о Дарвине, лектор перешел к доказательствам, что Бог не существует. Этот квазинаучный реферат, вероятно, окончился бы так же мирно, как и все другие подобные ему рефераты, если бы не экспансивный Кабир-Шах, который слушал доклад с громадным вниманием и все время или беспокойно ерзал на месте, или приставал ко мне и к барону Б. с просьбой перевести по-английски непонятную им фразу лектора.

Я заметил, что барон Б., человек очень милый, но крайне легкомысленный, иногда ради шутки намеренно искажал смысл фразы лектора, переводя их Кабир-Шаху, и афганец очень волновался и сердился.

Фразу лектора: «Итак, все представления о боге — сплошная чушь и ерунда...» — барон Б. перевел афганцу так: «Он ругает Бога и говорит, что в него верят только дураки».

Совершенно вне себя, с исказившимся лицом и горящими глазами, Кабир-Шах вскакивает с криком:

— Собака! Свинья! Дурак!

Барон Б. и я с громадным усилием усадили рассерженного афганца, и одновременно погасло электричество в театре. Поднялся свист, шум, требование огня, а тем временем расходившийся Кабир-Шах продолжал возмущенно повторять, мешая русские ругательства с английскими фразами:

— Дурак, свинья, зачем плохо говорил на Бога?

Кое-как соединенными усилиями мы успокоили Кабир-Шаха, и я тут же по его настойчивому требованию поклялся, что переведу на русский язык все, что он напишет по-английски в защиту Бога для передачи лектору и начальству лагеря.

Принесли факелы, постепенно суета и шум утихли, и, протискавшись к выходу, мы пошли темной галереей, шлепая по лужам к себе в роту.

В роте меня ждал неприятный сюрприз. Бумага, присланная из штаба лагеря, глухо, без всякого объяснения причин, гласила: «Финляндского гражданина, за-

ключенного 10-й роты УСЛОНа Бориса Леонидовича Седергольма, перевести обратно в 13-ю роту».

Свершилось то, что рано или поздно должно было случиться. Это было 3 октября 1925 года.

Оставив все вещи в комнатах Виолара и Быpсана, я с одеялом и подушкой отправился в Рождественский собор.

Там все было без перемены. Было, пожалуй, еще хуже, чем раньше, так как прибыла масса новых заключенных, и люди спали под нарами на кучах разлагающегося мусора.

Как «старожил» и бывший заключенный 13-й роты, я опять попал в правый притвор алтаря и занял место на нарах между одноруким инженером поляком Врублевским и бывшим чиновником царской охранной полиции Максимовым. Оба они работали на кирпичном заводе лагеря, не мылись уже три месяца — я предоставляю читателю судить о том, как я провел ночь, сдавленный с двух сторон этими несчастными людьми.

С утра меня отправили в гавань разгружать пароход, прибывший из Кеми с посылками для заключенных. Тут же нагружали баржи кирпичами, и я встретился с одной из моих бывших соседок по камере в петербургской тюрьме, госпожой Б., и с той дамой, с которой я познакомился на пароходе, когда нас везли из Кеми. Обе были в крайне жалком виде, и от них же я узнал, что ехавшая с нами молоденькая девушка Катя накануне покончила с собой.

На площади и в театре я встречал несколько заключенных дам, чрезвычайно элегантно одетых и даже употреблявших духи «Коти». Это или жены нэпманов, сосланные в лагерь вместе с мужьями, или сосланные артистки, или видные московские и петербургские кокотки. Все эти дамы пристраиваются или секретаршами при разных управлениях лагеря, или зачисляются в театральные лагерные труппы. Несколько из этих дам носят очень громкие титулованные фамилии.

С наибольшим достоинством держат себя в Соловецком лагере заключенные священники. Они безропотно с большим мужеством выполняют все возлагаемые на них работы и по окончании периода «морального карантина» занимают хозяйственные должности конторщиков, писарей, библиотекарей и тому подобное. Все они ходят в духовном платье, при встрече с высшими иерархами подходят под благословение, троекратно целуются при встречах — одним словом, ни на йоту не изменяют вековым традициям своей касты. Среди священников почти не наблюдается случаев смерти от голода или цинги, так как многие из них получают многочисленные посылки с продуктами от друзей и близких.

По субботам в старой кладбищенской церкви за кремлем разрешается отправлять церковную службу, разумеется, без ущерба для положенных работ. Несмотря на усталость, священники ходят в эту церковь каждую субботу после 8 часов вечера, то есть по окончании работ. Литургия никогда не служится, так как праздников на Соловках нет и с 5 часов утра все уже заняты до 8 часов вечера.

Тот пароход, с которого я выгружал посылки, носил название «Глеб Бокий», и помощник капитана — заключенный в лагере Виктор Битнер — оказался моим большим приятелем, с которым я сидел в тюрьме на Шпалерной. Битнер до тюрьмы был капитаном советского парохода, совершавшего рейсы между Петербургом и Англией. Помощником Битнера был бывший офицер императорского флота Калакуцкий, секретный сотрудник Чеки. По доносу Калакуцкого Битнера обвинили в контрреволюционном замысле и сослали в Соловецкий лагерь. А Калакуцкий назначен был капитаном парохода.

Битнеру еще оставалось два года до отбытия срока наказания, и семья его, оставшаяся в Петербурге без всяких средств существования, ничем не могла помочь ему. Поэтому несчастный Битнер существовал исключительно на казенном пайке, так же, как капитан и весь персонал парохода. Но я искренне завидовал всем этим морякам Соловецкого лагеря, имевшим возможность делать свое привычное дело, жить во все время навигации на судне и лишь отдаленно соприкасаться со всей лагерной мерзостью, преступлением и предательством.

Посылки мы выгрузили, шла уборка, так как через час пароход опять уходил в Кемь, а нас поставили на разгрузку баржи. Было около 11 часов дня. Взваливая на плечи мешок с гречневой крупой, я услышал, что какой-то чекист выкликает мою фамилию. Когда я откликнулся, мне приказали как можно скорей явиться к дежурному по кремлю. Такие внезапные вызовы ничего хорошего не предвещают, и с тяжелым сердцем я поспешил в кремль.

Дежурный по кремлю приказал мне немедленно собрать вещи и бежать на пароход, который с минуты на минуту должен был уйти в Кемь. С сильно бьющимся сердцем, боясь верить в проснувшуюся надежду на освобождение, я собрал рассованные по разным местам кремля мои вещи и в сопровождении конвойного чекиста помчался на пристань.

Уже отдавали кормовой швартов, когда я прыгнул на палубу парохода. Даже сейчас встает передо мной картина удаляющейся пристани с группами оборванных истощенных людей и наглыми чекистами в кавалерийских длинных шинелях, а на заднем плане — длинное трехэтажное здание с громадным красным флагом на крыше и вывеской: «УСЛОН».

Прощайте, Соловки — остров слез, страданий и красного кошмара! Будь на веки проклят! Прощайте, поруганные деревни, русские святыни! Прощайте, дорогие страдальцы — друзья и товарищи по заключению! Многие ли из вас доживут до будущего года и суждено ли вырваться кому-нибудь из вас когда-нибудь на свободу?

Стояла ясная тихая осенняя погода. За кормой тянулась кильватерная струя, и Соловецкие острова постепенно уходили вдаль. Кроме меня было не больше десятка пассажиров, разумеется, все заключенные. Два чекиста в кожаных куртках, по-видимому командированные в Кемский лагерь, очень быстро и без церемонии заняли маленькую каюту помощника капитана, находившуюся под капитанским мостиком. Через полуоткрытую дверь видно было миловидную молоденькую женщину, которая визгливо хохотала и порывалась выскочить из каюты.

Два старых кубанских казака в барашковых шапках расположились на своих мешках на корме. Рядом со мной на машинном люке сидел пожилой человек с умным усталым лицом. Несмотря на грязный оборванный полушубок и загрубевшие от тяжелой работы руки, в незнакомце сразу угадывался светский воспитанный человек. Я не ошибся: это был бывший начальник таможни Ш. Он был осужден за контрреволюцию и находился в лагере уже два года. Теперь его переводили в лагерь Кеми для работы в бухгалтерии лесопильного завода Кемского лагеря. Остальные пассажиры были крестьяне, которых назначили на лесные работы.

Узнав, что меня отправляют в Кемь для отправки в Петербург, Ш. искренно меня поздравил и сказал: «Поздравляю вас лишь оттого, что вы иностранец. Иначе не поздравил бы».

Я очень удивился такому замечанию моего собеседника. Оказалось, вот что: из советского концентрационного лагеря и из Кеми люди освобождаются, только умирая. Всякий, благополучно отбывший срок положенного наказания в лагере (таких почти не бывает, так всегда имеется повод увеличить срок наказания), отправляется в Петербург в пересыльную тюрьму. Оттуда всех освобожденных с Соловков, отправляют на, так называемое, вольное поселение в Нарымский край (Сибирь, Нарымский край), который очень мало заселен, и все административно ссыльные, попадая туда без денег, без платья и с надорванным здоровьем после Соловецкого ада, осуждены на гибель.

Везут в Нарымский край в таких вагонах, в каких меня привезли в Кемь, но путешествие еще ужаснее, еще тяжелее, так как длится несколько недель с длительными остановками и перегрузками в этапных тюрьмах.

Как и все русские, с которыми мне приходилось встречаться в тюрьмах, г-н Ш. придавал преувеличенное значение моему иностранному подданству. По его мнению, я мог считать себя теперь в полной безопасности, так как было очевидно, что меня вышлют за границу.

Для меня это было далеко не «очевидно», но все-таки, где-то в самых тайниках сердца шевелилась надежда на поворот в моей судьбе к чему-то хорошему, радостному.

В Кемь мы прибыли перед вечером и на пристани уже ожидал нас вооруженный конвой. Всех нас, в том числе и чекистов с их веселой спутницей, повели уже мне знакомой дорогой в пересыльный пункт, где мне объявили, что я отправляюсь с ближайшим этапом в Петербург в распоряжение народного комиссариата иностранных дел. Этап уходил 12-го октября, и до этого времени мне предстояло жить в пересыльном лагере. Теперь, когда все более и более реально вырисовывался передо мной призрак грядущей свободы, я готов был жить не только в пересыльном лагере, а у самого чорта.

Чем можно было меня еще удивить и испугать после всего пережитого? В лагере я встретил кое-кого из моих бывших попутчиков из Петербурга. Как тюрьма быстро старит людей! Каких-нибудь три четыре недели не встречаешь человека — и сразу, при первой встрече замечаешь, как углубились морщины, как поседела борода, как изменилось выражение глаз.

Меня поместили в наполовину пустой барак, показавшийся мне верхом комфорта после соловецкой жизни. Ах, как все на этом свете относительно!

Я заметил, что ко мне стали относиться гораздо лучше, чем раньше, и вечером на поверке ко мне подошел чекист, заведующий бараком, со словами: «Вы, гражданин, назначены на легкие работы. Завтра с утра будете складывать дрова».

Поистине редкая предупредительность!

В течение трех дней я складывал ежедневно дрова, а на четвертый простудился и температура поднялась до 39-ти градусов. Сверх всякого ожидания, меня перевели в лазарет. В лазарете было очень скверно и если бы не лихорадка, я предпочел бы лежать в бараке. Койки на деревянных козлах стояли вплотную одна к другой и запах от цынговых больных вызывал тошноту. Но в лазарете было тепло и не так донимали клопы, от которых житья не было в бараке.

Я провалялся в лазарете почти восемь дней. Каждый день уносили одного или двух умерших. Главный контингент больных — туберкулезные в последней стадии и цынготные. В лазарете я встретился с бывшим моим попутчиком американским инженером Шевалье. Ему ампутировали руку, так как после полу-

ченной раны в плечо, у него образовался в руке Антонов огонь. Шевалье очень плохо выглядел, и мне кажется, что он не доживет до освобождения. 12-го октября меня выписали из лазарета, приказали собрать вещи и повели в штаб лагеря. Там собралось около 20-ти человек заключенных мужчин и женщин, которых отправляли в Петербургскую пересыльную тюрьму. 17 человек были, так называемые, «политические» преступники. Это была все молодежь, студентки и студенты, отбывшие на Соловках 2 года заключения, и теперь их всех высылали на три года на вольное поселение в Нарымский край.

К моей большой радости, я встретил Игоря Владимировича Ильинского, с которым я сторожил огороды на Соловках. Ему было заменено три года заключения в Соловецком лагере 5-ю годами тюремного заключения в Москве. Он был на седьмом небе и говорил мне, что этой «милости» он удостоился благодаря заступничеству каких-то видных коммунистов, его прежних товарищей по какой-то социалистической партии. Если бы я был на его месте, то есть советским подданным, я был бы не в меньшем восторге, так как пять лет тюрьмы в Москве или в Петербурге, без всякого сомнения, во много раз лучше, трех лет заключения в Соловецком лагере.

Студенты и студентки ехали в разных отделениях почти пустого тюремного вагона. Меня, Ильинского и вахмистра польской армии Шуттенбаха поместили в одно отделение, и мы устроились с большим комфортом.

Шуттенбах был схвачен на польско-советской границе, во время объезда им польских пограничных постов. К счастью для него, польское правительство обнаружило след пропавшего без вести вахмистра, и теперь Шуттенбаха возвращали в Москву для отправки в Польшу в обмен на советских шпионов, заключенных в польских тюрьмах.

Настроение всех моих попутчиков было неудержимо веселое, хотя кроме Шуттенбаха и, может быть, меня, никто не мог помышлять о свободе. Молодежь ехала в дальнюю ссылку, а Ильинский в тюрьму на пять лет. Но достаточно было причин потому, что Соловки и Кемь остались позади и впереди всех ожидало все-таки лучшее, а не худшее. Хуже того, что было не могло быть.

В отделении справа от нас сидели студенты, а слева студентки. Всю дорогу они пели, декламировали стихи. Ильинский рассказывал самые уморительные анекдоты и смешил меня до колик в животе. Конвойные солдаты попались на этот раз довольно покладистые ребята, и мы через них покупали на станциях продукты и даже вино.

На станции Лодейное поле в вагон посадили массу арестованных крестьян карелов по подозрению в организации контрреволюционного заговора.

Большинство из них были глубокие старики, совершенно первобытного вида. Одному из них я подарил рубашку и валенки, и он меня ужасно сконфузил, так как стал на колени и полез целовать мне руку.

Последние сутки было ужасно тесно и душно, но настроение по-прежнему было у всех оживленное, кроме, разумеется, стариков-карелов.

В Петербург мы прибыли днем 16-го октября, и под конвоем нас доставили в пересыльную тюрьму.

Пересыльная тюрьма — она же второй исправительный дом — громадное здание, рассчитанное на 3000 заключенных, но в момент нашего прибытия там находилось 4560 человек. Эта цифра абсолютно точная, так как, когда нас записывали в канцелярии в приемные книги, я лично видел вывешенную на стене рапортичку из тюремной книги. 2-й исправительный дом — это одна из тюрем, находящихся в ведении Наркомюста, то есть Народного комиссариата юстиции. В ней содержатся, главным образом лица, осужденные по суду за различные преступления.

Две камеры, каждая вместимостью на 60 человек, предназначены для пересыльных заключенных.

Можно себе представить, что делается в этих камерах. В той камере, куда попали Ильинский, я и Шуттенбах и часть студентов, уже было 140 человек. Подавляющее количество были уголовные преступники.

Но чем можно было удивить нас, побывавших на Соловках! Мы чувствовали себя, по выражению Ильинского, как будто «дома у мамы». Впечатление семейного уюта еще больше усиливалось от присутствия ребятишек от 8-ми до 12-ти летнего возраста. Эти дети-преступники — бытовое явление в советской России, и они гораздо опаснее взрослых злодеев. В первый же час нашего пребывания в камере нас обворовали: у меня украли чайник, у Ильинского запасные сапоги. Заявлять о пропаже было наивно и смешно, так как и сапоги, и чайник давным давно уже были переданы через решетчатую дверь надзирателю, который заодно с ворами.

Вот в этом была разительная разница с тюрьмами Чеки и Соловками. В тюрьмах Чеки и на Соловках железная дисциплина и, на удивление, вымуштрованный персонал. Здесь, во втором исправительном доме, все было «по-семейному». Надзиратели торговали водкой, за один рубль можно было послать надзирателя в город с запиской, за 5 рублей получить один грамм кокаина.

Мне вся эта обстановка была уже знакома по тюремной больнице Гааза, и к вечеру я раздобыл для себя и Ильинского одну койку, бутылку со скипидаром и пачку персидского порошку. Хорошо всюду знать порядки и обычаи!

Старые уголовные преступники относились к нам с большим почтением и предупредительностью, наше «соловецкое прошлое», окружало нас в их глазах известным ореолом. Очень интересная бытовая подробность, о которой я раньше не знал. Дело в том, что всех детей-преступников — по тюремному жаргону «шпану» — старые уголовники на ночь связывают по рукам и по ногам. Этим гарантируется целость вещам и спокойный сон их счастливых собственников. Очень остроумно! Но как странно наблюдать все эти бытовые черты в переполненных тюрьмах самого социалистического государства в мире на восьмой год после революции!

ПАВЕЛ

ЧЕХРАНОВ

СВЯЩЕННИК



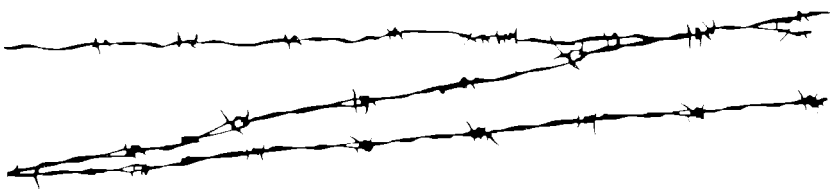
В. П. Чехранов
ВОСПОМИНАНИЯ о. ПАВЛА ЧЕХРАНОВА

Воспоминания отца я унаследовал после смерти последнего из моих братьев. Ознакомившись с ними, я решил попытаться сохранить их для потомства, тем более что писать воспоминания отец начал по моему совету и неоднократным напоминаниям. Готовя записки к печати, я устранял лишь случайные описки и явные ошибки, сохраняя стилистику и своеобразие речи, даже если это шло, как мне казалось, во вред литературным достоинствам. Так мне велели мое сыновнее чувство и благодарная к отцу память...

Последние страницы своих воспоминаний отец писал уже будучи в преклонном возрасте — отсюда не всегда разборчивый почерк, повторы и некоторые противоречия, правда, несущественные. Я старался сохранить крупицы его памяти, оставляя для этого даже отдельные слова, неполные предложения и абзацы, которые поддались прочтению. Надеюсь, строгий читатель простит мне мою преданность памяти отца и желание оставить для потомства как можно больше его свидетельских показаний о прожитом им времени.

✝

Две тюремные Пасхи. Из воспоминаний[1]



Тяжелая была эта Пасха из всех четырех, какие пришлось мне переживать в неволе с 1923 по 1926 год, июнь месяц, за великую Церковь Российскую. Первая Пасха — в Бутырской тюрьме, две — на Соловецких островах и одна — на Поповом острове, в каторжном, сказал бы я, пересыльном пункте. Вот эта последняя Пасха оставила во мне неизгладимый след: с одной стороны, внешней, — грустный след, с другой — радостный: по внутренней радости, в особенности теперь, когда на другом краю Земли живу, с крайнего севера — на дальнем юге. Печаль в этой Пасхе началась с того, что она, Пасха, оказалась неожиданной для меня. Четвертую Пасху должен я был встречать дома, в семейном кругу. Но Господь судил иначе.

30 марта всей нашей группе окончился срок сидения за честь родной Церкви, за честь Никольского прихода в нашем, не признавшем обязательным для себя, существовании Ростовского революционного комитета по церковным делам. И 31 марта в 11 часов 30 минут ночи приятель отца Алексия (Трифильева. — *В.П.Ч.*[2]) В. Д. Анфилов, делопроизводитель администрации лагеря, вызвал его из инвалидной роты и поздравил с освобождением. Прочитав присланную радиотелеграмму, отец Алексий с изумлением увидел, что моей фамилии не было. Между тем я спал в своей канцелярской роте, когда пришел канцелярист Пивоваров и сообщил, что троих сейчас поздравляли с получением ответа. «Ну, — думал я, — если троих, то и я там. Как иначе может быть?» — и спокойно уснул, радуясь, что завтра вечером «прощай, пересыльный пункт Попов остров», поистине каторжный остров. Но утро принесло самую печальную весть: я и епископ Митрофан по неизвестной причине остаемся, до какого времени — неизвест-

[1] Публикуется с сокращениями по: Резникова И.А. «Православие на Соловках. СПб., 1993. С. 43–46.

[2] В.П.Ч. — Виталий Павлович Чехранов, сын отца Павла Чехранова, который и передал воспоминания отца для публикации.

но. Может, на неделю, но, может быть, и на десять недель. «Ах, — думал я, — опять мне наибольнее, чем другим! Или грешнее всех, или Господь больше других любит!..»

Проводил я завистливым оком отца Алексия и еще шесть человек священников и остался томительно ожидать того дня, когда тот же Анфилов вызовет и меня.

Кругом лед, снег, железная колючая проволока, на высоких столбах — будки, где часовые, проклиная остров, в тулупах охраняют жизнь тяжких-претяжких «преступников»: епископов, священников, протодиаконов... Грусть на сердце. А на ум все же идет мысль: «Разве есть в твоей жизни что-либо случайное? Разве не Господь управляет миром и твоей жизнью? Разве Он желает тебе зла? Подожди — и ты увидишь благие последствия этой временной задержки».

Прошло недели две. Таким же неудачником оказался еще и другой арестант — военный инженер Е. И. Пржевальский. Ему еще 23 февраля окончился срок, а вот уже 15 апреля, а освобождения нет. В полной уверенности, что он в срок уедет из лагеря, Е. И. списался с администрацией одного из уральских заводов и получил место с окладом жалования в 200 рублей. Понятна та тревога, та тоска, какую он переживал, ведь пропадало выгодное место; кроме того, деньги, присланные ему на проезд, расходовались, а ехать нельзя. И мы, оба неудачника, сидя или маршируя по казарме, то делали всякие предположения о причине нашей задержки, то справлялись, пришла ли лодка с почтой.

Мою тоску нарушил заврабсилой — грузинский офицер, тоже арестант, — Яшвили.

— Ты знаешь, — сказал он мне, — сегодня с партией пригнали Илариона!..

— Неужели?!

— Да, да, в инвалидной роте осматривают...

Хотя было около 10 часов ночи, я решил повидаться с дорогим архиепископом. Но до окончания осмотра никого не пускали. Я, долго не думая, взял в руки сверток бумаги — пустые бланки на опись казенных вещей, карандаши в руки и, с видом чиновника особых поручений, прямо туда. Пригнавшая из Петрограда воинская команда оказалась довольно приличная, вежливая, и меня свободно впустили, на что я ей сообщил:

— Будьте осторожны, здесь в лагере сыпной тиф...

В роте крик, шум, гам, обыск в полном ходу. Присматриваюсь: сидит на нарах архиепископ Иларион в коричневом кафтане. Как увидел меня, сразу бросился:

— Отец Павел!.. Отец Павел!..

Расцеловались. Но наша дружеская встреча обратила внимание ротных командиров и помощника лагерного старшины Пепеллевского (генерала Пепеллевского) и Ф. Поливцева. И хотя я доказывал свое служебное положение бумагами и карандашами, но все же они настояли убраться до окончания обыска.

На другой день владыка Иларион посчитал своей обязанностью поделиться всеми сведениями о церковной жизни, какие он «получил» в Ярославле, в политическом изоляторе, сделал самый подробный доклад о посещении его начальством «Секретного отдела» Тучковым, [передал] дословный разговор, какой он вел с ним, и письменную декларацию о принципах нашей Православной ст-ц [святой Церкви]. «Если вам желательно иметь мир в народной массе, то дайте нам сегодня, все успокоится... С нас достаточно трех разделительных соборов: 445 года и двух Московских — 1923 и 1924 года», — закончил свою декларацию владыка Иларион. Удивительно милый человек! Всем своим старым знакомым он считал обязанным сообщить и впечатления, и сведения о своем месте пребывания в изоляторе. Эти задушевные ежедневные беседы с владыкой Иларионом весьма умерили недоброе наше кемское житие, особенно мое, за что про что сверх срока второй месяц сидящего.

Подходила Пасха. Людей нагнали в пункт видимо-невидимо. Вследствие весенней распутицы лесные разработки закончились, и более тысячи человек возвращались обратно в лагерь. А весь лагерь рассчитан на 800 человек. Клуб закрылся и переделан под жилое помещение с нарами. В прочих бараках проходы замощены нарами, двойные нары переделаны в тройные (в три этажа). Даже привилегированный канцелярский барак обращен в двойные нары, вместо 60 человек стало в нем 120. Кипятку сплошь и рядом не отпускалось, так как котлы под обед и ужин занимались.

Шла Пасха. И как хотелось, хотя и в такой затруднительной обстановке, совершить молитвенный обряд. «Как это так! — думал я. — Пусть даже и сейчас, когда просунуться поговорить через толпу затруднительно, как не пропеть "Христос воскресе!" в пасхальную ночь?..» И я решил подготовить свою братию. Повел разговоры с благодушнейшим епископом Нектарием (Трезвинским), епископом Митрофаном (Гришиным), епископом Рафаилом (Гумилевым) и епископом Гавриилом (Абалниковым). Последний и не подозревал, какая ему писанка готовится. Из прочей братии оповещены были отец О. Филонен, шахматист, постоянный компаньон владыки Илариона, отец Аркадий Маракулин.

Однако приглашенные разбились на две группы. Только архиепископ Иларион и епископ Нектарий согласились на пасхальную службу в далеко не законченной пекарне, где только одни просветы были прорублены — ни дверей, ни окон. Остальное епископство порешило совершить службу в своем бараке, на третьей полке, под самым потолком, по соседству с помещением ротного начальства. Но я решился пропеть пасхальную службу вне барака, дабы хотя бы в эти минуты не слышать «мата».

Сговорились.

Настала Великая суббота. Арестантский двор и бараки, как сельди, были наполнены прибывавшими с лесозаготовок. Но нас постигло новое испытание.

Последовало распоряжение коменданта ротным командирам не допускать и намеков на церковную службу и с 8 часов вечера не пускать из других рот. С печалью сообщили мне епископы Митрофан и Гавриил это распоряжение. Однако я своему «причту» настаивал: все же попытаемся в пекарне совершить службу. Епископ Нектарий сразу согласился, а архиепископ Иларион нехотя. Но все же попросил разбудить в 12 часов.

В начале 12-го я отправился, прежде всего, в барак, где помещался владыка Нектарий. Двери были настежь открыты, и мне, быстро вошедшему, преградил дорогу дневальный.

— Не велено пускать никого из других рот...

Я остановился в нерешительности. Однако владыка Нектарий был наготове.

— Сейчас, сейчас, — сказал он мне.

Я отправился к владыке Илариону. Войдя стремительно в барак, я направился мимо дневального, который оказался несколько знакомым мне и расположенным.

— Пожалуйста, поскорее делайте и уходите. Не приказано...

Я кивнул ему головой, подошел к владыке Илариону, который, растянувшись во весь свой великий рост, спал. Толкнул его в сапог; владыка приподнялся.

— Пора, — сказал я ему шепотом.

Весь барак спал. Я вышел. На линейке ожидал владыка Нектарий. Присоединился владыка Иларион. И мы гуськом тихо направились к задней стороне бараков, где за дорогой стоял остов недоконченной пекарни с отверстиями для окон и дверей. Мы условились не сразу, а поодиночке прошмыгнуть. И когда оказались внутри здания, то выбрали стену, более укрывавшую нас от взоров проходящих по дорожке. Мы плотнее прижались к ней: слева — владыка Нектарий, посредине — владыка Иларион, а я — справа.

— Начинайте, — проговорил владыка Нектарий.

— Утреню? — спросил владыка Иларион.

— Нет, все по порядку, с полунощи, — отвечал владыка Нектарий.

— Благословен Бог наш... — тихо произнес владыка Иларион.

Мы стали петь полунощницу.

— Волною морскою... — запели мы.

И странно-странно отзывались в наших сердцах эти с захватывающим мотивом слова.

— Гонителя, мучителя под землею скрыша...

И вся трагедия преследующего фараона, особенно в этой обстановке, чувствовалась нашими сердцами как никогда остро. Белое море с белым ледяным покровом, балки для пола, на которых мы стояли, как на клиросе, страх быть за-

меченными надзором. И все же сердце дышало радостью, что пасхальная служба все же совершается нами вопреки строгому приказу коменданта.

Пропели полунощную. Архиепископ Иларион благословил заутреню.

— Да воскреснет Бог, и расточатся врази его... — не сказал, а прошептал, всматриваясь в ночную мглу, владыка Иларион.

Мы запели:

— Христос воскресе!...

«Плакать или смеяться от радости?» — думал я. И так хотелось нажать голосом чудные ирмосы! Но осторожность руководила нами. Закончили утреню.

— Христос воскресе! — сказал владыка Иларион, и мы все трое облобызались.

Владыка Иларион сделал отпуст и ушел в барак. Епископ Нектарий пожелал и часы с обедницей совершить. И мы совершили вдвоем. Только я был за предстоятеля, владыка Нектарий за псаломщика — так он сам пожелал, ибо знал все песнопения, равно и чтения, апостоловец, наизусть.

Днем по случаю праздника я пригласил владыку Илариона на кофе в свой барак. Но пили его в комнате канцелярии хозяйственной части, пустующей по случаю праздника. Владыка удивился моей смелости и изобретательности. Кофе — с халвой, с кусочками кулича, который был прислан кемским духовенством для всех нас.

— А пили вы кофе по-венски? — спросил меня владыка и, смеясь, рассказал, как это делается.

На другой день службу совершили мы с владыкой Нектарием вдвоем, ходя по дорожке. И этот день также казался мне праздничным, как и первый — с «богослужением».

Эта пасхальная служба осталась в памяти и у владыки Илариона. В тот год в декабре ему кончался срок. Его уже перевезли на берег из Соловков ввиду прекращения навигации. В декабре я получил от него письмо: «Колесо фортуны повернулось обратно, меня снова перевозят в Соловки...» Действительно, из Москвы пришло извещение: продлить изоляцию еще на три года. «На повторительный курс остался», — шутил владыка Иларион. И в 1927 году, в мае, писал мне: «Вспоминаю прошлогоднюю Пасху. Как она отличается от сегодняшней! Как торжественно мы справили ее тогда!..»

Да, обстановка Пасхи 1926 года необычайна. Когда мы втроем ее справляли в недостроенной пекарне, в это время там, в Ростове, в залитом электрическим светом кафедральном соборе, при участии чудного хора И.Ф. Ковалева городское духовенство совершало тоже пасхальное торжественное богослужение. Но!.. Думается нам, наша кемская Пасха с владыкой Иларионом, в пекарне без окон и дверей, при звездном освещении, без митр и парчовых риз, дороже была для Господа, чем великолепно обставленная ростовская...

ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

«Аввакумова щель», понятие, связанное с идеологом старообрядчества протопопом Аввакумом Петровым, о котором иногда ошибочно пишут, что он отбывал заключение на Соловках. После осуждения на Соборе 1666–1667 гг. Аввакум был сослан на Мезень, затем в Пустозерск, где 15 лет просидел в земляной тюрьме-щели.

Александровская (Архангельская) гостиница – см. Женский барак.

Анзер [Анзор], Анзерский остров, второй по величине (47 кв. км), остров Соловецкого архипелага, название которого означает «вытянутый остров». Анзер начал осваиваться еще в XVI в., когда здесь действовали монастырские солеварни, и, возможно, уже тогда рыболовные тони в Троицкой и Кирилловской губе. Впоследствии здесь появились скиты, сыгравшие важную роль в духовной истории соловецкого монашества. Троицкий (Анзерский) скит был основан по указу царя Михаила Федоровича в 1620 г. преподобным Елеазаром, который в середине 30-х гг. XVII в. принял в этом месте монашеские обеты у будущего патриарха Никона. Распятский скит был организован в 1713 г. на горе Голгофе (64 м) стараниями бывшего царского духовника преподобного Иова (в схиме Иисус). В лагерный период на Анзере действовало VI отделение СЛОНа, где находились заключенные, неспособные трудиться на общих физических работах: старики, доходяги, женщины («мамки») с новорожденными детьми, православное и католическое духовенство. Одновременно с этим в Троицком скиту действовало предприятие Кустпрома, а на территории Голгофо-Распятского скита располагались тифозный изолятор и лазарет.

Архангельская гостиница – см. Женский барак.

Архангельские и Холмогорские концентрационные лагеря [Архангельский лагерь, Холмогорский лагерь (Холмогорский лагерь под Архангельском)], места изоляции «враждебных Советской власти элементов». Действовали на территории Архангельской губернии в 1920–1923 гг. Первый лагерь в этих местах появился в г. Шенкурске в 1919 г. и существовал до 1920 г., когда его заключенные были переведены в женский монастырь с. Холмогоры. В официальных документах он проходил как «Концлагерь № 1», затем – Архангельский губернский лагерь принудительных работ. Первым его комендантом стал сотрудник секретно-оперативного отдела Архгубчека Бачулис. В целом, организацией концлагерей на Русском Севере занимался видный чекист М. С. Кедров, руководитель Особого отдела ВЧК и полномочный представитель ВЧК по Архангельской, Вологодской и Северо-Двинской губерниям. В 1920 г. концлагеря в Архангельской губернии находились в ведении местного ревкома и состояли из Архангельского лагеря принудительных работ № 1, узники которого работали в Архангельске и Архангельском порту; Архангельского лагеря принудительных работ № 2 на ст. Исакогорка, выделенного из лагеря № 1 с целью использования труда заключенных на железной дороге; лагеря в Холмогорах, Соловецкого и Пертоминского лагерей. Все эти места заключения предназначались для изоляции, принуждения к

труду и физического уничтожения — белогвардейских офицеров, представителей буржуазии, помещиков, священнослужителей, которых лишали свободы на основе постановлений народных судов, революционных трибуналов, ЧК, исполкомов Советов. В 1921 г. роль Холмогорского лагеря, где согласно только официальной переписке высокопоставленных должностных лиц ВЧК, было расстреляно несколько тысяч заключенных, принял на себя Пертоминский лагерь принудительных работ, ставший местом расправы над участниками Кронштадтского мятежа. Несмотря на то, что в январе 1921 г. Архангельский губисполком принял постановление о целесообразности закрытия действовавших в губернии лагерей, закрыли только Соловецкий лагерь. Остальные были объединены в Управление Северных лагерей, просуществовавшее до осени 1923 г., когда всех заключенных из северных лагерей ОГПУ перевели на Соловки.

Белое море, самое южное из морей Северного Ледовитого океана, представляет собой полузакрытый водоем площадью около 90 тыс. кв. км. Границей между Баренцевым и Белым морями считается линия, соединяющая мысы Святой Нос и Канин Нос. К югу от этой границы расположена расширенная часть моря, которую называют Воронкой, еще южнее — так называемое Горло, т.е. пролив, соединяющий Белое море с Баренцевым, а через него — с Мировым океаном. Белое море, глубоко вдаваясь в сушу, образует четыре залива, называющиеся по именам впадающих в него крупных рек: Мезенский, Двинский, Онежский и Кандалакшский. Море ограничивают на севере Терский берег, на юге — Летний и Лямицкий, на западе — Кандалакшский, Карельский и Поморский, на востоке — Зимний и Канинский берега. Центральная часть Белого моря — это бассейн, в центре которого расположена большая впадина с глубинами свыше 100 м. Наибольшая глубина в Кандалакшском заливе — 340 м. Самый мелководный из заливов — Мезенский (средняя глубина его — около 25 м). Соловецкий архипелаг расположен в устье достаточно мелководного и хорошо прогревающегося Онежского залива. Но в северной своей части острова довольно близко соседствуют с более значительными глубинами (достигающими 100 м) центрального бассейна Белого моря. Начало навигации на Белом море приходится на июнь, когда сходит последний лед, и длится она до октября—ноября. При этом море никогда не замерзает полностью, что значительно затрудняет движение по нему судов и на многие месяцы отрезает островные территории от материка.

Белое озеро [Большое Белое озеро], крупнейшее озеро Соловецкого архипелага площадью в 258 га и глубиной до 30 м. Водоем расположен в северной части Большого Соловецкого острова и входит в озерно-канальную систему. В 1920-х гг. озеро было переименовано в Большое Красное.

Беломорско-Балтийский [Беломорский] канал, Беломорканал, соединяет Белое море с Онежским озером и обеспечивает проход кораблей далее по р. Свирь и Ладожскому озеру в Балтийское море. Строительный проект был разработан в 1930 г. Для удешевления работ Советское правительство решило возводить канал силами заключенных, в т.ч. узников Соловецкого лагеря, население которого в 1931 г. уменьшилось с 16 тысяч до 3240 человек. Всего за 20 месяцев в строительстве ББК приняло участие до 280 тыс. заключенных. Начальником работ был назначен Н.А. Френкель, руководителем северного участка канала — начальник УСЛОНа Д.В. Успенский. 2 августа 1933 г. состоялось открытие Беломорско-Балтийского канала им. Сталина протяженностью 227

км. На базе ББК был организован одноименный комбинат, занимавший огромную территорию со столицей в Медвежьегорске, обладавший собственными ресурсами рабочей силы, воинскими частями, промышленностью, предприятиями культуры и быта.

Беломорье (синоним Поморья), территория, расположенная по берегам Белого моря и населенная особым субэтносом — поморами.

[Лагерная] библиотека, их было две, монастырская, она же библиотека при музее СОКа, содержавшая около 2000 книг и рукописей из местного книгохранилища и архива, и общелагерная, каталог которой к 1927 г. включал в себя 30 тыс. томов и несколько тысяч журналов по всем отраслям знаний. Основной книжный фонд общелагерной библиотеки был выделен Бутырской тюрьмой и постоянно пополнялся за счет личных книг соловецких заключенных. При ней функционировал читальный зал, в котором организовывалось чтение всевозможных докладов. Известны также общественные библиотеки, действующие на территории политскитов.

Био-сад [Зоологический сад], одно из подразделений СОКа, был организован 13 мая 1925 г. Сад располагался в Филипповой пустыни на Большом Соловецком острове и специализировался на содержании и одомашнивании диких животных.В 1934–1936 гг. здесь находилась лаборатория Йодпрома.

Больница Соловецкого кремля располагалась в Иконописной и Портной палатах на территории северного дворика монастыря. В Иконописной палате с 1905 г. действовали больница для братии и находящийся при ней храм во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Кроме Центральной больницы, существовал лазарет на г. Голгофа (о-в Анзер) и фельдшерские пункты в отделениях и командировках, где численность заключенных превышала 60 человек. Самыми распространенными заболеваниями среди осужденных в 1920-х гг. были туберкулез, цинга и тиф. Многие уголовники страдали венерическими заболеваниями.

Бутырская тюрьма, центральная пересыльная тюрьма в дореволюционной России, служила также местом заключения для подследственных и осужденных по политическим и уголовным делам. До 1917 г. при ней действовали переплетная, сапожная, портняжная, столярные мастерские, было организовано производство венских стульев и выжигание по дереву. Здесь же был организован Сергиево-Елисаветинский приют для жен и детей, добровольно следовавших за ссыльными в Сибирь. После октябрьского переворота Бутырская тюрьма стала принудительным пристанищем для многих неугодных Советской власти людей, в т.ч. видных государственных деятелей и священнослужителей, впоследствии прославленных в лике святых.

Бухта Благополучия, залив в южной части Большого Соловецкого острова, на берегу которого стоят основные монастырские строения.

Гельсингфорс, шведское название г. Хельсинки

Германовская часовня (1854 г.) построена на месте поселения прп. Германа в двух километрах от Соловецкого монастыря.

Грумант [Грумонт], устаревшее название архипелага Шпицберген.

Железная дорога (узкоколейка), сеть железнодорожных путей сообщения, была построена на Большом Соловецком острове в лагерный период для перевозки грузов и заключенных. Первоначально в 1923 г. появилась рельсовая узкоколейная колея протяженностью 4,5 версты для ручной подачи вагонеток, спустя год на ней начали использовать паровозы. В 1924–1926 гг. железнодорожные ветки пролегли до Перт-озера и Кирпичного завода. В 1929 г. была запущена последняя

ветка — Кремль-Филимоново, связавшая центр управления лагеря с торфоразработками. Последний раз железная дорога упоминается в официальных документах в конце 1931 г. По-видимому, ее тогда же разобрали и с началом навигации 1932 г. вывезли на строительство Беломорско-Балтийского канала.

Женский барак (1936 г.), бывшая Архангельская гостиница расположена к югу от монастыря. До середины 1920-х гг. в ней содержались заключенные женщины (кроме политических и оштрафованных). Позднее узниц стали направлять и в другие отделения Соловецкого лагеря (в Савватьево, на о-ва Анзер и Муксалма).

«Живоносный источник», церковь в честь одноименной иконы Божией Матери была построена в 1856 г. в Филипповой (Иисусовой) пустыни над источником, обретенным игуменом Филиппом перед его отъездом в Москву.

Зайчики, группа Заяцких островов, расположенных в 5 км к юго-западу от Соловецкого монастыря.

[Большой] Заяцкий [Заячий] остров, больший из группы Заяцких островов (площадь — 1,5 кв. км). В середине XVI в. здесь появилось «пристанище» для кораблей, включающее каменную гавань, людскую избу и поварню. В конце XVII в. сюда была перенесена Иоанно-Предтеченская часовня, которую в 1702 г. по приказу Петра I перестроили в церковь во имя апостола Андрея Первозванного. В XIX в. в Андреевской пустыне появились деревянный корпус с покоями для соловецкого архимандрита и некоторые хозяйственные сооружения. В лагерное время комплекс зданий использовался для нужд штрафного изолятора, в котором содержались беременные, женщины, страдающие венерическими заболеваниями, и узницы, наказанные в административном порядке.

[Малый] Заяцкий [Заячий] остров, меньший из группы Заяцких островов (площадь — около 1 кв. км), который — вероятно, из-за отсутствия на нем источников пресной воды — никогда не осваивался монастырем.

Зырянский край, место политических ссылок, расположенное на территории современной Республики Коми.

Исаково, одно из древнейших монастырских поселений, расположенное в 2 км от Секирной горы, на середине пути к Сосновой губе. Возникло не позднее второй половины XVI в., получив название по сооруженной здесь деревянной часовне во имя преподобного Исаакия Далматского. Здесь находился центр озерного рыболовства, в конце XVIII в. рядом с пустынью были устроены луга, на которых заготавливали сено. В 1920-х гг. Исаково вошло в состав II отделения СЛОНа и стало центром лесозаготовок, в 1930 г. превратилось в подразделение лагерного Сельхоза.

Казначейский корпус, здание, расположенное в западном ряду келейной застройки Соловецкого монастыря. Свое название корпус получил от хранившейся в нем «железной казны» — запасов железа, использовавшегося в монастырских кузницах, а также готовых железных изделий. В 1921—1923 гг. в корпусе находилась бухгалтерия совхоза «Соловки», именно в нем начался пожар в ночь на 23 мая 1923 г. После организации СЛОНа в Казначейском корпусе дислоцировались 8-я и 9-я роты I (Кремлевского) отделения.

Кемский берег, одна из основных и ближайшая к Соловецкому архипелагу частей Поморья.

Кемский пересыльный пункт [Кемперпункт, Кемлагерь, Кемперраспредпункт, Кемский концлагерь, Кемский лагерь, Перпункт (кемский)], организован в 1923 г. на Поповом острове как транзит-

ный пункт для размещения, следующих на Соловки заключенных. Те, кто попадал сюда в период навигации, как правило, там не задерживались и отправлялись пароходами на Соловки. В зимнее время людей распределяли по материковым отделениям и командировкам. Структура пересыльного пункта изменялась по мере развития самого лагеря. В 1928 г. Кемперпункт делился на пять рот и три карантина, причем каждая рота была разбита на несколько командировок. В 1932 г. функции пересыльного пункта перешли к соседнему Морсплаву.

Кемь, город (с 1785 г.), райцентр в Карелии, расположенный на р. Кемь в месте ее впадения в Белое море, в 434 км от Петрозаводска. В средние века Кемь являлась центром волости, которая в XV в. стала вотчиной Соловецкого монастыря. В конце XVI в. здесь появился деревянный острог, который выдержал нападение шведов. Позднее в Кеми было устроено монастырское подворье, а в лагерный период — пересыльный пункт и Управление Соловецких лагерей.

Кемь, река в Карелии, в переводе с местного языка — «Большая река», которая впадает в Белое море. В средние века Кемь, бравшая начало в Финляндии, входившей в состав Швеции, была судоходной на всем своем протяжении. По ней в период русско-шведских войн конца XVI — начала XVII в. вооруженные шведские отряды совершали набеги на вотчины Соловецкой обители.

Кирпичный завод, производственный комплекс, построенный в середине XVI в. в 2 км к востоку от Соловецкого монастыря рядом с глиняными карьерами. В 1924 г., после возобновления работы, на территории завода появились 18 сараев для сушки кирпича, шатер над печью для обжига, здесь было организовано машинное производство. В 1926 г. предприятие оснастили станками для механической формовки, к нему была проложена ветка железной дороги. В 1929 г. завод произвел полтора миллиона кирпичей, но к 1932 г. производство было свернуто. В 1938—1939 гг. на месте бывшего завода построили трехэтажное здание тюрьмы, которое так и не было введено в эксплуатацию.

Кондостров [Конд, Конд-остров, Конт], лежит в южной части Онежского залива Белого моря в 90 км от Соловецкого монастыря. В 1898 г. состоялся землеотвод, и в 1909 г. находящийся на Кондострове Никольский скит получил статус скита Соловецкого монастыря. В период существования скита его насельники добывали гранитный камень и заготавливали строевой лес. Подобная специализация сохранилась и в лагерный период, когда Кондостров стал V отделением СЛОНа. Здесь также изолировали больных, прежде всего заключенных, страдающих венерическими заболеваниями.

Кремль [Кремль (соловецкий), Соловецкий кремль, Кремлевский (основной) лагерь], советское название центральной монастырской усадьбы и окружающего ее посада. После закрытия обители здесь размещались I отделение СЛОНа, Управление и главные административные подразделения Соловецкого лагеря и тюрьмы, действовали основные производства лагеря: кожевенное, швейное, столярное, лесопильное; известково-алебастровый, гончарный, механический заводы, электростанция, радиостанция, типография, базировался военный городок с казармами для солдат из полка охраны, домами для командиров и подсобными службами.

Лазарет — см. Больница Соловецкого кремля.

Лесопильный завод был построен в 1813 г. рядом с южной стеной Соловецкого монастыря, на канале, отводящем воду из Святого озера в бухту Благополучия. В лагерный период продукция завода (брусья и доски) использовалась для внутренних нужд и частич-

но вывозилась на материк. С прекращением лесозаготовок и разборкой железной дороги в 1931–1932 гг. объемы производства лесопильного завода резко сократились, однако он продолжал действовать вплоть до ликвидации Соловецкой тюрьмы ГУГБ.

Макарьевская пустынь (Хутор Горка) как место молитвенного уединения, была основана в 1822 г. архимандритом Макарием в 4 км от монастыря. В 1850-х гг. в живописной пустыни, лежащей между тремя холмами и двумя озерами, построили воскобелильный завод, позднее соорудили часовню во имя святого благоверного князя Александра Невского и так называемую «Дачу архимандрита». На окультуренной почве появились цветники, оранжереи и парники. В 1920-е гг. пустынь превратилась в резиденцию (усадьбу) начальника лагеря.

Монастырская крепость была построена в 1582–1596 гг., при игумене Иакове, стараниями вологодского «городового мастера» Ивана Михайлова и соловецкого монаха Трифона Кологривова. Соловецкая крепость относится к типу регулярных (ее отличительные черты — равномерное распределение боевых башен по периметру, их значительный вынос за плоскость стен и наличие подошвенного пушечного боя). Общая протяженность стен — около 1200 м, их толщина у основания достигает 7 м, высота — 11 м, высота башен — 17 м. Крепость имеет форму вытянутого с севера на юг пятиугольника с круглыми боевыми башнями по углам — Архангельской, Никольской, Корожной, Прядильной, Белой. Западная стена, обращенная к морю, укреплена Успенской башней. На Святое озеро выходит пристенок с двумя башнями — Поваренной и Квасоваренной. В башнях и стенах крепости устроено десять проездов на территорию монастыря.

Мудьюг, песчаный беломорский остров, лежащий вблизи устья Северной Двины. В 1838 г. на нем построили маяк. В 1918–1919 гг. здесь действовал созданный белогвардейцами концентрационный лагерь для сторонников Советской власти числом свыше 1000 человек, 200 из которых были расстреляны и погибли от болезней.

Музей Соловецкого отделения Архангельского общества краеведения (с 1926 г. Музей СОКа) был торжественно открыт 19 июля 1925 г. в надвратной Благовещенской церкви. Спустя два месяца заповедником был объявлен Спасо-Преображенский собор и деревянная церковь во имя апостола Андрея Первозванного на Большом Заяцком острове.

[Большая] Муксалма [Муксаломский остров, Муксалма, Муксальма, Муксолма, Муксольма], третий по величине остров Соловецкого архипелага (18 кв. км), название которого означает «мелкий пролив». В 1866 г. остров, ради нужд молочного двора, который действовал на Муксалме с XVI в., был соединен с Большим Соловецким островом валунной дамбой. Спустя 10 лет на Большой Муксалме была построена каменная церковь во имя преподобного Сергия Радонежского, а в 1900 г. учрежден скит в честь этого святого. До 1927 г. на острове находилось III отделение СЛОНа, а затем командировка 1-го отделения с несколькими лагпунктами. В разные годы здесь отбывали наказание политические заключенные, располагались сельхоз и химическая лаборатория, в 1937–1939 гг. — подразделение Соловецкой тюрьмы ГУГБ.

[Малая] Муксалма [Малый Муксаломский остров, Малая Муксульма], меньший из группы Муксаломских островов остров Соловецкого архипелага (площадь — 1 кв. км), где и в монастырские, и в лагерные времена находилась зверобойная тоня.

Нарымский край, место политических ссылок, распложенное в Сибири по берегам р. Оби.

Настоятельский корпус, жилое здание у восточной стены келейной застройки монастыря, где находились покои настоятеля Соловецкой обители и помещения Учрежденного собора, осуществлявшего управление монастырем во второй половине XIX — начале XX в. В 1920-х гг. в Настоятельском корпусе размещалось Управление I (Кремлевского) отделения СЛОНа.

Новая Сосновая тоня, рыболовный участок на Большом Соловецком острове, где осуществлялся промысел сельди и трески. В XIX в. в Новососновской тоне были построены деревянная часовня в честь Всех Соловецких чудотворцев, жилые дома, хозяйственные постройки, валунный причал. В лагерный период здесь продолжали добывать рыбу, в 1926—1929 гг. Новая Сосновка являлась одним из центров лесозаготовок, в 1930-х гг. — место добычи водорослей.

Овсянка [Овсянки, Овсенка], монастырское урочище на Большом Соловецком острове, где осуществлялись рыбный и зверобойный промыслы. В 1926—1929 гг. Овсянка являлась одним из центров лесозаготовок, в 1930-х гг. — место добычи водорослей.

Перт-озеро (Пертозеро), расположено в 3 км к северу от Соловецкого монастыря, конечный пункт системы судоходных каналов, куда сплавлялись различные грузы, которые выгружались на пристани и перевозились к монастырю на лошадях. В 1924 г. к Перт-озеру провели ветку узкоколейной железной дороги, на озерном причале была устроена стоянка для двух паровых катеров, курсировавших по озерно-канальной системе.

Пертоминск [Портаминск], село, расположено на беломорском мысе Красный Рог, на восточном берегу Унской губы, примерно в 120 км к северу от Архангельска. В 1599 г., здесь, на месте погребения соловецких иноков Вассиана и Ионы, был основан Спасо-Преображенский монастырь и окружавший его посад.

Пертоминский лагерь (принудительных работ), место изоляции «враждебных Советской власти элементов», которое было организовано в 1920 г. на территории упраздненного Спасо-Преображенского Пертоминского монастыря. Как и в Холмогорском лагере, здесь содержались прежде всего, белые офицеры, участники Кронштадтского восстания, а с осени 1922 г. до лета 1923-го — политзаключенные, которых впоследствии перевели на Соловки.

Петербургская, Петроградская гостиница, расположена к северу от монастыря. В лагерный период здесь размещалась охрана и оставшиеся на острове монахи.

Печорский край, место политических ссылок, расположенное на западе современной Псковской области.

Политизоляторы (Верхнеуральский, Владимирский, Суздальский, Тобольский, Челябинский, Ярославский и др.), специальные тюрьмы, предназначенные для содержания эсеров, социал-демократов, сионистов и анархистов, а также членов внутрипартийной оппозиции. Система политизоляторов начала формироваться в 1921 г. в составе ГПУ НКВД РСФСР. В 1935 г. изоляторы ОГПУ были переименованы в тюрьмы НКВД.

Полуночное море, средневековое название Белого моря и Северного Ледовитого океана.

Попов [Попов-остров] остров (другие названия о-в Революции, Морсплав, Рабочеостровск), где изначально находилось подворье Соловецкого монастыря, а затем — пересыльный пункт Соловецкого лагеря, расположен в 13 км от Кеми. В 1923 г. через узкий пролив, отделяющий остров от материка, был построен свайный мост и проложена узкоколейная железная дорога, по которой перевозили заключенных.

Преображенская гостиница — см. Управление лагерями особого назначения.

Преображенский собор, центральный храм Соловецкого монастыря, сооружен новгородскими мастерами в 1558–1566 гг. при игумене Филиппе. В 1925 г. собор был объявлен заповедником и для содержания заключенных не использовался. Здесь хранились ценности (прежде всего иконы), вывезенные сотрудниками СОКа из скитов и пустыней Соловецкого монастыря.

Ризница, ризничная палата Соловецкого монастыря, построенная в конце XVI в. С 1832 г. Ризница стала занимать первый ярус Никольского храма. Во второй половине XIX в. соловецкая ризница представляла собой своеобразный монастырский музей, в котором были собраны древние иконы, облачения, рукописи, грамоты, вещи, принадлежавшие основателям обители, вклады, сделанные в Соловецкий монастырь российскими государями, церковными иерархами и знатными людьми. В 1920–1922 гг. все ценные предметы из ризничного собрания вывезли в Архангельск и Москву, оставшиеся на Соловках ценности поступили в лагерный музей. В 1923–1926 гг. в ризнице находился Центральный театр СЛОНа.

Рымбаки [Рембот (Рымбак)], скалистый мыс, расположенный у выхода из Кемских шхер в 12 км от Попова острова. В лагерное время здесь действовал маяк (в настоящее время отключен).

Савватиевский скит [Савватеевский лагерь, Савватеевский скит, Савватьевский скит, Савватиево, Савватий, Савватьево], место поселения преподобных Савватия и Германа, расположен на севере Большого Соловецкого острова. Впоследствии здесь образовалась пустынь, в которой соорудили часовню во имя преподобного Савватия и несколько келий. В конце XVIII в. вокруг скита были устроены искусственные луга, на Долгом (Савватьевском) озере находился лодочный причал. В 1857–1860 гг. в скиту построили каменную церковь Смоленской Божией Матери, позднее – два деревянных келейных корпуса и один каменный, валунную баню, конюшню. В лагерный период Савватьево стало II отделением СЛОНа. В 1923–1925 гг. здесь располагался основной политизолятор, на территории которого 19 декабря 1923 г. произошел расстрел. В 1926–1929 гг. Савватьево – центр лесозаготовок, в начале 1930-х гг. там действовал сельхоз, с 1937 г. функционировало подразделением Соловецкой тюрьмы.

Свирь, река в Ленинградской области, соединяющая Ладожское и Онежское озера. С 1926 г. на р. Свирь находилось Свирское отделение СЛОНа, позднее преобразованное в отдельное лагерное Управление СвирЛАГ.

Святое озеро, площадью 4,5 га, находится у восточной стены монастырской крепости. В середине XVI в. озеро было соединено Филипповским каналом с системой озер на Большом Соловецком острове, а два канала, проложенные из озера в монастырь, подведены к поварне и мельнице.

Северная Двина, река, служившая основной транспортной артерией, соединявшей Белое море с центральными областями России. В дельте Северной Двины в 1584 г. был основан г. Архангельск.

Секирная гора [Секирка, Секирова гора, Секирный изолятор], холм высотой 74 м, стоящий в 11 км от монастыря на северо-западе Большого Соловецкого острова. Свое название возвышенность получила в память о чуде, описанном в Житии преподобного Савватия: у подножия горы два ангела высекли прутьями женщину, дерзнувшую поселиться на острове со своим мужем – карельским рыбаком. В 1860 г. на Секирной горе была возведена каменная церковь в честь Вознесения Господня и основан одноименный скит. Спустя два года на куполе храма был устроен действующий и в наше время маяк.

В 1920-х гг. на территории Свято-Вознесенского скита действовал мужской

штрафной изолятор, в котором в особо строгих условиях содержались узники, по преимуществу из числа уголовников, серьезно или неоднократно нарушившие правила, установленные для заключенных (отказывавшиеся работать на общих работах, пытавшиеся бежать из лагеря, уличенные в общении с женщинами). Здесь же нередко осуществлялись одиночные и групповые расстрелы. В 1930-х гг. штрафной изолятор был упразднен, но заключенные на Секирной горе содержались вплоть до ликвидации Соловецкой тюрьмы ГУГБ.

Соловецкие острова [Соловки, Соловецкий архипелаг], крупнейший беломорский архипелаг, лежащий в северной части Онежского залива в 165 км к югу от Северного полярного круга на пересечении 65° с. ш. и 35° в. д. Общая площадь архипелага — 300 кв. км. В его состав входят свыше ста островов, из них шесть достаточно большие: Большой Соловецкий, Анзер, Большая и Малая Муксалма, Большой и Малый Заяцкие острова.

[Большой] Соловецкий остров [Соловецкий], крупнейший беломорский остров (218 кв. км), на котором с XVI в. располагалась значительная часть построек, скитов и пустыней Соловецкой обители. В 1920-е гг. на территории упраздненного монастыря располагалось Управление СЛОНа, основные лагерные отделения и рабочие командировки, а также большинство заключенных Соловецкого лагеря.

Сорока (с 1938 г. — Беломорск), старинное торговое поморское поселение, известное с XII в., расположенное на территории Карелии в 120 км от Соловков, где с XVI в. находился центр Сороцкой волости, являвшейся вотчиной Соловецкого монастыря.

Старая Сосновая тоня, предположительное место прибытия преподобных Савватия и Германа, расположенное на севере-западе Большого Соловецкого острова. В XVII в. здесь была возведена деревянная часовня, велся рыболовный промысел. В лагерный период здесь продолжали добывать рыбу, в 1926—1929 гг.осуществлялись лесозаготовки.

Студеное море [Студеное море-океан], название Северного Ледовитого океана.

Сухой док, предназначенный для ремонта и строительства судов, был сооружен на канале, отводящем воду из Святого озера в бухту Благополучия, в 1799—1801 гг. При заполнении и осушении дока использовалась разница уровней между Святым озером и морем.

Театр на 250 мест был открыт 23 сентября 1923 г. в помещении монастырской Ризницы пьесой «Сокровище» Мясницкого. За первый год состоялось 321 выступление. Располагался в Ризнице до 1926 г., когда в здании общей трапезной был оборудован новый зал на 800 мест, гримерные и костюмерные комнаты. Помимо Центрального театра СЛОНа, в некоторых отделениях лагеря существовали свои театральные сцены.

Таганская тюрьма (Таганка), построенная в Москве в 1804 г. по указу императора Александра I, находилась на пересечении улицы Малые Каменщики и Новоспасского переулка. Первоначально она использовалась только для содержания уголовников, была «рабочим домом с лишением свободы», но к концу XIX в. здесь содержались и политические заключенные. Осужденные работали в многочисленных мастерских — токарных, переплётных, слесарных, портновских — и в типографии. После 1917 г. в мастерских тюрьмы выполнялись срочные заказы для центрального карательного отдела НКЮ, войск внутренней охраны и внутренней службы. В XX в. тюрьма приобрела функции пересыльной, и к концу своего существования называлась Центральная таганская пересыльная тюрьма 8-го управления МВД СССР. В 1958 г. большинство корпусов тюрьмы снесли, на ее месте было построено несколько жилых пятиэтажных домов.

Торфяные разработки (Торфоразработки, Торфогородок), лагерная командиров-

ка, расположенная в районе Филимонова болота в северо-восточной части Большого Соловецкого острова, где с 1925 г. велась интенсивная разработка торфа. В 1929 г. к Торфогородку была подведена ветка узкоколейной дороги, однако спустя некоторое время торфоразработки были практически прекращены вследствие их неэффективности.

Трапезная палата (1552–1557 гг.), крупнейшее из подобного рода сооружений в России, примыкает к церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы и Келарской палате. В лагерное время здесь содержали особо опасных заключенных.

Троицкая церковь, Свято-Троицкая Зосимо-Савватиевская церковь построена в 1859 г. на месте Зосимо-Савватиевского придела Спасо-Преображенского собора. Храм имел три престола: в честь Святой Троицы, во имя преподобных Зосимы и Савватия и святого благоверного князя Александра Невского. В храме пребывали главные святыни монастыря — мощи святых Зосимы и Савватия. В 1923–1930 гг. здесь размещалась 13-я (карантинная) рота Кремлевского отделения СЛОНа, куда направлялись все вновь прибывшие заключенные. После прохождения карантина их направляли в отделения и командировки — в соответствии с имеющейся у них квалификацией и рабочей группой, присвоенной административной комиссией. В 1930 г. функции карантина стал выполнять специальный Карантинный городок.

Туруханский край, место политических ссылок, расположенное в восточной Сибири по берегам Енисея.

Тюрьма на Лубянке, внутренняя тюрьма органов государственной безопасности РСФСР и СССР с 1919 по 1991 г. В настоящее время тюрьма входит в комплекс зданий ФСБ РФ на Лубянской площади, что в начале улицы Большая Лубянка, д. 2.

Тюрьма на Шпалерной [Дом предварительного заключения, ДПЗ, Шпалерная тюрьма, «Шпалерка»], первая в России следственная тюрьма, открытая 1 августа 1875 г. в Петербурге, на Шпалерной улице, 25. В 1920-х гг. бывший Дом предварительного заключения стал следственной тюрьмой Ленинградского управления ОГПУ–НКВД–МГБ–КГБ. В 1931–1932 гг. на Шпалерной, 25 действовала так называемая «шарага» ОКБ 12 — проектно-конструкторская организация, в которой работали заключенные-специалисты. В настоящее время бывшая тюрьма на Шпалерной официально называется СИЗО 3.

Управление лагерями особого назначения [у самой пристани, вне Кремля], размещалось в каменной Преображенской гостинице, где некогда останавливались паломники-мужчины. Второй этаж был отведен под канцелярию СЛОНа, на первом и третьем этажах жили с семьями чекисты и представители соловецкой администрации. На первом этаже Управления работал магазин розничной торговли — розмаг.

Усадьба начальника Эйхманса — см. Макарьевская пустынь.

Филипповский скит (Филиппова (Иисусова) пустынь), расположен в 2 км от Соловецкого монастыря. Основание пустыни связано с именем святителя Филиппа, который избрал это место для своих молитвенных подвигов в 1540-х гг. В середине XIX в. здесь были построены церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник», две часовни и келейный корпус для братии. В 1920-х гг. в Филипповой пустыни был организован биосад для содержания и одомашнивания животных (гага, олень, лиса, соболь, песец). В 1935–1936 гг. в пустыни действовала лаборатория Йодпрома.

Филипповская тоня (Филипповские садки), морской залив, расположенный в 2 км к северу от Соловецкого монастыря. В середине XVI в., при игумене Филиппе, залив был пере-

горожен валунной дамбой и использовался для содержания живой рыбы, выловленной в море. Неподалеку на берегу стояли две часовни — во имя преподобных Зосимы и Германа — обозначавшие места, на которых, согласно монастырскому преданию, жили преподобные, когда высадились на Большом Соловецком острове.

Холмогоры, село (до 1925 г. город) в низовье Северной Двины, районный центр Архангельской области. В допетровское время Холмогоры являлись центром епархии, главным городом Поморского края. В 1762 г. архиерейская кафедра была перенесена в Архангельск, место постепенно пришло в упадок. В 1920—1923 гг. в Холмогорах, на территории архиерейского дома, находился лагерь принудительных работ.

Храм во имя митрополита Филиппа (Филипповская церковь), построен в Соловецком монастыре в 1798—1799 гг. В 1859 г. на его своде, в восьмерике, была устроена придельная церковь в честь Знамения Пресвятой Богородицы в память об избавлении Соловецкого монастыря от англичан, напавших на обитель в 1854 г. В Знаменской церкви хранился список с иконы Пресвятой Богородицы «Знамения», пробитой ядрами во время обстрела. К Филипповскому храму примыкал корпус, в котором жили престарелые и больные иноки.

Царская колокольня (не сохранилась), была построена в 1862—1863 гг. в центре монастырского двора для колокола «Благовестник», отлитого в 1859 г. по приказу императора Александра II в память о военных событиях 1854 г. Под колоколом в виде пирамиды были выложены ядра, собранные после английской бомбардировки.

Царскосельский лазарет, сеть лазаретов для раненых воинов, организованных с началом Первой мировой войны императрицей Александрой Федоровной. Наиболее известен Дворцовый лазарет в Царском Селе, переименованный в августе 1916 г. в Собственный Ее Величества лазарет №3, где несли дежурство представительницы императорской фамилии.

Церковь на кладбище около Кремля, каменный храм преподобного Онуфрия Великого, построенный на монастырском кладбище в 1829 г. на месте деревянной церкви, где отпевали умерших братий и служили панихиды. После установления Советской власти Онуфриевская церковь была единственной, в которой проводились богослужения на Соловках. С 1925 г. в службах могли участвовать не только соловецкие иноки, но и некоторые заключенные — православные священники и миряне, арестованные по церковным делам. В 1931 г. службы в Онуфриевской церкви были запрещены.

Электростанция (гидроэлектростанция), была построена в 1912 г. рядом с южной стеной Соловецкого монастыря, на канале, отводящем воду из Святого озера в бухту Благополучия. В лагерный период электростанция была восстановлена. 10 апреля 1925 г. приступили к расширению электростанции: на остров прибыли две паровые машины мощностью 120 л/с, к концу года была закончена кладка нового здания. Станция функционировала до конца 1930-х гг.



Судно «Дмитрий Донской» у монастырского причала.
Фото П. Барановского. Август 1923 г.



Вид на монастырь с южной стороны. На первом плане – Сухой док.
1920-е гг. Из фондов СГИАПМЗ



Ремонт кровли Трапезной палаты. *Фото Е. Эрлиха, 1924 г.*



Вход в музей СОКа, располагавшегося в надвратной Благовещенской церкви. *Кадр из фильма «Соловки» (1928 г.)*



Икона Божией Матери «Знамение» над западным входом в Спасо-Преображенский собор после работы Комиссии Помгола. *Каталог выставки «Сохраненные святыни Соловецкого монастыря». Москва, 2001 г.*



Ремонт кровли на Спасо-Преображенском соборе. *Фото Е. Эрлиха, 1924 г.*



Северные (Никольские) ворота монастыря, где располагалось I отделение лагеря.
Кадр из фильма «Соловки» (1928 г.)



В Святых воротах располагалась пожарная команда.
Фото В. Блувштейна. 1928-1929 гг. Из фондов СГИАПМЗ



Пожарная команда за работой. *Фото Е. Эрлиха. 1924 г.*



Пароход «Нева» носом пробивает лед.
Фото Е. Эрлиха. 1924 г.



Борт парохода «Нева». Справа налево: начальник УСЛОНа А.П. Ногтев, фотограф Е.Е. Эрлих и Пригара. 1924 г.



Справа налево: смотритель маяка на о. Ромбак, капитан парохода «Жижгин» Я. Каулинь, капитан парохода «Нева» Привалов. *Фото Е. Эрлиха. 1924 г.*



Корабли «Глеб Бокий» и «Клара Цеткин» у монастырского причала на фоне Преображенской гостиницы, превращенной в Управление СЛОНа.
Из книги Ю. Бродского «Соловки. Двадцать лет особого назначения». М., 2002 г.



В погоне за беглецами обычно использовался катер «Часовой».
Фото Е. Эрлиха. 1924 г.



На палубе парохода
«Глеб Бокий».
Фото Е. Эрлиха. 1924 г.



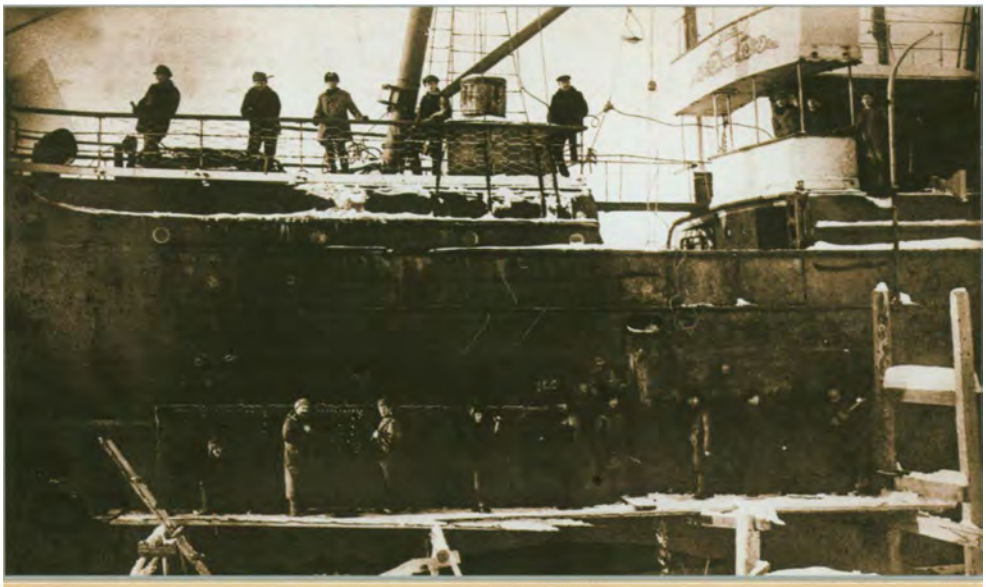
У монастырского причала –
судно «Глеб Бокий».
На нем из Кемского
пересыльного пункта
были перевезены тысячи
заключенных. 1923–1939 гг.
Из фондов СГИАПМЗ



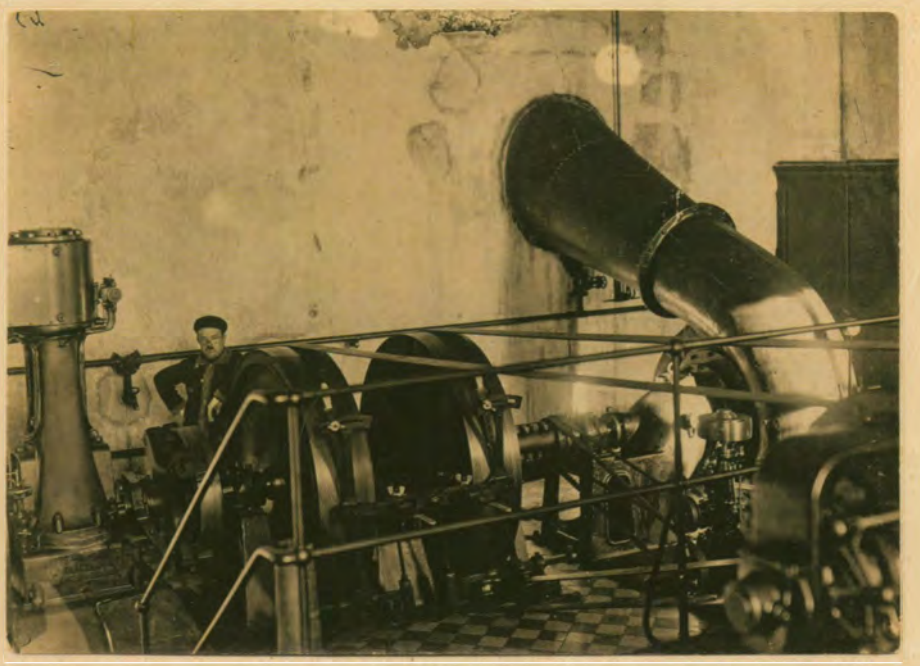
Постройка судна. *Фото В. Блувштейна. 1928–1929 гг. Из фондов СГИАПМЗ*



Постройка новой шхуны. *Фото Е. Эрлиха. 1924 г.*



Пароход «Жижгин» на ремонте в Сухом доке. *Фото Е. Эрлиха. 1924 г.*



Интерьер здания электростанции.
Фото В. Блувштейна. 1928–1929 гг. Из фондов СГИАПМЗ



Спортивная жизнь в лагере. *Фото Е. Эрлиха. 1924 г.*



Спортивная станция. 1923–1939 гг. *Из фондов СГИАПМЗ*



Заключенные за сбиванием масла.
Фото В. Блувштейна. 1928–1929 гг. Из фондов СГИАПМЗ



Доярка с рекордсменкой Холмогорской породы. Муксалма. *Фото Е. Эрлиха. 1924 г.*



Строительство бараков к югу от монастыря.
Фото В. Блувштейна. 1928–1929 гг. Из фондов СГИАПМЗ



Одна из веток узкоколейки проходила вокруг монастыря.
Кадр из фильма «Соловки» (1928 г.)



Фрагмент иконы прпп. Савватия и Германа. XIX в. В лагерное время икона была закрашена и служила дверью в Благовещенский храм, где располагался музей СОКа. В 1992 г. при подготовке храма к перенесению мощей Соловецких преподобных икона была обнаружена. В настоящее время отреставрированная икона находится в притворе Благовещенского храма (реставратор В.В. Пакратов). *Фото Ю. Бродского*



Окно с лагерной решеткой.
Фото Ю. Бродского. Сер. 1980-х гг.



Долгое время звезда на Колокольне была символом советской эпохи.
Фото Ю. Бродского. Сер. 1980-х гг.



До сих пор на острове видны следы торфоразработок.
Фото монаха Онуфрия (Поречного). 2009 г.



У подножия Секирной горы приводились в исполнение «расстрельные» приговоры. В начале 2000-х гг. там были обнаружены места массовых захоронений



На созданном у Секирной горы кладбище постоянно служатся панихиды и литии. *Фото 2009 г.*

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Идентификация и аннотирование встречающихся в указателе имен произведены на основе информации, почерпнутой из энциклопедических словарей, электронных баз данных[1], справочников[2] по истории ГУЛАГа и личных архивов членов редакционной коллегии, а также из воспоминаний как самих соловецких узников, так и не связанных с Соловками людей.

Случаи, когда информация о том или ином человеке ограничена данными, представленными лишь на страницах мемуаров, говорят об отсутствии параллельных источников информации и указывают на возможные неточности.

В квадратных скобках указаны встречающиеся в воспоминаниях способы написания имен и фамилий, в круглых — способы написания, встречающиеся в справочных материалах.

Все даты приведены по новому стилю.

---

[1] См.: Виртуальный музей ГУЛАГа. Именной указатель // http://www.gulagmuseum.org; Жертвы политического террора в СССР (2007) // http://lists.memo.ru/; Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на РПЦ в XX в. // http://kuz3.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans; Общий список социалистов и анархистов — участников сопротивления большевистскому режиму (25 октября 1917 — кон. 30-х гг.) // http://socialist.memo.ru/index.htm; Русская армия в Великой войне: Картотека проекта // http://www.grwar.ru; Святые и блаженные Католической церкви: Список погибших священников во время советских репрессий // http://saints.katolik.ru/; Сталинские расстрельные списки: Именной указатель // http://stalin.memo.ru/

[2] См.: ВЧК/ГПУ: Документы и материалы / Ред. и сост. Ю. Г. Фельштинский. М.: Изд-во гуманитар. лит., 1995. 227 с.; ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ 1917–1960 / Сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров. М.: МФД, 1997. 352 с.; Бродский Ю. А. Соловки. Двадцать лет Особого назначения / Ю. А. Бродский. М.: Рос. полит. энцикл., 2002. 528 с.; ГУЛАГ (Главное управление лагерей) 1917–1960 / Под ред. А. Н. Яковлева; сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров; науч. ред. В. Н. Шостаковский; Международный фонд «Демократия» (Фонд А. Н. Яковлева). М.: Материк, 2000. 888 с. (Россия. 20 век. Документы / Под. общ. ред. академика А. Н. Яковлева. Серия основана в 1997 г.); Иванова Г. М. История ГУЛАГа, 1918–1958: Социально-экономический и политико-правовой аспекты / Г. М. Иванова; Ин-т рос. истории РАН. М: Наука, 2006. 438 с.; Именной указатель «Архипелаг ГУЛАГ» / Сост. Н. Г. Левитская и В. А. Шумилин (Москва), помог материалами Н. Н. Сафонов (Москва), дополнительный поиск и редакция А. Я. Разумов (СПб.); Исторический альманах «Звенья». М., 1991. Вып. 1. материалы ГАРФа. Ф. 8409, оп.1, Е.Пешкова. Помощь политзаключенным; Красная книга ВЧК: В 2-х т. / Ред. А. С. Велидов. М.: Политиздат, 1989 (по изданию 1920–1922 гг.); Мозохин О. Б. Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918–1953): Судьбы. События. Документы. Версии. М.: Кучково поле, 2006. 480 с.; Симбирцев И. Спецслужбы первых лет СССР, 1923–1939. На пути к большому террору. М.: Центрполиграф, 2008; Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960: Справочник / Общество «Мемориал», ГА РФ; Под ред. Н.Г. Охотина, А. Б. Рогинского; сост.: М. Б. Смирнов. М.: Звенья, 1998; Тепляков А. Г. «Непроницаемые недра»: ВЧК–ОГПУ в Сибири. 1918–1929 гг. М.: АИРО–XXI, 2007.

А

Абакумов С. А., сотрудник Архангельской губернской ЧК, первый соловецкий комендант, с мая 1921 г. комендант концлагеря в Холмогорах *25*

Абисов Андрей Константинович (1907 – 6 марта 1988), социал-демократ *525*

Абрамович, поляк, расстрелян на материке *620*

Абрамовский, помощник прокурора Архангельского ГПУ *50*

Абуладзе Тенгиз Евгеньевич (1924 – 6 марта 1994), кинорежиссер *526*

Аввакум Петров (1620–1682), протопоп, идеолог старообрядчества *333, 667*

Авдотья Семеновна, наркоторговка *340*

Авенариус Рихард (1843–1896), швейцарский философ *188, 548*

Аврончик, заключенный уголовник *398*

Агапов, возможно, имеется в виду социалист-революционер Владимир Владимирович Агапов (1890 – 14 октября 1937). Расстрелян *584*

Адамович, поляк, расстрелян на материке *620*

Адельский, лагерный фельдшер *630*

Акарский Сергей Леонтьевич (1892–?), белогвардеец, поэт. Арестован в марте 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был сотрудником лагерного театра и изданий *234, 261*

Аксаковы, семья славянофилов *294*

Аксельрод Павел Борисович (наст. имя – Пинхус Борухович) (1850 – 16 апреля 1928), идеолог меньшевизма, редактор газеты «Искра», один из лидеров II Интернационала *160*

Александр II Николаевич (1818–1881), российский император с 1855 г. *634*

Александр III Александрович (1845–1894), российский император с 1881 г. *634*

Александровская, жена П. Ф. Александровского *117–118*

Александровский П. Ф., управляющий совхозом «Соловки» *50, 52, 117*

Алексей Михайлович (1629–1676), русский царь с 1645 г. *18–19, 202, 204*

Али-Шах, английский подданный, некоторое время сидел в штрафном изоляторе за попытку побега из лагеря *113*

Аллой Владимир Ефимович (1945 – 7 января 2001), издатель *526*

Альп, немец, расстрелян за попытку побега из лагеря *113*

Андерсон, эстонец. Арестован после посещения Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 г. за «экономический шпионаж» и отправлен на Соловки *109*

Андреев Геннадий (наст. имя и фам. Геннадий Андреевич Хомяков) (1910–1984), писатель, автор воспоминаний о Соловках. В эмиграции с 1945 г. *217, 312*

Андреева (Андреева-Горбунова) Александра Азарьевна (1887 – 17 июля 1951), с 1919 г. сотрудник Разведуправления РККА, с 1921-го – органов ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД. Арестована и приговорена к 15 годам лишения свободы. Умерла в ИТЛ *94, 98, 167, 529, 537*

Андреева Мария Федоровна (1868 – 8 декабря 1953), гражданская жена А. М. Горького (1904–1921), комиссар театров и зрелищ в Петрограде (1919–1921), директор Московского дома ученых (1931–1938). Во главе Политического Красного Креста никогда не была *218*

Андрейченко Павел Антонович (1891–?), матрос. Арестован в ноябре 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы за активное участие в Кронштадтском восстании, реабилитирован и отпущен на свободу в июне 1924 г. *125*

Анисимов Александр Иванович (1877 – 2 сентября 1937), первооткрыватель и исследователь древнерусской живописи, профессор. Арестован в январе 1930 г., приговорен

к 10 годам лишения свободы и отправлен в Карелию. В 1931 г. некоторое время находился на Соловках, где был сотрудником СОКа. Расстрелян в Куземе (Карелия) *35*

Анна Иоанновна (1693–1740), российская императрица с 1730 г. *20*

Аннета, заключенная *302*

Антипов, заведующий штрафным изолятором на Секирной горе, по другим сведениям, начальник лагерных отделений СЛОНа *91, 145, 607–608, 623*

Антоний († 1613), преподобный, игумен Соловецкого монастыря с 1605 г. *17*

Анфилов Владимир Федорович (1891–?). Арестован в феврале 1923 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был начальник канцелярии I отделения СЛОНа, делопроизводитель административной части лагеря в Кемперпункте. После освобождения из лагеря сослан в Новосибирск *67–68, 711–712*

Апаньский, заместитель начальника минского ГПУ *594, 598–599, 601*

Арманов Сергей (наст. имя Иван Андреевич) (1885–?), актер. Арестован в июне 1924 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был сотрудником лагерного театра *35, 220–225, 264, 303*

Арнольди Алексей Александрович (1892–1938), внук декабриста А. Т. Беляева, библиотекарь Академии наук. Арестован в 1925 г. по «делу лицеистов», приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В 1926 г. после досрочного освобождения из лагеря отправлен в ссылку *102*

Аронович Яков Васильевич (1904 – 8 октября 1923), социал-демократ. Арестован в июле 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Покончил жизнь самоубийством в Кемперпункте *141–142*

Арсен Люпен, литературный персонаж *244*

Артаганович, см. Мальсагов

Ауке [Ауге] Фердинанд Вильгельмович (1889–?), немецкий военнопленный, комбат латышской стрелковой дивизии. С 1922 г. сотрудник ГПУ, с февраля 1923-го — комендант пересыльного пункта в Архангельске, с декабря того же года комендант I отделения СЛОНа. В 1925 г. получил строгий выговор с предупреждением от Архангельской ГУБКК ВКП(б) за «вступление в брак по церковному обряду», в следующем году — строгий выговор «за выпивку». С декабря 1926 г. начальник Канского исправительного трудового дома в Сибирском крае *54, 75, 98, 127, 129*

Ахматова Анна Андреевна (урожд. Горенко, по мужу Гумилева) (1889 – 5 марта 1966), поэтесса *449*

Б

Бабель Исаак Эммануилович (1894 – 27 января 1940), писатель. Расстрелян *230*

Бабина-Невская Берта Александровна (1894(6) – 17 февраля 1983), социалист-революционерка, жена эсера Бориса Вячеславовича Бабина (1886–1944(5) *525*

Бабичева Майя Евгеньевна, член редакционной коллегии настоящего сборника *636*

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт *244*

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876), теоретик анархизма *190*

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867 – 23 декабря 1942), поэт. В эмиграции с 1920 г. *562*

Баранов, комендант минского ГПУ *594, 597, 599, 601, 621*

Барановский Леонард Николаевич (1875 – 12 декабря 1930), католический священник. Арестован в июне 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Нарымский край, где и скончался *619–620*

Баринов, начальник Кемперпункта, с 1925 г. начальник I кремлевского отделения на Соловках *67, 106, 214, 221, 239, 248, 268–270, 298, 346, 608, 645–646, 649*

Баринова, жена Баринова *650*

Баркан, биржевой маклер, заведующий лагерной продуктовой лавкой *688*

Бауэр (Цетлина, Бауэр-Цетлина) Наталья Арнольдовна (1892 – 19 декабря 1923), социалист-революционерка, жена эсера М. С. Цетлина. Арестована в марте 1921 г., приговорена к трем годам лишения свободы и вместе с мужем отправлена в Пертоминск, затем на Соловки, где была убита в Савватьеве *97, 175–176, 559*

Бах Иоганн Себастьян (1685–1750), немецкий композитор *328–329*

Бахман Анна Мартыновна (1899 – не ранее декабря 1937), социал-демократка, студентка Ленинградского политехнического института. Арестована в феврале 1924 г., приговорена к трем годам заключения в концлагере и отправлена на Соловки. После получения статуса политзаключенной была помещена в политскит, в 1925 г. переведена в политизолятор, а позднее сослана в Среднюю Азию. Расстреляна *560–561*

Бацер Борис Давидович (1935–?), сын Б. Д. Бацера *521*

Бацер Давид Миронович (псевд. – Т. И. Тиль) (1905 – 1 января 1986), социал-демократ, автор воспоминаний о Соловках *153, 516–527*

Бацер Мина Мироновна (1904 – 21 ноября 1930), социал-демократка, сестра Д. М. Бацера *516, 523*

Бацер Мирон Григорьевич (? – 1939), отец Д. М. Бацера *516*

Бачулис, комендант Холмогорского, затем Пертоминского лагерей *135–136*

Беатриса да Сильва Менесес († 1492), католическая святая, основательница монашеского ордена *332*

Бедрут Владимир, уголовник, сотрудник лагерного театра *244, 343, 351*

Бела Кун, см. Кун Бела

Белима-Пастернаков (Пастернаков, Белимо-Пастернаков) Гавриил Андреевич (1897 – 19 декабря 1923), социалист-революционер. В феврале 1923 г. приговорен к заключению в лагере и отправлен на Соловки, где был убит в Савватьеве *173, 176*

Белкин Кронид Константинович (1894 – 2 февраля 1938), социалист-революционер, врач. Арестован в сентябре 1922 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где во время двухнедельной голодовки политических заключенных осенью 1924 г. следил за состоянием их здоровья. В 1925 г. переведен в политизолятор. В последний раз арестован в Оренбурге в феврале 1937 г. за хранение записей о голодовке на Соловках. Расстрелян *186, 558, 571, 576, 578–579, 581–583*

Белов Леонид, заключенный матрос из Кронштадта *125*

Белоголовый Иосиф Матвеевич (1883–1928), католический священник. Арестован в феврале 1926 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В августе 1928 г. был доставлен в Москву и убит «при попытке к бегству» *629*

Белый Андрей (наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев) (1880 – 8 января 1934), поэт *294*

Беляев Василий Дмитриевич (1892(3) – не ранее 1953), социал-демократ. Арестован в марте 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Краснококшайск (с 1928 г. Йошкар-Ола) *173, 188*

Бенедикт, австрийский предприниматель, отправлен на Соловки из сибирской ссылки *109*

Беранже Пьер Жан (1780–1857), французский поэт *245*

Берг Ефрем (Ефроим) Соломонович (ок. 1875 – 9 октября 1937), социалист-революционер. Расстрелян *585*

Бергсон Анри (1859–1941), французский философ *188*

Беркли Джордж (1685–1753), епископ в Ирландии, английский философ *548*

Бернер Николай Федорович (псевд. – Божидар, Дир) (1890–1969), поэт. Арестован в 1925 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В эмиграции с 1945 г. *231, 261*

Бессонов (Безсонов) Юрий Дмитриевич (1891–1959), офицер, организатор группового побега из Кемперпункта, автор воспоминаний о Соловках *432–436, 438–441, 446–450*

Битнер Виктор, помощник капитана лагерного парохода *703*

Блок Александр Александрович (1880 – 7 августа 1921), поэт *330*

Блоха, заключенный уголовник *214, 338–339*

Богданов Андрей, заключенный матрос из Кронштадта *125*

Богданов Борис Осипович (1884 – 15 мая 1960), социал-демократ. В ноябре 1922 г. приговорен к высылке за границу, но после изменения приговора отправлен в Пертоминск, затем на Соловки, где возглавлял старостат Савватьевского скита. В ноябре 1924 г. переведен на материк. Окончательно освобожден в 1955 г. *32, 97, 150–162, 170, 182, 184–186, 188–192, 410, 412, 525, 530, 562, 568–570, 573–574, 580–581, 584*

Богданов Осип Борисович, отец Б. О. Богданова *150*

Богданова (урожд. Дыхно) Ольга Альбертовна (1889–?), жена Б. О. Богданова *150–153, 155–158, 161*

Богданова Наталья Борисовна (1916–?), дочь Б. О. Богданова *151–153, 155–158, 161, 525*

Богомяков Николай Иванович (1901–1983), член ВКП(б) *157–158*

Богораз-Брухман Лариса Иосифовна (1929 – 6 апреля 2004), правозащитница *524*

Богуцкий, один из руководителей польской коммунистической секции в Минске *595*

Бокий Глеб Иванович (1879 – 15 ноября 1937), непосредственный начальник УСЛОНа. В августе 1918 г. стал председателем петроградской ЧК, более 15 лет руководил шифровальным отделом ОГПУ–НКВД, с начала 1930-х гг. возглавлял 9-е отделение ГУГБ НКВД. Расстрелян *32, 45, 51, 53–54, 63, 66, 70, 85, 129, 137, 143, 165, 219, 225, 240, 264, 385–386, 411, 419*

Борецкая (Исакова) Марфа, новгородская боярыня, жена степенного посадника Исаака Андреевича (1438–1439, 1453). Пострадала вместе с членами семьи за враждебную деятельность в отношении Московского княжества *204*

Борин Макар Семенович (1871–1938), актер. Арестован в апреле 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был сотрудником лагерного театра. Досрочно освобожден из лагеря в июле 1926 г. *36, 86, 224–226, 234, 240, 340, 349*

Бородин Александр Порфирьевич (1833–1887), композитор *245*

Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1825), композитор *329*

Браверман Иосиф Моисеевич (1897(9)–?), анархист. Арестован в феврале 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был старостой проживавших в Савватьеве анархистов *170*

Браз Осип Эммануилович (1872 – 6 ноября 1936), член Императорской Академии художеств. Арестован в июне 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря в январе 1926 г. сослан в Новгород.

В эмиграции с 1928 г. *256, 262, 676–677, 696–698, 700*

Бройдо (урожд. Гордон) Ева Львовна (Хава Лейбовна) (1876 – 15 сентября 1941), социал-демократка, член заграничной делегации РСДРП *156*

Брусиловский, ссыльный чекист. В 1925 г. имел врачебную практику в Кемперпункте, затем непосредственно на Соловках *425, 624, 627*

Брусникин, заключенный матрос из Кронштадта *125*

Брухимович Шолом, см. Ерухимович

Бруштейн Цецилия Ефимовна, социалист-революционерка, первая жена А. В. Федодеева *578, 587*

Буденный Семен Михайлович (1883 – 26 октября 1973), маршал Советского Союза *346, 348*

Булгаков, крестьянин, отправлен на Соловки за «связь с иностранной буржуазией» *107*

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891 – 10 марта 1940), писатель *253*

Бут-Ковальский, лагерный фельдшер *613*

Бутурлин М. (?–1924), заключенный, расстрелян за попытку побега из лагеря *114*

Бухарин Николай Иванович (1888 – 15 марта 1938), советский государственный и партийный деятель, «любимец партии». Расстрелян *241*

Быpсан Стефан Стефанович, румынский офицер, приехавший в служебную командировку в Румынское посольство в Ленинграде. Арестован в июне 1924 г. после отъезда посольства, приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Вологду к жене и детям *694, 696–698, 700, 702*

Бяловский Франц Владиславович (1889 – 4 октября 1937), социал-демократ. Арестован в феврале 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Коми АО. Расстрелян *188*

В

Вайнер Аркадий Петрович, см. Вейнер

Ванька (Пан), см. Панин

Варганов А. В., глава Управления Соловецкими островами в 1920 г. *26*

Варламов Константин Александрович (1848 – 15 августа 1915), актер *227, 316*

Василевский Антоний Михайлович (1868 – не ранее 1929), католический священник. Арестован в январе 1927 г., приговорен к пяти годам концлагерей и отправлен на Соловки. После досрочного освобождения из лагеря по состоянию здоровья в августе 1929 г. сослан в Среднюю Азию *623*

Василий Иванович («Василек – Святая душа»), заключенный юрист *294–300*

Василий, инок, см. Иванов В.

Васович, возможно, имеется в виду католический священник Бронислав Валентинович Дунин-Вансович (Вонсович) (1898 – 18 января 1938). Приговорен в сентябре 1926 г. к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Сибирь. Расстрелян *629*

Васьков [Васко] Родион Иванович (1891–1961), с 1918 г. сотрудник орловской, с 1921-го – московской ЧК. В сентябре 1923 г. по собственному желанию откомандирован на Соловки, где до 1926 г. занимал должность начальника I лагерного отделения. Заместитель начальника УСЛОНа по административной части, затем, до 1930 г. – секретарь УСЛОНа. В 1932 г. несколько месяцев занимал должность врио начальника Вишерского ИТЛ. С ноября 1932 г. по сентябрь 1934-го возглавлял Северно-Западный ИТЛ. Арестован в июле 1952 г., приговорен к пяти годам исправительно-трудовых работ за «злоупотребление служебным положением» *64, 208–211, 214, 224, 234–236, 260, 386, 426, 428, 608, 616–617, 690, 697*

Веденяпин Михаил Александрович (нелег. фам. Штегеман) (1879 – 12 (7) ноября 1938), социалист-революционер. Умер в ИТЛ *584*

Вейнгарт, немецкий фельдшер, отправлен на Соловки по обвинению в «шпионаже в пользу Польши» *111–112*

Вейнер Аркадий Петрович (1875–1965). Арестован в 1925 г. по «делу лицеистов», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря в 1928 г. сослан в Сибирь. Скончался в Твери *696, 698*

Вейс [Вейсс] Карл Иванович (1893 – 25 апреля 1936), комендант ОГПУ. Арестован в мае 1926 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где стал начальником III (с октября 1929 г.), а затем V (с июня 1930 г.) лагерного отделения. В сентябре 1930 г. назначен помощником начальника Свирьлага, в феврале 1933 г. – помощником начальника Дмитлага, в начале 1934 г. – начальником Северного района строительства Волго-Донского канала. В мае 1935 г. откомандирован в ГУЛАГ НКВД СССР *529, 537, 623*

Великанова Ксения Михайловна (1936 – 12 августа 1987), правозащитница *542*

Венецианов Леонид Сергеевич (псевд. – Вершинин, Вершинин-Венецианов) (1896 – 20 июля 1938), социалист-революционер. Расстрелян *544*

Вениамин (Казанский Василий Павлович) (1873 – 13 августа 1922), священномученик, митрополит Петроградский и Ладожский. В 1917 г. избран на кафедру участниками церковного съезда, в мае 1922 г. назначен Святейшим Патриархом Тихоном вторым кандидатом на временное возглавление РПЦ. Арестован в июне 1922 г. за отказ признать обновленческое Высшее церковное управление, приговорен расстрелу по обвинению в попытках «изменить декрет об изъятии церковных ценностей». Прославлен на Архиерейском Соборе РПЦ, проходившем 31 марта – 5 апреля 1992 г. *106, 138, 402*

Вениамин (Кононов Василий Васильевич) (1869 – 17 апреля 1928), преподобномученик, архимандрит, игумен Соловецкого монастыря (1917–1920) *23*

Венявский Генрик (1835–1880), польский композитор *329*

Вера, Надежда, Любовь и матерь их София († ок. 137), мученицы *350*

Вербицкий, профессор духовной академии *586*

Веригор, эстонский агрономом, отправлен на Соловки за «шпионаж» *110*

Верховенский, литературный персонаж *335*

Вершинин, см. Венецианов

Виардо-Гарсиа Мишель Полина (1821 – 18 мая 1910), оперная певица *334*

Вилкман (Вилкам) Оскар, финский офицер *447–448*

Виноградов, лагерный врач *618, 623*

Виноградов Николай Николаевич (1876 – 8 января 1938), ученый. С момента прибытия на Соловки в 1926 г. стал сотрудником СОКа, с 1927 г. его заведующим, с 1928 по 1932 г. – ученым секретарем краеведческого общества. После освобождения из лагеря поселился в Петрозаводске, где работал в Карельском научно-исследовательском институте. Расстрелян *35*

Винтовский, поляк, отправлен на три года на Соловки за переход советской границы *404*

Виолар [Вилла, Виолара, Виоляр, Виоляро], южноамериканский дипломат, муж грузинской княжны Караловой, по другим сведениям Чавчавадзе. Арестован в 1924 г. вместе с супругой по обвинению в шпионаже и отправлен на Соловки *110–111, 254, 415–416, 652–653, 688–689, 691, 694, 700–702*

Висковский, поручик Преображенского полка *219*

Витковский, один из руководителей польской коммунистической секции в Минске *595*

Витте, заключенный, отправлен на Соловки по подозрению в родстве с С. Ю. Витте *108, 405*

Витте Сергей Юльевич (1849 – 28 февраля 1915), государственный деятель *108*

Витухновская Роза Зельмановна (1904 – ок. 1993), социал-демократка. Арестована в августе 1924 г., приговорена к трем годам концлагеря и двум годам поражения в правах и отправлена на Соловки *525*

Вихтаваара Иивари, финский крестьянин *447*

Влодк, псевдоним польского солдата. Приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки *602, 606*

Войно, поляк, расстрелян на материке *619*

Волк-Штоцкий Яков Петрович (1891 – не ранее 1929 г.), социалист-революционер. В 1924 г. вместе с группой эсеров доставлен на Соловки из вятской ссылки, по другим сведениям, из челябинского политизолятора *546, 563, 579*

Володарский В. (наст. имя и фам. Моисей Маркович Гольдштейн) (1891 – 20 июня 1918), комиссар по делам печати, пропаганды и агитации РСФСР (1917–1918). Убит в результате покушения *406*

Вольский Владимир Казимирович (1877 – 4 октября 1937), социалист-революционер. Арестован в феврале 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки. Расстрелян *192*

Вонлярлярский Владимир Владимирович (1880–?), с 1921 г. командир линкора «Марат», затем учебного судна «Комсомолец». Арестован в декабре 1923 г. за «шпионаж в пользу Польши», приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где пробыл до мая 1926 г. По некоторым данным, в лагере находились отец и мать офицера – Владимир Михайлович (1852–?) и Надежда Степановна (1852–?) Вонлярлярские *103, 308, 676*

Воровский Вацлав Вацлавович (1871 – 10 мая 1923), полпред РСФСР в Италии с 1921 г. Убит в результате покушения *374*

Ворошилов Климент Ефремович (1881 – 2 декабря 1969), маршал Советского Союза *346–347*

Врангель Петр Николаевич (1878 – 25 апреля 1928), один из руководителей Белого движения. В 1920 г. Главнокомандующий Русской Армии в Крыму и Польше. В эмиграции с 1920 г. *371, 381, 667*

Врашников, заключенный, бывший управляющий кавказскими владениями графа И. В. Воронцова-Дашкова (1837–1916) *403*

Врублевский, заключенный польский инженер *702*

Вуль Леонид Давыдович (1899 – 28 июля 1937), начальник Московского уголовного розыска (1931–1933), начальник МВД Саратовской области. Расстрелян *218*

Высоцкая, купчиха, сотрудница лагерного театра *236, 242*

Высоцкий [Высотский] Сергей Константинович, врач. Арестован в декабре 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где работал в лагерном лазарете. Связь с родственниками прервалась в 1928 г. *619–620, 623, 630–631*

Г

Г-ский, мичман, возможно, имеется в виду, описанный в воспоминаниях Д. С. Лихачева Николай Николаевич Горский, отбывавший на Соловках 10-летний срок заключения *272, 343*

Гавриил (Абалымов Николай Николаевич) (1881 – 31 июля 1958), епископ Осташковский, викарий Тверской епархии. Арестован в 1923 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где в июне 1926 г. вместе с другими архиереями

принимал участие в составлении «Памятной записки соловецких епископов» *713–714*

Гагаринова Ольга, заключенная *621*

Гайдн Франц Йозеф (1732–1809), австрийский композитор *331–332*

Галкин, см. Зайцев

Гандлевская Зора Борисовна (1897 – 2 июля 1987), анархистка *525*

Ганс-Милованов, см. Милованов

Гарасева Анна Михайловна (1902 – 11 декабря 1994), анархистка *525*

Гарасева Татьяна Михайловна (1901 – не ранее 1997), анархистка *525*

Гаррик Дейвид (1717–1779), английский актер *221*

Гастоша, литературный персонаж *340*

Гвидон, литературный персонаж *208*

Гельтман (Митропольский, Гельтман-Митропольский) Абрам Исаевич (1878 – 2 декабря 1937), социалист-революционер. В январе 1923 г. приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки. В 1925 г. переведен в Верхнеуральский политизолятор. Расстрелян *585*

Гельфгот Александр Павлович (1887 – не ранее 5 марта 1938), социалист-революционер. Арестован в марте 1921 г., приговорен к трем годам лишения свободы и в 1923 г. отправлен на Соловки. Автор очерка «Корабль смерти», который вошел в сборник статей о ВЧК (Берлин, 1922). Значится в расстрельном «сталинском списке» от 5 марта 1938 г. *141, 548, 566*

Гендель Георг Фридрих (1685–1759), немецкий композитор *328*

Геништа, крестьянин, отправлен на Соловки за «связь с иностранной буржуазией» *107*

Геннисон, купец, отправлен на Соловки за «вооруженный бандитизм» *107*

Георгий (Лавров Герасим Дмитриевич) (1868 – 4 июня 1932), преподобноисповедник, архимандрит *164*

Георгис, артист, отправлен на Соловки за «контрреволюционную деятельность» *405*

Герасим (Ионин), архимандрит, игумен Соловецкого монастыря (1793–1796) *20–21*

Герман († 30 июля 1479), преподобный, один из основателей Соловецкого монастыря *13–14, 49, 202, 206, 383, 674*

Герцен Александр Иванович (1812–1870), один из основоположников народничества. В эмиграции с 1847 г. *294, 578*

Гинзбург Евгения Соломоновна (1904 – 25 мая 1977), автор воспоминаний о ГУЛАГе *541*

Гитис (Гиттис) Владимир Михайлович (1881 – 22 августа 1938), советский военачальник. Расстрелян *53, 101*

Гладков, начальник Кемперпункта (1923–1925) *116–117, 386, 389–390, 417–419*

Гладкова, жена Гладкова *116–117, 389–390,*

Глубоковский Борис Александрович (1895–1935(?), актер, поэт из круга С. А. Есенина и А. Б. Мариенгофа (1897 – 24 июня 1962). Арестован в ноябре 1924 г. в числе 13 человек по делу впоследствии расстрелянного поэта А. А. Ганина (1893 – 30 марта 1925). Приговорен в 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был сотрудником лагерного театра и изданий. По некоторым сведениям, погиб от морфия вскоре после освобождения *196, 226–227, 229–231, 234, 238, 240–241, 245, 257, 261, 329–340, 351, 360*

Глюк Кристоф Виллибальд (1714–1787), австрийский композитор *328*

Гнедов (Смирнов, Гнедов-Смирнов) Степан Иванович (1897 – не ранее 10 июня 1938), социалист-революционер. Арестован в феврале 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Значится в расстрельном «сталинском списке» от 10 июня 1938 г. *577–580*

Гнерих, немецкий предприниматель, отправлен на Соловки за «контрреволюцию» *109*

Гог, библейский персонаж *335*

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель *196, 294*

Годунов Борис Федорович (ок. 1552–1605), русский царь с 1598 г. *203, 319*

Гойя Франсиско Хосе де (1746–1828), испанский художник *333*

Голицын Николай Дмитриевич (1847–2 июля 1925), последний Председатель Совета Министров Российской империи. Расстрелян по «делу лицеистов» *676*

Голицын Николай Николаевич (1883–1926(?), сын Н. Д. Голицына. Арестован в июне 1925 г. по «делу лицеистов», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где и был убит *102, 612–613, 676*

Головкин, сотрудник лагерного театра *242, 329, 332*

Гольд Григорий Львович (1889–?), социалист-революционер, муж С. Юдичевой. Арестован в апреле 1923 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где с осени 1924 г. был старостой проживавших в Савватьеве эсеров. В 1925 г. переведен на материк, предположительно в Верхнеуральский политизолятор *188, 548, 574, 577, 579–580, 583, 585*

Гольтгоер [Гольдгоейер] Зинаида Яковлевна, генеральша, семья которой эмигрировала из России в 1919 г. Арестована в марте 1924 г., приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки. После освобождения из лагеря сослана в Сибирь *227*

Горбунов Николай Петрович (1892 – 7 сентября 1938), управляющий делами СНК (1920–1923), секретарь АН СССР. Расстрелян *164–165*

Гордин Яков Михайлович (1853–1909), драматург *226*

Горелик Меер Моисеевич (1896(7) – 19 декабря 1923), социалист-революционер. Арестован в сентябре 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки, где был убит в Савватьеве *128, 173, 176*

Горчаков Александр Михайлович (1798–1883), князь, государственный деятель *314*

Горький Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков) (1868 – 18 июня 1936), писатель, общественный деятель. После посещения Соловков летом 1929 г. написал одноименный очерк, который увидел свет в пятом номере журнала «Наши достижения» за 1930 г. *39, 198, 340, 364, 446*

Гоц Абрам Рафаилович (1882 – 4 августа 1940), социалист-революционер. Умер в ИТЛ *584*

Гревениц Александр Николаевич (1877 – 3 июля 1925), барон. Расстрелян *675*

Гроссман Виктор Азриэлевич (1887–1978), литератор *157*

Грохальский (?–1924), командир лагерной трудовой роты, расстрелян на Соловках *388*

Грошев Алексей (Александр) Павлович (1894–(?), социалист-революционер. Арестован в апреле 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Усть-Сысольск (с 1930 г. Сыктывкар) *172, 188*

Грузинов Иван Васильевич (1893–1942), поэт *334*

Грушка Ян, поляк, расстрелян на Соловках *631*

Грюнвальд, немецкий агроном, погиб на Соловках, куда был отправлен по обвинению в «организации контрреволюционно-шпионского заговора» *88–89, 113*

Губин Ефим Матвеевич (1898 – 20 декабря 1937). Арестован в июне 1921 г. по делу социал-демократов, приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск,

затем на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Коми АО. Расстрелян *188*

Губичев, уголовник, погиб на Соловках *290*

Гумилев Николай Степанович (1886 – 25 августа 1921), поэт. Расстрелян *238, 449*

Гуриев [Гурьев], портной, заведующий швейной мастерской в Кемперпункте *138, 403*

Гурьев Михаил, заключенный матрос из Кронштадта *125*

Гусин, заведующий женским штрафным изолятором на Большом Заяцком острове *93, 108*

Д

Давиденко, лагерный фельдшер *622–623*

Далер [Даллер] Владимир Вильгельмович (1875 – 17 ноябрь 1923), полковник, с 1918 г. воевал в рядах РККА, в 1919 г. был включен в список Генштаба РККА. По свидетельству Б. Н. Ширяева, был застрелен по прибытии этапа на Соловках, однако в статье, помещенной на страницах лагерного журнала, тот же автор сообщает о гибели на Соловках полковника Генштаба Далера Василия Александровича (2 февраля 1875 – 2 февраля 1925)[3]. По свидетельству его жены О. Е. Далер, умер на Соловках 2 февраля 1925 г. *207, 210, 330–331*

Даллин (Далин) Давид Юльевич (наст. фам. Левин) (1889 – 21 февраля 1962), социал-демократ. Один из составителей сборника «Принудительный труд в Советской России» (1947). В эмиграции с 1921 г. *132–133*

Дамберг, возможно, имеется в виду деятель ВЧК Г. О. Дамберг, уполномоченный петроградской Военно-следственной комиссии *601*

Дамиан Юрьегорский († 3 декабря 1633), преподобный *17*

Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885), ученый, идеолог панславизма *256*

Данте Алигьери (1265–1321), итальянский поэт *339*

Де Грие, литературный персонаж *243*

Дегтярев Владимир Николаевич (1884(6)– ?), любитель-ботаник, путешественник. В 1925 г. приговорен 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был сотрудником СОКа. В 1929 г. проходил «по делу о Кремлевском заговоре», что привело к увеличению срока заключения еще на 10 лет *102–103, 138*

Дедюлин Сергей Владимирович (р. 1950), один из составителей исторического сборника «Память» (1976–1982) *524*

Денбиньский Хенрик, поляк, расстрелян на Соловках *631*

Деникин Антон Иванович (1872 – 8 августа 1947), один из руководителей Белого движения. С октября 1918 г. главнокомандующий Добровольческой армией, с января 1919 г. главнокомандующий Вооруженными силами Юга России. В эмиграции с 1920 г. *371, 381*

Дерибас Иосиф (Осип) Михайлович (наст. имя и фам. Хосе Паскуаль Доминик де Рибас) (1749–1800), испанец, адмирал, находился на русской службе, руководил строительством порта и города Одесса *265*

Дерибас Терентий Дмитриевич (1883 – 28 июля 1938), председатель и комиссар юстиции Оренбургской следственной комиссии, сотрудник ВЧК, начальник политотделов нескольких дивизий РККА (1918), председатель Павлоградского ревкома и бюро РКП(б) (1920), организатор массовых расстрелов врагов Советской власти. В 1921–1927 гг. начальник Секретного отдела ВЧК–ГПУ–ОГПУ СССР. В 1929 г. переведен на Дальний Восток, с 1933 г. руководил строительством БАМа. Расстрелян *265–267, 271*

Дерковская Надежда Соломоновна (1884 – 15 сентября 1937), социалист-революционерка, мать Владимира Адольфовича Дерковского (1913 – 15 сентября 1937).

[3] См.: Соловецкие острова. – 1926. – № 5/6. С. 5.

Арестована в августе 1922 г., приговорена к трем годам лишения свободы и вместе с несовершеннолетним сыном отправлена на Соловки. После освобождения из лагеря сослана в Среднюю Азию. Расстреляна вместе с сыном *586*

Детердинг, литературный персонаж *223–224*

Дец Франчишек (ок. 1900–1926), сержант польской армии. Расстрелян на Соловках *606–608, 615–617, 631*

Джульетта, литературный персонаж *215, 238–239, 340*

Джунаид-хан (наст. имя Мухаммед Курбан Сердар) (1862(57) – 1938), глава туркестанских басмачей *520*

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877 – 20 июля 1926), советский государственный и партийный деятель, организатор ВЧК *51, 53, 65, 71, 76, 85, 113, 266, 296, 337, 386, 388, 390, 406, 432, 604, 663, 667*

Дианулис, сотрудник минского ГПУ *601*

Дмитрий Иванович Донской (1350–1389), святой благоверный, великий князь московский (с 1359 г.) и владимирский (с 1363 г.) *335*

Добкин Александр Иосифович (1950–1998), один из составителей исторического сборника «Память» (1976–1982) *524, 526*

Добровольский Сергей Александрович (1887–?), социалист-революционер. Арестован в октябре 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и вместе с женой Полиной Павловной Добровольской отправлен на Соловки, где работал библиотекарем в Савватьеве *590*

Долгорукие (Долгоруковы), княжеский род, подвергшийся гонениям во время правления императрицы Анны Иоанновны. В 1739 г. несколько Долгоруковых были казнены, в том числе Василий Лукич, находившийся в заточении в Соловецком монастыре *212*

Доманов Тимофей Николаевич (1887 – 16 января 1947), с 1918 г. воевал в рядах РККА. Во время Второй мировой войны перешел на сторону немцев, получил звание генерал-майора Вермахта, стал походным атаманом Казачьего Стана Главного управления казачьих войск Министерства восточных оккупированных территорий Третьего рейха. С 1944 г. воевал в Италии, в мае 1945 г. сдался войскам союзников. Казнен в Москве *355*

Дорэ Гюстав (1832–1883), французский художник *339*

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель *223, 256, 301, 333–334, 336, 464, 466*

Драго Николай Степанович, в 1926 г. вольнонаемный начальник лагерной санчасти *623–625, 628*

Драгун, братья-контрабандисты, один из них расстрелян за побег с Соловков *306–307, 646*

Дукис [Дукес] Карл Янович (Яковлевич) (1890–1966), в начале 1920-х гг. начальник Внутренней тюрьмы на Лубянке, с конца 1929 г. начальник тюремного отдела ГПУ, начальник Внутренней тюрьмы и комендант Бутырской тюрьмы *98, 529, 537*

Дуппор [Дупер, Дуппер] Жан (Иван) Георгиевич (1895 – не ранее 1960), с 1923 г. устроитель, а с 1925 г. начальник Верхнеуральского, затем поочередно Челябинского и Суздальского политизоляторов, а также Владимирского централа. Арестован в 1938 г., приговорен к трем годам лишения свободы за «преступление по должности» и отправлен в Новочеркасскую тюрьму, затем на колымские прииски. После освобождения из лагеря в феврале 1941 г. проживал в Челябинской области *534, 537*

Дягтирев, см. Дегтярев

Е

Евреинов (Евреинов-Павлов) Борис Сергеевич, белогвардеец, поэт. Арестован в апреле 1924 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был сотрудником лагерного театра и изданий.

После досрочного освобождения из лагеря в 1927 г. сослан в Сибирь *237, 261*

Егоров («Парижанин») Михаил, заключенный *232–237, 241–242, 249, 272–280, 327, 329*

Егоров-Лызлов Михаил Семенович (1888–?), социал-демократ. Арестован в июне 1923 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки, откуда по причине психического расстройства в июне 1924 г. переведен в Суздальский изолятор. Умер вскоре после освобождения из тюрьмы *142*

Ежов Николай Иванович (1895 – 4 февраля 1940), нарком внутренних дел СССР (1936–1938). Расстрелян *40, 212*

Езерская (Езерская-Вольф) Романа Давыдовна (1899 – 11 декабря 1937), секретарь Президиума ВЧК и коллегии ГПУ. С 1926 г. по 1932 г. находилась в польской тюрьме, после освобождения вернулась в Москву. С 1934 г. работала в Париже и Москве в качестве референта при Исполкоме Коминтерна. Расстреляна *101*

Екатерина II (1729–1796), российская императрица с 1762 г. *20, 213*

Елагин Дмитрий Петрович (1880–1937), юрист, сотрудник английского торгового представительства. Приговорен к лишению свободы «за шпионаж в пользу Англии» и отправлен в 1924 г. на Соловки. После освобождения из лагеря в 1928 г. сослан в Сибирь. Расстрелян *688–690*

Елеазар Анзерский († 26 января 1656), преподобный, основатель Свято-Троицкого скита *17*

Елизавета Петровна (1709–1761), российская императрица с 1741 г. *212*

Емельянов Борис, поэт. Отправлен в 1923 г. на Соловки, где был сотрудником лагерных изданий *231, 234–235, 248, 261*

Ермолаев Иван Алексеевич (1899–1994), участник кронштадтских событий 1921 г., автор воспоминаний о Соловках *122–124*

Ерухимович Шолом Израилевич (псевд. – Ковенский, Равдин, Равдин-Ерухимович) (1892 – 20 июля 1938), левый социалист-революционер. Арестован в 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Казахстан. Расстрелян *591*

Ершов, заключенный матрос из Кронштадта *125*

Есенин Сергей Александрович (1895 – 28 декабря 1925), поэт. Летом 1917 г. посещал Соловки *229, 261*

Ж

Желябов Андрей Иванович (1851–1881), террорист *337*

Жерве, возможно, имеются в виду отправленные на Соловки в 1924 г. сроком на два года потомки защитника Севастополя времен Крымской войны Виктор Всеволодович и Николай Всеволодович Жерве. После освобождения из лагеря в ноябре 1925 г. братья были сосланы в Новгородскую область *107*

Жмудь Давид Абрамович (1898 – не ранее 1941), социал-демократ. Арестован в марте 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки. В 1925 г. переведен в Верхнеуральский изолятор *188*

Жолнаревич, поляк, погиб на Соловках *631*

Жолнерович Владислав Ипполитович (1885–1937), католический священник. Арестован в феврале 1927 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После досрочного освобождения из лагеря в мае 1930 г. сослан в Красноярск. По возвращении в Смоленск был настоятелем костела. Вновь арестован в 1931 г., сослан в Карлаг, где и скончался. *629*

Жорж Леон, куплетист, сотрудник лагерного театра *219, 236, 240–241*

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), поэт *314*

Журавский Стефан, поляк, расстрелян на материке *620, 631*

З

Заглоба, литературный персонаж *273*

Зайцев Иван Матвеевич (1879 – 22 ноября 1934), генерал, начальник штаба у атамана А. И. Дутова, в 1920 г. полномочный представитель атамана в Китае. В начале 1924 г., получив персональную амнистию, вернулся в Россию, но вскоре был арестован и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря в 1928 г. бежал в Китай. Автор воспоминаний о Соловках. Покончил жизнь самоубийством *226, 261–262, 636*

Замятин Николай Александрович (1900 – 5 октября 1937), социалист-революционер. В феврале 1924 г. приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян *546, 552–554, 562*

Зарин Владимир Георгиевич (1887 – 20 сентября 1938), с 1918 г. сотрудник ВЧК. На Соловки прибыл в феврале 1924 г., в 1929 г. назначен начальником IV отделения УСЛОНа (Соловки). Арестован в 1930 г. и приговорен к 10 годам лишения свободы «за преступно халатное отношение к выполнению обязанностей». В конце 1930-х гг. работал прорабом-строителем по гражданским сооружениям в Биробиджане. Расстрелян *623*

Засулич Вера Ивановна (1849 – 8 мая 1919), террористка *337, 518*

Затмилова Галина Ивановна (1906–1982), социалист-революционерка *525*

Захаров Александр, заключенный боцман из Кронштадта *125, 129*

Захаровская, полька, расстреляна на материке *619*

Захваткин Александр Алексеевич (1900–?), гидробиолог. Арестован в 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был сотрудником СОКа. В декабре в 1927 г. после досрочного освобождения из лагеря получил право проживания на всей территории СССР *35*

Землячка Розалия Самойловна (урожд. Залкинд, по мужу Самойлова) (1876 – 21 января 1947), организатор массовых казней в Крыму в 1920–1921 гг. *69*

Зингер, возможно, имеется в виду социал-демократ Николай Григорьевич Зейлигер (Зелигер) (1904–1937). Арестован в апреле 1923 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря в 1926 г. сослан в Среднюю Азию *582*

Злиев, чрезвычайный уполномоченный ГПУ Горской АССР *346*

Зозуля, тифлисский чекист *337*

Зоил (IV в. до н. э.), древнегреческий философ *245*

Зосима († 17 апреля 1478), преподобный, один из основателей Соловецкого монастыря *14–15, 20, 49, 201–202, 204, 206, 333, 353, 383, 513*

Зубков, вольнонаемный надзиратель из лагерной команды надзора *68*

И

Иаков († 1614), преподобный, игумен Соловецкого монастыря (1581–1597) *17*

Иван III Васильевич (1440–1505), великий князь московский с 1462 г. *15*

Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584), великий князь московский и всея Руси, первый русский царь с 1547 г. *18, 322, 658–659*

Иваницкий (Василенко, Иваницкий-Василенко) Александр Алексеевич (1885 – не ранее 1937), социалист-революционер. Арестован в августе 1921 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки, где до осени 1924 г. был старостой проживающих в Савватьеве эсеров. В 1925 г. переведен в Суздальский политизолятор *142, 168, 170–*

171, 192, 558, 562, 566, 569–570, 574, 576, 579–581, 583, 585

Иванов, белогвардеец, сотрудник лагерной администрации *89*

Иванов, заключенный штрафного изолятора Кемперпункта *148*

Иванов, сотрудник лагерной администрации *612–613*

Иванов Борис Сергеевич (1890 (1900 ?)–5 августа 1937), социалист-революционер. Арестован в декабре 1920 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Усть-Цильму. Расстрелян *548, 574, 589–590*

Иванов Василий, имеется в виду заключенный Александр П. Иванов, активный сотрудник музея СОКа, автор многочисленных статей в газете «Новые Соловки» и монографии «Соловецкая монастырская тюрьма» *249–250, 252, 351*

Иванов (Иванов-Столбинский) Доминик Адольфович (1889(3)–?), католический священник. Арестован в январе 1927 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря в 1931 г. сослан в Онежский район Архангельской области, в сентябре 1932 г. выехал по обмену в Польшу *623*

Ивановский, поляк, расстрелян на материке *618*

Игумнов Константин Николаевич (1873 – 24 марта 1948), пианист, педагог *231*

Иероним, католический священник *275*

Изида, древнеегипетское божество *249*

Измайлович Александра Адольфовна (1878 – 11 сентября 1941), социалист-революционерка *521*

Иларион (Троицкий Владимир Алексеевич) (1886 – 28 декабря 1929), священномученик, архиепископ Верейский, викарий Московской епархии. В соловецком лагере был дважды: с января по июль 1924 г. в Кемперпункте, затем в течение года непосредственно на Соловках, откуда в июле 1925 г. переведен в Ярославский изолятор. В июне 1926 г. архиепископа вернули на Соловки, где пробыл до осени 1929 г., работая в лесничестве, сторожем биосада, вязчиком сетей на Филимоновской тоне. Умер от тифа в ленинградской пересыльной тюрьме при этапировании в алма-атинскую ссылку. Прославлен на Архиерейском Соборе РПЦ, проходившем 13–16 августа 2000 г. *106, 138, 322–326, 351, 397, 401–402, 712–715*

Илгу, возможно, имеется в виду католический священник Викентий Адамович Ильгин (1886 – 24 августа 1937). С октября 1926 г. находился на Соловках, с 1930 г. переведен на ББК, с 1932 г. – в Пинегу. В 1933 г. выехал по обмену в Литву, затем в Польшу *623*

Илиодор (Труфанов Сергей Михайлович) (1880 – февраль 1952), религиозно-политический деятель, находился в открытом конфликте со Святейшим Синодом. Был запрещен в служении, а после письменного отказа от Православия в 1912 г. расстрижен и исключен из монастыря. В эмиграции с 1914 г. *322–323*

Ильинский Игорь Владимирович (1880 – 10 декабря 1937), адвокат, лектор, ответственный по ликвидации библиотеки Румянцевского музея. В мае 1925 г. за свою поэму «Марксиада» приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян *686, 706–707*

Иннокентий (?), папа Римский, даритель Соловецкого монастыря *251*

Иоанн Дамаскин († 17 декабря 780), преподобный, богослов, литургист *329, 333*

Иов Ущельский († 18 августа 1628), преподобный *17*

Иоганн, см. Риттер

Иона († 18 ноября 1470), святитель, архиепископ Новгородский с 1458 г. *14*

Ионова Людмила Всеволодовна (1904 – не ранее 21 ноября 1937), студентка Ленинградского университета, дочь одного из первых русских

социалистов В.М. Ионова (1851 – 2 февраля 1922). Арестована в июне 1924 г. с другими членами сибирского землячества университета, приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки. В лагере, чтобы получить статус политзаключенной, вступила в ПСР. В 1925 г. переведена в Верхнеуральский политизолятор. Расстреляна *560–561*

Иринарх († 30 июля 1628), преподобный, игумен Соловецкого монастыря (1614–1626) *17*

Иринарх, соловецкий монах, скорее всего, монах Иринарх (Мишнев Иоанн Семенович) (1873–?), который в начале XX в. руководил работами по созданию судоходной канальной системы; после закрытия монастыря остался на Соловках *251, 330*

К

Кабир-Шах, см. Саид-Султан Кабир-Шах Кажк, псевдоним польского солдата. Приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки *602, 606*

Казимир III Великий (1310–1370), польский король с 1333 г. *273*

Казнаков Николай, возможно, имеется в виду штабс-ротмистр Николай Николаевич Казнаков (1895–ок. 1926), почти ослепший в результате ранения. Отправлен в феврале 1925 г. на Соловки, где душевно заболел *623*

Калакуцкий, заключенный морской офицер *703*

Калинин Михаил Иванович (1875 –3 июня 1946), советский государственный и партийный деятель, «всесоюзный староста» *383, 389, 434*

Калинка, заключенный *458–459*

Калиныч, литературный персонаж *334, 338*

Калугин, ссыльный чекист *65, 665–666, 668, 672*

Кальнишевский [Кольнышевский] Петр Иванович (1691–1803), последний кошевой Запорожской Сечи. В 1776 г. сослан на Соловки, где и скончался в возрасте 112 лет *213, 319*

Каляев Иван Платонович (1877 – 23 мая 1905), террорист *337*

Каменева Ольга Давы(и)довна (1883 – 11 сентября 1941), сестра Л. Д. Троцкого, жена Льва Борисовича Каменева (наст. фам. Розенфельд) (1883 – 25 августа 1936). Заведующая театральным отделом Наркомпроса (1918–1919). Расстреляна *379, 390*

Камшиев, князь, расстрелян в Тифлисе *375*

Кант Иммануил (1724–1804), немецкий философ *188*

Капралова Нина Ивановна, жена Б. Н. Ширяева *195*

Каралов, князь, расстрелян на материке *416*

Каралова, см. Чавчавадзе

Каратаев Платон, литературный персонаж *334, 338*

Карелиц Саул Борисович (1894 – не ранее 1933), социал-демократ. Арестован в октября 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В 1925 г. переведен в Тобольский политизолятор *172*

Карпов Георгий Иванович (1890 – 31 марта 1947), советский государственный и партийный деятель, историк, этнограф *520*

Карпов Евтихий Павлович (1857 – 3 января 1926), режиссер народного театра *226*

Карпов, управляющий театрами *405*

Касаткин Леонид Леонидович (1895 – 8 декабря 1937), социалист-революционер, выпускник художественного училища, товарищ министра просвещения в Дальневосточной республике. Арестован в октябре 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря в 1926 г. сослан в Фрунзе (с 1991 г. Бишкек). Расстрелян *188, 584*

Кассо Лев Аристидович (1865 – 9 декабря 1914), министр народного просвещения с 1911 г. *517*

Катанян [Катаньян] Рубен Павлович (1881 – 6 июня 1966), с 1917 г. заместитель начальника

политуправления РККА, заведующий агитпропом центрального аппарата РСДРП(б), организатор московской ЧК. С января по апрель 1921 г. глава внешней разведки РСФСР, с 1924 г. – помощник прокурора Верховного суда СССР П. А. Красикова, один из членов комиссии, посетившей Соловки в 1924 г. В 1938–1948 гг. и 1950–1955 гг. находился в заключении. С 1955 г. персональный пенсионер *32, 67, 98, 129, 143, 187, 296, 389, 410–412, 659*

Катаяма Сэн (1859 – 5 ноября 1933), деятель японского и международного коммунистического движения *113*

Катков Михаил Никифорович (1818–1887), публицист *334*

Катька, литературный персонаж *335*

Каутский Карл (1854 – 7 октября 1938), деятель немецкого и международного социал-демократического движения *160*

Каховская Ирина Константиновна (1888 – 1 марта 1960), социалист-революционерка *521*

Кац (Кацев), лагерный врач *623, 627–628*

Кац С. С., заключенный Каргопольлага *157*

Качалин Николай Михайлович (1900–?), чертежник. В 1923 г. за составление шаржа на Ленина и хранение антисоветских частушек приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был сотрудником лагерного театра *225, 242, 261*

Качоровский [Качаровский, Кочаровский] Георгий Трофимович (1896 – 19 декабря 1923), социалист-революционер, музыкант. Арестован в декабре 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы, отправлен в Пертоминск, затем на Соловки, где был убит в Савватьеве вместе с женой Е. Котовой *128, 174–176, 185, 558*

Квициński [Квициньский], польский коммунист, сотрудник администрации Холмогорского, затем Соловецкого лагеря *69–70, 381*

Кедров Михаил Сергеевич (1878 – 28 октября 1941), член специальной правительственной комиссии по расследованию злодеяний интервентов и белогвардейцев на Севере, один из ликвидаторов Соловецкого монастыря в мае 1920 г. Расстрелян *25*

Кейлис Иосиф (Осип) Яковлевич (1886(7)–?), социал-демократ. Арестован в апреле 1923 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки *188*

Керенский Александр Федорович (1881 – 11 июня 1970), премьер-министр Временного правительства и Верховный главнокомандующий. В эмиграции с 1918 г. *259, 517*

Керзон Джорж Натаниел (1859 – 2 марта 1925), английский государственный деятель, автор меморандума Советскому правительству в 1923 г. *374*

Кизеветтер Александр Александрович (1866 – 9 января 1933), историк. В эмиграции с 1922 г. *335*

Кипарский Валентин Юлиус Александр (1904 – 18 мая 1983), финский филолог *449*

Киплинг Редьярд (1865– 18 января 1936), английский писатель *446*

Кирилловский [Кириловский] Иван Иванович, начальник Кемперпункта *117–118, 148–149, 390, 417–419, 428, 430, 454, 608*

Киров Сергей Миронович (наст. фам. Костриков) (1886 – 1 декабря 1934), советский государственный и партийный деятель. Убит в результате покушения *224*

Киселев, социал-демократ *545*

Климов, сотрудник лагерного театра *222*

Климов, ссыльный чекист, до 1924 г. помощник коменданта Кемперпункта, начальник лагерной ВОХР *390*

Клингер А., офицер, автор воспоминаний о Соловках *11, 44–49*

Клыч Султан-Гирей (1880 – 16 января 1947), участник Белого движения, участник I Кубанского («Ледяного») похода Добровольческой армии (1918). Во время Второй мировой войны служил под началом

П. Н. Краснова. В 1945 г. сдался войскам союзников. Казнен в Москве *371*

Клюев Николай Алексеевич (1884 – октябрь 1937), поэт. Юношей подвизался на Соловках. Расстрелян *334*

Ключевский Василий Осипович (1841 – 25 мая 1911), историк *294*

Книга Василий Иванович (1883 – 19 мая 1961), советский военачальник *354*

Князев, заключенный вице-губернатор *686*

Ковалев И. Ф., регент кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону *715*

Коган Д. Я., теоретик марксизма, бывший начальник ЧК Закавказья, отправлен на Соловки на 10 лет *224, 234–236, 239, 249, 255–257, 260*

Коган Лидия Евсеевна (1901–1985), социал-демократка. В сентябре 1923 г. доставлена на Соловки из архангельской ссылки, осенью следующего года возвращена в Архангельск *162*

Козлов, социалист-революционер, в лагере душевно заболел и был вывезен на материк *552–554*

Козловский Эдвард, поляк, погиб на Соловках *631*

Кокошкин Федор Федорович (1871 – 7 января 1918), депутат 1-й Государственной Думы от партии кадетов, государственный контролер Временного правительства. Убит в Мариинской тюремной больнице, куда был перевезен из Петропавловской крепости *530*

Колокольцев, офицер, погиб на Соловках *679*

Колычевы, дворянский род *17*

Кольнышевский, см. Кальнишевский

Комарова-Некипелова Нина Михайловна (1937 – 11 апреля 2008), жена В. А. Некипелова *542*

Кондратенко (Кондратенков) Егор (Георгий) Никитич (1883 – 10 октября 1937), социалист-революционер. Арестован в марте 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян *188, 574, 585*

Кондратьев Лев Евгеньевич (1888–?), сенатский чиновник. Арестован в 1925 г. по «делу лицеистов», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был сотрудником лагерного театра *227, 314–319*

Конев, сотрудник лагерной охраны *325–326*

Коневский Владимир, возможно, имеется в виду Всеволод Александрович (Алексеевич) Каневский (1903–?). В 1924 г. с группой ленинградских студентов был отправлен на Соловки, где примкнул к эсерам, но вскоре вышел из коллектива и содержался на общем режиме в Кремле. После освобождения из лагеря сослан в Среднюю Азию *561, 563–564*

Кораблиха, содержательница притона, сотрудница лагерного театра *227, 301–302–305*

Кораллов, заключенный купец *611–612*

Корейша, индийский коммерсант, отправлен на Соловки «за шпионаж» *233, 235, 699*

Корелиц, см. Карелиц

Корнилов Н., акробатический танцор, сотрудник лагерного театра *231*

Коробков Виктор Михайлович (1886 – 26 июля 1938), социал-демократ. Арестован в апреле 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В 1925 г. переведен в Верхнеуральский политизолятор. Расстрелян *192*

Коротаев Алексей, один из составителей исторического сборника «Память» (1976–1982) *524*

Косаткин, см. Касаткин

Кострицын, заключенный генерал *342*

Котова [Котовская] Елизавета Ивановна (1898 (1900 ?) – 19 декабря 1923), социалист-революционерка. Арестована в июне 1922 г., приговорена к двум годам лишения

свободы и отправлена в Пертоминск, затем на Соловки, где была убита в Савватьеве *97, 128, 175–176, 185, 558*

Кох, немецкий коммерсант, отправлен на Соловки за «шпионаж» *110*

Кочаровский Г. Т., см. Качоровский

Кранихфельд Андрей Сергеевич (1902 – 20 июля 1938), социал-демократ *525*

Кранихфельд Виктория Сергеевна (1905–1983), социал-демократка *525*

Кранихфельд Людмила Сергеевна (1904 – 3 января 1990), социал-демократка *525*

Красавцев, сотрудник лагерного театра *222*

Красиков Петр Ананьевич (1870 – 20 августа 1939), с 1924 г. прокурор, с 1933 г. заместитель председателя Верховного суда СССР, один из членов комиссии посетившей Соловки в 1924 г. *32, 143, 530–531*

Красильников Николай Дмитриевич, возможно, имеется в виду Н. Д. Красильников (1870–?), бывший надворный советник Нижегородской губернии, инженер-технолог, контролер почты при таможне, член Александро-Невского братства. Арестован в июле 1922 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен в один из концлагерей Архангельской губернии *406–407*

Красин Леонид Борисович (1870 – 24 ноября 1926), с 1920 г. нарком внешней торговли РСФСР, полпред в Великобритании и Франции *98, 261, 662*

Красин, заведующий лагерной электростанцией *395*

Краснов Петр Николаевич (1869 – 16 января 1947), участник Белого движения, атаман Войска Донского и командующий белоказачьей армией. Во время Второй мировой войны начальник Главного управления казачьих войск Имперского министерства оккупированных Восточных территорий Германии. В 1945 г. сдался войскам союзников. Казнен в Москве *355*

Красовский Владимир, анархист, бежал из Пертоминского лагеря *136*

Красовский Никита Михайлович (1905–?), театральный режиссер. Арестован в марте 1925 г. по делу «фокстротистов», приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был сотрудником лагерного театра и изданий. После досрочного освобождения из лагеря в мае 1927 г. сослан в Среднюю Азию *227, 231, 234, 243, 312*

Креск, заместитель коменданта минского ГПУ *594, 597, 621*

Кречинский, литературный персонаж *316*

Кривенчик (Кривенчук) Виктор Иосифович (1898 – 16 сентября 1960), католический священник. В 1926 г. арестован за переход границы в 1920 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Сибирь. В 1932 г. вернулся в Польшу *623*

Кривош-Неманич [Кривач-Неманец] Владимир Иванович (186(?)–1942), профессор-лингвист, криптограф. Арестован в марте 1923 г., приговорен к высшей мере наказания, которая была заменена 10 годами лишения свободы, и отправлен на Соловки, где был сотрудником СОКа. После досрочного освобождения из лагеря в октябре 1928 г. вернулся в Москву и еще восемь лет работал в Наркомате иностранных дел. Умер в эвакуации в Уфе *107, 254–256, 399*

Кривякин, заключенный советский служащий *403*

Кромуль, глава лагерной цензурной части *66–67*

Крутлов, см. Шаховской

Кругляньский, заключенный минской тюрьмы *599–600*

Крывенчик, см. Кривенчик

Крыленко Николай Васильевич (1885 – 29 июля 1938), нарком юстиции РСФСР и СССР (1931–1938). Расстрелян *628*

Крюков Петр Акимович (1891–?), социалист-революционер. Арестован в марте 1921 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки. Досрочно освобожден из лагеря по состоянию здоровья в ноябре 1924 г. *97*

Кудеяр, литературный персонаж *319*

Кукин, комиссар СОП *54, 75*

Кулышев Степан, заключенный матрос из Кронштадта *125*

Кун Бела (1886 – 30 ноября 1939), деятель венгерского и международного коммунистического движения, организатор массовых казней в Крыму в 1920–1921 гг. *68–69, 113, 388*

Курбас Лесь (Александр) Степанович (1887 – 3 ноября 1937), театральный деятель, сотрудник лагерного театра. Расстрелян *36*

Курез-Шах, индус, отправлен на Соловки за «военный шпионаж» *110*

Куркин, заключенный матрос из Кронштадта *125*

Курчевский [Курчинский] Леонид Васильевич (1890 – 26 ноября 1937), ученый-конструктор в области вооружения и автомобилестроения, начальник Особого технического бюро Наркомтяжпрома. Арестован в 1924 г., приговорен к 10 годам лишения свободы за растрату казенных средств и отправлен на Соловки. После досрочного освобождения из лагеря в 1929 г. вернулся к проектированию оружия, в 1937 г. вновь арестован по обвинению «в создании неперспективных систем вооружений». Расстрелян *11, 101, 308, 630*

Кутозов, начальник лагерного отделения работ *625*

Кшижановский Юзеф, поляк, погиб на Соловках *631*

Кюммельмахер, ювелир, продавец лагерного продовольственного киоска *687–691*

Л

Лавров Петр Лаврович (1823 – 6 февраля 1900), идеолог революционного народничества *578*

Лазарь Четвородневный († I), святой *341*

Ланда, председатель Севзапгосторга *662*

Ланде Татьяна Михайловна (урожд. Придонова, по второму мужу Шестакова) (1897–1988), социалист-революционерка. Арестована в мае 1922 г., приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки. В 1925 г. переведена в Тобольский политизолятор *576, 579*

Ланде Моисей Самуилович (1896 – 8 сентября 1937), социалист-революционер. Арестован в октябре 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки. В 1925 г. переведен в Верхнеуральский политизолятор. Расстрелян *576*

Лаплас Пьер Симон (1749–1827), французский астроном *249*

Ларин, заведующий лагерной конюшней *395*

Лауниц, фон дер, генерал, отправлен на Соловки за «военный шпионаж» *109*

Лацис Мартын Иванович (наст. имя и фам. Ян Фридрихович Судрабс) (1888 – 20 марта 1938), идеолог Красного террора. Расстрелян *107*

Лебедев Леонид Яковлевич (1900–?), анархист. Арестован в феврале 1923 г., после приговора отправлен в Пертоминск, затем на Соловки, где был ранен в Савватьеве. В 1924 г. переведен в Кемь, в июне 1925 г. сослан в Сибирь *173*

Лебедев, сотрудник новороссийской ЧК, заведующий канцелярией в штрафном изоляторе на Секирной горе *91*

Левит, члены семьи, отправлены на Соловки за «вооруженный бандитизм» *107*

Левиц Абрам, надзиратель лагерной командировки в Исакове *610*

Левиц Исаак, надзиратель лагерной командировки в Исакове *610*

Ледницкий Александр Робертович (1866–1934), депутат 1-й Государственной Думы, руководитель Ликвидационной комиссии по делам Королевства Польского в марте 1917 г. Вернувшись в Польшу, занимался финансово-коммерческой деятельностью. Покончил жизнь самоубийством *228*

Лежава Андрей Матвеевич (1870 – 8 октября 1937), заместитель наркома внешней торговли РСФСР (1919–1922), нарком внутренней торговли СССР (1924). Расстрелян *662*

Лемешевский Михаил [Масуил] епископ, см. Мануил

Ленардович Мечислав, поляк, автор воспоминаний о Соловках *11, 594–595*

Ленин Владимир Ильич (наст. фам. Ульянов) (1870 – 21 января 1924), лидер партии большевиков, организатор октябрьского переворота *63, 130, 241, 256, 265–266, 295, 680*

Леонович, поляк, расстрелян на материке *619*

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891), литератор, монах *256*

Лепеша, балалаечник, сотрудник лагерного театра *222*

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт *266*

Лешчинский Александр, поляк, расстрелян на материке *620*

Лин, уголовник, командир лагерной роты *651*

Липиньский, лагерный врач *628*

Лисовский, поляк, погиб на Соловках *631*

Литвин Николай Кириллович (наст. фам. Евсеев) (1892(0)–?), журналист. Арестован в сентябре 1923 г. после возвращения из эмиграции, приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был сотрудником лагерных изданий и театра. После освобождения из лагеря сослан в Сибирь *111, 226, 232, 234, 238–239, 257, 260–261, 311*

Литвинов Максим Максимович (наст. имя и фам. Меер-Генох Моисеевич Валлах (Баллах)) (1876 – 31 декабря 1951), заместитель наркома по иностранным делам РСФСР и СССР (1921–1930) *111*

Лобанов, заключенный матрос из Кронштадта *125*

Лозина-Лозинский Владимир Константинович (1885 – 26 декабря 1937), священномученик, до ареста – настоятель университетского храма в Ленинграде. Арестован в 1925 г. по «делу лицеистов», приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Канонизирован на Архиерейском Соборе РПЦ, проходившем 13–16 августа 2000 г. *315, 688, 691*

Локис, заведующий лагерной хлебопекарней *63*

Лукашевич, поляк, погиб на Соловках *631*

Лукулл (ок. 117 – ок. 56 до н. э.), римский полководец *84*

Луначарский Анатолий Васильевич (1875 – 26 декабря 1933), нарком просвещения РСФСР (1917–1930) *226, 229, 318*

Лыков, командир СОП *54, 75*

Львова Мария Николаевна, сотрудница Красного Креста, врач в Кемперпункте *423–424*

Любаньский, возможно, имеется в виду католический священник Феликс Николаевич Любчинский (1886 – 17 ноября 1931). Арестован в апреле 1927 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где и скончался *629*

Любомирские, княжеский род *274*

Люксембург Роза (1871 – 15 января 1919), деятель немецкого и международного комму-

нистического движения. Убита в результате покушения *63*

М

[Мария] Магдалина (I), жена-мироносица, равноапостольная *305, 332*

Магог, библейский персонаж *335–336*

Майоров Илья Андреевич (1890 – 11 сентября 1941), социалист-революционер *521*

Макаров Степан Осипович (1849 – 13 апреля 1904), адмирал, полярный исследователь, кораблестроитель *308*

Макаров, профессор истории, скончался на Соловках *256*

Максим (Жижиленко Михаил Александрович), епископ Серпуховской (1885 – 4 июня 1931). Арестован в 1929 г., приговорен к пяти годам лишения свободы. В 1929-1930 гг. на Соловках, заведующий тифозным бараком. В 1930 г. срок увеличен на пять лет. В 1931 г. вывезен в Москву. Расстрелян *165*

Максимов, заключенный полицейский чиновник *702*

Максутов Дмитрий Петрович (1873–1938), князь, выпускник Пажеского корпуса, полковник. Приговорен в сентябре 1924 г. к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Сибирь *700*

Маливанов, см. Милованов

Малинович Антоний, сотрудник ГПУ *600–601*

Малкин Алексей Яковлевич (1886 – 1 февраля 1938), социал-демократ. Арестован в мае 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки. В 1925 г. переведен в Верхнеуральский политизолятор. Расстрелян *534*

Мальбродский Эдвард Карлович, участник группового побега из Кемперпункта *432–436, 439, 441–443, 446, 450, 471–472, 474–477, 479–480, 483, 489, 492, 494, 497–502, 504, 506*

Мальсагов Созерко Артаганович (1893 – 25 марта 1976), офицер, участник группового побега из Кемперпункта, автор воспоминаний о Соловках *306, 364–369, 446, 450, 467, 469–477, 479–482, 485, 487–489, 493–495, 497, 500–503, 505–506*

Малюта Скуратов, опричник *18*

Маляж Владислав, заключенный поляк *631*

Мамай Иван Иванович (1899–?), анархист-синдикалист. В 1923 г. отправлен на Соловки, где вскоре вышел из коллектива. После освобождения из лагеря в январе 1924 г. сослан в Сибирь *126*

Мамонов (ок. 1900–?), ссыльный чекист, сотрудник лагерной администрации *390, 418*

Мамулов (Мимулов), социал-демократ, отправлен на Соловки, где содержался в Савватьеве *412*

Манилов, литературный персонаж *334*

Маннергейм Карл Густав Эмиль (1867 – 28 января 1951), барон, генерал русской и финской армий, президент Финляндии (1944–1946) *664*

Манон Леско, литературный персонаж *243*

Мануил (Лемешевский Виктор Викторович) (1884 – 12 августа 1968), митрополит. Арестован в сане епископа Лужского, викария Петроградской епархии в феврале 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы по делу о «православных братствах» и отправлен на Соловки. В лагере работал библиотекарем, входил в комиссию по вскрытию мощей, сотрудничал с СОК, в июне 1926 г. вместе с другими заключенными архиереями принимал участие в составлении «Памятной записки соловецких епископов». При освобождении из лагеря был задержан в Кемперпункте в связи с попыткой вывезти рукопись и вместо Архангельска доставлен в Москву. Неоднократно подвергался арестам. Окончательно освобожден в декабре 1955 г. *106, 138, 402*

Манфред, литературный персонаж *336*

Манька Длинная, заключенная *302*

Маракулин Аркадий Иванович (1865–?), священник из с. Вах(р)ушево Вятской губернии. Арестован в сентябре 1924 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Казахстан *713*

Марк Аврелий (121–180), римский император, философ *334*

Маркелл († 4 апреля 1663), святитель, архиепископ Вологодский и Белозерский, игумен Соловецкого монастыря (1640–1645) *17*

Маркс Карл (1818–1883), теоретик коммунизма *63, 189–191, 577–578*

Мартиан, монах, составитель списка Соловецкой братии в 1929 г. *33*

Мартинелли [Мартынели] Арвид Яковлевич (1900 – 5 февраля 1938), с июля 1926 г. заместитель начальника УСЛОНа, в начале 30-х гг. переведен в Вишерский лагерь, в 1937 г. один из руководителей Дальлага. Расстрелян *623*

Мартов Лев (наст. имя и фам. Юлий Осипович Цедербаум) (1873 – 4 апреля 1923), лидер партии меньшевиков. В эмиграции с 1920 г. *160, 517–518*

Мартынов Владимир, заключенный матрос из Кронштадта *125*

Мартынов Р., сотрудник «Нового журнала» *635–637*

Марфа-посадница, см. Борецкая

Марченко Анатолий Тихонович (1938 – 8 декабря 1986), правозащитник *524, 527*

Массовер Марк Соломонович (ок. 1902 – 14 июля 1938), социал-демократ, Муж Т.А. Поповой. Арестован в апреле 1923 г., приговорен к трем годам ссылки, которые позже были заменены двумя годами концлагерей, и отправлен на Соловки. Расстрелян *564*

Мах Эрнст (1838 – 19 февраля 1916), австрийский философ *548*

Махно Нестор Иванович (1889 – 16 июля 1934), анархист, в 1918–1921 гг. предводитель Революционной повстанческой армии Украины. В эмиграции с 1921 г. *405*

Маяковский Владимир Владимирович (1893 – 14 апреля 1930), поэт *261, 253*

Медведь, возможно, имеется в виду Филипп Демьянович Медведь (1889(90) – 27 ноября 1937), председатель ГПУ при СНК Белорусской ССР (1924–1925). Расстрелян *594, 601*

Межеевский, один из руководителей польской коммунистической секции в Минске *595*

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874 – 2 февраля 1940), театральный деятель. Расстрелян *85, 226, 234*

Мекк Николай Карлович, фон (1863 – 22 мая 1929), барон, представитель «железнодорожной» династии. Арестован в 1929 г. как участник «контрреволюционной вредительской организации Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) и на железных дорогах СССР». Расстрелян *231*

Мельпомена, греческая богиня театра *224*

Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874 – 10 мая 1934), председатель ОГПУ СССР с 1926 г. *101*

Менуэль, заключенный субалтерн-кавалерист *404*

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866 – 9 декабря 1941), писатель. В эмиграции с 1920 г. *332*

Мерхалёв [Мерхелёв] Дмитрий Николаевич (1888 – не ранее 1937), социалист-революционер. Арестован в мае 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где содержался на Большой Муксалме. После освобождения из лагеря сослан в Свердловск *123*

Мерцалов, заключенный *245–247*

Мессалина, жена римского императора *332*

Мещеринов Иван Алексеевич, воевода, руководил осадой монастыря в последние два года Соловецкого сидения (1668–1676) *19, 204–205, 262, 322*

Миллер Евгений Карлович (1867 – 11 мая 1938), один из руководителей Белого движения. С января 1919 г. генерал-губернатор, фактически глава «Временного правительства Северной области». С 1920 г. в эмиграции. Руководитель РОВСа (1930–1937). В сентябре 1937 г. похищен советской разведкой в Париже, доставлен в Москву и расстрелян во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке *49, 76, 82, 384, 393, 446*

Милованов [Маливанов, Малеванов], стоматолог из Москвы, сотрудник ARA. По обвинению в «экономическом шпионаже» заключен на Соловки, где был сотрудником лагерного театра[4] *89–90, 138, 227, 312, 329, 405, 425*

Мимулов, см. Мамулов

Минич, поляк, отправлен на Соловки за переход советской границы *404*

Минский, возможно, имеется в виду анархист А. И. Минский, автор поэтического сборника «Мировая скорбь. Венок сонетов» (1919) *126*

Митрофан (Федор (Василий) Васильевич Гринев) (1873 – 17 февраля 1938), епископ Арзамасский, викарий Горьковской епархии. Арестован в сане епископа Аксайского, викария Донской епархии в января 1923 г. в Ростове-на-Дону и перевезен в Москву вместе с проходящими по одному с ним делу священниками о. Павлом Чехрановым, о. Алексеем Трифильевым и протодьяконом Дмитрием Новочадовым. Приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Архангельск, затем на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Ульяновскую область. Расстрелян *711, 714*

Михаловский Здислав, поляк, погиб на Соловках *631*

Михельсон, возможно, имеется в виду Артур Иванович Михельсон (1898–?), который в начале 1920-х гг. был председателем «тройки» особого отдела ВЧК 4-й армии и Крыма Южного фронта, а в конце 1930-х – нарком внутренних дел Крымской АССР. Однако в известном послужном списке этого человека нет упоминаний о его пребывании на Севере России *68–70, 136, 388, 667–668, 672*

Михневич Сергей Владимирович (1887–?), арестован в апреле 1925 г. по «делу лицеистов», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря в январе 1929 г. сослан в Нижний Новгород *102*

Могилевский Соломон Григорьевич (1895 – 22 марта 1925), с 1919 г. сотрудник московской ЧК, участник ликвидации заговора левых социалист-революционеров. В 1921–1922 гг. начальник Иностранного отдела ГПУ (внешней разведки), с 1922 г. председатель Закавказского ГПУ. Погиб в авиакатастрофе *374*

Моисейко («Петлюра»), главарь банды *398*

Моргулис, бухгалтер ЧК, комендант женского изолятора на Большом Заяцком острове *215*

Морозиха, содержательница заведения *335*

Морозов М., один из ликвидаторов Соловецкого монастыря в мае 1920 г.

Москвин Иван Михайлович (1874 – 16 февраля 1946), актер *299*

---

[4] М. М. Розанова сообщает о том, что дантист-«шпион» Ганс Милованов «содержался на Соловках и в 1932 году. Пломбируя мне зуб, Милованов открыто так разносил большевизм и власть, как после мне не доводилось слыхать в других лагерях до самой войны с Германией» . Возможно, имеется в виду, значащийся в базе данных общества «Мемориал», арестованный в январе 1952 г., проживавший тогда в Северо-Казахстанской ссылке стоматолог Яков Юльевич Ганц-Милованов (1890–?)

Мотис [Мотисен], эстонец. Арестован после посещения Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 г. за «экономический шпионаж» и отправлен на Соловки *109, 416*

Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791), австрийский музыкант *243*

Мочалов Павел Степанович (1800–1848), актер *221*

Мундиго Ирма, первая жена А. Шауфельбергера *634*

Муравский Владислав, поляк, погиб на Соловках *631*

Муранова [Муралова] Прасковья Григорьевна (1896 – 8 октября 1937), социалистка-революционерка. Арестована в мае 1922 г., приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки. После освобождения из лагеря сослана в Оренбургскую область. Расстреляна *567, 577, 579*

Мурачевкий Станислав, поляк, погиб на Соловках *631*

Муромцев Сергей Андреевич (1850 – 17 октября 1910), юрист *294*

Мусоргский Модест Петрович (1839–1881), композитор *336*

Муссолини Бенито Амилькаре Андреа (1883 – 28 апреля 1945), глава Национальной фашистской партии Италии и правительства *229*

Мухранский, князь, расстрелян в Тифлисе *375*

Мыльников В., офицер, отправлен на Соловки по делу Преображенского полка *219*

Мышеловины, братья-часовщики, отправлены на Соловки за фальшивомонетничество *406*

Мюге Сергей Георгиевич (1925–?), правозащитник. В эмиграции с 1973 г. *542*

Мясников, помощника командира трудового полка Кемперпункта *432*

Н

Набу-Корейша, см. Корейша

Назарьев Михаил Федотович (Федорович) (1879–1935), деятель заграничных организаций меньшевиков между двумя революциями. В 1917 г. вернулся в Россию. Арестован в 1922 г. приговорен к трем годам ссылки в Архангельске. Скончался в ссылке *162*

Незнамов, литературный персонаж *244*

Наполеон I Бонапарт (1769–1821), французский император (1804–1815) *249*

Наполеон III Бонапарт (1808–1873), президент Французской республики (1848–1852), французский император (1852–1870) *191*

Напольский Роман Марьянович (1899–1925), студент-медик Варшавского университета. Отправлен в октябре 1923 г. на Соловки, где был расстрелян *113, 606–607, 615–618, 623, 631*

Неверов Н. Г., начальник лагерной КВЧ *224, 234, 256, 339*

Неймарк (Наймарк) Валентин Людвигович (1891–1934), социал-демократ. Арестован в феврале 1921 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловках. В 1925 г. переведен в Верхнеуральский политизолятор *536*

Некипелов Виктор Александрович (1928 – 1 июля 1989), правозащитник *542*

Некрасов Митрофан Иванович (? – ок. 1969), учитель биологии одной из кубанских гимназий, в 1923 г. отправлен на Соловки, где был сотрудником СОКа *35, 252–253*

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1878), писатель, публицист *334*

Нектарий (Трезвинский Нестор Константинович) (1889 – 8 сентября (2 августа) 1937), епископ Яранский, викарий Вятской епархии. Арестован в мае 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря в 1927 г. сослан в Казань.

Повторно арестован в августе 1930 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и спустя два года вновь отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря во второй половине 1930-х гг. сослан в Казахстан. Расстрелян *713–714*

Неманиц, см. Кривош-Неманич

Нестеров Михаил Васильевич (1862 – 18 октября 1942), художник. Летом 1901 г. посещал Соловки *200, 318*

Несчастливцев, литературный персонаж *224*

Никифор (Кучин Николай Иванович) (? – 17 апреля 1928), преподобномученик, иеромонах *23*

Никодим («Утешительный поп»), заключенный священник *276–293, 304, 341, 343–344, 348, 350*

Николаев, купец, отправлен на Соловки за «вооруженный бандитизм» *107*

Николаев, студент-медик, бежавший из Кемперпункта *430–432*

Николаевский Борис Иванович (1887(4) – 22 февраля 1966), социал-демократ. Один из составителей сборника «Принудительный труд в Советской России» (1947). В эмиграции с 1922 г. *132–133*

Николай, священник *355*

Николай I Павлович (1796 – 2 марта 1855), российский император с 1825 г. *213*

Николай II Александрович (1868 – 17 июля 1918), страстотерпец, российский император (1894–1917). Расстрелян вместе с членами семьи в Екатеринбурге *102, 344, 403*

Николай Мирликийский (ок. † 345), святитель *22*

Никон, соловецкий иеромонах *202*

Никон (Минов Никита) (1605–1681), российский патриарх (1652–1666), в 1633 г. был подстрижен монашество в Свято-Троицком скиту на Анзере преподобным Елеазаром *11, 18, 204–205, 322*

Нобели, основатели российской нефтяной кампании «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» (1879–1920) *635*

Новиков, сотрудник администрации Холмогорского, затем Соловецкого лагеря *68, 120*

Новиков Константин Андреевич (1889 – 25 декабря 1937), социалист-революционер, брат Е. А. Новиковой *520–521*

Новикова Вера Андреевна, сестра Е. А. Новиковой *523*

Новикова Елена Андреевна (1904–?), жена Д. М. Бацера *520–523*

Новицкий, заключенный инженер *403*

Ногтев Александр Петрович (1892–1947), балтийский матрос, с 1921 г. начальник Управления Северных лагерей. В 1923–1930 гг. (с перерывом в 1928–1929 гг.) начальник УСЛОНа. В 1930 г. вышел на пенсию, жил в Москве, в 1932–1938 гг. работал управляющим трестом «Мосгортопа». Арестован в сентябре 1938 г., приговорен к 15 годам лишения свободы, отправлен в Норильсклаг, с 1944 г. переведен на поселение в Красноярском крае. Окончательно освобожден в декабре 1945 г. в связи с тяжелой болезнью *27, 45, 53–55, 59, 61, 63–64, 66–67, 70–72, 74–75, 81, 83, 85, 92, 96–97, 114, 135–137, 140–142, 165, 169, 176–177, 182, 184–187, 203–205, 208–212, 214, 255, 293, 331, 338–339, 346, 385–386, 410–412, 417, 419, 422–423, 428–430, 558–559, 608, 616–617, 623, 678, 691–692, 697*

О

О-ский, князь, капитан, сотрудник лагерного театра *237*

Оболенский Н., князь *623*

Овчинников Василий, купец, сотрудник лагерного театра *222, 272–279*

Огнивцев (Агнивцев) Николай Яковлевич (1888 – 29 октября 1932), писатель. В 1921–1923 гг. жил за границей, затем вернулся в СССР *232*

Озирис, древнеегипетское божество *249*

Олицкая Лидия Петровна (урожд. Халютина) (1867–1919), мать Е. Л. Олицкой *540*

Олицкая Екатерина Львовна (1899–1974), социалист-революционерка, автор воспоминаний о Соловках *155, 180, 525, 540–542*

Олицкий Дмитрий Львович (1905–1937), брат Е. Л. Олицкой *540–541, 587*

Олицкий Лев Степанович (1860–1931), отец Е. Л. Олицкой *540, 571, 587*

Ольга (Псковская) (в крещении Елена) († 969), святая равноапостольная княгиня *335*

Орджоникидзе Григорий Константинович (1886 – 18 февраля 1937), советский государственный и партийный деятель *224*

Осипов, заключенный инженер *405*

Основа, ротный командир в Кемперпункте *467–468*

Оссовский [Осовский] Владислав Адамович (1894–1935), социал-демократ.Приговорен в 1923 г. к двум годам заключения в концлагерь и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки. В ноябре 1924 г. переведен в Кемь, в марте 1925 г. сослан в Архангельскую область. Умер в ссылке *155, 162*

Остен-Сакен Максимилиан Владимирович (1895 – 23 июня 1926), барон. Арестован в 1925 г. по «делу лицеистов», приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был расстрелян «за попытку к бегству» *102*

Отен, заключенный, исполнитель смертных приговоров *328–329, 332–333*

П

Павел I Петрович (1754–1801), российский император с 1796 г. *669*

Павлов Николай Иванович, управляющий делами на Соловках *395*

Павловский М.А., возможно, имеется в виду социалист-революционер Моисей Леонтьевич Павлоцкий (1889–?). Арестован в апреле 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки *174*

Паисий Величковский († 28 ноября 1794), преподобный *20–21*

Панин Иван С., уголовник, куплетист, один из основателей театра в Ордынском лагере в Москве, сотрудник лагерного театра *222, 243–245*

Паннвиц [Панневиц] Гельмут, фон (1898 – 16 января 1947), германский военачальник, Верховный Походный Атаман Казачьего Стана, группенфюрер СС. В 1945 г. сдался войскам союзников. Казнен в Москве *355*

Парнок Борис, поэт *229*

Пастернак Борис Леонидович (1890 – 30 мая 1960), поэт *324*

Пепеллевский, генерал, помощник старшины в Кемперпункте *712*

Перепелкин Петр Михайлович (1891–1921), член ревкома мятежного Кронштадта. Расстрелян *125*

Перовская Софья Львовна (1853–1881), террористка *336*

Петерсон, следователь из Минска *597–601*

Петр (Полянский Петр Федорович) (1862 – 10 октября 1937), священномученик, митрополит Крутицкий, Местоблюститель Патриаршего Престола, с конца 1925 г. находился в заключении. Расстрелян. Прославлен на Архиерейском Соборе РПЦ, проходившем 13–16 августа 2000 г. *107*

Петр I Алексеевич (1672–1725), российский император с 1721 г. *19–20, 203, 310–313, 659*

Петр II (1715–1730), российский император с 1727 г. *212*

Петр Пустынник (Петр Амьенский), аскет, организатор 1-го Крестового похода *333*

Петр, архиепископ, возможно, имеется в виду Петр (Соколов Павел Иванович) (1863 –

16 мая 1937), архиепископ Воронежский. Арестован в 1923 г. в сане епископа Вольского, викария Саратовской епархии, приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря в октябре 1926 г. сослан в г. Кирсанов. Скончался в заключении *106, 138, 379, 402, 686–687*

Петр, епископ Тамбовский *92, 106, 138*

Петр, соловецкий монах *341–342*

Петров Павел Гаврилович, командир СОП *76, 99, 213, 237*

Петров, крупье *379*

Петрова дочь, см. Елизавета Петровна

Петровский, поляк, погиб на Соловках *631*

Петровский, социал-демократ *544*

Петряев Павел Александрович (1892–?), в 1920–1921 гг. командующим войсками Московского округа. На Соловках заведовал музеем СОАОКа (1926–1927), в 1926 г. был заместителем редактора газеты «Новые Соловки». После освобождения из лагеря организовывал звероводческие совхозы, занимал кафедру звероводства во Всесоюзном зоотехническом институте пушно-сырьевого хозяйства, был директором зооцентра, писал книги по звероводству *257–258, 260*

Пешкова Екатерина Павловна (1876–1965), первая жена А. М. Горького, председатель организации «Е. П. Пешкова. Помощь политзаключенным» *95, 399, 409, 519, 541, 556*

Пивоваров, сотрудник лагерной канцелярии *711*

Пик, деятель минского ГПУ *601–602, 621*

Питирим (Крылов Порфирий Семенович) (1895 – не ранее 10 августа 1937), архиепископ Велико-Устюжский. Арестован летом 1923 г. в Казани, где в сане игумена был настоятелем Иоанно-Предтеченского монастыря; приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В лагере заведовал продуктовым складом, в помещении которого проходило обсуждение «Памятной записки соловецких епископов». Значится в расстрельном «сталинском списке» от 10 августа 1937 г. *106–107, 138, 402*

Питирим, литературный персонаж *202*

Платон, соловецкий монах *610*

По Эдгар Аллан (1809–1849), американский писатель *332, 337*

Подбельский Юрий Николаевич (псевд. – Николай Михайлович Норинский, Н. М. Коноплев) (1886 – 15 января 1938), социалист-революционер, брат наркома почт и телеграфов РСФСР Вадима Николаевича Подбельского (1887 – 25 февраля 1920). Арестован в сентябре 1922 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря был переведен в Тобольск. Расстрелян *585*

Позов, начальник следственного отделения лагеря *608*

Полетика Елена Константиновна (1896 – 2 декабря 1934), социалист-революционерка. Приговорена в 1923 г. к двум годам лишения свободы и отправлена на Соловки, где вышла замуж за эсера М. С. Цетлина. После освобождения из лагеря сослана в Киргизию. Умерла в ссылке *155*

Поливцев Трофим Григорьевич, заключенный *712*

Поляков Григорий Иванович (1876 – 4 апреля 1939), орнитолог. Арестован в 1927 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был сотрудником СОКа *35*

Попляк Лев Файвелович (ок. 1884 – не ранее 12 сентября 1938), бундовец. Арестован в июне 1923 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где содержался в Савватьеве и на Анзере. В июне-июле 1925 г. числился в списках Бутырской тюрьмы. Расстрелян *186*

Попов [Попов Д. И.] Всеволод Иванович (1897 – 4 января 1924), социалист-революционер. Арестован в августе 1922 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки, где был убит в Савватьеве *128, 174–176, 178, 187*

Попов Николай Николаевич, помощник коменданта лагеря по хозяйственной части *72, 148, 415, 418–419, 428–429*

Попов Павел Иннокентьевич, заключенный вице-губернатор *668*

Попов Степан Кузьмич (1893–1941), председатель Исполнительного комитета Архангельского губернского Совета, один из ликвидаторов Соловецкого монастыря в мае 1920 г. Умер в ссылке *25*

Попова Таисия Александровна (1905 – 4 сентября 1937). Арестована в апреле 1924 г. вместе с группой ленинградских студентов, приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки, одно время содержалась на Кондострове. После освобождения из лагеря в 1925 г. сослана в Среднюю Азию. Расстреляна *560–561, 563–564*

Потресов Александр Николаевич (1869 – 1 июля 1934), один из основателей РСДРП *518*

Правоторов, комендант лагерного отделения на Кондострове *390*

Пржевальский Е. И., военный инженер. В 1923 г. приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки *712*

Приблудин Василий, участник группового побега из Кемперпункта *434–436, 446, 450, 476, 478–481, 494, 500–502, 504*

Приклонский [П-й], историк, возможно, имеется в виду, заключенный на Соловках в 1924–1927 гг. офицер Преображенского полка Александр Петрович Приклонский (1882 – 16 августа 1937). Расстрелян *248, 250–251, 256, 264*

Примак Иван Юлианович (1890 – не ранее 1937), социалист-революционер. Арестован в мае 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В связи с болезнью в октябре 1924 г. переведен из лагеря в Бутырскую больницу *546–547, 549, 551, 563–565, 569–573*

Пронин Борис Константинович (1875 – 29 октября 1946), организатор литературно-художественных кабаре *229*

Прудон Пьер Жозеф (1809–1865), теоретик анархизма *190*

Пугачев Емельян Иванович (1742–1775), донской казак, предводитель Крестьянской войны 1773–1775 гг. *513*

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт *225, 294, 313–314*

Р

Рабинович Болеслав Исаакович (1930–?), музыковед-фольклорист *523*

Радин [Радинт] Владимир Евгеньевич (1903–?), социалист-революционер. Арестован в сентябре 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки. В 1925 г. переведен в Верхнеуральский политизолятор *586*

Радко Н., пианист, сотрудник лагерного театра *231*

Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630 – 1671), донской казак, предводитель Крестьянской войны 1670–1671 гг. *513*

Райва И., ссыльный чекист, начальник лагерного отделения на Кондострове *239, 339, 346, 628*

Раскольников, литературный персонаж *333, 336*

Расплюев, литературный персонаж *226*

Распутин Григорий Ефимович (1873 – 30 декабря 1916), человек из окружения царской семьи. Убит в результате покушения *303–304, 517*

Рассказов Матвей, заключенный матрос из Кронштадта *125*

Рафаил (Гумилевский Георгий Петрович) (1871 – 6 января 1938), епископ Александровский, викарий Ставропольской епархии. Арестован в марте 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где в июне 1926 г. вместе с другими архиереями принимал участие в составлении «Памятной записки соловецких епископов». После освобождения из лагеря сослан на Урал. Расстрелян *713*

Рахман, возможно, имеется в виду мусаватист Рахман Абдул-Рахман-оглы, с 24 апреля 1924 г. по 24 апреля 1927 г. находившийся на Соловках. После освобождения из лагеря сослан в Ишим *222*

Рахманинов Сергей Васильевич (1873 – 28 марта 1943), композитор, пианист, дирижер. В эмиграции с 1917 г. *227*

Рашковский (Рожковский) Иван Григорьевич (1892 – не ранее 1957), социал-демократ. Арестован в марте 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В 1925 г. переведен в Тобольский политизолятор *188, 192*

Рейво Хаим, см. Райва

Реммер (Ремер) Андрей Константинович, с 1924 г. заведующий лагерным кирпичным заводом. После освобождения из лагеря сослан в Сибирь *622*

Реминсон, сотрудник лагерной охраны *610, 612–613*

Репин, лагерный фельдшер *624*

Решад-Седад Решадович, турок из Константинополя, педагог, журналист. В 1921 г. эмигрировал в Россию. В июле 1924 г. приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Сибирь *272–279, 304*

Решевский, полковник, управляющий лагерной кухней *395*

Риттер фон Рикперт дер Гельбензандт Иоганн Ульрих, заключенный немецкий барон *273–279*

Рихтер Владимир Николаевич (псевд. – Александр Давыдович Писаревский) (1880 – 6 ноября 1932), социалист-революционер. В 1923 г. приговорен к смертной казни, как организатор покушения на Ленина, однако расстрел был заменен 10 годами концлагерей. Умер в ссылке *546, 584–585*

Ришельё Арман Жан Дюплесси (1585–1642), герцог, французский государственный деятель, кардинал *265*

Рогинский Арсений Борисович (р. 1946), правозащитник *523, 525–526*

Роганов Петр Митрофанович, начальник технического бюро УСЛОНа *70–71, 387*

Рогожин, литературный персонаж *230*

Розанов Михаил Михайлович (1902–1989), писатель, автор воспоминаний о Соловках. В эмиграции с 1945 г. *31, 34, 217, 220*

Розенталь, комендант лагеря *128, 170, 177*

Рокамболь, литературный персонаж *244*

Романов Сергей Александрович (1857 – 17 февраля 1905), великий князь *634*

Романова Татьяна, анархистка, бежала из Пертоминского лагеря *136*

Романовы, царская династия *17*

Ромео, литературный персонаж *215, 238–239*

Россе Алиса Антуанетта, жена А. Шауфельбергера *634–635*

Рубинштейн Владимир Осипович (1904 – 1 мая 1993), социал-демократ, автор воспоминаний о Соловках *153, 180–183*

Рубинштейн Н., танцор, сотрудник лагерного театра *231*

Рубинштейн Яков Леонтьевич (1896 – 21 августа 1937), социалист-революционер. Арестован в октябре 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки. Расстрелян *584*

Рубчиньская Хелена, польская заключенная. Выслана в Польшу *620*

Русаков Георгий Сергеевич, поэт. В 1924 г. приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был сотрудником лагерных изданий. После освобождения из лагеря сослан в Краснококшайск (с 1928 г. Йошкар-Ола) *261*

Рыбакова Вера Владимировна (1900 – не ранее 1990), социал-демократка *523, 525, 543–544*

Рыков Алексей Иванович (1881 – 15 марта 1938), нарком внутренних дел РСФСР (1917), председатель СНК (1924–1930). Расстрелян *164–165*

Рыскинд, начальник лагерной командировки в Исакове *610*

Рюмин Александр Николаевич (1894–?), социалист-революционер. Арестован в феврале 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Усолье *171–172*

Рязанов Давид Борисович (наст. фам. Гольдендах) (1870 – 21 января 1938), основатель Института Маркса и Энгельса (ИМЭ), академик АН СССР. Расстрелян *261, 530*

С

Саблинский Юзик, заключенный минской тюрьмы *600–601*

Савватий († 27 сентября 1435), преподобный, один из основателей Соловецкого монастыря *13–15, 49, 202, 206, 312, 353, 383, 639, 674*

Савинков Борис Викторович (псевд. – В. Ропшин) (1879 – 7 мая 1925), один из руководителей Боевой организации ПСР. Арестован в 1924 г., погиб в тюрьме при невыясненных обстоятельствах *403, 405*

Савинов, заключенный *403*

Савинский Иосиф Болеславович (1880 – не ранее 1939), католический священник. Арестован в марте 1927 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. С 1931 г. содержался на Анзере, проходил по групповому делу католического духовенства. После освобождения из лагеря в июле 1932 г. вывезен в Ленинград *629*

Савицкий, следователь минского ГПУ *598, 601*

Савич, староста лагеря *68*

Савонарола Джироламо (1452–1498), флорентийский религиозно-политический деятель *322, 333*

Саенко Степан Афанасьевич (1886 – 17 августа 1973), комендант Харьковской ЧК в 1919 г. *214*

Сажин, комендант Кондострова *93*

Сазонов Матвей, участник группового побега из Кемперпункта *432–440, 443, 446, 450, 470–482, 488–490, 494, 497, 500–502, 504, 506*

Саид-Султан Кабир-Шах, афганский инженер, наследственный мулла, возможно, имеется в виду числившийся в списках содержавшихся в кремле политзаключенных за 1924 г. Кабир-Шах Саид Султан *110, 696, 698–699, 701*

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (наст. фам. Салтыков, псевд. – Николай Щедрин) (1826–1889), писатель, вице-губернатор *334*

Самохвалов Михаил Давидович (1892 – июнь 1942), левый социалист-революционер. Арестован в апреле 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки. После освобождения из лагеря в 1925 г. сослан в Тобольск *97, 188, 192, 585*

Сандомир Юзик (наст. имя Леонтий Петрович) (1900 – 21 октября 1923), социалист-революционер. Арестован в октябре 1922 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где содержался на Большой Муксалме. Покончил жизнь самоубийством *123, 128, 142*

Сапир Борис Моисеевич (1902 – 11 декабря 1989), социал-демократ, автор воспоминаний о Соловках *11, 132–133, 153*

Сартис, сотрудник лагерной администрации *679–680*

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921 – 14 декабря 1989), правозащитник *527*

Сац Наталья Ильинична (1903 – 18 декабря 1993), театральный деятель *229*

Свенцицкая Мария Эмилия (1852–1914), мать А. Шауфельбергера *634*

Свида-Свидерский Стась, поляк, егерь начальника лагеря *273–279*

Седерхольм Борис Леонидович (1884 – 30 мая 1933), автор воспоминаний о Соловках *11*, 662–664

Седерхольм Дмитрий Карлович (1869 – весна 1920), генерал, родственник Б. Л. Седерхольма *664*

Седых, см. Сизых

Сейд Али Надири, заключенный афганец *113*

Селецкий Иван Федорович, до 1917 г. начальник пересыльной тюрьмы в Сибири. В 1926 г. отправлен на Соловки, где был назначен уполномоченным по лесозаготовкам *143*

Семен Пчелка, уголовник, сотрудник лагерного театра *227*

Сен-Санс Камиль (1835 – 16 декабря 1921), французский композитор *315, 328*

Сенека Луций Анней (ок 4 г. до н. э. – 65 н. э.), философ-стоик *334*

Серафим (Протопопов Александр Алексеевич) (1894 – 8 августа 1937), архиепископ Елецкий и Задонский. Арестован в марте 1924 г. в сане епископа Колпинского, викария Петроградской епархии, приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря вернулся в Ленинград. Расстрелян *11, 106, 138, 402, 614–615*

Сервантес Сааведра Мигель де (1547–1616), испанский писатель *263*

Сергий Радонежский († 8 октября 1392), преподобный *13, 335*

Сидор Ян, поляк, погиб на Соловках *631*

Сидоров, заключенный *614–615*

Сизых Клавдия Порфирьевна (1890(2)–?), социалист-революционерка. Арестована в октябре 1922 г., приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена в Пертоминск, затем на Соловки. В 1925 г. переведена в Верхнеуральский политизолятор[5] *567, 577–578, 581–582*

Силин, заведующий ангаром, расстрелян за организацию побега из лагеря *309–310*

Скоропадский Павел Петрович (1873 – 26 апреля 1945), гетман Украины (1918). В эмиграции с 1918 г. *404*

Слащев [Слащов] Яков Александрович (1885 – 11 января 1929), генерал царской армии, Белой гвардии и РККА, эмигрировал из Крыма в Константинополь. После возвращения в Россию стал агентом ГПУ. Убит *405*

Слепян Исаак Семенович, валютчик, заведующий лагерной типографией *257*

Смагин Алексей Алексеевич (1857 – 20 ноября 1928), участник Белого движения. В 1918 г. представитель Донской армии при командовании Добровольческой армии. В эмиграции с 1920 г. *104*

Смирнов Александр Петрович (1878 – 9 февраля 1938), нарком земледелия РСФСР (1923–1928). Расстрелян *98, 129, 410–412*

Смоленский Марианн, польский коммунист, сотрудник администрации Холмогорского, затем Соловецкого лагеря *70, 388*

Соколов, сотрудник лагерной администрации *615–618*

Соколов Константин Николаевич, начальник лагерной финансовой части *74–75*

[5] В базе данных общества «Мемориал» содержится информация о беспартийной Клавдии Порфирьевне Сизых, которая была арестована в декабре 1937 г. и приговорена к 10 годам лишения свободы. Возможно, речь идет об одном и том же человеке. – Примеч. ред.

Солженицын Александр Исаевич (1918 – 3 августа 2008), писатель, автор воспоминаний о ГУЛАГе *366, 520, 541–542*

Сольц Арон Александрович (1872 – 30 апреля 1945), советский государственный и партийный деятель, «совесть партии» *117, 410*

Солоневич Борис Лукьянович (1898 – 24 февраля 1989), скаут, спортсмен, автор воспоминаний о Соловках. В эмиграции с 1934 г. 8, *37*

Солоневич Иван Лукьянович (1891 – 27 апреля 1953), литератор, издатель, теоретик неомонархизма. В эмиграции с 1934 г. *199, 217, 220*

Сонька («Глазок»), проститутка, сотрудница лагерного театра *243, 302–305*

Софроний, соловецкий монах *202*

Сотников, есаул *355*

Софья Алексеевна (1657–1704), царевна, правительница Русского государства (1682–1689) при малолетних братьях Иване V и Петре I, который сверг ее и заключил в Новодевичий монастырь *251*

Спиридон, заключенный из числа духовенства *326*

Спиридонова Мария Александровна (1884 – 11 сентября 1941), социалист-революционерка *521*

Сталин Иосиф Виссарионович (наст. фам. Джугашвили) (1878 – 5 марта 1953), фактический руководитель советского государства *151, 573*

Степанов Алексей Яковлевич, с ноября 1926 г. начальник лагерной административной части *623–624, 627*

Стрижевский, см. Курчевский

Стружинский Александр Павлович (1892–1937(8)), социалист-революционер, впоследствии социал-демократ. В 1924 г. совершил в Челябинской тюрьме акт самосожжения *546*

Студенецкий Сергей Александрович (1877 – не ранее 1937), социалист-революционер. Арестован в январе 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В 1925 г. переведен в Тобольск, но арестован на этапе и доставлен в Оренбург. Расстрелян *546–547, 551–554, 562*

Стулитов, начальник Архангельского губернского ГПУ *50*

Сукис, сотрудник лагерной администрации *88–89*

Суровцева-Олицкая Надежда Витольдовна (1896 – 13 апреля 1985), жена Д. Л. Олицкого *541*

Суханов Николай Николаевич (наст. фам. Гиммер) (1882 – 29 июня 1940), революционер. Расстрелян *157*

Сухов Иван Яковлевич, военком СОП, деятель СОАОКа *213, 257–258, 320–321, 325–327*

Счастливцев, литературный персонаж *224, 226*

Т

Тавровский (Белов, Тавровский-Белов, Белов-Тавровский) Лев Наумович (1896 – 20 ноября 1937), социалист-революционер. Арестован в декабря 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян *552, 563*

Таганцев Владимир Николаевич (1889 – 26 августа 1921), географ. Расстрелян по делу «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева» (ПБО), в рамках которого было уничтожено 96 представителей научной и творческой интеллигенции *307*

Таиров Александр Яковлевич (наст. фам. Корнблит) (1885 – 25 сентября 1950), театральный деятель *228, 234, 335, 338*

Талейран-Перигор Шарль Морис (1754–1838), французский дипломат *257*

Тальма Франсуа Жозеф (1763–1826), французский актер *221*

Тверье [Тверос] Т. Я., сотрудник лагерной администрации *257–259*

Тельнов Иван Гаврилович, белогвардеец, сотрудник лагерной администрации. Расстрелян за нарушение лагерного режима *117–119, 148, 207, 210–211, 331–333, 353–354, 455, 644–645*

Терентьев Степан, заключенный матрос из Кронштадта *125*

Тигиллин, литературный персонаж *229*

Тизенхаузен, фон, баронесса, бабушка А. Шауфельбергера *634*

Тимошенко, слесарь. Приговорен к двум годам лишения свободы за принадлежность к «контрреволюционной организации Савинкова» и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Нарым *403*

Тихон (Белавин Василий Иванович) (1865 – 7 апреля 1925), святитель, Всероссийский патриарх с 1917 г. *106–107, 138, 397, 402*

Тихон, заключенный из числа духовных лиц *326*

Тишайший, см. Алексей Михайлович

Тогузов Казбек, прокурор Горской республики *375*

Толстой Алексей Николаевич (1883 – 23 февраля 1945), граф, писатель и общественный деятель *229, 302, 317*

Толстой Лев Николаевич (1828 – 20 ноября 1910), граф, писатель, общественный и религиозный деятель *513*

Толстой Петр Андреевич (1645–1729), граф, с 1718 г. начальник Тайной канцелярии и президент Коммерц-коллегии, с 1726 г. член Верховного тайного совета. Возглавил борьбу против А. Д. Меншикова, за что вместе с сыном Иваном в 1727 г. сослан на Соловки, где оба и скончались *212–213*

Томилин, заключенный *690*

Томилина, заключенная *690*

Томский Михаил Павлович (наст. фам. Ефремов) (1880 – 22 августа 1936), руководитель советских профсоюзов. Покончил жизнь самоубийством *261*

Топоров [Торопов], помощник коменданта Кемперпункта *119, 414–415, 418, 421*

Торквемада Томас (ок. 1420–1498), глава испанской инквизиции *239*

Третьяков, уполномоченный нижегородского ГПУ *130*

Трифильев Алексей Кириллович (1872–?), священник Никольской церкви Ростова-на-Дону. Арестован в январе 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где был сотрудником СОКа и лагерных изданий. Арестован повторно в мае 1927 г., приговорен к трем годам лишения свободы и вновь отправлен на Соловки. После досрочного освобождения из лагеря в октябре 1928 г. сослан в Казахстан *711–712*

Тройго Ян Янович (1881 – 11 августа 1932), католический священник. Арестован в 1927 г., приговорен к пяти, по другим сведениям к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В 1929 г. переведен на Анзер, проходил по групповому делу католического духовенства. В июле 1932 г. вывезен в Ленинград, где умер и был захоронен на Преображенском кладбище под фамилией Самахин *629*

Трофимова Валентина Васильевна (1881 – 1952), социалист-революционерка. Арестована в мае 1922 г., приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена в Пертоминск, затем на Соловки. В декабре 1923 г. вывезена в Москву для лечения, потом возвращена в лагерь. По другим сведениям, вывозилась на лечение дважды: сначала в Архангельск, спустя некоторое время в Москву, откуда в 1926 г. была выслана в Усолье *141*

Троцкий Лев Давыдович (наст. имя и фам. Лейба Давидович Бронштейн) (1879 – 21 августа 1940), советский государственный и партийный деятель. В эмиграции с 1929 г. Убит в Мексике *98, 258, 278, 390, 418*

Трубецкие, братья, религиозные философы и публицисты *294*

Тугова Анна Ивановна (1891(9)—?), социалист-революционерка. Арестована в январе 1923 г., приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена в Пертоминск, затем на Соловки. После освобождения из лагеря в 1925 г. сослана в Уральск *587*

Туомайнен Карл Густавович (1893 – 28 декабря 1937), заключенный, впоследствии вольнонаемный заведующий пушным хозяйством Соловецкого лагеря и ББК. Расстрелян *37*

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883), писатель *334*

Тучков Евгений Александрович (1892 – 15 апреля 1957), секретарь Комиссии при ЦК РКП(б) по проведению декрета об отделении Церкви от государства, в 1939—1947 гг. ответственный секретарь Центрального совета Союза воинствующих безбожников *104—105, 713*

Тюкин Степан, заключенный матрос из Кронштадта *125*

Тюнина Мария Алексеевна (1896—?), социал-демократка. 1923 г. Арестована в 1923 г., приговорена к двум годам лишения свободы и отправлена на Соловки. После освобождения из лагеря сослана в Усть-Цильму *155*

У

Уайльд Оскар (1854—1900), английский писатель и драматург *229*

Угаров, возможно, имеется в виду расстрелянный советский государственный и партийный деятель Александр Иванович Угаров (1900 – 25 февраля 1939) *107*

Уншлихт Иосиф Станиславович (1879 – 29 июля 1938), заместитель председателя ВЧК—ГПУ—ОГПУ (1921—1923), начальник Главного управления Гражданского воздушного флота (1933—1935). Расстрелян *98, 101*

Уральский, лагерный доктор *628*

Урсула († 383), католическая святая, ее именем названа женская монашеская конгрегация *332*

Успенский Дмитрий Владимирович (1902 – 1989), заключенный, впоследствии вольнонаемный начальник Воспитательно-просветительского отдела УСЛОН, в 1930—1931 гг. начальник IV отделения УСЛОН (Соловки), начальник Северного участка строительства ББК. После окончания этого строительства был переведен в Дмитровлаг на строительство канала Москва—Волга. В 1940—1950-е гг. начальник Заполярного лагеря и управления Сахалинского ИТЛ. С 1952 г. персональный пенсионер *40*

Ф

Фабий Максим Кунктатор (III в. до н. э.), древнеримский полководец *257*

Фаддей (Успенский Иван Васильевич) (1872 – 31 декабря 1937), священномученик, архиепископ Тверской *165*

Феврония (в иночестве Евфросиния) Муромская († 1228), святая благоверная княгиня *337*

Федодеев Александр Васильевич (1899 – 10 сентября 1937), социалист-революционер, муж О. Л. Олицкой. Арестован в января 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки. В 1925 г. вывезен в Верхнеуральский политизолятор. Расстрелян *541, 577—579, 581, 586—592*

Федор Иоаннович (1557—1598), русский царь с 1584 г. *203, 299, 317—319*

Федоров Леонид Иванович (1879 – 7 марта 1935), католический святой, экзарх русских католиков восточного обряда *34*

Федоров Яков, заключенный матрос из Кронштадта *125*

Федорович Тадеуш, поляк, погиб на Соловках *631*

Федорович, возможно, имеется в виду католический священник Адольф Федорович (1889—?). Арестован в 1926 г. и отправлен на Соловки *629*

Федотов Василий, заключенный матрос из Кронштадта *125*

Федяков, комендант Кемперпункта *117*

Фельдман Владимир Дмитриевич (1894 – 10 января 1938), с 1919 г. особоуполномоченный Особого отдела ВЧК, с 1921 г. начальник Следственной части Президиума ВЧК; начальник юридического отдела ГПУ (1923–1924), член Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР (1923–1927). Расстрелян *100, 137, 383, 645, 659*

Фельдман Мария Васильевна, жена В. Д. Фельдмана, начальник лагерной санитарной части (1923–1926) *129, 141, 176, 214, 239, 304–305, 614, 623, 645–646, 649*

Фельдман Моисей Соломонович (1884–?), социалист-революционер. Арестован в июне 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В 1925 г. переведен в Тобольский политизолятор *585*

Феноулт А. Н., председатель Специального комитета по делам России в Финляндии *443*

Феодор Санаксарский († 4 марта 1791), преподобный *8*

Феофан († 1819), монах-отшельник *21*

Фердыщенко, литературный персонаж *226*

Филиновский, социалист-революционер *585*

Филипп (Колычев) († 22 января 1569), святитель, митрополит Московский и всея России (с 1566 г.), игумен Соловецкого монастыря (1543–1566) *11, 17–18, 20, 322, 351, 674*

Филиппов Василий Григорьевич (1900–?), социалист-революционер. Арестован в октябре 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки. В 1925 г. переведен в Верхнеуральский политизолятор *577–579*

Филиппов, хозяин московской кофейни *335*

Филонен, возможно, имеется в виду депутат 4-й Госдумы протоиерей Федор Дмитриевич Филоненко (1869 – не ранее 1930). Арестован в феврале 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из лагеря вернулся в Ленинград *713*

Фицтум фон Экстедт Михаил Николаевич (1882–?), граф. Арестован в 1924 г., видимо, в связи с «делом лицеистов». Пытался покончить жизнь самоубийством, бросившись в пролет лестницы в доме предварительного заключения, но выжил. Приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки *227*

Флорчак, поляк, погиб на Соловках *631*

Фомка Рулек, заключенный уголовник *316*

Фредерикс Наталия Модестовна (1864 – 30 марта 1926), баронесса. Арестована в феврале 1924 г. по «церковному делу», как член приходского совета собора во имя преподобного Сергия Радонежского на Литейном проспекте, и в числе 35 человек отправлена на Соловки, где скончалась. В прямом родстве с министром Императорского двора графом Владимиром Борисович Фредериксом (1838 – 5 июля 1927) не состояла *103, 138, 300–305, 403*

Френкель Нафталий Аронович (1887–1960), один из руководителей ГУЛАГа. Арестован в 1924 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где вскоре был назначен начальником Экономического отдела УСЛОНа. В 1928 г. переведен в Кемь, в 1931 г. – на строительство ББК помощником начальника Беломорстроя и начальником работ. В 1933 г. назначен начальником Бамлага, в 1939 г. начальником ГУЛЖДС. С 1947 г. персональный пенсионер *37, 40, 69–71, 73, 143–144, 250, 252, 264, 271, 387–388, 416, 650*

Фроловский Б., пианист, сотрудник лагерного театра *231*

Фюрреди, заключенный венгерский военнопленный *671*

Х

Халютин Федор Петрович, дядя О. Л. Олицкой *540*

Хемингуэй Эрнест (1899 – 2 июля 1961), американский писатель *449*

Хмыз, сотник *355*

Ховрин Александр Алексеевич (1874–1933), социалист-революционер *585*

Хомич Павел Семенович (1893 – 10 сентября 1942), католический священник. Арестован в 1926 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В 1929 г. переведен на Анзер, проходил по групповому делу католического духовенства. Был вывезен в ИТЛ на Дальний Восток, где находился до 1936 г. В августе 1939 г. вернулся в Ленинград, жил на нелегальном положении и проводил тайные богослужения на квартирах. Расстрелян *629*

Хомутова-Гамильтон, помещица, сотрудница лагерного театра *236*

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860), идеолог славянофильства *294*

Ц

Цетлин [Цейтлин] Михаил Соломонович (1887 – 24 августа 1937), социалист-революционер. Арестован в марте 1921 г., приговорен к трем годам лишения свободы и вместе с женой эсеркой Н. А. Бауэр отправлен в Пертоминск, затем на Соловки *155*

Цеткин Клара (1857 – 20 июня 1933), деятель немецкого и международного коммунистического движения *420*

Цулукидзе, возможно, имеется в виду князь, генерал-лейтенант Варден Григорьевич Цулукидзе (1865 – 05 мая 1923), или князь, генерал-майор Георгий Давыдович Цулукидзе (1860 – 20 мая 1923), которые были расстреляны в Грузии по обвинению в участии в подпольном «Военном центре» *375*

Цхиртладзе, организатор группового побега с Соловков *430–431*

Цюрупа [Цурюпа] Александр Дмитриевич (1870 – 8 мая 1928), инициатор введения в стране продовольственной диктатуры, один из организаторов продотрядов *261*

Ч

Чавчавадзе, грузинская княжна, жена южноамериканского дипломата Виоларо. Арестована вместе с супругом в 1924 г. по обвинению в шпионаже и отправлена на Соловки *110–111, 254, 415–416, 652–653, 688–689*

Чайковский Зигмунд, поляк, погиб на Соловках *631*

Чайковский Петр Ильич (1840–1893), композитор *245*

Чайковский, офицер, отправлен на Соловки за «экономический шпионаж» *107*

Чайльд Гарольд, литературный персонаж *243*

Чарин Иван Александрович (1902–?), анархист. Арестован в декабре 1922 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск. После неудачного побега из Архангельска, куда был вывезен на лечение, приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки *97*

Чекмазов Алексей, донской казак, уголовник, сотрудник лагерного театра. После освобождения из лагеря оказался на ББК *222, 227, 243–244, 333*

Челокаев, организатор антибольшевистского движения на Кавказе *372*

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889), писатель *574*

Четкин Алексей Иванович (1894 – не ранее 1937), социалист-революционер. Арестован в октябре 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки *586*

Чехранов Павел, священник, автор воспоминаний о Соловках *710*

Чимароза Доменико (1749–1801), итальянский композитор *329*

Чистяков, ссыльный чекист, староста Кемперпункта *117, 414*

Чичерин Георгий Васильевич (1872 – 7 июля 1936), нарком иностранных дел РСФСР и СССР (1918–1930) *111, 416*

Чхеидзе Николай Семенович (1864 – 7 июня 1926), социал-демократ *517*

Ш

Шаляпин Федор Иванович (1873 – 12 апреля 1938), оперный певец. В эмиграции с 1922 г. *329*

Шамиль (1797–1871), предводитель кавказских горцев *348*

Шанин Александр Михайлович (1894 – 14 августа 1937), секретарь Секретно-оперативного управления ОГПУ(1923–1927) и Коллегии ОГПУ (1923–1931). В 1930 г. возглавил комиссию по обследованию Соловецких лагерей, результатом чего стал подробный отчет Коллегии ОГПУ. Расстрелян *39*

Шапиро Аарон, ссыльный чекист, лагерный дневальный *278*

Шапруненко, адъютант гетмана Украины П. П. Скоропадского *404*

Шатобриан Франсуа Рене (1768–1848), французский писатель и политический деятель *266*

Шауфельбергер Алиса Мария А. (1906–2004), старшая дочь А. Шауфельбергера *635*

Шауфельбергер Арнольд Сергиус Леонардович (1874–1938), предприниматель, автор воспоминаний о Соловках *11, 634–638*

Шауфельбергер Леонард Леонардович (1839–1894), отец А. Шауфельбергера *634*

Шауфельбергер Мария Элизабета А. (1911–2000), младшая дочь А. Шауфельбергера *635*

Шаховская, заключенная княгиня *302*

Шаховской, заключенный князь *307*

Шевалье, заключенный инженер *666, 705–706*

Шейлок, литературный персонаж *298*

Шелковников, артист балета, сотрудник лагерного театра *226*

Шеллер (псевд. – Михайлов), политэмигрант, сотрудник лагерной библиотеки *256*

Шенберг, сотрудник лагерной администрации *259*

Шенберг, начальник полиции Куусамо *446*

Шестаков Всеволод Петрович (1895 – 15 января 1938), социалист-революционер. Арестован в 1921 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В 1925 г. переведен в Тобольский политизолятор. Расстрелян *576, 578–579*

Шестневская А. И., см. Щесневская

Шигаев, крестьянин, отправлен на Соловки за «связь с иностранной буржуазией» *107*

Шигалев, литературный персонаж *225*

Шик Георгий Эммануилович (1891 – 14 декабря 1937), социалист-революционер. Арестован в сентябре 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки, где был ранен в Савватьеве. После освобождения из лагеря вместе с женой А. Фокиной сослан в Архангельск. Расстрелян *173*

Шильдер Владимир Александрович (1855 – июль 1925), директор Императорского Александровского лицея (1910–1917). Умер во время следствия по «делу лицеистов» *102*

Шильдер Михаил Владимирович (1893 – 9 июля 1925), сын В. А. Шильдера. Расстрелян *102*

Шильдер Александр Евгеньевич (1993 – 5 ноября 1937), племянник В. А. Шильдера. Арестован в 1925 г. по «делу лицеистов», приговорен к пяти годам лишения свободы и сослан на Соловки. В мае 1927 г. переведен в Вишерский лагерь. Расстрелян *102*

Шильдер Карл Евгеньевич (1895 – июнь 1974), племянник В. А. Шильдера.

Арестован в 1925 г. по «делу лицеистов», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Вновь арестован в середине 1930-х гг. Окончательно освобожден в 1953 г. *102*

Шингарев Андрей Иванович (1869 — 7 января 1918), депутат 2-й Госдумы, в 1917 г. министр Временного правительства. Убит в Мариинской тюремной больнице, куда был перевезен из Петропавловской крепости *530*

Ширяев Борис Николаевич (1889 — 1 апреля 1959), литератор, автор воспоминаний о Соловках *8, 11, 194—199, 636*

Ширяев Лоллий Борисович (1938—?), сын Б. Н. Ширяева *199*

Шкловский Виктор Борисович (1893 — 5 декабря 1984), писатель, литературовед *219, 287*

Шкловский Владимир Борисович (1889 — 24 ноября 1937), филолог, богослов. Отправлен на Соловки в 1923 г. После освобождения из лагеря вернулся в Ленинград. Расстрелян *219, 287*

Школьников Цезик Абрамович (1893—?), анархист. Арестован в августе 1921 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен в Холмогоры, затем в Пертоминск и Кемь *97*

Шлихтер Александр Григорьевич (1868 — 2 декабря 1940), член коллегии Наркоминдела (1921—1927) *50*

Шмелев Николай Андреевич (1894 — 1937), социалист-революционер. Арестован в мае 1923 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В ноябре 1924 г. переведен в Кемь, после освобождения из лагеря сослан в Краснококшайск (с 1928 г. Йошкар-Ола). Расстрелян *188*

Штерн Соломон Ильич (1892 — 19 сентября 1937), социалист-революционер. Арестован в сентябре 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен в Пертоминск, затем на Соловки. В 1926 г. вывезен в Тобольский политизолятор. Умер во время следствия *574, 588—590*

Штренберг, заключенный финский предприниматель *109—110*

Штромберг Николай Анатольевич (1879 — ок. 1926), барон, музыкант. Арестован в 1925 г. по «делу лицеистов», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где погиб на лесоповале *315, 328—329, 332, 611—612, 623*

Штыб [Штыбе] Семен Митрофанович (1893 — 21 ноября 1923), начальник Ставропольского, Терского и Горского губернского отдела ГПУ *367, 374—375*

Шуба, уголовник, помощник Л. Д. Вуля *218*

Шульман, комендант Закавказской ЧК *345*

Шуттенбах, заключенный сержант польской армии *706—707*

Шютц Маркус, правнук А. Шауфельбергера *634, 638*

Щ

Щапов, купец-старообрядец, сотрудник СОАОКа *249, 252*

Щведерский Феликс, поляк, погиб на Соловках *631*

Щесневская Александра Ипполитовна (1894 — 8 марта 1930), социалист-революционерка. Арестована в январе 1924 г., приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки. После освобождения из лагеря сослана в Чимкент. Умерла в ссылке *545—549, 551, 563, 565, 567, 570, 582*

Шмага, литературный персонаж *226*

Э

Эвелькис Иван, заключенный матрос из Кронштадта *125*

Эгиз Илья Абрамович (1887 — не ранее 12 сентября 1938), социал-демократ, врач. Арестован в феврале 1923 г. приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. После освобождения из

лагеря сослан в Оренбургскую область. Расстрелян *186*

Эйнсильд (Эйншильд, Энсельд) Иван Михайлович (ок. 1894 – не ранее 1925), художник. Арестован в мае 1923 г., приговорен за передачу письма эсера В. М. Чернова (1873 – 15 апреля 1952) его детям к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В 1925 г. вывезен в Кемь *584*

Эйнштейн Альберт (1879 – 18 апреля 1955), немецко-американский физик-теоретик *188*

Эйхманс Фриц Янович (Федор Иванович) (1897 – 3 сентября 1938), латышский стрелок, в 1919 г. начальник оперативной группы поезда Л. Д. Троцкого, в 1920 г. сотрудник особого отдела Туркестанского фронта, председатель ЧК Туркестана. В 1923 г. заместитель начальника УСЛОНа, с ноября 1925 г. начальник Соловецкого отделения лагеря, с 1929 г. начальник 3-го спецотдела ОГПУ (внешняя разведка), 1930–1932 гг. начальник Вайгачской экспедиции ОГПУ, с 1933 г. заместитель начальника 9-го отделения ГУГБ НКВД. Расстрелян *27, 45, 59, 64, 68, 96, 126, 129, 135, 137, 155, 165, 167–168, 170, 176, 185–186, 214–215, 226, 238–241, 248, 252–253, 255, 306–308, 319, 321, 324, 338, 351, 385–386, 411–412, 418, 428, 557–558, 571, 574, 576, 579–581, 583, 608, 623, 625, 627, 649–650, 653*

Энгельгардт Нина Вадимовна (1903–1983), дочь предводителя дворянства Дорогобужского уезда Смоленской губернии. Отправлена на Соловки в 1924 г. После освобождения из лагеря в 1928 г. сослана в Казань. В 1945 г. в карагандинском лагере встретилась со своим будущем мужем ученым А. Л. Чижевским (1897 – 20 декабря 1964) *242*

Энгельс Фридрих (1820–1895), теоретик коммунизма *189*

Энсельд, см. Эйнсильд

Эпштейн, заключенный *403*

Эрдман Николай Робертович (1900 – 10 августа 1970), драматург, киносценарист *226*

Ю

Юдин Владимир, заключенный матрос из Кронштадта *125*

Юдичева Серафима Григорьевна (по мужу Гольд) (1898 – 8 сентября 1937), социалист-революционерка. Арестована в июне 1922 г., приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки. В июне 1924 г. доставлена в Москву, но вскоре возвращена обратно. В 1925 г. переведена в Тобольский политизолятор. Расстреляна *174–175, 544–550, 552–554, 558, 563, 565, 567–568, 570, 574, 577, 580, 582–583, 585*

Юрий, благоверный князь, видимо имеется в виду, Петр (в иночестве Давид) Муромский († 1228), святой благоверный князь *337*

Юровский, артист, отправлен на Соловки за «контрреволюционную деятельность» *405*

Я

Ягода Генрих Григорьевич (наст. имя Енох Гершонович) (1891 – 15 марта 1938), нарком внутренних дел СССР (1934–1936). Расстрелян *101, 212, 267, 628*

Якимович, заключенный генерал *103*

Яковенко Василий, заключенный матрос из Кронштадта *125–126*

Яковлев, бывший начальник Московской милиции, лагерный староста *68*

Яковлев Саша, возможно, имеется в виду, осужденный в 1906 г. за убийство Самарского губернатора, соучредитель Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев социалист-революционер Александр Васильевич Яковлев (1888 – 3 ноября 1937). Арестован летом 1922 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен

на Соловки. После освобождения из лагеря сослан в Усть-Сысольск. Вновь отправлен на Соловки после ареста в 1935 г. Расстрелян *574, 585*

Ярославский Емельян Михайлович (наст. имя и фам. Миней Израилевич Губельман) (1878 – 4 декабря 1943), идеолог и руководитель антирелигиозной политики в СССР *249*

Ярошенко Николай Александрович (1846–1898), художник *529*

Ярошенко Никита Кондратьевич, в 1924 г. по собственному желанию откомандирован на Соловки, где занимал должность начальник VI лагерного отделения *608*

Яцкевич Янина, полька, погибла на материке *620–621*

Яшвили, офицер, заведующий рабочей силой *712*

Яшка, заключенный уголовник *246–248*

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

ARA [Ара] (от англ. American Relief Administration — Администрация Американской Помощи), негосударственная организация в США, осуществлявшая с 1919 г. до конца 1930-х гг. гуманитарную помощь пострадавшим от большевизма странам Европы.

Анархисты (от греч. безвластие), представители различных партий и толков, объединенных общей идеологией, в основе которой лежит ликвидация любых форм принудительного управления, в том числе государственной власти. На смену последней, по мнению анархистов, должно прийти добровольное сотрудничество индивидов, основанное на личной заинтересованности, взаимопомощи, добровольном согласии и ответственности всех участников социальных отношений.

Антанта (от фр. согласие), военно-политический союз России, Англии и Франции, созданный в противовес «Тройственному союзу» во главе в Германией и Австро-Венгрией. Войска Антанты принимали участие в Первой мировой войне и военных действиях на территории бывшей Российской Империи после 1917 г.

Батумская ЧК, образована в марте 1921 г., в январе 1922 г. реорганизована в Чрезвычайную комиссию при СНК АССР Аджаристан, в сентябре 1926 г. — в Государственное политическое управление при СНК АССР Аджаристан.

ББК, см. Беломорско-Балтийский канал (в Топографическом указателе).

Британский конгресс тред-юнионов, руководящий орган английского профсоюзного движения. Создан в 1868 г. представителями горнодобывающих, машиностроительных, транспортных и прочих профессиональных союзов.

Бундовцы, представители Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России (на идиш БУНД — союз), лево-социалистической партии, возникшей в начале 1890-х гг. В октябре 1917 г. бундовцы выступили против установления власти большевиков, однако в 1919 г. признали ее, разочаровавшись в деятельности других политических движений. В марте 1921 г. на территории России партия самоликвидировалась, часть ее членов вступила в РКП(б). Противники этого решения наряду с представителями других оппозиционных движений были подвергнуты репрессиям.

ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи), политическая организация в СССР, созданная в 1926 г. на базе действующего с 1918 г. Российского (Ленинского) коммунистического союза молодежи.

ВОХР, войска внутренней охраны НКВД СССР; военизированная охрана — вооруженное подразделение, несущее караульную службу по охране вверенного объекта.

ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет), высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган государственной власти в России (1917—1937). Избирался Всероссийским съездом Советов и действовал в периоды между съездами.

ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов), орган профессиональных союзов СССР, руководящий их деятельностью в периоды между съездами профсоюзов СССР.

ВЧК СНК РСФСР (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР), образована в декабре 1917 г., в феврале 1922 г. реорганизована в ГПУ НКВД РСФСР.

ГорЧК (Чрезвычайная комиссия при Совете народных комиссаров Горской АСС), образована в апреле 1921 г., в феврале 1922 г. реорганизована в Горский областной отдел ГПУ.

ГПУ НКВД РСФСР (Государственное политическое управление при Наркомате внутренних дел РСФСР), образовано в феврале 1922 г., в ноябре 1923 г. реорганизовано в ОГПУ СНК СССР.

Губземотдел (губернский земельный отдел), структурное подразделение Губернского исполнительного комитета и Народного комиссариата земледелия, деятельность которого направлена на осуществление мероприятий по организации, развитию и укреплению сельского и лесного хозяйства в соответствии с местными условиями в пределах той или иной губернии.

Губревком (Губернский революционный комитет), орган управления.

ГУГБ НКВД СССР (Главное управление государственной безопасности при НКВД СССР), образовано в 1934 г., в 1941 г. реорганизовано в Народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ).

ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения), фактически начало свое существование в апреле 1919 г. в момент создания Центрального управления лагерями принудительных работ, упразднено в январе 1960 г. указом Президиума Верховного Совета СССР.

ГУМЗ (Главное управление мест заключения при НКВД РСФСР) (1922 –1930).

ГУПР (Главное управление принудительных работ при НКВД РСФСР), образовано в 1919 г., в 1922 г. реорганизовано в ГУМЗ.

Дашнаки, представители Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) («Союз»), возникшей в 1890 г. и выступавшей за автономию Армении. После вооруженного выступления в феврале 1921 г. на территории Армянской ССР партия была ликвидирована.

«Живая церковь», одна из основных групп обновленческого течения в Русской Православной Церкви после 1917 г., выступавшего при поддержке властей за модернизацию церковной жизни и отставку Всероссийского Патриарха Тихона.

Золотник – русская мера веса, равная 4,266 г.

ИРО (ДП) (от англ. The International Relief Organization Displaced Persons – Международная организация по делам беженцев и перемещенных лиц), действовала под эгидой ООН, ставила перед собой задачи по переселению, устройству на месте и репатриации перемещенных лиц и беженцев. Число последних после Второй мировой войны составляло около 1 млн выходцев из СССР, Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии, Болгарии и Албании, оказавшихся на территории Германии, Австрии, Италии и других стран Западной Европы.

ИСЧ (Информационно-следственная часть), «внутрилагерное ГПУ», структура, в ведении которой находились следственный изолятор, карцеры, рота отрицательного элемента (РОЭ).

ИТК (Исправительно-трудовая колония), место содержания заключенных, осужденных на срок лишения свободы до трех лет. ИТК при республиканских НКВД были созданы согласно постановлению СНК СССР в июле 1929 г.

ИТЛ (Исправительно-трудовой лагерь), место содержания заключенных, осужденных на срок лишения свободы, превышающий три года. ИТЛ при ОГПУ СССР были созданы согласно постановлению СНК СССР в июле 1929 г.

Кадеты, представители конституционно-демократической партии («Партия народной свободы», «партия к.-д.», «ка-деты», позже «кадеты»), возникшей в 1905 г. как организация сторонников конституционной монархии. Несмотря на запрет партии в 1917 г., кадеты активно участвовали в различных подпольных антибольшевистских организациях, в начале 1920-х гг. играли заметную роль в русской эмиграции.

Каэр [к/р] (контрреволюционер), человек, осужденный за контрреволюционные действия, таковыми, согласно ст. 58.1 УК РСФСР в редакции 1926 г., признавалось «всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти Рабоче-Крестьянских Советов и существующего на основании Конституции Р.С.Ф.С.Р. Рабоче-Крестьянского Правительства, а также действия в направлении помощи той части международной буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к ее свержению путем интервенции или блокады, шпионажа, финансирования прессы и т. п. Контрреволюционным признается также и такое действие, которое, не будучи непосредственно направлено на достижение вышеуказанных целей, тем не менее, заведомо для совершившего его, содержит в себе покушение на основные политические или хозяйственные завоевания пролетарской революции».

КВЧ (Культурно-воспитательная часть), внутрилагерная структура, в ведении которой находились школы, театры, библиотеки, музей.

Коминтерн (Коммунистический III Интернационал), организация, объединявшая коммунистические партии различных стран. Действовала с марта 1919 г. до момента роспуска в мае 1943 г., когда компартии решили самостоятельно определять тактику действий исходя из конкретной ситуации в их странах.

Концлагерь (концентрационный лагерь), общее понятие, обозначающее центры массового принудительного содержания различных категорий людей. В конце XIX в. первые концлагеря появились в ряде европейских колоний, как средство борьбы с местными повстанцами. Во время Первой мировой войны концлагеря активно создавались на территории Австро-Венгерской империи для содержания русинов и сербов. В Советской России первые концлагеря появились по инициативе Л. Троцкого в мае 1918 г. в местах, куда до этого заключали военнопленных. В них содержались заложники из числа лиц потенциально опасных для власти большевиков.

Локоть — русская мера длины, равная 38—46 см.

МГБ (Министерство государственной безопасности), образовано в 1946 г., в 1953 г. объединено с Министерством внутренних дел в единое МВД СССР.

Монархисты, представители многочисленных партий, выступавших за самодержавную форму правления в России. Наиболее заметными среди партий монархического толка являлись «Русский монархический союз» и «Союз русских людей», которые были запрещены еще в феврале 1917 г.

Мусаватисты, члены азербайджанской буржуазно-националистической партии «Мусават» («Равенство»), возникшей в 1911 г. и выступавшей за создание единой мусульманской державы под эгидой Турции. В марте 1918 г. в Баку был подавлен мятеж мусаватистов, однако в мае того же года партия провозгласила Азербайджанскую буржуазную республику и стала правящей в стране. В апреле 1920 г. власть мусаватистов была свергнута.

Нарком (народный комиссар), должностное лицо, входившее в состав Советского правительства и возглавлявшее тот или иной народный комиссариат — центральный орган государственного управления какой-либо сферой государственной деятельности в РСФСР и СССР.

Наркомвнешторг (Народный комиссариат торговли и промышленности (НКТиП РСФСР)), орган государственной монополии внешней торговли СССР. Образован в 1917 г., в 1920 г. реорганизован в Народный комиссариат внешней торговли РСФСР (НКВТ РСФСР), в 1922 г. — в Народный комиссариат (Наркомат) внешней торговли СССР (НКВТ СССР), в 1925 г. — в Народный комиссариат (Наркомат) внешней и внутренней торговли СССР (НКВТ СССР), в 1946 г. преобразован в Министерство внешней торговли СССР.

Наркомвоен [Народный комиссариат военных дел] (Народный комиссариат по военным делам РСФСР), организован в ноябре 1917 г., в 1923 г. реорганизован в Народный комиссариат по военным и морским делам СССР (НК ВиМД СССР), в 1934 г. в народный комиссариат обороны СССР (НКО СССР), в 1946 г. — в Министерство Вооруженных Сил СССР.

Наркомзем (Народный комиссариат земледелия РСФСР), образован в 1917 г., в 1929 г. реорганизован в Народный комиссариат земледелия СССР (НКЗ СССР), в 1946 г. — в Министерство земледелия СССР.

Наркоминдел (Народный комиссариат по иностранным делам РСФСР), создан в 1917 г., в 1923 г. реорганизован в НКИД СССР, в 1946 г. — в Министерство иностранных дел СССР.

Наркомпрос (Народный комиссариат просвещения), орган государственного управления, контролирующий в 1920–1930-х гг. основные культурно-гуманитарные сферы в РСФСР и СССР: образование, библиотечное дело, книгоиздательство, музеи, театры и кино, клубы, парки культуры и отдыха, охрану памятников архитектуры и культуры, творческие объединения, международные культурные связи и др.

Наркомюст [НКЮ] (Народный комиссариат юстиции), государственный орган, отвечавший за общее руководство судебными учреждениями РСФСР и СССР. Образован в ноябре 1917 г., в 1946 г. реорганизован в Министерство юстиции СССР.

Народные социалисты [энесы], представители Народно-социалистической (трудовой) партии или, иначе, Трудовой народно-социалистической партии — мелкобуржуазной партии в России, которая в 1906 г. выделилась из правого крыла партии эсеров на почве несогласия по вопросам земельной собственности и неприятия террора как средства политической борьбы. Прекратила существование в 1918 г.

НКВД РСФСР (Народный комиссариат внутренних дел РСФСР), центральный орган государственного управления республики по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка. Образован в ноябре 1917 г., в декабре 1930 г. переименован в НКВД СССР.

НКВД СССР (Народный комиссариат внутренних дел СССР), центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка. Образован в декабре 1930 г., в 1946 г. реорганизован в Министерство внутренних дел СССР.

НКГБ (Народный комиссариат государственной безопасности), образован в 1941 г., в 1946 г. реорганизован в Министерство государственной безопасности СССР.

НКЮ, см. Наркомюст.

НЭП (новая экономическая политика), политический курс Советского государства, последовавший за «политикой военного коммунизма». Осуществлялся в период с марта 1921 г. по октябрь 1931 г.

ОГПУ СНК СССР (Объединенное государственное политическое управление при Совете народных комиссаров СССР), образовано в ноябре 1923 на базе ГПУ НКВД РСФСР, в июле 1934 г. реорганизован в ГУГБ НКВД СССР.

Октябристы, члены праволиберальной политической партии чиновников, помещиков и крупной торговой промышленной буржуазии России, которые придерживались умеренно-конституционных взглядов. Партия возникла после выхода 17 октября 1905 г. Высочайшего манифеста Николая II «Об усовершенствовании государственного порядка». В 1917 г. деятельность октябристов была запрещена.

ОСВАГ (Осведомительное агентство), информационно-пропагандистский орган Добровольческой армии, со временем — Вооруженных Сил Юга России во время Гражданской войны, наделённое монополией на предоставление информации о действиях официальных структур Белого Юга и распространение информации для масс-медиа на территориях, подконтрольных его власти.

ОС КОГПУ (Особое совещание при Коллегии ГПУ, позже при Коллегии ОГПУ, НКВД СССР, МГБ СССР), внесудебный орган, имевший полномочия рассматривать уголовные дела по обвинениям в деяниях, угрожающих советскому строю, выносить приговоры, включая приговоры к высшей мере наказания в годы Великой Отечественной войны, и пересматривать решения Военной коллегии Верховного суда.

Политический Красный Крест, общее название ряда организаций, оказывавших помощь политзаключенным в Российской империи, РСФСР и СССР. На базе Московского ПКК в 1922 г. была создана организация «Е. П. Пешкова. Помощь политзаключенным», которая действовала до 15 июля 1938 г.

ПСР [П.С.-Р., эсеры] (Партия социалистов-революционеров), возникла в 1902 г., со временем стала наиболее многочисленной и влиятельной немарксистской социалистической партией в России, стоявшей на позициях террора. В октябре 1917 г. левое крыло ПСР поддержало большевиков, но в массе своей эсеры осудили октябрьские события и стали участниками антибольшевистских выступлений и правительств. В 1922 г. состоялся судебный процесс, на котором социалисты-революционеры были обвинены в организации покушений на лидеров советского государства. Впоследствии деятельность партии в основном была связана с работой находящихся за границей эсеров, тогда как большинство оставшихся в России представителей ПСР уничтожили в течение 1920—1930-х гг.

Пуд — русская мера веса, равная 16,38 кг

Пункты ст. 58 УК РСФСР в редакции 1926 г., предусматривающие наказание за пропаганду или агитацию против Советской власти; изготовление, распространение или хранение литературы контрреволюционного содержания (ст. 58.10); всякого рода организационную деятельность, участие в контрреволюционных организациях (ст. 58.11).

РККА (Рабоче-Крестьянская Красная армия), образована в январе 1918 г., в феврале 1946 г. переименована в Советскую армию.

РОЭ (Рота отрицательного элемента), по словам М. М. Розанова, «последняя ступень перед Секиркой»; по свидетельству И. М. Зайцева место, куда помещали «тех, кто, по мнению администрации, совершенно не поддается исправлению».

РСДРП [с.-д., эсдеки] (Российская социал-демократическая рабочая партия), основана в марте 1898 г. с целью объединения в единую организацию многочисленных социал-демократических групп, действовавших на территории Российской империи. В 1900 г. была создана газета «Искра», которая в 1903 г., после разделения партии перешла к группе меньшевиков во главе с Л. Мартовым. Весной 1917 г., фракция РСДРП, взявшая курс на осуществление пролетарской революции, выделилась в отдельную партию большевиков. Остальные социалисты-демократы выступали за созыв Учредительного собрания и коалиционное социалистическое правительство, но были против вооруженного восстания и впоследствии в той или иной

мере стали противниками Советской власти. Весной 1919 г., после окончательного разрыва с международным социалистическим движением, большевики перешли к открытым репрессиям в отношении российских социалистов. К началу 1920-х гг. руководители РСДРП и члены партии выехали за границу или перешли на нелегальное положение.

РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) (19 июля 1918 – 25 декабря 1991).

Сажень – русская мера длины, равная 2,1336 м.

«Сексот» (секретный осведомитель), тайный сотрудник правоохранительных органов.

СЛОН, Соловецкий лагерь особого назначения.

Сменовеховцы, представители политического течения русской эмиграции, получившего название от сборника статей «Смена вех» (Прага, 1921), где были сформулированы основные идеи течения, сводившиеся к примирению и сотрудничеству с Советской властью, которая, по мнению сменовеховцев, с началом НЭПа начала действовать в национальных интересах России.

Совнарком [СНК] (Совет народных комиссаров), высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти РСФСР, а с 1923 г. СССР, а также союзных и автономных республик. Образован в ноябре 1917 г., в 1946 г. реорганизован в Совет министров СССР, а СНК союзных и автономных республик – соответственно в Советы министров союзных и автономных республик.

СОАОК (Соловецкое отделение Архангельского общества краеведения), организовано Приказом УСЛОНа № 56 от 13 марта 1925 г., в 1926 г. реорганизовано в Соловецкое общество краеведения (СОК).

СОП (Соловецкий особый полк), военное подразделение, осуществлявшее охрану островов архипелага, доставку заключенных, их конвоирование на работу и поиск бежавших из лагеря.

СПО ОГПУ (Секретно-политический отдел), структурное подразделение ОГПУ, создано в марте 1931 г. путем объединения Секретного и Информационного отделов ОГПУ. Отдел осуществлял борьбу с деятельностью участников антисоветских партий и групп, бывших белогвардейцев, с антисоветской деятельностью церковников, сектантов, а также националистов, не имевших связи с зарубежными националистическими организациями. В феврале 1941 г. СПО преобразован в Секретно-политическое управление НКГБ СССР, в апреле 1943 г. Секретно-политическое управление вошло в состав Контрразведывательного управления НКГБ СССР.

СРАМ (Союз работников анзерской музы), название лагерного театра.

СССР (Союз Советских Социалистических республик) (30 декабря 1922 – 26 декабря 1991), создан путем объединения РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР.

Статьи первого советского уголовного кодекса в редакции 1922 г., предусматривающие высылку «социально опасных элементов» на срок до трех лет за «связь с преступной средой», «прошлую деятельность» (ст. 49) и дважды судимых – за «вооруженный бандитизм» (ст. 76), а также осуждение на разные сроки заключения за контрреволюционную деятельность, а именно: вооруженное восстание или вторжение на советскую территорию вооруженных отрядов или банд (ст. 58); участие в организации, созданной для предоставления помощи международной буржуазии (ст. 61); терроризм (ст. 64); шпионаж (ст. 66); утаивание контрреволюционных элементов и пособничество им (ст. 68); изготовление, сохранение и распространение литературы контрреволюционного содержания (ст. 72).

ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза), образовано в 1925 г., в 1992 г. переименовано в ИТАР-ТАСС.

Трудовики, представители Трудовой группы, мелкобуржуазной политической организации в России. Партия возникла в апреле 1906 г. как группа депутатов из крестьян и интеллигентов народнического направления в 1-й Государственной думе, ратовавших за ликвидацию помещичьего землевладения и фактическую национализацию земли. В феврале 1917 г. партия поддержала Временное правительство, в октябре того же года прекратила свое существование.

УК, Уголовный кодекс.

УЛАГ (Управление лагерями ОГПУ СССР), образовано весной 1930 г., осенью того же года переименовано в Главное Управление исправительно-трудовых лагерей ОГПУ СССР.

УРО (Уголовный розыск), оперативная служба, пришедшая на смену существовавшему в России Уголовному сыску. Служба была организована в октябре 1918 г. согласно «Положению об организации отделов уголовного розыска», со временем в качестве самостоятельного отдела вошла в состав НКВД, а затем милиции.

УСЛОН (Управление Соловецкими лагерями особого назначения), широко истолковывавшаяся система, выполнявшая административную, информационно-следственную, хозяйственную, финансовую, производственно-техническую, культурно-воспитательную и санитарную функции.

Фунт — русская мера веса, равная 409,5 г.

ХЛАМ (художники, литераторы, актеры, музыканты), название лагерного театра.

ЦБ (ПСР), Центральное бюро партии социалистов-революционеров.

ЦИК, см. ВЦИК.

ЦК ВКП(б), Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).

ЧК, см. ВЧК.

ЧОН (Части особого назначения), военно-партийные отряды, создававшиеся на базе местных партийных отрядов на основании постановления ЦК РКП(б) в апреле 1919 г. для оказания помощи органам Советской власти по борьбе с контрреволюцией и для несения караульной службы у особо важных объектов. Части были расформированы в 1925 г. в связи с улучшением внутреннего и международного положения СССР.

ШИЗО, штрафной изолятор в лагере.

Ярд — английская мера длины, равная 3 футам, или 0,9144 м.

Воспоминания соловецких узников

Том I

1923–1927

Издание второе

Ответственный редактор
иерей Вячеслав Умнягин

Дизайн и оригинал-макет
Михаил Скрипкин

Художник
Сергей Губин

Технический редактор
Вениамин Слепков

Корректоры
Ольга Колупаева
Ольга Сидорова

Подписано в печать 21.04.2014
Формат 72 x 104 1/16
Печать офсетная. Усл. печ. л. 52,5.
Заказ № 402. Тираж 2000 экз.

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
164070, Архангельская обл., пос. Соловецкий,
наб. бухты Благополучия, д. 1, корп. 8
solovki-news@yandex.ru
http://solovki-monastyr.ru

Отпечатано в типографии «НП-Принт»
Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15

Первый том фундаментального проекта Издательского отдела Соловецкого монастыря. Издание посвящено памяти заключенных Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). В книгу вошли мемуары узников, находившихся в заключении в период с 1923 по 1927 г., а также справочные материалы по истории лагеря, его материковых и островных отделений.

Издание ориентировано на самый широкий круг читателей и специалистов, интересующихся отечественной историей.

* * *





ИЗДАНИЕ
СОЛОВЕЦКОГО
МОНАСТЫРЯ